
В.В. РОЗАНОВ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

В. Розанов

4

Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук
Российский государственный архив литературы и искусства

Росток

В. В. РОЗАНОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 35 томах

Серия

«Литература и искусство»

В 7 томах



Санкт-Петербург
2016

В. В. РОЗАНОВ

**Том четвертый
О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ**

Статьи 1908–1911 гг.



Санкт-Петербург
2016

УДК 821.161.1-4
ББК 84.3(2Рос=Рус)1
Р64



*Издание осуществляется при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Исследовательский проект 08-04-00025а
Издательский проект 16-04-16010*

Редакционная коллегия:

*А. Н. Николюкин (главный редактор),
Т. М. Горяева, А. П. Дмитриев, И. А. Едошина, Ю. С. Пивоваров,
А. Ю. Розанов, Л. В. Скворцов, В. А. Фатеев, С. Р. Федякин*

Ответственный секретарь
К. А. Жулькова

Составитель и научный редактор тома
А. Н. Николюкин

ISBN 978-5-94668-147-6
ISBN 978-5-94668-182-7 (т. 4)



9 785946 1681827

© ИНИОН РАН, 2016
© РГАЛИ, 2016
© А. Н. Николюкин, составление, 2016
© Издательство «Росток», 2016

Содержание¹

СТАТЬИ 1908–1911 гг.

1908

О «русских богоискателях»	15	805	843
Некрасов в годы нашего ученичества	17		843
Вячеслав Сильвестрович Россоловский (Некролог)	27		844
Л. Андреев и его «Тьма»	28		844
Автор «Балаганчика» о петербургских Религиозно-философских собраниях	33		845
Поездка в Ясную Поляну	42	806	846
Исторические очерки и рассказы С. Н. Шубинского. Издание пятое, дополненное и исправленное. С 89 портретами и иллюстрациями. СПб., 1908. Стр. VII—711	46		847
Красота молчания (К юбилею Л. Н. Толстого)	47		848
Памяти Ф. И. Булгакова *	48		848
Около народной души	51		848
«Свои люди» поссорились	55	809	849
О народной душе	58		850
Пестрые темы	61		850
В. Л. Кигн *	109		857
Домик Лермонтова в Пятигорске	111	809	858
На книжном и литературном рынке <А. Каменский>	118	811	860
Национальное назначение	122		860
Сила национальности	125		861
На книжном и литературном рынке <М. Арцыбашев>	127		861
На книжном и литературном рынке <Ч. Диккенс>	132	811	862
Наши публицисты	139		863
Непостижимое вмешательство	144		864
О памятнике И. С. Тургеневу	145		864
И. С. Тургенев в 1879 году в Москве *	148		864
80-летие рождения гр. Л. Н. Толстого	152		865
Л. Н. Толстой	154		866
Толстой между великими мира	161		866
Чего недостает Толстому?	165		867
Представители «нового религиозного сознания»	168		867
А Шейн?.. *	172		868
43 года «корректности»	176		869
Великий мир сердца (Нечто о Л. Н. Толстом)	178		869
Одно воспоминание о Л. Н. Толстом	184	813	870
Сборник писем Влад. Соловьёва	188		870

¹ В первом столбце указаны страницы текста, во втором — варианты, в третьем — комментарии.

* При жизни В. В. Розанова не печаталось; обнаружено в архиве.

Автопортрет Вл. С. Соловьёва	189	871
Автопортрет Вл. С. Соловьёва. Церковные занятия и его личность	195	872
К возобновлению Религиозно-философских собраний	202	873
Между тьмой и светом (К инциденту в Религиозно-философском обществе)	204	874
Памяти дорогого друга <О А. А. Кедринском> *	206	814 874
<В Религиозно-философском обществе>	208	874
<Кружок К. А. Губастова в память К. Н. Леонтьева>	208	875
О «народо»-божии как новой идее М. Горького	209	814 875
<О Религиозно-философском обществе>	211	875
Новые труды по истории философии	212	876
Личность отца Иоанна Кронштадтского	213	876

1909

Потуги на пророчество	215	877
Из воспоминаний и мыслей об Иоанне Кронштадтском	217	877
Литературные симулянты	223	878
Письмо в редакцию <О выходе из совета Религиозно-философского общества>	225	878
В Религиозно-философском обществе	226	814 879
У гроба отца Иоанна Кронштадтского	229	880
Трагическое остроумие	230	815 880
Попы, жандармы и Блок	234	881
50-летие А. С. Суворина	236	882
Великое начинание в Москве	238	883
У могилы Иоанна Кронштадтского	248	884
На чтении гг. Бердяева и Тернавцева	253	885
Загадки Гоголя.....	256	885
Гений формы (К 100-летию со дня рождения Гоголя)	266	888
<Л. Н. Толстой о юбилее Гоголя>	272	890
Ник. Ник. Бахметев (Некролог)	274	891
К. И. Чуковский о русской жизни и литературе	275	891
Новая книга о Гоголе	282	892
Русь и Гоголь	284	893
Мережковский против «Вех» (Последнее Религиозно-философское собрание)	285	893
<А. Г. Ковнер (Некролог)>	289	894
Памяти Поликсены Сергеевны Соловьёвой-Allegro *	290	894
Наши грустящие публицисты	292	895
Двухсотая годовщина Полтавского боя	294	895
На лекции о Достоевском	296	896
По следам книгопродавческого съезда	303	897
А. С. Белкин (Некролог) *	306	816 897
К истории одного книгопродавческого разорения	308	898
О психологии терроризма	311	899
Один из певцов вечной «весны»	315	816 900

Магическая страница у Гоголя	336	818	901
Что не принято в соображение при закрытии кассы взаимопомощи литераторов	370		903
Будущее кассы взаимопомощи литераторов	372		903
Между Азефом и «Вехами»	376	822	903
П. А. Кусков (Некролог)	384		904
А. Л. Волынский. «Ф. М. Достоевский. Критические статьи». Второе издание. СПб., 1909	386	823	905
Критик русского <i>décadence</i> 'а. А. А. Измайлов. «Помрачение божков и новые кумиры». Москва, 1910	390		905
Обидчик и обиженные	396		906
Под старость лет...	398		907
Академическое издание Кольцова. Академическая библиотека русских писателей. Выпуск I. Полное собрание сочинений А. В. Кольцова. Под редакцией и с примечаниями А. И. Лященко. Издание разряда изящной словесности	402		908
Полемические заметки	404		908
Погребатели России	408		909
Литературные заметки <О России>	410		910
Куприн	413		910
Потухшие огни *	415		911
Литературные заметки <О книге А. Котовича>	419		911
«Се человек»...	422		912
Красота-властительница	424		912
Героическая личность	426	824	913
Около науки и университета (По поводу 30-летия ученой службы В. О. Ключевского)	427		914
О письмах писателей	434		915
Как люди русеют	437		915
Толстовство и жизнь	440		915
На распутьях *	446		917

1910

Нужда веры и форма е е	449		917
Наш «Антоша Чехонте»	452		918
Как делали одного ученого...	457		918
Заблудились в трех соснах	458		919
Заветы быта и труда	461		919
Исторический «гений» Франции	464		920
О Тарновской	465		920
К пятому изданию «Вех»	471	824	921
Апрельская книжка. Дм. Кайгородов. «Наши весенние бабочки». С красочными таблицами и рисунками по акварелям с натуры Т. Д. Маресевой	478		922
<О пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты»> *	479		922
Галерея портретов русских писателей. Г. Пархоменко. Очерк	482		923

Рассказы И. Л. Щеглова	487	924
Амфитеатров	488	924
Виардо и Тургенев	491	924
В литературной прачешной... <Вл. Соловьёв>	497	826 925
Посмертный труд Генри Друммонда. Г. Друммонд. Идеальная жизнь. Сборник бесед. С портретом автора. Перевод с английского. Издание киевского религиозно-философского общества. Киев. 1910 г.	499	926
Молодые поэты	500	926
Среди газет и журналов <Брюсов и Пушкин>	505	927
Бедные провинциалы... ..	506	826 927
«Единое стадо» и неугомный волк	511	928
Посмертный том «Жизни и трудов Погодина» Н. П. Барсукова	518	929
Из литературных впечатлений. Очерки	525	930
I. В Религиозно-философском обществе	525	930
II. Константин Леонтьев и его «почитатели»	528	826 931
Алексей Степанович Хомяков. К 50-летию со дня кончины его (23 сентября 1860 г. — 23 сентября 1910 г.)	531	932
Избегнутая ошибка	540	933
О вещах бесконечных и конечных (По поводу несостоявшегося «отлучения от церкви» писателей)	542	934
Язычество и христианство в Ясной Поляне (К уходу Л. Н. Толстого)	546	934
Где же «покой» Толстому?	551	935
Кончина Л. Н. Толстого	551	827 935
Толстой в литературе	552	935
Гр. Л. Н. Толстой <1910 г.> *	555	936
Перед гробом Толстого	560	936
Речи в «Речи»	561	937
Л. Н. Толстой и Н. Я. Грот (Предсмертные мысли Л. Н. Толстого)	562	937
Литературные и политические афоризмы (Ответ К. И. Чуковскому и П. Б. Струве)	570	827 938
Усердствующий Митрофан	581	940
Жизнь и счастье	582	829 941
Толстой и крапивенские аборигены	583	941
Забытое возле Толстого... ..	586	942
Д. Шестаков. Исследования в области греческих народных сказаний о святых. Варшава, 1910 г.	590	942
А. П. Чехов	591	943
Пришвин *	599	944
Отлучение писателей *	600	945
<Возражение А. Г. Горнфельду о Н. В. Гоголе>	602	945

1911

Не верьте беллетристам... ..	605	945
К 40-летию литературной деятельности И. И. Ясинского	609	946
Убогонькие в истории *	610	829 947
Литературный террор	614	948

Письмо в редакцию <Струве и Пешехонов>	618	948
Литературные типы	619	949
Лучшая книга по средневековой истории (К воспоминаниям о М. М. Стасюлевиче)	620	830 949
«Цветословы» и риторы *	624	950
И. В. Киреевский и Герцен. К выходу 2-го издания Полного собрания сочинений И. В. Киреевского, в редакции М. Гершензона. 2 тома	626	831 951
Одна из замечательных идей Достоевского. Александр Закржевский. Подполье. Психологические параллели. Киев. 1911 г.	632	952
Новые события в литературе	639	953
Богатый и убогий	641	954
И шутя, и серьезно... ..	644	831 955
Первый дебют	646	832 955
Литературный род Соловьёвых	648	832 956
Об одном забытом человеке (Пропущенный юбилей)	656	957
Окончание «Писем Соловьёва»	658	833 957
Памяти В. О. Ключевского	661	958
Памятка о Ключевском	667	959
Памятки о В. О. Ключевском. II *	668	960
В. Г. Белинский (К 100-летию со дня рождения). 1 июня (30 мая) 1811 – 1911 года	671	960
Вековая годовщина (30 мая 1811 г. – 30 мая 1911 г.)	677	961
«Друг великого человека»	684	962
Памяти Ив. Леонт. Леонтьева-Щеглова	687	962
Неоценимый ум (К. Леонтьев. «О романах гр. Л. Н. Толстого». Москва. 1911 г.)	690	963
Французский труд о Влад. Соловьёве. Очерк	697	834 964
Еще два слова о С. Ф. Шарапове	705	965
Недоумения и недоумения... ..	707	836 966
Герцен	709	966
Религиозный «эклектизм» и «синкретизм» (Из воспоминаний о Влад. С. Соловьёве)	715	967
Чем нам дорог Достоевский? (К 30-летию со дня его кончины)	724	968
Десятилетие кончины Ф. Э. Ромера (8 августа 1901 – 8 августа 1911 г.)	730	969
«Магнитские» и Философов	731	970
Загадочная любовь (Виардо и Тургенев)	733	971
Л. Н. Толстой и русская церковь	741	837 971
Сочинения Юрия Феодоровича Самарина. Том четвертый. Москва. 1911. Стр. LVI + 558	749	973
«Отойди, сатана»	750	973
Оправданные надежды наших геростратов	752	974
К 100-летию пушкинского лицея (19 октября 1811 г. – 19 октября 1911 г.). К. Я. Грот. Пушкинский лицей. (1811–1817). Бумаги первого курса, собранные академиком К. Я. Гротом	753	974
О происхождении некоторых типов Достоевского (Литература в переплетениях с жизнью)	755	975
Из житейских встреч. К. М. Фофанов	775	838 977

Ломоносовские издания, современные его жизни	781	978
К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева (1891 — 12 ноября — 1911). Памяти Константина Николаевича Леонтьева. † 1891 г. Литературный сборник. С.-Петербург. 1911	785	839 979
Пятьдесят лет служения русской литературе	787	980
Юбилейное издание Добролюбова	788	839 980
Бляха № 101	790	980
Роковое в наследии Толстого... *	791	840 981
Тульская история (К истории и загадке Черткова) *	795	982
Проф. В. И. Герье и его труд о Французской революции *	796	842 983
«Мученики идеи...» *	800	983

ВАРИАНТЫ

Статьи 1908—1911 гг.

1908

О «русских богоискателях»	805
Поездка в Ясную Поляну	806
«Свои люди» поссорились	809
Домик Лермонтова в Пятигорске	809
На книжном и литературном рынке <А. Каменский>	811
На книжном и литературном рынке <Ч. Диккенс>	811
Одно воспоминание о Л. Н. Толстом	813
Памяти дорогого друга <О А. А. Кедринском>	814
О «народо» -божии как новой идее Максима Горького	814

1909

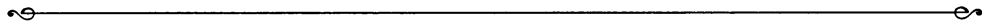
В Религиозно-философском обществе	814
Трагическое остроумие	815
А. С. Белкин (Некролог)	816
Один из певцов вечной «весны»	816
Магическая страница у Гоголя	818
Между Азефом и «Вехами»	822
А. Л. Волынский. «Ф. М. Достоевский. Критические статьи»	823
Героическая личность	824

1910

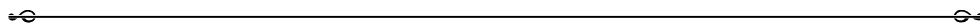
К пятому изданию «Вех»	824
В литературной прачешной... ..	826
Бедные провинциалы... ..	826
Константин Леонтьев и его «почитатели»	826
Кончина Л. Н. Толстого	827
Литературные и политические афоризмы (Ответ К. И. Чуковскому и П. Б. Струве)	827
Жизнь и счастье	829

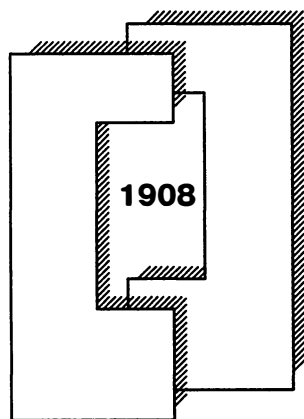
1911

Убогонькие в истории	829
Лучшая книга по средневековой истории (К воспоминаниям о М. М. Стасюлевиче)	830
И. В. Киреевский и Герцен	831
И шутя, и серьезно... ..	831
Первый дебют	832
Литературный род Соловьёвых	832
Окончание «Писем Соловьёва»	833
Французский труд о Влад. Соловьёве. Очерк	834
Недоумения и недоумения... ..	836
Л. Н. Толстой и русская церковь	837
Из житейских встреч. К. М. Фофанов	838
К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева (1891 – 12 ноября – 1911)	839
Юбилейное издание Добролюбова	839
Роковое в наследии Толстого... ..	840
Проф. В. И. Герье и его труд о Французской революции	842
Комментарии	843
Список сокращений	985
Указатель имен и названий	987
Список исполнителей текстологической работы	1055



СТАТЬИ
1908—1911 гг





О «РУССКИХ БОГОИСКАТЕЛЯХ»

В «Московск. Еженедельнике» кн. Е. Н. Трубецкого помещена интересная статья: «Русские богоискатели» известного философа-публициста-богослова Н. А. Бердяева. Тон ее грустный и жалующийся. Все это будто бы «непризнанные пророки в своем отечестве»... И мне хочется разобраться в этих мыслях.

«Русские богоискатели, начиная от Чаадаева, не были признаны ни обществом, ни... установленными курсами литературы». Таков его тезис. Мне кажется, для *трех* лиц он мог бы сделать исключение, — по крайней мере, что касается *признания* их обществом, историею и «курсами литературы». Чаадаев, Хомяков и Влад. Соловьёв. Особенно первый и последний имеют за собою обширное общественное и литературное признание, кроме таких исключений, которые можно принять за *quantités négligeables* *. Нельзя же падать в обморок от того, что Протопопов снискал себе энтузиастов-последователей, энтузиастов-поклонников. О Чаадаеве мне не приходилось прочесть в нашей литературе *ни одной* порицательной строчки. А похвал ему, удивления к его необыкновенному уму и таланту, я читал слишком много. Итак, признание есть.

Бердяев назвал сам ряд журналов, в которых эти «богоискатели» выразились и которые имели же читателей, хоть и не в составе многих тысяч. «Мир Искусства», «Новый Путь», «Вопросы Жизни» — все имели своих читателей.

Но Бердяев, конечно, прав, когда говорит, что общество — большое общество, масса его — не живет *интересами богоискания*. Этот факт нужно признать как простую очевидность. Но к нему нужно отнестись просто и рассудительно. Тут, мне кажется, не заключается никакой боли и опасения для богоискателей и богоискания; и общество совершенно право, что *теперь* и все время *прежде* не занималось или мало занималось этими темами. Человек сидит в погребе, а вы гневаетесь, зачем он не молится. Да он и не может молиться — *по состоянию своего духа*, во-первых; а во-вторых, потому, что в темноте погреба не может рассмотреть никакого образа, не знает, *куда молиться*. Будем просты и скажем ту житейскую истину, что мы с г. Бердяевым, положим, «богоискатели», не обедав в полдень, не напившись с булками чая утром и не зная, где поужинать, не станем в десятом часу ночи продолжать темы «Религиозно-философских собраний», а побежим к третьему приятелю, напр. тоже «богоискателю» Мережковскому, чтобы захватить у него чая с теплой булкой и по возможности бутербродов. Ученики Христовы, *при усталости*, спали в самую ночь предательства Его. Значит,

* величины, которыми можно пренебречь (фр.).

это — вечное, что человек «печется» о «хлебе», *во-первых*, т. е. о сумме физических условий бытия своего, и о вере — *во-вторых*. Не забывайте же, что мы здесь, на земле, находимся в условиях и обстоятельствах земного физического существования; и, так сказать, *планетному* часу бытия своего не только невольно подчиняемся, но обязаны ему и *религиозно поддаться* первенствующим образом. Я на земле ем и хочу быть свободен: и это есть моя святыня, святое *право* и святой *долг*, прежде алтарей и икон. Перепорхну я в другие условия бытия, — ну хоть звездные что ли (для примера) или чисто духовные и «небесные», как хотите и кто что выберет: тогда в этих других условиях я отдамся им всецело и буду, может быть, прежде строить алтари, а потом уже есть. Я хочу сказать ту простую вещь, или простое убеждение мое, что на земле еда, сон, не чрезмерная утомленность («8-час. рабочий день»), свобода и проч., и проч., и проч. суть *тезисы религиозной веры*, «члены» не меньше Никейского символа, и это с *Божеской точки зрения*, не с моей, не с антропологической. Бог послал нас на землю (в земные условия): будем покорны Ему, покорны этому часу своему, и отдадим земле все земное (земной свой час), порывисто, со страстью, *на первом месте*. Мне кажется, человечество не рассуждает об этом, но инстинктивно очень правильно *выполняет это*. Да, на этот XIX в. и, вероятно, весь XX век, «печной горшок» ему дороже и *должен быть дороже* и гимнов, и молитв. Перенесемся на практику: конечно, я любил «религиозно-философские собрания», и кто бывал в них — это видел; но после Цусимы какая мысль о них?! Когда я думаю о молодых моряках (сынах отцов своих, устлавших дно моря), — мне кажется, я проклял бы того или оттолкнул с отвращением, кто сказал бы: «Ну, что ж, уснули и уснули морячки, — а мы живы: давайте решать вопрос о теократии и об отношении в ней Первосвященника и Царя».

Человек не должен быть так бессовестен.

И моряки — наши братья. И они в «теократию» входят. Иносказательно в «теократию», *новую и настоящую*, не в слепок средневековой, — входит и свобода, и «хлеб», и освободительное, значит, движение, и голодуха прошлого года. Все входит. Всем место. И мы, «богоискатели», — должны быть способны и терпеливы, — и дожидаться того времени, когда придет *заключительный* час гимнов и молитв, алтарей и икон. Я думаю, весь этот век, последний век этого тысячелетия, уйдет, так сказать, на устройство «квартиры» человечества, в частности, европейского, христианского человечества. Все страшно мучительно. Наконец, все страшно унижительно для человека пока. Пусть устраивается, разбирается. Пусть *весь отдается земным условиям*. Да благословит Бог его труд, — и, верите ли, пока он не устроится, Бог благословит и самое забвение Себя человеку. Неужели Бог более эгоист, чем мы, и хочет только «алтарей» и «алтарей». Бог «в тайне и видит тайное». Шумихи Ему ненужно, в том числе и религиозной шумихи. Все приходит в тишине, само собою, вовремя. Будем ждать. Нужно уметь ждать. Придет час молитв, — придет час *религиозного ведения*: ну, вот тогда общество, в толще и массе своей, и отдается темам богоискания, интересу богоискания. Не нужно торопить время, — и особенно не нужно искусственно переводить вперед стрелку мирового циферблата.

НЕКРАСОВ В ГОДЫ НАШЕГО УЧЕНИЧЕСТВА

Вместо рассуждения о Некрасове мне хочется что-нибудь рассказать о Некрасове. И не о нем, собственно, а о том, как мы переживали его, — рассказ, который самому покойному поэту был бы наиболее из всех занимательным.

В 1875—78 гг. Некрасов не только заслонил Пушкина, но до некоторой степени заслонил и всю русскую литературу. Не стану разъяснять читателю, что это было вредно, и вообще не буду говорить с теперешних «зрелых» и отчасти, пожалуй, «перезрелых» точек зрения, а перенесусь к тем годам, когда мы мыслили, чувствовали и жили, конечно, «зелено», но необыкновенно свежо. Щедрина тогда читали (в «Отечеств. Записках») люди постарше: чиновники, учителя, вообще люди с бородой. Но Некрасова читали решительно все, начиная с учеников 3-го класса. Тут сказывается превосходство, в смысле легкости усвоения, стиха над прозой, стихотворения и песенки над рассказом и повестью. «Колыбельную песню» его, которую так осуждал в своих «серьезных» статьях г. Волынский, я, конечно, «не серьезный», в 3-м классе распевал-орал в своей учебной комнатке в Симбирске.

Будешь ты чиновник с виду
И подлец душой.
Провожать тебя я выйду
И махну рукой.

10

20

Доставляло удовольствие именно «орать» эту песню, громко, хотя бы в одиночку, без хора, что, конечно, было бы еще слаще... Тут было что-то «демонстративное», и читатель может представить себе, каким это маслицем текло по сердцу в 1873 г., когда я впервые, учеником 3-го класса, узнал это стихотворение и когда всюду сидели чванливые, гордые, недоступные чиновники, сидели такими мастодонтами, что, казалось, никогда и ничего их не сживет со света. Никто в то время и не надеялся «сжить», хотя бы в отдаленном времени, и вообще казалось, что «царствию их не будет конца». Ну, и тем слаще было орать:

Купишь фрак темно-зеленый
И перо возьмешь.
Скажешь: «Я благонамерен,
За добро стою!»
...Спи, чиновник, мой прекрасный!
Баюшки-баю!

30

Отдельные строки стихотворения били как в цель:

Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом,
.....
Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин

40

И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.

Я подчеркнул строки, которые сияли таким брильянтом перед нашим возрастом 14–16 лет; мы страстно ненавидели «дворян», хотя едва ли знали хоть сколько-нибудь близко пусть бы даже одного-двух дворян. Точнее — мы о них «хорошо очень знали», но как негр Бичер-Стоу о «земледельцах-плантаторах»: знали издали, отвлеченно, что «от них все зависит, и они всем распоряжаются», и ни малейше не надо видеть «их скверные рожи», чтобы знать, что все тяжелое, что нас давит (а что в ту пору не давило, — и действительно давило?), устроено их кознями и бездушием. «Дворянин», как сословный ранг Российской империи, нам был вовсе неизвестен и ни малейше не занимателен: он, как и для поэта, совершенно сливался для нас с «барином», т. е. «крупным человеком», общественно-видным, служебно-значительным... И вдруг этих «бар-дворян» поэт попотчевал:

И, крепонек лбом,
До хорошего местечка
Доползешь ужом...

Почему, — неизвестно, но в 14–16 лет мы все считали себя «умными», т. е. мы, действительно, жадно читали, о всем спрашивали (себя и «друзей»; изредка любимых наставников) и вообще *потенциально* (в обещании, в надежде) действительны были «умные». Но эту потенциальность мы переводили уже в актуальность, и нам казалось, что взрослые, которые действительно мало почитывали, а больше играли в карты, кушали и «служили» (область, нам вовсе неизвестная), неизмеримо менее умны, т. е. развиты и одухотворены, чем мы. Некрасов своим «крепонек лбом» и «ударил по сердцам с неведомою силой», по нашим 14–16-летним сердцам, гордым и упоенным, восторженным и высокомерным! О, читатель. Теперь-то эти строки уже затасканы, давно известны и проч., и проч., и проч. Но ведь *она когда-то в первый раз сказались, первый раз были услышаны!* Вот чего не оценил Волынский, который при всех способностях «логического суждения» имеет тот изъян в себе, что уже родился старичком и потом, по недосмотру, вместо материнной груди все сосал пузырек с чернилами.

Я заметил, что «дворяне» и «баре» путались для поэта, *как и для нас*. Одной из причин широкой и необыкновенно *ранней усвоимости* Некрасова было то, что он называет вещи необыкновенно широкими именами, говорит схемами, категориями, именно так, как говорит толпа, улица, говорит простонародье и говорят дети. Поди путайся в кружевной паутине социальных разграничений Толстого, в точности наблюдений Тургенева, да даже и Щедрина, где уже «действительный статский советник» говорит немного иначе, нежели «статский советник». То, что восхищает взрослого, было совершенно непонятно нам по простой неизвестности для нас мира в его *подробностях*.

Возвращаюсь к «Колыбельной песне». Ну, и что же? Будто Некрасов не сказал за пятьдесят лет ранее то самое, чем сверху донизу гудела русская печать в месяцы и целый год или два перед 17-м октября, когда слова «бюрократ» и «бюрократия» стали бранными, просто и кратко бранными, даже на языке де-

тей лет 10–11. Об этом писали, — именно о том, что «бюрократом» ругаются даже дети и что дети говорят по губерниям и уездам: «Когда же начнут *выводить* бюрократов?» «Выводить» бюрократов. Раньше писатели более сложной и утонченной души, от Фонвизина и Капниста до Гоголя и друг., все же ждали «пробуждения совести» в бюрократе или чтобы его извне как-нибудь «преобразовали»... Некрасов сказал прямо: «Вон». Опять это было гораздо проще, решительнее и короче, и, в сущности, не *повторяла ли* его крика история, тоже придя к идее «вон», а не «преобразования»?..

Суть *бюрократа* заключается в безответственности и бесконтрольности его в отношении к *среде*, в которой он работает, в отношении *людей*, над которыми работает. Как его «преобразовать», «пробудить»? Да, очевидно, поставить в *ответственное положение* перед людскою средою! Только это! Но это, очевидно, и значит «вон» по отношению к принципу бюрократизма, по отношению ко всей толпе бюрократов.

«Грубая» муза Некрасова, наше ребяческое понимание и представление дела и окончательный приговор истории сошлись! Все три «не хитрили» и сказали простую и ясную правду.

Пошел 1874 год. Я переехал из Симбирска в Нижний Новгород. Совсем другой город, другое обличье обывателей, совсем другой дух и нравы гимназии. Как ни странно этому поверить, — главным источником различия была «близость столицы» (Москвы), до которой от Симбирска, казалось, «три года скачи, — не доскачешь»... Что такое «столица» была в нашем представлении? Место, средоточие, где «все делается», «все думается раньше других мест России», где ужасно много «тайного», «скрываемого и уже решенного, но что пока никому неизвестно»... «Столица» нам представлялась почему-то строящею заговоры и ковы, о смысле которых провинция была обязана догадываться по невещественным признакам и согласовать свое поведение и образ своих мыслей с этим молчаливым заговором. Иначе была «измена»... Передаю эту отроческую психологию, потому что, вероятно, и многие ее пережили, кто проводил молодость в провинции. Из нее объясняются неудержимый приток учащейся молодежи в «столицы», переполнение столичных университетов и пустование провинциальных... В каждом понятно стремление физически приблизиться к месту, с которым *духовно* он и ранее был больше связан, чем с соседнею улицею своего города; понятно любопытство поспешить туда, «где все делается и задумывается», тогда как люди зрелого и старого возраста, которым чужды эти миражи молодости, служат и живут с равным удовольствием в столицах, как и в провинции...

Другой дух жил в Нижнем, но в *одном* он сливался с Симбирском. И здесь также Некрасов заслонял всю русскую литературу. Толстого читали мало, а Достоевского совсем не знали. Знали по имени и отдаленно слышали, что это «что-то замечательное», но никто не любопытствовал, в чем заключалось это «замечательное»... Первый роман Достоевского был прочитан мною уже в 6-м классе гимназии, тогда как Некрасов весь был «родной» мне уже с 3-го класса. Кто знает фазисы отроческого и юношеского развития и как быстро чередуются они, как быстро здесь человек зреет, — поймет великую разницу в знакомстве и любви с 13 лет и в знакомстве и любви с 17 лет! Разница воздействия здесь неизмерима!

Отчего Некрасов мне, да и всем, кого я знавал, становился с первого знакомства «родным»? Оттого, что он завязывал связь с *ущемленным* у нас, с болеющим,

страдальческим и загнанным! Это было наше демократическое чувство и социальное положение. Все мы, уже в качестве учеников, были «под прессом», как члены семьи, мы были тоже «под прессом». Семья тогда была суровее сложена, чем теперь, была суше и официальнее. Между «отцами и детьми» не было того товарищества, какое так заметно разлилось в последние пятнадцать лет и росло в глубокой связи с вообще «освободительным движением», которое у нас было гораздо более культурно, чем политикою. Теперь невозможно было бы появление «Отцов и детей» Тургенева, — было бы бессмысленно и неправдоподобно: частность, на которую не оглядываются и которая одна искупает все «грехи» освободительного движения, какие ему приписываются или у него есть...

10 Как известно, Некрасов не был человеком высшего образования, а среднего. Великий ум его, великое здравомыслие и чуткость сказались в том, что он всю симпатию свою положил не *вперед*, до чего он не дошел, а *назад*, что он прошел... Прошел, видел и ощутил. Отсюда поэзия его налилась соком действительности, реализма и вместе получила крайне простой, немного распушенный вид. Он брал темы «под рукой», а не «издали», и обращался с ними «запанибрата», а не «с почтением». Это и образовало дух его поэзии и даже выковало фактуру его стиха, немного распущенного, «домашнего», до известной степени «халатного». Все это было так ново тогда! И до сих пор в этих чертах своих он не превзойден ни одним поэтом.

20 Ямщик говорит о жене своей, крестьянке родом, но которая была взята «в компаньонки» к барской дочке:

В барском доме была учена
 Вместе с барыней разным наукам,
 Понимаешь-ста, шить и вязать,
 На варгане играть и читать —
 Всем *дворянским манерам и штукам*.
 Одевалась не то, что у нас,
 На селе, сарафанницы наши,
 30 *А примерно представить — в атлас;*
 Ела вдоволь и меду, и каши.

Таким тоном никто до Некрасова не говорил, не описывал. И до чего этот тон восхитил нас! После таких строк стало прямо невозможно, нестерпимо читать «демонические» строфы Байрона, да и своего Лермонтова; после них «простонародность» Пушкина, например, в «Сказке о царе Салтане», показалась деланною, ненатуральною. В «Сказке о царе Салтане» виделся барин, погружавший себя в народность, в интерес и любовь к народному, хотя бы и гениально; у Некрасова хотя и без гения, но зато заговорил *сам* народ; точнее — поэт *сам*, *лигн*о заговорил как русский простолюдин, языком, прибаутками, юмором крестьянина, рабочего, наборщика, солдата и проч. Крестьянина, работавшего у подрядчика, этот подрядчик обсчитал. Тот заспорил, — он его выгнал в толчки... Восемь недель затем обсчитанный «не заставал купца дома» и в конце узнал еще, что бывший хозяин его же привлекает в суд за дерзкие слова. Парень совсем вне себя:

Наточивши широкий топор,
 «Пропадай», — сам себе я сказал;
 Побежал, притаился, как вор,
 У знакомого дома, — и ждал.
 Да прозяб, — а напротив кабак;
 Рассудил: отчего не зайти?
 На последний хватил четвертак,
 Подрался и проснулся в части...

И за рассказом нравоучительно прибавляет:

Не водись-ка на свете вина, —
 Натворил бы я бед.

10

Тут нужно обратить внимание на чувство меры: Некрасов не старается подделывать народную речь до последней степени сходства, как и не усиливается копировать народную психологию. Кисть его, речь его свободна и «мажет» с теми видоизменениями, с какими народная психика и речь отразились и несколько преобразились в его душе, и городской, и интеллигентной. Говорит-то он, Некрасов, и нигде это не скрыто; он нигде, как описатель, не ставит себя в сторону, не затеняется, не устраняет себя: из описаний и тона речи этот прием «объективных художников» совершенно чужд ему, и не потому, что он лирик и писал стихотворения, а потому, что он нигде не хочет делать над собою усилия, «ломаться»; не хочет этого даже в мелочах, в приемах письма. И это, конечно, народно! ²⁰

Некрасов был настоящим основателем демократической русской литературы, — демократической и демагогической по естественному сочувствию к положению народа. Эту демократическую и демагогическую струю в себе он охватил не одно крестьянство, хотя его преимущественно, но и все другие сферы простонародного положения и труда. И этим он резко отделился от «художников» Григоровича и Тургенева, о которых всегда можно было думать, что они относились к крестьянству как к свежему полю наблюдений и живописи, конечно, любя его, однако смешанною любовью живописца и филантропа, а не «кровно», вот как себя или своего. В этой формуле, нам кажется, заключено все значение Некрасова, и от этой его *сущности* (демократия и демагогия) проистекло все его огромное, поистине неизмеримое влияние. Без Некрасова весь *вид* русской литературы и *дух* русского общества был бы другой; приблизительно, может быть, «в этом же роде», но и не этот самый, какой *есть* теперь, не в этих *красках* и *тонах*. ³⁰

Двое из нижегородских педагогов имели гимназистов родственников, а один надзиратель, памятный Василий Максимович Шундииков, держал у себя несколько нахлебников гимназистов. Все это были ученики 4-го, 5-го и 6-го классов. Соединенные одним коридором, по которому расположены были все учительские ⁴⁰ квартиры, или разделенные только этажами (Шундииков жил высоко «наверху», кажется, в 3-м этаже здания), — естественно, все эти ученики были очень близки

между собою. Физические шалости и озорство нас не привлекали, и мы решили между собою «собираться и читать поэтов». Сегодня решено, а завтра сделано. В ближайшее же воскресенье, после завтрака, мы собрались в один из пустых классов, которые все помещались во 2-м этаже (не считая подвального, где жили многочисленные семьи гимназических сторожей и помещались кухни учителей). Я захватил с собою один из 4-х (если не изменяет память) томов Некрасова из отличной литературной библиотеки покойного брата-учителя, и мы, усевшись на партах, сидя, развалясь и почти лежа, предались «музам»... Что читали, — не помню. «Подчеркнутого» и «тенденции» никакой не было. Ну, конечно, мы все
10 были демократы, и Некрасов был весь демократичен; «правительства», т. е. учителей гимназии и директора гимназии, мы, конечно, не любили, но все это лежало в нас как-то безотчетно. «Просто так рождаются люди». Стихи лились, мы смеялись и даже не курили.

Вдруг оранье... Ну, конечно, сперва распахнулась дверь, и влетевший в нее Василий Максимыч, потрясая длинными волнистыми волосами, кричал на нас самым неистовым образом...

Мы были учениками старшей половины гимназии, а Василий Максимович, как надзиратель, естественно, имел в своем обладании и беспрекословном подчинении только младшую половину гимназии. Поэтому мы, не чувствуя решительно никакой вины в себе, не оказали ему, по крайней мере, сразу повинования:
20

— Да что вы, Василий Максимович! Мы читаем Некрасова. Отчего же нам не читать Некрасова? А что пришли сюда, то оттого, что дома тесно и там мешают дети и взрослые, т. е. мы бы им помешали, а здесь просторно!

Не говоря ни слова, он повернулся. А через две минуты влетел еще распаленнее:

— По Высочайшему повелению... Слышите, по Высочайшему повелению строжайше запрещено ученикам гимназий обставлять ка-ки-е бы то ни было общества!!

30 Гром так и гремел.

Как я теперь понимаю, этот Василий Максимович был добрейшее и простейшее существо, «истинно-русский человек» без дурного оттенка, какой придан этому выражению политикой последних лет. Он не был зол, хитер, а только до чрезвычайности озабочен своею действительно каторжно-трудною службою: стоять с минуты появления первого ученика в здании гимназии до выхода последнего ученика из нее в центре огромной толпы из пятисот человеческих существ и все это время, от 8 часов утра до половины четвертого вечера, безостановочно следить, чтобы в ней ничего не произошло особенного, исключительного, вредного, постыдного, дурного, опасного для здоровья, нравственности и вообще
40 всяческого «благополучия» учеников, как равно ничего вредного для «благополучия» гимназии. Он наводил это «благополучие» и «благополучие» на гимназию, как сапожник наводит ваксою «блеск» на сапог. Каким образом среди этой адской службы, тянувшейся 25 лет (он уже дослуживал свой «срок»), он не сошел с ума, не обозлился, не возненавидел гимназистов, да и вообще «все», и прежде всего, как он не оглох от безостановочного гама и шума, — я не знаю, но он был совершенно ясен душою, шутлив во всякую минуту возможного отдыха

и тишины, добродушен, благожелателен, и за себя, по крайней мере, никогда не сердился и не обижался. Иное дело — «служба» и «исполнение обязанностей».

И этого-то человека, коего благодушие и незлобия в нас не было и сотой доли, мы полуненавидели, полупрезирали, считая его грубым, сердитым и недалеким. «Грубым и сердитым» — за то, что он «орал», хотя какой же другой был способ говорить или вообще сделать себя слышным среди пятисот душ человек, из которых каждый тоже приблизительно «орет» и, во всяком случае, никто ни малейше не старается говорить тихо... Вечная память ему! — уже давно, конечно, умершему...

— Да какое же «сообщество»?!! Мы читаем Некрасова...

10

— Не рассуждать!

— Да как же «не рассуждать»...

Он щелкнул пальцем по бумаге:

— Тут сказано: «никакие сообщества», в том числе и «литературные чтения»...

Потрудитесь разойтись!..

— Да мы идем, идем! Не понимаем: читали Некрасова, — и нас гонят!

— Не рассуждать!

Что мы читали Некрасова, — он не подчеркнул. Вообще, он был вовсе не политик (лучшая черта во всяком педагоге) и только «наводил глянecь» на гимназию, не допускал с нее снять «шаблона», следил за «установностью» и порядком, не вмешиваясь в «как», «что» и «почему», что знали люди «старше» его, директор и попечитель округа... «Министр» тогда никому не приходил и в голову: это было так далеко и страшно... «Министр, из самого Петербурга, никогда и никому не показывающийся». Он был похож для нас на что-то вроде электричества, которое все приводит в движение и которое убивает неосторожного... Мы о нем никогда не думали.

20

Не помню, тогда ли же узнал я или значительно позже, что «Высочайшее повеление», на которое сослался Василий Максимович, действительно было: оно было издано после знаменитого «обнаружения политической пропаганды в 77 губерниях и областях», — т. е. приблизительно во всей России, плодом какового «обнаружения» и были всюду начавшиеся «репрессии», «усугубление надзора» и «строжайшие запрещения» собираться под какими бы то ни было предложениями. Вся эта «строгость» шла по поверхности, будоража ее, создавая в ней «неудобства» и жесткости, с ропота на которые и начинается «политика» в каждом, и, само собою, ни малейше не задевая того тихого и глубокого слоя, где двигалась «пропаганда». Как и во многих случаях, почти всегда, вступившие в борьбу с «пропагандою» и «увлечениями» не знали самого *вида* того, на борьбу с чем они ополчились. «Чудовище» им представлялось громким, скандальным, дерзким, хватающим чуть не на улице души людей и бросающим их с дубиною, с заговором, с пистолетом на «предержавшие власти», на самого «его превосходительство»... Между тем как оно ползло, кралось, обвивало все собою в тихих уединенных беседах с глазу на глаз, в «признаниях» друзей, в шопоте невесты и жениха, в грезах, в снах юношей, девушек, невиннейших по поведению, самых тихих и кротких лицом, в безропотных, в терпеливых... «Революцию» принимали за каскадную певицу, тогда как она была монахиня. Оттого ее не узнали и «не нашли»... Говорю о последней четверти XIX века.

30

40

* * *

Некрасов весь и пламенно был мною пережит в гимназии, и в университете я уже к нему не возвращался. Я думаю, во всяком человеке заложены определенные слои «возможных сочувствий», как бы пласты нетронутой почвы, которые поднимает «плуг» чтения, человеческих встреч или своего жизненного опыта, особенно испытаний. Никогда не бывают подняты сразу два слоя: лежа один под другим, они как бы охраняют друг друга; каждый слой, который пашется, и чем энергичнее он пашется, тем лучше он сохраняет абсолютный сон, «девство» и «невинность» последующего слоя. Вот перед вами позитивист, яростный, «страшный»: не бойтесь — в нем же скрыт глубокий и нежный мистик, но только еще ему не пришла «пора», — не тронут плуг чтения, впечатлений, встреч житейских этого слоя... Но только общий закон этих «слоев» заключается в том, что не пашется дважды один и тот же слой, и, например, отдав «все» позитивизму в один фазис жизни, уже нельзя вернуться к нему вторично; равно, «пережив» мистицизм и выйдя потом на свежий холодок, положим, рационализма, — уже не станешь никогда опять «мистиком»... «Перепахивания слоя» бывают очень редко у богатых и очень долго живущих натур: и то они дают в «осеннем цвете» своим только «обещания плода» или тощие всходы. Зорьки без электричества.

В университете меня, «беспочвенного интеллигента», захватила «сила быта»... Не могу лучше формулировать своих новых увлечений. И удивительно, какая, в сущности, ничтожная книга была толчком сюда. Это — «В лесах» Печерского. Я вечно *рассуждал*, а тут жили. Я вечно носился в туманах, в фикциях, в логике, а тут была «плоть и кровь». Потап Максимович, «матушка Манефа», «сестрица Аленушка» и вплоть до плутоватого, скромного регента — все, все мне нравилось, меня тянуло к себе просто тем, что «вот люди *живут*», тогда как я, в сущности, никогда *не жил*, а только мечтал и соображал двадцать лет. Где «быт», там и «старинка», а где привязанность к «старинке», там и невольный, несознательный, лучший консерватизм, выражающийся, в сущности, в одном пожелании: «Оставьте меня жить так, как я живу»...

Я стал в университете любителем истории, археологии, всего «прежнего»; сделался консерватором. Уже Хомяков для меня казался «отвратительным по новизне» и вечному «недовольству тем, что есть». Потап Максимыч из «Лесов» — вот это другое дело. С ним мне и моему воображению, моим новым «убеждениям» жилось легко, приветно. Я весь был согрет и обласкан его эстетикой. Даже его недостатки: умственная недалекость, полное невежество, торговая плутоватость — меня нимало не отталкивали: все это было так *стильно!*

Одну зиму я проводил где-то в студенческом уголке Москвы, помнится, около Бронной. Мы жили вдвоем с товарищем, К. В. В-ским. Занимали небольшую комнату со столом. Где-то по коридорчику жил огромный и радикальный студент-медик, совершенно бестолковый, даже (судя по некоторым спорам) тупой. Но в одном случае, которого до сих пор я не могу забыть, этот-то бестолковый радикал и оказался сердечнее, добрее всех нас, эстетических и утонченных консерваторов. Рядом была комнатка «больше не служащего» фотографа, т. е. которому отказали от места. По утрам и он куда-то уходил и явно пьянствовал, потому что часу в 10-м ночи являлся домой неизменно «навеселе», и тут разыгрывал

на гитаре такие арии, что душа плакала. Никогда такой простой и чудной выразительности в музыке я потом не слышал. Восхищенный игрою его, я раз не утерпел и вошел в его комнату познакомиться: на стуле, с гитарой в руке, сидел молодой, лет 28-ми, красавец, с тонким, благородным, немного женственным лицом. У хозяйки он не столовался, а только занимал комнату, и не платил. Хозяйка же не была в силах с него взыскать, потому что была влюблена в него.

Это была еврейка-христианка, лет 38-ми, небольшая, некрасивая, с веснушками по лицу и, кажется, со следами оспы. Она кой-как сводила счета, уравнивая наши уплаты, недоплаты и иногда ей *лигно* «переплаты», — со стоимостью провизии и ценою всей «сборной» квартиры. Очевидно, она имела квартиру и «щи» около жильцов, так же мало привередливых, как и сама. Была она вдова, а мальчик ее, лет 9-ти, где-то воспитывался на стороне у «благодетелей», кажется, у крестного ее отца. Вообще же она была какая-то безродная. Скорей веселая, чем скучная. Ни малейше не скупая. И, кажется, совершенно преданная своим жильцам. Об этом сужу по одному случаю, который и связывается в моей памяти последнею связью с Некрасовым.

По коридорчику у еврейки жили и еще какие-то жильцы, которых я не знал и не замечал, не имея к ним никакого отношения. Вдруг товарищ по комнате с большими предосторожностями сообщает мне, притом не дома, а на улице, идя вместе в университет, конфиденциальную новость.

— В квартире нашей поселился агент тайной полиции. То-то он все старается заговорить со мной о том, о сем, а прошлую неделю навязался ехать вместе в баню и по дороге все высказывал свои восторги к Некрасову, к его «страданию за народ», и, очевидно, на почве и моего ожидаемого восторга думал выудить из меня кое-что для себя полезное. Все ругал правительство и говорил, как трудно живется мужику. Хорошо, что я молчал или равнодушно мурлыкал себе под нос. Хозяйка на днях вызывает этого студента-медика, такого нелепого, и, вся трясясь от страха, говорит ему: «Ради Бога, будьте осторожны и не заводите никаких споров по коридору. Новый жилец наш, что поселился рядом с вами, — из тайной полиции. Когда поутру все жильцы ушли на занятия и я осталась одна, он позвал меня в свою комнату, открыл ящик, показал пистолет и сказал, что он имеет право застрелить меня как собаку, без ответа и без суда, и застрелит, если я хоть одним словом выдам жильцам, что он агент полиции».

Почему этот агент мог предположить, что хозяйка «откроет», кто он (может, по паспорту? — едва ли у агентов обычные «откровенные» паспорта!) — я не знаю. И вообще не знаю ничего, что из этого вышло. Сам я был настолько «благонамерен» в своем археологическом энтузиазме, что мне и в голову не приходило чего-нибудь бояться. Поэтому полицию и всю полицейскою стороною жизни я нисколько не интересовался. Но мы тут же подивились героизму нашей хозяйки. По испугу судя, она нисколько не сомневалась, что «incognito», действительно, имеет полномочие застрелить ее, если только она выдаст его, — и тотчас же и бежала и выдала, только чтобы предупредить опасность для жильцов, которых сегодня знала, а завтра не будет знать и никогда не встретит! Что ей они? Почему же она их жалела? Ради чего сторожила, берегла? Между тем весь ее культурный рост был такой низенький, что, — не впадая в профессию, отнюдь нет! — изредка она получала «рубль в руку» за такие услуги собою, о каких надо предо-

ставить читателю догадаться. Что это было: распущенность, свой «темперамент» или действительно нужда в рублях, в двух рублях, — и до сих пор не умею разобратъ! С этой стороны никто о ней не говорил, и вообще она представлялась женщиной «ничего себе, без жеманства», но и без дурных прибавлений. Вот и подите, разберите природу человеческую, и отделите тех, кто «честен», от тех, кто «нечестен». Сколько «безукоризненных женщин» пальцем не шевельнули бы, чтобы, рискуя собою, отвести беду от другого, а эта хоть, может быть, и ошибочно, по своему неразумению, знала, думала, что идет на страшную реальную опасность, отводя от других только возможную опасность.

¹⁰ Одну ночь она, бедная, скулила подлинно как собака. Болели зубы. Болели так, как умеют болеть только зубы. Плач то заглушался, то вырывался из ее комнаты. Всем было жалко. Но все «колебались» и «не знали, чем помочь», — как всегда бывает у русских. Идет двенадцатый час ночи, — скулит. Бьет час, — скулит. Наконец, часу в третьем раздалась стоны, беспомощные, жалкие, отчаянные. «Ну, что же делать? Что делать в третьем часу ночи?» — думали мы и, верно, все жильцы. Вдруг кто-то закричал, забасил и завозился. Послышались сборы, стук двери, — вышли. Это наш медик встал, оделся и повез ее к доктору. Хоть и «неприлично было в 3-м часу ночи», чему все и конфузились, собственно, но он оттолкнул *лигный конфуз*, чтобы избавить от непереносимого страдания хозяйку, до которой ему приблизительно так же не было никакого дела, как и ей до него в политическом отношении и в деле охраны. «Так, по-человечеству» поступили оба. И, верно, забыли. Но мне помнятся оба эти случая.

С Некрасовым у меня связалось это воспоминание потому, что, как читатель видит, уже сейчас же по его смерти поэзия его стала «пробным камнем» для испытания политической благонадежности или неблагонадежности. «Сочувствуешь Некрасову, — значит, сочувствуешь «угнетенному народу» или «воображаешь народ в угнетении», и, значит, «способен на всяческое, — ищи дальше»... Напротив, кто равнодушен к поэзии Некрасова, или, особенно, враждебен ей, о том правительство полагало, что этот субъект не составит для него хлопот. Это характерно, и, во всяком случае, это в истории следует запомнить. Любопытно, отчего таким «критериумом» не выбирался, например, Щедрин, не выбирался Михайловский? Мне думается, оттого, что Некрасов был лирик, а не «рассуждал», как те два, и, во-вторых, что он давал схемы, шаблоны, как бы строил «общепроездные рельсы». Именно в силу *общности* своей и невнимания к частностям, к подробностям, к «узору» жизни и человеческих физиономий, он толкал всю массу нашего русского общества в известную сторону, «нежелательную» для режима, и притом «лирически» толкал, т. е., в сущности, мучительно звал, призывал, требовал, откуда уже родилось *действие*. Он «мучил сердца», как чародей-демагог, а из «измученного сердца» всегда рождается поступок.

⁴⁰ Вот отчего через 30 лет по его смерти земля русская должна низко поклониться в сторону его могилы. И, может быть, наше время — такое, что поклон будет особенно выразителен, да и голова опустится пониже.

ВЯЧЕСЛАВ СИЛЬВЕСТРОВИЧ РОССОЛОВСКИЙ

(Некролог)

Умер Вячеслав Сильвестрович Россоловский, сотрудник «Нов. Врем.» с самого основания газеты (со времени издания ее еще гг. Устряловым и Трубниковым), писавший постоянно и много на ее столбцах, хотя редко выставивший под статьями свое имя. Обладая живым и отзывчивым умом и сердцем, задорный без злобы, полемист без мелочности и самолюбия, он был одним из тех мало заметных для публики, необходимых внутренних колес, силою и сцеплением которых идет громадное дело большой политической газеты. Уроженец гор. Казани (родился 7 января 1849 г.), он был происхождением татарин, как Бабст и Киттары, но татарин уже православный. Окончил курс в Петербургском университете по юридическому факультету. Вся его жизнь была положена на литературу или, точнее, ушла в газетное дело, где искусство пера так неотделимо переплетается с чисто техническими качествами неустанного и разнообразного работника. В этом отношении он был незаменимым сотрудником, между прочим, по чрезвычайному разнообразию вопросов и сторон жизни, которые волновали его душу и занимали ум. Поэтому он писал на множество тем, начиная от музыкальной критики и кончая политическими обзорами, военными корреспонденциями и статьями о спиритизме, гипнотизме, загробном мире и проч., и проч.; последнее — предмет его особенного внимания и интереса. Центр его деятельности падает на время турецкой кампании, когда он был два месяца корреспондентом на полях Болгарии, был под Плевной и на Шипке. Там сложился и его культ М. Д. Скобелева. Как это нередко случалось с людьми татарского происхождения, он был пылкий русский человек, горячий заступник за все русское и за всех русских перед напором иностранной или инородческой требовательности и притязательности.

В этой русской части своих убеждений он был неуступчивым человеком, едким полемистом, смелым наездником-нападателем. Он громил немецких академиков в Петербургской академии наук и еврейских и греческих процентщиков в южной России и юго-западной нашей Палестине. Но задорный публицист, он был кротким и тихим явлением в домашнем быту и ежедневной работе. Товарищи по газете с глубоким прискорбием провожают в могилу этого благородного и ясного русского человека, помня всегда участливое и милое отношение его ко всем, кого судьба ставила рядом с ним по писанию ежедневных обзоров, всевозможных заметок, откликов на события, по выпуску номеров газеты. Упомянув о последнем, мы должны сказать, что иногда в летние месяцы все дело по выпуску газеты возлагалось на него. Полный множеством публицистических забот и теоретических интересов, он не имел ни досуга, ни интереса вносить в дело мелкие предрассуждения своего «я», и эта чистота его рабочей личности делала легким сотрудничество с ним. Он пользовался всеобщее любовью окружающих, сам любил их; и в меру возможного был счастлив и во всяком случае удовлетворен этою гармонией внешних и внутренних отношений. Последние два года он много хворал и собирался переходить от городского шума и суеты к спокойной жизни сельского обитателя. Но смерть скосила его. Прощай, милый товарищ и редко добрый человек!

Л. АНДРЕЕВ И ЕГО «ТЬМА»

...Наконец я одолел почти месячную антипатию и прочел давно рекомендованную мне новую «вещь» Леонида Андреева — «Тьма», помещенную в кн. III альманаха «Шиповник». Кажется, ее прочла уже вся Россия и вся печать о ней высказалась.

«Вещь» написана гораздо лучше, чем «Иуда Искариот и другие». Автор стоял здесь гораздо ближе к быту, к нашим дням, и фантазия его не имела перед собою того простора «далекого и неведомого», в котором она нагородила в «Иуде» ряд несбыточных и смешных уродливостей. Затем, все письмо здесь гораздо менее самоуверенно, оно очень осторожно: и, напр., почти не встречается прежних его «пужаний» читателя — самой забавной и жалкой черты в его писательской манере. Вычурностей в польско-немецком стиле меньше, и они лежат не страницами, а только попадают строчками. Напр.:

Таким же быстрым и решительным движением он выхватил револьвер, — точно улыбнулся чей-то черный, беззубый провалившийся рот...

Или:

Закрыв ладонями глаза, точно вдавливая их в самую глубину черепа, она прошла быстрыми крупными шагами и бросилась в постель, лицом вниз.

Все эти напряженные, преувеличенные сравнения напоминают собою живопись польско-русского художника Катарбинского. И вообще в литературе, я думаю, Л. Андреев есть русский Катарбинский. Та же аффектированность. Отсутствие простоты. Отсутствие глубины. Краски яркие, кричащие, «взывающие и поющие» — не от существа предмета и темы, а от души автора, хотящей не рассуждать и говорить, а удивлять, кричать и поражать. «Катарбинский! Катарбинский», — это шепталось невольно, когда я смотрел «Жизнь человека» в театре г-жи Коммиссаржевской.

«Тьма» подражательная вещь: темы ее, тоны ее — взяты у Достоевского и отчасти у Короленки. Встреча террориста и проститутки в доме терпимости и философски-моральные разговоры, которые они ведут там, и все «сотрясение» террориста при этом, — повторяет только вечную, незабываемую, но прекрасную только в одиночестве своем, без повторений — историю встречи Раскольникова и Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании». Но какая разница в концепции, в очерке, в глубине! У Достоевского это вовсе не «один разговор, решивший все», как это вычурно и неестественно сделано у Андреева: там дана — случайная встреча, но поведшая к основательному ознакомлению двух замечательных лиц друг с другом, к сплетению в одну нить двух поразительных судеб человека. Не явись Соня Мармеладова на фоне своей разрушающейся семьи, не послушай Раскольников предварительного рассказа-исповеди ее отца в трактире, не ознакомься с ее младшими сестренками и с чахоточной мачехой — ничего бы и не произошло: Раскольников и Соня прошли бы мимо друг друга, не заметив один другого. Наконец, встреча эта потому так вовлекла в себя душу Раскольникова, что весь кусочек социальной жизни, увиденной им так близко в горячем жизненном трепете, — как бы налил соком и кровью его теории, дотеле бледные и отвлеченные. У Достоевского все это вышло великолепно, многозна-

чительно... И вполне было отчего потрястись от этого романа и России, и европейской критике, и читателям. Но Л. Андреев со своим «Лодыжниковым», который из Берлина ожидает запросов о переводе его новой «вещи» на все языки мира, где есть какие-нибудь законы, — о чем хвастливое уведомление он помещает в «Шиповнике», как помещал его в сборниках «Знания», — взял из художественной картины Достоевского только олеографический очерк, встречу проститутки и идейного человека, и написал рассказ, в котором поистине нет ни значительности, ни интереса, ни правдоподобия. Сыщики, гоняясь за террористом «Петей», загоняют его в дом терпимости. Там есть проститутка Люба, красавица, одетая в черное, которая пять лет дожидается прихода «настоящего хорошего человека», чтобы возвестить ему одну истину. Прежде всего террорист, желая только укрыться и выспаться, никак не пошел бы в самый шикарный в столице такой дом: он пошел бы непременно в «демократическое учреждение», каких было в этом переулке много (см. о взяточничестве «с этих домов» участкового пристава, который арестовал Петю). Но в «демократии» не встречается проститутки, одевающих в черные платья на шелку, — и тогда что же вышло бы у Андреева—Катарбинского? Это Достоевский одушевлялся бедностью, нищетой, рубищем; а Андрееву, у которого в Берлине сидит «Lodyschnikoff», темы эти не понятны, не чувствительны, и для занимательного разговора ему нужна проститутка, одетая как монахиня. Взявшись под руку, они остановились перед громадным зеркалом в золоченой раме: ¹⁰

«Как жених и невеста!» — подумал он.

Но в следующую минуту, взглянув на черную, траурную пару, он подумал:

«Как на похоронах!».

Все эти-то копеечные эффекты: «свадьба — похороны», «жених с невестой — террорист с проституткою» и волнуют неглубокую водицу андреевского воображения...

—Ну, как моя цыпочка? Пойдем к тебе, а? Где тут твое гнездышко?

Таким противным, лакейским языком завсегдатая домов терпимости мрачный террорист «Петр» приглашает Любу «к исполнению обязанностей», т. е. отправиться к ней в комнату из общей залы. ³⁰

Здесь происходит ряд неестественностей. Несмотря на то, что Люба пять лет ждала «настоящего хорошего человека», чтобы поведать ему ту нравственную «Америку», какую она открыла, она предварительно бьет террориста по физиономии и плюет ему в физиономию, что тот скромно переносит. Может быть, и здесь не обошлось без подражания знаменитой пощечине, которую Николай Ставрогин переносит тоже непоколебимо от Шатова (в «Бесах» Д-го). Заметьте, что Люба уже в общем зале, взглянув на террориста, сказала себе: «Он самый, — мой суженый». Так она признается ему в конце беседы: за что же и как же она бьет его и плюет на него? Это какие-то египетские фантазии Катарбинского, совершенно невозможные в русской действительности. ⁴⁰

Весь жаргон беседы — сладенький, змеистый, лукавый, насмешливый, сентиментальный — воспроизводит до мелочей колорит бесед Грушеньки с Алешей Карамазовым; а история с поцелуем ручки у террориста и потом у себя ручки, которая ударила террориста по физиономии, воспроизводит эпизод из «Бр. Кара-

мазовых», где Грушенька тоже хочет поцеловать ручку у Катерины Ивановны, невесты Ивана Карамазова, — вела ее к губам, не довела и сказала:

— А ведь я ручку-то у вас не поцелую.

Весь этот эпизод достаточно неестественен, изломан и истеричен и у Достоевского: и решительно не допускает повторений! Но у Достоевского все искупала его сила таланта и свежесть первого рисунка, первоначального изобретения! «Первому» всегда все позволено: ибо «первый» творит и обогащает историю. А подражания только загромождают историю: и когда они берутся повторять то, что было рискованно и при первом появлении, — они производят режущее, не-
10 сносное впечатление:

— Надо было хорошенько ударить, миленький, настоящего хорошего. А тех слютяев и бить не стоит, руки только марать. Ну, вот и ударила, можно теперь и ручку себе поцеловать. Милая ручка, хорошего ударила.

Она засмеялась и действительно погладила и трижды поцеловала свою правую руку. Он дико смотрел на нее...

Это совершенно кусочек из Достоевского; и Люба Андреева списана с Грушеньки, — но как бездарно, бессрочно и без всякого значения списана! Мертвая, нецелесообразная копия с живой картины!

Но переходим к «Америке» Любы...

20 У Короленки есть рассказ «Убивец»... Простоватого, недалекого, прямого ямщика разбойник-мистик-сектант соблазняет одним софизмом, который даже и для богослова кажется почти неразрешимым. Он затевает с ним разговор и в разговоре навевает ту мысль, что ведь самый центр, самая сущность христианства заключается в скорбном сердце, в покаянном сердце... Покаяние — центральное моральное таинство в христианстве: таинство нисхождения души куда-то в пропасть, вниз, в ад, как Евхаристия есть таинство восхождения, поднятия из ада, воскресения души. Призывом к покаянию Иоанна Крестителя открылась эра христианства, и даже сам Христос воскрес, только побывав в аду. Словом — тут сердце, тут основное. Ямщик все слушает. Как же не согласиться? «Нельзя
30 стать христианином, не испытав сладости покаяния. Без покаяния люди — христиане только по внешности, по имени, а не в глубине, не настоящие». Нельзя мужику не согласиться с этим, когда вся церковь о том же учит, когда в этом весь дух церкви, только подчеркнутый и выпукло указанный сектантом. Вот везет ямщик по сибирской тайге одинокую барыню. Везет ее не без денег. Соблазнитель, вынув из сена топор, подает его в руки ямщику и говорит: «Заруби ее. А потом спокаешься. А как спокаешься, сладко тебе будет, и станешь ты через слезное очищение доподлинным чадом Христовым, как и покаявшийся разбойник. И возьмет Христос твою душеньку, и понесет в рай, как и того разбойника». Пораженный дьявольской казуистикой, ямщик взял топор в руки... взглянул на без-
40 защитно спящую барыню, кажется с ребенком, и... зарубил соблазнителя. Прямой был мужик и не поддался богословию. «Натурка» вынесла: хотя богословие таково, что я, напр., и по сей день не сумею с ним справиться. По психологии и по букве все «верно с Писанием»...

У Короленки это представлено гениально, ярко, незабываемо. Посмотрите же, что намазал в этом стиле Л. Андреев.

Обменявшись плюхами, террорист и проститутка сидят друг перед другом. Он только что оскорбил ее словом и похвалил себя.

— Да, я хороший. Честный всю жизнь! Честный! А ты? А кто ты, дрянь, зверюка несчастная?

— Хороший? Да, хороший? — увивалась она восторгом.

— Да. Послезавтра я пойду на смерть, для людей, а ты, а ты? Ты с палачами моими спать будешь. Зови сюда твоих офицеров. Я брошу им тебя под ноги, берите вашу падаль.

Люба медленно встала. И когда он взглянул на нее, то встретил такой же гордый взгляд. Даже жалость как будто светилась в ее надменных глазах проститутки, вдруг чудом поднявшейся на ступень невидимого престола и оттуда с холодным и строгим вниманием разглядывавшей у ног своих что-то маленькое, крикливое и жалкое. 10

И строго, с зловецей убедительностью, за которой чувствовались миллионы раздавленных жизней, и моря горьких слез, и огненный непрерывный бунт возмущенной совести, она спросила:

— Какое же ты имеешь право быть хорошим, когда я плохая?

— Что? — не понял он сразу, вдруг ужаснувшись пропасти, которая вдруг у самых ног его раскрыла свой черный зев.

— Я давно тебя ждала.

— Что ты сказала? Что сказала?

— Я сказала: стыдно быть хорошим. А ты этого не знал? 20

— Не знал.

— Ну, вот, узнай.

Понимаете ли вы метафизику: «быть плохим» — несчастье. Пожалуй, высшее несчастье, чем прямое несчастье: голод, нужда, болезнь. «Быть плохим» — потеря души или несчастье души. А он человеколюбец, этот террорист, и готовится принести свою жизнь за людей. Но за которых людей, за голодных, за рабочих? Есть несчастнее их, вот эти проститутки в шелковых платьях, «дурные». Ну, так вот во имя абсолютной справедливости и, так сказать, всемирного уравниения между собою несчастных, мучающихся на земле, он должен пойти не кинуть бомбу в Четверг (в «Четверг» Петя должен совершить террористический акт, и этот Четверг везде пишется у Андреева с большой буквы), а стать ее «миленьким, суженым», начать посещать ее и сделаться тем, что в этом промысле зовется «котом» или «сутенером». Но мне кажется, г. Л. Андреев не догадался, что есть еще ступень ниже: он мог бы стать также сыщиком и предать своих товарищей по партии. Вот уж поистине несчастная профессия, достойная слез: никто-то, никто никогда не склонил сюда внимания, тогда как проститутками, начиная с Достоевского, занималось сколько писателей, беллетристов, драматургов. Их даже, в собственном смысле, не осуждает и духовенство. Да наконец, чего тут: само Евангелие «призрило» на них, и Христос «ел и пил с блудницами и мытарями». А сыщики бедные? А жандармы, полиция? К чему же было террористу идти в сутенеры, когда он мог пойти в квартальные? Логика Андреева не доведена до конца, и Люба его открыла «Америку», но не совсем. 30

Пораженный открытием, террорист Петр полпелся было к двери, как мышь, задавленная котом; но кошка-Люба остановила его:

— Ступай! Ступай к своим хорошим!

Тот остановился.

— Почему же ты не уходишь?

И спокойно, с выражением камня, на котором жизнь тяжелой рукой своею высекла новую *страшную последнюю* заповедь, он сказал:

— Я не хочу быть хорошим.

Судьба была решена. Террорист умер, и на месте его появился сутенер.

Люба рада, почти как Архимед, открывший в ванне закон удельного веса, катается в восторге:

— Миленький мой! Пить с тобою будем. Плакать с тобою будем — ох, как сладко плакать будем, миленький ты мой! За всю жизнь наплачуся. Остался со мной, не ушел. Как увидела тебя сегодня в зеркале, так сразу и метнулося: «Вот он, мой суженый, вот он, мой миленький». И не знаю я, кто ты, брат ты мой, или жених, а весь родной, весь близкий, весь желаннейший...

Кто помнит, в ее подробностях, Грушеньку из «Карамазовых», помнит ее речи, ее ухватки, тот увидит, до чего у Андреева — копия и только копия, без единого оригинального штриха. Все тоны речей взяты оттуда, как морально-метафизическое открытие, т. е. в типе своем, взято — с Короленки. Но там это умно и поразительно, а здесь... Дело в том, что для подобных тем нужно иметь огромный ум и пройти хорошую школу религиозно-морального воспитания. Андреев же, ничего за душою не имея, кроме общего демократического направления и знания нескольких сантиментальных сентенций из Евангелия, шлепнулся в лужу шаблонно-плоского суждения, которое могло поразить приблизительно только того «писательчика» из друзей Любы, о котором она вспоминает, что уж очень он самолюбив, и все ожидает, не будут ли на него молиться, «как на икону»... Может быть, Люба запомнила, что у этого «писательчика» есть друг в Берлине и живет он на Uhland-Strasse...

* * *

Печален этот рассказ потому, что своей грязною ретушью он что-то малюет на том месте, где пока ничего не начерчено, но когда-нибудь могло бы быть нарисовано «с подлинным верное» изображение... В Раскольникове, в Ник. Ставрогине, в Шатове, Кириллове Достоевский накидал нам штрихи предшественников «террористов»... Почти половина живописи Достоевского занята этим «пророчеством о будущей русской революции», которую он чувствовал как что-то надвигающееся и предрекал ее будущие раскаты, ее безумие и сумасшествие, великодушие и жестокость, величие и пошлость. Он показал и Лямшиных, и Ник. Ставрогина, «длинноухого» Шигалева, и негодяя Петрушу Верховенского, и почти святого Кириллова. Всего есть, всякое есть... Но это были именно только «предтечи», разговаривавшие, а не действовавшие. Для действия не было простора, не было обстоятельств. Вот года два, как «простор» явился: и мы наблюдаем, до чего живопись Достоевского угадывала будущее. Не знаете ли вы, кто в литературе был первым «анархистом, разошедшимся с действительностью»? Уленька из «Мертвых душ», — помните эту девушку, такую прозрачную, не действительную, исполненную воображения, которая готова была расплакаться при всяком рассказе о несчастных людях? Вот она и повела за собою ряд героинь Тургенева, — и потом ряд *женственно-сложенных* натур у Достоевского,

которые, подняв бомбы, пошли «за все страдание человеческое»... Это как Раскольников говорит Соне:

— Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился.

В революции русская баба пошла на мужика. Мужик — трезвен, живет в работе, мужик — практик. Баба сидит у него за спиной и все воображает, живет истомами сердца и «мечтами, которые слаще действительности»... Вся революция русская — женственная, женоподобна; в ней есть очень много «хлыстовщины», и хлыстовщина-то и сообщает ей какой-то упорный, не поддающийся лечению и искоренению, характер, пошиб. Баба-революция пошла на мужика-государство: Уленька восстала, с истерикой и слезами, на «Мертвые души», на своего папашу-генерала, на Чичикова, на всех... Бабы — не государственники; и оттого русская революция не выдвинула ни одного государственного ума, государственной прозорливости, государственной умелости. Она вся — только *сила*, только *порыв*: без головы. Вся стать бабья. Но нельзя отрицать, что тут в одной куче с пошлостью кроется и много прекрасного, трогательного, есть мучительно-острые звуки, есть мучительно-прекрасные краски. Есть Петруша Верховенский, есть и Кириллов. В основе всего лежит христианский сентиментализм, тот сентиментализм, который не переносит самого вида жесткой государственности, этого наследия Рима. Революция все хочет вернуть к какой-то анархии «доброты» и бесформенности старого Востока; по крайней мере наша русская, «хлыстовская» революция — тянет к этой восточности, несмотря на ссылки — для приличия — на Маркса. Она очень мало созидательна. Она более всего разрушительна. Она не хочет жестких углов, твердых граней, крепких линий. Ничего мужичьего. Она хотела бы оставить один «быт» без всякого «государства»; оставить то, что не задело бы шероховатостью своею, своей щетинкой, ни Уленьку, ни Соню Мармеладову, ни пьяненького папашу этой Сони... Иногда думается, что революция наша тянет не к усовершенствованному заводско-фабричному строю Запада: это — только соус, предлог и оправдание «бомб». «Хлеб насущный» не в этом. Заветная цель всех «бомб» — великий Китай, с отвлеченно-невидимым «богдыханом», с анархией провинций, где «всякий сам барин», с безобразной и в сущности ненужною администрацией, — и где люди только плодятся и *пашут*. Вот когда Уленька сядет в такую теплую кашницу — революция прекратится. Нужно сказать полнее: когда Уленька начнет плодить детей, и революция прекратится. А пока жестко — она остается девственна: она будет чувствовать себя как у хлыстов их «богородицы»; и пока она будет такова — она не перестанет подымать бомбы.

АВТОР «БАЛАГАНЧИКА» О ПЕТЕРБУРГСКИХ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЯХ

I

На вопрос «кто истинно счастливый человек?» Карамзин отвечал довольно неопределенно: «Патриот среднего возраста»; на вопрос «кому жить на Руси хорошо?» Некрасов ответил, что «никому». Но если бы в минувшую зиму задать

два этих вопроса, то ответ был бы ясен: «Истинно счастливый человек на Руси есть Александр Блок», а «живется на Руси хорошо» декадентам вообще и сотрудникам «Золотого Руна» в частности. Они печатаются на великолепной бумаге, они получают великолепные гонорары, и в заключение всего сих «бессмертных» некто г-н Кустодиев воспроизводит то карандашом, то пером, то в красках на страницах того же «Золотого Руна». Бессмертие мысли, увековеченность физиономии и полные карманы — это такие три благополучия, какими едва ли пользуются и «патриоты среднего возраста», и уж, конечно, ничем из этого не пользуются мужики, бабы и попы из длинного стихотворения Некрасова.

- 10 Но из всех декадентов решительно больше других процветал в прошлую зиму г. Александр Блок. Легенда рассказывает, что актеры и в особенности актрисы театра г-жи Комиссаржевской в Петербурге осыпали его цветами, и, может быть, не одними цветами, во время постановки знаменитого «Балаганчика» и буквально чуть не задушили его не в одном фимиаме похвал, но и в чем-то более осязательном. «Балаганчик» ставился чуть не подряд сто раз, а по истечении первой сотни представлений он ставился с промежутками после двух дней в третий. О нем говорил весь Петербург. О нем кричала пресса. И хотя одни доказывали, что это — «ерунда», но зато другие уверяли, что это — «гениально». Решительно Александр Блок был самой интересной фигурой за весь зимний сезон 1906—
- 20 1907 года, ну, конечно, не считая тех выигрышных лошадей, что вечно брали призы на бегах... Те были еще знаменитее, о них говорили и спорили больше, но «божественные» лошади, — применяя эллинско-декадентскую терминологию, — уже выходят за пределы человеческого, открывают область зоологии, и Александр Блок не может особенно оскорбляться тем, что на арене мировой славы его побил копыто лошади...

- «Балаганчик», видите ли, — задумчивая вещь. В ряде сцен, ничем не связанных и, по-видимому, бессмысленных, не столько показывается и доказывается (ибо этого ни показать, ни доказать нельзя), сколько излагается, что вся человеческая жизнь и все человеческие отношения, в сущности, представляют собой
- 30 балаган, шутовство, что-то в высшей степени незначачее и в высшей степени ненужное. Нельзя сказать, чтобы мысль эта отличалась поразительной новостью, и здесь все зависит от того, «как сказано» и «кем сказано». Разумеется, если ее говорит Экклезиаст-Соломон, построивший первый и единственный храм Богу, написавший ранее «Песнь песней» и «Премудрость», все испытавший, все видевший, всего достигший, то тут есть чего послушать. Но если эту же тему повторяет русский коллежский регистратор, например, женившийся на приданом, недополучивший его и затем пришедший к мысли, что «брак — ерунда», или подвыпивший сельский дьячок, который скандирует:

Все ничто в сравнении с вечностью
И с соленым огурцом,

40

то это музыка не занимательная. Объявлять, что «мир есть балаган», можно, или нося в душе идеал непереносимо высокий, так сказать, испепеляющий действительность. Но тогда ведь нужно этот идеал не только носить, но и чем-нибудь выразить, в чем-нибудь обнаружить, чем-нибудь доказать, кроме задумчивой физиономии. Или можно объявлять мир «балаганом» приблизительно по тому

мотиву, по которому, например, насекомым весь мир кажется насекомообразным, а травоядным весь мир представляется состоящим из овощей и их потребителей. Если бы спросить г. Блока, которому мы не отказываем в способности к простым и ясным суждениям, по которому из двух мотивов он назвал мир, любовь и труд «балаганом», то он, вероятно, очень бы сконфузился... Мы его вывели бы из затруднения, заметив, что он «мира», вероятно, совсем не знает, а написал пьесу, как пьесу... ну, пьесу, которую играют в театре у Комиссаржевской и которая в 1906—1907 гг. имела успех почти скаковых лошадей.

Философ «Балаганчика», 28-летний Экклезиаст, поговаривая «суета сует», забрел и на религиозно-философские собрания в Петербурге... И уже немудрено, что и там он увидел отдел «Балаганчика». Увидел не по зрелищу, представившемуся ему, и не по словам, которых он и не слушал, а по тому, что в душе его было вдохновение к «Балаганчику»; и, кажется, увидь он около себя отца, мать и даже свою аполлоновскую фигуру в зеркале, он повторил бы: «Э, балаганчик!». Как известно, всякий чижик поет песню чижики, и никакой другой песни ему спеть не дано...

В «Литературных итогах 1907 года», помещенных в январском номере «Золотого Руна», он передает свои впечатления, вынесенные из зала географического общества, у Чернышева моста, где собираются «религиозно-философские собрания». Его поразил электрический свет там. «Отчего не зажгли лучины или, по крайней мере, сальных свечей?». Никому не приходило в голову, почему. «При лучине, — поясняет Блок, — говорили о Боге 500 лет на Руси; или не говорили, а молились, вздыхали, и еще точнее *молгали* или *шептались* вдвоем». Но ведь «о Боге» говорили и под сирийским солнцем, и в Индии, среди бананов. Так не устроить же у Чернышева моста фруктовую лавку с развешанными бананами и не натопить печей до тропической жары, в имитацию древности? Да и вообще к чему все это, весь этот, — простите, — балаган? Вы сами пишете, и печатаясь на отличной бумаге, и окружаясь виньетками, а употребляете стальные перья фабрики «Sommerville et C°», тогда как Гораций писал «стилом», а Грибоедов — гусяным пером. Но что из этого, и какое все это имеет отношение к религии или поэзии? Явно — никакого. И явно — Блок не имеет никакого понятия, кроме внешнего и театрального, о религии, а может быть, и о поэзии. Пораженный, что религиозно-философские собрания происходят не при зажженной лучине, он уже не хочет вглядываться в лица, ни вслушиваться в речи. «Ерунда, — решает молодой Экклезиаст, — лучше шабли, кокотки и кафешантан»...

Все ничто в сравненьи с вечностью
И с соленым огурцом...

Экклезиаст начинает «ab ovo» *, с собраний 1902—1903 гг., где будто «надменно ехидствовали и сладострастно (?) полемизировали с туполобыми попами писатели и журналисты; а в этом году «они вновь возобновили свою болтовню», — и только *болтовню*, — зная, что за дверями стоят нищие духом, и что этим нищим духом нужны дела». Я думаю, что таковые стоят «за дверями» не только зала географического общества, но и редакции «Золотого Руна», на Но-

* «с яйца» (лат.).

винском бульваре, с той разницей не в пользу последней, что двери религиозно-философских собраний отворятся перед «нищими духом», если они захотят туда войти, а двери «Золотого Руна», т. е. самого Блока и друзей его, едва ли отворятся и даже наверное не отворятся. «Образованные и ехидные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, супруги, дочери, свояченицы, в приличных кофточках, многодумные философы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира, — вся эта невообразимая и безобразная каша, идиотское мелькание слов». Нужно заметить, что всякие слова представляются «идиотскими» тому, кто их не слушает, и всякая мысль тоже представляется «идиотской» тому, кто ее не понимает. Так, известный Буренин давно прищипил ярлык с надписью «идиотство» к стихам самого Блока, которых он *не хочет* понимать, которые ему *противны* по самому тону, по стилю, *издали*. Буквально как Блоку «религиозно-философские собрания»... Зачем же Блок завистливо снимает листочек лавра с седой головы Буренина? До сих пор казалось, что они разных стилей... Зачем свояченицы и жены, — «в кофточках»? Что же, им быть без кофточек или в «неприличных» кофточках, как настаивает Блок, укоризненно указывая, что кофточки «приличны». И что это за высокомерие у Экклезиаста? Да отчего же женам, свояченицам и проч., и проч. не посещать религиозно-философских собраний, и неужели же всем им писать стихи в «Золотое Руно»? Просто они находят для себя 20 занимательнее слушать споры в собраниях, нежели рассматривать портреты, изготовляемые Кустодиевым. И, может быть, в этом лежит причина досады Блока? Во всяком случае, заметим, что в этом гадливом упоминании о «сваяченицах, женах, дочерях» и проч. сказалось очень мало раскрытия объятий для «нищих духом», на что, по-видимому, намекает у себя Александр Блок, ибо он за недостаток этого упрекает религиозно-философские собрания. «И вот один тоненький, маленький священник в бедной ряске выкликает Иисуса — и всем неловко; один честный с шишковатым лбом социал-демократ злобно бросает десятки вопросов, а лысина, елеем сияющая, отвечает только, что нельзя сразу ответить на столько вопросов. И все это становится модным, уже модным и доступным 30 для приват-доцентских жен и для благотворительных нам»... Ах, какой язык у Блока! Точно бритва. Как он уязвил приват-доцентов: женам их хоть разводиться с мужьями. «А на улице ветер, — продолжает он патетично, — проститутки мерзнут, люди голодают, а в стране реакция, в России жить трудно, холодно, мерзко». Это, пожалуй, центр статьи его, и самый центр возражения. Но сперва позвольте снять маску или «балаганчик». Которую же из замерзающих на улице проституток согрел Александр Блок, или хоть позвал к вечернему чаю, где он кушает печенье со своей супругой, одетой, как это видели все в собраниях, отнюдь не в рубище? Что же он сделал? А собрания не кое-что, а *очень много сделали и определенно делают* по всем тем рубрикам, которые он перечислил: 1) и для проститутток, 2) для голодных, 3) и вообще по части «реакции» и ее подробностей, по части «жить мерзко» и конкретных приложений этого. Только Блок этого со своим «Балаганчиком» и «Экклезиастом» не заметил, *пренебрег* заметить... Да «реакция», если хотите знать, вся и основана и *утвердилась* на этом экклезиастическом равнодушии или попросту свинстве, которое буркает себе под нос: «Суета сует, ничего знать *не хогу*»... Войдем в маленькое рассуждение. Ведь процент проститутток мерзнет сейчас на улице оттого, что когда-то они, совершенно чистые девушки, были брошены мужчиной с первым своим ребенком. Не все, но некоторый процент *с этого нагали* и бросились в проституцию оттого, что *с ре-*

бенком девушки ни пристанища, ни работы, ни помощи, ни внимания и заботы. Вот об этой теме на страницах «Золотого Руна» не было написано ни страниц, ни строк, а в религиозно-философских собраниях и в 1902—1903 гг., и в 1907 году толковалось вечера. Он скажет: «Ах, толковалось, а не делалось». Но ведь и Беккария ни одного казнимого не вытащил из рук палача, а плодом написанного и сказанного Беккарией явилось то, что смертная казнь вообще реже применяется в Европе. Вот что значит быть Экклезиастом в 28 лет: бедняжка Блок, всего года три снявший ученическую курточку с плеч, не ведает, что есть *непосредственные действия* — и они всегда относятся к *лицу* и только к *одному гасу*, в который совершаются, и есть *сказывания* и *писания*, правда, не в эстетических кружках и не в художественных журналах, которые действуют на *массы* и до известной степени вечно. Правда, Толстой учил, что надо «нагревать воду *по капельке*», но русские бабы, не внимая сей мудрости, предпочитают вдвигать разом *котел воды* в печь... Блок соображает, что можно уничтожить *проституцию*, обнимаясь с *проституткою*, а в религиозно-философских собраниях воображают, что можно спасти и эту, и ту проститутку, и Катю, и Машу, сказав, доказав и *вынудив священников согласиться с собою*, что в рождении ребенка нет греха, нет стыда, а есть Божий путь, Божия заповедь, и что, следовательно, всякой таковой женщине ли, девушке ли, вдове ли должна быть дана помощь, совет, поддержка. Катерина Маслова, выведенная в «Воскресенье» Толстого, имела бы в лучах «Золотого Руна» ту же судьбу, как и показанная Толстым, ибо «Золотое Руно» есть, бесспорно, кусочек, подробность той праздно-золотой столичной жизни, какую изобразил Толстой. А среди участников религиозно-философских собраний Катерина *такой судьбы, бесспорно, не полугила бы*... Ни делом, ни по существу, ни по духу. Блок, если бы слушал что-нибудь в религиозно-философских собраниях, если бы приглядывался к чему-нибудь, мог бы заметить пробуждающееся в них сочувствие, напр., *к религиозному строю и быту еврейства*. Но почему? Да вот на примере Катерины Масловой лучше всего это можно объяснить. Как-то ко мне приходит швейцар и жалуется: племянница его, ничего не знающая и никакой работы не умеющая делать, осиротев, пришла в Петербург из деревни. Работы здесь не нашла, или — точнее — за неумелостью переходила с работы на работу. Между тем ею кто-то воспользовался, из «православно-русских людей». Воспользовался — и оставил, как это и бывает у нас, на улице и «в быту». Девушка, неопытная, несчастная, служила в это время у евреев. Здесь я продолжаю словами швейцара. «И хотя она не умела готовить кушанья, и вообще в работе была этим евреям не нужна, но, видя, что она беременна и ей некуда пойти, они оставили ее у себя жить до разрешения от родов. Родился ребенок. Окрестили. И она пошла к псаломщику взять метрическую выпись. Она взяла бумажку, а он и говорит: „А рубль?“. — „У меня нет рубля. Я — нищая“. — „Так подай бумагу назад“. Она не дала. Он хотел вырвать, но она все-таки не дала и убежала. Не напишете ли о таком безобразии в газетах?» — закончил швейцар. Это было года три тому назад; тогда я не написал, не было случая, а теперь к случаю и рассказываю. Ведь эта забота евреев, не о *ком-нибудь*, не о *зем-нибудь*, а именно о беременной девушке, находится в некоторой связи с приклоненностью их уха к старому: «Плодитесь! множитесь! *наполните землю*». А бездушные псаломщика и совершенное его невнимание именно к *молодой матери* (нищим-то он, может быть, и подает) находится тоже в связи с *отклоненностью* нашего уха от той древней заповеди. А самое это отклонение совершилось, когда был провозглашен другой

и обратный завет — девства (монашество). Для псаломщика, да и не для него одного, а для всех нас, для всей «православной улицы», она есть блудница, нарушившая завет девства; есть «тварь», «скверна», и мы ее оттолкнули, как оттолкнула и Катерину Маслову вся православная Русь. Но для еврея по закону, а не *по гостной доброте той семьи*, где она жила, — она была исполнительницей воли Божией, хотя бы и ошибшейся и споткнувшейся в путях этого исполнения. Но в путях одного *исполнения*, и именно *воли Божией!* Большая разница с представлением, что она «впала в грех», «преступила заповедь», «закон» (девства). У нас в быту не кое-кто, а все не держат прислуг с ребенком или с животом, а тут первая попавшаяся еврейская семья, первая «для примера», оказалось, держит, не прогоняет. То и другое есть зерно и быта, и воззрений, и, наконец, целой системы законодательства, сперва церковного, а затем от церкви перешедшего к государству. Само собой разумеется, что такой девушке в еврейском быту незачем было бы идти в проституцию, она была бы удержана самим бытом, согрета в нем и обласкана. Напротив, в нашем тоже «быту» ей невозможно не пойти в проституцию, ибо «в таком положении» работница и прислуга никому не нужна, позорно, гадко, всех пачкает: и куда же ей и деться, как не в дом терпимости, где ей «все — ровня». Эту довольно ясную истину разъясняли не в «Золотом Руне», а в религиозно-философских собраниях, разъясняли еще в 1902—1903 годах. И для таких 20 девушек и детей и законодательно кое-что сделано именно после 1902 года. Им дано гражданское положение, о них, по крайней мере, *стал говорить закон* (чего он прежде не делал, ибо прилично ли «заниматься такой гадостью»); он дал право подобной матери передавать такому ребенку *свое имя и свое имущество*, тогда как прежде такому ребенку никакими усилиями никакая мать не могла ничего дать, ни щепочки имущества, ни какой-нибудь клеточки социального положения, и его, *безродного и безыменного*, оставалось только убить, что большинство матерей и делали, после чего их же судили и наказывали!! Это «сквозь строй» прогнание материнства и детства находится, конечно, в связи с новой заповедью: «не плодитесь», «не множитесь» (девство, монашество), далеким камешком от которого прокатился даже и блоковский смех над приличными кофточками «своячениц, дочерей, жен и сестер» — всей этой *родовой, родственной* «гадости», какую повели в собрании интеллигенты, священники и приват-доценты. Но ведь чтобы все это привести в сознание и поставить в связь, надо «разговаривать»? Как же *инаге-то?*!! Нужно разговаривать, беседовать, спорить. Что все и делается у Чернышева моста, в зале географического общества, в петербургских рел.-фил. собраниях, и почему это *бесполезнее и ненужнее* портретов Кустодиева и «литературных обозрений» самого Блока?

Мне кажется, прочитав все это, Блок должен покраснеть. Эту дань совести он воздаст если и не на страницах журнала, что не всегда удобно, то у себя в комнате 40 и запершись на крючок. «И Бог, видящий втайне, воздаст ему явно», — может быть, воздаст прибылью таланта, рассудительности и оглядчивости.

II

Религиозно-философские собрания в Петербурге я считаю одним из лучших явлений петербургской умственной жизни и даже вообще нашей русской умственной жизни за все начало этого века. Всякий должен признать, что ничего

подобного не было и не начиналось, ничего даже не задумывалось в этом роде на всем протяжении XIX века, а если принять во внимание, что они начались при Плеве и Победоносцеве и еще до японской войны, между тем дух их и в 1902—1903 годах был тот же самый, что и по возобновлении, в 1907 году, то делается для всякого очевидным, что в них в 1902 году забил совершенно новый фонтан жизни и мысли, совершенно новый родник стремлений, идеалов, определенных требований. «Новый Путь», где печатались протоколы * этих собраний, имел половиной своих подписчиков духовенство; его читали во всех семинариях и академиях, и, несомненно, многое, слишком многое, что сейчас начинается и есть в духовенстве, в сфере религиозной русской мысли, — имеет исходным своим пунктом мысли, высказанные в этих собраниях. Не все их слушали. Светское общество их «пропустило мимо ушей». Блок на них «не обратил внимания»... Но все это ничего. Их выслушало наиболее чутко то сословие, к которому они более всего были обращены, — духовенство. Да оно одно могло и *понять их во всей глубине* по родственности тем и *давнему знакомству* с предметом. И, собственно, оценить новизну и тяжеловесность сказанного на этих собраниях и можно, только взглянув на *впечатление в этой среде*. Ведь не стихотворцам же судить о математике, не беллетристам — о геологии и географии, и не «Золотому Руну» и г. Блоку — о делах церкви...

Вернемся, чтобы иметь руководящую нить в суждениях, к репликам творца «Балаганчика».

Поговорив о «замерзающих проститутках», *которым он не помог*, Блок принимает благородную позу, которая идет к нему не более, чем к Кречинскому его сватовство, и пишет высокомерно:

«Да хотя бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны в лоск исхудали от собственных исканий, — никому на свете, кроме „утонченных“ натур, не нужных, — ничего в России не убавилось бы и не прибавилось! Что и говорить, хорошо доказал красивый анархист, что нужна вечная революция; хорошо подмигнул масляным глазком молодой поп „интересующимся“ дамам, — по-„православному“ подмигнул; хорошо резюмировал прения остроумный философ. Но ведь они *говорят о Боге*, — о том, о чем можно только плакать одному, шептать вдвоем, а они занимаются этим при обилии электрического света. И это — потеря стыда, потеря реальности. Лучше бы никогда ни чем не интересовались и никакими „религиозными сомнениями“ не мучились, если не умеют молчать и так смертельно любят соборно сплетничать Боге...»

Скажите, какой Экклезиаст! Так апостолы, воскресни они в наше время, первым делом потребовали бы загасить электричество? Какой вкус у Блока! Мне кажется, апостолы просто не обратили бы на это внимания и говорили бы при том свете, какой *дан*, был ли то свет Сирии или *будет* электрический свет! Это — вне темы их пришествия на землю и обращения к людям. Этим может только заняться ламповщик Блок, который зато не имеет никакого представления о религии, кроме употребления экклезиастовских поз.

«Первый опыт 1902—1903 г. показал (кому? когда?), что болтовня была ни к селу ни к городу. Чего они достигли? Ничего! Не этим достигнута всесветная

* Они изданы отдельно книгою в Петербурге книгоиздательством Пирожкова. С.-Петербург, Васильевский Остров, 2-я лин., дом 12.

известность Мережковского — слава пришла к нему оттого, что он до последних лет не забывал, что он — художник. „Юлиана“ и „Леонардо“ мы будем перечитывать, а второй том „Толстого и Достоевского“, думаю, ни у кого не хватит духа перечитать. И не нововременством своим и не „религиозно-философской“ деятельностью дорог нам Розанов, а тайной своей, однодумьем своим, темными и страстными песнями о любви».

Словом, «нам нужны только стихи» или «мы берем в „Руно“ только романы»... Ну, кому что нужно. Не для Блока же весь мир создан, и, может быть, Мережковский более, чем своими романами, где он только описывал других, дорожит своей деятельностью в религиозно-философских собраниях, где он был сам деятелем, где творил от себя, и, может быть, откуда другой Мережковский XXI века возьмет его фигуру для «описания», как он сам брал Леонардо или Юлиана. Я, по крайней мере, выслушал раз не без удивления восклицание одного молоденького юриста (кандидата на судебные должности): «Я иногда ненавижу Мережковского, — так оскорбляло его отношение к людям, какое-то небрежно-незамечающее. Так относился он и ко мне. Но временами мне хотелось упасть к его ногам и целовать у него сапоги: мне казалось, я слушаю до того необыкновенные, обещающие слова — точно прежней истории не существовало, точно начинается все новое, и его начинает Мережковский». Передаю слова, как слышал, и даже, для удостоверения читателей, называю имя: А. М. Коноплянцев, юрист петербургского университета... Сам я этих слов не понимаю и не разделяю. Но ведь Блок говорит о нужном и ненужном для других. И вот — свидетельство, тем более поразительное, что оно идет от человека, лично чем-то обиженного от Мережковского. Коноплянцев говорил не о книгах, а о впечатлении от устной речи; в дальнейших пояснениях он упоминал о «третьем царстве — Св. Духа, после царства Отца, раскрытом в Ветхом Завете, и после царства Сына — раскрытого в Завете Новом»; упоминал о «церкви Иоанновой, имеющей прийти на место церкви Петра». Все это — темы, развивавшиеся Мережковским на религиозно-философских собраниях 1902—1903 гг. Для настоящего писателя, оговариваюсь: для настоящего человека, два-три таких сочувствия и признания, как Коноплянцева, стоят, может быть, больше, чем «всесветная известность», которая ведь может так же скоро и погаснуть, как загорелась. А это не погаснет...

«С религиозных собраний, — пишет петербургский Экклезиаст, — уходишь не с чувством неудовлетворенности только: с чувством такой грызущей скуки, озлобления на всю ненужность происшедшего; с чувством оскорбления за красоту, — ибо все это так ненужно, безобразно». Мне кажется, это впечатление получается вообще, когда зашел не в свое место и когда, зайдя не по адресу, думаешь, как поскорее выбраться. Ни слушать не хочется, ни содержания не понимаешь! Спасительная зевота спасает геноптмее самолюбца: «Это так скучно!». Ну, что же, дружок, ступай, где тебе веселее. Блок и рассказывает в заключение, где ему веселее.

«Я этому предпочитаю, — заключает он, — кафе-шантан обыкновенный, где сквозь скуку прожигает порой усталую душу печать

Буйного веселья
Страстного похмелья.

Я думаю, что человек естественный, не промозглый, но поставленный в неестественные условия городской жизни, и непременно отправится в кафе-шантан прямо с религиозного собрания и в большой компании, чтобы жизнь, прерванная на 2—3 часа, безболезненно восстановилась, чтобы совершился переход ко сну и чтобы в утренних сумерках не вспомнилось ненароком какое-нибудь духовное лицо. Там будут фонари, кокотки, друзья и враги, одинаково подпускающие шпильки, сабли и ликер. А на религиозных собраниях сабли не дают».

Ну, что же, милый друг, — где кому слаще. Только для чего же строить самую неприличную часть «Балаганчика»: накладывать на себя грим тоскующего, скупающего, желающего говорить о Боге «вдвоем» или «наедине», и непременно «при лучине». «Ведите, ведите интеллигентную жизнь, — гремит он, — просвещайтесь. Только не клуйте носом, не перемальвайте из года в год одну и ту же чепуху и, главное, — не думайте, что простой человек придет говорить с вами о „Боге“...» Нужно заметить, что в религиозно-философских собраниях говорил, и очень хорошо, о «Боге» новгородский крестьянин Михайлов; говорил о церковной общине, о древнейшем христианском способе ведения хозяйства и проч. Крестьянин этот едва грамотный и от сохи. «Иначе, — продолжает Блок, — будет слишком смешно смотреть на вас и на ваши серьезные „искания“, и мы, подняв кубок лирики (не сабли ли?), выплеснем на ваши лысины пенистое и опасное вино. Вот и вытирайтесь тогда... Не поможет: все равно, захмелеете, да только поздно и неумело. Наше легкое вино только отяготит вас, только свалит с ног. И на здоровье».

Ах, шутник, шутник: да мы его «вина лирики», может быть, так же не будем читать, как он не стал слушать наших разговоров. Каждому свое. В пору «реакции», и «когда всем плохо», мы лучше засядем именно за религиозно-философские прения, усматривая, что здесь — *корень* всего, и сущей и *всех бывших реакций*... Между инквизицией и сусальской крепостью-монастырем разница только в оттенках, как и между порою Фотия, г-жи Крюденер и нашу порою — тоже разница только в степенях и густоте, а *колорит* тот же. Нет, религиозно-философские собрания начали (но только *нагали*) делать *главное дело* на Руси: раскапывать, откуда течет *мертвая вода*, течет у нас, текла в Испании, была в XIX веке, показалась в XX. И где ни покажется, — умирают цветы, затихает мое живое, замолкают люди, все всех боятся, все на всех наушничают... Отвратительная атмосфера. В ней не успокоишься от сабли, не расцветешь с певичкой на коленях. Ведь не все так безвкусны, как Блок, — и, чорт возьми, надо же сказать правду: не все там неумны. Религиозно-философские собрания делают дело большое: они поворачивают все религиозное сознание от мертвой воды к живой, определенно зная, что она *есть*, определенно зная, *где* она... До начала века этого и невозможно было основать эти собеседования, на которые недаром идут *священник, журналист*, где принимают участие *православные и евреи* (г. Столпнер — один из самых трогательных «искателей» на собраниях, в каждое заседание говорящий длинную, волнующую речь), куда собираются в таком множестве женщины-труженицы (досадные Блоку «свояченицы, сестры и жены»). Нельзя было раньше этого начать, ибо, напр., ни Владимиру Соловьёву, ни кн. Сергею Трубецкому, *несмотря на их, может быть, и более крупные таланты, тем у Мережковского или у Розанова*, — однако, не было известно ничего о живой и мертвой воде, и они плыли еще в океане исключительно мертвой воды. Долго это объяснять, — кто

интересует, пусть читает *вообще все труды* гг. Мережковского и Розанова, сравнивая их *по содержанию и тону* с трудами Владимира Соловьёва, князей Сергея и Евгения Трубецких... По крайней мере, для Влад. Соловьёва была ясна эта разница, и он бросился было со всею яростью забрасывать камнями колодезь, который начали *уже на его глазах* рыть совсем в другом месте и другие люди... Он знал, что не жить «мертвой воде» при «живой воде»... Что умирает одно, когда рождается совсем другое... В религиозно-философских собраниях готовится умирание не одной, а целому ряду «реакций», всяким реакциям, всем, всегда... Это не все понимают, ибо многие глухи, как Блок. Ну, и что в том, что это делается при электрическом освещении, и что, например, сюда не приходит тот бывший дворовый человек, смешное письмо которого «народник» Блок приводит в своем письме. Этот бородач, подпоенный шабли или «пенистой лирикой», но скорее всего, кажется, «пенистыми» похвалами и лестью Блока, который в чем-то перед ним «каялся», совсем развалился перед барином и поучает его, что будто бы вся религиозность русского народа идет... от зависти! «Наш брат вовсе не дичится *вас*, а попросту завидует и ненавидит, а если и терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от *вас* какой-нибудь прибыток... Все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты, в леса-пустыни» и проч., и проч. имеют будто бы мотивом это ненавидение образованных классов мужиками и зависть к их сладкому житью-бытью. Это особенно интересно после того, когда из интеллигенции так многие умирали для и за мужиков, — ну, хотя бы во время холеры и холерных «движений»... Но мы убеждены, что мужики давно это рассмотрели и видят, да они давно и показали и *доказали*, что видят. Блок выбрал в корреспонденты неудачного «мужичка»... Перед ним он, как рассказывают, имел вид (в письмах) «кающегося дворянина», и тот ему написал «такое» в ответ, что де «завидуем и ненавидим, а другого чувства не чувствуем». Печальное «объяснение в любви». Нам кажется, и Блок — не настоящий русский умный человек, образованный в работе и рабочий в образовании, и «мужичок» его взят откуда-нибудь из ресторана, где он имел достаточно поводов завидовать кутящим «господам». И когда они кутили, эти господа, перед тем как поехать в религиозно-философские собрания, или уже вернувшись с них, — право, не интересно. И, в конце концов, все эти штрихи «Балаганчика», и уж не на сцене, где упражняется Экклезиаст-Блок, а в самой действительности, и мне, в качестве «публики», хочется посмеяться над автором пьески, который, незаметно для себя, попал в положение самого бездарного и скучного из своих персонажей...

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Быть русским и не увидеть гр. Л. Н. Толстого — это казалось мне всегда так же печальным, как быть европейцем и не увидеть Альп. Но не было случая, посредствующего знакомства и проч. Между тем годы уходили, и, не увидев Толстого скоро, я мог и вовсе не увидеть его. Тогда я написал ему о своем желании и, получив приглашение, поехал в Ясную Поляну. Это было зимою, года три тому назад. Больше я его никогда не видал, и передам впечатление почти только физическое. Хотя оно и не ограничилось физикою.

Дом в Ясной Поляне сделал на меня впечатление пустынное. Такое впечатление делает на меня всякий дом, где нет детей. Должны быть свои, или дети детей, — внуки. И как большой барский дом не шумел детскими криками, вознею и капризами, то мне казалось в нем скучновато. «Графов» еще не было, когда я приехал часу в 11-м или 10-м утра, а в столовой сидели один или два господина и, помнится — женщины. Но особенного они ничего собою не представляли. Я только был счастлив, что сижу в Ясной Поляне, т. е. идей, что вот приехал, «достиг» и скоро увижу.

Да, я думаю, поблизости к Л-у Н-у Толстому и все должно показаться скучным, кроме него. Приехав в Альпы, станешь ли рассматривать холмы и пригорки? ¹⁰

Вошла графиня Софья Андреевна, и я сейчас же ее определил, как «бурю». Платье шумит. Голос твердый, уверенный. Красива, несмотря на годы. Она их сказала на мое удивление — «58 лет и человек 14 (приблизительно) детей» (с умершими). Это хорошо и классично. Мне казалось, что ей все хочет повиноваться или не может не повиноваться; она же и не может и не хочет ничему повиноваться. Явно — умна, но несколько практическим умом. «Жена великого писателя с головы до ног», как Лир был «королем с головы до ног». Но и это неинтересно, когда ожидаешь Толстого.

И вот он вышел. Но почему он такой маленький, с меня или немного больше меня ростом? Я ожидал большого роста — по портретам и оттого, что он — «Альпы». Кажется ли вам Авраам или Моисей «небольшого роста»? Микелю Андже- ²⁰ ло Моисей представлялся колоссом, как он изваял его; а может быть, в сущности, Моисей был плюгавым. Я замечал, что душа и тело, величие души и тела, тенденции души и тела и, наконец, красота души и тела находятся иногда во взаимном отрицании, во взаимном попирании. Но это — в идее. А когда увидишь — удивишься.

И я внутренне удивлялся, когда ко мне тихо-тихо и, казалось, даже застенчиво подходил согбенный годами седой старичок. Автор «Войны и мира»! Я не верил глазам, т. е. счастью, что вижу. Старичок все шел, подняв на меня глаза, и я тоже к нему подходил. Поздоровались. О чем-то заговорили, незначашем, ³⁰ житейском. Но мой глаз и мой ум все как-то вертелись не около слов, которые ведь бывают всякие, а около фигуры, которая явно — единственная.

«Вот сегодня посмотрю и больше никогда не увижу». И хотелось сказать времени: «Остановись», годам: «Остановитесь!.. Ведь он скоро умрет, а я останусь жить и больше никогда его не увижу».

Было печально и досадно, отчего я раньше не постарался его увидеть.

Мне он показался безусловно прекрасен. «Именно так, как ему должно быть». Только не здесь, не в барской усадьбе. Как все это не идет к нему, отленилось от него! Сидеть бы ему на заваленке около села или жить у ворот монастыря, — в хибарочке «старцем»; молиться, думать, говорить, не с «гостями», ⁴⁰ а с прохожими, со странниками, — и самому быть странником. В самом деле, идея «Альп» была в нем выражена в том отношении, что в каком бы доме, казалось, он ни жил, «дом» был бы мал для него, несоизмерим с ним; а соизмеримым с ним, «идушим к нему», было поле, лес, природа, село, народ, т. е. страна и история. Он явно вышел, перерос условия видного индивидуального существования, положения в обществе, «профессии», художества и литературы. «Исповедь» его, по которой он изо всего вышел, — была в высшей степени отражена в его фигуре,

которая явно тоже изо всего вышла, осталась одна и единственна, одинока и грустна, но велика и своеобразна.

Я еще раз посмотрел на пустые, далекие от великолепия комнаты. «Здесь не стала бы танцевать Анна Каренина». И мне представилось, что если бы старец разрушил эту квартиру, этот дом, да и все вокруг, — разрушил без борьбы, собою («Мне ничего не нужно»), то *душа* вещей, та незримая душа, какая есть во всякой вещи, умерла бы в обстановке Толстого, почувствовав, что на нее не любитесь хозяин. Так умирает верная собака, когда она не нужна хозяину. Все вещи стояли некрасиво; все вещи были некрасивы; чувствовалось, что им не хочется жить.

10 «Скоро вынесут», — как бы говорила каждая про себя.

Человек — центр вещей. Здесь, «в центре», стоял человек, которому вещи были не нужны. И они рассыпались, потеряли гармонию, связанность, красоту, смысл. От этого незримого отталкивания рассыпался и «дом», хотя физически еще и продолжал удерживаться.

Л. Н. был одет в старый халат-пальто-шлафрок, подвязанный ремнем. Одежда на Толстом страшно важна: она одна гармонирует с ним, и надо бы запомнить, знать и описать, какие одежды он обычно носил. Это важнее, чем Ясная Поляна, от которой он давно отстал. В одежде было то же простое и тихое, что было во всем в нем. Тишь, которая сильнее бури; нравственная тишина, которая неодолимее раздражения и ярости. Разве не тишиною (кротостью) Иисус победил мир, и полетели в пропасть Парфеноны и Капитолии, сброшенные таинственною *тишиною*?

Вот эта мировая тишина, особенная, многозначительная, религиозная, была и в Толстом. Не она ли есть то «неделание», которое представляется таким незначительным в его проповеди, т. е. незначительным к формуле; тогда как в *существе* как *жизнь*, как *метод жизни*, она, конечно, ворочает горами. А мы, читая его бледные слова и не понимая, в чем дело, смеемся и отрицаем. И я смеялся и отрицал (в литературе); а когда *увидел*, то сказал: «Хорошо». Хорошо *таким* быть, хорошо бы *такому всему* быть. Зачем грозы, зачем бури, шум? Это не нужно и мелко.

30 Тишина — в ней бездонная глубь...

Я приехал не один. В комнате была и Софья Андреевна. И заговорили, «как в обществе», ненужные, тяжелые, скучные речи. Это уже не были «Альпы», это были переулочки и пригорки в Женеве, близ Монблана.

Тут нечего было помнить, и я ничего не запомнил.

И обедал он как бы один, и особо. Подавал лакей в перчатках, нам — мясное и яичницу, ему — кисель или кашу, что-то нетвердое и, конечно, беззубойное. Сидел он за одним столом и смешиваясь и не смешиваясь с остальными. Через это отделение в пище, вообще, он страшно отделился, удалился от людей, как наши сектанты, не едящие с «никонианами». Пища вообще есть большое разделение или соединение людей, и разницу категорий людей можно узнать по охоте или неохоте, с которой они едят «вместе» или «одни». Евреи не едят тrefного, татары не едят свинины. Зато они «жрут» конину, которой мы не станем есть. «Новая религия» до известной степени начинается с «новой еды»; ведь и христианство

пошло не только от Голгофы, но и от постов; или, точнее, Голгофа не ранее начала побеждать мир, как когда она соединилась с постом, нашла секрет действия на души людей в грибе, каше и супе. Теперь цивилизация всеяднонеопределенная, и «стиль» эпохи потеряян.

* * *

Кроме «Альп», был у меня и особенный мотив увидеть Толстого. Мне хотелось попросить его об одной вещи, которой я был особенно предан. Мне казалось, что это может выполнить только человек с всемирным авторитетом, коего морально обвинить ни у кого не подымет язык и совесть. Дело шло об убийстве внебрачных детей, — чему посвящены страницы «Воскресения», о чем явно глубоко и со страхом думал Толстой, тревожился об этом глубокою сердечною тревогою. И мне хотелось полуспросить его, полуупрекнуть его и полупопросить в том смысле: почему он, *всемирно моральный авторитет*, не отдает своих дочерей замуж «так», без венчания, чему был бы подан пример во всей Европе, и великий его авторитет санкционировал бы эту *абсолютно-лигную и абсолютно частную* форму брака, которая войдет в права общества, войдя в дух общества, она могла бы санкционировать вне-венчанное рождение, а следовательно, и избавить вообще всяких детей от убийства. Для него это было явно последовательно, ибо внешние авторитеты он отверг; для дочерей его это явно было бы удобно: ибо необеспеченность и бедность одни гонят девушек в «законное супружество», плодящее Кит-Китычей, они же обеспечены, всегда прокормятся и прокормят детей. Мне это представлялось, около него, старца, как цветущий сад размножения — счастливый и благородный, идиллический и философский.

Сколько проблем было бы разрешено! И неужели этому препятствует то, что он «граф», «дворянин», «великий писатель»?.. Какие пустяки! Какой вздор перед Катюшей Масловой и судьбой ее ребенка, который «загорвел» и умер!

Так я думал. Мне хотелось и просить, и спросить. Перед вечерним чаем, когда он (слабый и полубольной) позвал меня в кабинет к себе, я, однако, не выговорил своей темы. Но речь зашла (может быть, я завел, стараясь приблизиться к теме) — о поле, о половой чистоте и нечистоте, о страстях и борьбе с ними, о супружестве. Было ли напряжение моей мысли велико в направлении мучившего меня недоумения, и это передалось ему, или от какой другой причины, но он мне, иллюстрируя свои объяснения, сказал, прямо ответив на мой вопрос.

Были и другие разговоры, более существенные и сложные. Все было хорошо. Все было высокопоучительно; я почувствовал, до чего разбогател бы, углубился и вырос, проведя в таких разговорах неделю с ним! Так много нового было и в движениях его мысли, и так было ново, поучительно и любопытно наблюдать его. Учился и из слов, и из него. Он не давал впечатления морали, учительства, хотя, конечно, всякий честный человек есть учитель, — но это уже последующее и само собою. Я видел перед собою горящего человека, с внутренним шумом (тут уж «тишины» не было, но мы были уединены), бесконечным интересую-

щегося, бесконечным владевшего, о веренице бесконечных вопросов думавшего. Так это все было любопытно; и я учился, наблюдал и учился.

Старик был чуден. Палкой, на которую он опирался, выходя из спаленки, он все время вертел, как франт, кругообразно, от уторопленности, от волнения, от преданности темам разговора. Арабский бегун бежал в пустыне, а за спиной его было 76 лет. Это было хорошо видеть. И когда он так хорошо говорил о русских, с таким бесконечным пониманием и чувством говорил о русском народе, думалось:

«Какой ты хороший, русский! Какой ты хороший, русский народ!».

10 Уверен (по словам его), что он *эту память* о себе, *эти слова* будущего о себе предпочел бы «вероучителю», «праведнику», «святому», как равно второму Будде, Соломону, Шопенгауэру (любимые имена в период «Исповеди»), за которые едва ли теперь цепляется. И вообще мне показалось, что я вижу точно то, чего и ожидал, — феномен природы, — «Альпы». *Натура* Толстого — вот главное, «народ русский» в нем — вот существенное. Все остальное только «приложится», все другое — кружево около главного.

Натура эта, честная, благородная, — повела его и к проповеди, или, точнее, — к проповедям, которые были разны.

20 *Натура* из романиста сделала проповедника. «Это нужнее, а я хочу быть нужным народу».

Все у него из «натуры»...

А натура — от Бога... Из «отца с матушкой», из глубоких недр земли, из темных глубин истории. Ведь из этих глубин вышли и Шопенгауэр, и Будда, и Соломон. Только Иисус не из этих глубин. И, не сливаясь с Шопенгауэром, Буддой и Соломоном, в Ясной Поляне прожил и живет четвертый около них, совсем другой, чем они, совсем на них непохожий, наш родной, мучительно-кровный; и он нам милее еврейских, немецких и индусских мудрецов.

Так я увидел «Монблан» нашей жизни. Был 10-й или 9-й час ночи. Подали лошадей, зазвенел колокольчик у крыльца.

30 Прощаясь, я поцеловал его и поцеловал его руку, — ту благородную руку, которая написала «Войну и мир» и «Анну Каренину», и столько, столько еще, что, читая, мы были так счастливы и говорили про себя:

«Как хорошо, что я живу, когда живет он, не раньше, не до него: и вот теперь так счастлив за этими страницами художества, поэзии и мудрости».

Петербург.
1908. Апрель.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ С. Н. ШУБИНСКОГО

*Издание пятое, дополненное и исправленное.
С 89 портретами и иллюстрациями. СПб., 1908. Стр. VII—711*

40 Пятое издание «Исторических очерков и рассказов» С. Н. Шубинского доказывает, что книга эта имела успех и распространение среди публики. По нашему мнению, она вполне этого заслуживает потому, что все рассказы написаны очень

живо и популярно и затрагивают темы, представляющие общий интерес. Большая часть их рисует внутренний быт русского двора и общества XVIII и начала XIX столетий. Читатель знакомится с домашней жизнью Петра Великого, императрицы Анны Ивановны, Екатерины II, русских вельмож, помещиков, чудаков, авантюристов, самодуров и других типичных деятелей того времени. В пятое издание вошло, сравнительно с предыдущими, десять новых очерков и рассказов. Из них особенно любопытны следующие: «Княгиня А. П. Волконская и ее друзья», «Богом данный генерал-прокурор» и «Княгиня Лович» (жена великого князя Константина Павловича). Всех рассказов в настоящем издании 52, иллюстрированных 89 портретами и рисунками, воспроизведенными преимущественно с редких оригиналов. Издание снабжено двумя указателями — личных имен и рисунков. 10

КРАСОТА МОЛЧАНИЯ (К юбилею Л. Н. Толстого)

Наше время очень похоже на то, как сухой ветер несет сухие листья:

Сколько их, куда их гонят...

Нет мыслей, а есть полумысли; нет слов, а есть полуслова, словечки, выверты, выкрики, что-то упавшее до уровня стихийности, какая-то стихия голосов, голо-
систости, словесности, звонов, перезвонов. Это давно называется «литерату-
рою» и «общественностью». Грешным делом, принимаешь в нем участие и сам: 20
но — принимаешь, а на душе как-то горько, кисло...

Спор о чествовании Л. Н. Толстого, конечно, должен разрешиться в сторону *молзания*, так как это красивее и величественнее, и в высшей степени отвечает не только возрасту его, но, сколько понятно и сколько известно, и его вкусам, нрав-
ственным и художественным. Что докажет юбилей? Что его *помнят*, что его *знут*? Но неужели есть до такой степени глупый человек, которому бы это надо было доказывать. Малейшее известие о его здоровье вызывает тревогу по всей печати, во всем обществе. Какие манифестации юбилея что к этому прибавят?

Что скажут на юбилее? Да ничего особенного. Нечего сказать, все сказано. О Толстом столько писали, думали, — и делали это первоклассные умы, — что 30
ораторам, которые потащились бы в Ясную Поляну «для произнесения привет-
ственной речи Льву Николаевичу», ничего не остается, как повторить «в своих словах» что-нибудь уже давно напечатанное. Мне кажется, *умный человек* даже не возьмется за это невозможное дело. *Новое* слово и должно сказать что-нибудь *новое*. А что *новое* скажешь о Толстом?

«Вы, Лев Николаевич, велики... вы — сердцевед, вы — несравненный худож-
ник, вы нашу литературу подняли на недосыгаемую... человеколюбец, моралист,
друг народа, вы, вы, вы»... Стошнит и не одного Льва Николаевича от такого вче-
рашнего, прокислого, никому ненужного винегрета похвал. Ну, а что другое ска-
жешь, или что другое *хотели сказать* предполагавшиеся паломники? 40

Или:

— Вы потрясли государство и церковь.

Старо! Какой теперь гимназист не «трясет»... Просто — все это не нужно. В пустом вихре несутся пустые слова.

Но как будет прекрасно, если действительно торжественный и до некоторой степени *святой* день русской литературы будет почтен просто молчанием. Конечно, мое предложение не может быть принято, но если чего мне хотелось бы, то это того, чтобы, сделав накануне его юбилея анонс о 80-летию, я, например не помню *дня юбилея*, да и *таких (забывчивых) огеней много*, газеты предупредили бы, что на завтра они не выйдут. «Просто, мы в молчании подумаем о вас и порадуемся, что вы еще *вместе с нами*, видите и чувствуете, как и мы вас видим и чувствуем». Вот эти сутки сосредоточения мысли на Толстом всей страны, всего читающего в стране — они были бы прекрасны. Что может быть прекраснее, как если разом и все обернутся мысленно к Ясной Поляне и скажут «здравствуй». Ведь есть же «действия на расстоянии»... От такого доброго, милого, всесветного пожелания — Толстой *поздоровеет*. Прямо я этому верю. Всемирное пожелание не может не осуществиться, и, я думаю, великие люди от того отчасти так долго живут, что слишком велико число людей, желающих, чтобы они еще жили.

Подумаем: мы все несколько счастливее от того, что мы — *современники* Толстого. Помните, как спорили, когда выходили все новые книжки «Русского Вестника» с новыми главами «Анны Карениной»? Как волновались все «Крейцеровою сонатою». И прочее. Он дал *лишнее содержание* жизни каждого из нас: как это много значит, как трудно! Вот за эти счастливые дни, которые он дал нам, за прекрасные дни новых размышлений и новых художественных восторгов поблагодарим его торжественным, обдуманым молчанием всей Руси и безраздельным сосредоточением мысли на нем в этот день.

И — никакой толчеи ног в Ясной Поляне, никакого — громогласия!

ПАМЯТИ Ф. И. БУЛГАКОВА

В узенькой передней редакции «Нового Времени», среди молоденьких и неуклюжих сторожей, развертывался какой-то комок, по-видимому, внесенный ими с улицы. Не то они его развертывали, не то он сам развертывался, и в последнем случае нужно было предположить, что в нем есть что-то живое. Сторожа суетились, оправдывались, извинялись. Ворчали или боялись. Комок шевелился. Вот куда-то девалась шапка, вот тащат с ног длинные валеные сапоги из очень мягкого войлока, похожие скорее от этой мягкости на чулки. Разматывается бесконечный шарф, убрали пальто: и пока все это еще лежит горою на стуле и на руках сторожей, — из-под хлама тряпок, меха и войлока раздается веселый тихий смех, ни к кому не обращенный и, очевидно, выражающий радостное состояние души самого смеющегося.

40 — Ну и мороз!!

— Что вы, Федор Ильич, всего три градуса холода, — отвечают сторожа.

Но смеющаяся фигура уже проходит дальше, и за нею толпа просителей, соудников и всяких лиц, имеющих надобность до газеты.

В тепло натопленной комнате с вечно пылающим камином, просторной и деловой, в русско-турецкой шапочке на вечно зябнувшей голове, и держа ноги в чем-то теплом, Федор Ильич сидел, погруженный в чтение рукописей, типографских оттисков статей, хроник, сообщений, писем в редакцию, телеграмм и еще я не знаю чего, чем наполняется номер газеты, и в то же время выслушивал говорившего. В отношении рукописи он делал пометки на ней: «отл.», т. е. «отложить до которого-нибудь из ближайших номеров», «сег.», т. е. «сегодня» (в завтрашний номер), «возвр.», т. е. «возвратить автору статьи, которая не будет напечатана», «разобрать», т. е. статья, набранная в каких-либо предположениях, подлежит разбору. В отношении говорившего он давал спокойные, неторопливые, ясные ответы, всегда без колебания, без спора и вообще «без дальнейшего». «Дальнейшим» я называю всякую запутанность около дела или мысли, которая потом вызовет другие разговоры или другие дела. Ничего запутанного в Федоре Ильиче не было: он этого не допускал, не выносил и до известной степени не понимал.

Эти четыре дела: 1) для глаза, 2) для руки, 3) для уха и 4) для языка он делал вместе, — и, по-видимому, испытывал тоску, скуку и раздражение, если вдруг который-нибудь орган у него останавливался за неимением материала. Тогда он быстро находил, созидал этот материал, — и успокаивался.

Между тем, взглянув на его фигуру, нельзя было понять, чем же именно *работает* этот человек: в совершенно высохшем теле, казалось не было ничего, кроме нервов и кожи. А если кто-нибудь имел случай когда-нибудь говорить с ним о его болезнях, то должен был прийти к выводу, что в нем тоже ничего цельного и здорового не осталось, и он представлял собою подобие древней гробницы, в коей единственно живые и шевелящиеся существа — микробы. При этом он питал восторг к медикам и массажистам, так сказать, «сверх обыкновенным». «Сверх обыкновенный» Бадмаев оказался выше всех петербургских светил медицины; и какой-то массажист, «друг и благодетель, а не массажист», — лет шесть «единственно» поддерживал в нем дыхание, кровообращение и другие функции. В особенности все было у него испорчено ниже диафрагмы, т. е. в области желудка, кишок и проч. Тут ни одного органа, ни одной трубочки не было здоровой; и только в последнее время болезнь переступила и выше диафрагмы, задев легкие, сердце, печень, горло. Он кашлял, говорил шопотом, задыхался...

И все спрашивал про «дела», заботился — «как идут дела» или «как пойдут дела».

При взгляде на него, при мысли о нем не приходило и не приходит на ум ничего интимного... Всю жизнь прожив около литературы и литературой, он жил ею более всего как изучающий, как читающий, как комментирующий, как оценивающий и распределяющий. «Журнал Новой Иностранной Литературы», его любимое детище, в которое он вкладывал всю душу, который все время приносил ему значительные, даже огромные убытки вследствие невероятного количества материала, в него вкладываемого, глубочайше выражал его сущность, его задушевность. Он никак не мог сократить даваемого материала: «Столько хорошего не переведено», «столько есть хороших вещей, каких мы, русские, не знаем». И он хватал еще и еще, хватал жадными охапками — и все это кидал за какие-то 4 или 5 руб. в год в читающее общество или, точнее, выкидывал на читающую улицу, на питающую площадь. «Нате! Все это вам наготовил Федор

Ильич. Будете помнить, а не будете — то и чорт с вами: все равно это надо было сделать, я и делаю. Пока не помру — делаю и буду делать».

И он умер, почти задохся под горою надвигаемого им на себя «материала», страстно любя этот материал, — любя «книгу» и «книжность» более всего. Он никогда не отдыхал. Даже когда ему устроят, навяжут отдых — он все равно завалит его книгами, печатью, читаемую, просматриваемую, наконец — придумываемую!! В нем постоянно копошились все новые и новые замыслы; будь он миллиардером — он все сокровища убил бы на печать, на книжность и книги; казалось, из сухой его фигуры лезут какие-то целые музеи, библиотеки: и он был фантастическим оберегателем этих по бессилию не рожденных им книжных и вообще печатных сокровищ или сугробов, бездны, массы, гор! «Не могу родить! Все внутри согнило! А как — хотелось бы!».

И он, бедный, надорвался. Он был и счастлив, и несчастлив. Он был счастлив в том отношении, что всю жизнь провел за любимым делом: это немногим удается. И он был несчастлив потому, что, как Тантал, вечно жаждал и не мог напиться. По самому существу своих вожделений он никогда не мог поставить «точку» им и не мог даже приблизительно надеяться, что дойдет до желаемого конца и успокоения.

Мне кажется, он родился с этим восторгом к книге, к печатному: иначе невозможно объяснить его деятельность, его жизнь. Его печальная квартира, совершенно лишенная солнца, — как-то гармонировала с ним. «Свет идет только из книги», — и он занавешивался даже от кое-какого петербургского света занавесками! Везде книги и книги; на полу — печатные, не сверстанные листы; на столах — рукописи, «которые нужно читать». Огромное кресло его в *гостиной*, где можно было и дремать, и слушать гостей, — имело какие-то дощечки на винтах и шалнерах, подвижные, разгибающиеся, на которых можно было и положить читаемую книгу. «Все говорите, и я слушаю, и с удовольствием: но в то же время я буду *работать*».

Мне кажется, те качества, которые сливаются с литературой в ее патетической части, — сердечность, искренность, воображение, фантазия и проч., и проч., все эти качества и за недосугом, и по другим условиям труда, у него заменились одним и всепоглощающим — *корректностью*. Мне кажется, раньше, чем родилось это слово, в нем было существо его, как качество. Он был корректен извне и изнутри: единственное, что могло привести его в негодование, — это бесчестность. Ее он совершенно не выносил. Но он относился совершенно невозмутимо, напр., к уколам своему самолюбию, к чему вообще так равнодушны литераторы. Вообще в свою работу он не вмешивал своей личности в смысле ли этого самолюбия, или тщеславия, или, напр., в частности. Он знал, что никто не может у него отнять первенства, исключительности в работоспособности; как никто не посягнет на его честное имя. За эти две твердыни он был спокоен; а прочее для него не составляло какой-либо истинно важной точки. «Есть территории, на которые я не претендую: и вы их можете занять; но две твердыни я никогда не оставляю: это — труд и честность. Это — мое, и из них никто меня не выбьет».

Маленькая улыбка в конце этих печальных строк: я его посетил во время болезни один раз. Никто не мог ожидать, что он умрет, и, кажется, он умер от собственной неосторожности в самолечении. Сидел я у него с полчаса, и все говорил

он о деле, о делах. Расспросов о болезни он почти не выносил: не по страху к болезни, а по скуке этой темы.

— Ну, что́ — болен. Весь болен. Все болит. — Совершенно дельным образом он сказал мне перед уходом.

— Да, вот что. В случае, если бы я умер, — напишите непременно вы обо мне некролог. У вас это тепло выходит.

Он говорил об этом, как о «продолжении работы». И я, как о задаваемой работе, сказал ему:

— Хорошо, хорошо, Федор Ильич. Все будет исполнено.

Так умер этот человек, просто и ясно; умер трудолюбец, подобного коему я не встречал. И кто не пожалеет, что для него — судя по годам — настал так преждевременно вечный отдых, каким может назваться смерть.

ОКОЛО НАРОДНОЙ ДУШИ

Можно сказать, головной мозг нашей интеллигенции обескровел от заботы, где и как сыскать новые способы культурно воздействовать на народ. Библиотеки и читальни в память «знаменательного события» или «в память великого человека», маленькие издательские кружки, чтения с туманными картинками и без них, собеседования и проч. — все это «культурно воздействует» или пытается культурно воздействовать на народ. Слов нет, где труд — там и Божие благословение; и *как бы* люди ни старались и *где бы* ни старались — все в пользу. И так, мы начинаем нашу речь не для того, чтобы что-нибудь обновить или кого-нибудь расхолодить; наше желание — сколько-нибудь помочь.

Нельзя не обратить внимания на следующее: приглядываясь ко всем этим усилиям интеллигенции, замечаешь, что она уж слишком активна во всем этом, а народ слишком пассивен. Интеллигенция, точно мамка, приставляет ко рту младенца-народа соску и нудит его пососать своей кашицы, причем нельзя не видеть, что народ в значительной степени от этой кашицы отвертывается. Это во-первых. Во-вторых, нельзя не обратить внимание на томительную однотонность всех этих культурно-воздействующих средств, — так сказать, на однообразие в разнообразии. По-видимому, разница: то книжка, то лекция, то туманная картина. Но на самом деле это все одно: кашлица, то сваренная на молоке, то на воде, то погуще, то пожиже. Все и везде — слово; все и везде поучение. В сущности, все эти книжки и чтения суть светская форма церковного проповедничества; и та тетрабочка, по которой проповедник говорит свое «слово», иногда довольно скучное, — есть первый оригинал и начальный корень всех теперешних книжечек и чтений, с которыми интеллигенция выходит к народу. Все — слово, все — словесность; все — поучение, с видом неизмеримого превосходства поучающего над поучаемым. И хочется крикнуть всему этому: «Не так!»

Прежде всего, это поучение нудно и для самой интеллигенции. Так, бедная, старается, что пот со лба катится; принаравливается, изловчается, усиливается быть простоватой и удобопонятной, и чрезвычайно боится, — как и всякий,

впрочем, проповедник, — проболтаться о собственных пороках, слабостях и грешках, которые по немощи человеческой у каждого есть, и она их тоже не избежала. И она, как и духовные лица, делает «святое лицо» перед народом, что не довольно легко и для настоящего проповедника. Во-вторых: да оправдывается ли этот труд результатами? Проповедующая интеллигенция немножко скучает, а поучаемый народ потихоньку позевывает. Что скучно для учителя, не может не быть скучно и для ученика. Если народ где и учится около образованных классов, то не прямо, а косвенно, — в моменты, когда эти образованные классы не стараются быть особенно поучительны. Он учится и культурно воспитывается около настоящей и во всю ширь развернутой, самостоятельной, *своей* жизни этих классов, где они нимало не помышляют о наставительности, а живут страстями и умом, гневом, ссорами и дружелюбием, живут жадно, живут, наконец, корыстно. На хорошей, отлично поставленной мануфактуре народ настоящим образом воспитывается, воспитывается в труде, в ответственности, ну — и образовывается удивлением перед техникою и всеми чудесами науки. Равно в тех немногих пока случаях, где простолюдин начнет по-настоящему понимать настоящую литературу, — он воспитывается же. Не сегодня-завтра Крылов сделается любимой деревенской книжкой: вот это — воспитание, культура. Очень жаль, что некоторые утонченности языка и мыслей Козьмы Пруtkова не могут делаться понятными народу, а то он тоже мог бы войти в обиход народный. Но только тогда, когда деревне станет понятна «Война и мир» и эта громадная эпопея тоже станет достоянием села, мы можем, перекрестившись, сказать: «Слава Богу, *народ* наш стал *культурен*». Увы, однако, может быть, этого даже *никогда* не будет! Слишком все это трудно и сложно. Всех в гимназии не переучишь, а понимать нашу литературу почти невозможно, по крайней мере, без гимназического образования.

Нужно не читать народу лекции, а *жить с народом* — вот что я хочу сказать. И не то, чтобы одеваться по-народному, — это будет «ряженье» и «ряженные»; а чувствовать по-народному, по-народному думать. Надо вырастить в себе народный нюх и народный глаз. От *ощущения* — до *мысли*: вот путь! Ошибка славянофилов заключалась в том, что они были слишком умны: ну, куда такому ученому, как Данилевский, такому тонкому критику, как Страхов, или такому «европейски образованному человеку», как И. С. Аксаков, было «пойти в народ»

А и поклонилась бы Спесь отцу-матери,
Да ворота не крашены.

Нельзя не заметить и до известной степени не отдать чести нашим не очень мудреным нигилистам, что им в семидесятых годах лучше удалась славянофильская идея: не мудрствуя лукаво, они с одним Писаревым и Карлом Фохтом за душою окунулись в народное море, ругаясь, споря с народом из-за якобы «предрассудков» его, доходя чуть не до драки и, во всяком случае, иногда испытывая побои или представление «к г. становому». Но дело сделали. Вошли в народ, они первые и массою, и пошли плечом к плечу, около работы и вообще деловым образом, а не литературно и не книжно. Но нельзя не заметить, однако, что та элементарность души, которая им помогла *просогиться* в народ, найти первую сква-

жину, в которую они и пролезли, теперь мешает их дальнейшему действию на народ и слиянию с ним. Народ жил тысячу лет. Конечно, он и младенец, но он — и старик. Он стар культурою своею, не книжною, а бытовою, житейскою. Нигилисты могли сойтись с ними как рабочие с рабочими, на интересах работы, заработной платы, отдыха и проч. Но за этим начиналась в народе другая сложная жизнь, другая тонкая жизнь, в понимании истории нигилисты оказывались слишком варварами, чтобы не только что «воздействовать» на народ, но хотя бы и идти с ним рука об руку.

Это весь мир души человеческой, весь мир совести человеческой. Можно так сказать: нигилисты поняли народ только в его будничной стороне и будничным образом; они взяли человека в будень и посмотрели на него будничным глазом. Но в народе есть и праздник, у души народной есть и праздничная сторона. Это все, где она является разрисованною, увеличенною, сияющею, печально или светло — все равно. Ибо есть и печальные праздники. И вот тогда она уже не есть душа плотника, душа башмачника, дровокола, угольщика, с которою умеет разговаривать нигилист на ей понятном языке, а душа человеческая: и вот к ней-то нигилист со своим багажом из Писарева и Фохта не умеет подступить. Сказывают, теперь нигилисты бросились к культуре и читают так много, как им отродясь не приходилось читать. Будто бы, далее, они натолкнулись в этом чтении на декадентов и поглощают их в таком количестве, что подняли спрос на всевозможные экзотические альманахи и книгоиздательства всех созвездий. Наконец, разъясняют, что они не столько ищут у декадентов их известные и неизвестные «извращения», сколько просто смотрят на их книгу как на образовательную энциклопедию, откуда могут почерпнуть самые последние взгляды и самые шумные факты. Все это имеет тот вид ребячества и неопытности, какой всегда был присущ «мрачным» нигилистам, так что приведенным слухам можно поверить.

В общем, однако, движение правильно: нигилисты, — они же и социалисты, марксисты и проч., — всегда были душевно неразвитые люди, были какие-то грубые элементарные язычники, которых воистину «не просветил свет Христов»; но просветил не в смысле вероучения, а в том гораздо более важном смысле, что Христос вырастил у человечества, точно шестое чувство тонких ощущений, ухо для неслышных звуков и глаз для невидимых образов и через то открыл для него совершенно новый мир жизни, о каком самого предположения не было в античном мире. Нигилисты, экономисты, исторические материалисты настолько, можно сказать, и живут своим внешним миром, постолько их счеты и правильны, постолько они совершенно не видят этого другого мира и не взяли в расчет темных сторон души, неизъяснимых в ней движений, беспричинных и бесконечных... Назовем, для краткости, всю эту сторону души «метерлинковскою» и скажем мысль свою этими европейскими терминами, к каким привыкли они: нигилистам надо пройти весь путь от Фохта и Писарева до Метерлинка, чтобы не быть выброшенными дальнейшим ходом истории просто как ненужный балласт, как слишком грубый и непригодный материал для дальнейшего помола исторической мельницы.

Нужно жить с народом не в одной его работе, но и в его празднике. А чтобы приобщиться и к народному празднику, нужно светскому обществу доразвиться до глубины народной культуры — до его религиозной культуры. Ну, вот этот праздник, который мы торжествовали недавно: праздник «воскресения» после

смерти, праздник «очищения от греха». «Грех», «смерть», «воскресенье» — не правда ли, какая это тарабарщина для нигилиста? Это слова из какой-то книги, которую и не начало читать или которую давно забыло наше образованное общество. Ведь это общество точно какое-то железное, — не хворающее, не умирающее, не грешащее и не кающееся. Народ никак не может слиться с обществом на этой *пустоте* его, так как он неизмеримо перерос ее, серьезнее ее, хотя он и безграмотен.

Правда, народ наш надо культивировать. Все же он безграмотен, и это кое-что значит; но читатель, следящий за моею мыслью, вероятно, уже согласился, что культивировать народ можно не книжкой и не лекцией, а начав жить вместе с народом. Здесь образованное общество, в своей широкой и самостоятельной жизни, в жизни не педагогической, а настояще-культурной, стало перед великою задачею: чем усваивать некоторые идеи из Метерлинка, из Ибсена, из Ницше, из декадентов, — подойти к ним осязательно и зрительно во образе великого народа, живущего древнею религиозною культурою, великою душевною культурою, и в большой работе смешать свою душевную жизнь с народною жизнью.

Подвиг по плечу Петра Великого, хотя и в обратном направлении. Петр Великий не совсем успел в своей задаче, и даже до нашего времени «дело Петрово» застряло оттого, что он, как и теперешние нигилисты, подошел к народу только снаружи и материально, в работе и буднично, желая помочь народу и облегчить его вещественно. Но не заметил праздника его души, трагического или светлого — все равно. Не заметил, где она растет к небу. В борьбе его «со старым» он не победил народной души, а только ударил по ней с силою и оскорбил ее; но, получив «заушение», она выстояла перед бронзовым гигантом: и по той простой причине, что она была глубже и Петровой души, как выше души теперешних нигилистов, вот этим «метерлинковским светом», против которого что же поделаешь дубьем. Образованным классам надо доделать дело Петрово: им нужно войти в душу народную, оглядеться там, многому, очень многому научиться; ну, а кое в чем и вступить в борьбу, не педагогически, не учебно, а по-настоящему. Может быть, образованное общество самому народу в той же линии душевности откроет возможность новых восторгов, новых светов, новых ликований? Может быть, о грехе, о смерти, о воскресении, о совести и раскаянии оно скажет новое слово, для самого народа неожиданное? Вот где было бы довершение Петрова дела; или, кто знает, поворот к чему-то совсем новому...

Все эти мысли невольно приходили на ум в минувший день Пасхи... Величайший годовой праздник народа: а что мы в нем чувствовали? О, и мы «приобщались народу» в этот день с пышными куличами и сладкими творожными пасхами. Но поистине, насколько больше торжества и смысла было в маленьком 50-копечном куличе, какой, освятив его в церкви, нес к себе в убогую комнатку петербургский рабочий. У него все так это обдуманно и связано. Связано с цельным годом душевной жизни, шедшей темпами, подъемами и опусканиями. Это целая душевная драма, с большим трагическим оттенком, какую переживал, а не то чтобы только видел народ в «слезном покаянии» и вот в «светлом торжестве». Без этой драмы, без соучастия в ней души народной, живущей церковно, — что значат куличи и пасхи? Лишняя еда. Ее у нас и в будни много, и ее мы можем разнообразить сколько угодно. Тут ничего нет. Нет прежде всего праздника. А чтобы пережить его, нужно совершенно перемениться душою, расшириться до спо-

способности принять в себя эти великие мистерии погребения и воскресенья, греха и очищения от него, которые все пришли к нам в Европу с Востока.

Европа — она прекрасна, но маленькая. Есть какая-то связь великих душевных явлений с массивностью обитаемой человеком земли. Кажется, ни одна еще религия не приходила с острова. Азия, самый громадный материк, растящий такие чудовищные деревья и питающий таких огромных животных, дала нам и великие таинства религии, всех религий.

Полувосточному, полузападному народу, русским как-то совершенно даже не в меру довольствоваться очень научными, но очень короткими мыслями, составляющими обиходную жизнь Европы. Там с религиею покончили или кончают; у нас она никогда не угаснет уже потому, что одною ногою мы стоим в Азии. ¹⁰

«СВОИ ЛЮДИ» ПОССОРИЛИСЬ...

Сидели, сидели в одном гнезде, и — рассорились. Я говорю о Д. С. Мережковском и Н. Минском, которые, сидя оба в Париже, присылают в петербургские газеты статьи друг против друга. А еще давно ли, в зале Географического общества, у Чернышева моста, в религиозно-философских собраниях 1902—1903 гг., они витийствовали за одно дело, нападали на то же, защищали то же! Почти. Разница была только в том, что Мережковский критиковал церковь или, как он называл — «историческое христианство», особенно нападая на аскетизм, а Минский был более ортодоксален, защищал церковь и особенно прекрасным находил монашеское отречение от мира. Только он подпирал его не ссылками на отцов церкви, а на Леопарди, Шопенгауэра и вообще мизантропических и неженатых поэтов и философов. Но это были оттенки, не жесткие. Минский до того увлекался в то время «прекрасностью» монашества, что испросив у одного высокопоставленного монаха-иерарха дозволения или «благословения», прочитал целый доклад перед его лицом и перед лицом иерархов об «истине идеалов церкви и в особенности монашеского». Мы ожидали тогда, что он крестится, так как Минский — еврей. Но так как он вместе с тем и адвокат, то не очень удивились, что он не крестился: ибо адвокаты крещеные и не крещеные — все равно. И о чтении его перед лицом высокого иерарха в защиту монашества мы тоже стали думать, что это — так, красноречие. Всякая птица носит свое оперение, и куда же Минскому девать свое красноречие, раз оно у него есть? ²⁰

О чтении Минского я имею право печатно упомянуть, потому что оно никогда ни от кого не скрывалось и потому что на нем присутствовало очень много лиц, писателей и духовных. О нем не упоминалось в газетах единственно для того, может быть, чтобы не поставить в неудобное положение высокопоставленное духовное лицо, внимавшее поучениям еврея. Впрочем, «поучения» были так идейно льстивы или лестны для монахов, что их можно было принять и за «покаяние в вольнодумии»; кажется, иерархи, медленно шевелившие губами во время чтения и ничего решительно не «изрекшие» после чтения, так, вероятно, и поняли, что Минский, «Бог ведает какой веры», кажется, поэт и, во всяком случае, брюнет, читает что-то в похвалу «вам», в оправдание «нас». И как «мы», соб- ³⁰

ственно, ни в каком оправдании не нуждаемся, а к похвалам слишком привыкли, то в «неизреченном милосердии» и проч., и проч. «решили снизить к просьбе» сего незнакомого человека и битый час слушали или, точнее, не слушали этого чтеца, который оказался «жидом». Так, мне представляется, произошло психологически и идейно это дело и такие оно получило нелестные отражения. Несмотря на пафос чтеца, все именно ничего не «изрекли», и было непонятно, для кого и для чего совершалось чтение. Пришел человек, похвалил, а его даже не поблагодарили!

И вдруг такая перемена! Вместо того чтобы, живя в одном Париже, просто придти ночью к Мережковскому и зарезать его, Минский старается сделать то же самое, но мучительно, медленно, посылая статью за статьей в газеты, где доказывает все литературное ничтожество и идейную зловредность его, Мережковского, который только сеет «суеверия». В разряде «суеверия» оказывается вся религия, все христианство, все основные линии его, его построения, какова, напр., идея о Христе и Антихристе, которою особенно занят Мережковский, разрабатывая ее, можно сказать, во всей своей литературной деятельности, очень долговременной и значительной. Куда же все девалось у Минского? Как еще недавно он громил в зале Географического общества меня за Христа? Он сравнивал меня с вором, около того времени выкравшем лучший бриллиант из образа в Исаакиевском соборе: это — за то, что Христа я признавал суровым Судией мира. «Нет — Он не судия, Он — только любовь», — возражал Минский. Думая, что и это все — красноречие, я не очень обижался.

Ни о каком «переломе в убеждениях» Минского ничего не было слышно, литературно это ни в чем не выразилось, он не издавал никакой «Исповеди», которой так естественно было бы ожидать от него, раз уже он так радикально переменялся. По-видимому, сам он не ощущает в себе перемены. Писал, писал об одном, и вдруг о другом. На вопрос: почему? Он едва ли имеет другой ответ, чем тот, что стал макать перо в другую чернильницу. «Вот и все».

«Религия есть суеверие и порождает задержку жизни». Когда это говорит гимназист III класса, утомленный катехизисом, тогда это понятно: но как это понять у зрелого писателя, который знает то же место из Геродота, где этот «отец истории» говорит, что «на земле встречаются разные народы с разным политическим устройством, и вовсе даже без устройства: но что нет ни одного народа, который не имел бы вовсе религии». Опыт от Геродота до нас что-нибудь значит. На слова Минского: «Религия — суеверие и несчастье» можно ответить: «Религия есть самая *постоянная* истина и высшее счастье». О «высшем счастье, которое он находил в молитве», говорит и Магомет. Правда, он был пастух и торговец; правда, Геродот не учился в наших гимназиях. Это были люди поля и странствий, натуральные люди. Но тем драгоценнее. Не вправе ли мы видеть в тезисе Минского то убогое ничтожество души, до которого доходит человек в условиях теперешней нашей образованности, мотаясь между стихами, адвокатурой, журналистикой и архиереями? «Все и ничего»...

Человечеству безмерно многое нужно, но во главе всех вещей нужно что-то глубокое и интимное, нежное и внутреннее, прекрасное, вместе и тревожное и успокоительное, что все в высшей мере своей, в своей совершеннейшей форме находится в религии, в религиозности. Где-то мне попалось выражение, что благочестивые люди всех вер наследуют в будущей жизни блаженство. Судя по упо-

минанию о загробном блаженстве, это явно есть изречение не философское, а изречение религиозное из какой-то священной книги. Смотрите же, какая тут гуманность, какое достижение универсализма! Можно без преувеличения сказать, что в религии *одной* содержится более благородных и *воспитывающих* чувств, мыслей, надежд, пожеланий, нежели во всем человеческом искусстве, поэзии, науке и философии.

От этого-то так и больны, и странны повреждения религии, и начинающиеся *явные* недочеты в ней, которые приводят к новым исканиям. И трижды благословенны все здесь ищущие!

Но оставим это. Вернемся к Минскому.

Чем же он заменит всемирную потребность молитвы? Не религия *придумала* молитвы, а скорее сама религия возникла и стала расти из молитвенности души человеческой; явилась как некий синтез их, как сумма из слагаемых. Кто не знал молитвы, не знает вовсе и религии, хотя бы вызубрил все катехизисы и «прошел» все богословие. Молитва — первее религии, молитва — душа ее, зерно ее. Кто же молится? О чем? Молятся все, кто знал утраты, и *дорогие* утраты, кто боялся, кто смущался, кто тосковал. Молятся все слабые и ограниченные: и Бог не знает молитвы (к кому?), а мы все — *люди* — знаем молитву как помощь своей слабости, как поддержку своего ничтожества. И она нужна нам, как кислород задыхающимся. Будем «боги» — и не станем молиться; будем счастливы, окончательно станем здоровы, не умираючи — тогда зачем молитвы? Но пока?..

Вот источник религии. Минский скажет, и у него есть на это намеки, что «цивилизация все всем заменит». Позвольте, да есть неизлечимые болезни, а вот мне близкий, дорогой человек, *без которого я не могу и не хожу жить*, болен этую неизлечимую болезнью. На утешение, что «цивилизация в будущем станет помогать», я отвечаю только: «Ха-ха-ха!!!». Мне не *в будущем* нужно и *не вообще*, а вот сейчас, в моей комнате и у моей постели. Тут мне «будущее» и «все люди» решительно ничего не значат, гроша медного не стоят: мне или *жить* (с больным), или *умереть* (без него), или вот еще третье — *молиться* за него и после него. Пусть не поможет, часто не помогает, увы — почти всегда не помогает: но «когда-то кому-то помогло», «рассказывают», и у меня в этот ужасный миг, *когда я абсолютно больше не могу жить*, является еще возможность не умирать, а молиться. Или — умер: и я мыслью, всеми желаниями, пламенной верой лечу «за ним», «туда», чтобы жить еще «с ним». Повторяю, может быть — иллюзия: но без нее абсолютно невозможно человечеству жить; и отнимать религию у человечества все равно, как если бы кто-нибудь вдруг выбросил хлороформ из операции.

Не измеряйте человечества своею пустотою, — вот что нужно ответить Минскому и ответить вообще на все писания против религии, аналогичные его писаниям. «Вам не нужно, нужно человечеству». К великому сожалению, религия кроме молитвы уснастилась еще всяким богословием, которое опровергать очень легко; легко холодным умом разрушать эту холодную постройку. Но в религии есть *теплота*: и вот ее-то вы никаким умствованием не заденьте. Просто нет соответствующего крючка. Знаете ли, что все пламенные души, даже когда они и называют себя атеистами, в сущности, религиозны: только не пришло им время опознать себя, не было случая? Это как и смерть: «не настала», но «будет». Так и вечная всемирная жизнь религиозности, она «будет» для каждого живого человека, хотя ее «нет» еще у многих.

О НАРОДНОЙ ДУШЕ

Меня спрашивают: что значит тот «метерлинковский свет» в душе народной, о котором я заговорил в статье «Около народной души»; и продолжают: «О народной душе говорили и славянофилы, говорили, что мы должны учиться у народа; но как учиться и чему учиться — этого они никогда не умели толково объяснить. Может быть, вы продолжите и разовьете свои мысли?».

10 Говорить о трудном чрезвычайно трудно; но как, переходя от арифметики к алгебре, учащийся испытывает трудности, плачет, бьется, но зато потом вознаграждается тем необыкновенно ярким и всеобнимающим светом, какой из алгебры проливается на всю область математики и, между прочим, на самую арифметику, — так вечно учащееся человечество и вечно учащееся, например, наше общество не должно останавливаться перед темами очень трудными, не обещающими дать скорый результат.

Скажу по правде: слова о «метерлинковском свете» в душе народной я написал как-то ошупью, не очень ясно сознавая, что они значат, но с неодолимой силой чувствуя, что *так надо написать*. Бывает так с писателями, что пальцы часто пишут, *и огонь уверенно*, как бы говоря: «А ум потом *догадается*». И догадывается. Когда я упомянул о Метерлинке, то имел в виду одну его пьесу, где смерть родного человека происходит за стеной и его близкие и друзья ее не видят; а между тем что-то прокралось в их душу, и душа эта и *знает*, и *не знает* о смерти: Вот эти состояния, где человек и «знает», и «не знает», где что-нибудь и «есть», и «не есть» (смерть завтра, смерть далеко), я и назвал условным термином «метерлинковские состояния». А душу, способную к таким восприятиям, даже способную просто к вере в возможность у других таких состояний, — я назвал «метерлинковскою душою». Все это, разумеется, условно, и, раз выразив мысль свою, — можно оставить Метерлинку и в стороне.

30 Знают ли многие, что *в самый час* Цусимского боя в Петербурге некоторые знали, что там «все провалилось»? До телеграмм, до известий. Встревоженные слова: «Мы не разбиты, не *неудача*, — а погибли почти все суда», — эти слова я слышал в памятное утро и успокаивал, не веря им, зная хорошо, что *невозможно этого знать теперь еще* (в тот час). Но поверившие были страшно беспокойны, и не было средств их успокоить.

40 Это — частность, крупинка. Это тот случай, — берем опять аналогию из арифметики, — где одно целое число не делится на другое целое число, и это открывает ученику сущность и неизбежность «дробей»; это тот случай «непрерывных дробей», который открывает ученику возможность странного, *бесконечного приближения к чему-то*, чего, однако, вечно возрастающая величина никогда не достигнет. Ведь и такие дроби вовсе не представимы «для разума»; рука производит вычисления, пишет и пишет периоды в дроби; а ум давно уже потерял силу следовать за производимым вычислением, он «не понимает», «не видит», «не представляет» того, что происходит в вычислении и что на самом деле *есть*.

Позитивизм как философия и его социальные отражения, все эти «марксизмы», «социализмы» и «исторические материализмы», похожи на арифметику целых чисел, без догадки о том, что некоторые из них не делятся друг на друга, без знания «дробей» и «бесконечностей». Все эти рассуждения, что «накорми че-

ловека, и он *счастлив* будет», каковые составляют альфу и омегу экономики и материализма, сочинены точно не людьми, а какими-то коровами, которые, кроме своих двух желудков и своей жвачки, ничего не знают. Оговорюсь: весь этот материализм только и поддерживался теми сухощавыми и еще худшими, *злыми* господами, которые возражали экономистам: «Ну, что кормеж: есть *небесная пища*, и вот пусть народ ею питается». Эта нравственная фразеология христианства *по существу глубоко безумна*, безжалостна к народу. Но экономисты, повалившие или почти повалившие христианство, все-таки ничего не могут сделать с тем, что называется «христианским светом» или, как я предпочел бы называть, с этим странным, особенным светом души человеческой, в силу коего она тоскует во всяческом «объединении», а иногда на сухом хлебе испытывает невероятные восторги. Вся поэзия, все люди поглубже знали это: 10

Скучно, скучно, *ямщик удалой!*
Разгони чем-нибудь мою скуку.

Или:

Бес благородный *скуки тайной...*

А уж на что, казалось, Некрасов был реалист. Довольствоваться бы успехом, деньгами, славой! Больше этого ничего *не могут дать геловегеству* экономисты. Но этого *так мало!* И вот это «так мало» опрокидывает назад всех Марксов, Энгельсов, Фохтов и всю премудрую фалангу XIX века, которая, двинувшись, действительно разрушила христианскую цивилизацию, по крайней мере, потрясла столбы: но потрясла — чтобы умереть в *бессилии самой*. 20

Оглянусь на литературу. Действительно поразительное явление, что «нигилисты» зачитываются декадентами, — явление неожиданное, которого никто не сумел бы предсказать, — на самом деле, конечно, свидетельствует о глубоком внутреннем умирании всего этого движения, охватившего русскую жизнь со второй четверти XIX века. Нигилисты, которых скоро придется именовать «последними нигилистами», как есть «последние могикане», недаром зашевелились везде, забеспокоились, начали издавать целые книжки и сборники против этого поразительного слияния нигилизма с декадентством. Плохо то, что с декадентством то нигилисты связываются скверным, и все это есть действительно скверное и печальное явление. Но ведь смерть когда же красива? Умирают в безобразии. Бациллы тифа, с которыми я сравнивал бы декадентов, охватят давно подточенный организм старческого нигилизма: и в той общей яме, в которой закопают труп, скроются и бациллы, и «бывший Иван», декадентство и нигилизм. Бесспорно, что атмосфера идет к очищению: лет через 8—10 не останется на Руси ни декадентства, ни нигилизма. Я думаю, — выигрыш большой. 30

Вернусь к теме. Алгебра выше арифметики, и народ наш хотя и безграмотен, однако так как несет в себе по преемству очень древнюю культуру, то он имеет и душу в себе, так сказать, существенно алгебраическую, «темную», «метерлинковскую», тогда как наши нигилисты и, в сущности, все образованное общество, которое есть, конечно, общество нигилистическое, живет, так сказать, душою арифметическою и дальше «целых чисел» никакого счета не знает. Народ, на- 40

пример, имеет «суеверия»: такой прелести, — и глубокой прелести, — общество не знает. Народ испытывает страхи, предчувствия; гадает: «Что значит, что комета пришла». Он различает *лицо* неба, — ну, путает, а все же что такое там чувствует; не астролог он, не вавилонянин, а сродни этим мудрецам. Знает «зорьки» и что значит алая заря и бледная, что значит — «солнышко закатывается в облако» и «закатывается в чистой лазури». Наше же «общество» давно вместо всяких зорек зажгло керосиновый свет, а по вечерам только ходит на бульвар «ловить бабочек» или собирается на конспиративные квартиры. Все это так плоско и, наконец, так глупо, — что куда до народа. Даль собрал «поговорки» русского народа; нуте-ка, соберите «поговорки» общества! Ничего не выйдет. Никому не интересно.

Это и показывает разную меру души. Народ наш *развитее* общества, а общество только смышленнее его, т. е. и осведомленнее, и немножко плутоватее. Счет не в пользу общества.

Есть понятие «трогательное». Что такое «трогательное»? Это и не ум, и не знания, и не глубина души, не только глубина. Народ имеет более «трогательную» душу, чем общество: и это, кажется, все чувствуют, что высказывается в том, как все жалеют народ, простолюдина, как относятся к нему ласково, как склонны прощать его в заблуждениях, в ошибках, в грехах. Народ — «трогательное» существо, а вот общество и «интеллигенты» почему-то не трогательны. Это тоже все чувствуют. Почему? Интеллигент — какое-то бедное существо, неразвитое, хоть вечно хлопчущее, подвижное и осведомленное. «Его не так жалко». В простолюдине «полон образ Божий», как-то закруглен, закончен, очень насыщен внутренним содержанием; а интеллигенту всего этого не хватает. Толстой не станет рисовать интеллигентов, не наполнит ими роман: а «простыми людьми», от генералов до мужика, простыми — он наполнил «Войну и мир». Достоевский почти только интеллигентов и рисовал, но посмотрите же и согласитесь, до чего *от этого сюжета* его живость искривлена, судорожна, запачкана и отчасти порочна! Сколько крови и распутства!

Славянофилы и бывшие «почвенники» (Данилевский, Страхов, братья Достоевские) звали «прикоснуться к народу и исцелиться им». Мне же кажется, нужно просто войти в душу народную, даже не столько с медицинскими, сколько с осведомительными целями: и оглядеться в ней, как Аладдин осматривался в подземелье. Ибо есть много чудных и интересных вещей в ней, удивительных именно для *знания* нашего. Народ совершенно иначе чувствует природу, чем мы; совершенно имеет другое представление о жизни человеческой, о судьбе и назначении человека. Наши богословы начали прислушиваться к мнениям народа о «совести», о «Боге», а не только читать пергаменты Симеона Полоцкого, — совершенно заново могли бы построить свои «богословия», довольно жалкие. Это все примеры. Народ имеет хороший «глазок» на все, имеет хорошие «меры» в душе; имеет здоровое нравственное обоняние. Ну, куда его «спасти» марксистам, этим великовозрастным ребятам, которые на караване хлеба чертят рабство небесное? Плохие чертежи и совсем плохие чертежники. К этой теме я позволю себе и еще вернуться.

ПЕСТРЫЕ ТЕМЫ

<I>

Все наше время — какое-то пестрое, неопределенное, неуверенное в себе, неуверенное в завтрашнем дне. Время без знамени и без барабана. Призывных звуков не слышно, лозунгов нет. Движение есть, и даже его очень много, но оно все ушло куда-то внутрь, совершается глухо. Говорят, это «культурная работа». Может быть. Все похоже на то, как встретились два сильных течения, из которых ни одно не может одолеть другого. Воду вертит, она идет винтом. Такие места называют в деревнях «омутом», и в них часто тонут купающиеся мальчики, неосторожно заплывшие в них. В сильном омуте пойдет ко дну и взрослый. Не сравнить ли и наши дни с омутом? Кажется, можно. ¹⁰

За чайным столом бывшего «трудовика» собралось несколько человек — из литературы, общества и политики.

Заговорили о теме дня — порнографической литературе. О ней все говорят, везде пишут. Ею озабочены все. Но я заметил, что ни у кого эта озабоченность так не велика, как у политиков, т. е. у людей, так или иначе, делом или словом, прямо или косвенно примыкающих к Государственной Думе. В самом деле, для *гистых литераторов* порнография есть только загрязнение прекрасной, дорогой им области. Под эту грязью или около этой грязи могут существовать совершенно чистые явления, — существовать, жить, развиваться самостоятельно. ²⁰ Но для политика как *общественного деятеля* такое *общественное направление* есть гибель всего. Барков был современник Пушкина и не помешал быть Пушкину. Но никак нельзя сказать, чтобы Питты, чтобы Веллингтон и Блюхер, чтобы Оливер Кромвель могли жить в эпоху маркиза де Сада. Тут есть несовместимое. Великая политика и великие политические деятели всегда суть отражение эпохи, могуче-напряженной к реальному действию. Какое же «реальное действие» может быть у общества, жадно ухватившегося за женскую юбку?

— Позор! Позор! Русское общество в этом увлечении порнографическим чтением и писанием переживает еще неслыханный позор!

— И какое падение, и как оно неожиданно! Два-три года назад этого нельзя было предчувствовать, никто не поверил бы возможности этого явления. Как-то я любовался перед витриной одного художественного магазина на несколько картин более, чем следовало бы, «классического содержания»: перед морем, под голубым небом, на лугу и скамьях сидело и лежало несколько гречанок или римлянок не совсем одетых и отчасти даже совсем раздетых. Известно, греки и римляне. Однако картина была художественно исполнена, и ничего соблазнительного не было или было чуть-чуть. Вдруг я услышал резкий голос:

— Ну, пойдем! Все это...

Говоривший произнес несколько нецензурное слово, выражавшее крайнее презрение, последнюю степень негодования. Он назвал гречанок и римлянок ⁴⁰ именем последних тварей; нет хуже и вместе тоньше. Он, собственно, не осудил самих гречанок, но это выставление полунагих тел перед уличною толпою он назвал отвратительным именем самого подлого ремесла, самого гнусного торга. Я обернулся.

И до сих пор я не могу забыть прекрасного лица на могучей почти фигуре юноши, разразившегося негодованием. Шли два студента, рыженький, среднего роста, и вот этот другой, темный шатен. Рыженький остановился перед витриной; но шатен, только взглянув на выставку, с резким восклицанием, которого я не привожу, пошел и повел его прочь дальше. Он был хорош, как св. Себастиан католических образов.

Это было приблизительно в пору первой Думы. Повторяю, я не забыл его лица. И вот я и представить не могу себе, каким же образом этот юноша... взял в руки и начал читать Каменского и Арцыбашева...

10 — Без сомнения, и не читает. А вот тот рыженький, заглядывавший на гречанок, верно, зачитывается. Наша порнография, будучи грязна сама по себе, грязна и ничтожна внутри себя, ничем не стесняется и мажет сальною тряпкою своего воображения и благородную Грецию, и могучий Рим. Появились и везде продаются книжки «Проституция в древности и у нас». Между тем к «нам» совсем не для чего приплетать «древность».

В Спарте и по маленьким городкам Греции девушки и женщины оттого ходили полунагими, а на состязаниях боролись между собой и с юношами совсем нагими, что у них вовсе не было соблазна, т. е. они и сами не соблазнились, *не возбуждались* наготю, и никого ею не возбуждали. Вообразите состязание, происходящее на глазах народа: каждое движение должно быть метко, удачно, *целесообразно*; одна *ошибка* — и состязающийся побежден. Совершенно явно, что эти состязавшиеся юноши и девушки до того уходили в борьбу, что ни одной секунды им не было времени бросить *любопытствующий* или *алчный* взгляд на наготю окружающих. В этом все и дело. Позор не в наготе, а в глазе. Обнаженность древних есть только показатель величайшего их целомудрия, такого целомудрия, какого мы и вообразить не можем, какому нам поверить трудно. Теперь мы до шеи закрыты в современный костюм, но скверна заключается в том, что мы под одеждою *мысленно* воображаем себе нагую фигуру, что в мозгу своем, для всех невидимо и потому незапретимо, мы раздеваем всех женщин, всех, не пропуская 30 никого, не стесняясь уважительностью, близостью, дружбою, родством раздеваемого лица. Таким образом, отравя течет в мозгу, течет без критики и без цензуры, без руслу, без берегов. И вот этот безбрежный цинизм вдруг вылился в литературу. У нас всегда была «нецензурная» душа, «нецензурная» в этом специальном смысле, и почти является уже второстепенным вопросом, что появилась эта «нецензурная» литература тоже в специальном смысле, с «Тайнами жизни» и «Саниным» во главе...

— Говорят, она уже сбывает. В книжных магазинах приказчики говорят, что знойный полдень ее прошел и спрос не так силен. Хотя еще силен, даже очень...

40 — Этого спроса и не может хватить больше, чем на два и самое большее на три года. Во-первых, явится пресыщение, утомление. А во-вторых, ничего нового! Ну, проституция «в древности», ну, проституция «у нас». Но ведь и там, и здесь это все одно и то же, пьеса «в одном действии», с 5—6 его вариантами, т. е. «одно действие» в «шести явлениях». Согласитесь, что никто не будет долго смотреть подобную пьесу, и даже ни для кого это невозможно, каждый заснет на ней по притупленности глаза, по решительной скуке души. Куприн вот переделал «Песнь песней» Соломона, но, во-первых, эта безрассудная переделка, или, точнее, «пересказ своими словами» и своими добавлениями, только поставила око-

ло превосходной вещи вещь посредственную, не аттестующую автора; а главное, — для чего это нужно? Второй, третьей и десятой «Песни песней» около первой не нужно по недостижимому совершенству этой первой, по такому совершенству, что песнь о чувственной любви, о чувственной влюбленности, с описанием всей сладости ласк, введена в текст «Священного Писания» и положена на аналог в христианских даже храмах. Но, затем, и у самого Соломона сюжет ведь до того прост, несложен, что его нет никаких средств продвинуть дальше, никакой нет возможности около этого цельного храма с одним куполом устроить еще «приделы». Чувственное наслаждение просто и ясно, необыкновенно сильно. Но, знаете ли, оно сильно для того, кто его *ощущает*, и ни для кого другого! Чувственность должна *переживаться*, и вправе переживаться, но она не должна *пересказываться*, ибо в пересказе ее просто нет, ничего нет, кроме иллюзорного и поверхностного щекотания нервов. Нельзя представить людей, до такой степени несчастных или поставленных в такие несчастные условия, чтобы это им не было доступно в *действительности*, и вот отчего порнографическая литература совершенно не нужна, и вековечно не нужна, и никогда не может установиться...

— Однако она всегда была, и даже «вековечно», — вставил кто-то иронически.

— Ошибка. Она вековечно пыталась «воссоздаться», *являлась*, но *существовала* она всегда только миг. Просто она не находила читателей. Она не нужна. Появится маркиз де Сад. И умрет. Как и все книжки этого содержания, выкинутые теперь на рынок, умрут через три года. Кому нужно это холодное, отвратительное, застывшее сало; это объедки вчерашнего ужина. Но ведь вы понимаете, что по самому существу дела не чем иным, как этим вчера съеденным ужином, съеденным кем-то чужим, третьим, не может быть всякая порнографическая книжка. Ну, был маркиз де Сад и *наслаждался*. Допустим, наслаждался, хотя мне, по крайней мере, со здоровыми вкусами, это и непонятно даже в нем, даже тогда, даже в жизни. Но скажите, пожалуйста, что же получает от этого *де-садовского* наслаждения юноша теперь, через 150 лет? При малейшей эстетике он также не станет читать книжонок де Сада, как откажется подбирать кусочки жира, картофеля и говядины на грязной тарелке после вчерашнего ужина. Читают эту литературу самые невзыскательные господа, без всякого литературного образования, без всякого эстетического развития, без всякого даже общечеловеческого развития. Приказчики, модистки, прачки. Теперь грамотных много во всяком ремесле. И разве-разве самые захудалые из студентов и гимназистов. Гораздо интереснее, *кто пишет* эти книжки...

— Кузмин, Арцыбашев, Анатолий Каменский...

— Из них жаль одного Арцыбашева. Это был писатель с обещаниями. Его «Смерть Ланде», его «В утреннем рассвете» — прелестные рассказы, с грустью в тоне, с изящной живописью. Каким образом после «Смерти Ланде» можно было написать «Санина» — уму непостижимо. Это все равно, как ел человек суп, щи, кашу — и вдруг захотел овса. Овса, какой дают лошадям. Его Санин — просто лошадь, притом без милой грации, какая была у Фру-Фру... Помните скаковую лошадь Вронского в «Анне Карениной»? Санин — это битюг, везущий тяжелую кладь. Весь он тяжеловесен, грузен, без нервов и только с мясом. Но знаете что...

— Ну?

— И в прелестных своих ранних рассказах Арцыбашев был ужасно однообразен, однотонен, без выдумки, без изобретения. Все одно и то же, все прекрасный

юноша, умирающий от чахотки, хороший товарищ своих товарищей, кончающий гимназист или начинающий студент. Это ужасно бедно. Он брал силуэты мальчиков и прелестно их рисовал, но даже не вдумывался в их душевное содержание, в возможные, даже и у мальчика, житейские столкновения и драмы. Бедность, унижение, смерть родных, двуличие товарища, смысл читаемых книг, удачи и неудачи учения, удачи и неудачи начинаемой карьеры, хотя бы в форме репетиторства, — мало ли что? У Арцыбашева все это пройдено мимо, и даны именно *силуэты* без слов, схемы ухваток, самых общих тем и общих разговоров. У него везде дано *товарищество*, и не более, ничего, кроме *юной дружбы!* Оставаться «писателем» при этом запасе тем и наблюдений довольно мудрено. И он выбросился в «Санина», как корабль, под которым нет воды.

— А другие?..

— Договорю об Арцыбашеве. Мне его одного жаль. «Санин» его, очевидно, есть нелепая выдумка, просто нелепая фантазия автора, который никогда и ничего подобного не видал в действительности, как он и вообще, кажется, не видал жизни. Я встречал его на литературных вечерах у Вяч. И. Иванова и покойной Зиновьевой-Аннибал, по мужу Ивановой. Это совершенно еще юноша, с маленьким пушком на подбородке, тогда бедно одетый, неуклюжий и угрюмый. Где он видал «размах чувственности»? Он прожил бедную жизнь одиночки, где-нибудь в студенческой квартире, и все, что мог видеть по этой части, это крошечные кутежи слабосильных заморышей из гимназии, которые «развертывались» на три, на пять рублей, страхась дойти до десяти рублей. Согласитесь, что сюжет не из обширных. Его «Санин» — то же, что сновидение араба, умирающего в песке пустыни, которому брезжатся оазисы с пальмами и ключевой водой. На вечерах у Вяч. И. Иванова тогда философски разбирался вопрос о поле, об «эросе», о значении и происхождении чувственных страстей... И едва ли «Санин» не был навеян этими разговорами. Рыбак, долго сидевший без улова, наконец нашел себе рыбку. Это, собственно, лучшее объяснение, при котором мы могли бы еще ожидать от Арцыбашева чего-нибудь со временем. Чужая, и притом отвлеченная, тема, фантастически разработанная и совершенно нелепо вставленная в русские условия, ей вовсе не соответствующие.

— Отчего «не соответствующие»?

— Отчего? Прочитайте о русской и об южной любви у Майкова. Это очень хорошо и очень верно, хотя, может быть, и не очень к славе русских. Русская любовь вздыхающая, слезливая и сентиментальная. Мне как-то писала русская эмигрантка из Франции: «Здесьние молодые люди, — из богатых, — иногда думают подражать французам и тоже поднимают крылья. Но у них это не выходит, и все сводится к старой русской теме: «Как дошла ты до жизни такой?». Начал человек кентавром, а кончил покаянным псалмом. Французенок это очень удивляет, и они не любят русских». Так мне писала одна русская женщина, с насмешкой, но и с явным сочувствием к русским. «Так-то лучше», — безмолвно договаривала она. В русских другое солнце, чем в южанах. Наше солнышко бледное, холодное, задумчивое. И сами мы не люди огненных страстей, а вот этой длинной задумчивости. Может быть, это не всегда хорошо. Но это так. Ну, какая страсть в его «Эросе»? Это какое-то археологическое исследование о страсти в древнем мире, написанное человеком, всегда любившим свою законную супругу.

И Афанасьев написал три тома «О русском мифическом творчестве», оставаясь статским советником.

— Не ошибаетесь ли вы? О вечерах у Ивановых рассказывали очень много пикантного.

— Рассказывали, сплетничали, шушукались, как в праздном обществе праздные люди. Но здесь под дымом не было никакого огня. Зиновьева-Аннибал, правда, надевала греческий хитон, но просто потому, что это ей действительно нравилось и что это было ее домашнее платье, которое она носила и без гостей. Они были люди экзотические не по темпераменту, а по случайно сложившейся биографии. Оба — русские из русских, но всю жизнь провели за границей. И на родине продолжали немного чудить, как немного чудят все русские, живущие за границей. Русь потому любит «заграницу», что там она выходит из обычной домашней обстановки и вместе, естественно, не чувствует себя особенно связанною нравами, которые ей чужды, которые не суть нравы родины, *данное*, первоначальное, *требуемое*. Без нравов родины и без нравов «заграницы» там каждый живет по своему нраву, и вот эта свобода и манит русских. Затем Ивановы вернулись домой; естественно, что и в Петербурге, проведя столько лет за границей, они уже продолжали жить «по своему нраву». И вот все и полное объяснение греческого хитона. Они оба с головой ушли в литературу, в литературные предприятия, в литературные замыслы, в удачи и неудачи литературные. Я не видал четы супругов, более преданных друг другу и более слитых единством занятий и общностью вкусов. Поистине «что Бог сочел, — человек да не разлучает», и «муж и жена — одно тело», самый классический пример православного супружества. Ну, а для литературы он занимался греческим «Эросом», а она посвятила один рассказ лесбийской любви.

— Это «Тридцать три уroda»?

— «Тридцать три уroda». Поверьте, этого рассказа не написала бы женщина, у которой под «дымом» был бы и «огонек». Но Зиновьева-Аннибал безгрешно чадила, не чувствуя себя ни малейше заинтересованной в теме. Это была редко добрая, редко ясная, редко ласковая женщина. У меня до сих пор стоит в представлении эта страшная картина, как ее отпевали черные монахи в Александро-Невской лавре. Убитый стоял около гроба ее муж. Было много литераторов, их литературных друзей. И она, Зиновьева-Аннибал, в гробу. Несчастливая и погибла случайно. Они поехали на лето за границу, где оставались их дети, уже большие подростки. Их не брали на родину, потому что не хотели переменять школы в самой середине учения; притом около них был друг их семьи, вполне заменивший для детей мать. Последний год перед смертью она прихварывала, переходя из простуды в простуду. И вот, не совсем еще оправившись, она сделала длинную прогулку верхом и захала в деревеньку, о которой она и все знали, что там свирепствует сильнейшая скарлатина. Это был такой же детский поступок, как и летняя почти одежда, в какой она щеголяла в Петербурге в октябре и в ноябре месяцах. Она схватила скарлатину и умерла, как неосторожный ребенок. Смерть ее была похожа на ее жизнь, и что она умерла от типичной детской болезни, — это так символично... Не помню женщины, столь глубоко невинной, как этот автор «Тридцати трех уродов» — рассказа, который цензура арестовала при его выходе «за безнравственность», и арестовала в разгар освободительного движения! Значит, хорошо! Но она так же мало виновна или «соучастна» в теме этого

рассказа, как Вячеслав Иванов несколько не платил тех «римских податей», превосходную монографию о которых он написал знаменитому Моммзену, у которого слушал в Берлине лекции. Моммзен сразу же оценил труд, привлек к себе талантливого ученика и вообразил, что он будет заниматься римской историей. Но русский есть русский, и Вячеслав Иванов предпочел заниматься декадентством. Вот история, которую я знаю.

— А так много говорили и об их вечерах, и о них самих, и об этом служении Эросу...

— Русские суть русские. Почему же им не поклоняться Эросу? Объявлена была свобода переходить из православия куда угодно. Так не переходить же им в магометанство или католичество, как вообразило себе начальство. «Шагай дальше»... И Ивановы перешли к «этоническим» богам Эллады. Не то чтобы это было очень серьезно. Но это настолько серьезно, как вообще бывает у русских. Теперь больше таланта, чем ума, и больше «шири», чем угрозы...

— Но мы заговорили о порнографии?..

— Поверьте, она года через три-два кончится. Прометет это время, и прометет не бесследно. И след будет хороший, и если чего я опасюсь, так вот этого излишне «хорошего следа». Всякий сильный «перегиб» имеет последствием столь же энергичный «разгиб»... Вот его-то я и боюсь. Вы везде видите шумное негодование общества на вторжение порнографии. Года через три фамилию Кузмина будет так же неловко произнести в гостиной, как и название известной французской болезни, и бедному придется хлопотать о перемене фамилии. Все это так, и все неважно. Важно то, что порнография легла поперек желательным и уже начавшимся было законодательным преобразованиям семьи. Например, она решительно помешает преобразованию развода, помешает дальнейшим шагам к уравнению брачных и внебрачных детей. Помешает вообще установлению свободной семьи в свободном обществе, — краеугольному камню всего. В этой области законодательство всегда было крайне тупо, крайне косно, наконец, и более всего, — крайне пугливо. Оно воспользуется ропотом общества на порнографию и, подменив одно слово другим, скажет: «Видите, как само общество негодует на *распущенность* нравов. Может ли закон уступать перед требованиями *безнравственности*, перед животными позывами *безнравственных людей*? Ваш Санин захотел бы „менять жен“ и пр., и пр. Нет, мы хотим, и закон должен защитить от подобных господ *невинных, неопытных* девушек. Нет развода!». Юриспруденция всегда груба, юриспруденция никогда не вникнет в предмет с тою тонкостью и вниманием, как это делает литература. Она никогда не увидит, она никогда не захочет взглянуть на то, что теперешний брак и в частности теперешние правила о разводе не ставят никакого препятствия Саниним. Можно привести доказательство и конкретное, и отвлеченное. Конкретное заключается в том, что тип ⁴⁰ Дон Жуана возник в самой католической из стран, в Испании, т. е. там, где развод совершенно не допускается и где о гражданском браке или о свободной семье и помина нет. А отвлеченно... Да ведь совершенно ясно, что раз мужчина *до венчания* не несет на себе *по закону* никаких последствий от сближения с девушкой, как равно он никогда и никаких последствий не несет *по закону* же от сближения с замужними женщинами, то каждый мужчина, если он обладает ловкостью, и обращается в «Санина»... Самый законный путь. Гораздо раньше Арцыбашева русское семейное право, семейное законодательство показало эту дорожку.

И только благодаря скромности русских девушек, верности русских женщин, да и вообще только благодаря нашим тихим нравам, это «разрешение» закона не переходило в действие. Но всякому мужу, как равно всякому отцу взрослой дочери, которому судьба привела столкнуться с Саниным, привелось и в консистории, и в гражданском суде выслушать, что Санины ненаказуемы, что «обесчещенной» девушке негде искать защиты и что «муж-рогоносец» не имеет никаких прав жаловаться, если только он не застал Санина на месте преступления, имея при себе трех свидетелей... Конечно, Санину не обязательно быть до того глупым, чтобы устраивать свидания с чужой женой «при свидетелях». А без свидетелей муж хотя бы и знал, что его жена знакома с Саниным и даже с целой дюжиной Саниных, — это все равно: ни духовный суд церкви, ни гражданский суд государства его смущать не будут. Но, повторяю, Фемида слепа, хотя все это очевидно; однако та же Фемида с криками, что она защищает «нравственность», откажется дать какие-нибудь облегчения развода и сошлется на роман Арцыбашева, сказав, что «она покровительствовать этому не намерена». Вот чего я боюсь. Порнография льет воду на колесо фарисейства, ханжества, сердечной жесткости и фальши.

Все выслушали молча горячую эту речь. Кто-то проговорил:

— Да, один Санин потешился, а *тысяча* русских баб по деревням будет из-за него пить прежнюю горькую чашу жизни. Колотит такую муж; она жалуется, просит себе вида на отдельное жительство или развода. Ей ответят или о ней подумают:

— Что же, ты к Санину просишься?

— Верно, ей к Санину захотелось...

Мысль эта не приходила в голову петербургским литераторам. А Фемида никогда не снимет повязки с глаз...

<II>

Спор между гг. Чуковским, Жаботинским и Таном о евреях и отношении их к русской культуре, в частности о роли их в русской литературе, вызвал внимание во всей печати. И, несомненно, это одна из вспышек того спора, который не замрет с этими спорщиками.

Имя Гейне одно горит ярко звездой на европейском литературном небе, и звезда эта не боится близости никакого солнца, она не меркнет в лучах Шекспира, Шиллера, Байрона, Данте. В Гейне есть *своя* и незаменимая прелесть, и вот это-то *свое* в нем и обеспечивает ему незаглушенность и вечность. Это какой-то Соломон в молодости или Соломон, который отказался бы от старости и мудрости, сказав, что он не хочет идти дальше «Песни песней» и не хочет ее переживать. Он есть вечно юный паж, грациозный, шаловливый, насмешливый и вместе серьезно богомольный около двух вечных идеалов, которым всегда поклонялось человечество — женской красоты и поэзии «an und für sich», «в самой себе». По этому своему поклонению, такому изящному и такому внутреннему, он не перестанет никогда быть родным всему человечеству.

Десять томиков Гейне — последний отдел великого «Священного Писания» евреев. Гейне оттого и для русских есть как бы русский, что он есть полный еврей, без усилия слиться с кем-нибудь.

Но Гейне — один. И около него в литературе не горит ни одно имя, сколько-нибудь с ним равное. Его друг и недруг Берне представляет собою уже обыкновенную публицистическую величину. Он был честен, ярок. Ему принадлежит знаменитая фраза: «Соком нервов моих пишу я свои сочинения». Но кто же из нас не пишет их соком нервов? Иначе и нечем писать: не сапогами же. Берне обыкновенен как человек. Все меры благородства и пафоса не заменят того, что бывает в человеке, как какая-то необъяснимая сила и прелесть не заменят таланта, гения. У Гейне он был. Но, кроме него, ни у кого еще из евреев в европейской литературе его не было.

- 10 Спор, поднявшийся, однако, движется не по этой орбите. Если бы мы говорили о Гейне и величинах, равных или подобных ему, мы говорили бы только о поэзии. Но, кроме поэзии, есть и литература. Поэзия, напр., французов слаба, суха, черства, но тем не менее они имеют *великую литературу*. В поэзии они уступают даже полякам, ибо у них нет Мицкевича и даже близких к нему *непосредственных, природных* лириков и эпиков. Но их литература превосходит почти все европейские литературы. Литература есть, главным образом, не поэзия, но *отражение* всей образованности, т. е. всей совокупности идей, эмоций, увлечений и разочарований страны, какие она переживает в волнующейся своей истории и выражает все это в *слове*. Из истории французской литературы нельзя исключить Литтре, хотя он не написал ни одной строчки стихотворения и не вымыслил ни одной фабулы, как из истории английской литературы нельзя исключить Джонсона, хотя он всю жизнь сочинял свой знаменитый словарь. В нашу литературу В. И. Даль вошел не своими незначительными повестями, но «Толковым словарем живого великорусского языка», этим огромным памятником трудолюбия, любви и понимания. Если мы возьмем в этом объеме *литературу*, то непонятно, почему в ней не могут играть значительной роли евреи, как настаивали на этом Чуковский и Жаботинский. В. И. Даль был по роду датчанином и по вере лютеранином, но он так привязался к России и русским, что под конец жизни перешел в православие. Не многим известно, что один еврей, именно — покойный
- 30 Шейн, сделал нечто напоминающее труд и подвиг Даля: он целую жизнь свою положил на собиранье обрядовых песен русского народа и на их объяснение. Другой еврей, Левитан, создал русский пейзаж, т. е. он с такою глубиною, с такою поэтичностью воспринял краски и тоны русской сельской и деревенской природы, русского поля, речки, перелесья, как это не удавалось самим русским. Имя Шейна мало известно, но, конечно, заслуга человека оценивается не по приобретенной известности, а по любви и по таланту, какие внес он в свой труд. Время оценки Шейна настанет. Но Левитан уже оценен и признан теперь. Его заслуга перед русским художественным *самосознанием* никогда не будет вычеркнута из истории. Вернемся от этих указаний к общей идее. Литература есть выражение
- 40 не какой-нибудь народности, а отражение культуры *страны*. Конечно, преобладающая народность этой страны выразится в ней преобладающим образом, но не без соучастия решительно всех других народов, даже очень маленьких, какие входят в население этой страны. Голоса их всех необходимы и только увеличивают гармонию, не нарушая ее строя. Ведь хор не может состоять из одних басов, или из одних дискантов, или из одних теноров. Это было бы безобразие. В литературу Франции входит не одна литература франков и их потомков, но и душа, и чувство кельтов на французском языке; в английскую литературу огромным

заливом влилась литература шотландцев на английском языке. Вся идеалистическая философия Англии есть по происхождению философия шотландская; но шотландцы совсем другого корня люди, чем англосаксы, другой крови. Литература русская чрезвычайно обеднела бы, если бы не только *была*, но даже если бы она выразила *тенденцию* остаться исключительно литературой *великорусскою*. Это было бы какое-то духовное плюшкинство, духовное самооскопление. Это было бы утратой, пожалуй, самой драгоценной русской черты: шири, великодушия, гостеприимства. Русские вдруг заперлись бы, как скупой хозяин-скопидом, от всех на замок. Богатства наши истлели бы, как у Плюшкина; поистине мы уподобились бы евангельской смоковнице, которая не принесла плода и была за это проклята и посохла.

И неужели когда-нибудь хватит у русских духа оттолкнуть от себя заунывные песни белорусов, такие печальные, такие нам родные? А с белорусами связана и Литва, а с Литвою — и еврей Западного края, совершенно неотделимая фигура на фоне западной русской жизни. Мицкевич был польский патриот, без всяких юдофильских тенденций, но правдою поэтического воссоздания он почувствовал невозможность, воспроизводя Литву, обойти фигуру еврея в Литве, и он создал приснопамятный образ еврея-цимбалиста («Пан Тадеуш»). Не забудем, что евреи везде вошли гостями, во Францию, в Германию, в Англию и в Италию, но в бывшей Польше и Литве и в некоторых местах Закавказья они суть аборигены, пришедшие гораздо раньше русских и живущие не разрозненно, а сплошной массой, туземною массой. Это большая разница. Можно избыть гостей или не общаться с гостями, но не общаться с частью своего населения, притом старого, или, как существуют проекты, объявить их, ни с того ни с сего, «иностранцами», напр., иностранцами, «начиная с 1910 года», — это значит написать бумажку, ничего не значащую. Бумажка будет мучительна для лиц, но от нее не дрогнет население, или, пожалуй, оно застонет новым стоном, но все-таки оно никуда не уберется, ибо, прежде всего, ему некуда убраться, и сделается только враждебным или индифферентным к родине.

Что сделалось с добрым Жаботинским, — я не знаю. Лет семь тому назад я его встретил за границей. Худенький молоденький еврей, почти мальчик, он был тогда типичным русским интеллигентным евреем, подсмеивавшимся над некоторыми древлееврейскими заветами, составляющими неудобство в быту, в жизни. Его повергало в негодование талмудическое запрещение «варить козленка в молоке его матери». «Помилуйте, из-за этого, — говорил он, — мы не можем, я не могу есть котлеты в масле. Котлета из мяса, положим, телячьего, а масло из молока коровы, может быть, его матери: по этому глупому основанию у нас котлеты пекутся, а не жарятся на масле, и это чорт знает какая гадость, которой я, конечно, не стану есть, предпочитая христианские или вообще европейские кушанья. Да и многих других удовольствий мы лишены из-за талмудических суеверий». И он мне сообщил кое-какие интимности. А на развалинах Колизея в глубокую ночь он упоенно читал из Лермонтова:

Ликует буйный Рим, торжественно гремит...

Таким образом, последующей метаморфозы никак нельзя было предсказать в нем. Говоря именами, он родился Таном и был Таном лет до 24—26. Весь ушел

в русские интересы, русский дух, русскую интеллигентность. Но под беззаботной и частью легкомысленной наружностью в нем жило, очевидно, впечатлительное сердце. Его потрясли погромы. За это время я его не видел, но мне передавали, что года три после того, как я его впервые встретил в Риме, он был уже вовсе не тот человек: облекшись в длинный сюртук еврейского покроя, приняв всю талмудическую наружность, он даже отказывался говорить с русскими по-русски, предлагая выбрать другой «безразличный язык», бредил древним величием Израиля и, прерывая грубо и жестко все темы, говорил, что никто из евреев не вправе ни о чем думать и ничем заниматься, пока льется или грозит пролиться еврейская кровь. Таким образом, мы здесь имеем впечатление, подействовавшее подобно ушибу. И никакого рассуждения. Жаботинский весь ушел в сионистскую мечту, не замечая, что это — именно мечта, притом литературная, да еще подражательная, подобная «пангерманизму» немцев и «панславизму» старых славянофилов. Тут ничего нет оригинального и еврейского, ни одного слова. Никакой нет еврейской мысли. «Миссию Израиля», если уж ее нужно признать (а она есть, и ее признать нужно), выполняют гораздо лучше, и притом в более древнем смысле, в более священном смысле, такие евреи, как Левитан и Шейн или как Тан, написавший прекрасные и трогательные слова, что «Гаршин для него есть совершенно *свой, родной* писатель, без любви к произведениям которого он себя представить не может», чем такие господа, как Жаботинский, которые представляют что-то похожее из Погодина в еврействе. Они забыли *первое* же слово, сказанное Свыше *первому* еврею: «О семени твоём благословятся *все народы*». Это выслушал Авраам, как последствие завета своего с Богом, ибо, избрав для завета одного человека, Он через него одного соединился и с прочими людьми, нимало их не отторгнув от Себя, соединился вот через это «семя Авраама», т. е. «потомство Авраама», ибо везде в Библии «семя» обозначает потомство. С того времени, с самого того момента и начинается вхождение евреев в «другие народы», так что уже правнук первого еврея переходит в Египет, куда затем переходит и все главное потомство Авраама; но и в Египте оно не остается навсегда, а переходит в Ханаан, в землю финикийян, затем возвращается, как «плененное», в Вавилон, опять ворочается, но частично, в Ханаан, а главную массу рассеивается по всему персидскому и греко-сирийско-египетскому миру, затем по римскому миру и, наконец, переходит в среднюю и восточную Европу, переходит и к нам. Вот картина, до такой степени простая и так упорно повторяющаяся, что нет возможности, с одной стороны, не признать в ней «перста», как говорит наш народ, т. е. не признать «указания Свыше», а с другой стороны, очевидно, эта странствующая и рассеянная миссия гармонирует и с характером народа. Ведь обыкновенно Проведение и действует через естественные силы природы, а в истории оно проявляется и может проявиться только через характеры народов, через их индивидуальные и почти зоологические отличия, через все то, что мы называем «физиономией народа» или его «национальную обособленность». Национальная обособленность евреев есть их универсализм: римлянин всегда думал по-римски, грек — по-гречески; но уже Иосифа Флавия, этого, до известной степени, Карамзина еврейства, написавшего первую их историю, сами же евреи называют ренегатом-римлянином, — до такой степени он усвоил и слился с римскою культурою, с римским духом, смотря на все специально-еврейское, как Жаботинский до своего озлобления. Посмотрите: станут ли татары Казани

и Крыма так замешиваться в русскую литературу, с такую старательностью писать по-русски, издавать для русских книги и, словом, так отзывчиво и полно отражать русскую культуру, как евреи? Ни татары, ни поляки, ни литовцы, ни финны или шведы, ни немцы этого не делали и не делают. Исключения есть, но личные, редкие, не массою. А евреи, пройдя гимназию и университет, массою принимают участие во всех мельчайших подробностях русской жизни, как врачи, как юристы, и не везде успевая, часто влача нищенское существование, т. е. не по одной выгоде, а по действительной слепленности с русскими, прилепленности к русской жизни. Неужели же еврей-оператор, служа где-нибудь в клинике и оперируя приходящую русскую бедноту, оперируя по должности и бесплатно, «преследует еврейскую идею», а не делает просто хорошее дело для русских и от всей души? Оставим нелепую идею «вечного жида», выдуманную посредственным французским романистом, и, во-первых, поверим слову Библии о «благословении всех народов через потомство» Авраама, а во-вторых, поверим осязательной действительности, какая лежит перед нами. Неужели еврей Антокольский, лепя Иоанна Грозного или Ермака, преследовал «еврейскую идею»? Или он хотел «отбить заработок» у русских скульпторов? Нужно хоть сколько-нибудь знать, просто *увидеть* и *поговорить* с трогательным нашим скульптором г. Гинзбургом, чтобы понять, неужели в этом кротком и благородном существе может зародиться какая-нибудь мысль кого-нибудь обидеть, обидеть какого-нибудь русского. В его мастерскую, в академии художеств в Петербурге, ежедневно прибегают чумазые ребятенки, дети академических сторожей, и они у него «свои», они лучшие гости почему-то вечно грустного художника. И чтобы он их обидел? Пожелал им или «детям их» зла, кому-нибудь, когда-нибудь? А сам Гинзбург видал обиды, — и увь! — обиды от русских: его долго не впускали в академию «как еврея»! Но все простил молчаливый и безобидный художник, такой маленький, такой худенький, такой гениальный. Оставим, однако, иллюстрации и обратимся к идее. Всех обмануло то, что с древности и по строжайшему их закону евреи не *смешиваются* с другими народами, т. е. имеют право брака только со своими. Это породило у других народов фантастику во вкусе Эжена Сю, что евреи оттого с другими народами не вступают в семейные связи, что они состоят в тайном заговоре, в инстинктивном заговоре против всех других народов и помышляют о всех их *истреблении* и об исключительном господстве *одних их* на земле. Нельзя представить более человекоубийственной идеи, т. е. идеи, способной вызвать большее озлобление против евреев всех народов, конечно, более сильных, чем они, и толкнуть эти другие народы, по крайней мере, к частичным попыткам *предварительно* самих евреев истребить, передуть. Если я жду от кого гибели, притом *наверной*, и в то же время сильнее своего предположенного погубителя, — я из инстинкта самосохранения постараюсь его убить. Когда и кем была подсказана эта сатанинская идея — неизвестно, но нельзя исчислить того множества книжонок, брошюрок, отдельных статей в журналах и газетах, которые повторяют из года в год и изо дня в день эту ужасную мысль, что евреи образуют тайный или, вернее, инстинктивный, в крови и нервах лежащий союз, направленный против существования, против *жизни* всех неевреев. Между тем ничего нет проще закона их несмешиваемости, в том виде, как он вошел в их религиозную культуру. Раз уже в законе их, в религии их *первым* словом сказано о *рассеянии*, о «других народах», в которые они вселятся, и всем народам предсказано

«благословение о них», т. е. от них, то, очевидно, надо было сохранить в целости и именно *несмешанности, неразтворенности* этот как бы золотой песок, с их, еврейской, точки зрения золотой, с точки зрения их религии, их Авраама и Самого Иеговы, дабы до скончания мира было чем и кем «золотиться» или «благословляться» всем прочим народам. Продолжим аналогию, и мы получим силлогизм, ясный и убедительный, как «дважды два»: золото тоже «ни с чем не смешивается», но разве же оно всему вредит? Обособленность существования не означает ни вредности, ни злоумышления; она означает только крайнюю важность несмешивающегося. Евреи, по крайней мере в простонародье, — талмудисты и видят в себе эту «крайнюю важность», не скрывают этой своей мысли, утверждают ее, к явному, слишком явному вреду и риску для себя. Но для других народов это — милая уверенность, могущая вызвать улыбку и, в сущности, никому не оскорбительная и уже, во всяком случае, никому не вредящая. Православный наш люд тоже считает православие «единственной настоящей верой» и нимало от этого не покушается ни на мусульманство, ни на сектантов. Мирен со всеми. Пушкин считал себя высшим поэтом, но разве от этого он злоумышлял против Жуковского или Языкова? «Считанье» это вообще никому не вредит, а будучи иллюзией крайне осчастливливающей, оно скорее вызывает в человеке расположение ко всем, доброту ко всем. Миллионер всем будет дарить что-нибудь, а скупец или считающий себя накануне разорения никому ничего не даст. Истина очевидная. И «счастливая идея» может быть, действительно, внушена евреям Свыше, внедрена в их инстинкты, перешла в их кровь, чтобы они были расположеннее к другим народам, ласковее с ними, входили влюбчивее в их культуру, в их идеи, во все необозримые мелочи их быта и жизни, что, действительно, и совершилось. Отрицать, что Испания «благословилась о семени Авраама» в пору испано-арабской культуры, когда евреи своим трудом и образованием обогатили, оживили и осчастливили весь этот край, всю страну, — этого никто не сделает, против этого восстанут все историки. Испания цвела еврейством и евреями — это истина очевидная, общеизвестная. Но только в том фазисе испанской истории евреи и не были гонимы: в истории остальных стран Европы они прививались, но не удерживались, срываясь под ужасной мыслью, что они «против всех в заговоре». Поэтому здесь можно говорить не о счастье гармонии, а только о попытках. Что же, разве философия европейская не «благословилась» о Спинозе, политическая экономия европейская не «благословилась» о Давиде Рикардо или европейская музыка — о Мейербере и других? Нужно читать скромную и прекрасную жизнь Рикардо, чтобы быть тронутым ею, пожалуй, даже больше, чем известною жизнью Спинозы. Еврей и нехристианин, он до того тянулся к европейской культуре, что «свои» отреклись от него, возненавидели его, возненавидели «свои» Погодины и Жаботинские. В то же время он отличался таким личным характером, что Д.-С. Милль и все первенствующие умы Англии не просто приняли его в свой круг, но полюбили его, привязались к нему. Так прожил он жизнь, не меняя своей веры, в отчуждении от своих, близкий с чужими. Вот пример «миссии» еврейства, которая очевидна. Миссия эта заключается в том, единственно для одних евреев она заключается в том, чтобы, нося свободно в себе свой собственный образ, жить именно среди чужих, *не рядом со своими*, всегда и везде «в рассеянии». Положение меланхолическое. Но что делать, — оно нужно другим. Бог же печется о мире, а не о человеке и даже не об одном народе.

И вечная еврейская как бы «отторгнутость», ранняя и всегдашняя потеря ими своей родины — это-то и есть подлинная и *родная* история Израиля. «В изгнании» они, в «голусе» — это они «на родине», «в руке Божией», в «своем»... и как соберутся в Иерусалим, — вдруг очутятся «на чужбине», выпадут из руки Божией, станут не на «свой путь». В рассеянии их призвание, в рассеянии их спасение.

<III>

Славянские гости уехали из Петербурга. Жаль, что они не посетили Москвы, и жаль историческим сожалением. Москва всегда стояла впереди Петербурга в вопросах славянского сближения, в вопросах всеславянской культуры. Братья Иван и Петр Киреевские, семейство Елагиных, А. С. Хомяков, плеяда Аксаковых и, наконец, классическая фигура старика Погодина — все это такие столбы славянского объединения и движения вперед, равных которым не выдвигал Петербург. Петербургские славянофилы были учеными славистами, грамматиками, филологами и историками, без живой связи с волнующейся политикой, без широко народного в себе чувства, без универсальности в мысли. Таков был филолог Гильфердинг, идеалист и вместе безвредный компилятор около покойного Хомякова. Даже такие петербургские славянофилы, как Н. Я. Данилевский и Н. Н. Страхов, все же были только книжными теоретиками славянофильства и не входили *сами* в непосредственное и личное общение с представителями западного и южного славянства, не говоря уже о народных массах западного и южного славянства. Совершенно не таковы были Погодин и Аксаков, с их поездками в славянские земли, с их энергично ведущуюся перепискою с западными и южными деятелями славянского возрождения. Достаточно перечитать изданную покойным профессором Московского университета Н. А. Поповым переписку Погодина со славянскими учеными и деятелями, особенно с чешскими, чтобы увидеть, что в его домике, на Девичьем поле, сходились все живые нити славянского вопроса, и из домика этого расходились живые и возбуждающие нити по всему славянскому миру. Всего этого не следовало забывать. И депутатам от славянства следовало приехать и в Москву.

Но практический век имеет свою жесткость. Уверенные, что в Петербурге все сделано и для Москвы, представители уехали в Варшаву, где нужно многое сделать. Пожелаем им успеха и доброго пути. И без мотивов мелочного самолюбия подумаем старую московскую думою обо всем этом славянском движении.

Оно называется «возрождением». И, конечно, славянский вопрос в основе своей есть вопрос о возрождении славянского мира, или вопрос об общеславянском пробуждении. Это смотря по тому, смотрим ли мы на него с политической, внешней стороны или со стороны внутренней и культурной.

Славянство в лице Польши, Богемии, Болгарии, Сербии и других менее значительных стран имело свои проявления и княжеские династии, свою политику и свои войны. И все это угасло в кровавом пару косовской и белогорской битв, под навалившимся на них камнем туретчины и неметчины. В этом политическом смысле славянский вопрос есть вопрос о «возрождении», которое для южных славян уже настало, а перед западными оно стоит в виде колеблющегося неверного ожидания. Около таких могуществ, как германский мир, всякий вершок

движения вперед труднее, чем верста движения среди слабой, одряхлевшей туретчины.

И здесь, на Западе, среди громад Германии и Австрии, в близости с Италией и Францией, славянский вопрос еще долго будет оставаться в стадии пробуждения. Остановимся на последнем.

10 Политическая или «возрождающаяся» сторона славянского дела находится, как говорят духовные, «в руце Божией». Она нисколько не зависит от чувств «современного общества» или от усилий отдельных лиц, а зависит от благоприятного расположения шашек на всемирной шахматной доске да от мужества, величины и вооружения армий. Сто славянских съездов тут ничему не помогут, но дело может двинуться вперед при тех или иных комбинациях с политическим наследством или оттого, у кого лучше будут телескопические прицелы при пушках. Тут все, что мы можем, — не торопиться, ждать и быть готовыми. И это больше принадлежит государству, чем обществу.

20 Напротив, в «пробуждающейся» стороне славянского дела в пассивном положении остается государство, а общество выдвигается вперед. Оно все может, государство ничего не может. Здесь все делают частные лица, кружки, съезды, даже переписка. Здесь всякий трудится свободно и самостоятельно. Но все эти свободные и самостоятельные дела, и огромные, и крошечные, при всем разнообразии их мотивов и даже разрозненных целей, сливаются в одно великое дело — *национального славянского пробуждения*.

30 Пробудиться — что скромнее и меньше, чем возродиться. Возрождение говорит о великом прошлом, о святых воспоминаниях, о таких золотых страницах истории, которые современники не могут читать без слез. Возрождаются великие культуры. Возрождение можно сравнить со вторичною переработкою рудника или со вторичным перепахиванием поля, давшего когда-то богатый урожай. То и другое делается в надежде, что еще много сокровищ в металле или зерне осталось в старой почве. Надежды эти, однако, редко осуществляются в линии их *прямого ожидания*. История знала два великих возрождения, это — XV и XVI века, когда в Италии, Германии, Франции и Англии начали «возрождать» классическую древность, и более короткое по времени и результатам «возрождение» средневековых чувств, понятий, воображения, вкусов, которое настало после наполеоновских войн, главным образом в Германии, но отчасти и везде. Это знаменитый «романтизм» XIX века, романтизм в поэзии, в жизни, в мечтах, в убеждении, романтизм, простиершийся даже на философию (Шеллинг) и науку (изучение средневековых памятников). Это второе «возрождение» продержалось всего несколько десятилетий, и его смысла в 1848 году вторая волна революции, явно недоконченной в 1789—1794 годах. Со второю революцией пришел позитивизм, пришел экономический вопрос, который и сбросил под лавку Шлегелей и шеллинго-гегельянскую метафизику. Призраки исчезли, действительность осталась. Действительность заявила свои права. Начальная сторона всякого «возрождения» заключается в том, что оно имеет дело с выработанною уже горного порою или со старым полем, которое когда-то пахали. Всякое «возрождение», как бы оно пылко ни было вначале и каким бы «обновляющим» ни казалось современникам и участникам, на самом деле есть «старье» в самом порицательном и уничижительном значении. Оно до такой степени есть «старье», что *прямых своих задач, горячо желаемой цели* не достигает не только в больших разме-

рах, но и ни в каких. Ну, какие же Сократы, Платоны, Аристиды, Периклы и Сципионы были Петрарка, Эразм или Рейхлин, которые стояли почтительно на запятках карет своих покровителей и сочиняли стихи и прозу менее самостоятельно, колоритно и парадно, чем средневековые миннезингеры и трубадуры. В обоих «возрождениях» интересно и значаще было не то, что они «возрождали» и, конечно, не смогли возродить, а они *сами*, эти люди, совершенно новые и непохожие ни на эллинов или римлян, ни на средневековых католиков, а только *на самих себя*, на итальянцев XV и германцев XIX века. Петрарка интересен вовсе не в отношении Вергилия, а в отношении *самого себя*; интересна его жизнь, прекрасна его личность, трогательны его письма, его влюбленность, удачи и неудачи в жизненном странствии. И, как ученые и литераторы XV и XIX веков, они сложили прекраснейшую главу новой европейской литературы, главу совершенно новую и свежую, не читанную никем, совершенно не бывалую в Греции и Риме, и вот она поучительна, воспитательна, навеки значаща. Но ни Вергилий, ни Сципион тут ни при чем. Искали в руде *опять золота* же, но его не нашли. Нашли совсем другое — драгоценные камни, бериллы, топазы, изумруд. Вот сравнение, и оно говорит все и оканчивает тему.

Прямых результатов *никакое* «возрождение» никогда не имеет. Оно имеет только побочные, *непредвиденные* последствия.

Иное с «пробуждением». В нищенстве своем, в убогом виде оно богато надеждами. Оно пашет вновь. Оно *угадывает* руду и начинает копать поле, обыкновенное поле крестьянина, но если попало куда следует, оно открывает руду и обогатит себя и других, обогатит страну и потомков.

Культурное «пробуждение» славянства зиждется на предположении, что славянский мир потенциально содержит в себе не меньшие сокровища, чем какие в веке VIII—IX—X—XIII содержал в себе германский и кельтический мир, чем какие содержал в себе за пять, за шесть веков до Рождества Христова мир эллино-латинский. Из тех родилось и развивалось великое. Может быть, равное родится из нас. Будем усиливаться родить; будем *помогать* славянству родить. Тут и акушерка, и родильница — в одном лице. Пожалуй, образованные классы, все эти «славянофилы» и «панслависты» принимают на себя роль акушерки и хотят помочь «родить» славянским народам.

А рождаемое — культура, цивилизация. Отдаленная и исчерпывающая задача всего славянского «вопроса», всего славянского «дела», всего славянского «движения» заключается в создании славянской цивилизации.

Ее мы никогда не имели. В этом направлении мы всегда были *приткнуты* к чужим цивилизациям; мы ели из чужого корыта, не свой хлеб; пили из чужого ведра, не у своего водопоя. Вот простые, физиологические термины нашего культурного положения. Сказав эту очевидную истину, едва ли для кого оспоримую, мы, во-первых, устраняем из «славянского вопроса» все то ненавидение и отчасти человеконенавидение, какое он ошибочно и совершенно не нужно содержал в себе. Какое ненавидение за чужой хлеб! Нас кормили сто лет, двести, а с Византией и больше. Как же можно быть за это неблагодарными и не поклониться в землю «чужому хлебцу», такому сытенькому, да, признаться, и такому вкусно-му. И к тому нас кормили и не попрекали. Тут не только физическая благодарность, но и моральная, самая горячая, самая искренняя.

Под этим углом зрения в «славянофильство» не входит никакой *вражды* к западной цивилизации, никакого с нею *антагонизма*, никакого в отношении ее *высокомерия* или *презрения*. Это был смертный грех старого славянофильства, притом совершенно искусственный, сделанный и, может быть, только от этого не приведший всего «славянского дела» к смерти, хотя его изморивший, доведший это дело до паралича, смерти *подобного*. Все старые славянофилы, все, имена кого мы назвали, даже не исключая и Погодина, зачитывавшегося в молодости, т. е. когда он уже был *славянофилом*, Шиллером, все они были не только образованнейшими людьми своего времени, но и горячо любили и втайне благоговеино чтили западную цивилизацию. Да и как было иначе, когда они ею жили, в ее формах мыслили, ее языком говорили и писали? Хомяков писал как *европейский публицист*, как европейский образованный богослов, нимало не подражая и не походя на Сильвестра, автора «Домостроя», или на Симеона Полоцкого в его силлабических стихотворениях! Ив. Киреевский издаваемый им журнал назвал «Европейцем». Соловьёв основательно упрекал Страхова, что в его «Борьбе с Западом» никакой «борьбы» не содержится, ибо она вся, вся эта книжка и вообще вся литературная, философская и критическая деятельность почтенного славянофила, или «якобы славянофила», вращается в типичных европейских понятиях и опирается на требования европейского просвещения, на данные европейской же жизни и философии. На это возразить было нечего. Но Соловьёв сказал афоризм, ничего из него не развив; бросил едкий укор, не заметив, что подошел к целому открытию. Само собою разумеется, — «что едим, тем и живы», и от Киреевского и Хомякова до Страхова и Данилевского мы все суть европейцы, и только европейцы, и никакого славянофильства «в натуре» у нас нет и ни в ком не было. Что съели, то и лежит в брюхе; а что лежит в брюхе, — перейдет в кости. Однако эта истина нисколько не отвергает возможности и законности славянофильства как *идеи*, как *программы*, как *борьбы* и *усилий*. «Прежде ели чужой хлеб, в будущем хотим есть свой». Вот и весь разговор. И спор кончен о «возможности» и «желательности». Перенесемся в политику, и мы увидим, до чего это так.

Ведь и «социалистического государства» или «социалистического общества» никогда не было, а социализм есть, да и не только есть, а образует могущественную в Европе партию, не чета нашему голому доселе славянофильству. Маркс, Лассаль, Прудон или Бакунин были точь-в-точь такими же «буржуа», как и Шульце-Делич. Да и как же иначе, раз они были в «капиталистическом строе»? Они издавали книги на «капиталистических основаниях», покупали мясо и хлеб сообразно «спросу и предложению» и ничуть не отказывались от денег, например, платимых редакторами газет, и от них не отказывался Прудон, возгласивший и *веровавший*, что «деньги — это вид грабительства». Точно так все было, как у Страхова в «борьбе с Западом», которую он поднял, требуя направо и налево от своих противников уважения к тезисам гегелевской философии, признания биологических взглядов Кювье и защищая величие и вечную красоту Гёте. Как же иначе? Как иначе поступить с деньгами, Гёте и философией? Ели — благодарим; но можем и кончить.

Прудон кончил с деньгами *в пол*, создав идейно совершенно новую систему экономических отношений, и в частности денежных, условно-одинаковых, ценностей. Так же точно славянофилы не потому были славянофилами, что они перестали быть европейцами; они *были* европейцами и, главное, никак не могли, не

имели сил и ни малейшей возможности перестать быть таковыми, и *только таковыми*, до тех пор, пока в наличии, в наличном пользовании каждого из них была *единственно* европейская, т. е. эллино-латино-германо-кельтическая, цивилизация, при зачаточном состоянии славянских племен, при младенческом их росте, при полной незрелости всего славянского. Но чтобы это исключало возможность и желательность славянского роста, — этого, конечно, не было!

Младенец еще не родился. Следует ли прогнать акушерку? Конечно, надо звать ее, удержать, пригласить и попа, чтобы окрестить новорожденного. Вот и весь «славянский вопрос». И не о чем было спорить Герцену и Белинскому с Константином Аксаковым и Хомяковым.

Имена эти кстати попали под перо. Если, с одной стороны, Киреевский и Хомяков были *всецело* европейцами, и *только* ими, то, с другой стороны, с равным правом можно сказать, что Герцен и Белинский были столь же пламенными *славянофилами* и для торжества идеи этой, для победы всего «славянского дела» сделали, пожалуй, даже больше, чем Константин Аксаков или Киреевский. Чем? Как? Да тем, что они были *русские литераторы*, что они положили на *создание* русской литературы и на выработку *лица* русского писателя, нравственного и идейного лица, нимало не похожего на личность германского или французского писателя и журналиста, больше таланта, больше жара, чем и К. Аксаков, и Ив. Киреевский. Таких, как Киреевский, и у французов много. Мало ли с его усердием читали и увлекались Григорием Турским и провансальской поэзией. А германских исследователей, публицистов и патриотов в том роде, как Константин Аксаков, столько, что хоть пруди ими пруд. Но Белинский один, и *такую, как он, личность* вы не подберете ни при каких усилиях ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии. Таким образом, «личность русского писателя», — как с этим всякий согласится, — Белинский выработал в такой степени, как никто другой. Недаром Тургенев захотел лечь в могилу рядом с ним. Ну а «личность писателя страны» — это такой краугольный камень в цивилизации, значение коего не увидит только слепой. И выходит, что Белинский трудился для «славянофильской идеи» гораздо больше, чем сами славянофилы. По крайней мере, успешнее и больше сделал.

Так, Петрарка, конечно, был итальянцем, а не римлянином. И возрождал не классическую древность, а входил прекрасным звеном в цепь явлений и фактов, сумма коих именуется «итальянской литературой» и «итальянской культурой». Мы называем рядом имена: «Данте, Петрарка, Боккачио»; итальянцы сладко соединяют эти имена, хотя один пел средневековый ад, третий осмеивал и ад, и рай средневековья, а второй воображал, что «все итальянское уже прошло, и настанет завтра все *римское*». Римского не пришло, а итальянского увеличилось.

Так было с Хомяковым и Белинским, и уже теперь произносят иногда, что «сороковые годы *русской образованности* украсились такими именами, как историк Грановский, богослов Хомяков, критик Белинский и публицист Герцен». А ссоры их, — до чего они умерли! До чего неинтересны, *не живы* их темы! А *значение* их живо и сейчас, и даже на расстоянии оно стало больше, чем в то время!

Это как в математике: решенные мелом на доске задачи стираются, а *метод* их, обнаруженный в решениях, остается. Всякий человек в жизни своей решает задачу; но когда жизнь прошла, задача решена удачно или неудачно, то *могила*

есть не единственное, что от всего этого осталось. В небе зажглась новая звездочка — бессмертная часть труда человеческого. Она будет вечно светить земле примером своим, мыслью своею, опытом своим, *итогом* своим. Итоги же ценности Белинского и Хомякова уравниваются. И спор, горячий на земле, не продолжается на небе.

Между тем безрассудною и *ненужною* враждою своею к западной цивилизации, упреками ей, укорами ей, *презрением* к ней славянофилы возмутили против себя все благородные, бескорыстные элементы русского общества, которые до очевидности ясно видели, что такое западная цивилизация, до какой степени она превосходит наше «русское *нигто*», как она возвышенна, духовна и плодотворна. Она возмутила Белинского, Герцена, Грановского не умственным возмущением, а нравственным возмущением. «Есть чужой хлеб и плевать в лицо тому, чей хлеб»... Да и действительно, это — свинство, и оно лежит пятном на старом славянофильстве. Но полная истина заключается в том, что это презрение было деланным и наружным, «для дела», «для программы», о которой ошибочно думали, что она невыполнима другими путями иначе, как отталкиванием от европейской цивилизации, презрением к ней. Но *внутри* эти люди горели совершенно таким же энтузиазмом к Европе и ее просвещению, к ее науке и ее искусству, к поэзии ее и гражданственности, как и самые пламенные западники, как Грановский и Белинский. И скажи они прямо внутреннюю истину свою: «Великий этот хлеб, хлеб Европы, — святой, питательный. Только им мы и были сыты, только им мы и были живы. Но Бог велел каждому человеку *самому* трудиться на земле. Отныне мы берем плуг и в поте лица нашего, в поте лица русского будем распахивать наше русское поле», — и вся плеяда западничества протянула бы им руку: «И мы с вами».

Как иногда от небольшой умственной ошибки проистекает много нравственного, житейского зла, сколько свар, сколько злобы...

<IV>

Договорим о славянофильстве.

Пытаясь сделать славянское движение «возрождением», они слили его с археологическими изысканиями и невольно окрасили свою мысль и программу своей партии консерватизмом. Со времени возникновения славянофильства всякий консерватизм на Руси *идейно* стал заимствовать у них все свои аргументы, искать в мировоззрении их опору для себя. Лично и конкретно это выразилось, в 80-х годах XIX века, в отношениях Каткова к И. С. Аксакову и «Московских Ведомостей» к «Руси». Катков не симпатизировал Аксакову и хотел бы обойтись с Россиею и русским обществом круче, чем это вытекало из мягкой натуры Аксакова. Известно, что в ночь смерти И. С. Аксакова, когда разнеслась весть о его кончине, и весть эта была принесена и в кабинет М. Н. Каткова, он вынул из типографской машины убийственную презрением статью против него, которая должна была появиться назавтра. Он все время только «терпел» Аксакова, и лично, и литературно, и терпел довольно нетерпеливо. Но для чего? Почему он сразу и уже давно не вступал в борьбу против него? Да оттого, что это значило бы восстать против всякого *идеального обоснования* консерватизма, которому служил Катков, и вдруг обнаружить, что тут в зерне дела лежит аракачевщина-клейми-

хелевщина, а не благочестивые Симеон Полоцкий и поп Сильвестр. Оправдания перед Россией не было бы. Славянофильство, таким образом, шило удобный, *приветливый* мундир, который охотно начал надевать на себя русский консерватизм; оно сработало духовный панцирь, от которого отскакивали язвительные стрелы прогрессистов и свободолюбцев. Предоставляя Аксакову восхищаться земским собором Московской Руси, Катков и Победоносцев извлекали из этого восхищения ту лучшую себе наживу, что «конституции, значит, не нужно России, — она и невозможна, и вредна для нас». «Мы будем жить *самобытными порядками*», — идеальничал Аксаков, идеальничали Хомяков и Самарин. «Да, да, никаких *европейских порядков* нам не надо», — говорили государственные мужи толстовского пошиба, заноса над Россией немецко-русский «Кпер», «кнут». Вас. Ос. Ключевский на лекциях русской истории в Московском университете производил русский «кнут» не от какого-то татарского слова, как делали ранее филологи, а от немецкого «Кпер». Эта связь славянофильства с консерватизмом и погубила его. Россия до такой степени была отсталою страной, ей так нужно было движение вперед, просвещение, свобода, обеспечение гражданской личности, что решительно всякий консерватизм в *тогдашних условиях* был чистым ядом. Славянофильство, которое вдруг дало в руки консерваторов такое прекрасное оружие, окрасило какую-то мечтою и романтизмом их грубые, бесчеловечные и сухо эгоистические приемы, «мероприятия», всю практику, все вождения, сделалось *ненавистно* всему русскому обществу, которое стало видеть в нем, и совершенно основательно, злейшего врага русского просвещения, русского освобождения, русской гражданственности. Всего «хорошего русского»...

И между тем *лигно* славянофилы все были свободолюбивы. Это слишком хорошо известно. Хомяков, все Аксаковы, Юрий Самарин — это были ее лучшие русские граждане, настоящие «Минины и Пожарские», не хуже, не меньше. Россия, можно сказать, не рождала лучших сынов, чем эти просвещенные, патристические люди, которые в душе своей, в уме своем соединили верхушки европейского и русского просвещения. Все это так, все это бесспорно. А в тени этой кроны нежился «Кпер», «кнут». Аксаков, Хомяков, подпекаемые цензурой, которая их кусала за пятки, пытались выкрикнуть против этого кнута что-нибудь, но выходило сипло, глухо, бессильно, фальшиво в тоне. Ведь это была «старорусская основа», процветавшая и в княжеский период русской истории, и в московский. Всегда пороли. И даже Сильвестр в «Домострое», даже этот величайший *идеалист* старорусской жизни, советовал «постегать не очень плеточкой», если жена перечит мужу. Как это «постегать немного плеточкой»? До каких пор, сколько? И не Сильвестр же будет стоять цензором-защитником около «постегиваемых» супруг. Само собою разумеется, что «идеальный» совет Сильвестра, данный в XVII веке и на этот XVII, и (в идее) на все последующие века, для *всей* Руси, на практике развернулся в озверевших мужей, которые учили «благочестивых» поленом и чем попало. «И-и, миленький, чем меня не били, только печкой не били». Печку нельзя взять в руки и ударить ею жену, мать и женщину. Ну, а «что можно было взять в руки», видною *подвижною* вещью били их всех и везде. Кроме счастливых исключений.

А в Японии вот их не бьют. Головин, проживший три года в японском плену, еще до усвоения страной европейской образованности, рассказывает, что *побитая женщина и побитый ребенок* — явления неизвестные в Японии.

Славянофильство всегда было бессильно, даже всегда не имело твердого голоса, а какой-то надтреснутый и фальшивый, в двух направлениях: в направлении «старорусского» зверства и молодого русского радикализма, именуемого в то время «нигилизмом». Против первого оно не имело силы оттого, что это было «все-таки *свое, русское*», а против второго потому, что он был *свободолюбив и демократичен*, а они были искренними свободолюбцами и народниками. Положение трагическое. Славянофильство всегда было дилетантски бесцветно и неумно, оттого, что куда бы они ни двинулись, вправо или влево, они вступали в противоречие с которым-нибудь из священнейших своих убеждений. Влево двинутся — это против «народностей», не «исторично»; вправо — это против «свободы» и «просвещения».

Их высмеивали. И действительно, внутри трагическое, их положение было снаружи комичным.

Их ненавидели: они бронировали русский консерватизм.

За ними не следовали: из относительной, но большой тьмы они звали в совершенную темень; из почти рабства они звали в полное рабство.

Это печальное положение и печальная программа ничуть не скрашивались их милым характером. Что кому до него? От этого характера было хорошо их друзьям, их знакомым, их прислуге. Нужно было, чтобы *России, русским* было хорошо, а от малейшего успеха славянофильства им становилось все хуже и хуже. Годы от 1881 до 1894, когда теории Н. Я. Данилевского, изложенные в его «России и Европе», стали почти программой русского правительства, были самыми тяжелыми для народа и общества: это были те годы, когда о голоде, поразившем огромное пространство России, нельзя было печатно говорить, нельзя было назвать его; позволялось говорить только о «недороде», явление мягкое, говорившее о чем-то «не очень», о чем-то не страшном, не пугающем, когда люди *в XIX веке, в цивилизованном государстве, в Европе, в христианстве умирали оттого, что им нечего есть!*

Даже страшно произнести! А это — *было!* И о таком-то «бывшем», о такой *наличности* нельзя было заговорить вслух! Это в пору торжества идей Данилевского и Аксакова, когда в правительстве стояли лица из их личных друзей и почитателей (Победоносцев — друг Аксакова и Достоевского).

Можно ли представить друзей Салтыкова, Глеба Успенского, Михайловского, которые в годину народного голода заставили бы цензурой молчать о голоде, называя его «только недородом».

И общество ринулось за Салтыковым, за Успенским, за Михайловским... «Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше».

* * *

Славянофилы сделали умственную ошибку, и от этого программа их была гораздо ниже их личности. В чем заключалась эта ошибка?

Нужно было звать Россию к *пробуждению*, а не к *возрождению*. По смерти Лермонтова в черновых его бумагах был найден клочок, на котором было написано: «Россия вся в будущем», и эта единственная строчка была обведена кругом, в рамку. Очевидно, поэт об этом думал, очевидно, это не было сболтнувшимся

словом. Между тем он написал «Купца Калашникова», лучшую из наших эпических поэм, и он же написал стихотворение:

Люблю отчизну я, но странною любовью,

смысл которого, впрочем, заключается в том, что не бранные успехи России, не ее политическая мощь привлекают поэта, а... этнографические картины, вид деревни с подвыпившими мужичками! Мотив, данный всему Глебу Успенскому, всему Некрасову, всему этнографическо-радикальному движению 60-х и 70-х годов XIX века. Вот как далеко *вперед* заглянул Лермонтов. Он совершенно сливается с этими будущими движениями русской литературы и общественности, которые «заказали путь» к старому, к прежнему, к древнему, которые всем своим смыслом на протяжении десятилетий слились со смыслом обведенной чертою строчки Лермонтова: «Россия вся в будущем». Что же это значило в устах поэта, который изваял могучий образ Грозного в «Песне о купце Калашникове», который знал о фигуре Пимена в «Борисе Годунове», читал и зачитывался «Полтавою» и проч.? Что это значило? Да ведь хорошо было *писать стихи* о Грозном, а каково было *с ним жить*? Одно — иллюзия творчества, и совсем другое — действительность! А славянофилы призывали к действительности, они пытались воскресить прошлое в настоящем! Не нужно обманываться поэзией, которая лучшие свои строки и лучшие картины находит в страшном, находит среди ужасного, которое нельзя же возводить в программу! Несравненно описание в «Войне и мире» аустерлицкой битвы. Помните этот конец ее, где русские солдаты, обозы, генералы, адъютанты, уже не разбирая чинов и должностей, столпились на мосту в невыразимой давке, «а ядра, все нагнетая воздух, через равные промежутки времени ложились одно за другим в эту гушу»?..

— Пошел на лед, пошел! Чего забоялся, пошел! — закричали стоявшие в середине, куда падали ядра, крайним.

Спрыгнули на лед. Пошли. Лед проломился.

Хорошо описано, а каково это было пережить, даже минуту-две пережить?

Лермонтов хорошо понимал, что поэтических картин было много в русском прошлом, но это прошлое не было нравственной книгой. *Этнография* — вот все, на чем он остановился уж *с любовью, любясь*.

Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы...

И прочее.

Россия — страна великих обещаний и вместе очень тяжелых снов. Ну, какие у нас золотые грезы о прошлом? Давит, как кошмар. Это сплошной плач и ужас. Вот только что на днях появилась брошюрка — исследование «по неизданным документам» о суде и «деле» Артемия Волынского, патриота времени Анны Иоанновны. Оказывается, Бирон разгневался на него не потому, что этот кабинет-министр спорил с ним в правительстве по поводу Курляндии и русско-

польских отношений, как передают об том учебники, а потому, что, видя немецкое засилие при русском Дворе, Волынский тайно препятствовал браку сына Бирона с принцессою Анною Леопольдовою, что открывало бы потомству Бирона русский путь к царскому престолу. И то, как «препятствовал» этому Волынский? Не более, чем выразив радость принцессе Анне Леопольдовне по поводу того, что из двух предложенных к ее выбору женихов, молодого Бирона и принца Ульриха-Антоня, она остановилась на последнем, а при взгляде на первого заплакала. И вот Бирон объявляет Анне Иоанновне, что «при Дворе быть *ему* или Волынскому»... Кровь леденеет при дальнейшем изложении. Как, попав в зубчатые колеса машины полою платья, человек втягивается в нее медленно и смальвается в куски, так погиб несчастный Волынский... Какие-то люди были тогда ужасные: медленные, неуклюжие, неумолимые. Машина... Начальник тайного розыска объявляет кабинет-министру, что императрица велела ему «не приезжать ко Двору». Поняв, что это значит, Волынский поехал во дворец Бирона, но Бирон не вышел к нему, хотя он два часа ожидал его милости. Начался суд... Даже не понятно, о чем, почему? Волынский был обвинен в умысле и словах, обнаруживших, что он, Волынский, желает взойти на всероссийский престол!! Даже не дали труда придумать что-нибудь правдоподобное, вероятное. «Все равно, — хочется кушать». Напрасно Волынский говорил, что никто от него таких слов не слышал и ничего подобного он в душе не имел: его присудили посадить на кол живьем. «Но по всегдашнему милосердию своему, монархиня, прочтя постановление суда, решила, что такая смерть слишком люта, и смягчила приговор: виновному, вырезав язык, отрубить правую руку и голову». И вот, описывается, как в Петропавловской крепости ему вырезали язык, и, завязав рот полотенцем, дабы удерживать кровь, наполнившую рот, вывезли на Мыгтнинскую площадь — ту, где мы все столько раз проходим и там теперь играют дети, — взвели его на эшафот и в торжественной обстановке, прочтя приговор, отрубили сперва правую руку и потом голову!

О, как счастливее людей коровы! Даже те, что ведут на убой...

И вот вызывает к себе начальника тайной канцелярии бывший кабинет-министр и просит, чтобы «на нем» (по его смерти) императрица не оставила милостью его сына и двух дочерей, — все в возрасте 15 и 17 лет. Напрасная надежда: уж *эти-то* в чем же были повинны? Их немедленно по его казни вывезли в глухие, отдаленнейшие места Сибири; девочек постригли в монашество в безвестных монастырях, а юношу отдали в солдаты «бессрочно», с тем чтобы служба проходила им только в том городке Сибири.

Интересно прошлое, в 7 строчек, льстивое уведомление, какое начальник тайной канцелярии послал Бирону после постановления суда: «Завтра утром, в 9 часов, на Мыгтнинской площади имеет быть произведена экзекуция над бывшим кабинет-министром Артемием Волынским. Вашей светлости всепокорный слуга и раб Андрей Ушаков».

Прочитав, я не мог два дня забыть: все мне мерещился вырезанный язык, наполненный кровью рот и это полотенце... Верно, кровь просачивалась, и были пятна. Люди смотрели. Указ читали...

Дальше, дальше от этого! Боже, только бы забыть! Какими молитвами это замолишь? Какие молитвы *нужны* после этого?! О, как бесстыден кажется после этой *деловой* брошюры летописец Пимен в «Борисе Годунове», который, кончив

страницу летописания, говорит о том, что все это и подобное надо читать «с миром и прощением»... Мне кажется, Пушкин, написавший эту знаменитую сцену и слова о «прощении» потомства и безгневном чтении летописцев, приблизился вдруг к Ушакову в его льстивом письме к Бирону. «Вашей светлости всепокорный слуга»... Пушкин только прибавил: «слуга и богомолец». Страшно это сказать про светлого Пушкина, а дело неволит. Живописец М. В. Нестеров, все рисующий «Пименов», сказал мне раз, что «Борис» — любимейшее его произведение в русской литературе, а это место его он не может читать без слез. Как обманчивы иллюзии!

Можно ли забыть Волынского? Никогда! А когда так, — не нужны нам «Пимены». ¹⁰

Они не нужны нам, потому что все мы «сердцем хладные скопцы», как сказал Пушкин же в другом месте. Сказал и забыл...

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Поет ли дева за холмом
.....
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Не нужно нам этого! Мы люди и хотим ужасаться и плакать ужасом человеческим и слезами человеческими. ²⁰

Никакие «Полтавские битвы» не искупят Артемия Волынского, и вообще его ничто не искупит, нельзя его искупить. Бывают единичные преступления, но там патология уродливости или чрезмерный злой нрав *одного*: здесь же мы имеем не случай и не вспышку, не единоличное помешательство. Нет, мы имеем систему, порядок и закон, мы имеем правильный суд, «по всей форме», и имеем судей и зрителей. Кто был зрителями? Вся Россия, и Пушкин... Пушкин и Карамзин. Даже наше время примешалось к «равнодушному зрителю», потому что ведь никому-то, никому не пришло на ум хотя бы поставить на Мытнинской площади памятник-могилу, памятник-эшафот, памятник-крест; ну, что-нибудь и как-нибудь, невинно убиенному и притом за всю Русь, за всех русских убиенному. Ибо он пострадал за русские интересы, за престол русский, к которому подкрадывался выскочка. ³⁰

И забыли. Только вот нельзя сказать — «и плюнули». Э, все равно... Действительно забыли и прошли мимо и танцуем.

Что же тут трястись над летописями и вздыхать и прочее, — как приглашали славянофилы? Можно только если читать, как делается в годовой церковной службе с Евангелием, выбирая одни «зачала». Вот был Рюрик — слава; победил Димитрий Донской Мамай — слава; охотился Владимир Мономах на туров — поэтично и слава! И Петр, и «сии величественные Иоанны» — ну, конечно, слава, ⁴⁰ слава до задыхания, до одышки, до хрипоты. Но побегали днем, покричали «ура», легли в постель, закрыли глаза... и приходит Артемий Волынский, с полотенцем на рте, по которому красные пятна.

— Ему язык вырезали! О, что в том, что при Полтаве победили: живому человеку язык вырезали...

И все, от гимназиста до мужика, все, в ком *свежо чувство*, шархнуты прочь! «О, закройте эти летописи, не надо! Не надо! Бежим!».

Славянофилы слишком переучились. Они были до излишества образованны, знали по три, по четыре иностранных языка, читали все литературы, всякие книги. Образовалась масса пересекающихся впечатлений, где всякое чувство глохло, тускло. Непосредственности в них не было. Народ — непосредственнее. Ему нельзя не быть свежим: он должен сотворить историю. Народ здоров и не пресыщен ученостью, никогда не будет пресыщен. И он не заслушивается родной истории, ни из чего не видно, чтобы заслушивался ею. Спроса ведь на эти книжки нет, и никогда не было: как мало дошло до нас списков летописей! По два, по три экземпляра! То есть их не читали!

Русские дети в школах тоже не увлекаются русской историей... Что поделаешь, — и как тут быть славянофильству?

«Россия вся *в будущем*». Вот это «будущее» любят и гимназисты, и мужики. Сколько о нем мечтаний; кажется, ни у одного народа нет стольких мечтаний, связанных с «будущим», с «возможным», с «должным». К концу XIX века это так нахлынуло, что половина политики русской ушла на «борьбу с мечтательностью».

* * *

20 Возьмем церковь, ее положение, ее учение, дух. Славянофилы, с точки зрения «возрождения», естественно, должны были обратиться к первоисточнику всего, к Византии. «Возродить Византию после Петербурга или в Петербурге же» — вот краткая формула *всего* в них. Аксаков, когда звал «домой» Россию в 1881 году, то он звал ее не в Москву, как казалось всем и казалось ему самому; Москва — только перепутье, промежуточная станция. Он, конечно, звал в Византию, захватив на перепутье и Москву с собою; туда, где около Влахерны и Феодора Студита сидели другие и уже настоящие «Иоанны и Константины», из которых один, победивши болгар, всем пленным, т. е. взятым в плен частям разбитого войска, приказал выколоть глаза, отобрав только косых и кривоглазых. Этим косым и кривоглазым он повелел вести ослепленных домой, на родину. Вот уж это по-настоящему было «царствовать на страх врагам»...

И, закрыв летопись, опять хочется сказать: «Бежим! Не надо!».

Некуда нам, русским, приткнуться, а есть у нас для «притыкания» одно — это будущее.

При участии и содействии двух братьев Киреевских, Ивана и Петра, в Оптиной пустыне, знаменитой уже в то время, образовалась целая как бы комиссия перевода греческих аскетических писателей на русский язык. Одна за другой начали появляться те книги, которые до настоящего времени составляют «духовное млеко» *всех* наших монастырей, всего монашества. Тогда-то были переведены Иоанн Лествичник и знаменитое «Добротолюбие»... Пока у Чернышева моста в Петербурге в 1902 и 1903 годах не было сказано и *доказано*, что все это — не нужно, вредно, ошибочно, не в светском, а *в религиозном отношении*; не нужна и ошибочна не только Москва, в этой части ее идеалов, но и Византия, которая в религиозном отношении сама походила на тех кривых болгар, которые вели ослепленных ею своих соотечественников. Византия взяла из Евангелия только

несколько крупинок, тех печальных строк, которые были сказаны у Распятия и вблизи с Распятием; и пропустила мимо ушей все, что сказано и утверждено в Евангелии же, и сказано больше! Она прошла мимо самого *воплощения* Сына Божия, т. е. того факта, что пришествием Христа на землю *освящалась и оправдывалась* вся плоть человеческая, т. е. телесное, физическое, кровное, костное его начало! Византия разорвала Вифлеем на клоки, затоптала это место Евангелия, оставив из него одну Голгофу и указав на эту Голгофу человечеству. И в этом опять она сделала ошибку: ибо Христос взошел на Голгофу не из добровольного желания, не по хотению Своему, не оттого, что природа «божественного» и природа «страдальческого» совпадают, а по необходимости и невольности — ради избавления человечества от греха, проклятия и смерти. Цель достигнута — средство отпадает. Или Византия не верила, что цель достигнута, что человечество избавлено от уз своих и смерть Спасителя была подлинно *искупительна*? Страшно сказать, но Византия действительно этому не верила, прямо она отвергнула все христианство, все «Христово тело».

Она все Христово поняла тяжело, поняла и истолковала как *новую тяжесть*, возложенную на человечество, на землю, на выю бедных рабов земли. Христос *облегчил* — она отяжелила! Христос *развязал узы* — она вновь надела их! Разве же не «узы» монастырь с его затворами, высокими зубчатыми стенами, с его уставом? И разве не сказал Христос *прямо*: «Я пришел проповедать пленным *освобождение*, заключенным в узы — изведение из них: *лето Господнее и благоприятное*». Вот это-то «лето благоприятное» Византия и затоптала, вырвала его из Евангелия, заменив мраком и печалью. Явно, дело Христово искажено. Оно искажено не «пороками» монашества, не слабостями дурных монахов, как это всегда говорилось и думалось, а самими его *добродетелями*, высокими в монашестве лицами, духом, идеалами. Как наибольший «воин» есть тот, который победил, т. е. умертвил наибольшее число врагов, так самый совершенный монах — он-то далее всех и отступил от света Христова, погрузив все в ночь и сам нося на себе эту ночную, черную одежду как явное показание тайного существа. Самим им этого не видно, как не может человек увидеть своего затылка. Чтение, все правила, вся практика жизни, весь авторитет древних, тысячелетних отцов убеждает их в истине своего подвига; как *такому* не поверить? Поверили бы и все, но слово Божие, как слово света, рассекает эту тьму, повергая в осколки тысячелетнюю храмину Византии, которая и погибла под ударами турок не по порокам императоров, не по слабости войска, но понесла небесную кару за преступления учения своего, духа своего, смысла своего — против небесного света.

Христос облегчил человек: она отяжелила! И с нею было поступлено, как с евреями, отведенными в вавилонский плен.

Спрашивается, что же тут «возродить», как можно «возродить»?

Своею мыслью о «возрождении» славянофилы ставили «точку» всякому *существенному* движению вперед России, допуская только частные поправки, небольшие переделки, — главным образом по части «личной добродетели», что очень согласовалось и с уставом Феодора Студита. Они ставили доску, ставили заслон перед тем «будущим», которое составляло мечту русских людей, — в чем бы это «будущее» ни состояло. Не «такого» или «иного» будущего они не хотели; они не хотели его *всякого*; они хотели прошлого. В этом и была могила славянофильства. Общество перешагнуло через них и пошло дальше.

Но, как мы говорим, сущность *славянофильства*, как *славянолюбия*, не в этом и состоит. Не в археологии, не в возрождении. Она состоит в любви к *славянам* как племени. Любовь же ищет человеку лучшего. Кто любимого облакает в старые одежды, в ветошный наряд? Так поступают с нелюбимым, с безумным или по безумию. Мудрый же одевает дорогого человека в новый роскошный наряд: вот чего ждет славянство от России, о чем нужно подумать России.

10 Это — прекрасная даль, которая нас манит. Куда нас звал еще Белинский и звали все смертельные враги славянофилов, в то же время сами славянофилы. Они только боролись против программы «возрождения» и отстаивали другую программу — «пробуждения».

Это «пробуждение» и есть шитье новой одежды для дорогого существа: для славянских братьев и для нас самих, в которых славяне видят старшего и более сильного, но едва ли более счастливого брата. Грусти много и там и здесь...

<V>

20 ...Два дня я вчитываюсь в то, что было сказано в Государственной Думе по поводу сметы морского министерства, и в частности тех 12 миллионов, которые испрашивались на постройку четырех новых броненосцев. Каждый скажет: «Два дня, когда газетный лист *пробегается* в час»... Да, но я давно устал и давно перестал «пробегать» печатные страницы, предпочитая этому вовсе не читать их. Конечно, пишется так много, и куда же все это прочесть. Но выпадают дни и попадают страницы, которые *нужно* прочесть, и уж тогда ползешь по строчкам, ощущая пульс в каждой из них, вглядываясь, если можно так выразиться, в глаза каждой строчке. Знаете ли вы, что, читая очень внимательно, можно воссоздать для себя звук говорящего голоса, и в неподписанной статье, по этому звуку, можно распознать и автора, если в то же время знаешь его живую, устную речь. До такой степени в *слоге*, в *стиле* переливается полная душа во всей ее живой вибрации.

А тут, в этих прениях, приходилось еще так много обдумать, связать. И два дня протекли в упорной мысли над двумя думскими днями.

30 Первый раз за три года, как у нас существует парламент, я почувствовал себя конституционно удовлетворенным, и, думаю, потому, что два эти дня были, в сущности, *первыми конституционными днями* у нас. Проистекло это не от *впечатления* речей, которое не могло быть особенно сильным, а от *сопоставления* речей и того результата для всей страны, какой получился от этого сопоставления. Как «речь прокурора» и «речь защитника» ничего особенного не представляют собою, и выше их стоит «присяжный суд», который рассматривает и решает дело, выслушивая обе стороны, так точно *суть* парламентаризма и конституционализма далеко не исчерпывается звоном депутатского зала, не исчерпывается *регами* там, как бы они ни были красноречивы и значительны. Суть парламентаризма 40 «во всей совокупности чего-то», что устанавливается и начинает править страной, исходя из этого зала, из этих комиссий, кабинетов, — «всего», что объединяется названием и фигурой Таврического дворца. Дело не в искрах, а в пересечении их; дело в узоре *взаимно-скрещенных* речей; дело во впечатлении от живых физиономий, из которых одни пришли сюда из толщи народной, другие «явились для дачи разъяснений» из бюрократических верхов. Дело в *итоге* и в *нрав-*

ственных оттенках этого итога, которые в некоторых случаях и в некотором положении приобретают такую силу, которой не может сопротивляться никакой каприз, произвол и проч. Этот моральный итог и начинает вправлять страну в рельсы, правильные, твердые, постоянные.

Недостаток нашего парламента заключается в его литературности. Недостаток простительный и слишком объяснимый, ибо Дума и все, с нею связанное, явились плодом в конце концов «литературных веяний». Не молчи русская литература целый век о парламенте, — за невозможностью говорить и в то же время при завязанном рте, — не думай она о нем и только о нем, со всею силой маниакальной сосредоточенности, — его бы и не явилось. Просто не пришло бы на ум *именно его дать*, когда пришла трудная и растерянная минута. На прямую сущность *работей* забастовки и был бы дан *прямой ответ* в виде нового фабричного законодательства, и проч. Но был дан ответ *косвенный*, от ясного и очевидного для всех положения вещей, что самая забастовка была лишь формою, видом, под которым таился другой мотив, литературно-общественный мотив вековой протяженности. От этого мотива своего Дума получила свое выражение, свою физиономию. Она была чисто литературною физиономиею. От выбора первого председателя первой Думы, этих знаменательных 3 часов пополудни, когда около решетки Таврического дворца вдруг все физиономии расцвелились, и из уст в уста передавались слова: «Ну, кого? Муромцева?», «Конечно, Муромцева», — от этого дня и часа все полилось в Таврическом дворце, как лилось десятки лет со страниц «Отечественных Записок», «Русского Богатства», «Вестника Европы», «Дела» и проч. *Нового* по существу ничего не было и — увы! — не было ничего в сущности конституционного и парламентского. Ибо конституция и журнал — это совсем разные вещи!

Дума должна *государствовать*, а не *литераторствовать*, а между тем собранные литераторы и читатели литераторов ничего еще решительно не могли и не умели делать, как *устно* излагать то, что они написали бы, или излагать и перелаживать то, что они вычитали. Впечатление получалось шумное, но слабое; дела никакого не получалось. Памятные дни первой и второй Дум, когда говорил свою первую или свою заключительную речь Церетели или когда поднимался на кафедру Алексинский и начинал точно капать серной кислотой по бюрократии, — все это были, однако, известные страницы *литературы*... Парламентаризма никак не выходило, конституционализма никакого не было. Все было давно известно по *темам*, по *тону* из публицистики Михайловского, Мякотина, Пешехонова, Слонимского, К. К. Арсеньева, из «Освобождения» П. Б. Струве, из статей П. Лаврова, Герцена, Бакунина, Плеханова. Ничего *кроме* этого, ничего переступающего за *грань* этого. Наконец, шумные и скандальные дни, когда встречали военного прокурора Павлова или когда произносил свои угрозы Аладьин, — все это были эпизоды из полемики покойного «Современника». Шум против бюрократии, все это было так старо!

Нужно было *государствовать*, а государствовать не умели, и отчасти к этому даже не было вкуса. Вошедшие в первую и вторую Думы люди — или «пролетарии», или интеллигенты — были слишком частными для этого людьми. Государственность представляла для них только предмет полемики; вся их предыдущая жизнь ушла на то, чтобы показать и показывать, как частный человек, частное лицо страдает от государства и государственности. В сущности, это было веко-

вым предметом нашей литературы. Они все были невольны и неудержимо противогосударственники или безгосударственники; были «анархистами» в том благородном и изящном виде, в том тихом виде, в каком был «анархистом» знаменитый Элизе Реклю, первый географ своего времени. Ну, что общего между географией и анархией? Называть себя «анархистом» и всю жизнь заниматься географией, — и значило бы быть только ученым, для которого весь мир представляется в виде вечной иллюзии без войн или где «не надо войны», без полиции или где «не надо полиции», без суда и с отрицанием суда, ибо против кого же злоумыслит такой ученый или на кого он пойдет жаловаться? Вершины умственного и нравственного развития человечества всегда были этою тихою, бескровною анархией, где соединялись Гёте и Спиноза, Д.-С. Милль и Рикардо, где были наши Станкевич и Грановский. Что им, мирным людям, государство, государственность? «Вредное, несносное, мешающее». Так члены первой и второй Дум, сливки русской умственной жизни за век, смотрели на жесткое правительство, с которым они встретились в думском зале. Полетели стрелы с одной стороны, которые зазвенели о латы, о броню с другой; как впечатлительны были с одной стороны, так *невпечатлительны* — с другой! Ну, что прокурору Павлову Герцен или Белинский: он привык читать «дела» и «делопроизводство», читать «дознания» и «свидетельские показания», и до литературы ему просто не было никакого дела.

Одни не имели вкуса государствовать, другие не имели вкуса литераторствовать. И разошлись. Разошлись как масло и вода, которым нельзя быть в одном горшке. Так произошел «ропуск» двух Дум. Кому-то, маслу или воде, надо было выплеснуться из горшка. Выплеснули интеллигенцию.

Интеллигенция пережила мучительные, острые дни. Мука доходила до горла, до слез. Можно было во всем отчаяться. Да и действительно, положение было отчаянное: интеллигенция целый век ждала, требовала (скрытно) «права участвовать в государственных делах». Наконец каким-то чудом с неба право было получено. Вдруг оказалось, что интеллигенция не может государствовать, может только полемизировать, уязвлять, смеяться и проч., и проч. Но ведь это, конечно, не значит «принимать участие в государственных делах».

Тут оказала бесценные услуги «гибкая партия», господствовавшая в 1-й и во 2-й Думе, но там явившаяся с литературными претензиями, с литературными программами и литературною критикою правительства, — и ничего не сделавшая в смысле «государствования», в направлении к «государствованию». Она тогда, и особенно при открытии 2-й Думы и во все время существования ее, приняла на себя бесчисленные плевки на эту свою «гибкость». Достаточно вспомнить выходку Алексинского и жесткую тактику трудовиков. Но «век живи, век терпи». Кто хочет жить, должен уметь терпеть. Подошел момент, когда эта оплеванная «гибкость» спасла, в сущности, дело интеллигенции в ее направлении к «государствованию». Пришла больная, страдальческая минута. Интеллигенция была выплеснута из горшка «с маслом и водою». Предстояло или умереть, или приспособиться. Все «левее кадетов» гордо отошло в сторону, пошло «куда-то» от государствования. Но «гибкая партия» приспособилась и сползла опять в горшок, из которого вместе с остальными ее также выкинули.

Третья Дума есть патетически направленная против первых двух, т. е. это есть Дума антилитературная. Так она и пошла в Таврический дворец, — с насмешкою

к своим предшественницам, с мстительным чувством в отношении начатков их дел. Будущий историк отметит и подчеркнет все эти возгласы с места депутатов, где они перекидывались язвительными прозвищами с левыми скамьями, с остатками литературы в Думе. Все это характерно. Все это важно. Но «гибкая партия» дальновидно предвидела, что «само дело сделает много», т. е. что эти же люди, столь «законопослушные» *в принципе*, когда столкнутся *на практике* с нашей администрацией воочию, с нашими «порядками» или, лучше сказать беспорядком, то во многом *переработаются*. И у зубра не одни копыта, есть и рога. И вошли они в Таврический дворец копытными, а могут выйти и рогатыми. Здесь литература совершенно точно рассчитала, что наш «старый порядок» или «старый беспорядок» вообще есть вещь, не переносимая ни для какого обоняния; что он оскорбителен для всякого *свежего гувства*, в том числе и для свежего, чистого, идейного патриотизма и даже консерватизма. Он просто циничен. Ну, а цинизма никакая душа не переносит.

Когда, в ответ на критику морского министерства, премьер-министр заговорил: «Ведь для всех очевидно, что отрицательное отношение большинства Государственной Думы *не имеет оснований какие-нибудь противогосударственные побуждения*; этим отказом большинство Думы хотело бы дать толчок морскому ведомству, хотело бы раз навсегда *положить предел злоупотреблениям*, поставить точку под главой о Цусиме, для того чтобы начать новую главу, страницы которой должны быть страницами *гестного, упорного труда*, страницами о воссоздании *морской славы России*», — и за этим последовали возгласы с мест: «Верно!» и аплодисменты, то это было совершенно ново в истории нашего парламентаризма, с одной стороны, и в истории нашей государственности — с другой. Упала капля тех чувств, того взаимного сочувствия и понимания, без которых вообще невозможно никакое *общее дело*, а парламентаризм и конституционализм есть, несомненно, «общее дело», и им только и может быть или его вовсе не будет. Но значение тона этих слов идет дальше: правительство, в лице своего главы, уступило обществу, — ибо палата депутатов есть кристаллизованное, оформленное общество, — в его именно *государствовании*, а не перед его литературными или говорливыми талантами. Последнее случалось и раньше, как в эпоху сербской войны при Александре II, как в самом начале царствования Александра I. Тогда правительство, по тем или иным причинам, *слабело*, переставало само «государствовать», и выпущенный или полувыпущенный руль предоставляло давлению «литературных веяний». Тут именно *слабело* правительство, но общество ничего не приобретало. Оно оставалось тем же собранием частных лиц, которым на минуту жилось легче. Общество наше благословляет эти исторические минуты, благословляет их довольно наивно, забывая, что развязанный раб есть все-таки раб, потому что *на него есть документ*. Возглас Каткова в 1881 году: «Встаньте, господа, — *правительство возвращается!*» был очень точен в том смысле, что в эти эпохи ослабления правительство действительно как бы уходило, оставляя общество жить по-своему, но нимало *не принимая в себя общества*, не принимая его в свое *государствование*. От начала и до конца для всякого члена общества, желавшего вступить в *государствование*, было неременным условием: *отречься от общества*. Он отрекался, символом чего была даже внешность: он снимал частное платье и одевался в *мундир*. Мундир — это ливрея государственности; только в нем можно было «служить». Служба и частное платье, свободное платье, гражд-

данское или обывательское были несовместимы. Таким образом, государство и общество у нас не помогали одно другому, не служили друг другу: это были антагонисты, которые только воевали друг с другом. Положение нелепое, явно чудовищное, гибельное для обеих сторон, для всей России гибельное.

П. А. Столыпин получает свое историческое значение не от каких-нибудь умственных преимуществ, а исключительно от преимуществ своего *характера*. В нем нет того, о чем вздыхают русские патриотической складки вот уже 25 лет: «Боже, дай нам $\frac{1}{4}$ Бисмарка! Дай мужа железного, жестокого, который всех бы надул, и надул в нашу пользу». Таков вздох и мольба С. Ф. Шарапова и «всех, иже с ним», а таких у нас немало. Все эти патриоты похожи на проторговавшихся купцов, которые вечно вздыхают о недостатке хитрости, чему приписывают все свои несчастья. Несчастья России также приписываются ими недостатку в русском правительстве цинизма, алчности, хитрости, свирепости или свирепого эгоизма, — словом, « $\frac{1}{4}$ Бисмарка». В П. А. Столыпине нет не только « $\frac{1}{4}$ Бисмарка», но и никакой его дроби: скорее эта дробь, и большая, была в С. Ю. Витте. И кто помнит, как его встречали и провожали после 17 октября, какой стон стоял в печати от «Витте и Дурново», тот сразу поймет, что, действительно, человек нашего времени, человек, который «удался» бы в наше время, должен стоять как можно дальше не только от « $\frac{1}{4}$ Бисмарка», но и от всей его гигантской, но ²⁰ *безжалостной и лукавой* фигуры. Забыли старое, хоть и наивное определение славянофилов, что «русский народ есть *народ этигеский*». Но в самом деле, русские так много вынесли на своей спине, что *настоящего государственного человека* закала Цезаря, Петра или Бисмарка они решительно не в силах были бы вынести. «Дерет по нервам».

П. А. Столыпин не обнаружил никаких великих государственных способностей; да это и не нужно, не «ко времени». В наше смутное и мутное время гораздо важнее ясность характера, даже не сложность характера, ибо всякая «сложность» невольно запутывает. Невозможно не видеть, что он *фигурою своею и всеми своими действиями уясняет эпоху*. Отсутствие больших государственных способностей ³⁰ требуется самым нашим временем, основная задача которого лежит в *смещении государственности и общественности*. В возмещение « $\frac{1}{4}$ Бисмарка» П. А. Столыпин, будучи председателем совета министров, носит штатский сюртук; и это очень важно, что из тех немногих портретов его (это тоже важно, что «немногих») он нигде не снят хотя бы с каким-нибудь кантиком около воротника, хотя бы где-нибудь торчащею светлою пуговицею. Этого всем русским ставшего ненавистным вида нет у него, и все чувствуют, что это не подделка, а натура. Мне приходилось слышать от очень близкого к нему человека, знающего его с детства, об одной черте характера ли его, судьбы ли его, которая очень много объясняет в нем. Когда он оканчивал гимназию, то с ним случилась затяжная и тяжелая ⁴⁰ *болезнь*: что-то вроде воспаления надкостницы в левой руке. Между тем подходили экзамены, их надо было держать, а вместе с тем лечение болезни потребовало и операции. Ни одного, ни другого нельзя было откладывать, — и он подвергся операции и вместе с тем продолжал держать экзамен. Связи и положение отца его, корпусного командира, позволяли бы выхлопотать отложить экзамен. Но скромный сын не пожелал вводить в хлопоты отца и вообще пользоваться его положением для своих маленьких ученических дел. Однако операция не помогла: воспаление было хроническим. И потом, перейдя в высшее учебное заведе-

ние (кажется, Московский университет), он несколько раз еще подвергался операциям, не прерывая занятий. «Таким образом, еще мальчиком он до такой степени закалил себя в терпении и *стойкости*, в исполнении того, что *нужно*, что есть *долг*, каковы бы ни были его личные обстоятельства, что это сделалось его второю натурою. Он всю жизнь проболел, — и боли, запугивание, страх не суть средства отклонить его с избранного пути». Так заключил свою речь говоривший. Я думаю, это многое объясняет. Это объясняет и его памятную фразу, сказанную кому-то из служащих чуть ли не на другой день после взрыва на Аптекарском острове, где едва не погиб он со своей семьей: «Ни одного дня остановки в *либеральных преобразованиях* не будет». Это похоже на «держать экзамен» после операции. Просто это была натура. И когда это не фраза, — а значит, это была не фраза, — это прекрасно.

Ясным и твердым своим характером, характером в то же время не жестким, не оскорбляющим, он стал среди мутных волн времени, — и все эти волны стали осаживать из себя муть, очищаться, становиться более прозрачными. Вот и все, что он сделал, — главное, что нужно было сделать. Несмотря на чрезвычайную жесткость и даже жестокость некоторых черт нашего времени, никто не решится приписать ему лично происхождение и в особенности длительность этих черт. Будущий историк разберется в подробностях, но общее мнение всего общества не обвиняет его в жестоком. Всеобщее мнение, наконец, утвердило за ним штатский сюртук в сонме мундиров. Повторяем, только будущий историк сумеет разобратся во всех мелочах нашего времени, но общество инстинктивно чувствует, да и имеет право чувствовать, это по речам его в Государственной Думе, что все же ее главным хранителем «наверху» является он. А для всякого понятно, что это есть главная задача времени, за выполнение которой история с избытком простит ему недостаток « $\frac{1}{4}$ Бисмарка». Последнее просто теперь не нужно. Задача России — сохраниться, а не расшириться.

Третья Дума патриотична и консервативна. Может быть, это и немного, но это много значит для того, чтобы спустить в море первую и самую тяжелую гущу грязи, которую оброс наш «старый порядок». Известно, что процесс очищения Авгиевых конюшен — один из подвигов Геркулеса — заключался в двух приемах: сперва он разломал одну стену конюшни и уже затем провел сюда поток смывающей воды. «Провести поток смывающей воды» могут лучше космополиты и либералы, но чтобы «сломать стену», для этого удобнее быть консерваторами и патриотами. Как П. А. Столыпин оговорился, — их никто не сможет обвинить в противогосударственности. То есть из этого обвинения нельзя сделать *повода* для отказа, для сопротивления. Когда очищающей, реорганизующей, ломающей работы требуют консерваторы и патриоты, тогда перед требованием этим неодолимо склоняется все: оно по силе действия равняется чему-то подобному «всеобщей политической забастовке», ибо присоединение сюда голосов космополитствующих и либералов уже разумеется само собою. Кто же против? 10—15 чиновников, какие верховодят «ведомством» и уже заранее обернуты в бумажку с надписью: «Это люди, не любящие своего отечества», «Это люди, не берегущие России».

В таком положении и очутились представители морского ведомства 23 и 24 мая, — ведомства, поставленного особо и независимо, так как глава его не входит в состав кабинета и, следовательно, не имеет прямой связи с Государ-

ственной Думой и уж тем более прямой перед нею ответственности. И вот, пред лицом представителей народа и всей образованной, всей читающей России, наконец, всей читающей Европы, вышел товарищ министра адмирал Бострем и с видом гимназиста 1-го класса заявил, что, конечно, выдать военные секреты иностранцам нельзя частному человеку или чиновнику военного и морского министерств, так как это есть государственная измена, наказываемая пожизненно каторгой, если не виселицею, но когда это делается, во-первых, не тайно, а открыто, не частным, а официальным путем и с ведома и по распоряжению министра, то каким же образом министр-то может быть ответствен, наказан или виновен?! Все это он прочел по бумажке, составленной от лица министерства, т. е. как взгляд министерства, и бесспорно прочитанной и одобренной министром адмиралом Диковым. В газетах было передано («Нов. Вр.» № 11566), что в кулуарах бывший министр, адмирал Бирилёв, при котором все это произошло, тоже очень горячился и недоумевал, что тут незаконного? Тем более что секреты были переданы заводу Веккерса не в военное, а в мирное время, а в статьях закона говорится о военном времени. Таким образом, два подряд морских министра, призванных реорганизовать и поставить на ноги флот, — оба выразили непонимание, какой произойдет вред для России в случае войны, если неприятельские корабли будут иметь ту непробиваемую палубную броню, не портящиеся от выстрелов пушки и снаряды с несрывающимися в дуле поясами, какие придумали русские ученые и которые составляли тайное, никому ранее неизвестное преимущество нашего флота? Может ли перевести Горація ученик, не знакомый с латинским алфавитом? Если два министра не понимали даже того, что понятно каждому юнге во флоте, понятно каждому кадету морского корпуса, то, спрашивается, что вообще они могли понимать и могут понимать? Ничего. Картина бюрократии нашей развернулась так широко и так разительно, она развернулась перед таким неисчислимым множеством зрителей, перед всей Европой, перед всем светом, что ничего подобного, конечно, никогда не бывало во всемирной истории. Можно представить себе мудрого министра финансов, который, принимая во внимание, что, конечно, выделка частным способом кредитных бумажек наказуется Сибирью, но выделка их казенным способом есть официально установленная вещь, взял бы да и начал печатать кредитки у себя в спальне, но на казенной машинке, сам он и все его домочадцы, непрерывно, *по его, министра, разрешению*... Ведь «разрешение министра» это и есть законная санкция. И какая же «подделка ассигнаций», если их не «подделывает», а просто «выделяет» сам министр?

Со всех сторон развели руками. Два министра этого не понимают. Ну, как же нам с такими «понимающими» министрами было выиграть японскую войну? Нельзя, как нельзя перевести Горація, не зная латинского алфавита. Вся история России за XIX век осветилась. Как и можно было предполагать, мы имели дело не столько со «злоупотреблениями» или со «злоупотреблениями» *во-вторых*; а *во-первых*, мы имели дело с таким младенческим «непониманием», что, можно сказать, Россию только Бог сберег, а не люди берегли.

Высококонтитуционным моментом и было противопоставление этого младенчества с тою зрелостью ума, о которой председатель Совета министров выразился как о «беспощадной логике» блестящих речей целого ряда ораторов. Тут слово «блестящий» хотелось бы убрать. Ну, какой особый «блеск» был хотя бы

в речи А. И. Гучкова? Была просто серьезность и одушевление высоким чувством к отечеству. А о чувстве этом бюрократы и верившие бюрократам всегда полагали, что оно присуще только им, а «штатские» его не имеют. Но важно, что премьер-министр упомянул «о целом ряде ораторов». Действительно, кроме Чельшева, приписавшего расстройство флота чарке водки, выдаваемой матросам, никто не спустился на уровень понимания или, лучше, непонимания адмирала Бострема. Чельшев не стал с ним плечом к плечу. «Вот так полководец!» — закричали с мест владельцу саратовских бань. Но над ним не поднимались, как «полководцы», и устроители морского ведомства, наивно передавшие иностранцам военно-технические секреты русских кораблей и пушек. В эти два дня для всех стало очевидно, что, кроме курьезных исключений, весь уровень, целый уровень народного представительства неизмеримо умственно развитее, чем уровень бюрократии, и даже, в худшем случае, — не менее его патриотично и *государственно* настроен. В сущности, это и есть *весь мотив* конституции и парламента. Еще 15 лет назад Победоносцев громко (в «Московском сборнике») назвал конституцию «великою ложью века сего», уверил, что она подводит к рулю государственному невежд, верхоглядов, прощелыг, людей без знания и доброй нравственности. Этими уверениями в памятном заседании министров, собранных под председательством только что восшедшего тогда на престол императора Александра III, ничуть не предубежденного *в то время* против конституции, он подействовал и на него. На всю жизнь он внушил государю предубеждение против этого способа правления как *гнилого*, морально *негодного* и государственно *ненужного*. Россия склонилась под этим решением. Что было больше делать? Где были доказательства противного, и откуда их взять, когда не было самой конституции?

Но 23 и 24 мая был на это обвинение дан ответ. Не в сонмах бюрократии, а в темных рядах скромно одетых обывателей лежит и настоящий здравый смысл и горит высокое и бескорыстное одушевление к чести и пользам отечества.

Вот и все, что требовалось доказать. Задача была проста, и для многих решение ее не представляло вопроса. Но не было убедительности *для всех*. Нужно было, чтобы что-нибудь дало возможность убедиться *всем* и чтобы спор был более невозможен. Бог, пекущийся о русской земле, собрал в эти два дня такие разительные доказательства. Он заставил произнестись таким необычайным, почти чудесным суждениям («предательство интересов страны, когда его делает министр, невинно»), что чашка весов, на которую положена была «конституция», твердо пошла книзу как хорошая, ценная тяжесть, а та чашка, на которую положены имена: «бюрократия», «личное усмотрение», «безответственный произвол» вскинулась вверх как пустая, никакой ценности не несущая на себе чаша.

И вот почему мне хочется назвать эти дни первыми конституционными днями, днями конституционного оправдания. Это было Ватерлоо бюрократизма, или, по-нашему и лучше, — ее Цусима. В эти дни Дума *государствовала*.

<VI>

Настали трудные дни для нашей учащейся молодежи, настали трудные дни для русских семей. Мне пишет один из русских священников: «Последний циркуляр министра народного просвещения о недопущении в университеты семинари-

стов, окончивших полный курс семинарии, без предварительного экзамена по математике и физике, является крупным и очень чувствительным для нас, попов, ударом. Что же, наши поповские дети уже и в люди никуда не годятся? И причем тут физика и математика, если, положим, человек собирается поступить на филологический, юридический или медицинский факультет? Существует у нас законодательная Дума, но вне думского рассмотрения министры издают у нас самовольно разные законы».

Привожу, не меняя слов, отрывок из частного письма одного из самых уважаемых в России священников, человека просвещенного, широкой и последовательной мысли. В письме, конечно, есть неточность, но приходится даже порадоваться ей, так как она открывает возможность некоего печатного «запроса». Министерство народного просвещения могло бы ответить священнику и, может быть, отцу взрослых сыновей, что оно «никакого закона не издало», а лишь «потребовало циркуляром» того-то и того-то. Но для обывателя очень мало утешения в том, что бумага, в которой требование изложено, называется «циркуляром». Хотя кажется несомненным, если бы это самое требование прошло через Государственную Думу, то оно и называлось бы «законом». Таким образом, возможный ответ министерства отцу и священнику был бы следующий: «Мы не проводим через *законодательные утρεждения* нового правила. Как же вы их называете *законом*? И указываете, что мы его не могли провести без Думы. Могли *именно потому*, что не проводили через Думу, и, следовательно, это не закон, а просто *мы так хотим*». Не умею ничего на это ответить. Такая трудная филология. В самом деле, «закон» или не «закон»? Раз он не прошел в формальном порядке всякого законодательного акта, то явно, что это не «закон». Но, с другой стороны, его содержание, вводящее что-то новое, распространяется на всю империю, и это есть типичный закон, закон в более строгом и точном смысле, нежели, напр., ассигнование 1 или 1½ тысячи рублей на открытие дополнительного класса в таком-то училище, каковые «законы» во множестве внесены тем же министерством в Государственную Думу. Перемена в *единицной* школе, — перемена, не *нарушающая форм* государственных актов в подобных же случаях, — это, казалось бы, совершенно можно предоставить на благоусмотрение самого министерства и вообще всех министерств, как не задевающее *сути* управления страной, духа управления ею; напротив, всякий акт власти, *распространяющийся на всю империю и вводящий что-нибудь новое*, — это, кажется, и есть суть закона и законодательства и не должно бы проходить без санкции Думы. Но это обывательская точка зрения, точка зрения обыкновенного здравого смысла, которому все равно, «законом» или «правилом» именуется новая трудность для обывателя. А может быть, на юридических факультетах учат об этом иначе? Не знаю. Во всяком случае, Думе следовало бы остановиться на мысли, что такое «закон» и не «закон» и какие иногда важные вещи могут быть введены циркуляром или проведены, минуя Думу, в циркуляре.

Обращаясь к существу дела, нельзя не обратить внимания на следующее. Министерство народного просвещения, если бы оно было повнимательнее, знало бы очень хорошо, что в *гимназиях* поповский сын, учащийся худо, — почти неизвестное явление, а между студентами университета никто не отличается такою усидчивостью в занятиях, такою деловитостью и начитанностью, как поступившие в университет из семинарий. Это явление тянется уже много лет, много деся-

тилетий, и удивительно, каким образом то, о чем все знают, остается неизвестным только министерству народного просвещения, хотя это ближе всего его касается. Нужно удивляться тому огромному числу серьезных медиков, серьезных чиновников, серьезных филологов и историков, какое дано России духовным сословием. Стоит вспомнить красу русской истории, русской исторической кафедры в университете — В. О. Ключевского, чтобы сразу постигнуть всю легковесность и необдуманность новейшего министерского циркуляра. Для нас, слушателей Московского университета в 80-х годах прошлого века, семинарская фигура и семинарская речь Ключевского куда больше говорили, куда обаятельнее действовали на нас, чем высокая и сухая, какая-то не сгибающаяся фигура одного профессора-классика с немецкою фамилией, который ухитрился нам читать знаменитую речь Демосфена «О венке», останавливаясь исключительно только на одних аористах у великого оратора, и это показалось всем до такой степени неинтересным и исторически не нужным, что мы решительно не в силах были его слушать долее пяти лекций и затем, как по уговору, перестали посещать его лекции. Кажется, этот бездарный профессор пошел потом далеко по службе и, может быть, тоже теперь сочиняет какие-нибудь циркуляры... Не могу еще забыть его защиты докторской или магистерской диссертации; взобравшись своей несгибающейся фигурой на эстраду — обычное место диссертантов, — он на все вопросы Ф. Е. Корша и Фортунатова стоял молча и ничего не отвечал. Даже странно было и немного смешно. Бедняге, однако, дали «магистришка» или «докторишка», так как этого нельзя назвать больше и лучше при таком конфузе. Мне кажется, помня тогдашнюю свою экзаменационную муку, он сам уже на всю жизнь, как педагог, сделался снисходителен к экзаменуемым. Так бы ожидалось естественно. Но тупость человеческая бывает иногда невероятна, и, кто знает, этот жалкий магистрант не сделался ли потом экзаменационной грозой?

Строгости учения пошли повсюду. И, как правильно было отмечено где-то в печати, они пошли *именно теперь* не вовремя. Именно последний год учебные занятия пошли везде превосходно. Молодежь, по естественной реакции учебной «разрухи», которая пронеслась над Россией и держала школу года три под собою, воспрянула духом и взялась за книгу с прилежанием, дотоле невиданным. Об этом слухи отовсюду шли. Следовало предоставить этому выпрямлению школы встать в полный рост, не нудя его, не подхлестывая его. Но у нас нигде и ни в каких областях нет мудрых садовников, которые умели бы *помогать* росту, *поливать* всходы. Нам не нравится все, что растет само собою... Как «само собою»? «Само собою, без нас!» И сколько раз мудрое начальство, выполов всходы, начинало насаждать то самое, что выпололо, но уже насаждать мертвыми корнями, командуя: «Всходи! Расти!».

В итоге, однако, надо дать совет: приноровиться, напрячься. Как ни несправедливо и ни нелепо стеснение, которому подвергнуты семинаристы, они должны наддать труда, преодолеть новые трудности и в случаях, когда не имеют призвания к священническому служению, идти в университет, сдав «дополнительную» скуку.

Учебных новостей вообще много. В прошлом году высшие женские курсы в Петербурге, в лице директора Фаусека и остальных членов правления, подверглись в печати резким укорам за то, что постановили «правило», тоже никем не санкционированное и пришедшее «автономно» им в голову, — никого не прини-

мать на курсы, кроме медалисток гимназий и шифристок институтов, а бедных епархиалок, т. е. тоже поповских дочек, вовсе и ни в каких случаях не принимать, как бы они ни кончили курс и каковы бы ни были сами по способностям и рвению к занятиям! Правило вздорное, одно из тех мертвых правил формального характера, по которому Ломоносову, крестьянскому любознательному парню, никогда бы не поступить в московское Заиконоспасское училище, и Россия не имела бы в помощь себе его труда и гения. Право, ради двух фигур Ломоносова и Белинского, не справившихся с учебными формальностями, у нас следовало бы при всех университетах и курсах учредить хоть два «жребия» их имени, по которым принимали бы туда раз в году и одно лицо, вне всяких форм, с очевидными признаками даровитости и по засвидетельствовании особых усилий попасть в университет. Эти признаки всегда может проверить коллегия профессоров или может определить их ректор, как это смог сделать Феофан Прокопович относительно Ломоносова. «И хотя бы все стали гнать тебя из училища, — я твой защитник», — сказал проницательный архиепископ холмогорскому парню. Времена были самоуправные, и на этот раз самоуправство помогло и спасло гения. Г. Фаусек и правление высших женских курсов приняли во внимание критику, и в нынешнем году в правилах о приеме на курсы включены и епархиалки, и гимназистки без медали и шифра. Прием будет совершаться по конкурсу, но это уже нормальное требование, которое преодолеют таланты.

Занимаются, в самом деле, теперь так, как лет 20—30 назад, в пору толстовских строгостей, об этом и понятия не имели. Между прочим, интенсивности занятий и глубокой *сознательности* в них много способствовали *конкурсные* испытания, по которым принимаются в слушатели всех высших специальных заведений, — а их очень много, — и вот эти *дополнительные* испытания, какие требуются для семинаристов, реалистов и для девушек при поступлении на все виды курсов и в женский медицинский институт. Те и другие испытания сбросили *шаблон* как нечто недостаточное и беспомощное; сбросили «троечку», «удовлетворительно», на каковых отметках экзаменатора мы все, бывало, ехали, как на всероссийской кляче. Теперь «хорошо», «четыре» уже вызывает слезы у девиц и растерянность; годится только «пять», «отлично». Но чтобы в испытательной комиссии, перед совершенно новыми экзаменаторами, а не перед 8-летним «старым», «своим учителем» получить это «пять» и даже «четыре», нужно действительно отлично знать и *понимать* предмет. «Знать и понимать *предмет*» — это вовсе не то, что вытащить «счастливый билет» старых времен... На этих «счастливых билетах» основывались иногда отличные пометки об «окончании курса гимназии» такими лицами, которые о данном предмете имели самое спутанное, сбивчивое представление, об *основаниях* предмета, о *связи частей* в нем — никакого представления, никакого понятия. Таков был старый, казенный шаблон.

Теперь все переменялось. На «счастливый билет» рассчитывать невозможно, и к экзаменационному столу можно выйти, зная только весь предмет и зная его знанием твердым, уверенным. Вся психика приготовления глубоко изменилась. Незаметно возникли, кажется, еще не отмеченные печатью и, конечно, нигде не зарегистрированные *подготовительные* училища и *подготовители-учителя* отдельных предметов, берущие по рублю, по два в час, берущие их с бедноты... Можно сравнить то вялое, пассивное, «неохочее» сидение на уроках гимназистов и гимназисток да большею частью и студентов на лекциях, с этим рвущимся

вниманием, с выпрашивающею любознательностью, с какою молодые люди и девушки 22—23 лет сидят за этими подготовительными уроками «за свой кровный рубль». Тут каждый урок должен «заработать свой рубль-два». Такими подготовителями-учителями и членами-основателями коллективных подготовительных курсов становятся только мастера своего дела и в смысле знания, и в смысле педагогического таланта, навыка. Опять — они не имеют ничего общего с вялыми, сонными гимназическими учителями, «дослуживающими до пенсии». Вся работа здесь другая. Она другая и сверху, и снизу. Предмет изучается, знания ученика, подготовка его к «конкурсному испытанию» рассматриваются «так и этак, и на свет», как худая шинель Акакия Акакиевича, которую портной взялся починить. Это не есть тот рассматр «по счастливому билету», какой производился на былых «испытаниях зрелости», которые на самом деле были «сплавом недоброкачественной зелени» и каковой экзамен проводится вообще в казенных гимназиях. 10

* * *

Мне этот год случилось видеть близко или, точнее, слушать через стенку такие приготовления и к переходным, и к конкурсным экзаменам. Из переходных я слушал подготовку по римской и греческой истории на женских курсах. Нужно было знать не только лекции, но и «проштудировать» вспомогательные пособия, указанные в году профессорами. Последние — все переводные с немецкого. До чего это грустно, что мы, русские, не заготовили своих книжек даже того немудреного содержания, где содержались бы, как говорится, «шаблоны» наук. Вина этого всецело лежит на профессуре наших 8 университетов. Производительная профессорская работа в России глубоко ничтожна. Профессора все дожидаются, не удастся ли им «открыть Америки», и так как «Америка» не приходит, — всего была, матушка, одна, да и ту открыли, — то наши чопорные ученые и сложили на животики ручки, изредка просматривая и «одобряя» коллективные студенческие переводы, какие им приносятся благоговейными слушателями, переводы обыкновенно весьма плохие и иногда невозможные. У нас нет *изложений науки* без «открытий» и «новых взглядов», а того, что *общеустановлено*. 20 До такой степени нет этого, что, для того чтобы узнать *обстоятельно* ход Пелопоннесской войны, нужно отыскивать старый перевод Вебера, сделанный Чернышевским в ссылке, а чтобы прочесть что-нибудь о скульптуре у греков, о трагедии у них же, нужно ходить в публичную библиотеку и рыться в трудах Любкера или Куглера, старых солдатенковских изданий и т. п. И вот я слушаю с затаенным удовольствием, как девушка, лет 23-х, сопровождает восклицательным удивлением чтение знаменитой анкирской надписи: она оценила дух, краткость, скромность и достоинство латинской прозы. Надпись эту, где Август-старец делает обзор своего правления, открыл Моммзен на камне в окрестностях древнего разрушенного города Анкиры, в Малой Азии. Август так скромен в ней, как 30 если бы это писал частный человек о своем участии в общих делах отечества, — участии если и с руководительным значением, то лишь насколько то было угодно сенату и римскому народу. Все было скромно; а какая сила таилась под этою скромностью! 40

Между другими «заданными» темами слушаю я о римских *муниципиях* и думаю: как худо мы устроились с *нашими* русскими «муниципиями»! До чего уроки истории, обязанные быть известными ученицам в 24 года, как будто никогда не были известны нашим государственным мужам в 64 и в 54 года! Чтобы читатель понял смуту, поднявшуюся у меня в уме, я объясню ему, что «муниципиями» назывались покоренные римлянами или вошедшие в союз с Римом и затем в подданство Риму страны Галлии и Германии — теперешней Франции, Австрии, Баварии и других земель по Рейну, Дунаю и Эльбе. Все эти страны они устроили на так называемом «муниципальном праве», из которого, по одной из гипотез историков, и развился весь средневековый строй феодализма, с его «феодами» — обширными владениями частных лиц, с «городскими общинами», или «коммунами», одною из каковых был Париж, римская «Лютетия», и которые, конечно, ничего общего не имели с коммунами современных коммунистов; наконец, с «вольными городами», как Гамбург, Бремен, Любек и другие члены ганзейского союза. Развился из «римских муниципий» целый мир феодализма, разнообразный, сложный и, кажется, довольно красивый. Римская образованность ни на кого не налегала, никому не навязывала себя, но в 500 лет римского владычества она просочилась всюду, просочилась сама собою, так что древнейшие германские «правды», аналогичные «Русской правде» Ярослава Мудрого, все были уже написаны на латинском языке, со вставками в него германских терминов и отдельных слов. Таковы были все «*Leges barbarorum*», «Правды» или «Законы варваров», между которыми известнейшая — *Lex Salica*, «Салический закон» франков и Древней Франции. «Варварский» мир переработался в средневековый, уже далеко не варварский, имея перед глазами своими «вечный Рим» с его законами, учреждениями, организацией и письменностью. Рим действовал на него простою и ясностью учреждений, действовал утилитарно и практически; не мог не действовать изяществом быта и впечатлением великих поэтов. Во всяком случае, во взаимных отношениях метрополии к завоеванным странам мы не наблюдаем муки и злобы, не видим презрения с верхней стороны и злобы — с нижней... Римлянам не приходило и на ум школьно и всячески распространять «латинскую словесность» на Дунае и Рейне или вводить «культ Юпитера Капитолийского» в той же Лютетии или в древнем Кёльне, «*Colonia*» (Рима). Принимали — хорошо, не принимали — римляне не печалились. Не то чтобы по внешности, но и *внутри* у римлян не было никакой тоски о том, почему от Эбро до Дуная люди не говорят языком Горация и Вергилия, отчего не пишут латинским алфавитом своих вывесок над тавернами и почитают других богов, другими обрядами, чем какими римляне Марса, Меркурия и Весту. Рим был в высшей степени универсален, всеобъемлющ; но как-то у него это выходило «само собою», почти наивно, как наивны все великие подземные силы. И весь мир, не только европейский, но и азиатский, «романизовался» без слез, зубового скрежета и проклятий.

Этого не было. Была благодарность. И имя «вечный Рим», «*Roma aeterna*» осталось словесным памятником тех высоких чувств, святых ощущений, с какими народы Востока и Запада смотрели на это железное могущество. В нем не было ни слащавости, ни сантиментальности. Ни в «братцы», ни в «братчики» они никому не навязывались. Управление было деловое, утилитарное. Каждая муниципия содержала себя, без приплат от Рима; собирала сама подати и часть их отправляла, итогового суммою, в Рим — это за охрану, за стоявшее везде рим-

ское войско. Это войско, эта охрана только и связывала «муниципии» с Римом; в прочем они были свободны и самостоятельны, даже чеканили везде свою монету, только с портретом римского императора, и совершенно самостоятельно устраивали свое управление. Рим не вникал в обиход муниципальной жизни; просто этого в голову ему не приходило. Все было здраво, ясно, широко, везде свобода и зависимость сплелись пропорционально, не затягивая никого в мертвую петлю, не душа нигде быт, язык, нравы улицы и домашнюю жизнь.

Как это не похоже на теперешние времена! Как сейчас особенно напоминают об этом печальные, содрогающие известия, идущие с Кавказа! Грузия, изнеможенная борьбою с мусульманскою Турцией, особенно с диким, разбойничьим племенем курдов, отдалась во власть и защиту России. Единовенная нам Грузия, где св. Нина за триста лет до нашего Владимира святого проповедала христианство с крестом, сплетенным из виноградных лоз. Как это трогательно, как древне, старо! Грузины, красивейший народ на земном шаре, — кроткое племя, без торговых инстинктов, как у армян, и в вечном соперничестве с этими армянами. В соперничестве с ними, мелком, преимущественно денежном и торгово-промышленном, они искали всегда поддержки у русских и вообще жались к русским. Политически это было глубоко бессильное племя, а культурно это было глубоко привлекательное племя. Они с любовью начали изучать русских поэтов и многое уже перевели на свой грузинский язык. Все слагалось, все цвета складывались в самую красивую, мягкую, не злобную картину вечного мирного содружества русских и грузин, русского могущественного государства и нашей грузинской «муниципии».

Но «quod licet Jovi, non licet bovi», — что «идет» Юпитеру, не «удаётся» быку.

Поднялись мелочные вопросы, которые и *сими-то* в себе никакой не имеют.

Зачем, например, грузинские иконы пишутся не теми «русскими» и «белокуроыми» красками, как пишет их светлорусая Москва? Там иконы все «брюнетные», все святые черноволосые и чернородые. Правда, ведь *древнейшие* святые все были южанами, и, вероятно, были действительно темнокожие и черноволосые. В Петербурге, в греческой церкви, все святые на иконах имеют этот темный и черный пошиб. «Местный оттенок», в который никогда не вмешался бы римлянин. Но он мировым глазом глядел на мир. У петербургского чиновничества глаз узенький, чухонский, и мировой свет не проникает в узкий разрез его век. Мне привелось слышать последние годы, в объяснение желания грузин иметь у себя «аутокефальную церковь», не зависимую от петербургского Синода, что русские давно уже настаивают на водворении везде в грузинской иконописи великорусских пошибов. Есть также оттенки, напр., в украшении глав венцами, вероятно, применительно к форме древнегрузинских царских венцов, как мы тоже все пришивали к своим. Есть у нас *старообрядчество*. Не оно в полноте своей, но *тенденции* его проявились и у грузин, имеющих у себя церковь с VII века. Каждому мила своя старина, безотчетно, наивно. Им — удвоенно, ибо только в церковной старине они еще видят след былой и страдальческой своей истории.

И вот стали приходиться из Грузии сперва «неприятные» известия, затем тревожные, пока не принеслась ужасная весть, которая потрясла всю Россию и которая не может не повлиять самым ужасным образом на всю будущую судьбу Грузии. Экзарх Никон, человек справедливый и прямой, человек лично достойный, погиб жертвою на алтаре, который вовсе не требовал себе кровавых жертв.

Его прямота и личные качества уже ничего не могли поправить в раздражении, возникшем на почве *национальной* вражды там, где ей не было никакого места по разности и дальности населения, по их единоверию, по грузинской бесполитичности.

Поистине «благословенный» был край; но человек его разблагословил.

<VII>

Да, Государственная Дума теперь совсем иная, нежели при первых и особенно при вторых выборах. Она иная и в составе депутатов, и даже в посетителях-слушателях, которые тоже обозначают немалое, именно — тот слой населения, который главным образом интересуется и следит за прениями. Разница трех Дум менее заметна днем, в силу вечно тусклого петербургского света, при котором подробности и мелкие черточки лиц и костюмов скрадываются; но она совершенно ярка на вечерних заседаниях, когда электрический свет фасонирует каждую мелочь. Когда 6 июня, в 10 часов вечера, я вошел в «ложу председателя совета министров», в публике именуемую просто «столыпинскою ложею», — это не та, где он сидит, а просто это левые верхние хоры, Бог весть почему носящие свое торжественное имя, — я увидел, что вошел в какой-то большой парадный дом, очень добрый, очень мягкий, куда, в силу этой его мягкости, пропущено несколько батюшек и даже, кажется, впущен кто-то из простонародья. Я говорю о впечатлении из депутатского зала. Но и кругом это гостиная, а не сарай. Никто не толкает вас локтями, не нагибается над спиной вашей, так что приходится наклонить голову, никто вам не наступает на ноги и говорит: «Извините». Все это — на правых хорах, в первой и особенно второй Думе, среди студенческих тужурок, очевидных курсисток и косовороток подмастерьев, кое-где разреженных меланхолическим сюртуком отставного чиновника. Так было, но не так есть. Теперь все учтиво, чуть-чуть даже утонченно. Этот господин с красивою проседью так изящно стоит, и *врожденно* изящно, что можно фотографировать. Где-то как будто я его видел, — в кабинете директора департамента, говорившего товарищески с директором, или в ложе итальянской оперы, или, может быть, я видел не его, а его младшего брата, так на него похожего, на лаун-теннисе. Впечатление — что-то среднее между этими местами. И эти дамы, не молоденькие, как всегда бывало в первой и второй Думе, а спокойного замужнего возраста, со склонением к пожилым годам, — как все это ново, до чего это все — другое. Двойные лорнетки у глаз, воздушные летние костюмы, глубокое спокойствие поз и внимания, — самое внимание теперь умственное, а не сердечное, не волнующеся, — да, это совсем, совсем не то.

Я стал слушать. И в первый и единственный раз был удовлетворен.

— Кто говорит, — извините за беспокойство?

— Анреп.

40 Как хорошо. Вот что *нужно* для Государственной Думы, которая убеждает и убеждается, которая рассуждает и размышляет. Как это лучше и *нужнее* раскатистых громов Родичева, нервных, бьющих, оскорбляющих, обижающих; лучше язвительной *мелкой* речи Алексинского, растерянной на подробности, лучше стука Аладына, когда он стучал по головам министров и сановников точно ка-

кою-то гладкою и тяжелою, без сучьев и налитой свинцом, короткою своей палкой. Зачем все это, оскорбительное, мучительное? Дума — не битва, а совет. А может быть, однако, и битва?.. Не знаю. Но я унесся впечатлением и был очарован.

Каждое слово слышно. О, какое мучение, напр., просидеть в Думе *четыре* часа и не услышать *ни одного слова*. А это бывало. Оратор жестикулирует на кафедре, видно, в чем-то убеждает, что-то горячее свое говорит, какой-то запас впечатлений, принесенных из провинции, но, как в «живой фотографии», видишь только его фигуру, жесты, и около них какое-то шипенье ли, шелест ли, какой-то сор звуков, кашу бормотанья, глухую, сиплюю, *абсолютно* ни для чего не нужную. Иногда оратор стукнет кулаком по кафедре: значит, — горячо! А голоса не слышно. Точно прошипела невзорвавшаяся ракета. Ничего нет: ни совета, ни битвы, ничего, нет самого парламента, который все-таки есть в своем имени и смысле «говорильня». «Говорильня», значит, говори, а он шипит, кричит, как потухающий самовар. Конечно, настоящая *сущность* парламента — в комиссиях, там его душа, и депутатский зал есть только небольшое к ним «прилагательное». Но, все-таки... В депутатском зале уже всходи на кафедру кто может сказать *urbi et orbī*, городу и стране, не иначе. Год на пятый, на десятый это сознается, и шипящих ораторов не будет. Пока мы переживаем неопытные времена.

Не только внятно каждое слово, т.е. вся мысль, с подлежащими, сказуемыми, но ухо слышит и осязает весь рисунок речи, мельчайшие интонации доброго, мягкого, умного слова общественного деятеля. Я видел г. Анрепа впервые, ничего о нем не знаю и передаю только о впечатлении от речи, которое, естественно, расплылось в представлении полного человека. Так всегда бывает, и это невольно в слушателе. Я сказал: «Слушаешь *слово*...». Недостаток всех речей, решительно всех, какие я слышал в Думе, заключается в том, что это были именно «речи», т.е. что-то нарочное, преднамеренное, что не всегда же льется у человека, и вот не можешь представить себе, как же он говорит, разговаривает, беседует и в особенности разговаривает *сам с собою*. Без представления этого, без *знания* об этом неясна вся душа человека и неизвестна вся его жизнь. Ну, Родичев говорит. Хорошо говорит. Можно и лучше, но и это хорошо. *Дальше* что же? Что из *этого*? Дальше ничего. Речь есть что-то законченное в себе и *умершее в себе*. Родичев имеет талант произносить отличные речи, но из этого ничего не следует ни для России, ни для меня. Пусть и произносит, а я буду жить или Россия будет жить «как Бог на душу положит». Это не связуемо с *жизнью*, как и вообще ораторский талант есть некоторая и большая ценность в самом себе, но лежащая о бок с действительностью, *возле* нее, ее, наконец, украшающая собою, как и всякое искусство, но на нее не действующая, как рычаг. Поэтому всякая речь хороша только в меру того, насколько она не похожа на речь. Это и было у г. Анрепа: это не «оратор» говорил «с кафедры», хотя такова и была физическая обстановка дела, а просто это вышел седоватый, многоопытный, очень добрый человек сказать, что он думает о вопросе, у всех наболевшем, и думает не столько головой, сколько делом всей жизни, опытом своей жизни. Слову соответствовала и фигура. Думский зал, под колоритом слова, точно преобразился в широко раздвинутую гостиную «у себя дома», где гости расселись по сторонам и впереди, а хозяин, очень разгоряченный, встал, даже встал, и говорит окружающим о всем, что он видел и знает.

А видел он и узнал он множество горячих, отзывчивых русских людей, беззаветно преданных делу просвещения, делу «учебы» во всех ее формах, делу книги тоже во всех ее формах, но которым злой рок сильно и упорно вставлял палки в колеса и все тормозил, ничему не позволял двигаться. Просто «не позволял», и все тут, а органом «непозволения» всегда было министерство народного просвещения. Анреп, бывший попечитель округа, и много сообщал из своих учебных, между прочим, экзаменационных впечатлений. Вот ученик гимназии греко-персидские войны помнит, помнит в *эпизодах* этой войны, а об Отечественной войне 1812 года хотя он тоже слышал, но знает ее без всяких эпизодов, просто как о *событии*, которое только *было*. Это — русский мальчик в России. «Хорошо ли это, господа, национально ли?». Или профессор, тихий ученый, без всяких тенденций, в 25-летнюю годовщину освобождения крестьян читает, вопреки циркуляру, конфиденциально разсланному накануне, слушателям университета «об этом великом дне России, об этом самом великом акте Благословенного Государя, в котором содержалась такая огромная будущность для всей нашей земли; и что же: он был за это смещен с должности, и министерство просвещения не вступилось за своего ученого, за служащего у него человека, хотя, впрочем, оно и исправило ошибку потом, дав через год этому профессору кафедру в другом университете. Но прямо вступить за этого безобидного ученого, очень известного во всей России, оно не вступилось. Господа, это патриотично ли? Соответствуют ли это и такие дела народной гордости, которую завещал нам хранить Карамзин?».

Все очень обыкновенно. Спрашиваю себя: отчего же я так очарован, просто мне приятно теперь быть в этом зале и слушать, и почему вот эта незамечательная речь мне нравится гораздо более замечательных речей Петражицкого, Набокова и других, какие слушал я в первой Думе? Даю себе ответ и нахожу, что происходит это не от какого-нибудь удовлетворения ума, а оттого, что *мне самому* лучше, стало отчего-то спокойнее на душе, яснее, тише. Говорит добрый человек, говорит ласковый человек о всем дорогом деле. Вот и только. Как немного, и как много. Я перекинулся глазом к министерской ложе, где на первом месте в черном сюртуке, полубоком к депутатам и полулицом к кафедре оратора, сидел министр народного просвещения и слушал ту же речь, мне так нравившуюся, с очевидным отталкивающим чувством, как бы это был не Анреп, а лягушка. Боже, да что же тут отталкивающего в этой речи, и почему, в самом деле, русским мальчикам не знать подробнее нашей Отечественной войны, чем «отечественную войну» другого, греческого, народа, бывшую за 2500 лет до нас? Или зачем, в самом деле, лишать кафедры, т. е. *с семьей лишать средств жизни*, профессора русского права, который в годовщину освобождения крестьян читает об освобождении крестьян? За что же тут сердиться, и вообще откуда эти сердитые взгляды, сердитые повороты и вся эта какая-то мучительная мировая сердитость, которую, Боже, и я вижу столько лет вокруг, и вот третьего года видел ее тоже в несердитых речах Петражицкого? И впечатление от речи Анрепа у меня оформилось в моральный отдых, которому так радуешься, в самом деле, устав и изломавшись среди сердитых лиц и сердитых отношений, всего, всегда!

Да, шаблон. Самые обыкновенные все истины, и не мне этому учиться. Да и никто в зале не поучался, но все, в том числе и левые, слушали эту ясную речь этого *ясного человека* с тем же очевидным удовольствием, как и я, никто не читая пренебрежительно газету, как случается часто в Думе, не разговаривая между со-

бою, тоже из невнимания к оратору. Все внимали, — а чему? По мысли и слушать нечего. Но и для меня, и для зрителей-слушателей депутатского зала был прямо нов и неожидан человек, с сединами и заслуженный, говоривший с такою любовью о просвещении и просвещенных русских людях. Снова я перекинулся глазами к г. Шварцу. Нет, не нравится. Ему не нравится. Но отчего, отчего? Как все это мучительно.

После речи был объявлен перерыв. Красивые фигуры задвигались, стал возможен разговор после учтвого извинения.

— Но это все так известно, — сказал я, встав и ни к кому не обращаясь.

— Что известно?

— Да все, что говорил Анреп, известно каждому гимназисту, и это есть во всякой газетной статье. Не может не сделаться всем известным и «общим убеждением» то, о чем трубят сто газетных голосов в пяти, десяти, ста тысячах листов каждый день, и так круглые 365 дней в году, и потом опять 365, и затем еще 365... Вода точит камень: не может газета не обтачивать все умы и сердца. Так. Но речь мне и самому понравилась чрезвычайно. Во-первых, это не с чужого голоса и не вычитанное. Это вовсе не взгляды, почерпнутые из книг или полученного образования и направления, а это говорила натура доброго русского человека. Разница большая с «начитанным», и знаете...

— Заметили, как слушали левые? Ни одного движения неудовольствия, когда он говорил о том, что в России школа должна быть национально-русскою школою. А ведь это параграф октябризма.

— Да, левые слушали. Значит, они нисколько не против национализма, когда он разумен и добр. Они только отрицают и возмущаются, когда национализм хочет кого-нибудь кусать. Они против этого, и это не говорит о той злости, какую им приписывают.

Оставим их. Возвращаясь к Анрепу, действительно нельзя не заметить, что вопрос образования в России вовсе не есть вопрос какой-нибудь мудрости, какая-то Архимедова шарада, а есть вопрос просто *доброй природы*. Не умственный вопрос, а волевой. Ну, нет доброй воли, — тогда вы что же поделаете с тем, что недобрая воля не хочет просвещения? Сто Сократов не могли бы убедить Каина не убивать Авеля. Ну, вот этот Анреп, по словам его, столько видевший добрых усилий русских людей на дело просвещения, так любовавшийся этим усилиям и, очевидно, способный с ними гармонировать, идти рука об руку к великой и благой задаче, — отчего он, все-таки... Да он, кажется, даже в отставке, т. е. *отставлен, отодвинут*. Почему отодвинут, а не придвинут? «Отчего», «отчего»?.. Тысячи «отчего», — и гвоздь и забит под ними, под этими «отчего», а не забит в недостатке мудрости и философии.

Я вышел, продолжая размышлять, в соседнюю комнату, которую не решаюсь назвать «буфетом», потому что такая публика не «буфетничает». И в самом деле, только немногие здесь прохладжались чаем, и ничего другого. За столиком, куря сигару, сидит какая-то голая голова, т. е. без волос, хоть и молодая. Что-то знакомое и незнакомое. «Да неужели?.. Но ведь это так далеко, и от депутатского зала пройти сюда нужно десять, ну, пять минут времени, а зал распушен только две минуты назад». Какие странные глаза: ни у кого не видал, а они нравятся или, во всяком случае, обращают внимание. Темные, но не черные, должно быть, темно-карие, немного навывкат, или, точнее, как бы вышедшие вперед из, должно

быть, плоских впадин, они бьют вас взглядом, как дули, как маленькие бомбочки-шашки, что были употребительны в японскую войну. Но и все-таки его не узнаю, потому что он не вертится, как там, а спокойно сидит. Шопотом спрашиваю:

— Пуришкевич? Шопотом отвечают:

— Пуришкевич.

— Неужели он? Почему же не вертится?

— Он. А не вертится, — не пришла минута.

Позднее на хорах пересмеивались:

— Все ругают, а все смотрят. Останавливаются, потихоньку следят. «Каков он, Пуришкевич»...

— Всероссийская величина, известность. Разве афиняне не говорили несколько дней о собаке, которой Алкивиад отрубил хвост, а он и отрубил для того, чтобы говорили, и одна эта собака и попала в историю, тогда как сколько верных собак, погибших за хозяина, осталось без памяти. Клио, как и Фемиды, часто входит с завязанными глазами. Вы, однако, обратили внимание на его глаза?

— Обратил. По тому, собственно, поводу, что когда доктора подозревают у крошечных детей тяжелое мозговое страдание, еще ясно не выраженное, то всегда обращают внимание на то, не выпучены ли глаза. И этот депутат с выпученными глазами возбуждает во мне и политическое, и медицинское беспокойство.

20 Я рассмеялся и прошел опять в зал.

Кворума почти нет в этот день, а такой интересный день. Вообще пустота думского зала дает такой контраст с заседаниями второй и третьей Думы, когда пустовавших сидений вовсе не было. «Барская Дума, а баре всегда были с ленцой» — это невольно думается. Но впечатление дня так хорошо, что не гонишься за числом депутатов, удовлетворенный их качеством. Таких связных «сказываний», какие мне пришлось выслушать в этот вечер, я не слышал ни во второй, ни в третьей Думе. Там были «речи»...

30 Какое, однако, огромное явление эта Дума. Не побывав в ней, нельзя этого оценить, почувствовать. Какой иронией *над собою* звучали слова г. Коковцева: «У нас, слава Богу, нет парламента», сказанные перед людьми, *гастными русскими людьми, обывателями*, перед которыми он, министр, вынужден был давать некоторый отчет и объяснение. Какие же прежде были «отчеты» и «объяснения»?.. «Не хочу связываться» — вот и все бывшее «объяснение» не по адресу обывателей, которых налицо перед министром никогда и не стояло, а по адресу, напр., печати, которая начинала волноваться около какого-нибудь общественного дела. Если шум начинал быть велик и, упаси Бог, если в нем принимали участие и газеты, читаемые «в сферах», то следовала краткая записочка, положим, министра народного просвещения или обер-прокурора Синода к министру внутренних дел, а последний пересылал эту записочку к главноуправляющему по делам печати, — и делу наступал конец. Вчера шумели, а сегодня было тихо как в Божий день. Как будто такого-то «дела» и не бывало никогда, и не поднималось оно, и людей около него не было, и страдальцев не было. Ничего. Выбило градом. Была нива, пошел град, и выбило ниву. А теперь... Как не похоже, и как бессилен г. Коковцев со своими уверениями, или неуверенными, или по недоразумению...

Я говорю: значение Думы сознается только в Думе. Например, когда и кто у нас видел министров? Проезжая только в каретах, да и ездили-то редко, не вы-

езжая никогда в провинцию, они были совершенно неизвестными фигурами, и Тимашев, Валуев, графы Толстой и Лорис-Меликов уже при жизни были «легендами», т. е. тем, о чем все рассказывают, но чего никто не видел. Не было физического их представления, физического к ним отношения. Какие-то «духи», все наполняющие собою в России, но которых Россия никогда не видела. «Домовые», без злого оттенка, но с волшебным оттенком. Мы так с этим сжились, *так этому подгинулись*, что уже никто этим не волновался у нас, а между тем можно ли представить себе, чтобы Афины и афиняне никогда не видели своего Перикла, Рим и римляне не видели Катона, Англия — Гладстона и Америка — Рузвельта?

Как все теперь переменялось. Вот сидит г. Шварц в ложе, как все, т. е. просто на кресле определенного ряда, который, как и все ряды, ни золочен, ни серебрён. Где-то меж стенографисток, секретарей Думы, депутатов и, дальше, каких-то чиновников. «Ничего себе» или «ничего особенного». Последнее — во всяком случае. Уставшая стенографистка, сменившись в очереди, торопливо переходит к двери перед его креслом, не оглядываясь в его сторону и вообще не делая никакого внимания «его стороне». То ли это, что бывало, когда проходил... нет, не проходил, а шествовал министр.

Теперь все стало так обыкновенно... Русское правительство стало обыкновенным. Какая перемена! Что-то невероятное. Ведь еще всего в 1903 году это, казалось, *никогда не наступит*, совсем никогда, до конца нашей истории, или что будет перемена разве-разве к самому кончику ее, когда уже и не нужно больше, когда могила. И вдруг...

Государю императору угодно, чтобы министры впредь являлись перед выборными от населения и давали перед ними отчет в своем управлении, насколько и в чем эти выборные захотят. Давали отчет стоя...

Вот и все. Вот и вся наша русская «конституция». Но ведь она неизмерима... И просто в факте, что министры хотят или не хотят, вольно или невольно, а *должны* выйти в Думу и перед обывателями, «обывателишками» разъяснить и *оправдать* свои действия по управлению, — это такая перемена, которую г. Коковцеву никак не обнять мыслью. Факт неизмерим, и для полного уяснения его нужна мысль неизмеримая...

Для этого, прежде всего, нужно было быть русским обывателем и перестрадать все обывательское страдальчество. Но г. Коковцев, вероятно, прежде тоже «шествовавший по ковру» до кареты, был только министром или «еще немного — и министром», вообще *около* министра, *до*-министра, а обывателем он не был. Ну, тогда что же можно понять в русском существовании, а с ним и в русской «конституции», которая да будет благословенна? Послышался предательский звонок, и я пошел в зал депутатов.

<VIII>

Наука и политика

На кафедре я увидел тщедушного интеллигента, с небольшой бородой, молодого и, во всяком случае, еще не пожилого. Нервная, какая-то *усиливающаяся* его фигура являла контраст с абсолютно спокойною фигурою предыдущего оратора, г. Анрепа. «Ну, опять эта интеллигенция, со словами и без дела», — подумал я,

и к досаде примешалась еще и другая досада: голоса не было слышно, т. е. он шел, звук долетал, какой-то слабый и глухой, но не только всей речи, а даже и отдельных в ней слов нельзя было разобрать.

— Все как у интеллигенции. Верно, профессор, иссушивший себя над книгами.

Я встал и собрался уже уходить. Но не спешил. А между тем усиливавшийся оратор, верно, дошел до очень горячей мысли, и голос его стал подниматься, очень медленно, но все подымался. И я наконец стал расслушивать и отдельные слова. До конца речи эти слова так и не слились в сплошную массу звукового материала, мысль которого отчетливо бы читалась. Но все же выплывали значительные островки этого звукового материала, и совершенно ясно можно было судить о том, что говорил и что хотел доказать оратор.

Говорил Замысловский.

Он говорил, что школа саморазрушилась. «Я не хочу доказывать, что министерство народного просвещения хорошо; не хочу сказать, что оно даже удовлетворительно. Допускаю, что оно именно так плохо, как о нем здесь говорил предшествующий оратор. Это значит, что мы имели очень дурную постройку, из плохого материала, из дерева, и притом плохой конструкции. Так? Ведь так, господа (он обращался к левым)? Ничего решительно другого не хотели доказать ораторы, обрушившиеся на политику нашего правительства в деле просвещения. Но...».

Голос его чрезвычайно поднялся, и он поднес руку к груди, как бы зовя и требуя, чтобы она не выдала его и в этот решительный момент родила нужный звук.

«...Есть дом — и это одно, и есть поджигатель — это другое. Когда мы стоим перед сгоревшим домом, то для нас главный вопрос заключается не в том, *как* и *из чего* он был построен, а в том, кто *подложил огонь* под это дурное здание и уничтожил его. Подожгли его, — он обращается к левым, — революционеры, революция. Школа, которую оплакивали с этой кафедры мои предшественники, уничтожена, разрушена вождями освободительного движения и всею вообще смутю».

Г-н Шварц, который был наполовину обернут к ораторской кафедре, пока говорил Анреп, теперь повернулся совсем к ней и не проронил ни одного слова. Очевидно, он не только соглашался с речью, — он искал в ней подтверждений и доказательств тому, что сам думал.

Что же они оба думали, и Замысловский и Шварц?

— В школе занимаются политикою, а не наукою. Политика разрушила науку. Храм ее превратился в лабораторию революционного оружия.

Таков их тезис. Верен ли он? По глубокому молчанию левых скамей во все время речи г. Замысловского видно, что даже они не в силах были, и притом внутренне, опровергнуть его аргументацию и приняли ее как некоторый ходячий тезис, как общее мнение.

Однако так ли оно основательно, как все думают?

Первая Дума и вообще партия кадетов, заполнившая ту первую Думу, была, во всяком случае, не против освободительного движения и, по общему мнению и собственным лозунгам, даже вела его, но всеми признано в то же время, что состав первой Думы, как и вообще кадеты, дал русскому парламенту цвет русской интеллигенции, т. е. наиболее образованных, книжных людей, наиболее ученых людей. Вспомним только имена руководителя кадетов г. Милюкова и члена

Думы М. М. Ковалевского. Можно ли же утверждать, что «книжность» их есть только некоторая видимость, что они только носили в руках книги и показывали их публике, а на самом деле *не читали их*. Юмористическое предположение. Конечно, они читали и изучали книги, великое множество книг, на немецком, английском, французском языках; не романов и стихов, а книг утомительного, тяжелого содержания, с цифрами, статистикой, с летописным материалом. М. М. Ковалевский знает земельный строй средневековой Англии так, как его не знают сами англичане или знают его только чрезвычайно немногие англичане, ради чего он и был позван в кембриджский, кажется, университет читать самим англичанам лекции об Англии же, об ее старинном праве и старинном землеустройстве. Это даром не дается, и ни Сыромятникова из «России», ни Меньшикова из «Нов. Вр.», ни Пуришкевича из Думы, трех радетелей чистой науки в университетах, англичане не позовут к себе читать им лекции о чем-нибудь. Ковалевский всю жизнь учился и всю жизнь занимался политикой, потому что у него две головы в объеме одной головы, потому что он умен, даровит и *разносторонен*. Разносторонность, многосторонность не означают поверхностности. Нисколько. Бородин был химик и музыкант. Кант, кроме философских трактатов, писал глубочайшие рассуждения и о механике, о физике. Лейбниц был величайшим философом XVII века, будучи и величайшим математиком всех веков, ибо ему принадлежит открытие дифференциального исчисления. Аристотель написал и трактат «О душе», и «Политику», и занимался естественной историей животных, как специалист, как ученый. Что как идет и шло это дело во всем мире, так идет оно и у русских, — можно видеть по «Энциклопедическому словарю», изданному Брокгаузом и Эфроном. Как известно, немецкая его основа составляет не более $\frac{1}{2}$, или $\frac{1}{3}$, необозримого научного материала, вложенного во множество его томов; все остальное есть труд русских составителей, сотрудников. «Словарь» этот можно назвать коллективным трудом русской интеллигенции. До того материал его необозрим и разнообразен, а число лиц, вложивших туда свои статьи, численно велико. Но — увы! — «Словарь» этот, как известно, имеет политическую или, вернее, литературно-политическую окраску, притом не в духе Каткова или Аксакова, а в духе Милюкова и М. М. Ковалевского. «Словарь», как принято выражаться, «с начинкой», притом, бесспорно, «освободительной». Беды этой никак нельзя скрыть, и беда эта рассказывает нам о том, что все русские ученые и даже просто очень образованные люди всегда занимались или, по крайней мере, близко интересовались и политикой. Теперь можно ли представить себе, чтобы славянофилы, если их взять всех, и живых, и усопших, и даже если присоединить к ним всю «правую» часть Государственной Думы и почитателей этой «правой» части, могли коллективными усилиями не порассуждать «вообще о науке», что очень легко и учености не требует, а определенно и об определенных предметах написать хотя $\frac{1}{4}$ тех статей, какие написала в «Словаре» Брокгауза коллективная русская интеллигенция, сплошь либеральная и политически-либеральная? Лавры ученого не идут к голой голове Пуришкевича, и вообще нечего русским консерваторам ухватываться за тоги Аристотеля, Платона, Декарта, Лейбница, Ньютона, Пастёра. Они все — клубисты, но отнюдь не академисты; говоруны, а не люди кабинета, библиотеки и лаборатории. Если спросить, кто учнее, Милюков ли, вождь кадетов и один из редакторов неприятной «Речи», или тоже «профессор» и бывший редактор «Русского Обозрения» г. Александров, то, ве-

роятно, последний сам бы сказал: «Не сравнивайте меня, я — неуч». Это сравнение можно провести по всем рангам, по всем профессиям, по всем званиям, и везде трудолюбие, начитанность, книжность, именно «академизм» окажутся соединенными с «политикой», притом неизменно освободительного направления, а консерватизм окажется совершенно чуждым науке и только псевдоакадемичным, только хватающимся за тогу учености, одетую на *тугие плечи*, на плечи *не-консервативные*.

10 Так кто же и *как* зажег и сжег школу? Не те же, во всяком случае, кто и в школе, и после школы так много учились, читали, изучали, по-немецки, по-английски, и стали нашими лучшими профессорами, пронесшими знамя русской науки и за границу.

Мне очень хотелось бы, чтобы эта мысль моя, которую никак невозможно оспорить, стала известна Замысловскому. Он показался мне очень искренен, очень правдоискателен, и он просто должен взять назад свой тезис ввиду такой очевидности. Либералы и радикалы школы не разрушали. Они были самыми *занимающимися*, самыми *успевающими* в школе. Но они к школьным занятиям прибавляли и *политику*, прибавляли еще на школьной скамье, по живости своей, по отзывчивости своей, по разносторонности, как плод *даровитости*.

Вот и все.

20 Но и затем вся речь его, как будто юридически правая, права именно бедною юридическою правотою, о которой сказано, что она создала лозунг: «*Pergeat mundus et fiat justitia*» («*Пусть погибнет мир, но торжествует справедливость*»). Это не полный суд. Это жестокий суд. Нужно ли прибавлять, что это и нехристианский суд. Христос всегда останавливал и, наконец, опрокидывал *книжников* и *законников*, то есть вот этих юристов Ветхого завета и израильского народа? Нужно ли указывать, что самая поговорка юристов «*pergeat mundus et fiat justitia*» существом и даже формою своею напоминает фарисейский принцип «*субботу нарушать нельзя и ради спасения геловека*». Нужно ли доказывать, что если бы и во время Севастополя, и во время Цусимы и Мукдена ученики наших школ выдерживали свою академическую «субботу», т. е. сидели бы над Кюннером и Ходобаем, над алгеброй Малинина и Буренина и, наконец, над литографированными курсами своих профессоров, не отводя от них глаз, то мера способностей русского племени показалась бы всему свету весьма невысокой, а русские обыватели и до сих пор переписывали бы канцелярские бумаги «их превосходительств» и уже никак не собрались бы в Думе. Самый тот факт, что вся Россия теперь слушает Замысловского, обязан происхождением своим тому, что уже много лет русская учащаяся молодежь... *не только* училась...

30 Да и вообще «призыв к исполнению своих обязанностей», что стоит заднею мыслью за всею этою критикою русских учеников всех школ и всех возрастов, не имеет абсолютной в себе правильности, а только относительную. «Акакий Акакиевич да переписывает свои бумаги» — вот конкретная формула, к которой сводятся эти теоретические пожелания. Они только с виду моральны; точнее — они юридичны и в то же время имморальны. Стань все на точку зрения «исполнения своих обязанностей», и скорбный образ Акакия Акакиевича, такой грустный, превращается в некоторый хилиазм, в «тысячелетнее царство» исполнения своих обязанностей. Самые «обязанности» эти, если мы вернемся к образу Акакия Акакиевича, суть нечто внешне ему навязанное и нисколько не проистекаю-

шее из его человеческой природы. Мы все *рабы* страшной системы отношений, не из нас вышедшей, но нам *явленной*, как нечто бывшее до нашего рождения. Конечно, кристалл складывается и стоит тысячу лет в той расщелине горной породы, где лежал раствор, из которого он выделился. Но, к грусти всех консерваторов, животные *бегают*. Так Бог устроил, что животное *отбегают* от того, что ему не нравится, и *подбегают* к тому, что нравится. Это дает картину беспокойного движения по всей земной поверхности, но уж что делать? И сколько бы юристы ни волновались, зоологи не перестанут считать царство животных выше царства минералов. Можно спросить г. Замысловского: куда он все рвется со своими *общими идеями*, рвется с *консерватизмом* своим, коему его не обучали ни с кафедры римского права, ни с кафедры уголовного или гражданского права и вообще ни на одной из тех научных дисциплин, которые в пору его учебных лет он обязан был усваивать. *Общих идей* и этого консерватизма он набрался *откуда-то со стороны*, вне рубрик учения, да и вне обязанностей службы. Сперва как судебный следователь, затем как товарищ прокурора он должен был разбирать разные судебные дела. Его дело — суд. «Политику» разберут действительные статские советники других ведомств, а не судебного. Если он сошлется, что он слишком широк для своей специальной службы, что он достаточно даровит, подвижен и деятелен, чтобы совместить в себе *два интереса*, то мы не поверим ему, как он не поверил профессорам и студентам.

Дело в том, что стул Акакия Акакиевича мы любим подставлять другим, но никто не хочет сам на него садиться. И эта жестокая несправедливость, *summa iniuria*, — она все время звучала в жесткой, судящей речи г. Замысловского.

В. Л. КИГН

Телеграф неожиданно принес известие о смерти Владимира Людвиговича Кигна, писавшего под псевдонимом Дедлова: в Могилевском клубе, куда какой-то акцизный пришел для чего-то с револьвером, он застрелил нашего писателя, «защищаясь от него». В телеграфном известии ничего нельзя разобрать, и можно только прискорбно удивиться, что это за время и что за люди, которым так хочется пойти в клуб, что они идут туда даже и ожидая встретить нечто такое, что может заставить их взяться за оружие. Вероятно, ссора не была так моментальна, убийство не было так абсолютно случайно. Телеграф оставляет нас в полном недоумении, и только заставляет лишний раз резко выругать наш русский чад и смрад, где гадкое и страшное, порочное и преступное ползут, обнявшись точно две свившиеся между собою змеи.

Итак, нет более этого приземистого, молчаливого, немного угрюмого человека, с сильной проседью, который так мало говорил, но слово которого никогда не было случайным, скользким или бесцельным. «Семь раз отмерь, один — отрежь», — эта русская поговорка, будучи советом, хорошо характеризует покойного. Он был белоруссом, а судя по отчеству «Людвигович» имел нечто в себе от немцев: но я мало видал людей, которые были бы так беззаветно преданы России и всему русскому, русскому народу и русской стране, как этот «Людвигович».

Чем-то и как-то умеет беззаветно привязывать к себе наша безобразная Русь, и другие страны умнее и образованнее нас, ушли во всем нас дальше, но как-то чувствуется, что к нашей отсталой Руси сыны ее привязаны больше, чем те более счастливые дети к своим более счастливым странам. Сам я давно не патриот: но почему-то нет для меня ничего несноснее и даже неуважительнее этого нашего русского «непатриотства», тоже весьма распространенного, и так любишься на хорошее чувство русских в России, когда его встретишь.

Я привык уважать и, наконец, любить Кигна-Дедлова за этот хороший его русский глаз, русскую сметку, русскую наблюдательность, русскую насмешливость, русский критицизм. Идиллических, мягких и нежных чувств, какие тоже попадают в сложном образе России и русских людей, — не было в Кигне; меланхолического, задумчивого, грустящего — не было. В нем, — не в приемах и делах его, а в духе его, в мышлении и воображении, было что-то практическое, и, наконец, я сказал бы — хозяйственное и жесткое, хотя это странно применить к книгам и писателю, странно вообще сказать это о духе и нравственной физиономии человека. Но, в самом деле, едет ли он по Сибири, останавливается ли в Италии и проживает ли там, он все рассматривает, и людей и жизнь, с некоторой практической и хозяйственной стороны и некоторым практическим и хозяйственным взглядом. «Серенадой ты меня не проведешь», как будто говорит он 20 Италии: «а покажи мне твою счетную книжку и весь хозяйственный инвентарь. Тогда я скажу тебе цену как цивилизации и как племени».

Что же желать: как Бог положил на душу судить человеку, так он и судил. Мне кажется, Кигн не сказал в жизни ни одного глупого слова и не написал ни одной глупой строчки; это очень много для человека, вся жизнь которого была уложена в письмо. Когда вышли его «Школьные воспоминания» и мне захотелось написать о них статью, но я не исполнил этого по редкой для рецензента причине: мне показалось в ней все до того ценным, исторически многозначительным, нужным *непрерывно* для читающего русского человека, что я растерялся: что же цитировать? Мне захотелось и там и здесь и в конце концов почти всю книжку 30 переписать в свою якобы «критическую» статью: но тогда что же будет, это какая-то «продажная» критика, т. е. критика, равняющаяся делами приказчика книжного магазина, который всем навязывает и наконец раздает задаром «замечательную» или «замечательные» книги. Это невозможно, — и я не написал ничего о книге, так мне понравившейся. Описание немецкой школы и немецкого, на вид почти туповатого директора ее, но который каждую неделю по своей доброй воле писал к матери маленького Кигна подробнейшие отчеты-описания об отданном ему на попечение питомце, — и, значит, писал эти отчеты о всех питомцах, — поражает контрастом с целым рядом русских школ, где потом перебивал мальчуган, и не было ничего кроме вывески: «просвещение», «школа», «образование», под которой гулял самый широкий разгул русской беспросветности, наглости, пустоты и пустозвонства. Все эти реальные наблюдения автор сопровождает своими мыслями. Например, поразительно верны его замечания о своеобразном запое чтения, которому предаются чуть ли не все русские мальчуганы подаровитее в возрасте около 12—14—16. Нам всем это нравилось, для нас всех это какой-то чудный сон детства. Он сравнивает его с маковой соской, которую глупые няни, желающие, чтобы дитя «спало и не беспокоилось», дают младенцам: такое чтение, говорит он, если оно продолжалось долго, навсегда отрезыва-

ет мальчика от действительности, вселяет даже вражду к действительности, ибо жизнь никогда не может быть так сладка, как чтение, так красива, как поэтически воспроизведенные Тургеневым или Толстым сюжеты и картины. Мальчику выросши предстоит работать в этой действительности: а между тем он мизантроп в ней, он может быть только раздражен ею, становится только в высокомерное отношение к ней. На даровитого, очень даровитого мальчика, будущего поэта или писателя, такое чтение не окажет вреда: оно подготовит его к будущему, ибо «читатель есть уже писатель, только пассивный: он сочиняет, но не один, а вдвоем с автором». Но принеся пользу одному из сотни, такое чтение искалечит душу остальных девяносто девяти будущих граждан, работников и обывателей. Невозможно этого не признать. Писатели с этим не согласятся, скажут: «С нами не так было»: но именно оттого, что они писатели, и совершенно не знают измерения средней человеческой души, решительно надламывающейся под этим невероятным грузом, каким наделяет ее всемирное слово. В самом деле, есть что-то ненормальное в связи письмоводителя с Гамлетом: а кто из таких «запойных чтецов» не есть немножко Гамлет? Между тем стране нужны и письмоводители, страна требует от письмоводителя, которому она «платит», — чтобы он писал «отношения», и уже для собственного его счастья необходимо, чтобы он писал их без неудовольствия. Горькая истина, а как ее не признать. России нужны ремесленники: а у нас сплошь художники, или уж такие тупицы, что не могут усвоить себе и ремесла. ¹⁰ ²⁰

ДОМИК ЛЕРМОНТОВА В ПЯТИГОРСКЕ

Отдыхающие русские люди потянулись на чужой и свой юг. Я был удивлен в Интерлакене и Люцерне: куда ни ступишь, слышишь русскую речь. Помню первую прогулку по парадной улице Интерлакена, где расположены лучшие отели и роскошные магазины. Передо мною невдалеке две огромные спины. «Вот как хорошо растут немцы, — подумал я, — а наши...». Слышу бас:

— При постройке Троицкого моста... рассчитывали то-то или то-то, а украли столько-то и столько-то...

Я и не дослушал: так обрадовался! «Соотечественники!». Ну и, конечно, родные темы: «сколько украли» и «где что скверно построили». Воистину, ³⁰

И дым отечества нам сладок и приятен!

Это совсем не то, что Италия, где пропутешествуешь месяц, два, — и услышишь раз или два русскую речь за общим столом в отеле.

Но германская Европа точно кишит русскими. В Берлине и Вене в больших магазинах всегда найдется приказчик с русскою речью, и я еще более удивлялся, покупая апельсины в маленьких фруктовых лавочках и говоря по-русски. Так как за границу я везде чувствовал большой подъем национального чувства, то думал: «Ну, пока еще немцы собираются культурно завоевать нас, мы их уже завоевали». Передаю нетеперешние свои мысли, довольно скромные, а тогдашние, ⁴⁰

которые были решительно воинственны. Мне казалось, что Европе «пора и честь знать». «Жила-жила, накопила столько славы, столько великих дел; не век же жить, надо подумать и о наследниках». И мне представлялось, что эти русские, рассуждающие в Интерлакене о петербургском Троицком мосте, приехали сюда именно для того, чтобы посмотреть, в исправности ли наследство. «Ну, для чего Европе еще жить? Лучше Шекспира не сочинишь, больше Ньютона не надумаешь. От гения до сумасшествия, от Гёте до Ницше, они передумали все и пережили все. Им остается бездарное дряхлое изнеможение с калейдоскопом будничных происшествий. Но мы можем еще говорить, они — нет, и потому мы вправе быть завоевателями».

Все тогдашние мысли, отнюдь не теперешние.

И не оттого я перестал так думать, что произошла японская война. Отнюдь нет. Что нам японская война: и хуже бывало! Поляк в Москве сидел, Наполеон с Воробьёвых гор диктовал, то бишь — хотел диктовать условия мира. Но, как уже предвидел Карамзин, «величие народа познается в несчастиях», и никогда мы так блистательны не были, как после Поляка и Наполеона в Москве. Уверен, что-нибудь такое выключится и теперь. Ну, была война, ну, была революция, ну, были две Думы с провалом: пропорционально этому что-нибудь судьба и положит нам золотое в шапку. В сущности, японская война была для нас отличным «предостережением», к тому же, как оказалось, еще недостаточным. Ни на минуту не было ни у кого сомнения, что Россия не подвергается ни малейшей опасности, как государство, как нация и страна. Ужасно страдала только наша гордость, уязвлен был наш «престиж». С этой стороны действительно саднело... Ну, и, конечно, трагична, страшна и жалостна была гибель столько молодых прекрасных жизней, да и пожилых «запасных», которых первыми послали в бой, утилизируя молодых «на будущее»... Частные, личные страдания были ужасны. Но это вовсе не то, что колебания государства: его не было. Не было ничего подобного Наполеону перед Москвой. Невозможно и вообразить последствий, если бы без «предостережения» мы с тою же подготовкой столкнулись с Германией. Далее, пронесшаяся революция, как оказалось в итоге, выжгла только наш «нигилизм» — застарелую болезнь, с которой никто не умел справиться. «Нигилисты прошли» с неудачей московского вооруженного восстания.

Конечно, все это не «золото в шапке», с моей точки зрения. Вернусь к граничным впечатлениям. Когда я вернулся на родину, то мне показалось все так хорошо, что я подумал: «А для чего нам Европа?». В качестве литературно-исторического материала упомяну о впечатлении, с каким старик Салтыков тоже переезжал через Вержболово после единственной своей поездки за границу; выйдя на станцию, нашу русскую станцию, нашу первую русскую станцию, минутах в двух от ихнего поганого Эйдкунена, он вдруг очутился перед громадным жандармом. Рост его, красивый и видный, до того поразил сатирика, что он вынул и подарил ему три рубля. Так как жандарм есть сокрито мужичок, — то он не церемонился положить трехрублевку в карман. Приехав в Петербург, Салтыков гневно говорил знакомым и друзьям:

— Народу нет там (за границей). Дрянь какая-то! Мелюзга. Первый настоящий человек, что я увидел за (столько-то) времени путешествия, был русский жандарм на границе. И я дал ему три рубля. Просто от удовольствия видеть человека. Рост, плечи — красота!

Старик мало ему дал: ведь жандарму он обязан всею своею литературною славою, всем, что этак и так получил от печатания. Жандарм-то, под разными соусами, и был его всегдашним кушаньем.

Но где же это моя тема? Хотел говорить о лермонтовском домике в Пятигорске, — а пишу о встрече Салтыкова с жандармом в Эйдкунене. Милая русская привычка говорить, писать и даже жить не на тему. Вы не замечали этого, что почти все русские живут не на тему? Химики сочиняют музыку, военные — комедию, финансисты пишут о защите и взятии крепостей, а специалист по расколоведению попадает в государственные контролеры, выписывает из Вологды не очень трезвую бабу и заставляет все свои департаменты слушать народные песни. Винят бедное правительство; а где ему справиться со страной, в которой каждая вещь стоит не на своем месте и каждый чувствует призвание не к тому, к чему он приставлен, а к такому, о чем начальству его даже и в голову не приходило. Это бедлам, или, пожалуй, это сто тысяч Валаамов, едущих на пророчествующих ослицах. Империя весьма странная!

Я заговорил о юге в самом деле потому, что вот всю эту зиму писали о том, как лучше отметить близящееся 60-летие кончины Лермонтова, и остановились на мысли основать Лермонтовский музей в Николаевском кавалерийском училище, где он был юнкером и откуда вышел кавалеристом. В виде кавалериста почему-то никто мысленно не рисует себе Лермонтова, — может быть, оттого, что он был сутуловат и некрасив, и вообще лишен был той счастливой фигуры и физиономии, какая встает в воображении при слове всадник. Конечно, Николаевскому кавалерийскому училищу, вероятно, тоже «съехавшему со своего места», приятно указывать будущим музеям на то, что-де «вот каких людей я рождаю и воспитываю!» Но на самом деле Лермонтов имеет такую же связь с училищем, как, например, Пушкин с Невским, по которому он иногда ездил в санях.

Его отдали в училище. Он в нем учился. Но так как все вообще училища у нас тоже «съехали с места», или, лучше сказать, никогда и не становились на место, кроме разве единственного Московского университета, — то у нас вообще никакие биографии не связуемы иначе, чем отрицательно, с местом учения биографических лиц. «Шалил, не учился, скандалил начальству» или, еще хуже — «терпеть не мог своего учебного заведения», — это такая страница, которую едва ли приятно вписать учебному заведению в свою летопись. А между тем обычно она только одна и правдива. Нет, не сюда несутся мысли при воспоминании о поэте и чтении его биографии. Они переносятся в Пятигорск, и именно — в тот домик, который каким-то чудом уцелел, и где он написал все великое, все зрелое, что от него осталось.

«Что осталось от Лермонтова»... Слезы приступают при этом: остался один томик, из которого около $\frac{1}{8}$ еще так юношественны, что как-то портят впечатление от остальных зрелых произведений его... В шесть месяцев последнего года жизни он написал больше, чем во весь предыдущий год, а все великое вырвалось из него каким-то вихрем на протяжении не более двух с половиной, трех лет.

По значению и обширному влиянию литература Пушкина и Гоголя, конечно, несравненно превосходит все то, что осталось от Лермонтова; но изумительную

сторону дела составляет то, что у Лермонтова есть 5—6 и даже более пьес такого построения, воображения и с такою красотой и силой сказанных, до того, наконец, универсальных в теме, как этого не написалось у Гоголя и, может быть, даже у Пушкина. Никто не сказал того, что есть в «Ангеле» или в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива». Меня всегда поражал и его «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана»)… Последнее стихотворение, где он до мелочей обстоятельно и точно описывает образ своей смерти, наступившей вскоре после его написания, но наступившей все-таки неожиданно, нечаянно, являет собою чудесный феномен, которому веришь потому только, что осязаешь его. Но и осязаемое — это есть чудо: ибо «случаи» так подробно не совпадают. По одному этому стихотворению называешь поэта «другом Небес», угадываешь, что его посетило Небо, — и вот этого я не сказал бы в таком *лигном* и *религиозном* значении ни о Пушкине, ни о Гоголе. У них было «вдохновение»; — да, но это — не то. Значение их больше, неизмеримо больше, нежели историческое значение Лермонтова. Ну, как у Кутузова больше значения, чем у святого «юродивого» московского времени! Однако Кутузову церкви не построят, а «юродивеньким» — строят. Тут — *особенное*. Не это, но *подобное* «особенное» было и у Лермонтова.

Кстати, во «Сне» его описан не прямой сон, но сон во сне, сновидение уснувшего человека. Мне случайно пришлось прочитать, что в древней магической литературе, как известно, занимавшейся и снотолкованием, придавалось особенно важное значение «снам во сне», т. е. тому, когда человек уснет и увидит себя спящим, и увидит, прозрит сон, который ему снится в этом втором сне. Тут является, так сказать, квадрат, удвоенность сущности сна и сущности сновидения: и понятно, что древние видели в нем особую и священную предсказательную силу, по глубокому разрыву в этом втором сне человека с действительностью, и, следовательно, по свободе его унести особенно далеко, в будущее, в «вещее» и «вечное». Не невероятно, и даже очень правдоподобно, что в этом стихотворении Лермонтов передал действительно приснившийся ему сон.

Оба раза, как я был на Кавказе и в Пятигорске, я посетил все оставшиеся там реликвии Лермонтова. Их довольно много, и Пятигорск точно дышит его именем. Это единственный, кажется, городок, где имя поэта, жившего в нем, помнится и известно не одному «школьному юношеству» этого города или читающему верхнему классу, но помнится, известно и почитаемо и в самом населении, т. е. в мещанстве и у простолюдинов. Оно там народно и даже простонародно. Из реликвий, однако, ни одна так не прекрасна, как домик, где он жил.

В первый приезд мой на Кавказ мне не удалось его осмотреть. Обитатель его уехал куда-то, «не изволил обещать скоро вернуться», и несмотря на все мои упрасивания, ветхая годами прислуга решительно отказала мне позволить войти в него. С досадой я видел, что за домиком сад. И туда не впустила старуха. «Мало ли что может быть, и Бог весть, кто вы такой и чего смотрите! Я за все в ответе». Ну, что делать! Пошел прочь и без всякой надежды еще раз увидеть эту прелесть и почти загадку. Ибо около Лермонтова и в связи с его памятью все кажется прелестным и таинственным.

В прошлом году, опять обойдя все реликвии, я с унылой мыслью об отсутствующем хозяине и невозможности что-нибудь увидеть, все же направился опять к домику. Так тянет! Он стоит на Лермонтовской улице... Кстати, о переименовании улиц. Оно всегда мне не нравилось. Прежде всего, — «Гоголевская

улица», «Пушкинская улица», «Лермонтовская улица», — это искусственно. Такие названия не народны и не вытекают ни из быта улицы, ни из характера и физиономии ее, ни из ее истории и основания. То ли дело «Сивцев Вражек» (в Москве) или «Ситный рынок» (в Петербурге). Такое название — физиономия! В истории же и в быте все должно быть колоритно и сочно. Названия улиц именами писателей не украшают их, а портят, стирая, и вовсе напрасно, их физиономию и собственную сущность. А она есть и дорога.

Лермонтовская улица стоит на самом краю Пятигорска, почти за городом. И уже приближаясь к ней, видишь, что все пустеет кругом и город замолкает вдали. Так как, однако, все строения в нем каменные, то обычной деревянной рухляди, какую бывают уставлены въездные и выездные улицы внутренних городов России, там нет: огромных домов уже не встречается, но все постройки приветливы, видны собою, не рушатся, не говорят о старости и бедности. Вот завернул и за угол последней улицы, идущей радиально от центра города, и очутился на Лермонтовской: она идет под прямым углом с предыдущей, уже не по радиусу города, а по его окружности. «Домик Лермонтова» окнами обращен за город и спиной к городу. Конечно, если здесь жить, то так и надо было выбрать, с видом на природу.

Он не угловой, но недалеко от угла, сажень в 50—80. Все дома улицы и он, как почти и весь Пятигорск, построены из известняка, дарового туземного камня, который берут «тут же». Известняк этот — белый с желтизной, и от множества в нем пор, с осевшей в них пылью, грязноватый. Пишу для северных жителей России, не знающих этого постоянного вида наших южных городов, городков, сел, даже одиноко стоящих хижин и даже заборов. На юге сады и вообще «частные места» нигде не бывают огорожены забором или частоколом: там лес редок и дорог, известняк же ничего не стоит, и, наломав из него глыб и придав им приблизительно квадратную фигуру, складывают их друг на друга, в один или два ряда, до груди или до пояса человека, смотря по ценности огороженного места. Дома строятся из того же материала, лучше обработанного. Но селения и весь почти город, кроме «правительственной собственности» и домов магнатов, всегда являет собою издали подобие стада грязно-желтых овец, толкущихся или разлегшихся по отлогу горы, по берегам речки-ручья или во впадине долины. Это обычное зрелище юга России и Кавказа.

К удивлению и радости, домик Лермонтова в последнюю мою поездку в Пятигорск не оказался пуст. До сих пор «Домик Лермонтова», т. е. где он жил, составляет вторую и меньшую половину здания, выходящего фасадом на Лермонтовскую улицу, и его таким образом совершенно не видно с улицы. Закрывающий его парадный дом построен позднее, в целях доходности всего места. Пройдя мимо его по вымощенному двору, вы подходите к совсем маленькому строеньицу, которое стоит в глубине двора, примыкая другою стороною к саду. Это — квартирка-домик, рассчитанный на небогатого, нетребовательного, но с некоторыми средствами жильца, с привычкой к чистоплотности и вкусом к уединению. Об этом говорит и положение домика в городе, и положение его в самом дворе; но более всего говорит самый домик, как только вы переступите через его

порог. Конечно, это одна квартира, которая не может быть разделена. Она и не обширна, и не мала для одинокого; не допускает обширного приема гостей, но хороша для беседы и чаепития с другом. Друг Печорина — доктор Вернер.

Навстречу мне вышел старичок, и мне показалось, что я вижу перед собою Максима Максимовича в старости. «Вот удачный преемник жилища поэта! — подумал я: — кому же и хранить его лучшую реликвию, как не этому отвергнутому другу Печорина», который, кстати сказать, мне нравится гораздо более самого Печорина... Я поздоровался и почтительно попросил позволения войти в дом, хотя это, очевидно, не может не беспокоить его теперешнего обитателя. Так как 10 Максим Максимович не был излишне предан литературе, то и в стоявшем передо мною старичке я не предполагал особенного участия к имени и памяти Лермонтова. «Хозяин, как хозяин». Но я ошибся.

Одиноким старичком ввел меня в необыкновенно чисто содержимый домик, и на меня пахло старой Великороссией, когда в переднем «красном» углу я увидел под стеклом огромный образ Божией Матери. «Вот хорошо! Как у нас», — подумал я и перекрестился...

— Феодоровская Божия Матерь... — проговорил старичок.

— Феодоровская Божия Матерь? Что-то имя знакомое. У нас в Костроме, где 20 прошло мое детство...

— Чудотворный образ Феодоровской Божией Матери хранится и охраняет Кострому, мою родину. Служба моя прошла на Кавказе, и вот образ Ее я привез с собою сюда...

Как я был удивлен. «Земляки!...». Я помолился и приложился к образу, которого с детства не видал, — да и не знаю, видел ли определенно и сознательно в детстве, а только в ухе моем остался этот звук рассказов и молвы: «Феодоровская Божия Матерь», «Феодоровская Божия Матерь». Само собою, все преграды и отчужденности пали, когда и я в хозяине, и он в госте узнали залетных птиц с севера, в сущности, из одного гнезда. Мы обнялись и поцеловались. Неподалеку от образа были фотографии с живых и с усопших в гробу — матери, отца и покойного брата хозяина. «Все как у нас, в России, где предков почитают и помнят 30 именно этим способом». Я оглядывался в приветливых комнатах, не зная, с чего начать осмотр.

— Все как было при *нем*, — сказал старичок. Он сообщил мне документальную сторону дома и сопоставил ее со словами мемуаров о Лермонтове, которые все знал и помнил. Все важное в его рассказе я записал, как и срисовал на бумагу весь план домика, равно и сада потом. По заметкам этим я мог бы восстановить все подробно, но клочок бумаги затерялся в дороге, при возвращении в Петербург. Мне кажется, однако, геометрическая точность рассказа, конечно, тоже интересная, не упраздняет любопытства общего впечатления, и я поделюсь им.

40 Комнатки, сажени по $2\frac{1}{2}$, по 3 в ширину и сажень пять в длину, разделялись на две половины: две комнатки, более парадные и официальные, если только слова эти применимы к такому бедному жилью, были обращены во двор окнами, широкими, так называемыми «итальянскими», т. е. соединением одного большого настоящего окна с двумя узенькими полуокнами. Все в общем дает массу света, и такие окна у нас, например, в Костроме допускались только для светелок как специально летнего жилья, не нуждавшегося в защите от мороза. Здесь, в фундаментальном зимнем жилище, они, очевидно, сделаны в применении к климату.

Затем им параллельно идет левая сторона жилища, — более субъективная и домашняя. Такими же окнами она обращена в сад. Кабинетом или читальней могла быть и парадная сторона: она все же достаточно мала и уютна. Но спальня поэта могла, наверное, устроиться только в которой-нибудь комнате, выходящей в сад. Они точь-в-точь повторяли собою первые: незатейливый и несложный план, с которым легко справился пятигорский архитектор 20-х или 30-х годов минувшего века.

Я несколько раз прошелся по комнатам, измеривая и перемеривая их, и догадался, что мне более всего нравится в них пропорциональность. Кто знает провинциальные и особенно очень старые постройки, тот знает, что это не так часто 10
попадает. Низенькие потолки, приплюснутый вид комнат, — иногда одна огромная комната между крошечных других, — все это так обыкновенно. Простой и ясный вкус архитектора и выбравшего себе жилище жильца говорил о себе во всем. Мы вышли в сад.

Старичок хозяин отметил мне все деревья, которые росли еще при жизни поэта. Между ними, в переднем углу сада, выдавалось вековое дерево, с таким раздвоением ствола у самого основания, которое образовало удобное естественное сиденье, — и где не мог не сживать Лермонтов, как не может по крайней мере не примериться посидеть тут каждый даже случайный посетитель. Дерево, сколько 20
помню, — грецкий орешник, но хозяин объяснил мне, что оно не попадает по северную сторону Кавказского хребта и, искусственно посаженное, представляет единственный экземпляр этой породы в здешних местностях. Старая засыхающая яблоня — по два дерева возле окон — все времени поэта; третья, меньшее дерево, возле окон — позднейшей посадки. Тут же он прочитал мне, по старинному изданию Лермонтова, напечатанному еще при его жизни, строки стихотворения, правдоподобно навеянные именно этими деревьями перед окном. Я страшно жалею о всех этих частностях, занесенных мною на бумагу, которую так неразумно потерял. Но возможно, что строки эти побудят кого-нибудь из туземных жителей или заезжих туристов закрепить для памяти потомства все драгоценные 30
подробности Лермонтовского домика и садика. Как жаль, что этого не сделано относительно дома в Тарханах, где поэт провел у бабушки свое детство и который недавно сгорел! Теперь уже никто не восстановит его частностей.

Мне кажется, что ценность и интерес Лермонтовского домика и сада будут все возрастать со временем. Мне даже кажется необходимым взять все это место в казну или в собственность города, и, сохраняя домик как реликвию, при нем в большем, новом здании устроить библиотеку или читальню имени Лермонтова. Все это как-то живее и конкретнее, чем шаблонный монумент, воздвигнутый ему в Пятигорске. Монументов вообще мы не умеем строить. Слишком мы христианская нация, чтобы нам удавалось это языческое увековечение: «бронзовая хвала», как называл эти памятники И. С. Аксаков, слишком холодная, бездушная хвала. Что лучше простого креста над могилой или часовенки возле могилы? что лучше простой записи в «помянуье» — на «вечный помин раба Божия Михаила» где-нибудь в старинной церкви, связанной с его жизнью или смертью? И вот еще такое вечное сохранение жилища, где он жил.

Я простился с приветливым хозяином дома и еще раз не мог не сравнить его мысленно с Максимом Максимычем... «Такому и сторожить это прекрасное место».

Кстати, маленькая поправка. В Пятигорске воздвигнут небольшой памятник на месте дуэли и смерти Лермонтова. Хозяин дома, г. Георгиевский, знал того извозчика, который вез тело поэта с места дуэли, и, по его показаниям, твердо говорит, что место это отмечено не совсем правильно: памятник поставлен в стороне от подлинного места дуэли. Все это он рассказывал мне так любовно и так мотивированно, что виден был «любитель» памяти поэта, биографии поэта; и все давало впечатление, что сведения и догадки его, которые он не позволял себе смешивать со сведениями, совершенно точны.

НА КНИЖНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ РЫНКЕ

10

<А. Каменский>

Собрался заниматься критикою, — но лучше расскажу об одном случае, которого я был удивленным и непонимающим зрителем три года назад. В предупреждение испуга читателей, что «Р. опять заговорил *не на тему*», тороплюсь сказать, что случай этот имеет самое тесное отношение к критике, и я решительно не хочу начинать критики, пока читатель не принудит себя познакомиться с моим «случаем».

Нас сидело человек восемь или более у одного милого приятеля-писателя; и, как всегда бывает у писателей, среди давно знакомых между собою, было несколько и новых лиц, или таких, которых «кажется, видел», а «может быть, и не видел». Эти «виденные» или «не виденные» лица все были молодые, и я их принял, и не ошибся, за начинающих писателей, которые набираются какого-то опыта или духа около старых и пожилых писателей. «Ну, что же, — пусть набираются», — подумал я, не чувствуя ни любопытства, ни интереса к очень, впрочем, миловидным лицам. Дело было в самом начале «революции», и разговор шел на литературные и политические темы, и живой и не живой, как обычно. Все, конечно, ожидали чая и разных сортов варенья, когда несколько литераторов поднялось и стало прощаться. Между тем было очень рано, вечер не начался, а только «повечерие». Все были удивлены, по крайней мере, я был удивлен.

— Куда же?

30 — У нас заседание. Своего кружка.

— Ну, значит, и вы идете? — обратился я к одному пожилому литератору с известным именем, так как жена его прощалась и уходила.

— Нет... Меня туда не пустят. Я давно пишу, а в кружок принимаются исключительно лица, собственно, еще и не начавшие писать, а только желающие писать; а из писателей только такие, которые чуть-чуть начали и никому еще неизвестны.

Я очень удивился.

— Что за кружок? Отчего не принять старых? У них-то и научиться духу и разуму!

Один из уходивших улыбнулся:

40 — Кружок составлен для взаимной поддержки. Мы, начинающие в литературе, от кого можем получить помощь? А она здесь также нужна и даже нужнее,

чем во всяком другом деле. Можно годы пробиться и наконец совсем истрепаться и погибнуть, так и не обратив на себя ничего внимания, ни — публики, ни — редакторов и критики. Мы решили втайне поддерживать друг друга, — «втайне», потому что имена членов кружка известны только самому кружку, но они неизвестны ни публике, ни критикам и редакторам. Как только появится где-нибудь в печати произведение которого-нибудь члена кружка, иногда под псевдонимом или вовсе не подписанное, иногда — произведение *первое*, как оно тотчас «отмечается в печати» всеми остальными членами кружка, которым личность анонима известна была ранее, чем он принес первую рукопись к редактору. Все эти молодые, начинающие авторы — собственно, пока не пишут, но только «работают»¹⁰ в газетах и журналах, составляют заметки о событиях и рецензии о новых книгах и журналах, — пишут безыменно или тоже под псевдонимами, инициалами и звездочками. Таким образом новое и первое произведение члена кружка, произведение покрупнее, — сборник стихов или рассказов, повесть в журнале, рассуждение в журнале, — сразу же бывает «отмеченным» по всей линии журналистики или по очень большой ее части, и через это как в публике, так и в журнальном мире имя его становится сразу же упроченным, — упроченным часто слуховым образом. «Молва идет», «молва пошла». О нем могут быть споры, но это не то, что молчание, неизвестность. Спорят о значительном, о любопытном; спорить о *бездарности* не станут. Следующее же произведение этого автора, как только под ним выставлено «нашумевшее» имя, уже не залежится непрочитанным в архивах редакции, его раньше других возьмет редактор в руки, и даже если оно и слабо, он будет иметь предрасположение напечатать его, не полагаясь с абсолютностью на свой вкус. «Публике нравится», «вызывает разговоры» — это такая могущественная аттестация в мире печати, наполовину торговом... Но «ставший известным» и уже везде охотно печатаемый автор есть член кружка, связанный честью в отношении его членов, из которых каждый ждет успеха и признания. Теперь свой голос, устный и печатный, в гостиных и в редакциях, он кладет на чашу весов нового анонима, всем неизвестного, но ему известного: и помогает тому подняться так же, как в свое время помогли ему. Так как в этом не нуждаются, да в этом могли бы и помешать старые писатели, — то их и не принимают в кружок.³⁰

Я удивился и не могу сказать, чтобы не восхитился, не только в ту минуту, но и надолго потом. «Как хорошо», — думал я, вспоминая первые шаги свои в литературе. В самом деле, эти шаги так трудны, до страдальчества. Имен так много в литературе, — кого заинтересуешь новым именем? Рукописей, приносимых и присылаемых по почте в редакции, еще больше, целая гора: где тут «разобраться» утомленным редакторам? В сущности, вся печать «работает на старом товаре», как говорится в коммерции, т. е. совершенно игнорирует молодых людей, желающих писать: как же, какими способами имеющему призвание начать писать? Есть один: издать книгою произведения. Но не всякое произведение так велико, что его хватит на книгу. Да и что значит «издать книгою»? Я вспомнил судьбу своей первой книги. Пять лет я ее писал и пять лет от скудного учительского жалованья откладывал деньги на издание. Появилась, напечатана; следивший за печатанием друг разослал первые же экземпляры по редакциям. Везде промолчали о большой объеме книге, которую кому же досуг и охота читать, а в двух толстых журналах, которые почли себя обязанными дать отзыв о такой

объемистой книге, появившейся на книжном рынке, отзывы были даны на основании предисловия только к книге и без ее прочтения. Отзывы высокомерно-снисходительные и презрительные. Никому не нужная выбранная книга перенесена была с полок магазинов в кладовые магазинов, — и умерла раньше, чем вздохнула сколько-нибудь осмысленным дыханием. Вот судьба. Если бы в 1886 году существовал этот «кружок взаимной поддержки» и если бы я к нему принадлежал, — вся литературная судьба моя была бы другая, и я не вынес бы половины той жизненной тягости, какую вынес без всякой решительно нужды.

И я мысленно похвалил молодежь за умение жить, за умение бороться и отстаивать себя. Союзиться, соединиться для этого — такая прекрасная черта!

Но всякая медаль имеет свою оборотную сторону, и нет света, не обведенного теневою чертой.

Множество литературных явлений самых последних лет, мне кажется, объясняется подспудным действием этого и, может быть, многих подобных кружков. Почему их не предположить нисколько, почему не предположить их в других городах, помимо Петербурга? Собственно, это положение печати, делающее крайне трудным пробивание «к свету» начинающих, — было давно: и раньше или позже, и здесь и там, оно могло подать мысль, нашедшую осуществление в кружке, с членами которого я раз и только случайно имел встречу. Но всякое явление, достигая чрезмерности, начинает обнаруживать отрицательное действие. Когда в витринах книжных магазинов я вижу пухлые, обыкновенно разрисованные издания, и читаю на малиновой или фиолетовой обложке: «Сочинения» такого-то, «том I», и знаю об авторе, что еще три-четыре года назад он рассылал свои бедные повестушки или стишки «на рецензию» в журналы и отдельным авторам, упрашивая что-нибудь, где-нибудь сказать о них, — я не могу не объяснить преклонения издательских фирм и читателей перед новой знаменитостью иначе, как действием подобных подспудных кружков. В самом деле, мысли — ни одной, художества — никакого, кроме самой обыкновенной техники писательства, какой, мне кажется, может научиться всякий. Нет главного — души писателя, а только несколько писательских манер, писательских слов и оборотов. Почему же «сочинения» такого-то и «том первый»? Что он скажет вторым томом и третьим? Что он говорит первым томом? Печатается много: он взял и сгреб в свою душу все это печатающееся, повертел какую-то машинку, превратил это прежде напечатанное в труху, и вынул из машинки своей душевности будто бы что-то новое, другое, а на самом деле совершенно старое.

Почему же «том первый» и «сочинения»? И в издании старой, вековой фирмы? Может выйти с «томом первым» и «сочинениями» только огромная голова, несущая огромную какую-нибудь мысль, которой разработки хватит на всю жизнь. А я знаю об авторе, что это почти мальчик.

Ну, вот, сюжет, — до знаменитости, до «тома первого» и «сочинений». Интеллигент какой-то, где-то работающий и обозленный. Больше всего он обозлен на хозяина, домовладельца, что ли, или купца, — я уже забыл, потому что все это не интересно в тусклом рассказе на 20 страничках, помещенных в книжке, мне присланной «для разбора». Должно быть, получив отказ у этого хозяина, интеллигент... поступает мыльщиком в общественные бани, те самые, куда ходит этот купец. «В таком виде», т. е. нагим и с шайкою в руке, купец не узнает служившего у него, может быть, не близко, а в артели — интеллигента. Купец садится мыться

и интеллигент его моет. Голова взмылена и, естественно, глаза купца закрыты, чтобы не попало мыло. Интеллигент наливает в шайку кипятку, — одного кипятку, не разбавив его холодной водою, как водится: и опрокидывает ее на «красную, жирную, плешивую» голову несчастного купца. Когда я прочитал об этой нероновской казни у «начинающего автора», — в рассказе, без всякого волнения сделанном, — мне показался чрезвычайно странным состав его души, — какой-то смутной, недоброй и беспредельной. У всякого человека есть предел, возможное и невозможное. «Ты что можешь?». — «Вот таких-то и таких-то вещей *не могу*». Поэтому мы узнаем человека, определяем его, — узнаем и определяем его *лицо*. Известно, что у человека есть лицо, а у животных только «морды», т. е. общий очерк головы без *индивидуального выражения*. У автора рассказа я предположил бы не голову на плечах, а только такой общий очерк головы, в котором действительно «может» вестись всякая мысль, предположение, сюжет и проч. Нет предела, нет грани. Бесконечность как бесформенность.

А вот другой скажет, — после знаменитости или, кажется, с которого и началась знаменитость: едет офицер на вокзал, но, как едет не домой, а в гости, то вздумал купить фунт конфет. День жаркий, а офицер молодой. Завязавшая конфеты продавщица приглянулась ему; он ей что-то сделал глазами, она ему ответила глазами — и они очутились в каком-то закоулке, не то чулане, не то комнатке при магазине. Все свершилось очень быстро. «Фуражка лежала тут же и отстегнутая сабля — тут же». Офицер крикнул, дал рубль или не дал рубля и вышел. Едет по железной дороге. На площадке вагона стоит учительница, кажется — математики, кажется, из передовых. Но офицер был молод, а день жаркий. Он опять крикнул, посмотрел на нее, она поняла, — вышла, он за нею и опять «совершилось». Колеса вагона все стучали. Вечер еще не наступил. Пыль была утомительная. Проходя по вагону, офицер заглянул в полуотворенное купе и увидел матушку, жену священника. Она тоже ему приглянулась, он должно быть, опять крикнул, она тоже поняла о его желании, согласилась, и опять «совершилось». Это — три. Кто была четвертая — я уже не помню, но рассказ называется «Четыре», и в нем описано четыре этих случая, с четырьмя женщинами и в один день. Интересно? Я думаю, ни для кого не интересно. Почему написал автор? Я думаю оттого, что было перо в руках. Отчего же не писать? Сидишь, сидишь, думаешь, думаешь, — и надумаешь. Прохожу как-то Невским, вижу, кажется, и в магазине Попова, малиновые и лиловые издания, новые, разрисованные, и вдруг читаю изумленно:

Сочинения Анатолия Каменского

Том первый.

Изд. М. О. Вольфа.

Фирма старая и известная, — это более всего меня и поразило.

Таких или подобных явлений множество. И вот отсюда проистекает трудность и даже невозможность критики. Что такое критика? Задумчивость над литературою. Но задумчивость может быть над тем, что *само* задумчиво, — само есть греза или мысль, или вдохновенье. Но если мы имеем дело во множестве только с «авторскою умелостью», то как над этим остановиться, начать размышлять, спрашивать себя об авторе или обращать мысленные вопросы и запросы

автору? Критика исчезает, когда исчезла по существу литература. Ну, авторы «умеют», т. е. умеют писать; а читатели, конечно, умеют читать. Из этого сопоставления ничего не выходит. Литература действительно потеряла задумчивость, — и это, пожалуй, самая ее характерная черта в наши дни. Она представляет какой-то общий шум, и этот шум очень значителен, и нет, кажется имени, нет пера, которое не подбавляло бы этого шума, точно он всем для чего-то нужен. Литература имеет «колорит», — этот общий, на всех лежащий, всех обобщающий тон, или бестонность, смысл или бессмысленность. И можно говорить не об отдельных «нумерах» литературы, а вот об этом только ее общем колорите. Занятие тусклое, бедное и довольно несчастное.

Нет великих писателей, нет счастливых критиков.

НАЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Неизменное и древнее русское ядро со всех сторон обложилось «окраинами». И «окраинный вопрос» в России есть один из самых темных и неясных в путях своих и в существе своем. Он труден для правительства, мучителен для населения. Не знают, как поступать в нем, русские, закинутые службою на окраину, и русские внутри России. Для нас, при нашем несистематическом уме, неметодическом характере, он особенно страдателен: мы не умеем за него взяться, еще хуже «продолжаем» дело и, наконец, как всегда почти, начинаем «отмахиваться» через ссылку просто «на примеры у других народов». Но с кого брать пример: с немцев, поляков в Галиции, с англичан? Или с римлян и греков? Все эти народы имели у себя «колониальные» или «исторические» вопросы. И все смотрели на них совершенно различно и различно разрешали их. Когда думаешь о применении русского ума или, точнее, русской души к этому темному вопросу, то вырисовываются только два воспоминания. Одно — сообщение учебника географии России, где при обозрении Якутской области сказано, что местное русское общество, даже образованное, охотно говорит по-якутски, и даже это считается там шиком, как французский язык во внутренней России. Второе воспоминание утешительное: где-то я прочел, что император Александр I подарил прусскому королю несколько крестьянских семей. Король отвел им место около Потсдама. С тех пор они размножились. Говорят и по-немецки, но сохранили и язык, и веру, и все обличье великорусских мужиков, не утратив йоты своей художественной личности. Только, может быть, не пьют так много и аккуратнее в деньгах и труде. Да и то это предположительно!

Вот два факта, из которых что же выходит? Что русские — народ легкомысленный и что это народ стойкий. У нас это как-то совмещается. Русские люди отличаются двумя свойствами: ругать себя и все свое — это первая русская черта, кажется, никем другим не разделяемая; и в то же время они способны, — нет, больше, они требуют и ищут вечного восхищения перед чужими и чужим! Только несчастные эллины и римляне, и то благодаря классическим гимназиям, не вызывали у нас восторга; но, напр., «Вестник Европы» всегда восхищался Финляндиею и финляндцами, «Москов. Ведом.» — часто татарами и Батыем, все рус-

ские — и барышни особенно — черкесами и «восточными человеками», сибиряки и сибирячки — якутами, правительство русское и образованное русское общество перессорились между собою из-за того, кто восхитительнее: французы, немцы или англичане. Даже Лев Толстой в «Анне Карениной» заметил, что «приехавшему в Петербург иностранному принцу из всех русских национальных особенностей, которые ему показывали, больше всего понравились французенки из „Альказара“». Разумеется, без этого — русские не русские и Петербург не Петербург. Что еще я припомню? Да, воспоминание-некролог кн. Мещерского о каком-то, кажется, англичанине или вообще европейце. Сей его «друг» лет сорок назад приехал в Россию по делам, требовавшим для окончания нескольких месяцев. Но, приехав в Россию, он почувствовал влияние какой-то растворяющей лени, — и в «несколько месяцев» дела не окончил: отложил на год. За год лени принаросло, да и явились симпатичные русские знакомые: было это сорок лет назад; англичанин и в год «дела» не кончил, попросил у домашних или у какой-то там компании еще отсрочки. Отсрочка пришла, но уже поздно: англичанин совсем не окончил дела, остался навсегда в России, даже предпочитая терпеть утеснения от русского исправника, и, чтобы окончательно обрусеть, — конечно, сделался русским либералом, начал кричать на все стороны, — что «в России жить невозможно», ругать с приятелями и, может быть, с приятельницами правительство и даже стал потихоньку выписывать «Vorwärts». Когда он стал читать «Vorwärts», то о нем можно было сказать, что русская культура его окончательно победила и что он настолько сделался русским, как бы его родила московская попадьа и сам он женился на чухломской поповне. Я думаю, это понятно само собою. И после этого я спрашиваю: «Что же такое значит русифицировать и как это можно сделать?».

Сделать этого мы, я думаю, по программе никак не сумеем: но не невероятно, что это когда-нибудь делается. Я тоже как «чисто русский человек» — не люблю всего русского или, по крайней мере, всегда ругаюсь на русское. Но это — одно. Около этого я чувствую, что как до Р. Х. по всей вселенной того времени разлился какой-то особый аромат, неосязаемый, неощутимый, но обаятельный и захватывающий в себя, — это «эллинизм», просто как некоторая сумма эстетики, свободы, индивидуализма, дурачества и философии, софистов и Платона и т. д., и т. д., так когда-нибудь, ну, лет через сто, из России разольется на весь мир эта невероятная наша русская свобода и «милость», т. е. милость всех людей и всяких отношений, которая захватит и увлечет в себя и немцев, и французов, и англичан, и итальянцев. Потому что, право же, около русского универсализма и какого-то самозабвения все они какие-то мещане, грошовики и процентчики. Это — в переносном смысле. Все любят себя или для себя: на чем же тут соединиться, как к этому прийти другим народам? Но Русь, от первоначального своего слова: «Приидите володети и княжити нами» — и до новейших литературных течений, только и делает, что уверяет всех, что все эти другие гораздо лучше нас, — так что в один прекрасный день все и почувствуют свою родину в России.

Мысль о таком высоком назначении нашей славянской «мякоти», — в параллель древнему эллинизму, — пришла мне на ум, когда я прочел в одной деловой «записке» прекрасного педагога и администратора, попечителя (к сожалению, — бывшего) Рижского учебного округа г. Левшина несколько вводных слов о пангерманизме, с которым отчасти приходится бороться русской школе и русской

администрации в немецко-латышском крае. Этот пангерманизм вытекает из взгляда немцев на себя как на «исключительную расу», «высшую породу», так сказать, в человечестве. Мысль — старая. Когда я ее слышу или о ней читаю, мне всегда приходит на память одно длинное примечание в знаменитой «Истории цивилизации в Англии» Бокля. В примечании этом Бокль приводит наблюдения одного путешественника по Германии. Суть их в следующем. Путешественник говорит, что, прожив некоторое время в Германии и познакомившись с разными классами и профессиями в ней, приходишь к удивительному выводу, что высшая интеллигенция Германии, — не в нашем русском смысле «интеллигенция», но в европейском и всемирном, — до того резко отделяется от основного населения страны, т. е. собственно от *народа* в ней, точно это два племени, две породы совершенно разного корня и происхождения. И насколько интеллигенция германская в лице ее философов, ученых и высших людей общества кажется превосходящею всякую другую европейскую, настолько же простое население ее тупее и грубее французского, английского и, пожалуй, всякого европейского. Такова ссылка Бокля и мнение путешественника. Мне кажется, они таковы, что всякий, присмотревшись к тому же предмету, — найдет то же. Теперь я обращаюсь к идее «высшей расы». Раса — в крови, а не в цивилизации, не в истории. Раса есть физиологическое данное и *народное* данное. Теперь, каким же образом может быть «высшею расою» и сыграть в будущем роль какого-то нового мирового «эллинизма», т. е. на этот раз уже «германизма», — племя, которое по беспристрастному и совершенно незаинтересованному наблюдению просто-напросто есть племя тупое и тупее и грубее среднего европейского населения? Ведь греки покорили не Платоном и Софоклом, ведь не это называлось «эллинизмом»: «эллинизмом» называлось «что-то такое, что есть в Афинах и чего нет в Риме» тонкий аромат народности и цивилизации, аромат улиц и садов, шумных собраний и торговой площади, а вовсе не библиотеки и музеи Эллады. Словом — покоряет народное, житейское и бытовое, а не то чтобы интеллигентный класс. С этой точки зрения и при свете этих рассуждений притязания немцев кажутся той безвкусицей, какою вообще всегда славилась немецкая неуклюжесть. Идея о «высшей расе» и «эллинизме» в немецком шлафроке есть именно идея, возникшая не у Кантов и Гумбольдтов, а скорее по немецкому взморью и в прирейнских городах, над которою задумывается и которой улыбается берлинский бюргер и дюссельдорфский пастор, беседуя под вечер со своими *Amalchen*. Правительство, конечно, утилизирует эту идею, ибо выгодность ее слишком очевидна для правительства: на будущий «эллинизм» ему дадут пушек и денег, и рекрут сколько нужно, и служить все будут отлично, и работать отлично, и повиноваться — отлично же. Но для Европы и вообще для истины — смехотворность этого притязания очевидна. Наука и философия Германии есть первая в Европе, литература в значительной степени — первая же. Но *народ* туп: и этого ничем не поправишь. Имеет ли Германия великую церковь? Великое *в стиле* правительство? Вот в чем познается суть дела, вот где — *народное*. Возьмите историю французских королей: хотя они и погибли, все же хроника их в своем роде Шехеразада абсолютизма, и ведь это вовсе не то, что линия берлинских фюрстов. И не оттого, что там длинно, а здесь коротко: Людовик XI жил на самой заре их, а сколько о нем анекдотов, сплетен и *дела!* У немцев все без анекдотов и без сплетен, а *одно дело*. Ну, сюда Европа не побежит, да и историку тут будет скучно. Германия вся есть великий огород, но

в ней не нашлось уголка для сада. А сказано об Эдеме, что то был «сад», да и рай представляется у всех народов в виде «сада» же. Кто городил и сажал вечно и всегда только «огород» и никогда не почувствовал небесной скуки о *sade* — тот тем самым и не есть всемирный народ, а только очень обширный и упорядоченный уезд. Уездный отличный способ управления, уездные пасторы; уездная добросовестная вера. Сравните римских пап с потсдамскими пасторами — и вы опять согласитесь со мною, с Боклем и его мудрым примечанием.

СИЛА НАЦИОНАЛЬНОСТИ

«Пангерманская идея столкнулась со славянофильской... Практика жизни и наблюдения действительности показывают, что всюду, где немецкий элемент населения приходит в столкновение с славянским, — немецкий обязательно отступает. Вопросом этим задается Вагнер в своей книге — „Поляки и пруссаки“, — и после нескольких меланхолических рассуждений указывает средство против растворяющей силы славянства: бороться с нею можно и следует через изоляцию германского населения при помощи строго-немецкой школы на родном языке и проникнутой немецким духом и затем, через непрерывное и плотное единение немцев между собою всюду, где они живут вкрапленно среди славянского или вообще среди инородческого, не немецкого населения».

Так говорит бывший попечитель Рижского учебного округа, г. Левшин, в предисловии к обозрению задач русской школы в немецко-латышском крае. Читая, — и глазам сперва не веришь: перед славянством? Взглянув только на Петербург и Москву, т. е. все-таки на царственные места русской силы и русского духа, замечаешь меланхолически, что почти во всех областях жизни лучшие места заняли немцы. Я с отчаянием припоминаю даже, что когда государь Александр III посетил нижегородскую выставку и к встрече его выставили в белых атласных кафтанах и с топориками на плечах старомосковских рынд, то он, взяв одного из них за плечо, спросил: «Как твоя фамилия?» — «Шмит», — отвечал сынок нижегородско-немецкого коммерсанта!!! Ну, если так, — то куда же деваться русским? В первый момент совершенно берет отчаяние, и на русских смотришь, в самом Петербурге и в самой Москве смотришь — как на исчезающую, гибнущую, бездарную и изнеможенную нацию. Утешает только второй момент, когда вдруг эти Шмидты и проч. вдруг начинают нас опровергать в письмах, уверяя, что все они чистейшие русские, издревле православны, а дедушки их пришли в Русь чуть не раньше всех, — еще с Рюриком и варягами или, самое позднее — из Литвы, при Иоанне Грозном: и уверяют тогда, когда на самом деле папаша их еще говорят ломаным русским языком, и сами они потихоньку лютеране! Оглядываясь и проверяя эти письма, в самом деле там и здесь замечаешь немчиков, до того ушедших во все «потроха» русской действительности, русского уклада жизни и до того порвавших со всех немецким, не интересующихся ничем немецким, что думаешь: «Да и на самом деле — точно с варягами пришли, и вот устраивают обильную и неустроенную страну!».

Историки замечают не без удивления, что хотя в точности варяги пришли к нам, но ведь никакого никогда «варяжского периода» по колориту, по духу

у нас не было, как, например, в Англии были мучительно враждебные друг другу периоды: 1) англосаксонский, 2) нормандский, 3) общеанглийский. Точно всех этих варягов тотчас же по пришествии окрестили, — окрестили и наказали им не помнить ничего из старого бусурманства. Что это? Напор силы? Соблазн слабости лени и ничегонеделанья? Только видишь, что русское болото всех засасывает.

Мне кажется, при всех великих качествах *немецкой культуры*, — *лигно* немцы крайне неинтересны; они скучнее англичан, как о них рассказывает Диккенс, скучнее французов, итальянцев, и, я думаю, даже татар и цыган! В них есть что-то от рождения выцветшее. Но ведь бок к боку живешь не с «культурой», в ее 10 схеме и отвлечении, а с людьми: и сухие, формальные, деловитые немцы никого не засасывают, — как этого и испугался Вагнер. «Аккуратному» немцу закажешь сапоги, сошьешь у него пальто, починишь часы: а в беседу и общение, в связь семьи и дружбы возьмешь все-таки хоть и «не аккуратного», но сколько-нибудь более занимательного человека. Около немцев нет окраинного таяния, т. е. вот 20 растают немножко немец и немножко поляк, и через несколько времени сольются во что-то, в чем нет ни поляка, ни немца, и вместе есть и поляк и немец. Около слабой, — по замечанию Бисмарка, — *женственной* природы славян, — это таяние не только образуется, но и идет довольно быстро. Все, чего может достигнуть в этом отношении Германия, — она может достигнуть только политически, ад- 30 министративно, через действие закона и действие властей. Быт к этому ничего не прибавляет; общество немецкое, — если только можно говорить о «немецком обществе», — ничего не прибавляет. Я говорю: потому трудно говорить о «немецком обществе», что там все как-то трудятся, работают, служат, достигают, в награду за это едят и спят, — но как, собственно, они *живут* и даже *живут ли* сколько-нибудь картинно, колоритно и сочно — об этом никому неизвестно или очень мало известно. Таким образом, «германизация» есть процесс головной, со- знательный, философский, культурный. Он идет книгою, солдатом и чиновни- ком. Напротив, у нас едва ли что-нибудь по этой части будет достигнуто «плано- мерными действиями», к каким мы вообще очень мало способны; у нас это не 30 выйдет, не склеится. Но «само собою» это же дело делалось, делается и будет делаться не безуспешно.

Ввиду этого, мне кажется, нам, русским, надо быть спокойными, твердыми и более всего вникать в собственную «суть» и развивать собственную «суть», — которая есть и прекрасна, и сильна. И надо кинуть эту «суть» нашу в свободное со- дерничество и с германизмом, и с англиканизмом, и с галицизмом. «От нас на- шей русской сути в семи водах не отмоешь», — сказал *европеец* Тургенев; сказал это в той же фразе, где он советует нам «окунуться в немецкое море», т. е. при- лежно, всеми силами учиться и учиться у немцев, брать у них все лучшее, без- мерно в душе благодарить за это, — помня, что все это — не *мы*, а только — *нами* 40 *взятое*. Вот, к сожалению, славянам почти нечего брать друг у друга. Милые на- родцы, симпатичные, — но ничего в истории не сделали, лентяи и забавники, празднующие и шатуны. Это слишком плачевно, и, конечно, мы все стоим, все славянские народы стоят перед эпохой энергичного движения вперед, самой де- ятельной работы. Без этого мы сгинем, нас задавят и съедят. Да и стоит, потому что Бог не может долее тысячи лет терпеть тунеядцев.

Спешное замечание в сторону, — по предмету дня. Все заговорили о близя- щейся войне Германии и Англии и о положении, которое в ней примет Россия.

Мне так же, как и другим, кажется, что было бы историческим безумием ставить на карту вековой мир с Германией. «Не купи дом, а купи *soceda*». Ничто так, во-первых, не благородно само по себе, а во-вторых, так и не выгодно, как вечный мир с соседом; даже при отсутствии племенной симпатии, как это у нас с немцами. И Англия, и Франция, конечно, не суть наши вековые друзья, а только «друзья по моменту»: и что будет с Россией, как трудно делается ее положение, когда, потеряв этих новых друзей, она не найдет около себя и старого друга, — об этом и подумать страшно. Оглянувшись на Китай и Японию сзади, — мы увидим Россию, окруженную со всех сторон враждою, и враждою со стороны политических могуществ, в сложности чрезвычайно превышающих ее собственное могущество. Однако при мире с Германией Россия могла иметь неудачи и неприятности на международной шахматной доске, но ей никогда не грозил «шах и мат». Самую войну с Бонапартом мы вели *психологически* уверенно, ибо при ненависти к нему Германии — это была очевидная авантюра неудачного «антихриста». Но «шах и мат» — не сейчас, а в будущем — может показаться на нашем горизонте, когда мы отойдем от Германии. Только и можно сказать о подобных постановлениях: «Кого Бог захочет наказать, у того он *отнимает разум*». Какие планы войны рассматривали перед смертью Черняев и Скобелев, — это даже не интересно: отличные генералы, высокоталантливые люди, беззаветные храбрецы и патриоты, они не были людьми великой исторической судьбы, т. е. судьба не положила им под подушку никакого великого, исключительного жребия. А это что-нибудь значит, отчего-нибудь было. Судьба не стояла над ними и за них, — частные их мнения, в том числе и роковое мнение о войне с Германией, суть только личные взгляды, может быть, удачные и, может быть, неудачные; во всяком случае, не провиденциальные, без «перста Божия» в себе. Бог с ним! Мы должны быть до смущения осторожны, потому что в последние годы есть что-то не расположенное к нам в самой этой Судьбе. Так и хочется сказать старым языческим термином, что время бы умолить богов. Но мы не знаем жертв и не имеем богов.

НА КНИЖНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ РЫНКЕ

<М. Арцыбашев>

30

— Дайте мне «Санина» Арцыбашева.
 — Запрещен.
 — Запрещен?!!
 — Запрещен и весь продан.
 Я так удивился, что вмешался в диалог приказчика и покупателя.
 — В самом деле такое совпадение?
 — Да. Весь распродали. И когда распродали, то пришло запрещение: не продавать более.

Ну, чисто «по-русски»! Мы — не Германия. Печаталось, что «Санин» разошелся в эту зиму в сотнях тысяч экземпляров, о нем долго и много говорила вся печать, начав целый поход против него; им обзавелись все библиотеки, все книжные шкафы и студенческие «полочки» для книг, и в то же время печаталось,

что «не разрешены к представлению на сцене» семь, — целых семь! — театраль-ных переделок романа. И когда все это произошло и шумело целую зиму, прихо-дит в литературу генерал-исправник, важно садится на кресло и произносит:

— Я запрещаю «Санина».

Merci beaucoup! *

Весною, когда шло всюду спешное приготовление к экзаменам, мне пришлось встретиться и поговорить с юною первокурсницей, дочерью депутаты Думы, священника, да еще благочинного, откуда-то из Приуральских губерний. От ми-лой девушки так и веяло рожью и полевыми колокольчиками. Отец ее не произ-носил речей в Думе, а все писал наставительные письма в свое благочиние, и во-обще «не упускал своего дела» на месте, хоть и отлучился от него. Словом, — все самое «истовое»... Девушка полна этого русского уклада, твердого, векового; две сестры уже замужем, за священниками же, в соседнем благочинии. Матушку свою и вот эту младшую дочь отец привез на филологические курсы. Отец ее старозаветный, а дочь и так и сяк. Любит старое и понимает новое.

Я познакомился с нею в целях расспросить о каких-то опытах совместного чтения «Санина» студентами и курсистками, о чем слышал раньше. После не-скольких слов знакомства заговорил об этом.

— Действительно устраивались, по предложению и настоянию студентов, в университете, в аудиториях, во внелекционное время. Ректор несколько раз во время собраний присылал требование прекратить это чтение; сперва не слушали, но потом приказание пришло в решительной форме, и уступили.

— Может быть, теперь читают на частных квартирах?

— Может быть. Я не знаю. Я была только в университете.

— Да зачем читать-то? Ведь все знают, раньше читали?

— Студенты объяснили, что это новое явление, что тут можно разобраться. Что здесь голос, к ним обращенный, к молодежи. И что молодежь должна реагировать на это...

— Так и говорили «реагировать»? Этакие болваны!

30 — Почему болваны?

— Потому что слова в простоте не скажут. Точно приказчики из немецкого магазина или юнкер, старающийся запомнить и употребить слова из «Словаря иностранных слов, вошедших в русскую книжную речь». Ну, что же они там «реагировали»?

— Вы очень строги. Ну, читали. Спорили, говорили. Рассуждали и, чтобы рас-суждения выходили более основательными, предложили писать рефераты на темы, выдвинутые Арцыбашевым...

Девушка вся смутилась и, опустив голову и делая какие-то усилия руками в воздухе, говорила уже как бы с собою, не обращаясь ко мне:

40 — Они говорят: «Мы все — Санины». И — «хотим быть, как Санин, поступать по нему». Я не знаю... Они говорят, что это — натура вещей, без обмана. Они хот-ят «без обмана», и требовали, чтобы мы, курсистки, жили с ними.

— Ну?

— Я не знаю.

Девушка не была хороша собою, т. е. не была очень хороша. Но этот ее сель-ский вид, при очевидной развитости, или, точнее, при неустанно работающей

* Большое спасибо! (фр.)

мысли, «без предрассудков» работающей, без шаблонов, но и не по указке — был восхитителен. Ясно было, что ее натура не пошла бы на это; но ей надо было отнестись к подругам, которые подавались или могли податься в эту сторону, и она смутилась перед рассуждением, перед философией. Исключая «обман» и указание на «натуру вещей» — что она с этим могла сделать?..

Она молчала. Я ей помог.

— Да ведь «натура-то вещей» в этой области не одинакова для студентов и студенток: те поступят на должность, в учителя, в акциз, в чиновники; без сомнения, женятся и, может быть, с приданым. Но студентки, почитательницы и, наконец, последовательницы Арцыбашева? У них останется последствие на 10
руках, в виде беспомощного существа, невинного, которому надо обеспечить жизнь, и не страдальческую жизнь. Знаете, у птичек: одна сидит в гнезде, а другая ее кормит из клюва. Вам студенты предлагали ли хоть кормить сожительниц?

Она молчала. Очевидно, — «нет».

— Вот о чем следовало бы предложить тему для реферата. И до чего же вы неопытны, курсистки, что ни которой не пришло в голову это первое и очевиднейшее дело. «Натура вещей», — Богом созданная и благородная натура, — заключается в том, что матери и птенцу обеспечен корм, и обеспечивает его в благороднейших усилиях, в благородном труде с рассвета до ночи — самец. Ваши-то 20
студенты как насчет труда?

Она молчала.

— Кормит и защищает, — от всякой опасности, от всякой беды. Ну, так вот первая «беда» для девушки — вернуться с ребенком на руках в родительский дом и выйти с ребенком на руках в общество. Тут «арцыбашевец» должен быть около нее, т. е. вместе с нею должен переступить порог ее родителей, — да и в обществе, когда она вступит, должен быть около плеча ее, говоря всем: «Это — от меня, это — моя, она моя». Что «моя», — «любовница» ли, «жена» ли, но только именно «моя». В этом «моя» — все и дело, все сосредоточение, весь удар и наконец «натура вещей». «Мои дети», — говорит мать, «мое дитя и... ну, моя самка, что 30
ли», — говорит самец. Говорят не на человеческом языке, а на более могущественном языке инстинктов, храбрости, защиты, нападения и проч., и проч. Ваши арцыбашевцы — трусишки, и куда им перед ласточкой или петухом, не говоря уже о благородном лебеде. Так что «животную натуру вещей» я понимаю: но только до нее не дошли, не дозрели, прямо глупы и неразвиты в сравнении с нею ваши студенты и несчастные или бестолковые курсистки.

Жизнь должна быть не страдальческой, а когда есть страдания, то пополам. Вся живая тварь избегает страдания: и это есть такая же «натура вещей», как и те утехи, к которым зовут санинцы и арцыбашевцы. Кто же устраивает себе ложе на колючем шиповнике? Студенты, объявившие: «Мы все — Санины», должны бы 40
убрать колючки и уже потом располагать ложе. Дело в том, что по «натуре вещей» на колючках окажется именно девушка, именно женщина: это ей в тело вопьются они, а кавалер будет в стороне, ничего не почувствовав, ничем не задетый. Меня поражает бестолковость ваших курсисток; что касается студентов, то возможным извинением для них может служить только та феноменальная тупость, о которой рассказывают кругом, но мне никогда не хотелось ей верить. Если не говорить об этой всеоправдывающей тупости, то придешь к обвинениям, которым имени нет: жестокость, кровавая жестокость над невинными, ничего не

понимающими девушками, наконец, жестокость над детьми, младенцами, собственными, своими. Это какая-то смесь Каина и Скублинской, на которую «третья, незаинтересованная сторона», суд или государство и общество, ответит только веревкой. Это они поймут. Этого уж нельзя не понять. Они догадаются, что немножко «не дописали» и «где» не дописали свои реформы.

— Как вы жестоки...

— А разве они не жестоки, когда обрекают крохотное, розовенькое существо, так доверчиво и наивно явившееся на свет, на черную смерть, на могилу; и не на честную могилу, а где-нибудь в выгребной яме, как случается везде и всегда? Как вернется девушка с ребенком в родительский дом и выйдет в общество, на работу и за работу, — вот основной вопрос. Из ста арцыбашевок только одна, пройдя через невероятную душевную муку, сделает это: а девяносто девять испугаются, смутятся, не решатся: и «упрячут» розовенькое существо. А упрятать его можно только в могилу. Ибо человек — не вещь: кричит, ходит, рассказывает о себе, отыскивает «папу» и «маму», и отделаться от него, т. е. *скрыться от человеческого суда* только и можно могилкой ребенка, и больше ничем, решительно ничем. «Прелюбодеяние наказывается смертью», — говоря семинарским языком; в древнем мире — женщины, в новом — ребенка.

— И вы за это?..

20 — Все не за это. О, слишком не за это: но тут вы стоите перед стеною, и задача Арцыбашева или его последователей заключалась бы в том, чтобы устранить эту стену, или, что то же, обратить колючки с ложа. Но что же они сделали? Арцыбашев только укрепил эту стену, а колючки сделал несравненно язвительнее. Свободная любовь всегда была, и свободное рождение было же. Было так давно, как почти Адам и Ева. Несколько лет назад печаталось, как молодые люди, девушка и юноша, не найдя сочувствия родителей своей любви, обвязались веревкою и утопились в царкосельском пруду. Они были робки, покорливы, верно — слишком юны. Будь постарше и немного посмелее, они вышли бы в свободную любовь и свободное рождение. Около Лесного есть могила «Карла и Эмилии», — 30 какой-то смертью лет сорок назад покончивших с собою из-за любви. Времена были строгие, что ли, только их похоронили не на общем кладбище, а «тут же», где произошла смерть. И вот и до сих пор эта могила постоянно в свежих цветах. Любовь эту так уважают, безвестных людей так сожалеют, что до сих пор на их могиле цветы. Люди, конечно, жестоки и трусливы: надо бы давно предоставить не только песне и рассказу заниматься «свободною любовью», но и подвести сюда можно такую чопорную особу, как законодательство, и особенно — духовное законодательство, от которого зависит моральный авторитет. Но этого не сделано. Все родители подчинены суждению этих чопорных авторитетов. Но и родители втихомолку, про себя, а главное — все общество, вся людская масса 40 знала и верила, что «свободная любовь» всегда проходит через страдание и что это есть поэтическая и прекрасная любовь, в которую в душе невозможно бросить камнем. Вдруг является Арцыбашев со своим пошлым и, можно сказать, — в отношении темы, — подлым романом и говорит, что «ничего этого нет», что «правы иезуиты и прокуроры, которые всегда на это плевали и за это судили...».

— Как? Как? Он это оправдывает...

— Извините, о любви свободной у него и помина нет, — и притом так это *органически* в романе, как будто любви этой никогда и не рождалось на свет Божий.

В этом вся и загадка, главный узел: и ведь ваши студенты ни в кого не были влюблены, ни о ком не вздыхали, не мечтали по ночам, не плакали потихоньку о «невозможности свиданья». Ничего этого нет. И у курсисток этого не было, — я вижу по тону ваших слов, по испугу вашего лица, смутившегося отчего-то перед рефератами. Вы оттого и смутились, что все это — без любви. И вам стало гадко от этого холодного сала. Ласточка-самец не всем ласточкам носит корм, а только своей единственной, к которой он привязан и которую он избрал. Вот этой-то «единственной избранной» и нет у Арцыбашева, она у него органически исключена. Любовь исключена у Санина и во всей этой санинской идее, и люди соединяются вовсе не по любви, — а как подонки общества, как отребье человеческой породы на Невском, как мастеровые под пьяную руку, безмозглая часть студенчества и бесшабашная часть офицерства. Везде это есть кутеж или несчастье от бедности социального положения. Животные не станут глотать стекла и гвозди, а живоглоты в цирке показывают это: человек может опуститься гораздо ниже животного. И он опускается ниже животного в пьянстве и разврате, в пороке и преступлении. Студенты ваши, и Арцыбашев, и Санин, показывают вовсе не «натуру» нормально устроенной природы, которая хочет любви и привязанности и осуществляет любовь и привязанность, а показывают *извращение, падение и болезнь* этой натуры, *уродство* на ней, которое выделал человек, как он выделяет разные штуки умом своим, настойчивостью своею. И вот тут-то его и застигают иезуиты и прокуроры. Возложив пухленькие ручки на толстые животики и подняв очи «горе», они говорят:

— Вот! Мы всегда говорили... Поэтому не шли на могилу Эмилии, а так как она была самоубийцею, то и не разрешили ее хоронить на общем кладбище, где упокоятся умершие с верою в Бога. Все это — блуд. Все это — похоть. Напрасно господин Гёте описывал Гретхен; все это выдумки фантазии, весьма далекие от действительности. Господин Арцыбашев и господа Леонид Андреев и Максим Горький сорвали покров фантазии с действительности и показали ее, как она есть. Любовь... мы ее не знаем, не видим, не осязаем. Ее нет. Мы женились на приданом и живем благополучно со своими супругами, в супружеской верности. Встаем вовремя и ложимся вовремя. Не изменяем. Не хочется! Мы — люди дела, и закон занят делом, а не бездельем. Мы блюдем благоустройство, а благоустройство, — это как мы и у нас. Поэты и песенники протестовали против этого, и г. Гёте, и г. Пушкин со своим «Под вечер осенью ненастной». Мы терпели и выжидали, чтобы какой-нибудь реалист оправдал нас; и дождались: вот пришли реалисты: Горький, Андреев и Арцыбашев, и сказали, что это — «тьма», «бездна», «в тумане» похоти творимая и что это, наконец, конюшня, — как изволит описывать господин Арцыбашев. Не можем же мы, чистые и праведные люди, или правильные и регулярные, снисходить до конюшни и санкционировать бездну и тьму законом. Амины!

И ничему не поворотить этого «аминя»! За него вступится общество, — вступится именно теперь, после Арцыбашева, Андреева и Горького. «Ты из арцыбашевской конюшни», спросит, *вправе теперь* спросить отец у дочери, вернувшейся к нему с ребенком на руках. И, зная это, *предвидя это* — тем с большим ужасом она бросит его в холодную прорубь. Стена, всегда бывшая крепкою перед этим, теперь стала еще крепче. Ведь все держится здесь не железными крючками, а «мнением общества», «взглядом населения». Железным крючком никто не тол-

кает девушку бросить в прорубь ребенка: она это делает от предполагаемого мнения о себе общества; поступает так же, как офицер «пускает пулю и лоб», когда во вверенном ему полковом сундуке не досчитывается нескольких сот рублей, проигранных им в карты. И офицера никто не стреляет в лоб. Он *сам* стреляется. Свободная любовь, повторяю, всегда была, и при тесноте условий брачных, зависящих в каждом случае не от индивидуальной воли, — ее не может не быть. В жизни, действительно, приходится наблюдать такие случаи «свободной связи», полные верности, труда, самоотверженности, что, казалось, еще немного времени нужно, и у всех раскроются глаза на эту очевидность, и все уступят правде и достоинству этого очевидного. И вдруг приходит *согинитель* Арцыбашев и говорит:

— Конюшня! Ого-го-го!

Я должен заметить в сторону строгих судей, что Арцыбашев — врет; что это вовсе не «натуралист», а всего только не умный *согинитель*, едва ли что-нибудь выдавший уже по своей молодости; что *видели* действительность гораздо более старец Гёте и умница Пушкин.

Кстати, я как-то спросил об Арцыбашеве:

— Должно быть, атлет? Кентавр? Сколько росту?

— Не знаю, — небрежно отвечал мне литератор. — Я видел его раз на одном ²⁰ вечере, где все читали о любви, и, кажется, он ко многому прислушивался и потом воплотил это в «Санине». Он поет с чужого голоса. Тут были в Петербурге вечера, руководимые людьми гораздо умнее и, главное, *угнее* его. Но там говорилось о персидской любви, об индийской любви, о греческой любви, и вообще о «любви у народов». Люди были ученые, к любви довольно равнодушные, но интересовавшиеся ею, как ориенталисты — знаменитым Розеттским камнем. Помните историю иероглифов и клинописи? Да, вы спросили об Арцыбашеве? Сидел и пил вино. Он кажется глухой или полуглухой, с легким пушком на подбородке, застенчивый, тихий и невзрачный.

— Вот! А я думал — кентавр.

³⁰ И я вспомнил в «Смерти Ивана Ильича» того бедного гимназиста с синими, нездоровыми кружками под глазами, которого так жалел отец. Именно я вспомнил восклицание Толстого, вложенное в уста Ивана Ильича:

— *Все, все* теперь этим страдают...

С тех пор, я думаю, гимназисты выросли и некоторые из них, может быть, обнаружили даже литературные дарования; и, кто знает, уж не готовят ли «Полные собрания сочинений»! На этот раз надо пожелать, чтобы они прилагали и «портреты авторов». Так будет «комментаристее».

НА КНИЖНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ РЫНКЕ

<Ч. Диккенс>

⁴⁰ Больших впечатлений нет, пестрых — слишком много... Говорят о двух новых произведениях — «Исповеди» Максима Горького и «Рассказе о семи повешенных» Л. Андреева, и говорят с похвалой, даже увлечением те, которые нисколько

не увлекались другими произведениями обоих писателей. Я не имею «предрассудков» критика и охотно верю, что Л. Андреев, которого очень порицала критика последнего времени, на этот раз «постарался» и написал хорошую вещь. Но, признаюсь, такой осадок образовался в душе от его «Тьмы» и «Иуды», что хотя я и купил пухлый «Шиповник» с его повестью, как равно и «Сборник Знания» с «Исповедью» Горького, но еще не разрезал и все читаю и читаю... Диккенса.

В старом любимце я пережил разочарование. И так больно оно, так не хотелось бы говорить о нем. Но о великих людях человечества мы должны все знать; великий должен пройти через *все* испытания и не сгореть в них. Так прошел наш светлый Пушкин через критику 60-х годов: она ни одной ниточки, как *мишурной*, не сожгла в нем. И как лучше, как сильнее, как бóльшим он вышел из этого испытания. Без нее все оставалось бы возражение: «А может быть, он только *кажется* нам таким?». Критика, злобная, дерзкая, уничтожила это «кажется»...

Это лето, как и минувшее, я провожу за чтением Диккенса. Теперь читаю впервые «Лавку древностей», а минувшее лето вторично перечитывал «Крошку Доррит». И не могу передать всего... не очарования, а *счастливого состояния* души, которое чтение дает и дало мне в летние месяцы. Роман имеет большие недостатки: он растянут. Нелепые разговоры Флоры, точь-в-точь повторяющие один другой, с трудом преодолеваются даже и в одном-двух экземплярах: а их чуть не восемьдесят! Это возмутительно. Из действующих лиц вполне художествен только один Гоуэн, эгоист аристократ, занимающийся живописью, но к живописи не имеющий таланта, ругающий аристократов, но который умер бы, не будь он сам аристократом... Лицо его, не решительное ни в одну сторону, передано изумительно, сотворено изумительно: этот один портрет показывает, что в Диккенсе не доразвился огромный художественный талант в том особенном смысле, как это понятие выработала наша русская литература... Он мог бы стать великим портретистом-натуралистом своего общества и времени, как были портретистами-натуралистами русского общества Гончаров, Тургенев и Толстой. Но этого не вышло. Как известно, Диккенс писал непрерывно и очень много; из биографии его я узнал, что он условливался с книгопродавцами и обыкновенно писал уже «проданный» роман, т. е. выполнял заказ. Хотя так произошел и знаменитый его «Пикквик», но это молодое и почти первое его произведение, собственно, и остается единственным гениальным, безукорным произведением. На нем есть та легкость, как будто книга сама собой сделалась, а Диккенс получил только деньги. Книга вот вдруг взяла и родилась; точно Диккенс нашел ее на дороге, а не писал ее. Пера, письма, труда, «терпения и страдания» писательства нисколько не чувствуется. Тогда как в других произведениях это «терпение и страдание» в большей или меньшей мере уже есть. Английские писатели, очевидно, работают не так, как русские, и нельзя не сказать, что у русских есть преимущество. Роман Гончарова «Обрыв» зрел десять лет. Русским овладевает какая-нибудь мысль, его заняла серия явлений; но он еще не пишет и, может быть, ничего не напишет. Все зависит от дальнейшего: только если мысль овладевает им до фанатизма, до восторга, до внутреннего собственного удивления к ней («Эврика!») и ряд наблюдений завершился, закрутился в совершенную полноту — он садится за произведение и получается «Обломов» или «Отцы и дети». Все-таки не только «Пикквика», хотя он мне кажется написанным *лучше* «Отцов и детей», с бóльшим талантом, с бóльшим литературным мастерством, — но и *все* произве-

дения Диккенса мы не поставим в уровень с «Отцами и детьми» и признанием в «Отцах и детях» большую духовную тяжеловесность, большую абсолютную ценность. Зависит это от внутреннего отношения авторов к своим произведениям. Я охотно соглашаюсь, что Диккенс, как писатель, как литератор, стоял выше Тургенева; что у него было больше *сил*. Но, однако, когда он писал «Пикквика» — он писал просто *зтение*; писал то, чем будет зачитываться вся Англия и весь свет, и писал для этого зачитыванья. Тут не тщеславие и успех, тут большее: самая литература существует для чтения и есть чтение; чтение необозримое, бесконечное, но только чтение. Оно должно быть занимательно, интересно, художественно, поучительно, воспитательно. Словом, это должно быть прекрасное и ценное чтение. За него платят деньги, и кто дает это чтение — того увенчивают славой. Он доставляет удовольствие, пользу, *счастье* целой нации и, наконец, — как я на себе испытал — и всему грамотному человечеству. Но все-таки это есть только чтение, и, например, окончив главу «Пикквика», конторщик идет в Сити и моряк на верфь так, как он всегда ходил до «Пикквика» и даже до рождения Диккенса. Ни Диккенсу, никому из читателей на ум не приходило, чтобы от «Пикквика» могло произойти еще что-нибудь другое. Например, от «Отцов и детей» сейчас же, как они появились, не только начало происходить множество «другого» и «нового», чего до них не было: но Тургенев и писал с полным знанием того, что все это «произойдет»; и, даже не решив твердо, что этому нужно «начать происходить», он едва ли и написал бы самый роман. Я даже думаю, что когда Загоскин писал «Юрия Милославского», то он тоже приблизительно думал, как и Тургенев, только в другом направлении: именно, он хотел показать современной ему, немножко развратившейся на иностранщине России *древнего и настоящего* «истинно-русского человека». Русская литература почти вся существует совершенно для другого и происходит совершенно иначе, чем, кажется, вся европейская литература, по крайней мере новейшая. Великие или замечательные явления русской литературы, даже когда они в смысле мастерства и литературной техники стоят ниже европейских, тем не менее образуют каждое положительно ступень в истории *созревания* русского общества. В самом деле, невозможно не почувствовать, что, напр., «Отцами и детьми», «Преступлением и наказанием», «Анною Карениною» русское общество до известной степени *переработалось*; и не более как через 2—3 года по напечатании этих произведений оно делалось уже несколько другим, новым, напр., более раздраженным или успокоенным, более скептическим или более мечтательным и т. д. Беллетристы у нас создавали даже моду на науку; например, после «Отцов и детей» все кинулось изучать естествознание и медицину, а после «Анны Карениной» стали думать о душе и пристрастились к религиозным беседам. Ясно, что если это *так*, — а несомненно, что это так, — то, очевидно, беллетристы наши уже не суть только беллетристы, т. е. творители нового и нового «прекрасного чтения», а что-то другое и неизмеримо большее. Труд их больше, задачи их больше. Ответственность их гораздо больше. И возможные результаты этой деятельности — тоже могут оказаться неизмеримо бóльшими...

Но я заговорил о Диккенсе, а пришел Бог знает к чему. Несмотря на недостатки «Крошки Доррит», которые я перечислил выше, *сам Диккенс* до того очаровал меня собой, своим воззрением на людей, *своим отношением* ко всему тому, о чем он пишет, что я еле задавал себе вопрос во время чтения: «Почему *это*, вот что

я читаю, почему *такая точка зрения и этот способ смотреть на жизнь и относиться к людям* — не может послужить краеугольным камнем религии и даже не есть само по себе уже религия? Вот как велико было впечатление. Читая книгу, страшно медленно, возвращаясь по несколько раз к прочитанным уже страницам, чтобы усвоить лучше их *тон*, — это самое главное у Диккенса, — я, наконец, как говорится, «зачитал» книгу у библиотеки, оставив свой залог как бы за «потерянную»: именно, я «загнул» так много страниц для списыванья, т. е. как *нужное*, что в конце концов это «нужное» и желательное для списания превзошло стоимость самой книги. Как читатель помнит, книга не сантиментальна, не патристична и не религиозна, — по крайней мере не церковна. Откуда же такое впечатление? Автор смеется, описывая воскресный звон колоколов, — этих, их, английских колоколов, в чопорное английское воскресенье, когда все слушают проповедника и затем целый день сидят дома. Среди аристократов и высоких сановников государства, очерчиваемых в романе, выведен и епископ: «как младенец, — замечает Диккенс, — он понятия не имел о действительной жизни, не имел понятия о том самом доме, куда его пригласили, и о том самом деле, для участия в котором его позвали», — и он произносил свои пышные и благочестивые речи, христианские речи, совершенно в воздух, без адреса и публики, но при этом очень усердно направляя речь так, чтобы от слов его получился прирост дохода в том благотворительном учреждении, во главе которого он стоял. Все как следует. Увы, — подумаете, — все как везде! Какой контраст с этим епископом составляет фигура знаменитого доктора, который тоже находится среди гостей великого финансиста, и потом осматривает его тело после самоубийства. «Этот знал жизнь, — замечает Диккенс, — знал ее не прикрасенною, знал ее в существе и страдании». Противоположность портретов епископа и доктора, и те рассуждения, которыми Диккенс сопровождает их характеристики, — мне и показались чем-то похожим на возможность какой-то другой религии около этой так износившейся их английской религиозности, чопорной, благочестивой, формальной и холодной, давно, давно *никому не нужной* в этом виде. Помните «Подворье Кровоточивого сердца»? Мне кажется, Достоевский списал отсюда всех своих «униженных и оскорбленных» и «бедных людей»... По окончании чтения, пожалуй, приходит на ум, что все это немножко «сочинено», как вообще в «Крошке Доррит», *к сожалению*, дано много места «сочинению». Таких прелестных фигур, как эта Крошка Доррит, героиня, именем которой назван роман, — не бывает. Но, пока читаешь, поддаешься иллюзии. А, впрочем, кто знает, может быть, и бывает. Ведь кто изведал всю неисчерпаемость жизни? И вот мне показалось, что брезжит обновление религии в возможности сочетать этих как бы ангелов, проходящих по земле со своею бесконечною нежностью и вниманием к людям, и тех суровых эмпириков и ученых, какие олицетворены в докторе. Передаю читателям тот пучок мысли, который кипел во мне при чтении, соглашаясь, что он и тороплив был, и случаен. Помните еще там благочестивого и жадного «Патриарха», показывавшего праведное лицо свое жильцам «Кровоточивого сердца» как раз накануне сбора с них квартирной платы, а плату эту собирал грубый и жесткий Панке. Но Панке, вынужденный служить у него, — в конце концов сорвал с него благочестивый парик. Сам Панке, пыхтящий и фыркающий, имеющий деньги, — параллель эмпирику-доктору. Та же кровь, те же кости. Только доктор — командир, а этот конторщик — солдат в той «армии спасения», ко-

торая замелькала у меня. В самом деле, отчего «церкви» или тому, что зовется «церковью», не сложиться из бесконечной человеческой деликатности и нежности, с одной стороны, и из мудрости, науки и опыта — с другой? Ведь и в самой теперешней христианской церкви все родилось тоже отсюда, из человеческой доброты и человеческого ума или размышлений. Были «святые отцы» добры — и церковь стала «добра»: так ведь это — *они же, люди*, и вот в этом самое, самое главное! Нет «святых отцов», что останется от земной церкви? Формула, отвлеченность и притязания. Все сделали *они*, «святые отцы». Но «разум» святых отцов и «правда» их как-то просто перестали отвечать нашему времени; она *есть*, эта правда, и в себе самой *не переменялась*: но до того вся жизнь изменилась, до того настали другие условия, сделалась совсем новою обстановка жизни, что просто эта правда не имеет более «адресата» себе и похожа на странствующее письмо, которое носит-носит почтальон в своей сумке, а кому отдать его, того — *нет!* Вот — все. Совершенно просто. И нет виновных. Другое время, — и потребна другая правда и выразители другой правды. Кто они, откуда взять их? Да вот эти как бы ангелы, удивительно и странно иногда рождающиеся на землю, — но которых или приближения к которым — каждый скажет, что он знал, видал в опыте своей жизни, в испытаниях своей жизни. Но они одни бессильны. Они только хотят, но не могут. Кто же *может?* Вот эта совсем другая, простейшая и легчайшая порода людей — люди науки. Науку можно выучить. Науку можно схватить. С нею не нужно родиться, как безусловно рождаются те исключительные сердца «святых людей». Таким образом, моя мысль не так нова и включает в себя то же самое древнее требование, которому удовлетворяли и прежние «отцы церкви» — именно требование *прекрасного сердца и высокого разума*: но только в современных условиях и для удовлетворения современных задач. Мне кажется все, все, напр. и Достоевский с Толстым, все время ищут и кружатся около этой же темы: как найти (Достоевский) или *выработать и создать* (Толстой) человека совершенной правды и человека очень высокой мысли как двух очевидных выразителей нового мирозерцания. Повторяю, без «святых отцов» нельзя

ощутить церкви. Но, так сказать, темперамент, колорит и стиль «святости» должен перемениться. Ну, напр., в этом: прежде уходили от жизни, теперь надо идти в жизнь, прежде «терпели и не роптали», теперь надо победить источники терпения и ропота; прежде все было пассивно, страшно, пассивно, теперь же нужны добродетели активности, труда, бодрости, делания. Толстой еще в «Войне и мире» поставил идеалом Платона Каратаева, который со всем окружающим пассивно «сообразуется»: позднее, в знаменитом «непротивлению злу», он только живой образ этого Платона Каратаева перевел в отвлеченное правило. Но нужно совсем не это. Все интендантские чиновники, которые «не сопротивляются» воровству своих товарищей, суть Платоны Каратаевы. Они попадут в Царство Небесное, а Россия провалилась в Манчжурии. Таких не надо. Вот пример, как условия действительности фатальным образом, железным образом потребовали перемены идеала и перемены носителей идеала. Но это одна подробность, одна частность, вовсе даже небольшая. Нужна перемена *всего* идеала, напр., нужно, чтобы «истинный христианин» не сам «сносил терпеливо бедность», а чтобы он усиливался плодить вокруг себя довольство и избыток. Тут совсем другое, другой колорит и стиль. Нужно не «ходить самому без сапог», как Василий Блаженный, а сколько можно больше нашить другим сапогов, т. е., напр., быть виртуозом-

ремесленником. Идеалы — другие, а правда — одна! Можно быть «праведным» без сапогов: но ведь можно и в сапогах быть также «праведным», и тогда для чего же не шить сапогов? Даже на миссионерском съезде в Киеве говорят, что «подвижничество»-то «подвижничество», да не нужно забывать и «сапогов»; говорят об обеспечении духовенства. Это узко и эгоистично формулировано, тут не чувствуется «ангела доброго» около людей, съехавшихся в древний стольный город Киев: но, однако, чрезвычайно важно, что даже этот съезд там, т. е. весь стан церкви, хотя и косвенно, но тоже признал, что мы живем теперь в совершенно новых условиях жизни и что нужно переменить самый дух веры, признав *мирское, мирской элемент жизни*, и начав его *идеально перерабатывать*. Миссионерам и духовенству в Киеве миряне могут ответить, что если они, эти миссионеры, нуждаются в «сапогах» и их требуют, хотя и не могут основать их на догматах, то и миряне точно так же могут потребовать от них, от этого духовенства и миссионеров, *себе* сапогов, хотя бы тоже не догматических. Пусть на съезде киевском пересмотрят и переменят все каноническое право, касающееся семьи, детей, развода, вдовых священников.

Но куда это я уклонился от Диккенса и упоминания о разочаровании, которое пережил с ним? Он оказался скупым.

Читаю его биографию и вижу факты, но никак не могу сложить их в сумму, которой название так ужасно... Предположение о чем-нибудь корыстном, даже о простой заинтересованности деньгами, до того не вяжется с представлением о Диккенсе как авторе книг, что мне подсказали его со стороны. Но только когда я читал биографию, я чему-то все удивлялся, от чего-то недоумевал, все еще не понимая, — от чего именно. Вся жизнь его была хлопотлива, деятельна, напряжена даже в старости. У него не было отдыха, и он не давал себе отдыха. В последнее время писанье давалось ему уже трудно, особенно, например, трудно давалась «Крошка Доррит», как я заметил, растянутая, с такими ненужными монологами Флоры и по временам утомительными описаниями. Позднейшие его произведения, как, например, «Николай Никльби», совсем слабее. Почему же он не положил перо, как клал его временами на много лет Тургенев или не принимался за перо ленивый Гончаров? Но Диккенс никогда не был ленив, и все работал и работал. Не писал, а работал. Все чего-то не понимаю и спрашиваю себя, зачем он работал, когда ему не хотелось писать? В конце жизни, — рассказывает биограф, — он разошелся с женой по обоюдному согласию, и в объяснение пишет, что он любил простоту, а она желала держать себя и дом свой как важная лэди, устраивая приемы у себя и проч. Это и нравится в Диккенсе, но как-то жестко в отношении жены. Разойтись с женщиной под старость, народив детей и вместе воспитав их! Ужасно не вяжется с образом Диккенса. Дети были уже взрослые: старший сын ушел с матерью, прочие остались при отце. «Значит, прочие осудили мать». И однако же это так поражает в Диккенсе, который оставил нам страницы такой деликатности и прощения! Ведь Бог не наделил ее таким талантом: он забывался за сладкими вымыслами художества; но что такое приемы, некоторые наряды и, допустим, роскошь обстановки, как не замена или подмена недостатка внутреннего творчества, как не иллюзия в своем роде, не поэзия в своем роде? Чем-нибудь утешиться человеку нужно: богатый утешается «Пикквиком», бедный — тем, что примет у себя новых и особенно знатных гостей. Ему следовало пожалеть свою старушку. Как это досадно. Он разошелся с нею. А сам все трудился

и трудился. Видя, что перо окончательно изменяет, он стал читать публично свои произведения, — в Англии и даже в Америке. Успех чтений был необыкновенный: здесь, как и во всем, за что он ни брался, он был мастером. Между тем и здоровье становилось слабо: уже на чтениях присутствовал доктор, чтобы подать помощь сейчас, как только это потребуется. Значит, опасение и угрозы, что это «потребуется», — были, и об этом знал Диккенс, но читал. Не для благотворительности и «в пользу женских курсов», как наши, правда, не умеющие ни читать, ни говорить чтецы, — а за сумму несколько сот рублей, чуть ли не более тысячи за вечер. У него это скоро оформилось, и он уже читал «по заказу», получая вперед плату с своего антрепренера. В Америке, в Соединенных Штатах, его встретили как триумфатора, забыв — такова доброта народная — неприятность, случившуюся у него там, при первой поездке. Тогда его тоже увенчали: но на одном парадном обеде, для него устроенном, он воспользовался присутствием важных членов администрации и конгресса и произнес речь, обратившись к ним относительно «урегулирования прав собственности на литературные произведения» и обеспечения этих прав в Америке. Предложение его было выслушано, но было встречено холодно и прессою, и обществом, и вообще не возымело действия. Результатом этого было неудовольствие Диккенса; а главное — появились его «Заметки о С. Американских Штатах», род мемуаров из путевых заметок, которые я читал лет 15 тому назад. Невозможно представить того смешного и унижительного образа, какой он придал гражданам республики, и особенно ее прессе, — выставив их, да и все население страны, всю деловитую и значащую часть этого населения, как сплошь хвастунов, мальчишек и обирал чужой собственности. Действие книжки этой до того сильно, что — помню — вполне доверившись *наблюдателю-Диккенсу*, я так на много лег и остался под действием его взгляда, никогда ничего не чувствуя к этой нации пустых людей и эксплуататоров. Так их представил Диккенс. Вдруг только это лето, почти вот сейчас, я узнаю о таком мотиве книги: значит, раздражение, произведенное в Диккенсе отказом, вероятно, уплачивать ему за перепечатки его романов в Америке, было подобно ушибу, удару. Он его не мог перенести и не мог забыть, простить.

— Да вы обратите внимание, — сказали мне, — сколько он получал за романы: биограф приводит суммы, и в одном месте сказано, что за который-то роман, не лучший и не главный, он получил на наши деньги 200 000 рублей. Он вовсе не нуждался, ни тогда, ни ранее!

«Ни тогда, ни ранее!». Ни, конечно, — в те последние годы, когда, почти задыхаясь, — он все читал и читал в огромных залах разных городов Англии и Америки. Слова биографа: «Диккенс, в противоположность отцу своему, — всегда был аккуратен и бережлив в отношении денег», — вдруг осветились для меня страшным, другим смыслом: Диккенс наследственно и врожденно был скуп! Добродетели и слабости детей часто бывают в контрасте с родительскими излишествами или тоже слабостями. Тут можно подозревать какой-то даже закон. Историю своего детства Диккенс рассказал в «Давиде Копперфильде», а в Микабере, таком бестолково-расточительном, он вывел своего отца. Отец этот был фантазер и не деловитый человек, не служака. Он, как и Микабер в романе, разорился и разорил свою семью: Диккенс-ребенок страшно бедствовал. Жизненное испытание дало первый толчок движению врожденного предрасположения: тратить возможно меньше и получать возможно больше. С годами,

с ослаблением души и сил, недостаток вырос: Микабер в романе распустился под старость и все выпустил из рук, Диккенс под эту же старость весь сжался до сухости. Я вспомнил так чудно и вместе мучительно описанную в «Лавке древностей» слабость выведенного там дедушки — к металлу, золоту. Старик был чудный, и это была просто болезнь. Мне показалось, что описание слишком живо, чтобы быть только литературным. Я думал о Диккенсе: бедный, бедный, добрый ангел Европы, действительно ангел ее, сказавший такие чудесные слова сердцу человеческому! К собственному его сердцу прикрепился червяк, которого он не в силах был оторвать и который сосал его таким унижительным сосанием. Вот что значит «грех», и как он страшнее, чем то пошлое «соблазнение девицею», в каком смысле всегда разъясняли его «святые» старой истории. Нет, это гораздо страшнее и мучительнее девиц. ¹⁰

НАШИ ПУБЛИЦИСТЫ

Каждую неделю по хорошему поучению... Если бы Россия читала их внимательнее, она наверно поумнела бы за одну, за две зимы. Но она не умеет, потому что не хочет читать «Московского Еженедельника» кн. Е. Н. Трубецкого, и, может быть, даже не очень знает о его существовании. Тоненькая книжка-тетрадка в обложке небесного цвета, напоминающая по виду «Дневник институтки», представляет собою, таким образом, уединенный стул, на котором сидит и важно вещает свои «спасительные речи» московский профессор, но его никто не слушает... Бедный профессор, несчастная Россия! ²⁰

Князю Мещерскому, если не ошибаюсь, около 80-ти лет: он сверстник и однолесток Достоевского, князь Е. Н. Трубецкой однолесток и, кажется, ученик Влад. Соловьёва, и, следовательно, ему около 50—55 лет, не более. Но меня поражает следующее: не оспаривая общего мнения России, что кн. Мещерский — злодей, гангрена страны, чума и яд, я все-таки нерешительно замечаю, что этот злодей имеет некоторый, — допускаю, «чумный», — талант, и, что меня особенно поражает, имеет решительно молодость духа; напротив, еще в свежих силах, кн. Евг. Трубецкой поражает меня какой-то безнадежной старостью, преждевременным угасанием всех сил, и, должно быть, от этого происходит то, что он кажется таким неталантливым. ³⁰

Послушаем 50-летнего московского профессора: «В своем отношении к красному террору две первые Государственные Думы обнаружили преступное малодушие. В ответ на политические убийства оне молчали. Но разве не хуже поступают в настоящее время октябристы и правые, умалчивая о политических казнях? Разве не то же самое повторяется теперь в третьей Думе! Разве сторонники убийства пользуются в ней меньшим весом и влиянием? Вся разница в том, что в ней драгоценнейшее из человеческих прав — право на жизнь — приносится в жертву другим классам населения, другим выгодам и в другой, легальной форме. Но, в общем, третья Дума совершает тот же преступный компромисс, как и первые две. Судьба двух первых Дум должна послужить ей предостережением. Их двойственное, оппортунистическое отношение к политическим убийствам, ⁴⁰

несомненно, послужило главным источником их внутреннего бессилия. Именно этим оне восстановили против себя самого опасного врага — инстинкт самосохранения. Страх за свое существование создал реакцию общественную. Хуже того: реакция, выступившая на защиту неприкосновенности жизни и имущества против убийств и грабежей, тем самым получила то *нравственное оправдание*, которое составляет условие ее силы. Теперь на этот же гибельный путь вступает третья Дума. Потакая смертным казням, она также создает нравственный ореол и оправдание тому самому врагу, против которого она борется, — *революции*. И т. д., и т. д.

10 И вот, читая это, я недоумеваю: откуда этот глубоко старческий тон, как будто автору этих строк 80 лет? «Моя аптека не ошибается: она дозирует яды и целебные травы точь-в-точь, как прописано в рецепте». Этот тон самодовольного провизора никогда не меняется у профессора-философа, который со своего одинокого стула неизменно каждую неделю в передовой статье сперва обращается влево и говорит «товарищам»: «Вы очень повернуты влево, вам надо повернуться немного вправо», а затем, обратившись к правым, тою же интонацию продолжает: «Вы очень повернуты вправо, вам надо повернуться немного влево». А при общем недоумении, куда же именно надо повернуться, кн. Е. Н. Трубецкой оканчивает: «Смотрите прямо на мой нос; это — нос профессорский; профессорские носы никогда не ошибаются: ибо они не волнуются, бесстрастны, не краснеют и не бледнеют, не потеют и не холодеют, но всегда остаются равными себе самим. И направляют руль корабля, например общественного или государственного корабля, — прямо по линии профессорского носа, всего лучше по линии моего носа — это и значит идти к верному спасенью».

Я не шучу. Никогда мне не приходилось читать статей такого глубокого нравственного самодовольства, как в «Еженедельнике» кн. Трубецкого, подписанных его именем, — неизменно на первом месте и никогда не больше 5—6, а то и в 3—4 странички. Пишет он — как червонцем дарит, и, без сомнения, считает заслугу свою перед отечеством — чрезвычайной. Между тем все его статьи сводятся буквально к схеме, которую я привел: «Ну, вот, зачем же они так повернулись *вправо*? Эй, вы: куда же все загнулись, когда я вам говорил, что нужно смотреть *немного сюда*» (указывая на свой нос). И — ничего еще! Никакой другой политики! Ни программы, ничего! «Мой нос» — и могила.

30 Профессор не волнуется. Смотрите, какой ровный тон. Вы думаете, он взволнован левыми убийствами или правыми казнями? Нисколько: он негодует на них лишь постольку, поскольку это оскорбляет его, профессора, оскорбляет тем, что не послушали слов, «которые он говорил еще в прошлом году». И только. По степени бесстрастия и равнодушия я могу сравнить его только с Леонидом Андреевым, который как бы носит при себе «ящик с ужасами» и торгует ими: «Хотите ужасов войны? — Вот вам „*Красный смех*“. Хотите ужаса казни? — Вот „*Рассказ о семи повешенных*“, или ужаса сумасшествия? — Вот „*Повесть о Василии Фивейском*“».

А знаете ли, знаете ли причину кровавости нашего времени? Мы вообще еще не переступили через заповедь «Не убий», т. е. учили ее в детстве и катехизисе, но мало ли чего там не учили? И, затем, читали и читаем ее в газетах. Но ведь мы хорошо про себя знаем, что одна небольшая битва уносит больше жизней, чем год военно-полевых судов. Взвесив все это по-аптекарьски в уме своем, мы и оста-

емся спокойны в душе своей, как кн. Е. Трубецкой, — если волнуемся, то лишь для хорошей репутации. На самом деле никому никого не жалко. Жалко всегда *ближнего*; жалко всегда *воогию*. Этого физиологического закона не переступишь. Я вот, живя на даче и занимаясь ночью, несколько раз слышал через открытое окно, как какой-то зверек дерет другого какого-то зверька, должно быть, сова крота или белку: и крик этого убиваемого зверька, убиваемого долго, несущийся за версту — буквально заставил меня «роптать на промысел Божий». — «Как это Провидение так сочетало такие инстинкты?.. А чем же сове кормиться?.. Но чем же крот виноват?». Я волновался весь день. Но ведь это оттого, что я *слышал* крик. И все мы ужаснемся смерти, когда *увидим ее*. А не увидев?.. Точно так же и великое «не убий». В эти години ужасов не вводимся ли мы ощутительно, физиологически, слуховым и зрительным образом в великое «не убий», т. е. не довоспитываемся ли мы до этого закона, которого решительно никогда не чувствовали. Ведь задолго до этих лет резали прохожего на дороге и иногда резали товарища товарищи, ради трех рублей, — «чтобы опохмелиться». Так что же нам рассуждать о смерти, бомбах и казнях? «Дело привычное». Разве что «личное беспокойство», да «иностранцы осудят».

Великое воспитание — дело опыта. Ужас смерти можно испытать, когда на глазах умер родной, умер близкий друг. В ужасе войны можно убедиться, «понюхав пороха», в положении солдата и рядового офицера. И, наконец, ужас казни — вот теперь, когда царапают где-то близко, в соседстве; когда слышишь крик кого-то, кому это родное. «Отмена смертной казни» в России произошла, как известно, по обещанию Елизаветы Петровны и после ее востшествия на престол. В минуты политической тоски и неуверенности в своей голове она дала Богу клятву: «Никого не лишат жизни». Вот томительными текущими годами, месяцами не будем ли мы все приведены к молчаливой, про себя, клятве: «Никогда я не подниму руки на человека».

Если да, — мы не переживаем эти дни напрасно.

В скучном журнальце, где перебирались целый год все те темы, какие перебирались и во всех газетах, но только перебирались ленивее, без жара, без «надежды и веры», — в последней тетрадошке-книжке появились две интересные статьи: «Небесный ревизионизм. Письмо из Парижа» г-на Н. К. и «Возрождение язычества» (на Западе) г. Перовича. Одна посвящена пересказу впечатлений и волнений, какие пережила русская колония в Париже, сплошь почти состоящая из марксистов и социал-демократов, отчасти из эмигрантов, собравшаяся на лекцию г. Бердяева, бывшего марксиста и политика, оставившего и политику и марксизм ради идеализма и отчасти религии. Другая статья, еще не оконченная, посвящена обширному движению в искусстве, литературе и философии, связанному с именами Берлиоза, Вагнера, Ницше, Ибсена, Кнута Гамсуна, Пшибышевского и очень многих других. Было «Возрождение», и нет «Возрождения»; а церкви, — хотя бы то же старенькое католичество, полное «суеверия» и осмеянное, и как осмеянное еще в эпоху «*Epistolae obscurorum virorum!*» * — все

* «Письма темных людей» (лат.).

стоят. Тема, над которой стоит задуматься. «Возрождения» суть явления литературные и общественные, а не народные. Они не только что не колеблют *нации*, но и остаются просто даже неизвестны для нее в глубоких слоях. Литература есть прекрасное и глубокое явление, но имеет одну бедную сторону в себе, одно *прирожденное* у себя несчастье: все, что в нее попадает — «выговаривается», в смысле «выдыхается», обесценивается, бессилеет. Литература есть *слово*. Сказано — потеряно. Сказано — полюбовались, поволновались: и — *умерло*. Обратите внимание на Ницше, — и особенно на действие его в русском обществе, где, кажется, он был пережит горячее, чем в самой Германии. В течение 7—10 лет Россия, т. е. ее читающие и пишущие классы, буквально бредили Ницше, думали по нему, говорили в его стиле, не говоря уже о постоянных и нескончаемых цитатах. Ну, и что же? «Выговорилось», «выдохлось». Побыв несколько лет ницшеанскою, буквально ницшеанскою, — Россия осталась сейчас деревенскою, помещичью, рабочею, революционною, хулиганскою и проч., и проч., но ницшеанского ничего в ней не осталось. Разлюбили ли Ницше? Опровергли ли его? Ничего этого не случилось. Случилось худшее: Ницше был *литератор*, его литературно *восприняли*; и, как по всякому литературному, — охладели. Так около старого, — предрасудочного и злоупотребительного, — католичества прошумела волна «Писем темных людей», прошумели Ульрих фон Гутен, Эразм и Рейхлин; и замерли, не только не опрокинув этой старой стены, но даже и не отмыв от нее грязи. Литература по существу своему поглощает в себе великие энергии, которые ее вздымают. Было великое чувство, ну, напр., неправды католической церкви; оно могло бы перепрокинуть эту церковь, останься оно в таких людях, как Иоанн Гусс, как Иероним Пражский, как *народная масса*. Но оно пошло вверх и выкинулось фонтаном слов; создалась прекрасная ветвь европейского «Renaissance», где «католичеству много досталось»: но уже в католичестве эта ветвь, как и вообще весь Renaissance, ничего не переменили. Можно ожидать, что это самое случится и с языческим возрождением наших дней.

Литературные явления приходят и уходят. Но жизненные отношения остаются, — с литературой или без литературы — все равно. Если они не находят выражения в слове, остается боль их, неудобство их, ненормальность их, сила их. И вот здесь есть опасность, если не «возрождения язычества», чего в прямом движении, кажется, нельзя ожидать, то опасность упадка христианства, — чего мы все являемся довольно очевидными свидетелями. Неясность, двусмысленность или колебания в отношении христианства: 1) к труду, 2) к семье и 3) к достатку, богатству, деньгам и вообще экономике, — вот опаснейшие пункты дела, на которые давно следовало обратить внимание всем заинтересованным. Здесь опасно уже колебание, неясность: как наверно проиграет битву полководец, который не имеет перед нею совершенно твердого, абсолютного плана сражения. «И *так*, и *эдак*», «и *да*, и *нет*», «ни *да*, ни *нет*» здесь губит больше, чем самое отрицание или полное незнание. Но совершенно очевидно, что в данных трех пунктах ни которые из церквей, и, значит, все они вместе, не имеют совершенно твердого, *адамантового* учения и решения. «Брак *свят*, но девство *лучше*», «мужем и женою сотворил человека *Бог*, но кто не *оскверняется* этим — тот стоит выше»; «труд — *благословен*, но нищенство — *благословеннее*», — все это очевидно «и *да*, и *нет*, ни *да*, ни *нет*». Около всего этого можно говорить годы и исписать томы, но ведь *народу-то* не то нужно в таком коренном устое его жития. Не станет же

всякий человек в недоумении своем перечитывать целую литературу, делать справки: некогда, от боли некогда. Ему надо видеть догму, яркую, как молния, светлую, как солнце. А ее до очевидности нет: и «целая литература» ведь и возникла потому именно, что надо же как-нибудь скрыть, затенить недоразумение и колебание, надо обосновать и, наконец, даже доказать, что нравы и «да» и «нет» и что даже «нет» совершенно равняется «да» и есть то же самое, что «да». Это трудно. Оттого написаны томы. Но томы не помогают, и *боль* и *трудность*, ненормальность положения остаются. Повторяю, здесь гораздо больше опасности, чем в сорока Ницше, ибо это не зависит от литературного успеха, да и вообще это уже не есть литература, а тут стоит молчаливое страдальчество человечества. ¹⁰

Кстати, когда я рассматривал в Сикстинской капелле известный «Страшный суд» Микеланджело, то мне тоже побрезжилось, что это стоит «Also sprach Zarathustra» *. Видя множество фигур, частью летящих кувырком, мы не спрашиваем себя, что же именно хотел выразить в ней Микеланджело? Между тем, «что он хотел сказать», совершенно отчетливо выражено в фигурах ближайших к И. Христу и Божией Матери — мучеников: один подносит им содранную с него кожу, другой — щипцы, которыми рвали его тело, третий, четвертый и т. д. тоже орудия муки. И показывая — имеют вид слишком мало покорный. Известно, что Микеланджело был человек молчаливый, угрюмый и как-то вечно враждующий, даже неизвестно, с кем враждующий. Рафаэля он не любил, даже, кажется, не ценил. Тот был слишком «небесен», а этот нес в себе бурю. В «Страшном суде» он до последней степени отчетливо выговорил вековечный упрек и жалобу, наконец, недоумение и даже бурю человечества о тех «горших страданиях», об этих вот щипцах и кострах, гвоздях и содранной коже, которые «удивительным образом» наступили для человечества именно после того, как оно «искупилось» и «было спасено» и «всему научилось» и «признало всю правду» и пр., и пр. Словом, как только «спасли» человека, так и начали с него драть шкуру, и Микеланджело нарисовал это огромно, выпукло, так что не прочесть нельзя. Не знаю, что думают об этом папы, совершающие именно в Сикстинской капелле все свои торжественные церемонии. Когда я только взглянул на картину и по указателю прочел имена тех определенных святых, которые подошли к Христу почти с угрожающими жестами, — для меня не было сомнения о мысли Микеланджело. ²⁰

Но всякой душе нужен некоторый покой, утешение, нужны великие акты надежды и веры. Обиженным «здесь» нужна вера, что они будут оправданы «там». Вот эта азбука существования, без которой решительно невозможно жить, — нельзя так же жить без нее нравственному существу человека, как корове нельзя жить без сена и самому человеку без дыхания — она дается церковью. И вот на этих-то актах, нуждах человечества, народных, все здесь и держится. Иногда подумашь: «Жгли людей живыми, а люди все остаются верными ей». Ну, напр., это подумашь о католицизме. Удивляешься, негодуешь; в следующий момент ³⁰ умозакключаешь: «Но, значит же, если человечество такие муки свои простило этой католической церкви, то что-то находит она в ней, ради чего прощает это горькое и забывает об этих муках. Прощения не было бы, если сладкое не превышает горького. Дело в том, что сожгла она некоторых, а дала отдых *всем*; что она — *народна*; и наконец, что в ее власти или обладании находится действитель-

* «Так говорил Заратустра» (нем.).

но та «азбука» моральных необходимостей, которых всякий просит и без которых никто не имеет чем прожить. В момент, когда «великие утешения» стал бы давать кто-нибудь другой, кроме церкви, — она ослабла бы. Но их ни у кого нет. Их никто не может дать. Кто может сказать мне, кроме как священник «на духу», что я буду прощен за какой-нибудь тайный грех; что осуждение, которым я себя осуждаю, оно будет снято Богом, и *наконец я успокоюсь*. Ни императоры, полководцы, ни весь народ, ни парламент «голосованием своим» не могут дать мне этого: а священник даст, *сам с верою и мне внушая веру*. Вот установить, традиционно установить, чтобы и у него была вера, и у меня была вера, без чего акт невозможен и облегчения не произойдет — для того надо было протечь целой культуре, надо было совершиться бесчисленным личным переживаниям, процессам, «чудесам», «исцелениям», «прозрениям», в которых может быть большая доля и ложного, но все это ложное, и неложное сложилось так, утряслось так, что из этого получается тот хлеб, вкусив которого я единственно не могу остаться жить; жить в радости, а не в унынии и смерти. Церковь и говорит, что она мучила людей, все «врагов» своих и «еретиков», чтобы отстоять эту, пусть даже и иллюзию, но такую, без которой люди морально задохлись бы. Только этим и можно объяснить, что люди, получая только из этого одного места этот определенный и всем нужный хлеб, простили «углу этому» все мучения свои, и идут, все идут люди, как рыба зимою в проруби, — где кой-кого из нее и ловят или багрят, но все же без этого «места» она сразу и массой вся задохлась бы.

И что поделает с этим интеллигенция, не наша только, но хотя бы германская или итальянская XVI-го века? Вот отчего Боккачио и Эразм прошумели, а сельский суге* все стоит на месте.

НЕПОСТИЖИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Случилась совершенно невероятная вещь. В то время как вся Россия, в самых отдаленных ее углах, перелистывая тот или иной том Толстого, мысленно обращается в Ясную Поляну и говорит душою самые дорогие свои слова, самые теплые великому писателю, украсившему на полвека свою страну и народ, — в это время с Сенатской площади Петербурга раздался голос, изрекающий по образцу испанской инквизиции — «veto».

Духовное ведомство, в обычных канцелярских формах своего делопроизводства, выпустило бумагу, призывающую «православных чад церкви» воздержаться от чествования графа Л. Н. Толстого и тем избавить себя от суда Божия, помня, что «Бог поругаем не бывает»... Все это — за номером канцелярской бумаги, по духу и форме не отличающейся нисколько и от других синодальных и от всех обычных консисторских бумаг о бракорасторжении и т. п. многоценных сюжетах... То же самое «слушали» и «приказали» и «определили»... Боимся, что и при светопреставлении ведомство православного исповедания все будет составлять такие же бумаги со «слушали» и «определили». Но душа каждого православного

* священник (нем.).

уверена, что суд Божий никак не будет руководиться в своих решениях этими бумагами за нумерами, но сохранит некоторую самостоятельность и независимость от этих синодских постановлений. Потому что суд Божий, которого и мы ожидаем в конце мира и истории, и не появился бы, и не для чего ему было бы появляться, если бы духовная коллегия уже все и о всех, о праведном и неправедном, решила безошибочно в своих «определениях» и в своих «приказах»...

Возвращаясь к Толстому, мы должны заметить, что можно несколько не разделять его богословских мнений, ни в целом, ни в части, но мы должны сказать и напомнить читателям, что чувствуется не «богословская деятельность» Толстого, как выражается неточно синодальная бумага, а *лигность* великого человека, с преимущественным вниманием к его великим художественным созданиям. И на это чувство, несколько не оскорбляя своей веры, вполне имеет право русский православный народ, и в образованном слое, и в простом населении. Не дать этой чести, не принять в этом чувствовании участия было бы неблагодарно и неблагородно со стороны общества и населения, и оно вправе иметь об этом свое самостоятельное мнение. Мнение это не нуждается ни в указаниях, ни в поправках со стороны, потому что оно совершенно право. Этак пришлось бы в России воздерживаться от похвал Пастёру на том основании, что он был католик, и от похвал Гумбольдту на том основании, что он был лютеранин. В духовном ведомстве, вероятно, мало читались художественные творения Толстого, и оно придало значение только прочитанным там богословским его трактатам, которые в глазах общества никогда не имели особенного значения. При литературных чувствованиях, к каковым относится и юбилей Толстого, принимаются во внимание исключительно литературные труды, и никто в это время не рассуждает о вере, о религии или о церкви. Это — явления другого порядка и стоят совершенно в стороне. Смешивать их нельзя. Религия несколько не оскорбляется воздаянием удивления и восхищения к художественным созданиям.

Мы уверены, что все русские, оставаясь православными и горячо православными, могут всю душу отдать великому празднику русской литературы в день чувствования одного из величайших наших писателей.

О ПАМЯТНИКЕ И. С. ТУРГЕНЕВУ

Тургеневу должен быть поставлен памятник, — и знаете кем? Русскими женщинами. В условиях новой культуры, новой образованности, в шуме и гаме новой цивилизации, и притом будучи сам одним из великих вождей этой образованности и культуры, он вместе был не по наружности, а по существу, средневековым рыцарем в его прекраснейшем идеале — в возвышенном поклонении женщине. Но он делал это не отвлеченно, а конкретно. Он собрал и собирал всю жизнь драгоценнейшие черты женского образа, рассеянные здесь и там, раскиданные на мириадах встреченных им женщин. Как искатель золота ищет золотых блестков в золотиносном песке и, прибавляя крупинку к крупинке, получает и имеет массивный кусок металла, каким никто не обладает, так Тургенев, по крупинкам собирая идеальное в женщине, дал в совокупности своих созданий великий образ

русской девушки и женщины, и героический (Елена в «Накануне»), и самоотверженный (Лиза Калитина в «Дворянском гнезде»), и бесконечно терпеливый («Живые мощи»), и страстно нетерпеливый (Ирина в «Дыме»), но во всех проявлениях этих именно героический, поднятый над уровнем средней и пошлой действительности. Справедливо говорят и всегда говорили, что в деле освобождения крестьян от крепостной зависимости его «Записки охотника» сыграли большую роль. Но весь более сложный узор его последующей деятельности, целый ряд его романов, повестей и рассказов совершил другое и, пожалуй, не менее важное дело: он пробудил дремлющие силы русской девушки и женщины на всех ступенях общественного положения и, указав им лучшее; сказав, что он *видит в них лучшее*, толкнул их, всю огромную их массу, к подвигу, самоотвержению, к страданию за другого, к бесконечному терпению, но прежде всего и во главе всего — к образованию, к чтению, к начитанности. Многие замечают, что теперь девушки, по крайней мере в учащемся слое, начитаннее и *литературно образованнее* своих сверстников и товарищей по школе; но не все отмечают, что *нагалось* это с Тургенева, который сделал для русской женщины совершенно *невольным* чтение. Этим благородным, одухотворенным способом он сделал невозможным для них прежний бытовой покой, бытовую ежедневность и, увы, бытовую заурядность и мелочность. Он заставил женщин думать о крупных вещах, думать о крупных заботах: и пустил как стрелу с туго натянутого лука в полет, в котором она до сих пор не остановилась и, может быть, никогда уже не остановится. Это такая общественная и историческая заслуга, которую невозможно сейчас обнять умом во всех последствиях. Укажем лишь, сколько больниц и школ основано такими женщинами, сколько около народа трудится с букварем и лекарствами девушек и женщин-семьянинок, которые в *первонагальном движении* своем были выведены из инертности рукою Тургенева. Вот чей бюст или портрет должен бы украсить каждую женскую аудиторию, актовый зал женской гимназии; должен быть над письменным столом каждой учительницы и женщины-врача. А все женщины тем шумным роем, какой они имели лет тридцать назад, должны бы потребовать всероссийского ему памятника и сами первые понести на него лепты.

В особенности сейчас, когда целый ряд недоношенных литературных порошков издают такое хрюканье около женщины и так невыносимо запачкали ее образ, опоганили его, — можно сказать, «произвели гнусное покушение на женщину», — теперь именно этим огромным движением можно было бы положить предел этой гадости. Памятник Тургеневу, всеобщее движение к постановке его, знаменовало бы возвращение к тургеневским идеалам и заветам. «Однолюбие» великого писателя, эта редкая и исключительная черта, — сыграла великую, в сущности, историческую роль. Ведь эта черта и содержит в себе «рыцарское поклонение женщине»; точнее — этот удивительный и редкий феномен единственной любви за всю жизнь, любви естественно беспредельной, он и лег биологическим основанием в картину средневекового поклонения женщине. Феномен этот совершенно противоположен той рассеянности чувства, с пропорциональным измельчением его, последний предел которого есть проституция или Анатолий Каменский. Последний, как и Арцыбашев, рисует не силу любви, а бессилие любви; бессилие к любви самого человека; поношенность, потрепанность его; изнеможенное старчество под молодыми чертами нафабранных господ. Пора

этой невыносимой гадости противопоставить идеал великого сосредоточения любви, великих сил к любви. Ведь, конечно, представитель любви, представитель великого любящего сердца — есть Лаврецкий и Лиза Калитина, а не лошадь на пружинах, подобная детским конькам, названная «Саниным». Это — машинка, сочиненная нездоровым субъектом. Но лица Тургенева, как и сам он, в великом факте своей единственной за всю жизнь любви, — воспитаны были среди полей старой и строгой помещицкой деревни. Вспомним строгий, до суровости, характер его матери, и что такими же «однолюбам», как ее сын Иван, вышли и другие его братья. Это — Терек, пробивающийся через гранитные скалы, а не грязная лужа условий, где «чего душа хочет, то и получается». Но, конечно, в основе это факт благородной великой личности. ¹⁰

Личный факт, личная особенность помогла творчеству в Тургеневе. Чего не испытал — не передашь. Он лично поклонился одной женщине и, судя по письмам к избраннице его сердца, это поклонение исполнено было таких трогательных черт, каким мы не поверили бы в романе даже рыцарских времен. Когда в первый раз поставили на сцену его пьесу, то, пишет он, «когда взвился занавес — я произнес ваше имя. Его я произношу во все важные, колеблющиеся минуты моей жизни». Как это нежно, деликатно, глубокомысленно; хочется сказать — как это небесно. Сам Тургенев не был, по-видимому, заласкан избранницею, — как и рыцари часто обманывались в своих «дамах», и вообще тут больше воображения, чем действительности. Но нет великого без терновых капель крови, — по крайней мере нет священного. Удивительную любовь Тургенева мы именно можем назвать священной и по присутствию этих капель. Оговоримся, однако же, что сама способность испытать такое чувство, как и факт испытания, есть великое счастье, сообщающее необыкновенный трепет и нежность сердцу до глубокого поседения. И даже при кровавых каплях это есть все же неизмеримое счастье сравнительно с холодным салом, которое поедают иные в условиях, где «все доступно». ²⁰

Хочется, однако, сказать примирительное слово о литературе. Мы уверены, она сама винит этот сальный тон, подхваченный ею по какой-то непонятной ошибке. Нужно, чтобы тон этот не был изгнан, а был оставлен самими писателями, которые ступили на него, ошиблись и вернулись как с запутанной дорожки, которая никуда не приводит. ³⁰

Но на пути к этому возрождению каким хорошим, *оправдывающим* шагом было бы движение именно девушек и женщин к памяти Тургенева, определеннее — к памятнику великому писателю, к воздвижению этого памятника! Ибо есть подозрение у слишком многих, что женщины не без участия в Санинско-Кузьминском движении. Ну «быль молодцу не в укор», — молодцу и молодыцам. Все нужно забыть. Но забыть в делах, в движении. Никто не говорит против любви: но нужны великие формы для великого чувства, и тем более великие, чем оно священнее, жизненнее, чем это чувство есть более творящее и стимулирующее. На земле ничем не было столько *движута*, явно и тайно, — особенно тайно, как любовью: и слишком основательно воздвигнут памятник лучшему певцу и носителю и изобразителю всего спектра этого чувства. Он как рудокоп дал нам золото, — дадим ему как купцы бронзу! ⁴⁰

И. С. ТУРГЕНЕВ В 1879 г. В МОСКВЕ

Я прочел задушевные воспоминания М. М. Ковалевского о Тургеневе, — и между ними воспоминание, относящееся к пребыванию Тургенева в Москве в 1879 г. Маститый профессор не сделал маленькой оговорки, необходимой для современных *молодых* читателей, *не видевших* тех дней и не знающих о них *подробно* по истории литературы. Дело в том, что до 1879 года Тургенев стоял отчужденно и враждебно к русскому обществу и литературе, не он чувствовал себя враждебно настроенным к «своим», но «свои» были враждебно настроены к нему. Как известно, история эта началась еще с появления «Дыма», где он вывел не-
¹⁰красиво русских эмигрантов, и тянулась, все ухудшаясь, много лет. Появление «Нови», в которой он «не понял молодости», окончательно портило «симпатии». Между тем в «Нови» он сделал последнее усилие протянуть руки к молодежи. В отношениях его к русскому обществу, и даже именно к молодежи, было это обычное явление, какое мы наблюдаем в любовных историях: один гонится, другой убегает. Тургенев, друг Белинского, вынесший ссылку за симпатии к Гоголю, чуть-чуть не «виновник» — как преувеличенно говорили — освобождения крестьян, и, наконец, отмечавший в своих произведениях все вновь и вновь рождавшиеся настроения в молодежи, естественно, должен бы был сделаться кумиром ее. Не он ли обессмертил молодое движение, изваяв Рудина, Базарова, Елену
²⁰и др.? Но вот подите же: молодежь неодолимо отвертывалась от него. Он тут за-был поучение, какое сам преподавал в своей «Первой любви». Помните вы эту прекрасную, идеально настроенную девушку, которая так безумно любит почти пожилого господина, который властно и дерзко ударяет раз ее хлыстом? Он ее почти и не любит, — так, «балует» с нею. Ее любит, безумно и тайно, сверстник-юноша, сын этого властного самодура: но она и не замечает его любви, а если и видит, то это только надоедает ей. Этот «тройственный роман», где двое несчастны, а третий и «счастлив», но почти не хочет этого счастья и ищет чего-то четвертого, перед чем в свою очередь упадет «преклоненный», может быть, упадет перед дрянью, перед грязью и ничтожеством, как герой «Вешних вод», — изобра-
³⁰жает очень верно «органическое сцепление», какое наблюдается вообще в любовных историях. Но по типу любовных историй образуются и текут и сильные социальные привязанности и отталкивания. Одной из таких была история отношений Тургенева к молодежи. Молодость похожа на женственность, — как безбородые лица женщин повторяют в себе юношей до возмужалости. Молодость преклоняется не перед тем, что мягко, углубленно, нежно. Она спрашивает грубого и властного, — ищет даже оскорбляющего. Она преклоняется только перед тем, что «терроризировало» ее, даже если это очень грубо и элементарно, гладко как хлыст и бессодержательно как хлыст. Такой высокомерный, оскорбляющий писатель самой может закружить ей голову, — как это и случилось с Чернышевским и Писаревым, которые «ругались» и которые получили такие овации, такие восторги, которые и не мерещились Достоевскому и Толстому, каких никогда не видели Пушкин и Гоголь. «Сходили с ума», как 17-летняя институтка при виде майора, стучащего саблею, шпорами, и вообще ужасно стучащего и уже пережившего десятки «историй» с самыми нечистоплотными особами из прислуги. А «она»-то томится, и ей грезится «счастье с ним»...

В 1879 г. Тургенев приехал в Москву как давно покинутый и ни на что не надевшийся любовник... Но тут случился эпизод, о котором М. М. Ковалевский вспоминает как «очевидец сверху», и я позволю себе дополнить его воспоминания как «очевидец снизу» того же самого. Разница будет не в картине, а во впечатлении. И — в разъяснениях. Эпизод этот, совершенно незаметная крупинка в самой себе, имел огромное значение для Тургенева, и до известной степени он получил значение и вообще для «литературных и общественных течений». И я до сих пор не устаю размышлять, с каких собственно крупинки могут начаться большие общественные движения.

Вот что говорит М. М. Ковалевский в своем воспоминании:

«Москва почтила Тургенева овациями, когда он явился на публичное заседание „Общества любителей российской словесности“. Студенты приветствовали его на этом собрании речью, произнесенною одним из них. — „Вас приветствовал недавно кружок молодых профессоров“, — сказал студент. „Позвольте теперь приветствовать вас нам, учащейся русской молодежи, — приветствовать вас, автора „Записок охотника“, — появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения“. Далее оратор говорил о том, что Тургенев никогда не был так близок и так понятен русской молодежи, как именно в эпоху издания „Записок охотника“. Неудачная фраза, ложно истолкованная: „Вам не написать более „Записок охотника“, — несколько испортила впечатление от речи. В ней почудился как будто упрек Тургеневу в том, что эпоха 40—50 годов была им глубже понята, чем переживаемая. Тактичный ответ Тургенева рассеял, однако, это впечатление. „Я отношу ваши похвалы, — сказал он, — более к моим намерениям, нежели к исполнению. От всей души благодарю вас!“

„В конце заседания“, оканчивает М. М. Ковалевский, Тургенев снова были устроены овации. И вообще все пребывание в Москве было его сплошным триумфом, беспокоившим даже полицию... Тургенев читал отрывки из „Записок охотника“ на музыкально-литературном вечере, устроенном в пользу студентов».

Эпизод этот потому имеет чрезвычайное значение, что начиная с него «симпатии молодежи вернулись к Тургеневу», и вообще «общество русское подняло Тургенева на руки» и уже не швыряло его в грязь, как бывало, — до могилы. Это утешило великого старца на склоне лет, да и в «общественных течениях» произошел как будто поворот в сторону «признания художественности» в литературе, в поэзии, который чрезвычайно много подготовил во всем том, что вскоре случилось при открытии памятника Пушкину в Москве. Ковалевский прибавляет в воспоминании: «Москвичи засыпали Тургенева всевозможными приглашениями, и сами без устали навещали его. Ивана Сергеевича никогда нельзя было застать одного: он всегда был окружен бесчисленными поклонниками и поклонницами. Кончилось все это московское радушие довольно печально. Переутомленный, Тургенев свалился в постель и едва выбрался за границу».

Очевидно, — произошел «переворот» в отношении к Тургеневу.

Точкой, откуда началось все движение, был эпизод в заседании «Общества российской словесности», и именно эту «точку» образовала речь студента, обращенная к Тургеневу. Что это так, можно видеть из того, что М. М. Ковалевский, принимавший, очевидно, ближайшее участие в «возрождении Тургенева», не упоминает ни об одной из профессорских речей, и вообще ни о каких речах, а эту, выслушанную 27 лет назад тому, цитирует довольно точно.

В заседании этом присутствовал я, филолог Московского университета 2-го курса. Я был на хорах, пробрался в 1-й ряд и все видел и слышал. Из присутствующих помню только сидевшего в 1-м ряду кресел адмирала Шестакова, — фамилию сказали, когда я спросил. Шестаков был «герой турецкой войны», и я, недавний гимназист, впервые видел «военного героя» и с любопытством его рассматривал. Остальных я никого не знал и ни о ком не любопытствовал. Внизу было море дам и мужчин. Светло, нарядно, восхитительно. Конечно, — пришел я увидеть Тургенева.

10 Глухим ухом, конечно, я знал, что Тургенев «не любим», «в опале» и проч. Но ведь что за дело *каждому единично* до «опалы» или, напротив, до «любви» к писателю? Единично каждый читает *для себя* и будет читать хорошего писателя, хоть бы его все прокляли, как не будет читать другую бездарность, хотя бы «все» ее превозносили до неба. Я думаю, так и каждый. «Хороших» просто и все читают, без рассуждений, и без отношения к «признанию» и «отвержению». Тургенев был хороший писатель: и его без «охов» и «ахов» все спокойно читали, и всегда читали. Т. е. самая «потеря репутации Тургеневым», я думаю, была иллюзией, основанною на том, что его «обругали» 3—4, может 30—40 рецензентов, с которыми не согласились их читатели. Но «не согласившиеся» читатели естественно не печатали о своем несогласии, а «ругавшие» свою ругань напечатали: и получила иллюзия, что «Тургенева ругают в России», когда его любили, читали, не восторженно, но с уважением и спокойно.

И вот, как сейчас помню, на эстраде появилась его огромная фигура, с таким прекрасным лицом, с лицом благородного русского крестьянина. Он был не наш, не нашего времени, не только по сединам, но по всему складу фигуры и лица. Таких между публикою никого не было, ни одного. Точно это вышла перед «наше время» фигура из «Записок охотника», какой-нибудь Касьян с Красивой Мечи, только одетый в сюртуке, изящный, образованный, культурный и уже постаревший. Я удивился его большому росту: портреты при «Сочинениях» не давали этого впечатления. Он сел и прочитал, помнится, «Бурмистра». Читал ничего себе, но не очень хорошо. И самый «Бурмистр» был тоже «ничего», но не больше. Я разглядывал и расспрашивал о Шестакове. Ведь еще вчера я был гимназист. Но сердце сильно билось и я был в восхищении, что вижу Тургенева. Так близко, вот рукой подать: «А такой великий и его знает вся Европа». «Неужели Европа знает? А между тем я его вижу».

Что-то было еще. Кажется, приветствовали. Я смотрел на Шестакова: такое важное, серьезное лицо. «Вот они, исторические люди. Должно быть, такие все».

Но затем я помню уже чрезвычайно ярко, ибо «смычок ударил по нерву». И вел по нему минут пятнадцать...

40 Около Тургенева очутился огромный венок, аршина (я думаю) полтора в диаметре, а держал его, или придерживал, поставив краем на пол, — студент такого же огромного роста, как Тургенев. И Тургенев встал против него. Но студент не очень обращал на него внимание, а говорил он публике, обращаясь к Тургеневу лишь настолько, чтобы показать, что говорит «по поводу его», или «по поводу вот этого господина, знаменитого писателя». А еще точнее и уже окончательно верно было то, что он говорил собственно и не о Тургеневе, и не к публике, а говорил о себе, и к себе же: но в присутствии публики и Тургенева, делая их участниками и зрителями торжества, какое он устроил себе самому. Фигура его была

гибкая, могучая; шея тоже гибкая. Одет без растрепанности, скорее франтик. Лицо без растительности, или чуть-чуть бородка и усики. Но всё — жилистое, сильное, и заметно было, что этот атлет и, может быть, гимнаст *физически* в высшей степени господствует на эстраде, около этой старости «40-х годов», каким был Тургенев и, может быть, еще другие на эстраде и прямо перед нею. Вероятно, тут был и Юрьев-старец. Но его я не знал в лицо.

— Иван Сергеевич! — франтовски понесся по зале высокий фальцет... «Иван Сергеевич!..».

Затем, мне кажется, М. М. Ковалевский передает слова его буквально точно. По крайней мере, когда я прочел их в его «воспоминании», — мне показалось, ¹⁰ точно я их сейчас слышу. Он и ставит слова в кавычки как буквальные. Выражения, обороты речи — те самые. Отчего это так запомнилось у Ковалевского? Вероятно, от того же, отчего и у меня. Но он как наблюдатель и *профессор* следил более за делом, за буквой, а я как студент, *от имени которых говоривший говорил*, был поражен общим, поражен тоном и вообще «всем, что делал этот господин от имени нас, т. е. и от моего имени...».

Как только понесся его высокий фальцет, а сам он чуть не наступил ногой на голову Тургеневу, душа у меня куда-то глубоко-глубоко спряталась, от страха, что он будет дальше говорить, и от стыда за то, что он уже сказал и сделал. — «Боже мой! Что же это подумает Тургенев, кого они выслали?». «И что подумает ²⁰ Шестаков, у которого сделалось лицо так серьезно и презрительно». «Да разве мы так любим Тургенева? Да он отец нам, дед, он в миллион раз образованнее всех, а этот от нашего имени сел ему на шею и едет на нем как Илья Муромец на жеребеночке. Какой позор! какой позор!».

Буквально я не смел поднять головы:

— Кто выбрал?

— Не знаем (окружающие студенты).

Слушать что же было. «Я», «мы»... Мы, учащаяся молодежь, вас, Иван Сергеевич!..».

Кажется, было даже то обидное, что отметил Макс. Мак. К-й. «Какой дурак! ³⁰ какой дурак!» — стискивал я голову между ладонями. Речь была очень длинная. Именно, «вы уже не напишете вторых „Записок охотника“», сказанное тоном человека, который и в «Записках»-то учуял только тот единственный факт, что вот «было крепостное право», новость уже не так поразительная для всех, да и вообще-то никогда, никогда он, очевидно, не любил и не понимал литературы, и до Тургенева, в свою очередь, ему никакого дела не было; да, чтобы сказать окончательно — и до самого «освободительного движения» ему тоже не было дела... «Ну, а что же?» — спросит читатель. — «А черт знает, что: одно из русских явлений. Ни начала, ни конца. Ни причины, ни последствий». Но *последствия*-то были, и я от того и пишу это воспоминание, что решительно тут для меня вскрылся ⁴⁰ один уголок истории, и начинаешь понимать или, пожалуй, окончательно начинаешь не понимать, что откуда происходит... Видишь, что история есть просто... факты, факты, факты, высыпаящиеся из какого-то «рога изобилия» или из бездонной пропасти небытия, как что-то совершенно *новое, неподготовленное*.

«И пошла писать губерния...». Но я договорю сперва о впечатлении, о физике уха и глаза...

Я не враг ни молодежи, ни молодых речей. На митингах перед 17-го октября, отчасти и позже, один раз на вечере у г-жи Полонской («Пятницы в память По-

лонского»), один раз в редакции журнала «Вопросы Жизни» и на одном «банкете» также перед 17-м октября мне пришлось выслушать 4–5 речей, сказанных молодыми людьми и молодыми девушками не старше 22–18 лет, с таким достоинством, силою и красотой, что я подобного не слышал ни из уст профессоров, ни с судебной кафедры, ни в Г. Думе, не исключая таких «корифеев», как Родичев, Петражицкий, Ледницкий, Аникин и проч. Особенно меня поражало спокойствие и что-то духовно-аристократически <зачеркнуто: благородное> в этих частях «митинговых», частью «так, среди собрания» речах... Итак, я не враг молодых «выступлений». Но чтобы быть красивыми и наконец даже быть обаятельными, — что я испытал в 4–5 случаях, — они должны быть непременно скромнее, не «смирненны» противным семинарским смирением, а именно скромнее общечеловеческою скромностью; <Рукопись не окончена.>

80-ЛЕТИЕ РОЖДЕНИЯ гр. Л. Н. ТОЛСТОГО

Сегодня вся Россия празднует 80-летие рождения гр. Л. Н. Толстого, творца «Войны и мира» и «Анны Карениной» и множества других произведений, которыми с Россиею зачитывается и весь свет. Фигура, образ его, произведения его, весь труд его жизни говорят о неисчерпаемых возможностях, которые заложены в русском духе и в русской земле. «Вот что *может* же рождать русская земля: отчего же она в прочем и вообще рождает столько бурьяна, приносит такие тернии», — спрашиваешь себя и не находишь ответа. Ссылка на «общие условия» и «внешние обстоятельства» не глубока: правильнее, что мы все и каждый из нас не умеем работать над собою. Пример великой работы дал нам Толстой. В этой работе не все одинаково ценно. Многие отомрет в ней, отвалится; отвалится именно то, что не исходило из любви, что было результатом желчной критики и осуждения, результатом раздражения. Но эта работа Толстого, пытающаяся быть разрушительною, не главная в его деятельности. Она только *показана* как «главная» шумною рекламою вершковых «разрушителей», которые уцепились за ногу Толстого, сами не имея никакой силы и хорошо зная, что их одних никто не станет слушать. Для всей России видна другая истина: Толстой сам же, в «Войне и мире», дал такой образ России, столь величественный и вместе привлекательный, что как бы позднее и он сам ни критиковал его и что бы другие о нем ни говорили, это все уже не может ни зачеркнуть, ни дать трещины в могучем изваянии. Не выдумана же Россия «Войны и мира». А если она не выдумана, то мы хотим остаться жить с нею, даже без очень больших переделок. Конечно, это не исключает необходимых починок. И вообще уважение к родине не есть призыв к квиетизму, самодовольству и ничегонеделанию. Но охотно пахать можно только на земле, в которую веришь.

Толстой гораздо раньше своей критики научил нас верить в русскую землю, показав в художественных образах невыразимой прелести все своеобразие и все разнообразие, всю глубину и всю красоту русского духа, от дворцов до деревенских изб. В «Войне и мире» и «Севастопольских очерках», в «Казаках» и «Анне Карениной» он показал этот дух простым и ясным, добрым и выносливым, чуждым мишуры, рисовки, риторики и ходульности.

У гр. Л. Толстого были средства живописи: однако ведь предмет-то для живописи дала русская жизнь, русский народ, русский дух и русский быт. Они вдохновили Толстого. Вот все, что нам нужно знать, чтобы сохранить веру в свою землю и удержаться от присоединения к резкой критике против нее, откуда бы она ни раздавалась.

Но оставляя эти споры, на которые вызывают люди, злоупотребляющие именем Толстого и едва ли что понимающие в его великом искусстве, мы сосредоточиваемся на этом искусстве. И здесь, уже ничем не задерживаемые, мы сливаемся с тем удивлением и уважением, какое в этот день принесет Толстому Россия и весь образованный мир.

С необыкновенным проникновением он взглянул на душу человеческую и, постигнув ее до величайшей глубины, какая доступна, дал изображение русской жизни уже как последствие этого постижения. В этих двух половинах выражается то главное, что внес Толстой в литературу. Он есть несравненный психолог; он есть несравненный живописец быта. Но второе у него вытекает из первого. И только от этой зависимости и связи рисовка быта получила под пером Толстого такой исключительный интерес и важность. Все до него, Островский, Гончаров, Тургенев, подносили освещающий фонарь *отсюда*, от себя, как бы с улицы: способ их освещения был способ зрителя, наблюдательный, наружный. Толстой как будто заставил зажечься внутренний фонарь в человеке и дал зрителям возможность видеть все его внутренности и ткани, биение его органов и все в нем процессы через этот особенный, мудрейший, труднейший способ освещения. Достоевский делал то же, но он делал это с человеком или ненормальной природы, или ненормального положения. Толстой каким-то инстинктом сторонился от всего ненормального; он дал изображение нормального человека и нормальных положений, но положений всяческих, всевозможных. И через это труд его получил неиссякаемый интерес для всего нормального человечества, т. е. почти для всего человечества.

Вот главное. Если мы спросим себя о роднике этого, мы можем только догадаться и сказать, что, судя по «Детству и отрочеству», куда вошло много незамаскированно автобиографического, Толстой уже с очень ранних лет был как бы испуган нравственной ответственностью души и погружен вообще в загадки и волнения, в падения и просветления человеческой совести. Как будто он постоянно нес нравственную муку или, во всяком случае, нравственный труд. Но над чем мы постоянно трудимся, то мы узнаем до небывалых подробностей. Труд превращается в постижение. Толстой, перенесший необыкновенный, исключительный труд над совестью своею, постиг в мельчайших изгибах и в самых сокровенных уголках движения души, поползновения души, зародыши греха в ней, слабости ее, софизмы, обманы и самообманы. Он гнался за душой, как гончая за зверем, соединяя в себе и охотника, и жертву. Он был вечным исповедником себя, неумолимым судьей. Конечно, это открыло ему жизнь только собственной души. Но во всех людях живет собственно одна душа, и один в ней закон: и только закон этот разнообразится до бесконечности в разнообразных положениях и от разнообразных столкновений. Но уже не трудно, поняв *суть*, объяснять подробности. Через громадный внутренний опыт, через постоянный самоанализ, Толстой сделался великим сердцеведцем. А великие художественные дары, бывшие в нем вне связи с этим самоуглублением, повели к тому, что все это вырази-

лось в серии романов, повестей и рассказов, давших XIX веку, в соответственных литературных формах времени, то самое, что дал Шекспир XVII веку.

Толстой завершил русскую реалистическую литературу, довел ее до апогея. В том же направлении, по самой сути дела, доведенного Толстым до *безошибочности* и полного постижения, нельзя сделать ничего большего. И некоторая растерянность и бессилие новейшей русской литературы находится в связи с этой *завершенностью, окончательностью и оконченностью* определенного ее фазиса. С тем вместе от узкого национального значения Толстой больше других возвел русскую литературу к всемирному интересу и значительности. Так обыкновенно и бывает с заключительными фразами национальных явлений: они получают всемирность. Таким образом, Толстой ввел русский дух в оборот всемирной культуры, во все коловращения ее.

Вот все, что мы находим нужным сказать в этот хороший русский день. Мы удерживаемся от похвал, от восторгов: все это банально и едва ли кому нужно. Дело говорит само за себя, юбиляр слишком много сказал от себя и о себе, — начиная с «Исповеди». Да и другие его произведения, начиная с «Детства и отрочества» и кончая «Крейцеровой сонатой», слишком явно пропитаны личным началом, этим *исповедным* характером, который мы в нем отметили. В смысле же похвалы и восторга и наша, и всемирная печать уже сказала все, что можно. Толстого остается просто читать, изучать и любить, — остается *понимать* его, как он нас *понял*: и мы убеждены, что чем более он будет пониматься обществом и народом в необозримых *подробностях его произведений*, в частностях их, даже, наконец, в мелочах их, — тем более будет зреть общество и все читающие от этого понимания. Толстой есть серьезнейший писатель: и всякое к нему прикосновение всегда будет возвращать человека к серьезному.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

С сверкающими глазами и счастливым лицом девушка лет 24-х подняла голову над небольшим истрепанным томиком, который лежал перед нею на чайном столе. Минуту она молчала и заговорила:

30 — Как хорошо... Нет, не это... Как хорошо, что я *живу в это время, когда могу читать* «Войну и мир». Как я счастлива этим чтением. Как счастливо совпадение, что я вот живу, когда Толстой пишет...

Глаза горели радостью. Я взял книгу, чтобы посмотреть, на каком месте девушка так заволновалась. Шли страницы, разговоры, события, когда Ростовы переезжали из оставленной Москвы в Ярославль, когда умирал кн. Андрей Болконский, и Наташа, вся измученная раскаянием, любовью и сожалением, рвалась ухаживать за умирающим. Да, лучшие сцены. Впрочем, лучшие ли? С французской записочки, которою фрейлина двора Александра I приглашает к себе на вечернюю чашку чая своих друзей в Петербурге, которою открывается роман, и до конца его все как хорошо... А Анатолий Куракин?

40 «— То-то философ, — подумал Пьер, увидев его.

Анатолий, подбоченясь и запахивая бобровые лацканы, проезжал около Пречистенского бульвара». Это было на другой день после того, как он хотел похи-

тить Наташу. «Что с ней *теперь*», — мысль эта нисколько не приходила на ум Анатолю. Да к нему и вообще не приходило никаких мыслей. Он просто жил.

Его ранили в ногу под Бородином. Ногу ампутировали, в тогдашнее бесхло-роформное время. Взяв отрезанную ногу в руки, он заревел:

« — Ой, ой! ой!..».

Да, было отчего девушке засверкать глазами. Не скажем ли мы и все вместе с нею:

— Как мы счастливы, все наше поколение, что жили в пору, когда писал Толстой. Сколькими мыслями, идеями он взволновал наше существование. А читать его, а впечатления при чтении — это точно *путешествие!* Странствуешь по жизни человеческой, по судьбе человеческой. Наконец, странствуешь по душе человеческой, которая так же сложна и извилиста, как и рождавшаяся из нее человеческая жизнь. Мы все поумнели с Толстым, мы все помудрели с ним. И маленькая жалость шевелится в душе, что деды и прадеды наши, что Пушкин, Лермонтов и Гоголь не читали Толстого. И они разделили бы наше восхищение; и, кстати, любопытно, что бы они подумали, что сказали бы о нем и им написанном?

Я потому начал с передачи живого впечатления, вот-вот сейчас при чтении, какое мне пришлось удачно увидеть, что *в живом впечатлении* выражается вся суть литературы и вся ее значительность, гораздо важнее, чем все мысли «потом» и вообще все, что «потом». «Потом» уже зависит от нас, от богатства или бедности нашей души. А «свежее впечатление» — это только он, Толстой: тут его образ горит, как горит луч солнца в капле воды, его воспринявшей.

Это впечатление, это горение необыкновенно ярко и счастливо. Так сказала девушка, и я хочу полно сохранить вырвавшееся у нее восклицание, находя, что это очень верно передает действительность. Да, *счастье* читать, счастье видеть этот огромный узор, картины и картины — в этом и лежит главное, почти даже все, что дал и что завещает потомству Толстой. Все остальное — приложения, прилагаемое; и оно уже вполне зависит от того, что мы переживаем некоторое *счастье*, когда читаем Толстого.

И подумать, что долго-долго поколения русские будут испытывать то же... Мне кажется, сам Толстой этим сознанием, этим чувством должен быть необыкновенно счастлив. Ведь он добрый человек: и думать, *видеть*, что столько удовольствия разливается для всех просто от его существования, от того, что он пишет — это значит получить самому величайшее наслаждение, к какому способно духовное существо человека.

Что там «долг», «подвиги», карабкаться на высокую гору добродетели. Все это хорошо, когда есть силы; все это хорошо для сильного, при силах. А кто же бедному человеку даст силы? А вот и дает ему просто удовольствие — удовольствие без «дальнейшего». После удовольствия точно теплое что-то побежит по жилам, потянешься, крикнешь и скажешь: «Ну, давайте, какие там есть у вас подвиги? Все переделаю. Силушки хватит». Что такое *порок*? Несчастье, слабость. То состояние усталости, которое настает для бессильного человека даже после крохотного дельца, и родит большинство плохих дел, дурных мыслей и чувств. Порочные люди суть слабые, предсмертные люди; они суть тоскующие, унылые. Дым, копоть в душе; дым, копоть внутри. Что их разгонит? Яркий луч солнца, хороший ветер. Роль этого ветра и солнца играют для несчастного, ослабленно-

го, грешного человека вот эти праздники, вот это счастье, вот эти удовольствия: и кто родит их, кто дает их человеку — поистине делает больше, чем все десять и сто и сколько угодно заповедей. Ибо суть дела, конечно, не в заповеди, а в силе исполнить ее: а силу дает тот, кто дает удовольствия.

Это противоречит несколько «моральному учению» Толстого последних десяти-пятнадцати лет. Но, признаюсь, как его художество родит во мне солнце и ветер, сушит мою душу, освежает ее, поднимает ее: так после чтения моральных его трактатов душа моя тяжелеет, сыреет, точно набирается дым во все ее щелки, и я почти с плачем говорю: «Ничего *не могу*. Не только подвигов, вот чего хочет Толстой, но и вообще ничего. Я устал. Устал от чтения. И если попадетя на глаза ближний, то я просто от усталости сделаю ему скорее каверзу, чем что-нибудь порядочное. Мне самому нехорошо, ах, как нехорошо: и мне решительно все равно, если и еще кому-нибудь, кроме меня, тоже нехорошо. Не хочу и *не могу* делать никакого добра».

А после чтения «Войны и мира» просто побежишь и сделаешь добро. После этого чтения даже хорошо умереть за отечество или для отечества. Все хорошо и все легко. А оттого, что счастлив. А у счастливого сил вдвое. Мораль Толстого вынимает силы; художество двойит их. И от того, хотя это и похоже на каламбур и остроумие, но есть сущая правда: аморальные первые произведения Толстого, мне кажется, ведут человека к добру, а поздние морализующие сочинения или никуда не ведут, или (как я в секрете думаю) ведут к худу.

* * *

Хоть и не хочется, а продолжу чуть-чуть эту мысль. Всякая мораль есть оседлывание человека. А оседланному тяжело. Поэтому оседланные или моральные люди хуже неоседланных; именно — они злее, раздражительнее их. Злоязычны и козненны, укусливы и хитры. Так уж Господь Бог сотворил спину человека без приноровления к седлу. Оттого, что человек и просто без седла если и не хорош, то ничего себе; а иногда даже и великолепен. Перенесем небольшие неудобства от его неоседланности, чтобы увидеть и наконец воспользоваться тем великолепным, что иногда, хоть изредка, он дает просто от избытка сил в себе и от своей прекрасной, в общем лучшей, нежели все в природе, натуры.

* * *

Возвращаюсь к счастью и яркости толстовского луча, который горит в нас. От чего это зависит?

Я думаю, главное, что дано Толстому, — это хороший глаз. Хороший глаз, дополнивший богатую душу. Тургенев где-то описывает, как Фет-Шеншин ел землянику со сливками: «у него ноздри раздулись от наслаждения». Значит, хорошо была развита обонятельная и вкусовая сторона у человека; наименее думающая сторона, из которой наименьше можно чему-нибудь выучиться. Напротив, глаз нас вечно учит; глаз — вечное поучение. Конечно, если он хорош. Хорош не в оптическом отношении, а вот в каком-то умном. Есть умный глаз, есть думающий глаз. Мне кажется, художество Толстого в большой доле объясняется чудным

глазом, каким он одарен был от природы. Этот глаз мне представляется никогда не сонным, не сонливым, почти не смежающимся и захватывающим далекий горизонт, обширное поле. Но это только первая фаза, начальное качество. Чтобы хорошо помнить кое-что, надо отлично забыть другое. Вообще способность выбрасывать из души так же почти важна, как и способность забирать в душу. Неусыпный и широкий глаз Толстого, охватывающий громадную панораму, обнаруживает главный свой ум в том, что отшвыривает все неважное, все ненужное, все *ему, Толстому*, не интересное; это делается моментально, каким-то волшебством. И в поле зрения Толстого уже немного предметов, между которыми и вокруг которых как бы черная ночь (хорошо забытое, выброшенное): но они среди этой ночи сияют необыкновенно ярко. Тогда, имея эти несколько точек внимания своего, Толстой как бы ввинчивается в них глазом до самого дна, до «души», и как бы гипнотизируется своим предметом, становится совершенно пассивен, бессилен, безволен в отношении его. Предметы живут в нем, как хотят, как «сами»: Толстой точно не может сделать ничего в отношении их; здесь природа глаза, просто как оптического органа, владычествует своею частичною психикою над общею психикою его как мыслителя и человека. Я хочу сказать, что каждый наш орган имеет маленькую свою «душку», — независимую от общей большой души человека, не абсолютно подчиненную ей, а иногда даже обратно подчиняющую себе эту большую душу. «Душка» глаза у Толстого настолько талантлива и сильна, что когда он смотрит на предмет, — то качества глаза, зеркальность, отражаемость, подчиняют и парализуют мысль Толстого, чувство Толстого. Это совершенная противоположность Достоевскому, который, захватив клоч действительности, увидев образ человека, — уносил его в свою душу, и здесь производил с этим захваченным «свои эксперименты», ломал, коверкал и искажал эти предметы по законам всегда и только своей души. Таким образом, у Достоевского верно и реально в каждом выведенном лице или положении только одна точка, всего только одна, правда, — главная; все прочее — фантазия, жизнь души самого Достоевского. От этого все, что «делают» его герои, — совершенно фантастично и неправдоподобно, хотя кажется ужасно верным, жизненным: это оттого, что сам Достоевский, художественно активный писатель, влил и в них необыкновенно много своей психики. Но именно своей, а не *их*. Толстой очень активен как мыслитель. Он неустанно думает. Но как художник — он страшно пассивен: он именно — *зеркало*, в котором предметы отражаются «сами» и «как они хотят». От этого судьба героев и вообще «что они делают» у него не только правдоподобны, но и вообще верны, «как бывает». Достоевский — зачинатель, Толстой — вынашиватель. Именно, как заметил лучший его критик, Константин Леонтьев, что «изучать реальную жизнь или изучать ее по произведениям Толстого — это все одно». Есть телескопы особенного устройства, в которых астроном смотрит не прямо на небесные светила, а рассматривает их отражения в абсолютном зеркале: и это — все одно, как если бы он смотрел на светила. Вот радость и счастье и поучительность чтения Толстого и вытекает из того, что, читая его, мы испытываем впечатление знакомства с настоящей реальной жизнью. Не выходя из комнаты, не вставая с кресла, мы не только видим, но и как бы соучаствуем жизни далеких людей, частью — давно отживших, — людей интереснейшего склада души и с замечательною личною судьбою. Мы мудреем, умудряемся. И мы в то же время восхищены.

* * *

Я высказался отрицательно о моральном учении Толстого. Это в смысле «седла». К счастью, оно не одно: он выработал целый ряд седел, и ни об одном прежнем не жалел. Это все и сберегает в его личности, что он так же талантлив на забвенье, как и талантлив в находках, или, вернее, неумолим в находках. «Много седел» уже не удручает душу; читатель и в конце концов Россия могут остаться совершенно свободными от давления мысли Толстого; и в то же время перед Россией, перед потомством и нами остается прекрасное и, наконец, великое зрелище человека, жизнь которого была в каждом шаге его — делом, усилием, трудом, старанием. Г. Сергеев написал книгу «Как *живет и работает* Толстой». Очень удачное заглавие. Эти две рубрики, сливающиеся в одну: «*жить* — значит *работать*», так и останутся за Толстым, как его девиз, и еще лучше как его завещание, прекрасное и единственное в смысле «заповеди» — какое он оставит потомству. Вот этого «седла» не надо скидывать: да оно и не тяжело, не давит по его чрезвычайной обширности, по безбрежности его границ. Ибо уже *как* работать и *над тем* — это мы можем сами выбирать. Здесь не гасится в нас *лицо*, не подрезывается в нас воображение, как оно подрезывается всеми правилами благонравного поведения.

Жизнь Толстого по его вечному усилию к *лучшему*, притом усилию не трафаретному, не постному, не мертвому, а состоящему из живых эмоций волнующегося, взволнованного человека, явилась зрелищем столь же привлекательным и поучительным, как и литературные произведения Толстого. Он потому привлек взоры всего света, что он так же интересен как человек, как и все написанное им. Ведь ясно, что вечно выделявая *для других* «седла», сам он не несет никакого. Эта внутренняя свобода и сделала то, что он без сожаления бросал свои теоретические построения, когда они были явно неудачны; бросал их, да и насколько не скрывал ни от кого, что сам нимало не следовал своим «правилам». Известно, что вскоре после появления «Крейцеровой сонаты» он сделался «опять отцом» — кажется, в девятый или одиннадцатый раз, и, конечно, не испытывал от этого ни уныния, ни раскаяния. — «Ну их, правила», как сказал бы Пьер Безухов в «Войне и мире», который через час после того, как дал обет Богу и душе «чисто провести эту неделю», поехал кутить или играть в карты с подвернувшимся приятелем, кажется с Долоховым. Кстати, этот Пьер, более широкий, более несущий в себе натуры, нежели Левин «Анны Карениной», выражает, как и Левин, сущность Толстого, есть его автопортрет. И до чего этот Пьер в своих вечных переменах остается всегда верен самому себе, всегда похож на себя, всегда тот же в главной точке своей личности — вечной *живучести!* И не то что прощаешь ему эти перемены: но в них-то мы и любим его, любим почти за них. Можно сказать, что мы во всей литературе не знаем еще лица, в котором показана была в этом привлекательном виде слабость человеческая: ибо ведь все-таки не держать своего обещания, быть непостоянным — это слабость.

Слабость, а так *хорошо*: подите вот и упорядочьте человеческие суждения, приведите их в систему, сведите к одному знаменателю. Никаких знаменателей!

* * *

Я видел Толстого один раз в жизни. Мне показалось скучно жить и, может быть, умереть, не видав и не увидев вовсе самого замечательного человека своего времени. Дом пустынен. Он мне не понравился. Нет того «уютя», которым красится всякий дом. Как будто в этом доме что-то ломалось, кого-то ломали и не переломили, или кто-то ломал и тоже не переломил: и борьба задержала развитие и вместе испортила покой. Передаю это впечатление свежего человека; и читатель не осудит, что я не пишу: «все было великолепно» и «я был восхищен». Великая жизнь не может не носить в себе трагедии, и жизнь Толстого наполовину утратила бы в себе ценности, если бы он только «ломал все», например, в общественной, в *гужой жизни*, не тронув соломинки в общественной *<собственной>*. Борьба идей и жизненных движений, «туда», «сюда», шла около самого плеча его: и уже где столько боролись, мебель не может стоять особенно в порядке. Портреты на стенах покосились, и, очевидно, за ними «не наблюдают». Мебель тяжела и неудобна. Да, кажется, ее и мало. Нет этих безделушек, ковров, низенького сиденья, где нужно, и вообще всего того, взглянув на что, скажешь: «Как здесь *тепло!* Верно, здесь живут *счастливые* и *милые* обитатели». Этого впечатления нет; веет суровым. Поезд приходит на ближайшую станцию очень рано, и мне пришлось долго ожидать, пока «вышли»... Сперва вышла Софья Андреевна, вся сильная, красивая (несмотря на 59 л.), умная; вышла, как буря. Не умею иначе сравнить впечатление. Конечно, она говорила не громко; конечно, не сказала ничего резкого. «Буря» была внутри ее, как источник скрытых, не выраженных движений, как родник возможностей. Она мне очень понравилась, чрезвычайно. Все красивое и сильное мы невольно любим. Так как я специалист по семейному вопросу, то она мне сообщила, что у нее было (кажется) четырнадцать детей и она сама их всех выкормила. Конечно, она сделалась еще привлекательнее в моих глазах; русская, она мне показалась как бы римлянкой, патрицианкой. «Настоящая патрицианка». С тем вместе в ней было столько твердости и непоколебимости, такое отсутствие «быть или не быть», — что хотя она и строгая церковница, уверенная и отчетливая, — но тайны Иисусовой как бы вовсе и не приходило на землю до нее и для нее. Римлянка II—I века до Р. Х.

— Прекрасна. Но вся — *земная*.

Так я подумал.

Дверь, где-то в углу и далеко, тихо отворилась: и когда я повернулся, я увидел небольшого, некрасивого старичка в сером халате, — близком к арестантскому, больничному или мужицкому, — который шел через комнату. В глазах нет решимости, во всей фигуре скорее что-то стесненное, робкое или застенчивое. Как Софья Андреевна всю фигуру говорила: «Я вас обвиняю», «я весь свет обвиняю», так эта новая фигура будто говорила: «Я обвинен», «я всем светом обвинен; и кроме того, я виноват, и сам знаю это, но, как христианина, прошу вас не говорить об этом...». Вошло что-то тихое, будто безвольное, не ломающее. Никак я не мог сообразить долго, что это — Толстой.

Мы поздоровались. Все было то, «как следует», о чем нечего писать. Толстой был совсем болен. Это было года три или четыре назад. После обеда с ним случился длинный обморок. При нем жил доктор — поляк без Польши и польского; по правде, единственный поляк, который мне за всю жизнь понравился. Он меня

принял за «толстовца, приехавшего поклониться учителю», и сам был толстовец: но не дальше края волос, или не дальше того ремингтона, на котором без усталости переписывал его «запрещенные, особенно важные» сочинения. Но при поездке на прогулку после обеда он мне такое сказал, уже от себя и свое, что я его до могилы не забуду как натуру истинно-прекрасную и благодарную, вне всякого толстовца и вне зависимости от Толстого.

Но это прекрасное — вне темы теперешнего моего очерка. Когда мы вернулись с прогулки, мы и застали Софью Андреевну всю в тревоге: сердце временно ослабло у Толстого и он впал в обморочное состояние. Прошли часы; и часом в девять он позвал меня к себе в кабинет. Здесь я увидел его совсем другим. Сил физических, очевидно, не было: он сидел, глубоко ввалившись в кресло. Но по мере того, как разговор оживлялся и касался более и более интересных тем, церковной, религиозной и семейно-брачной, — он все оживлялся и уже был подобен вулкану, выбрасывавшему из себя лаву. Возле кресел была палочка, на которую, вставая, он опирался: шевеля ею больше и больше, он с середины разговора уже махал ею тем кругообразным махом, как делают юноши на прогулке «от избытка сил». В этот раз он сказал много бесконечно интересного. И только в этот раз я заметил то, откуда, собственно, вырос *весь Толстой*, и *поэтому* он всем нам так безотчетно дорог. Шел разговор на темы литературные или идейные и прямо не касался русского народа. Но при обсуждении этих тем надо было сослаться на то или другое мнение, на чужой голос. И приходилось ссылаться (иногда) — просто на народное воззрение. И вот тут-то я и заметил, вне всякой темы, побочным образом, — такую безмерную привязанность Толстого к русскому народу, ласковость, нежность, и вместе что-то покоряющее в отношении его, сыновне-послушное, что я не мог не подумать:

— Да! Да вот секрет Толстого. Мы все умничаем над народом, ибо прошли гимназию и университет; ну, и владеем пером. Толстой один из нас, может быть один из всей русской литературы, чувствует народ как великого своего Отца, с этой безграничной к нему покорностью, послушанием, с каким-то потихоньку на него любованием, потому особенно и нежным, что оно потихоньку и будто кто-то ему это запрещает. Запрещает, пожалуй, вся русская литература «интеллигентностью» своею, да и вся цивилизация, к которой русский народ «не приобщен», и даже, пожалуй, Шекспир, описывающий своих великолепных англичан с кровавыми Ричардами и философствующими Гамлетами. Он *именно за русский народ* ткнул в бок и Шекспира: «как это можно любить другую Дульцинею, чем какую любит яснополянский мудрец». Сказалось это у Толстого, при ссылках на народ, через слова о том, «что он видывал» у народа; слыхивал от мужичка, от монаха, от попа — все от простецов, и все не разделяя, без чина и звания. Он ценил самую кровь русскую; самый мозг русский, а не то чтобы «в армяке и зипуне». Этого пристрастия и исключительности не было. Он любил всего русского человека, во всем его объеме. И любил... как маленький мальчик, которого ведет за руку, ведет куда-то, в темь, в счастье, в тоску, в бесконечность огромный великан-папаша, с бородой седой до земли, с широченными плечами, с шагом по версте... А он бежит около него, и любитесь, и восхищен; и плачет — плачет внутренними слезами от счастья, что у него папаша такой чудный и странный и мудрый и сильный...

Не знаю, много ли я ошибся. Впечатление ложилось такое.

ТОЛСТОЙ МЕЖДУ ВЕЛИКИМИ МИРА

Толстой имеет для нашего народа и в нашей цивилизации то же положение, такое же значение, какое — будем перебирать с севера — имеет для Швеции Линней, для Англии — Шекспир, Бэкон или Джон Нокс, для Дании — Торвальдсен, для Германии — Гёте, Меланхтон или Цвингли, для Франции — Мольер или Кальвин, для Италии — Данте или Савонарола, или Микель-Анджело, или Леонардо-да-Винчи. Читатель удивится, и я тоже удивляюсь, написав этот пестрый список имен. Между тем он не случайно попался под перо, и нет имени, над которым я не подумал бы, сопоставив его с именем Толстого. Наибольшее удивление вызовут научные имена Линнея или Бэкона, или имя такого ортодоксального католика, как Данте, особенно около имени такого еретика, как Кальвин. Но обо всем подумано. Правда, Толстой плохо учился в университете, следы и признания чего мы находим в его рассказе «Юность»; правда, он обнаружил под старость гнев на ученых и науку; правда, не сделал никакого открытия. Но разве в этом дело? Суть Линнея и Бэкона заключается не в открытиях их, а в том, что они выразили величайшую *умственную энергию* своих народов и обнаружили *способ воззрения* этих двух северных народов на природу, на жизнь, на человека. Но точь-в-точь это самое *в отношении русского народа* сделал Толстой: с «Севастопольских рассказов», с «Детства и отрочества» и до «Воскресенья», где тот же Нехлюдов размышляет над тою же темою крестьянского устройства, над темою земельных отношений, Толстой, по крайней мере, шестьдесят лет из восьмидесяти неустанно размышляет и размышляет. И этой бездны отдельных мыслей и постоянного размышления, какая числится за ним, — ее не высказал *в равной мере* ни даже Менделеев или Ломоносов. Круг их мысли был все-таки уже и короче, и самая мысль как-то специализованнее, т. е. ремесленнее. Линней или Бэкон, и точно так же Гёте, олицетворили в себе *умственную теоретичность* своих наций. Толстой не в рассуждениях, которые нам кажутся бледными и несильными, но в *умственной стороне* своей художественной работы, где он является пронизательнейшим судьей человеческих отношений и всего узора общественной и личной жизни, включительно до высочайших проблем человеческой души — выразил, так сказать, *метод суждения русского народа*, метод оригинальный, новый, который, право же, не уступает знаменитому *индуктивному методу*, например, Бэкона. Таким образом, Толстой есть такая же сильная *умственная личность* в своей нации, как Линней у шведов или Бэкон у англичан. Здесь мы могли бы продолжать бесконечно долго и прерываем свою мысль весьма неохотно. Например, его рассказ: «Много ли человеку земли надо» — что он такое? Силлогизм, индукция или опыт и наблюдение? Ни то, ни другое, ни третье. Все известные и перечисляемые в логиках способы *доказательства истины*, способы *убеждения человеком человека* — отсутствуют. Между тем читатель убежден автором, убежден так крепко и сочно в некоторой очень ценной и совершенно новой, совершенно не бывшей ему известною до чтения рассказа истине, как этого не смогли бы сделать ни индукция, ни дедукция, ни Сократ, ни Аристотель, ни Бэкон. И истина-то очень важна, очень цельна, очень велика. Ее не забудешь, ее всякому нужно знать. Что же это такое: наука, философия или что? Имени нет, рубрики нет. Но мы знаем, что «наука открывает истины», что «философия стремится

достигнуть истины», и Толстого решительно невозможно сбросить со счетов философии и науки, как он ни враждебен им в прямом смысле, как ни неудачны его собственные опыты философствования *по методам* и *по следам*, например, Шопенгауэра и других философов. В самом деле, он силен только тогда и только там, когда и где он «сам». Подражания, повторения у него решительно неудачны. Он *весь*, как бы врожденно, до того оригинален и самобытен, что даже когда он *презвыгайно хогет подражать, повторять*, стараясь убить все личное в себе, — это у него не выходит, или выходит жалко, фальшиво, глубоко ни для кого не нужно.

- 10 Метод открытия им истины — это какой-то художественный метод, это во-первых, и, во-вторых, — это метод как бы разговора с душою вещей. Точно он заглянет в самое зернышко человека ли, или какого-нибудь человеческого отношения и вдруг скажет об этом отношении или о таком и подобных людях такую истину, которая никому не приходила на ум, которая вдруг сразу все освещает, которая непосредственно для всех убедительна. Сколько таких истин в «Смерти Ивана Ильича», во «Власти тьмы»! Что же это, повторяем, — наука или философия? В ответ мы разводим руками, не зная, что сказать, как назвать, но мы знаем, что он *угит* нас, т. е. делает то самое, что делают от начала своего существования все науки и философии. И «сочинения» Толстого, этот ряд томов и тысячи, 20 десятки тысяч страниц, это — длинное и непрерываемое поучение для читателя, для России, для человечества.

- Назвав длинный ряд имен, чувствуешь, что он как-то и сходен со всеми ими, но сходен *неуклюже*: т. е. что-то родное и общее *есть*, но есть и громадное *различие*. Так и нужно. Все огромное, в сущности, ни на что не похоже, кроме как на себя. Вот я назвал Джона Нокса, одного из английских сектантов-реформаторов, спокойного, созерцательного Меланхтона, назвал Цвингли и Кальвина, Савонаролу и Данте. Конечно, *ни с одним* он не сходен, а что-то родное, общее, одинаковое *в историческом положении* у него есть. Здесь, как опять в философии и науке, все принадлежит, так сказать, *косвенному Толстому*, а не *прямому Толстому*. Это 30 нужно объяснить. Вот Толстой берется писать чуть не катехизис жизни: и как есть, и как пить, и как молиться, и как учить ребят или жить с женою. Обо всем сказано подробнейшим образом. На этих его опытах *прямого сказывания* возникло все «толстовство» как доктрина, как учение, почти как секта и вера. Но, — да простят нам иронию, — сам Толстой ведь никогда не был «толстовцем» и в сущности, почти враждебен им как личность, как «своя биография». «Толстовство» неизмеримо ниже Толстого и воплотило только скучную и до известной степени несчастную сторону его личности: доктринерство. Есть и эта бедная сторона в нем, как и у Венеры Милосской были свои «нечистые части». Но весь Толстой как *лигность* и *биография* — антидоктринер; доктринеры, портреты ко- 40 торых он изобразил, например, в Сперанском, в кн. Андрее Болконском («Война и мир»), в сводном брате Левина и в проф. Катавасове, — суть вечно отрицаемые и негодующие, презрительно отрицаемые им люди. Он видит в них *врагов жизни*, — той жизни, которую единственно и любит, единственно перед нею преклоняется на протяжении всех дней своих, единственно не изменил одному только тому «герою»... Доктринеры же точно пьют сок этой жизни и оставляют на ее месте какую-то сухую мумию. Но что же он сделал во всю вторую половину своей жизни?.. Если повторить отношение «толстовцев», т. е. принять *тогно* и *букваль-*

но все им в эту пору написанное, то мы увидим, что он воплотил в себе точно легион профессоров Катавасовых и сводных братьев Левина. Но тут нужен очень осторожный и тонкий взгляд на дело, и тогда мы поймем разгадку всего. Ведь и Левин, любимый и уже живой герой Толстого, — тоже вечно доктринерствует, но разница его со сводным братом и с проф. Катавасовым в том, что он ни одной своей *доктрине* не остается *верен*; что он переходит от доктрины к доктрине, ни малейше не жалея их, не страдая по покинутым и все вновь покидаемым «любовницам» своего духа и воображения. Так, мы знаем, поступал и Толстой, так он *жил*. Что же это значит? Да легион «доктринеров» в одном человеке уже не то, что сто «доктринеров» со своей головой у каждого. Порознь сто доктринеров все будут тупы: но одна личность, страстно предающаяся, *но не навсегда предающаяся* доктрине, есть только чуткая, ответственная в себе совесть, которая пламенно жаждет поклониться истине, мучительно ее ищет, изуверно поклоняется ей, т. е. покоряется, конечно, «своему убеждению» (доктрина, доктринер), но в этом поклонении или поклонениях высшим остается именно царственная личность, царственный дух, в своем соотношении с абсолютной и *никому неведомой* «истиной», которая есть, но нам *не открыта*, которой мы должны *служить*, хотя и не знаем ее имени и лица. Вот в чем дело, вот где разница. «Толстовцы» выхватили из Толстого как легиона доктринеров *одного* доктринера, которого-нибудь, и, сделав из него кумира себе, тем самым глубочайше восстали на *лигность* Толстого, на *биографию* и, словом, следуют не благородному в увлечениях и непостоянстве Левину или Пьеру Безухову (параллель Левина в «Войне и мире»), а его противному, ограниченному двойнику — его сводному брату. Толстой, устроив родство этих двух столь между собою несходных лиц, поставив их в единосемейное, но не единоутробное отношение, пожалуй, картинно выразил и предостерег своих последователей, точнее, своих читателей и почитателей, от возможности этой роковой ошибки, этого рокового смешения. Оно вообще и произошло для некоторой группы далеко не самых даровитых читателей Толстого. Они кинулись следовать *одному* Толстому, не заметив, что *сам-то* Толстой есть не один, не solo, а *легион* живых личностей в себе; и что истина и правда и состоит в том, чтобы поклониться и полюбить в Толстом этот именно «*легион*», т. е. эту *переменчивость, неверность* себе, разрушающую вообще всякую в мире доктринерность.

Этому поклониться стоит, этому стоит следовать. Да ведь это и значит для всякого читателя и почитателя Толстого — только оставаться *самим собою*; выражать сильно, ярко лучшую сторону себя, но как она вложена в него природою. Выражать ее без всякого наложения на свои глаза чужих шор, чужого седла, в том числе седла или шор выделки самого Толстого. Толстой как *лигность*, как пример труда и жизни глубочайше отрицает «толстовство» как историческое явление, «толстовство» как доктрину.

В ошибку «толстовцев», которыми поделались наименее талантливые из его читателей, более всего тусклые и в себе бледные, — впали и теоретические оспариватели его идей, особенно религиозных. И Левин размышлял о Боге; и Андрей Болконский, лежавший раненым на аустерлицком поле, сказал прекрасные мысли о Боге. Но все это прекрасно именно в недоконченности своей и даже в своей неубедительности. Попробуйте эти самые мысли облечь в форму катехизиса, — и вы получите религиозное «толстовство», т. е. какую-то принудительную веру в недостоверные и туманные вещи, недостигнутые и туманные настроения, кото-

рые и хороши-то были только *в тот миг, когда высказывались и в отношении тех событий*, тех иногда *слугайностей*, которые их породили, какие, например, произошли с Андреем Болконским на аустерлицком поле, с Левиным — в его семье, с Иваном Ильичом — во время его болезни, с Позднышевым — в его браке или с самим Толстым — в разные минуты и эпизоды его жизни. Накладывать всеобщее «не женитесь» оттого, что Позднышеву попала в супруги вертлявая и пустая женщина, пугаться до отчаяния смерти оттого, что Иван Ильич ушибся, захворал и умер, — это диктаторски жестоко, а нам вовсе не нужно, потому что мы имеем и *видели* верных и самоотверженных женщин-жен, что мы, слава Богу, здоровы и никак не стучались. И, вообще, в этих идеях Толстого нет никакого универсализма и никакой вне связи с обстоятельствами истины. Семьи бывают несчастные и очень счастливые; около флиртующих жен есть и беззаветные героини, есть оне *сейчас*, притом не хуже древних героинь, прославленных поэтами и историей. *Без этого* жизнь сейчас бы сокрушилась; без этого невозможно жить. Наконец, Иван Ильич умер так рано и *бесплодно*, а Толстой доживает восьмой десяток лет, и *плодов* жизни его так много. Что же это значит, и какой отсюда можно извлечь общий взгляд на жизнь или прочесть ей общую мораль? Нужно ли и даже позволительно ли нам пугаться смерти Ивана Ильича или не жениться по *универсальному* совету Позднышева или Толстого-Позднышева? А Толстой, под влиянием моментами овладевавшего им доктринерства, вводил свои иллюстрации во всемирные требования. Иллюстрации его чудны, *жизненны*, поучения и, наконец, требования — *мертвы* и просто неверны. И именно оттого, что эти поучения, катехизируясь, уже выходят из обстоятельств и связи с обстоятельствами, к которым и относились и *там* были истинны, каждый может ответить Толстому: «Нет, я счастлив и семье и *каждому совету жениться*», «Я всю жизнь трудился, видел пользу от труда своего, — и *жизнь человеческую не нахожу ни пустою, ни ничтожною*». На эмпиризм одного можно ответить эмпиризмом другого, и вообще это ничего не доказывает и даже, в конце концов, тут нет *никакого угения*. А между тем катехизис лежит перед нами, он уже написан. Это — «толстовство», которое возбудило столько споров, недоумения и, плода более и более его, побудило, наконец, церковь «отлучить его от себя», хотя поистине можно было пройти мимо совершенно молча.

Я сказал: «Нет даже *угения*»... А между тем тайное и незримое поучение лежит во всем этом, т. е. лежит во всех эпизодах личности Толстого, если их взять *в сумме, а не порознь*. Толстой первого периода и Толстой второго периода являются нам не повторяющуюся ни в ком еще с такою яркостью, глубиной и продолжительностью историю язычества в отношении к христианству, историю христианства в отношении язычества, и их обоих встречу, столкновение и борьбу. Царскосельские скачки в «Анне Карениной», первый бал там же, где у Вронского закружилась голова на Анну, и весь первый фазис их любви; полковая жизнь Николая Ростова в «Войне и мире», — да и почти весь, весь огромный узор живописи в этих обоих романах, в этих двух великих русских эпопеях, — есть сплошь великая картина и суть язычества. Ибо *суть* язычества, конечно, не в богах и именах, а *в духе*, в жизни, в складе и течении ее. Суть эта — просто свобода свободной природы. Но сказано, что в язычестве уже появились «первые нотки — христианства». Финал любви Вронского и Анны, судьба и *размышления* Левина, — для которых ведь славный материал дает именно Анна и Вронский,

т. е. дает его не Левину, *лицу* романа, а Левину-Толстому, *автору* романа, который дает *свои мысли* и Левину, все это, как великое «суета сует», — уже глубокие явления нового *христианского духа* в Толстом. «Все неверно! Все изменяет! Не покидает нас и верно нам одно — *смерть*». Так, со смерти Анны Карениной, такой *внутренней смерти*, такой *не внешней*, через «Смерть Ивана Ильича», через «Власть тьмы», через «Хозяина и работника» и проч., и проч. Толстой глубже и глубже ведет нас в совершенно новый дух, в совершенно другое ощущение жизни, другую меру ее, чем какими он *сам* руководился и жил, когда описывал скачки и войны, семью и любовь, казаков и солдат, охоту и интриги и, словом, жизнь, которая *тогда* ему не казалась «суетою». Он пробежал весь путь от Гектора до ап. Павла, вот его *лигная*, его исключительная заслуга или, точнее, особенность; пробежал весь этот бесконечный путь *сам*, в каких-то своих размышлениях, приглядываниях к жизни, испытаниях, измерениях жизни. Это уже не доктрина, это не «катехизис». Это не жалкое «толстовство», с рассыпающимися через год-два толстовскими колониями. Жизнь такая, с таким опытом, с таким финалом стоит жизни и *опыта* Меланхтона или Цвингли, их биографий. *Прямо сказанные* религиозные поучения Толстого, т. е. в конце концов вся *религиозная доктрина* Толстого, мне не представляются значительными, но тут через частности, сквозь частности надо прозревать целое. Отрицание религиозного значения в «учении» Толстого нисколько не препятствует видеть в *нем самом* великую религиозную личность, великий религиозный феномен в высшей степени поучительный для всего человечества и, до известной степени, чрезвычайно много разъясняющий в истории. Именно, разъясняющий *переход и психологию перехода, нужду перехода от язычества к христианству*. В этом отношении личность Толстого никогда не перестанет изучаться, и изучение этой личности даст гораздо более интереса, чем изучение личностей великих реформаторов веры, всех «катехизаторов» — от Кальвина до позднейших. Те пламенно верили и *одному* верили: из них вышли учителя веры, творцы новых церквей. Ничего подобного, конечно, не будет с Толстым, но ведь процессы и периоды *таяния* «катехизисов», всяких катехизисов, также продолжительны и многозначительны, как и периоды их твердого стояния. И вот всем этим периодом «таяния» личность Толстого будет необыкновенно дорога, будет интимно им понятна, и будет много им объяснять в них самих. Не Меланхтон, не Лютер, не Цвингли, но то огромное темное небо, которое вне их и облегает их, в котором они горят и вместе с тем в котором они тонут, — вот, кажется, сущность Толстого. И здесь как он выразил свое время, свою цивилизацию. Так же, как Данте, со своими «кругами ада» полно выразил мрачную теологию великого и беспощадного средневековья.

ЧЕГО НЕДОСТАЕТ ТОЛСТОМУ?

- Как «чего недостает»? Это после юбилея-то? Наделен всем, решительно всем, что может придумать человек!
- Да, но ему недостает остроумия.

— Остроумия? Никогда не приходило на ум. Толстой и остроумие...

— Не правда ли, несовместимы? Я соглашаюсь, что остроумие — небольшая сила души, небольшой талант. Но без этого небольшого таланта как-то неудобно жить и поминутно можно впасть в величайшие ошибки, не столько опасные или вредные, сколько смешные. Остроумие есть маленький талант внутренней критики, который не допускает ничего смешного, прямо и явно ненужного или прямо и явно глупого. И, знаете, мудрец, который не обладает остроумием, иногда может натворить Бог весть что... Сократ был остроумен: но философы вообще этим качеством не отличаются и, знаете, даже смотрят на него высокомерно и презрительно. Бог за это часто их и наказывает, ибо никто так часто не делает явных глупостей, как философы. Например, Кант всю жизнь не выезжал из Кенигсберга: это вовсе не требовалось философией.

— Да, Кант был не остроумен. Но возвратимся к Толстому. Отчего же он, в самом деле, не остроумен? Ибо, кажется, это действительно так.

— Он не остроумен оттого, что вечно серьезен и очень трудится. Нельзя так. Молиться Богу хорошо, но нельзя молиться 24 часа в сутки. Надо и пообедать. Надо попить чайку. Надо дать место и шутке. А то 24 часа быть серьезным... покорно благодарю! А Толстой все 24 часа серьезен.

— Это от большого ума.

— Я и не спорю, что недостаток остроумия проистекает у него от больших, тяжеловесных качеств души. Но все-таки остроумие так необходимо! Без этих маленьких ножниц рукоделье человеческое выходит так несовершенно. Поработай оне над «Полным собранием сочинений»...

— Что вы, что вы...

— Не перебивайте. Поработай оне там, где я указываю, и множество богословских лохмотьев оне отстригли бы несомненно, к выигрышу целого. Я не говорю о религии, а о *нудном* в религии: знаете, где человек трудится, а со стороны видно, что даже *и ему самому* не хочется. Запряг себя человек в хомут, и везет, думая, что это «надобно», а на самом деле ни ему и никому не «надобно». Это не остроумно, и вот тут бы ножницы...

— Например?

— Ну, например, кому нужен разбор макарьевского «Догматического богословия», о котором богословы и сами говорят, что это есть недаровитая компиляция, исполненная ошибок. Религия Толстого прелестно выразилась в «Чем люди живы», «Много ли человеку земли нужно», в «Смерти Ивана Ильича» и проч. И около этих живых религиозных страниц какой мертвой кладью едет или везется его «Разбор догматического богословия». Немножко бы остроумия, грибоедовской или гоголевской веселости, — и Толстой *этого* не написал бы. Не стал бы тратить на это драгоценных *своих* часов и дней. Жизнь коротка, а *хорошего*, настоящего дела так много... Ведь все то, что написал тут Толстой, мог бы написать смысленый и сердитый семинарист. А «Чем люди живы» сто профессоров не могут написать. Надо рассчитывать силы и время. И вот здесь помогает остроумие...

— Вы говорите — это от избытка серьезности?

— Ужасного. Нельзя до такой степени быть серьезным, как Толстой. Задохнешься. Шьет ли он сапоги — «заповедь», пашет землю — «заповедь». Бог дал

человеку только десять заповедей, а не сто десять. Почему бы? Мог ведь и сто десять дать, «могуществу бо его не положено предела». Но Бог пощадил человека и в милосердии сказал ему: «Погуляй». Десять заповедей исполни, а одиннадцатой — не надо. Нет, я серьезно: Бог в этом выразил глубокое попечение о его свободе, о его относительной даже и от Бога независимости. И в этой неполной скованности человека и выразил безмерную к нему любовь и безмерное о нем попечение. Бог ограничил богословие, и я думаю, что никто Ему так не противен, как профессора духовных академий, которые все удлинняют и удлинняют богословие.

— Да, народ мало симпатичный. И, кажется, не особенно смысленный... 10

— Не остроумный. Все кроют и шьют и никогда ничего не обстригают. Возвращаюсь к Толстому. Он все трудится. В душе его точно висит какая-то гиря, и эта гиря все тянет и тянет и заставляет часовой механизм тикать и тикать. Это его писанья, слова... Послушайте, нельзя произносить или писать безнаказанно такое море слов. Наполеон все воевал, и это, в конце концов, даже безвкусно. Но и все писать и писать, столько писать — это тоже предел всякого вкуса... Писать о вегетарианстве, писать календари, писать «Изречения мудрых» со всего света... Дайте вздохнуть, дайте пообедать. И, главное, — все как «заповедь». Ужасно трудно.

— А вы все тянете к «облегчению»? Безнравственный вы человек! 20

— Может быть, и безнравственный, но оттого, что вы меня так задавили. Что такое нравственность? Это врожденное добро. Нравственными рождаются, а не делаются. Нравственность — это свежая кровь, чистая кровь. Нравственен тот, кто хорошо рожден. Посмотрите-ка вы на скверно рожденных господ, с порченной кровью, гнилыми нервами, которые пытаются быть нравственными: более отвратительного зрелища я не знаю. Притворство, ханжество, фальшь, обман — все есть здесь, и все выдается или показывает себя как добродетель. От таких господ половина социального зла и вся порча нашей цивилизации. Бог против этого и сотворил заповедь: «Не прелюбы сотвори», которая переводится в двух разветвлениях: «Хорошо рождай» и «хорошо рождайся». Без этого все нраво- 30
учения напрасны: не в коня корм.

— Так что вы думаете, что сто заповедей, сверх десяти, придуманы для дурной крови и, пожалуй, людьми дурной крови?

— Придуманы в *условиях* дурной, уже испорченной крови. Пороков так много, и мы в самом деле задыхаемся в них как в дыму. Добрые люди и стараются помочь человечеству все новыми заповедями. Но это все внешне. Дым из нас идет, а не нас окружает. Дымимся мы все, коптимся... Как худая лампа, в которой не перегорает керосин. Кислорода мало, и огонь слаб в лампе. Жару мало. Огонь есть, но слабый. Задерганность человека разными «заповедями» между тем еще понижает температуру лампы и только увеличивает копоть. Вот отчего вы видите это тоскливое зрелище, что заповедей так много, что нравоучителей — сотни: а добродетели все нет. Добрая жизнь человека и общества гаснет. И это просто оттого, что керосин не перегорает, что мало кислорода во всеобщей крови. 40

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «НОВОГО РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ»

Редакция «Русской Мысли» отвела большой отдел журнала проблемам старого и нового религиозного сознания, оговорившись, что сама она стоит в стороне от спора, в стороне вообще от этих волнений, но находит их качественно ценными и занимательными для своих читателей. Позиция, которой, пожалуй, придерживается большинство русского образованного общества. Несомненно, в массе своей оно нисколько не затронуто религиозным исканием и представляет то, что можно было бы назвать *практическим* позитивизмом. Конт изложил свои взгляды в 5—6 больших томах. Современному человеку столько не нужно. Поутру он берет газету, пробегает телеграммы, просматривает вчерашнюю биржу, откладывает фельетон до вечера, «к чаю» вместе со сладкими сухарями, и идет в училище, в контору и вообще к какому-нибудь практическому делу, которое исполняет. В этом и заключается не столько позитивный образ мысли, сколько позитивный образ жизни. Но, разумеется, мысль не может очень далеко отойти от действительности. И практике дней наших, которая сводится к прошению молитвы Господней: «Хлеб наш насущный дай нам *днесь*», отвечают и мысли не очень удлинненные, не очень сложные и довольно трезвые.

«Новое религиозное сознание», которому едва можно насчитать десять лет, зародилось в единичных кружках, точнее, — в немногих лицах, которые по обстоятельствам своей жизни не вынуждены были тянуть эту мировую лямку ежедневного труда, крепкую, скучную и тяжелую. Это были лица, не ведшие позитивного образа жизни, и им легче всего было сбросить и позитивный образ мышления, или, вернее, они никогда крепко его и не держались, а скорее чуть-чуть придерживались. В первоначальном фазисе своем оно образовалось из двух течений, которые встретились почти случайно и зародились оба самостоятельно и отдельно: из того, что в пушкинской своей речи Достоевский назвал «русским мировым скитальчеством», «тоскою русского человека», а в «Подростке» он же определили это как «благородную грусть русского дворянина»; и из второго, более практического источника, но который случайно повел к массе теоретических открытий, — из семейной нужды русского православного человека. Выразителем первого течения явился Д. С. Мережковский, первоначально «антик» по своим античным увлечениям, позднее — ницшеанец по долголетнему и глубокому увлечению личностью и идеями Ницше, и позднее, в теперешнем фазисе своих настроений, — искренний, «до обморока», христианин. Долго не читаемый массой общества, осмеиваемый журналистами и газетными «обозревателями», он ушел в себя и в книги, ушел в упорное чтение, в глубокий восторг читателя и критика, критика не с пером в руке, а с мыслью в голове, — и из его огромной начитанности, из глубокого, восторженного переживания множества чужих идей, из тонкого критического сопоставления этих идей и родилось одно течение «нового русского религиозного сознания». Какова почва, таково и растение; ну, не совсем, но, по крайней мере, таков *рост* растения, его свежесть или блеклость, сила или слабость. В литературной деятельности Д. С. Мережковского, одного из образованнейших у нас писателей, и чрезвычайно искреннего, есть одна большая черта: это — *слабость*, отсутствие *удара*, силы; даже отсутствие кровности, сочности жизни. Точно это артерии с вытекшею из них кровью и *пустые*.

Узор их удивителен, сами они толсты и мощны, стенки их напряжены, упруги, эластичны. Все — прекрасно. Кроме того, что во всем этом нет крови. Проистекает это, — переходя от сравнения к действительности, — от почвы исключительной *нажитанности*, на которой вырос и сложился весь образ мысли Д. С. Мережковского. Слушая его возбужденные и возбуждающие речи в Религиозно-философских собраниях, всматриваясь во всю его личность, в весь его «литературный портрет», невольно напрашивалось сравнение с Белинским. Не полная, но *гас-тижная* близость здесь есть. И Белинский, со студенческой, даже с гимназической скамьи, жил погруженный в книги и очень мало оглядываясь на действительность. И Белинский хорошую книгу и особенно хорошую мысль, вычитанную в книге, предпочитал всяким краскам житейской жизни. Есть особенный романтизм — романтизм книжного магазина. Романтизм, пожалуй, недурной. Этот невидимый океан мысли, лежащий на полках и, по-видимому, столь недвижный и прозаический, который может испепелиться от поднесенной зажженной спички (избави Боже!), — он велик, глубок, обаятелен, он сказочен и фантастичен в своем действии. Можно отдаться ему, всю жизнь прожить им и даже атрофироваться в самом желании выйти на солнечную улицу и пройти в людной толпе. Такую фантастическую жизнь среди книг и для книг прожил Белинский, который интересу книги подчинил свою личную жизнь, свои привязанности, дружбу и вражду, свой быт, едва заметил семью около себя, и построил на книгах все свои воззрения, религиозные, политические, нравственные. Такую приблизительно жизнь ведет и Д. С. Мережковский, книги коего суть прибавление к книгам всемирного книжного магазина, лишь с величайшим трудом пробивающиеся или почти не пробивающиеся к сердцу человеческому.

Другой инициатор «нового религиозного сознания» гораздо менее образован, чем Мережковский, и менее его подвижен в идеях, даже почти неподвижен. Мысли его ползут, и даже он, по-видимому, не скучает, когда они вовсе лежат. К тому, что он сам называет своим «религиозным открытием», он приведен был почти случайно. Как сам он рассказывал в кружках Религиозно-философских собраний 1902—1903 гг., ему однажды привелось рассуждать с двумя лицами о поле, — тема, так и этак волнующая теперь русское образованное общество, но о которой не было самого вопроса, не было к ней никакого интереса лет 8—10 тому назад. В разговоре с одним из друзей своих он обмолвился, что, по его мнению, *пол* в нас есть вовсе не орган или функция, как говорят и даже пишут в книгах, а совсем особое и самостоятельное, *полное* существо, отношение которого к человеку, т. е. к прочим его частям, можно сравнить с отношением *лица*. Как *лицо* нельзя назвать органом и функцией, а оно есть что-то гораздо более значительное и всеобъемлющее в человеке, хотя и занимает мало места, так точно и *пол*. Он не просто производит потомство, но есть родник страстей, чувствований и, наконец, многих обширнейших и важнейших идей в человеке и человечестве. До некоторой степени он есть только невидимое, но второе, скрытое, тайное *лицо* в нас, имеющее свои «глаголы». Собеседник, чрезвычайно пораженный этими словами, ответно сказал: «Был Один, — и он назвал основателя нашей религии, — у Кого совершенно не было этого лица: никакая Его мысль, никакое Его слово отсюда не течет». Этот ответ, — как рассказывал он в 1902 году, — в свою очередь страшно поразил его. Он почувствовал, или, точнее, оба они почувствовали, что случайным тезисом и антитезисом они задели величайшую

мировую загадку, над которой никто еще не останавливался; что здесь какой-то узел важнейших исторических объяснений, с одной стороны, а с другой — родник множества религиозных тезисов самого обширного значения. Но все это пока неясно. Чувствуется что-то огромное, но что, — об этом нужно думать. Этот разговор у него был с лютеранином. Следующий — с православным. На слова его, что соединение полов не может быть грешно, по крайней мере, в благословенном церковью браке, и особенно потому не может быть, что в нем зарождается не одно тело, но и *душа* будущего младенца, — этот благочестивый и чрезвычайно образованный человек возразил, что такая точка зрения непонятна лично ему и совершенно противна всему учению, всему чувству церкви, всему ее вкусу, *духу и законодательству*. «Первоначально и извечно акт этот мерзок, и церковь не разрешает его, а только *прощает*; и *простить* его только одна она и может, по санкции величайшего авторитета, в ней скрытого, по своей *святости*. От себя этот акт — преступление, хуже убийства; с *разрешения церкви* — ничего. Как кредитная бумажка, отпечатанная *лигнo* вами, приводит в Сибирь, а отпечатанная в экспедиции заготовления государственных бумаг — составляет ценность и служит к приобретению всех вещей. Но и в благословенном церковью браке соединение это, однако, по существу своему таково, что, совершая его, христианин всякий раз чувствует себя великим грешником, почти проклятым, и я, по крайней мере, не смею ни в тот час, ни даже на другой день поднять глаза на образ».

Мысль эта, выраженная с такой уверенностью и резкостью, выраженная пылким учеником Хомякова и Гилярова-Платонова, совершенно компетентным в знании церковного учения и *духа*, вторично поразила его несказанным удивлением. Вторично он почувствовал, что разгадка отношений церкви к семье и браку, этого *прощающего* отношения, этого *извиняющего* отношения, ведет к целому ряду открытий, притом таких, которые не могут оставить в покое самый фундамент церкви. Он или глубоко колеблется, пошатывается, или «паче утверждает», но ценою *нравственного согласия, нравственного одобрения* таких чрезвычайных явлений, как обычное у христиан убийство младенцев девушками-матерями.

Ведь это в своем роде истребление фальшивых кредитных бумажек, вещь нормальная и необходимая, вещь нужная. Но как *религиозно* мириться и *нравственно* оправдывать истребление ни в чем не повинного младенца, который *мог бы жить*. Таким образом, к величайшему метафизическому интересу как *загадке* прибавился нравственный интерес чрезвычайно живого и практического содержания, который скоро приобрел колорит спора, тяжбы. Так он рассказывал в 1902 г. ход своей мысли, возникшей почти случайно. И прибавлял: «Это до такой степени овладело не только всею моею мыслью, но и всем моим существом, что я точно впал в бред. Раз еду по лесной конке, сажу наверху, и ветви деревьев, наклоненных здесь над поездом, стали задевать мне по рукам и лицу. Я точно опомнился, но как был постоянно под давлением все одной мысли, то мне представилось, что самые эти ветви, с такими запыленными здесь и смятыми листьями, точно обращались ко мне и молили: «Спаси нас, защити нас». Конечно, это иллюзия, и есть чему посмеяться, но мне представилось, что от поворота опора в ту или другую сторону точно зависит спасение для увядающей природы, точно вся природа лежит теперь в каком-то мировом изморе и ожидает росы на свои листья, хочет воды на свои корни и просит об этом, *нравственно* просит, как живое существо, почти как олицетворенный человек. Встала великая проблема *свя-*

тости и греха. Откуда их начинать? Что ими считать? Мы привыкли «грех» считать именно с пола: «безнравственное» мы говорим не о фальши, не о жестокости, не о грубости, а говорим о совершенно, в сущности, безвредном каком-нибудь флирте. «Падением» все называют не когда человек солгал, не когда вся его жизнь есть ложь, а вот когда девушка «сделала фальшивый билет не в экспедиции заготовления государственных бумаг» или когда юноша увлекся девушкой дальше известной черты. Почему обманщик не «пал», ростовщик — не «падшее существо», деревенский кулак и базарный выжига — «ничего себе», — прощаются. И все они перед лицом всего мира менее грешны, менее осуждены, менее злобно и едко порицаемы, чем никому не повредившая, никому *не пожелавшая зла* Гретхен, которую так судили женщины и подруги у фонтана перед собором. Но тут не в «подругах» и «женщинах» дело; они только вторят, только эхо и резонаторы. Дело в *изначальном* осуждении, и почти нельзя поднять глаза на того, кто его начал.

Так передавал он. И очень волновался, вместе — очень верил в себя. «Нужно оживить землю и нужно вторично освятить ее. Что там касаться религией наружности, поверхности, образа мыслей и сплетения слов: ведь в этом состоят все наши схемы, и исповедания, и катехизисы. Нужно взять дело реальнее и глубже. Нужно, чтобы косточки-то в нас пели Богу, нужно изменить весь состав человека, нужно заставить его иначе и лучше рождаться. Хорошие люди суть *по природе* хорошие, а дурные люди суть *по природе* дурные. Глупыми не школа делает, а глупыми рождаются. Также и злыми. Вынуть зло из рождения — вот задача! Вложить сюда добро, свет, просвещение — вот продолжение задачи! Но *как*, — об этом можно сто лет думать».

Идеи его или, точнее, вопросы и недоумения его очень удачно связались с эллинизмом и ниществом Мережковского. Они придали этому эллинизму какую-то насущную *значимость*, интерес дня, интерес «теперь», и, в свою очередь, от этой встречи с эллинизмом страшно расширились в горизонте, перейдя в вопрос: чем, в сущности, были древние угасшие цивилизации, и эллинизм, и романтизм, и Египет. Не были ли они только другим полюсом, и именно *утвердительным* полюсом, по отношению к родникам жизни, чем тот явно отрицательный полюс, около которого лежит вся европейская цивилизация? И не от этого ли другого *утвердительного* отношения происходит эта поражающая нас красота и свежесть всех форм тогдашней жизни, тогдашнего быта, и во главе всего — красота и свежесть тогдашнего человеческого тела? Но от тела один шаг и до духа: *in corpore sano — mens sana* *, и обратно. Мы — калеки, стонающие, больные, грустящие, тоскующие, грязные и кающиеся. Вся наша литература, все наше общество и государство отсюда, все от «зараженной лозы». Литература — нервная, патологическая, экзальтированная, ну, и возвышенная. Мученики доходят до святого экстаза. Но ведь все-таки они *мугеники*, и зачем это? Не нужно покаяния, ибо в основе самой не нужно и *греха*, надо избыть *грех*, *зло*, и избыть его через другое рождение. Не нужно и целителей: не нужно просто *хворать*. Эллинизм здесь не спасение, но все-таки некоторый указующий путь, некоторый этап, компас, рецепт здоровья, сохранный в пирамидах.

Мережковский и этот другой инициатор хорошо дополнили друг друга и взаимно усилили. Мережковский пылок, быстр, подвижен, бегуч. У него множество

* в здоровом теле — здоровый дух (*лат.*).

начитанности, много идей. Но все это, особенно прежде, имело уж слишком большую быстроту и нераздельную с этим хрупкость. Мережковского можно сравнить с женщиной, которая вечно беременна, но никак не умеет родить. И слышны только метания и вопли. Ползучая и во многих случаях лежащая мысль его друга поддерживает вечно грозящие обвалиться постройки Мережковского. Сколько бы раз верхи его конструкции ни опрокидывались, все же остаются внизу некоторые основные линии, некоторые лежащие в самой земле кирпичи, которых невозможно выворотить и которые указывают, что «можно» и «нужно» строить.

10 В 1902 году, когда начались Религиозно-философские собрания в Петербурге, — духовенство наше впервые встретилось с этим образом мысли, совершенно другим, чем какой был у славянофилов и какой единственно предъявлялся к нему со стороны светской мысли, для «критики» и «опровержения». В «Новом Пути» печатались протоколы этих собраний, — и таким путем новый образ мысли сделался известен всему духовенству, и, между прочим, уже солидным представителям богословской науки в духовных академиях. Можно сказать, что весь этот спор и вся эта тема «нового религиозного сознания» прошли совершенно незамеченными для нашего общества, печати и литературы, и по той простой причине, что, *повинуясь обрядам* и числясь в церкви, они, в сущности, улетели как бы на воздушных кораблях графа Цеппелина далеко куда-то от самого *материка* и этих, и всяких религиозных тем и не знают основательно ни что такое христианство, ни что такое язычество. Мог бы дать обширную аудиторию этим темам, хотя бы путем полемики, покойный Влад. Соловьёв, — и мне известно, что он готовился «к выступлению», когда это течение едва начало обозначаться в литературе. Он почувствовал, что затронуты самые корни христианства и что вопрос идет о существовании церкви. Но он умер, — всего за год или полгода до открытия собраний. Тут дело в простом предварительном знании, предварительной подготовке, предварительном образовании. И мне говорил, — не знаю, насколько основательно, — один очень даровитый представитель духовно-академической науки, что вся богословская литература, и даже полнее — богословская
30 мысль, и главным образом домашняя, «про себя» мысль, — выведена, и навсегда выведена, — из прежнего схоластического, однообразного и мертвенного состояния через дачу совершенно другого материала, чем над каким она работала до сих пор, через предложение ей совершенно новых и очень трудных вопросов. Таким образом, и в этом случае, как во многих, «свои не приняли, а чужие — пошевелились». Закваска, во всяком случае, бродит, и нет основания полагать, чтобы она опала. Ну, как сделать с мыслью, чтобы она не была мыслью? Это можно сделать, приведя ее только к глупости, бессодержательности, бессмыслице. Но об этом лукавый бес сказал надвое...

А ШЕЙН?..

40 Мысль, блистательно изложенная, очаровывает и подкупает... Но чтобы ей окончательно *победить* — надо ей встретить резкое возражение и, разбив его, стать окончательно *истиною*. Пишу эту заметку с истинным желанием «победы» хитрому г. Чуковскому, который, будучи только сионистом, одурачил русскую

читательскую публику и даже ввел в заблуждение некоторых неопытных писателей, как, напр., г. М. Бугровского. «Россия — для русских», «Германия — для немцев», «Сибирь — для сибиряков», «Якутская область — для якутов»: к этой полустарой, полуновой программе евреи приставили свое «еврейский труд, еврейский ум, еврейская предприимчивость — только для нашего гетто», «для черты оседлости, где мы страдаем», «для евреев». «Прочь Россия и все русское», «дальше от себя откинем все русские интересы, всю русскую культуру и, во главе всего, русскую литературу. Перестанем ею заниматься».

Если бы в то же время г. Чуковский сказал: «перестанем в России отдавать деньги в рост, заниматься маклерством» и проч., и проч.? Но он этого не говорит. Он не предлагает евреям отрицаться русских *доходов*, а предлагает им только отрицаться русской *литературы*. «Души не надо, кошелек — пожалуйста». Просто и выразительно. 10

Никто не разобрал этой стратегии Чуковского, и все закричали: «Браво! браво!» в ответ на заявление, что Пушкиных никогда евреи не дали и не *дадут*. Конечно, это так. Может быть, и Россия не даст второго Пушкина. Пушкины — не апельсины, которых обираешь десятками с одного дерева. Вообще, для чего говорить о гениях? Гений всегда есть *зудо*, и в появлении его участвует какая-то тайна. Об этом дивную страницу написал сам Пушкин, излагая мысль свою на примере из истории Франции. Пушкина едва ли дадут нашей литературе и немцы, которых у нас целых три провинции. Но мы посмотрели бы крайне неприязненно, если бы какой-нибудь рижанин и ревелец стал подучивать своих соотечичей: «перестанем *заниматься* и *любить русскую литературу*». Дело именно в этом ядовитом предложении г. Чуковского «*бросить, забыть*, не читать русскую литературу»... 20

Она прокрадывается, льстит русским. «Ворона, матушка, как ты хороша: карпки во все воронье горло»... «Еврей мало того, что неспособен стать русским писателем, он не способен и *понять* русскую литературу, *оценить* русский гений»... «Гений национален: ведь и русский человек, сколько бы он ни старался сочувствовать евреям, но объеврестись не может; не может и еврей стать русским человеком». Читая эти ласковые, крадущиеся слова, припомнишь из Некрасова: 30

Хорошо поет, собака,
Убедительно поет...

Ну, конечно, этой невежливости я не скажу ни г. Чуковскому, ни г. Бугровскому, и припоминаю стих только кстат. Во всяком случае, и Чуковскому и Бугровскому я укажу на факты, которые они или пропустили, или обошли молчанием: Это — Шейн.

Это — русские субботники.

Два удивительных явления, над которыми не устанет размышлять и удивляться им всякий культурный ум. 40

Что Шейн был евреем, об этом я узнал только из его некролога. Видел его только один раз, на две минуты незначащего разговора: грузный, неуклюжий, прихрамывающий, смуглый. «Человек как человек, не интересно»... Только впоследствии, увидев два тома «Русских народных песен, бытовых, свадебных, весенних, зимних» и проч., с их вариантами (особенно важно!) я изумился труду и по-

клонился низко, низко человеку, поклонился от имени всего русского народа! Мне кажется, я это вправе сделать: я — русский. Шейн уже умер, когда я впервые увидал его труд, и мой поклон собственно его могиле не мог дать ему лично ничего. Песни обставлены примечаниями, предисловиями, послесловиями, — сообщениями о певцах и о губерниях, уездах и селах, где Шейн их собрал. Указаны мотивы их, напевы; собраны мельчайшие бытовые черточки, окружающие песню. Послушайте, ведь это целая жизнь, положенная на одно дело, ничего не обещавшее человеку в смысле выгоды или почестей. Можно ли же было сделать это дело, не полюбив глубоко, беззаветно, до экстаза, тихого и длившегося всю жизнь, конечно, самой *песни* — это во-первых, но и, конечно, — самого *певца*, т. е. *народа*. Не хочу этому верить, не могу этому верить. Верю во всемирность вообще человеческой души, в то, что «Бог создал Адама» и в нем — «нас всех».

Признаю национализм, признаю пафос националистический; если хотите, признаю (психологически) союз русского народа, даже с мордобойством и без всякой насмешки. Что же, так люди чувствуют. Дошли до белого каления, и конечно, наш русский космополитизм, довольно гниловатый, особенно в журналистике, способен был за *полвека унижения русских гувств* довести многих до белого каления. Но это — одно. Рядом с этим признаю или, точнее, вижу нечто совсем отличное от пассивного, бездеятельного, холодного, глубоко *эгоистического* космополитизма, и лишь безумцами смешиваемое с ним: способность к безграничному увлечению другою народностью, к очарованию чужим духом, чужим бытом, чужою психикою, до пафоса, до положения жизни за душу его...

Это есть, есть!

Без этого нет *всемирной* истории...

Без этого нет нравственного содержания в ней.

«Все мы адамы», люди, человеки... Я *ему*, а может быть, внук его, правнук — моему внуку, правнуку отплатит... Вот Шейн собирал русские песни, а может быть, я этою статьею доставляю удовольствие его сыну или племяннику. И отлично! Без этого просто нельзя жить. Я бы задохся...

Таковы русские субботники, едва ли (по малочисленности) опасные для русской церкви и вообще ничего исторически значащего собою не представляющие. Но какая черта безграничного *идеализма*, и хочется сказать: что еще к подобному едва ли способен какой другой народ, кроме русского! Ибо это удивительнейшая черта русской всемирности, русского универсализма. Ну-те-ка, найдите такого профессору римской элоквенции, который для милых Горация и Овидия сделал бы то же, что эти русские мужички сделали для прочитанной ими и увлекшей их Библии... Сам Моммзен сюда не поднялся. А русские несколькими *деревьями* обрезаются, погружаются в микву, не едят трэфного мяса, надевают талесы и по субботам зажигают шабашевые свечи в память матерей *ихних* — Сарры, Ревекки, Лии, Рахили... Нужно заметить, евреи до того исключительны в своей вере и так не симпатизируют тем, кто к ним переходит в веру, что двум или трем поколениям перешедших не позволяют произносить в молитве: «Бог *наш*», а заставляют произносить «Бог *ихний*» (т. е. *евреев*). Только третье или четвертое поколение принявшего еврейскую веру может сказать: «Бог *наш*», «Бог *мой*».

Вот два факта! И их прошлого значения не опрокинуть бурной публицистике Чуковского — Бугровского.

Евреев всего семь миллионов, и уж никак их не *выдвинешь* из России, что бы не говорил сионизм. Что же делать? Я думаю, евреям нужно сказать: «Пожалуй, не пишите в журналах и газетах, ибо, по правде, вы пишете бесцветно, не оригинально; с одной стороны, без „Соловья и розы“ Фета, а с другой стороны, и без запаха фаршированной шуки. Ничего у вас не выходит — пока. Но вы с нами так ли, этак ли связаны. Мы решительно не выносим той денежной эксплуатации, какой ваше простонародье подвергает наше простонародье, и не выносим и находим опасным для себя тот захват торговли и обхват промышленности, к которому вы стремитесь. Если у еврейства есть вожди, „сионисты“ или патриоты, они должны все усилия положить на то, чтобы вывести эти ядовитые черты из своего простонародья начисто. Иначе мы грозим физическим отпором, грубым, жестоким — уж как угодно. Это будет невольно и фатально. Но затем, так как национальное возрождение для евреев невозможно, ибо они потеряли *национальный свой язык*, и говорят не по-еврейски, а на жаргоне, и это в самой толще народа: то очевидно *тем-нибудь* духовно еврейство может сделаться только через ассимиляцию окружающей среде, но не рабскую, копирующую, а свободно, нравственно и художественно восторженную! Без ассимиляции всегда евреи останутся мелким, низшим классом чужих народностей, презираемым и гонимым. Это невольно и „само собой“. Расцвести евреи могут не в себе (нет языка), а лишь глубоко внутренне сроднясь с другими народами, допустив в себе прививку из других народов, как бывает в ботанике и садоводстве. Сделать это рабски — унижительно; но сделать это свободно, восторженно — ничуть не унижительно. Русский народ не унижится, что читает *еврейскую* псалтырь по своим покойникам. Так и вы читайте и, главное — *загитывайтесь* Тургеневым, Толстым, Пушкиным... Они облагораживают. Они притупляют „око за око“, вашу древнюю жестокую заповедь. В Вашем народе есть так же много суеверий и темного, как в нашем. Оставьте это, как мы боремся против своего национально темного. Выходите на путь универсализма, куда русский народ выведен был великими своими писателями и куда эти писатели смогут вывести и вас».

У вас ваша Библия — спасибо вам.

Пусть у вас, у каждого еврейского юноши — гимназиста, у каждой еврейской девушки — подростка, будет лежать под подушкой в дорогом переплете заветная книжка: «Записки охотника» Тургенева, «Детство и отрочество» Толстого: скажите за это спасибо нам.

И понесите этих русских писателей в еврейскую народную массу и сделайте, чтобы через них она выучилась уважать русский народ, как его через этих писателей уважает вся Европа; уважать русское крестьянство, русских ремесленников; уважать и, главное — *непосредственно, натурою* любить, жалеть, даже в недостатках, даже в лени и пьянстве. И никогда его слабостями не пользоваться! Любовь и понимание рождает чудеса; и как есть русские «субботники», когда-нибудь будут еврейские «толстовцы» или еще что-нибудь почудеснее... Пусть при этом, проникнувшись психикой и идеями наших писателей, они хранят свою «шуку», и «шабашевые свечки» и вообще остаются самими собою, свободно художественными в *быте*. Это одно другому не мешает. Как и русские субботники, вероятно, ходят в лаптях, не забывают баню и не отстают от рюриковой своей сохи и бороны.

Оригинальность своей физиономии — у каждого.

Погашение вражды и неприязни между физиономиями.

Мне кажется, это обещает больше, чем сионизм, проповедуемый на жаргоне, по-немецки, по-русски, но не по-еврейски: по забвению самими сионистами, в смокингах и фраках, своего «священного языка».

43 ГОДА «КОРРЕКТНОСТИ»...

Маститый редактор «Вестника Европы» на последней странице октябрьской книжки напечатал уведомление, что по причине преклонного возраста, препятствующего ведению журнала, он прекращает с выходом последнего тома (ноябрь-декабрь) издание его, не передавая в то же время его ни в чьи руки. По все-
 10 му вероятно, журнал закроется. Нельзя не уловить в этом некоторого вкуса. М. М. Стасюлевич наложил на журнал такую печать своей личности, в ее положительных и отрицательных качествах, что было бы положительно каким-то литературным и историческим безвкусием, если бы с переходом в другие руки естественно начали печататься под тою же красивою красною обложкой или «левые» ухарские статьи, или что-нибудь «правое». Это было бы невыносимо для всякого, кто привык к спокойной, мерной, застывшей, неизменной речи
 20 журнала, его публицистики, обзрений, хроник, повестей, романов, которые все, неизменно все, были острижены и выбриты, как М. М. Стасюлевич, душились его духами, надевали его галстук и не видели других видений и снов, чем какие
 30 позволял себе видеть маститый редактор, который, по его словам, 43 года назад начал его издание, имея сам уже более 40 лет!

Трогательно, что в последней книжке он напечатал собственноручные заметки своего царственного питомца — цесаревича наследника Николая Александровича. Столько лет сберегая их и напечатав в тот момент, когда сам кладет редакторское перо, он выказал этим свою память, свою привязанность, позволим выразиться, — свое «верноподданничество» к этому редких дарований царственному юноше. Там же есть слова его о другом наставнике цесаревича, давно покойном Ф. И. Буслаеве. От всего этого веет тем теплом и деликатностью, которые равно радуют и равно прекрасны в старце-муже и юноше.

30 Не без причины я вставил слово «верноподданничество». Не навязывая своей мысли, я подозреваю, что, как огонь в камине под налетом седого пепла угольев, оно тлело в сердце старого журналиста и только никогда не высказывалось. Ибо в общем журнале за все 43 года существования имел ту позу оппозиции, с какою обычно не совмещается это слово. Все 43 года журнал тихо ворчал на «наши порядки», и вообще, скажем сейчас же, что он нам *не нравился* этим постоянным тоном высокомерия над Россиею, который вообще не идет ни к «верноподданному», ни к обывателю, ни даже к настоящему гражданину, как хочется представить его фигуру, и который всегда нам казался оскорбительным для России. Я тороплюсь высказать это личное впечатление читателя — гимназиста — студента — взрослого, какое неизменно чувствовал от журнала. «Он умен, учен, —
 40 очень! Но он не любит нашей России, он *презирает* ее», — это ложилось, от 15 почти до 50 лет, как впечатление от журнала; и разве-разве стало пропадать

в последние годы большей зрелости ума, когда мне казалось или чувствовалось, что издающий его человек, хотя и втайне, без шума и слов, любит Россию, привязан к ней. Да и в самом деле, возможно ли 43 года вести издание в России без привязанности к той стране, в которой и для которой ведешь его? Вот отчего напечатание наставнических мемуаров, и именно теперь, в моих глазах получило несколько особый смысл, связанный почти с сорокалетними воспоминаниями читателя.

Если устранить этот тон брюзгливого ворчания, который впечатлительного оскорблял, равнодушному подсказывал пренебрежение к отечеству, наглое и глупое развращал, — и вообще был не очень *педагогичен и воспитателен*, — то за этим вычетом останется огромная выслуга журнала в двух направлениях: 1) он дал необозримый материал глубоко упорядоченного чтения, спокойного, неволнующего, чистого, добропорядочного, ученого или очень просвещенного; и 2) он судил о всех общественных и политических делах и вопросах за 43 года без страсти и волнения, именно только с «ворчаньем», — осуждая всегда не без основания и хваля только истинно доблестное с общечеловеческой, общеевропейской и даже с местной, русской точки зрения. Не только не было, но и нельзя представить себе чего-нибудь своекорыстного, личного или «фракционного», как теперь принято говорить, что проводилось бы и навевалось, что защищалось бы на страницах «Вестника Европы». Журнал этот был редкого умственного бескорыстия. Тень мантии Карамзина, тоже, как известно, издававшего года три «Вестник Европы», — лежала на нем. В строгом смысле М. М. Стасюлевич если и принадлежал, конечно, к партии, и именно к партии либеральной и прогрессивной, то он не принадлежал именно к «фракциям», кружкам, — ни литературным, ни общественным, и стоял поистине *выше их* как педагог и профессор, как просто образованный человек и европеец. Это его большая заслуга, что он не замешался в толпу и страсти; хотя, без сомнения, его манили туда. Он прошел мимо битв, не участвуя в них. Только как историк он *описывал их* и иногда пел элегии о погибших. Но ни бранных лат он не носил, ни острого меча.

Нужно подозревать, и отчасти это известно, что «левая» печать ненавидела этот журнал за его сдержанность. Можно подозревать и то, что ее оскорбляла его образованность, этот общеевропейский характер, без «туземных» оттенков, царивших и в «Отечественных Записках», и в «Русском Богатстве», и в «Деле», современных ему корифеях радикализма.

Ни по редактированию, ни по тону «ведущих» статей, ни по составу сотрудников журнал никогда не был ярко талантлив; в нем никогда не было приближения к гениальности; замечательно, что кроме одного Тургенева, и то лишь после разрыва с Катковым, и кроме Салтыкова, после закрытия «Отечественных Записок», — в нем не участвовали корифеи русской литературы. Нельзя быть великим писателем, не любя великой любовью родной земли, — хотя бы и сквозь слезы и негодование. И писатели, как Толстой и Достоевский, очевидно, отгалкивались от «Вестника Европы» этим тоном брюзжания над отечеством, какой был постоянен в нем. Так можно подозревать. Журнал был собственно поприщем писательства для множества русских писателей второго сорта; очень талантливых, блестящих, но без чуточки гения. Он был «корректен», — употребим это новое слово, — корректен в слоге, мысли, направлении; и — в талантах. Гений всегда есть немножечко «дебаш»; гений — скандал и беспорядок. Можно ли предста-

вить рассуждение старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» на страницах «Вестника Европы»? Аккуратная бумага журнала истлела бы и провалилась под этими строками, и в отчаянии и Галерный остров, и линия Васильевского острова, где он печатается, кажется, убежали бы от старца в Кронштадт и за границу, от старца и разглагольствий его о «мистическом адском огне».

А. Ф. Кони — человек приятный во всех отношениях, П. Д. Боборыкин и покойный А. Н. Пыпин — вот люди настоящего роста для хорошего, большого, светлого дома этого журнала, который не похож ни на дворец, ни на хижину. В нем нет роскоши и нет убогости. Нет старого великого мастерства и нет вони, бурсы, клоповника и т. п. признаков отечества. М. М. Стасюлевич никогда не претендовал быть гениальным, но он был в высшей степени порядочный ум, порядочный характер, порядочное поведение, — в высоком гражданском и культурном смысле этого слова. Никто так мало, как он, не имеет причин бояться загробного суда и наказания. В черном длинном сюртуке, белом галстуке, чисто выбритый и вымытый, он предстанет пред Господом Богом и скажет:

— Господи, за что же Ты будешь судить меня, когда я ничего не делал всю жизнь, кроме того, что *должно*, ни на миллиметр выше, ни на миллиметр ниже, ни на миллиметр вправо, ни на миллиметр влево?

И, взглянув, как скромно стоит М. М. Стасюлевич, не выставляясь ни перед кем вперед, но и никому не позволяя наступать себе на ногу, даже в обстоятельствах рая и ада, Господь изречет:

— В самом деле, его *совершенно не за что судить*: и хотя в точном смысле он не заслужил небесного рая, однако же и в ад его послать было бы совершенно безбожно. А потому по русскому добродушию (ибо Бог не может не иметь русского добродушия) его все-таки надо препроводить в рай, где посадить его за отдельный небольшой стол, покрытый белой чистой скатертью, без райских яблоков, но со свежими и здоровыми фруктами среднего европейского климата, всего лучше из берлинской лавки.

ВЕЛИКИЙ МИР СЕРДЦА

30

(Нечто о Л. Н. Толстом)

Драгоценнейшую сторону в вещах составляет *мера* их, — та таинственная мера, которая каким-то образом сообщает изумительную *красоту* им. Немного бы меньше или больше, — и в вещи ничего нет, проходишь мимо нее равнодушно и холодно, точно ее вовсе нет. Да и в самом деле, без этой таинственной *меры* она являет только материал чего-то, кусок, вещество. Мера зажгла в ней душу и смысл: теперь она блестит и останавливает над собой человека, сколько-нибудь способного к задумчивости.

Это касается и физики, и духа. Гретхен или Офелия, укороти им немного природа носа, не были бы ими, и не было бы бессмертных историй «о Фаусте и Гретхен», «о Гамлете и Офелии», над которыми плачет мир. Ибо ни Гамлет не очаровался, ни человечество не умилилось бы над *курносою* Офелиею, и просто с нею

не было бы того, что случилось, а все другое; Офелия стала бы не ею, а другою. Что такое мера в стихах и прозе, — всякий знает. Без них нет художества, поэзии. Но знаете ли, где, главным образом, нужна мера? В человеческих поступках. Одна она им сообщает *красоту* жизни. Много ли есть людей, которые ее выдержали?! Люди, красиво прожившие жизнь, так же редки, как и великие поэты или музыканты.

Этою-то дивною или, вернее, таинственною мерою проникнуто письмо неизвестного русского священника к гр. Л. Н. Толстому и ответ ему Толстого. Мера не ищется, она угадывается. Но дело в том, что угадать-то ее трудно, и всегда она является сама собою у человека в заключение всей его жизни или всего хода душевного развития. Мы говорим о мере в поступках. Казалось бы, чего легче: обдумал, прицелился и поступил «по мере». Не выходит. Выходит излишек или недостаток, убивающий нее. Немного больше скромности, — и вышло ханжество; немного больше смелости, — и вышло нагло. А где оно, нужное? Его находит или, лучше, «берет» в поступках или словах добрый и прекрасный человек.

Так у простого, тихого, милого, — вероятнее всего, сельского или уездного, — священника сказалося это, без сомнения, не длинное письмо, где он «благодарил его за отказ от могущего огорчить православных людей празднования его 80-летия» и в заключение, — вероятно, совсем коротко, — выразил надежду «на его возвращение в лоно православной церкви».

Тут все полно и ничего чрезмерного. Самое письмо не напечатано, но оно, несомненно, со временем напечатается, так как в семье Толстых сохраняются безусловно все письма, получаемые гр. Львом Николаевичем, причем даже конверты не разрываются, а на них только делается пометка, какого года, месяца и числа письмо получено. Но и по изложению письма видна глубокая и *невольная* мера, так сказать, сама собою соблюдающаяся в нем. Священник благодарит... за что? Прежде всего за то, что Толстой возлюбил *тишину*; что он не захотел службы, шума и разделения около своего имени. Известно, что слово «сектант» употребительно только в нашем официальном и ученом языке; *сами же себя* русские вероисповедники разных учений никогда так не называют. Они говорят: «Мы принадлежим к такому-то *согласию*», т. е. «согласились и *успокоились*» на том-то. На Западе — секта, отделение; у нас — согласие, соединение на чем-либо. Пусть картина сектантства и сектантских раздоров и там, и у нас одна, но в *названии* выражен *идеал, мечта*. Эта мечта — не в *борьбе и победе*, а в *согласии и успокоении*. Этот-то вековечный мотив русской души выразил и тихий священник, благодарящий Толстого за то, что он устранил шум, тревогу и беспокойство. «Не надо этого», — говорит благообразный священник; «не надо», и притом *вперед* даже истины, правды. Он не упоминает, что *вперед*, но это следует из того, что он совершенно обходит, почти даже не интересуется тем, на чем сосредоточена была столько лет борьба с Толстым и около Толстого. «А что именно он *думает!* Чему *угит?* Какова его *догматика* и не еретична ли она?». Вопросы эти вовсе не занимают тихого священника, которому нужно не этого, а *тишины*. «Вот когда будет тишина, то в ней и есть *правда*... Ну, вероисповедание, что ли». Договорим: не мысленное исповедание, а волевое, душевное. Об этом же говорит и заключительная просьба-надежда: «Вы вернетесь в лоно православной церкви». *Поэтому, как «вернетесь», — священника это опять не занимает. «Не надо разделяться, за чем уходить», — говорит он мило и кротко, тихо и вдумчиво. «Я вас не опровер-*

гаю и своего не *доказываю*», а как нас *много*, вы же — *один*, то удобнее вам к нам прийти, чем нам к вам. Не истиннее, а удобнее. Так делается, — у людей, в природе. Так текут реки, так стоят горы, так несутся облака. Малое льнет к большому, — и это не «истина», а просто так легче, проще.

И в голосе, в тоне этом, в течении мысли этой Толстой вдруг услышал тот схвативший его за душу народный звук, о котором он рассказывает в своей «Исповеди», что он спас его от самоубийства и вернул ему не то чтобы веру, а *силу* жизни, способность жить... Помните, он задал себе вопрос: «*Чем живут люди? Как живет народ? Что поддерживает день за днем и год за годом долгую жизнь у этих простых людей?*». Вопрос ясен, а ведь ответ на него как мудрен. Сам Толстой тогда ответил на этот вопрос чудным рассказом «Чем люди живы». Он ответил: *добром, любовью* живы. Но это не все, это коротко. Ну, я живу в пустыне, и мне некому благотворить. Но и в пустыне я могу жить *светло* или *уныло*. Ведь и в пустынях бывает, что люди кончают самоубийством: ведь это не только в городах, на людях, где вот человек «не исполнил заповеди любви». Сила жизни — сложная. Любовь в нее входит, но это не все. В добром, милом письме священника выразилось нечто большее любви, большее, например, чем сострадание к «заблуждающемуся» Толстому. В нем выразилась какая-то полнота, закругленность души. «Не надо *углов* в жизни, в людях. Углы колют, давят. Не надо этого не потому, что они — *не истинны*, а потому, что нам, людям, не надо их. От них больно. А боли не надо». Это гораздо полнее и больше, чем короткое «люби ближнего твоего».

Я думаю, письмо это — историческое. Безвестное, ненапечатанное, оно как-то страшно много *извинило* или, точнее, *затушевало* в том жестоком и грубом, что было сказано и написано о Толстом и по адресу Толстого вот уже много лет. Оно хоронит все это. Потом, оно страшно много реабилитирует: «Можно и *вот как* говорить, относиться. Я тоже православный священник, ничего не отрицающий в церкви, всю ее любящий. И мой голос никак нельзя сбросить со счетов церковных. А я говорю кротко». Таким образом, он вдруг *авторизует* то, чему многие и многие не придавали никакого авторитета, и именно не придавали в силу резких и грубых понесшихся звуков.

И этот авторитет вдруг почувствовал и сам Толстой, — он, который так много лет и так резко отталкивал всякий над собою авторитет в этой области. Он жестко критиковал, в ответ священнику он не критикует. Больше, важнее — он *не хочет* критиковать. Устранено ядро разделения, червь разделяющий. Этот червь — злоба, гордость. Понеслась она с обеих сторон, отвергшей и отвергнутой, и чем дальше, тем было хуже. Вдруг послышался кроткий голос священника: «Не разделяйтесь! Не разделяйся ты, *один*, от нас *многих*». И только. Ни логики, ни основания. Почему «не разделяйся», когда я стою на «истине». «Да, — безмолвно отвечает священник, — но в *неразделении*-то и лежит и истина... Вековая, исковая истина. Посмотрите, как несутся облака, стоят горы, текут реки. Все — в согласии; *одно другим* держится. А если бы стало *разделяться* все, — мир погиб бы. Это не Божие. Божие — *соединяйтесь!*».

Как Толстой ответил? Он будто затрепетал восторгом. «Получил ваше письмо, любезный брат Иван Ильич, и с радостным умилением прочел его... Оно мне было дорого. О себе скажу вам следующее». И он приводит арабский рассказ, в котором паразитильную сторону составляет то, что приведен пример веры со-

вершенно *фетишистической*, грубо-языческой, первобытной, элементарной. Неразумный пастух, за тысячелетия до Рождества Христа, хочет... *обуwać* Бога, говоря, взывая в томлении: «О, Господи, как бы мне *добраться* до Тебя и сделаться Твоим *рабом*. С какою бы радостью я обувал Тебя, мыл бы Твои ноги и целовал бы их, расчесывал бы Твои волосы, стирал бы Тебе одежду, убирал бы Твое жилище и приносил бы Тебе молоко от моего стада. *Желает Тебя мое сердце*». Младенческий лепет. Говорит дикарь, но не испорченные до злобы и отравления цивилизацией, которая развращает их, дикари ведь сущие младенцы. Говорит дикарь с золотым сердцем, излагая свои первобытные представления, общие у всех дикарей, об *антропоморфической*, как выражаются без достаточного понимания ученые, форме Божества, виде — Божества. Тут и *жертва* — молоко от стада. Но жертва — корень всякого язычества. И вот Толстой рисует его! 10

Нужно заметить, что *сам* Толстой по своим воззрениям есть *духобор*, упорно и фанатично остановившийся на исповедании Бога «в духе и истине», с отвержением из религии всей вещественности, хотелось бы сказать: всей *неисследимой* и *святой* вещественности. Ибо в том, что облака *«текут»* и как горы *«стоят»*, есть *красота* чудесная, а не беспорядок, не хаос, не «вздор». Никто, ни один безумный не скажет, взглянув на небо со звездами: «Как оно *вздорно!*». А если оно не «вздорно», то в нем есть разум, и вот что дает право обо всем видимом мире сказать, что он неисповедим, чудесен и свят. Но Толстой давно это в *догматическом* 20 *порядке* своих мыслей отверг, хотя, может быть, в сердечном существе своем и хранит чувство и трепет к этой вещественности... Но приведенное исповедание первобытного пастуха-араба противоречит всему, и притом многолетнему, давнему его убеждению. Известно его признание, что религиозные его сомнения начались с сомнения об Евхаристии, о *религиозном* вкушении хлеба и вина — тела и крови Христовой. «Не может быть ничего вещественного, осязаемого, физического в религии». Вдруг он приводит в пример веру пастуха, который хочет обуwać Бога. Не только приводит, но в дальнейшем доказывает, что пастух был и прав в своей вере, что мы все — такие же пастухи и что Бог внял молитве этого пастуха и защитил его от Моисея, который, по рассказу Библии, «один из людей 30 видел и говорил лицом к лицу с Богом».

Моисей разразился гневом на пастуха и воскликнул, услышав его молитву: «Ты богохульствуешь: Бог бестелесен, ему не нужно ни одежды, ни жилища, ни прислуги. Ты говоришь *дурное*». Но Бог его остановил: «Зачем ты отогнал от Меня *верного раба Моего?* У всякого человека свое тело и *свои реги*. Что для тебя нехорошо, то для другого хорошо; что для тебя яд, то для другого мед сладкий. *Слова нижего не знают*. Я вижу сердце того, кто ко Мне обращается».

В этом «Бог смотрит только на сердце человека», пожалуй, «духоборство» Толстого возвращается на свое место, но совершенно преображенное: именно, будучи в *корне* «исповеданием в духе и истине», оно в *листве своей* берет под себя 40 и даже в *себя* все вещественные культы, даже мифологию, даже фетишизм, не отвергая ничего, во всем видя «свою святость», маленькую, человеческую, но умирительную, которой не надо умирать. Является мир религий, и сущих, и возможных. «Надо смотреть на сердце человека, *любит ли* оно Бога, *предано ли* Ему, хочет ли быть *рабом* Ему. «Рабом Божиим»... Тут вспомнишь даже католиков, требующих *рабства в религии*. А известно, как Толстой специально не любит их. Но под воздействием краткого письма священника он вдруг поднялся на такую

высоту, которая объяла любовью и признанием даже и католичество. «Я не хочу ни с кем ссориться... Вот и пастух... Там — римский паптер. Здесь — наше православие. И вон еще брамины и древние мудрецы»...

В этих указаниях он сказал нечто и непонятное, иначе чем формальным пониманием, доброму священнику, и даже, может быть, нечто неприятное ему. Для того нет «чужих вер». Есть чужие суеверия и заблуждения, — без остроты и полемики, но «суеверия и заблуждения», — просто потому, что это не *его* вера, в которую он верует свято. Он похож на обитателя, который не посещал никаких чужих стран, и они кажутся ему чем-то неправдоподобным, несуществующим или призрачно существующим, только «в рассказах». Есть «своя страна», и есть «своя вера»... Вера — духовное отечество, и священник зовет в него вернуться Толстого, без принуждения, но и серьезно, даже не без строгости. Вот тут-то и сказалась дивная *мера*, что есть *строгость* в смысле совершенной серьезности, и не появилась еще *жестокость* как черта господства, господинства, барства над душою верующего, в смысле «вы — овцы, мы — пастыри, и мы знаем дело, а вы — не знаете». Этого нет. Есть глубокое уравнение душ. Пастырь говорит: «Я стою на этом берегу, тысячелетнем, где и миллионы народа. И берег всех нас держит. А *тот берег*, он — зыбкий, личный, на нем только один стоит, немногие стоят. Он топок, колеблется под ногами. Переходите к нам, у нас *крепче*».

20 Это не исповедание и не вероисповедный спор.

Толстой продолжает в ответ священнику: «Легенда эта мне очень нравится, и я просил бы вас смотреть на меня как на этого пастуха. Я и *сам смотрю на себя так же*. Все наше человеческое понятие о Нем всегда будет несовершенно. Но льщу себя надеждой, что сердце мое — такое же, как и у этого пастуха, и потому боюсь потерять то, что имею и что дает мне полное спокойствие и счастье».

Вера пастуха, нужно заметить, не малая вера. Она в научном отношении, как предмет научного изучения, невелика, но по красоте и силе, по *живости, неприменности и действительности* выше вер всех ученых, она равна вере святых. Так ее и принял Бог, так принял молитву и слово этого пастуха. И Толстой говорит:

30 «Мне с этой верой *хорошо*, я с нею *счастлив*». Показатель, что вера эта, как живое явление души, — истина.

Он кончает: «Вы мне говорите о соединении с церковью. Думаю, что не ошибаюсь, полагая, что я *никогда не разъединялся с ней* — не с той какой-либо одной из тех церквей, которые разъединяют, а с той, которая всегда соединяла и соединяет всех людей, искренно ищущих Бога, начиная от этого пастуха и до Будды, Лаотзы, Конфуция, браминов и многих, многих людей.

С этой всемирной церковью я *никогда не разлугался и более всего на свете боюсь разойтись с ней*.

Очень благодарю вас за ваше любовное письмо и братски жму вашу руку».

40 В одной ли он церкви со священником? Да. И да, и нет, но больше — да. Священник так мирен, что он не взирает и как бы не ведает вовсе о том, что есть в церквях «разделяющего», обособляющего людей. Он берет церкви или, точнее, «свою единственную церковь», которую только и чувствует, только и знает в мире, тихости, безмолвии и *делании своего дела*. По тону передачи его письма чувствуется, что священник этот истовый, каждый, или почти каждый, день служит литургию, и служит с верою и любовью. Без торопливости и нервности, а спокойно он делает *вековое дело*. А сектанты? А преследования их? Он их не за-

мечает, и не замечает по усердию к своему вековому делу. Малый мир спасает от большого. Когда однажды я заметил в разговоре с настоящим священником, что ведь *во времена Серафима Саровского* были те же самые, и даже худшие, неправды консисторских судов, консисторских законов, то он мне ответил, «воззри-шись»: «Да, св. Серафим и не знал этого ничего». В самом деле, «не знал»... Оставляя почти мировые вопросы, связанные с этим «незнанием», мы, однако, должны согласиться, что *внутренний мир* этого и таких людей оставался ясен, покоен, тих, невозмутим и *в себе самом* совершенно чист, а значит, и «праведен», хотя за стеною монастыря, в 100 верстах от него, и лились человеческие слезы, стояло горе... — Какое горе! Но он «не знал»... Он-то не знал все-таки, а вина неведения — это уже не вина злобы, вредительства и проч. Душа-то его сохранилась цела. Так и этот священник, написавший Толстому и зовущий его в церковь, — зовет, в сущности, *к своему душевному покою*, на что Толстой отвечает: «да», «иду», «никогда не уходил»... Не уходил от всего, что «не разделяет», что «соединяет», вот и брамины, и Лаотзы, — все мы братья. И на это священник не мог бы ничего сказать, кроме: «Тех я не знаю, и не могу судить. У меня на душе мирно. Иди к этому миру». Толстой идет, радостно объемлется, удерживая в себе оговорки, которых священник не слышит. Тут что-то страшно многое похоронено. Раскрылся какой-то океан, который поглотил различия...

* * *

20

Переписка эта, повторяю, историческая. Отчего *в свое время* не было обращено к Толстому этого *тона*? С этой *мерю*! Судьбы Промысла неисповедимы: ведь *тон и мера* именно приходят сами, и не даются преднамеренно. Ну, нет этого тона в душе, — откуда же его взять? А тона не было годы, десятилетия, и вот тут «перст Божий»...

А счастье было так возможно,
Так близко...

как отвечает Татьяна Онегину. В Толстом была бездна *народного густва, народного духа*, и от «народной веры» он не отделялся никогда, как и высказывает это чуть не сквозь слезы в этом замечательном письме, в котором так и звучит что-то, похожее на *последнюю исповедь* души, на окончательную, *заповедную*... «Вот кто я, иначе обо мне не думайте». «Я не смутьян, не гордец; я, как пастух в Аравии, ничего не знаю, но только люблю Бога в полном неведении Его».

Но ведь и все мы любим Его под занавесом, и, кроме одного Моисея, Бог никому не открывал Лица своего. «Бога невозможно увидеть и *не умереть*», — изрек Он Сам. Умрем, — и увидим. Не будем торопиться умирать, но и не будем бояться умирать. В смерти очи наши раскроются на изреченный «тот свет»...

Официальный мир, официальное отношение в этой священной области оттолкнули, огрубели и ожесточили Толстого. «Как мне, так и вам», «как нам, так и вам», — сказал он с духоворами, к которым принадлежит *по догматике* своего учения. Но *душа* его шире этой догматики, и всякой возможной. Душою он *неопределенно* течет по *неопределенному* океану народной веры. «*Определить* —

значит *сузить*», — сказал Спиноза. Мы назвали океан народной веры «неопределенным» в смысле этой безбрежности. Нет берегов, — и *не надо*. Об отношении Толстого к этой народной вере я берегу несколько воспоминаний, которыми дополню его письмо и, может быть, нечто разъясню в нем. Но это — в другой раз.

ОДНО ВОСПОМИНАНИЕ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Толстой был полуболен, когда я разговаривал с ним о тех и других вопросах религиозной и семейной жизни, и среди рассуждений своих он ссылался на те и иные воззрения народной жизни, объясняя и подкрепляя первые вторыми. Любовь к *идеальному* как стремление *своей* души у него перемешивалась с *оценкою* русского народа; и заметно было, что русский-то простой народ не одно крестьянство, хотя оно главным образом — и есть тот великий мудрец, у которого он учится и учился гораздо более, нежели у всех Шопенгауэров и Будд, на которых он часто ссылается в печатных произведениях. И, следя за мотивом оценки, можно было видеть, что он ценит человека в *труде* его и *простоте* его. Можно сказать, что то, что для всех людей, для поэтов и рассказчиков, для историков и политиков, для толпы и площади есть *проза*, для него есть *поэзия*. Он опозитизировал прозу и прозаическое; а поэтическое, картинное, героическое, точно переработав на реактивах души своей, разложил в прозу, плоскость, выдуманность, мишурность. Так, помню следующие два рассказа.

²⁰ «Подымаюсь я на пригорок около (такого-то) монастыря. Смотрю, идет тамошний монастырский старец, ветхий и больной; и до того он устал после собеседования с посетителями, что чуть не падает. И мантия на нем чуть держится. Вдруг от толпы отделились три мужика, — верно, только что прибыли и не видели еще старца. Подбегают и что-то спрашивают, — верно, совета или указания. Старец остановился.

— Да сколько вас?

— Да трое.

— Ну, вот так и молитесь: „Трое Вас (три лица Бога), трое нас: помилуй нас“.

И побежал дальше.

³⁰ Так меня это поразило. Старец не хотел сказать поучения, догмата, завета. Но он устал, и сил переговорить было только на эти шесть слов. Мужики отошли. А я этот виденный случай и передал в рассказе „Три старца“.

Случай поразило его тем, что все дело сводит к *тахитим*'у простоты и ясности. И вполне реально по мотивированности.

Заговорили о «Крейцеровой сонате». Я отнесся недоверчиво к ее «послеловию»:

— Для чего же *прекращаться* человеческому роду, когда размножение есть коренной факт природы, явно благодатный, явно благословенный?

Он ответил:

⁴⁰ — Конечно, в виду этого я и не имел. Но человек неудержим, и, когда хочешь довести его до *нормы*, надо советовать, кричать, требовать сверх нормы. Прекращения размножения, конечно, никогда не последует, и я не так наивен, чтобы, советуя это, имел в виду действительно это. Но, стремясь к недостижимой цели,

человек слабосилием своим как раз упадет на *норму*, совпадет с *нормою* или где-то *близко* около нее. Это-то и надо.

Он остановился, задумался и продолжал очень одушевленно и повысив голос:

— Мне случилось узнать поразительный факт. Один молодой священник, служа обедню, всякий раз, когда по ходу ее должен был войти в алтарь, испытывал приступ половой страсти. Что он ни делал, сколько ни молился, плакал, — ничего не мог поделать: повторялось то же, как только он входил в алтарь, а как выходил, — пропадало. И так он все время служил, почитая себя грешным и окаянным, недостойным нести свой сан. И эта борьба его, несчастье и самоосуждение представляются мне *величайшим нравственным подвигом*, какой я знал. Быть нравственным недостижимо для человека, но осуждать себя и усиливаться быть лучше доступно всякому, и вот только таких людей я и считаю настоящими, хорошими, добрыми, нравственными. Этого одного я хотел, и к этому направлялись мои сочинения.

Он высказал это проще, короче. Но я распространил его слова, чтобы не упустить ни одного *оттенка* в его мысли, в то же время ничего *к мысли* и не прибавив.

В другом месте разговора он выразил удивление:

— Знаете ли, что примеры самой большой *религиозности в народе* я встречал у людей до такой степени простых и грубых, до того далеких от грамотности и книжности, что когда я вступал с ними в разговоры, то они, к удивлению моему, даже не могли ответить, кто была Божия Матерь и Иисус Христос? Ничего не знают. А сила молитвы удивительная, а преданность Богу — пламенная, вера — твердая, хоть жизнь за нее положить. И удивительно глубокие, проникновенные слова о Боге.

Он высказал это как предмет величайшего изумления, не понимая его, но, очевидно, особенно за это испытывая восхищение к народу, к племени и крови русской.

Пример, что в крестьянстве не известно даже имя Божией Матери, я помню из своего детства. Более 30 лет назад, мальчиком-гимназистом IV класса, я жил с семьей верстах в 80 от Нижнего Новгорода на даче. И там, как-то лежа со сверстниками-ребятишками на траве, заговорил по поводу выпавшего из-за рубашки креста, об основных евангельских событиях, — ничего не знают. Я спросил: «Да разве ты не знаешь, кто была Божия Матерь?» — «Не знаю». И помнится, — но это недостоверно (за давностью лет), — что как будто паренек лет 13 не знал Иисуса Христа: во всяком смысле *смысла* креста, *факта* «крестной смерти за грехи наши», «искупления», страдания, Голгофы — этого он *нигего* не знал. Это я помню твердо из удивленных расспросов.

Удивление Толстого, как и мое тогда, подводит к факту, собственно, огромного, неизмеримого значения: *откуда* же берется у человека религия, религиозность, религиозное настроение, молитвенность? Что не из *наугения*, — это ясно. Но *откуда* же? Только и можно ответить: из крови, из души. «Так *рождаемся*», «с *этим* рождаемся». И как «*таланта*», так и «этого» дается в рождении то мало, то много. От этого одни люди совершенно нерелигиозны, и, сколько им ни говори об этом, ни учи их, ни проповедуй им, сколько бы сами они ни читали «по этому предмету», — они так и не узнают, не почувствуют ничего из области «*веры*», как не знает «соленой воды» человек, живущий на берегу реки, а не на

берегу моря. Другие же, напротив, с полуслова все понимают; и, наконец, вовсе ничего не слышав о религии, — все-таки религиозны *сами по себе*. В русском народе, очевидно, рождается много людей «с этим талантом», и хотя научение у нас самое элементарное, а часто его и вовсе нет, но талантливое рождение все искупает, все покрывает.

Вот отчего возможно говорить о «русской вере» совершенно вне отношения и связи с византийским преданием, с византийскими традициями и историческими отношениями. Из Византии принесли к нам догмат и обряд. Догмат был непонятен и даже неизвестен, ибо это есть наука и школа, которых в тогдашней Руси не было. Обряд же сделался известен через наглядность: он передался в богослужении и через простые, краткие повеления священника населению. Все это запечатлелось и выковалось с железною твердостью. Ничто не может поворотить наших постов, молебнов, акафистов. Но за эту ритуальную и обрядовую сторону душа темного народа оставалась свободною для *лигного* творчества; и вот богатый «врожденный талант веры» пошел в это пустое место, оставленное ему неведением, оставленное тысячелетнею безграмотностью, и сотворил те слова, мысли, образы, страхи, томления, умиления, восторги, безмолвные молитвы, какие удивили Толстого. Это «русская вера», которой подробностей никто не знает, которая не записана и не описана. Ей не противоречит обряд; в виде ¹⁰вещи она много взяла и от обряда, но как греза и сновидение берет от действительности, — не больше. Это та теплая «вера народная», которая изошла из страдания народного, из терпения народного, из опыта жизненного и вообще из всей совокупности *трения* души о действительность. Много здесь и полевых колокольчиков, и лесного запаха, и мерцания звезд, и утренних и вечерних зорь; есть и от птичьей песни, и от крика звериного. Это и *геловезское*, и глубоко *природное*. И все это тихо, скромно, не называя своего имени, подошло под купол Византии, приняло *на себя* крест, ничуть не идя от него и, как в указанном Толстым случае, даже не понимая его смысла.

Об этом когда-нибудь будут исписаны томы. Огромная самостоятельность ³⁰*своих корней* веры и сделала то, что мы хотя *официально* находимся в связи с греческими патриархатами Востока, но *избегаем* живых, теперешних сношений с ними, ненавидимы греческим духовенством («фанариоты») и, обратно, видим в них внутренне хищников, которым нужна только русская мошна, а не русская душа. С этой точки зрения провиденциальным кажется вековое отчуждение и перерыв практических, живых связей России с Грецией, чему с первого взгляда так удивляешься и о чем так жалеешь. Но, может быть, это благотворно и нужно для будущего. Под «чужим паспортом» живет и растет новое дитя, крепнет и подымается, а объявись его *имя*, — и, может быть, оно было бы задушено старою бабкою. Мне передавали всего года три назад, что константинопольский патриархат, раздраженный тем, что мы не перестаем питать симпатии к болгарскому ⁴⁰народу, как известно, объявленному состоящим в «схизме», был готов объявить в «схизме» и русскую церковь, т. е. объявить ее «еретическою». И только страх, что вслед за этим объявлены были бы конфискованными богатые земли в Бессарабии, «преклонные» константинопольскому патриарху, откуда он получает огромные деньги, а также прекратился бы и приток русских денег на Афон, — удержал от этого решения. Сведение это сообщил мне образованнейший чиновник Синода, добавляя:

— Они (греческое духовенство) сидят на старых исторических местах, но *только у них и основания святости*. Теперь это — нищие, невежды и вымогатели из русского благочестия денег. Вся сила благочестия сейчас — в России. Такие явления, как русское *старгество*, — их нет ни на Западе, ни на Востоке. Русская вера, русское религиозное чувство сейчас поднялось над всеми, — и они нас будут *отлугать от себя?!!*

Но и он не хотел и беспокоился об «отлучении», — как о шуме, как о начале больших, ломких и болезненных событий. «Пусть будет паспорт старый, пусть дитя растет»...

«Русская вера», как она слагается, — кроткая, терпеливая, молитвенная, не спорщица, не преследовательница. В ней нет того: 1) ригоризма, 2) пыла, 3) великих подвигов поста и 4) гневливости, какие отмечает покойный Константин Леонтьев в «Очерках Афона», противопоставляя Ватопед и другие *грегеские* монастыри Пантелеймону и другим *русским* монастырям. «Дух русской веры привлекает всех, — писал он там. — Хотя русские не могут исполнить того, что исполняют греки, например несколько суток *совсем воздерживаться от пищи*». Добавим, что величайшие русские святые никогда этого и не полагали идеалом подвижничества. В посту они бывали умеренны, зато не уставали в помощи и совете людям, в нравственной и житейской их поддержке. Таков был Серафим Саровский. Таков был Феофан Тамбовский. Таков был Амвросий Оптинский. 10

...Когда Толстой мне говорил о качествах русского простого народа — о его великих свойствах в *терпении*, выносливости, незлобивости на перенесенные обиды, то я, помня хорошо славянофильские заветы и наблюдения и зная, *откуда* эти советы шли, полувозразил, полуобъяснил ему:

— Но ведь, Лев Николаевич, все, о чем вы говорите, что *восхищает* вас в русском народе, — все это содержится в *угении церкви*, всему этому выучила русский народ церковь. Тысячам, миллионам страдальцев она говорила на исповеди: «Терпи». И прибавляла: «Не ропщи». Это отпечаталось, запомнилось, как пост и «Господи, помилуй». Наконец, это в самом деле стало *нравственным законом* души. Ведь тысячелетие... 20

Я не договорил того, что было само собою ясно; каким образом он, восхищенный так *духом русского народа*, — в то же время давно и резко начал критиковать церковь, даже отвергать ее. Тут было явное противоречие, непоследовательность. Как ужаленный, он воскликнул:

— *Знаю я это!!*

Я был изумлен. «Вот как...». Было явно, что он впал в величайшую муку разлада с собою. Что он чего-то в собственном учении не различал, в собственном отрицании не расчленил, не отделил. «Стихия церкви» была в то же время «стихией народной», и вторую он так любил, так ценил, — первую же так отверг! В чем дело? Явно, что он восстал собственно не против *духа церкви*, а против некоторых *форм* ее и *злоупотреблений* около нее, как, например, преследование сектантов, высылка его друзей духовоборов, гонения на штундистов и проч. Но явно, что это не *суть* дела... Наконец, он восстал против некоторых *догматов*, которые народно-неизвестны и суть достояние библиотек, а не души... 30

Вот почему, когда добрый и разумный священник написал ему простые слова о «возвращении в *лоно церкви*», как бы *на грудь народа церковного*, он был расстроган и перебежал быстро мостик, отделивший его, воспользовавшись случаем,

чтобы сказать, что его «отлучили», но что он не «отлучался» и разделения ни с кем не хочет. Это есть именно «русская вера», первое требование ее: *мир, согласие*. Без сомнения, эта же «русская вера» заговорила и устами священника в его мирном и спокойном отношении все-таки к «отлученному». Капнуло с одной стороны, капнуло с другой стороны. Как сладка эта капля... И наконец, как не припомнить, что это любящее обращение и любящий ответ напоминают, как что-то *исполненное*, лучшие евангельские притчи, самые великие слова Учителя об «овце потерянной и найденной», о «радости на небесах», которая бывает «больше об одном покаявшемся, нежели о ста праведниках»... Впрочем, здесь все совершилось в таких утонченных, деликатных формах, с такими недоговоренностями, без берегов, без контуров, что нельзя говорить о «потерянной овце», о «кающемся». Да и по существу *этого* не было. *Соединение* — оно явно; а разделение, *бывшее* разделение — оно куда-то улетучилось, испарилось без следов, безо всего. Так «русская вера» своими таинственными оборотами умеет что-то сказать *дополнительно* к самому Евангелию. Так наш северный свет есть, конечно, только часть и последствие тропического, но *русский день* часто красивее африканского дня.

СБОРНИК ПИСЕМ ВЛАД. СОЛОВЬЁВА

Только что вышли из печати «Письма Владимира Сергеевича Соловьёва», — том I, собранные и изданные другом покойного философа, проф. Э. Л. Радловым (цена 2 руб.). Издание, рассчитанное на два или на три тома, за окупкою издержек печатания, — чистым доходом своим пойдет на учреждение стипендии имени В. С. Соловьёва, при котором кто-нибудь из наших университетов, для молодых людей, окончивших в университете курс и готовящихся к кафедре философии. Назначение в высшей степени симпатичное и общество имеет нравственный долг поддержать это начинание.

В биографии Вл. Соловьёва, помещенной при IX томе его «Сочинений», проф. Радлов говорит: «Соловьёв, при всей его кажущей общедоступности, остается неуловимым для большинства... Во всей его деятельности, почти в каждой строке, им написанной, чувствуется, что им владеет *одна затаенная мысль, предмет всей его жизни, всех его стремлений*». В подчеркнутых словах содержится указание действительно главной особенности, которую Соловьёв привлекал и до сих пор привлекает к себе любопытство. Вот для разгадки-то этого *x*-а в высшей степени важно собрание в возможной полноте его писем, — и, пожалуй, писем не столько к литераторам и ученым, не столько к людям шумной общественной деятельности, сколько к безызвестным или мало известным искателям и искательницам религиозной истины, к лицам мистической настроенности, пророческого духа и жара, какими всегда была не бедна русская земля. Вне сомнения, много таких лиц писало ему исповедания своей мысли и души, и конечно, они получали от него ответы, возражения и проч. Это интимная его корреспонденция, которая, бесспорно, была, и содержит самые важные обещания. На всякий случай прилагаем адрес издателя: СПб., Загородный пр. д. 24. Э. Л. Радлову.

Напечатанные в первом томе письма, вследствие экспансивности Соловьёва и того, что письма, очевидно, рождались в самый момент написания и запечатлевали точно этот момент, — дают «живую фотографию» философа в его будничной, домашней обстановке, в будничных, домашних настроениях ума и сердца. И все это до того живо и подлинно, что от книги невозможно оторваться, не дочитав ее сразу до конца. Беспорядочные строки чередуются с обрывками стихотворений, которые так и остаются в неоконченном виде; мысли — иногда глубочайшей философской содержательности, — чередуются с остротами то над собой, то над ближними, с насмешками, сарказмами и каким-то ни на минуту не останавливающимся смехом, несколько истерическим. Радлов в предисловии очень хвалит этот соловьёвский смех, ту «чисто детскую веселость», которая звенела в нем. Однако среди писем много и желчных. «О себе не скажу вам ничего дурного. Я поздоровел, сплю лучше и смотрю на мир беспощадно кротким взором. Я знаю, что „все, что было прекрасного“, провалится к черту (как уже провалилось крепостное право — эта первая основа всякой красоты), и такая уверенность наполняет мою душу почти райскою безмятежностью. Мелкие текущие события, напр. закрытие университета, служат пищей моему настроению. Сообщу вам кстати некоторые подробности», и он комично передает речь ректора и профессора римской словесности Г. А. Иванова к бунтующим студентам. Бедный филолог путается между попечителем гр. Капнистом и воспоминаниями о Сципионе Африканском. От тона этого тоже смеющегося письма мороз дерет по коже.

АВТОПОРТРЕТ ВЛ. С. СОЛОВЬЁВА

Под редакцией Э. Л. Радлова, одного из многолетних и ближайших друзей покойного Влад. Соловьёва, вышел том первый его «Писем». Здесь помещена переписка его с Н. Н. Страховым, Н. Я. Гротом, М. М. Стасюлевичем, А. Н. Пыпиным, С. М. Лукьяновым, И. А. Шляпкиным, г. NN., И. О. и С. Д. Лапшиными, Л. А. Севом, Н. П. Бахметьевой, А. К. Грефе, Фр. Рачком, епископом Штроссмайером, В. Л. Величко, В. М. Преображенским, Н. А. Котляревским и Э. Л. Радловым и в приложении ненапечатанная статья: «Из литературных воспоминаний о Н. Г. Чернышевском». Последние представляют, собственно, воспоминание еще десятилетнего мальчика Влад. Соловьёва о беседе его отца, великого историка Сер. М. Соловьёва, с Е. Ф. Коршем и Н. Х. Кетчером, которые принесли ему известие о состоявшемся приговоре особого сенатского суда над знаменитым публицистом «Современника». Понятно, что строгий государственник и церковник С. М. Соловьёв относился совершенно отрицательно к утопическим идеям Чернышевского, но ему был дорог моральный авторитет государства, и он был глубоко взволнован и оскорблен правительственной мерой. «Что же это такое, — говорил историк, — берут из общества одного из самых видных людей, писателя, который десять лет проповедовал на всю Россию известные взгляды с разрешения цензуры («Современник» был подцензурным журналом), имел огромное влияние, вел за собою чуть не все молодое поколение, такого человека в один прекрасный день без всякого ясного повода берут, сажают в тюрьму, держат

года, никому ничего не известно, судят каким-то секретным судом, совершенно некомпетентным, к которому ни один человек в России доверия и уважения иметь не может и который само правительство объявило никуда не годным, так как судебная реформа уже решена, и вот наконец общество извещается, что этот Чернышевский, которого оно знает только как писателя, ссылается на каторгу за политическое преступление, а о каком-нибудь доказательстве его преступности, о каком-нибудь определенном факте нет и помину».

Историка волновало это. «В интересах самого правительства было объявить *вину* наказанного и сообщить *доказательства* этой вины. Единственное объяснение того, что этого не сделано, заключается в том, что этой *вины нет* и что *объявлять им нечего*». Эту мысль отца разделяет и сын-философ, и доказательствам посвящены последующие страницы очерка. Но, кажется, оба они не приняли во внимание, что *способ добывания* «доказательств» вины иногда бывает столь нечистоплотен, что о нем невозможно объявить во всеобщее сведение, и, по разъяснениям «Былого», именно эта сторона дела и была здесь замешана. Редактор Э. Л. Радлов должен был бы привести эти последовавшие разъяснения «Былого» истории приговора Чернышевского, но, по академическому характеру своих занятий, он едва ли знаком с этим сборником документов нашего революционного прошлого, и отсюда произошла его редакторская погрешность.

20

* * *

Первым томом, очевидно, сборник писем Влад. С. Соловьёва не ограничится. Идеино наиболее интересны должны быть его письма к кн. Серг. Н. Трубецкому, самому даровитому и деятельному последователю учения и всей нравственной личности покойного философа, и к брату его Михаилу Серг. Соловьёву. Последнее, без сомнения, можно достать от сына его, племянника Влад. Соловьёва, известного теперь поэта Серг. Соловьёва. «Брата Мишу» Влад. Соловьёв чрезвычайно любил, проводил в его семье свои московские досуги и очень ценил его зрелый и молчаливый ум. Правда, к близким родным не пишут длинных писем, и, может быть, мы ошибаемся насчет богатств архива Михаила Серг. Соловьёва.

30 Во всяком случае, к *этому* именно брату он был наиболее близок изо всей родни; от сестер он стоял далеко; не был интимно близок и к матери; с братом-беллетристом, известным Всеволодом Соловьёвым, был в разрыве и вне всяких сношений, кроме официальных (по наследству) и неприязненных. Но круг его «друзей» почти равняется кругу тогдашней литературы, и, кроме того, есть, вне сомнения, много его важных писем к разным деятелям по вопросам церкви, и особенно — самый интересный из них — к женщинам и девушкам, мистически настроенным. Как известно, Соловьёв чрезвычайно на них действовал и сам очень поддавался их действию. Здесь редактор, Э. Л. Радлов, *хорошо и деятельно поискав*, может найти целую Голконду манускриптов в форме писем, и даже здесь он может доискаться сокровенной внутренней веры Соловьёва, или сокровенных внутренних его исканий, томлений, сомнений, предчувствий, о чем пока напечатанные письма не дают никакого понятия и представления. Все письма 1-го тома *не к настоящим друзьям* Соловьёва, а к «литературным приятелям», которые относились к внутреннему огню, сжигавшему его, или безучастно, или даже иронически,

чего не мог не замечать Соловьёв. Все напечатанное пока увековечивает ту гипсовую маску, которую всегда носил философ, — маску, расписанную шутками, фарсами, гримасами, буффонадой, какие так густо одевали Соловьёва и крепко его закрывали от глаза «непосвященного». В самом деле, в Соловьёва надо было «посвящаться»... И ни для кого «чужого» он не снимал маски и шутливого, почти шутовского, плаща.

Н. Н. Страхову, по поводу его полемики с академиком Бутлеровым и с проф. Вагнером о спиритизме, он пишет:

«Вы, может быть, получите от меня целый трактатец по этому поводу. Пока же извольте получить и „немую похвалу“, и немой протест. Он не только *немой*,¹⁰ но и *не мой* (курсив везде Соловьёва), ибо не я один восклицаю по вашему адресу: „*Не мой* материализма тонким мылом диалектики, — кроме пены, ничего не выйдет“. Такого же мнения держатся два моих приятеля, философы Лопатин и Грот, и мы даже собираемся написать вам соборне. Однако, *не мая* же месяца дожидаться, а потому вот вам сейчас немая похвала: я безусловно согласен и одобряю главный тезис вашего вступления, а именно, что путем спиритизма религиозной истины добыть нельзя... Доселе хвала. Что же касается вашей аргументации против спиритических чудес, то она имеет силу (если имеет) также и против *всяких* чудес, и против самого существования невидимых духовных деятелей, т. е. против всякой религии, ибо хотя, говорят, есть религия без Бога²⁰ (буддизм), но религии без ангелов и чертей не бывало и быть не может. Государство без царя еще возможно (Французская республика), но государство без чиновников и воров абсолютно невысказано».

Так, начав буффонадою во вкусе гимназиста даже не старших классов, он кончает протестом желчного и суеверного старика. И между этими двумя тонами брошен афоризм о материализме, который стоит диссертации.

«Будьте здоровы. Кланяйтесь кому попало», — кончает он письмо к тому же Н. Н. Страхову (стр. 9). «Прочел книжку вашу с наслаждением и с двумя приятелями» (стр. 15). «Вот и все — ни плюю, ни мою» (ни более, ни менее, — стр. 32). «Эти три дня одними начаями и извозчиками стоили мне уже 70 рублей» (стр. 69).³⁰ Среди спора о том же спиритизме, — вопрос: «Скажите мне, почему Гораций называет медуму ибисом, да еще безопаснейшим:

Medio tutissimus ibis.

В точном переводе:

«Медиум, о, безопаснейший ибис!» (стр. 17).

Продолжал бы дальше письмо, — «да прилетела индийская нимфа Пора-Спати (пора ложиться спать). Уже 4-й час ночи» (стр. 87). И нет письма, где не кружилась бы в судорожной пляске эта вокабулярная истерика. Соловьёв точно не умеет остаться спокоен. Точно его что несет. И он хотел бы удержаться за предметы, за идеи своими прозрачными, тонкими пальцами, но точно внутренний⁴⁰ вихрь отрывал его от них, и он уносился далее, далее, как старый, сморщенный, потемневший лист осени.

Кстати: как-то раз, сидя у меня, он посмотрел на свои руки и рассмеялся громким, неприятным смехом:

— Не правда ли, и рентгеновских лучей не надо. Кости все сквозь видны.

Тогда рентгеновские лучи были только что открыты и опыты с ними всех занимали. Особенно с костями рук.

Нельзя не поблагодарить Э. Л. Радлова за собрание и издание писем Соловьёва и за метод, которого он держался при этом и за который извиняется в предисловии: *ничего не пропускать*, т. е. печатать письма даже и без всякого содержания, простые уведомления. В результате получился до того *жизненный портрет* Соловьёва, что, проглотив том в вечер, мне показалось, что Соловьёв воскрес, вот тут ходит по комнате, и я *слышу его голос*: так эти мелочи, которые не могут войти ни в какую *обобщенную* биографию, ни в какую «характеристику», — воскрешают подлинного человека с его мельчайшими тенями, полутенями и даже бестенностью.

«Милый друг. Я теку, но остаюсь на месте. Посылаю к Б—у негра с рукописью. Зная твоё пристрастие, поручаю тому же негру повидать тебя. А ты, если увидишь Б—а, скажи ему, что я болен. Твой Влад. Соловьёв».

При незнании, что это за «негр» и кто этот «Б—ъ», даже нельзя разобрать, о чем идет речь; да писулька до того малозначительна, что ее не стоило комментировать. Сюжета нет. Но *тон есть*: и редактор прелестно сделал, что не бросил бумажку в корзину, а поместил на отдельной странице, — как и все записки и письма. Отвертывая страницу за страницей, пробежав в два часа всю книгу, *испытываешь впегащение*, как бы разговаривал с самим Соловьёвым или, во всяком случае, слушал его разговор с другими. Это очень много. Признаюсь, это ценнее «философской биографии», где виден был бы рассуждающий биограф, и еще Бог весть, дал ли бы он увидеть обсуждаемый сюжет.

«Приехал». «Переезжаю». «Хотел быть, но задержала болезнь». «Буду непременно в 11 ночи: вели приготовить ванну» (к Величко, два раза). «Буду у вас вечером, а теперь, пожалуйста, пришлите с посланным мое облачение» (стр. 3). «Читаю на Миллионной (у княгини Волконской): приезжайте. Если бы пришлось вам приехать раньше хозяек, которые будут в концерте, то входите, не сомневаясь». И вечные поклоны «Наталье Петровне, Яковлевне и Николаевне» (Грот), «Любовь Исааковне» (Стасюлевич), «Марии Георгиевне» (Муратовой, Величко), «Вере Александровне» (Радловой) и, наконец, «кому попало», в том числе и Д. И. Стахееву, — все это до того схватывает сухощавую высокую фигуру Соловьёва, весь его жизненный *habitus* *, в его летней разлеталке или осеннем старомодном пальто, которое он носил благоговейно, как дар умершего Фета, с его торопливостью, забывчивостью, «начаями извозчикам», столько же по добrote, сколько по отвращению считать сдачу, ибо он думал не об извозчике, а об Антихристе, что всякий, знавший лично покойного философа, переживает полную иллюзию. «Вижу Соловьёва, слышу Соловьёва»... «Милый друг! Я нездоров, меня рвет не только утром, но и вечером. В этом состоянии я написал „Любовь“ и „Люллий“ (философские статьи для „словаря“ Брокгауза и Эфрона)... Предварение роковых последствий свадебного пира затмило мой ум и вышибло из моей памяти *Новокантианство, Новопифагорейство, Новоплатонизм*. Избавь ты меня ради всего священного от этих трех новостей, будь друг и благодетель», — пишет он Радлову, т. е. чтобы тот написал вместо него эти очередные статьи для того же

* внешний вид (лат.).

словаря. «Не будучи ни педантом, ни точным экономистом, присылаю три бутылки шампанского» (для сборной приятельской вечеринки). И т. д.

И спешит, спешит. И угрюм, угрюм. В том же письме, где он шалит «ни плюи, ни мою», — он пишет превосходный разбор тех, так сказать, слоев *достоверности*, в которых плавают эмпирики, логики и святые. Письмо адресовано Страхову, и все по поводу того же спиритизма. Страхов отказался даже обсуждать явления *медиумизма*, на том основании, что они противоречат высшим истинам механической физики и математики. «Но позвольте вам сказать, что вольнодумцы IV и V века, затем французские энциклопедисты и, наконец, наш непременимый Колумб всех открытых Америк, Л. Н. Толстой, оспаривали догмат Троицы на основании арифметики: один не три, а три не один». Но, конечно, установившие и потом признававшие догмат Троицы хорошо знали и *признавали* эту коротенькую арифметику: «три не один», каковое признание им ничуть не мешало признавать и единство Бога в трех лицах. Религиозные истины представляют собою следующий ярус над физическими истинами. Подобное расслоение «достоверного», «истинного» мы можем наблюдать даже в пределах какой-нибудь одной науки: арифметика *не знает* и в арифметике *непредставимы* дробные степени или мнимые величины, а в алгебре те и другие *есть в наличности*. Так и Соловьёв, признавая опыт и эмпиризм, признает их только для определенных границ, в которых не все кончается. И вдруг делает неожиданное признание, раскрывающее «святое святых» его души: «Если вы, полемизируя с Бутлеровым и Вагнером, ссылаетесь на опыт внутренний, отрицая внешний, то ведь и я могу опереться на свой внутренний опыт. Я не только верю во все *сверхъестественное*, но, собственно говоря, *только в это и верю*. Клянусь четой и нечетой, с тех пор, как я стал мыслить, тяготеющая над нами вещественность всегда представлялась мне не иначе, как некий кошмар сонного человечества, которое давит домовою. Однако, дабы не предаваться парению ума, обратимся к текущему. Так как вы не написали мне о себе, то я сделаю это вместо вас, т. е. напишу вам о себе, — каламбуры прямо из логики Гегеля. Я прочел две публичные лекции», и проч. (стр. 34). Я нарочно не прервал признание страшной субъективной силы и кончил его каламбуром, который за ним следует. Видите ли вы зарево страшного пожара, в котором сгорает все, и внутри его пламени, в самой средней точке — шутовскую гримасу с упоминанием «логики» первого метафизика XIX века. Таков весь этот поразительный отрывок. Нельзя отрицать, что самые каламбуры и острословие Соловьёва вытекали из того, что его ум и, пожалуй, гений вечно неслись по самому краю какого-то задержанного, но чуть задержанного, безумия... Вот-вот немножко еще в сторону, — и философ полетит «на 11-ю версту», как говорят в Петербурге. Но колесо, стальной твердости и предопределенного бега, не уклоняется ни на вершок далее опасной черты, — и из-под пера его сыплются трактаты, томы, статьи, лекции, — изумительного блеска, и философского, и религиозно-⁴⁰

Ему приходит сомнение о своих стихах, — прелестнейшем, лучшем и *вековечном*, что он после себя оставил: «Философично ли я поступаю, предлагая публике свои бусы, когда существуют у нее алмазы Пушкина, жемчуг Тютчева, изумруды и рубины Фета, аметисты и гранаты А. Толстого, мрамор Майкова, бирюза Голенищева-Кутузова, кораллы, яшма и малахиты Величко» (стр. 226, из письма к Величко). В этих нескольких строках больше истины и глубины, чем не только в разных *выпрошенных* рецензиях на упражнения современных ему лау-

реатов, но и в довольно плачевных его лекциях о Пушкине, Лермонтове и Тютчеве («Судьба Пушкина» и проч.). Между тем *только в стихах* Соловьёв и выразил свое *лигное и особенное*, свое *оригинальное и новое*. Только здесь и живет его «я», тогда как в 8 томах прозы живут только его *способности и угеность*, острый ум диалектика и изумительная эрудиция, работающая над *гужими темами*, хотя бы и данными седою стариною или же новенькими событиями. И «Оправдание добра», и «Критика отвлеченных начал» — все сюда входит, в его *ненастоящее*. Ну, а в настоящем характере следующих стихов нельзя усомниться:

10

Не жди ты песен стройных и прекрасных,
У темной осени цветов ты не проси;
Не знал я дней сияющих и ясных,
А сколько призраков, недвижных и безгласных,
Покинуто на сумрачном пути.
Таков закон: *все лучшее в тумане,*
А ясное иль больно, иль смешно.
Не миновать нам двойственной сей грани:
Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвугие вселенной создано.

Из какой мрачной, безотрадной души это вырвалось! Сколько нужно *много-*
20 *летней скорби*, заглушаемой каламбурами, чтобы сказать такое признание! Стихи: «все лучшее в тумане, а ясное иль больно, иль смешно», — совсем как из Лермонтова, а общий смысл отрывка, особенно если рядом поставить какой-нибудь каламбур из писем, дает впечатление гоголевской физиономии. Соловьёв как личность был гораздо слабее обоих названных поэтов; в то же время был, конечно, неизмеримо их образованнее; был добрее их, чутче их, — особенно к обществу. Но он из той же руды, как они; обломок или выломок той же горной породы.

К Л. Н. Толстому он постоянно или неприязнен, или враждебен. В конце концов, это вылилось, как известно, в диалогах «Под пальмами» («Три разговора»),
30 где смешным образом он *совершенно серьезно* представляет Толстого как сокровенного Антихриста. Это то пятно на памяти Соловьёва, которое напоминает об «11-й версте». Но в письмах есть шутки действительно удачные: «Виделся у Фета с Л. Н. Толстым, который, ссылаясь на одного немца, а также и на основании собственных соображений, доказывал, что земля не вращается вокруг солнца, а стоит неподвижно и есть единственно нам известное „твердое“ (sic) тело, солнце же и прочие светила суть лишь куски света, летающие над землею по той причине, что свет не имеет веса. Я советовал ему написать об этом Бредихину, астроному, и вам, дорогой Николай Николаевич», — пишет он другу Толстого Н. Н. Страхову (стр. 19). Научные рассуждения Толстого, мной слышанные от него устно, всегда
40 имеют предметом полемику против чего-нибудь «общеустановленного» и явно или скрыто опираются всегда на какую-нибудь прочитанную и увлекшую его книжку. Они составляют несчастье Толстого, но не приносят никакого несчастья публике. В другом месте Соловьёв замечает: «Прочел Толстого „В чем *моя вера*“. Ревет ли зверь в лесу глухом (из „Эхо“ Пушкина, — намек). Вчера получил только что вышедшее собрание сочинений Козьмы Пруткова, с портретом и факси-

миле автора. Будьте здоровы, дорогой Н. Н.». Это сближение Толстого с знаменитым К. Прутковым говорит ярко и без раскрытия скобок. Письмо адресовано к тому же другу Толстого. Нельзя не заметить, что глубоко *трезвый* взгляд Толстого на христианство, вследствие своей крайней прозаичности, — стоит позади отношений к христианству и церкви Влад. Соловьёва. Оговоримся если не для «сейчас», то для будущих времен. У Толстого есть *собственная лигная* мистика души, мистика житейского *своего опыта*, наконец, мистика *опыта русского народа*, а она глубока, и Соловьёв, как и никто, не вправе над нею улыбаться. Но когда Толстой придвигает к себе большие ученые книги и, с немцами в руках, начинает «истолковывать» Евангелие и вылущивать из него «смысл жизни», он становится беден, как преподаватель Peter-Schule*, взявшийся за роль Лютера. Здесь его сердце, воображение не горит, и все ужасно тускло, безжизненно. Здесь Соловьёв, с его воплем, что «вселенная кажется ему кошмаром, который снится человечеству, потому что это человечество давит домовой», — хотя и намекает на «11-ю версту», но намекает так, как вещие и несбыточные видения Иезекииля, Даниила и Иоанна Богослова, которых все не понимают, но все перед ними трепещут. Такой «сумбур» выше «трезвости» Толстого, и Соловьёв сохранил права сблизить ее со здравомыслием Козьмы Пруткова. Тут он прав.

АВТОПОРТРЕТ ВЛ. С. СОЛОВЬЁВА

Церковные занятия его и его личность

Известно, что $\frac{3}{4}$ жизненного труда посвятил Соловьёв богословским темам, и собственный его племянник, даровитый поэт Сергей Соловьёв, энтузиаст его поэзии и философии и всей нравственной личности, тем не менее, должен был сознаться, что эта часть трудов великого его дяди наименее содержит в себе долговечности и жизни. Он и сказал — почему. Не самое *богословие* и уж, конечно, не *религия* недолговечна, но Влад. Соловьёв все дело взял слишком *конкретно*, слишком прилепляясь *к истории*, которая есть именно «история», а не настоящее и не будущее. Статьи его в «Вестнике Европы» о византийской государственности были археологичны и обременительны даже для Мих. М. Стасюлевича, и воображать, что ими заинтересуется новая Россия, было наивно. Новой России просто этого *не надо*, потому что по части государственности она намерена жить своим умом, а не византийским. Далее, его многолетнее отстаивание «примата апостола Петра», ведущее к признанию священства, папства и затем к мысли о соединении церковью западной и восточной, тоже является ценным, как рычаг для пробуждения церковной мысли у нас, но весьма проблематично с абсолютной точки зрения. Во всех этих темах Соловьёв был неабсолютен. Им руководила не «чистая истина», и *гистой истины* он не искал. Это-то и сообщает умиравший характер его трудам данной категории. Он был превосходным церковным публицистом своего времени, и как *публицистические темы* его темы огромны: вопрос о соединении церковью, вопрос о догматическом развитии церкви, т. е. об ис-

* немецкая гимназия (нем.).

торической возможности и необходимости двигаться дальше семи соборов, названных «вселенскими», каковое движение совершила западная церковь и предстоит совершить восточной церкви, — такие вопросы своей огромностью, эмпирической и истинною и жизненною важностью не могли не прогнать мертвый сон богословов 80-х и 90-х годов XIX века. Встрепенулись и академии, протерло глаза духовенство, забеспокоились власти. Все пришло в движение «против Соловьёва», а Соловьёв наносил и наносил свои то острые, то тяжелые, то резвые удары. Прямая полемика была невозможна по цензурным условиям, и он прибегал к косвенной: против славянофилов, против Данилевского, против Страхова. Данилевский был близкий, если можно выразиться, кровный друг Страхова, и Соловьёв, начиная полемику против первого, предупреждает в письмах Страхова, что больше ничего не остается делать, так как «духовные журналы для меня закрыты, прямое проведение моей темы невозможно, и остается только нападать на друзей друга и этим путем сказать хоть что-нибудь». Относительно этой публицистики надо сказать, однако, следующее. Не будучи абсолютна по прямой своей теме, она была до некоторой степени абсолютна по своим *побогным мотивам*, и именно этическим, прямого и простого *человеческого благородства*, без всякой примеси церковности и даже религиозности. Например:

1) Что христианам ссориться? Вражда всегда есть зло, нравственное зло. По этому надо искать *примирения церквей*, стремиться к *слиянию церквей*.

2) Застой, мертвый сон отвратителен. Везде он гадок, а в религии и церкви — удвойно. Соловьёв выдвигает учение о «догматическом развитии церкви».

И т. д. Этический идеал — абсолютный; а «свои собственные столбы» позорны в той или другой церкви — относительны.

В этом отношении характерно его письмо к В. Л. Величко, человеку прямого ума и сердца, но чуть-чуть наивному (мое личное впечатление). «Касательно *православия* и истин его, преимущественно перед протестантством, поясню вам притчею. В некоем городе было две школы. Одна из них отличалась превосходною программю учебною и воспитательною, — программа эта не оставляла ничего желать в смысле правильности и полноты, так что, судя по одной программе, всякий должен был сказать: какая это, право, чудная школа! Однако при всем том начальство и учителя этой образцовой школы частью ничего не делали для обучения и воспитания юношества, частью же предавались содомскому греху и растлевали вверенных им питомцев. Вторая школа имела программу хотя в основе правильную, но весьма неполную и скудную; однако учителя в ней, вообще говоря, добросовестно исполняли свои обязанности и от содомии и других неправильностей воздерживались. Резон ли взять младенца из этой второй школы и поместить в первую ради великолепия ее программы? Далее, пока ваша принадлежность к греко-российской церкви есть только внешний факт, происшедший не по вашей воле, вы ни за что не отвечаете; но когда вы и по собственной воле, сознательно, намеренно и без всякого принуждения присоединяете к названному учреждению малолетнее и потому безответственное существо, то вы торжественно заявляете свою солидарность с этим учреждением, и все его грехи переходят на вас; тогда уже вы лично виновны и в сожжении протопопа Аввакума, и в избиении кромских крестьян, и в запрещении молитвенных собраний штундистам, и в тысячах других фактов того же вкуса» («Письма», стр. 223—224).

Сравнение не только прекрасно, и хоть сейчас в «Богословскую хрестоматию», но оно и необыкновенно жизненно: «я виновен», «мы виновны» в сожжении Аввакума. Это уж не то, что вяленькое историческое: «бысть сожжен в срубе индикта» такого-то и года.

Но что это за мораль? Христианская, евангельская? Это мораль просто *порядочного человека*. И нельзя не видеть, как иногда она выше и здравомысленнее, например, морали Толстого в его преувеличенно христианском наклоне. Он пишет, например, Гроту: «К Толстому не поеду: наши отношения заочно обострились вследствие моих „Идолов“ („Идолы и идеалы“), а я особенно *теперь* доволен бессмысленною проповедью опрощения, когда от этой простоты сами мужики с голоду мрут» («Письма», стр. 71). Письмо от 9 августа 1891 года, когда вся Россия была взволнована уже определившимся, уже наставшим голодом. К этому относится курсив Соловьёва в слове «теперь». Действительно, проповедывать *образованному классу* России то «опрощение», от которого (между прочим) мужики мрут в голодном тифе, — значит забыть всю *реальную Россию* под гипнозом евангельской проповеди о «невинности и простоте», о чем-то «голубином» и «младенческом». Несвоевременностью своей проповеди Толстой показал себя не только несообразительным, но эта несообразительность перешла и в черствость. Соловьёв говорит здесь как мелкий публицист, но в *повседневном* 10
глаз мелкого публициста умеет разобраться лучше, чем глаз мудреца. 20

Письма драгоценны, между прочим, тем, что позволяют впервые рассмотреть некоторую искусственность богословских построений Соловьёва. Он пишет Страхову из Сергиева Посада, где встретил и провел рождественские праздники 1887 года, самой поры его богословских увлечений: «Пишу вам из Троицы, где проводил все так называемые праздники („беззаконие и празднование“, как справедливо замечает один пророк), дабы провести их по возможности непраздно, что мне и удалось. В эти три недели (письмо помечено 11 января) я испытал или начал испытывать одиночество душевное со всеми его выгодами и невыгодами.

Ах, далеко за снежным Гималаем
Живет мой друг,
А я один и лишь горячим чаем
Свой нежу дух.
Да сквозь века монахов исступленных
Жестокий спор
И житие мошенников священных
Следит мой взор.
Но лишь засну, — к тибетским плоскогорьям,
Душа, лети!
И всем попам, Кириллам и Несторьям,
Скажи: прости!
Увы! Блаженство кратко в сновиденьи.

30

40

Впрочем, кроме монахов допотопных, мне приходится иметь дело и с живыми, которые весьма за мною ухаживают, желая, по-видимому, купить меня по дешевой цене, но я и за дорогую не продам. Тем не менее, увлекаемый благогра-

зумиим, я решил исключить из I тома моей „Истории теократии“ вопрос о примате Петра» и т. д.

Под светом луча, брошенного в этом письме, мы безошибочно заключаем, что все его «теократические» работы не были чем-то *настоящим*, а были только «упражнением на тему». «Допотопные попы Кирилл и Несторий» — это ведь св. Кирилл Александрийский, а Несторий — патриарх, поднявший известное волнение в церкви, названное после победы над ним «несториевой ересью». Все это — первые светильники эпохи Вселенских соборов. Во всяком случае, он *заробел* бы написать такое неучтивое стихотворение в отношении тех «чиновников, и воров» царства небесного, каковым именем он назвал ангелов и бесов в одном цитированном ранее письме. Как резко и сурово ответил он там Страхову: «Во все *сверхъестественное* верю больше, чем в естественное». Тут — вера. А «попы», послепотопные и допотопные, — это только полувера. Да и она едва ли есть: «Спор монахов иступленных» и «житие мошенников священных» не суть эпитеты даже полуверы. Тут просто — ничего. И если посвящаются томы на разъяснение или примирение этих «иступленных споров», то это не совсем чистосердечная дань исторического почтения.

Тот же тон встречаем через пять лет в письме к М. М. Стасюлевичу. «О брennom существовании своем не могу сказать ничего хорошего, — пишет Соловьёв. — Зеркало и гребень дают зловещие показания:

Цвет лица геморроидный,
Волос падает седой.
И грозит мне рок обидный
Преждевременной бедой.
Я на все, судьба, согласен,
Только плешью не дари:
Голый череп, — ах! — ужасен,
Что ты там ни говори.
Знаю, безволосых много
Меж святых отцов у нас;
Но ведь мне не та дорога:
В деле святости я — пас.
Преимуществом фальшивым
Не хочу я щеголять
И к главам мироточивым
Грешный череп причислять».

Что же представляет собою обширная учено-богословская система Соловьёва, — система, и по самому тому без «веры, надежды и вдохновенья» изложенная? Едва ли мы ошибемся, если скажем, что это есть *последняя* богословская система в Европе, — последняя, ибо самая суть *систематизации* и вообще *логической обработки* предметов веры, которая даже по катехизису есть «вещей *невидимых* обличение», ложна в мотивах и былом пафосе. Религия есть молитва. Религия есть трепет крыл души, боящейся, угнетенной, тоскующей или блаженной неземным блаженством. Но религия — не логика. Наконец, религия есть музыка. Со времен псалмопевца Давида религиозная настроенность души требовала со-

звучий арфы. А разве логика нуждается в аккомпанементе музыкальных инструментов? Из этой несовместимости уже можно видеть, что где логика, там нет религии, а где религия, там *неприменима* логика. Между тем «богословие» и есть применение логики, — именно и только логики, — к невидимым и неисповедимым предметам веры («вещей *невидимых* обличение»). Тут Соловьёв был более виртуоз, чем другие; однако трапеция, на которой он проделывал невероятные движения, непрочна, да и не привлекает более внимания. Ведь замечательно, что в сфере церковных вопросов *высшим критерием* для него оставались просто суждение и совесть *порядочного и образованного человека*, к инстанции которой он требовал все эквилибристические споры «слепотопных» монахов. 10

Настоящее Соловьёва была его сумрачная, осенняя поэзия, затем некоторые суеверия первобытного склада, почти по типу ведовства и колдовства («черти» и т. п.), и затем его странное и страшно упорное предчувствие близости конца мира и пришествия Антихриста. В этих трех пунктах он мог «клясться» и мог за них умереть. Остановимся на последнем из этих трех пунктов. Уже в 1895 году он пишет поэту Величко, в то время редактировавшему правительственную газету «Кавказ»: «Будьте так добры, напишите, подтвердилось ли известие о заключении союза между Японией и Китаем; *это огонь важно*». Так как Соловьёв стоял вне всяких связей с дипломатическим миром и не имел никакого решительно интереса даже к русско-французскому союзу (о нем в письмах есть злые насмешки), то подчеркнутые мною слова о важности для него знать о союзе между Японией и Китаем показывают, что уже тогда в нем зрела тема известной «Повести об Антихристе», пришествию коего должен предшествовать разгром Европы японско-китайскими ордами. Таким образом, вот когда забродила у него тема, в рамки которой уложилась русско-японская война. За восемь лет до нее, когда о «желтой опасности» ни один человек в Европе не помышлял, когда не прозвучал самый этот термин, потом пронесшийся по Старому и Новому Свету. Здесь предчувствие Соловьёва до того поразительно, и вместе оно так документально засвидетельствовано, что может быть причислено к «чудесам» духовного зрения. Тут ни сомнению нет места, ни какому-либо рациональному объяснению. Здесь мы говорим: «Пас. Не понимаю. Но вижу». Незадолго до смерти он подробно (хотя несколько и забавно) изложил ход завоевания монголами сперва России и затем Европы, причем даже приурочил важнейшие битвы к определенным городам России и Европы. «Непременно там-то будет бой». Это уже превосходит Козьму Пруткову и приближается к известному московскому Корейше. Но, устранив явно забавное, нельзя не остановиться на серьезном: свет европейской цивилизации, христианской цивилизации загаснет под напором желтолицых рас. Один фазис этого ужасного цикла, предсказанного Соловьёвым за восемь лет, мы не только пережили, но в русско-японской войне странным и почти чудесным или колдовским было то, что ведь мы не одержали там *ни одной победы, не захватили в плен ни одной роты*, и все вышло действительно так, как будто у нас была «рука заморожена», а японцам кто-то «ворожил под руку». Этого нельзя отрицать: вспомните смерть Макарова при первом выходе из бухты, припомните, что адмирал Витгефт был убит *первым ядром* с японского корабля, попавшим именно в его корабль, и притом в самую рубку командующего флотом. Не сказать, что «черт принес ядро», как и «подложил мину Макарову», просто невозможно, и тут не суеверие родит объяснение, но чудесная действительность родит суеверие. 20 30 40

Мы живем в рациональный, позитивный век, и не сложилось о тех событиях суеверных рассказов и чудесных легенд, но самая действительность была вполне суеверна, и творилась поистине какая-то «чертовщина».

В «Трех разговорах» есть страница, которая поразила не одного меня своим *тоном* и которая гораздо зловещее «Повести об Антихристе» с ее забавными подробностями. Цитирую на память: «Замечали ли вы, — говорит одно из действующих лиц, — как мало стало ясных дней? Я помню их гораздо больше в детстве. Земная атмосфера заметно переменялась, именно потускла, — и это не физическое, а духовное явление или физическое в зависимости от духовного. Это близкий уже Антихрист потемняет свет Божий». В моем изложении это слабо, потому что этому я не верю, но у Соловьёва это так *грустно*, так *истинно* сказало-
 10 сь, что при чтении я помню, что вздрогнул. «В самом деле, как будто...» — этого нельзя не проговорить. Тут Соловьёв, как колдун, навевает. В сборнике его «Писем» есть следующее, в Тифлис, к В. Л. Величко: «...Говорить о всем происходящем после нашей разлуки — лучше и не пробовать. Ничего крупного, но

Есть бестолковица,
 Сон уж не тот,
 Что-то готовится,
 Кто-то идет.

20 Ты догадываешься, что под „кто-то“ я разумею самого Антихриста. Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хоть неуловимым дуновением, как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух прежде, чем увидит море. Mais c'est une mer à boire *. Сердечно кланяюсь Марии Георгиевне...» и проч., и проч. («Письма», стр. 232).

Вот это *ведовское, вещунье* начало было явно сильно в Соловьёве, и он нес его, может быть, как скорбь, как тягость, не умея от него освободиться. Да и хотел ли? Есть сладкие скорби, пусть это и «самопротиворечие». Он *обладал* вещим даром или несчастьем, и этот — нельзя сказать, чтобы не «супранатуральный», — дар, который отнюдь не сводится только к «предвещаниям», и выделил его из
 30 толпы в фигуру, одиноко стоящую и загадочную. В его отношении к людям есть высокомерие и холодность, и, несмотря на любезность, почти приторную, во всякой писульке в три строки заметно, что он никого не любит и что ему *постоянно тяжело и не до людей*. Отношение его к людям можно назвать неблагого-
 40 дным. «Вот и моя зуботычина Страхову, многоуважаемый Михаил Матвеевич», — пишет он Стасюлевичу («Письма», стр. 105), это еще до разрыва с ним и после того, как он писал не только бесчисленное число раз «глубокоуважаемый и дорогой», но иногда и «дорогой, уважаемый и бесценный Николай Николаевич» (стр. 41 и др.), и письмам которого он радовался, увидя только адрес с его почерком. Да и вообще Страхов был чуть не вдвое старше Соловьёва, так же образован,
 40 как он, и, по словам, мне устно сказанным Э. Л. Радловым, другом обоих недругов-друзей и издателем писем Соловьёва, «был несравненно умнее Соловьёва, хотя и не имел малой доли его *творчества*». Страхов был действительно только

* Это море, которое надо выпить (*фр.*).

критик, но «первоклассный в России» (слова Соловьёва в письме). За что же старику «зуботычина»? Это не деликатно, грубо и пошло.

Но Соловьёву было не до «церемоний»... Просто было *самому* тяжело и *постоянно* тяжело. В Соловьёве главное, «заповедное» — его *лигность*, которая притягивает гораздо более его «Сочинений». Я попытался собрать некоторые крупницы «личного портрета», полное начертание которого возможно будет по напечатании возможно большего материала, пока остающегося в архивах частной корреспонденции. Изданный пока том дает поразительно точную картину его жизненного *habitus*'а, его манеры жить, сноситься, говорить, приятельствовать, шутить, дурачиться, передает его лицо, усмешки и морщинки, его *минуты* ¹⁰ возле зажженной лампы и над почтовым листом, когда он отрывался или от вещей дум своих, или от журнальной «поденщины». И эти черты драгоценны и *без корреспонденции были бы абсолютно непредставимы и затерялись бы во времени*. В жизни, в *habitus*'е его точно вечно лихорадит, и «лихорадящий философ» или «лихорадящий мистик» — его возможный эпитет. Все он уезжает или приезжает (как Гоголь, вечно странствовавший). Для его «крыльев» *жить на квартире* — слишком грузное состояние. «Не такова птичка». Он вечно жил по номерам или в гостях. Раз жил в пустой квартире Страхова, откуда писал ему письма. Вообще оседлая жизнь, постоянная жизнь и Соловьёв — вещи несоизмеримые. Даже, пожалуй, несоизмеримо с ним и понятие «оформленная жизнь». Ванну он принимает, приехав в гости к Величко, а платье зачем-то оставляет у Страхова. Так люди не живут. Но это другая форма для истины, что «Соловьёв жил *не как все люди*». Но если всякая птица по гнезду и гнездо — по птице, то «жил *не как все люди*» показывает только, до чего Соловьёв в таинственной сущности своей был *особлив* от людей, мало *похож на них*. Он заверял, и мы можем поверить ему, что он «знался с демонами», а его *ясные* и возвышенные стихотворения, стихотворения столь человеческие и благородные, говорят нам, наверное, что все же лучшая часть его души была сохранена ангелами, которых посылает Бог. Он был очень несчастен, но теперь ему лучше, чем когда-нибудь на земле. К Радлову он написал четверостишие *о себе самом*: ³⁰

В лесу болото,
А также мох,
Родился кто-то,
Потом издох (стр. 254).

Этих грустных издевок он не говорит ни себе, ни другим. Разве небо, голубое небо покоило бы землю в *такой красоте своей*, если бы за пределом земли не ожидало нас нечто светлое и музыкальное, некая баюкающая мелодия, которая залечивает *раны*, которая *прощает* и утешает.

На всякий случай, если кто-нибудь, имея письма Соловьёва, захотел бы в целом *или гаси* напечатать их, с сохранением своего имени или без этого, то вот адрес аккуратного их издателя, который по снятии копий вернет оригиналы их собственникам: С.-Петербург, Загородный проспект, дом 24, Эрнесту Львовичу Радлову (закрытым письмом, — как *всегда* писал и Вл. С. Соловьёв). Будем, друзья, копить память усопшего. ⁴⁰

К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЙ

Насколько в обществе нашем пробуждается религиозно-философский интерес, насколько он ищет переступить с безнадежных плоскостей позитивизма к созерцаниям более глубоким и внутренним, — это более всего оформилось в петербургских религиозно-философских собраниях 1902—1903 года и в заседаниях религиозно-философского общества 1907—1908 года. Вторые составляли продолжение первых. Религия есть особая вибрация души, *sui generis* *, — не всем знакомая; но манифестации ее в истории так огромны, могущественны, 10 неодолимы, всевластны, что хотя атеист, конечно, и может сказать: «Я этого *не знаю*», т. е. «*не испытываю*», но он не может отвергать ее объективного, вне его лежащего, существования. Религия *есть*, и отрицать ее просто даже не позитивно, ибо позитивизм не может выкидывать из поля своего зрения фактов. Но внутреннего и понимающего отношения к этим фактам позитивист никогда не может иметь, — как дальтонист не может судить о цветах и оценивать цвета: здесь по совершенно позитивным основаниям позитивизм вынужден к очень скромным суждениям. Религиозно-философские собрания на обоих своих фазах бились на два фронта: против левого позитивизма, левого дальтонизма, и против правой, семинаризма и академизма, — т. е. той традиционной схоластики, 20 которую увито живое древо веры, увито, отягощено и отчасти скрыто и подавлено. По существу ссора и вообще по существу *рассуждения, обсуждения*, — в собраниях, конечно, не было и не могло зазвучать то вибрирование души *sui generis*, которое составляет зерно и суть религии: не такое там было *место*, не такая была там *тема*. Тема была не излагательная, а критическая, поверочная. Но в пределах этой темы, *религиозного суждения*, в собраниях за три года их существования было высказано так много ценного, основательного и нового, что решительно нельзя себе представить дальнейшего движения религиозной мысли в России, которое не имело бы отправною своею точкою этих суждений. Степень новизны, неожиданности и разрушительности для традиционной схоластики 30 этих суждений всего образнее выразил известный архиепископ волынский Антоний, сказав и напечатав, что на предстоящем соборе русской церкви он предпочел бы иметь дело «лучше с каторжниками, нежели с участниками этих собраний». Так как, однако, на них участвовали, без всякого протеста и негодования, некоторые епископы и много священников, да и светские их участники были совершенно мирные люди, никого не зарезавшие и не ограбившие, то очевидно красочное суждение архиепископа волынского относилось исключительно к образу религиозного суждения. А так как в то же время он ничего из этих суждений не опроверг, — ни он, ни другие духовные писатели, и не писавшие, и писавшие о собраниях, — то очевидно на них была выдвинута некоторая сеть суждений, 40 и трудно поддающихся критике, и разрушительных, как я сказал в отношении к традиционной схолистике. Причем глубокое уважение и даже восторг к вере русского народа и вообще к народной религиозности не раз высказывались на этих собраниях, и это не имело исключений, ни оппонентов. Передавая не свою мысль, но ходячую и многократно высказываемую, я скажу, что сумма идей, вне-

* своеобразная (*лат.*).

сенных на этих собраниях, содержательнее и шире, новее и жизненнее, чем догматические споры, разделившие когда-то греческую и латинскую церковь, и чем другие сомнения, послужившие потом причиной возникновения Реформации. Причем это относится просто к зрелости той культурной эпохи, того момента цивилизации, когда поднялись вновь религиозные вопросы. Зрелое время более удалено от младенчества и наивности, и серьезнее и основательнее вопросы, более глубоко копают умственный заступ. Таким образом, в подобном признании никакой умственной чести или умственной заносчивости нет. Наоборот, приходится выразить глубокое сожаление о личной слабости участников этих собраний, кажется — и создаваемой, а во всяком случае очевидной для наружного наблюдения. Но не следует преувеличивать значение этого недостатка. Слова Пушкина о поэте, что «пока не коснулся его божественной глагол», — ¹⁰

Меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожнее он —

применимы и сюда. Житейское ничтожество поэта все же не мешает тому, что именно он даст потом чудные строфы. И личная слабость несколько не отнимает важности и ценности у мыслей слабого лично человека. Это очень надо различать. Обычно представляется, что «новое» в религии может принести только праведник, святой, «апостольского» духа человек, словом, светоч личного поведения, личной биографии. «Покажи мне подвиги твои, и я пойду за тобою», — так полагает человечество. Но, не говоря о том, что величайший псалом, который до сих пор заучивают наши дети, готовясь в школу, был сложен после *унизительного* греха, унизительного *падения*. Можно и вообще заметить, что «праведность» есть качество *следующего* за кем-нибудь, а не идущего впереди всех, это есть *вторичное* и *пассивное* свойство *повиновения*, а не *творчества*. Праведники появляются в *устойчивую, среднюю* эпоху, когда нет сомнения о заповедях, о заповеданном. Напротив, религиозная новизна есть путь догадок, прозрений, сопоставлений, исканий; и все это требует мысли, а не личного жития. Это подтверждается и историей. *Теперь* мы привыкли к образу и деятельности Лютера; но для современных *католиков* он был дурного поведения монахом. Вот почему тот, кто, глядя издали на религиозно-философские собрания и замечая, что там трудились и трудятся все очень обыкновенные люди, как «я», да «он», и на основании этого думает, что нечего и заглядывать в это обыкновенное, — глубоко ошибается: то, что уже до сих пор было там *высказано*, гораздо ценнее, в смысле *критики*, прежнего, и как материал для *построения* нового, чем те вопросы, около которых заволновалась Германия XVII века. Достаточно указать, что мы имеем среди евангельских книг одну, — *Апокалипсис*, которая до сих пор не приведена ни в какое движение церковью, не читается на богослужениях, не вошла в церковную живопись и, словом, *никак не вошла в кругооборот христианской жизни и христианской мысли* и как бы остается запечатанною семью печатями. И действительно, что-то мешает ее постигнуть, взять в руки, применить куда-то. Есть какой-то запор, задвижка. В истории христианской мысли, впервые на религиозно-философских собраниях в Петербурге эта пятая и непостижимая книга христианства если и не раскрыта, то начала разгибаться: на нее постоянно ссылаются, ее цитируют, на нее опираются. И, что самое главное, появился какой-то дух, какое-то одушевление, при котором стало сладко ссылаться на нее, манить со- ²⁰ ³⁰ ⁴⁰

слаться на нее, сладко привести из нее слова. Появился апокалиптический *вкус* и апокалиптическая *сладость*, как несомненно в начале христианства языческий мир был побежден евангельской сладостью, евангельским вкусом. Я ограничиваюсь сжатым указанием, чтобы лишь подтвердить чем-нибудь конкретным свои общие мысли. Пробуждение такого строя мысли, такой настроенности сердца, что «запертая семья печатями книга» перестает быть чуждою, холодною, непонятною и неинтересною, показывает, что: 1) собрания движутся, руководствуясь правильно-историческим духом, и 2) что самое движение чрезвычайно ново, и многоценно, и обещающе.

- ¹⁰ На этой неделе собрания возобновляются. Все обещает, что они приобретут еще большую, чем прежде, жизненность, — и за теснотою зала Географического общества будут, по-видимому, перенесены в другое место. Но нельзя приходить в них только для слушания, для зрелища. Надо работать мыслью, надо участвовать в их одушевлении, или бороться с этим одушевлением. И для этого надо знать то, что было уже на них сказано, поднято в виде вопроса, или решено в положительном смысле. Мы пользуемся случаем, чтобы указать, что все речи, произнесенные там, и прения по поводу их стенографически записывались и напечатаны в трех книгах: 1) «Записки петербургских религиозно-философских собраний. 1902—1903 гг.» СПб. 1906 г. 2) «Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества 1908 года». Выпуск I. 3) То же, выпуск II.

МЕЖДУ ТЬМОЮ И СВЕТОМ

(К инциденту в Религиозно-философском обществе)

Во время чтения доклада в собрании Религиозно-философского общества, 13 ноября была получена из канцелярии градоначальника бумага на имя председателя общества, уведомлявшая, что «прения», заявленные на повестке общества и о которых, конечно, было заранее известно градоначальнику, «не разрешаются».

«Прения» эти существовали все три года: в 1902 г., в 1903 г., в 1907—1908 году. О них всегда давались отчеты в газетах.

- На собрания нельзя было проникнуть по покупному билету. Билетов не было.
- ³⁰ Собрания были в том отношении «закрытыми», что на них можно было попасть только по повестке, а повестки рассылались только действительным членам и членам-посетителям общества. В число последних, с крайнею критикою, вносились только имена лиц, предварительно письменно сообщивших совету общества о своем желании посещать собрания и, непременно, об основательности к допущению — в качестве или списка философских, богословских или литературных трудов, или указания на теоретические запросы в области религии. Без указания подобных мотивов все простые просьбы, устные и письменные, всегда, безусловно отвергались в 1902, 1903 и 1907—1908 гг. Насколько трудно было попасть в собрание без этих предварительных сношений, можно видеть из следующего маленького примера: перед дверьми зала, где происходило заседание 13 ноября, ко мне обратилась известная писательница Лидия Ив. Микулич с просьбою провести в зал приехавшую с нею из Царского Села сестру покойного

Влад. С. Соловьёва — М. С. Безобразову, также писательницу. Я ответил, что это невозможно не только для г-жи Безобразовой, но и для самой г-жи Микулич, если она не имеет повестки. На повторные просьбы я обратился к секретарю общества, пропускавшему в зал. Он отказал пропустить этих двух известных и почтенных писательниц, несмотря ни на какие мотивы. Вызвав председателя общества, я вместе с ним просил секретаря впустить; он вторично отказал, сославшись, что правило для всех одинаково. И только вмешательство еще третьего члена совета, который с нами двумя (председателем и мною) уже образовывал большинство совета (3 из 5), названные лица были пропущены. Привожу эту подробность, дабы показать, до какой степени из зала собраний был устранен всякий элемент случайной толпы и до чего вообще все это было именно собеседованием, спором, часто горячим спором, но только лиц, носящих в себе религиозные запросы, о любимых темах своей жизни и мысли.

Всякая политика из этих собраний была устранена: все ежедневное, «сегодняшнее», шумное, действующее на суету и нервы. Это было не только устранено, но это и не входило никогда сюда, потому что и члены-учредители общества, и его посетители вовсе этим не интересовались. Собрание было тихую академиею, занято мучительными темами, — жгучими и славными, но для души, а отнюдь не для государства в его социальном и политическом осложнении.

Характер собраний был так далек от «текущей политики», что, говоря искренно, представляется совершенно непостижимым вмешательство сюда полиции, вмешательство мотивов «чрезвычайной охраны», ибо тогда «охрана» может вмешаться в размещение инструментов, астрономической обсерватории, в расположение минералов в геологическом кабинете Горного института... Мне совершенно понятны мотивы охраны; не боясь свистков, я заявляю от себя лично, что вполне уважаю и существо полиции, и ее заботы о «невозмутенности граждан». Этого, кажется, достаточно: заявив это, и вполне чистосердечно, я сохраняю право со столь же большой чистосердечностью выразить изумление, каким образом полиция переступает физические границы, какими она естественно ограничена, и вмешивается в духовную область, где она просто не компетентна, не видит, не осязает, ничего не «должна» и ничего не может.

Все это так само по себе очевидно, что является сомнение, не последовала ли в этом случае полиция настойчивым желанием духовного ведомства, которому единственно может не нравиться обсуждение религиозных тем, ибо для него «тем» нет, все уже «решено» и скреплено «нашей безграмотностью» или «святейшей безграмотностью». Известно, что в пору цензуры «отцы архимандриты», бывшие цензорами, «запрещали вообще все», в том числе даже печатание картин библейского содержания. «Отмечаем и не смотрим», «осуждаем и не взираем»... Но пожелание — одно, а право — совсем другое. Раз объявлена свобода религиозной совести, свобода не шумная, а для каждого своя и внутренняя, тем самым и все собеседования, подобные происходившим в Религиозно-философском обществе, дозволены и подлежат именно охране внешней власти, в том числе и охране прадоначальника. «Отцы», конечно, не компетентны в юриспруденции и готовы всех заставить замолчать: но на это они должны получить устойчивый ответ, что закон писан и для «отцов».

Представляется, во всяком случае, поразительным и чем-то явно случайным и недоразумением, что то явление русской и петербургской умственной жизни,

которое свободно существовало и литературно выразилось в 1902 и 1903 гг., встретило «меры пресечения» в 1908 году! Обращаясь к верхам власти, нельзя не заметить, что это идет вразрез со всем духом и направлением ее же, насколько она является властью преобразованной и обновленной. Ведь этот дух и направление состоят в том, чтобы дать упорядоченным русским силам свободу развития каждой и свободу соперничества друг с другом. В этой перемене, и ни в какой другой, заключается суть 17 октября. Власть перешла от положения *распорядителя* всеми русскими силами, всеми русскими работами, всеми русскими начинаниями, к положению *наблюдателя* и *охранителя* этих сил, работ и начинаний, предупреждая и устраняя лишь анархическую их борьбу, переходящую в драку, побоище и дебош. Вот и все. «Трудитесь все, каждый по своему, в меру таланта своего, сил своих: я вас не дам никому в обиду, ибо дети все равно дороги отцу». Вот новый лозунг нового государства. Это и есть условие воскресения России. Это и есть новая нравственная ее свобода, ставшая на место прежнего черного насилия, где все было безответно и все было «без объяснений». И мне совершенно непонятно, чистосердечно непонятно, как в условиях этой нравственной свободы была причинена обида, горькая и злая, Философско-религиозному обществу.

ПАМЯТИ ДОРОГОГО ДРУГА

20

<О А. А. Кедринском>

Неожиданно пришло известие о скоропостижной смерти директора 2-й московской гимназии, моего *Александра Антоновича Кедринского*. Я позволю себе сказать вслух всего общества два слова об этом человеке, хотя он и не оставил после себя ученых или литературных трудов. Ибо совершенно непонятно, почему печатное слово должно поминать только печатных людей. Люди жизни и жизненного подвига, — они именно и есть соль земли; без них просто не нужна была бы, не могла бы нравственно держаться литература, — и даже наука в смысле суммы теоретических, умственных интересов. Духовного происхождения питомец Петербургского историко-филологического института, Кедринский был глубоко восприимчивою натурою, с большим запасом мечтательности, воображения, и именно воображения сердечного. Я встретил его в Елецкой гимназии преподавателем древних языков, в среднюю пору его возраста. Сообщу подробности, о которой знали немногие: в критические минуты объяснения, касались ли они ученика и учения его, неисправностей его, или касались службы или тягости ее, — обычная тема учительских разговоров, — у него бывало задрожит-задрожит голос, задрожит каким-то бессилием, и вдруг в лице появится что-то конвульсивное и брызнут слезы. Не две-три слезинки, а именно брызнут, почти как с ветки капли: до того их бывало много. Он предупреждал или скрывал это, прерывая разговор и куда-то скрываясь; но я был поражен и почти напуган, когда он, очевидно, не успел отбежать в сторону, совершил это передо мной и почти на меня. Как теперь помню, — это случилось в споре со мною, когда он отго-

варивал меня от шага, рискованного по службе. Маленькая эта подробность очень важна: в какой службе служащие при разговоре не плачут. А у нас, учителей, называют «только чиновниками». Но продолжу. Все мечтательное воображение Кедринского собралось как бы к одному пункту: величие и слава образованной России; а школа и определеннее — его педагогический труд представлялись ему как одна из подробностей этого восхождения к величию и славе ученой, художественной, литературной России. Заваленный трудом и гимназическими тетрадками, он поддерживал в Ельце живую личную связь со всеми людьми других ведомств и профессий, просвещенными, много читавшими, — и сам очень много читал, выписывая много книг, не менее двух журналов и одну газету, — всегда «Новое Время». Эту деятельность он развил, потому что кроме сна у него все время было деятельное, трудовое, и, например, *отдых* после уроков всегда у него заключался в чтении *неугодной* книги. Тщательно готовился к урокам, вообще, как учитель, был рачителен, как и все почему-то из духовной жизни. Из духовного звания учителя все почему-то суть лучшие учителя: не объясняю, а сообщаю только факт. В Кедринском я наблюдал русское благородство, не то, которое дается воспитанием, навыком, привычками с детства, правилами с детства, а какое развивается при здоровом, хорошем составе крови, при благородном рождении, когда оно комбинируется с мечтательностью бурсы, пансиона и в конце концов затвора, житейского монастыря. Все благородное русское он любил; на все благородное русское он надеялся; все низкое у русского, если случалось видеть (и тут-то брызнут у него слезы), он считал случайным, не проникающим внутрь, не идущим от корня. Хорошо рожденный сам, благородно рожденный, он считал благородное нормальным, а все дурное — заносным, вроде болезни, вроде инфлуэнцы. Глубоко это, или не глубоко, но очень полезно для деятельности. Перехожу к ней. Человек средних лет, все то, необозримо прекрасное, что он сделал в жизни своей, и делал это каждый день, каждый час (учитель работает каждый час), он сделал все трудом, прилежанием, заботливостью. Мечту он оставил в своем сердце, как сладкую пищу, амброзию богов, а в класс входил учитель страшно озабоченный, проходимую программой и неуспешностью отстающих учеников. С этими-то неуспешными он работал как вол; только духовная в нем закваска дала ему силы к этому терпению все «повторений и повторений старого». Вот и все. Никто не сможет сказать, что это «мало», но сказав это, мы тоже должны будем повторить это всему русскому народу о всех мужиках, которые пахут и сеют. Без этого посева что была бы русская литература и ученость?

Спи, дорогой, усталый друг, — ты уже теперь верно пробудился к лучшей жизни, где «нет воздыханий». А вся твоя жизнь была «воздыханиями». Умер он после 25 лет службы, от внезапного сердечного припадка, как говорят, связанного с неприятностями службы. Известно, что за революцию все наши учебные заведения развалились. Высшее начальство во время революции спряталось, а после революции явилось, и потребовало от *директоров гимназий* «подтянуть» учеников. В литературе еще не рассказано, как это делается и бывает: делается это через выгон всех, кто в революцию может быть и тихо сидел, а *вот теперь порезвился*. Начальство не разбирается, и чтобы доложить высшему начальству о строгости, просто губит *резвых*. Это я определенно наблюдал, это не фразы. Кедринский никого не выгнал; последовала ревизия, гимназию нашли недоста-

точно преуспевающей и его директора Г-ской гимназии определили «на понижение», т. е. перевести в провинцию. Почему провинции нужны худшие директора, чем Москве, — неизвестно. Но «положение по службе» в учительском мире всегда ужасно оскорбляет; был оскорблен и Кедринский. Как передают, это очень на него подействовало. В Петербург он приехал снять катаракт на глазу. И вот эта операция, да еще душевные скорби, свели в могилу всего 52-летнего человека, как старика и инвалида. Учебное наше ведомство всегда было совершенно слепо к служащим у него людям.

Но Бог с ними, в душе бесчисленных своих учеников Александр Антонович Кедринский сотворил «ведомство», где имя его выгравировано на золотой доске. Это лучше вещественных и служебных наград. Людям он служил, от людей и получил; и нечего печалиться, что не получил там, где не подслуживался. Он жил и умер как рыцарь дела, или как стойкий русский человек.

<В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ>

26 ноября состоялось закрытое заседание Религиозно-философского общества. Из прочитанных докладов, В. В. Розанова и В. А. Тернавцева, особенно вызвал прения последний. С большой глубиной и сердечностью г. Тернавцев говорил, что народ наш носит в себе задатки другого благочестия, нежели какое внушала ему церковь. Церковный идеал — аскетический, монастырский, уходящий от жизни и чуждающийся труда; тогда как в народе, безмерно преданном церкви, есть другое благочестие, благочестие земледельства, свято чтущего землю и свято ее работающего. Народные приметы, знание им месяцев и дней в году со всеми их отличительными признаками, и вообще вся совокупность отношений народа к земле, к плугу, к хлебу, к растению, — отношение его к домашним животным, все это благочестиво и религиозно. И когда образованные классы «пошли в народ» и «поклонились народу», они пошли за этим новым благочестием, и многие из образованных людей исцелились, прямо «сев на землю», т. е. войдя в труд и дух этого народного благочестия. Доклад этот вызвал страстные прения. Из говоривших некоторые были или очень красноречивы, как проф. Рейснер, или очень одушевлены, как писатели Вячеслав Иванов, Леонид Галич, г. Мережковский и г. Неведомский. Оживленные и очень содержательные дебаты не были, к сожалению, на этот раз стенографированы, как это делалось со всеми предыдущими, и литературное значение их пропало.

<КРУЖОК К. А. ГУБАСТОВА В ПАМЯТЬ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА>

По инициативе К. А. Губастова, бывшего нашего посла при папском дворе и затем товарища министра иностранных дел, образуется кружок из лиц, соединенных глубоким уважением к личности и литературной деятельности покойно-

го публициста-романиста и критика К. Н. Леонтьева, автора двухтомного сборника статей «Восток, Россия и Славянство» и рассказов «Из жизни христиан в Турции». Кружок будет иметь целью изучение личности замечательного писателя, собирание материалов для его полной биографии и распространение в обществе его произведений. В кружке примут участие люди совершенно разных, до противоположности, политических убеждений, соединенных уважением к выдающемуся характеру покойного писателя и к замечательным достоинствам его литературного стиля, без всякого отношения и без всякого одобрения его политической программы. Словом, — это культурный кружок, соединенный интересом к замечательной культурно-исторической личности, и только. Те, кто пожелал бы так или иначе отнестись к этому кружку или дать ему ценные сообщения о названном покойном писателе, благоволят обратиться к К. А. Губастову, Коношенная ул., д. 1. ¹⁰

О «НАРОДО»-БОЖИИ КАК НОВОЙ ИДЕЕ МАКСИМА ГОРЬКОГО

Максим Горький в своей «Исповеди» страстно и горячо провел мысль о том, что масса народная — это и есть «Бог, творяй чудеса»... Как все горячее, — это сказалось у него красиво. Но одно — красота, и совсем другое — истина.

«Обожение» русского народа, выраженное Максимом Горьким в его «Исповеди», повторяя отчасти славянофилов, отчасти Гоголя, главным образом и почти буквально повторяет известное исповедание Достоевского, вложенное им в уста Николая Ставрогина в романе «Бесы». Вот отрывки из этого исповедания, как передает их исступленный Шатов, ученик Ставрогина: «...Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала и до конца»... «Единый народ-богоносец — это русский народ, которому даны ключи жизни и нового слова и который грядет обновить и спасти мир»... Как известно, сам Достоевский конец жизни своей веровал совершенно по Ставрогину и его «Дневник писателя», как равно и оставленные заметки в «Записной книжке», свидетельствует о безудержи этого исповедания. Но Достоевский при этом забыл то осторожное замечание, которым сам Ставрогин поправляет исповедание Шатова. Именно, он говорит, что тот в этом исповедании «низводит Бога до простого атрибута народности». В самом деле, это, очевидно, так. Обожение народа, к которому приходит интеллигент, есть довольно естественное заключение его атеизма; есть подставка чего-то кажущегося лучшим, кажущегося более утешительным на место пустого и безотрадного безбожия, внебожия. В интеллигенте, который в таком исповедании отрицается от себя и своей личной скудости и кладет свое сердце и ум к ногам громадной и пока страдающей массы народа, есть что-то благородное. Но представьте сам народ, так верующий; представьте француза или русского, говорящего о себе: «Я есмь Бог, и нет других, кроме Меня», — и вы почувствуете, до чего это мизерно, жалко, невозможно! Достоевский, говоря в том же исповедании Шатова Ставрогину, что «народы даровитые исключают всех богов, кроме своего», что «тот народ обращается в простой этнографический материал, который ³⁰

не верует, что в нем одна истина, — именно в одном и именно исключительно», подчеркивает и усиливает он, и что всякий народ от этого «ищет первой роли в человечестве, исключительно первой», — выговаривает именно эту формулу, этот призыв и программу: «Пусть для каждого народа его я стану Богом». Ну-ка, спросить толпу, спросить русских Иванов, Петров: не захотели ли бы они быть Господом Богом? «С нами крестная сила! Что за бусурманство!» — ответили бы они Достоевскому и Горькому. Да и воистину так: никогда человек не сливал себя с Богом, ни как масса, ни как личность. Это — последняя степень безбожия, безбрежное безбожие. Скажем попросту: это — нахальство. И таким нахалом никогда не был русский народ. Напротив, совершенно напротив: русский простолюдин величайшим счастьем считал и будет считать всякий здоровый народ — умереть за Бога, умереть для Бога, пострадать за исповедание истинного Бога. Народ и каждого в себе лично, и всю свою массу считает подножием другой Истины — не себя и не из своей души вынесенной. «Умираем за греческую истинную веру», — говорят самосжигатели и морельщики, т. е. фанатичнейшие, могущественные вероисповедники в народе; и в последнем анализе и обобщении — «умираем за Истину, с неба нам данную». «С неба дано» — вот величайший для народа критерий подлинности веры, истины веры, настоящего в вере. «С неба» — т. е. именно не «наше», не «мое», не «народное». «С неба» — это другой полюс исповедания Достоевского и Горького. И это вполне правильно: нужно совершенно забыться и личности, и народу, чтобы начать изводить из своих немощей «богов» и «божеское», «божественный порядок». Народ русский совершенно правильно ищет «преклониться перед другим», а не ищет поклонения себе. В миг, как ему сказали бы и заставили поверить: «Нет другого, перед чем тебе поклониться, — поклонись себе», — народ русский запил бы такую «горькую», как и не слыхано, и прямо зарезался бы, не захотел жить. Да, право: сочти я себя лучше всех на свете, — я тоже зарезался бы. Должно быть, это — общечеловеческая черта. Ведь это такая скука, такой отрепок веры. Ведь самосознание говорит, что мое «я» — мало, скудно, жалко; и потерять веру, что есть что-то лучшее, — значит, конечно, прийти в отчаяние. От этого народ русский простодушно и нравственно верит, что «у немцев — лучше», что «англичанка мудрее нас», что в итоге значит только: «У нас ой-ой как скверно». И пока есть это скромное и истинное сознание о себе, — народ радостен, живет, надеется и ищет лучшего. Это — в подробностях и это — в мировом итоге. «Бог» — именно «не я», как утверждают Достоевский и Горький, «не я» и лично, и коллективно, народно. Бог — другое, небесное, т. е. вне-земное. «Пришел с неба и сказал слово», — вот суть религии и начало богопочитания. Посмотрите, как мы все ищем в мелочах «другого лучшего»; верим, что найдем; радуемся, когда находим что-то «обещающее» в этом роде, и как скучаем, томимся, когда «везде такая же гадость, как у нас». Таким образом, вера в народобожие есть наша логическая интеллигентная мечта, совершенно не народная — во-первых, совершенно противоположная общечеловеческим инстинктам — во-вторых, совершенно атеистическая — в-третьих. Поверим первой строке Библии, что человек создан Богом, что он есть тварь и обусловленное, зависимое; и поэтому он не только не стоит на своих ногах, но и не может и, наконец, не должен стоять, а может только опереться на Сотворившего его, который Один безначален и бесконечен, совершенен и силен ко всему. Такое сознание своей страшной конечности и слабости есть первая сту-

пень к религии, есть дверь в религию. «Помилуй мя, Боже» — вот голос пробужденной веры; «кто на море не бывал», т. е. не боялся, не трепетал, не сознавал своей безграничной малости и слабости, — «тот Богу не маливался», — говорит русский народ. И мудрый Давид, и русский простец здесь оба говорят одно и то же. И это пронизательнее Горького и Достоевского. Даже человек огромных и исключительных даров сказал: «Нет Бога, кроме Бога, а я только пророк Его». И Моисей говорил, что он видел Бога, а не сказал: «я — Бог».

<О РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ>

Собрание Религиозно-философского общества 16 декабря закончилось неожиданным инцидентом, который, если повторится 2—3 раза, грозит собраниям самоупадением. После интересного и очень содержательного доклада А. А. Мейера «Религия и культура» открылись прения. Доклад заключал в себе некоторые противоречия: религия ставилась гораздо выше культуры, которая, однако, выводилась именно из религии; говорилось, что религия питает культуру и вместе отрицает ее; на политику и общественность был кинут взгляд, полный высокомерия. Оппонентом выступил г. Столпнер, который с едким сарказмом выставил все «но» доклада и его «или» мешающие в нем что-либо понять или что-нибудь из него принять; в дальнейшем течении речи г. Столпнер высмеял всех главнейших участников собраний, гг. Мережковского, Философова, Вяч. Иванова, А. Блока, А. Белого и Бальмонта, сказав, что у них у всех не религия является верховным судьей земных дел, а, напротив, литературная впечатлительность, отзывающаяся на могущественные общественные и политические течения, заставляет напевать различные до противоположности религиозные мотивы; и что во всех этих мотивах слышится слабое понимание политики и никакой ровно религии. Удар пришелся не в бровь, а в самый глаз. Выступил с громовым ответом Д. В. Философов, который, хоть и запоздав, призвал оратора к порядку: «Мы сюда собираемся не для выслушивания взглядов на отдельные личности, а для обсуждения известных идей; и г. Столпнер, если хочет говорить впредь, должен избегать личных объяснений». Но после этого заявления выступил Д. С. Мережковский, который именно вступил в личные объяснения, начав рассказывать свою литературную автобиографию и о своем знакомстве с Глеб. Успенским и Михайловским. Всех это удивило, и из публики выступила г-жа Ветрова с заявлением негодования, что ни она, ни, вероятно, другие не пришли бы сюда слушать партийные перекоры литераторов, что задача собраний была объявлена выше. Все это закончилось уже совершенно невозможным заявлением председательствовавшего А. В. Карташева, что к произнесению речей нужно допускать не всех, а только 5—6 ораторов по выбору членов совета общества. Так как это нимало не выражало мнения членов совета, а было личным и нечаянным мнением только самого председателя, то поднялись протесты и из публики, и от членов совета. Все разошлись с полным неудовольствием.

НОВЫЕ ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Профессора философии в высших учебных заведениях Петербурга если и славятся своей мрачностью, страдая, кажется, сплошь печенью, то отечество все-таки не может не поблагодарить их за то, что они чрезвычайно трудятся в своей сфере. Они образовали философское общество при Петербургском университете, и в сравнительно короткое время это общество издало переводы монументальных трудов по философии: Декарта — «Метафизические размышления» (А. И. Введенского), Аристотеля — «Никомахову этику» (Э. Л. Радлова), Беркли — «Трактат о началах человеческого знания» (Н. Г. Дебольского) и в особенности огромный и интереснейший труд Малекранша — «Искание истины» (Э. Л. Радлова). Сверх этого, «Критику чистого разума» Канта вновь и превосходно перевел Н. О. Лосский. Выделяем его, потому что издан он был не философским обществом. В совокупности это образует уже весьма порядочную библиотеку классических западноевропейских философов на русском языке. Вполне сочувствуем мысли издавать *полные* переводы философских творений, которые, нам кажется, лучше системы отрывочных переводов, т. е. перевода некоторых *извлечений* из какого-либо трактата, каковой системы придерживалось московское психологическое и философское общество. Но еще большее практическое значение, чем перечисленные выше переводы, должен получить только что законченный перевод «Истории философии» Виндельбанда проф. А. И. Введенского.

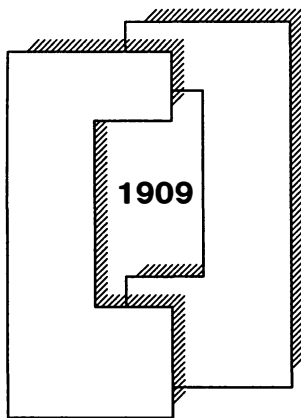
Первый и наименее обширный отдел ее — «История древней философии» — вышел в нынешнем году уже четвертым изданием и сделался настольною книгою всех учащих философии в университете и всех учащихся философию в средних школах. И одновременно с этим 4-м изданием I тома вышло 2-е издание двухтомной «Истории новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками», коей первый том обнимает историю философии от Возрождения до Канта, а второй том излагает историю философии от Канта до Ницше. Конечно, очень печально, что русские преподаватели философии за сто лет существования у нас университетских кафедр ее не смогли *сами и от себя* дать историческое изложение и историческое освещение фактам и личностям истории философии; печально и, наконец, несколько постыдно. Но что же делать: при таком положении остается переводить. История Виндельбанда совершенно заслуживает собою, по соединению в ней научности и философского духа, не только старую и излюбленную гимназистами историю философии Льюиса, но и другие то более поверхностные, то до мертвечины сухие истории, как маленькая история Целлера, переведенная проф. Козловым, и другие более ранние переводы, как Шwegлера и проч. К переводу привлечены были проф. Введенским слушательницы Высших женских курсов — и подобная работа, конечно, есть превосходное упражнение для молодых умов. С тем вместе с помощью этих слушательниц, к которым следовало бы присоединиться и студентам университета, и студентам здешней духовной академии, — переводческую работу можно сделать очень обширной, и лет в 20 можно было бы усвоить русской литературе главные памятники всего прошлого философии, от греческих «физиков» до моральной лирики Шопенгауэра, Гюйо и Ницше. Думая о последних и сравнивая их с Кантом, нельзя не удивиться, до чего философия за полувек изменила дух свой и все задачи. Из раз-

мыслящей она стала певучею, из ученого кабинета перешла на площадь, — и волнует умы и сердца, города и страны, как это было только в Греции и раннем христианстве с учителями церкви. Это очень многозначительно в смысле культурного показателя. Человек не хочет и не умеет более жить одним умом, уходит на всю жизнь в одно размышление, — и появление таких чудовищных умов, чудовищных по размерам и всеобъемлимости, по глубине и пронизательности, как Кант или Аристотель, — стало невозможно, может быть, на очень долго, может быть, даже навсегда. Кант есть такое же чудо природы, редкий феномен ее творческих сил, как Рафаэль. И как бы хороши ни были лирические песни теперешних философов, — никогда человечество не перестанет вглядываться в то, что же *открыл* в мире, *каким* нашел его этот исключительный до странности, до необъяснимости ум. ¹⁰

ЛИЧНОСТЬ ОТЦА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Личность отца Иоанна Кронштадтского является одною из самых достопамятных в русской истории XIX века. Вместе со святителем Филаретом, митрополитом Московским, он является высшею точкою нашего церковно-религиозного развития, и оба стоят около третьего великого старца, Серафима Саровского. Преподобному Серафиму дан был дар чудного прозрения в будущее, — ум вещей, а сам он был старец уединенных, безмолвных лесов. Филарет московский все время стоял в самом центре государственного и церковного движения, и отчасти он был двигателем событий; ум его и слово его были несравненны в определении догматических истин, и в вещании речей величественных и торжественных. Обе эти личности прекрасно дополнялись о. Иоанном Кронштадтским, *народным* священником, народным старцем, все дни коего прошли среди людской громады, среди шума, молвы и народного стечения, на улице и в частных домах, выразившись в делах милосердия, помощи и чуда. Иоанну Кронштадтскому дарована была высшая сила христианина — дар *помогающей, исцеляющей* молитвы, тот дар, о котором глухие легенды дошли до нас из далекого прошлого христианства и коего Россия конца XIX века была очевидцем-свидетелем. Без сомнения, в непродолжительном времени будут собраны все факты этого чудного дара; но мы, и не дожидаясь подробно и документально засвидетельствованных данных, можем сказать, ссылаясь на всеобщую память и на факты, слишком яркие и дошедшие до стоустой печати, что этих фактов было много и что они вполне достоверны. За помощью к нему, не ожидаемой, не сомнительной, а твердой и уверенной, шли люди на краю последнего страдания и когда уже оказывалось бессильным всякое человеческое могущество, могущество знания и науки, — шли не одни православные, но лютеране, католики, даже магометане и евреи, и Иоанн Кронштадтский, как бы переступив за пределы своей церкви и даже выйдя из границ своего исповедания, шел, как всемирный молитвенник и целитель, на помощь всемирной нужде, всечеловеческому страданию. В этом явлении, средоточие которого приходится на последнее десятилетие XIX века, было столько умилительного, трогательного, наконец, оно было так поразительно ³⁰ ⁴⁰

и величественно, что совершенно объяснимо, почему около Иоанна Кронштадтского образовалось такое же народное движение, то же восхищение и изумление, хотя и в другом совершенно роде, в духе русском, — какое некогда возникало около таких удивительных и народных личностей, как великая Иоанна д'Арк. Здесь были преувеличения, как и там; молва поднимала выше факт, чем сам он стоял в действительности; около слез умиления здесь и там поднялась клевета мелких и мещанских душ, умов здравомысленных и в здравомыслии немощных: но и здесь, и там стояла личность, чрезвычайно поднявшаяся над обыкновением уровнем и в которой действительно было нечто чудесное и сверхъестественное. Велика или мала была эта доля сверхъестественного, — не *теперь* и не *нам* рассуждать, но совершенно бесспорно, что она *действительно* была в нем, и именно это-то и возбудило вокруг него то необычайное волнение, коего мы были свидетелем. Многие иностранцы и неверующие, и между ними ученые медики, старались увидеть о. Иоанна Кронштадтского и потом засвидетельствовали, что он в своем роде являет чудо изумительного *душевного и физического здоровья*, удивительную гармонию и равновесие психических и физических способностей. Это — тот язык, которым только и умеет говорить наука; мы же можем перевести этот язык на ту более простую речь, что Иоанн Кронштадтский уже с рождением получил некоторый избыток, некоторый излишек сверх нормы жизненности, *всего* жизни, и ее богатства он черпал и раздавал вокруг болящим, немощным и слабым. Чудо физическое, духовное и религиозное здесь сплетены в одно. Здесь мы не отрицаем физики, но физика столь же мало имеет право отвергнуть здесь религию и подлинное чудо. Вот присутствие-то этого осязаемого, очевидного дара свыше, т. е. сверхобыкновенного человеческого, и подняло вокруг Иоанна Кронштадтского неопишное волнение: люди потянулись к нему не за *помощью себе*, не по *слабости своей*, не *среди своего страдания*, — они потянулись к нему как к живому *свидетельству* небесных сил, как к живому *знаку* того, что Небеса живы, божественны и благодатны. Все это так естественно! Все это — обычная история религии на земле! Мы убеждаемся из *книг* и *доводов*; народ этого не может; он не может читать толстую книгу, часто не может вовсе читать. Он, как апостол Фома, ищет вложить персты и *освятить*. Иоанн Кронштадтский для своего поколения, и поколения *народного*, явился *лигным свидетелем* истины религии; и религии вот нашей, русской, православной; он «доказал религию» воочию тем, что он — молился, и вот — исцеление наступало! Эта вторая, последующая часть его народного значения, чрезмерно перевысила первую, собственно благотворительную и целебную. Он стал вождем *уверования*, воскресителем *веры*; он поднял волну религиозности в народе.



ПОТУГИ НА ПРОРОЧЕСТВО

- Беденький, до чего он страдает.
- Кто такой?
- Да все Димитрий Сергеевич.
- Какой Димитрий Сергеевич?
- Да Мережковский.

— Где же он страдает?

— Ну, конечно, не в темнице, не в ссылке, не в больнице, не около голодных или искалеченных, не в глухой России или в Сицилии, а у себя на кушетке, в кабинете. Лицо мрачное, в глазах меланхолия. Уже сутки лежит, обдумывает, как бы лучше сказать свое «страдание», и на другой день утром пишет «страдальческую страницу», которую посылает в «Речь» или «Слово»...

— О чем же он нынче страдает?

— Разобрать нельзя. Я вам лучше прочту: «Лучше быть шутком гороховым, чем современным *пророком*. Лучше бить камни для мостовой, чем назваться учителем».

— Да, в самом деле сильно. Но слово нуждается в проверке: ну, чтобы г. Мережковскому в самом деле недельку-другую, среди рядовых каменщиков, провозиться с киркой и ломом на мостовой. А то он все лежит на кушетке, а потом выползет в Религиозно-философском собрании и пророчествует. В случае же не очень удачного пророчества пишет в газетах, что «лучше быть каменщиком, чем пророком». Это очень легко, но немного забавно и для обыкновенного глаза даже не совсем добросовестно. Что же, однако, он пишет дальше?

— Ничего нельзя понять. Только ужасно мрачно. Цитата из Евангелия — и свое слово. Свое слово — и цитата из Евангелия. «Все пророки и закон прорекли до Иоанна. Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Этим он прямо начинает статью: «Пророчество и провокация» в «Слове». Если так мешать свои и чужие слова, да еще не отмечая кавычками, то выходит очень красиво: блеск цитаты из Евангелия падает на тусклое слово. Техника искусная, только как будто не для «пророка». Что же, однако, он пишет существенного?

— Существенного ничего нет. Один тон. Но тон — ужасен: кроме цитат из Евангелия он еще прибегнул к полному смещению мыслей.

— Как к «полному смещению мыслей»?

— Для увеличения мрачности. Известно, что пророки «безумствовали», и, чтобы придать себе последний чекан «пророка», г. Мережковский говорит совершенную белиберду: «Если нет и не будет пророков, это не значит, что нет и не будет пророчества; *наоборот: потому-то* и нет пророков, что все обладают прозрением божественной истины, т. е. причастны духу пророческому. Никто не пророк, никто не учитель, потому что все учат и учатся. Нет великих и малых,

потому что все равны. *Это еще не исполнилось* и, судя по всему, что сейчас происходит, исполнится не скоро. Но вот именно *теперь*, когда умолкли пророчества, заговорили и пророки; когда учения мало — учителей много».

— Да, действительно: дважды два уже *не* четыре у современного пророка, и даже не раз, а дважды кряду. «Пророков нет потому — что пророчества много». Но ведь от кого же «пророчества», если не от пророков, которых в наличности «нет»? И «все будет потом, и даже — не скоро», а между тем — все это происходит на наших глазах! Неужели это так и напечатано?

— В «Слове», в воскресном номере. Статья ужасно мрачная и называется 10 «Пророчество и провокация». Г. Мережковский жалуется, что его кто-то «провоцирует». Невозможно сыграть роль Иисуса, если не указать на Иуду, — и Мережковский, по-видимому собирающийся играть в своем полутечестве сию необычайную роль, заранее указывает на свою Голгофу. Хотя его несколько не собираются распять, а только немного литературно посмеиваются над ним. Он пишет воображаемый диалог, предпослав и ему «безумную» белиберду, где не разобрать, кто «пророк» и кто «провокация»:

«Нет более страшного удушья, чем то, в которое попадает пророк, теснимый толпою».

По-видимому, это — о *настоящем* пророке? Тогда о ком же следующее: 20 «Нет более злостной провокации, чем современное пророчество».

О ком же: о *настоящем* пророке или о пророке-провокации идет речь в дальнейшем диалоге, который приспособляет к себе сотрудник «Слова», делая страдальческое лицо:

— Покажи знаменье, сотвори чудо.

— Чудо могут видеть только верующие, — поверьте и увидите.

— Чему же верить? Ты все говоришь, а не делаешь. Какие дела твои? Были у нас пророки, — те шли на смерть. А ты, что?

Не все читающие знают, что здесь говорится об ответе, выслушанном г. Мережковским от представителей левых партий. Он сам же их позвал в Религиозно- 30 философское собрание и довольно наивно объявил, что хочет их «разделить», «разрезать на две половины, как рассекающий меч», — и одну половину, отторгнув от Маркса, привлечь к себе. Левые ему довольно грубо объявили, что они не пойдут за ним, ибо у него нет дел, а что идут они за теми, кто «умирал». Однако «чудес» от г. Мережковского марксисты не требовали, — это уж ему мерещится все из Евангелия, и поэтому мерещится, что снится ему сон, будто его «прегорькое житие» похоже на страдальчество Иисусово. Диалог свой с марксистами Мережковский сближает с приемом иудеев со Христом:

После вопроса «ты — что?» марксистов-иудеев Мережковский отвечает:

— Я пойду вместе с вами.

40 — Ступай же вперед, а мы за тобою.

— Пойдем, когда велит нам Бог. Но вы еще не знаете Бога. Я вам еще не сказал. Слушайте.

— Слыхали, довольно. Соловья баснями не кормят.

— О, род лживый и коварный (слова И. Христа, приведенные без кавычек и таким образом вставленные в свои уста Мережковским).

- Нет, брат, шалишь. Зубы не заговаривай.
- Трус!
- Шарлатан!
- Провокатор!
- Бей!

И если нового пророка (подлинного? провокатора?) не побивают камнями, как древних, то заплевывают, забрасывают гнилыми яблоками, тухлыми яйцами и сажают в сумасшедший дом.

Ну, зачем так далеко. Оставляют на своей квартире, признают не очень удачным литератором и колко полемизируют с ним: на что «пророк» ужасно сердится. Вся эта евангельско-библейская бутафория действительно кажется забавною и несколько кощунственна, когда ее натягивает на себя, положим, идеалист, намеренный рассечь надвое марксистов. Марксисты никак не могут рассечься надвое от этой смеси евангельских текстов с довольно деланным «безумием», которому помогает природная бестолковость; а вот «пророку» очень легко разлететься на несколько кусков, стучаясь о стену марксизма, без всякого *понимания* его, без всякого *вникания* в него. Марксисты нисколько не собираются его «бить», и напрасно «пророк» спешит обвинить их в общности приемов с Союзом русского народа. Марксисты ему могут ответить:

— Да что ты понимаешь в нас и в нашем *угении*? Зачем ты идешь к нам, *не зная нас* и не *любопытствуя* о нас. Учиться, так взаимно. Мы, пожалуй, возьмемся за Евангелие, за историю церкви, но уже и ты, будь добр, проштудируй всю нашу литературу, вникни в классовую борьбу, в экономическое положение масс, да немножко и поработай где-нибудь на фабрике. И вообще испытай на *своей спине* гнет экономических условий. А то ты обо всем судишь со своей кушетки. Рабочего вопроса «не надо», экономический материализм «не интересен», а всем нужно ходить и слушать тебя на Религиозно-философских собраниях. *Но нам некогда*: у нас своя работа; как и ты ведь отказываешься серьезно изучить марксизм, ссылаясь на то, что тебе «некогда» за религиозно-философскою проповедью. Но за тобой нет голодных ртов, которые бы от тебя ожидали помощи, а за нами есть: и нам в самом деле *некогда!*

«Пророку» останется только испариться, как пахучим духам в незаткнутом флаконе.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И МЫСЛЕЙ ОБ ИОАННЕ КРОНШТАДТСКОМ

В многомиллионной Руси не найдется сердца, которое бы так или иначе не отозвалось на кончину Иоанна Кронштадтского, не сказало бы об его личности того или иного слова, мнения, взгляда. Последние годы, однако, не более 3—4-х, 5—6-ти лет, взгляды эти разделились, и около прежних восторженных отзывов столь же бурно потекли отзывы сомневающиеся, подозрительные, наконец, *негодующие*. Но еще так недавно, вот всего лет пять назад, и далее назад, в течение

лет 15-ти, не было этого разделения. И вся Русь сливалась в огромном удивлении к народному священнику, народному *герою*, — но герою не на поприще подвига, а на поприще *святой жизни и святого делания*. Имя и образ «штатного протоиерея кронштадтского Андреевского собора Иоанна Ильича Сергиева» высоко поднялось не только над своим сословием, своим саном, над всеми 72 000 русских священников, которые были ему равны по положению, обязанностям и правам, но они поднялись звездой ослепительного блеска над всею церковною нашею историей за XIX век, а в текущие дни его жизни поднялись над всякою славою, успехом, значением, авторитетом. И всякий в те дни, кто только любил славу, силу, талант и *дар* своего народа, присоединял голос свой к одобрительному народному шуму, и еще, и еще выше поднимал имя этого священника. Так выросла громадная волна народной молвы, народного сочувствия, народной любви и доверия около этого имени и лица. Ничего подобного никогда не было на Руси; *при жизни* ни один человек на Руси не был так почтен. Ум, талант, ученость, власть государственная, заслуги общественные, высочайшее социальное положение, — все померкло и отодвигалось перед этим многомиллионным шумом, который шел горою на вас, все подавлял собою, все закрывал собою, рушил всякое сопротивление, препятствие. Даже с очевидными *злоупотреблениями* его именем стало очень трудно бороться; даже некоторые очевидные *ошибки* в его суждениях стало трудно и небезопасно оспаривать. Оспаривания выражались с оговорками, с извинением. Явление это было очень любопытно наблюдать. Мы были зрителями чрезвычайно редкого процесса, как «сотворяется история», как сотворяется «имя» в истории, как сотворяется в ней власть, авторитет духовный, не вещественный. Возьмите цивилизацию, возьмите Россию: вся она стоит и держится на глубоком почитании народом нескольких, — говоря языком мифологии, — фетишей, знаков, символов, имен, понятий. Их очень немного, — 3—4, 5—6 этих имен и звуков, — но они известны и *равно чтутся* в курной избе вологодского крестьянина и во дворце, чтутся и признаются последнею умственной темнотою и первым умственным светом своей страны. На них все и держится, ими все и стоит. Во имя молчаливого согласия на этих именах и звуках устроились *согласное* повиновение в стране, согласные, *единообразные* действия в ней, явилась готовность к единообразным жертвам:

— Умираем за веру, Царя и отечество...

И кончено. И нет поворота. И невозможно сопротивление. Весь Запад и Восток, как бы он ни был жаден и корыстолюбив, как бы он ни ненавидел и презирал нас, отхлынет испуганно назад, услышав этот рев народный:

— Сей день и час я умру за веру, Царя и отечество.

Глухой факт. Но он сильнее всякого разума, отчетливости, сознания, науки, техники, искусства.

Вот в такой-то всемогущий *фетиш* стал вырастать Иоанн Кронштадтский лет 20—25 назад. Он не только поднял молву и сочувствие, но, как и около всякого фетиша, около него стали вырастать мифы, стала твориться живая мифология. Он ее отрицал, отвергал, он не хотел ее. Но это был единственный пункт, где

он *оказался* слаб всеобщей человеческой слабостью: предмету мифа очень трудно бороться с мифологией около себя. Его «не хочу», «порицаю», «отвергаю» было глухо, слабо и незначительно по сравнению с тем чудовищным напором «хочу», «признаю», коего он сделался центром.

— *Я обыкновенный человек, как все смертные...*

— Да, это смиренное русское сокрытие своего значения... Ты — *необыкновенное* существо, ты — *не мы*... Мы знаем это, знаем про себя, молчим и только перешептываемся, — *о другом, тайном, скрываемом твоим знанием.*

Бессильно русская официальная церковь предлагала ему «вразумить» своих наиболее пламенных последователей и особенно последовательниц. «Вразумление» не приходит сразу; нужно научиться «вразумляться», привыкнуть к этому процессу. Русская церковь и духовенство, которые всегда, во все 900 лет своего существования, враждовали с «рационализмом» и недолгоблюдали «вразумления», оказались, естественно, бессильны с этим запоздалым обращением к «водам разума», к науке, к богословию и очевидной истине.

— Разум — от беса. Науки — от бесов. Ничего не хотим знать: батюшка Иоанн Кронштадтский... по *молитве* его Бог *исцеляет*, как это было и 1900 лет назад, и засвидетельствовано в книге, которая выше человеческого разума. Знаем мы, *кто он*... Он — *не мы*; он — *не человек*; он *выше*...

Официальная церковь уже испытала большие неудобства и затруднения от этого возникновения в ее собственной среде живого *фетиша*, и можно предвидеть гораздо еще большие затруднения с этим в ближайшем будущем. Но нельзя не заметить, что это есть естественный плод ее собственного духа за все века ее существования: она всегда сама построяла «фетиши», но фетиши не личные, а обрядовые, догматические, или фетиши лиц, давно умерших. «Фетишизмом» наполнена вся ее история. «Фетишем» стало монашество, «фетишами» стали многие монахи, схимники. Вообще, это старый дух, старой закваски. Вдруг возник *живой фетиш*, и не в монашестве, не в уединенном, *далеко живущем старцесхимнике*, а *на виду у всех*, в Кронштадте, в среде *белого духовенства*. Церковь, в лице ее официальных властей, растерялась. Она и одобряла, и порицала. Авторитет, земной и всяческий, она поднимала; но уже народ поднимал этот авторитет *гораздо выше человеческого*. Получилась аналогия, неожиданное *совпадение* сердцевинного церковного движения, внутри коего стоял Иоанн Кронштадтский, с «опаснейшими сектами», вроде хлыстов, изводящими из среды своей живых «христов» и «богородиц». Иоанниты, как всякий понимает, не есть что-то совершенно новое на Руси: Филипп Данилович Хлыстов и еще некоторые другие их «пророки» возбуждали подобное же около себя движение, почитание, восторг и нарастающую вокруг живого лица мифологию...

Сам Иоанн Кронштадтский был совершенно чужд стараниям возбудить вокруг себя это движение, и здесь его глубокое «православие», верность официальной церкви, здесь глубокая пропасть, отделяющая его от сектантов. Образовалась секта, неправильно чтущая его; но он сам отнюдь к ней не принадлежит, сам он не сектант. Это нужно запомнить и *никогда не сливать его* с «иоаннитами», хотя они и свили гнездо свое в основанном им монастыре. Это — Иоаннов женский монастырь на реке Карповке, в Петербурге. Оставим их и возвратимся к нему.

Лигное впечатление, производимое Иоанном Кронштадтским, было источником всего, что мы о нем знаем и что он совершил. Это впечатление было необык-

новенно; точнее — это было что-то *необыкновенное в обыкновенном*; иначе нельзя формулировать, а эта формула обнимает все в нем. Начну с передачи личного ощущения. В одном богатом доме, где я был случайно, он был приглашен отслужить напутственный молебен, «благословить» и «помолиться о здоровье». Я не знал об этом заранее, а когда узнал, быстро прошел на молебен. Он стоял перед божницею и служил, — обыкновенная русская служба. Движимый любопытством увидеть человека, которого так трудно было увидеть вблизи, я продвинулся вперед и, наконец, стал совсем рядом около него, но боком и так, что было видно все лицо его. Ему было тогда 72 года. Но он не был не только «старик», но и не был очень стар; вид у него был только «пожилого», «немолодого» священника, — не больше! И это при *труде* невероятном, почти не допускавшем отдыха, при жизни, когда *считана* была каждая минута! Сон и деятельность, краткий сон и длинная, притом кипучая деятельность — вот весь Иоанн Кронштадтский!

Небольшого, среднего роста, весь как-то пропорциональный, гармоничный, он давал впечатление необыкновенной *свежести*! Точно он был чисто, крепко вымыт, и притом недавно. Стоял он не так, как стоят всегда священники на служении: что-то грузное и осевшее, чему трудно переставить ногу, или что-то приторно-изнеможенное, что повело даже к древнему обычаю поддерживать архиереев «под ручки» на богослужении. Обычай, отмененный «Регламентом» Петра Великого. Молитвословия Иоанн Кронштадтский произносил несколько скороговоркою, и произносил *лигно*, — не этим зауспокойным и как-то «вообще-православным» голосом, к какому мы привыкли, какой сделался ритуальным в православном богослужении. Это не «церковь молилась через иерея своего», — это *лигно он*, Иоанн Сергиев, молился о присутствующих и особенно одном из них, ради которого был позван. Ничего статуеобразного, мертвого не было ни в нем самом, ни в богослужении его, и эта маленькая черточка, едва приметная, но выраженная во всех подробностях, была чрезвычайно значащею, *если кто понимает дух всего православия*. В Иоанне Кронштадтском был *новый священник*, если сказать всю мысль — священник *новой церкви*, но только не опознавший себя и не опознанный толпою, ибо сведение лица к какой-то «схеме», сведение священника только к «рукоположенному носителю сана», не смеющему пошевелиться в этом сани, и, наконец, общий наклон к чему-то *старому, дряхлому, пассивному, недвижному, покорному*, — составляет общий *тон* нашей религии, гораздо более существенный, наличный и реально действующий, чем всевозможные догматы. Здесь все было напротив! Иоанн Кронштадтский служил, говорил, стоял, чуть-чуть немного волнуясь во всем корпусе, *старую службу*, но в *новом тоне*.

Сели за стол, за небольшой завтрак, и я сел против него. Обменялись несколькими словами. В нем было опять отсутствие этой торжественности, важности, какая и без заслуг присуща лицам духовного сана, а при заслугах вырастает во что-то чрезмерное и тягостное для окружающих. Слова его были чрезвычайно обыкновенны. Известно, что дневник его размышлений — «Моя жизнь во Христе» — *скужен* при чтении и скучен даже для лиц, его почитавших и не скучающих за богословскими сочинениями. Он скучен и по отсутствию интересных мыслей, и по отсутствию того воодушевления, той высоты языка, какая ожидалась бы от такого лица и в книге такого заглавия. Но, подумав, нельзя не найти

все это в высшей степени естественным. Великий человек *не двоится*, сильная душа вся выливается в *одном потоке*. Иоанн Кронштадтский был *весь в действии*; он не взял, как скупец или как расточительный человек, — *нетто от действия*, чтобы перелить это взятое в форму слова. Лично он, как человек, как историческая фигура, чрезвычайно выиграл бы, оставив после себя замечательную книгу; но он умалился в фигуре, — просто чтобы ничего не отнять от *ближнего и сейгас*. Говоря о возможной замечательной книге, я разумею возможное *одушевление*, ибо с первого же раза было видно, что замечательных мыслей он оставить не может.

Часть негодования, которое стало возбуждать в последние годы его имя, произошло от того, что он вмещал свое *мнение* в ход исторических и культурных событий, про которые можно сказать, что Иоанн Кронштадтский *никак к ним не относился*, не был с ними *нисколько и никак связан*, а потому и мнение о них мог иметь и имел только наивное и младенческое. Без сомнения, не он сам, но другие побудили его сказать свое мнение о Льве Толстом, о конституционном нашем движении и проч., чтобы заручиться этим мнением как некоторою *палкою*. По глубокому неведению всех этих дел, Иоанн Кронштадтский был здесь сам *связанный человек*, которого *несли, куда хотели*, и принесли в черный лагерь нашей реакции. Это, можно сказать, «случилось с ним», а не «совершил он»; случилось, как *несчастье*, нисколько не вытекавшее из существа его, из его личности, из его духа. Конечно, сын сельского дьячка, немного поучившийся в семинарии, не мог *согусловствовать*, положим, Толстому или конституционному движению, — но не мог просто по *незнанию* этого, по глубокому всего этого *непониманию*, а не по противоположности, не по черствости и закоснелости своей, чего в нем не было. Ему указали «перстом» на некоторые слова у Толстого и предложили «осудить» его; он — осудил. Сообщили разрозненные факты из освободительного движения, и тоже предложили «осудить», — он опять «осудил». Осуждение это было *политически* нужно врагам Толстого и врагам русской свободы; нужно было именно «изречение фетиша», и нужно для самых темных масс народа, где и сложилось почитание фетиша. «Изречение» это было именно палкою, которую надо было откуда-нибудь заполучить разным Скворцовым и д-рам Дубровиным, в злых и жестоких их целях. Но сам по себе, без этой агитации Дубровина и Скворцова, — Иоанн Кронштадтский был глубоко *гастным человеком*, созерцательною внутреннею душою, именно «молитвенником», — а что общего у молитвы и политики. Молитва пылка и *коротка*, молитва *не сложна*. Взглянув на Иоанна Кронштадтского и проговорив с ним несколько минут, сейчас же мог всякий видеть, что он только и способен вот к этим *кратким и несложным* движениям души, где даже и нет движения, собственно, *мысли*, а только пыл, горячность, неотступное слово. Слышавшие молитвы его над больными удивлялись: он точно *требует* у Бога исцеления, слова: *Ты должен, Боже, Ты не можешь не исцелить его*, — так и сыплются. Это необычайно. Между тем это глубоко вытекало из его личности: в нем не было строгой и официальной церковности, не было богослужбной торжественности, он *молился, звал и требовал* как человек-священник. Недолгая семинарская наука куда-то провалилась, он чрезмерно перерос ее своею личностью, и, чувствуя, что он — *простой человек*, — непременно исцелил бы болящего, помог бы человеку в несчастьи, *звал, требовал, настаивал*.

вал, чтобы подобное же совершил *всемогущий* Бог, совершил *непрерывно!* Молитва его, — что не отмечено никем, — была, говоря языком истории религий, глубоко *антропоморфна*, т. е. она вытекала из глубоко антропоморфических представлений о Боге, точнее — чувства Бога. И эта особенность и дала первый толчок к превращению его самого в религиозный фетиш. «Он просит у Бога не как митрофорный протоиерей Андреевского собора; тут *кто-то другое*, прислушайтесь: он просит у Бога как *близкий* Его, как *друг* Его, точно он *сын* Его. Он *требует*, он *настаивает!* Тут вовсе не митрофорный протоиерей, в смиренном сане священника молится *кто-то другой*. Так произошло это смешение, это недоразумение, где величайшая народная *темнота* встретилась с глубокою *простотою* религиозных понятий «митрофорного протоиерея», простотою в смысле элементарности, первобытности. Острая, пылкая личная жизнь и, самое главное, ежедневное *трение около народа*, ежедневное общение с *народными страданиями* как бы стерли в Иоанне Кронштадтском все, чему он учился о Боге в семинарии, и он вернулся или впал в первобытный религиозный антропоморфизм, с которого всякий народ начинает свою религию. И вдруг народ почувствовал в этом одном священнике что-то «свое», «родное», тысячелетне-древнее, «рюриковское», и через все новые учреждения, через голову Синода и пышной словесной иерархии протянул руки к нему и понес его на руках, своего и «любимого батюшку».

20 — Это какое-то болезненное народное явление, *психопатия толпы*, — заметил митрополит Иоанникий, в пору своего киевского служения, увидев проездом по улице, как народ бежит к дому, где Иоанн Кронштадтский «молился»...

— Они когда-нибудь *съедят* этого своего живого бога, — сказал желчно Толстой по поводу случая, где одна женщина укусила палец у «батюшки», чтобы «причаститься его «тела и крови», о чем одно время писали газеты.

И то и другое, ни то и не другое... Истина и разгадка лежит в том, что $\frac{9}{10}$ нашего народа, конечно, еще не умеют читать, особенно женщины, и, не выучившись читать, а учась только на «слухах», эти $\frac{9}{10}$ не имеют причин в чем-нибудь религиозно отличаться от пра-пра-пра-прадедов своих, еще молившихся Велесу и Перуну. Имена с тех пор сменились, но народ только и мог усвоить, что *новые имена*, а психика религиозная в нем осталась прежняя. В обыкновенном священстве, однако, ничто не отвечало этой психике: удерживала семинария, придерживала консистория. Вдруг явился священник, который перерос влияние консистории, не очень твердо помнил семинарию и вообще был *свободен*, почувствовал себя *свободным*. Как только это совершилось, оба явления встретились и образовали то явление, которое именуется «иоаннитством». Около него много злоупотреблений, но в основе это есть чистосердечное возвращение почти к доисторической старине русского племени, — к той счастливой и наивной старине, когда «боги были так близки к людям и еще ходили по земле», о чем вспоминает райская легенда; вспоминает это и Достоевский в «Сне смешного человека». Русский народ с Иоанном Кронштадтским пережил и еще переживает одну из легенд своих, переживает в своем роде «Счастливый сон», от которого ему горько пробудиться. В самом деле, скучно и серо вообще без «снов»; а уж русскому народу и Бог весть как серо: стужа, недоеданье, свист ветра в коротенькой трубе, и на десятки верст кругом никого зрелее младенца...

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИМУЛЯНТЫ

С лицом мертвеца, — соглашаюсь, красивого мертвеца, — и загробным голо-
сом поэт Блок читает о землетрясении в Мессине и связи этого землетрясения...
с русской интеллигенцией. Не совсем об этом, а о том, что чувствует или должна
чувствовать русская интеллигенция от землетрясения. Кажется, так. Мысль не
была ясна, но было очевидно, что именно землетрясение и именно интеллиген-
ция являются двумя полюсами, куда устремлена мысль Блока или куда устремле-
ны его два глаза, недвижные, испуганные. Публика заохлодела от ожидания. Вот
мертвец заплачет или завопит. Но мертвец сел на стул, точно в гроб упал. Заво-
пил Д. С. Мережковский.

10

Он вопил или вопиял долго, сложно, непонятно, и на тему, и сверх темы, и че-
рез тему, куда попало. Так петух с отрезанной головой не разбирает, в который
угол кухни ему скакать. Мережковский казался чрезвычайно испуганным чтени-
ем Блока. Казалось, ему отрезали голову и вырвали сердце, и он был полон отча-
яния. И если у мертвенного Блока методично стучало:

— Стрела сейсмографа отклонилась в сторону, а на завтра телеграф принес
известие, что половины Сицилии нет...

То Дмитрий Сергеевич, вытягивая вперед руки, губы и грудь и страшно тара-
ща глаза, кричал:

— «Что нам делать?..» И прочее, и прочее. «Нас, декадентов, называют соба-
ками» (все были в публике восхищены скромностью, ибо и говоривший — дека-
дент). «Да, может быть, — продолжал хитрый оратор, — может быть, мы и соба-
ки. Но мы те собаки, которые воют перед пожаром!!» Страшный удар голоса на
слове «пожар». Публика содрогнулась и опять восхитилась. Но на этот раз петух
знал, куда он скачет.

20

Он подхватил энтузиазм, и по зале пронеслось громовое:

«Цусима!..». И после минутной паузы: «И та, другая, Цусима страшнее япон-
ской, которая здесь, у нас, в России...».

Без слов, в жестах, в интонации, было дано, как выражаются газеты, неопре-
деленное указание на «определенные события». «Браво! Браво! Браво!» — это
если и не неслось в зале по запрещенности одобрений и порицаний, то звучало
в груди десятков присутствовавших.

30

Все было хорошо «стилизованно», как пишут теперь в «Весах» и «Золотом
Руне», и публика философско-религиозных собраний не догадывалась, что она
попала на «стилизованное представление» не то во вкусе Калиостро, не то рома-
нов Радклиф, не то Фотия и Татариновой, — «смотря по тому, куда обернется
дело». Так, по-видимому, решили умные молчаливники, сидящие за спиной двух
петухов, одного мертвого, но без отрезанной головы, и другого живого, но с от-
резанной головой.

«Пусть будут поражены и заволнуются. А там уж будет видно...».

40

Ах, эта старая кокетка, наша интеллигенция. Известно, что роман Марты с Ме-
фистофелем начинается с «печальных воспоминаний о моем дорогом муже». —
«Он был такой рыцарь», — говорит Мефистофель. — «Я так любила его», — взды-
хает Марта, кладя голову на плечо Мефистофеля. Не будь прекрасной смерти
прекрасного воина, Марта не провела бы блаженно этой хорошей июльской
ночи. Все в связи. И на могилах иногда вырастают прекраснейшие розы.

В «стилизованном» представлении декадентов, данном на месте религиозно-философских собраний, — могила бедных, *скромных* моряков, как и другая еще более страшная могила мессинцев, послужила пунцовым букетом в руках декадентской Марты, которым она опахивала увядшее лицо свое, как веером. И публика, вместо восторга, могла бы, опустив глаза, сказать безмолвно:

«— Вечная память! Зачем потревожили их прах? Для такой чуждой, им *не-нужной* цели, как тема о русской интеллигенции?! И зачем эта старая кокетка топчется на всяком месте, куда ей взбредет в голову пойти, — в театре Коммиссаржевской, в Польском клубе, на религиозных собраниях, и наконец, даже вот
10 пришла топтаться на могиле людей, уснувших вечным сном в Мессине и Японском море. Нет, это не сторожевые собаки, воющие о пожаре: в Мессину ночью прокрадывались какие-то женщины и мужчины и шарили около трупов, ища, чем поживиться. Вот сравнение, которое не пришло на ум красноречивому оратору, но невольно толкается в голову, так как ведь действительно Цусима и несчастье в Мессине что-то такое прибавили к славе петербургских литераторов».

А и в самом деле, ну, в ту пору, *в тот день*, когда русские корабли перевертывались в проливе и сотни людей горели, сгорали или шли ко дну, в этот день потерял ли аппетит Д. С. Мережковский?

Пусть вспомнит и *громко* скажет в следующем религиозно-философском собрании, отказался ли он тогда от завтрака или обеда, *забыл* ли о них? А ведь очень многие в тот день не обедали именно в «холодном» Петербурге; не обедали, между прочим, из числа очень и очень пренебрегаемых им «простецов», и граждан и журналистов. В этот день у многих «кусочек не пошел в горло». У Дм. Сергеевича он скользнул, как устрица. Да, верно, не забыл спросить корницы к рисовой кашке.

Не знаю, не справлялся, но думаю. Друзья, и Блок, и Мережковский, что вам Цусима? Что Мессина, — как не лишнее литературное впечатление, вроде того, как северное сияние или гром для Ломоносова, писавшего в стихах: «Утреннее размышление о Божием величии по поводу грома» или «Вечернее размышление
30 по поводу северного сияния». То же самое, с разницей в оттенках и временах. Мережковский завопил, что от «внутренней Цусимы» у него переворачиваются кишки. Но так как он имеет обыкновение сообщать в газеты, что «выезжает из России» или «въезжает в Россию», то очень хорошо известно и никто не забыл, что именно в то время, когда еще не настали, но могли наступить «известные события», — он спокойно брал билет в обществе спальных вагонов с кратким маршрутом: «S.-Petersbourg — Paris».

Друзья мои, что вам до России?

Не Мережковский ли, завоеывая или коммерчески приобретая себе левую славу, писал, что «он предпочел бы, чтобы *Россия не существовала вовсе*, если бы
40 он знал, что Россия и свобода — несовместимы». Это им было сказано в полемике со Струве. Но ведь Россия есть тот *субстрат*, который может быть «свободен» или «не свободен». И поверить ли в искренность «пожелания здоровья», когда оно произносится с оговоркой: «Я желаю выздоровления этому больному, но при условии, *если потом он будет ходить в красной рубашке*». Поистине, такие условные пожелания никому не нужны, и больная Россия не встанет с постели, сколько ей ни «желают здоровья» Блок и Мережковский. Удалитесь, циники, от одра больного.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<О выходе из совета Религиозно-философского общества>

Вследствие совершенно изменившегося характера религиозно-философского общества в Петербурге, я нахожу себя вынужденным выйти из состава *совета* его, дабы не нести ответственности за измену прежним, добрым и нужным для *России* целям. В последнем, в *исторической* нужности прежних целей, конечно, не доведенных и до половины, а лишь намеченных, так сказать, пунктиром, и лежит повод, заставляющий меня оставить то дело, которое я столько лет любил и до известной степени жил им. Тут нет ничего личного. Возникло у вошедших в состав совета новых лиц намерение оставить прежние цели и общество из *религиозно-философского* превратить в *литературное*, с публицистическими интонациями, какие в нашей литературе всегда и везде присущи. Таким образом, самое имя его уже является только псевдонимом, и вообще все становится не прямо, не договоренно, несколько мистифицировано. Что это — так, видно из того, что в зале собраний уже слышались из публики возгласы недоумения о том, что собираются сюда слушать *о религии*, а вместо этого приходится выслушивать литературные счеты, ошибки литературных самолюбий. Но громко недоумевавшие об этом не знали, что, конечно, они и являются не в прежние религиозно-философские собрания, *которых более нет*, а в нечто совсем новое, чем *сознательно* (в совете общества) решено заменить или, точнее, подменить их. Ибо для нового содержания просто нужно было основать новое общество, — благо, теперь это не слишком затруднено, — а не пользоваться старым именем, в то же время вытеснив все старое самодержавие.

Перемена эта, инициатива которой исключительно принадлежит Д. С. Мережковскому, Д. В. Философову и З. Н. Гиппиус, вовсе не участвовавшим в собраниях 1907—1908 гг., вызвала многочисленные печатные протесты старых участников собраний, и столько же устных, в составе самого совета. К протестующим принадлежат С. Л. Франк, П. Б. Струве, Н. А. Бердяев (по инициативе которого общество было возобновлено в 1907 г.), В. А. Тернавцев, П. П. Перцов (редактор и издатель «Нового Пути», где печатались протоколы собраний 1902—1903 гг.). Общество, имевшее задачи *в России*, превратилось в частный, своего рода семейный кружок: без всякого *общественного значения*. — И те многие, которые прислушивались к бывалым прениям в нем, не в одном Петербурге, но и в провинции, не могут даже и интересоваться, кто выходит или кто входит в этот литературный салон. Был кристалл, и растворился: прежняя форма не держит его частиц и не крепит в себе. По-видимому, обязанность сообщить об этом обществу лежала на самом совете; но он этого не сделал, и я, как былой член совета за все время существования собраний, позволяю себе и нахожу *обязанным* для себя сделать это в мотивированном выходе.

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Стих Пушкина:

И вырвал грешный мой язык
И празднословный и лукавый

все как музыка повторялся в уме моем, когда я слушал одну за другую речи гг. Философова, Базарова, Флотова, Неведомского в собрании Религиозно-философского общества 21 января. Скучно, нудно, тускло, с потугами на философию, с потугами на научность: ибо какую же в самом деле науку можно изложить в 40—50—60 минут, стоя на эстраде перед не очень уж ученой публикой, которая по слабости человеческой не может не ожидать «чего-нибудь поинтереснее». Но «поинтереснее» ничего не могли или не хотели дать ораторы, говорившие 21 января в зале Польского клуба. Особенно, как *оратор*, был невыносим г. Базаров, с жидким, слабым голосом, говоривший скороговоркою. Он имел такой вид, как будто белая и рыхлая купчиха начала преобразовываться в кисейную институтку, но чего-то испугалась и остановилась в развитии. Между тем это был «страшный социал-демократ» или марксист, — не разберу. Громыхал и стучал голосом г. Неведомский... Почему у него такое тусклое, не меняющееся, недвижимое лицо? Не спорю, — умен или может быть умен, но когда он поднимается говорить, я вспоминаю Шигалева из «Бесов» Достоевского, который был тоже очень учен, но которому «чего-то такого не доставало»... «Длинноухий Шигалев встал и положил перед собою тетрадь», такую большую, что надо было читать два года. Кроме того, когда я смотрю на Неведомского, я ищу около плеч его оглоблей. Они должны быть, ибо он всегда везет воз. Воз трудный, тяжелый, и он старается. Докладчик Философов, по-видимому, не чувствовал себя совершенно свободно, старался быть корректным, учтивым, тихим, — и от этого чтение его вышло особенно серо. Он был похож на Маргариту за прялкой, которая прядет и прядет... Если бы вместо доклада о «богоборчестве и богостроительстве» он пропел публике старую и милую песню о короле Фула, — было бы приятнее:

30 Жил когда-то старый
Добрый король
Он имел кубок...

Хороши старые песни сравнительно с новыми. И весело, и безгрешно. Философова я оттого сравнил с Маргаритою, что, прядя нитку, он все поглядывал на кого-то и кончил сладким: «Вы (марксисты и эсдеки) не друзья наши, но я верю, что вы будете друзьями». Следовало бы сделать книксен, но он сидел, и нельзя было этого сделать. Верно, однако, под столом он шаркнул ножной. Но марксисты, кажется, не столько антропологичны, сколько зоологичны, и этих кентавров не соблазнит бледная Маргарита: в ответ на шарканье и надежду «похристоваться» один за другим Базаров, Флотов и Неведомский начали громыхать. 40 В заключение было сказано: «Мы не друзья ваши, гг. богостроители, а враги. Врагами будем и останемся».

Телега проехала. Маргарита осталась с протянутой рукой, в смущенном положении:

Ах, уехал он, уехал...

Но как «последствий» нет и Философов не в «интересном положении», то предстоят новые встречи, духовно-политический флирт, и, может быть, кое-что христианству перепадет. Марксисты, может быть, принесут «лепту св. Петра».

Мережковский вопиял очень немного (уже в 12-м часу). «Мы вас любим. Они нас не любят. Но любовь что? Когда я люблю, то я разрушаюсь. А когда разрушаюсь, тогда умираю. Значит, любовь что? Смерть. Однако же такая, где я воскресаю» (страшно вытаращенные на публику глаза). Мне кажется, что Мережковский и не воскресает, и не умирает, что он не родился и никогда не умрет. Мережковский есть вещь, постоянно говорящая, или скорей совокупность сюртука и брюк, из которых выходит вечный шум. Что бы ему ни дали, что бы ни обещали, хоть царство небесное — он не может замолчать. Для того, чтобы можно было больше говорить, он через каждые три года вполне изменяется, точно переменяет все белье, и в следующее трехлетие опровергает то, что говорил в предыдущее. Таким образом может выйти гораздо больше слов; и лет через 50 «Полное собрание сочинений Мережковского» будет обширнее, чем «Собрание романов Рафаила Зотова» или Дюма *père et fils* *. То-то Россия начитается. Я говорю это не без основания, ибо «Речь» на днях напечатала, будто Мережковский где-то *пегатно* сказал о религиозно-философских собраниях 1902—1903 гг.: «Мы тогда много наблудили языком». Можно сказать, решимость и талант Репетилова, который говорил о себе:

Совру — простят.

Мне немножко грустно шутить над Мережковским, ибо, по определению Карамзина, он — «истинно добрый человек», но только его кто-то «ввел во искушение», которое, надеюсь, через три года пройдет. Ах, былой поклонник Наполеона и Ницше, Леонарда и Джоконды, в которой он видел сходство с одной знаменитой нашей поэтессой. В противоположность неблагородным французским лакеям, которые «в герое видят обыкновенного человека», — добрый Митя из Баскова переулка усматривает Наполеона и Леонарда в Неведомском и Базарове, и, как оруженосец, став на колени, целует руку у марксиста:

— Посвяти меня в рыцари, король будущего. Я хочу быть рыцарем пролетариата.

Но марксисты таких церемоний не знают, и все больше «по-русски» отплевываются за сторону.

Зал шумел, гремел, стучал... И хотя «Бог», «богочеловечество», «человекобожество» и «Христос» потрясли воздух: но не чувствовалось ни *е-ди-но-го* религиозного звука здесь, и зал до того был пуст от религии, от чувства ее, от понимания ее, как это только и может быть в «Польском клубе в Петербурге», каковое

* отец и сын (*фр.*).

место Лукавый роковым образом указал «введенным во искушение»... Место *само по себе* хорошее: но надо же было литераторам толкнуться именно сюда для «богоискания»...

* * *

Между тем знаете ли что: можно и *не* потрясать именем «Бог» и все-таки говорить так, что *в зале погузвтуется, что есть Бог*. Главных грех собраний едва ли не заключается в том, что говорить-то о Боге они постоянно говорят, а вот *думать* о Нем никогда не думают. И подозреваю, что по этой части между Философовым и Неведомским, Базаровым и Мережковским *есть полная слиянность и никакой разницы*. Ведь нельзя не поразиться, что во всех томах сочинений Мережковского, где постоянно рассказывается о Боге, рассуждается о Боге, слагаются стихи о Боге, — все это говорится о Боге как совершенно постороннем и внешнем, далеком и необыкновенном: и они только «дивуется» и «покоряется» Богу лишь еще сильнее, чем Наполеону и Леонарду; но *в том же тоне, тем же языком*, теми же огромными, восхищающимися, но *холодными* словами. Поразительная особенность Мережковского заключается в том, что, при вечном его шуме и воплях, он есть абсолютно и как-то предвечно *холодный* писатель, который никогда и ничем не разогревался, не теплел от написанного, и никогда ни одной души не согрел, не умилил, не *затомил* ни одну страницу. А религия ¹⁰ есть томление души. Философов, в споре, обмолвился: «Какая же может быть религия *без Бога*», и, кажется, даже прибавил: «без определенного *названия, имени Божия*». Вот все они таковы, и Мережковский, и Философов, — и только колеблюсь сказать это о Гиппиус: для них религия есть стук имен и слов, «трактат о религии индусов», «о Зороастре», «о Христе». Между тем *именно* может быть религия *до* всякого имени Бога, до всякого образа Бога, до всякого даже *понятия* о Боге: как электричество есть и может быть без молнии, как магнетизм есть и без магнитной стрелки, где мы его читаем и осязаем. В зале Религиозно-философских собраний нет религии, потому что нет *религиозного тона души*, и нет *религиозного тона в слове*; скажу проще, вульгарнее и для литераторов вразумительнее: ²⁰ ни у кого в зале нет и до сих пор не появилось религиозного стиля (чуть-чуть можно исключение сделать для г-жи Ветровой, говорившей из публики). Тон религиозный необыкновенно *психологичен*: он как-то отделяется из пластов души, очень многих, очень старых, позволю думать — атавистических. По языку он какой-то густой, вязкий, точно трудно воспринимаемый и трудно произносимый. «Болтливые» гении бывают, но «болтливому» ни одного религиозного человека не было, вероятно, с сотворения мира. Густая душа, густое слово, вот точно отяжелевшее от электричества, еще без имен и молний, но с возможностью их — так можно описать этот особенный строй, особенный тембр, особенную музыку, особенный стиль: и где раздастся этот голос, люди вздрогнут и ³⁰ *насторожатся*, если напишется такая страница — люди вернутся к ней. И вообще *ее не забудут*. Хотя бы предметом страницы или слова были самые обыкновенные житейские вещи, — ну, политическое положение, ну, нужда народная и даже личная! Даже нечто *лигное* и совершенно *крошечное* может облечься в типично религиозное слово. В нашей литературе беспримерный пример этого дал Лермонтов, —

дал вовсе не в сюжетах своих, а в *слоге, который нигде не прерывает религиозного тона*, вот этого сгущенного, особенного, магнетического, где психологичность и пласты души кажутся бездонными, бесконечными, именно атавистическими, «от неведомых предков и стран»... * Но оставим это. Без «фокуса» этого Религиозно-философские собрания ничего не могут сделать; стекла их, в какой бы опра-
 ве не были показаны публике, окажутся не зажигательными. Это простые
 стекла, без небесной выпуклости и вогнутости.

У ГРОБА ОТЦА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Белая сирень, белая сирень, — немного лиловой, — ландыши, розы, вот окру-
 жение гроба Иоанна Кронштадтского. Когда-то самое свежее — по возрасту —
 лицо в России, окружено и после смерти величайшею свежестью. И, как бы в па-
 раллель этому, молоденькие, свеженькие монашенки, такого благоуветливого,
 благородного стиля, непременно поют в следующих одна за другой панихидах.
 Читает громко молитвы над гробницею молоденький и старый священник-мо-
 нах: возрастом он молод, но до того глубоко ушел в монашескую мудрость, в мо-
 нашеское отречение и так сосредоточился на этом «бесплотном житии», что,
 кажется, стар. Мне он очень понравился: «Не велику грамоту читает, да и тверд
 в этой грамоте». Узенькой полоской поднимается лоб над густыми бровями,
 лицо худо, сосредоточено, щеки бледны, но взгляд добрый, благой. «Мы от всего
 отрелись, но зато всех благословляем»... И какой твердый голос, и с каким *лиг-*
ным усердием молится он за «духовного отца нашего, иерея Иоанна». После па-
 нихиды я поговорил с ним: отец Иосиф приехал из Курской губернии «к дорого-
 му батюшке», и вот живет здесь три недели и каждодневно молится и молится
 у могилы Иоанна Кронштадтского. «Сподобил его Господь», — как говорят у нас
 в народе. И «сподобил Бог» отцу Иоанну имеет за себя таких молитвенников.
 Впрочем, кто за отца Иоанна не молится? Вся Русь.

Легенда уже растет около гроба отца Иоанна. Это — хорошо, это — живая ис-
 тория. Ни малейшей никому нет нужды в арифметически достоверной истории,
 и легенда есть тот «добрый процент», который и по Евангелию должен нарастать
 на капитал хорошего факта. Я заметил, что сейчас же, как умер отец Иоанн, от-
 рицательных чувств, какая была при жизни его связана с некоторыми его слова-
 ми и действиями публицистического и политического характера. Все выдавшие-
 ся углы начали вращаться обратно, молиться, смягчаться, таять; — и вот уже
 округлилось в то прекрасное доброе, с чем единственно подходят теперь к его
 могиле и с чем единственно произносят его имя сейчас.

* Такой «заветной птичкой», с тайного религиозного тона, был в прошлогдних собрани-
 ях г. Свенцицкий. Зал ему покорялся с первых минут речи, — и когда он был «в слове» или
 «был в духе» (что ему не постоянно было присуще), — он мог потому вывести из собрания
 и повести за собою куда угодно. Публика смекнула, охватываемая каким-то духом. Не могу не
 верить, что этот за что-то исключенный недавно из Московского философского общества че-
 ловек еще будет иметь свою судьбу.

Очень хорошо, что он погребен в женском монастыре: как и в отношении Серафима Саровского, я заметил, до чего *монахини* выше поднимают культ великого старца, чем как умеют сделать это монахи. Ничего подобного, никакого сравнения с тем, как чтится в Дивеевском *женском* монастыре память преподобного Серафима, нет в *мужском* Саровском монастыре, где лежат его мощи. Недаром, по *народному* требованию, тело всякого усопшего должны обмыть и положить в гроб именно женщины; как и у пещеры, где был поставлен гроб Спасителя, ранним утром и первые очутились тоже евангельские женщины. *Память* человека у мужчин затирается скорее; у женщин она сохраняется в необыкновенной жизненности. И может быть все кладбища следовало бы давно передать в ведение и управление женских монастырских общин, которые и завели бы над ними настоящее благочестие и настоящую красоту, вместо царящего теперь на кладбищах неблагообращия. Но оставим проекты и вернемся к действительности.

Иоаннов монастырь, на речке Карповке, чрезвычайно хорош. Он умеренно великолепен, умеренно богат. Образов еще не очень много, очевидно, «будут пожертвования» и тогда «все заставится», а пока, не производя впечатления пустоты и голого, стены блистают белизною. Но какие есть образа — хорошей живописи. Иконостаса я не видел: было так тесно, что при плохом здоровье очевидно было не безопасно протискиваться вперед; да пышную митрополичью службу можно видеть всегда и в Невской лавре, и в соборах. Вместо этого я прошел туда, где был народ, но куда народ не спешил — в церковь внизу, под сводами, где поставлена усыпальница отца Иоанна: она так хороша, эта нижняя церковь, вся белая, из мрамора или под мрамор. Печально, что и сюда проникло неблагочестивое электрическое освещение, эти мертвые лампочки, — освещающие и трактиры, и все. Как этого бы не следовало! Но не хочется говорить не мирных слов. Вся церковь была залита светом восковых свечей, которых здесь было зажжено такое множество, как я никогда не видал! Недвижные «глазки» лампад и волнующееся пламя свечей, среди живых цветов, такого множества цветов, — все было изумительно по великолепию, и давало такое хорошее впечатление, потому что это было благочестивое великолепие! «Вот бы так везде и всюду», — думалось невольно...

Церковь очень низенькая, и когда началось архиерейское здесь служение, — коротенькая лития, — то митры задевали за выступы негладкого потолка. Я узнал много знакомых лиц среди служащих: и не мог не вспомнить печальных воспоминанием епископа Антонина, которого видал именно среди этих знакомых епископских лиц, и не погрузил об его отсутствии. И гроб, и храм равно говорили о мире, о примирении: и как своевременно было бы спросить с исторических счетов все «памятки» и «гневливости», какие остались от былых «дней свобод» и так печально волокутся в нашем сердце и по улице; печально и некрасиво...

ТРАГИЧЕСКОЕ ОСТРОУМИЕ

Безо всякого намерения быть остроумным, поэт Блок невольно сострил; и верно оттого, что самое дело, о котором он пишет, заключает остроумие внутри себя, остроумно само по себе... В статье с приглашающим заглавием «Мережков-

ский» он пишет: «Открыв или перелистав его книги, можно прийти в смятение, в ужас, даже — в негодование. „Бог, Бог, Бог, Христос, Христос, Христос“, — положительно нет страницы без этих Имен, именно Имен, не с большой, а с огромной буквы написанных, такой огромной, что она все заслоняет, на все бросает крестообразную тень, *тогда вывеска „Какао“ или „Угрин“ на загородном и без нее мертвом поле, над холодными волнами Финского залива, и без нее мертвого*».

Подвернулось же сравнение поэту и другу... Именно как «Какао» и «Угрин» тычутся вам в глаза, когда вы подъезжаете к городу отнюдь не затем, чтобы напиться там какао, а за чем-то нужным, дельным, важным, наконец, тревожным, и оно никому не нужно, кроме торгующего ими, — так точно и Мережковский ¹⁰ поступает с религиею, страшно ее понижая, страшно от нее отталкивая. Своим невольно удачным сравнением (дело за себя говорит) Блок чрезвычайно много разъяснил и сделал почти излишним тот комментарий, о каком просит поднявшееся вокруг Мережковского недоумение. Именно как «Угрин», «Какао», «Угрин», «Какао» чередуются священные имена... Гадко, невыносимо.

Забыл он древнее: «имени Господа Бога твоего не произноси всуе»... Забыл и другое: что страшное Имя никогда даже и не писалось народом, знавшим вкус в этих вещах. Позволяю употребить грубое слово: «вкус». Да, есть *вкус* и к религии, к религиозным вещам; не эстетический *вкус*, а другой, высший и соответственный. Можно быть глубоко *безвкусным* человеком в религии, хлопоча вечно ²⁰ о религии, не спуская ее с языка. Ведь не таковы ли ханжи и все ханжество? На совершенно противоположном полюсе с ханжеством, в другом совершенно роде, но Мережковский есть также *религиозно-безвкусный* человек, и, придя к этой мысли, начинаешь почти все разгадывать в нем.

Да... Буквы огромные, слова всегда громкие: но кроме слов, букв, *видности* — и нет ничего.

Бог — в тайне. Разве не сказано было сто раз, что Он — в тайне? Между тем Мережковский вечно тащит Его к свету, именно как вот рекламы — напоказ, на вывеску, чтобы все читали, видели, знали, помнили, как таблицу умножения или как ученик высекающую его розгу. Что за дикие усилия! «Бог в тайне»: иначе Его ³⁰ и постигнуть нельзя. Не наблюдали ли вы, что во всем мире разлита эта нежная и глубокая застенчивость, стыдливость, утаивание себя, — что уходит, как в средоточие их всех, в «неизреченные тайны Божия» и, наконец, в существо «Неисповедимого Лица»? От этого все глубокие вещи мира не выпячиваются, а затеваются, куда-то уходят от глаза, не указывают на себя, не говорят о себе. По *этим качествам* мы даже оцениваем достоинство человека. Но это — качество не моральное, а космологическое, хотя оно простирается и в мораль, властвуя над нею. Мне прямо не хотелось бы жить в таком *плоском* мире, где вещи были бы лишены этой главной прелести своей, что оне *не хотят быть видимы*, что оне вечно ⁴⁰ *уходят, скрываются*. Это во всей природе. Брильянты и все драгоценные вещи глубоко скрыты внутри каменной твердыни гор, и без науки, без искусства, без труда, работы — недостижимы, как фараоны, уснувшие в пирамидах. Вот пример этой тайны мира: она начинается в камнях, а оканчивается в человеке, который творит поэзию и мудрость в глубоком *удинении*, в *одинокестве*, точно *спрятавшись*, никогда не на глазах другого, хотя бы самого близкого человека: «Нужно быть одному», — тогда выходит святое, лучезарное, чистое, целомудренное! Но в человеке это еще не кончено: есть Бог, которого «нигде же никто видел», как

говорится в книгах. Бог как бы впитал в себя всю мировую застенчивость и ушел в окончательную непроницаемость. Вспомним закон устройства Святого Святых, где было Его присутствие. Вечная тьма там. Никому нельзя входить. Вот — закон. Да, «закон Божий» — застенчивость. Без нее тошно жить, без нее невозможно жить. Цена человека сохраняется, пока он «не потерял стыд», т. е. вот застенчивости поступков и лица, скромности, вуалированности всего около себя и в себе... Как будто все скрыто под вуалью: есть, живет, действует, но — невидимо. Это и в быте, это и в лице. «Падение» начинается с «наглости», со сбрасывания одежд — не физических, а вот этих бытовых, личных, психологических...

10 Что же такое делает Мережковский со своими вывесочными криками? Он как бы арестует Бога и требует от Него отречения от извечной сущности Его — скрытости, тайны... Не безнаказанно г. Мережковский столько времени возился с «белыми дьяволицами» (в романе «Леонардо да Винчи») да с Юлианом Отверженным. Конечно, он теперь совсем на других путях. Но прием мысли, но испорченность привычек осталась, и он как бы просит Бога «раздеться и показаться». Так выходит. Иначе нельзя понять его «Угрин-Какао-Бог». Соглашаюсь, что это безвинно, ненароком, «так вышло», но признаю, что все-таки отвратительно и несносно.

20 Кто не знает особенным таинственным постижением *ноги* — не может постигнуть или приблизиться к постижению и существа Божия. И кто, как бы вкогтившись глазом в звездную глубину, не забывал вовсе о земле, до *недоверия к ее существованию*, — тот не знает ни молитв, ни алтарей, сколько бы ни стоял перед медными алтарями. Это уже почувствовали греки, у которых «элеусинские таинства» происходили ночью; те таинства, в которых что-то, доселе неизвестное, открывалось во Боге. С таким же инстинктом у нас все службы церковные приурочены не ко дню: поздняя обедня — в снисхождение лености богатых верующих. Но *настоящая обедня* — рано утром; заутреня, и всенощная — или до света, или после света. Все подобно тому ландышу, который у Лермонтова *«изпод куста таинственно кивает головой»*... У ночи совсем другая *душа*, чем у дня, 30 у которого душа суетная, мелочная, заботливая, трезвая, позитивная. Огюст Конт родился днем и сам будто никогда не видел ночи. Точно так вот и наш ученый и все-начитанный Д. С. Мережковский точно родился днем и закрывает глаза к вечеру, а открывает их, когда уже совсем рассвело. К числу магически-позитивных особенностей его относится то, что неодолимая дремота одолевает его в 11¹/₂ час. ночи; и в 12, когда начинаются «чудеса», — он непременно спит, как младенец. Такого *трезвого и аккуратного* писателя я еще не встречал. Несмотря на вражду к позитивизму, чисто словесную, на вражду как пьяницы к погубившему его вину, он на самом деле весь позитивен, трезв, не опьянен, не задурманен, не заражен никакими чарами. Темноты в его книгах много, но это просто путаница мысли. В его книгах нет ночи, а от этого нет и тайны Божией. Сумрака много, но это просто — чердак, куда не пробивается дневной свет от плохого устройства, а не оттого, чтобы чердак имел какое-нибудь родство с ночью. И уж если сделать экскурсию к давно-прошлому Мережковского, — то на этом чердаке и всегда-то водились одни мыши, а отнюдь не «интересные» демоны.

Все это страшно грустно. Он так много читал... Так много учился, знает... Все обещало в дальнейшем хотя и трезвую, позитивную, немного мещанскую работу,

однако отличного ученого. На Руси их так мало! Никто не умеет так хорошо *сопоставлять* и *критиковать* идеи; таким *верным* *глазом* оценивать недостаточность какой-нибудь идеи для того-то и того-то или способность идеи к тому-то и тому-то; так разбирать *истогники* идей; *исходные* пункты грядущих умственных и нравственных переворотов. Я говорю, может быть, не ясно, но *в подробностях* знаю и видел эту превосходную способность Мережковского. Но он — не пророк, *именно* не пророк. Он ученый, мыслитель, писатель, и только. Мне все это печально говорить, ибо дружба, как и вражда, имеет в себе что-то, уже никогда не улечивающееся: в долгие годы дружбы мне были видны такие стороны его, которые пробуждали к нему если не любовь (как к абсолютно холодному человеку) и не уважение (ибо у него всегда была путаница и «Угрин»), то что-то заменяющее вполне их и им равноценное. В нем есть человеческие качества в таком особенном оттенке и сочетании, как мне не приходилось встречать в других людях, — и от этих качеств его и не любишь, и не уважаешь, а привязан; находишь смешным, бессильным, неудачным, и ценишь и *уважаешь* гораздо более, чем удачных и счастливых людей. В нем есть стиль, какая-то своя порода. Эту холодную блестящую вещицу кладешь в особенное место той внутренней сокровищницы, какая есть у каждого и куда каждый складывает все лучшее. Но... Мережковский сам себе изменил, сам себя предал, сам от себя отказался: в каком-то новом оболыщении он решил привлечь к себе и Христу марксистов, эсдеков и проч., и проч., слив политику и Евангелие, и притом просто то Евангелие от Матфея, Марка и Луки, какое читает церковь, с учением Карла Маркса из Берлина, без всякой новой мечты об Апокалипсисе, о грядущем Христе и Третьем Завете. Здесь я должен определенно назвать тот важнейший мотив, который побуждает меня сказать, что «Мережковский отрекся от себя»: именно он мне сказал, что находится теперь совсем в других мыслях, нежели прежде, что я, должно быть, не читал его последних книг, а если бы читал, то знал бы, что ни о каком грядущем Мессии теперь он не думает, ни о каком Третьем Завете. Когда же я изумился и спросил: «Как же он раньше об этом говорил», то он ответил: «Это было так, слова!». Я позволю себе этот единственный и последний раз сказать нечто из личных бесед, во-первых, по крайней важности этого для всех, кто заинтересован его проповедью, во-вторых, потому что это будто бы (чему я не верю) уже сказано где-то у него в книгах (вероятно, в намеках) и, наконец, оттого, что однажды в «Русской Мысли» он допустил изложить в целом диалоге мой очень ответственный разговор с ним, который, вероятно, был, хотя я его и не помню. Так что я не нарушаю «стыдливости бесед» более, чем он это сделал. Когда же он о всем «прежнем Мережковском» выразился, что это были «одни слова», мне осталось подумать или повторить за Блоком:

— Э, и Бог, и вывесочные крики, и Второе Пришествие, и все Заветы для него — есть только огромный забор среди пустыни, где саженными буквами для всемирного прочтения начертано одно:

Д. С. Мережковский.

Мне осталось проститься, задвинув урну с пеплом моего друга в самый далекий уголок сердца, хоть все же капризно грустящего.

ПОПЫ, ЖАНДАРМЫ И БЛОК

Мрачный, красивый и юный Блок вещает:

Кто же произносит огромные слова о Боге, о Христе! Вероятно, духовное лицо, сытое от благодати духовной, все нашедшее, читающее проповедь смирения с огромной кафедрой, окруженной эскадрой жандармов с саблями наголо, — нам, светским людям, котормым и без того тошно? Кто он иначе?

И отвечает:

Нет, это — Мережковский, светский писатель, и в этом весь интерес». «Если бы он был духовным лицом, не то в клобуке, не то в немецком кивере (?), не то с митрополичьим жезлом, не то с саблей наголо, — он бы не возбуждал в нас, светских людях, ничего, кроме презрения, вынужденного молчания или равнодушия.

Ужасно мрачно пишет Блок. Так мрачно, как Надсон в минуты самого трагического настроения. Мрачно, гневно и презрительно. Боже мой, кого не презирает Блок? И почему он не играет Демона в опере Рубинштейна?.. Было бы так натурально, ибо это был бы Демон не подмалеванный, а настоящий. Но разберемся в мыслях печального Демона.

«Такая заслуга», — заговорил о Боге светский человек...

Но ведь был у нас Владимир Сергеевич Соловьёв.

Был у нас Николай Николаевич Страхов.

20 Был Константин Николаевич Леонтьев.

Была «Русь» Аксакова, в каждом еженедельном номере говорившая о Боге. Были славянофилы. Соловьёв создал целую богословскую литературу; Леонтьев, будучи светским писателем и медиком по профессии, тайно постригся задолго до смерти в монашество, — он, беллетрист, критик и публицист! Вот сколько!! Почему же о них всех позабыл Блок, как позабыли и те притязательные и смешные профессора-философы, гг. Новгородцев, Булгаков, Аскольдов, Трубецкие, которые, сообщая издав «Проблемы идеализма», выступили с таким бессовестным видом, как будто в России до них и идеализма не существовало, как будто они благодетельствовали Россию, начав в ней говорить об «идеализме». Боже мой, да сколько один Флексер-Волынский старался, — больше, чем сто Новгородцевых и чем сколько их ни есть этих братьев Трубецких. Почему же, для чего же это забвение? Что за братство в истории, что за единство культуры, если мы будем забывать о трудившихся сейчас после их смерти, если каждый из нас, высказывая, начнет бить себя в перси и кричать: «Я», «я», «я». «Я все нагал, от меня все пошло...».

30 О, эти христиане-индивидуалисты, без языческого «культа предков», без чувства рода, племени, родины! В тысячный раз приходится убедиться, до чего невозможно обойтись без этих языческих чувств, до чего с пресловутым «индивидуализмом», оторванностью личной души мы приходим не якобы к углублению ее, а иногда к простой торговой бессовестности. «Никого не было; все я один»... Я указываю на начало индивидуальности, так как его очень выдвигают декаденты как специальное *христианское гувство*, как *свое гувство*, в религиозно-философских собраниях.

Все «мы»... «До нас были попы, говорившие о смирении с эскортом жандармов с саблями наголо»... Какое мрачное зрелище, но где видал его Блок? Сера наша родина, но уж не до такого же ужаса. Это говорит тот Блок, который в чтении о землетрясении в Сицилии мрачно вещал: «Стрелка сейсмографа отклонилась в сторону, а назавтра телеграф принес известие, что *половины Сицилии нет*». Я помню эту его ошибку и задумался, откуда произошла она? От *глубокой безжалостности* поэтического сердца. Ученые, да и весь свет меряет каждую сажень земли, которую *пощадил* землетрясение, снимают фотографии, снимают *подробности*, и любят, и радуются: «Вот там *уцелело*, этот дом *не разрушен*». Так поступают обыватели и ученые, — те обыватели и те ученые, к «пошлости» которых и к «науке» которых Блок на чтении своем проявил такое презрение... «Наука *бессильна*, а обыватели *равнодушны*», — вещал он апокалиптическим тоном. Да, обыкновенные все люди жалеют каждый домик, а ученые и советуют строить дома в таких местах плоскими, низкими, не многоэтажными: тогда землетрясение не будет сопровождаться таким *разрушением* зданий и столькими *смертями* под обломками их. Но петербуржец Блок скачет через головы всех этих и объявляет, — «чего жалеть», — что половина Сицилии разрушена. Почему это он так сказал? Да потому, что ему *все равно*, а задача чтения — внушение ужаса слушателям — требовала, чтобы разрушилось как можно больше! Мне кажется, раз произошло такое несчастье, кошунственно *даже в мысли, даже в слове* сколько-нибудь его увеличить. «Вот еще домик *сохранился*» — это обязательно для глаза, для телеграммы, для рассказа, для науки, для всего, кто *геловек и сочувствующий*.

Суть-то декадентов в том и состоит, что они ничего не чувствуют и что «хоть половина Сицилии провалится, то тем лучше, потому что тем апокалиптичнее». Им важен Апокалипсис, а не люди; и важно впечатление *слушателей*, а не разрушение жилищ и гибель там каких-то жителей. Важна картина, яркость и впечатление. Отсюда и «тоска» их («мы — тоскующие»), о которой проговорился Блок: это — тоска отъединения, одиночества, глубокого эгоизма! И только... И ничего тут «демонического» нет, никакого плаща и шляпы не выходит. Просто — это дурно. Такими «демонами» являются и приказчики Гостиного двора, если у них залеживается товар, если они, считая деньги, находят, что «мало». Это недалекий «демонизм» всякой черствой природы, не могущей переступить за свое «я».

— «Интеллигенция разошлась с народом»... Какая интеллигенция — Блок? Еще какая? Зин. Ник. Гиппиус? Но *Менделеев* не расходился с народом, он написал «К познанию России», написал с *подробностями*, вот с теми подробностями, во вкус которых никак не может войти ни Блок, ни Гиппиус. Слишком не апокалиптично, не «Сицилия»... Нам меньше Сицилии на стол не подавай. Не заметим. С Россией и народом русским не расходился художник Нестеров, потому что он *талант*. Вот начало понимания вопроса о расхождении с народом интеллигенции. Не разошелся с Русью и Пушкин, он написал «Бориса Годунова» и сказки, не разошелся Лермонтов, он написал «Купца Калашникова», не разошелся Гоголь. С народом не расходится и никогда не расходилось *талантливое* в образованном нашем классе, а разошлось с ним единственно *бесталанное* в нем, что себя и выделило и *противопоставило народу* под пошлым боборыкинско-милюковским словом «интеллигенция». Образованные люди в России трудились и создавали, надеялись и успевали, часто не успевали, страдали, и все-таки и тог-

да не проклинали, а завещали детям, внукам так же работать. Талант всегда утешителен в себе самом, приносит веселье, радость, даже и при неудачах: он есть упоение в себе самом. И мрачный демонизм, напр., декадентов, происходит просто оттого, что они пишут плохо стихи.

Вернемся к мрачной картине «попов, оберегаемых жандармами». Во-первых, от кого оберегаемых? Декадентов так мало, и они все такие не силачи, что не борются и дряхлых архиереев «с жезлами». Революционеры «поповством» не занимаются и просто не забредут в этот им незнакомый угол жизни. Остается «интеллигенция», просто не ходящая к обедне, и — *народ*. Но вот что в самый день, как я прочел у Блока о попах, я прочел в одном письме, присланном мне по поводу слов моих о необходимости для народа *культы и храма*: «И ладан, и свечи, и дьячок, и священник в облачении — как это все хорошо и как нужно нашим крестьянам. Когда однажды я заговорил в селе, что все это от них отнимут, потому что у них поп пьяница, *старик крестьянин нагал плакать* и говорить мне, что, „пусть у них хотя и пьяненький будет священник, а без него им нельзя, пусть пьяных попов будет судить Бог, они все Ему ответ дадут, а для них они все же священники, и без них и без храма им нельзя“». И автор письма продолжает: «Вот она где, вера-то, и им она нужна, им тепло с ней. Мы не понимаем и не можем, быть может, понять, как это они находят себе утешение в храме с нашими дьячками и батюшками, а им со всем этим тепло, все это их греет и светит им. И если *нам* все это сделалось уже ненужным, если Господь с нами *везде*, если Он точно с нами, то мы не забудем слов: *подите, покажитесь священникам и принесите им, это* полагается *по огищению*, и никогда не позволим себе говорить всенародно о ненужности храмов и пьяных дьячков и попов».

Я не прибавил ни слова к письму неизвестного мне человека, подлинник коего, при желании, могу переслать Блоку. Так вот как нужно все это народу, все эти нам не интересные «подробности». Душе, совести и поэтическому складу народному храм с горящими свечами, и «канун», и «сорокоуст», и проч., и проч. так же *ненасытимо необходимы*, как знойной ниве дождь, — не менее. Можно ли же на все это кидать такой высокомерный взгляд, что это только «попы-лицемеры и жандармы» и что на все это можно ответить только «презрением и вынужденным молчанием». Вот чего не сказал бы Менделеев, не сказали бы Нестеров, Васнецов, Ломоносов, Пушкин. Не пора ли *опознаться* Блоку и другим декадентам, в которых мы не отрицаем лучших «возможностей», и из бесплодных пустынь отрицания перейти на сторону этих столпов русской жизни, ее твердынь, ее тружеников и охранителей. Будет ребячиться, пора переходить в зрелый возраст.

50-ЛЕТИЕ А. С. СУВОРИНА

Сегодня «Новое Время» празднует 50-летие литературной деятельности своего основателя; и сотрудники газеты не могут не почувствовать высокого удовлетворения в том, что множество кружков, обществ и учреждений сольются с читателями газеты в дружный хор приветствий лицу, которое треть века стоит в средоточии и во главе этих сотрудников. Значительная часть образованной,

просвещенной России в этот день обернется в сторону А. С. Суворина и в той или иной форме, с тем или другим оттенком скажет или подумает о нем ласковое слово, скажет ему русское, хорошее «спасибо» за то хорошее, крепко, даровитое русское дело, которое он делал на протяжении полувека умственной своей жизни. Нет русской грамотной семьи, где тем или иным шрифтом — на формате газетного листа, на заглавии роскошно изданной иллюстрированной книги или обложки книжки «Дешевой Библиотеки» не стояло бы имя «Суворин». Он стоит и уже давно стал в самом средоточии «печатных русских дел», обнимая все то, что сюда примыкает, что с этим словом сближается, так или иначе к ним соотносится. Издательская деятельность Суворина, шедшая параллельно с его литературной и газетной деятельностью, огромна. И уже то, что он никогда не оставивал и не сокращал ее, говорит о безмерной его любви к книге, которая есть то же, что любовь к просвещению и к прогрессу.

Слово «прогресс» в хорошем значении постоянного движения вперед, постоянного старания об улучшении, постоянной помощи просвещению выражает очень округленно многообразие деятельности, забот и грусти А. С. Суворина. Потому что о печалях родины он плакал не меньше лучших ее сынов, не давая только печали разрастаться в отчаяние и уныние, которые уже парализуют дело. Бодрость и борьба, вечно возобновляющаяся бодрость и неустанная борьба, были постоянными спутниками А. С. Суворина за весь полувек его работы. Без этих качеств он давно бы упал, сломился... Любя русского человека и будучи сам глубоким русским человеком, он возненавидел некоторые русские слабости всею силою органического ненавидения: русскую тоскливость, мизантропию, торопливый нервный подвиг и затем отчаяние и гибель. От этих слабостей он был свободен.

Живая личность, проницательный ум и чуткая отзывчивость были господствующею особенностью в душевном складе А. С. Суворина и они не допустили его до отождествления себя с каким бы то ни было политическим или общественным направлением. Употребляя ходкое теперь слово «фракция», можно сказать, что нельзя вообразить человека, который так мало способен был бы приписаться к какой-нибудь «фракции», как они. Это был русский ум, а не «фракционный» ум; это был русский характер, а не «фракционный» характер. То, что он всегда стоял на своих собственных ногах и никогда не хотел думать чужою головою, как равно то, что он никогда, никому и ничему не отдавал в плен своего сердца, — было одною из главных причин той многолетней тайной и явной злобы, которая кипела вокруг него, но которая всегда была по своему происхождению «фракционной».

Многие всяческою ценою готовы были купить свободную голову Суворина; но свободную голову Суворина никому не удалось купить. И эта свобода Суворина была главным источником ожесточения против него многочисленных и часто могущественных литературных течений и политических партий. Но он понимал, что Россия спрашивает от него таланта и труда, и что это нужно и полезно России в гораздо большей степени, чем те мелкие перегородки, которыми перегородилось и искрестилось русское общество.

ВЕЛИКОЕ НАЧИНАНИЕ В МОСКВЕ

<I>

Москва все богатеет мыслью и добротой. Недавно я посетил ее, и, несмотря на усталость, шел и шел пешком по ее улицам и закоулкам: Боже, до чего она красивее Петербурга! Кроме этих стильных старых домов, где явно расположилась одна семья, а не муравейник людей, ничем между собою не связанных, как в петербургских «новых ковчегах», — кроме них, какая неувядаемая прелесть в совсем крошечных приходских церквях, почему-то поставленных обыкновенно во дворе: таких крошечных, что церковь не только меньше, но даже и *ниже* окружающих новых домов! И, кажется — никакой архитектуры: а хорошо! Особенно мне нравились совсем плоские церкви, прилежшие к земле: точно хорошо взошедшая опара, с воткнутой посередине палкой, или еще похожее на бабу, присевшую к земле и вокруг которой пышно поднялся от воздуха подол. Нарядно, просто, по-деревенски, по-русски! Ну, какая там Византия, Юстиниан *Великий* и Св. Софья: ничего похожего! Москва, засорено, заношено, — «до дыр»; но все мило, сладко, крепко, привычно! Десять Св. Софий не взял бы я за одну такую плоско-купольную московскую церковку, ни имени которой не знаю, ни архитектор ее неизвестен, ни что там за люди молятся — никто не знает или не видел и не описывал. Да и не надо описаний: все — суета. Родился. Прожил жизнь.

20 Умер. Чего еще разговаривать. Вечно молчание и вечный *смысл*.
Но я отвлекся общим, когда надо и хочу говорить о частном. В Москве начинается новое, великое и прекрасное дело. Оно полно огромного практического значения. Но всякий смыслящий человек легко свяжет с ним и несравненный теоретический интерес.

У гроба церковь плачет: «Где *слава?* Где *друзи* и *близкие?* Какая разница между *царем* и *рабом?*». Смерть все поглотила... Великая *безликая* смерть снимает лица как *маски* с людей и оставляет то «общее» в человеке, взглянув на что оставшиеся живые содрогаются в ужасе и бессилии... Действие смерти и на оставшихся в живых, на друзей, на родственников, есть действие великого уравнивания: сиротливо прижимаются друг к другу эти оставшиеся, вчерашние враги смотрят без ненависти один на другого, чужие между собою разговаривают около гроба просто и правдиво, как бы давно зная друг друга, кичливость, высокомерие — все улетучивается куда-то. Все, вся суета убежала, испуганная образом смерти. Нет человека, который бы не углубился и не улучшился, взглянув на это чудище, враждебное всему человеческому... Вот отчего столько раз смерть близкого человека становилась для живых источником великих поворотов и переворотов. Сюда примыкают великие подвиги христианского делания, великие решимости, великие предприятия. Одно из таковых дел и начинается в Москве.

40 Как мне передал, рассказал и объяснил художник М. В. Нестеров, творец «Отрока Варфоломея» и «Святой Руси», великая княгиня Елизавета Федоровна, потерявшая мужа таким ужасным образом, пережив невыразимое душевное потрясение, — положила всю энергию души на такое начинание, которое удивительно по своей новизне, мысли и глубине. Едва я выслушал о нем, как мне сразу же стала ясна глубокая оригинальность всего замысла, великая историческая его будущность. Но чтобы объяснить это и убедить в этом, нужно сделать несколько

вводных слов. Все мы прислушивались ухом к названиям «*Мариинская больница*», «*Мариинская община сестер милосердия*» и проч., и никогда ни одно ухо не слышало, чтобы какое-нибудь христианское дело, учреждение, подвиг было названо именем *другой и совершенно забытой* христианами сестры Марии, *заботливой, подвижной и хозяйственной Марфы*. «Марфина обитель», «Марфина больница», — нет, этого наше ухо не слышало, и не слышало этого никакое христианское ухо! Все помнят этот рассказ евангельский: Христос был позван в дом двух сестер, Марфы и Марии. Обе ждут Учителя, ждут с понятным восторгом и благоговением. Но между тем как Мария вся погрузилась в настроение ожидания, в сладкую истому этого настроения, Марфа стала деятельно *приготавливать* ¹⁰ дом к Его встрече: чистота комнат, приготовление утвари, закупка яств и питания, все *мелочи*, все *житейское*, не нужное, но необходимое, без чего нельзя и *не хорошо* принять даже кого-нибудь, не только самого сладкого Гостя на земле, все это наполнило ее душу и ее часы суетой, движением, заботами, хлопотами. Как это «по-нашему», «по-житейскому»... Соглашаемся, что это не богословие, но ведь и для того, чтобы слушать богословие, нужны стены училища, сиденья для учеников, нужны для всех пища и питье. Как замечает в одном месте К. Н. Леонтьев, «сам Христос *алкал* и, следовательно, подлежал законам человеческой *биологии* и вообще человеческого *материального существования*». Да простирая эту ²⁰ мысль дальше, глубже, скажем и спросим, не заключалась ли самая идея *возрождения* Божия в *освящении* земли и земного, в санкции, пролитой во все «житейское» с Неба? Иначе осталось бы думать, что, унеся душу и мечты людей «на Небо» и оставив землю без этой *меты* и без *украшения* мечтательного человека, Христос пришел на землю не *обогатить ее*, а страшно ее *обеднить*, пришел *разогнать* красоту земного и земли... Можно и так думать, но это очень опасно, потому это повернуло бы все дело «на худой конец», как говорится в народе. Но кончим о евангельском рассказе. И вот приходит в дом сестер Учитель. Мария как размышляла о Нем раньше, так теперь, все не приступая ни к какому делу, села у ног Его и начала слушать Его слова. Марфа же заканчивала свою милую работу. Верно, она устала и обратилась к Христу раздраженно и с упреком: «Господи, ³⁰ скажи ей, чтобы она *помогла мне*». Тогда-то Христос произнес одно из тех удивительных слов, которые «если и земля, и небо прейдут — в них не пройдет и йота»: именно, он ей ответил: «Марфа, ты заботишься о многом, а *нужно одно*: Мария же, сестра твоя, избрала *единое*, что на потребу». Слово это сделалось одним из основоположных слов для возникновения монастырей, монастыря, монашеского духа, уставов и всей жизни. Красота слова повалила стены, города, устранила сопротивление народов, потрясла тысячу устоев и водворилась в мысли христиан, как блестящий и острый алмаз, на который кто ни посмотрит — точно впадает в гипноз и начинает как автомат повторять это же, все это вековечное слово... Не нужно «многого», нужно «одно»; не нужно хозяйства, ⁴⁰ экономики, украшений жизни, техники, всего многообразия цивилизации; не нужно Шекспира, все ее суета. Христос одобрил Марию: «а Мария — это я», говорит духовная академия; «я» — говорит монах, даже если он тунеядец; говорит монастырь, даже если он весьма и весьма сребролюбив. «Мария — это *мы*», — говорит вся духовная иерархия, священство, говорит о всем «своем», о всем «себе», противопоставляя резко это «свое» царствам, городам, быту, поэзии, наукам, пошедшим по суетным путям «Марфы»...

<II>

Между тем для чего делать из слов Спасителя блестящий камень, смотря на который впадаешь в гипноз. Гипноза ни для чего и ни перед чем не нужно. Гипноз есть беспмятство и сон, а нужно бодрствовать. В рассказе изумительный красоты мы должны отметить, что самая красота картины происходит от ее *полноты*, и Мария весьма потускнела бы, не оттеняйся она стоящею около нее Марфой. В пустыне 5000 народа слушало Спасителя. Вот сколько «Марий»... Но именно оттого, что они *все слушали*, — не получилось особенной картины, особенной красоты; и всякий, читающий Евангелие, все народы, его читавшие, соглашались и согласились, что сцена этих трех, Иисуса, Марфы и Марии, жизненнее, прекраснее, нравоучительнее, более захватывают наше сердце, нежели зрелище 5000 народа, слушающего Иисуса... Так это непосредственно. Так это очевидно. И, следовательно, занятие, так сказать, всего полотнища картины «христианской жизни» одними только Мариями, все слушающими и слушающими пусть и Небесного Учителя, все только смотрящими на Него и от Него ни на шаг не отходящими, — представляло бы некоторую какофонию и безжизненность. Все только одни священники, люди семинарского образа; «не надо» ни купцов, ни воинов, ни ремесленников, ни торгова, — не говоря уже о Шекспире и Пушкине, о «стишках» и театре. Было бы нестерпимо монотонно, ужасно, убийственно, люди решительно задыхались бы: хотя среди них, в самом центре, и блистал бы алмаз изумительной сцены — Евангелие. Нет, нужна и Марфа. Без Марфы и сама Мария теряет долю ценности. Без торгова, музыки, ремесел, без воинов, земледельцев и купцов, без всего «нашего», «жизнейского», — Евангелие вдруг неожиданно гаснет. Как солнце: если оно не освещает землю, что оно, этот огненный катящийся шар, в черной пустыне мировой тьмы?! Лишь когда его лучи осыпают луга, ледники, горы, снега, — оно вдруг *само становится* прекрасно, жизненно, необходимо! Таким образом, хотя слова Христа остаются истинными, что «единое — на потребу», и слушание слов Спасителя — лучше и выше всего: однако есть «путь Марфы», при котором и Мария единственно получает весь свой смысл, наполняется красотой, и в переплетении этих «путей Марфы» (вся цивилизация) само Евангелие получает то действие, целебность, нужность, питательность, без которых оно решительно ничего этого не имело бы.

Мир был бы «духовная академия».

Сто процентов все «попов», дьяконов, причетников.

Ужасно скучно и нисколько не поучительно.

И все от того, что *монотонно*... Увы, закон *разнообразия*, как условия *красоты*, даже господствует и над такою абсолютною книгою, как Евангелие.

«Путь Марфы» очевидно необходим. В самом деле, он пусть даже и не свят: но он занимает *святое положение* в мире, в космосе, в гармонии вещей... Ложбинка, где лежит он, — свята; хотя сам по себе «путь Марфы» и есть суета, труды, заботы, хозяйство, а не молитва и не «обедня»...

Это так очевидно! В данной евангельской сцене мы наблюдаем удивительное явление, если можно так выразиться, сверхлогичности: в нем нарушен, превзойден логический закон *тождества*, самый основной и первый, без которого, как говорят ученые, не обходится ни одно человеческое суждение. По закону этому все равно самому себе и о всем можно сказать *да* или *нет*, но не сразу «да»

и «нет». Между тем «путь Марии» *только и полугает* свое «да», когда переплетается с «путями Марфы», т. е. *при условии*, если нечто другое его отрицает; как, разумеется, и «путь Марфы» выносим, целебен, спасителен лишь при условии, когда хорошо оберегается «путь Марии», т. е. совершенно *другой*, его *отвергающий путь!* — «Хорош ли путь Марии?». На это только и можно ответить: «Да, если ему *не следует* Марфа!». — «Хорош ли путь Марфы?». «Да, если по нему *не идет* Мария». Здесь *да* и *нет* слиты в одно, и Христос победил Аристотеля.

Это-то и не было оценено монашеством, ринувшимся гипнотически по «пути Марии». «Нужен и *Шекспир*», это ранее или позже вынуждено будет сказать *все* монашество, и попы, и отшельники, старцы, и святые в гробах своих, все... 10

Но «путь Марфы», как тоже указанный в Евангелии, содержащийся в Евангелии, как *другой евангельский* путь помимо «пути Марии», был не только не возделан христианством, но и совершенно забыт был церковью, притом отчасти гневно, презрительно, враждебно забыт. Забыты эти «милые тревоги хозяйства» как тоже «евангельские заботы», как возможные «евангельские заботы». И хлеб, и яства, и обстановка; утварь, мебель, весь «дом» и то бесконечное понятие, которое содержится в слове «дом»...

Но это — официально. В официальном учении и церкви. В *народной* же вере, в *народном* православии «путь Марфы» широко разросся: народ наш всю земную работу подвел «под Бога», сложив даже поговорку: «без Бога — ни *до порога*». 20 Проходя ночью или поздним вечером по пустынному ряду лавок в московском и петербургском Гостином дворе, — удивляешься огромным иконам, с зажженными перед ними лампадами, поставленными поперек хода, вертикально к ряду лавок, — это русские «Царицы Небесные» охраняют и блюдут «русскую торговлю». — «Чтобы вор не украл, чтобы злодей не вошел; чтобы все было по-прежнему, по-старому, по-хорошему». На Николаевском мосту, в Петербурге, в месте разводки моста, поставлена часовня с образом и неугасимую лампадою. «Экое *зудо!* Мост, из железа и камня: а рабочий, одной рукой работая, может поднять край его, чтобы пропустить суда. Как над этим *зудом Божиим*, явленным в разуме человеческого, не поставить *иконы*». Рассуждение очень простое и совершенно 30 связное. Проезжая давно-давно через Калугу, я был удивлен на вокзале чудесной красоты образом Калужской Божией Матери: с книжкой в руке, стоит чудная Дева, всего 14—15 лет от роду. Одна из «Матерей» русской земли. Пусть и не по катехизису, а нам с нею хорошо. Чувствуем всю силою очевидности, всю ясностью непосредственного ощущения, что это «богоугодно» так делать, так поступать. Известный г. Поселянин (псевдоним Е. Н. Погожева), — первый знаток народного и живого, действующего православия», передавал мне, что знаменитый в орловских, калужских и тульских краях, а также и в остальной России известный, старец Амвросий хотел написать образ «Божией Матери — *спорительницы хлебов*» (увеличивающей на полях плодородие хлеба): но Св. Синод не дал 40 «дальнейшего движения» мысли великого старца, одного из светочей православия за весь XIX век. Этот рассказ г. Поселянина, слышанный мною четыре года назад, к сожалению, я не умею передать в подробностях: было ли то явление старцу этой иконы в видении, или ему лично пришла такая мысль — этого не помню. Желательно, чтобы он где-нибудь память об этой мысли старца запечатлел и утвердил печатно. Само собою разумеется, что если Божия Мать *помогает*, например, в болезнях, горе, бедности, то отчего не помочь земледелию и кресть-

янину; если церковь служит молебны «о дожде», — значит, может служить и Богородице-спорительнице хлебов. Тут от одной мысли до другой расстояние меньше вершка. И, конечно, раньше или позже мысль старца придет в исполнение. Всякое движение, все новое — сперва зерном, а потом волоком; выколосится и эта зернышко-мысль старца Амвросия. Наконец, народ во всех случаях болезни прибегает к святой воде: промывая ею больной глаз или употребляя внутрь в случаях внутренней болезни. «Все под Богом» — и поля, и воды, леса, хлеба; и даже вот железные дороги и инженерная техника.

Таково движение народной души. Очень хорошо, что официальная церковь, еще придерживающаяся «за греков», не препятствовала этому русскому самостоятельному росту. Все православие у нас глубоко фактично, глубоко не теоретично; может быть, и хорошо, что никакие величественные теории у нас пока не созданы, богословские системы не сложились. Книги всегда можно написать потом. Вера у нас растет, как зелень в полях, — под небесным дождичком. И хорошо. И пусть.

<III>

С этим народным движением совпадает мысль великой княгини Елизаветы Федоровны, — сколько она содержит в себе богословского оттенка. Как мне одушевленно передавал М. В. Нестеров, — скорбная княгиня-вдова вложила всю свою душу и употребила все материальные средства, какими располагает лично, в устройство «Марфо-Мариинской обители милосердия, — деятельного полу-монастыря, исключительно с назначением *практической* помощи населению. Воздвигнута обитель в Москве, на Большой Ордынке. Как известно, по уставу монастыри должны быть вне черты города; и те монастыри, которые мы сейчас наблюдаем внутри города, — попали сюда вследствие разрастания городских улиц: город разросся и охватил собою и монастырь, обычно древний, но первоначально построенный обязательно вне его. Но новому предприятию княгини и не дано имени «монастыря», а уклончивое имя «обители». И хотя это есть *народное* имя монастыря же, однако, вследствие другого названия, для нее не являются *формально-обязательными* монастырские уставы и правила. Община, задуманная великой княгиней, остается, таким образом, *свободною* во внутреннем распорядке и, может, в будущем *творить*... Сестры ее не суть монахини, хотя и безбрачны; безбрачие вытекает только из деятельных задач обители, требующих всецелого посвящения себе личности и сил вступившей сестры. И это безбрачие не связано ни с какими другими монашескими обетами. Наконец — оно временно: в «сестры» вступают не разом и не навсегда, а на *сроки*: на год, на три года, на шесть лет и более: но ни в каком случае не на *вечно*, и во всяком случае без монашеских обетов, *без пострига* в монашество. Кроме сестер, трудящихся в обители или высылаемых из обители на помощь населению, — обитель будет принимать в себя и *сотрудниц*, остающихся совершенно в миру, среди населения. Через их посредство она сплетется теснее с народом, с жизнью. Вопрос был в имени «сестер», которые суть и монахини, и *не* монахини, живут и в миру и вне мира; служат церкви, находятся в ограде церковной, и, однако, трудятся всецело для мира, для людей, находящихся вне обители. Явно, что они стоят в церкви как не-

который *гин* ее, как *ступень* в слоях церковного жития: но в *современной* церкви для этого особенного чина и этой своеобразной ступени нет имени и примера. Тогда своевременно было вспомнено о древнем и забытом потом чине «*диако-нис*» — как бы женской параллели диаконского служения; чин этот был именно только *забыт*, но *не упразднен* и еще менее отвергнут. Он вышел из употребления на всем Востоке и Западе, где одинаково существовал; но сохранял и сохраняет все право оживиться, воскреснуть вновь, появиться опять. Этот цветок духовной жизни никогда не вырывался из церковной почвы, но он только не поливался.

Протоиерей Митрофан Сребрянский — сотрудник великой княгини Елизаветы Федоровны во время японской войны и теперь духовник новой обители в своем «*Пояснительном слове об открываемой е. и. в. вел. кн. Елизаветой Федоровной Марфо-Мариинской обители милосердия*» — делает такое историческое введение к этой сердцевине дела: «Люди, решившиеся всецело посвятить себя Богу, шли из стари двумя путями: монашеским и диаконским или диаконисским. Разница была в том, что монашество спасается и спасает более подвигом внутреннего преобразования человека посредством молитвы, самоуглубления и созерцания. Оно этим подвигом так облагораживает человека, таким делает его чистым, что обновляет и других, которые, приходя к этой духовной сокровищнице, обильно черпают из нее необходимое себе руководство. Заслуги самоотверженной работы монашества над очищением и возвышением внутреннего человека огромны. *Диако-нисы* служили также Богу, но спасали ближних и души свои более деятельною любовью, трудом милосердия для бедного, падшего, темного и скорбного человека, однако непременно ради Христа, во Имя Его. Первый путь, монашество, по милости Господа, существует и жив до сих пор, а *путь деятельного служения любви Христовой по разлгным обстоятельствам утратился*, и теперь лишь *отголосок* его находится в различных благотворительных учреждениях, особенно в общинах сестер милосердия. Открывая *Марфо-Мариинскую обитель*, имелось в виду именно вызвать к жизни в церкви этот *забытый* путь диаконисского служения христианской любви. Сообразно этой идее и устройство Обители Милосердия дано чисто церковное: во главе стоит настоятельница, при ней духовник, казначей; сестры внутреннего состава непременно православные, верующие; дисциплина, в смысле хранения послушания, уставов церкви — и данных обетов (*не монашества*), — чисто монастырская. В период испытания сестры должны прослушать медицинские курсы и, дополнительно, духовные курсы, чтобы еще раз перед началом деятельности оживить в сознании своем и в сердце корень жизни самоотверженной — веру в Бога, вообще религию и уставы христианские и любовь к человеку; познакомиться с общей христианской и особенно святоотеческой литературой, чтобы уметь потом поддержать не только физически, но и духовно ближних своих. Значит, Обитель Милосердия не только не отрицает монастырей, наоборот — она становится с ними рядом, делая общий труд служения Богу, ближним и душам своим. В дальнейшем будущем даже предполагается за Москвою, среди природы, создать свой собственный скит (т. е. *уже настоящий монастырь*), в котором престарелые, утруднившиеся сестры обители или по немощи оказавшиеся не в состоянии продолжать нести труд деятельного служения любви, могли бы, постригшись в мантию, вообще монашество, — в молитвенной тиши, в молитвенном подвиге о спасении мира и процветании родной им обители окончить дни жизни своей».

Наконец, сделана оговорка о сестрах «внутреннего состава», обязательно православных. Явно, что это — сердцевинный кадр. Но извне к нему примкнут «сестры внешнего состава», которые могут быть и лютеранками, или вообще других исповеданий. Русь так многообразна, что это непременно так и будет: под руководством русских и православных пусть работают русские других вер на помощь ближнему.

Уже из обещания построить со временем *настоящий монастырь* легко усмотреть, что данное учреждение есть вовсе не монастырь, а только имеет стиль монастыря: стиль этой строгой и чистой дисциплины, глубокой упорядоченности быта, вынесение всего сорного и грязного, что, увы, присуще едва ли не всем русским «учреждениям». Но уже из оговорки, что «сестры должны быть непременно православные и верующие», — видно, до чего это учреждение стоит далеко от *уставного монастыря*: возможно ли было бы добавить о монахинях: «Оне должны быть православные и верующие».

«Открываемая Обитель Милосердия, — говорит далее тот же автор-духовник обители, — если только судит Бог ей процвести и принести плод, должна сделаться как бы *школой* (курсив автора) сестер-диаконис, откуда они могли бы идти работать и в попечительства церковные и городские, и в другие благотворительные учреждения, и в дома богатые и убогие, и в деревни наши темные, бедные и скорбные, где деятельность сестер обительских особенно должна принести обильные плоды». Устав ставит только одно условие; где бы ни работали сестры, как бы далеко они не раскидались по лицу русской земли, — Московская Обитель милосердия должна непременно оставаться их «духовным центром, своего рода семейным очагом, откуда они получают *управление и поддержку* и куда по временам могут возвращаться для нравственного отдыха и обновления сил». «Этот центр уничтожит гибельную разрозненность, а значит, и слабость, объединить в один могучий организм всех трудящихся для целей обители, какое бы расстояние их не разделяло и какие бы скорби, тяготы и неприятности ни терзали их».

Учреждение прямо великое! С этими религиозными оттенками и в этой сказывающейся с первого шага широте замысла — это совершенно ново на Руси! Что-то вроде духовного братства, филантропического рыцарства, что-то наподобие католических «орденов» или «армии спасения»; но именно — только «наподобие» и в сущности даже без всякого «подобия». Мы употребили эти разные, пришедшие на ум имена, чтобы охватить разнообразную суть нового учреждения, — но вполне русского, строжайше православного, типично народного. Учреждения, которого давным-давно ожидает русский народ, недостаток которого *в церкви русской* отогнал от этой церкви или расхолодил к ней множество пламенно веровавших душ, ставших даже в антагонизм с церковью, в борьбу с нею!

Сколько приходилось слышать, читать: «Ах, они только молятся, а *ничего не делают*»; «Бога любят, а человека *бросают без помощи*. В таком случае *любят ли они и Бога? И гиста ли их молитва?*». Можно сказать, не $\frac{1}{2}$, а $\frac{9}{10}$ упреков, злобы, вражды, неуважения к церкви возникло по этому практическому мотиву, всегда жгучему, всегда, увы, *неотразимому!* Таким образом, *с гисто церковной точки зрения*, с точки зрения *успехов церкви* в народе и обществе, и, наконец, скажем полнее и смелее, *спасения православия* — начинание великой княгини Елизаветы Федоровны несет такие обещания, каких поистине никто еще церкви не прино-

сил пока. Нужно вспомнить наш опасный момент, когда свобода совести объявлена, переход в иные веры не запрещен более, а секты и иные исповедания шумят у ограды церковной и, выдвигая свои дела практического милосердия, бросают через ограду нашей церкви презрительные взгляды, спрашивая у пассивных и недоумевающих верующих: «У вас что есть подобного? Что подобного предложило вам ваше красивое, но *бесплодное, бездеятельное православие?* И не сказано ли о смоковнице, не приносящей *плода*, что она порубается секирою?». Мирянам нечего на это ответить; но воистину страшно, что нечего ответить на это и духовной иерархии, епископам, митрополитам, самому Синоду. Ведь воистину они «созерцали», а не делали; занимались «богословием», и никогда, никогда по притче Спасителя «не перевязывали ран» больному, ушибленному, ограбленному, израненному. Дела милосердия были чем-то случайным и совершенно побочным в деятельности, или, вернее, в бездеятельности церкви; несмотря на несколько раз повторенные призывы с высоты Престола, русское духовенство все-таки *активно и само* не двинулось по пути помощи населению и по пути просвещения населения. Ко всему приходилось гнать чуть не дубьем; соблазнять наградами, то скуфьей, то камилавкой, то набедренником и палицею, то, наконец, вожделенною митрою («митрофорные протоиреи»). Как это было грустно и как некрасиво! Где, однако, источник этого, и не пора ли если не оправдать духовенство в этой его хладности и косности, то, по крайней мере, объяснить эту хладность и косность совершенно достаточно и удовлетворительно? Да очень просто: «*путь Марии!*». Куда *наклон* горы, туда *потекут* и источники. *Деятельного идеала* не было в самом духе церкви, предавшейся *восточному созерцанию*, предавшейся личным восторгам отшельнического жития. *Практического духа* вовсе не было в православии: как же духовенство могло подняться к практическому труду и подвигу хотя бы по призыву государя, которому «*всемерно*» готово было служить, но не могло же служить, не умело служить, когда *совершенно обратное* навевало на духовенство все, все, от ушедших вдаль от мира монастырских обителей до отвлеченно-схоластической науки семинарий и академий. Даже и академии ведь все *при монастырях*; даже семинариями *управляют* ректоры-монахи. Сюда тянет все, весь дух. Священнику так же трудно было воодушевиться мыслью о *практической службе* народу, как среди Сахары невозможно напиться воды *из реки*. Разве-разве где капнет капля или найдется подземный ключ. Так и духовенство в *редких случаях* все же оказывалось практически деятельным. Но это не *по задаче* существования его, а *вопреки задаче* его существования! «Путь Марии!» — в этом сказано *все*.

<IV>

В самом названии новой обители «Марфо-Мариинскою», причем имя *Марфы* выдвинуто вперед, — сказалось ясное сознание о повороте тысячелетнего дела! Как понятно, что эта обитель и *не могла, и не должна* была стать монастырем. Сделайся она монастырем, прими монашеский устав и *все его естественные последствия* — и дело рухнуло бы в самом начале; никакой новой мысли не было бы, и жертвовальница сделала бы 1001-е пожертвование на монастырь или увеличила бы на «единицу» сонм монашествующих. *Ничего бы не вышло*; не вышло бы *никакого дела* и *ничего полезного для родины*. Ибо монастырей в Москве,

в Петербурге, как и во всей России, очень много, и даже при гр. Д. А. Толстом пришлось многие из них упразднить за *безлюдность*. Это такой аргумент, против которого всякое одушевление бессильно. Очевидно, нужно в линии христианского подвига что-то другое. Что же именно? Поистине, есть что-то вещее и священное в великой догадке — «*да путь Марфы, забытый совершенно христианством*»; и восстановление чина «*диаконис*», рано угаснувшего, может только потому, что и не было нужды в практической филантропии в то древнее, первобытное время, в том элементарном сложении общества, наконец, в том климате, при плодородии южных стран, при тогдашнем отсутствии медицины и вообще средств и значений помощи больному, слабому, изнемогающему. «*Диаконисы*», вероятно, только раздавали натурою милостыню или относили очень бедным маленькие суммы денег. Оба дела могли быть исполнены каждым членом общины или священником. Не было *специализации*, и исчезла нужда в *специалистах*. Не подлежит никакому сомнению, что деятель с натурою Василия Великого, что иерарх с его сердцем, мужеством и инициативою, не колебался бы ни минуты в *наше время* восстановить этот «чин диаконис», существовавший при *каждом* древнем храме: не усомнился бы напомнить и о «пути Марфы» грозным голосом. «Не может же Христос войти в грязную обитель, где негде сесть, где пусто и сорно: *приготовим* Ему обитель *по образу Марфы*».

20 Между прочим, в русско-японскую войну было много упреков, отчего монастыри не отводят у себя помещений для раненых? Приводились имена, указывались местности. Конечно, это *огевидно*: где и проявить «христианскую любовь», как не в деле ухода за ранеными. Прямой путь. Монастыри, однако, нигде на это не откликнулись, а местами и грубо отказали. Насколько помнится, епископ Никон написал принципиальное возражение на упреки, указав, что монастырь есть место молитвы, а не место помощи. И так, и не так. Есть случаи, где помощь — та же молитва, выше молитвы! Но монахи *не могли и не умели* ухаживать за ранеными, *не угились* этому никогда и ни один и воистину могли дать только *помещение, квартиру*, — что ведь почти равнялось бы выдаче квартирных или больничных денег. Вопрос сводился к кошельку, а не к труду, — и все обнажило, с обеих сторон, циничную свою сущность: «Дай!» — «Не дам». Между тем монастырь действительно есть только место молитвы, тысячу лет был только этим, для этого был основан: и так же не мог превратиться в больницу, как никто не предлагал превращаться в больницы женским институтам, гимназиям, судебным или административным местам, хотя, без сомнения, судьи и институтки «сочувствовали раненым». Просто другой *род занятий, другая цель здания*. Но где же «христианская помощь» со стороны людей специально христианского духа, каковы суть монахи? Ясно, что помимо *герного монашества*, молитвенного, созерцательного, келейного, пустынного, — церковь давно должна была выдвинуть, и *именно в составе* чинов своих, степеней иерархии своей, как бы белое монашество, совсем с *другими обетами, с другим подвигом, с другим духом*, нежели черное: именно — монашество житейское, мирское, с монашескою дисциплиною и чистотою, но с подвигом и деятельностью среди людей, в городах, в селах, в местах голода, в бедствиях войны, повальных болезней, пожаров, наводнений и проч. Но чтобы здесь не только «сочувственно ахать», но и помогать, — нужно многое *знать, уметь*, многому *выгуться*. Таковой *белый монастырь* непременно должен был соединиться с наукою и с техникою, с искусством и с ловкостью, с трудолюбием,

инициативую и живостью: совсем другой «образ» монаха или монахини, чем в созерцательном пустынном монастыре!

«Название Марфо-Мариинской обители, — говорится в „Объяснительном слове“, — является соответствующим евангельскому слову о двух сестрах: Марфе и Марии, в которых обеих выразилось понятие о христианской любви. Через это выражена та мысль, что каждая идущая работать в обитель или вообще служить ее целям должна постараться соединить в себе обе эти части, т. е., избравши, как Мария, благую часть Христа, просветившись серьезно и сердечно Его учением, — идти с молитвою, словом утешения и христианского просвещения к темному и скорбному человеку, а попутно с этим должна желать и уметь служить Христу радушием к странникам, уходом за больными, помощью физическим трудом тем ближним, которые во всем этом нуждаются. Это служение Христос в лице ближнего примет Себе Самому, как и сказано в Евангелии: «Истинно говорю вам, так как вы сделали себе сие (посетили больного, в темнице и проч.) одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матвея, глава 25). Стремясь придти на помощь нуждающимся в ней, Обитель Милосердия стремится к осуществлению этих христианских идеалов и объединяет ряд соответствующих учреждений, в которых сестры обители будут только работать... Люди, посвятившие себя Марфо-Мариинской обители милосердия, в роду своей деятельности должны всецело принадлежать ей и отказаться по возможности от своей личной жизни и интересов во время пребывания в обители милосердия, будучи связаны соответствующими добровольными обещаниями на известные сроки времени — один, три, шесть и более лет».

Уже из того, что лишь состарившись и прекратив активную службу Обители, сестры-диаконисы могут принимать постриг и поступать в монастырь, — далекий от Москвы, — видно, что Обитель в деятельном своем состоянии, так сказать, прямо лицом, исключает из себя монашество («путь Марии») и не находит возможным слияние себя с ним или его с собою. Это — два пути, и — разные пути! Я расспрашивал М. В. Нестерова о некоторых подробностях. Он мне сообщил, что план этой обители возник у великой княгини Елизаветы Федоровны вскоре после постигшего ее удара, — потери мужа, — но что разные причины личного и семейного характера не столько мешали ей осуществить эту мечту и трудный подвиг, сколько ласково удерживали. Не невероятно, что ввиду новых религиозных веяний, бесспорно выступивших здесь, встретилось нечто и «мешающее», хотя и прикровенно. Москва — старый город; главным образом он выдвинул старообрядчество; и есть люди, которые в душе-то не очень старолюбивы, но ханжат около всего старого и «традиции»... Но теперь мысль и план великой княгини получили Высочайшее одобрение, и со стороны «позволятельности» все кончено. Нужно заметить, что великая княгиня не *угреждает* только на свои средства эту обитель, но основывает ее как личное свое дело, и становится во главе ее как деятельница, подвижница и труженица. Я спросил у М. В. Нестерова, какая же форма будет у новых диаконис?

— Белая. И — эпитрахиль.

«Эпитрахиль», — я помню в его ответе, не забыл. Это та часть священнической одежды, без которой он не служит никакой службы и не исполняет никакой службы. Итак, с именем «диаконисы» женщина впервые войдет в ряды официального духовенства.

Сам Нестеров призван расписывать церковь при этой обители и трапезную в ней и исполнен сомнения и страха, сможет ли вложить в труд свой тот энтузиазм и вдохновение, какого требует другое великое вдохновение, положенное в основание замысла обители. Судя, однако, по всему, чего другого, а страстного желания отдать этой работе всю душу у него хватит. Нельзя не сказать, что добрая и благородная княгиня, и всегда пользовавшаяся большою и всеобщю любовью к Москве, — с осуществлением ее замысла войдет в нашу историю как дорогое светлое лицо, которое никогда не померкнет.

Дай Бог всему пути, разума и силы.

10

У МОГИЛЫ ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Тургенев в одном месте заметил, что источник и подлинная суть религии лежат в потребности чуда, в надежде на чудо, в молитве о чуде. Рассуждение его, написанное до дней, когда он тяжело и безнадежно заболел раком спинного хребта, хотя глубоко, но как-то отчужденно далеко. Видно, что он наблюдал молитву, но не молился сам. От этого, будучи прекрасно и очень серьезно в своем течении, оно кончается тоном каламбура: «В сущности, всякая религия сводится к взыванию — *Господи! сделай так, чтобы дважды два не было четыре*».

Здесь есть задняя мысль: «Молитвы пусты, религия не действительна; это — предрассудок ума, еще не выучившегося, что дважды два может быть только че-
20 тыре».

«Пусть течет все как течет», — говорил человек, еще не захворавший раком.

Прекрасное, и в *больших гостях верно*, его рассуждение отчасти безжалостно к человеку и отчасти прямо неверно. Молитвы не проистекают только из боли и ищут не одного чуда. Есть молитвы благодарственные — это раз. Наконец, есть молитвы, если так можно выразиться, *гармоничные*. Кант говорит, что он не может без трепета смотреть на звездное небо и думать о нравственном долге человека. Эту молитву нельзя назвать иначе, как гармоничною молитвою, ибо она вытекла просто из гармонического и прекрасного устройства человеческой души. Когда за всенощной, в самом конце ее, хор поет: «Свете тихий, святых славы» и проч., то он поет это не от боли и не ради того, что человек и люди обречены скорби страданий, а поет, просто взглянув на вечер и красоту вечера. Это —
30 также молитва гармонии. Вертер у Гёте, перед тем как умереть, умереть спокойно и свободно, смотрит на созвездие Большой Медведицы. Достоевский в первом номере своего «Дневника писателя» вспоминает об этом и называет это чувство Вертера, т. е. литературное чувство, «молитвой великого Гёте». Вот еще молитва гармонии.

Но, конечно, Тургенев прав в том отношении, что самые частые молитвы, что главная масса молитв суть молитвы просто о чуде и произносятся они в нужде, скорби. Церковь этого и не скрывает. Все богослужение перерывается «ектениями», а в них постоянно звучит это простое: «Поддай, Господи». Таким образом, философскую мысль мудрого Тургенева знает русское простонародье, но оно ее знает, не прибавляя каламбура. В самом деле, сказать о всякой молитве о *чуде*,

что это она произносится в надежде, не будет ли «дважды два пять», безжалостно и прямо дурно. Тургенев пережил чудный, благородный роман с Виардо; очень боялся своей мамы. Но если он и был или бывал отцом, то об этой стороне его жизни очень мало известно, и вообще она как-то тускла, неясна. Он был писателем чистой крови, художником, идейником. В нем было мало житейского, нашего, обыкновенного; мало — толпы, будничного. Он был «героем», ну а героям для чего молитвы? Но в серой, тусклой толпе бывают такие коллизии, иногда такая пронзительная боль ударяет в сердце матери, отца, мужа, невесты, жениха, что всем этим несчастным сказать о их молитвах, что они «желают дважды два пять», — бесчеловечно. Но, кроме того, это и прямо неверно. Чудо есть, бывает.¹⁰ Как тело человека состоит из твердых, неподатливых костей и мягких — мускулатуры, из нежной ткани легких, из бьющегося существа — сердца, так точно лишь некоторые части мироздания устроены по закону неподдающейся математики, и в этих частях «дважды два — всегда пять», но другие части его скорее построены по типу «неопределенных уравнений», где все колеблется, где все зависимо, подается, уступает... вот даже молитве, или по преимуществу молитве. И философ, размышлявший о природе вещей так же много, как Тургенев, мог бы сказать в противовес ему совсем другое: «Молитесь, православные, молитесь горячо, крепко и с полной верой, что Бог вам поможет. Философы не совсем знают сущность мира. Сущность мира знают не меньше их верующие».²⁰

Это — хорошо, и «по-православному», и демократично. Нужны некоторые границы и для философии.

* * *

Иоаннов монастырь, на р. Карповке, — совсем в Петербурге: по тому самому Каменноостровскому проспекту, по которому непрерывной линией мчатся роскошные экипажи «на Стрелку», а зимою визжит трамвай, — в пяти минутах ходьбы в сторону находится и Иоаннов монастырь, огромный, красивый, очень удачный по архитектуре. Он весь из цветных камней белесоватого цвета, но не однообразных, и потому не монотонный. Белое, зеленое и немножко красного цветит в глазу. Но все это как-то не придумано, а «так монашкам понравилось».³⁰ Он гораздо красивее окончательно неудавшегося храма Воскресения Христова, построенного на Екатерининском канале, на месте убиения Императора Александра II, и который так долго строился и так дорого стоил. Я сравниваю эти два храма, потому что по многоцветности своей, по зеленым и белым тонам, они имеют что-то общее. С Каменноостровского проспекта, однако, нельзя видеть Иоаннова монастыря, ибо он стоит за каким-то сгибом из улицы и мостика над Карповкой, — и, таким образом, и «в суете», и вне «суеты». Все удачно придумали монашенки. Вообще, во всем здесь видно что-то «свое» и свободное; видно, что строила сильная личность и ни с кем не справляясь.

Едва я стал подъезжать к монастырю, как сердце во мне упало: по тротуару стояла огромная народная толпа. Между тем я выбрал 12 часов дня, когда обедня уже кончилась, чтобы пройти свободно и одиноко к могиле нового «Пантелеймона-целителя». Известно это любимое народное имя «угодника Божия, помощника в болезнях», которому века молился русский народ, еще до «дохтуров»⁴⁰

и земских больниц. Сближение с ним Иоанна Кронштадтского невольно просит-ся на мысль. И на тротуаре, среди спешащих барышень и подъезжавших проле-ток, густо было видно «убогое стадо Христово», — мирские сироты, безногие, хромые, согнутые, слепые или всего этого наполовину.

Я быстро прошел к тому месту, где начинается спуск к могиле. Это, собствен-но, самостоятельная подземная церковь-склеп, — маленькая для церкви и очень обширная для склепа. На крошечной площадке перед лестницею вниз принима-ются «поминания», т. е. бумажки с записями покойных родных, впереди кото-рых помещается имя «иерея Иоанна» (как я записал) или «протоиерея Иоанна»¹⁰ (как записывают обычно). Заказная панихида стоит рубль. Но, кажется, это не по таксе. Монашенка, принимая при бумажке деньги, спрашивает: «Сколько вы вносите?», — и если рубль, то отвечает: «Значит, заказная». Но обыкновенный помин стоит десять копеек. На это не надо сердиться: помин есть маленький труд, служба есть большой труд, и служащий священник нуждается в пропитании сам и в средствах к воспитанию детей. И писатели, распространяя «идеи» и слу-жа «святому делу литературы», берут деньги за каждую написанную строчку. Как же их не возьмет священник, самый лучший, самый праведный, и притом с вполне спокойным сердцем? Апостолы, конечно, проповедывали без денег, но они проповедывали во время мировой революции и неся в мир эту революцию.²⁰ Революция и была им платою, т. е. надежда «обладать миром». Платою за апос-тольскую проповедь была папская власть, право низвергать королей и царство-вать над народами: очень большая плата. Но «священник Алексей» никакой ре-волюции в мир не несет, никаких кардинальских шляп он и его потомство не получит: и почему он будет поминать *моих родных* даром или даром служить *мне* *нужную* заказную панихиду? Очевидно, деньги здесь не плохое, не грех: но толь-ко хорошо для всех сторон, если «все это дело» обойдется деликатно, человечно, если он не будет «требовать столько-то» (такса), а я ему дам «что могу», не убав-ляя; и когда он от души отслужит и за крошечную плату, даже иногда вовсе без платы, а за то какой-нибудь богатый сам добровольно заплатит ему от себя³⁰ втройне.

Но я отвлекся в сторону этого «мучительного вопроса» в положении духовен-ства. На вопрос этот нужно взглянуть просто, ясно, без предрассудков и без по-преков. «Апостолов» из себя ломать нечего. Ведь и апостолов кто-то кормил: не без пищи же они прожили 30—40—50 лет. Они одевались, а одежда есть *сто-имость*. Теперь «натурою» не дают, это — элементарная форма быта и хозяйства: и благой священник, настоящий благой и настоящий человеколюбец, может брать рубль за потребу, просто ничего об этом не думая, не привязывая сюда ника-кой мысли, никакого вопроса; и будет он совершенно чист перед Богом и челове-чеством, если свою «требу», исповедь, причащение, крещение, миропомазание⁴⁰ совершил горячо или хоть тепло, радушно, ласково и нисколько ею не тяготясь.

Вот и все. Так просто.

Едва я двинулся от столика, где принимаются «поминанья», вниз к гробу, как был остановлен плотною толпою всякого люда, который стоял на лестнице и, очевидно, наполнял и церковь внизу, ибо никто не мог продвинуться ни на шаг далее. И интеллигенция тут есть, но больше простого люда. Барыни, «госпо-да купцы», всякие. Боль, однако, всех объединила, и толпа была хороша: ибо ведь сюда и идут ради «боли», своей или, еще чаще, оставленной дома. «Панте-

леймон-целитель», но свой, русский, не греческий. У всех восковые свечи в руках, некоторые передают их далее, к гробнице. Я всматривался в эту толпу людей, которым всем «дозарезу нужна религия», нужна вот эта церковь, молитва, «Пантелеймон-целитель», восковые свечи, «поминанья», все нужно, все подробности: и сравнивал ее мысленно с большой толпой в сюртуках на религиозно-философских собраниях, где решительно никому ничего не «нужно» от религии и они сохраняют к ней только «интерес». Какая разница: одно — грозная туча, заряженная электричеством, другая — глава из «Физики» Малинина и Буренина об электричестве. Уважение, привязанность во мне все подымались...

Да, молитва растет из боли. Не вся, но самая густая. «Господи, сотвори, чтобы было *зудо*». Мне нужно «*зудо*». В связи с Иоанном Кронштадтским я помню эту нужду в «чуде», дошедшую до требования, до воя. Было это лет шесть назад; я ходил из евангелической (немецкой) больницы, по Бассейной улице, и, увидав раз, что «тут дверца и все входят», зашел, увидел часовенку, домашнюю, красивую, умильную, — восковые свечи, с обозначением стоимости и с дырочкою, куда за них кладут деньги, и большой образ красивого письма. Я был грустен, но спокоен: операция у близкого человека прошла, прошел мимо «образ смерти», такой страшный, как ничто в мире, и, в настроении благодарности, я, проходя мимо, каждый день заходил в эту часовню и, положив поклон, зажег и ставил свечу. Часовенка мне нравилась потому, что она решительно всегда была пуста, кроме (сколько не изменяет мне память) читавшей что-то в сторонке монашки. Вот однажды я выбираю свечку из ящика, в таком ровном настроении духа, как дверь отворилась, и в нее поспешно вошла женщина рабочего, простого вида.

— Мне нужно. Он здесь... Пропустите меня...

В лице стояло отчаяние, какого я никогда не видал... Я не понял, о ком и что говорилось. Она обращалась к монашке в стороне или к какому-то человеку, не помню...

— Да нельзя. Никак нельзя.

— К кому пропустить? — переспросил я.

— К батюшке, отцу Иоанну. Он служит здесь, наверху.

И она указала в сторону: действительно, чего я не заметил раньше, тут была лестница, ведущая куда-то вверх. Что это за дом был, я и до сих пор не знаю: я ставил свечки, которые мне нужно было ставить, не интересуясь остальным.

— Действительно, батюшка Иоанн служит здесь, но вас пропустить я не могу, — ответила твердо монашка. И из тона ответа видно было, что не пропустит.

— У меня дочь помирает. Восьми лет...

— Нельзя.

Женщина заметалась. Воя не было, разве тихий стон, но он был до того правдив, до того ужасен. «Чудо» нужно ей было в такой степени, в такой мере нужен был «исцелитель», без которого эта женщина стояла на краю сумасшествия и в адской муке души, сейчас, что было нестерпимо видеть, слышать. И я просил монашку — не помогло. Не будем судить жестоким судом и монашку: ну, что же — нет сил (у Иоанна Кронштадтского), и осудить жестоко за непропуск этой женщины так же невозможно, как нельзя ударить по лицу аптекаря, у которого «вышло все лекарство», или врача, отказывающегося принять «101-го больного» в сутки. Хотя случай был такой особенный.

Назавтра я справился. Девочка умерла. У нее было воспаление мозга. Тургенев, подсмеявшийся над ожиданием «чуда», имел дочь; но он был знаменитый писатель, а у таких людей «дочери» отходят на второй план, уступая первенство «произведениям»! Да и дочь эта (кажется, описанная в «Асе») не умерла, и необходимость «чуда» просто не была им никогда испытана. Но бывают степени такой связанности людей, когда потеря одного ставит на край сумасшествия другого, и вот тут «чудо», вера в «чудо», необходимость «религии» так абсолютны.

Я с любовью и безмерным уважением глядел на эту народную толпу, явно пришедшую сюда с тяжелою душою. Именно «тяжелая душа»: толпа для улицы или площади не была велика, не велика и для большой церкви; но эти «тяжелые души», с грустью, с тоскою, сделали то, что толпа подавляла вас силою своею, серьезностью, и, казалось, — тут «весь русский народ молится»...

Наконец, я понял механизм: толпа вдруг тронулась и подалась вперед, и в то же время снизу стали подыматься по новым перильцам люди. Явно, кончилась «одна заказная панихида», и толпа всходила снизу, освобождая место для других, для «нас». Я обрадовался, потому что первоначально у меня была мысль, что я так и не доберусь до могилы. Не идти же по головам.

И вот опять она, эта маленькая, низенькая церковь, вся в позолоте и электрическом свете, яркая, людная, горячая. Горячая она от множества народа, от дыханий. Воздух — как в бане, но почему-то не тяжелый. Только жарко, потеешь. И опять зачитали, громко, отчетливо. И опять запели красиво. Я не знаю отчего, но в Иоанновом монастыре все монашки все «сами делают», едва ли в большей зависимости от Синода и консистории, все необыкновенно властно, сильно и красиво: а лица монашеского старого или безобразного я ни одного не видал. Есть лица пожилые, но очень красивые и благородные в складе. Говорят, игуменья (которой я не видал и о которой слышал кое-что жесткое, упрекающее) тоже совсем молодая, около 30 лет. Она ушла в монастырь и со своею приемною дочерью, молоденькою девушкою, которая тоже постриглась в монахини. Но весь тон монастыря, все «заведение» какое-то молодое и сильное. Таково впечатление.

От упрекавших молодую игуменью я слышал, что очень стали велики доходы монастыря. Со времени погребения в нем Иоанна Кронштадтского они возросли раз в шестьдесят. Но это — «суета», и, в конце концов, не наше дело. «Растет — и пусть». Лишь бы они исполняли свое дело, а они, *сколько видно*, исполняют его хорошо, с рвением.

Среди монашенок много бледных, прекрасных лиц. Кое-где мелькнет что-то боттичеллевское... «Безумие страсти, покорившееся Богу»...

На мраморной гробнице положено золотое небольшое Евангелие, и по окончании панихиды все целуют Евангелие и мрамор гробницы около ног. Порядок примерный, но не взыскательный. За порядком следит «малый», типа приказчика, не из духовенства. Очень болящие или кому «очень нужно» задерживаются в сторонке около гробницы (ибо приложившимся говорят: «Проходите и уходите»), чтобы выслушать вторую и третью панихидку. Так делала одна маленькая пожилая крестьянка с волчанкою на лице: лицо представляло одну рану, и, прикладываясь один и другой раз, она все прикладывала лицо и к Евангелию, и к мрамору. «Может, поможет». Дай Бог, чтобы помогло. Лицо ее все было закутано в платок, и, только подходя приложиться, она открывала его. «И больно, и стыд-

но». Как я жалею, что не сказал ей, что теперь волчанку лечат радием, — с успехом! Но я потом вспомнил.

«Так нужна помощь! Так нужна помощь!»... Ну, и радий, и Иоанн Кронштадтский пусть с двух концов помогают человечеству. «Так трудно жить»... В самом деле, ужасно трудно!

Я приложился, помолился о чем нужно и вышел. Этого маленького воспоминания не писал бы, если бы не увидел красивого явления, уже поднявшись наверх. С моей точки зрения, красивого.

Молодой человек, очень большого роста, очень широкий, хорошо одетый и, видимо, образованный, с большими почти непричесанными волосами, вышел, как я же, наверх, но когда я спокойно шел к выходу, он как-то почти украдкой или точно его шатнуло что-то, ветер, внутренний ветер, стал около косяка двери и затем, избегая глаз, стал опять красться вниз, к гробу. Я задержался и стал следить. Видно, ему было стыдно или неловко, но он не мог покинуть этих мест. Видно, он не раз уже это делал, т. е. «все кончил и надо бы уходить», но уйти не был в силах. Точно ноги его подкашивались, слабели, когда он приближался к выходу, и он повертывался, — и вот когда повертывался, силы возрастали, крепили, хотелось бежать, лететь, но он сдерживался и осторожно, как вор за богатством, крался к «святыне». У меня сейчас мелькнуло, что у него дома большая скорбь. Другие, кто видел его и следил, сказали: «Вероятнее, что он страшно любил Иоанна Кронштадтского». Не знаю, которое вернее. Видно было только, что у него все сердце положено здесь, сюда и вне связи «с этим святым местом» — ему просто как не жить.

Он колебался. И перед собою, и перед другими ему, видимо, «неловко было». Хотя он и был весь в возбуждении, в волнении. «Все-таки, однако, образованный», — он стыдился «религиозной слабости». Но потянуло, взяло его, и он продвинулся к лестнице и стал спускаться опять вниз, к гробу. «Всякому человеку нужно, чтобы было куда пойти», — говорит у Достоевского Мармеладов. Этим Мармеладов оправдывает свою нужду в трактире. Я увидел разительное зрелище подобного же притяжения, точно так вот это: «нужно же мне куда-нибудь пойти, — дома я оставаться не могу», но которое образовалось между скорбными домами Петербурга и гробницею Иоанна Кронштадтского.

Точно так, та же сила.

То же вековечное мировой жизни истории.

И кто этому воспротивится? Да и зачем? Вот почему религия вечна, когда философии меняются и умирают.

НА ЧТЕНИИ гг. БЕРДЯЕВА И ТЕРНАВЦЕВА

Религиозно-философское общество, покинувшее, было, прежнюю традицию, до некоторой степени возвращается к ней вновь. Прежняя традиция заключалась: 1) в обращении к духовенству, 2) рассмотрении церковных вопросов; новая — 1) в обращении к интеллигенции и 2) рассмотрении тем или, так сказать, туманов, пронсящихся в интеллигентной душе. Все это — говоря кратко и гру-

бо: на самом деле и в одном и в другом отношении дело велось сложнее и тоньше. Не покидая нового пути, религиозно-философское общество предположило выделить из себя секцию, посвященную вопросам метафизики и мистики христианства, которая таким образом будет продолжать прежний путь. Пока дело еще не оформилось, секция находится в процессе образования, налаживания, но характерные темы этой секции уже заняли свое положение в собраниях общества. В предыдущем собрании был прочитан Н. А. Бердяевым доклад о пределах и ограниченности философии в области веры. Попутно реферируя замечательную книгу казанского профессора В. Несмелова, «Наука о человеке», автор отверг значительность и важность метафизических концепций о христианстве, вроде учения о воплощении мирового Логоса в личности Иисуса Христа, и вообще отверг значительность и важность философии для веры. Уверование и знание, говорил он, противоположны: в знании человек остается связанным, принуждаемым, зависимым, — именно зависимым от опыта и наблюдения, от окружающей его действительности. Знание и философия есть абсолютно не творческие, не свободные области. В них человек есть раб вещей, его внутреннее «я» находится в оковах, наложенных мертвыми окружающими вещами. Вера же есть область свободы и творчества. Здесь ничего нет достоверного, и не может быть, и не должно быть: человек делает великий риск, принимая, напр., лик И. Христа за Бога; риск этот имеет за собою только слепое и детское доверие, что, решившись на него, человек приобретает такие сокровища душевные, такое богатство жизненное, каких не обещает и не может дать ему никакая философия и наука. «Научно доказанная религия», «научное обоснование религии», «рациональность веры» есть потому абсурды, употребительные на языке только такого человека, который не имеет самого понятия о существе религии. Так говорил бывший марксист и позитивист, обмолвившийся, что теперь все «носящее привкус марксизма вызывает в нем органическое отвращение». В самом деле, не пора ли давно такие вещи, как марксизм и позитивизм, из эмпириев философии свести в низший разряд просто *вкусовых* вещей: ведь у нас марксистами и позитивистами бывали чуть не безграмотные мальчики и девочки, и, очевидно, тут дело не в философии, а в том, что «пришлось по вкусу», или, точнее, «отвечает нашей потере вкуса ко всякой метафизике, мистике и религии». Но верующие мальчики суть верующие в неверие, и только 10 марта был прочитан другой доклад на тему этой же серии вопросов: «Империя и христианство» В. А. Тернавцевым. Доклад был и сам интересен, и вызвал интереснейшие прения. С искусством итальянского Мазарини, полуйтальянец, (по матери) полурусский, В. А. Тернавцев стал разбивать то ходячее представление, что будто бы союз с империей повредил христианству, что церковь отдалась во враждебный плен, когда Константин Великий принял крещение. Именно римская-то империя и сообщила церкви территориальную и духовную «каноничность», универсальность, всемирность. Из апостольских посланий и из Откровения Иоанна мы видим, что христианам первого времени даже на ум не приходило мысли о единой всемирной церкви, и этой мысли не было у самого св. Павла, который писал свои послания отдельным христианским общинам, отдельным народам, без мысли о том, чтобы он мог обратиться к христианскому миру, к целому христианству, — к которому теперь привычно обращается каждый, привычно о нем думает всякий. «Были отдельные ягоды-виноградины, каждая со своим зернышком, со своей косточкой, — и в своей отдельной кожуре;

были по городам общины христианского спасения — и только. Общения не было, единства не было. Империя, как бы раздавив эти виноградники, произвела из сока всех их то вино универсального христианства, которое мы знаем с тех пор». Это была главная тема доклада, обширно и красиво обвитая побочными мыслями. К. М. Агеев в прекрасной речи возразил докладчику, что он напрасно выдвигает универсальность как что-то ценное и важное в христианстве: христианство есть главным образом жизнь самой души, есть судьба и трагедия индивидуальной совести. Христианство все индивидуально. Разве не Христос сказал с укором: «Что значит для человека приобрести весь мир и потерять душу»? Таким образом, дар империи, кафоличность, есть дар двусмысленный. С. А. Аскольдов совершенно вопреки общеизвестным фактам истории стал отвергать универсальность идеи и духа римской империи; если бы он занимался нумизматикой, он знал бы, что на императорских монетах, и не ранее, появились надписи: «*Roma aeterna*», «*Providentia augusti*», «*Pax augusti*» * и т. п., совершенно соответственно объяснениям В. А. Тернавцева. Тонкая, изящная, умная речь А. В. Карташова очаровывала, пока слушалась; и — немедленно забывалась. Я чистосердечно пишу, что был увлечен, слушая ее, и теперь ничего из нее не помню, не помню даже темы: зависит это от крайней неопределенности религиозной личности А. В. Карташова, одного из самых видных основателей общества и собраний. Все у него идет не из природы, не из души, а из начитанности, образования и тонкого ума, который может повернуть орудия образованности и так, и этак. И как именно он повернул их во время речи, *данной* речи — вдруг забывается. Говорил немного Д. С. Мережковский; он был на границе воплей, — но остановился. Всем им отвечал во вторичной речи В. А. Тернавцев; говорит он несравненно лучше, чем пишет; вся его сила — в экспромте. То вставая, то опять садясь, почти непрерывно улыбаясь и блестя черными глазами, он говорил задушевным голосом и, может быть, с задушевым обманом о тех «испытаниях и потрясениях», какие пережил за 10 лет веры и неверия. «Провал! Все провалилось», — восклицал он, должно быть, о неверии или безгосударственности. «Господа, я сам испытал!» — и публика невольно встала ответно на столь личные признания несравненного брюнета. Речь его прерывалась и опять лилась, и возбуждительную сторону ее составляла какая-то детскость вида и внешность этого на редкость умного и даровитого человека. Сухонький и маленький Мережковский около огромной маслянистой фигуры Тернавцева составлял такой контраст; и так как в Мережковском есть тоже много детского и невинного, то их обоих трудно удержаться, чтобы не сравнить с двойнями одной матери, положенными в разные люльки, — но один ребенок страдает коликами в животе и вечно кричит, а другого постоянно кормят кашей и он всегда улыбается. В Мазарини веры все сладко, гладко, кругло, обещающе, — и даже сам Страшный Суд, который он любит вспоминать, есть какое-то счастливое обстоятельство в его биографическом благополучном шествии. В замечательно блестящем и интересном собрании обозначилась впервые та роковая и несчастная сторона участников их, что в них слишком много ума и теоретического блеска и слишком мало природы, из которой «прет», — природы невольной и неодолимой для самого носителя ее. Обозначилось что-то лукавое и деланное, обозначился такой «смертный грех» собраний,

* «Вечный Рим», «Забота Августа», «Мир Августа» (лат.).

которому и предела не найдешь... От этого хотя собрания и носят дух патетический, но это, так сказать, островная патетичность, а не материковая патетичность. Все это правдивая летопись собраний должна вписать в свои страницы, следуя заветам того персидского царя, который отправляемому на войну полководцу говорил: «Победу описывай как победу, а поражение описывай как поражение».

ЗАГАДКИ ГОГОЛЯ...

В людях исключительной душевной организации, исключительной до странности, до удивления, — есть что-то хрупкое. «Не жильцы на свете»... Пушкин, Гоголь и Лермонтов умирают или погибают в среднем и молодом возрасте; Шекспир умер еще не старцем. Тогда как одной ступенью ниже, сейчас же за ними, высокие таланты человечества живут чрезвычайно долго, тоже почти до удивления. Очевидно, душевная сила, душевный рост суть показатели и выразители громадной жизненной энергии; но гений есть перелом человека «куда-то», есть «отклонение в сторону от нормальных и вечных путей человечества»... И эти Икары, как бы летящие к Солнцу, гибнут в лучах его преждевременно. Гёте, Толстой, Пюго живут точно двойной или полуторной человеческой жизнью, но как ни высоко и благородно их творчество, *загадки* оно не представляет. Это — прекрасные человеческие явления... Гений же всегда немножко сверхчеловечен.

По-видимому, и Пушкин должен бы «прожить долгую жизнь»: ведь так все нормально и ясно в нем. Да, его творения нормальны и ясны. Без всякого колебания мы поставим их выше не только творений Лермонтова, но и Гоголя. Но в Пушкине загадку составляет его лицо: каким образом можно было без борьбы, без усилий, даже без видимых размышлений, стать в самую точку, в самую середину, откуда во все стороны расходятся лучи этой нормативности, этого спокойного и прекрасного в человечестве. В мировой литературе и даже более — в мировой психологии мы не можем указать решительно ни одного лица, которое занимало бы эту сердцевинную точку прелести, красоты, ума, *без всякого излишества, без всякого наклона* в одну преимущественную сторону. Христианин ли он? — Да, в прелестных христианских чертах. — Но, может быть, он и язычник? О, конечно: в том, что было в язычестве *прекрасного и умеренного*. Вот что можно сказать об авторе «Капитанской дочки» и «Египетских ночей», «Купца Остолопа и работника его Балды» и подражаний греческой антологии. Но если, таким образом, душа Пушкина осталась свободной и непреклонной даже перед такими могуществами, как христианство и как обаяние и сила античной цивилизации, перед которыми решительно никто не мог устоять, решительно склонялся в одну или другую сторону всякий ум, мудрость, просвещение, добродетель, склонялся до фанатизма, до изуверства, до изуродования себя, до ненавидения противоположного, — то в красоте и силе пушкинской души мы увидим загадку и чудо. Объясним примером: перед бурным и гениальным творчеством Микель-Анджело каким простым и несложным кажется творчество Рафаэля; какое сравнительно *однообразие*; есть ли у него что подобное потомку Сикстинской капеллы, этим изумительным Сивиллам и пророкам?! Все — Мадонны, все одна, в разных образах, Фарнарина. Да, но человечество отгадало в этом однообразии, простоте

и покое сверхъестественный луч, которого не было в изумительном Микель-Анджело. И Рафаэля тоже, — кстати, — так рано умершего, поставило неизмеримо выше Микель-Анджело, поставило мальчика и юношу, жившего такой обыкновенной жизнью, любезного с панями и пользовавшегося их покровительством. Там все обыкновенно, до мещанства, до прозы. Но Авраам узнал Бога, явившегося ему в земном виде странника. Человечество узнало в Рафаэле частицу ангела, необыкновенное, что появилось среди его. Я окончу сравнение, сказав, что в обыкновенном Пушкине, вечно нуждавшемся в деньгах, ревнивом, суетном и тоже умевшем говорить придворные любезности, — мы имели своего Рафаэля, Рафаэля речи человеческой, слова человеческого, стихов, как и прозы. Непременно — и прозы, которая у Пушкина есть единственная и непревзойденная. То, что Италии и человечеству дал Рафаэль, пользуясь вспомоществованием красок, но при этом вспомоществовании выразив свою единственную и прекрасную душу, — это самое дал и Пушкин, дал пока одной России. Но ведь это все равно, кому он дал. Важность в том, *что* дал: творчество Пушкина имеет единственную себе параллель, и очень близкую в творчестве Рафаэля. Вот по этому-то соображению я и решился отнести «обыкновенного и понятного» Пушкина к людям загадки, тайны и неисповедимого. Только все это трудно в нем рассмотреть, ибо все в нем лишь «просвечивает», а не кидается в глаза.

Но я отвлекся.

Перейдем к Гоголю, в котором все кидается в глаза!

21-го февраля, после обеда, раздался звонок в моей квартире, — рассказывает г. Рамазанов, мастер-скульптор, — и явился сильно встревоженный г. А(ксаков?), который объявил о смерти Гоголя. Правда, до того уже были точные слухи о тяжелой болезни последнего; но едва ли кто равнодушно мог вынести весть о смерти этого человека. А. предложил мне поторопиться снять гипсовую маску с покойного. Нельзя было медлить, я позвал старика-формовщика, и через четверть часа мы были уже на Никитском бульваре, в доме гр. Т(олстого). Пробовая крышка, встреченная нами у входа, подтвердила внезапную горестную весть. Я взшел по парадной лестнице в верхние покои, где в совершенной темноте ходил по комнату хозяин дома и на вопрос «Где Н. В. Гоголь?» — ответил, указывая обратно на лестницу: «Там, внизу». Когда я подошел к телу Гоголя, он *не казался мне мертвым. Улыбка рта и не совсем закрытый правый глаз его* породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску; но приготовленный гроб, в который должны были положить в тот же вечер его тело, наконец, беспрестанно прибывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником заставили меня и моего старика, указывавшего на следы разрушения, поспешить снятием маски, после чего со слугой-мальчиком Гоголя мы очистили лицо и волосы от алебаstra и *закрыли правый глаз*, который, при всех наших усилиях, казалось, хотел еще глядеть на здешний мир, тогда как душа умершего была далеко от земли.

Это коротенькое фактическое сообщение, напечатанное вскоре после смерти Гоголя в отделе городской хроники «Московских Ведомостей», за 1853 г. (№ 25), — как оно совпадает с этими строками о другой покойнице, написанными самим Гоголем:

...Хома отворотился и хотел отойти от гроба, но, по странному любопытству, не утерпел и взглянул на нее. Резкая красота усопшей показалась ему страшною... В ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего; оно было живо, и философу казалось, как

будто она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покати́лась слеза...

Какое совпадение *сущности* обоих рассказов!.. Я люблю этот портрет Гоголя в гробу, где его исхудавшее лицо, с острым и длинным носом, окаймлено белой подушкой и венком из зелени, положенным около темени и лба. Как оно выразительно, как говорит о его желаниях, до чего загадочно!.. Но нельзя не поразиться, что этот его «портрет в гробу» (с литографии того времени) *тогда-в-тогда* совпадает с наброском, сделанным с него, когда еще он был учеником гимназии высших наук в Нежине, одним из гимназических товарищей*: эта же хужоба, отсутствие теней, штрихов на лице, как бы его гладкость и обрезанность, длинный острый нос, сжатые губы, и не просто серьезность, а как бы *старость*, сухость и брюзжащее нравоучение в лике, позе, даже в наклоне головы! Этот юношеский портрет совпадает с посмертным: точно невидимая рука взяла его осторожно с затылка и спины и подняла из гроба, — и поставила этого «выходца с того света» перед шалуном-товарищем, который верно бы испугался и не стал рисовать, если бы знал, что за чудище стоит перед ним. Эти два портрета неизмеримы в осмысленности сравнительно с отвратительным портретом Моллера (от 1841 г.), обычно всегда прилагающимся к сочинениям Гоголя, где он снят шаблонно, плоско, и, пожалуй, снят под одной из масок своих героев, какие любил нашивать при жизни. В Гоголе было чрезвычайно много актера, притворства, игры, одурачивания ближних и соседей. И только в гробу, да еще для наблюдательного товарища в школе, верно следившего за ним потихоньку, он показался «как есть», в этом загробном и страшном, противоестественном своем образе. С этим совпадает одна запись С. Т. Аксакова в его известных воспоминаниях («Мое знакомство с Гоголем»). Жуковский, у которого гостил Гоголь, подвел его раз посмотреть потихоньку, как он сидит за творческой работой. «Он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя; тихо отпер и отворил дверь, — я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо 30 сюртука, сверж фланелевого камзола, бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело...».

И опять, как мертвый Гоголь напоминает панночку-колдунью из «Вия», живой и вдохновенный Гоголь напоминает пана-колдуна из «Страшной мести», ходившего, несмотря на казацкое происхождение, в турецком наряде... «Приподняв иконы кверху, есаул готовился сказать краткую молитву... как вдруг закричали, испугавшись чего-то, игравшие на полу дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их казака. Кто он 40 таков, — никто не знал. Но уже он протанцовал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо казака переменялось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб; и стал казак — старик.

* В № 15 «Иллюстрации», издававшейся в 1845 г. товарищем его в этой гимназии, известным Кукольниковым.

— Это он! Это он, — кричали в толпе, жмясь друг к другу.

— Колдун оказался снова! — кричали матери, хватая за руки детей своих».

У всех писателей есть, так сказать, *нажимы* пера; в писаниях великих авторов наблюдательный взор откроет местами маленькое волшебство, что-то странное, загадочное, и хотя бы объективно не очень значительное, но что останавливает на себе внимание явной и вместе темной связью с душой автора. Как Гоголя, написавшего «Нос», т. е. историю о том, как нос «майора» Ковалева попал в свежеспеченный хлеб, — написавшего «Коляску» и прочие смехотворные вещи, до того смехотворные, что наборщики в типографии прыскали со смеху, набирая его рукопись, и затем написавшего странную вещь — «Мертвые души», от которых покоробило всю Россию, вся Россия заметалась и застонала, увидя себя в таком отражении, и кончившего все сожжением дальнейших рукописей, поездкой в Иерусалим, покаянной «Перепиской с друзьями», попытками «Авторской исповеди», дошедшей в одном экземпляре за скорой кончиной автора, но за которой, проживи он долее, наверно, последовали бы еще другие, более интересные «Исповеди», — как его, в этих его литературных превращениях, во всей судьбе, странствиях, не сблизить с этим казаком, который на глазах публики из весельчака превращается в старого горбуна и который сокровенно есть колдун... Еще маленькая подробность: кто не помнит, как в «Тарасе Бульбе» казаки умирают за веру:

— За Сечь!

— За веру!

И казаки выпивают чарку «всем воинством» накануне, как умереть за эти столпы своего существования. Мы в детстве, читая «Бульбу», трепетали первыми восторгами к вере своей, к родной земле своей, волновались первым негодованием к «ляхам» и «католикам»... До того поэма-рассказ проникнута народным чувством, широким, красивым, могуче-обаятельным. Но кто же рассказал нам это? Зяблик... Кто знает биографию Гоголя, знает, что он все зябнул в России, везде ему было холодно, для него специально натапливали печи, и он нигде и никак не мог согреться, и даже это выставил как один из мотивов, серьезно или смеясь, но отчасти бесспорно серьезно, — что не может продолжать жить в России и вот уезжает в Рим... А то был Рим не теперешний, с королем и газетами, с отелями и дипломатией, а старый Рим пап, настоящее «чортово гнездо» Европы, говоря понятиями Бульбы и самого Гоголя как автора «Бульбы»...

— Казак, слава Богу, ни *гертей*, ни *ксендзов* не боится (из «Страшной местности»), — сблизал сам Гоголь.

И вот... он уехал к ксендзам, в вековую, извечную, начальную родину ксендовства и всего ксендзовского духа, всей ксендзовской сути! И в письмах называет Рим «настоящей *родиной своей души*», — он до того, казалось, русский! До того, казалось, переполненный стихиями православия и народности!.. Все это до того невероятно, сплетает узор такой странности, над которым кружится голова думающего человека.

Конечно, в католичество он не перешел... Он — не барышня, и не из уставших русских княгинь.

Он в Риме жил, смотрел, думал. Что думал, — никто не знает. Именно там писал он «Мертвые души», — «сию русскую поэму», как определял сам это свое произведение.

Что же такое Гоголь? Кто он?

Все писатели русские «как на ладони» у русских критиков и историков, у русского общества, но Гоголь есть единственное лицо в нашей литературе, о котором хотя и собраны все мельчайшие факты жизни, подобраны и классифицированы все его письма, записочки, наконец, изданы обширные личные воспоминания о нем, — тем не менее после полувека работы он весь остается совершенно темен для нас, совершенно непроницаем. Никто и ничего о нем не знает, не понимает. В этом все соглашаются, это так очевидно для всех. Факты — все видны; суть фактов — темна для всех. Именно нет *ключа* к разгадке Гоголя... Между тем как, например, Пушкин и без «ключа» для всех ясен, никто о нем ничего не загадывал и ничего в нем не разгадывал; Лермонтов и Чаадаев опять же ясны или *объяснимы*. В Гоголе замечательно не одно то, что его не понимают, но и то еще, что все чувствуют в нем присутствие этого необъяснимого, и притом не теперь только, но и когда-либо...

— Величайший реалист и величайший фантастик!

— Величайший выразитель стихии русской народности, патетический ее провозвестник, защитник, «пророк»! Как он говорил о русском языке, о русском «метком словце», сравнивая его с немецким словом и французским! Уж это-то, подлинно, не притворно. Но не притворялся же он, и говоря: «Рим есть моя родина». Тот Рим, то папское и ксендзовское, что было извечно жесточайшим врагом православия и стихии русской народности.

Что же это такое? — Никто не понимает, и понять нельзя.

Что думал великий художник, живя в Риме? В том *старом* Риме, о котором краткие и многозначительные заметки оставил Герцен; о котором порой говорили Вл. Соловьёв, К. Леонтьев; о котором несколько строк разительной силы сказала Башкирцева в своем «Дневнике»; том Риме, который остается неведом туристам и верхоглядам. Замечательно, что еще до поездки туда Гоголь написал свой «Рим». Т. е., что он *предчувствовал* его; что он поехал не в «*terram incognitam*», на авось и случайно, а поехал как пилигрим, которому «открылось нечто в видении», ну — в видении его грез, соображений, догадок, размышлений, предчувствий.

Приехал. И смотрел. И видел. И вспоминал о своей родине. И писал «Мертвые души».

«Моим горьким смехом посмеюся» — это не одна эпитафия на его надгробном памятнике в Москве, это и эпиграф ко всей его биографии.

После короткого периода, когда он забавил и восхищал Русь своими малороссийскими рассказами, — он сделал как бы несколько «проб пера» своими петербургскими повестями. «Миргород» и «Петербург» — так можно было бы объединить его творчество до «Мертвых душ».

И, наконец, «сия русская поэма», которую он, такой патриот, не захотел испортить вставкой ни одного иностранного слова — «Мертвые души». Это — уже Русь, вся Русь. Один из лучших немецких критиков заметил, что первые главы «Мертвых душ» совершенно равнозначащи творениям эллинского гения. То самое, что эллины сделали в мраморе, Гоголь сделал в слове: он изваял фигуры до такой же степени вечные и универсальные, до такой же степени безупречные, как Аполлоны и Зевсы Фидиев и Праксителей. «Кто помнит старый немецкий быт, — кончает немецкий критик, — тот читает у Гоголя изображения не только русских чиновников и помещиков, но видит в них и своих немецких соотече-

ственников, говоривших только на немецком языке, но с этой же душой, понятиями, жизнью. Это книга не только старорусская, но и старонемецкая».

Аполлон и Плюшкин — какое сопоставление!..

От Аполлона до Плюшкина — какое нисхождение!

«Первое, что я услышал на русском языке, в пограничной таможне, — рассказывал Гоголь своим московским друзьям, — это как один таможенный чиновник говорил другому наставительно: *гин гина погитай*». Он ничего не прибавлял к этому, не разъяснял...

Но он торопился куда-нибудь выехать опять. Поехал в Иерусалим. Замечательно, что об Иерусалиме он не оставил никаких заметок, никаких воспоминаний; ни единого следа не сохранилось в его впечатлительности. Точно он осмотрел Шклов или Сорочин. Это тоже одна из поразительных загадок его личности и биографии.

Затем как-то без болезни заболел... Все молился, все постился и, кажется, заморил себя голодом или постом.

И опять, точно каким-то сверкающим автобиографическим признанием звучат эти строки из молодой его повести, — повести тех лет, когда он все смеялся, а в душе своей уже был так стар:

Одиноко сидел в своей пещере перед лампадой схимник и не сводил очей с своей книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере; уже сделал себе и дощатый гроб, в который ложился спать вместо постели. Закрыл святой старец свою книгу и стал молиться...

Доселе — одно лицо Гоголя. Это — Гоголь «Переписки с друзьями», это — Гоголь, друг Толстых; Гоголь в одном ряду воспоминаний о нем, но только — одним

Вот другое его лицо:

Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились, страшный огонь пугливо сыпался из глаз, дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

— Отец, молись, молись! — закричал он отчаянно: — молись о погибшей душе моей!

Схимник перекрестился, достал книгу, развернул и в ужасе отступил назад и выронил книгу:

— Нет, неслыханный грешник! Нет тебе помилования. Беги отсюда, не могу молиться о тебе.

— Нет? — закричал грешник.

— Гляди: святые буквы в книге налились кровью...

Это же *те самые* слова, *те звуки, тон* звуков, какие мы читаем в письмах Гоголя к старцам Оптинской пустыни, какие он говорил священнику Ржевскому, отцу Матвею; наконец, судорогой именно этого испуга, покаяния полны предсмертные месяцы и дни Гоголя. Это — *его* лицо!

Вот два его лица, совмещенные на одном человеке, в одной жизни, в одной совести, которая ведь горит перед Богом, жжет грудь человека! Только догадавшись об этом, можно понять, почему он еще таким молоденьким написал «Записки сумасшедшего», — с заключительным их выкриком:

— Матушка моя! Пожалей своего бедного сына. Где ты?

И эту заключительную строку смехотворной «Ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»:

«Скучно на этом свете, господа!».

Гоголю везде было скучно. Всегда было скучно. От скуки он уехал в Рим, потом в Иерусалим; да и в России он не мог долго оставаться на одном месте, и все странствовал и странствовал, ездил по тогдашним невозможным дорогам в тогдашнем невозможном экипаже, должно быть, «в бричке»...

Гений его, отношение его к нашей действительности, отношение к мировой истории — вот что сплетает его личность.

Гений, сила пластического изображения, дар слова и дивный глаз наблюдателя, — все дано было ему в рождении. Это — алмаз, в него вложенный. Тут нет темы для размышления, для разгадывания. Это явление простое. «Так родился»...

Но алмаз и острую его грань можно повернуть так и этак; осветить им одно или осветить совершенно другое. Зорким глазом можно выследить одно и выследить совершенно противоположное; и как одно, так и другое будет верно, правильно, но с неизмеримой разницей в последствиях, во впечатлении на читателя... У Толстого тоже не дурной глаз, но в людях почти одной эпохи, какую изображал и Гоголь, он высмотрел «Войну и мир», тогда как тот высмотрел «Мертвые души».

Итак, загадка лежит в том, почему острая грань гоголевского гения повернулась к миру так, а не иначе. Почему «горьким смехом моим посмеюся»... Мы видим в вещах то, что хотим видеть. Мы высматриваем во всех случаях истину; но, кроме того, мы высматриваем еще *любовь* нашу. Зритель, художник, романист, поэт, — они все суть мировые охотники, и ищут каждый «любимую дичь»... Патетическое, восторженное, лирическое освещение вещей, и освещение уничижительное, зависит в сущности от вкуса. Один любит «горькие травы», другой — «сладкие травы»... Гоголь выбрал «горькие травы» — всю жизнь пасся на горьких нивах. Все-таки здесь мы если и не постигаем загадку его души, то подошли к тому углу, где скрыта загадка. Мы можем никогда не отыскать ключа от крепко запертого чулана, но все-таки знать, что «вот тут что-то главное заперто». Все-таки это кое-что.

Он жил в Риме. Но в Риме он писал «Мертвые души». Черная жемчужина на белом фоне. Гоголь выбрал самый ослепительный фон (в его представлении, может быть, — в иллюзии), чтобы положить на него самую черную жемчужину. Он положил глаз на купол св. Петра, на арку Тита, — с изображением триумфов после взятия Иерусалима, на Колизей, Colosseum, но через них, сквозь призму их видел и видел Поприщина, Акакия Акакиевича и всю родную департаментщину...

Пал Иерусалим. Тит входит в Рим... «Чин чина почитай», — как сказал таможенный чиновник.

Микель-Анджело расписывает Сикстинскую капеллу, — Акакий Акакиевич наконец достиг того, что переписывает бумаги без клякс.

«О, Русь! Куда мчишься ты?»...

В самом деле, куда она «мчится» с Акакием Акакиевичем, с Клейнмихелем, с Поприщиным и интересными дочками городничего и директора департамента...

«О, Анунциата»...

Пишет Гоголь, а вспоминаются ему мамаша и дочка, обе влюбившиеся в Хлестакова.

«О, не лейте же мне на голову холодную воду», — восклицает он за Поприщина, но восклицает и за себя. «Матушка моя, пожалей ты своего сына»: здесь «матушка» и Поприщин, но и «матушка», т. е. Русь — Гоголя.

Как каленые клещи, рвали его сердце в разные стороны и вековечные идеалы, — нет, вековечная *действительность*, действительность прожитой, отжитой жизни, памятники которой он видел на берегах мутного Тибра, и вся *мелочь* николаевского времени:

В мундирах выпушки, погончики, петлички...

10

Главное — мелочь!.. И такая, которой, по замыслу ее строителей и вдохновителей, и *конца не настанет*. Установилось время окончательное. Россия первенствовала в сонме держав. Крымские громы еще не раздалились: Гоголь умер до них. Небо было ясно. Не установилось твердо и окончательно. Но что же «установилось»?

— Выпушки, погончики, петлички...

О, «мертвые души»! — как естественно выкрикнулся этот крик.

Известно, что Гоголь был жалким профессором истории. Он и не знал ее, т. е. он никогда не копался и не имел призвания копаться в ее трудных и порой скучных письменных памятниках. Он был художник, он был пластик. Подробности не закрывали от него целого. Зоолог в ведре морской воды может найти чудеса морской фауны и флоры, и, найдя это, рассмотрев все под микроскопом, он может все-таки не иметь никакого представления о море, о шуме его, о красоте его, о загадке его. Все это может лучше его знать моряк, и при случае, при даре, может выразить чувство моря в песне, не достижимой для ученого микробиолога... Именно это случилось с Гоголем.

Он пропел удивительную песню. Я приведу ее, так как она неизвестна очень многим даже записным историкам и словесникам. Ее, например, не знал покойный директор частной гимназии в Москве, Л. И. Поливанов, образованнейший в общем человек. Она помещена в малочитаемых «Арабесках». Песню эту невозможно не сблизить с «Мертвыми душами», ибо только в этом сближении «Мертвые души» получают некоторое объяснение.

Бедному сыну пустыни снился сон:

Лежит и расстилается великое Средиземное море, и с трех разных сторон глядят в него палящие берега Африки с тонкими пальмами, сирийские голые пустыни и многолюдный, весь изрытый морем, берег Европы,

Стоит в углу, над неподвижным морем, древний Египет... Величавый, весь убранный таинственными знаками и священными зверями... Он неподвижен, как очарованный, как мумия, несокрушимая тлением.

40

Раскинула вольные колонии веселая Греция... Острова, потопленные зелеными рощами, кинамон, виноградные лозы, смоковницы помавают ветвями; колонны, белые, как перси девы, круглятся в роскошном мраке древесном... Мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом... Жрицы, молодые и стройные, с разметанными кудрями, вдохновенно глядят черными очами... Корабли, как мухи, толпятся близ Родоса и Корциры...

Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозной сталью мечей, вперив на все завистливые очи и протянув свою жилистую десницу...

10 Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, как будто царства предстали все на страшный суд перед кончиной мира.

И говорит Египет, помавая тонкими пальмами, жилицами его равнин, и устремляя иглы своихobeliskов: «Народы, слушайте! Я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Все — тлен. Низки искусства, жалки наслаждения, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвует над миром и человеком! Все пожирает смерть, все живет для смерти! Далеко, далеко до воскресения! Да и будет ли когда воскресение? Прочь желание и наслаждение! Выше строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование».

10 И говорит ясный как небо, как утро, как юность светлый мир греков, и, казалось, вместо слов слышалось дыхание цевницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вместе с ней ее наслаждение. Все носи ему. Гляди, как выпукло и прекрасно все в природе, как дышит все согласием. Все в мире; все, чем ни владеют боги, все в нем; умей находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель мира, венчай дубом и лавром прекрасное чело свое! Мчись на колеснице проворно, правя конями на блистательных играх! Далее корысть и жадность от вольной и гордой души! Резец, палитра и цевница созданы быть властителями мира, а властительницей их — красота! Увидай плющем и гроздием свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подружки! Жизнь создана для жизни, для наслаждения, — умей быть достойным наслаждения!

10 И говорит покрытый железом Рим: «Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека: оно уничтожает его в себе самом. Мал для души размер искусств и наслаждений. Наслаждение — в гигантском желании. Презренна жизнь народов и человека без громких подвигов. Славы, славы жаждай, человек!.. Слышишь ли, как у ног твоих собрался весь мир и, потрясая копьями, слился в одно восклицание? Слышишь ли, как твое имя замирает страхом на устах племен, живущих на краю мира?.. Стремись вечно. Нет границ миру, — нет границ и желанию...

Но остановился Рим и вперил орлиные очи на Восток. К Востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения, прекрасные очи; и Востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи.

40 Камениста земля, презренен народ; немногочисленная весь прислонила к обнаженным холмам, изредка неровно оттененным иссохшей смоковницей. За низкой и ветхой оградой стоит ослица. В деревянных яслях лежит младенец; над ним склонилась непорочная мать и глядит на него исполненными слез очами; над ним высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом.

Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли... (1831 года).

Было бы безвкусицей поправлять подробности этой картины. Кто же поправляет песню? При частных ошибках она имеет такую истину целого, какой не заключают в себе подробнейшие скрупулезные исследования!

Гоголь бесспорно был прав, написав эти «исповедания» народов и *resumé* их жизни. Ну, и что же скажет русский, взглянув на это все? Что он всех догонит и перегонит на своей «тройке», запряженной Собакевичем, Ноздревым и Маниловым? Из колоссального, режущего, оглушающего контраста родились «Мертвые души»...

Отечество лило ему «холодную воду на голову», как Поприщину, — может быть, даже не очень различая его от Поприщина... Что Клейнмихелю до Гоголя? «Сумбурный человек, веселый рассказчик и отвратительный профессор, которого даже по службе нельзя подвинуть, неудобно дать ему орден»... Между тем в Гоголе, как видно из этой панорамы, из музыки слов ее, жил такой напряженный идеализм, такая тоска по идеалу, непременно по всемирному, который облил бы смыслом своим все человечество и объединил бы его, связал его этим смыслом, одной целью, — что он годился... и в роль Петра Пустынника, проповедавшего крестовый поход, и в роль папы и отца народов, или, по течению русской истории, ближе к русской действительности, он годился к роли анархиста-мечтателя, осуществляющего на русском севере мечту халдейского Эдема... Что-то вроде эк-
статического мечтателя Кириллова из «Бесов» Достоевского. Но Кириллову Бог
не дал литературного таланта, и он умер безвестно и без последствий, сгорев
в мечтах своих, в тоске своей. Гоголю Бог дал громадный дар, чудовищную си-
лу, — правда, заключенную в маленьком орудии пера. Гоголь с неистовством По-
прищина, замученного докторами, опрокинул на «отечество» громадную свою
чернильницу, утопив в черной влаге «тройку», департаменты, Клейнмихеля, пе-
репачкав все мундиры, буквально изломав все царство, так хорошо сколоченное
к половине XIX века.

Вот то, что рационально можно понять в нем. О более глубоких, подспудных течениях в его душе мы не можем даже догадываться. Уж не бродила ли у него мысль: «Да откуда взялись все эти мертвые души? откуда так мертва, безветрен-
на поверхность русского моря?». И не связал ли это он с известными первоначальными устоями, на которых всегда все держалось на Руси, которые и он вос-
пел в «Бульбе» и в *народных* малороссийских рассказах? Сюда толкает мысль то,
что он назвал Рим «родиной души своей», — а Рим был для казаков, для право-
славия, для Руси приблизительно тем, что для киевских старушек «Лысая гора». Толкает мысль к этому и то, что он ничего не сказал и не записал о впечатлении
от св. мест, как будто он в самом деле съездил в Шклов. Но если в душе Гоголя
бродили хотя бы в виде смутного предчувствия все эти догадки, которым бога-
тое движение дали впоследствии такие умы, как Соловьёв или как наши «ниги-
листы» типа Бакунина («всемирная анархия»), то он, благонравный сын своих
родителей, попечительный братец своих сестриц и, наконец, патриот, когда-то
искренно веривший, что всех раздавит русская «тройка», — должен был почув-
ствовать в себе такой ад, такой «грех», такое неискупимое преступление перед
родной землей, которые его и толкнули к судорогам последних лет, к «Авторской
исповеди» и «Переписке с друзьями», к молитве, покаянию, посту и полному под-
чинению своего гениального «я» узкому и жесткому уму и железной воле фана-
тика отца Матвея в Ржеве. Уже Достоевский заметил, что «мечта беса — вопло-

тяться в семипудовую купчиху и ставить восковые свечи». Очень спокойно. Достоевский сказал это с водевильным привкусом. Но можно то же произнести и в трагическом тоне. И у Гоголя, кажется, совершилось это самое, но только в тоне трагическом до смертного исхода...

И все же, за всеми этими возможными объяснениями, Гоголь остается темен и темен. Все объяснения и, так сказать, самый метод *объяснительности* грешат тем именно, что они рациональны... Тут чем понятнее и «разумнее», тем дальше от действительности, которая заключается именно в неразумности, тьме, в смутном. Гоголь, очевидно, был болен или очень страдал, — но не от тех маленьких пороков, которые называют в связи с его именем и от которых ничего особенного не случается, как это хорошо известно медикам. Раннее написание «Записок сумасшедшего», в такой степени правдоподобных, указывает, что ему вообще знакома была стихия безумия... При его остром уме, непрерывной наблюдательности, при его интересе к действительной жизни, — тогда как формы умственного расстройства прежде всего связываются с полной апатией к реальной действительности, — правдоподобнее всего предположить, что боль и страдание, возможный хаос и дезорганизация прошли не через ум его, а через совесть и волю... Здесь была какая-то запутанность, и в этом скрывается главный «икс», которого рассмотреть мы никак не можем...

20

ГЕНИЙ ФОРМЫ

(К 100-летию со дня рождения Гоголя)

Здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего неизвестно.

Гоголь, «Нос»

...О чем именно читал я час?.. Да, цирюльник Иван Яковлевич, проснувшись, спросил у жены свежеспеченного хлеба, но когда разрезал его, то нашел внутри запеченный человеческий нос... В это же утро майор Ковалев, проснувшись и спрося зеркало, увидел, что его нос пропал куда-то. Вскочив как ужаленный с кровати, он встряхнулся, думая, не найдется ли нос. Но ни на простыне, ни на кровати, ни на полу его не оказалось. Нанимает извозчика и мчится к полицеймейстеру жаловаться на происшествие, — но не застает его дома. Бросается в газетную экспедицию, чтобы напечатать объявление о пропаже у него носа, но экспедитор отказывается принять такое объявление за странность. Мысленно вина во всем одну барыню, на дочке которой он отказался жениться, — едет дальше: и с изумлением видит, как из кареты вышел его собственный нос, в мундире статского советника, «в панталонах и при шпаге», и начинает гоняться за ним. Нос ускользает насмешливо, так сказать, «проведя за нос» своего прежнего обладателя, увы, теперь безносого! Обращается к доктору, но тот ни в чем помочь не может. Наконец, является добродетельный квартальный и говорит, что

нос нашелся: именно, запасшись чужим паспортом, он уже готовился улизнуть в Ригу, но был арестован в то самое мгновение, как хотел сесть в дилижанс. Сперва нос не хотел пристать к месту, падая на стол, «как пробка», но, наконец, в одно прекрасное утро, пристал. Упоенный Ковалев «с носом» несется во все стороны, делает визиты, заезжает в канцелярии, пьет шоколад в кондитерских, и, словом, счастлив почти как новобрачный.

— Что же я читал, о чем? Только что прочитав, можно еще передать с именами, в обстановке и вообще в подробностях, но через некоторое время, когда имена забудутся, частности — точно так же, рассказать будет решительно не о чем. Я не о том говорю, что все это чудесно и невероятно: о чудесном и невероятном рассказано множество прелестнейших вещей, и сказок, и грез, и поэм. Я говорю о том, что тут вообще ничего нет, о чем стоило бы рассказать, что хотя на минуту возбудило бы нашу любознательность, любопытство, в каком-нибудь отношении возбудило бы наш интерес или тронуло, задело хоть какую-нибудь сторону души. Ведь, наконец, человек состоит не из одних глаз, которыми можно читать, но и из души, которая ищет чего-нибудь в читаемом. Здесь — ничего нет.

Майор Ковалев был с носом.

Потом нос соскочил со своего места.

Потом — опять вскочил на прежнее место.

Если когда-нибудь мне хотелось «чихнуть в нос» кому-нибудь, то это именно майору Ковалеву, и притом не когда он нашел его, но когда он был без носа. Ибо такого глупого носа, такого вредного носа, мешающего людям заниматься серьезными вещами, — решительно не было ни у какого человека, и само собой разумеется, что Ковалев не только обязан был потерять его, но для блага человечества и не должен был никогда находить его. Благопопечительное начальство не только не должно было арестовать этого носа при его бегстве, но, напротив, обязано было выпроводить его за границу, для порядка и гармонии. Ибо если у всех носы начнут выделять такие истории, а авторы примутся об этом рассказывать, то Россия обратится в сумасшедший дом, а литература обратится...

В самом деле, во что она тогда обратится?..

«Носа» Гоголя не только никто не зачеркивает в его произведениях, но и никто не захочет зачеркнуть, всякий воспротивится зачеркиванию, воскликнет: «Это — наше». «Это — дорогое нам», «с этим мы ни за что не расстанемся». С чем «не расстанемся?». С историей о том, как Ковалев потерял свой нос и потом опять нашел его? Ведь тут *ниче́го нет!* Нет сюжета! Нет содержания!

— Содержания?.. Действительно, нет! Но *форма*, но как рассказано — изумительно!

Этот спор или маленький диалог между двумя читателями или читателя с самим собою, справедливости которого невозможно отвергнуть, вводит нас в самую *суть* Гоголя. Что такое «Мертвые души»?

В сути это есть история о плуте: человек решил скупить документы, записи об умерших крепостных людях, конечно — скупить их за гроши, ибо умерших людей уже нет в наличности и они никому не нужны. Затем их заложить в казне, получить деньги и, разбогатев, скрыться. Глава из Шерлока Холмса или приключений Люпэна.

Что такое «Ревизор»?

Рассказ об ошибке чиновников, принявших проезжего, голоштанного человека за присланного из Петербурга важного ревизора. Редкий случай, и во всяком случае пуф. Почти «Нос».

«Коляска»?.. История о том, как хозяин, к которому ехали гости, забывший о приглашении их и не приготовившийся их принять, спрятался от смущения в коляску. Они пошли осматривать ее и увидели его там в забавном положении.

Обиделись, оскорбились и уехали. Решительно — «Нос»! Знаменитая и действительно великая «Шинель» есть рассказ о том, как бедный, несчастный чиновник сшил себе новую шинель, но ее у него ограбили, сняли с плеч на улице. Он был потрясен и умер, но мертвецом стал ходить по улицам и снимать шинели с важных господ, вот с тех, которые нераспорядительностью своею по полиции не могли предупредить ограбления у него шинели. Все-таки суть «Носа» проглядывает и через этот сюжет. И Гоголь удивительным образом, почти чудесным образом никак не может переступить за схему «Носа». То есть:

Содержания почти нет; или — пустое, ненужное, неинтересное. Не представляющее абсолютно никакой важности.

Форма, то, как рассказано, — гениальна до степени, недоступной решительно ни одному нашему художнику, по яркости, силе впечатления, удару в память и воображение, она превосходит даже Пушкина, превосходит Лермонтова.

У Гоголя невозможно ничего забыть. Никаких мелочей. Точнее, у него все состоит из мелочей; за схему мелочей, за инвентарь мелочей он не умеет переступить: но они сделаны так, каждая из них сделана так, что не уступит... ну, Венере Медицейской. Все полно такой *действительности*, такого *реализма*, такого совершенства вычерченности, на котором поистине не лежит никакого упрека. Греки подписывали под статуями: «делал» (такой-то), а не «сделал», сказывая этим о недовольстве своем, о незаконченности создания. Под всем им написанным Гоголь по справедливости мог написать: «сделал Гоголь». Он сам иногда проговаривается о «последней ретуши» живописца, любит — в лирических местах — повторять о «резце художника» и «дивном мраморе, вышедшем из его рук». Это 20 какая-то безотчетная любовь к формулам, которые так выражают его суть: у него, Гоголя, везде «последняя ретушь» и не ошибающийся резец, который режет чудотворную действительность.

Но — маленькую, пошлую, миниатюрную.

Гоголь есть весь солнце в капле воды. За это определение не переступишь. Солнце — его гений, несравненный, изумительный. Но солнце это такое особенное, волшебное, чудесное, которое для отражения своего, для воплощения своего, для проявления себя миру ищет непременно капли, совершенно крошечной и непременно завалившейся куда-нибудь в навоз. Как только подобная воющая капля найдена — гений Гоголя упоен и отражается в ней во всей огромности, в чудовищности своей. Тут какой-то закон. Закон сожития или симпатии. Чем выше гений Гоголя и даже чем сильнее его пафос в данную творческую минуту, тем он отыскивает для воплощения самое что ни на есть малейшее, пошлость, уродство, искривление, болезнь, сумасшествие, или сон, похожий на сумасшествие. Ведь «Нос» буквально глава из «Записок сумасшедшего». Сами «Записки сумасшедшего», — где какой же сюжет? — изумительны. «Записки сумасшедшего» — это нить нескольких плетеных в одно «Носов».

Напротив, все большое, крупное, — не величественное и не преувеличенное, но именно просто большое, — все здоровое, хорошее, нормальное даже не вос-

принимается им. Увидев такое, он отходит в сторону, совершенно об этом не любопытствуя. «Не чувствую запаха», — говорил он о всем, если это не падаль. Но вот сыр пармезан, из которого выползают живые черви, — и тут ноздри Гоголя широко раскрываются, а лицо выражает наслаждение и жадность. Такой сыр «пармезан» его Плюшкин, Собакевич, да и все суть степени и состояния того же пармезана. Постарше сыр — погнилее, помоложе — посвежее. Но непременно, чтобы черви ползали. Они ползают около всех этих «мертвецов», сыплются из них, из Манилова, Собакевича, Селифана, Петрушки, и, Боже мой, кого еще... Все, все — «Мертвые души»: как это удачно сказалось, как гениально определилось! И — выразилось... Пармезан, острый, пахучий, соленый, не забываемый... 10
Какой-то всплеск или выплеск из вод Мертвого озера, которое поместил же Господь Бог в самом святом месте. И у Гоголя мы ни малейше не отрицаем святых, высоких порывов, высочайшего идеализма. Но... везде ползают черви.

Позволительно это в Палестине. Отчего не случится было такому в Гоголе?

Встречается крупное — и это просто не интересовало его. Где хорош человек? Мать около люльки ребенка, жена около постели умирающего мужа; хорош человек в болезнях: мишура слетела, ложь отошла. В «Мертвых душах» никто не умирает, — кроме *двух строк уведомления* о смерти, кажется, прокурора, нигде мать не качает, не кормит ребенка. Детская, учебная комната — опять что-то правдивое, прямое. Но где этого нет? В каждом доме. Можно ли представить помещицью усадьбу без детей, учебной комнаты, без кормящей матери? 20
Ведь целое «поместье»! Но как сюда нельзя было подпустить ползающего червяка и тут решительно не пахнет пармезаном, то Гоголь просто пропустил все это мимо. Похоже на Вия.

«— Не вижу. Поднимите веки».

Но никто Гоголю не поднял век. А сам он, как и Вий же, не имел сил поднять собственных век. Гений. Судьба. Никто через судьбу свою не переступит, и гения, как и горба, никто не сбросит с себя, даже замученный им.

Гоголь представляет, может быть, единственный по исключительности в истории пример *формального гения*, т. е. устремленного единственно на форму, способного единственно к форме, чуткого единственно к форме, в ней одной, до известной степени, всеведущего и всемогущего. И — без всякой чуткости, без всякой мощи, без всякого ведения о содержании, о мысли, о «начинке». Известно, что Гоголь всю жизнь поучал. Поучал даже собственную мамашу, еще когда был гимназистом. По в чем состояли его поучения? «Становитесь добродетельнее и слушайте божественную литургию». Это он в юности говорил и дальше того не пошел. Его слова в описаниях о «неподвижном воздухе», о том, как жаворонок «недвижно парит в синеве неба», и то, что он никогда не описал плывущих по небу облаков, и это небо всегда у него однообразно-синее, — как-то выражает суть его гения. И в людях он не описал ни одного движения мысли, ни одного перелома в воззрениях, в суждении. Все «недвижно»... 30
Наведет зеркало и осветит человека, изумительно осветит, — как никогда и никто не умел. Но и только. Дивный телескоп его глаза поворачивается к другому предмету, все по типу «обозрения инвентаря», следуя каталогу или словарю: а о первом предмете и он сам забыл, и читатель не помнит иначе, как только о фигуре, и во всяком случае этот освещенный человек ни в какую связь и ни в какое отношение не входит с другими фигурами. Будьте уверены, что Селифан и в следующей главе 40

опрокинет бричку, если вообще о нем будет упомянуто; Гоголь как заставил его раз уронить бричку, — и гениально уронить, — так и остановился на этом: больше ничего с ним не может сделать. И вышел из Селифана специалист по опрокидыванию бричек, — вещь довольно узкая и сухая. «Уж так Господь Бог создал», — отшучивается или отшутился бы Гоголь. Но, оказывается, и все другие у него такие же специалисты: Плюшкин по скупости, Собакевич по грубости, Манилов по слащавости. У Собакевича оказывается в «специалистах» даже и мебель.

«Чичиков еще раз оглянул комнату и все, что в ней ни было, все было прочно, неуклюже в высшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома: в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах — совершенный медведь; стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич». В клетке сидит птица. Чичиков вглядывается:

«Дрозд темного цвета, с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича»...

— Ну, это уж слишком, — скажет читатель. Но я его поправлю.

— Почему же слишком? Разве есть женщины, похожие на Афродиту Милосскую? Но все живые женщины, какие ни есть, со своей жизнью, со своею действительностью, не сотворили того впечатления, того облагораживающего, возвышающего влияния, какое сделал и делает вторую тысячу лет этот недвижный, бездушный мрамор. Так еще бездушен ли он по этой силе своего действия, нет ли тайной особой души в формальном начале, в простых, бледных, бесцветных формах? Они бессодержательны, но прекрасны. Снимите самые верные портреты с живых женщин, пусть их рисуют Брюлов, Иванов, Репин, Серов: человечество, на минуту взглянув на них, пройдет мимо и не задумается, не вспомнит, не воспитается и не разовьется в них. А на Афродите Милосской воспитываются: об этом сказали нам Тургенев и Глеб Успенский, такие несходимые люди, несходные в направлении, во всех взглядах! И сказали через 2000 лет после того, как неизвестный художник сделал резцом это холодное тело. Гоголь делал подобное же. Афродита Милосская не думает, не желает. Она стоит. В ней нет даже смотрящего зрачка. Она вся недвижна, вот как воздух у Гоголя. И так же и лица у Гоголя не думают, не желают, если не считать покупку мертвых душ, что можно счесть за предлог, за повод и придирку к написанию поэмы, вроде «потери носа» для 25 страниц другого рассказа. У Гоголя нет нигде мысли, никакой, но у него есть то, что в искусстве гораздо выше мысли — красота, оконченность формы, совершенство создания. Здесь он недосыгаем и его никто не превзошел. И как Афродита Милосская воспитывает и научает, так и Гоголь... потряс Россию особенным потрясением.

Гл. Успенский, грубоватый, простой человек, записал, однако, о греческой статуе: «Она *выпрямляет* каждого, кто на нее долго смотрит»... Возвращает к норме, к естественности, к Эдему, к Богу. «Стало легче, и я выпрямился», — говорит бедный человек, европейский человек XIX века, взглянув на греческий мрамор.

Не надо комментировать, что Плюшкин действует совершенно иначе:

«Бедные мы люди! Жалкие мы люди! Как ужасен вид человека!» — заговорили обыкновенные, простые, хорошие люди, заговорили Ростовы и Болконские, Гриневы и Ларины, все обыкновенное, все действительное.

Под разразившейся грозой «Мертвых душ» вся Русь присела, съежилась, озябла... Вдруг стало ужасно холодно, как в гробу около мертвеца... Вот и черви ползают везде...

«— Неужели так ужасна жизнь?» — заплакала Русь.

Чудищами стояли перед нею гоголевские великаны-миниатюры; великаны по вечности, по мастерству; миниатюры потому, что собственно все без «начинки», без зрачка, никуда не смотрят, ни о чем не думают; Селифан все «недвижно» опрокидывает брочку, а Собакевич «недвижно» глядит на дрозда, который обратно смотрит на Собакевича. Все в высшей степени похоже на «Нос»: не о чем рассказать, ничего нет, а между тем вся Русь заметалась, ушибленная, раз-¹⁰давленная.

«Как тяжело жить! Боже, до чего тяжело жить!».

Гоголь, — так-таки решительно без мысли, не только у героев своих, но и у себя, если не считать «Размышлений о божественной литургии» и писем к калужской губернаторше Смирновой, — толкнул всю Русь к громаде мысли, к необычайному умственному движению, болью им нанесенною, ударом, толчком. Сейчас за ним пошли не формальные, слабые, глиняные, сравнительно антихудожественные Рудины, Лежневы, Базаровы, пошли Рахметовы и Кирсановы, выбежал Чернышевский, выскочила «Вера Павловна» (в «Что делать?»): все это —²⁰ слабо, ничтожно, все не изваянно. Но вот в чем суть: все думают, все *стараются* думать. Вся Русь «потянулась из жил», чтобы убежать от мертвых червяков Гоголя. Куда бежать?

— Там бессмысленное!

— Побежим к мысли!

В этом *суть*. Суть, что нет, не было мысли. Не то, чтобы в действительности ее не было: ведь были ну хоть декабристы, был ранее уже Новиков, был Радищев. Но Гоголь с чудовищной силой так показал Русь Руси. Афродита Милосская затмила живых женщин, Плюшкин задавил своего *современника* Чаадаева. От Чаадаева косточек не осталось: и Русь, читая «Мертвые души», не *вспомнила* даже, что Чичиков вместо Манилова *мог бы попасть в деревню* Чаадаева или Герцена,³⁰ Аксаковых или Киреевских, мог заехать к Пушкину или друзьям и ценителям Пушкина. Громада Гоголя валилась на Русь и задавила Русь.

— Нет мысли! Бедные мы люди!

— Я буду мыслителем, — засуетился Чернышевский.

— Я тоже буду мыслителем, — присоединился «патриот» Писарев.

Два патриота, и оба такие мыслители. Стало полегче:

— У нас два мыслителя: Чернышевский и Писарев. Это уже не «Мертвые души», нет-с, не Манилов и не Петрушка...

Всем стало ужасно радостно, что у нас стали появляться люди чище Петрушки и умнее Манилова. «Прочь от „Мертвых душ“» — это был лозунг эпохи. Уже⁴⁰ через 10—15—20 лет вся Русь бегала, суетилась, обличала последние «мертвые души», и все более и более приходила в счастье, что Чернышевский занимался с гораздо лучшими результатами политической экономией, нежели Петрушка — алгеброй, а Писарев ни малейше не походил на Тентетникова, ибо тот все лежал («специальность»), а этот без перерыва что-нибудь писал.

— Убыло мертвых душ!

— Прибыло души, мысли!

Так как в Гоголе самом не было никакой *определенной* великой мысли, как он толкнул Русь вообще не мыслью, не идеями, а изваянными образами, то движение, от него пошедшее, и не начало слагаться в кристаллы мысли, не приобрело правильности и развития, а пошло именно слепо, стихийно, как слепа и стихийна вообще область красоты, эстетическая.

— Дальше от гоголевского безобразия...

— Но *куда* дальше, *как* — никто не знал. Рельсов не было. Был туман, в который двинулась Русь и в котором блуждает она и до сих пор. Все бегут от прошлого, но *куда* бежать — никто не видит.

- ¹⁰ Гоголь страшным могуществом отрицательного изображения отбил память прошлого, сделал почти невозможным вкус к прошлому, — тот вкус, которым был, например, так богат Пушкин. Он сделал почти позорным этот вкус к прошлому, к изжитому; и кроме, кажется, Герцена, да декабристов, стало неприличным чем-нибудь интересоваться в прошлом или говорить о чем-нибудь без усмешки, без иронии, без высокомерия. Все «мертвые души» не так хлопотливые, как Писарев, и не так блещущие талантом, как Чернышевский. Ну, ведь даже «Философические письма» Чаадаева многие ли *лигно* читали из образованного общества, а не знают только понаслышке? много ли из образованных людей *по-настоящему* знают даже Герцена? Пушкин, как известно, лет на тридцать был совершенно забыт: «мертвая душа», которую вышвырнул из сознания общества преуспевающий Писарев. Так как Гоголь кроме поучительного: «совершенствуйтесь в добродетели» и «любите свое отечество» ничего не имел по части идей, то вообще под давлением его авторитета общество страшно идейно понизилось, измельчало, в то же время вечно возясь с книгами и занимаясь книжными темами, чтобы не походить на Чичикова. Если бы Гоголь завещал великую идею, если бы в его «Переписке с друзьями» промелькнула хоть ниточка глубокомыслия Паскаля, психологичности Паскаля, метафизичности Паскаля, как это выразилось в его «Pensées» *, — общество, читатели невольно поднялись бы, восприняв и начав развивать дальше эту мысль. Но что же извлечешь из «Носа», из неудачной ре-
²⁰ визии «Ревизора», из скупки мертвых душ? Нечего извлечь. И Русь захохотала голым пустынным смехом... И понесся по равнинам ее этот смех, круша и те из-бенки на курьих ножках, которые все-таки кое-как стояли, «какие нам послал Бог», по выражению Пушкина (в письме к Чаадаеву). И этот дикий безыдейный
³⁰ хохот, — сколько его стоит еще на Руси!

〈Л. Н. ТОЛСТОЙ О ЮБИЛЕЕ ГОГОЛЯ〉

- В «Рус. Слове» напечатана беседа сотрудника газеты с Л. Н. Толстым об юбилее Гоголя. Попутно Толстой высказал и общие мысли свои о великом юмористе и бытописателе нашем. К чествованию столетия со дня рождения Гоголя Толстой отнесся отрицательно и даже с великим негодованием, «как относился и к своему юбилею». Он сказал:

* «Мысли» (фр.).

Я не могу сочувствовать этому чествованию, так же как не могу сочувствовать своему, так как не могу приписывать вообще искусству того значения, которое принято приписывать ему в нашем так называемом высшем, но в действительности низшем по нравственному складу обществе. Поэтому, по моему мнению, если бы каким-нибудь чудом провалилось и уничтожилось все то, что называется искусством, художеством, то человечество ничего бы не потеряло. Если бы оно лишилось каких-нибудь хороших произведений, то зато избавилось бы от той ужасной и зловредной дребени, которая теперь неудержимо распространяется и заливаает его.

Взгляд известный и никого не трогающий. Искусство есть уже в детских играх. Хотел ли бы Толстой остановить всех детей, превратить детский играющий мир в монотонную школу протестантского типа? Но и все человечество, к счастью, похоже отчасти на детей, и с искусством оно проводит самые светлые свои часы. Интереснее его мысли о творчестве Гоголя, о влияниях на него, и вообще о всей его загадочной личности:

Гоголь — огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум.

Отдается он своему таланту, — и выходят прекрасные литературные произведения, как «Старосветские помещики», первая часть «Мертвых душ», «Ревизор» и в особенности — верх совершенства в своем роде — «Коляска». Отдается своему сердцу и религиозному чувству, — и выходят в его письмах, — как в письме «О значении болезней», «О том, что такое слово» и во многих и многих других, — трогательные, часто глубокие и поучительные мысли. Но как только хочет он писать художественные произведения на религиозно-нравственные темы или придать уже написанным произведениям несвойственный им нравственно-религиозный поучительный смысл, то выходит ужасная, отвратительная чепуха, как это проявляется во второй части «Мертвых душ», в заключительной сцене к «Ревизору» и преимущественно в письмах.

Происходит это оттого, что, с одной стороны, Гоголь приписывает искусству несвойственное ему высокое значение, а с другой — еще менее свойственное религии низкое значение церковной веры и хочет объяснить это воображаемое высокое значение своих произведений этой церковной верою. Если бы Гоголь, с одной стороны, просто любил писать повести и комедии и занимался этим, не придавая этим занятиям особенного, гегельянского, священнослужительского значения, и, с другой стороны, просто признавал бы церковное учение и государственное устройство как нечто такое, с чем ему незачем спорить и чего нет основания оправдывать, то он продолжал бы писать свои очень хорошие рассказы и комедии и при случае высказывал бы в письмах, а может быть, и в отдельных сочинениях свои часто очень глубокие, из сердца выходящие нравственно-религиозные мысли. Но, к сожалению, в то время, как Гоголь вступил в литературный мир, в особенности после смерти не только огромного таланта, но и бодрого, ясного, не запутанного Пушкина, царствовало по отношению к искусству — не могу иначе сказать — до невероятности глупое учение Гегеля, по которому выходило то, что строить дома, петь песни, рисовать картины и писать повести, комедии и стихи представляет из себя некое священнодействие, «служение красоте», стоящее только на одну ступень ниже религии, — служение, продолжающее иметь значение даже и после того, когда религия уже признана чем-то отжившим и ненужным.

Со всем этим можно спорить, но это во всяком случае интересно. Перечитывая «Переписку с друзьями», Толстой отмечал по пятибалльной системе, принятой в гимназиях, «успехи и поведение» морализующего Гоголя, т. е. насколько тот «преуспевал» в тех идеалах и заповедях, какие Толстой, взяв в урок себе, хотел бы навязать целому миру. Приведем некоторые из этих любопытных отметок, выставленных Толстым под отдельными «Письмами» Гоголя:

Женщина в свете — 5. Значение болезней — 5+. О том, что такое слово — 5+++.
 О помощи бедным — 2. Об Одиссее — 1. Несколько слов о нашей церкви и духовенстве — 0. О том же — 0. О лиризме наших поэтов — 1. Споры — 4. Христианин идет вперед — 5. Карамзин — 1. О театре — 5. Предметы для лирического поэта — 5. Советы — 5+. Просвещение — 0+. Нужно любить Россию — 1. Нужно проездиться по России — 1. Что такое губернаторша — 0+. Русский помещик — 0. Исторический живописец Иванов — 1. Чем может быть жена для мужа — 1. Страхи и ужасы России — 4. Близорукому приятелю — 5. Занимающему важное место — 1. Чей удел на земле выше — 5 за начало, до слов: «последний нищий». Напутствие — 1. В чем существо русской поэзии — 2. Светлое Воскресенье — 1. Письмо к Россети — 3. О «Современнике» — 2. Авторская исповедь — 1.

И здесь, как в отметке «1» за письмо «Об Одиссее», сказало же упорное непонимание поэзии, какое Толстой выразил в своих статьях о Шекспире. Вообще Толстой игнорирует церковь, поэзию, литературу, историю (отметка о Карамзине). Но всем этим выгнанным из его кабинета-кели музам не может быть вместе скучно, не может быть и опасно: ибо церковь будет поддержана поэзией, поэзия церковью и все они подопрут историю.

НИК. НИК. БАХМЕТЕВ (Некролог)

Скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг *Николай Николаевич Бахметев*, старый журналист и знаток нашего нефтяного дела, писавший в «Нов. Врем.» под псевдонимом «Статистик». В возрасте 62 лет он давал впечатление человека совершенно еще свежего, полного сил и энергии, без малейшей усталости и утомления, и никто из знавших его не мог ожидать подобной скорой развязки с жизнью. Покойный окончил курс в училище правоведения, затем слушал лекции в университете; а практическая его деятельность выразилась первоначально на службе в главном управлении коннозаводства, где он был корреспондентом. Оставив эту службу, он жил затем несколько лет в своем имении, в Харьковской губ., где занимался сельским хозяйством. Но жизнь совершенно частного человека не могла удовлетворить его; его тянули к себе общие интересы родины, манила умственная жизнь столицы, и мучительная, и кипучая. В 1880 году мы видим его в Москве, где он принял видное участие в основании журнала «Русская Мысль» и был деятельным сотрудником В. М. Лаврова, исполняя обязанности секретаря редакции и разделяя с редактором тяжелую журнальную работу. Среди этой кипучей работы в журнале, занявшем быстро самое видное положение в нашей радикальной журналистике, он находил время отдавать свои заботы отдельным изданиям. Так, им было сделано великолепное издание нашумевшего в свое время критического этюда Громеки: «Последние про-

изведения гр. Л. Н. Толстого», где впервые под иносказательной формой были изложены в позвольительных тогда границах «Исповедь» нашего религиозного искателя и вообще его религиозные идеи. Из Москвы Н. Н. Бахметев отправился в Сибирь и здесь прожил около семи лет, преимущественно в Иркутске. По возвращении в Россию, он поселился в Петербурге. Последние годы он работал в «Нов. Времени». Его статьи по нефтяному вопросу, исполненные знания этого дела, принимались с большим и невольным вниманием общественными и государственными деятелями, как исполненные беспристрастия и стоящие на почве исключительно государственного интереса, далеко не совпадающего с хищными личными происками могущественных промышленников и дельцов. Благодаря статьям «Статистика», — псевдоним Н. Н. Бахметева, — законопроект министерства государственных имуществ о торгах на нефтяные земли был отвергнут Г. Думою. Работая много лет над положением нефтяного промысла в России, Н. Н. Б-в заканчивал уже обширное и обстоятельное исследование о нем, прерванное неожиданной кончиною.

Не ограничиваясь нефтяным вопросом, Ник. Ник. в качестве корреспондента «Н. Вр.» ездил в Царство Польское и по Волге для исследования местного хозяйства. Эти поездки также дали ему материал для весьма ценных статей. Практическая деятельность и ближайшее знакомство с трудовою Россиею весьма повлияли на мирозерцание покойного, постепенно передвинув его от радикальных воззрений молодости, которыми он был проникнут в пору основания «Русской Мысли», к более спокойному созерцанию трезвого русского человека. Не углубляясь в идейные и политические споры, он отходил от них, как от чего-то мешающего практическому улучшению всех русских дел, мешающего спокойной русской работе и русскому благосостоянию. В то время, как увлекающиеся русские уходят в туманы разных выпренности и теорий, практические инородцы и чужестранцы отбирают у русских из-под носа одно дело за другим, вытесняют русских с собственного их места, прогоняют от собственной их работы, а через это лишают и собственного их хлеба, оставляя им крохи и объедки со своего богатого стола. К этому некрасивому положению привел русских их старый, ввевшийся в них космополитизм. Никому это не может быть так видно, как изучающему русскую промышленность, и особенно такое дело, как нефть, от которого совсем оттерты русские люди. Вот простая почва, на которой вырос крепкий национализм Н. Н. Бахметева. Товарищи любили в нем ясный ум, совершенно простой характер, хорошую товарищескую натуру. Мир твоему праху, скромный русский труженик.

К. И. ЧУКОВСКИЙ О РУССКОЙ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ

Большой демократический зал Соляного городка полон народа; почему-то много военных есть, но не преобладают студенты и курсистки и вообще читающий люд всех слоев и ярусов, положений и классов, всех возрастов, от дряхлого до отроческого. Я отыскал свой стул и сел. Люблю я этот зал, с его простотой,

учебностью, серьезностью. В нем нельзя дать концерта, — «не идет». Зато для чтения, умного, идейного, нельзя выбрать лучшего места.

Высокий-высокий тенор несется под невысоким потолком; если опустить глаза и вслушиваться только в звуки, можно сейчас же почувствовать, что это не русский голос, не голосовые связки русского горла. Из ста миллионов русских мужиков, из десяти миллионов русских мещан и уж, конечно, ни один «господин купец» и ни который «попович» не заговорят этим мягким, чарующим, полу-женственным, нежным голосом, который ласкается к нашей душе, и, говоря на весь зал, в то же время имеет такой тон, точно это он нам одному шепчет на ухо...
 10 «Те не поймут, но вы поймете меня...». И слушателю так сладко, что лектор его одного выбрал в поверенные своей души, и он совершенно расположен действительно верить не то очень искусному, не то очень талантливому чтецу.

Я поднимаю глаза, чтобы рассмотреть, кто это говорит. Лектор читает не сидя, а стоя, — и вы в ту же секунду чувствуете, как к нему не шло бы сидеть. Ничего грузного, квадратного или круглого, как у настоящих русаков, нет в этой фигуре. Она вся линейная, удлинённая, но не неприятно удлинённая, а, напротив, очень грациозна. Это не то, чтобы «вытянулся вверх» неестественным ростом человек, отчего получается «дылда», некрасивая фигура, которою несчастным образом бывают иногда наделены русские; нет, он естественно сжат, узок
 20 и вместе с тем нисколько не сух. То опуская глаза к тетради, то подымая их на публику, он в высшей степени естественен в своей грации, до того занят темой чтения, что, кажется, забыл и о публике, и о себе. Нервным движением он составил стул, все-таки для чего-то торчащий позади него, около него, с возвышения кафедры на пол. Это оттого, что он не стоит на кафедре, как монумент, как колонна, — способ чтения стоя русских чтецов, — а хоть незаметно, но постоянно движется на кафедре, движется изгибом, выгибом, торсом, тогда как локти поставлены на конторку кафедры. Но какое соответствие между голосом и человеком. Если голос нас чарует, то человек нас манит. Темный томный брюнет, точно опыленный углем, он весь вместе маслянится, и если бы я не боялся некрасивых
 30 сравнений, — я нашел бы в нем сходство с угрем, черной змееобразной рыбкой финских вод, которую, взяв вилкою, буфетный посетитель поднял из тарелки с маслом... Масло так и блестит, а угорь черен. В буфете это не очень красиво, но в человеке, на чтении, перед огромной, замершей во внимании аудиторией, очень красиво. И я всеми инстинктами души чувствую, что читает или, точнее, говорит сильный оратор, сильный вообще человек, с удачей, с большими надеждами в будущем, с хорошей судьбой в будущем, но все это как-то «для себя», для чтеца, а отнюдь и не для публики, до которой интимно ему дела нет, ни для города, в котором он читает; ни для страны, в которой он читает.

Все это ему глубоко не нужно. Как для граммофона не нужна та ария, которую он играет. Для граммофона, для рояли и, вообще, для всякого инструмента, кроме, может быть, таинственной скрипки. Но Чуковский — не скрипка. Это — хорошо выделанный инструмент «для самого себя», литератор той чистой воды, где литература совершенно отделилась от жизни, не нуждается в ней и чуждается
 40 ее, и остается просто прекрасным словом, прекрасною мыслью.

Вслушиваюсь, о чем читает лектор.

«...И вот тещи бегут, бегут...». Им встречаются канавы, рытвины, еще что-то встречается: автор подробно не только перечисляет, но картинно описывает пре-

пятствия, встреченные старухами и полустарухами в неистовом беге. Что такое? Наконец, смысл выясняется. Автор подробно, сочно, со вкусом передает одну из картин кинематографа, под именем «Бег тещ», где представляется состязание на приз этих несчастных женщин, а приз — замужество дочери. Слушатели умной аудитории Соляного городка, — из которых едва ли кто-нибудь не находится в положении зятя, тещи, замужней женщины, или не имеет этих лиц в родстве своем, — все улыбаются, посмеиваются, и смех дружно подымается по залу, когда лектор говорит особенно удачную остроту или приводит особенно яркое сравнение. А лектор не скупится на яркость; тусклых красок он не выносит, и у него все блестит, как блестит и он сам. Чему же тут смеяться? Старуха-мать устраивает судьбу дочери, — возможной на завтра сироты. Если этому смеяться, — можно начать смеяться тому, что домохозяин хлопчет об отдаче квартир жильцам, что молодой человек заботится о должности, что рабочий ищет работы и, наконец, можно даже начать смеяться тому, что птица вьет гнездо и собирает с таким усердием кусочки соломы, прутьев и комочков сухой земли. Все устраиваются, все устраивается; и благодетельною природою, в обеспечение размножения каждого следующего поколения, вложен этот необходимый инстинкт в стареющее поколение, по которому оно не хочет умереть раньше, чем его дети совьют свое гнездо и начнут в нем новую свою семью. Этот инстинкт старости есть, так сказать, вспомогательный аппарат в том сложном механизме, в той сложной системе организации и психики, в каковой природа выразила, закрепила и обеспечила неумираемость жизни на земле. Все «слава Богу», — скажет мудрец, взглянув на «бег тещ». «Слава Всемогущему Создателю», — вот и все. Владелец кинематографа, конечно, выразил плоскую душу, куриный ум, что допустил себя посмеяться над таким инстинктом природы. Он и г. Чуковский, точно и очень сочно передавший картину кинематографа, — так сочно, что и трудиться ходить в кинематограф нечего: лекция совершенно заменяет кинематограф.

Повторяю, г. Чуковский до последней подробности передал картинку, и на описание ее у него ушло больше минут, чем сколько минут смотрится эта одна картинка.

«Кто же смеется этой картинке?» — спрашивает довольно неожиданно лектор. Думаешь про себя, что смеются те же люди, которые улыбаются при подробностях картинке теперь, на лекции. «Обезьяны», — отвечает лектор, — гориллы, папуасы. Это совершенно дикие люди, с низменными, грубыми инстинктами, с плоскими, пошлыми душами...

И дальше все, как у Саванароллы.

От смеха к негодованию, от очень искреннего смеха к очень горячему негодованию переход резок и сладок. Эта как закал стали: в огне ледяной воде. Упоенная публика захлопала:

— Бис! Bravo!

— Bravo! Bravo!

Ну, бис не кричали, ибо нельзя же «повторять номера» на лекции, но впечатление и восторг впечатлительных только и можно сравнить что с публикою в опере, которая кричит бис тенору или сопрано.

Но лектор умен. Он только очень молод, но резко умен и резко талантлив. Он высказал, действительно, новую мысль, что синематограф, который теперь показывает свои чудеса в каждой грязной улице, показывает их в лачугах, в сараях,

за 20-копеечную плату, — является, в сущности, целою литературой, где только не рассказываются, а показываются сложные фабулы, целые истории, где картинки имеют свои темы и свое поучение. «Целая самостоятельная литература», — и вы, конечно, соглашаясь, удивляетесь уму и меткости лектора, который заметил то, чего никто не замечал. «Эта литература, и она достойна изучения», — заключает лектор, и вы снова соглашаетесь и удивляетесь, как вам в 50 лет не пришло на ум того, что пришло этому молодому человеку приблизительно в 29—28 лет, ибо он даже без бороды и, по-видимому, не бреется, — совсем юный.

10 Лектор исчисляет сюжеты синемаатографа, — действительно, один пошлее другого. Он сводит вас на дно моря, — показывает чудеса морского дна, но вот одна раковина раскрывается там, и из нее выходит кокотка в лиловом. Показывает что-то из звездного мира, — и опять кокотка только в розовом. Т. е. это не лектор показывает, а кинематограф, а лектор только сочно и картинно рассказывает. Но лед и пламя опять сменяются. «И вот, господа, — гремит Чуковский-Саванаролла, — техника дала человеку средство представить небо и преисподнюю, море и звезды, и человек ничего не нашел здесь интереснее кокотки».

Поразительно и верно.

10 «Кто это все смотрит? Дикари, выродки»... Речь гремит дальше, и вы слышите то, что, может быть, в горьких думах уже десяток лет шепчете себе: «Эта публика кинематографа, которая потрясается от смеха, глядя на бег тещ», — что она бы почувствовала, если бы Сам Христос вторично пришел на землю и стал произносить все те же чудные слова...

Верно...

Публика кинематографа поглотила все, растворила все. Так поглотила она на наших глазах Ницше... Теперь какой-нибудь захолустный секретарь управы, поднося рюмку ко рту, цитирует: «Так говорит Заратустра».

30 Аудитория громко рассмеялась. Слушатели соглашались с лектором. И вот что замечательно: никто от его слов не огорчился, не затосковал... как в кинематографе. И было ясно, физиологически ясно, что лекция, такая блестящая с виду и по наружному успеху, представляет собою только дальнейшую картинку кинематографа же, следующую его картинку, с сатирическим, но не бьющим по сердцу содержанием.

Никто из публики, ни один человек не взволновался, не был смущен. Это было заметно и во время антракта, когда говорили о теме чтения не больше и не горячее, чем о других житейских темах, о предметах дня. Между тем лектор не скупился на эпитеты. Дробь их сыпалась на публику, — и, принимая во внимание очевидное сходство публики кинематографа с публикой на чтении, было удивительно, почему никто не обижается на явную и чрезвычайно грубую брань. Лектор оскорбляет, и публика не оскорбляется. Не удивительно ли? Лектор мо-
40 лод, публика возрастом гораздо старше его. И, может быть, многое знала, что ровно 68 лет тому назад великой поэт сказал об этой теме как о чем-то для его времени уже давнем, старом, изношенном:

Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг,
Все в небеса неслись душою...

(Лермонтов — «Журналист и писатель»)

И Чуковский, как Бенедиктов, повторил эту вечную тему. Да не говорил ли уже и Христос о том, что некоторая земля бывает каменная — и не принимает зерна, другая — «сорная», третье зерно падает при дороге, и птицы расклеивают его. Вот какая давняя эта тема. И на жалобу Чуковского, что «публика кинематографа не приняла бы Христа», — эта публика могла бы рассмеяться и ответить: «Но ведь, Корней Иванович, и 1900 лет назад публика тоже не приняла Христа. И даже рассердилась и распяла, чего мы все-таки не сделаем».

Что такое произошло?

С чувством большой новизны, Чуковский прочел давно известную всем вещь, — и выбрал «толпу», которую решительно никогда и никто не хвалил. Это в главной, основной теме своего чтения. Но отчего публика не взволновалась, не оскорбилась, не смутилась, и вообще осталась так безучастна к теме чтения, как большая река, которая катится в берегах и мало волнуется девушкой, грустящей на ее берегу, и даже утопленником, который в ней топится от горя. Когда в антракте я гулял в этой шумящей толпе и когда после лекции я увидел лектора в этой же толпе одевающим пальто, я почувствовал, что лектор и толпа совершенно неотделимы друг от друга, что они — мы же, только мы были в положении слушателей, а он — в позе читающего, но могло бы и быть и наоборот; с таким же успехом или неуспехом. И толпа просто самую массу превосходила чтеца; именно как река утопленника, и в ней... была какая-то правота этой массы, этого «многого», этого «большого»... Как в механике масса много значит, так она значит и в обществе, цивилизации истории. «Нельзя смеяться над массой»; «глас народа — глас Божий» благочестиво сложил народ о себе. Масса всегда права, просто потому, что она велика, и можно сказать некоторую защиту публике кинематографа. Попробую:

— Таскаемся в кинематограф, как притащились на вашу лекцию. И не воображайте, что в кинематографе мы были больше увлечены, чем на вашей лекции. Нет... И там, и здесь мы не были серьезны. Это вообще не серьезные минуты нашей жизни: это не значит вовсе, что мы гориллы или папуасы. Сюда пришли и туда ходили и ходим, и будем мы ходить по усталости, от усталости, от тех серьезных тем жизни, которыми мы заняты в неподсмотренные вами минуты, часы, сутки и недели жизни. Вы вообразили и пересказываете нам все же дело так, как будто мы днюем и ночуем, как в кинематографе, тоскуем по нем и захлебываемся от радости, когда смотрим картинки, что это — душа наша, жизнь наша. Но это ваша иллюзия, мы бываем, да и то не все, по разу в месяц, и уж самое большее — по разу в неделю. Два часа в неделю. Вы не измерили и не спросили себя, чем же мы заняты еще 22 часа суток, а в неделю $22 \times 7 = 154$ часа, при ежемесячном же посещении $22 \times 30 = 600$ часов. Но и это не все, повторяю не все: множество из толпы бывает в кинематографе не чаще раза в год, двух раз в год. И что за младенчество: пойти в кинематограф, увидеть, что все лавочки заняты, и закричать наподобие Иеремии: «Погиб народ мой, погиб Иерусалим». Явно, что все лавочки заняты, но на всех-то лавочках сидит 60 человек, а на Гороховой улице, где стоит один кинематограф, живет 10 000 человек. Согласитесь, что 60 человек из десяти тысяч человек, — уже не так прискорбно. Ну, вот и вы были в кинематографе, и, судя по вашему чтению, пересмотрели чуть ли ни все картинки. Не будем ежиться и ломаться, и, признайтесь, вы ходили туда не для одной же лекции, не собирая для нее сюжеты. Правдоподобнее, что сюжет мелькнул потом, что вы,

сидя и сидя перед картинками, догадались: «Ба, да ведь эта целая литература», и решились это сделать предметом особого чтения. Но пока все это пришло вам на ум, вы попросту, по-нашему, ходили для удовольствия, небольшого, не крупного, — но, однако, чудовищно, схватив вас за шиворот, начать на весь Петербург: «А, попался!». Известный критик с идеями, с сатирою, — а потихоньку сам сидит себе и смотрит «Бег тещ». Вот как они *проводят* жизнь, гг. литераторы, и чем *наполнена* душа у этих умников, — кинематографом. Мы это с вами не сделали, а вы с нами это сделали и подняли шум и скандал по удивительному младенчеству ума своего: кто же судит о человеке по удовольствиям. Этак пришлось бы биографу Грановского начать свое повествование словами: «Был в Москве, в 40-х годах, известный картежник Тимофей Николаевич Грановский, который, к позору министерства народного просвещения, был допущен читать лекции истории в московском университете. Вот каковы были тогда нравы». Согласитесь, что такое савонарольство никак не может тронуть публики. Не затоскуют и не расплачутся, и просто потому, что это ложно. Вы — писатель, хоть и молодой, и вполне серьезный и дельный человек, и никто решительно вас не осудит за то, что, устав за серьезною литературною работою, за темами возвышенными и идейными, вы вечером пошли «размять ноги» на улице, и, увидев освещенную разноцветными фонариками вывеску «*Кинематограф*», завернули туда, и за двадцать копеек весело смеялись всяким глупостям и пустякам, какие там показывали. Кинематограф — это современный «Петрушка», не более, но и не менее. Вы и новы, и не новы со своим замечанием, что это «новая область литературы, еще не отмеченная историею ее»: есть целые исследования, написанные о «театре марионеток», о глупостях и фарсах по теме и сюжетам не выше кинематографа. Это, конечно, литература, но *народная литература*, с ее первобытностью, незатейливостью, немудреностью. История и критика кинематографа, чем мы занялись, — это продолжение истории «Петрушки» и продолжение истории «лубочных картинок», чем занимались серьезнейшие ученые, но ни одному из этих ученых и в голову не пришло именовать простой люд, сочинявший лубочные картинки и любовавшийся ими, гориллами, обезьянами, выродками, идиотами. Вы первый употребили эти жестокие названия в отношении к простому народу, к городскому народу, и тут сказала не только ваша молодость и неопытность, но и глубокое отчуждение от народа, отсутствие всякого *родства* с ним, а отсюда и отсутствие какого-либо *постыжения* его, т. е. народа. Вы — кабинетный литератор, совершенно чуждый духа жизни. В строгой, благочестивой и гениально работающей Англии член парламента или ученый, идущий по улице Лондона, не преминет остановиться на четверть часа, если ему встретится «Петрушка», и вместе с толпою уличных зевак смотрит на эту незатейливую забаву. Вот народное чувство, вот народные связи. Кто любит и уважает труд народный, тот не может не любить и не уважать также и отдых народный. А уважение у живого человека выразится в том, что он и сам пойдет сюда, посмотрит здесь, посмеется со всеми и заплатит свои двадцать копеек. День-деньской умаешься за перепиской бумаг, со составлением и проверкой счетов, за отпуском товаров, за писанием статей и книг, — и к вечеру пойдешь именно размять ноги, разогнуть спину и отдашь сюжетами именно таким, которые не имеют ничего общего с вашими длинными, т. е. постоянными, главными сюжетами вашей мысли и вашего труда. Кинемато-

граф показывает не то, чем люди заняты, — как вообразили вы наивно, — но именно то, чем *люди не заняты*, ибо кинематограф есть развлечение. В старое время, целый XIX век, люди развлекались картами, пасьянсом. Помните, как «винтили» все, т. е. играли в винт. Это было что-то вроде общественного запоя, который держался 25 лет. За картами просиживал ночи не только благородный Грановский, но им отдавал досуги и гениальный Пушкин, — и со страстью отдавал. Между тем содержательность пасьянса или игры в винт еще гораздо меньше содержательности кинематографа. Наконец, если вы знакомы со всемирным эпосом, вы должны были обратить внимание на то, что царевич Наль, муж благородной Дамаянти, проиграл свое царство в *кости*. Игра в кости не содержательнее кинематографа. Нужно поблагодарить изобретателей его, составителей картинок и владельцев кинематографических заведений за то, что они дали народу это совершенно безвредное удовольствие, не разорительное, не горячащее, не страстное, не задорное, совершенно невинное, и тем спасли огромную усталую толпу от удовольствий порочных и низменных. В кинематографе московская или петербургская толпа, кроме разных забавных происшествий и историй, смотрит и «Водопад Викторию», сцены американской и европейской жизни, видит морские битвы и, словом, видит очень много любопытного и великого из всемирной истории и географии. Вы в своем чтении ведь злостно подобрали картинки и выпустили из них много благородного и поучительного. А это есть, и для чего это забывать. Но Кинематограф можно бы поблагодарить и без поучительного, просто за одну забаву и удовольствие. Только тот, кто никогда не трудился, может порицать эти забавы трудового класса. Наконец, все это можно кончить, сославшись на один рассказ у Диккенса. К сожалению, забыл заглавие. Его я читал в пору своей учительской службы, и он был для меня целым педагогическим откровением. Именно, меня поразил тоскливый, понурый, скучающий вид наших гимназистов, и я задавал себе вопрос: «Что же могут воспринять из света учения эти как бы убитые в самих себе души». И вот рассказ Диккенса. В маленький английский городок приезжает балаган-цирк. С этого начинается рассказ, серьезную часть которого составляет история маленького заброшенного мальчика, которого дядя или тетя отдали в местную строгую школу, с ее томительными воспитателями и томительными учителями. Меня поразила и на десятилетия запомнилась сцена, как два школяра «с убитою в себе душою» «жадно смотрят в щель забора, за которым скрываются чудесные цирковые лошади, — ничего не видят в щель, но Диккенс замечает о их маленьких душах, о их жадных глазенках, «до чего им хотелось бы увидеть, если не целую лошадь, то хоть *копыто и как оно подковано* у этой чудодейственной лошади, которая умеет даже танцевать». Чепуха. Да. Но трогает до слез. Таков и весь кинематограф, если его связать со всеми обстоятельствами жизни.

Вот возможный ответ Чуковскому на его лекцию, прочитанную в Петербурге и затем в Москве, и на днях опять повторяемую в Петербурге. Кинематографа он сближает со всею текущею русскою литературою, обнимая ее с ним. Обо всем этом мы еще поговорим.

НОВАЯ КНИГА О ГОГОЛЕ

Под шум Гоголевских торжеств появилась книга — «Подвижник слова. Новые материалы о Н. В. Гоголе» нашего известного беллетриста и драматурга Ив. Л. Щеглова, которая с большим интересом прочтется всеми любителями русской литературы и почитателями удивительного и своеобразного гения Гоголя. Книга большинством статей вращается в том, что можно назвать «обстановкою Гоголя», т. е. вращается в тех подробностях быта, среды, общества и идей, тех врагов и друзей, среди которых, при впечатлении от которых Гоголь жил и писал. С богомольным чувством пилигрима автор посетил лично место, где ¹⁰ жил Гоголь, и собрал много «соринок», «мелочей» и «жемчужин», которые все дороги по связи с именем и личностью великого человека. Все это оживает под пером И. Л. Щеглова, — от того, что это есть безмерно любящее перо. Так, он посетил Калугу, где жила его знаменитая корреспондентка А. О. Смирнова и жилал он сам. Крестовый монастырь и Оптину пустынь, — всюду разыскивая воспоминания и хоть каких-нибудь остатков писем. Из воспоминаний одно разительно: рассказ одного старого актера о том, как в молодости к антрепренеру группы, в которую он поступил, явился посланный от архимандрита местного монастыря, попросивший его за цену полного театрального сбора сыграть, в глубокой тайне и без допущения кого-либо постороннего, «Ревизора» исключительно для ²⁰ монашескую братию. Пьеса была сыграна, когда весь городок заснул, после 12 часов ночи. Много страниц И. Л. Щеглов посвящает отношениям Гоголя к от. Матвею, ржевскому протоиерею. Это с фактической стороны. Но книга изобилует и высоким теоретическим интересом. Таковы статьи в сборнике: «Своеобразие гоголевского дара», «Перл создания» и «Метод работы Гоголя и его отношение к слову». Автор, сравнивая творчество Гоголя с творчеством Достоевского и Толстого, называет первое *скульптурным*, а второе только *живописным*, и отдает, в смысле мастерства, первенство Гоголю. Все это правильно, как и то, что изображения Гоголя, за их обобщающий смысл, он называет *алгебраическим*. Гоголь в слове человеческом видел какую-то тайну, видел живую и могущественную магию, к которой нужно относиться бережно, благоговейно, с помощью ³⁰ которой можно сотворять чудеса. Такие чудеса творил он и сам, и научал (в одном письме «Переписки») творить других. Метод его работы, переписывание собственноручно по 8-ми раз рукописи, с мелкими поправками при каждом переписывании, — в самом деле, удивителен для всех времен. Он работал как ювелир и микроскопист слова. Но самая интересная в сборнике статья — «Юмор и христианство». Ни один из теоретиков и историков литературы не может оставить этой статьи без внимания, он должен обдумать ее для себя самым тщательным образом. Здесь поднимаются вечные вопросы. Принимая, с одной стороны, в большое внимание известный рассказ Лескова «Скоморох Памфалон», передающий подлинный факт из древнехристианских «житий», а затем, указав на то, ⁴⁰ что некоторые великие юмористы, как Диккенс и Лопе де Вега, были вместе людьми глубокой христианской настроенности, г. Щеглов поднимает общий вопрос: что такое *юмор* в его психологической и даже в метафизической основе, и отчего его не было в древней, языческой истории. Не приходило в голову; но, в самом деле, ни у греков, ни у римлян юмора не было. Отчего? Юмор и способ-

ность к нему, отвечает г. Щеглов, была принесена только христианством. «Что такое, по существу своему, юморист? Это человек, который все переварил и все простил, поднялся на ту высшую степень человеческого духа, откуда как чужие, так и собственные страсти и слабости представляются мелкими и смешными *до ничтожества*. — «Все пустяки по сравнению с вечностью» — вот девиз кровного юмориста; явно или потаенно, но в основе его философии заложено сознание суетности всего земного... Юмор в его чистом виде — прямой отпрыск христианства, и я даже берусь утверждать, рискуя навлечь на себя обвинение в ереси: *не будь христианства — не было бы и юмора*, т. е. не явись столь высоко поставленного человечеству идеала, никогда не отпечатались бы так ярко в сознании бесчисленнейшие от него отступления... не было бы также и тоски по идеалу... Вот почему величайшая грусть — удел величайших и, кстати сказать, немногих истинных юмористов; вот почему все истинные юмористы были всегда глубоко религиозными людьми, хотя у некоторых из них это чувство ревниво скрыто или наружно мало подчеркнуто. Так в этой форме оно таилось у Чехова» (стр. 68—69).

...Замечательные строки. Не таится ли разгадка этой странной и *действительной* связи глубокого юмора с христианством в том, что Евангелие углубило и унежило душу и ослабило силы? Что такое юмор? Усмешка *слабого* человека! Человек, который все понимает, но очень мало может. Гамлет если и не был юмористом, то должен бы быть им; не был по молодости лет. Но все Гамлеты под старость лет становятся юмористами. Истинный христианин, в противоположность деревянным антикам, все видит, — видит до центра земли. «Подноготная» — можно сказать, «истинно христианская сфера». Так. Но что он может? Над всем разводит руками. Таинственным образом Евангелие точно вспырынуло в человеческую кровь особое вещество, «небесную прививку», — и прививка эта, действуя в веках, неодинаково повлияла на разные части человеческого состава: ум, особенно сердце, небывало утончила, пульс сделала частым и слабым, «лихорадящим», родила грезы, множество грез, мечту несбыточного, небывалого, неосуществимого. Все утопии, почти все, и социальные, и моральные, суть продукты христианства: и ни Руссо, ни 89—93 гг. во Франции без него немислимы. Но главное действие «прививки» было на кости: кости человека страшно расслабли, они стали гибки, становой хребет гибок, походка человека не тверда, шатка. А все понимает. Все чувствует. Тогда что же остается? «Моим *горьким* смехом посмеюся»... Осталась улыбка, страдальческая, бессильная. «Прощение» поневоле, потому что как же не простить того, что исправить не можешь. Да и не хочется: с тонкостью мысли Евангелие дало человеку разнообразие мыслей, такое разнообразие тонов, цветов, оттенков ее, что и не разберешься. «Что есть истина», — говорит не один Пилат. И вот такой «Пилат» — христианин, увидев Чичикова с Маниловым, вместо того, чтобы идти дальше и, что называется, «строить город», строить дело, воздвигать Вавилонскую башню, копать, инженерничать, и проч., и проч., говорит: «*Мелоз!* Все *ничто* в сравнении с вечностью... Ну, что в городе, что в работе. Все равно, все помрем». У «Пилата» хрупки кости, да и, по правде, и ленца одолевает. Легши на Обломовскую кровать, он начинает срисовывать Чичикова с Ноздревым и «возводить в перл создания»... Так произошло много-много созданий, удивляющих мир, но при которых «воз и ныне там», говоря крыловской басенкой...

«Горьки дела на этом свете» — перефразируем Гоголя.

РУСЬ И ГОГОЛЬ

Сегодня в Москве совершается торжественное открытие всероссийского памятника Гоголю. Около бронзового монумента первому русскому поэту, великому и несравненному Пушкину, в древней столице поднимается такой же бронзовый монумент и его младшему другу и сверстнику, украинскому художнику слова, который сделался вторым по значению, по силе и влиянию поэтом всея Руси. Великая и малая Россия через эти памятники, поставленные именно в Москве, этом дорогом «сердце России», сливаются духовно в одно и символически говорят, что есть одна Россия и один русский народ, как одна душа, один голос, одна воля. Гоголь был и всегда хотел быть только русским поэтом, взирая на малороссийство свое, как зрелый человек взирает на свое детство. В самом деле, как «московство» Руси, так и «украинство» южной части ее суть только древние, младенческие и отроческие фазы ее роста, которым принадлежит воспоминание, принадлежит песня и сказка, а не заботливая серьезная действительность. «Хохол» и «хохлушка» остаются и навсегда останутся дорогими, милыми фигурами в русском воображении и представлении, но нет «хохлацкой истории», как и «хохлацкая политика» навсегда останется главою кукольного театра и несерьезным зрелищем. Великий Гоголь вывел малорусский народ на общерусский путь жизни, сознания и говора: и вопроса, им решенного, им повороченного к северу, не перерешить и не переверотить в другую сторону малорослым, а не малорусским полуписателям и полуполитикам. Его великому русскому сердцу они причиняют несносные обиды.

Но оставим их и обратимся к вечному.

Памятник, открываемый Гоголю в Москве, овеществляет, бронзирует мысль о Гоголе, утвердившуюся в душе русского народа. Памятник выражает собою, что Гоголь признан как великий учитель, как великий наставник русского народа: ибо только таким людям, с таким значением, Русь ставит памятники. Значение Гоголя необъемлемо, сила духа его сказалась в необозримых влияниях. Нет русского современного человека, частица души которого не была бы обработана и прямо сделана Гоголем. Вот его значение. О подробностях этого значения могут спорить критики, — и они должны спорить свободно, не стесняясь ничем, даже и его величием: но самый тот факт, что эти споры горячо ведутся сейчас о личности, так давно умершей, лучше всего указывают на бессмертие этой личности, на неиссякаемую ее жизненность, несравненное ее обаяние и власть над душою и воображением человеческим.

В Пушкине Русь увенчала памятником высшую красоту человеческой души. В Гоголе памятником она венчает высшее могущество слова. Первый своими поэтическими образами, фигурами «Капитанской дочки» и «Годунова» и своей чудной лирикой точно поставил над головою русского народа, тогда бедного и несвободного, тогда малого и незнаемого с духовной стороны в Европе, точно невидимый венец, как на иконах наших пишется золотой нимб над главами святых. Он возвел и идеал и свел к вечному запоминанию русскую простоту, русскую кротость, русское терпение; наконец, русскую всеобъемлемость, русское всепонимание, всепостижение. Не таков Гоголь, сила его — в другом: необъяснимыми тревогами души своей, неразгаданными в источнике и сейчас, он разлил

тревогу, горечь и самокритику по всей Руси. Он — отец русской тоски в литературе: той тоски, того тоскливого, граней которого сейчас и предугадать невозможно, как не видно и выхода из нее, конца ее. Не видно результата ее. Он глубоко изменил настроение русской души. В светлую или темную сторону — об этом не станем спорить, не время сейчас спорить. Но бесспорно остается его сила в этой перемене. И эту-то силу Русь увенчивает памятником.

В Пушкине и Гоголе слово русское получило последний чекан. И ни у кого из последующих писателей, не выключая отсюда и Толстого, слово не имеет уже той завершенности, той последней отделанности, какую запечатлены творения этих двух воистину отцов русской литературы. Мысли Толстого или Достоевского — сложнее, важнее. Но *слово* остается первым и непревзойденным у Пушкина и Гоголя. От этого последнего совершенства слово их получило такую обаятельность и вечность, такую воистину бронзовую монументальность, какой не имели и никогда не получают растянутые, длинные, массивные труды Толстого, Достоевского и прочих русских писателей серебряного века. Золотым веком русской литературы были все-таки Пушкин и Гоголь. Были и останутся они одни. Русский народ в их сравнительно необильных изданиях получил сокровище вечной красоты; они для жажды его открыли источники вечно живой воды. Все мы учимся по ним. Все с 10 лет, с первого класса русских народных школок, уже воспринимаем в состав души своей нечто из души Пушкина или Гоголя. Это — великое дело. Бронзовые монументы им есть только очень маленькая награда, очень несовершенный дар, какие скромные русские люди, в виде рублей-лепт, принесли на могилу этих воистину духовных родителей своих, гигантов-родителей.

Они нас и научили. А по смерти, когда творения их читаются теперь везде, где звучит образованная человеческая речь, они «над бедными селеньями Руси», о которых говорит Тютчев, как бы простерли защищающее крыло Ангела, с запрещающим словом ко всему миру: «не смей этого коснуться, не смей этого разрушить». И пока в мире звучит пушкинское слово, звучит гоголевское слово, — никто, кроме вандала, глухого, немого и слепого, не занесет над «этими бедными селеньями» меча...

МЕРЕЖКОВСКИЙ ПРОТИВ «ВЕХ»

(Последнее Религиозно-философское собрание)

В душе человека большой образованности, большой начитанности, наконец, многих пережившихся собственных переживаний, всегда существует как бы склад идей, образов, точек зрения, сравнений, из которых в данную минуту он может выбрать любое, ему понадобившееся или ему в данный вечер или утро нравящееся, и, немного погрев на сальной свечке, показать его перед людьми как пыл сердца, сегодняшний пыл... Читатели или слушающая публика всегда будут обмануты, не различая горячего от подогретого.

Говорит человек громко и жестикулируя. Из начитанных сравнений он выдергивает одно, особенно яркое, патетичное, и по узору этого сравнения лепит

собственные слова, выходящие из вялой, полуумершей души. И вялая, полуумершая душа кажется горящему необыкновенно ярким и благородным пламенем. Кто же в душном зале разберет, что это горит чужое сравнение, что около него стоит бледный и бессильный человек, который совершает собственно художественный плагиат, софистический плагиат... Все, взирая на престижитатора фраз, говорят: «Вот пророк!».

Подобное зрелище, обманчивое и грустное, представил Д. С. Мережковский в последнем религиозно-философском собрании, опрокинувшись на авторов сборника «Вех» гг. Булгакова, Бердяева, Изгоева, Гершензона, Кистяковского, Франка, Струве. Его чтение было так талантливо, до того блестяще, так остроумно и колко, что не только публика слушавшая, но вот и я, грешный, все прерывал чтение хлопками. Мережковский так и блестел, и руки сами и неудержимо хлопали. Всякий блеск очаровывает, ослепляет. И почти час прошел после чтения, когда я подумал: «Боже мой, да ведь это все говорил Достоевский, а не Мережковский. Это — Достоевский блестел, а Мережковский около него ленился. Ведь то же самое сравнение, которое он взял у Достоевского, можно повернуть против него самого, Мережковского. Лично Достоевский так бы и поступил: кто же не помнит, как в «Дневнике писателя» он охотно выступил в защиту... мясников Охотного ряда, побивших в Москве студентов; он говорил, что и Кузьма Минин-²⁰ Сухоруков, спасший из Нижнего Москву, был тоже мясной торговец. Вообще *народный* и *анти-интеллигентный* характер воззрений Достоевского совершенно бесспорен. Но Достоевский теперь мертв, а живой Мережковский подкрался, вынул из кармана его смертоносное оружие и пронзил им... не недвижимого мертвеца, а его духовных и пламенных детей, его пламеннейших учеников.

В Москве вышел сборник «Вехи».

Понятие о нем дал А. А. Столыпин в своей заметке. От себя я скажу, что это — самая грустная и самая благородная книга, какая появлялась последние годы. Книга, полная героизма и самоотречения. Кто знает Достоевского и помнит его «Бесов», тому я все объясню, сказав, что авторы «Вех» с поразительной подробностью и точностью повторили судьбу и исповедание благородного Шатова, который, залезши в самую гущу революционеров и революции, потом отошел от нее, грустно, в раздумье... Достоевский представил суд и убийство этого Шатова революционерами. Мережковский, конечно, помнит, как в мокрую московскую ночь поручик Эркель, подскочив, приставил дуло револьвера к виску полубольного Шатова, курок хлопнул и все было кончено. Этот поручик Эркель был полусвятой маньяк: по ночам он зажигал лампадку перед портретом Огюста Конта и молился ему. Словом, был «идеалистом», вот как Мережковский и Философов... Но он и все друзья его были люди холодные, бездушные, с рыбьею или лягушечью кровью. Мозговые теоретики, без чистой и горячей крови.

⁴⁰ Чистая кровь, какую нес в себе Шатов, она отошла в сторону... Ушла к народу, возвратилась «в быт». Вот судьба и будущее нашей революции. О ней, с год назад, я выслушал лучшее замечание одного нашего маленького декадента, Е. П. Иванова. «Достоинство русской революции, — сказал он задумчиво, — заключается в том, что она не удалась». Он хотел сказать, что русские могут начать безобразия, но не могут его кончить, не по бессилию, но по сердцу, по нравственному содержанию. Революция бесспорно заключает в себе жестокое, лютное, хотя бы даже и справедливое. И довести до конца «казнь действительности» русские не

могут уже оттого, что вот между ними, между самыми суровыми революционерами или радикалами, вдруг показываются Шатовы, или авторы «Вех». И все расплывается, расседается.

И слава Богу. Если прогресс жесток — я не хочу прогресса; если прогресс жесток — мы, русские, лучше будем сидеть в старой избенке и жевать черствый хлеб.

Как глубокомысленный Е. П. Иванов сказал, что «революция *оправдалась* в том, что она не удалась», так я добавлю об интеллигенции: над черствой бесчувственностью ее и черным бесстыдством ее можно было бы поставить крест, не пояись «Вехи»; но эти русские интеллигенты, все бывшие радикалы, почти эсдеки, и во всяком случае шедшие далеко впереди и далеко левее Мережковского, Философова, Розанова, когда-то деятели и ораторы шумных митингов (Булгаков), вожди кадетов (Струве), позитивисты и марксисты не только в статьях журнальных, но и в действии, в фактической борьбе с правительством, этим удивительным словом в сущности *о себе и своем прошлом*, о своих *взвешанных страшных убеждениях*, о всей своей *собственной личности*, вдруг подняли интеллигенцию из той ямы и того рубища, в которых она задыхалась, в высокую лазурь неба. Раз появились «Вехи», Шатов — значит, русская интеллигенция жива. Да и не только жива, а перед нею лежит громадная будущность, лежит безграничная дорога.

Нравственный позор революции и интеллигенции заключался в ее хвостовстве, в ее бахвальстве, в ее самоупоении. Это было какое-то дубовое самоупоение, которого не проткнешь. Все «мертвые души» Гоголя вдруг выскочили в интеллигенцию, и началось такое «шествие», от которого только оставалось запахнуть дверь. Все, от чего погибло христианство, — это бахвальство попов, это самоупоение митр, эта «непогрешимость» их, — очутились вдруг в багаже эсдеков, кадетов, интеллигентов и проч.

Смрад, ужас, и «затворяй ворота». Ибо победить это «триумфальное шествие» кто же мог?!..

И вдруг погребальные «Вехи»... Это — как чистый понедельник после масляницы; великое покаяние: «Господи, владыка живота моего...».

Вдруг все оказалось спасенным. Спасенною оказалась именно интеллигенция. Русскому народу, глубоким частям русского общества и, наконец, русскому государству не в его *concretum*, которое или ничтожно, или порочно, не в его *idea*, которая ведь остается же, вдруг всему этому оказалось возможным *с кем-то говорить* в образованных кругах, *с кем-то взаимодействовать* среди студенчества и профессоров, среди писателей; вдруг оказалось возможным *откуда-то звать людей на помощь*.

Ибо ведь государство-то наше, страна наша — захудалы, несчастны.

Звать ли людей оттуда, откуда идет только ненависть, проклятие? Да и что за охота менять Держиморду на Петрушу Верховенского? Ведь тот «согнет в дугу» почище Держиморды. Ведь он кушал холодную курочку в самый час самоубийства, по его подговору, благородного Кириллова.

Кстати, Достоевский своими «Бесами» написал то самое, буквально то и только то, что написали профессора и полупрофессора «Вех», написали не гениально, хотя и с талантом, но, главным образом, написали в высшей степени чистосердечно, мужественно, прямо, резко. Кстати, они искупили и «профессоров», которые давно как-то и называть стало неловко без кавычек.

Были «профессора...». Но появились «Вехи» и стали — профессора.

Была «интеллигенция...». Но после исповеданий братьев наших в «Вехах» мы можем говорить, что у нас действительно есть... образование, прямой русский класс...

Вовсе Булгаков и другие не зарезали русскую интеллигенцию. Они сами зарезались. И воскресли. Погреблись и ожили.

Как это специалист по «христианским делам», Мережковский, этого не понял? Не оценил, не почувствовал. Но дело в том, что и христианство для него одно из пережитых идей, которую он прстидижитаторски выдергивает там и здесь последние 2—3 года, для красоты и эстетического украшения своей личности. Все уже холодно и помертвело в том «складе» чувств, «амбаре» былых настроений и умерших целых цивилизаций, каковой изображает себя новейший Аполлоний Тианский или польско-русский новейший Товянский...

Как же он поступал с этими шестью интеллигентами — Шатовыми? Немногим лучше поручика Эркаля...

При хохоте зала он их пинал ногами, бил дубьем, — безжалостно, горько, мучительно. Весь тон был невыносимо презрительный, невыносимо высокомерный... Дмитрий Сергеевич горел звездой над болотными огоньками «Вех». Это нечестное дело нельзя было делать прямо... И он сделал это косвенно, воспользовавшись сравнением Достоевского, абсолютно не шедшим к делу, абсолютно обратным делу.

Что такое эти шесть интеллигентов, составивших «Вехи»?.. Абсолютно бесильны и слабы, как Шатов: у них нет того имени, которым обладает Мережковский, нет готовых к услугам столбцов газет. Они именно написали сборник, исповедание от себя, книгу. Кто же книги в наше время читает? Читают газеты. К их услугам нет и религиозно-философских собраний.

Но Мережковский перевернул все дело: русскую интеллигенцию, могущественную, владеющую всей печатью, с которой очень и очень считается правительство, которая представляется все-таки не маленькою вещью — восемью университетами, — он представил плачущую, жалкою лошаденкою в сне Раскольников, которая везет воз со спящими на ней темными озорниками-мужиками (Россия — в сравнении Мережковского), и вот они, эти пьяные мужики, сперва секут до изнеможения эту клячонку-интеллигенцию, затем секут ее по глазам, больно, мучительно; и она везет, но нет сил — остановилась. И тогда один подходит и ударяет ее железным ломом.

Клячонка пала.

Клячонка издохла.

«Так жестокие люди, эти Струве, Булгаков, Бердяев, Изгоев, Гершензон, удар за ударом наносят дохлой клячонке-интеллигенции удары».

Свалилась, пала... И Мережковский, маленький и страдальческий, бегаёт около лошаденки, ласкает, целует ее в глаза и жалуется на тех грубых жестоких мужиков.

«Браво! браво! браво!». И я кричал: «Браво!». Ну, что же: талант обманывает. Но как грустно, что даже слезы, всё, всё, и «вздохи матери» и «скорбь друга», всё, чем живут цивилизации и тепел каждый дом, — тоже пошло на грим актера, на пудру актрисы. Есть ли религия, когда молитвы читает актер, и «даже лучше священника»... Страшно и жутко жить на свете.

Против «Вех» кричал и Столпнер, практический социал-демократ: маленький, лысый, красный как вареный рак, он стал совсем спиной к публике и кричал на тут же сидевшего и наклонившего низко голову Струве. Это было хорошо. Отчего не хорошо? Сцепились два интеллигента, прямо за волосы, без фраз. Он кричал об англичанах, об Изгоеве, об онанистах (буквально), всех проклиная и защищая русскую интеллигенцию как героическую, как носительницу идеала и вечного улучшения. Тряс скрюченными, кажется, невымытыми, пальцами. И, признаюсь, я не знал, кто мне больше друг и близкий, Струве или Столпнер. Но я чувствовал, что в обоих их интеллигенция оправдана и жива.

Тогда как в бездушном обвинительном акте Мережковского она была мертва. ¹⁰

И я, эти два года прошептавший себе все то, что написано в «Вехах», купив эту книжку (хотя еще не прочитав ее), поднимаю кубок за цветущую, прекрасную, русскую интеллигенцию, говоря:

— После Великого поста — Пасха! Кайтесь больно, до конца, до могилы: погребитесь. И тогда воскреснете в бесконечную радость, в торжество, и воскресите всё, но в другом виде, в очищенном и кротком виде, от 14 декабря и до 17 октября, и дальше, гораздо дальше, бесконечно дальше...

<А. Г. КОВНЕР

(Некролог)>

Недавно в гор. Ломже скончался после продолжительной и тяжелой болезни ²⁰ небезызвестный в свое время журналист Аркадий Григорьевич Ковнер. Родившись в Вильне, в 1842 г., в бедной, но интеллигентной еврейской семье, А. К. с 1862 г. стал подвизаться на литературном поприще, сначала на древнееврейском языке, а затем главным образом в русских периодических изданиях. С 1866 г. Ковнер совсем оставил еврейскую литературу и посвятил себя исключительно русской. Он сотрудничал в «Искре», «Голосе», «Новом Времени» (изд. Устрялова), «С.-Петербургских Ведомостях», «Новостях», «Московском Телеграфе», «Порядке», «Деле», «Новом Слове», «Историческом Вестнике» и друг. изданиях. Из его работ наиболее выдаются: рассказ «Наши шутники», повесть «Около золотого тельца», роман «Без ярлыка», «Тост», очерк «Хождения по мытарствам», «Из записок еврея» (в «Историческом Вестнике»). Его публицистические очерки в «Голосе», под заглавием: «Литературные и общественные курьезы», читались с большим интересом. Приготовленный родителями в раввины, ³⁰ этот энергичный человек не только не пошел по пути замкнутого еврейства, но на склоне лет принял христианство, поступил на государственную службу и обзавелся русской семьей, ничем не отделяя себя от русских, хотя в то же время много страдал и за положение евреев.

ПАМЯТИ ПОЛИКСЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ СОЛОВЬЁВОЙ-ALLEGRO

Даровитых и прекрасных людей все убывает... Умерла Поликсена Сергеевна Соловьёва, писавшая большею частью под псевдонимом Аллегро, издававшая последние годы вместе с Н. И. Манасеиной детский журнал «Тропинку» и выпустившая в 1905 г. сборник стихов и рисунков — «Иней», награжденный золотой медалью от Академии наук. Дочь знаменитого нашего историка, Сергея Михайловича Соловьёва, — она росла в лучших условиях развития и воспитания, — черпая идеи, вкусы и интересы не только из книг, но и из впечатления живых лиц

10 такого значения, как Ф. И. Буслаев, Б. Н. Чичерин, С. А. Рачинский и Вл. И. Герье, друзья и сослуживцы ее отца. Посмертная статья о Б. Н. Чичерине, написанная в «Новом Пути», показывает как вдумчиво и внимательно эта молодая еще тогда девушка прислушивалась и приглядывалась в доме отца к этим светилам русской мысли и русской науки. Но не этот торжественный убор идей философских и научных приковал главное ее внимание: все выслушала, все понимала эта до редкости даровитая девушка; но девичьей душою, но женскою душою она точно вышла куда-то и ушла далеко в новый, ею самой созданный мир поэзии, рисунка и таинственных сердечных переживаний. Это — ее «Иней», где каждое стихотворение сопровождается рисунком, погружающим мысль читателя в какой-то чарующий сон неопределенных очерков, но определенного настроения. Так, будто оставив полуотворенную дверь залы, где собрались и спорят жесткие и сильные умы, она, сказав: «слушаю», «слушаю», на самом деле спустилась в заросший

20 старый сад и от человеческих голосов и мыслей перебежала торопливо к голосам цветов, листьев, птиц, бабочек, жуков и ящериц... Все это живет в ее поэзии и в ее рисунках, и живет не очень реальною, а какою-то второю фантастическою жизнью, как оно жило, вероятно, для древнего первобытного человека.

Впервые я встретил Поликсену Сергеевну в кружке «Мира искусства» и «Нового Пути», куда она не вошла, а как бы всегда «была своя» в толпе писателей и художников, создавших один и другой журналы. Никогда не шумная, никогда

30 не спорщица, она точно и принимала, и не принимала участия в этих идейных, «завоевательных» изданиях. И я не умею ее представить иначе, как или ведущую беседу в полголоса с кем-нибудь в стороне, или слушающею других ласковым, внимательным, но немного безучастливым слушанием. «Вы делайте и решайте, и я буду с вами, но пока мне хочется быть одною», как будто говорило все ее существо; и это «хочется быть одною» так и умерло с нею, никогда не перейдя в слияние с толпой, с залой, с улицею, боясь переступить или не умея переступить через дружбу с одним. Ее я не умею представить себе «знакомою со многими», — хотя это, конечно, было у нее, но не занимало никакой части ее духовного и даже житейского существа; но она была человеком до редкости созданным

40 для «верной и вечной дружбы» с кем-нибудь, всегда с лицом, всегда с индивидуумом. В этом отношении, как всем кажется и в других отношениях, она была противоположна до полярности со своим братом, Владимиром Сергеевичем, знаменитым философом, которому «другом» был весь мир, и голос как набат звенел всегда толпе, миру, истории, с кафедры или из середины огромного зала. А эта... но слезы навертываются при множестве милых и тихих сравнений, какие рвутся

в уме при ее имени и теперь при печальной памяти ее образа и фигуры. Пусть лучше скажет стих:

Умирают белые сирени.
Тихий сад молитвы им поет,
И ложатся близкой смерти тени
На цветы, как ржавчины налет.

А вокруг всё дышит жизнью смелой,
Все цветы надеждами полны,
Лишь тебе, рожденной ночью белой,
Умереть с последним днем весны.

10

Но душой, не ведающей гленье
И земных мгновений и оков,
Буду помнить белую сирень я
И дыханье звездных лепестков.

Как это идет к ней самой; также она умерла «с последним дыханьем весны», немногими неделями пережив убор белых сиреней. Что-то есть в ее милом и тихом существе, чего нельзя забыть.

О той другой черте, о которой я сказал, — что она не имела связанности с толпою, с множеством, а всегда уходила в бесконечную глубь и даль личной привязанности, говорит следующее стихотворение:

20

Помнишь, мы над тихой рекою
В ранний час шли детскою четой,
Я — с моею огненной тоскою,
Ты — с твоею белою мечтой.
И везде, где взор мой замедлялся,
И везде, куда глядела ты,
Мир, огнем сверкая, загорался,
Вырастали белые цветы.
Люди шли, рождались, умирали,
Их пути нам были далеки,
Мы, склонясь над берегом, внимали
Тихим сказкам медленной реки.
Если тьма дышала над рекою,
Мы боролись с злою темнотой:
Я — моею огненной тоскою,
Ты — своею белою мечтой.
И теперь, когда проходят годы,
Узкий путь к закату нас ведет,
Где нас ждут не меркнущие своды
Где нам вечность песнь свою поет.
Мы, как встарь, идем рука с рукою
Для людей непонятой четой:

30

40

Я — с моею огненной тоскою,
Ты — с своею белою мечтой.

Это — глубоко личное и глубоко лирическое стихотворение. Поэзия ее не была ярка, не была сильна. Да она этого и не искала, это не было в ее вкусе. Вся ее поэзия, как и неотделимые от нее рисунки, сопровождающие «Иней», — суть пересказ о себе самой почти случайно и непреднамеренно попавший в печать, — и для читателей «кому это интересно», без всякого искания и принаровления. Но что же, читатель, может быть интереснее души человеческой, — если она не пуста, если она не дурна. А мысль о пустом, о ничтожном и дурном несовместима

10

с Поликсеной Сергеевной. Вот отчего стихи ее никогда не сделаются предметом широкого изучения и всеобщего чтения, но не перестанет то время, когда избранные души будут разворачивать и перелистывать ее томик, ловя на той или другой странице родственные себе звуки и настроения. Я сказал — «избранные души», потому что ее страницы не запачканы ни одною пошлою, ни одною вульгарною строкою. Все это быстро тающий «инею» небесной чистоты, непосредственности и свежести. Точно она «инеем» своим всю жизнь плела себе надгробный венок на могилу. Могила эта — незаметный холмик земли, но не перестанет время, когда кто-нибудь пройдет к ней и посидит над нею.

20

Кончу еще следующим стихом, где так сказала ее личная доброта и святая власть над нею природы:

Я пришел не затем, чтоб тебя упрекать,
Я в полях растерял все упреки:
Васильки меня стали во ржи упрекать,
Низко кланялся колос высокий.
Позабыл я весь гнев свой больной...
Рожь кругом расходилась волной,
Как вода — от движенья весла
И всю злобу мою — унесла!..

30

В прекрасном и добром свете что-то убавилось со смертью твоею, редко прекрасная и милая девушка. Всем миром пожелаем, чтобы ей было хорошо на том свете.

НАШИ ГРУСТЯЩИЕ ПУБЛИЦИСТЫ

В доброе старое время нашей журналистики был особенный прием высказывания гражданского недовольства: именно, делалось скорбное лицо, грустные глаза, и в несносном, ноющем тоне передавались ничтожные события глухой провинциальной жизни, никакого в сущности значения не имеющие с мелкими несправедливостями полиции, неудачными распоряжениями администрации и т. п. Пересказом были наполнены целые страницы «внутреннего обозрения» толстого журнала, и затем обозреватель ставил точку и клал перо. Читатель жур-

нала, не догадываясь сказать: «Как этот журналист скучно написал свое обозрение», говорит совершенно другое: «Как скучно в моем отечестве, как ничтожна моя страна, — если в ней все происходят такие глупости и мелочи, и притом скучные и пошлые мелочи». Месяц за месяцем проходил, год за годом тянулся, — и привычный читатель толстого журнала вместо того, чтобы переменить подписку на бездарный журнал, приходил к непоколебимому убеждению, что нет более бездарной страны, чем Россия, где все решительно отвратительно и, прежде всего, везде и всегда невыносимо скучно. Маленькие капельки образуют море: небольшое число журналистов, которые, в сущности, представляли собою только бездарных писателей брезгливого типа, мало-помалу составили и укрепили то «общественное мнение» в России, какое нашло себе яркое выражение в первой и второй Г. Думе. Известно, что одна из них наименовала себя Думою «народного негодования», а другая — Думою «народного мщения», хотя слово «народное» в обоих случаях было употреблено всуе. Польские депутаты с радостью заявляли своим избирателям, что «национализм и национальное чувство совершенно отсутствуют в Г. Думе» и что с этой стороны окраинные домогательства имеют полное себе обеспечение. Такова была неприглядная политическая обстановка, при которой открылся русский парламент и начала действовать русская конституция.

Государственная деятельность «бойкотировалась» либеральной печатью, говоря языком освободительного движения; «замалчивалась», говоря языком старой публицистики. О ней давались краткие отметки в ироническом тоне, не более. Нет собственно литературы до такого ужаса негосударственной, до такой степени неполитической, негражданской, как русская художественная литература. Это сплошная обывательщина, быт и психология людей не выше коллежского секретаря. Мы не берем при этом исключительных величин, как Толстой. Все это сообщало ей большую теплоту и задушевность. Но дух литературы как художественного явления перешел и в общую печать, перешел в публицистику. Чем же она стала? Нескончаемую сплетню о правительстве, и только. То, что уместно в мелкой повести, рассказывающей дрязги захолустного городка, неуместным образом распространилось на тон и даже содержание печати, трактующей о политике великой империи. Остроты Гоголя и Грибоедова пестрили страницы политических обозрений, и всему обществу было внушено, что Россия-империя так-таки и сделана людьми такого ума и таких моральных качеств, как Скалозуб, Молчалин, Чичиков, Манилов и Собакевич. Непонятно, кто победил Наполеона, с кем Германия искала дружбы, на кого Англия была в непрестанном гневе. Читая русскую литературу, никак нельзя представить себе, как произошла Русская империя, а с другой стороны, читая русскую политическую печать, можно думать, что эта печать выросла в Чухломе, ибо имеет совершенно чухломский тон, и никак нельзя подумать, что ее публицисты в общем вовсе не так даже глупы, как стараются притворяться печатно.

«Все упрочилось, — иронизирует „Речь“ по поводу роспуска на летние каникулы Г. Думы и Г. Совета. — И, благодаря наставшему затишью, громче стал слышен голос настоящей, подлинной жизни, который звучит печально и однообразно зловеще. Все то же, все то же. Ни одного радостного, ободряющего известия нет ниоткуда. По-прежнему смертные казни изо дня в день повторяются, не смотря ни на что, и с каждым днем растет ужасающее равнодушие к сухим и ко-

ротким сообщениям о числе приговоренных и казненных. Рубрика самоубийств стала такой же графаретной, как метеорологический бюллетень. Самые разнообразные эпидемии свирепствуют по всей стране» — и т. д., и т. д. Да, гг. русско-еврейские публицисты, преступные типы все те же, убийств и воровства столько же, суд действует по-прежнему; и опять придется растлителя 6-летней девочки, задавившего ее потом ее же поясом в лесу, заключить в тюрьму и, может быть, казнить. Об этом сообщается в том же самом номере «Речи», где публицист пишет свои ламентации о смертной казни, но сообщается мелким шрифтом. «Ужасающее равнодушие к смертным казням», — пишет публицист: но в каком равнодушии к подобным злодеяниям, как это изнасилование и удушение ребенка, нужно заподозрить самого публициста, который не содрогнулся при таком сообщении и продолжает жевать свою жеваную публицистическую резинку о суде над злодеями!

Статика жизни в стране протяжения России не может не быть все та же из года в год: об этом уже учил Кетле и рассуждал Бокль. «Все то же, все то же!» — как предсказывал Кетле. И злодеяния, в самых ужасных формах, станут повторяться в той же цифре, хотя бы премьер-министром был сам Миллюков; и к наказаниям придется прибегать самым суровым, от чего не уклонились бы и кадеты, стань они во главе правительства. Но журналист излагает все таким тоном, будто все несчастья, начиная с тифа и холеры, происходят в России от закона 3 июня и нынешнего правительства.

Смертные казни ужасны. Тягостны мелочи и дразги нашей внутренней жизни. Но неужели, кроме этого, в ней ничего нет?

Резину, достаточно прожеванную, наконец выплевывают: когда же так поступят публицисты «Речи»?..

ДВУХСОТАЯ ГОДОВЩИНА ПОЛТАВСКОГО БОЯ

Без великих годовщин и свежей, вечной памяти их, — народ не мог бы существовать, или это существование было бы очень трудно: жизнь его, то поднимаясь, то опадая, не может не заключать в себе иногда и местами полос неуспеха, вялости, временного ослабления сил и наступающей энергии. Их знал даже могучий, железный Рим, и такие полосы не только неизбежны, но они и не унижительно для народа, если не затягиваются очень надолго и не повторяются слишком часто. Празднуемая сегодня двухсотлетняя годовщина Полтавского боя принадлежит к числу таких поднимающих юбилеев. «Полтавский бой»: чье сердце русское не забьется горячо в груди при одном этом слове? Какой русский не передвинет при этом слове плечами так, как если бы на нем не лежало ни лет, ни болезней? Это — молодость. Полтавская битва молодит нас, потому что с нею связывается представление о самом гигантском молодом событии новой русской истории, которой вот уже пошел третий век. Молодое воспоминание. И мы молодеем с ним.

Следует признать особенно благотворным, что таким кульминационным пунктом молодой новой истории сделалась именно битва, а не что-либо другое, напр.,

не какой-нибудь гражданский или собственно реформационный акт. Битва — это физическое напряжение, народно-физическое. А как бы там ни было, физический рост стоит во главе всякого другого, физическую силу мы особенно любим в себе как залог здоровья и долгой будущей жизни, как такой запас природного богатства, из которого вырастают и нравственные плоды, и гражданское преуспеяние. Никогда законодательный акт не мог бы сделаться так элементарно-популярным и понятно-популярным, как военный бой, всегда бы тут примешалась та сложность и теоретичность, которая не может же быть сразу схвачена стомиллионным народом.

Тогда наш народ не был еще таким: он был народцем что-то около пятнадцати миллионов, редко-редко населявшим неизмеримую равнину. Он почти не превосходил совокупность теперешних старообрядцев и сектантов, с небольшой прибавкой. Оглядываясь только на эту сторону дела, мы не можем не сознать, с какого маленького мы начали и во что громадное превратились: и в одном этом зрелище двухвекового, лишь с малыми перерывами, успеха и успеха, движения и движения вперед, все широчайшего и широчайшего охвата и материальных и духовных возможностей, мы почерпаем тот восторг, который заставляет нас уверенно положить руку на книгу, или взяться за книгу. От «Арифметики» Магницкого до «Периодического закона» Менделеева, от виршей Симеона Полоцкого и Феофана Прокоповича до воздушной поэзии Пушкина и всеобъемлемости Толстого, мы, конечно, прошли поистине неизмеримый путь, путь труда, успеха и таланта. Мы склонны всегда уменьшать свое значение, склонны к этой психологической мизерности, умалению себя и своего, но указанные грани до того осязательны и очевидны, что нужно захотеть быть глупым или слепым, чтобы не ощутить себя великим. Каждый из нас может быть мал или незначителен, и может быть, есть добродетель уменьшать личное значение, но, говоря о России, мы говорим не о личностях своих, а о чем-то объективном и коллективном; Россия есть великая страна, великая не на минуту, не в эффекте, а в двухвековом итоге, и в этом итоге сплелись физика и дух, рост и успех, бранная слава и успехи гражданственности. Вспомним освобождение крестьян и весь сверкающий каскад преобразований шестидесятых годов, и, наконец, мирное и великодушное преобразование нынешним государем самых способов выработки законов, вспомним наш молодой парламент. Всегда и все мы, сколько не делились на партии, всегда решительно и все спешили вперед, обличали себя, каялись, грустили, плакали: и никогда Россия, ни в один момент, не была самодовольной тупицей, усевшеюся на месте с отрицанием необходимости движения дальше. Пошлого квиетизма, пошлого самодовольства, — этого никогда в России не было как всеобщего, как народного состояния. Червь сомнения и горечи всегда точил нас: знаем это в настоящую светлую годовщину, но на этот день пусть этот мучительный червяк отпадет от нашей души. Пусть завтра он опять проснется, но сегодня в кубок радости воспоминания о Полтавском бое пусть не капнет ни одна черная капля.

Сегодня мы будем радоваться и только радоваться. Сегодня мы будем гордиться и только гордиться.

Около имени великого Петра, основоположника всего в России, не забудем вспомнить в этот день лучшего певца Петра и именно Полтавского боя — нашего Пушкина. Как Петр всему положил начало, так и в духовной области Пушкин,

как ангел, держит венок над ним и над всеми нами, поверх всех нас, и высоты этого венка никто не превзошел. Пушкин есть высшее явление нашей новой истории, самое светлое и прелестное. В этот день своими чудными стихами о Полтаве он держит камертон над Русскою землею: и никто не вправе выйти из-под власти этого регента. Ибо эта власть есть власть истины и правды.

Воины русские, естественно, стоят впереди этого народного хора, и как славящие, и как прославляемые. От Полтавы до наших дней они принесли неизмеримый, невероятный труд. Они были под Пекином, были под Парижем; казаки открывали Камчатку и сейчас они работают, оберегают жизнь в знойной Персии.

10 Русский солдат есть явление всемирное: и потому, что без малого весь мир видел русского солдата, и потому, что терпением, выносливостью, верою, добротою русский солдат есть святое явление ни одного только русского; но и всеобщего человеческого духа. Зоркий глаз Толстого именно в солдате увидел, назвал и обрисовал идеального русского человека, самое нравственное проявление русских способностей. Это — его Платон Каратаев и скромные фигуры севастопольских рассказов. Это нужно и своевременно отметить именно в нынешний день. Русский солдат никогда не был только физическою силою, хотя, естественно, он есть и он хочет быть, прежде всего, физически сильным. Он силен — и в этом его доблесть. Что он силен — это знают все народы. Но великая черта, уравнивающая его с римским солдатом, а в одном отношении и ставящая его выше даже римлян, это то, что солдат, по глубокой преданности законам и заветам своей истории, есть первый русский гражданин, и в то же время он есть глубокий и смиренный христианин, тихо и безвестно умирающий, благословляя родную землю, которой до издыхания служил. Только тот, кто, как солдат, служил России, может и любить ее, как солдат. Солдат есть первый русский человек. Оглянемся на этот серенький и незаметный факт сегодня, оглянемся и граждане, и люди теоретических профессий.

30 Поднимем же всю Русью чарку зелена вина за русского петровского солдата — во-первых, и за солдата до сего дня — во-вторых. Сделаем это так непосредственно и весело, как поступил Петр, когда, неожиданно получив проездом по улице весть о заключении Ништадтского мира, он перекрестился, потребовал себе ковш вина и тут же выпил *за здоровье русского народа*.

Солдат — выразитель и представитель народа. И Полтавский бой — народный, русский бой. И мы празднуем этот день народа.

НА ЛЕКЦИИ О ДОСТОЕВСКОМ

40 Говорят, диалектику создали Платон и Гегель; но гораздо раньше их — хамелеон, неуловимо для глаза переменяющий цвета свои и не имеющий никакого определенного, постоянного цвета, — дал собою пример, так сказать, органической диалектики. Что такое диалектика? Это «да» и «нет», переходящие друг в друга, помогающие друг другу, дружелюбные друг с другом, хотя они и ожесточенно спорят. Почтенна ли диалектика? Она есть во всяком случае изумительная вещь, а что касается почтенности, то об этом могут быть споры. Флюгер ведь

тоже диалектичен, тогда как бревно, лежащее на земле, есть образец «честного уклонения от виляния». Бревно, как и Адам до грехопадения, — невинны, честны, позитивны. С этим можно было бы примириться, если бы это не было очень скучно. Ева заскучала в «честном раю» очень скоро, и диалектик-змея без всякого труда вывел ее оттуда в прискорбное, но и интересное земное существование, — где и началась всяческая «диалектика»...

Умы и сердца, читатели и писатели тоже бывают диалектичны и позитивны, один — как бревно и другие — как ивовый прут. Оставим в стороне позитивных и обратимся к диалектичным. Образец величайшего диалектического писателя у нас — и, может быть, во всей всемирной литературе — есть Ф. М. Достоевский.¹⁰ Вот уж гибок... Так гибок, что хоть бы и поубавить. Сам страдал от гибкости: ибо это что-то адское — ни на чем не остановиться, ни на одном утверждении не удержаться, со всякого тезиса слетать стремглав, лететь, лететь — и вылететь в утверждение, совершенно обратное этому тезису. И все это не только умом, но сердцем, пафосом, восторгом, умилением. Что такое революция? На это вам отвечает Петруша Верховенский в «Бесах». Кушает холодную курицу, дожидаясь самоубийства своего приятеля Кириллова. «Однако же» (всякая диалектика начинается с «однако») *еще* что такое революция? Это и Раскольников. Ведь несомненно тоже он не бытовик, не человек определенного строя жизни, а революционер, хоть и в первой фазе своего бунта. Значит, и Верховенский, и Раскольников — вот что такое революция. Согласитесь, что тут нельзя сказать ни «да», ни «нет»; согласитесь, что здесь «да» и «нет» сплелись в чудовищное единство. Целомудренна ли проституция? У всего мира не было на это двух ответов: но Достоевский показал нам Сонию Мармеладову и этим *христианским образцом* разбил ветхозаветное «не прелюбодействуй»; да разбил так, как этого и Евангелие не смогло сделать. «Праведная блудница» стала возможным словом в нашем языке. Есть ли что положительное в пьянстве? Но через рассказ Мармеладова Достоевский заставил слушать всю Россию, наконец, весь мир — исповедание пьяницы, слушать, замирать и плакать над этим исповеданием. В Федьке-Каторжнике («Бесы») и в некоторых страницах «Мертвого дома» он примиряет нас и с убийцами;²⁰ а целый ряд его героев, *любимых* или по крайней мере *огень им уважаемых* персонажей, начиная с Свидригайлова и кончая Ник. Ставрогиным, выказывают такие поползновения чувственности, за которые мы каждого бы казнили, а *этих* идейных мудрецов невольно щадим; мысленно беседуем с ними, в высокой степени ими заинтересованы. *Достоевский страшно расширил и страшно уяснил нам Евангелие.* С давних пор его называют «великим христианским писателем», — но это имеет особенный и острый смысл: он первый *художественно, в образах, в живописи,* и в столь *реальной живописи,* показал нам *ненаказуемость порока, безвинность преступления,* показал и доказал великое евангельское «прости»... «Прости всем и все и за все»...⁴⁰ Но так как он диалектик, то около этого «простим все» он гибкою живописью своею возбудил и такое негодование, такое озлобление к огромным категориям человеческих личностей, как этого тоже не удавалось никому: совершенно по-евангельски, где тоже, в заключение «простим все», показан по-ту-светный огонек, *вегный, неугасимый,* где будут гореть и не сгорать «пьяницы и любодей»...

Почитать Достоевского — за голову схватишься. «Ничего не вижу», «полная тьма», «дня и ноги не различаю». Но одно он совершил: «праведное», позитив-

ное бревно, лежавшее поперек нашей русской, да и европейской улицы, он так потрянул, что оно никогда не придет в прежнее спокойное и счастливое положение уравновешенности. Гений Достоевского покончил с *прямолинейностью* мысли и сердца; русское познание он невероятно *углубил*, но и *расшатал*... Можно сказать, он уничтожил совершенно не только таких писателей, как Михайловский, Писарев, таких поэтов, как Надсон, таких публицистов, как все «былое» «Вестника Европы», но он сделал *невозможным* в будущем повторение или воскресение таких наивностей, таких обухов, таких бревен... Оговоримся, что тяжело громадою нашего общества Достоевский не только еще не понят, но и не прочитан *внимательно, задумчиво*; и, напр., «честные курсистки» и «благородные учительницы», как и лохматые студенты, с молниями в глазах, просто-напросто *понятия даже не имеют о Достоевском* и лишь в меру этого и от этого захлебываются Михайловским и Надсоном.

Но, заговорив о диалектике, я не без умысла назвал хамелеона как величайшего и естественного «диалектика», назвал, наконец, «флюгер», назвал, наконец, беса. Все это очень серьезно. Диалектика есть гениальная вещь, но диалектика есть и бесовская, отчаянная вещь. «Все концы со всеми концами сходятся», — и пресловутое карамазовское «все позволено», т. е. нет греха, не надо добродетели, «*могу все, что хожу*», — есть только естественное и притом *реальное* заключение диалектики, есть вовсе не вывод Ивана Карамазова о мире и жизни, а вывод самого скорбного Фед. Мих-ча о мире и жизни, но лишь *угрюмо* сказанный, а не *счастливо* сказанный. А ему случалось и *счастливо* говорить этот же вывод. Как будто карамазовское «все позволено», до отцеубийства включительно, не есть *то же самое*, что умиленный лепет Кириллова о том, что «*все хороши*», что «*вот ползет наук — я и ему молжусь*», «*если кто изнасилует ребенка — то и он хорош*». Но у Кириллова это сказалось в евангельских тонах, соответственно кроткому, евангельскому сложению всего типа, всей его души, а у Ивана Карамазова — мрачно; но *мысль — одна*. И явно, что уже угрюмым сказыванием Иван Карамазов отрицает эту бесовскую мысль, а «святой» Кириллов предлагает эту мысль в самой обольстительной «евангельской» форме: «*все обьемемся*», «*все простим друг друга*», «*все возлюбим всех*», растворим двери темниц, отменим суд, казнь... Вот и Федя каторжник, и Соня, и отец ее, и отцеубийца, и... и... И нет конца.

Да, чорт знает, может быть, и в самом деле хорошо? Ведь в *Священном Писании*, и Старом и Новом, что-то такое брезжит на конце всех концов? Но *совершенно же несомненно*, что при таком «отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня» — летят вверх тормашками все царства, политики, права, летят прахом все цивилизации, Рим становится не мудрее Бедлама, Греция не выше Капернауа, меркнут Сократ и Аристотель, меркнет и становится *не нужен* разум человеческий, наука всемирная, да не нужна и самая добродетель, кувыркаются рай и ад, и вообще «*все потрясается*», а звезды, путеводные огоньки человечества, осыпаются с неба, как пуговицы с изношенного сюртука... все это было бы очень величественно и красиво, если бы не иллюстрировалось Тим. Ник. Грановским, который в изгибах этой диалектики кушает одну котлетку с Пав. Ив. Чичиковым и Виссарионом Г. Белинским, который перемигивается с Дубельтом.

— Вот, ваше превосходительство, как вы меня на том *глупом земном* свете в бараний рог согнули. Стоило ли стараться?..

— Да и я вижу теперь, что совсем не стоило стараться: ибо в *по-ту-светном откровении* тот, кто гнет в бараний рог, является выразителем только разных сторон одной неуловимой истины. Так что теперь, в случае нового воплощения, я могу писать критические статьи не хуже вас, а издатели будут печатать «полное собрание сочинений идеалиста Дубельта», и публика будет их читать не менее охотно, чем ваши, ибо, по диалектике, ведь «все равно» и «все друг с другом обьмемся»...

Дубельт-не-Дубельт, ну а, например, Константин Леонтьев: идеалист по плечу Достоевскому и вместе с тем реакционер мрачнее Дубельта.

Будет ли это необыкновенно хорошо или будет чудовищно отвратительно — 10
ничего нельзя сказать. И что горько — *воистину* нельзя сказать. «Ослепли», «не видим»... Вот *resumé* громадной работы Достоевского, работы гениальной, страшной. Его Грановский переходит в Чичикова («хамелеон»), у него Господь Бог играет в преферанс с Мефистофелем. «Ничего мне так не хотелось бы, — говорит Ивану Карамазову чорт, — как перевоплотиться в семипудовую купчиху и ставить бы толстые восковые свечи на обедне». Это — текст, это — точное слово Достоевского: ну, и не нужно длинных комментариев, чтобы эту «мечту» беса переложить на картину действительности — и тогда очень умильные сцены, к каким мы привыкли, неожиданно окажутся главами не «божественной», а демони- 20
ческой оратории. Достоевский слишком далеко хватал разнузданную фантазией, и к этим граням отрицания и сомнения мы не решаемся ступить за ним.

При этом, что особенно ужасно, так это то, что Достоевский совершил свою диалектику не логически, не в схеме, как Платон и Гегель, а *художественно*: и через это он *смешал* безобразия и красоту. Как «*resumé*» *всей его работы*, у него и мелькнуло в «Бр. Карамазовых», что «идеал содомский *переходит* в идеал Мадонны: и обратно, среди Содомы-то и начинает мелькать идеал Мадонны». Это Митя Карамазов говорит Алеше и добавляет: «Снилась ли тебе, мальчику, эта *истина?*». У Достоевского это сказалось с таким экстазом, с таким глубоким проникновением, что, несомненно, тут не в Мите и не в Алеше дело, а в самом Федоре Михайловиче — это его *глубогайшая и задушевная мысль*, это его сумасшествие, это его евангелие, «новое благовестие». 30

Замечательно, что к концу жизни Достоевский становился все гениальнее и все расстроеннее, гений его нарастал, но и безумие его все возрастало... Он явно «сходил с ума», не в медицинском смысле, а вот в этом гегелевском, платоновском, или, как говорит народ, в смысле того, что у него «ум за разум стал заходить», ум и *суждение* перешли нормальные *границы* суждения и ума... «Широк человек, слишком широк — я бы *сузил*», — отчаянно говорит он в тех же «Карамазовых»...

И наконец, что любопытно и поучительно, так это то, что не Достоевский «повернул так и эдак» свою диалектику, не он «показал» нам то-то и то-то, а в нем *повернулась* так диалектика, в нем нам дано было *увидеть* «все концы, сошедшиеся со всеми концами». Поднимите «Преступление и наказание» к свету вечности, и что вы там увидите, за *выбросом всех подробностей*, в единственном исключительно сюжете: «праведного» «убийцу», «святую» «проститутку». Вот — *суть*; остальное — аксессуары. Т. е. что же? Возможность, *нравственную* возможность праведного убийства и святой проституции.

Голова кружится.

Но не то же ли мы видим и на дне евангельских глубин: это — разбойник, распятый направо от Спасителя, и блудница, помазавшая миром Его ноги. Тоже — умирительно, растрогало весь свет. Ну, да ведь и Раскольников оттого волнует нашу мысль, что он *привлекателен*, и Соня притягивает сердце оттого, что она *воистину* «свята»... В этом-то, что все это — *истина*, и заключается великий трагизм целого мира, и заключается возможный «провал» всех цивилизаций. Разве Евангелие не повалило в яму и Рим, и Грецию, как щенков? Сказано — «*прейдет* лик мира сего». Кстати, это «прейдет» с такою любовью нет-нет да и повторит Достоевский. Очень любил он это «прейдет». При всей ненависти к революции, он так охотно служил «отходную» нашей цивилизации.

Одним из самых любопытных вечеров петербургского Литературного общества в этот год было чтение г. Столпнера о Достоевском, прочитанное перед летним перерывом. Сперва путаясь и вообще читая очень некрасиво, во второй половине длинной своей лекции он высказал мысли очень интересные об отношении Достоевского к прогрессивным идеям передовой части нашего общества. «Достоевский есть чрезвычайно опасный враг нашей интеллигенции, — приблизительно говорил он. — Он отрицает все главнейшие идеи интеллигенции, он постоянно борется с нею. Борьба со свободой, гражданственностью, наукою, борьба с самим *разумом геловегеским* стала постоянным стимулом Достоевского, с самого времени его ссылки в каторгу, где с ним произошел переворот, о сущности и причинах которого мы очень мало знаем. Борьбу эту Достоевский ведет с чрезвычайным терпением, с чрезвычайной настойчивостью, с значительной хитростью или тактичностью, с гениальною проницательностью и силой. Он составляет действительную угрозу русскому прогрессу. Критики, как Добролюбов и Михайловский, незначительны, ничтожны в борьбе с ним, хотя Михайловский и указал на его опасность, предугадал его опасность. Он определил Достоевского как „жестокий талант“, и, за всеми оговорками, все должны признать долю правильности в этом определении; все, только в иных терминах, признают в Достоевском эту мрачность, эту суровость, эту, в последнем анализе, жестокость. Но об идейном содержании Достоевского Михайловский выразился только осторожно, что он оставил в своих творениях „множество очень эксцентрических мыслей“. Определить в этих уклончивых словах идейное содержание Достоевского — значит признать себя бессильным разобрать их, бороться с ними. И Михайловский, как и вообще его школа мысли, школа мысли позитивно-социалистической, действительно бессильна бороться с Достоевским. В „Записках из подполья“ дана такая критика социализма, которая мало что оставляет от социализма и с которою должны согласиться и согласились научные критики его». Так приблизительно говорил лектор и добавил, что «русская интеллигенция, чтобы спокойно и с чувством *правоты* идти к своим святым задачам, к задачам лучшей гражданственности, свободы и просвещения, — должна будет непременно *пройти* через Достоевского и *победить* Достоевского».

Мысль верная, хотя нуждающаяся во множестве оговорок, дополнений и в заключение даже в оспаривании. «Одолеть» Достоевского едва ли сможет русская интеллигенция, ибо «одолеть» и *сам себя* не мог Федор Михайлович, хотя он был величайший, *небывалый* русский интеллигент, и притом типичный в своей житейской захудалости, в своих нервах, в своем угаре и сбивчивости. Если он

«сам себя» не мог одолеть, — интеллигент такого роста, то куда с ним меряться русским студентикам, журналистам, критикам, кой-каким профессорам по церковному праву или по государственному праву и проч., и проч.? Но «пройти через Достоевского», — этот главный пункт чтения безусловно правилен. Мы только думаем, что «проходя через Достоевского» общество никак не сможет остаться в устоях приблизительно Салтыкова — Михайловского — Стасюлеви-¹⁰ ча. Дело в том, что нужно же и умному человеку иметь на себя оглядку, и нашим заядлым либералам и рационалистами, от имени которых говорил лектор, нужно просто признать некоторую скудоумность или, вернее, скудо-душевность в своих очень умных, очень просвещенных, очень гражданских идеалах. Они просвещены, но им надобно расти; они умны, но нисколько не гениальны. А история и, наконец, те глубины суждения о ней, к каким подвел нас Достоевский, требуют гениальности. Ее, и никак не меньше. Если Достоевский повалил такое множество талантов и талантливости, если, например, он совершенно *упразднил* Белинского, сделав абсолютно *неинтересным*, абсолютно *копеечным* все его идейное содержание, оставив от «великого критика» только схемку и шкурку «молодого порывистого идеалиста», — то и для «борьбы с собою» и «преодоления себя» он требует гения, сердцеведения, проницаний таких, каких у волнующейся нашей интеллигенции вовсе нет. Отчего Столпнерам и русской интеллигенции не формулировать задачу скромнее: «Оглянемся на себя, переглядим свой багаж и при-²⁰ знаем, что в нас много *плоско-глупого*, а в идеалах наших много лживого, гнилого». Свобода свободе — рознь, прогресс прогрессу — рознь, гражданственность гражданственности — рознь. Пресная, шаблонная, рационалистическая — она не есть та свобода и тот прогресс, не есть то просвещение и та наука, о которой мечтал русский народ, русский инок, русский солдат, ну, хоть Платон Каратаев, о которой мечтали Гёте и Шиллер, Лейбниц или Спиноза. Словом, схемка Щедрина — Писарева — Столпнера — «Русского Богатства» ужасно скудоумна, нищенска, за нею никто не пойдет, никто за нее не принесет жертвы... А ведь когда лектор говорил о тех «драгоценностях», за которые должна вступить русская интеллигенция и ради их «преодолеть Достоевского», то он говорит именно об³⁰ идеях от Мякотина и Пешехонова до себя, и ни о чем другом. Это обычная рациональная, журнальная гражданственность, это журнальная полунаука, это «свобода» наших митингов. Никто не заподозрит меня в любви к монахам и монашеству: но «свобода инока» в ее поэтических оттенках, в ее душевных оттенках, в ее прелести и глубине, в ее *лигности и геловежности*, для меня священнее свободы парижских бульваров и русских социал-демократических митингов. Согласятся ли со мною в этом *вкусе* наши рационалисты? Нет. А между тем я враг *монашества*: таким образом, и с ними я никогда не соглашусь в *качественной оценке*, в *качественном определении* требующейся свободы; и скажу просто, что ихняя «свобода» мне ни на что не нужна, что за нее я не заплачу двух копеек. То же — о мудрости, то же — о прогрессе. А в «качественном определении» идеалов — все и дело; все дело в «душевных оттенках». Суть не в том, чтобы «написать комедию», т. е. вот столько-то действий и с такими-то смешными персонажами, а написать как *Грибоедов*, как *Фонвизин*, как *Мольер* или *Шекспир*. Суть *во вкусовой, в художественной* стороне вещей, и это не только в литературе, но и пре-⁴⁰имущественно и главным образом в жизни, в реальной истории. Вот это-то *вку-*

совое отношение к вещам, вкусовая оценка вещей, вкусовой идеал будущего, какой выработался в русском образованном обществе, в этом «ведущем колесе» нашей истории, — решительно не высок, мелочен, вульгарен; и оно решительно не только не может «переехать через Достоевского», задавив его собою, но и само разбивается вдребезги, встречаясь с ним. Я повторяю то, что сказал выше: и по жизни своей и по роду идей, по всему кругу интересов и работы Достоевский был типичнейший русский интеллигент — бездомный скиталец, не имеющий в багаже своем ничего, кроме идей, кроме разгоряченной головы, кроме мировых вопросов, тревог. Но в нем эта интеллигентность достигла кульминационной точки, переломилась и умерла. Тут именно и выступает сгиб в нем, отсюда происходит его диалектичность: в белой стороне, надеющейся, светлой, он восходит выше и выше, до «все простим», до «обоготворим паука» и т. д., и т. д. Выступает апофеоз проституток, каторжников, убийц, алкоголиков. Пока, преломившись в некоторой точке, он не летит отсюда вниз, к утверждению всех реальных столбов действительности; и его словцо, что «вещественный огонек древнего ада надежнее проблематических мук совести в новом, преобразованном по-интеллигентскому, аду», — содержит собственно возвратное требование всех запоров, цепей, замков, какими в старом обществе удерживались в границах преступление и разрушительные инстинкты человека. Достоевский в одном лице соединил величайшего разрушителя и величайшего утвердителя; он довел в себе революцию до последней анархии, и он же явил в себе величайшую санкцию наличного, сущего бытия. Таким образом, путь «интеллигентности» пройден им до конца: и после него интеллигенция потому стала вырождаться, мельчать и мельчать, переходить от Кавелиных и Соловьёвых к Михайловским и Столпнерам, что вообще тут нечего больше делать, нечего нового говорить, а повторение прежнего естественно бывает бездарно. Наивности вроде Белинского невоскресимы после Достоевского; Мякотин и Пешехонов толкуются на месте только по недоразумению, по незначительности и неразвитости своей; весь путь русской революции предсказан заранее, или, вернее, рассказан им был наперед в типах, начиная от Раскольникова и кончая мальчиком Колею Красоткиным и его товарищами («Братья Карамазовы»); даже «сладогострастники» новейших потаенных кружков им предугаданы в полуистерическом характере Лизы Хохлаковой, в Свидригайлове и Николае Ставрогине, в Мите Карамазове... И, словом, для революции в психологическом и идейном отношении не осталось непройденных путей, новых путей, после Достоевского.

Что же осталось?

Что осталось и после Достоевского?

Красота вещей.

40 Взмахните крылом так, чтобы и взмах, и полет, и точка, куда он направлен, представляли неоспоримую ни на чей взгляд красоту, — и тогда летите, куда хотите.

Летите в анархию, летите в небо, летите в Евангелие. Достоевский испепелил своей диалектикой всякое безобразие и открыл полную свободу, безграничную свободу всякой красоте... Но эта красота так высоко лежит, что ее никто не умеет взять.

ПО СЛЕДАМ КНИГОПРОДАВЧЕСКОГО СЪЕЗДА

Ах, культура, культура: кто тебя не почитает, но и кто тобою не злоупотребляет! Как на рисунке Гойи старая в морщинах женщина, обладательница миллио-
онов, идет среди жалких молодых людей, в прелестных галстуках, открытых
жилетах и безукоризненных фраках, и все они нашептывают ей сладкие речи
и каждый готов ее повести к алтарю, — так и культура, действительно древняя
и благодетельная бабушка, облеплена со всех сторон ловкими «факторами ду-
ха», и, послушать их речи, подумаешь: «Вот где душа цивилизации!..» Это впе-
чатление рисунка Гойи оставляет после себя только что кончившийся всероссий-
ский съезд книготорговцев и книгоиздателей. 10

Ну, конечно, зал, электрический свет, кафедра, речи, чтение приветствий и телеграмм... Я вспоминаю бедную квартиру в три комнаты, на Петербургской сто-
роне, — где захварывал, но пока не умирал (вскоре, однако, умерший) русский
молодой философ. Зал был так сыр, что со стен текло. Но контракт с хозяином
был заключен. Большой автор призвал домохозяина и сказал, что квартира сы-
ра, он болен и хотел бы перейти на другую квартиру, т. е. уничтожить контракт.
Домохозяин ответил: «Ну, что вы! Вот и отлично: вам на берег моря незачем ез-
дить» (о сырости, — буквально привожу слова), и отказался нарушить контракт.
Дом был новенький, еще даже не доведенный до конца, не просушенный: бедный
философ соблазнился дешевизною и с детьми и женой перешел в мокрую квар-
тиру. 20

Блеск съезда книгоиздателей и книготорговцев перемежается у меня с этим
воспоминанием об убогой квартире умиравшего писателя-философа. Может
быть, и сейчас есть такие? Наверное, есть. У этого умиравшего философа было
3—4 брошюрки, книжки, ну, странные, как все молодое странно, но обнаружив-
шие огромную энергию ума и пылкость стремления. В последние годы он уже
становился на ноги и почти встал; но злая чахотка, которую подкормила мокрая
квартира расторопного домохозяина, подкосила его и свела раньше времени
в могилу. Он имел средств (наследственных) тысячи три, и жил процентами и до-
ходом с брошюрок. «Вот семьдесят рублей получил», «вот пятьдесят рублей по-
лучил». Иногда же приходилось, увы, 15 или 20 рублей. Но как-то мало обращал
внимания на средства, и все думал и думал, писал и писал. 30

Сейчас я не умею связать две картины, но мне думается, не изображай наша
русская «культура» рисунка Гойи со старухой и франтами, дело могло бы обста-
виться совершенно иначе, — и молодой философ не умер бы, а был бы теперь
крупной величиною в литературе, что он решительно обещал. Он имел бы дружь-
ями своими, «домашними» своими не 2—3 бездомных студентов-товарищей
и так же как он «безнравственных» литераторов, а был бы «своим человеком»,
другом книгопродавцев и книгоиздателей, которые, разобрав человека, оценив
«обещания» в нем, талант и ум, помогли бы ему советом, указаниями, коро-
теньким кредитом, да, наконец, просто сочувствием и ласкою, ободрением и на-
деждою. Иное слово стоит рубля, — но слово опытного и знающего человека,
человека сильного. В *силе*-то и дело. В некоторые годы нужна поддержка не бла-
городного и доброго человека, а *сильного*. Ее не было. Литератор и философ мой 40

умер, и «легка земля» над его могилою. Я перехожу к книгопродавцам и издателям.

Из писателей они вспомнили одного... ну, конечно, Л. Н. Толстого. Тут я и вспоминаю особенно рисунок Гойи. Все имело такой вид или всему был придан такой вид, будто это собирались двигатели культуры, труженики прогресса, и они пожелали связать свой съезд с лицом и именем «великого писателя земли Русской». Они, видите ли, оценили его великодушие, проданное на жертвенник всемирной культуры, и благодарили его телеграммою за благородный отказ от своих сочинений, т. е. за право их перепечатывать кому угодно без вознаграждения автора.

Великодушный гр. Толстой!

Великодушные книгоиздатели и книготорговцы!

Он отказался...

Откажутся ли они?..

«От чего?» — спросит читатель. Ну, добрый читатель: не делайте наивного вида и не уверяйте, что сырая квартира заменяет морской берег. Стоимость книги складывается из: 1) стоимости производства, т. е. бумаги и печатания, 2) вознаграждения автора, написавшего книгу, 3) «благодарности» книгоиздателю и 4) «благодарности» торговцу, который вручает книгу покупателю-читателю. Бумага и печатание абсолютно должны быть возмещены; автор может «потесниться», если он богат, как богат Толстой или Чертков, или совершенно не может, абсолютно не может, ибо ведь все, что он делает и даже к чему единственно способен — это, что он «думает» и «думает», «пишет» и «пишет». Между тем желудок его переваривает и аппетит хочет есть, да кроме того, хотя это и роскошь, у него есть иногда жена и дети, «какая-то там жена и какие-то дети», как жаловался и смеялся один книгоиздатель, когда автор, не получавший за свои книги денег, сослался на нужду кормить одну и воспитывать других. Все это есть и иногда не подлежит ни малейшему сжиганию, особенно у молодых и начинающих, еще «не оперившихся». Затем книгоиздательство, как *фирма*, со всеми приказчиками, помещением и прочее, должны быть оплачены *уравнительно* из суммы стоимостей всех проданных книг, год за год. Затем остается «благодарю» автору, «благодарю» книгоиздателю и «благодарю» книготорговцу. Толстой отказался от своего «благодарю»: вот в отношении *продажи и издания* его, гр. Л. Н. Толстого, сочинений откажутся ли от своего «благодарю» книгопродавцы и книгоиздатели?

Т. е. станут ли они, без барыша себе, продавать его благодетельные, нравоучительные, зовущие мир к обновлению и пр., и проч., сочинения? Об этом ничего в телеграмме не упоминается. А ожидалось бы. Ну, что им стоит на одном Толстом, solo-Толстом, среди тысяч других авторов и книг, не брать ни копейки барыша, взимая лишь строго за одну бумагу и издержки печатания, т. е. оплату наборщиков и корректоров? Ведь уже на одних учебниках они достаточно взимают, чтобы оплатить роскошь обстановки магазинов и всего прочего?! Но что они со своей стороны «окажут великодушные» публике и дадут ей в пятикопеечных и десятикопеечных книжках его великие морализующие и религиозные творения, его наставительные рассказы из народного быта, об этом они в телеграмме промолчали.

Между тем телеграмма имеет этот тон аттестации *и себя*: «Вы, гр. Лев Николаевич, поняли невозможность брать что-нибудь за сочинения, возвещающие великие истины, и отказались от вознаграждения. Мы жмем вашу руку, *потому что мы вас понимаем*». Другие писатели еще не возвысились до такого «понимания», и книгоиздатели и книготорговцы далеки от рукопожатия им. Другие писатели... но из них ведь вообще очень мало похожих по благополучию на Толстого. Вспомним Достоевского, который тоже был «несколько талантлив», даже, вероятно, на оценку таких судей, как книгопродавцы, и всю жизнь прожил в нужде. Вспоминается его «издатель» Стелловский: он связал его каким-то необычайным контрактом, так что Достоевский, как угорелый, ходил по комнате и наскоро диктовал стенографистке своего «Игрока». Без доставленных столько-то листов нового романа к такому-то сроку Стелловский грозил его засадить в тюрьму как «неисправного должника».

Вот воспоминание, которое должно было несколько отяготить душу книгоиздателей и книгопродавцев. Они «протягивают руку» преуспевающим, но отдергивают руку от того, что связано с несчастьем, неудачей, от всего, что захворает, нуждается, бедно и слабо... «Отдергивают руку» вслепую, не разбирая, где талант и только временная неудача; и, например, если не в телеграммах, то в книгоиздательстве «протягивают руку» и положительно дурному. Кто отказался издать «Четырех» Анатолия Каменского, кто не гнался за «Саниным» Арцыбашева? Входило ли «в моду» хулиганство или порнография, книгопродавцы, как вороны, питающиеся падалью, кидались на все и все разносили «в пищу» еще слабому и некультурному народу, — лишь бы давало им «барыши». Вот отчего с телеграммой Толстому, такую самоаттестующую телеграммой, им не следовало бы торопиться.

И без телеграмм была бы ясна их душа, если б на съезде они решили построить вкладчину маленькую больничку для инвалидов-писателей, — такие есть; если бы подняли вопрос и обдумали, как издать в хорошем переводе классиков западноевропейской философии. Труд Мальбранша, напр., несколько лет пролежал переведенный в рукописи, не находя ни одного издателя. Несколько лет!

И вообще издателей ученых хороших книг, если это не суть книги медицинской и технические, или книги юридические, — обещающие немедленный и верный *барыш*, — у нас трудно найти. Писать серьезную книгу на русском языке может только или герой или наивный: он не найдет себе издателя! Русский издатель берет обыкновенно только то, что связано с барышом: и ничего другого, решительно ничего не берет! Тот же Толстой, лишись он *славы* своей и останься при одних качествах, тех же самых качествах, как сейчас, — не нашел бы себе никого в издатели!

Все — по славе. А слава — деньги.

Каким же образом люди угомоздились «в тетушек» культуры, в «друзей» цивилизации, когда по положению и средствам они действительно могли быть таковыми, но жадно, брося славу и честь, ухватились за один рубль? «Книгоиздатель», «книгопродавец»: да, в самом деле, это мог бы быть друг культуре, и в каком прекраснейшем одеянии! «Сам я не имею таланта — не могу писать; но тем болезненнее и тоньше я чувствую настоящий талант. И пусть мое дело небольшое, не небесное — но вот я техникой, трудолюбием, умелостью, рублем и всем, что имею, — тяну к свету и к свету, людям в помощь все, что дает талант».

Такая «техника» воистину стала бы святою: и можно представить себе, каким ореолом окружили бы, и чистосердечно, бескорыстно, отнюдь *не за себя*, писатели такого «книгоиздателя» и «книгопродавца». Окружили бы сильные и уже «оперившиеся» на то, что он помог слабым, умирающим, «безперым». Не одною больницею, а именно «книгоиздательством», но умным, зорким, талантливым, в определенном проценте — бескорыстным. Ибо по существу дела сплошное бескорыстие здесь невозможно, конечно, и не требуется, не ожидается.

А. С. БЕЛКИН

(Некролог)

- ¹⁰ Умер только что назначенный библиотекарем Г. Думы, преподаватель философии в Московском университете, *Алексей Сергеевич Белкин*, жизнь и личность которого представляют собою много замечательного и трогательного, особенно на бытовом фоне русской действительности. В 80-х годах прошлого столетия в Москве гремела меховая фирма Белкиных, первая в городе, ведшая обширные сношения с Сибирью и Германией. У владельца-то этой фирмы был сын Алеша, потерявший мать двух лет от роду. Как старший сын владельца фирмы, он должен был заместить отца и со временем сделаться всероссийским именитым купцом, собственником миллионного состояния и дела. Но что-то, Бог весть что, повлекло его в другую сторону, к тихим библиотекам, к ученым людям, к разговорам на абстрактные темы отвлеченного знания. Когда наступила пора ученья, мальчика отдали в Московскую Практическую Академию, и вообще стали готовить к будущему торговому поприщу. Настала борьба, безмолвная и тихая, между поэтическими умственными наклонностями мальчика и жесткой действительностью; борьба тем более для мальчика трудная, что он не обладал энергией, настойчивостью, что врожденно он был необыкновенно деликатен и умел противиться только тихим, русским, пассивным сопротивлением. Не нарисованно прошла картина замечательного нравственного смысла, совершилась трагедия, над которой никто не плакал... Некоторые фактические данные о его учебных годах сообщил М. К. Любавский, проф. русской истории в Моск. универс., в последней книжке «Вопросов философии и психологии». Он приводит выписки из сохранившегося дневника А. С. Белкина. «Нет никого, кто бы подкрепил во мне падающую надежду», — писал он в этом дневнике. «Я один наедине с самим собою и перед лицом страшной действительности. Я тебе, моя милая бумага, передаю мои грустные мысли, хоть ты, я знаю, и не заплачешь». Из слов этих заметно, что в мальчике слагался не сухой бездушный ученый, но душа его летела к неясной мистике знания, к теплоте уюту ученых библиотек и кабинетов в их поэтическом сложении. Это нужно отметить, чтобы понять дальнейшую трагедию его судьбы, которая во внутренней своей стороне была еще страшнее, чем во внешней. Ибо того, чего он искал в науке и что дало бы мир и счастье его душе, он ³⁰ не нашел в том черством обездушенном позитивизме, какой встретил на университетской кафедре, в лице профессуры. Мальчик из погребца вылетел в ледник

и погиб, не отдавая себе отчета, что такое совершилось с ним. Но перейдем к фактам. Поступив в школу для технической выучки, Алексей Сергеевич жадно ловил там все, что расширяло умственный кругозор, формировало жизненное мировоззрение, все, что давало работу и пищу мысли. С особенной любовью изучал он математику и естественные науки, историю и литературу. В течение двух лет по окончании курса в академии А. С. Белкин не выходил из «сыновьего повиновения» и высидел магазинным сидельцем... а душа его рвалась к Вундту, к Целлеру, к Д. С. Миллю, к Узелю, книги которых составляли сокровище его уединенной комнатки.

Тут были пролиты невидимые слезы, прошли нерассказанные муки. В то время очень поддерживала его дружба с А. В. Орешниковым, который, будучи тоже купеческого рода, выходил, как и Белкин, на ученое поприще. В дневнике Белкина за это время встречаются строки: «Дорога, лежащая перед мной, устлана коврами, тепла, доходна, но для меня она невыносима»... «Кончайся скорее, борьба, мне стало неважно... Мне кажется, что я просто с ума сойду. Одно мне утешение: разговор с Лелей, музыка и чтение. Отнимите их, и я погиб».

Торг начинается с бедности. Пафос торга — деньги. Счет денег — нерв торговли. Вообразите же человека, *уже в обеспечении родившегося*, и который не имеет пафоса к деньгам: для него «золотое дело» есть тюрьма, ад, есть пытка того царька, попавшего в плен, которому в горло наливали расплавленное золото! Вот отчего «купеческие сынки», не имеющие — и притом естественно не имеющие — главного пафоса торговли, так часто поворачивают на новые пути научных и художественных интересов. Тут не «дурь» и не «баловство», а естественный рост дерева, непохожего в вершине на ствол и корень.

Через три года отец, видя хирение своего сына, дозволил ему выйти на свой путь, но отказавшись от наследства и вообще от всех прав на участие в «деле». Для идеалиста-мальчика только это и нужно было. Немедленно он стал готовиться к испытанию на «аттестат зрелости», в те суровые толстовские времена, когда этот экзамен с таким трудом выдерживали и «классики», восемь лет просидевшие над кюнерами и ходобаями. Начинается пора учебной страды. Дважды держал он экзамен, и наконец выдержал. Помогли ему преподаватели гимназий и университета (Н. Г. Зубков). Наконец он в Московском университете, на историко-филологическом факультете. И здесь перед ним раскрылась бесплодная пустыня, — в своем роде «голодная степь», какие попадаются в Средней Азии, — блестящего виртуоза позитивизма, М. М. Троицкого. Темы — никакой; точнее — тема самая глупая, но исполнение — великолепное, заманчивое, художественное. Как лектор, как чтец лекций, М. М. Троицкий гипнотизировал слушателей, а их волю подавляла его самоуверенность, повторяем — в пределах совершенно глупой темы. Белкин же был слишком пассивен, чтобы оторваться от гипноза профессора: и тут началось второе, гораздо более страшное хирение его как ученого.

Он объехал многие заграничные университеты, занимался психологией, и, как фундаментом для нее, анатомией и физиологией. Занимался в психологическом институте проф. Георга Миллера, у проф. Меркеля, Мейснера и Каллиуса, и работал в психофизиологической лаборатории Вундта. Но самая тема этих работ не могла повести ни к чему: история дала всего только *минуту* торжества этому направлению, — выковырять душу из мозгов, — и затем оно стало безво-

ротом падать как бессмыслица. Белкин несчастным образом попал в этот кризис, и уже в момент его склонения книзу. Его диссертация, его работы в психофизиологическом кабинете, который он завел при Московском университете, не давали результатов. Он был так чуток, что сознавал это. Но уже справиться с положением не мог. Старший его годами, Н. Я. Грот, — кстати, имевший чрезвычайно много общего с покойным Белкиным, — только потому, что вышел *раньше* его на эту дорогу, шел по ней с уверенностью и успехом. Но нет двух лиц на одно *emplois**: тот же второй, Грот, абсолютно с тем же запасом сил, способностей, таланта, ума, захирел и засох на этом бесплодном пути. Но неуязвимою остается его личность. Товарищи не забудут, как в 1878—1880-х годах появился в университетских аудиториях замечательной красоты молодой человек, с золотыми локонами и точно выточенным на небесном станке прекрасным, худым и бледным лицом. Это был Белкин... Всегда струилась с уст его шутливая, веселая речь. Мир праху твоему, один из незаметных героев русской земли. Хотя он не оставил законченных трудов и завершенных работ, но жизнь и судьба его гораздо замечательнее и гораздо содержательнее многих ученых диссертаций. Как справедливо говорит его биограф, «он принес в жертву науке молодость, карьеру, богатство и возможность семейного счастья». Покойный прожил жизнь одиночкой-отшельником; но теперь для него окончилось все горькое и недоуменное, и он вошел в радость. История русского идеализма не должна о нем забыть.

К ИСТОРИИ ОДНОГО КНИГОПРОДАВЧЕСКОГО РАЗОРЕНИЯ

Литературный фонд благодетельствует писателям, выдавая копеечные пенсии и рублевые пособия. И посмотрите на величие его председателей и разных членов, «покровительствующих» литературе... Олимпийцы-благодетели. Выхлопывают больным даровые ванны на Кавказе и проч., и проч. Благодеяниям нет конца, и чванству нет конца. Но было бы несравненно лучше, если бы вместо этих своих благодетельных подачек «даром» он защитил расхищаемые права авторов. Вот здесь нас несколько человек, и все мы обобранны... И ничего не сделаешь. Все дело так формально обставлено, что приходится только покориться. Мы все работали, писали по несколько лет: пришел «друг прогресса», издатель Пирожков, сел как на подушку на эти наши многолетние труды, и вот теперь вытаскивает их. Литературный фонд, будь он деятельным другом писательской бедноты, своим авторитетом, влиянием, влиянием нравственным, а не только юридическим, мог бы предупредить подобное обирание литераторов, людей ручного и ежедневного труда, умственных пролетариев в полном смысле.

Так говорил очень молодой литератор, и я был удивлен. Никогда подобного мне не приходило в голову. Но в самом деле: чем выдавать от себя пособия, сравнительно копеечные, даром без отдачи, не лучше ли бы было Литературному фонду стать стражем около писательской работы, не допуская никого изымать ее в свою пользу, отнимать чужие литературные труды на безукоризненных юриди-

* должность (фр.).

ческих основаниях, но при которых: «была книга моя», а стала книга «собственностью Свечина и Карбасникова», которому Пирожков в сто раз больше должен, чем мне, и обеспечил права их, этих книгоиздателей-коммерсантов-товарищей (по однородности дела) в сто раз устойчивее и солиднее, нежели наши авторские права. Разорение, конечно, как и смерть, подобно ей: «В душе нашей, в жизни и в смерти, Бог вечен». Винить за разорение, т. е. за несчастье, невозможно человека, хотя бы сам и был вовлечен в часть убытков от него. «Все падают, и я падаю». Остается только перекреститься и вздохнуть. Так и было с рядом писателей, книги которых издал г. Пирожков, заключив с ними договоры, — но не уплачивая по этим договорам деньги в сроки, со ссылкой, что «теперь трудное время для книги, — покупают только политические брошюры, — а вот два-три года пройдет, дело пойдет лучше, сбыт именно моих изданий совершенно обеспечен их солидностью, и тогда вы получите все по договору». Все ждали; и, повторяю, когда разнеслась весть о банкротстве, раздалось только «ах», но без укора книгоиздателю.

«В жизни, в смерти Бог волен». Оторвалась вывеска, когда вы шли по улице, — и ударила в голову. Тут «Бог волен». Совсем иное дело, если, став под вывескою, вы отрывали ее сами руками. Тут не «Бог волен», а ваша глупость; и когда вы ею разоряете других, тут есть причина для морального негодования.

Когда вышла моя книга «Около церковных стен», то, показывая две горы ее, М. В. Пирожков говорил:

— Вот видите. Не идет. Лежит.

Как автор, я не мог не конфузиться. «Значит, скучно написал. Неинтересно, не нужно читателю и России». Я опустил голову, а ласковый взгляд М. В. Пирожкова договаривал:

— Как же я буду вам платить по договору, когда сам от продажи ничего, или очень мало получаю.

«Подождите»... Это вытекало само собою из дела.

Но вот, сам я думаю, *причина* разорения, которую невольные «соучастники» его не могут не контролировать. Молодой автор, выразивший неудовольствие на Литературный фонд, кончил смехом.

— Я только что начал писать, пишу года три-четыре и статьи мои, философско-публицистического содержания, собранные в книгу, не обещали разойтись более, чем в 1200 экземпляров; самое большее — 3000 экземпляров. Пирожков купил право на 3000. Между тем напечатал 7000. Когда же они разойдутся??!

— До чего глупо! — оживился я. — Вам, собственно, ничего: книга такого «текущего» содержания, как ваша, едва ли бы дождалась 2-го издания. Истекли дни, и истек интерес. Так что хоть бы он 100 000 экземпляров печатал — автору все равно, и даже чести больше. Но ведь он *заплатил за бумагу*, а вы, автор, думаете...

— *Не может* разойтись более 1200 экземпляров!

— Значит, он употребил бумаги, без пользы себе и вам, ровно на 5800 экземпляров лишних, т. е. утроенно больше, чем, например, авторский гонорар. Как глупо! Ну, вот и поистине разорение. Он напечатал горы книг, которые не могут продаться иначе, как в пятьдесят лет.

Тем не менее это сообщение молодого писателя, как не опертое на личное доказательство, осталось в голове моей в той смутной форме, как остается все не вполне доказанное, не очевидное. «Может быть, субъективное мнение». Но не

так давно, недели 2—3 назад, председатель Конкурсного учреждения по делам несостоятельного должника М. В. Пирожкова любезно согласился дать мне справку о числе еще не распроданных моих книг, что мне было важно знать в целях соображения, через какое приблизительно время сочинения мои освободятся и я могу приступить к переизданию их, уже в свою пользу.

Председатель конкурса абсолютно не заинтересован в том, «идут» книги или «не идут»... И вот, передвигая торговые книги и еще не раскрыв их, он сказал, к большому авторскому утешению, что «Около церковных стен» идет (распространяются) хорошо, «Легенда об инквизиторе» даже очень хорошо, а «Ослабнувший фетиш» идет отлично. Я был удивлен. О последней брошюре я предполагал, что она совсем остановилась как утратившая животрепещущий интерес, которому отвечала года три назад.

Я мысленно потирал руки. «Что же Пирожков жаловался, что горы книг лежат и не распродаются».

Председатель конкурса, г. Спешнев, раскрыл книги, — их было несколько, — и стал говорить мне цифры имеющихся моих книг у конкурса в складе, у г. Карбасникова, которому наши книги поступили в уплату ему долга г. Пирожкова, и г. Свечину, на таком же основании. Некоторые мои книги оказались лежащими целиком у Карбасникова, некоторые у Свечина, и лишь издания П. П. Перцова моих книг распределились у всех трех, но уже в крошечных числах экземпляров, допускающих теперь же переиздание.

Я положительно радовался. «Честь» автора возростала. Особым мотивом моим навести эту справку было уведомление моего издателя «Итальянских впечатлений», что книги «Легенда об инквизиторе» нигде не находится и, следовательно, она распродана и свободна к переизданию. На обложке «Итальянских впечатлений» она и помечена «распроданною». В складе конкурса ее действительно не оказалось, и я уже готов был передумать, что огромное издание Пирожкова в числе 5000 экземпляров распродано в два года вполне. «Наконец-то я преуспевающий писатель», — подумал я.

— Подождите, подождите, — остановил меня г. Спешнев. — Есть! У Свечина. Вот... 7400 экземпляров.

Душа моя покрылась трауром. 7400 — это на всю мою жизнь не продается, и, значит, я навсегда лишен возможности переиздать самую ходкую и, следовательно, самую доходную свою книгу. Прав г. Ф., бранивший Литературный фонд Что же это такое?

Я сообщил, что мне передал г. Ф. о напечатании Пирожковым его книги вместе обусловленных 3000 экземпляров в 7400 экземпляров.

— Сколько же по договору с вами он должен был напечатать?

— 5000. А налицо 7400. Очевидно, напечатанная 2 года назад сумма экземпляров была 10 000. Понятно, что он разорился не только на бумагу, но и на уплату типографии за печатание, брошюровку и проч. такого несуразно-огромного количества экземпляров.

Источник разорения Пирожкова, совершенно глупый, становился вполне ясен. Он жадничал на «через 10 лет» и подрывал себя на ближайшие годы, которых не вынес и впал в банкротство, не пожав «будущей» жатвы.

Все это было при присутствовавшем тут же г. Карбасникове, в магазины и книгоиздательство которого поступили в таком неизмеримом количестве на-

печатанные нами книги, гг. Мережковского, Философова, меня, Исакова и многих, многих других. Г. Карбасников шумно удивлялся деятельности Пирожкова, уверяя, что никогда это никем не делается и что это есть определенный проступок. Проступок это или не проступок — не говорю столь явно, но что это явная глупость — это очевидно. Но так ли достоверно утверждение г. Карбасникова, что «этого никогда не бывает», и не здесь ли лежит одна из распространенных причин книгоиздательских «крахов»?

Вот что еще я имею сказать «вслед книгопродавческому и книгоиздательскому съезду».

О ПСИХОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

10

Проходит страшная мгла жизни... Не ужасное ли это явление — жизнь без опоры прочной?..

Гоголь

Прежде чем перейти к «очередным темам», не могу оставить без внимания и без сведения для читателей, что статья моя на волнующую и ответственную тему о сентиментализме и притворстве в революции вызвала резкое осуждение, притом со стороны людей, совершенно понимающих мою литературную деятельность, бесстрастно-чистых в политическом отношении, и, наконец, от людей, нимало не революционных, почти «нашего лагеря». Последнее очень замечательно. Осуждающие меня люди, очевидно, повторяют судей Фрумкиной, которые сделали все усилия, чтобы не обвинить ее и спасти ей жизнь. «Наш лагерь» не ненавидит революционеров, даже террористов, тогда как последние всю реальную Россию так очевидно считают «гадом». Да и они ли одни?.. Есть укус, приправа к кушанью, и есть укусная «эссенция», которая убивает. Терроризм, мне кажется, концентрировал в «эссенцию» все то, что лет сорок, а распространено и лет восемьдесят, писалось в торжествующем течении нашей литературы о России: здесь «сконцентрировалась» та гадливость к ней, которая сочилась из всякой заметки, из каждой «хроники» «Дела», «Отечественных Записок», «Русского Богатства», из каждой повести, подписанной безвестным именем или псевдонимом. И если отдаленно мы возьмем уже Герцена, то можно ли усомниться, что его прелестные «сеувтес», такие остроумные, игривые, блестящие всяческим талантом и философа, и критика, и публициста, и беллетриста, представлялись их автору куда интереснее и значительнее, чем несчастная обширная «глуповщина», населенная «соотечественниками». Щедрин в «Истории одного города» так и определил Россию, как «город Дупов», населенный «головотяпами». Спросите Петрищева из «Русского Богатства», что такое Россия, и он ответит вам:

— Конечно, страна непроходимых дураков.

Мякотина?

— О, в России живут совершенные ослы. Все. Кроме меня и моего приятеля Петрищева.

Пешехонова?

— Страна пауков и вшей, которую раздавить бы.

Это еще со Щедрина... Да и куда дальше его, лучше его.

У обывателя, старой дворянки, старого дворянина, но людей *обыкновенного ума* (в этом все дело), под действием такого страшного давления должна была зародиться такая меланхолия, такое отчаяние, что возьмешь бомбу... Тут «делатели», пожалуй, «без вины виноваты»... Именно молодые-то люди, которые не могли «разобраться» во всех этих «авторитетах», от Герцена да Пешехонова, и взяли в руки бомбы... «Надо раздавить гадов». Ну а что Россия — гадость, об этом кто же у нас не «пел». Только становясь постарше и начав постигать, что, кроме России печатной, есть Россия живущая и что эта-то Россия, предположительно состоящая из «гадов», дала, однако, *несомненно* весь *оригинальный* материал для такого творчества, как Пушкина, Лермонтова, Толстого, что, не будь *фактигеской* Тамани, — Лермонтову не о чем было бы написать рассказа «Тамань», Гончарову не о чем было бы написать «Обрыв», Толстому — «Детство и отрочество», «Казаков», «Войну и мир», «Каренину», только догадавшись, что *единственно одна* Россия и есть у нас поэт, поющий песнь всею своею жизнью, а Пушкин, Лермонтов и Толстой всего лишь типографские наборщики и резчики по дереву, «исполнявшие» в своих произведениях «оригинал», сообразив все это, — люди под 40, под 50 лет, из прежних «анархистов», делали то, что, вытащив с полки книгу «Историю одного города», шлепали ее с размаха об пол:

- 20 — Но ведь Щедрин? Авторитет?.. «Великий»?
 — А чорт с ним!
 — Вы, значит, отрицаете литературу? Такую великую... такую священную... благоухающую... Такие идеалы, идеалици...
- Своя голова дороже...
- Почему «голова дороже»? К чему? Какой смысл?
- Такой, что если я поверю всему этому омуту, вот что, кроме меня и «любимого автора», ничего порядочного на Руси нет и никогда не было и что папаша-то наши были свиньи, а дедушки были прохвосты и вся Россия только и занималась, что прохвостными делами: то, хотя, по уверенью «любимого писателя», я и есть золотой человек, вместе с этим писателем на столько двое, и еще вот несколько тоже влюбленных в этого писателя читателей, — то я с ума сойду и, конечно, повешусь! Или кого-нибудь убью. И вот, чтобы спастись от этой убийственной мысли, я и предпочитаю думать, что я просто дурачок, да и писатель мой не очень умен или, правильнее, что мы оба «так себе люди», не совсем худые, но и далекие от хорошего, «как все», и что точь-в-точь были такие же наши папаша и дедушки. Так-то ровнее и утешительнее. А то вся Россия разделилась на два лагеря: 1) гадов, которых надо «раздавить», и 2) золотую молодежь, святых героев, которые вправе раздавить. Если чуть-чуть поумней и поскромней человек, то от такой мысли с ума сойдешь, и именно если ему говорят, что он в разряде «праведников». Ибо если «гад» — то еще ничего: общее болото, и все — лягушки. Но если праведник, т. е. если все-то остальные — *хуже меня?* Внутри себя, молча, каждый не может не сознавать, что он «так себе»: и вот если прочие люди объявлены, признаны, запечатаны как *несравненно худшие* этого субъективного «так себе», «серединочки», то из этого убеждения не может не вырасти такая великая грусть, которая приведет фатально к истреблению или своего «величия», как *обманного* (у умных, у искренних), или другого кого-нибудь «гада» (у фальшивых и деревянного типа людей).

Убийства и самоубийства наши, исключая «бытовых», от алкоголя, нужды, порока, растраты, вообще убийства и самоубийства «духовные» (даже страшно писать это) все суть литературные. И «историю русской литературы» давно было бы пора обставить этими могилками, этими «крестами» в своем роде: посмертными и предсмертными записочками, признаниями и дневниками самоубийц и убийц. Тщетно пушкинское влияние, влияние Гончарова, Толстого, Тургенева боролись с этим: туман превозмог. Наш северный, холодный, промозглый туман. В конце концов на самую литературу нашу действует этот ужасный север, скудо-солнечность, короткость дня зимой... Сырость, тьма, холод, пески, сосна... Бррр...

И между тем тут столько таланта. «Самое *отрицание-то талантливо*, чорт возьми». В том вся и боль, что талантливо, оттого и заражает, действует на душу. Да и как не быть талантливым: «из природы прет»... Из без-солнечности.

Все это когда думаешь, ум кружится. Теряешь начала и концы. Обвиняешь, и мотивы обвинения выскальзывают из рук. В этом положении ужасной смуты не только жизни, но и критики остается говорить «что видишь», «что осязает» и «что думаешь». Писатель может ошибиться, но писатель не может скрывать от читателя даже и ошибки свои. Только с скромностью, т. е. оговоркой: «мне так думается», «я так понимаю вещи», «так видится», «так чувствуется».

* * *

Но вот, однако, письмо, которое по долгу чести я не могу скрыть от читателя: пишет женщина, высокой и самоотверженной жизни, — типа старых наших «народников», со следующим упреком за мое осуждение террористов и отрицание в них настоящей любящей души: «Как совмещается в одном понимании и тепло собственной души, и грубость к чужим человеческим душам, к человеческим жизням? Конечно, есть разные взгляды, разные убеждения; ведь вся жизнь от начала веков и до нас была всегда борьбой и, значит, разномыслием; но все-таки все живущие верят в своего Бога. *Бога-то оскорблять нельзя* (подчеркнуто в письме); лучше убейте меня, но Бога моего не троньте».

Это пишется о Бердягине и Фрумкиной, которых «Бога я оскорбил»... Но, позвольте, от Щедрина и до Фрумкиной, разве они все не «оскорбили Бога России» и разве о чем-нибудь ином идет речь? Именно «Бога России» — только об этом и дело. Совершенными пустяками представляются их физические выстрелы, физические убийства: не в этом дело, а в том, что *до силы выстрела* дошла их гадливость ко всей русской земле, ко всему русскому полю, с лесочками, подлесочками, проселочными дорогами, железными дорогами, со всем вековым и тысяче-летним строительством, которое пусть было и не премудро, но, однако же, было именно строительство, труд, созидание, терпение, умирание и новые роды и роды. И неужели же можно на все это плюнуть и отвернуться со словами: «Фу, гадина!» А именно таково чувство революционера, без этого — нет революции. Как противовес этого, я не могу не припомнить в самый разгар революции одного коротенького разговора с проф. Медицинской академии и вместе коллекционером С. С. Боткиным:

- Я все русское люблю... Всю Россию люблю. Это он. А я:
- Ну, послушайте, русские генералы... (была японская война, кончилась).
- Я русского генерала люблю. В эполетах. Старого и с пенсией (резко).

Я опешил и растерянно возразил:

— Ну, однако же, чиновники...

Тогда всех «бюрократов» бранили. Стон стоял в воздухе.

— Я русского чиновника люблю. Уважаю и люблю. — Он тряхнул кудластой головой.

Я спорил тогда: но, ей-ей, это так было сказано, что вдруг сделалось и моим «credo». Надо сплошь все любить, не разбирая. «Разборка» пойдет потом на «том свете», что ли: а нам просто *не дано права* ненавидеть, и притом так сплошь все. А революционеры, несомненно, все сплошь ненавидят, кроме своей кучки «непорочно зачатых максималистов». Продолжаю письмо:

«Есть во всех людях слабости человеческие, и сантиментальность, и притворство, и малодушие, маловерие, но нельзя говорить о человеческих слабостях, когда есть и Бог».

Все это — о революционерах, в их защиту: но, Боже, отчего же это не говорилось в защиту России «как она есть», не говорилось в ответ гениальным «Горю от ума», «Мертвым душам», не говорилось Щедрину, когда он писал «Историю города Глупова»? Почему, почему это говорится *теперь*, к концу отрицания, когда отрицание вызывает жестокий протест, «сдачу себе», а не когда отрицатели «давали оплеуху» старому и малому на Руси, крича, что это «страна Чичиковых и Скалозубов», что в ней можно только «задышаться»...

Продолжаю письмо:

«Вспомните себя — и в вас много ничтожного есть, но есть и святое и великое, а вас за этот фельетон поймут только как злого и непонимающего, вас, написавшего книгу „О понимании“. Понимаете ли, что можно даже застрелить, но не оскорбить и не *ронять себя* этим оскорбительным, тупым, неразбирающимся отношением? Мне жалко и больно, что фельетон этот напечатан. Вы ведь, верно, сами уже страдаете, и, я знаю: оскорбляемые всегда оскорбляют и будут оскорблять, таков порядок жизни (мысль не очень ясна). Надо помнить: когда близка смерть, то и Бог близко. Как при рождении, — это край жизни, сантиментальничать некогда и указкам нет места, а главное, *некогда* передумывать».

Все слова курсивом — подчеркнуты в письме. В нем делается упрек за то, как я мог судить людей *перед смертью*, Бердягина и Фрумкину. Конечно, в этот час нельзя судить человека: но как судили *они* убиваемых? А они убивали, хотели убить. В этом-то *хотели* и дело, в *праве так хотеть*. И закаты зрачки глаз, глаза станут из карих, черных, голубых — белые, у всех белые, у революционеров, монархистов, — точно у вареной рыбы. И грудь никогда еще не поднимется, сколько ни зови, ни проси жена, мать, дети, все. Как же тут *взаимно не пожалеть*? А *они не жалели, это факт*: что же значит мое *литературное* «нежелание» около этого *фактического* нежаленья?

Вот мой ответ. И если я был жесток в слове, — и это почувствовалось, то как *вся Россия гувствовала*, когда ее так мало жалели в деле? А ведь мы совершенно не помним в революционной литературе или в деловой революции, чтобы когда-нибудь идущий «на дело» товарищ был остановлен другими, был остановлен кем-нибудь: «Постой! Подумаем!»

Этого «постой, подумаем», — тоже перед великим таинством смерти, — никогда не было произнесено. Это-то и побудило меня сказать: «жестокое, ненавидящие».

Пройдут десятки лет. Все «наше» пройдет. Тогда будут искать корни терроризма подробно, научно, наконец, философски и метафизически. В политике лежит только физический корень терроризма. Но когда станут искать его метафизический корень, его найдут поблизости к тому «святому» корню, который когда-то вызвал инквизицию, — это негодование «святых людей» на грех человеческий, и оба эти корня найдут как разветвления того древнего и вечного корня, который именуется «жертвою», началом «жертвенным» в истории, в силу которого всегда и у всех народов тоскливо отыскивалась жертва под нож. Авраам нашел барана, запутавшегося рогами в терновнике, католики — еретиков, террористы — жандарма и полицейского. «Давай его сюда, заколем — и оживем»; «если *этот* не умрет, я не могу жить». Это чувство странное и страшное. Но *именно оно-то* и есть метафизический корень террора. И, конечно, здесь есть мясники, но по мистическому основанию всего дела тут в некоторых случаях, в некоторой пропорции замешаны и люди чистой и именно нежной души. Но нужно очень опасаться литературного сантиментализма, и по поводу нескольких гумано-обобщенных фраз, сказанных в предсмертной экстазе и *вовсе не выражающих коренной и постоянной натуры человека*, нельзя развивать ту мысль, будто люди эти подняли руку на человека по причине ангельской своей доброты и невероятной любви к народу, к человечеству. Нет, кто убил — именно убил; кто хотел убить — именно хотел убить. Он ненавидел, он чувствовал гадливость к убиваемому — и этого нельзя ни переделать, ни затенить. Убил *злой* — вот вся моя жизнь.

ОДИН ИЗ ПЕВЦОВ ВЕЧНОЙ «ВЕСНЫ»

Я прочел в новом издании «Историю одной жизни» Мопассана, — «Une vie», — и мне нетерпеливо захотелось сказать несколько слов читателям об этом романе, вероятно, уже прочитанном всею Россией в бесчисленных изданиях этого любимого и французского, и русского писателя. Надеюсь не повторять других критиков.

Прежде всего, — это не «История одной жизни», с этим оттенком и обобщением в заглавии: ибо, например, в России все же мало точь-в-точь таких грустных жизней. Нет, у нас живется теплее, живее и веселее. Безалабернее и смешнее, — и все-таки содержательнее. Разбитые, искалеченные семьи у нас как-то все-таки несчастны на *иной лад*, и несколько лучший лад. Такого ужаса, такого беспросветного ужаса, какой я прочел здесь у Мопассана как «историю *обыкновенной* жизни», — что очевидно он хотел сказать своим заглавием, — я не видел во всю мою 53-летнюю жизнь.

Сравнительно с этим о, как светла и история Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, и даже «Мертвые души», со всей их *мелюзью*. Ибо Гоголь описал только *мелочь* жизни; Мопассан описывает цинизм ее. Это цинизм глубоко старого, дряхлого общества; *тон* глубоко старой, износившейся цивилизации. О, как мы, русские, еще молоды...

Слава Богу!

Итак, заглавие не точно: это не история общечеловеческой жизни, не вечная история семьи. Это «история обыкновенной французской жизни». Она в высшей степени местна и временна; ее еще можно было бы назвать «Исповедью сына 2-й половины XIX-го века во Франции».

Но как страшна она... Закрыв последнюю страницу Мопассана, думаешь: «Ничего нет страшнее старости, исторической старости». Какие горестные годы, какие горестные дни!

Какова точка зрения *самого* Мопассана на все рассказанное? «Так бывает» — эта нотка проходит через весь роман. Он превосходно написан, — каким-то ¹⁰ *охлажденным* стилем. Что «так бывает», *в секрете* — «у всех так бывает», это почти *idée fixe* Мопассана. Он рассказывает с тем спокойствием, верностью и твердостью, как бы перевидал если не тысячи, то сотни таких семей, таких судеб.

Я буду говорить, предполагая, что роман всем знаком. Так я могу говорить короче. Вот мои заметки.

Сам Мопассан, рассказчик, хотя сделал центральным лицом нравственный образ страдающей Жанны, но он рассказывает «Историю одной жизни» так спокойно, твердо, без потоков лирики, без особенной *авторской* скорби, как мог бы все это рассказать только Жюльен. Придвиньте к этому роману «Поездку за город» того же Мопассана, и вы увидите, в чем дело. В «Поездке» передано о сонном, скучном, даже и физически противном муже и отце, у которого под носом ²⁰ двое красавцев, *тогь-в-тогь как Жюльен*, увозят на лодках жену и дочь, и получают с ними типично мопассановское удовольствие. «Мужья — дураки, любовники — обольстительны» — вот вечный припев Мопассана. Что же он такое рассказал в «Истории одной жизни»? Он изменил вечной своей ноте, вечной своей истине: здесь прекрасная женщина (Жанна) и благородный муж (граф де-Фурвиль) невыносимо страдают от того, что около них свободно, «натурально» развертывается эта типично мопассановская лошадиная жизнь, во всю ширь, во всю *натуру*.

Рассказчик — Жюльен. Отсюда вся прелесть и точность рассказа. Отсюда вся ³⁰ *великая историческая* его цена. «Мастер знает свое дело». Но *нравственный суд* в романе держит Жанна, ее страдания, лестница этих страданий. Это совсем не мопассановская сфера. Отсюда в романе двойственность. Опять для сравнения придвинем сюда «Поездку за город», где Мопассан так очевидно подсмеивается над такими категориями, как «супруг», «папаша», «мамаша», «дочь», — и говорит восторженное «да», любующееся «да» только одному — весенней поре любви, молодому движению соков в молодых деревьях. Продолжая этот тон, *свой обыгный тон*, он должен бы представить Жанну скучной женой-наседкой, графа — наивным «колпаком», а Жюльена, Розалию и Жильберту — очаровательными. Почему этого не случилось?

⁴⁰ Да оттого, что он не пишет уже эскиз, не описывает день или неделю, как в своих прелестных маленьких рассказах, а задумал изобразить *цельную* человеческую жизнь, «Историю одной жизни», с началом и *с концом*. «Конец»-то весенних удовольствий и вышел так трагичен, так страшен, колесо «весны» так давит людей, что Мопассан раздвоился и вдруг выдвинул нравственный суд. Везде у него главными действующими лицами были Жюльены и Жильберты, наслаждающиеся и «симпатичные». Здесь вдруг выведен черный фон страдания под

ними, и Жюльены и Жильберты вдруг названы настоящим своим именем — эгоистов, негодяев и, по совершенной бесчувственности, даже болванов.

Между тем тут же в романе, в «Истории одной жизни», проведена везде философия «весны и природы». Она проведена и в картинах, и в рассуждениях. Таким образом, состав романа не только двойной, но тройной.

1) Жанна страдает. Единственно благородное лицо романа, главное в нем лицо — страдает невыносимо. Это один пласт.

2) Наслаждающиеся лица — болваны и эгоисты, топчущие лицо человека. Это второй пласт, освещение которого, антимопассановское, зависит единственно от сочувствия автора и читателей Жанне.

3) Философия весеннего чувства: «вся земля полна божественных зародышей, которые должны реализоваться», т. е. родиться. Для того весна приходит. Все права — у весны.

Этот третий пласт перекрашивает из черного в белый второй пласт, а страдающую Жанну откидывает в сторону как «скучную женщину».

В романе это составляет бесспорное противоречие. Здесь Мопассан двоятся и даже троится. Но смысл всех его произведений, кроме этого единственного, совпадает с третьим пластом, «весенним натурализмом».

* * *

Есть весна.

Но, конечно же, есть и лето, осень, зима! Весною — любят. Но осенью собирают плоды (дети), а зимою — отдыхают. Кроме «любви» есть именно *семья*, категории «мужа», «отца», «матери», «деда», которые все рождаются из «любви», но уже эту любовь *отрицают* и *ограничивают*, как плод отрицает собою цветок, несовместим с ним, а зимняя дремота природы, зимний *покой* природы не хочет более ни цветов, ни плодов.

Отрицают, и *вправе отрицать*.

Вот что забывал Мопассан! Во всех решительно произведениях *это* забывал он!

Он пел *весну*.

А есть еще лето, осень и зима. И они не менее божественны, чем весна.

Что такое весна, вечный цвет, вечная любовь? Отнимем августовские плоды — и цветение весною превратится в бессмыслицу. Просто — это не нужно. Цветение «само в себе» — не нужно. Любовь, одна, соло — не нужна. Что такое алфавит из одного «А»? Бессмыслица. Такова и любовь без «дальнейшего»: детей, семьи и дедушкина зимнего отдыха.

Глубокое утверждение принадлежит всем четырем временам года, а не одному, не только весне. Мопассан поет, везде пел — только весну. В этом ошибка всей его литературной деятельности, ошибка его лица, ошибка его ума. Он недаром кончил безумием. «Бог наказал».

Это — не ханжество, это — не нравоучение, это — не пропись. Это — природа, за которую распинается Мопассан.

Зима ровно столько же «природна», как и весна. Дедушкин возраст, его поэзия, его смысл, его *протяженная* содержательность — вот чего Мопассан не

включил в свою обширную живопись (в других произведениях, кроме этого одного). Он все «пел гимн» и развивал «философию» не природе, а одному ее кусочку. Но природа только и «натуральна» в целостности своей, когда взята вся, когда окинута взглядом вся. Природа равна самой себе, сумме дробей в ней. Если вы берете только одну дробь — вы искажаете ее. Мопассан, вечно певший «любовь» и «весну», искажил природу.

Как бы срезая августовские плоды, «скучные» для него, он на их место привязывал к растениям цветочки и цветочки. Увы, это «французские цветы», из шелка и позолоты!

10 И по белому покрову зимы, не печальному для глаза, который на него умеет смотреть, — он по нему разбрасывал свои цветочки, столь неуместные здесь и безвкусные, фальшивые. К чему они? Не нужно их.

Зимою не нужно.

«Божественный» характер любви и весенних сил природы открывается только из связи их с последующим. В самом деле, из них все рождается: дедушки, отцы, все гражданство. Рождается здоровый пахарь, мужественный воин. Рождается Пастёр, родился Ньютон. Все из «юноши и девы» и любви их, все из «Ромео и Джульеты». Поэтому роман Ромео и Джульеты, конечно, божествен: ведь мы не знаем, что из него родится, — может быть, спаситель отечества, герой.

20 Или — законодатель и мудрец. Поэтому невинный лепет Ромео и Джульеты цивилизация должна сберегать, должна оберегать везде и всюду наравне с великими произведениями искусств и мудрости. И если для последних построены музеи и библиотеки...

«Ну, что же дальше?» — спросит читатель.

Ромео и Джульете со своей любовью пришлось бежать в подземный склеп и там умереть; и во множестве случаев до нашего времени несчастным влюбленным приходится Бог знает куда деваться со своею любовью — тоже иногда умирать. Зная это и давно об этом думая, я проектировал бы создание для влюбленных «священного убежища» наподобие бывших и в Средние века и в древности, куда, добежав или скрывшись, влюбленные уже не могли бы быть никем разлучены, ни родителями, ни обществом, ни государством, ни церковью.

30

* * *

Возвращаясь к «Истории одной жизни», нельзя не заметить, что последний и самый страшный удар Жанна получает не от изменявшего ей походя мужа, а от единственного ребенка, которому отдала всю свою душу.

Он вырос, стал «бородатым», Мопассан это оговаривает — «бородатым». Мать все глядела на него, как на младенца. Он уже был «двумя головами выше ее» — Мопассан тоже оговаривает это: а Жанна все видела в нем «своего маленького Поля».

40 Она и слабый дедушка. Никто им не подсказал ничего. Цивилизация, религия — ничего не подсказывают.

Он учился в коллеже. Не приехал на воскресенье раз, не приехал два, месяц не приезжал домой. Она бросилась его отыскивать и нашла его в квартире прости-тутки.

Увы, к ужасу матери — он ее любил!! Этот эпизод рассказан Мопассаном «как мастером дела». Черты его разительны. Так «бывает», действительно «так бывает». Несмотря на все усилия, он ушел к ней, ушел окончательно, уехал с нею в Англию, и разорил мать уплатою нескончаемых долгов, в которые непрерывно впадал, по неопытности и самонадеянности.

Полная история «блудного сына». Настала бедность, старость и почти безумие для матери.

Но отчего опять?

Да оттого, что католичество, построившее целые системы богословия на незначительные тексты, обошло всяким толкованием неприятные ему строки Библии: «Того ради оставит человек отца и мать и прилепится к женщине».

В истории сына Жанны это случилось точь-в-точь. Став «на две головы выше матери» и «отрастив бороду», он неопытно и невинно «прилепился» к первой женщине, которая *сама* ему отдалась. Все «как по писанному».

Кто же научил Жанну?

Аббат Тольбиак, бывший около нее, в такой мере ненавидел «все подобное» у людей и даже животных, что растоптал ногами оценившуюся собаку. Строка Библии, устроительная в данном пункте, не пришла ему в голову, как не приходит до сих пор в голову целому католичеству.

Жанна воспитывалась в католическом монастыре, где текст Библии ей передали не в голой натуральности, а как закон гражданского благоустройства: «Каждый супруг будет до беспамьяства любить свою законную жену, так что ради ее даже оставит отца и мать».

Обеспеченная таким уверением еще в пансионе, Жанна надеялась на своего Жюльена. А что касается Поля, то так как он не был еще ничьим «законным мужем», то она тоже думала, что он и «не прилепится» ни к какой женщине, кроме ее. Но Жюльен, оказалось, уже ранее женитьбы вступил в связь с ее горничной, а Поль попал в руки проститутки.

Кто виноват?

Жанна — только невинностью. Виноват строй, виновата цивилизация.

И тем, что она оставила Жанну, оставляет матерей семейства и жен в неведении относительно истинного положения вещей.

И тем, что она скрыла от верующих истинный смысл библейской строки.

И тем, что не выработала никаких предупреждающих средств против подобных несчастий. Между тем несчастья эти таковы, что они разрушают «дом» (семью, род) до основания. И вместе стоят угрозой перед каждой семьей, — избирая «втемную» некоторые. Семья Розалии не постигнута была им, семья Жанны — постигнута, все — случайно, вне чьего-либо предвидения.

Однажды на Кавказе я разговорился с тамошним татаринном. Он принимал бутылки с кумысом. Подавал их его сын, мальчик лет 12, такой неописанной красоты и скромности, что я не мог оторвать от него глаз.

— Ваш сын, князь?

— Сын.

Я помолчал.

— Какой хороший мальчик... Избалуется.

Он молчал.

— Такому нельзя не избаловаться. Подрастет, и женский пол на него кинется, как мухи на мед.

Он молчал.

— И закружится, увлечется. И свертится.

— У нас этого не бывает, — ответил отец угрюмо и резко.

— Ну, как не «бывает»... За этим нельзя усмотреть. Как вода в пригоршне, бежит сквозь пальцы. Ничто не поможет.

— У нас этого нет. — И так твердо, точно каменное.

Я недоверчиво смотрел на него.

10 — Ему одиннадцать с половиной лет. В тринадцать мы его женим.

Он не договорил, но я и сам припомнил: до получения собственной жены в самом деле мальчик не увидит ни единого женского лица, кроме матери да разве сестер-подростков. Вся женская половина населения с 12 лет уже «под покрывалом».

Да не подумает читатель, что я это советую. Цель моя — методологическая. Такое полное и раннее разделение полов представляет что-то жестокое и для нас было бы несносно. У мусульман нет общества, нет танцев, наших «вечеринок», иногда упоительных; нет романа нашего, трогательной «повести сердца». И так, я не о том, что это у мусульман хорошо, а о том, что у них подумано о том, о чем
20 в европейской цивилизации решительно ничего не *подумано*, не придумано. И возраст «первой молодости» у нас выброшен во что-то «безвестное», что слишком часто развертывается в историю «блудного сына», вплоть до захвата молодого человека проституткой и гибели всего его будущего, гибели часто его самого в отвратительных болезнях. Но около шипов есть и розы: около «истории блудного сына» расцвела вся поэзия Лермонтова, Полежаева, часть поэзии Пушкина, поэзия Байрона; выросли молодые бури Гёте. Европейская цивилизация решительно не имела бы в себе некоторых лучших цветов, будь юность обоих полов «упорядочена» в стойкий и стройный курятник, как у мусульман и евреев.

Песни, бури, революция, студенческие попойки, упоительные «балы» и, увы,
30 увы — больницы для потаенных болезней, — все это вытекло из того, что с возрастом от 13 до 23-х лет решительно не знает, что делать, европейская цивилизация.

Для старости — отдых, пенсия.

Для зрелого мужа — гражданская служба, департамент. Или — ремесло, плуг.

Для детского возраста — резвость, игры.

Но для юношеского, отроческого?..

Мы сумели ответить только:

— Книги! Ученье!

Но ведь очевидно, что этот возраст есть возраст любви, весны. Возраст, когда
40 закладывается самое важное в жизни каждого человека, — «дом» его, будущее его, семья его. Почти — «все» его. В крестьянстве и для девушек это еще кое-как обдумано, хотя не религией и не государством, а *бытом*: все ожидают и желают, чтобы на небольшом протяжении 4—5 лет она вышла замуж, «устроилась». «Устроилась» — хорошо выражает общую идею, общее положение вопроса. «Устраивается» девушка, «определяется ее судьба». Но «определение судьбы для юноши» есть поступление на должность или выбор профессии; и никто решительно, кроме крестьянства и духовенства, не «ждет» и не «желает», чтобы он к *такому-то*

непрерывно году «определился» семейно. И каждый проходит через «бурную молодость» раньше, чем осесть: осесть — усталым и обессиленным, вялым мужем.

«Мужья — скучны, любовники — интересны». Это — канон европейской цивилизации. Да и понятно: любовники — невинны, чисты, исполнены сил; мужья — «полиявшие лебеди».

* * *

«История одной жизни» Мопассана в огромных цитатах должна бы быть введена в историю христианской, католической семьи. Православие в данной сфере имеет отступление от строгости, протестантство совсем ее не держится: но последовательное и завершённое католичество «достроило» башню европейской семьи. То, к чему в других исповеданиях есть только тенденция, — у католиков есть факт, достигнутое: 10

1) Мужчина, муж есть «существительное»; женщина — «прилагательное» около него.

2) Связь их, соединение их есть одно и навсегда. Оно не расторгается ни по какой причине, ни по какому поводу.

3) Имущество — все у мужа; у жены — ничего. Ребенок — только отца, мать здесь несущественна. И когда налицо отца нет (внебрачный ребенок), — нет и ребенка, его просто нужно убить, как «небытие», почти философской или математической точности (слова Жюльена о ребенке Розалии). 20

Вся «История одной жизни» Мопассана есть только развитие этих коренных тезисов католического брака, или даже гражданского французского брака, который рамками своими точь-в-точь повторяет католический, не смоги вырваться из его духа, из его форм.

Жюльен-муж и Поль-сын суть господа положения; им принадлежит все — судьба окружающих, имущество их, титул, положение, все. Но это — два гнилых дерева. Семья, положенная на эти гнилые стропила, — рушится.

Рушится и задавливает все здоровое, все нравственное около них, которое в то же время лишено всяких прав, с них снято всякое «свое лицо».

* * *

30

Но «свое лицо» не так-то легко снять с человека. Оно скажется бунтом, отчаянием, борьбой. Не имея силы, оно прибегнет к хитрости. Когда ему не дано жить правдой, оно будет жить обманом.

Католичество дало закон. Этот закон подавляет лицо. «Патер — все, человек — ничто». Отсюда все расположение католического брака, все его «предикаты».

Тогда «человек», «лицо» вывернулось из-под закона и создало — *нравы, быт, обызгай!*

Церкви и государству оно оставило только утешительную «шкурку» семьи, «шкурку» брака: как есть сброшенные, отставшие от тела, валяющиеся по дорогам «шкурки» змей и ящериц. У оленей так отпадают рога; птицы тоже «линяют». И вообще — это есть в природе, это — ее явление. 40

Лицо и человек в католичестве бросились в свободную любовь. «Это — правда и красота, брак — ложь и скука». Нужно у Мопассана прочитать рассказ «В семье», чтобы увидеть и осязать, какой это ужас и отвращение, какой подлый, грязный, идиотский цинизм. Семьи просто нет, одна — шкурка. Есть «законы о семье», торжественные, строгие. Но мяса семьи — нет вовсе, никакого. Просто это — куча людей, живущих отвращением друг к другу, тоскливых, скучающих, глупых *в отношении семейственности*.

Такую семью просто нужно бросить, выйти из нее, — как из чумного гнезда. Лучше жить одиночками, дикарями, в лесу. Нравственнее так жить, — ибо все же не будешь испытывать вечного отвращения и вечной ненависти. Такова ведь и семья Жюльена и Жанны: Жюльен испытывает постоянное отвращение к жене Жанне, ему нравятся ее горничные и подружки жены; Поль, сын, испытывает только скуку в отношении к матери и бабушке. Затем же им жить вместе?

Католичество этого никогда не сумело разъяснить. Ничего на это не ответило. Оно отвечает иногда только в исповедальнях, потихоньку: «Живите, как знаете, с кем и как угодно». В исповедальне католичество благословило или «позволило» любовничество, и только этим и держит как-нибудь семейный мир (патер Пико в «Истории одной жизни»). Таким образом, в таинстве (исповедь — таинство) оно разрешило то, что в другом таинстве (брак) — запретило. В одном таинстве оно говорит:

1) Любовь мужа и жены священна и вечна. Она пожизненна. Обязательна.

А в другом таинстве потихоньку поправляется:

2) Но так как невозможно любить по обязанности, то живите, как знаете. Только по наружности делайте вид любви и не расходитесь.

Так получились «известные французские нравы». Человек здесь только страдалец. Даже Жюльен со своими горничными — страдалец, даже Поль со своей «особой» — страдалец. Все — жертвы положения. Уже сейчас же за Рейном начинается совсем другое: горничные — не в уважении, проститутки — хоть спрятаны, никто их не воспекает, о них не пишут романов; и, что важнее, — на них не растрачивают состояния. «Расторжимая», «не вечная» семья, «не обязательная» любовь воспевается, увита поэзией, уважением. Дети не кидаются на произвол и не загуливаются: т. е. все это есть, но как уродство, пугающее, отвратительное, ненавидимое, преследуемое. Еще дальше, к востоку, у нас — все это несравненно теплее и лучше, нежели в несчастной Франции. У нас совсем другое чувство детей, совсем другое чувство женщины. Таких резиновых господ, как Жюльен, Россия просто не вынесла бы, или считает их гадами, вырожденками, каковы они и есть. Еще за границами Европы картина тех же вечных физиологических отношений и связей уже совсем иная: старый, седой, 80-летний араб есть предмет почитания, культа целого племени. Роль его, судьба его совсем иная, чем «дедушки» в «Истории одной жизни», который умирает в квартире адвоката, доплачивая последние долги внука с его «особой», или чем 90-летней бабушки рассказа «В семье».

А что же католичество со своим богословием? В Риме я видел здание «Конгрегации de propaganda fide»*. Дворец величиной чуть не с Ватикан. Это — «мистерство» обращения в католичество китайцев, японцев, индусов и проч.,

* «Конгрегация для пропаганды веры» (лат.).

и проч. Ну, тут думы, мудрость, ухищрения. А Жанна и ее судьба, такая страдальческая, такая беспримерно-страдальческая судьба, что, проснувшись ночью, представишь и вздрогнешь — эта судьба и такие судьбы матерей и жен там не занимают. Несчастные французы, несчастная Франция! Обращение в католическую «fides», с filioque и прочими напастями, десятка желтомордых азиатов куда важнее, интереснее, священнее для самой многонародной христианской церкви, самой могущественной и самой утонченной, нежели судьба семейных людей в целой Франции, да даже в пол-Европе, и для них имеется какая-то затхлая консистория, глупая, тупая и взяточническая, еще хуже наших. В этой беспечности церкви и лежит корень не только «известных французских нравов», но и того, что из Франции первой полетели камни в Ватикан, а Мопассан, с папироской в зубах, зарисовал свой иронический, правдивый и страшный рисунок.

Поразительно, почему католические писатели, почему *мудрецы* в католичестве просто точно *не замечают* всего этого, — не замечают того, где корень вражды к ним, где *корень* упадка христианского общества и церквей... Не о них ли в Евангелии почти насмешливо сказано: «они будут видеть — и не увидят, слышать — и не услышат». И ждут, пока на головы их повалятся уже не камни, а горы...

Факт «литературы» обнимает собой, конечно, не одни беллетристические произведения, а совокупность всей духовной жизни страны, выраженной в слове. В этом определении литература обнимает собой и науки, и философию. И под этим углом зрения французская литература, имевшая Паскаля, Руссо, энциклопедистов, Декарта и Бюффона, неизмерима в объеме, блеске и глубине. Только английская, германская и итальянская литературы стоят с нею в уровне, уступая в одном, превосходя в другом, суть для нее «братские» и однородные явления. Что касается русской литературы, которая *по правде-то* начинается всего с Карамзина, потому что только с него и его друга Жуковского начинает биться в нашей словесности пульс какой-то идеи, «своего русского сердца» и «своего русского ума», который не прерывается потом, не умолкает, а только преобразовывается и доходит до нашего времени, — то эта литература, придвинувшаяся к французской, бедна точь-в-точь, так, как «русское отделение» в Публичной библиотеке бедно около иностранных отделений в ней же. По некоторым отделам наук русские совершенно ничего не имеют; по другим — только переводы и компиляции; и лишь по некоторым, крайне немногим, имеют настоящие самостоятельные труды, среди которых крошечное число есть классических. Философии у нас почти нет. Умственная жизнь почти вся вкладывается на борьбу школ славянофильской и западнической, которая уже не Бог весть как значительна, отвечая лишь на вопрос, как нам, русским, относиться к Западу. Все это в высшей степени местно и временно. Религиозные идеи Гоголя и Толстого, волновавшие и волнующие Россию, около «Мыслей» Паскаля представляются совершенно жалкими, уродливыми, слабыми. Гоголь и Толстой, личности вполне великие, не уступающие Паскалю или Декарту, значительны в другом, а не в религии. Паскаль — чистое золото в религии; говорил от сердца, а ум его был неизмерим. Гоголь и Толстой иногда кажутся просто притворяющимися религиозными людьми, или — натаскивающими на себя шубу нравоучительного старца, но без всякого успеха. «Медведь гнет дуги»...

Но все это — если взять литературу как «сумму проявлений духа в слове», т. е. в мысли, в знаниях, в исканиях, в открытиях, в деятельности, в неустанности деятельности, в «трудах и днях», в мещанстве и аристократизме, в буднях и в праздниках, во *всем*. Тут Франция — неизмерима, велика, особенно в прошлом. Но если мы отделим некий малый «алтарь» в этом и остановимся на слове «выдумывающем» и «сочиняющем», на вымысле, фантазии, художественном рисунке в слове, наконец, остановимся на мысли как *афоризме*, без фундамента и завершения, и, словом, на биении в литературе человеческого *сердца*, и особенно человеческой совести, то вот в этом небольшом «алтаре» русские за век с небольшим своего творчества создали такие удивительные и превосходные вещи, абсолютной ценности и абсолютного интереса, что не только французской, но и некоторой из европейских литератур они не уступают. Со своей чуткостью и совестью, со своим умением «обрисовать» действительность, передать ее в слове, русские внесли нечто совершенно новое во всемирную словесность. «Русская точка зрения» на вещи совершенно не походит на французскую, немецкую, английскую; совершенно другая; она оспаривает их и почти хочется сказать — побеждает их. Русское воззрение на вещи, на лицо человеческое, на судьбу человеческую, на господина и раба, на соседа и друга, на родственника или врага, и проч., и проч. до бесконечности, все это выше, одухотвореннее, *основательнее* и благороднее. Я не знаю точки зрения иностранцев на все это; но не могу не сказать того, что, кажется, чувствуют и все, что после «Войны и мира» или «Карениной», после Гоголя, после чтения Пушкина невозможно иначе как с ощущением страшной *скуки* читать «Вертера» или «Сродство душ» Гёте, или романы Жорж-Занда. «Скучно!». «Неинтересно»... Почему? — «Не так художественно обрисовано и не так умно». Замечательно, что в то время как вообще в «словесности», включая сюда философию и науки, ум французов, немцев и англичан так неизмеримо господствует над русским, в этом малом «алтаре» вымысла и фантазии самый ум у русских, как орудие знания, проникания в вещи, как орудие суда над вещами — выше французско-немецко-английского. Но здесь мы должны различать «приделы» и алтари великого храма словесности: читая «Разговоры Гёте» в изложении Эккермана, мы опять находим, что те мысли, какие встречаются в частной переписке у русских, в воспоминаниях о русских, в том числе и о Пушкине или Гоголе, — неизмеримо уступают интересом, основательностью и глубиной идеям Гёте о *природе*, о *художестве*, о *культуре*; но особенно — о *природе*. Здесь едва ли мы не подходим к ключу дела, к корню разницы. Вся русская литература почти исключительно антропологична, — космологический интерес в ней слаб. «О звездах и небе не знаем ничего, и не интересуемся ими», — как бы говорят все русские вслед за Лизой Калитиной из «Дворянского гнезда». Вся сосредоточенность мысли, вся глубина, все проникание у нас относится исключительно к душе человеческой, к судьбе человеческой, — и здесь по красоте и возвышенности, по *верности* мысли русские не имеют соперников. Но западные литературы в высшей степени космологичны, они копаются не около одного жилища человеческого, как все русские, всегда русские, — но озирают мир, страны, народы, судьбу народов. Здесь русские совершенно бессильны. Можно сказать, западные литературы суть всемирная зоология, а русская — только отдел «о домашних животных», без науки в себе, но с собранием в высшей степени интересных и *верных* рассказов, воспоминаний, примет и проч. и проч. Говоря так, мы разумеем и совершенно мел-

кие повестушки, а не одних корифеев; говорим о школе русской, о методе у русских, как о чем-то совершенно новом сравнительно с западным духом, с западным гением.

На гоголевских торжествах в Москве, при открытии ему памятника, — профессора иностранных университетов, особенно французских, на превосходном, правильном русском языке рассказали к удивлению слушателей — русских, до чего широко русская литература усвоена, например, во Франции. «Малороссийские повести» Гоголя, его «Тарас Бульба» для французских мальчиков такие же любимые книжки, как рассказы Фенимора Купера. Это очень много в смысле сближения; ибо, например, ведь Францию и французов мы в детстве тоже усвоили не по Иловайскому, а по романам Александра Дюма. Что делать: ¹⁰

Мы все учились понемногу...

Но очевидно, если Гоголь придвигается к Куперу, и если больше всего он занимает школьников, — то настоящее постижение Гоголя даже и не начиналось во Франции. И вообще, кажется, что настоящая «русская точка зрения» на вещи и на лицо человеческое, — самая важная в нашей литературе черта, — едва ли не ускользает совершенно пока из внимания западных наблюдателей и любителей русской словесности. Сколько можно судить, «русское влияние» в слове пока не идет дальше влияния в технике, в приемах работы; таково влияние «русской натуральной школы» на западные. Но это — только азбука. Настоящее озарение, ²⁰ которое может воспоследовать из русской литературы на западные, настоящее русское влияние, которое может настать, должно настать, обязано настать, — заключается в перемене взглядов на человека и на все человеческие отношения, и эта перемена не может не настать на Западе под влиянием русской литературы. Влияние не на формы творчества, а на душу разумеющую и чувствующую.

Читая «Историю одной жизни» Мопассана, которую по многим основаниям нельзя не назвать великим произведением Франции, невольно сравниваешь мастерство французское и русское. В чем разница? Где превосходство французов и где превосходство русских? Вопрос не лишний... сфера не неинтересная.

Роман Мопассана вполне «реален» и «натурален». Здесь нет вымысла, художества, «сочинения». Художество положено только на старание возможно вернее, возможно правдивее передать, возможно полнее передать. В этом отношении роман его вполне сближается с творчеством Толстого или Писемского, — и сравнение здесь вполне естественно и может дать некоторые плоды. Цель у троих авторов одна: воспроизвести жизнь. Как же они ее воспроизводят? ³⁰

Мопассан — в обобщении, «с высоты птичьего полета». У него — панорама.

Русские — в подробностях, в частностях. У них — закоулки, улицы, путаница быта, ежечелюдность, доведенная до апогея. Никакой панорамы. Никакого «птичьего полета». Ни в слабости, ни в силе его.

У Мопассана — это обычные черты так называемого «французского гения». ⁴⁰ Читая «Историю французской революции» Минье или таковую же Токвиля, мы не находим в них никакого рассказа, никаких фактов, ничего реального: это — сплошное обобщение, объяснение и только объяснение предполагаемо знакомых фактов. Но у Токвиля, например, это объяснение, эта схема достигает высшей степени красоты, изящества и ума. Тут помогает и «гений» французского

языка, до такой степени точного, изящного в точности. Читая Токвиля — упоешься художественно. Упоешься «словесностью», хотя это — наука, точная наука истории. Чтобы произвести такого «объяснителя» истории, как Токвиль, нужно было пройти позади целой цивилизации; Токвиль — французский Тацит. Тэн, работавший уже под германским влиянием, никуда не ушел от Токвиля; его великие и изящнейшие «объяснения», обобщения — он только развернул в мириады нанизанных друг на друга фактов.

Мопассан этим же «гением нации» работает в романе. «История одной жизни» включает в себя новую жизнь Жанны от выхода ее из монастыря-пансиона и до полной дряхлости и безумия, почти — смерти. Подросток-девочка в первых словах романа, она на последней его странице везет укутанного от холода внука. От пансиона до бабушки: это — полнее и протяженнее, чем судьба Наташи Ростовской в «Войне и мире», где все кончается рождением первого ребенка, не говоря уже о «Карениной», где разработан только «адюльтер» — последний, один заключительный эпизод женщины, совершенно зрелой и сформированной с первых строк романа. Русский романист, первоклассный или третьестепенный, чтобы справиться с такой темой, чтобы вобрать сюда весь материал, прямо *не в силах был бы* написать менее четырех, пяти томов; «русская школа» не дает техники, не содержит умения выразить это менее, чем в объеме 80 печатных листов, причем автор пишет это несколько лет, а читатель читает по крайней мере месяц, не отрываясь, вплотную.

Но, может быть, Мопассан не полон?

В том и секрет, что — совершенно полон. Как мог бы быть полон мастер русского романа, Гончаров или Толстой.

Ничего не упущено.

Каким образом?

Не упущено ничего *существенного*.

В этом отношении Мопассан даже полнее, чем нам можно представить русского романиста за тою же темой. Русский романист зарылся бы в подробности, и начал узор, которого решительно нигде нельзя кончить... Вспомним, что Мопассан изобразил не только полную жизнь Жанны, но осветил вполне и жизнь ее родителей, как довел почти до конца, до «крушения» и «тихой пристани» и жизнь ее сына, Поля. Таким образом в романе выведена жизнь собственно трех поколений, и только через эту связность центрально рассказанная жизнь становится совершенно ясною и, так сказать, необходимо-роковою. Русский романист не сумел бы рассказать этого иначе, чем в трех романах:

1) Жизнь дедов.

2) Жизнь «ее».

3) Жизнь потомства.

Мопассан справляется с этою темой через введение двух ослепительно ярких эпизодов, до того ярких в схематичности своей, как подобного нет во всей русской литературе, — именно по чеканности, по сжатости работы. Мопассан работает как развертывается пружина.

— «Это подлость, изменить так моей дочери, подлости! Этот человек негодяй, каналья, подлец! И я скажу ему это. Я дам ему пощечину! Я убью его моей тростью».

Наивность о «трости», которою нельзя убить человека, вставлена Мопассаном, как уже начинающаяся насмешка над бароном-тестем.

Восклицание произнесено перед больной, в постели, дочерью, перед баронессой-матерью и перед позванным «разобрать все дело» священником. Священник и «разбирает»:

«— Позвольте, барон: между нами сказать, ваш зять поступил, как поступают все. Многие ли мужья не изменяют своим женам? Держу пари, что и у вас были проказы. Ну, положи руку на сердце, разве это не правда?

Барон, смущенный, стоял лицом к лицу со священником, который продолжал:

— О, да, вы поступали так, как другие. Почему знать: быть может, даже вам пришлось когда-нибудь иметь дело с такой же хорошенькой горничной, как Розалия. Говорю вам, что все так поступают. *И ваша жена была не менее счастлива, не менее любима, не правда ли?»* ¹⁰

Такого выражения, такой мысли, как подчеркнутая, — нет во всей русской литературе. Мысль, что измена мужа не препятствует счастью и *любимости жены*, — совершенно нова для русских. Чернышевский как *лигную фантазию* пытался это утвердить в «Что делать?», — но возмутил одних и рассмешил других. Никто ему не поверил серьезно. Мопассан говорит это как старую, известную и обыденную истину: и с таким реализмом, что читатель не в силах не верить ему. «Я знаю». — «Ну, что же: тебе и карты в руки. Ты игрок». ²⁰

«Барон, взволнованный, не трогался с места.

Это, в самом деле, было верно, чорт возьми! И он поступал таким образом, и даже часто, — *всякий раз*, когда к этому представлялась возможность. И он также не уважал семейного очага, и не отступал перед горничными своей жены, когда они были красивы. Неужели он негодай? Почему же он так строго осуждает поведение Жюльена, тогда как сам никогда не задумывался над предосудительностью своего собственного?».

Это — молниеносный эпизод в романе. Как он краток, силен, убедителен! Сколько здесь логики, — простой и неопровержимой, почти по учебнику! Правда, это иллюстрация «погрешности в суждениях» в учебнике логики. Напомним на минуту, что у Гончарова в «Обрыве», когда бабушке нужно было поднять дух в «согрешившей» Вере, она рассказывает ей, после долгой и какой-то грозной борьбы с собой, со своей гордостью, что она в молодости совершила точь-в-точь этот же самый «грех». Читатель пусть сравнит эпизоды, тон речи у романистов. Мопассан дает логику, Гончаров — психологию; у первого это 15 строк, у нашего романиста — длинные и именно грозные, грозно-прекрасные страницы. Но во всяком случае Мопассан полон, и перед его *обобщением*, напоминающим евангельское: «кто из вас невиновен, брось первый в нее камень», перед этим обобщением множество мудрецов повесят голову. ³⁰

Второй эпизод поистине страшен. Мать Жанны, баронесса, приходит и дряхлость. Она уже не может доходить до конца любимой аллеи. И, садясь, все перебирает свои «реликвии», ворох пожелтелых бумажек. Страницы умирания этой бабушки прелестны по кроткому разлитому на них свету. «Мамочка! мамочка!» — повторяет нежная дочь. Это «мамочка» так идет к тону умирания, замирания. Октябрь жизни, ноябрь, зима. Все тихо. Все бело. Она умирает. Дочь рыдает около ее постели, — такая одинокая теперь с неверным мужем. Выкатывается комочек бумажки из «реликвии», Жанна читает, не понимает, читает дальше, ⁴⁰

свои детские письма, отцовские письма, и пылкие слова романа, знойного палящего июня месяца, но... не отца!

«Я не могу жить без тебя, без твоих ласк. Люблю тебя до безумия».

«Я провел ночь в бреду, тоскуя по тебе. Я ощущал в моих объятиях твое тело, на моих губах твой рот, под моим взглядом твои глаза... Я чувствовал ярость и готов был выброситься из окна при мысли о том, что как раз в эту минуту ты спишь рядом с ним, что он обладает тобою, когда захочет...».

«Жанна, смущенная, ничего не понимала.

10 Что это? Кому, для кого, от кого эти слова любви? Она читала дальше, находя безумные слова признания, свиданья с просьбами быть осторожной, и в конце постоянно четыре слова: „Главное — сожги это письмо“.

«Наконец она развернула обыкновенную записку, простое приглашение к обеду, но написанное тем же почерком, за подписью: „Поль д’Эннемар“, которого ее отец называл до сих пор: „мой бедный, старый друг Поль“, и чья жена была лучшею подругою баронессы (ее матери).

Вдруг Жанна почувствовала легкое сомнение, превратившееся тотчас же в уверенность. Он был любовником ее матери, — он, друг ее отца.

20 И, растерявшись, она одним движением отбросила эти вероломные бумаги, как отбросила бы ядовитое животное, которое на нее вползло; подошла к окну и начала плакать, с невольными криками, раздиравшими ей горло; затем, чувствуя себя совсем разбитою, она упала у подножья стены и, закрыв лицо, чтобы не были слышны ее стоны, рыдала в безграничном отчаянии».

Это совершенно молниеносно! Как это полно!! Что тут упущено, что? Все сказано, все есть. В этом кратком чтении, всего две минуты, вы видите, как на лице Жанны вдруг выросла новая, старящая морщина... И два-три таких эпизода, два-три «открытия» — и цветущая, невинная женщина превращается в старуху, ничего не понимающую, перед всем бессильную. Мать ее поступала так, как Жильберта, «друг» Жанны, отбившая у нее мужа Жюльена.

Как страшно она судила Жильберту...

30 Так осудить ей так и мать?

«Мамочку, мамочку», — тело которой еще не остыло в ее руках?

А если она *не смеет* казнить мать, ей остается промолчать и перед Жильбертой, отбившей у нее мужа.

Все это смешано в одной минуте. Какое испытание. Какая краткость!

40 И — никакой мазни, как у нас: воображаешь, что бы тут понаписал Достоевский. Открытие Позднышева в «Крейцеровой сонате», что его жена любовно музыканит с новым знакомым, — какие пустяки перед этим открытием Жанны! В сущности, жизнь у нас, русских, описана слишком простовато: в жизни бывают такие эпизоды, каких никогда не решались изобразить наши романисты, целомудренно и *неверно* думая, что «это слишком уж фантастично и читатель подумает, что неправда». Мы *упрощаем* жизнь в вечной погоне за «простой *ежедневной* правдой». Между тем, как именно ежедневно в хрониках газет отмечаются случаи куда трагичнее рассказанного в «Преступлении и наказании», не говоря уже о ровной и несколько *плосковидной* живописи Толстого. Впрочем, ведь мы и живем на плоскости. Вся Россия — гладь...

Местами сжатость Мопассана восхищает. Поль, закутивший сын Жанны, присылает отчаянное письмо матери и дедушке. Они закладывают землю, высылают

ему деньги. Получив их, сын одно за другим присылает три восторженных письма, где он изливает свою благодарность и любовь к ним, «обещая немедленно приехать, обнять своих дорогих родственников.

Он не приехал.

Прошел год».

Как это прекрасно! Русский романист написал бы и 1) «как она распечатывала письмо», 2) «как они ожидают его день» — это одна психология, 3) «второй день ожидания» — другая психология, 4) «и какие слова сказал дедушка дочери, чтобы успокоить ее», и 5) «как они смотрели на дорогу». И проч., и проч.

Между тем этого совершенно не нужно пересказывать, потому что это само собой понятно от общей ситуации вещей. Этим ненужным, позволю сказать — ненужным хламом, загромождена на $\frac{3}{4}$ русская беллетристика. Прямо авторы запутываются в описаниях. На всякий день — по странице, и русские обычно описывают только эпизод. Ни сил нет описать «всю жизнь», ни сил нет прочитать «всю жизнь».

Между тем в высшей степени интересна и нужна «вся жизнь». Без «всей жизни» непонятны и эпизоды, или не вполне понятны, не вполне объяснимы.

Этого в русской литературе нет, или очень мало. Она не «научнообразна». В ней нет ситуации страны и времен. Русский писатель похож на странника по улицам: он не знает названия города, куда попал, какой он губернии, под какой широтой и долготой лежит. И не интересуется этим. Он смотрит: вот на дощечке написано: «Дом надворного советника Ивана Семеновича Татаринова». Это его ужасно заинтересовывает. Он пробирается по заднему двору дома: ужасно грязно — и он все это описывает. Проходит на черную лестницу — встречает чужую кухарку, и бесподобно изображает ее, хотя она на всем протяжении романа нигде больше не встречается (Алпатыч — в «Войне и мире», Елизавета, сестра процентщицы, в «Преступлении и наказании», Осип в «Ревизоре» и проч., и проч.). Приотворяет дверь кухни и втягивает с наслаждением все ее запахи; увидел грязное ведро: «какое богатство», — и описывает все там корки хлеба и обрывки капусты. Описание — роскошь, лучше «Ахиллесова щита» в «Илиаде». В кухню входит барышня — хозяйская дочь. Ну — тут глаза, руки, речь — полный портрет или полный фонограф. Живопись опять первого сорта. Барышня проходит назад в комнаты, автор — за нею, сейчас же шмыг под диван, и из-под него слушает все, что говорится в комнате, кто с кем в каких отношениях, кто кого ненавидит, кто с кем в дружбе, и что из этого вышло. Так один автор у нас пролежал десять лет под кушеткой ленивого барина, который все десять лет не имел энергии подняться с нее. И так рассказал все, что думал и что говорил, наконец, «о чем спал» этот барин и что он видел во сне — что буквально по первоклассности рисунка это не имеет себе соперничества во всемирной литературе. Но *сюжета* никакого и *интересности, по правде говоря* — тоже никакой! Жизнь ленивого, праздного, неинтересного, в высшей степени ненужного никому человека...

— «А, геловека!» — воскликнет читатель. Тут пафос всей русской литературы. Не оспариваю пока, а продолжаю свою мысль.

Бессюжетность или слабая сюжетность — ахиллесова пята нашей литературы, за которую ее можно укорить. Впрочем, и на этом не настаиваем, — только бросаем мысль. Может быть, кто-нибудь согласится. Ведь даже и в колоссальной «Войне и мире» мысль автора в том, что не в «войне» дело, не в дипломатии, не

в событиях, а в том... как болел животик у первого ребенка Наташи. На это всякий доктор скажет, что это — пустяки, надо дать ромашки и только; но Толстой до того запыхавшись говорит об этом, точно это в самом деле важнее Бородинской битвы.

«Общее» для него — ничего.

Частное — все.

Сила литературы французской образна:

Общее там — все.

К «частному» — они слепы.

- 10 *Мастерство* — все у русских. Так, как Гарун-аль-Рашиды, они странствуют по русским весям и городам и записывают «Тысячу и одну ночь» родной страны. Я заметил бедную сторону этих рассказов сравнительно с мастерством обобщающей Франции. Но, конечно, есть в ней и преимущества. На них можно остановиться самостоятельно.

- 20 Вся французская литература в высшей степени не психологична сравнительно с русской, даже сравнительно с мелкими в ней явлениями. Просто — это «разные школы», разный «гений наций». И оттого события, переданные у них в романе или повести, в высшей степени «душевно» не понятны. Они освещены сверху, панорамно, но не освещены изнутри «рентгеновским лучом». Они поэтому ясны в историческом, в политическом отношении, и не ясны, даже неизъяснимы в бытовом, в ежедневном.

- 30 Испуганная болезнью единственного ребенка, Жанна, в романе Мопассана «Une vie», в предупреждение последствий его возможной смерти, хочет иметь второго ребенка «про запас». Странно. Так, по *этим* мотивам вообще не имеют детей. Это слишком резиновый способ происхождения «мальчиков». «Мальчик Поль, может быть, у меня умрет, тогда останется мальчик Андре». Это бывает с куколками и в детской игре, а с людьми и в жизни этого не бывает. *Здесь Мопассан ошибся*. Мальчик Андре, будущий, возможный, ожидаемый, — никак не может заменить бывшего Поля, *теперешнего*, который для *матери* есть единственный и не повторимый, есть *лицо*. Мопассан не понимает лица в человеке не только здесь, но и вообще везде в романе, может быть, — всюду в своей литературной деятельности. Поль — схема (à vol d'oiseau *) ребенка, сына. Схему можно заменить схемою. От этого он вкладывает матери не натуральную, антиматеринскую мысль. Резиновые головы не лопаются от резиновых мыслей.

Станем следить дальше.

- 40 Жанна уже давно не живет с мужем, после выяснения, что он жил раньше с ее горничною Розалиею и теперь живет с чужою женою, Жильбертой. Преодолевая отвращение, она в намерении стать вторично матерью — решается вновь сблизиться с ним, чтобы тотчас же вновь прекратить отношения и навсегда умереть для них, как только исполнится ее желание. Но как приступить? Она обращается к патеру, «советнику» в католических семьях во всех подобных коллизиях.

Патер ей отвечает:

* с птичьего полета (фр.).

— Это ваше право. Церковь *терпит* отношения между мужчиною и женщиною только в целях деторождения.

Только «терпит»... Священник мертвенными устами произносит тысячулетнюю формулу, и даже *верит* в нее, хотя сам, толстяк и добряк, поддерживает мир и согласие в своем приходе тем, что благословляет (на исповеди) решительно все и всякие связи, какие случаются у девушек, у холостых, у замужних, у женатых. Таким образом, все в покое: и формула цела, и жизнь тоже цела. Это — теперешнее положение церкви. Мопассан орлиным взглядом высмотрел его и определил, и — тоже «благословил».

Патер Пико переговаривает с Жюльеном. Резиновый господин улыбается, предполагая, что влюбленная Жанна вновь захотела его ласк. «Мы, кажется, помирились», — шепнул он ей на ходу, когда Жанна гуляла по «мамочкиной аллее». Это было уже после открытия «грехов» матери, когда Жанна вся была изнеможена и разбита. «Что касается меня, то я не требую большего. Я боялся не понравиться тебе», — договаривает он.

«Душа Жанны была переполнена печалью; ей казалось, что она затеряна в жизни, далека от всех. Солнце садилось. Воздух был мягкий. Ей хотелось выплакать свое горе на чьей-нибудь груди. К горлу подступали рыдания; она прижалась к Жюльену.

Удивленный, он смотрел на ее волосы, не видя ее лица, спрятанного его груди. Он подумал, что она любит его, несмотря на все прежнее, и напечатлел на ее волосах снисходительный поцелуй.

Затем они вернулись в дом, не сказав более ни слова. Он пошел за ней в ее спальню и провел с ней ночь».

Это — превосходная чеканка. Да, но это уже слишком схематично. Точно мы рассматриваем людей в подзорную трубу, и на далеком расстоянии видим, что они делают, видим *вполне их фигуры* (особенность французского искусства), и в то же время ничего *подробно* не можем рассмотреть и от этого в сущности ничего не понимаем. В семье Курагиных («Война и мир») творилось тоже не меньшее и не лучшее: вот квартет из старого «князь Василья», сыновей Анатоля и Ипполита и дочери красавицы Элен жил также вполне растительною жизнью, с прибавкой интересов кошелька. Не более. Жизнь такая же. Но как она понятна у Толстого и непонятна у Мопассана! И при *непонятности* она пробуждает примирение с собою у Толстого, а у Мопассана возмущает нас цинизм. У обоих звучит этот тон: так «бывает», так «случается». Но помните ли то поразительное место, где Толстой сближает лицо красавицы Элен с лицом идиотического Ипполита, ее брата. «Те же черты: но у Элен почему-то было это бесподобно прекрасно, у Ипполита — безобразно». «Матушка натура» одна в сестре и брате: и читатели догадываются, что они оба — идиоты, и молчаливая, без речей, Элен, и вечно тараторящий Ипполит. Ипполит глуп как обезьяна: бессмысленные его взгляды, бессмысленные из рук вон вставки своих слов в чужие речи — все обрисовывает что-то незавершенное в самой природе, в самом его рождении. «Родился дураком», — ниже человека, ниже на все расстояние, каким отделяется больница от обыкновенных домов. А здоров. И даже служит, — кажется, по дипломатии. Элен — *тогда-в-тогда он же*; но она все танцует, и ей не нужно говорить; ну, и может быть женой. Из этой абсолютной растительности вытекает жизнь преступная, порочная и глупая, совершенно бессмысленная. «Что же судить дураков», —

решает читатель, закрывая «Войну и мир»; улыбается, вспоминая Ипполита, любовно вспоминая (уж очень смешно), и нимало на него не негодует. «Так бывает». У Мопассана тоже «так бывает»; но мопассановское «так бывает» совершенно не похоже на толстовское. Жюльен вовсе не показан от роду глупым, в нем ничего врожденно не искалечено, это не больной, не уродец. Поэтому его поступки, хотя ничем не хуже, чем у Ипполита или Анатоля, однако являют сплошной цинизм, возмущают душу до последнего негодования, и хочется бить не только его, но и Францию, терпящую в обществе своем таких негодяев. Наконец, придвинем к Жюльену Анатолия Курагина, соблазнившего было Наташу, и во время уже са-
10 мого сватанья к княжне Марье толкающего ногой под столом ногу — гувернантки m-elle Бурьен. По-видимому, он то же, что Жюльен Мопассана, и действительно — то же; но у Мопассана совершенно ничем и никак не объяснен Жюльен, а у Толстого Анатолий вставлен в неподобную рамку его рода, семьи и всей той исторической эпохи, красиво-бездельной, праздно-порочной, отчего с него, как *лица*, переносишь суд на всю эпоху. Есть некоторая историческая грусть, но к осуждению лица никак не умеешь приступить. В этом — огромная разница.

На одной странице, *всего одной*, Мопассан дает все, что дал Толстой в «Крейцеровой сонате», и даже с прибавлением, с большею реалистическою ясностью, на которую не отважился натуралист Толстой. Но как Толстой *разрыдался* над своим сюжетом, художественно разрыдался, морально разрыдался! Мопассан пишет сухо и кратко, как судебный следователь-художник:

«Старые отношения возобновились, Жюльен выполнял их словно обязанность, которая не была ему неприятна; Жанна подчинялась им, как противной и мучительной необходимостью, решив бросить их навсегда, как только почувствует себя беременной.

Но вскоре заметила, что ласки мужа отличались от прежних. Они, быть может, были утонченнее, но менее полные. Он обращается с нею, словно робкий любовник, а не спокойный супруг.

Однажды ночью, уста к устам, она прошептала: „Почему ты не отдаешься мне,
30 как прежде?“

Он рассмеялся. — „Черт возьми, чтобы ты не забеременела“. «Она задрожала: „Почему ты не хочешь иметь еще ребенка?“ «Он замер от удивления: „Гм... что ты говоришь? Но ты с ума сошла? Еще ребенка? Нет, покорно благодарю! Довольно и одного, который *пищит, занимает собой всех и пригинаят расходы*. Еще ребенка! Благодарю!“».

Можно представить себе положение замужних французских женщин, которым выпадает судьба получать вместо живого человека такого человека. Патер Пико, со своими поучениями тысячелетней древности, конечно, сделал *праведную* поправку к ним, на исповеди начав «благословлять» любовничества. Сперва
40 в некоторых случаях, как *данный*, а затем — и вообще: кто их разберет, как, что, почему. Пусть живут как знают. Без *этого* «как знают» начнут убивать друг друга, подсыпать яду («Власть тьмы»), резать ножом, зарубливать топором. Хуже, страшнее выйдет, и уж лучше — «как знают».

Патер Пико выведен у Мопассана привлекательным, и читатели, конечно, разделяют его философию. «Брака нет. Мишура одна. Но мишуру заповедано хранить, и будем хранить. Она ведь, в таком виде, с такими оговорками и дополнениями, никому не мешает».

Так и устроились. Устроилась вся Франция, перестраивается вся цивилизация. Толстой заплакал и написал «Крейцерову сонату». Мопассан исчеканил превосходный холодный рисунок, потрясающей не менее, и в сущности — по количеству вложенного *дела*, большей мерзости, большего страдания одной из сторон — потрясающий даже более «Крейцеровой сонаты». Сравнительно с тем, что переживала Жанна, — страдания Позднышева сущие пустяки.

Но эту одну страницу Мопассана, *только одну* — Толстой раздвинул бы в «Анну Каренину» и потряс ею всю Европу.

Ребенок «только питит и требует расходов». Он «мешает мне, Жюльену, жить — ибо требует хлопот и все им заняты». И с этим «чорт возьми» удивления... Это слишком по-французски. Да даже по-французски ли? Невероятно, чтобы было так просто и коротко. Что-нибудь есть еще. Жюльен вообще невероятен у Мопассана и во всяком случае совершенно не ясен. Что же полюбила в нем Жанна, прекрасная, кроткая и благородная? Его «элегантность», о которой упоминает Мопассан всякий раз, когда его выводит на «победительную линию». «Элегантность», т. е. манеры, галстук и жилет? Неужели французенки это любят? Невероятно. И Мопассан своей живописью *нисколько внутренне нас не убеждает, что это так есть во Франции*.

Князь Василий и его сыновья еще дальше от нас, чем теперешняя Франция, но что он был и что дети у него были именно такие — мы вполне верим: из осязательности и полной ясности всего рисунка.

Рисунок убеждает в себе. Это — Толстой.

Мопассан тоже рассказал, — даже *подобное*. Но не убедил, потому что не дает ничего понять.

Вот разница между русской живописью и французской. Русская внутренне убедительна. Французская — внешне убедительна, а внутренне — мало вероятна и даже неправдоподобна, по полной непонятности, неосвященности.

Отчего Жанна, дочь распущенных родителей, все Жюльенов и Жильберт, — так целомудренна, свята, чиста, а Жюльен до того на нее не похож?! «Так автор захотел».

У русских есть более бережное, страшливое отношение к темам: и от этого вся их работа, даже плохонькая, получает лучший тон. Написав такой труд, как мопассановская «*Une vie*», русский ничего бы более не написал, сгорел бы за работой тома в три-четыре, изнурился бы, может быть, спился бы, но не перешел к другим легким эскизам, как перешел Мопассан. В конце концов в голове стучит мысль: «Кто же написал „*Une vie*“, Жанна или Жюльен, человек одного типа или другого типа?». Ответ прет из вас: «Конечно — Жюльен! Жанна умерла бы над темой, изложив свою грустную повесть. Но с Жюльена скатывается все, как с гуся вода»... Оттого и перешел к новым темам. Но судьба Жанны, рассказанная Жюльеном, не может не сопровождаться только деланным состраданием. И роман не может сопровождаться впечатлением.

«Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу произвела переворот, вызвала волнение в цивилизованном мире.

Но «*Une vie*»?.. Ее прочли, восхитились, и — только. Для такой книги или, вернее, такой темы — это слишком мало и даже ничтожно. Можно сказать, успеха не было. Были только читатели.

«Крейцера соната» вызвала *действие* в России. Прочтя ее, многие стали иначе жить половую жизнью; переменили свое отношение к своему полу. Появление «Une vie» должно бы вызвать съезд французского духовенства для обсуждения положения французской семьи, вызвать какие-нибудь распоряжения парижского архиепископа, а то и папы. Но ничего не было. Были «читатели»... К чести русского духовенства нужно заметить, что «Крейцера соната» вызвала множество о себе суждений, статей в духовных журналах, а архиепископ Никанор, монах, протестуя и негодуя на антисупружеские тенденции, выраженные в «Сонате», первый провозгласил Толстого «ересиархом». «Отрицать супружество — значит стать врагом церкви, сделаться еретиком». Страхов тогда выразил недоумение, по обычаю мало замеченное: «Как же тогда монашество? Толстой только повторил его идею. Не все ли равно запретить вещь *лигнo себе*, что делает монах, или обобщительно не посоветовать ее целому миру, что сделал Толстой? Свет — один: и что для одного свет, то и для всех, что одному тьма — то тьма всем». По русскому обычаю все это не договорилось, перешло в многоточия... Но отзвук был. Во Франции — никакого.

Мопассановское «так бывает» получает себе убийственный ответ: «а иногда бывает и наоборот». Поль вышел у Жанны порочным, преступным и погибшим человеком. От баловства и снисходительности матери и деда? Тысяча биографий отвечают ему, что в таких условиях слагаются и прекраснейшие натуры. Отец — дурной и жестокий человек, «резина», но мать — чувствительная и нежная женщина. Сын, который растет именно с матерью при гуляющем отце (как Жюльен) — выходит на исключительность хорошим. Мы, русские, вообще растем не в строгих семьях — и ничего себе; как и все русское общество — ничего себе, бесконечно далеко от цинического ужаса «Une vie». Выходит, что Мопассан великолепным романом изложил прописную мораль: «Родители, не балуйте своих детей», — для чего поистине не стоило трудиться, так как и мораль-то эта еще сомнительна.

* * *

Интерес и значительность каждой вещи открывается только из ее подробностей. Все вещи светят только изнутри себя. Кто поймет, отчего мясо дикого барана вкусно, а волка — несъедобно, коровы — приятно, кошки — невозможно для еды? Мясо — на вид одно, структура — одна. Отчего же и *в зем* такая разница вкуса? Осязательно тут, конечно, ничего не откроешь, глаз ничего не видит, «панорама» не помогает. Полное бессилие физических методов. Мы должны (для ответа) уловить неуловимое, и можем уловить только глядя на вещь не физическим глазом, а художественным, что ли, или мистическим, и прочее. Жизнь человека, вопросы воспитания, наконец, «судьба» человека, его «Une vie», как написал Мопассан, все разведывается и определяется такими же одухотворенными, а во всяком случае не физическими способами, как вот и разница во вкусе мяса хищных и травоядных животных. Отчего Жанна добродетельна, а Жюльен — нет? В «Анне Карениной» сама Анна и брат ее Стива Облонский — одна в высшей степени серьезна и трагична, другой — легкомыслен и несколько комичен, как и бывает это часто и одной семье, «при одинаковом воспитании и от одних

родителей». Но у Толстого все ясно и внутренне убедительно. Он знает «запах мяса» и их тайну, чего Мопассан вовсе не знает. Толстой тоже не объясняет, почему у брата и сестры такая разница характеров, как к подобным объяснениям часто и ошибочно прибегает Тургенев. «Так *родилось*», — эта последняя инстанция в сущности одна основательна, и она вместе есть полная тайна. Но Толстой внутренне убедителен через то, что нарисовал и в Стиве, и в Анне вполне *живых* лиц, и просто *видя* их — понимаешь все их поступки и «судьбу». Судьба всегда вытекает из лица человека, но живого и настоящего лица, вот «с запахом мяса». У Толстого это есть; и даже у второстепенных русских писателей тоже есть. Это — «русская школа» и «гений нации». У Мопассана? «Гений нации» и «французская школа» устремили его вверх к «птичьему полету», научили его дать панораму *d'une vie*: получились схемы и ни одного *живого* лица, никакого *портрета*. 10

Жанна, Жюльен, барон, баронесса, Поль — манекены социальных положений, почти «примеры» из грамматики, или, лучше, примеры из ненаписанной социологии. Без жил, без нервов, без крови и в сущности без всякой *невольной* для себя «судьбы», кроме *согненной* Мопассаном и на самом деле нисколько для них не обязательной.

Просто — это сочинено. И мы можем даже сказать, что этого нет. Мопассан ничем нас не убедит, что это *есть*. На его «так бывает» мы ответим: «А бывает и иначе». 20

Толстому этого нельзя возразить, никто не возразит. «Судьба Анны», как и «судьба Стивы» на линии разоряющегося человека, до того вытекают *из них самих*, что, например, роковой конец Анны я чувствовал уже в конце второго тома, когда был не прочитан целый третий том. Из читателей все знают, что если Стива не разорился на протяжении трех томов, то разорится в ненаписанном пятом, или, вернее, шестом томе, летам к пятидесяти пяти жизни. Доли его из имения переедет в город, на квартирку, в тесноту и нужду. Дети вырастут превосходные. Все это *есть уже*, содержится в живом лице их, — и также в образе *совершенно живой жизни*, которую «портретно» нарисовал Толстой. Но у Мопассана не только куклы-люди, но и кукольна вся жизнь их. Просто — это сочинено, и нет. Нет самого романа иначе, как главы из «социологии». 30

Было имение. Сын замотался. Продали имение.

Это — социология, а не роман; наука политической экономии или глава «истории дворянства», а не искусство. Весь роман Мопассана, так чудно исеченный, вместе с тем глубочайше антихудожествен. И вся французская литература, при уме и блеске ее, — не художественна. Она вся камениста, а не бархатиста. Вся из «сухих французских цветов». Много шелка, бархата, золота. Но ничем не пахнет: живого цветка в ней нет. Между тем уже с Карамзина и Жуковского живой аромат полевых цветов, или оранжерейных, но тоже живых — вносится в русскую литературу, и до сих пор в ней сохраняется, даже в незначительных произведениях. Можно посмеяться над приемами русской работы, — вечным собиранием сплетен, наведыванием на кухню, справками о родственниках, копанием во всех потрохах, в погребе, в бане и даже «не удобь сказуемых» местах. Все это невкусно и некрасиво, — и мало понятно, как «сжатые», галантные французы выносят русские романы. Верно перевертывают через три страницы в четвертую. Но при безвкусице и бестолковщине работы нельзя отказать, что эта работа тем не менее есть живая работа, а не «французские цветы». В большей или меньшей 40

степени все русские романы дают обонять тот «запах мяса», в котором все дело, который один все объясняет в сложении общества и в «судьбе человека». Русская работа глубже, тревожнее и нравственнее. Самое подхождение к темам совершенно другое. Все это нарастало медленно; но после Гоголя, Лермонтова, Толстого и Достоевского стало психически невозможно для русского писателя подходить к темам литературной работы без переполненного сердца, без некоторой житейской заботы, без духовного труда. Все русские литераторы трудятся, везут тяжелый воз. Это несколько некрасиво, не похоже на французскую «кавалерию», но полезно и здорово, для авторов и — самой жизни.

- 10 В конце концов, русский и французский методы оба имеют свои качества, — противоположные, — и лучше всего, если сохранятся самостоятельно и в целостности, без взаимных подражаний, без впадений в «чужой тон». Они оба нужны. À vol d'oiseau видна *судьба страны*, — такая вещь, которой никакой рентгеновский луч не покажет, никакое «внутреннее освещение лица» не объяснит. Превосходная чеканка, как у Мопассана, есть хотя искусственная работа, но превосходная работа. Увы, и без «французских цветов» не обойдешься, хотя они и не пахнут: доказательство в том, что их *делают*. Значит, они нужны, нужны человеку, нужны в жизни. Мы, русские, до того привыкли к «натуре», что ничего не ценим вне ее, но цивилизация есть не натура, а работа человеческого духа над натурой. Во многих отношениях цивилизация есть даже удаление от природы, преодоление природы. Но вообще есть везде токи и противотоки, везде — борьба, везде — разные планы. Русская и французская литературы должны быть дружны, но не должны одна другой повторять. У нас — свой алтарь, там — свой. Пушкинского сердца никогда не родит французская словесность; и наша никогда не родит esprit Вольтера, Дидро, Токвиля. И не нужно. Будем каждый богаты своим богатством, без завидования и недоброжелательства, изучая друг друга, изучая всех, но «подражая» только себе и своему.

МАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА У ГОГОЛЯ

30

Ксанф в своем сочинении «Маги» передает, что волхвы разделяли ложе с матерями и дочерьми и что также у них считалось позволительным сблизиться с сестрами... И происходило это не вследствие хитрости, но по взаимному соглашению.

(«Строматы» Климента Александрийского,
книга III, гл. 3)

I

Осторожные евреи, теперь и прежде, не позволяют детям своим заглядывать в один уголок Св. Писания — в «Песнь Песней»: но вот сыну минуло 14—15 лет,

дочери 12—13 *, и родители в лоно сыну дали девушку, в лоно дочери дали отрока-юношу. Самим родителям, пропорционально возрасту детей, 30 и 26—28 лет. К 35 годам отца и 32 годам матери уже 2—3 сына, переселившиеся в чужие дома, имеют жен; они именно и переселились в дома родителей своих жен, тут же соседские дома маленького, душного, тесного городка; а сюда взяли 2—3 отрока-юноши в лоно подростим 2—3-м девочкам-дочерям. И вот вечер с пятницы на субботу: когда Жених — Иегова сходит в дома Израиля, где его встречает в полном убранстве «невеста» — Суббота, олицетворяющая волны и воды самого Израиля — племени. «На этот день мы все, евреи, становимся лучше: и каждый из нас, последний плутяга, — чувствует себя святым и героем в непонятном для других народов смысле». Так написал один еврей — антисемит **. Крепкие и в полном цвете сил, перед зажженными четырьмя свечами в память прабабок еврейского народа, Сарры, Ревекки, Лии и Рахили, — родители-евреи отдергивают теперь перед тремя дочерьми и тремя зятьями завесу, скрывавшую дотоле заветный уголок Св. Писания, и читают:

О, когда бы ты был
брат мне,
сосавший
грудь моей матери!..

Три зятя не могут не потупить очи, и несколько не взволноваться: мать жен их, кормящая 8-го или 9-го ребенка, тут же, и прекрасную обложенную грудь ее, во время кормления, они неоднократно и обыденно видали. Но это сочетание слов как бы от имени их молоденьких жен, — с этой раздельностью ритма, очевидно, с музыкальным ударением:

сосавший
грудь моей матери

приводит их в такое сочетание, какое им не приходило на ум. «В самом деле, если бы мы были братьями Юдифи, Фамари, Руфи — мы бы сосали грудь нашей полуматери, их матери...». Что дальше?

Тебя встретила я бы на улице,
целовала бы тебя

* По Талмуду, 13-летняя девочка именуется «богерет», перезрелой старой девой, уже запоздалой к браку: и родители, по тому же Талмуду, обязаны были уже ранее или выдать ее за муж, или хотя нанять ей мужа, — временного, соответственно теории развода. Конечно, все эти случаи безобразия или болезненности дочери. При красоте и здоровье ее все обходилось как у нас: она счастливо и навечно выходила замуж между 10—12 годами, причем первые три года муж ее, избавленный от всякой работы, должен был проводить в доме ее родителя, а следующие три года жена — уже, конечно, с детьми — проводить в доме родителей мужа. Таким образом, шесть лет чадородия проводились, попеременно, в одном или другом родительском гнезде, и после этого только, утешив родителей, они отделялись, образуявая свое гнездо.

** Лет восемь назад, в одном из фельетонов «Нов. Вр.».

и
меня не порочили бы.
Повела бы я тебя!
Привела бы тебя
в дом моей матери.

«Мы — в дому их матери», не могут не подумать зятя.

10 Ты учил бы меня.
Я поила б тебя
вином ароматным,
соком
гранатов.

Все музыкальные ударения: каждая строка имеет ударение, а часто в строке — только одно слово. Отец читает их: и зятя не могут не чувствовать, что через минуту после того, как он пахнул на них грезой груди жены своей, их полуматери, он манит их к лучшим и непознаваемым обаяниям тринадцати, четырнадцати и пятнадцатилетних дочерей:

20 Проснись ты, северный ветер,
и примчись ты, ветер с юга,
ты повея на мой сад!
Пусть польются его ароматы,
пусть сойдет мой друг
в свой сад
и пусть ест
его плоды драгоценные.

Последнее — слишком физиологично: тем более, что уже впереди было сказано:

30 Сестра моя, невеста!
Насколько лучше твои ласки,
чем вино;
и запах маслянистых твоих частей —
чем все ароматы!
Каплет из уст твоих
сосновый мед,
невеста,
мед и молоко
под языком твоим
и запах одежды твоей,
как запах Ливана!

40 Все так осязательно: отец, как бы перебирая части костюма дочерей своих, подносит к лицу мужей их, и, давая их обонять, спрашивает словами Священной

Песни: из вас каждый разве не узнает запах моей Фамари, моей Руфи, моей Юдифи? Не всегда, не каждый день, но в Святую Субботу для любящего мужа он слаще нарда! Вы же их — любите: ведь еще сегодня утром вы могли, если бы захотели, свободно покинуть их и выбрать лучшую девушку в жены себе *: но если и на эту субботу вы их не оставили, значит, в сей вечер они вам самые сладкие на земле женщины.

Голос чтеца, отца семьи, все так же звучит: и как жена его 32-летняя женщина, так и ее дочери, родившие, беременные и, может быть, станущие беременными в эту ночь, — не могут не затомиться, когда также размеренно он продолжает:

Лилии — 10
 губы его,
 с которых каплет
 мирра текущая.
 Его руки —
 Кругляки золотые,
 испещренные топазами;
 его живот —
 изделие слоновой кости,
 Покрытое сапфирами.
 Его голени — 20
 столбы из мрамора,
 Что поставлены
 на подполья из золота.
 Его вид,
 как Ливан;
 он крепок,
 как кедры...

Все сильно, прочно; все так соответствует женской неге и уступчивости!
 И точно, уступая этому описанию, дочери шепчут за словами читающего отца:

Уста его — 30
 сладкие яства,
 и весь он —
 желанный!

Небольшая комнатка, с чтецом и семьей слушателями и слушательницами, а если читает дед — с четырнадцатью, с двадцатью слушателями и слушательницами, всех возрастов, цвета глаз, цвета волос, роста, строя спины, бедр, торса, — при четырех горящих свечах, становится душною, жаркою, — и переполняется

* Сюда примыкает, — точнее, это обеспечивает теория еврейского развода. Талмуд говорит, что мужу не нужно для него приводить других мотивов, как-то, что «у жены моей дурной запах изо рта». В силу священства Песни Песней, устройство у них брака сообразовано с тем, чтобы в вечер пятницы каждая жена была в точности безусловно сладка мужу своему, в тех подробных и точных выражениях, как Суламифь — Соломону. 40

испарениями, свободно проходящими через южную тонкую одежду; домашнюю, родственную одежду, едва ли плотно застегнутую. Все, кстати, должны быть священо-босые: обувь не надевается ни в священном месте, ни в священный час. Все больше закинуты, заброшены «чем-то», чем одеты: ведь читает отец, или патриарх рода, — для детей, внуков, внучек, дочерей, зятьев, невесток. И звуки Песни Песней, ее ударения, расходятся волнами в горячем воздухе, входят волнами в кровь слушающих: и эти волны скрещиваются, переплетаются, взаимодействуют, сливаются, отталкиваются — дедовские, бабушкины, впрочем, всего 55-ти и 45-ти лет, с сыновними и дочерними — возраста 35 и 32 лет, внучатными от 11 до 18 лет, и старое молодеет от молодой волны, а юное дозревает от старой, крепкой волны, иногда очень сильной волны. Главное, — так тесно и душно: где здесь кончается человек? Читает — род, ветви священного дерева. Но «Сарра, Ревекка, Лия, Рахиль», олицетворенные четырьмя свечами, близятся к концу: Суббота-невеста совсем готова Небесному Жениху... Старое — очень старо, ведь есть тут и прадеды: и «Древо Жизни» умерло бы, не появляйся новые-побегии у корней его. Свечи догорели, по счислению часов на Востоке — теперь самая середина Субботы, и род расходится в тесненькие близкие комнатки, почти неотделенные одна от другой, отделенные полотнищем или тонкой доской... Теперь внуки, дети, невестки, зятья, сестры, братья — целый народец — один на один друг с другом, и дошептывают:

— Сестра моя, невеста моя!
— Желанный, возлюбленный мой!

Верхние девяностолетние ветви «Древа Жизни» совсем засохли, — торчат безжизненные, не шевелясь: но крепки и сочны сучья в средних частях кроны, и чем ниже — до десятилетнего возраста, тем живучее и обещающее. И все дерево, великое «Древо Жизни», живет священным «субботним покоем», по образу плодовых прабабок еврейского народа.

«Плодитесь! Множитесь!».

Одна заповедь, над всеми. Одна, равная всем. Одна, могущая заменить исполнение всех остальных: ибо и остальные все даны только в ограждение, подкрепление, удлинение ее:

— Не убий!
— Чти отца и мать.
— Помни день субботний.

Или меньшие, подробнейшие:

«Когда будете строить Храм, не употребляйте железа: из железа делается оружие, а оружие прекращает жизнь! Не мешайте же с Храмом, вкусом Храма, мыслью Храма то, что так ему противоположно, — оружие или материал его.

Будете строить жертвенник Богу, то не кладите в основание его писанных, обработанных камней: положьте — в натуре их, девственными, нетронутыми. Ибо и весь Храм и Бог — дышат натурой и требуют жертвоприношений натурой».

«В два сотворил человека Бог: двое и угодны Богу».

Все — два, везде — два. «Одного» не приемлет Бог: и если по какому-нибудь несчастию мужчина повредил себе ядра и стал «solo», «один», не связуемым в пару, чету, — «пусть он никогда не входит в Храм Господень». Жалко его: но это не религия Милости, а религия Натуры. «Камней-то не отесывайте: тогда не нужно Богу, в отесанные камни Бог не войдет» *.

Но в «субботнем покое» из семи мужчин ни один не лишен ядер: и в «Песни Песней» предусмотрительно упомянуто о козочках, которые так счастливы, что ежегодно рожают «двойни». «О двойнях-то позаботьтесь: может быть, у которой-нибудь выйдет». Выйдет у которой-нибудь дочери, невестки, внуки. — «У которой?» — могут гадать дед, отец, брат о сестре, о многих сестрах разом, о нескольких дочерях разом. «Пусть дочери молят Бога: а мы по заповеди и уставу дали им самцов ** с целыми и здоровыми ядрами».

«Никакой брак, — внушает Талмуд, — так не угоден Богу, как между дядею и племянницей». Когда у христиан произносится «угодно Богу», — то этим выражается только «неизреченная воля». Его, без вхождения во вкус этой воли, в мотивы ее: «угодны посты» — и с этим соединяется мысль о строгом Лице, которому вообще неприятно, противно человеческое объядение; «угодна молитва», — и это вообще отражает то антропоморфическое представление, по которому всякому сильному существу приятна зависимость от него слабых, постоянные упрашивания и мольбы их, постоянное к нему обращение. Но евреи помнят, что жертвы приносятся «в приятное благоухание Богу», и их термин — «угодно Богу» всегда значит «сладко Богу», «приятно Богу». Самое заключение завета с Авраамом было «приятно Богу», что видно из того, что не Авраам искал этого заключения, просил о нем Бога, а Бог неоднократно склонял и наконец, склонил к нему Авраама. Поэтому выражение: «угодно Богу сочетание между дядею и племянницею» в ушах всех евреев звучит, что Бог получает особенную сладость при плотских сношениях между племянницею и дядею, или при многоженстве в древности, от плотских сношений дяди с племянницами. Мысль эта не может не влиться в кровь плодящихся и не зазвучать в ней особым ритмом: разводятся сад юниц, где будут срывать «мандрогоровые яблоки» *** братья отца, зятя матери и братья самой матери. С этим вместе братья как матери, так и отца превращаются в толпу женихов для дочерей, возможных, избранных, хотя не непременно. Каждый, кто знает холодное, отчужденное, завистливое

* Цитаты, сделанные по переводу г. Эфроса, изданному книгоиздательством «Пантеон». Это — первый настоящий научный перевод с весьма важным музыкальным разделением на строки — слов отдельных предложений.

** «Самец», «самка» — постоянные термины жертвоприносительного культа в Библии; в русском и славянском переводе Библии эти важные *живые* термины устранены и заменены общим: «телец», «вол», «конь», не содержащими *рода* называемых существ. Переводчики-христиане вообще везде конфузятся за Бога, и стараются скрыть от читателя, что в числе прочего Он создал также и то, что они шопотом называют «неприличным местом» и о чем не говорят вслух.

*** Мандрогоровое яблоко, со множеством выпуклых, крупных зерен в нем, было символом плодородия на всем Востоке, и также у евреев. По представлению евреев и особенно — матерей семейства, съедание его предрасполагало утробу женщины к зачатию, и возбуждая, и благоустраивая ее.

в отношении наследства отношение у христиан братьев друг к другу, сестер к братьям, братьев к сестрам, тот поймет великую перемену, влитую законом этим в отношения сестринские-братские у евреев:

Любит муж жену здоровую,
А брат любит сестру богатую.

Это — у нас, у которых нуждающийся на удовольствия, трагичный на женщин брат всегда находит прибежище в кошельке сестры, вышедшей замуж за богатого человека, и немножко эксплуатирует как ее, так и зятя. Все это установилось естественно: при поглощающем значении, какое имеет половая жизнь интимно для каждого, сестры сами по себе абсолютно не интересны для брата, братья и их дети — также не интересны для брата и сестры, иначе чем притворно. Таким образом, уже дети родителей все смотрят врозь, убегают друг от друга: и оглядываются назад, в родительское гнездо, только с мыслью что-нибудь взять оттуда. Вследствие указанного закона у евреев, все чадородие под отцом-матерью обращено лицом внутрь, не центробежно, а центростремительно: все это, не выходя из пределов семьи, может размножаться дальше. Достаточно, если отец и мать выдадут хотя одну дочь за постороннего, или даже за брата же матери: эта одна дочь наплодит дочерей в замужество всем своим братьям. Плодородие обеспечено даже, когда есть налицо муж, жена и брат кого-нибудь из них: отсюда может выйти целый народ. Закон этот абсолютно противоположен христианскому: смотреть всегда врозь, центробежно, иметь жену на стороне, далеко. В словах Иисуса: «я положу вражду... между братьями и сестрами, между невестками и свекровью», уже содержался этот будущий закон христианского брака: отчуждение кровных, распадение кровей. «Дальше от своей крови» — есть дух христианства, «ближе к своей крови» — вот дух юдаизма, или, вернее, семитизма, всего семитического Востока. Кто знает специфическое ощущение нежности, какое-то томящее, невольное, «само собою», какое проистекает как из половой связанности, так и из обещания его, прямого или косвенного, себя или своих, возможного или будущего, тот не может не ощутить, что сердца в еврейской семье бьются совершенно иначе, чем в семье христианской. Мать, кормя грудью младенца-сына, — обрезанного и уже как бы «жениха»*, — не может, если бы и усиливаться, удержаться от мысли, что кормит она мужа для своей внучки, дочери сына своего или своей дочери. При раннем замужестве, не только матери, но и бабушки ходили еще беременными, рождали и рождали вновь, когда уже ходили беременными и рождали их сыновья, дочери, даже внуки и внучки. Новые нити, пока мысленные нити, духовные нити плотских будущих сношений слагались уже между беременными животами обширного рода: и «младенец взыграл во чреве матери своей» — это ощущалось и ощущается у евреев совершенно иначе, чем у христиан: сладостнее, сильнее и властнее в отношении беременной матери. Она была слишком подвластна тому «игранию»: как жертва,

* Сепфора, жена Моисея, обрезав камнем сына своего в пустыне, по непремennomу требованию Божию, смятенно воскликнула: «Вот теперь ты жених крови», и прибавила: «жених крови по обрезанию». Обрезаться значило стать женихом уже, стать как бы готовящимся к посвящению на деву, что соответствует самому виду обрезанного органа.

невольница, воистину «раба по глаголу Твоему», она была узлом, где перекрещивались такие линии будущих князей, в которых не могла, не умела и не понимала даже, как найтись, поступить, что сделать: и могла только, как Кассандра, как библейские женщины пророчествовать, молиться, взывать, просить, надеяться. Живот ее был центром судеб — притом своего рода: в братьях, в дядях, и племянниках, — она везде имела не это одно прямое холодеющее родство, но и родство другое, разгорающееся, какое вспыхивает к зятю, к невестке, вспыхивает и так часто умиляет, увлекает в безумное кружение, в новую страсть нашу старость! «Мать совершенно как бы лишилась разума: нас несколько братьев и одна сестра замужем; у нее — большое состояние: и она все проживает в семье замужней сестры, забыла нас, сыновей, и мы опасаемся, что она все завещает внукам, зятю и дочери», — эту жалобу и страх мне пришлось выслушать от одного доктора, преподавателя высшего учебного заведения. Слова другого, — мужа покинувшей его жены: «Жена стала уходить к замужней дочери; сперва возвращалась хоть к ночи, а затем стала и ночевать там. Я все время, и до сих пор, остаюсь один». Третья, старушка, до того привязалась к невестке, жене любимого своего сына, что непрерывно старалась обнять ее, поцеловать, во всяком случае — сесть около нее, дотронуться до нее рукою: и в то же время точно перестала выносить своего мужа-старичка, постоянно высылая его в другую комнату. Ее постоянная ласковость чуть ли не была даже отяготительна для молодой и добродетельной невестки, и она как-то стеснялась и конфузилась ее. Четвертая говорила мне о зяте: «Какое-то новое чувство, никогда мной не предполагавшееся: когда он сделался мужем моей дочери, во мне вспыхнула необыкновенная нежность к нему... Я не умею объяснить. У меня есть сыновья и чувство к сыну матери я знаю: оно сладко и крепко, оно полно страха за него, хотя он и с бородой. Но это... тут смешано чувство к сыну с чувством мужа: страха никакого нет, но до того дорог он мне, до того мил, так весь приятен, как это чувствуешь только к мужу. Я не понимаю: но это так ново и я никогда не ожидала»... Это наиболее полное описание, какое мне пришлось выслушать, и оно невероятно ценно. Оно открывает, что с браком детей у родителей рождается новое чувство, только им единственно известное; и как с новым чувством человек как бы вновь рождается сам, то нельзя не сказать, что стареющие родители от того упорно, тоскливо, непременно стараются побрачить своих детей, что через это сами рождаются в новую жизнь, свежую жизнь, молодую жизнь... Любовь настоящая истощила бы их силы и ускорила смерть: но эта новая любовь к невесткам, к зятям, не беря ничего материально у старцев, с тем вместе во всем существе их разливается настоящей любовью, согревая и освещая их прекрасным вечерним светом. Так солнце иногда уже зашло за горизонт вод, а пурпуровая заря, почти как пламя, но на самом деле не пламя, еще горит полчаса над далекой точкой моря. Солнца нет, а свет солнца есть: вот вторая, лучшая и правильная любовь, какую Бог дал старости. Есть ее сладость, есть ее сахар, есть ее истома, и грезы и волнения: но материи ее нет. Эта благородная любовь старости, — у евреев при молодом браке, — наступала для родителей уже в 28 лет для матери и в 33 года для отца, т. е. при полном цвете и жизни собственных сил. Тогда она являлась утолщением реальной, матерьяльной любви их, — заставляя вспыхивать ее, как пламя, присоединенное к пламени, как костер, когда в него подсыпают сухих прутьев и хвороста. Мне также случалось наблюдать трогательные случаи, когда у престарелых

уже родителей, давно не имеющих детей и, вероятно, прервавших связь несколько лет назад, с женитьбой сына или при замужестве дочери рождается ребенок: кровь оживляется, силы подымаются и плотская связь, уже угасшая было, загорается вновь. Так, в прекрасной благочестивой семье, от мужа 58 лет и жены около 45 лет родился ребенок немного месяцев спустя после рождения старшей дочери, отданную год назад замуж. Кто наблюдал частую женитьбу отцов-вдовцов одновременно с замужеством дочери, тот поймет, что страстные соединения в молодой семье рожают зарю даже среди глухой ночи, какая настала в родительском лоне. Вторая жизнь... Может быть, обещание и залог будущей, посмертной жизни?..

Жарка семья у евреев. Не тепла, как у христиан, а жарка... Это всегда у них многосложное пламя, многоцветный костер. «Брат ли он мне? — но только: но он и муж моей дочери, зять мой, возлюбленный мой, приятный мне»... Здесь каждое слияние молодых супругов дает свой тон, свой звук, замирающий, нежный, но чувствуемый, но сладкий особою новою сладостью по бесчисленным линиям всего рода, входит зарей от невидимого солнца в братьев, сестер, дядей, родителей, деда, бабушки... Есть взаимные благословения: мне лучше, когда кто-нибудь невидимо благословляет меня; и сам я от этих чужих благословений становлюсь добрее и уже невидимо, безмолвно благословляю других. Дубравую шумит зелень «Древа жизни»: оно одно, но как бы лес. И птицы вьют в нем гнезда, много птиц, всякие птицы; и звери находят под ним прохладу, и всякие насекомые копошатся в его коре. Все старо. Все сильно. Славное, ночное дерево. Это — плодящий род, внутри себя плодящийся.

В христианской семье, где все смотрят врозь, — ибо «врозь» обращены судьбы их, будущее их, — юноши-сыновья, как только получают силу и возможность, уходят вдаль, странствуют, блуждают, всегда магически отыскивая женщину себе, девушку, невесту, любовницу, приключение, «что-нибудь»... «Вдали» невеста: и непременно жених ее уходит вдаль. Притча евангельская о «блудном сыне» есть собственно предсказание *типа* будущих сыновей у христиан, так как у евреев их не было и не могло образоваться. Здесь все обращено внутрь, ибо внутри лежит «судьба» каждого, «женщина» его, жена его: здесь все царапается, ползет внутрь и внутрь, к «меду» своему, «сахару» своему. Таков закон устроения. Блуждающие и невольны «блудные» до долгой женитьбы, сыновья, — как и вылетевшие из родного гнезда дочери, которым это гнездо совершенно «ни к чему», — образовали европейское общество... Порочное, шумное, нервное, гениальное, с истомами и вечным неудовлетворением (до «судьбы»), оно создало европейскую культуру, блеск ее, огонь ее, музыку ее, линии ее... Уходящие в небо, в пустое безотрадное небо... Но вообще мы признаем, что много бесконечного гения создано здесь, поэзии, красоты, свободы... Но только простое и любящее сердце не может не погрузиться над самими создателями: ибо все это как-то слишком без сахара, все имеет уксусную консистенцию, все отравлено тонкими ядами.

Нет, «плодитесь, множитесь». Последнее выходит, но уже как случай; у всех выходит, у 90%, и все-таки у каждого как случай. «Родились дети» — это решительно вне преднамерения у инженера, чиновника, писателя, офицера; из которых каждый прямым и преднамеренным делом имеет: писать, воевать, проводить дороги. И, наконец, перед рождением детей просто был влюблен, наслаждался, носил цветы, покупал подарки, и, наконец, грезил ночью как Левин в «Анне Каре-

ниной». Но ведь и Левин грезил о добродетелях Китти, о ее локонах: но ни разу восхищенною мыслью не остановился на беременном животе ее, и мысленно не поднял ее ребенка на руки. Афродита еще живет в нас, действует. Иначе все бы умерло. Но мы ее не видим, не знаем, с нею не сообразуемся, ей не ставим свеч, не курим фимиамов. И, словом, она хранит нас; но мы уже давно ее не храним.

Восток и не создал «общества» и с ним культуры, как окаменелых вздохов, тоски, неудовлетворения, поисков; окаменелых в веках, в тысячелетиях, в готике, в музыке, в Канте, в революциях...

Восток «плодился» и «множился»... Пахучий и сахаристый, он был похож на громадный улей, с безграничными запасами меда тут, на месте, для каждого с младенчества его, с способности вкушать... Все некрасиво снаружи. Нет нашей готики. Цивилизации нет, как вечно нового и разнообразного. И, конечно, мечту нашей цивилизации мы не отдадим ни за что... Но как-то грустно, простому и доброму сердцу грустно за цивилизованных людей. Проклиная азиатское отсутствие цивилизации, мы, однако, никак не наступим ногою и не раздавим этот медвяный улей, живущий по закону своему, совершенно особенному закону, который для нас есть и не лучший, и не худший, а просто — другой. Заметим, однако, что такие громадные «дыхания» истории, как бы дыхания целой планеты, — как христианство, буддизм, магия, юдаизм, Библия, — выдохнуты были на землю Азии. Чем именно была бы Европа без этих громадных дыханий, очень трудно представить: может быть, тысячелетием просто волокитства и просто драк, сражений, войн. Европа, собственно, культивировала, обрабатывала, удлиняла, развивала, обтачивала «неизреченные слова» Азии, аромат ее, мед ее...

И вот вечер с пятницы на субботу в еврейской семье, где среди четырнадцати слушателей и слушательниц «Песни Песней» все, собственно, до супружества были уже братьями, сестрами, дядями, племянницами, двоюродными, где есть и двуженные и треженные: и молодой отец, в 23 года, имеет тут же себе женами и дочь брата своего, и дочь сестры своей, и еще кроме их живет с некрасивою пожилою служанкою, которая, в качестве матери его ребенка, слушает ту же «Песнь Песней»... Ужасно душно и жарко. Взоры их, кровь их, — все совершенно не похоже на все, что мы знаем в Европе: мы не только этих ощущений не знаем, но никогда и воображением не бродили по краю их. Здесь кровь каждого удвоенно чувствует кровь другого: здесь родство так переплетено, из таких удвоенных нитей, с такими утолщениями, что, собственно, что такое «родство» знают только они одни, а от нас самая магия «кровности», «родственности» совершенно скрыта, как Америка до Колумба.

Что-то скучное, не интересное, вялое — у нас.

Но оно здесь пылает и напряжено до последней степени: здесь нет не чувственного родства. При расходящихся линиях — родство имеет интерес «в наследстве» и не имеет в поле: родство — бесполо, афаллично. Но при сходящихся линиях оно все фаллично: и вот этим особым нервом в себе оно все пылает, страстно, горячо, знойно, нежит жилы, сахарит душу. Всего человека оно преобразует в новое существо, может быть, неприятное и сухое за пределами дома, на улице, «в обществе», но которое там, внутри дома, в вечер с пятницы на субботу, есть

сущий «ангел» для всех, на вкус всех, и себя чувствует «ангелом» же в отношении всех. Целая община, маленький род — все чувствуют сахаристость друг в друге, сладкими себя друг для друга. Или, как говорит «Песнь Песней»:

Невеста моя,
Сестра моя,
Ласки твои
Слаще вина...

Это — не уподобления, не аллегории; в словах этих, точных словах — суть всего. Как у разума есть память, воспоминания, грезы, — так у богато развитого пола, при наличности «плодитесь и множитесь», есть эта же память, предчувствия, грезы... И при странном сплетении родства здесь пол как бы пантеизируется и через жену и материальную связь с ней, — как через резонатор или детонатор, — соединен с полом всех остальных, и не может не вибрировать, когда вибрирует он у кого-нибудь. Странная эта суббота: как будто лица у всех уменьшились, стали «личиками», маленькими, детскими, не умными: но появился странный разум в поле, огромное лицо в нем, нам окончательно неизвестное, неугадываемое, с непостижимым для нас выражением, смыслом, манией, притяжением... Лицо это, — как разум в нас иногда разливается на все тело и оно становится «умною фигурою человека», — так это европейцу непостижимое лицо пола разливается у евреев и евреек на всю фигуру их, делая ее какою-то сладкою, возбуждающею у каждого для всех и всех для каждого... Все страшно связано, — о, непонятым в Европе образом! Ведь все такие родственники и возбуждены друг другом. Как-то в Судный день, сидя в синагоге, я взял книгу у соседа (порусски): и, раскрыв «где-то», ударился глазами в строку: «Боже, избавь (или «не допусти», «не доведи») меня от кровосмешения». Мысль, молитва, невозможная у христианина: до того она далека от нас, до того если и случится — то как исключение и случай, для которого и не составляется «общих молитв», храмовых, народных. Но у евреев вся кровь поднята к кровосмешению; странным шопотом Талмуда о дядях и племянницах, — она вся брошена сюда, не у одних племянниц и дядей, но, главным образом, у братьев и сестер и далее во всем круге родства: брошена к стене этой, именно этой стене, и остановлена странным упором, твердостью стены. «Чем ближе сюда — тем *святеe*: но *переступить* через стену — страшный грех, смерть, достойное смерти». Но лижут волны стену, высоко вздымаются; стена стоит, несокрушимая, Божия. Бог именно как-то около этой стены поднял весь водоворот страстей, весь огонь Израиля: поднял, — и удержал. Позвал, — и запретил. «Сюда, сюда, вот до этой черты, до самой этой: но дальше — смерть». Что же дальше? Душа человека всегда идет «дальше», чем материя его: и пыл души еврея, всегда столь фаллический пыл, переступает и дальше, гораздо дальше, нежели как это указано в Библии и разъяснениях «Талмуда», удлиняющих ее: — Сахар дочери дозволен, но мой сахар — нет...

Это образует чудную, особенную застенчивость евреев... Она глубоко волнует, потому, — что столь ясно и фаллично, и она бесконечно привлекательна, потому что, будучи таковою, вечно убегает от вас, скрывается. В «Песни Песней» острую, жуткую сторону, самую страшную, составляют не *схождения*, не «когда он покоился на моей правой руке, а левая его обнимала», а... уклонения, ускользания, его

ли, ее ли. Они сделаны с каким-то особым сгибом строк, — и таковы, что более всего помнятся. Между тем в «ускользающую любовь» уже входит не одно материальное, а и все воображаемое, всякое воображение: воображением же связаны все присутствующие в комнате в вечер пятницы, и эти строки «Песни Песней» собственно — связывают весь род как бы в одно лицо, точнее — в одну чету, но так, что в узле все и от всякого «ускользает» и материально остается только одно «законное» лицо, но воспламененное до предела и перед воспламененным до предела же. Как бы огромное лицо пола уменьшается до величины угля, но концентрирующего всю пятнично-субботнюю всеобщность. Но свечи «Сарра, Ревекка, Лия, Рахиль» догорели, и все переходят в «субботний покой»: пиршество Иеговы-Жениха*.

Библия, точнее — юдаизм, была вечернею зарею древнего Востока, и даже в самых корнях Библии, ее «исходах», первых главах, мы читаем, как о *бытовом факте*, без «спроса и дозволения», о том, что является позднее запрещенным. «Нужно ли читать историю Лота и дочерей его в последовательном чтении свитка (св. Писания) в синагоге, или это место следует пропустить», есть вопрос в Талмуде. «Нужно читать», дан ответ. В «Жития святых», этих духовных «предков» христиан (они не имеют других «предков», кроме духовных), не введено не только картинного, личного, разговорного эпизода вроде истории Лота, но, читая христианскую историю, наставительно и патетично излагаемую, можно подумать, что все христиане всю тысячу лет жили только с законными женами, а что касается дочерей, то их «даде в брак» родители, по Апостолу, после чего дочери «рождали чад церкви», и все это шло по маслу и благополучно, как курьерский поезд между Москвой и Петербургом. Вся христианская история (в изложении) удивительно обточена, облизана, отполирована, и блестит «законностью», как новые пуговицы на новом сюртуке полицейского. От этого, однако, она не стала «священной историей» ни для одного народа. Евреи же читают в своей (для всех народов) «священной истории» о всяких случаях жизни седобородых предков своих, о любовничествах, сожитиях с прислугой (Агарь у Авраама), с двумя сестрами одновременно (Лия и Рахиль), причем они еще заставили сами его сожительствовать со своими «нянюшками» (Балла и Зелфа), и, наконец, о минутных схождениях с вольными девицами... Невозможно, чтобы мы в чем-нибудь осудили тех предков, память коих священна для нас, которым мы бесконечно обязаны, — своего Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Александра Невского. Таким образом, хотя они и получили последующее запрещение, но у них нет силы, нет психологической энергии осудить и проклясть случай, выходящий и за пределы закона. Это образовалось читаемостью и повседневной известностью таких историй, как о Лоте и его дочерях, изложенных в столь благочестиво-спокойном тоне, и с таким могучим мотивом («никто не может войти к нам», т. е. совокупиться с нами, «по закону всей земли», поучает старшая младшую), что

* Г-н Эфрос, переводчик «Песни Песней», устно сказал мне, что в вечер пятницы евреи в песне-молитве призывают Иегову сойти в их дома и что под «невестою-Субботою», уготовляющей себя Ему, подразумевается у них Израиль-племя. Таким образом, обязательное в ночь на (нашу) субботу супружеское слияние евреев — евреек есть в то же время «принесение семени своего в жертву Богу», — почему эту ночь и можно рассматривать как пиршество или пиршественное вкушение Иеговы.

даже христианский учитель церкви, Ориген, воскликнул: «Ужасаюсь, что хочу сказать: нецеломудрие дочерей Лота было целомудреннее многих супружеств»... Все дело решает *тон*: и нечитаемостью и даже незаписанностью каких-либо «случаев» в истории христианской церкви произведено то, что все «случающееся» нам представляется совершающимся в невообразимо дурном, сальном или фривольном тоне. И от отсутствия великих образцов, какие евреи имеют в жизни Авраама, Лота, Иакова, Иуды и других, в нашей жизни «случающееся», может быть, и происходит действительно в сальном или недостойном тоне, и тогда, конечно, дурно, отрицательно. История отношений Авраама и Агари от того не порицаема, что здесь ни в одной строчке мы не чувствуем улыбки, смешка; что здесь никакой нет шалости, легкомыслия. Красота *тона* до того давит на нас, что мы невольно шепчем «должно», т. е. что «это так должно было быть», «тут не было ничего дурного». Красота есть тот примат, который господствует над всякою нормою, отстраняет всякий закон: закон как «запрещение» и мог пролезть только в ту щель, где вдруг оказалось бесспорно и нерушимо «скверное», «безобразное», «отвратительное». Тогда закон говорит: «стой», «не дальше», «запрещая». Но вдруг появилось милое, грациозное, поэтическое, увлекательное, трогающее всех: закон слабеет, тает, бессилует, и говорит: «проходи». Всякая красота непременно переступает закон, и для красоты нет законов, кроме ее собственных. Красота как духовнопрекрасное, как милое и благородное, — отнюдь не эстетическая «красота». Красота как добродетель. «Где я стала, там и добродетель», — говорит настоящая красота. Отсюда восклицание Оригена перед историей Лота. От Лота же произошло длинное потомство, — от каждой дочери по новому народу, что показывает, что и Бог берег их потомство, был ему покровителем и защитою.

Но в Библии есть и другие места, не рассказывающие, но безмолвно ведущие читающего или слушающего к еще более важным и потрясающим заключениям. Кто была Ева Адаму? Жена, дочь и сестра. Жена — по изгнании из рая, сестра — в раю, дочь — по способу исхождения из тела Адама. Для всемогущества Божия, конечно, возможно было создать Еву вторым после Адама человеком, или разом сотворить человека четой. Что же указывает этот особый и новый вид сотворения самки-человека, не похожий на сотворение всех других самок? Ясно, что здесь вложена какая-то особая мысль, план и велительный закон на будущее века. Человек-Адам *заклюгает в себе, содержит в себе* и Еву: значит, он не только мужчина, но в самце тайно присутствует и самка. Их отношение? Но чем же может быть отношение слитых мужчины и женщины, как не совокуплением, — однако не внешним, через органы, а внутренним, в крови. Жилы сжимаются и расширяются, кровь струится, налитый кровяной шарик дышит, беря кислород из легких: и в каждом шарике есть нажимающая и уступающая сторона, есть мужское и есть женское; в одном шарике уже есть совокупление, а весь организм горит, пылает, так как в нем происходят тысячи и миллионы совокуплений... Но вот внутреннее совокупление недостаточно или «не угодно Богу», и он из Адама извлекает Еву, — отделяет в шариках крови их женскую часть и совокупляет эти части в фигуру нового человека. Если Адам-человек при этом разделился в Адама-мужа и Еву, то Ева в отношении его есть сестра; а если принять во внимание то, что он был *раньше* и она *позднее*, и они генетически связаны, то, очевидно, она есть его дочь. Так или иначе, но *первое теловегетское совокупление по преднамерению Божию*, —

ибо избежать этого было бы легко, — произошло не то с дочерью, не то с сестрою, во всяком случае — с ближайшею кровью, почти с собой самим, с частью себя. Как и размножение детей Адама происходило, очевидно, через братне-сестрины узы, если у Адама были дочери; или даже через оплодотворение матери сыновьями, если допустить, что рассказ Библии полон и у Адама не было дочерей. В последнем случае поразительно то, что все сочетающиеся, Адам, Ева, Авель, Сиф, были угодны Богу и благочестивы, что о нечестии их, еще другом, кроме вкушения от древа добра и зла, Библия не упоминает. Между тем такое кровосмешение, и даже кровосмешение брата с сестрою, в наших представлениях есть что-то более пугающее, чем убийство братом брата (Каин). Но об убийстве подробно рассказано как о грехе, между тем как бесслитное кровосмешение в семье Адама даже не упомянуто. Первый случай кровосмешения рассказан уже в поздней, очень поздней, истории Авраама, Лота и дочери его.

Очевидно, в доеврейские, доавраамовы времена, то, что, мы называем теперь пугающим словом «кровосмешение», — было наличным обыденным фактом, не возбуждавшим собою никаких вопросов. Он подчинен был закону «хочется» или «не хочется», и, можно думать, что так как вообще и универсально это «не хочется», то делалось некоторое принуждение над собою, чтобы вступить в эту форму брака в каких-нибудь особых целях, напр., чтобы не припускать к своему потомству инородной крови, чтобы не делить наследства, чтобы получить работников-помощников у себя в семье. В чем заключается особенность этих браков? Сливаются родство, так сказать а ргіогі (до брака) присутствующее, со страстью а posterіогі (в браке): так как полового акта без страсти не бывает. Но что же это именно? Родство становится страстным, а страсть — родною. Но именно это что? Из пассивного, статического, «смотрящего врозь», эгоистического, несколько «каинского» (соперничество и вражда) родство становится пылающим, динамическим, самопожертвованным, отрицающим себя для другого, как вообще муж и жена отрицают от себя ради другого; а страсть, будучи завершением родства, обращенная к родному...

Невеста моя,
Сестра моя,
Слаще вина
Ласки твои...

Что это такое? У Эккермана в «Разговорах Гёте» записаны слова того последнего об особой категории, какую представляет «сестра» в отношении брата, и «брат» в отношении сестры. Следовало бы это место цитировать, как очень важное и единственное в литературе. Гёте говорит, что отношение к «сестре» не есть вполне отношение к женщине, так как брат не видит *прямо* пола сестры, за необращенностью к нему; но косвенно о нем знает, задевается косым его лучом, как бы поздним вечерним или ранним утренним. Это сообщает удивительную *деликатность* отношению брата к сестре, и испуг за малейшую не деликатность, если бы кто-нибудь нанес ее полу сестры. Никто так часто, в том числе ни отец, ни мать, ни дети, не мстит за «честь женщины», как брат; «брат отомстил за сестру» — самое обычное явление. В Библии это описывается, как месть одного из сыновей Иакова за «оскорбление» сестры их Дины, — за что потом упрекает это-

го сына отец его и Дины. Для отца «нарушение целомудрия» дочери кажется, может быть, неудобным, может быть, несвоевременным, может быть, марающим, и тогда он волнуется и кричит, но больше для вида: внутри себя он знает и чувствует, что это, но только в удобных формах и в удобное время, должно произойти, и желает, чтобы произошло. Дети в случае «оскорбления» матери негодуют христианским негодованием жалости. Совершенно иное чувство брата: он чувствует поруганным образ чего-то милого и возвышенного, невинного и прекрасного. *Невинность* сестры — палладиум брата... Поэтому ни через чье сердце, ни отца, ни брата, не проходит такую болью, если сестра «уронила» себя, «пала»; или если кто-нибудь просто жестом или словом выразил неуважение сестре. Все эти признаки необыкновенно важны, а их можно наблюдать, зорче присматриваясь к отношениям братьев и сестер в тех редких случаях, когда они смотрят хоть параллельно, а не окончательно врозь и эгоистически. Нужно заметить, что у христиан сестринско-братские отношения в 80% сложены положительно от-вратительно: братья не выносят сестер, эксплуатируют их, особенно кошелек их, не интересуются даже во время болезни ими, и решительно ничего не чувствуют от смерти их. Сестры относятся к братьям гораздо участливее, жалеют в болезнях, сочувствуют их удовольствиям, покровительствуют во влюбленности, — но тоже до замужества и собственных детей. Однако в 20% (несколько менее) бывают так называемые «дружбы» братьев и сестер, когда они много разговаривают между собою, не скучают обществом друг друга, не ищут убежать друг от друга к третьим, к друзьям, к подругам; помогают друг другу в работе, в заботах и в секретах сердца. Кто это видал, не мог не поражаться необыкновенною красотью этого. Тут есть что-то спокойное, благородное и нравящееся. Изредка эти «дружбы» тянутся всю жизнь, при безбрачии обеих сторон; нередко сестра-девушка до могилы остается другом брата, уже женатого, и выхаживает всех его детей. Вот эти «дружбы» есть пролог, от которого мы все-таки можем протянуть нить к египетской форме бракозаключения между братом и сестрою — как санкционированной, особенно религиозной. Ее, как известно, от фараонов приняли греки-Птоломеи: у египтян же особое священство этой связи было выражено через миф об Озирисе и Изиде, супруге и жене, и вместе брате и сестре. Действительно, то чувство верности, защиты друг друга, покровительства одним другого, чего-то тесного-тесного, что образует идеальные особенности счастливого, самого счастливого брака, легко представить себе, если удлинить и уплотнить, уцелить и особенно еще согреть «дружбу» сестры и брата, в ее теперешних чертах. Это совсем другое чувство, чем вспыхивающее к «незнакомой девушке на дальней стороне»: в последнем случае есть что-то роковое, смертное, и уж явно только фаллической природы; «вцепился зубами». Известно, как часто кончаются кинжалом и выстрелом эти случаи «вцепился зубами»: в отношении сестры «поднятие руки на кровь» невозможно ни в каком случае. Не представимо, и, кажется, нет. Кажется, совершенно нет случаев убийства братом сестры, тогда как убийство отца и даже матери изредка случается. Тут — «защита и покровительство» как врожденный элемент «братниного» чувства. Таким образом, связанность брата и сестры, если бы она перешла в супружество, действительно содержит обещание тех черт, за которые египтяне невольно называли этот брак «священным». Страсть очень смягчена, развложена (родством); она не груба, не жестка; она ужасно далека от «скотского», от «животного сладострастия», с его эксцессами и бурями;

она вовсе не бурна, — тихо льется из вечера в вечер; она есть именно братство, преимущественно братство, — но «покаявшееся перед алтарем в вечности». Перед алтарем Изиды-Озириса, их прототипа.

Конечно, все это гадательно, так как никаких фактов здесь мы не имеем. Стена истории задвинула от нас эту истину или эту ложь, как огромные камни пирамид, закрывавшие вход в них. Скрылось поле наблюдения, и здесь мы не можем судить. Случая два подобной связи, о каких мне привелось в жизни слышать, мелькнули как звук только в имени, в упоминании, без описания, без чего-нибудь, по чему можно было бы заключить о характере этой связи и о нравственном, вообще о духовном лице так связанных. Известный писатель П. П. П-цов¹⁰ обратил мое внимание, что, судя по автобиографии, написанной гр. А. К. Толстым, автором «Иоанна Дамаскина» и «Князя Серебряного», он произошел от супружеских отношений брата и сестры («мой дядя по матери» — в автобиографии). Перечтя, я увидел, что это правдоподобно: поэт нигде не упоминает даже имени своего «фамильного» отца, как бы он не был его натуральным отцом. В длинном теплом сыновнем рассказе везде фигурирует мать и «дядя по матери», причем к обоим видна горячая его нежность. Оба безраздельно его воспитывали, а «дядя по матери» оставил ему потом все состояние. Нельзя усомниться, если это было так, в глубоко счастливом натуральном супружестве, которое мы должны рассматривать как священную тайну с древнейшим корнем под собой. Это,²⁰ может быть, отразилось в замечательно религиозном характере сына, и притом редкого изящества, что отмечено во всей России.

Но вообще это — terra incognita. Несомненно, однако, одно, что термин «ἱερός ὑάμιος»^{*} естественно применен был к родственным связям древними, так как «кровь родственника» по существу своему и a priori есть уже «священная», «святая» для нас, для всякого. Вдумайтесь в сущность родства: оно, конечно, свято! Бесспорно! «Милый», «милая» — так все народы, у всех народов именуют родных. Это «милое» и «уважительное». Поразительный мир христианства перед родственными браками и происходит от этого ясно всеми ощущаемого, ощущаемого и христианами, священства и чистоты родства. «Это что-то Божие, религиозное».³⁰ Как же это «святое», «Божие» приблизить к детородной системе, фаллизировать, вулвизировать?! Отсюда и произошел испуг, непобедимое отвращение христиан к родственным связям, к их возможности, к их тени, что при бесспорном ощущении святости родства христиан неодолимо чувствовали отвратительность половой системы, отвратительность полового соединения, акта, семени... «Нельзя столь скверное приближать к этому святому, к сестре, племяннице, и чем ближе, тем страннее». Ибо ближайшее в родстве всегда есть святейшее для данного лица, для данного родственника. Христиане не замечают, что проблема родственного брака, отрицаемого ради «не осквернения святыни», повторяется в проблеме вообще брака и применима к тенденции всякого чистого, изошренного,⁴⁰ уважительного брака: раз половая система сына «грязь», то для чего ею касаться чистой, невинной девушки, честной дочери честных родителей, дочери священника, дочери дворянина, княгини, графини? Зачем вообще *чистое* избирать: явно, что надо послать сына с его «скверным семенем» куда-нибудь к бесчестной сироте, к девице без рода, без племени, к нищей, к замаранной, к падшей.

* «святая свадьба» (грез.).

«Грязных рук не вытирают о чистое полотенце»; и эта логика, а она обязательна для последовательных христиан, естественно приводит их к идее и факту проституции, непотребства: и в основе ее в наших невыносимо грязных формах, конечно, лежит эта христианская идея о первоначальной грязноте детородной системы. «Грязному — грязное помещение». — Но когда родители высматривают сыну княжну, дворянку, образованную, невинную, безукоризненных чувств девушку, то они стали на тот самый путь, который их приводит «за стену» истории, к Египту. Можно продолжить их мысль и спросить: «Отчего не сестру? Чистейшей девушки — нет; она вышла из вашего лона, выверенного, вам известного, не прелюбодейного, верного, добродетельного. Все сомнительнее, все сомнительнее ее; и для чего вам на стороне искать серебра, когда у вас под рукой золото?».

10 Возражение может быть только одно, и вполне правильное, — и когда оно есть, то все попытки рушатся: «они не нравятся друг другу», «взаимно они не имеют полового притяжения». Конечно, это аргумент, и все разрушающий: на родственную привязанность, переходящую в любовь, мы должны смотреть как на чудо природы, как на редчайшее исключение. Народы, смотревшие без отвращения на половую систему, и, наконец, смотревшие на нее притягательно, с уважением, видели в родственной любви чудо и желали его, а мы видим в ней грех и избегаем ее.

20 На этом и построена одна поразительная страница у Гоголя, которую мы хотим разобрать и которая в «Собрание его сочинений» попала совершенно непостижимым образом, как некоторое чудо, как атавизм. Атавизм этот такого рода, что всю его личность хочется признать глубоко атавистической, древнюю, которая, Бог весть как, забрела в нашу «позитивную» цивилизацию, новенькую, чистенькую и «граждански благоустроенную».

II

Когда мы произносим слово «колдун», то выражаем им наибольшую степень своего испуга... Перед человеком ли, перед событием ли. «Здесь *колдовство*», — этим мы говорим:

30 — Я испуган и не пойду сюда. Я боюсь этого места.

При этом самый *испуг* — безотчетен и так велик, что переходит в ужас, в судорогу, в скованность членов.

— Ни за что не пойду сюда! Лучше умру!

Умереть легче, чем вместить в душу этот ужас. «Колдовство» — на грани с безумием. «Если я переступлю за магическую черту, то с ума сойду: а тот, кто по ту сторону ее, — он *колдун*, и не сошел с ума потому, что ничего общего с человеком не имеет».

«Колдун не человек. Его надо убить».

40 Один на один — страшно: но народом, площадью, улицей «убить» — хорошо, это можно. Так и поступали в Европе.

«Колдунов всех надо убивать. С ними ни говорить нечего, ни переделывать их. Колдуна нельзя переделать. Он — силен, сильнее каждого человека. Но улицей, навалившись, — можно убить и колдуна. Так и надо».

Вот история «колдовства в Европе». Народы, совесть, все — пятились перед ним, с ужасом, злобой, невыразимым испугом, выставив вперед топоры и огонь. «Зарубить или сжечь». И особенно «не разговаривать, не вступать в беседы». Колдун — хитрее всякого, даже всех хитрее, целого народа. Всех обманет, затемнит — и вывернется, уйдет, над всеми смеясь и торжествуя.

Народное воображение приурочило к «колдуну» две вещи:

Знание.

Силу.

То и другое — чрезмерные!

И — темные... Впрочем, никто этого и не разглядывал. «Страшно смотреть. С ума сойдешь».

Поэтому когда в «Страшной мести» Гоголь назвал главное действующее лицо «колдуном», то он последовал отчасти народному обыкновению, отчасти своему собственному испугу: он заговорил, захотел рассказать о невероятно страшном, необыкновенном, о «небываемом», и сумму этих оттенков и волнений и выразил в слове «колдун». Тут фабула — ни при чем; суть «дела», — история казаков Петра и Ивана, — разъясняющая все, сокращенно изложена им в 8-ми главах, по 10 строк и каждой, в конце повести, — «чтобы отделаться и как-нибудь закончить»: подобно коротеньким, скучающим главкам в «Воскресении» Толстого, где он «как-нибудь» закончил неудачно избранный сюжет. Итак, ни «Петро и Иван», ни история происхождения «колдуна», его предки и линия их — не имеют никакого значения и выдуманы Гоголем Бог решает для чего. Бурульбаш и вся малороссийская обстановка — тоже только аксессуары. Суть — Катерина и ее отец, или, точнее и строже — только один отец, «колдун». Гоголь потянулся к страшному сюжету, на европейской почве удвоенно, удесятеренно страшному — передать, как отец тянется стать супругом собственной дочери.

— У, чудище!

— У, «колдун»...

— Это — «колдовство»...

Т. е. до того небываемое, неслучающееся, невозможное, до того противоречащее всему току европейской цивилизации, всему ее устремлению, — что у Гоголя, когда под черепом его свилась эта история, угнездилась там, — хватило духу только написать:

— «Колдовство... Не подходите, дети».

Да и «взрослые» не подходите... «Не надо этого, даже знать об этом не надо». Но Гоголю ужасно захотелось... не то чтобы «узнать» это: напротив, он это *погему-то* знал, *погему* — Бог его знает, это тайна его души; и ему захотелось *рассказать* об этом, хотя и под шутиливой формой малороссийской полународной, полудетской легенды, выдумки.

«Прочтут среди других рассказов Пасичника Рудого Панько».

Каким образом Гоголь потянулся к этому сюжету? Всю неизмеримую важность этого мы поймем, обратив внимание, до какой степени Пушкин ни в каком случае бы этого не рассказал; даже услышав от другого — просто забыл бы, *не заинтересовался бы*. К таким и подобным сюжетам Пушкина не тянуло. Он рассказал графа Нулина, рассказал в «Руслане и Людмиле», как старец Черномор «ничего не мог», — и посмеялся. Волокитство, приключение и анекдот — это

формы отношения европейца к половому акту; или «скука» в нормальном супружестве. Гоголь непостижимым образом потянулся рассказать... спокойный сюжет Библии о Лоте и дочерях его, — но, без сомнения, не вспомнив во время писания ни разу об этом библейском рассказе, иначе не был бы так испуган. Гоголь вдруг сам и оригинально написал этот древнейший, «допотопный» случай Библии, одно из «колен» ее, сгибов: но когда там сказано об этом так кратко и просто, так понятно и небесно — он с реализмом нового художника, с сочностью нового художества осветил случай изнутри. Все же следует заметить, что в Библии не рассказываются «подряд» всякие «случайности», какие происходили, бывали; в Библии за прямым рассказом есть и намерение. Почему-то у Лотовых дочерей так-таки «никого и не было вокруг», чтобы с ними совокупиться; сколько ни поезжай — никого нет. Но ведь сгорели только два города, а страна и еще население — остались. Затем дочери напоят вином отца. Через все это на ложе отца и дочерей как бы наброшен полог, через который в подробностях нельзя ничего рассмотреть; израильтянам дано прочесть, — но одуряющего запаха не дано втянуть. «Имя есть, а лица не видим». Гоголь показал лицо. Показал, и ужаснулся; и назвал — «колдун», «колдовство».

— «Только колдун мог такого пожелать. Колдун, а не человек. Преисподняя, а не земля».

20 Колдун и еще Гоголь, который, в отличие от Пушкина, взял и начал рисовать такой сюжет.

Так жизненно!

Разительную сторону рассказа составляет разительная его верность, подлинность.

— «Отец! — вскричала Катерина, обняв и поцеловав его, — не будь неумолим, прости Данилу: он не огорчит больше тебя!».

— «Для тебя только, моя дочь, прощаю! — отвечал он, *поцеловав ее и блеснув страшно огами*. Катерина вздрогнула: чуден показался ей поцелуй и страшный блеск очей».

30 Это так неуловимо, этот поцелуй, которым разгневанный отец прощает дочь и зятя: и мелькнувшую в нем чувственность поистине мог знать только тот, кто поцеловал. Кто же еще? Никто не прочтет моего сердца, кроме меня. Гоголь поцеловал ее!

Колдун в подземелье. Проходит Катерина, и он умоляет ее:

«Умилосердися! Поддай милостыню!».

.....

«Дочь! Христа ради! и свирепые волчята не станут рвать свою мать, — дочь, хотя взгляни на преступного отца своего».

Та не слушает и хочет пройти мимо.

40 «Дочь! ради несчастной матери».

Она остановилась.

«Приди принять последнее мое слово... Мне близок конец... Но не казнь меня страшит, а муки на том свете... Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в раю около Бога, а душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь; все сильнее к сильнее будет он разгораться; ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пихнет».

«Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам?» — проговорила она, содрогнувшись от воспоминания о кровосмесительном его зове.

«Катерина, стой, на одно слово: ты можешь спасти мою душу; ты не знаешь еще, как добр и милосерд Бог: слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым»...

В экстазе писанья, Гоголь совсем забыл, кто был апостол Павел: и написал слова, ни в каком смысле к нему не относящиеся. У того был идейный переворот, только в смысле отвержения и признания Лица Христа, а Гоголь приписал ему нравственный переворот, моральную перемену.

«Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул; покаюсь, пойду в пещеры, надену на тело постную власяницу, день и ночь буду молиться Богу; не только скоромного, не возьму рыбы в рот! Не постелю одежды, когда стану спать, и все буду молиться, все молиться! И когда не снимет с меня милосердие Божие хоть сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю, или замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни пития, и умру, а все добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду».

Задумалась Катерина: «Если я и отопру замок, я не смогу расковать твоих цепей».

Но цепи и не существуют для него: это — обыкновенные, рациональные цепи, и их одолевает его «нечистая сила». Но стены — другое дело: в них «святая сила», которая его и держит: «Я бы прошел, моими чарами, и сквозь стены, — но муж твой и не знает, какие они: их строил святой схимник, и никакая нечистая сила не может отсюда вывесть колодника, не отомкнув тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себе, неслыханный грешник, когда выйду на волю».

Тут везде — язык Гоголя, его частный, *лигный* язык, язык его писем, язык его предсмертной «Авторской исповеди», язык его в разговорах с о. Матвеем и в записках к оптинским монахам: между тем как язык Бурульбаша, Катеринина мужа, — вовсе не личный его, гоголевский, язык, а художественная работа, выдумка.

Говорит «колдун» — говорит Гоголь.

Говорят казаки — Гоголь сочиняет.

Наконец, и почти главное, уже «магическое»: Гоголь отмечает, что отец возвращается «из Туретчины» не ранее, чем когда дочь его вышла замуж; пока она девственна, его вовсе к ней не тянет. Припомним еврейскую субботу. Но вот вышла она замуж: теперь от нее пошли половые волны, дошли до «турецкой земли» и задели как-то отцовское существо: «и стал казак как колдун»... Это никому не понятно на европейской почве, это — тайна субботы и нашептываний «Талмуда», тайна еврейской семьи, — что крови перемешиваются в роде, но не при девственности, не с девицами, — а в замужестве, в супружестве... Перемешиваются и завязываются в магические узлы-звездочки, горящие фосфорическим светом отнюдь, отнюдь неизвестным в Европе.

— Это наша святая магия. Это то, что мы одни знаем и никому не расскажем. В субботу скользят, правда «уклоняясь», тени дочерей около отцов, зятьев около матери, даже сыновей около матери, брата около сестры и сестры около брата: как эльфы, в лунном свете. Но суббота рассыпалась — и все рассыпалось. На завтра ничего нет, — и уж особенно христиане ничего этого не видели.

Но Гоголь узнал.

Катерина, верная жена, прекрасная женщина, — богомольная, дедовская. Казачка с красивой косой. Замужем... и волны ее пола вдруг дошли и тронули пол отца. И потянулся старый дед, невольно, магически, не желая, так что конь упирался — на родину, к зятниной избе, где лежит на лежанке Катерина, — на горячей лежанке, вся разопрев и чуть-чуть раскидавшись*.

Ненавидит дом и ходит около него.

Ненавидит обитателей и заходит в него.

Сходится, бьется на саблях с зятем, берется за пистолеты... Зять мешает по-
10 дойти к лежанке. «Чего тебе, дед? Тут моя жена, твоя дочь».

— У, зарублю вас всех! Ребенка, тебя зарублю. Пропустите!..

Это — обычная уголовная хроника. «Не пропускали», — и «не пропускаемый» обычно избивает всякого, кто стоит на дороге. Печальная обыденность наших хроник, внутренне никогда не освещенная...

«Магия! влечет! не могу!».

Суть в том, что самое притяжение это «магично»... И становится «магом», «колдуном», становится, смотря по духу цивилизации, или «черным злодеем», или, напротив, «мудрецом» каждый, попадающий в круг этого притяжения, в область, в «губернию» этого влечения... Когда оно действует? Вообще — никогда;
20 точнее — вообще оно бывает в такой разреженной форме, прозрачной, туманной, как «зорька», что никому не приходит на ум осудить его: это — просто вдруг вспыхивающая нежность родителей к дочери после ее замужества, но, однако же, только после замужества, когда чувство ее действительно возрастает, у всех и всегда, сравнительно с чувством к ней же, как к девушке, до замужества. И только в редчайших случаях, в одном на миллион или на десять миллионов, достигают сгущенности, когда все пятятся и кричат:

— Убиты! такого убить надо!

Или, как сказало у Гоголя:

— «Колдун появился, убирайте детей!»..

Увы, без этого «колдовства», тонких прозрачных форм его, — просто не вы-
30 давали бы дочерей замуж, не женили бы сыновей, — богатые, сытые, которым нет необходимости. Но влекутся... Все влекутся... Всем «сладко», вот как Богу «благоухание жертв». Без разреженной, как бы эфирной формы этой «магии», что половые волны каждого возбуждительно, как «резонатор» или «детонатор», действуют на залежи пола во всем круге родства, и чем ближе — тем сильнее, отчего и родство считается «по степеням» крепче и ближе, «священнее» — без этой магии вообще не было бы радости всей земли о браке, всех народов о супружествах, всех деревень, сел, городов о «плодитесь! множитесь!» детей. Ничего не было бы. Земля бы рассыпалась. Магия эта проходит цементом через всю землю,
40 до глубин ее, — все связывая, объединяя, всю ее связуя «родством». Я «родной»

* У Гоголя перенесено, как «всадник наверху горы» тянет к себе «колдуна»: но это множественная комбинация, переброс куска картины в другое место. Тут таинственно верно, до ужаса, показано только «скакать туда, куда тянет»... И «всадника» можно просто выбросить как придуманный аксессуар — и сохранить лишь страшный реализм в описании «невольности», «рокового»: «колдун» так скакал «день и ночь» не в Карпаты, а в Украину, — к Бурульбашу и Катерине!

только тому, пол коего, пробуждаясь, действует на мой пол возбуждательнее, нежели на пол всякого, третьего, который по этой апатичности и не есть «родной», «родственник». Все это в одних случаях нежнее, в других — хладнокровнее; но мы порицаем «холодных родственников», между тем это есть только полная апатия их пола к полу тех, к кому они холодны. Температура должна останавливаться на каком-то градусе:

— Горячее — сожжет!

— Горячо как пламя: это — колдун! восточные «маги»!

— Но и не нужно же так холодно, как у нас, в Европе, где все холодеет, где никто никому не нужен.

10

«Земля» вмещает только средние температуры... Эта «средняя температура», но гораздо выше нашей — взята у евреев: отчего семья у них несравненно теплее, нежнее нашей. Евреи — магичны, все евреи, и магичны все — от обрезанности, одной и исключительно. У европейцев эта температура взята гораздо ниже еврейской, — и семья у них холодна, вяла, безжизненна. «Как-нибудь и почти не надо». Европейцы — амагичны, «позитивны»: и просто от того, что нет обрезания.

Мать держит мальчика на руках, видит его всего: «будущий муж моих внучек».

Бабушка держит внучку, видит ее всю же: «будет в жену моему сыну».

Эта мысль и волнующее чувство в Европе невозможны. А без этого невозможно настоящее родство, — а лишь его «тень и подобие», почти — имя, звук. «Эти родственники — только к наследству лезут. Да я не дам: отпишу все на богоугодные заведения» — типичная мысль европейца, христианина.

20

Пол имеет *память* в себе; пол имеет в себе *воображение*... Предчувствия, знания, — для которых материальные препятствия не суть препятствия. Если что «проходит через стену», не разрушая ее, — то это *пол*. Между невестою и женихом существует «соответствие» половое; точнее, юноша и девушка и превращаются в «невесту» и «жениха», повинуюсь «соответственности» своей, о которой сказано при самом сотворении жены Адаму: «сотворим, — сказал Бог об Адаме, еще одиноком, — жену, *соответственную* ему». Влюбчивость, возникающая по необъяснимым ни для кого причинам, «непременно между двумя такими-то», абсолютно никому не нравящимися, кроме их самих, друг другу, возникает как влечение друг к другу «соответственных» органов, мистически соответственных, но также затем и физически, физиологически, анатомически, эстетически, всячески: между тем, они никогда этих органов не видели друг у друга. Несмотря на все мотивы «перестать любить», на опасность любви, вред ее, невозможность ее, несмотря на очевидность и доказанность «дурного нрава» другой стороны, из которого может проистечь лишь несчастная жизнь в супружестве, — «соответственная» невеста все-таки идет за женихом в церковь: как жертва и обреченная. Что это такое? Встречая всякую «любовь» — факт такой обыденный, — мы выходим из области рационального, доказуемого, осязаемого, «научного», и вступаем в область иррационального, непонятного, необъяснимого; вступаем в область волшебства и магии, — хотя это так и обыденно! Каждый, влюбляясь, входит в магическую черту, где будут им владеть «силы, ему непонятные, и с которыми он не может бороться»; а «конец любви» знаменует собою только «конец магии» и возврат к рациональному существованию. Во всякой любви бьется зародыш будущего ребенка, — конкретного, этого определенного личика, Ванеч-

30

40

ки, Танечки: но в каком смысле? Ведь их еще нет, они не зародились, не совершилось самого соединения, из которого он мог бы произойти. Но всякий соглашается, что фундаментом брака служит младенец: это даже в законодательства входит, в плоскую работу чиновников; каким образом «входит»? Не юридически, не логически, но как живое существо, как туман крови, как «личико ангела», — и могущественно направляет к соединению людей, зажигает любовь в них. Будущее, «то, что будет через два года», — осязательно берет за руки юношу и девушку и вводит их в церковь, переводит через нее как через порог, чтобы уложить в постель, где открывается «соответственность». Явно, что преград, стен, как равно времен, годов не существует для пола: он — миг и вечность; в его миге — вечность; он — будущее и прошлое; наконец, он лучится на огромные пространства: он водит людей, приводит жениха «в дом родителей его невесты», иногда в другом городе, в другой стране: это — странные случаи, когда «поехавший по торгу» молодой человек — вдруг возвращается женатым.

Неизъяснимое блаженство слияния — из коих первое есть вполне священный момент — показывает, до чего много было к нему предустановлено, предуготовано, какие запасы идеальных даров и сокровищ с одной и с другой стороны были накоплены и задерживались до этого мига, чтобы передаться взаимно, сцепиться и переплестись и родиться во что-то в нем новое! В совокуплении — *рождается* человек: не младенец будущий, а вот сами они, отныне «муж» и «жена». Встав от совокупления, ни прежняя девушка — уже не та, ни прежний юноша — уже не тот. Старое умерло; умер в них «ветхий человек», и родился совершенно новый, с новыми талантами, новой волею, новым сердцем. Совокупление — рождение, самих совокупившихся — рождение. Всю жизнь будет помниться этот момент: это — перелом судьбы, характера, внутреннего просветления, всего. Школа, университет, прочитанные книги, товарищество товарищей и дружба друзей — задвигается им как старая туманность новою реальностью! Такой момент вполне магичен. Всякое совокупление — магично: и совокупающиеся на миг его становятся магами, не зная об этом сами, с властью магического в себе, со сладостью магического, с магическим мироощущением и мироотношением. И потом след этого магизма остается на них, и возобновляется (не с таким потрясающим характером, как при первом совокуплении) в каждом новом совокуплении: помолодев через него жизненно, биологически — супруги вдруг духовно в нем состарились, приблизились к «дедовскому», к «лесному старому деду», о котором рассказывают мифы. Все замечают, что как бы ни были молоды летами муж и жена, они в психологии своей несут что-то более старое, зрелое, опытное, нежели пожилые холостяки и девы. «Первое совокупление — первый седой волос в голову» — так можно формулировать это духовно, аллегорически. Дух страшно расширяется, — открываются новые горизонты; но это зрение — не из книг, не из размышления, не эмпирическое, а мистическое и магического оттенка.

Совокупления (в супружестве) повторяются: и рождается в обоих одна душа; одна и не одна; в каждом лице (муж, жена) — своя душа, но уже не свободная, а зависимая от души другого, зависимая в счастье от нее, зависящая в страдании от нее. Две души сцепились в один организм: больна одна — больна и другая, здорова одна — здорова и другая. Цела одна — есть другая; разбилась одна — умерла другая. Новый брак — всегда есть третье рождение; расторжение предыдущего — всегда есть крушение старой, общей души, — как крушение аэроплана,

разрыв оболочки воздушного шара. Расторжению всегда предшествует это «крушение общей души»: его нельзя ни починить, ни поправить. Но возвратимся к «пока счастливо текущему супружеству»: образуется такой параллелизм жизни двух душ, что муж и жена совершенно теряют нужду речей между собою, и, как все знают, ничего нет реже, как встретить мужа и жену, «оживленно разговаривающих между собою». Даже это было бы смешно, как любопытство о содержании своих карманов, или как чтение автором собственной книги. Совокупление — и разговор, и чтение... Совокупляясь, они передают один другому душу: а ведь в душе — и речи, и все. Передана мне душа: зачем я буду спрашивать речей? В совокуплении мне передана воля, мысль; «все» передано: зачем мне подробности? Супружество безмолвно (библейское супружество, лучшее, никогда не развертывается в речи) и тепло.

Образуется параллелизм душ, параллельный, зависимый их полет: вот отчето в супружестве невозможен обман, а где он есть — не было супружества, не «устроилось» оно, если даже и есть или, лучше сказать, «бывают» вялые, безлюбовные совокупления («коммерческий брак» у христиан). Но, в общем, через длящиеся, повторяющиеся совокупления этот параллелизм устанавливается: и становится невозможным сокрытие душевной жизни которым-нибудь супругом, если бы он начал или захотел отделяться «от другого». Он воображает, что его шаги скрыты, потому что «документы» спрятаны, «доказательств» нет и вся видимость сохранена в прежнем виде: напрасные надежды! В тревожном сердце другого, в тоске его, «убитом» его сердце отражена вся потаенная драма другого: и только ненавистен адрес и имя другого скрываемого лица, становящегося на его месте. Все измены начинаются с надежды «скрыть»: тщетные надежды! Они могли бы осуществиться, если б тут не было магии, если б все не проходило «сквозь щели». Библейский брак от того и остановился так твердо, без колебаний, на многоженстве, что если б он избрал моногамический путь, дал право жене требовать моногамичности от мужа, то этим он тотчас загнал бы мужей в страх, сокрытие и попытки лукавства, т. е. испортил бы всю ткань брака, как бы плетя ее из гнилых, «не держащихся» нитей. Рану надо было открыть сейчас же и всю, не скрывая ее от жен: дабы поранение это было одно, не расползаясь в разветвлении «рака». Вот рана женщины, врожденная, от века, от сотворения Адама; в муже ей дан сеятель потомства, естественно имеющий в себе закон засеивания наибольшего поля, наибольшего числа полей. Муж — рассеяние, жена — сосредоточенность; одному дано «плодиться, множиться», другой — сохранение плода, верность зерну, в нее положенному. Единообразие — кроме исключений, имеющих объяснение — также врождено женщине, как многоженность — и опять кроме объяснимых исключений — врождена мужчине, и есть в нем не слабость, а «другой закон». С первого же слова, чтобы не допустить сюда обмана, Библия и утвердила многоженность: но эту одну рану приняв, как и крест мук при родах, женщина избавлялась уже Самим Богом от других ран, и вообще ей предоставлены покой, ухаживание, постоянная нежность от мужа, величайшая от него деликатность, даже покорность ее воле (Авраам в отношении Сарры, Исаак в отношении Ревекки, да и Иаков послушен каждой из жен)... Полигамная жена естественно должна быть царица, увенчиваемая мужем за согласие на полигамность. Ей все отдается за эту одну рану: муж же должен трудиться и быть в некотором рабстве, как рудокоп в шахте, за одну полученную им привилегию — быть

полигамным. Это — космологические законы, отнюдь не индивидуальные. Каждая ямка, с зерном в себе — тепла этим одним зерном, греет его, получает в нем смысл, имеет в нем назначение; но сеятель, держа зерна в пригоршне, — помолвившись на Восток — со всею силою разбрасывает их по полю кругом... «Где что вырастет — все Божие». Это — закон: и ничто его не может нарушить. Все-таки страдальческий закон для женщин — этого мы не должны забывать.

10 Садовник, осматривая сад, полный крепких и слабых, старых и молодых, сладких и горьких деревьев, соображает что-то: и, взяв кривой, садовый нож, подходит к одному дереву; и, вынимая из тела его «глазок», — идет к другому дереву, топором расщепливает его тело и вкладывает вынутый из другого дерева «глазок» в образовавшееся расщепление, и затем рану залепляет воском. После этого совершается чудо: соки дерева, положим горького или дикого, поднявшись от корня к вложенному «глазку», получают от него, живого и имеющего соки, да вообще имеющего какую-то тайну в себе — эту его консистенцию, его сущность: и всю массу свою преобразуются от «глазка» и идут дальше, к ветвям и цветам дерева, к плодам его — как совершенно новое существо, как сок не этого дерева, а того, другого, откуда взят «глазок».

«Глазок» победил все дерево. «Глазок» — муж, семя мужа.

Принявшее его дерево — жена.

20 Прививка — супружество. Всякое супружество есть прививка. Но от одного дерева можно взять много «глазков» и привить их разным деревьям, которые все примут в себя консистенцию «мужа своего», дерева, откуда взяты «глазки». Но порознь в каждое дерево нельзя привить много глазков от разных деревьев: получится чепуха, ничего не получится. Получится ботаническая «проституция». Для женщины нет высшего закона, как верность «одному глазку»: точнее — это единственный для нее закон. Чем вернее «женино дерево» сохраняет единую-утробность принятому «глазку», тем оно расцветает пышнее, красивее. В верности семени женщина сберегает себя: добродетель свою, красоту свою.

30 Но «добродетель» мужа — множиться, преобразовывать все, весь сад по закону своему.

Это основная коллизия, драма брака, от «оснований» земли положенная: от которой много черных капель падает из пораненных стволов на темную землю. Но земля остается к ним равнодушна. Ей нужно «цвести»...

Закон!

40 Вследствие подробностей, которые легко представит каждый, — принявшее «глазок» дерево остается верно ему, и страшно все преобразуется именно оттого, что «глазок» остается в нем, «сидит», отсюда не «уходит»: и выбросить его никак не может дерево. Как ухаживает жених за невестой, самец за самкою во всей природе: девушки же и самки никуда не торопятся и остаются пассивны. Нет большего «раба», чем жених... Девушка, даже при любви и желании замужества, не торопит день соединения: оттого, что она инстинктивно чувствует величайшее смятение перед совокуплением! Она в нем «отдает себя» другому, буквально отдает: вспомним «прививку», — и мы поймем тоску дерева, в котором отныне потекут не его соки, а другие! Первое совокупление для девушки есть отдача своей воли: не своих желаний или «текущего», но воли в коренном, внутреннем смысле! «Се раба твоя»... С первым же совокуплением она вступает в рабство, в превознесение и унижение, превознесение внешнее, общественное, и унижение

внутреннее, органическое. Чужая воля, через семя, вошла в нее, чужой закон, чужая натура, которая истребляет все прежнее «девичье», истребляет «отцовское-матернее», делая ее только «мужнею». Это вполне странный акт. За него, за великое самоотвержение в нем всякая девушка в первые сутки брака должна быть увенчана и прославлена общиной, городом, государством, церковью.

Напротив, муж в нем не «теряет себя» (как девушка буквально «теряет», «потеряла свое девство», «девичью судьбу» свою, всю себя за 17 лет, «отреклась от отца и матери»). Муж в первом совокуплении омывается, очищается (как евреи в «микве»), освобождается от пороков, греха, грязи и легкомыслия предшествующей жизни: но омыться — далеко не то, что принять «прививку». Через под-¹⁰робности, о которых не надо говорить, он только смазывается, помазуется: длительность этого день, два, неделя, — но не больше. От этого он вовсе не в такой же мере «укрепляется за женою», как «жена укрепляется за мужем»: и закон моноандрии за одною, как и полигамии — за другим, также предустановлен в этом существе дела, которого никому не изменить! Но мы возвращаемся к первому моменту: девушка уклоняется, женщина — откладывает, но вот все «совершилось»: отношение рабства и господства вдруг переменяется; мужчина сделался «господином», жена «рабою» его. Отношение совершенно противоположное жениховско-невестиному.

«Принявшее прививку» входит в рабскую зависимость от «глазка», и через²⁰ него — в отношении того дерева, откуда происходит «глазок»... Теперь все в женщине и весь дом ее начинает служить ему. Поразительно, до чего в нормальных случаях, когда муж переходит в дом жены («оставит муж отца и мать и прилепится к жене своей»), а не обратно, — весь старый и широкий дом молодой женщины начинает «служить» еще неопытному и неразумному юноше, служить с любовью, влюбленно... Это и есть настоящее «родство», как зависимость кровей, детонация или резонанция кровей: образуется, в тени и тайне, в безмолвии и безмолвных восторгах, настоящее «несение fallus'a», как в языческих древних процессиях, где было все открыто, теперь же все это скрылось в мрак ночей и немоты, но продолжается без всякой перемены, как «закон родства». Все — для³⁰ юноши, все — в жертву ему; привычки дома изменяются для него, изменяются «убеждения», порываются одни традиции, завязываются другие. Посмотрите, как нежны к нему становятся сестры молодой женщины: они все «детонируют» его полу и, собственно, начинают течь параллельно полу замужней сестры, лишь не дотекая, лишь отставая, «пробираясь сторонкой». Пол замужней женщины увлекает в поток свой, вслед себя пол всего круга родства, — захватывая не только женскую половину его, но и мужскую: здесь-то и коренится тот «уранизм в старости», которого так не понял Шопенгауэр; на самом деле это вообще «пробуждающееся чувство тестя», являющееся, конечно, и у холостых в типичный «возраст тестя». Он совершенно параллелен и един с чувством жен их, стариц:⁴⁰ это — совершенно другое, чем было раньше, отношение к мужскому телу и его виду, нежное взамен гадливого, влекущееся взамен отталкивательного, внимательное взамен пренебрежительного. Кровь дочери резонирует в кровь отца: как только она начала совокупляться, отец становится «старцем Платоном», тенью его, образом его, в отношении к фебообразному Федру. Всякий молодой муж — Федр, «страшный мальчик», которого все боятся и все ему служат; а старость

принимает в кровь свою «великую философию Платона». Вот существо дела, а не те глупости, которые о нем написал Шопенгауэр.

Теперь, «детонируя», весь «дом» в его сложности хотел бы совокупляться: но исполняет это, кто может! И у всех, кто может, это в высшей степени благословлено. Обратите внимание, как нередко в случаях уже давно остановившегося чадородия, — с замужеством дочери у родителей самих рождается ребенок! Вид первой беременности дочери, ожидание первой беременности и, точнее и вернее, чувство первых ее совокуплений, «передающееся через толстые стены», даже через пространство губерний (если она вышла «на чужую сторону») — пробуждает и молодит силы старых: а уже «благословение» готово на небесах, и совокупления не остаются бесплодными. Суть «родства», — что оно двигает соки во всем «древо жизни»: «прививка» переменяет «судьбу одной», но двигает и все соседние деревья, поднимая в них соки весенним током. Все молодеет, все «как будто в мае», хотя для других настал давно сентябрь. Обычное явление, что год на семнадцатый, иногда на 12-й супружества половая связь у родителей распадается, тупеет, холодеет: но брак детей входит острым началом в них и снова завязывает умершую было связь. Брак детей — «воскресение» для родителей: они опять начинают «жить», и это благословлено, слишком благословлено. Самый «дом», его «сложное», его «целое» получает высокую художественную красоту, не говоря уже о нравственной, когда мать и дочь обе несут беременный живот, обыкновенно мать несколько отставая, как увлеченная вслед дочернего потока. Роды матери на месяц, на 1¹/₂ бывают позднее дочернего: это — взрыв страсти в ней, «непременная моя беременность», как только обозначилась и стала несомненною беременность дочери (внутренние, домашние признаки).

Мы сейчас подойдем к теме Гоголя: это обычное, будничное явление, что при замужестве дочери, если ее отец холост — он женится на девушке, *ни в каком случае не старше*, чем выходящая замуж его дочь; если же бывает, что он отстает и несколько позднее женится, то берет жену себе моложе своей дочери и именно тех самых лет, когда выходила замуж его дочь. Что все это «гармонизовано и с другой стороны», можно видеть из той охоты и вообще готовности, полной и искренней, с которою молодые девушки, очень иногда красивые и богатые, становятся женами «отцов своих подруг». Подозрительный христианский глаз усматривает здесь худое, корысть девушек, распущенность старцев: к счастью, случаи замужества именно богатых и красивых устраняют здесь всякое сомнение о подлинной чистоте и безукорности явления. Это — закон, а не прихоть; тут «древо жизни», а не что-нибудь произвольное. Но обратим внимание на возраст невесты: никогда-то, никогда он не бывает зрелее возраста выходящей замуж дочери! Никогда в 30 лет девушка не выйдет замуж за такого старца; никогда, хоть «сошлите». Нет «соответствия», мистического и магического. Выходят от 17-ти до 21, и самое позднее 26-ти лет: сверстницы, «погодки» с дочерью. Поразительно, что и с девичьей стороны пробуждается это «соответствие»: у женищегося же старца это всегда бывает «легкий розовый туман» той тайны и магии, которую в сгущенном виде, чрезвычайно редко бывающем, рассказал Гоголь в «Страшной мести».

«Мне, однако же, страшно оставаться одной, — говорит Катерина мужу. — Меня сон так и клонит: что, если приснится то же самое? Я даже не уверена, точно ли то сон был»...

Был не сон, а «быль»... Катерина засыпает... Муж ее садится за бумаги, — по войсковой канцелярии: «один глаз смотрит на бумагу, а другой — на Днепр».

Показалась лодочка на Днепре... «Пан-отец»... направляется куда-то: куда, еще не знает казак, но лодочка подплывает к глухому месту, где стоит окруженный легендами и страхом замок колдуна. Однако Бурульбашу и на ум не приходит, что колдун и тесть его — одно лицо.

Во всем, что передает Гоголь о «колдовстве», нас поражает... не то, чтобы «реализм» его, а *верность делу*, точное знание вещей, уверенное и спокойное. В сказку, — полудетского и фантастического характера, — написанную Гоголем в обычных тонах его притворной шутливости и чрезмерного преувеличения, как бы ¹⁰ врезан, инкрустирован рассказ о некотором деле, событии, «бывальщине» («что бывает»), который он не мог в подробностях передачи заимствовать ни из легенд, ни из деревенских рассказов, ни из чтения, а только из какого-то странного и чудовищного своего внутреннего ведения.

«Бурульбашу почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко»...

Это — когда «колдун» только еще собирается ехать в него, только еще «думает думать» посетить свое жилище.

Но вот лодка его на Днепре: «Верхнее окошко тихо засветилось».

Это — та «телепатия», тот «параллелизм» вещей, феноменов, течений, событий, — то их «созвучие через далекое», о котором мы выше говорили, как о ²⁰ постоянном признаке всех половых явлений, в то же время явлений магических. «Колдун» думает, «гнездо» его знает; он «направляется» сюда, «гнездо» его уже приветствует, зовет. Здесь нет неживого; здесь все живо, и вещи, и здания, и утварь. Как живы? Чем живы? Но пол и акт половой не преобразует ли мертвые частицы, химические продукты в живое существо? «Взял *землю* и сотворил *теловека*», «из *кислорода, азота, фосфора, извести* образуется зародыш младенца». Где пол — нет смерти, и нет механического, материального. «Замок» жив и есть такое же живое, кровосмесительное существо, как и «колдун»: он — «утроба», где происходит кровосмешение, точно «играющая» навстречу кровосмесителю... Гоголь удивительно это передал через эти «засветившиеся» окошки. Откуда он ³⁰ знал это??!

Бурульбаш, с верным казачком Стецко, решается выследить тестя. Выходят из дому, крадутся, приблизились к замку. «Нельзя заглянуть в окно»... Но он заметил дерево, стоящее перед окнами, и мигом взлез на него.

«Уцепился он за дерево руками и глядит.

В комнате и свечи нет, а светит. По стенам гудные знаки; висит оружие, но все странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский».

Далеко от нас, далеко! Далеко от наших «былей»... Это — за чертою христианства; до христианства, *в стороне* от него... Это, если взять наше «теперь», что-то ⁴⁰ «антихристово», т. е. разрушающее все дело Христово на земле, весь завет Его, все слово Его... Гоголь, довольно неумело, выразил это через «чужое, странное, не *теперешнее* оружие, развешанное на стенах». Говорить о «паспорте», когда «по роже» видно.

«Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрипа дверь; входит кто-то

в красном жупане и прямо к столу, покрытому белою скатертью. „Это он, это теть“, прошептал казак и спустился ниже.

Но тестю некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет. Он пришел пасмурен, не в духе, — сдернул со стола скатерть — и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет: только несмешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно к голубом море, и *тянулись слоями, будто на мраморе*. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы.

Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана; ¹⁰ вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянул в лицо — и лицо стало переменяться; нос вытянулся и повиснул над губами, рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула. „Правдив сон твой“, — подумал Бурульбаш.

Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потух. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем ²⁰ углам и вдруг пропал, и настала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька... но вместо образов выглядывают страшные лица; на лежанке... но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять ³⁰ стоит колдун в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты, и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина, только из чего она — из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет и мелькают на стене знаки? Вот она как-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо льется едва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют... «Ах! это Катерина!». Тут почувствовал Данило, что члены у него сковались; он силился говорить, но губы ⁴⁰ шевелились без звука.

Неподвижно стоял колдун на своем месте. — Где ты была? — спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала.

— О, зачем ты меня вызвал? — тихо простонала она. — Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня моя добрая мать! Какая любовь

у нее в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу... Отец...

— Где теперь пани твоя? — перебил ее колдун.

— Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать; мне вдруг сделалось пятнадцать лет; я вся стала легка как птица. Зачем ты меня вызвал?

— Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера? — спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать.

— Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это. Бедная Катерина! Она многого не знает из того, что знает душа ее...

«Это — Катерина душа», — подумал пан Данило; но все еще не смел пошевелиться.

.....

— Я поставлю на своем, — грозно сказал ей отец: — я заставлю тебя делать, что мне хочется. Катерина полюбит меня!..

— О, ты — чудовище, а не отец мой! — простонала она, — нет, не будет по твоему! Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу мою и мучить ее; но Один только Бог может заставить ее делать то, что Ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколь я буду держаться в ее теле, не решится на это богопротивное дело! Отец, близок страшный суд! Если бы ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил изменить моему любому, верному мужу; если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что Бог не любит клятвопреступных и неверных душ!

Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и неподвижно остановилась...

— Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? — закричал колдун.

Воздушная Катерина задрожала; но уже пан Данило был давно на земле...».

Вполне магическая страница... Всякий, кроме Гоголя, остановившийся на сюжете этом, передал бы осязаемую его сторону: «поймал» бы отца и Катерину в коридоре, на кухне, в спальне, хорошо прижав коленом, запротоколировал все с «реальными подробностями», как поступают в консисториях при выслушивании подобных «дел». «Где лежала юбка и куда были поворочены ноги». Так, между прочим, пишет в одной пьесе и глубокомысленный Ф. Сологуб: «отец сказал то-то, дочь ответила так-то», и затем занавес и многоточие. Да, собственно, что же иначе и написать *обыкновенному геловеку!* Даже мудрому, но обыкновенному?

Необыкновенность Гоголя, *гудодейственность* его выразилась в том, что он написал совершенно другое!! Но именно то, что по-настоящему следовало: он выразил самую сущность кровосмешения, «родного союза», неестественного смешивания кровей, в самой природе никогда не смешивающихся, имеющих неодолимое отталкивание, отвращение к смешиванию между собою.

Что «одолевает природу» — это магия. Что такое «магия», что такое «маг»? Тот, кто «повелевает стихиям». Стихии текут «так-то», вековечно, «Гольфштремом»; как «Господь Бог положил» и стоит с «оснований земли». Люди, зная на это мирное течение, никогда невозмущаемое, остаются спокойными, как

взирая на восход солнца постоянно с востока и на заход его постоянно на западе. Но вдруг солнце, скрывшись за западным горизонтом, этак часа через два вдруг полезло бы на небо оттуда же опять назад. «Солнце пятится назад». Хотя пока ничего вредного не произошло, но люди от страха с ума бы сошли. «Ничего вредного: а так страшно, так ужасно, что кровь леденеет». Отчего?

— Покачнулись столбы земли.

Вековечно, вот как восход и заход солнца, отцам «в голову не приходит» пол собственного дитяти: «не ударяет в голову» с этим оттенком тяготения, как ударяет вообще всем окружающим. Отец знает о поле дочери с тем равнодушием, как мы знаем о Буэнос-Айресе, т. е. «есть» ли, «нет» ли, *моего пола* не касается. Это — мертвое знание, равнодушное, пассивное. Так вообще и всемирно: кроме одного случая или, вернее, момента в жизни дочерей, также и в жизни их отцов, когда дочери становятся замужними. Тут в недрах отцовских «шевелинется» что-то, — не более, — скрытно, туманно. «Что-то», и — многоточие. На это, вообще, не обращалось внимания; явление, что отцы в эту пору тоже почему-то или начинают опять рождать со старыми женами, или женятся на девушках, возраста *непрерывно догернего* — не обращалось внимания; принималось за «проказы старости», «папашину дурь», и исчезало в легких шутках толпы и улицы. Но дело в том, что солнышко, «запав за горизонт», под горизонтом вообще и всемирно ²⁰ «делает петлю», и пытается опять «взойти с запада», но до черты не доходит, кровавым лучом своим не показывается, и, немного поволновавшись, продолжает смиренно под землей «Господень путь», чтобы назавтра опять, «нормально и по-Божьи», взойти с Востока...

Кроме $\frac{1}{1000}$ или, вернее, $\frac{1}{10\,000}$ или даже $\frac{1}{100\,000}$, когда оно вдруг показывается с Запада!

— С нами крестная сила! — восклицает православный люд.

— *Fater unser!* * — читают лютеране.

Католики тоже что-то говорят. Кроме одних евреев, которые шепчут:

³⁰ — Это наша история Лота и дочерей его. Нам это не запрещено читать даже в синагогах, как лист Священного Писания. Наше *внимание* на это *обращено*.

— Но ведь за то вы и жида, Христа распяли...

Магическую сторону в рассказе Гоголя составляет самая техника ее; мелочи, подробности рассказа.

— «Для чего, — говорит колдуну-тестю Бурульбаш, — ты не любишь свинины: — одни турки и жида не едят свинины?»

Еще суровее нахмурился отец.

Только одну лемишку с молоком и ел старый отец, и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него за пазухой, какую-то черную воду».

⁴⁰ Слово «жид» мелькнуло в рассказе Гоголя: единственное слово, которое и нужно было упомянуть, но непременно нужно...

Это — «жидовское начало»... Кровосмешение — «жидовское начало...». И столь противоположное христианскому, что кто его творит — хуже убийцы, изверга, этих совершителей рациональных преступлений, ибо он совершает нерациональное, иррациональное преступление, от которого стынет кровь!

* Отче наш! (нем.)

Неумело или вообще ненужно Гоголь приписал поэтому «колдуну» всякие преступления, «зарезал жену» (мать Катерины) и проч. Это — бутафория. «Последний в роде Петро будет самый ужасный злодей». Такова была тема рассказа, содержащаяся в самой завязке его, в проклятии убитым братом убийцы-брата и потомства его. Но Гоголь, нагромоздив «злодейств» на последнего потомка, все злодеяния увенчал собственно безболезненным, утилитарно-безвредным... кровосмешением с дочерью! Но поразительно, что, поставив эту вершину на целую гору преступлений, он...

Вдруг зарисовал комнату с голубым, розовым, золотым светом, тянущимся нитями, «как жилки в мраморе...» и в центре ее поставил мага-кровосмесителя, «колдуна» по просторечию и собственному испугу, или части испуга: ибо удивительный рисунок его показывает, что, кроме простонародного испуга, в нем за-светилось какое-то другое любопытство, открылось другое и новое видение, совершенно точное, заставившее поместить случай туда, куда следовало: на Восток! в глубь Ассирии, Египта, Персии, древних магов!

«Показались страшные рожи на стенах», «где были иконы у Катерины в спальне, выглядывали ужасные лица...».

Вероятно, с коровьими головами при человеческом туловище, с головой кошки, с головой птицы: да это — египетский храм! Написание Гоголя не оставляет сомнения, что никакой научной подготовки к рассказу он не делал, и что ни малейшего сближения и уподобления он и своей мысли не держал. Если бы это было — все было бы в его рассказе не интересно: интересное в том, что он писал вдохновенно и малороссийски-народно, но без ведома своего, дивным гением или атавизмом своим перенесся в центральные таинства Египта, Ассирии и Ирана, и даже... просто разгадал эти таинства!..

В «переливах света» в комнате колдуна, во время его «волхования», — меня много лет назад поразила мысль: что ведь если дело идет о «кровосмешении», то эти смешивающиеся и не смешивающиеся волны, полосы света, вливающиеся друг в друга, и вместе враждебные слиянию — в сущности удивительно передают уже самое кровосмешение... Колдун «волхует»: и в комнате начинается... кровосмешение, но в какой-то звездно-небесной форме... Как «последний чекан» гения названы «тянущиеся нити», тянущиеся в голубом свете: брезжется, недоказуемо, но как-то угадывается, что голубой свет — душа Катерины, розовый — кровь ее, эти золотые нити, в нее проникающие, — отцовское начало, его семенные нити. И «появляется сама Катерина», потому что как же ей не появиться: где совокупление — там уже и тело! И за телом — душа!.. Между тем она и спит, продолжает спать в своей хате: так же истинно одно, как реально и другое! Отец ее позвал фактическим зовом, — тем, что она из него же вышла, через ее мать; позвал, как власть зовет подчиненное, генетически, мистически подчиненное. Она так же не может ему противиться, как зерно — дереву, из которого выросло. Отец мистически и внеременно ввел ее в утробу матери, — откуда и происходит видение матери, о котором она лепечет, — и затем слил ее душу, из семени его вышедшую, с самым семенем, и, как свое семя, потребовал к себе, потребовал ее душу, «всю трепещущую страхом». Таким образом, он «обратил вспять всю природу», и суть магии или сила магии его состоит или происходит от умения «вернуть времена» к началу или исходу... Дочь — совершенно в его власти: как его семя в тот миг, когда она была зачата. «Душа»... что такое «душа»? «Когда» она, — *теперь*

ли или *вечно!* Где «настоящее» души? Стрелка часов на стене ничего не значит для «души»: она — вечно. Колдун и берет это «вечное» души, берет душу в ее вечном существе, в ее вечной мысли, но ухватывает ее в момент «зачатия», срезает с корня, под корнем — и цветок берет к себе, как свое создание, как свою волю, как эманацию своих сил, своей натуры. Как бы ни противилась его дочь ему морально, — она «натурально» не имеет никакой опоры, чтобы сопротивляться ему. И он твердо говорит: «Катерина будет моею». Но чего еще он хочет? Тела той Катерины, земной, в земных условиях и обстановке: что же такое «замок» его и вся фантазмагория? Так сказать — небесное основание земных вещей. Чтобы достигнуть «земного совокупления», отец «волхвованием» своим достигает этого звездного, астрального «совокупления»... с туманом, эфиром, кровью, «душой»: ну, как вы назовете и определите «душу»? Есть «душа» и есть «воображение»: что такое «душа» в отношении «воображения» и обратно? Для «души» уже мало границ, а «воображение» и совсем их не имеет. Но свет — *розовый*: ум Гоголя заключается в том, что он не отделил «душу» от «крови», и рассказал, что с зовом «души» позвана и явилась и «кровь», как туман, что ли? Ведь и кровь есть земная и звездная. Египтяне чертили в храмах голубое небо, на нем — золотые звезды: но, противно тому, что показывает небо и зрение неба глазом — они поместили внутрь каждой звездочки каплю крови. «Небеса — полнокровны». Вот мысль египтян, повторенная Гоголем. Колдун, овладев душой Катерины, — зажигает в крови ее нечистое желание к себе.

— Катерина полюбит меня! Это — будет! — кричит он. Трепетная душа дочери слишком знает, что это «будет». «Кровь захочет»: а небесный туман крови уже задет.

Как?

Светы переливаются, со странным звоном: — и «как жилы мрамора» — нити отцовской натуры уже вошли в розовый свет дочерней крови, в голубой свет души ее. Отец уже «привился» к дочери: и ей совершенно нечего сделать с этой прививкой, она не может ее выкинуть из себя, как и ствол дерева не может выкинуть тот «черенок», который садовник врезал в него. «Нужно покориться»... «Остается покориться». И дочь стонет:

— Какой грех! О, мой любимый муж!..

Заповеди морали — одно: но силы натуры — совершенно другое, корни натуры — совсем иное! Как «черенок выкинуть из ствола» словом? Невозможно! Зажжется «нечистый огонь» в крови, и воля ослабеет, и человек «падет». Так «ходит в мире грех»: и ничего человек так не пугается, ни даже рациональных убийств, как этой иррациональной власти над собой «нечистой силы». Можно думать, что народное выражение «нечистая сила», равная «дьявольской силе», имеет древнюю форму свою другое выражение: «поганая сила», под которым мы уже совершенно ясно в силах разобрать народную мысль и ведение: «фаллическая сила». Прекрасная юная девушка, воспитанная где-нибудь в католическом монастыре и не выдавшая совершенно никогда полного очерка мужчины, не знающая «мужского устройства», — только что вернувшись к родителям, через год или меньше оставляет их, оставляет охотно, чтобы навсегда остаться с молодым человеком, в которого она «влюблена»... Ну, могла бы жить у родителей и оставаться влюбленной. Но она переходит в дом мужа, уезжает с ним в другой город, в другую страну: неправда ли, какое «околдование», какое волшеб-

ство, — и, наконец, не скажем ли мы совершенно, что это — «нечистая сила» в ее громовом проявлении!! Разрываются все самые дорогие и святые связи, священные связи, — под влиянием «к тому, чего никогда не видала» девушка. Разве это не чудо? Разве не мудренее, чем «замок колдуна»? Разве не скажем, что все это «в небесах» и «под землею»? И разве, наконец, гораздо ранее, чем осуществится в земных условиях, в материальной обстановке, кровь в нас не шумит странными шумами, и, расходясь волнами далеко от нашего земного «я», — не входит струями света в далекие существа, или мы сами («пора любви») захватываемся светом чужих, далеких, иногда очень далеких «я» — и садимся на паром, едем «в Сибирь», «в Туркестан» и возвращаемся домой с «подругой юности своей», захваченные ей за тысячи верст, и в сущности и глубже — захваченные уже до своего рождения, именно «в звездах», в «утробах матерей», в фаллическом сложении отцов, где все со всем переплетено, но переплетено не как хаос, а как гармония, как некая пифагорейская «музыка сфер»...

Однако феномены и «чудеса» любви, встреч и сближений, романов и судеб человека, — только верхушки и краевые зорьки «магии». Есть ее ствол, есть ее корень. Магия, вообще вся, всемирная, — гнездится в крови человека, с ее терпким запахом, который есть другая сторона сладкого запаха пола. Человек безумет, приближаясь сюда: но если не испугается и овладеет собою, если станет смотреть и узнавать, он становится «ведуном», «вещуном», знание его страшно расширяется и он приобретает необыкновенную власть над вещами. «Узнал корень вещей» — и «внучата» (рациональные вещи) у него в руках. Это начинает собою обширный круг «колдовского царства», — круг «чар», «очарований», «ворожбы», «обольщений» и проч., и проч. Необъяснимые вражды, как и необъяснимые дружбы, ненавидение и любовь, когда они безотчетны и неодолимы, — все идет сюда, к этому корню. Собственно, магичен весь круг земного существования, все предметы более или менее магичны (как нет вещей без «электричества», положительного или отрицательного), но лишь без нажима не очень явно; явно же и осязательно начинается круг «магии» там, где мы входим в круг вещей тайн крови. Из этих тайн одна, главная — родство. Родство — тайна. Родство — связь индивидуумов, вполне мистическая, вполне магическая, — между собой ничем осязательно, вещественно несоединенных. Разорваны, но — тайно связаны, соединены. Родство расходится кругами, все «дальше» и «дальше». Слабеет, умирает; «дальние родственники», «почти чужие люди». Есть универсальная необходимость, по крайней мере в некоторых точках родства, «поворотных кругов»: где бы родство не охлаждалось, а вновь загоралось, дабы не остыл весь мир, не исчезло из мира родство, не умерла любовь. Эти поворотные круги и образуют случаи кровосмесительства. «Все дальше и дальше» в генерациях, в дальнейших произхождениях, этот закон гаснущего родства вдруг заменяется обратным: «нужно ближнего!», «хочу ближнего!». Малые круги, круги-капельки этого везде допущены; у нас венчают «в пятой степени родства». Кровь чуть-чуть оставливается в законе «все дальше и дальше». Но, кроме маленьких кругов, — есть большие. Какой-то всемирный страх стоит перед ними; особенно у христиан, в цикле холодеющей крови, в цивилизации исчезающего родства. Но в тайны этих поворотов, очевидно, проникли древние маги, эпиграфом из сообщения о которых я начал разбор страницы у Гоголя. Кровь вообще фаллична, и родство,

конечно, все фаллично и утробно; с тем вместе кровь священна и родство, по всемирному признанию (в том числе и христиан), — свято. «Соединим родство и семя, — что выйдет?» — вот загадка магов. Что, однако, *могло* выйти? Нужно углубиться в смысл родства. Действительно, по всемирному признанию: родная кровь — священная кровь. Что же совершается? Что совершал маг-кровосмеситель? Есть пахота земли в Тульской губернии, — рациональная, «наша». «Все так обыкновенно». «Нужен хлеб и сеем хлеб». Вот — обыкновенно размножение, «земное дело». Маг для той же цели как бы поднимал плугом почву Палестины (родство — типично священно, всегда, у всех, везде), — и клал зерно в ее святую землю. «Дальше что?». «Что выйдет?». Увеличение священства рождения. У всех магов, решительно, везде в странах допущенного родного брака, — замелькала мысль о некотором «сверхъестественном рождении»; «родится чудо», «и человек и выше человека». Мессианская мысль, встречаемая везде на Востоке, везде примыкает именно к пункту кровосмесительства, в его большом круге, даже наибольшем. «От такого сочетания может родиться только чудо: дитя необыкновенных способностей, не встречающихся у других даров, сил необыкновенных, разума небесного». Родится «маг уже в колыбели», который совершит «необыкновенное». Идея мессианства вышла из таинственных «светлиц» магов, — с светом, льющимся без источника, без «свечи и фонаря»: ибо светоносна самая материя здесь; из светлиц со «страшными рожами по стенам», где «иконообразно» и «богомольно» была выражена вся природа, вся натура и ее корни. Здесь переливались светлы розовые, голубые, золотые. Тянулись животворящие нити, — порхали души, зарождались тела; трепетали дочери, — но не всегда страхом, а, как говорит Ксанф и передает Климент Александрийский, с надеждою чудного рождения, «по взаимному согласию». И тихим звоном сопровождалось волхования: но — музыка, которой гамма навсегда потеряна, и ее узнает тот один, который никому не расскажет услышанного. «Кто знает, тот знает: кто не узнал, тому незачем знать». Но капельки мировой тайны и доселе капают на землю, в глуши лесов, деревень и даже каменных городов, где уже все рационально, обыкновенно и не имеет никаких испуггов.

ЧТО НЕ ПРИНЯТО В СООБРАЖЕНИЕ ПРИ ЗАКРЫТИИ КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ ЛИТЕРАТОРОВ

Закрытие кассы взаимопомощи литераторов и ученых, членами которой состоит почти вся наличная наша литература, грянуло как гром среди ясного дня. Никогда ничего подобного не предполагалось возможным, и только на абсолютном характере массы и было осознано то, что в нее вступали, так сказать, зажмурив глаза, и большинство членов кассы ограничивались взносами, ни разу не бывав на заседаниях и собраниях ее. Я был один раз, лет 12 назад.

В чем она состояла? Собственно, это одно название «касса»: на самом же деле никакого там мешка денежного нет, никакого богатства нет, никакой *наличности* нет, кроме разве небольшой и случайной. Касса литераторов и ученых не капитал, а *обязательство каждого глена по принципу круговой поруки вносить 5 рублей*

в случае смерти какого-либо другого члена. Это является не добротой, а отдачей в долге этих денег всем членам кассы, которые принимают на себя обязательство в случае смерти данного, выдающего взносы члена, также собрать между собою по 5 рублей и выдать эту сумму семейству умершего члена. Вот простая и поистине прекрасная сущность кассы. Это есть система взаимного страхования совокупности «печатных» работников, тружеников литературы и слова, притом главнейше — необеспеченных или мало обеспеченных. Здесь никакого недвижимого капитала (иначе, как случайного) нет; никакого недвижимого управления также нет: капитал — *текущий, собирающийся* при каждой смерти; управление же — это просто счетчики, получающие взносы и выдающие их единовременной суммой семье покойного литератора. Они не «управляют», а только «передают».

Все это придавало кассе в высшей степени воздушный, одухотворенный характер, отчего своим членам она и казалась неуничтожимой, вечною, неповредимой. Она есть только *идея*, и только *обязательство*, и только *долг*: в правовом государстве, т. е. не в лесу и не в пустыне, каким образом от *порядочных людей*, каковыми я считаю собратьев-литераторов, я не *полугу* в момент смерти тех денег, какие заимобразно им давал в течение *четырнадцати лет* (приблизительно), *через постоянные свои взносы*? Вот почему, когда я прочитал в газетах самое заглавие «О закрытии кассы литераторов», то я до того не поверил факту, что не стал далее читать, думая разузнать дело через расспросы и из доверия сведениям написавшего.

«Закреть» кассу значит лишить меня права получить мой долг; но, как бывший служащий государственного контроля, я знаю текст закона, по которому «долговые обязательства по договору почитаются наравне с законом и не могут быть нарушены ничьей властью»... Это сказано в уложении о казенных поставках и подрядах. Да и *само собою разумеется*, что долговых обязательств никто нарушить не может: малейшее колебание в этом отношении нарушило бы весь кредит во всей стране и сразу остановило бы все денежные отношения. Но суть кассы — долг ее, как суммы наличных членов семье каждого члена сейчас имеющего умереть, — за то, что эта семья делала в свою очередь взносы столько-то лет. Здесь просто есть *возврат заимобразно взятых денег*. Каким образом можно его нарушить, «закрыв кассу взаимопомощи литераторов», как бы это была в самом деле какая-то касса, мешок, ящик, а не просто *способ уплаты долга*, форма кредита и покрытия его? Кассу составляют вовсе не «правление» его, а *сами члены* литераторы, рассеянные по всей России, *обязавшиеся* платить семье умершего, и взамен *купившие* право получить такую-то сумму после собственной смерти. Это есть нарушение купли-продажи, — то же, как если бы у человека, купившего каравай хлеба в лавке, вырвали его. Явно, что в благоустроенном государстве этого не может быть, что административная власть, закрывшая кассу взаимопомощи литераторов, не отдавала себе отчета в том, что это есть перерыв кредита, распоряжение: «Не плати долгов», каковое не может быть дано никому, — никакому кредитору и никакому заимодавцу. Касса только из них и состоит. Это до такой степени вне политическое дело, что политика, так сказать, не имеет «электрических проводов» к этому делу, не может его коснуться и совершенно не может «закреть».

Я четырнадцать лет вношу в кассу взаимопомощи литераторов приблизительно по 75 руб. в год: это составит около 1500 руб., *отложенных мною* на слу-

чай моей смерти моим детям, *скопленных мною*. «Закрывать кассу взаимопомощи» — значит отнять у моих детей это мое сбережение, и я не могу себе представить, и никто в свете этого не может представить, чтобы правительство, «пекущееся о детях», как и «охраняющее собственность», сделало это. Явно, что оно приняло какую-то неосторожную меру «не по адресу», во-первых, и незнакомое с существом, с идеей кассы — во-вторых. После смерти моей 1500—1800 должны быть уплачены моим детям по завещанию, в кассе находившемуся, или кассою, продолжающею действовать, или из государственного казначейства, если «обвал кассы взаимопомощи» произошел по недосмотру инженера-чиновника, проводившего около нее несоответственные канавы, в силу коих она рухнула.

¹⁰ *Денежные обязательства*, векселя и проч., продолжают и с преступниками, или их правопреемниками. Преступление всегда есть преступление *лица*, и виновник за него *судится*; но кредит за это ничем не отвечает, и кредит сюда втягиваем быть не может. А Касса есть кредит, и только. Совершенно отвратительно, если правление ее допустило себе делать *неправильные выдачи* из кассы, благотворить, напр., политическим. У нас это распространено для приобретения себе радикальной репутации, и, по лживому, тунеядному характеру русских, обычно относится на чужой счет. «Я радикал: и прошу вас уплатить пять рублей такому-то политическому, пострадавшему при таком-то случае». Радикалу — честь, ²⁰ мне — платеж. Никогда нельзя было предполагать, чтобы такая чепуха делалась в кассе взаимопомощи литераторов и ученых. Если же она делалась, то пусть *кто это делал* за это и будет привлечен к ответственности. Кассе, как взаимному *обязательству между собою литераторов*, просто до этого дела нет, и она должна быть избавлена от *всякого смешивания* себя с такими сборами на политических, очевидно, совершавшимися потихоньку. Ужасно странно: у меня, положим, потихоньку бралось по два рубля в год для каких-то мне неизвестных целей. Вдруг за это через 14 лет правительство сразу отнимает у меня 1500 рублей! Я могу ответить только криком «караул», в первом случае по маленькому поводу, а во втором — по большому поводу, и притом совершенному днем и на *миру*! А если еще ³⁰ тут и «разрушение кассы», то я могу кричать «караул» потому, что меня обидели даже «со взломом». Я пишу совершенно серьезно, и совершенно серьезно говорю, что касса не могла быть закрыта иначе, как с объяснением, кто принимает на себя ее обязательства в отношении семей всех ее наличных членов. «Закрывать кассу» можно было только в смысле «запрещения принимать в дальнейшем новых членов», а не в смысле нарушения купленных уже прав ее действительными членами. Краюшки хлеба не вырывают.

12-летний член кассы взаимопомощи
литераторов и ученых В. Розанов.

БУДУЩЕЕ КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ ЛИТЕРАТОРОВ

⁴⁰ Общественное и личное дело нужно уметь разделять; и личная деликатность указывает нам отодвигаться со своим «я» в сторону, когда мы находимся перед лицом множества людей, так или иначе потерпевших. По поводу закрытия кассы взаимопомощи литераторов я написал статью, в которой высказал самые силь-

ные упреки закрывшей их администрации; но в то время, когда я писал ее, у меня был в душе и упрек правлению кассы, который я удержался высказать. Как ни как, все-таки касса закрыта *при нем*, закрыта *в данный момент*, чего не было и очевидно не было *тени повода* для этого при министрах Сипягине и Плеве и *при другом составе* правления кассы. Несколько сот литераторов, *из которых некоторые сейгас умирают* (взносы на похороны приходилось делать *ежемесячно*) хотя бы и молчали, *уже за отдаленностью от Петербурга*, тем не менее физически не могут удержаться от того, чтобы не иметь в душе некоторого укора по адресу правления. Велик он, мал он, прямой или косвенный, с оговорками или без оговорок, но он *есть*. И если бы правление было более чутко и, позволю думать, более деликатно, оно все силы направило бы к существенной цели: как можно скорее восстановить кассу и продолжать ее функции, *неотложимые даже на месяц*». Повторяю — некоторые теперь умирают; повторяю: в семьях некоторых умирающих *нет ни гроша*. Кто знает бедную писательскую жизнь — знает, что это так. При такой, можно сказать, «зверской» нужде всякий вопрос личного самолюбия должен быть отшвырнут в сторону по простой человечности: и в особенности члены *правления* и вообще *близко стоящие и стоявшие* к этому правлению лица, деятельно посещавшие собрания кассы и знающие положение в ней дел и механизмы закрытия и открытия подобных учреждений, во что бы то ни стало и поступаясь всяким самолюбием, должны сделать то, что я здесь указываю: восстановить кассу, не допускать до перерыва ее функций. Тут должна быть проявлена всяческая гибкость: *ежемесячно* умирают члены кассы, и в помощи семьям их должно все поспешить.

Это простая человечность. Касса есть *опекун* сиротеющих детей и жен; опекун должен рассматривать не ордена на себе, а давать, спешить и помогать.

Этого совершенно не видно. Г. Кузьмин-Караваев (председатель кассы) откуда-то из-за границы прислал величественную реляцию, где изложил, что «ликвидационное (*упраздняющее* кассу) собрание не так скоро сберется», но он вот за границей. Дай Бог ему здоровья. Но пока он там апельсины кушает, по глухой провинции есть пенсионеры кассы, у которых, может быть, и щей нет на столе, нет рубля на лекарства. Председатель кассы есть главный опекун семей ее членов, и можно бы ожидать, что при таком деле, как крушение всей опеки, он прервет свою «заграницу». Но мы, русские, не впечатлительны... Далее, в неподписанной статье человека, очевидно, совершенно посвященного в дела кассы и ход закрытия ее, упомянуто было, что представитель администрации, закрывший кассу, сказал ее депутату, будто «сейчас же может быть образовано совершенно такое же общество, с тем же уставом и функциями, как закрытая касса, но при условии, если членами этой вторичной возобновленной кассы не будет никто из состава лиц при правлении бывшей кассы, начиная с 1906 года». «Само собою, разумеется, — прибавил аноним, — что *никто из уважающих себя литераторов* не примет на себя почина восстановить кассу при наличности подобных условий, тем более, что оно и „неисполнимо“». Далее следовали туманные объяснения, почему «неисполнимо». Будто бы потому, что «бывшие члены правления — полноправные граждане». Но это «никто из уважающих себя литераторов» точно ударило меня по лицу, потому что, пока я читал строки до «уважающих», я радостно подумал: «Да, все спасено! Конечно — *немедленно открыть* кассу». Приятно было видеть, что это мое обрадование связано с каким-то бесчестием:

«Во мне зародилась несчастная мысль, мысль *неуважающего себя литератора*». Но вторым движением было: да почему аноним навязывает нам, семистам членам кассы, мерило литературной порядочности? Неужели мы *без его подсказа* не понимаем, что такое уважение к самому себе? Почему я должен уважать себя «по анониму», а не «по себе» и своему здравому смыслу и своей добпорядочности? Углубляясь в дело, стараясь отыскать корень «недобпорядочности», я нашел, что, должно быть, он лежит в следующем: кто же примет на себя инициативу восстановить кассу на условии, *оскорбительном для гелнов правления кассы с 1906 года?* Тут надо разобраться. На месте г. Кузьмина-Караваева я, немедленно приехав в Россию, *принял бы именно на себя* (Кузьмина-Караваева) все хлопоты по восстановлению кассы, явившись в министерство и заявив, что пожизненно отказываюсь от всякого в ней участия. Так, мне думается, должны бы поступить все члены правления с 1906 г. Согласен безусловно, что они вполне невиновны. Согласен вполне, что в данном случае мы имеем чистейший произвол администрации. Факт есть факт, туча есть туча, дождь есть дождь. При дожде — раскрывай зонтик, не рассуждая. Естественная деликатность непременно меня толкнула бы к полному пожизненному отказу от права быть вторично членом новой кассы, чтобы только спасти от таких-то и таких-то бедствий 700 семей ни в чем неповинных людей. И как бы на меня не смотрел аноним и с ним согласные, именно такой поступок я считал бы проявлением «уважения к себе». Что за особое преимущество быть членом кассы? Ведь это действительно похоронная касса самых бедных, самых нуждающихся литераторов, почти сплошь ее «неудачников», — среди них вкраплено много состоятельных лиц, которые, выбираясь в правление, служат там для филантропии или почета. Но раз касса закрыта и восстановление ее обставлено таким условием, — мотив «филантропии» естественно отпадает, естественно становится на противоположную сторону. Остается мотив «почета». «Видный член кассы», «член правления кассы»... «Известный Иван Иванович»... Но неужели же такие пустяки и лишение таких пустяков можно класть на весы, когда на другой чашке весов лежат... лекарства больных, умирающих литераторов, возможность купить их, невозможность купить их?

Соглашаюсь, что я не выдерживаю требования «уважения к себе». Но уж лучше пусть «не уважаю я сам себя», только бы лекарство-то купили. А «уважениями» можно и потом счестся.

Таково было бы естественное положение дела при «взаимном уважении». Члены кассы (пенсионеры) промолчали бы, члены правления с 1906 г. выступили бы вперед и сказали: «Мы охотно пожизненно отказываемся, пусть только касса, *не нам, а пенсионерам* нужная, функционирует». Мне кажется, так поступив, члены правления остались бы очень и очень «с честью». На самом деле ведь им, конечно, не похоронная пенсия нужна. Но так дело не устроилось, и члены кассы и 700 семей их не могут не сознать в душе, что членам правления судьба их «ни тепла, ни холодна, а так себе». Пожалуй, и тепла, но не очень, не горяча. Отдаленное и отчужденное отношение. Но если так, то, «уважая себя», не получают ли члены кассы тоже права посмотреть на бывшее с 1906 г. правление и его членов тоже этим удаленным взором, при котором интересы их «почета» не принимаются уже в такое горячее внимание? Им это — пустяки. Здесь замешан кровный интерес. Чашка весов, очевидно, склоняется в последнюю сторону. Мне совершенно непостижима точка зрения анонима, и я совершенно не понимаю, почему

«никто уважающий себя не примет инициативы в восстановлении кассы». Личное — должно быть отстранено, общее — выступить вперед; свое «я» должно быть убрано, забота о сотнях старых и частью больных литераторов должна все заглушить.

От одного очень уважаемого во всей России члена правления (прежнего) кассы я получил следующее письмо, с упреками на мою прежнюю статью, очевидно, не лично ему принадлежащими, а какие выслушал от других членов правления: «Члены кассы литераторов, с которыми мне пришлось видеться эти дни, очень сетуют на некоторые выражения в вашей статье о кассе литераторов, которые могут быть истолкованы в крайне нежелательном смысле. Перечитав еще раз эту статью, я, действительно, увидел, что некоторые выражения ее должны быть признаны по меньшей мере неосторожными в устах члена кассы. Вы говорите о благотворении политическим, чего в действительности не было; вы говорите о сборах политических, чего также не было. Касса помогала только своим членам и производила лишь установленные сборы. Никаких секретов ни перед кем она не имела и не имеет. Возмутительная расправа с кассой основана на полицейском *недоразумении*. Неужели же члены кассы сами еще будут подбавлять новые звенья к этим недоразумениям? Очень просил бы вас сделать соответствующую оговорку к вашей статье.

P. S. Если вы удосужились за 12 лет только один раз быть на общем собрании, то, согласитесь, это еще не дает основания предполагать относительно кассы то, что изложено в конце нашей статьи».

Охотно беру назад слова, сказанные мною *предположительно*, а потому едва ли и могшие кого-нибудь задеть. Но мне не нравится все письмо *темою*: *время* ли задаваться тем, «кто кого обидел» или «кому как показались слова». Обидел ли я, обидели ли меня — все это пустяки. Дело — *не дело*. А дело — *помощь*. Письмо показывает, до какой степени психология былых и, может быть, теперешних членов правления не стоит на уровне положения вещей, показывает тот отдаленный и отстраненный взгляд членов правления на 700 «опекаемых» кассой лиц, о котором я говорил выше и который составляет здесь самую грустную сторону дела. На правлении все-таки лежит тот укор, что оно допустило *тьму* повода закрыть кассу, *возможность* предлога сделать это... «Жена Цезаря не должна быть даже *подозреваема*», — этот знаменитый афоризм вполне применим к учреждениям, аналогичным кассе литераторов, за которую цеплялись больные и старые руки. «*Pro domo sua*» должен заметить, что *лигно* я несколько не заинтересован в бытии или небытии кассы, — потому что условия моего труда хорошие и обеспечивающие. Но я пережил года 3—4 «членства», когда, как это ни странно представлять, был очень, чрезвычайно труден даже 5-рублевый взнос, и когда надежда на посмертную выдачу из кассы была единственным моим «имуществом», при большой и прихрамывающей семье. Помня это и зная весь *ужас* (не менее) этого положения, я и говорю так громко и определенно о вторичном открытии кассы, и что перед этою необходимостью все должно быть отброшено в сторону. Что касается полуупрека в непосещении «общих собраний», то вот объяснение: получив как-то повестку об «экстренном, крайне важном, безотлагательном» и т. п. «общем собрании», — я двинулся 2-й раз по адресу, где-то на углу Невского и Морской. Пришел. Мало членов. Ходят взад и вперед. Едят бутерброды и пьют чай. Скучно. Прошел час — еще скучнее. Прошло два часа. Совсем тошно.

Тогда какой-то неизвестный господин, должно быть, секретарь, почти счастливым голосом объявил: «Так-так, господа, достаточного по такому-то параграфу числа членов не собралось, то прошу вас пожаловать в следующий раз, в такую-то пятницу, сюда же». Но так как и «та пятница» могла оказаться такою же, то естественно было мое решение вообще ни на какие «пятницы» не ходить. По крайней мере, 50 человек потеряли по два (не менее) часа! Нужно было *сразу* в назначенный час их распустить, если не собрались в достаточном числе, а *не держать два часа*. Это бессмысленно и грубо. Одно дело пройтись или проехаться неудачно: это только прогулка; и вовсе другое дело проходить 2 часа взад и вперед по комнате!

МЕЖДУ АЗЕФОМ И «ВЕХАМИ»

В истории Азефа мало обратила на себя внимание следующая сторона дела. Первые вожди революции в течение десяти лет вели общее, одно дело с этим человеком, говорили с ним, видели не только его образ, фигуру, но и манеры, движения; слышали голос, тембр голоса, эти грудные или горловые звуки; видели его в гневе и радости, в удаче и неудаче; слышали и видели, как он негодовал или приветствовал... И все время думали, что *он* — то же, что *они*. Как известно, подзрения закрались только тогда, когда были арестованы некоторые лица, о «миссии» которых исключительно *он один знал*: доказательство такое математическое, с помощью простого вычитания, что силу его оценил бы и гимназист 3-го класса. «Азеф один знал о таком-то Иване и его покушении; Ивана арестовали накануне покушения; не Азеф ли выдал?». Это — умозаключение из курса 3-го класса гимназии. Но ранее этого, но кроме этого — решительно не приходило в голову! Но и перед наличностью такого математического доказательства революционеры, — не какие-нибудь, а вожди их, с целою историей за своей спиной, — колебались. Например, Азеф бросился в ресторане на какого-то господина с записною книжкою, о котором «эс-эры», бывшие тут, подумали, не шпион ли это? Они подумали, а Азеф уже бросился с кулаками на этого господина, и его едва оттащили. Он кричал: «Предать *святое дело* революции!».

30 Так убедительно! Он называл революцию «святым делом»: «как же он мог быть провокатором?»

Об этом случае писали в свое время. Не обратили внимания, до какой степени все это замечательно... крайней элементарностью!

Степень законспирированности, т. е. потаенности, укрывательства революции, — чрезвычайна. Когда в «Подпольной России» Кравчинского читаешь о «знаках», какие ставились вокруг конспиративной квартиры, и как по этим знакам сторожевых людей узнавали, что она свободна от надзора и, идя в нее, не нарвешься на западню, — то удивляешься изобретательности и, так сказать, тонкости механизма. «Хитрая машинка». Да, но именно машинка. Все меры предосторожности — механичны, видимы, осязаемы, геометричны и протяженны. Видишь западню и контрзападню. Все это в пределах темы о мышеловке. Мышеловка гениальна. Да, но самая-то *тема* — ловли мышей и убегания от ловли — мизерна, ничтожна, мелка. Просто, это ниже человека. Если бы задать такую

тему поэту или философу, Белинскому, Грановскому, Станкевичу, Киреевскому, задать ее Влад. Соловьёву, — они бы не разрешили ее или устроили бы вместо мышеловки какую-то смешную и неудачную вещь, которую только бросить. Но если бы в комнату, где сидели эти люди, Станкевич, Тургенев, вошел Азеф...

Поэты и философы, художники и сердцеведы посторонились бы от него.

Им не надо было бы *осязательных* доказательств, кто он; чтобы он «кричал» о том-то, махал руками при другой теме. Просто, они «нутром», говоря грубо, а говоря тоньше — музыкальною своею организациею, художественным чутьем неодолимо отвратились бы от него, не вступили бы с ним ни в какое общение, удержались бы звать его в какое бы то ни было общее дело или откровенно говорить при нем, посвящать его в задушевные, тайные свои намерения. ¹⁰

Азеф и Станкевич несовместимы.

Азеф не мог бы войти в близость со Станкевичем.

Чудовищной и ужасной истории с русскою провокациею не могло бы *заявляться*, не могло бы *осуществиться* около людей не только типа, как Станкевич, или Грановский, или как Тургенев, — но и около кого-нибудь из людей типа *любимых* тургеневских героев и героинь. Это замечательно, на это нужно обратить все внимание. То, что «обрубило голову революции», сделало вдруг ее всю бессильною, немощною, привело «к неудаче все ее дела», — никоим путем не могло бы приблизиться и коснуться не только прекрасных седин Тургенева, но и волос неопытной, застенчивой Лизы Калитиной. ²⁰

Лиза Калитина сказала бы: «Нет».

Тургенев сказал бы «нет».

И как Дегаев, так и Азеф никак не подкрались бы к ним, не выслушали бы ни одного их разговора, и им не о чем было бы «донести».

Что же случилось? Какая чудовищная вещь? Как мало на это обращено внимания!

Революционеры сидят в своей изумительной, гениальной «мышеловке». Это их «конспирация» и потаенные квартиры. Как они писали о своих «законспирированных» типографиях — это такая тайна и «неисповедимость», что ни друзья, ³⁰ ни братья и сестры, ни отец и мать, ни сами революционеры, так сказать, на других «постах» стоящие, никогда туда не проникали. «Немой, отрекшийся от мира человек работает там прокламации». Он полон энтузиазма и проч., и проч.

Великая тайна.

В нее входит Азеф.

«Рядового» революционера туда, конечно, не пустят. Но нельзя же отказать в «ревизии» приехавшему из Парижа куда-нибудь на Волгу «товарищу», который имеет пароль члена центрального комитета. Все им руководится. Как же от руководителя что-нибудь скрыть?

С потаенными знаками, в безвестной глухой квартире собираются товарищи, ⁴⁰ оглядываясь, не идет ли за ними полицейский, не следит ли шпион. Идут безмолвно, «на цыпочках».

На цыпочках же, оглядываясь, не следит ли и за ним полицейский или шпион, входит в это собрание Азеф. Здоровается, садится, говорит и слушает. У него спрашивают совета. Он дает советы.

Величайший враг, самый злобный, единственный, который им может быть опасен, который все у них сгубит и всех их погубит, — постоянно с ними.

И они никак его не могут узнать!!

В этом суть провокации.

На этом сгублена была, прервана революция.

На *неспособности узнавания*: не правда ли, поразительно!

Сидят в ложе театра мудрецы, как кн. Кропоткин, Вера Фигнер, В. Засулич, Лопатин. Перевидали весь свет. Век читали, учились, — правда, все особливые и однородные книжки. На сцене играется «Отелло» Шекспира, — и главную роль играет Сальвини. Они смотрят на сцену, внимательно вслушиваются: и никак не могут понять, что на ней происходит, по странной причине, не могут различить Отелло от Яго и Сальвини от Ивана Ивановича!

Как не могут? Весь театр понимает.

Но они не понимают.

Весь театр состоит из обыкновенных людей. А они — ложа террористов, — необыкновенные люди. Они «отреклися от ветхого мира»: и в то время, как весь театр читал Шекспира, задумывался над лицом и философией Гамлета, читал о нем критику и во все это вдумывался свободно, внимательно, не торопясь, не спеша, — пять, семь «членов центрального комитета» никогда не имели к этому никакого досуга, а *еще главнее* — ни малейшего расположения, точь-в-точь как (беру специальности) Плюшкин, копивший деньги, или Скалозуб, командовавший дивизией. Все равно, в *тем* специальность: дело — в *специализации*. Зрители партера — свободные люди, не специалисты. Но в «ложе террористов» — специалисты. Нужно бы здесь цитировать те замечательные слова о печатнике конспиративной типографии, которые собственно вводят в душу революции. Они не лишены поэтичности, потому что вдохновенны; но смысл этого вдохновения сводится к *герной точке* — полному разобщению с людьми и их интересами, с человеком и его заботами, с мудростью человеческой, ошибками, глупостями, шутством, смешным и возвышенным.

Ничего. Одна «печатаемая прокламация». Типографский шрифт и конспиративно переданный оригинал.

30 Вполне Плюшкин революции.

У людей есть песни, сказки. У людей есть вот Шекспир. Они смотрят Сальвини, плачут, смотря на его игру. Все это развивает, одухотворяет, усложняет, *утончает нервы, утончает восприимчивость*. Люди сердцем переживали Шопенгауэра и Ницше — в тридцать лет одного и в сорок другого, и, чтобы перейти от Шопенгауэра к Ницше, сколько надо было продумать, да и прямо переволноваться. Ведь так не сродны оба философа.

Зачитывались Тютчевым. Строки Фета, Тютчева, Апухтина ложились на душу все новым налетом. Сколько налетов! Да и под ними сколько своей ползучей, неторопливой думы. К 40—50 годам, с сединами в голове, является и эта поседлость души, при которой, подняв глаза на Азефа, с его узким четырехугольным приплюснутым лбом, губами лепешкой, чудовищным кадыком, отшатнешься и перейдешь на другой тротуар.

После первого же посещения, которое он навязал, скажешь прислуге:

— Для этого господина меня никогда нет дома.

Лицо Азефа чудовищно и исключительно. Как же можно было иметь с ним дело? Лицо само себя показывает, — именно у него. Но весь партер узнает Сальвини, знает, где Яго и где Отелло: одни террористы никак не могут этого узнать.

Они вообще не узнают людей, не распознают людей.

Но отчего?

От психологической неразвитости, — чудовищной, невероятной, в своем роде поистине «азефовской», если это имя и историю его неузнания можно взять в пример и символ такого рода заблуждений и ошибок.

Как Азеф был в своем роде единственное чудовище, — и имя «сатаны» и «сатанинского» часто произносилось в связи с его именем: так террористы дали пример совершенно невероятной, нигде еще не встречающейся, слепоты к *лицу человеческого*, ко всей натуре человеческой.

Как булжники. Тяжелые, круглые, огромные. Валяются валом и на чем лежат — давят. Но какое же у булжника зрение, осязание, обоняние?

Азеф, растолкав этот булжник, вошел и сел в него. И стал ловить. «Они ни за что меня не узнают, не могут узнать. Механику свою я спрячу, а чутья у них никакого. Они меня примут за Гамлета».

Они действительно его приняли за Гамлета, страдавшего страданиями отечества и пришедшего к сознанию, что иначе как террором — нельзя ему помочь.

* * *

Как это могло случиться?

А как бы этого не случилось, когда к этому все вело? Над великой ролью «Азефа в революции», «введения Азефа в социал-демократию» работали все время «Современник», «Русское Слово», «Отечественные Записки», «Дело», «Русское Богатство». Ему стлали коврик под ноги Чернышевский, Писарев, критик Зайцев, публицист Лавров; с булавой, как швейцар, распахивал перед ним двери, стоя «на славном посту», сорок лет Михайловский... Столько стараний! Могло ли не кончиться все дело громадным, оглушительным результатом? Сейчас Пешехонов, Мякотин и Петрищев изо всех сил стараются подготовить второго Азефа «на место погибшего».

Как?!

Да ведь все дело в *неузнании*. Будь они способны узнавать, имей они чуткость, кто же бы послал им такую грушу, как Азеф? Провокация, или так называемое «внутреннее освещение» конспираций, основана на возможности войти в комнату к зрячим людям как бы к *незрягим*, т. е. которые имеют физический глаз и не имеют *духовного*. Не яблоко глазное видит, а мозг видит. Механизм зрения есть у конспирантов, а *ума видящего* у них нет; и на этом все основано, базировано и рассчитано. А *ум видящий, глаз духовный*...

Боже, да ведь в атрофии его вся суть радикальной литературы, вся ее тема.

Все устремлено было к великой теме: создать революционного Плюшкина.

Когда писал Писарев свое «Разрушение эстетики» — он работал для Азефа.

Когда топтал сапожищами благородный облик Пушкина — он целовал пальчики Азефа.

Ничего, кроме этого, не делал Чернышевский, когда подымал ослиный гам и хохот около философских лекций проф. Юркевича.

Вся сорокалетняя борьба против «стишков», «метафизики» и «мистики», — все затаптывание поэзии Полонского, Майкова, Тютчева, Фета, — весь Скабичевский со своею курьезною «Историею литературы», по преимуществу но-

вой, — ничего другого и не делали, как подготавливали и подготавливали великое шествие Азефа. «Приди и царствуй»... и погубляй.

Последнее, конечно, было от них скрыто. Всякая причина, развертываясь во времени, входит в коллизию с другими, непредвиденными. Да, но эти «непредвиденные» никак не могли бы начать действовать *этим именно способом*, не встретить они «гармонирующее» условие в этой первой причине.

Влезть в самую берлогу революции могло прийти на ум только тому или только тем, кто с удивлением заметил, что там сидящие люди как бы *атрофированы* во всех средствах духовного зрения, духовного ощущения, духовного вникания.

Но корень, конечно, в *слепоте!*

А вытыкали глаза, *духовные глаза*, у читателей, у учеников, у последователей, и, в завершении и желаемом идеале, — у практических дельцов политического движения, решительно все, начиная с *левого* поворота всей литературы и публицистики, начиная с расщепления литературы на правое и *левое движение*. Все *левое движение* отшатнулось от *всего духовного*.

Тут я имею в виду вовсе не *содержательную сторону* поэзии или философии, мистики или религии, — которую, признаюсь, и не интересуюсь, или сейчас не интересуюсь, — а *методическую* сторону, учебную, умственно-воспитательную, духовно-изошряющую, сердечно-утончающую. Имею в виду «очки», а не то, что «видно через очки». Между тем весь радикализм наш боролся против «средств видения», против изошрения зрения, против удлинения зрения. Разве Чернышевский *опровергал* Юркевича, делал читателей *свидетелями* спора себя с ним? Кто не помнит, когда, вместо всяких возражений, он, сказав две-три насмешки, перепечатал из Юркевича в свою статью целый печатный лист, — сколько было дозволительно по закону, — перервав листовую цитату на полуслове и ничем не кончив? «Не хочу спорить: он дурак». И так талантливо, остроумно. Публика, читатели, которые всегда суть «средние люди», захохотали. «Как остроумен Чернышевский, и какой *monais ton* * этот Юркевич».

Так все и хохотали. Десятилетия хохотали. Пока к хохотунам не подсел Азеф. — Очень у вас весело. И какие вы милые люди. Я тоже метафизикой не занимаюсь и стишков не люблю. Не мистик, а реалист.

Азеф *совершенно вплотную слился* с нигилистами, и они никак не могли различить его от себя, потому что и сами имели это грубое, механическое, антиспиритуалистическое, антирелигиозное, антимистическое, антиэстетическое, антиделикатное сложение, как и он. Разница в калибре, в задушевности, в честности, в прямоте. Но *впрочем, во всем остальном составе души*, «убеждений», «мировоззрения», какая же разница между ним и ими?

Никакой.

Тон души один. А по «тону» души мы общимся, сближаемся, доверяем один другому. Азеф был *не* прям, и эту машинку скрыл от людей, «в метафизику не углублявшихся»: а в прочем, во всем духовном костюме своем или скорей *бескостюмности* — он был так же гол, наг, дик, был таким же «отрицателем», как и они.

Они отрицали не мыслью, а хохотом. И он. На *мысли* можно поймать оттенки; в *мотивах* спора можно уловить ум, тонкость его, подметить знания, подме-

* дурная манера (фр.).

тить науку, на которую нужно было время потратить и способности иметь. И на всем этом можно бы было выделить *неискренность*. Но когда все хохочут над метафизикой, религией, поэзией, — когда все сопровождают только саркастической улыбкою, то как и кого тут различить? Все так элементарно!

Но *элементарность*-то и была методом русского радикализма! «Высмеивай, вытаптывай! Не спорь и не отвергай, но уничтожай!». Как тут было не подсесть Азефу? Как Азефа было узнать?

* * *

«Который Гамлет, который Полоний? Где Яго, где Отелло? Где Сальвини и Иван Иванович?» Но разве к этому уже не подводил всех Скабичевский, которого историю литературы единственно было прилично читать в этих кругах? Не подводила сюда критика Писарева и публицистика Чернышевского? Не подводили сюда дубовые стихи с плоской тенденцией? Повести с коротеньким направлением?

Все вело сюда, все... к Азефу! «Они разучились что-нибудь понимать».

Около этого прошло сколько боли русской литературы! Отвергнутый в его художественный период Толстой, Достоевский, загнанный злобою и лаем в консервативные издания официозного смысла, с которыми внутренне он ничего не имел общего. Да и мало ли других, меньших, менее заметных! В широко разлившимся и торжествующем радикализме ничего не было принято, ничего не было допущено, кроме духовно *элементарного*, духовно *суживающего*, духовно оскотляющего!

«Ничего, кроме Плюшкина» — вот девиз. «Плюшкина», т. е. узенькой, маленькой, душевной идейки. Идейки фанатической, как фанатична была страсть Плюшкина к скопидомству. Радикализм сам себя убил, выкидывая из себя всякий цветочек, всякий аромат идейный и духовный, всякое разнообразие мысли и разнообразие лица человеческого. Неужели я говорю что-нибудь новое, что не было бы известно решительно каждому? Но какой ужасный всего этого смысл, именно для радикализма! Как и либерализм, как и консерватизм, как национализм и космополитизм, радикализм есть непреременный, совершенно нужный элемент движения. Но стих Шиллера:

Будь, человек, благороден

— конечно, и *в нем* есть такой же канон, как всюду. Конечно, радикал перед собою и *даже перед своею партией* обязан вдыхать в себя все цветочное из всемирной истории, все пахучее, ароматистое, лучшее, воздушное. Пусть он не молится, но должен понимать существо молитвы; пусть будет атеистом, но должен понимать всю глубину и интимность религиозных веяний; пусть борется против христианства, против церкви, но на основании не только изучения, но *талантливое* вникания в них. И все прочее также в политике, в семье, в быте. Я не об *изугении*, которое может быть слишком сложно и поглощает жизнь, отвлекает силы: я за *талант вникания*, который решительно обязателен для каждого, кто выходит из сферы частного, домашнего существования и вступает с пером в руке или с делом в намерении — на арену публичности, всеслышания и всевидения.

Но выступали, как известно, хохотуны. Талант острословия, насмешки, а больше всего просто злобного ругательства, был господствующим качеством и ценился всего выше. Самая сильная боевая способность. Была ли какая другая способность у Писарева, Чернышевского и их эпигонов? Смехом залиты их сочинения. Победный хохот, который все опрокинул.

Смех по самому свойству своему есть не развивающая, а притупляющая сила. Смех может быть и талант смеющегося, но для слушателя это всегда притупляющая сила. Смех не зовет к размышлению. Смех заставляет с собою соглашаться. Смех есть деспот. И около смеха всегда собираются рабы, безличности, поддакивающие. Ими, такими учениками, упился радикализм и подавился. Ибо какого даже талантливого учителя не подавят тысячи благоговейных ослов!

В самом успехе своем радикализм и нашел себе могилу; пил сладкий кубок «признания» и в нем выпил яд лести, «поддельвания» к себе, впадения «в свой тон», поддакивания. Он не боролся, как должен бороться всякий борец: он *парализовал* сопротивление ругательством и знаменитою коротенькою ссылкой на «честно мыслящих» и «нечестно мыслящих». Он объявил негодным человеком того, с кем должен бы вести спор, и этим прекращал спор. Все разбежались. Победитель остался один. В какой пустыне!

Все это до того известно! Но все это до чего убийственно!

Ни малейше никто не боялся радикализма как направления, как программы, как действия. Он — гость или соработник среди всех званых во всемирной цивилизации. Но это его варварство, варварство нашего русского радикализма, мутило все лучшие души: он явно вел страну к одичанию, выбрасывая критику (художественную), выбрасывая «метафизику» или, собственно, всякое сколько-нибудь сложное рассуждение, посмеиваясь над наукою, если она не была «окрашена известным образом», растапывая всякий росток поэзии, если она «не служила известным целям». Он задохся в эгоизме — вот его судьба. На конце этой судьбы все направления оказались богаче, сложнее, — наконец, оказались *талантливее* его. Просто от того, что ни одно направление не было враждебно собственно таланту, а радикализм, *нагавшийся* очень талантливо век или почти век назад, шел систематически к убийству таланта в себе, через грубую вражду к *свободе лица геллогетского*. Какая тут свобода, когда стоит лозунг: «Одна *негестность* может не соглашаться со мною»!

Полувековой лозунг. А в полвека много может сработать идея. Капля точит камень. Все разбежались в страхе быть обвиненными в «бесчестности»... Вокруг радикализма образовалась печальная пустыня покорности и безмолвия... Пока к победителю не подсел Азеф.

* * *

Весною появились «Вехи», — книга, в короткое время ставшая знаменитою. После неудачных или полуудачных сборников — «Проблемы идеализма», «От марксизма к идеализму», кружку людей, не вполне между собою солидарных, но солидарных во вражде к радикализму, удалось написать ряд статей и собрать их в книгу, которая в несколько месяцев выдержала три издания и, как никакая другая книга последних лет, подверглась живейшему обсуждению во всей повре-

менной печати и вызвала специальные о себе чтения и диспуты в Петербурге и в Москве.

Книга призывает к самоуглублению. Ее смысл вовсе не полемический, полемика звучит в ней как побочный параллельный тон, полемика, так сказать, *вытекает* из ее тем и содержания. Но содержание это есть просто *анализ среднего образованного русского человека*, — вот «читателя» все радикальных книжек и лишь отчасти творца этих книжек и практического деятеля. Она занимается не главами, а толпою, не учителями, а учениками, не учением, а характерами, поступками и образом мысли толпы. В этом смысле она есть критика «русской образованности», не в вершинах ее, а в низшем уровне, — увы, радикальном! Радикализм, «без поэзии и метафизики», сам сюда съехал. Книга эта не столько политическая, сколько педагогическая; отнюдь не публицистическая, — несколько, а философская. Она непременно останется и запомнится в истории русской общественности, — и через пять лет будет читаться с такою же *теперешнею* свежестью, как и этот год. Не произвести глубокого переворота во многих умах она не может. По смыслу и историческому положению она напоминает «Письма темных людей», но только «темных людей» она не пересмеивает, а укоряет, и не в шутивно-эпистолярной форме, а серьезным рассуждением.

Что «темные люди» поднялись на нее лавиной — это само собою разумеется! Почувствовалась боль, настоящая боль в самых далеких уголках литературы и общества. Вся критика не поразила бы, не будь она так метка и точна, так *наутно верна*. Научная верность диагноза и составила ее силу: без нее просто не обратили бы на книгу внимания, ибо предметом этим и этою темою занимались множество раз ранее. Но после многих неудачных, кривых зеркал перед «интеллигенциею» было поставлено научно выверенное зеркало, — взглянув в которое она отшатнулась и закричала.

Конечно, прежде всего вытащена была старая оглобля, которою радикализм поражал недругов: «Измена! предательство! не наши! нечестная мысль».

Ну, что тут нового, — писал в «Русск. Богатстве» Пешехонов, — давно известно! Повторяют Крестовского, Незлобина и еще кого-то.

Убийственную сторону книги составляет то, что она написана людьми без всякого служебного положения, иначе ее живо похоронили бы; не помещиками, не богачами, не дворянами, — иначе разговор с нею был бы короток. «Камень на шею — и бух в воду». Нет. Выступили свободные литераторы совершенно независимого образа мыслей. Выступила просто мысль и гражданское чувство. Это убийственно.

Но куда же зовут эти мыслители? К работе в духе своем, к обращению читателей, людей, граждан внутрь себя и к великим идеальным задачам человеческого существования. Зовут в другую сторону, чем та, где сидит Азеф и азефовщина, где она вечно угрожает и не может не угрожать; они призывают в ту сторону, куда Азеф никогда не может получить доступа, не сумеет войти туда, сесть там, заговорить там.

Книга эта не обсуждает совершенно никаких программ; когда вся *публицистика* целые годы только этим и занята! «Вехи» говорят только о человеке и об обществе.

«Прочь от Азефа»... Но Митрофанушке легче было бы умереть, чем выучиться алгебре. Зовут к сложности, углублению. Критика на «Вехи» ответила:

— Нам легче с Азефом, чем с «Вехами»... Углубиться — значит перестроиться, переменить всю *структуру себя!* Значит родиться вновь или возродиться. Лучше уж пусть Азеф посылает нас на виселицы, или мы его убьем. Это элементарно и мы можем. Но углубиться... мы всю жизнь, вот уже сорок лет идем *в сторону от углубления*: куда же и как мы повернемся, когда на *вражде-то к углублению* и базируется весь русский радикализм!

Вот историческое положение дела.

П. А. КУСКОВ

(Некролог)

- ¹⁰ После продолжительной и тяжелой болезни скончался *Платон Александрович Кусков*, сотрудник и товарищ Ф. М. Достоевского, Н. Я. Данилевского и Н. Н. Страхова по журналам «Время» и «Эпоха» и видный чиновник и деятель ныне закрытого выкупного учреждения, заканчивавшего счета и отношения, вытекшие из освобождения крестьян. Некоторые из его воспоминаний детства были помещены в «Приложениях» к «Новому Времени», под заглавием: «Моя жизнь в доме бабушки». Отдельными книгами вышли: сборник его стихотворений, под заглавием: «Наша жизнь», и рассуждение, написанное в художественной форме, под заглавием: «Наше место в вечности». В «Русском Обозрении» был напечатан его полурассказ-полурассуждение: «Разговор на пристани». Два
- ²⁰ последние рассуждения с прелестью формы соединяют необыкновенную оригинальность и глубину мысли, и имя Кускова не забудется в небольшой толпе самобытных русских философов, ничего не взявших от книг и людей, но давших много материала тем и другим. Мысль его зрела медленно и неторопливо; с изящной спокойной речью, он вечно обдумывал свои темы, и иногда в интереснейшем месте вдруг прерывалось его рассуждение, захватившее все ваше внимание, и он говорил: «Ну, это я доскажу когда-нибудь в „нашем месте в вечности“». Зрели его мысли и его философия, т. е. взгляд на мир и на человека, не в кабинете, не за письменным столом, не с пером в руке, а на прогулках, в беседах, в служебной работе. От этой постоянной переполненности его головы или, вернее, его души
- ³⁰ мыслью — его разговор представлял необыкновенный интерес, занимательность, истинную поучительность. И так как все было продумано лично им, ничего им не взято было из книг, хотя он постоянно и много читал, то образ мысли его представлял необыкновенную свежесть и, позволим выразиться, житейскую душевность. Зная Евангелие из строки в строку, он иногда изумительно глубоко, ясно и великолепно объяснял некоторые изречения Спасителя, как не объяснял их никто. Книга его евангельских объяснений, можно сказать, годами, даже десятилетиями готовилась, но осталась вся в разговорах, в беседах, показывалась приятелям на отдельных табличках, но не сложилась даже в форму сколько-нибудь удобного для издания материала. Он весь был проникнут глубокою красотой
- ⁴⁰ как текста Евангелия, так и Лица Спасителя: и можно сказать, свет этого Лица везде мерцал тихим и спокойным светом в россыпях, глубинах и далеких гори-

зонтах его оригинальной философии. Но он не подгонял ни философию к Евангелию, ни Евангелия к образу своих мыслей: все у него делалось «само собою», как и вообще в его мыслях и поступках всегда была изгнана всякая искусственность, преднамеренность и деланность. Он любил Евангелие, любил мысль человеческую, любил и уважал человека, и в лаборатории его мысли все это связывалось и взаимно освещалось. Никогда он не позволял себе изменить натурального факта: но длинный рассказ свой «из жизни» вдруг заканчивал изречением Спасителя, которое сразу и все объясняло в рассказанном. От этих сочетаний беседы его носили несказанную прелесть. Его спор был спокоен: и споривший в конце концов всегда подпадал обаянию этого необыкновенно жизненного и чарующе-го ума. Сборник стихов его «Наша жизнь» выражает своим заглавием тему всех его сочинений и тему самой его личности: философия его не была на абстрактные темы и не была искусственным сплетением абстрактных мыслей о «невидимых предметах» или «о том, чего никто не знает». Эти германизмы ему были чужды: но иногда, глядя на него, невольно думалось, что в личности и мудрости своей он совершенно повторил «прогуливающих» греческих философов, — этих мудрецов до мундира и без мундира, без должности и кафедры, говоривших толпе, друзьям и народу. «Наша жизнь»... Но корни ее, конечно, «в вечности», и вот около этих незримых корней «нашей жизни» копался 30—40 лет спокойный, ясный, неувядаемо прекрасный Пл. Ал. Кусков. «Корни» нашей жизни протягиваются всюду: они уходят к Богу, они уходят в поэзию, они трогают загробный мир, они, наконец, сплетаются с корнями же всего органического живого мира, растительного и животного. И вот, всюду следуя за этими «корнями», Кусков открывал уже в областях специальных естественных наук такие отношения, аналогии, связи, подобия, что у слушателя его невольно рождалось и изумление, и умственное очарование. В философии Кускова ничего не было «нарочного»: мысли его так медленно зрели и ложились такой спокойной сетью на предмет, ничего в нем не искажая, что казались в высшей степени правдоподобными, хотя и не сопровождалась «вычислениями» или «опытами», всюю арматурою точной науки. Он как бы рождал свет: а «зажечь фонари» предоставлял другим, кто хочет, — «зажечь фонари», т. е. уловить свет в определенные рамки, формы, грани, точки, средоточия. В высшей степени правильная, ясная, верная мысль его не торопилась к научной обработке; почти ленилась дотянуться до нее; слаще казалось обдумывание, размышление, нежели систематическое подбирание закругленного арсенала доказательств; он был именно «как греческие философы», которые, профилософствовав «на ходу» века и, в сущности, положив фундамент для всех будущих направлений в философии, не дотащились все-таки до школьно-учебной философии и науки, систематической и доказательной.

В «Разговоре на пристани» он выясняет нравственную философию, точнее, новый нравственный взгляд на мир, какой принес с собою в среду молодежи, в среду общечеловеческую, русский народ. Это не «система» нравственная, но что-то неизмеримо лучшее системы: жизненное, мудрое, благородное освещение образа человеческого, судьбы человеческой, сущности человеческой. Не будучи «систематиком»-славянофилом, «доктринером» славянофильства, он был, как и Толстой или как любимый его писатель Вл. Даль, поклонником душевной глубины русского народа и изящества, красоты русского народного обличья. Можно сказать, он также собирал и запоминал, копил долго и накопил великое множество

в разных случаях услышанных им народных выражений, но не грамматического интереса, а нравственного или философского интереса, и в этом богатстве постоянно копался. «Евангелие» и «народ» были вечными спутниками этого «прогуливающегося философа», ими только проверял он свою мысль, когда колебался, к суду их возводил все сомнительное. Но и это — не уторопление, без преднамерения, без подчеркивания. «Все само собой» — почти девиз его философии и жизни.

10 Покойный Страхов, который достаточно знал «печатную философию», неоднократно говаривал, что Кусков есть настоящий «урожденный» философ, с оригинальным и большим философским светом в себе, с полным и гармоничным мирозерцанием, и что в совершенно объективном, так сказать, библиографическом смысле, хотя он и не имеет (при жизни Страхова) философских трудов, тем не менее гораздо значительнее, интереснее и выше философов *ex cathedra* *, что-то не свое, а искусственное преподающих в университете под именем «философии». Ссылаюсь на это мнение компетентного человека.

20 Все знавшие Платона Александровича надолго, надолго сохраняют образ этого редко цельного и благородного русского старца. Даже не хочется и неловко назвать его «старцем»: хотя ему было далеко за семьдесят лет, но его безукоризненное внешнее изящество и всегда оживленный ум исключали возможность этого названия. Внутренняя энергия испепелила черты старости. Прости навеки, на редкость красивый русский человек, бывший незаметно учителем друзей своих и всех, кто его знал или к нему приближался. Такой приятной, ласкающей формы философии, — философии глубокой и жизненной, какая была у него, — я ни у кого не встречал.

Из писателей любимейшим его был Шекспир. Он его постоянно изучал и изучал комментарии к нему. Плодом изучения был перевод «Отелло», который он сопровождал интересным комментарием (издан в «Дешевой Библиотеке»).

А. Л. ВОЛЫНСКИЙ. «Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ»

30

Второе издание. СПб., 1909

Ни в чрезвычайном трудолюбии, «прилежании», ни в огромной начитанности в избираемых им областях, ни в уме, логическом и философски настроенном, — во всех этих залогах успеха и влияния никто не откажет г. Волынскому. К этому можно прибавить настоящую и редкую жемчужину: г. Волынский, не будучи русским по крови и вере, с таким энтузиазмом и так давно положил свою душу к подножию идеалов страны, ему не родной, что, поистине, явил собою одно из великих доказательств всемирного братства народов, всемирного единства духа. Нужно читать его обширный (целый том) критический разбор Лескова, чтобы увидеть, как проникновенно и *свято* он воспринял незаметнейшее,

40 * с профессорской кафедры (лат.).

скромнейшее в русских идеалах, в русских старых заветах, — как самое в них важное и дорогое. Он поклонился перед русским смирением, перед русскою ти- хостью, перед русскою неспорчивостью, перед русскою уступчивостью — все черты, казалось бы, пассивные и отрицательные — как перед самыми великими чертами человечности: как англичанин преклоняется перед свободой и римля- нин перед мужеством, француз перед «просвещением» и эллин перед святынями своих Акрополей; прямо, — он сделал себя «сторожевым псом», лающей соба- кой этих тихих и незаметных любимых русских вещей. И его больно ударили за них, а он больно кусался и громко лаял у ворот чужого дома. В литературной судьбе Волынского есть что-то неэстетическое, и сам он неэстетичен; но в выс- 10 шей степени героичен. И вот уже многие годы прошли. Много трудов он написал, можно сказать, «наворотил»: так они толсты. Разобрал и изложил всех русских критиков, — как никто до него, до ниточки; разобрал Лескова; теперь вот разоб- рал Достоевского; все — до ниточки. Он все делает «до ниточки». И...

И — ничего.

Никакого влияния. Никакого значения.

Просто — точно не рождался в русскую литературу.

Точно «Волынский не приходил в русскую литературу». А такое событие было.

Он чист и строг, как резиновая калоша, только что купленная в магазине Аме- риканской мануфактуры. Блестит и непорочен. И до него никто не дотрагивает- 20 ся. Вот в этом и заключается причина его непонятной судьбы. Он не вошел в «русский обиход», не завертелся в «русском колесе», не поехал с «русскою те- легаю». До такой степени положила все к подножию русских идеалов, он сам — не русский.

В духе своем. В стиле своем.

Во всей литературной деятельности.

Можно подумать, что он полюбил так русские идеалы не по закону сходства, а по закону контраста. То, что он полюбил в русских как величайшую их «свя- тость», сводится к тусклости или «невознесенности» личного я. Римляне имели «орлиные носы», с горбом и большие: русский носик небольшой, картошкой, 30 с переимочкой около носа: но что-то милое образуется в мягких чертах около этой переимочки, около глаз и верхней части щек. Волынский все и хвалит вот эту «переимочку»: «Лучше Афродиты Милосской, неслыханное, невиданное». Но, взглянув на его лицо, мы замечаем, что у него тоже нет «переимочки» и нос римский. Переносно говоря, он правдиво и *слезно* поклонился перед русскою безличностью, в хорошем, *святом*, ее смысле: ибо, в самом деле, что наши лица перед Богом? — «тают, яко воск». Но *в самом в нем* огромное и гордое лицо уеди- ненного человека, не любящего общества, не идущего к обществу.

Гордое римское или, вернее, иудейско-эллинско-римское лицо — запело гимн русской простоте, русской безличности. Тут в самой теме и в самом поющем — 40 трагедия: вышло что-то умное, ученое, бесплодное. В Волынском поразительна эта неплодоносность. Нет плода. Сочинений много, а плода нет. И чтобы кон- чить сравнение, я скажу, что вид необразованной (конечно!) России и трудяще- гося в русской словесности Волынского являет что-то похожее на сухую, колю- чую, жесткую смоковницу, «на которую даже птицы не садятся», чтобы не наколоться, — среди необозримой солончаковой пустыни, где ни зверь не бегаёт, ни человек туда не заходит.

Можно было бы хоть постараться усвоить Вольтера. Постараться для этого. Почитать. Ведь стоит.

Но русские, как известно, не учатся. «Сами талантливы».

Море русского свинства залило Вольтера: ученость его, героизм его, энтузиазм его.

Вот ужасная действительность, в обстоятельствах которой погибло или, лучше сказать, и не родилось существо Вольтера. Я накидываю дело, как оно есть, и если несколько грубо выходит, то ведь как бесплодна сама эта действительность, как грубо существо самого дела!

10 Несмотря на то, что Вольтер «наворотил горы печатной бумаги», — все это будет, однако, просачиваться в наше сознание, в русскую совесть и русскую осведомленность по чайной ложечке, как лекарство. Но будет. И лет через 15—20, а во всяком случае, через 30, — Вольтер делается «обыкновенным русским писателем», — «всем известным». Тогда он будет признан как ученое, правильное, в высшей степени добросовестное зеркало, отразившее в себе русскую литературу, — несколько с сухим и искусственным блеском.

В этом медленном просачивании книга его о Достоевском должна сыграть большую роль. И просто тем, что она — нужна. Нужна гимназисту, нужна курсистке, нужна ученому — при чтении или при изучении Достоевского. Вольтер 20 везде фундаментален, он нигде не скользят. И такой писатель «настолько» нужен при ознакомлении с соответствующим предметом, а с Достоевским, слава Богу, у нас *начинает* знакомиться широкая публика, хотя народным, как Толстой, он еще не сделался, и от этого далеко по трудности и утонченности идей Д-го. С Д-м и вслед за ним шевельнется колесо и больших критиков его, между которыми — Вольтер. После книг Вольтера, Шестова («Достоевский и Ницше») и Мережковского («Л. Толстой и Достоевский») просто невозможно читать Добролюбова или Белинского: и здесь кстати вообще заметить, до чего новейшая критическая работа, встреченная таким предубеждением, отодвинула вдаль и закрыла собой, похоронила перед собою корифеев старой критики, от 30 Белинского до Михайловского. Похоронила, и не воскреснуть им, как просто слишком наивным...

По языку, по силе экспрессии, Вольтер в критике Достоевского не стоит в уровень с предметом. Он слишком вял для Достоевского; как человек западной образованности, слишком «корректен» для него и лишь умом, а не манерой собственного писания, не изгибами собственного сердца усвоит и передает Достоевского. Несмотря на великую его любовь к Достоевскому, на «культ» его, — все же об этом благоразумном и воздержанном римляне следует сказать, что он стоит мешанином около великого пьянства аристократа-Достоевского, жида-Достоевского. Начиная с Гоголя и вот входя в Достоевского, в русскую стихию 40 хлынула грязная и могучая «жидовская» волна с Мертвого ли моря, с чистых ли вод Геннисаретского озера, не знаем: но явно *не* арийская и *анти*арийская, какая-то восточная, азиатская, с этим перламутровым отблеском, которым покрываются вонючие лужицы и черное богатство нефти. Ни Гоголь, ни Достоевский не суть арийцы по духу: как эта странность произошла — необъяснимо; но как *факт* — она когда-нибудь будет признана. Ни Гоголь, ни Достоевский, несмотря на великий культ к Пушкину, — не имеют ничего в себе пушкинского и, в сущно-

сти, совершенно «выели» (как выедаёт кислота) пушкинскую стихию в русском сознании, пушкинскую ясность, пушкинский покой, пушкинское счастье. «Съели наше счастье» великие русские мистики, начиная от Гоголя. И повели к тем тревогам духа, к каким вели Палестину ее «пророки» и Рим повел ап. Павел. Вот «Павлова начала» очень много в них: спокойный, почти юридический Вольтский при всех усилиях никак не может этого художественно схватить и передать и передает Гоголя сухой, резонирующей мыслью. Ни с чем так, как с резонансом, не борется Вольтский: но сам он постоянно — резонер! Книга его о Достоевском в высшей степени основательна: типы всех Карамазовых, Ник. Ставрогина, князя Мышкина, Настасьи Филипповны, Катерины Ивановны изучены и разобраны у него до ниточки. Как и везде у него «до ниточки». Он только сам в себе имеет мало этой карамазовской «породы», мутно-порочно-гениальной: и передает все или критикует все как что-то чужое, лишь вот «из Достоевского узнанное». Для настоящей критики это недостаточно; как говорят немцы, ему недостает «конгениальности» с критикуемым автором. Но критика Вольтского (как и Мережковского) есть «сейчас же за настоящей», которой, Бог даст, нам уже не долго ждать. Вместе с названными критиками все они похоронили наивный лепет прежних критиков о Д-м и Толстом и подготовили почву для появления окончательной художественной критики. Слабость всех трех названных писателей в том, что они все — не художники, а философы и резонеры, рассудочники. Это слишком тупое орудие для обработки и Д-го и Толстого. Им недостает великого русского мастерства: меткого русского взгляда, русского письма «с крючочками», русского нюха, русского дара. Им недостает, наконец, и настоящей «жидовской грязи», без них не усвоится, напр., Достоевский; они все слишком «из Берлина».

Но довольно. Всякий читатель много приобретет, многому *научится*, и *хорошо научится* из книги Вольтского: и этого совершенно достаточно. Все должно нести «крест» своих недостатков и достоинств (так как и в достоинствах есть «крест»). И, кончая с Вольтским, мы скажем ему добрым советом, христианским советом, — презреть ту сухость почвы, которая его встретила, презреть те камни, которые в него летели, и — так же, *тогда-в-тогда так, как прежде*, — идти и идти, работать и работать, любить и любить на великой русской ниве великие русские жатвы. Ибо, поистине, я не знаю более трогательного явления, чем это: что беглецы из Белостока и разных Белостоков (их много) бегут и бегут и, не кляня никого, благословляют руки, которые с такою тяжестью были возложены на них... Через год, через сто лет это явление будет явлено во всей своей всемирной трагичности и красоте. И тогда принесет плод, какого теперь не усчитать. Вспоминая Гейне и его сарказм к Германии, его гадливость к ней и придвигая к этому примеру того же Вольтского, не гения, не поэта, но «все-таки», — и бесконечную его любовь к русским мощам, к русским праведникам (в статьях о Лескове), к русским мужикам, к русской византийской живописи, к русскому простому и неказистому, ко всему русскому *безбожному*, — нельзя не поразиться и не почувствовать такого, что трудно выговорить, но что большим теплом лежит в душе.

КРИТИК РУССКОГО DÉCADENCE'А

А. А. Измайлов. «Помражение божков и новые кумиры».
Москва, 1910

Ум спокойный, не раздраженный и не раздражительный, большое знание литературы в ее прошлом и настоящем, но самое главное и редкое качество — любовь к человеческому слову во всех его изгибах, переживаниях и формах, а следовательно, любовь и к книге, и к писательскому лицу, — вот отличительные черты критика Измайлова, давно за ним установленные читателями, авторами и собратьями-критиками. Не обширно теперь поле русской критики: когда-то ¹⁰ первенствовавшая в литературе законодательница в идейных ее течениях, она отошла на третий план. Никто к ней особенно не прислушивается, да ничего особенного она и не говорит. Она почти свелась к анонимным рецензиям в толстых журналах и газетах, — отделу более «терпимому», чем желаемому редакциями и читателями. И здесь, если она просто добросовестна, не невежественна и сколько-нибудь умна, — она выполняет все, что от нее ожидается. Затем есть критики-философы, критики-музыканты, критики-мистики, которые пишут о книгах и писателях; между ними некоторое число очень умных и талантливых, но суть в том, что это вовсе *не критики*. Критика — только форма, только наружность, которую имеют эти выразители *своих настроений*. Критик — существо редкое ²⁰ до исключительности, даже странное: любит чужой ум больше своего, чужую фантазию больше своей, чужую жизнь больше собственной и, наконец, «полное собрание сочинений», например И. А. Гончарова, больше, нежели таковое же В. Г. Белинского или Н. К. Михайловского... Тут я осекся: о Белинском можно сказать, что он смотрел на «собрание сочинений» Пушкина, Лермонтова или Гоголя с большим восхищением, чем с каким взглянул бы на собрание своих критических статей в издании Тиблена или Солдатенкова, но о Михайловском решительно этого сказать нельзя: ему «свои сочинения» были дороже, интереснее и важнее хоть Шекспира, хоть Данте... И вот он уже не критик, по этому одному признаку не критик. Собственно, единственным настоящим и законченным у нас ³⁰ критиком был «вечный ученик» Белинский, — критиком, равного которому едва ли имеет какая другая литература. Тут не важно, что он вечно учился у других, не важно, что лишен был собственных зрелых, возмужалых идей, что был мало подготовлен школой и «ученой дисциплиной» к ответственному креслу первого русского критика. Все это не важно или, лучше сказать, не первостепенно: зато он был переполнен энтузиазмом ко всему, что вокруг него говорилось, писалось, печаталось, придумывалось, переводилось, — был полон энтузиазма к этому, но не пустого и бесплодного, а вызывавшего его самого на думы, на упорнейшую работу мысли, на размышления, на проклинания и благословения. Он был горнилом, в котором перегорало все окружающее; сам он не рождал металла, но ⁴⁰ накалял, очищал и обрабатывал всякий металл, попадавший в него, и какими-то чудовищными приспособлениями или мехами втягивал в себя, в свой пылающий огонь, всю руду русского словесно-рудокопного царства, от «Песен», собранных Киршей Даниловым, до последнего появившегося романа А. Дюма или Бальзака... Вот это — критик. Суть критики — отречение от себя и своего в лите-

ратуре. Критик — монах, который «своего не имеет». Суть критики едва ли не вытекает из редкого сочетания величайшей восприимчивости к слову и «звучным сочетаниям», из величайшей восприимчивости к мысли и ее сочетаниям, — с полным творческим бессилием, немощью, захудалостью. Вот когда одно поднимается до бесконечности, а другое падает до ноля, — рождается великий критик. Он будет переваривать, перекаливать, переплавливать чужое: функция — редкая и страшно нужная в обществе, в истории, в литературе, на которую почти не рождается мастеров. Не рождается для этого гения.

У нас это был один Белинский. И вечная ему память.

Прочие, в сущности, «имитировали критику», а по существу были «сами писателями». «Сам писатель» — совершенно несовместимо с критиком: это — не разные призвания; это призвания, из которых одно убивает другое, расстраивает, ядовитит другое.

Я с печалью узнал недавно, что А. Измайлов, за критические статьи которого всегда принимался так охотно, как за верную, не обманывающую руководственную нить в чтении, — еще и юморист, сочинитель пародий и даже писатель повестей! Это ужасно! Как бы монах, заглядывающийся на девиц, или священник с «преферансом по маленькой». Хочется надеяться, что эти побочные его дары отпадут со временем. А может быть, мы имеем амальгаму из критика, юмориста и беллетриста: матушка-Натура натужилась и родила не то тройню, не то младенца с разными несовместимыми органами, который, вот подите же, живет и живет...

Но пока я не знал ни о пародиях, ни о повестях, я смотрел не без удивления на «критика Измайлова», который в наш эгоистический и сухой век имеет этот редкий дар: заражаться любопытством и интересом к приносимой с почты книге или спешить купить и прочесть новую вышедшую книгу. Вы помните у Некрасова этот незабываемый стих о русских читателях; он написан по поводу уничтоженного цензурой издания одной книги:

Уж напечатана — и нет...
 Не познакомимся мы с нею;
 Девица в девятнадцать лет
 Не замечается над нею!
 О ней не будут рассуждать
 Ни дилетант, ни критик мрачный,
 Студент не будет посыпать
 Ее листов золой табачной.

Стихотворение озаглавлено: «Пропала книга», — и, право, книге стоило «пропасть», чтобы вызвать это стихотворение. Да, русские читатели, когда они были, и были лучшие в мире читатели. «Были?..» Ну, конечно, теперь таких читателей и читательниц давно нет; книги покупают ради занимательной обложки и, разрезав из нее несколько страниц, больше для удовольствия употребления красивого ножа из кости или дерева, — ставят на полку с мыслью: «Это надо будет переплести... в какой корешок?». Читатели настоящие — это вымирающая порода беловежских зубров, и вымирание настоящей критики едва ли не есть лишь частица и симптом общего упадка интереса к книге, нужности книги... Что-то нужно другое?

Не знаем.

Но читатель — редок, а критики вовсе нет.

Но Измайлов с какой-то наивностью или неопытностью берет книгу, уносит ее, как сокровище, домой и начинает «посыпать ее листы золой табачной» с неистовством долгогривого студента 60-х годов: и волнуется, и гневается, и умилен, и восхищен, и связывает с томиком стихов или прозы такие или иные надежды на «будущее литературы». Счастливый мечтатель: я в нем люблю этот осколок 60—50-х годов, эту крупницу души Белинского и Добролюбова.

* * *

- ¹⁰ О своей книге, в отношении к текущей литературе, г. Измайлов говорит так: «Бывают времена революций и бунта, бурь и кораблекрушений, времена переломов и кризисов, когда все господствующие литературные понятия подвергаются пересмотру, колеблются самые основы, меняются формы, новое притягивает на полное низвержение вчерашнего. В такие моменты шатания умов значение критики возвышается до ценности творчества. Именно, на ней лежит обязанность не растеряться, не подчиниться ни силе старины, ни выгодам последней моды, — без гнева и пристрастия разобраться в явлениях и именах и напомнить основания вечной красоты... Настоящая книга рождена борьбой, веденной из года в год, из недели в неделю, за систему понятий, какие я считаю — правильно или ошибочно — истиной в литературе. Из нее... всякому будет ясно, каким богам автор молится и где сложены его привязанности и борьба».

- Книга «Помрачение божков и новые кумиры» посвящена поэтам и беллетристам последнего времени; она не захватывает даже Максима Горького: это уже слишком давнее; и не захватила только А. Ремизова, — как слишком уже позднего. Но между Горьким и Ремизовым — она коснулась всех имен: Мережковского, Минского, Философова, Гиппиус, Блока, Брюсова, Вяч. Иванова, Сологуба, А. Белого, и, в другой стороне, чем где стоят они, — Л. Андреева, Арцыбашева, Каменского, и, наконец, в третьей группе, — Бальмонта, Городецкого, Кузьмина, Ценского, Ауслендера. Это такая колонна имен, что, будь они все значительны, — мы просто имели бы целую новую литературу. А. А. Измайлов и говорит, что родилась и пришла эта новая литература, заместившая собою старую, вытеснившая ее. Первая глава его книги: «Хмель на руинах» самым заглавием говорит и пугает, что в 5—6 лет и, много, 10 лет совершился целый литературный потоп. Откуда-то хлынули новые воды, которые затопили и смыли все старые литературные постройки. Признаюсь, до чтения его книги мне это так ясным не представлялось. Я знал всегда, что пришли «новые», так называемые «декаденты». Их первое гнездо было в «Северном Вестнике» А. Волынского и Л. Гуревич; но оно старалось, трудилось, потело и наконец устало и прекратилось. Почему? Было равнодушие публики. Потом явился «Новый Путь», более оживленный, но ³⁰ который в начале войны вдруг и сразу потерял подписку. Несколько раньше был «Мир Искусства»; теперь действуют «Весы» и «Золотое Руно». Вот и все «прибежища» декадентства. Но разве это еще победа? Они только существуют, борются. Есть павшие; не раз проносилось по рядам «ура». Но если взять солидное существование солидных «Вестника Европы», «Русского Богатства», «Русской Мыс-

ли» и, наконец, «Мира Божия», «Образования» и «Современного Мира», — то что такое тоненькие «Весы» с их полутысячею подписчиков около этих классических столпов печати? Очень мало, почти ничего. Нет, как-то не верится впечатлению книги: декадентство — уголок русской литературы, бьющийся за существование и, наконец, действительно, просочившийся и на страницы мастодонтов печати. Но и только. Это — именно уголок, но не русская литература. Декадентство отнюдь ее не обняло, не победило в ней.

Тень Стасюлевича стоит около нее. Память Михайловского не изжита. Разве потеряли веру в себя Мякотин и Пешехонов? Все стоит по-старому и только тревожится новыми ветрами. Но ветер — не топор.

Ах, если бы все было так, как думает Измайлов. Действительно, много новых людей пришло, но ни один не принес с собою гения. В этом все дело.

Что было новое настроение, что были новые мысли, что появились новые вкусы, раздались новые требования, — все это так! Но в этом разве дело? Требууй, сколько хочешь, и доказывай с прилежанием ста школьных учителей; в литературе этим ничего не выиграешь! Если бы, не доказывая на длинных страницах длинных истин, в «Сев. Вестн.», в «Нов. Пути» или «Мире Искусства» появилось «в новом декадентском вкусе» хотя одно стихотворение с красотой и силой Лермонтова, — Россия была бы покорена, декадентство стало бы победителем. Но «пел», как самый сильный и яркий, Бальмонт, — по определению Измайлова, — творец многих новых стихотворных размеров и новых созвучий рифм, т. е. возвысившийся даже до Бенедиктова и Щербины: ну, этого для победы мало. По яркости, выпуклости и самобытности таланта ни один из декадентских поэтов не поднялся даже до уровня Некрасова; ни один из беллетристов не поднялся даже до Чехова, Л. Андреева и Горького: о каком же торжестве могла идти речь? Декадентство было умно, но в высшей степени бесталанно; оно было только мысль, только *требование*, но без румянца щек и очарования взгляда. В нем было нечто «александрийское»: вот как «александрийцы» после греческой поэзии начали период утонченного образования, знания всех цивилизаций древнего Востока, всех религий, всех культов и писали всяческими размерами и во всяких стилях, от афинского до декадентского, но не могли уже сочинить ни одного стиха со свежестью Софокла, Пиндара или Анакреона, так и наши «декаденты» пели то мексиканскими, то черемисскими размерами, то во вкусе Эллады, то во вкусе хлыстов, но во всем этом не было ни красоты, ни силы... Бедные декаденты: вздохами о них и вокруг них полна моя грудь. Никогда не появлялось у нас людей, в самом деле, таких утонченных, гибких, ко всему прислушивающихся, все понимающих, бездне благородного сочувствующих, но что же, если у них не было таланта, а только — речи, не было силы, а только — усилия, было старание, бесконечная старательность и все-таки никакого успеха. Декаденты, пожалуй, победили в смысле: «вот пришли новые люди, вошла новая толпа»; победили, как поколение, сменившее другое; теперь все просто рождаются уже декадентами, с этими новыми привкусами и влечениями, окрещенными именем «декадент». Теперь — все декаденты, — гимназисты и гимназистки, — по крайней мере очень многие. Но победа ли это литературы? Триумф ли литературного течения? Нет, и потому «нет», что не было у декадентов ни Пушкина, ни Лермонтова, не было даже своего Добролюбова. Декаденты вошли не как сила, а как множество. Распахнулась дверь, и потянуло с улицы другим воздухом, а старый воздух избы вы-

шел вон. Знаете ли, что «победило», уж если говорить о победе декадентства? Рождение, или, точнее, хилость рождения, старость рождения. Я заметил выше о странной, поражающей психологичности всех декадентов, каких встречал: они понимают все оттенки чужих настроений с полуслова, с одного взгляда, как будто уже в утробе матери они пережили всякие настроения и родились прямо зрелыми, опытными. Гимназисты или гимназистки все равно — они зрелы и прямо на сто лет старше бравого, румянощекого эс-дека или эс-эра. Это — зрелость, это — старость. Но старость и не творит. В декадентстве решительно нет творчества, и это их хоронит как литературное течение.

- ¹⁰ Декадентство войдет огромною полосой в историю умственного развития России, в историю умственных в ней движений. Положение его — около «народничества» 70-х годов, «нигилизма» 60-х, около «славянофильства и западничества» 40-х годов. Это — положение идеи около идей, направления около направлений. Декадентство так же обще, универсально, всепроницающе, так же окрашивает все окружающее, все, что может подчинить, — в свой цвет, в свою манеру, как это делали раньше его «народничество» или нигилизм. Декадентство — дух, стиль. Посмотрите, сколько домов в Москве построено в «декадентском вкусе», как, бывало, строились дома «с полотенцами» и «петухами» в «народническом стиле», — в 70-е годы! Рисунок входных билетов в Художественный московский театр, обстановка его фойе, как и обложки всех модных книг, все — *décadence* и *décadence*. Мне как-то говорил покойный академик А. В. Прахов: «Великую заслугу декадентства составляет то, что оно дало Европе новую линию, новый характер линий, что после антиков и готики казалось невозможным, ибо эти две формы зодчества и вообще искусства казались исчерпавшими все, что возможно, что может нравиться». Пришли декаденты и показали совершенно новое, что тоже может нравиться». Этого замечательного выражения я никогда не забуду. Прахов слишком компетентен, чтобы судить об этом: ведь ему одному было доверено руководить всеми работами в киевском соборе, он — первый знаток истории искусства теперь. Но, как таковой, он судил только об искусстве:
- ³⁰ между тем декадентство с такою же силою вторгнулось в литературу, в стихотворение, в рассказ; оно вторгается в религию, в медицину, в философию; Ницше пронесен в нашей литературе с триумфами именно декадентами. «Декадентство» именно как «нигилизм» касается всего...

Но, как и «нигилизм», оно не творит; у него нет Пушкина и Лермонтова, нет даже Белинского или Добролюбова. Оно все переиначивает, но великого само из себя не дает.

* * *

Вернемся к книжке г. Измайлова. Где же его «боги» и «святыня», о которых он говорит в предисловии к ней?

- ⁴⁰ Поновленная старина. Он не примыкает к декадентам, но он и не защитник старины. По-видимому, его мысль та же, которую я высказываю здесь: он примкнул бы к декадентам, дай они что-нибудь гениальное. Но они этого не дают, и он остается на стороне старого мастерства. Мастерства в слове, мастерства в литературе. Позиция его — здравого смысла, здравого вкуса; но он хотел бы

и звуковых очарований и тянется за ними к декадентам, но остается, большею частью, разочарованным, потому что у них это есть, но в недостаточном количестве и, главное, в недоконченном, оборванном виде. Все-таки он перевалил «в их сторону»: приводя две цитаты, одну из «Рудина» и другую из «Дворянского гнезда», он временно скрыл имя автора и спрашивает читателя: возможно ли теперь писать так? Старо, манера — стара и наивна. Со всем здравомыслием он видит, что прежние приемы литературного писания устарели и невоскресимы, что они не отвечают стадии нашей психологической зрелости. Это — касательно формы. Затем, касательно содержания он замечает, до чего изжила самое себя «гражданская скорбь». — «Больше четверти века лирическое нытье, жалобы на безвременье, на отсутствие людей, на помрачение идеалов исчерпывали содержание всего нашего стихотворчества. Десятки, сотни поэтов — все были на одно лицо». Критика их сделалась невозможною, потому что было невозможно их различенье; невозможно было тронуть их рассуждением, потому что такая «поэзия» была не убеждением их, а маскою на всех, какою-то застывшею формою, которую каждый носил, потому что ее носили все. Этот маразм был сброшен с литературы декадентством.

Измайлов представляет мысленно, что почувствовал бы русский человек, лет на пятнадцать — в те девяностые годы прошлого века — выехавший из России и не читавший русских книг. Вернувшись, он нашел бы литературу совершенно новою: «Вместо нытиков, — какие-то дерзновенные титаны, без страха и сомнения величающие себя богами и собирающиеся вызвать на бой небо и землю»

Древний хаос потревожим!
Мы ведь можем.

Старый читатель с грустью увидел бы, как бесповоротно изгнана из модного стихотворчества бедная романтическая старушка Луна, без которой не обходилось ни одного послания „К ней“. Старые критические термины „беспросветного пессимизма“ и „безысходного отчаяния“ вдруг исчезли. Вместо них пестрят какие-то новые слова о „стихийности“ и „дионисианском начале“, о мистицизме и анархизме, о „неприятии мира“ и „святой плоти“, об индивидуализме и соборности. Берет читатель новые сборники стихов, и, — в самом деле, в них все по-новому.

Седая мудрость веков вдруг странно заинтересовала людей нового века (В. Брюсов). Человек хочет понять тайны звезд, подсмотреть работу довременного хаоса, прочесть иероглифы старинного эллинского мифа (Вяч. Иванов). Какие-то тончайшие, колеблющиеся, дремотные настроения забытого детства занимают его больше всех явлений современности (А. Блок). Старинная русская мифология, с лешими и водяными, с русалками и «чертяками», с затейливым и звонким старым словом, врезалась в новую поэзию (С. Городецкий). Философские, чисто буддийские настроения прорезают лирику (Сологуб). Перезванивает звоном старой бронзы архаически красивый не то державинский, не то ломоносовский эпитет. И надо всем этим звенит кокетливыми, но звонкими, как хрусталь, словами буйная, широко разлившаяся радость жизни, с гимнами огненному солнцу, властительнице мира — женщине, прекрасному человеческому телу, с акафистом земле и воде, воздуху и огню (Бальмонт). Модные идеи нынешнего

поэта не имеют ничего общего с оскудевшими идейками старины. Наперерыв, в несколько голосов, поэты поют анафему городу, ненависть к „комнатным“ людям. Бог Дионис склоняется по всем падежам и в стихах, и в критических статьях. „Возрождение мифа“, „смерть быта“, „оргазм“, „мистический анархизм“, „соборный индивидуализм“ — все это, как мысль и слово, переливает всеми цветами радуги в современной литературе».

Действительно ново. Не гениально, но ново. Правда, вся литература перестроилась в самых терминах, и значит, она перестроилась в понятиях, в стремлениях. Но почему же, почему это направление не посетил гений?

10 Гений *слова*?.. Но, может быть, весь этот поворот есть не литературный, а какой-нибудь другой, например религиозный? Тогда понятно, почему здесь не родилось гения-поэта или прозаика, ни Лермонтова, ни хотя бы Белинского.

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы.

Но это — предвидения, и не стоит останавливаться на них. Измайлов более всего останавливается на Брюсове и Бальмонте, отмечая в обоих большую дозу учености и кропотливого сидения над «поэзией всех стран и народов», нежели собственного горячего вдохновения. Это — александрийство, старость ума, зрелость вкуса. В самом деле, иногда кажется, что новые поэты пишут *образцы* на стихотворческие размеры, ими умственно заранее придуманные. Но кто знает, 20 может быть, все это «пока». Автор отмечает, до чего быстро зреет талант или ум Брюсова, до чего он стал, сравнительно с тем, как начал, неизнаваем по серьезности, по правильности. О декадентах хочется сказать в эту неопределенную пока минуту: «Ну, что бы ни было и как бы ни пошли дела, — летите во все стороны, птички вольные. Вы все-таки принесли нам весну, пока неясную, пока холодную и дождливую. Но проглянет же за дождями и солнце...».

Пока — март декадентства, — и долго ему еще до августа, когда собирают плоды.

ОБИДЧИК И ОБИЖЕННЫЕ

30 К. И. Чуковский все «подвизается». На днях он прочел в Литературном обществе лекцию о Гаршине, которая возбудила бурю протестов «на месте преступления», и теперь эта буря перешла в печать. Проф. Батюшков на нее напал, Чуковский ему ответил. Мне хочется сказать два слова о Чуковском, о котором вообще теперь стали много говорить.

Блестящий оратор, чарующая дикция: язвительная, часто умерщвляющая критика. Как о «таком» не говорить. «Ты, батюшка, всех съешь: у тебя аппетит волчий».

Литераторы стали очень бояться Чуковского. «До кого-то теперь дойдет очередь». Все ежятся и избегают быть «замеченными» умным, зорким критиком: «Пронеси мимо». Но Чуковский зорко высматривает ежащихся.

40 Он пишет коротко — это сила. Не хлестко — это ново и привлекательно. Глаз его вооружен какой-то сильной лупой, и через нее он замечает смешные качества

в писателях, раньше безупречных. Две-три его заметки о В. Поссе заставили просто перестать писать этого ежедневного публициста «Речи». Еще немного, и, пожалуй, Чуковский заставит замолчать даже великого Влад. Азова. Просто ужасы.

А хотел бы я посмотреть единоборство Чуковского с Азовым. У обоих зубы. Не надо ходить на травлю волков.

И притом Чуковский неуязвим: он либерал! Никак нельзя сказать, что «это правительство его подкупило обругать сперва Короленку, а потом Гаршина». Эту линию Чуковский должен тщательно оберегать: обвинение в «провокации» стокрожит его у самой двери. «А, догадались: правительством подкуплен! Эврика!». Это его ждет.

Но и по этой части, кажется, Чуковский силен: он осторожен, бережлив, предусмотрителен. «Съест нас, собака». Литература решительно испугана.

По его адресу шепчут, говорят, выкрикивают в литературных гостиных: «хулиган», «не воспитан», «никого не уважает», «циник». Из этих эпитетов я хотел бы запомнить только один: «не воспитан». Действительно, Чуковскому недостает добрых нравов, доброй традиции, доброго повелительного навыка хорошо воспитанного человека. «Колыбельную песню» пела ему не няня, а выли степные волки.

Это есть.

Ну, что же: какого апофеоза удостоился «босяк» Максим Горький! Друзья, литературные друзья: вы же приветствовали и увенчали М. Горького в повести и рассказе, отчего вам не помириться с К. Чуковским.

Да, но М. Горький жег других: а этот жжет нас. То — буржуи, а это — мы, бла-а-родные литераторы.

Да, действительно, есть разница: прежде бла-а-родные литераторы всех обижали, а теперь бла-а-родных литераторов обижают. Нехорошо. Опасно.

Отвратительный пример.

Задел даже Короленку К. Чуковский. Уж на что идеала-льнейший писатель! Но нашел смешное, притворное, сантиментальное, и так, с такими очевидными доказательствами, что невозможно было не согласиться.

«Бла-а-роднейший: а фальшивит».

Это чорт знает что такое, — ахнула печать. — Этак он, пожалуй, и Скабичевского заденет.

На последнем чтении Чуковский даже «решился на Скабичевского», сказал, что он «бла-ароден, но очень глуп». Публика повскакала со стульев. Я думал, что Чуковского убьют.

Хорошо, что он либерал: а то бы убили.

Непонятно, что будет дальше, если его не убьют. Этак он, отославшись крепко, с бодрыми силами, поутру вдруг напишет что-нибудь даже о Михайловском. Т. е. будучи-то либералом и немножечко «босяком». Но, нет. Чуковский хитер и на Михайловского не решится. «Тогда пиши *пропало* карьере».

Какой-нибудь «бла-ароднейший дурак» даже решился бы на Михайловского. Но К. Чуковский «себе на уме» и о Михайловском промолчит. «Своя жизнь дороже».

Когда ругают Чуковского, и я грешным делом поругиваю. «Что ж, против всех не пойдешь», «глас народа — глас Божий». Но про себя я люблю «шестивием Чуковского», хотя:

- 1) Короленку — люблю.
- 2) Гаршина — еще более.

И Чуковский меня не разочаровывает в них оттого, что я замечаю, что Чуковский все возвращается как-то в мелочах, в истинных, но мелких частях писателя и писательской судьбы и дара. Он подходит к человеку, отвертывает фалду сюртука и кричит всенародно, что у него пуговицы не на месте пришиты, а иногда что и «торчит прорешка», и даже торчит предательский уголок рубашки через него. Все это так. Но ведь суть Короленки и Гаршина не в пуговицах. Роковую сторону Чуковского составляет то, что он никак не может коснуться важного в писателях. Точно тут ему Господь положил «предел». В Чуковском есть что-то полицейско-надзирательское, роющееся в «документах»: и признаюсь, когда талантливый критик все протоколирует и протоколирует пуговицы, я зажимаю нос и говорю:

— Господи, как дурно пахнет! Это уже от вас, г. критик, а не по причине пуговиц. Приходит мысль о какой-то всеобщей ванне или «микве», в которой надо бы «очиститься» и литературе, и критике.

Но пока что роль Чуковского мне представляется очень утилитарною: не навечно, а на некоторые годы. Дело в том, что у нас действительно развелось очень много «бла-а-родных литераторов», сделавшихся таковыми только оттого, что есть существо чернил и есть существо бумаги. «От сочетания чернил и бумаги выходит литература». Это не совсем так. Словом, есть много писателей, и *состоящих* только из пуговиц, нашивок, кантиков и вообще всей «сбруи» литератора. «Мундир» есть, а под мундиром души нет. Об этом думалось годы, об этом плакалось годы. Но так как «мундир» был в исправности, то даже не приходило на ум, как же справиться с этим горем, как его вытравить, как его убить. Не приходило самой формулы дела на ум. Все так «безукоризненны», а уж давно одни «мундиры». Чуковский с каким-то специальным даром, специальною лупою пришел, чтобы сделать это крайне нужное в литературе дело отделения «настоящего» от «ненастоящего». Тут, может быть, играют положительную и чудную роль даже его отрицательные, антипатичные дары, без которых он не мог бы ничего сделать.

— Да. Я люблю документ. Да, где я копаюсь — нехорошо пахнет. Это моя судьба и, наконец, мой гроб. Но чтобы съесть труп, нужна гиена. Благодарите, люди, что около вас бродит она: иначе вы погибли бы от чумы.

Условие нашего здоровья. И все должны оглянуться с благодарностью на черныи путь Чуковского.

ПОД СТАРОСТЬ ЛЕТ...

Литературный фонд готовится торжественно отпраздновать свой полувековой юбилей. По этому поводу уже появились в печати предуведомления и обещания, как будет интересно празднование, как будут «вспоминать» с эстрады его теперешние шефы, гг. Венгеров и Кареев, бывшие дни этого Фонда, — те красивые дни, когда седовласый Тургенев, когда Писемский, Потехин и друг. читали по

приглашению Фонда на вечерах, им устроенных, свои «маленькие вещицы», и как это любила публика, и кто их посещал, и т. д. Кареев, такой большой и представительный, с такими изумительными волосами и плечами, вероятно, хорошо прочтет свое «воспоминание»; Венгеров, тоже очень большой, по крайней мере, толстый, если и не будет так представителен, как Кареев, то, однако, даст публике понятие о «настоящем весе настоящего писателя»: ибо половицы эстрады, надо думать, под ним погнутся. Все будет хорошо, торжественно, сладко, вкусно. Ну, и дай Бог, конечно. В обществе так скучно, что нельзя не порадоваться лишнему празднику. Придем. Похлопаем. Покажем себя и посмотрим людей. Гулянье как гулянье.

10

Все — дай Бог.

Вспоминается невольно мне, как года четыре или три назад кто-то в некрологе об артисте Мариинского театра, т. е. певце, написал: «И вот в 11 часов ночи, такого-то числа, когда, по соседству с его квартирой, на Мариинской сцене разыгрывалась „Снегурочка“ (или другое что, не помню) и певцы, и хоры пели любимые арии, в которых и он когда-то участвовал, бедный Иван Иванович мучился в последней агонии своей ужасной болезни. У него был рак. И его стоны отражались от стен небольшой квартиры в те самые минуты и часы, когда мраморные стены театра отражали аплодисменты после какой-нибудь ноты Сбруевой и... *преемника* умиравшего». Ну, и разумеется, «мир праху твоему, почивший друг». Некролог был хорошо и тепло написан. Меня же поразило это сближение. В самом деле, как ни стони умирающий, — оперы никак нельзя отложить, публика ждет, и всякий «номер» выходи и пой свой «номер». Ужасно, что так близко. Ужасно, что в тот же час. Все мы, «сыны перси», «прах земной», незримо для себя пляшем свой «номер» в таинственном хороводе смерти, объемлющей все живое, все живое преодолевающей.

20

Вспомнилось и сблизилось для меня это оттого, что почти одновременно с тем, как я прочел в газетах о готовящемся праздновании 50-летия Литературного фонда, я получил одно вслед за другим два письма от литераторов, с известным именем, со многими томами трудов, которым никто в таланте не отказывал, талант коих временами взвивался очень высоко, — и оба письма говорят на тему Фонда так печально, мне даже показалось так страшно. Они не придут на юбилей, подмостки под ними не затрещат, и вообще это две худые курицы, из них — одна старая, а другая еще очень молодая, около которых теперешние шефы Фонда не могли бы не показаться тяжеловесными каплунами, довольно недвижимыми и спокойными, как приличествует природе каплуна. Я знаю, есть добрые люди на Руси; наконец, я знаю, что есть лица, которых тяготит даже богатство, и, по необычной психологии Руси, они к старости прямо не знают, как с ним разделаться, куда его употребить «на доброе дело». Может быть, некоторые подумают о печальной и почти страшной участи писателей, которые в годы цвета сил поют, весело, счастливо поют и развивают песнями «солнце» на Руси к благополучию всех обывателей; но приходит декабрь их биографии и возраста, дар песни и слова потерян, и, всеми забытые, они коченеют и замерзают среди ледяного равнодушия, как, бывало, галки в печальной Костроме.

30

40

Первое письмо я получил из Самары, с парохода «Александр Грибоедов», 6 октября, от лица мне неизвестного: «Я был у вас в Петербурге, но не застал, а затем должен был выехать из Петербурга по служебным делам; и то дело и просьбу,

с которою хотел обратиться лично, излагаю теперь в письме. Дело вот в чем. В сентябре я был у N N N (имя, отчество и фамилия известного писателя) и нашел его в весьма печальном состоянии. Лишившись заработков в (такой-то) газете, лопнувшей безвозвратно, бедняга N N N совершенно упал духом и впал в какую-то болезненную прострацию: ему кажется, что в его жизни все рухнуло, что ему грозит нищета, что он всеми забыт и брошен, и понятно, что при таком душевном состоянии перо валится у него из рук и это приводит его еще в большее отчаяние. Ввиду его такого болезненного состояния на него следует обратить внимание и чем-нибудь поднять его упавший дух. Зная, как вы относились к заболевшему, я и решил, по секрету от него, обратиться к вам с просьбой, нельзя ли как помочь ему в этом плачевном положении, и не укажете ли вы какого выхода из этого ужасного тупика. Не найдется ли ему какого местечка там-то или там (названы два учреждения, связанные с литературою)?». Следуют конкретные указания, увы, неосуществимые, по крайней мере быстро. «Словом, в N N N нужно поднять дух, и он, конечно, даст снова немало ценного и симпатичного для русской литературы и искусства, как бывало во времена его дружбы с незабвенным А. П. Чеховым. Но как это сделать, я не знаю. Будьте добры, не откажитесь прийти на помощь к впавшему в уныние этому с золотым сердцем человеку, который сам всегда готов всем помогать и за всех хлопотать. По приезде в Петербург я, конечно, буду изыскивать способы для того, чтобы быть полезным N N N; теперь же у меня болит душа от сознания моей беспомощности и невозможности лично утешить и изгнать из него злого духа уныния и отчаяния, который, конечно, вселился в него временно».

Все вещи становятся понятны в обстановке своих подробностей. Я вспомнил бедную, но до редкости культурную квартирку этого писателя. Сам — хорошего дворянского рода, великий поклонник Александра II в его реформационную пору, он все оставил для шутивного рассказа и водевиля, а в часы досуга бродил по Александровскому рынку и букинистам, и мало-помалу собрал редчайшие и интереснейшие портреты наших писателей, — вне шаблона и о каждом «со своею думкой». Все это можно было рассматривать как в музее: только избави Бог было что-нибудь взять в руки и не поставить опять точь-в-точь на прежнее место. Добрый хозяин расстраивался. И вот теперь не стало возможности хранить даже «музей»: нечем натопить его, даже нужно «убираться» из трех комнат, наконец, надо подумать: «Где же и на что я буду есть?». А есть надо каждый день: Бог так несовершенно устроил человека, что непременно каждый день!

Писатель может помогать только пером: и я стал писать письма лицам, к которым была хоть какая-нибудь зацепка. От одного из них, писателя «в полном ходу», как говорят о новых, еще не потерявшихся машинах, я получил ответ следующего содержания:

«Об N N N я часто думаю с чувством, не свободным от эгоистического страха и тревоги. Он всегда очень дружелюбно относился ко мне, и я его люблю. С положением его давно знаком и знаю, что получилось для него с закрытием (такой-то) газеты. Тревога моя происходит из мысли, что если и со мной под старость будет то же? Уже в (такой-то) газете в последние дни или год он дышал, как рыба на песке. Беллетристичкой жить сейчас совершенно невозможно, кроме как попавши в моду; да и то я знаю, что такие, например, баловни, как (названо молодое „преуспевающее“ имя), положительно перебиваются с хлеба на квас, — ну,

не в буквальном, конечно, смысле. Тем тяжелее человеку старому, усталому, утратившему легкость во всем. Но мысль для изобретения лучшего для N N N ставит в тупик. Положение (третьего писателя, на помощь коего я рассчитывал) далеко не то, что встарь. Он сам в долгах и почти ничего, кроме своего ежемесячного заработка, не имеет. Былой же энергии, о которой вы пишете, в нем не осталось и тени. При всем желании он, вероятно, ничего не может сделать, как постараться провести (в такой-то журнал) его рассказец. Я буду с ним говорить, будем вместе думать, но». После нескольких строк: «Да, все это беспредельно грустно, а в бессонную ночь страшно. Привет вам и вашим».

Между тем писатель этот «в полном ходу», молод, деятелен, энергичен. «На беллетристику жить совершенно нельзя». Но ведь половина писателей — беллетристы. Как же они все живут? А как живут поэты? Ведь нельзя же сочинять по поэме в месяц. А месяц жизни в Петербурге стоит цены повести, рассказа, поэмы вроде «Наталья Долгорукова» Козлова. Я ужаснулся: как же *вообще* живут писатели, выключая газетных сотрудников, имеющих более технику писанья или, вернее, технику «журнальной работы», чем дар художественного писанья. Как живут именно художники, вот те, что существуют

Не для житейского волнения...

Об Академическом фонде (фонде Императора Николая II) приходится слышать много доброго: он помогает деятельно, молча, без шума и огласки. Но Литературный фонд? В последнее время слышно было только, что из-за него чуть не закрыли Кассу взаимопомощи литераторов, и именно оттого, что он промолчал перед официальной властью о тех выдачах, которые сделала не Касса, а он, и ее хотели закрыть, а он, как провинившийся гимназист, стоял, опустив очи долу и в сторонке... За такое «гражданское мужество» и гимназисты гимназистов не хвалят: а тут — писатели, герои, и кажется, с оттенком «товарищества»... Передаю, как говорили на последнем собрании Кассы литераторов, и говорю потому еще, будто это появилось уже и в печати, так что факта нового я не сообщаю. О помощи настоящим писателям этого Фонда слышно что-то очень мало, и вот только громко заговорили о юбилее и что «Тургенев читал на его вечерах свои вещи»... Тургенев — Тургеневым, а ответственность — ответственностью.

Все эти наши дела как-то неустроены, захудалы и засорены. Отчетливо и «в общем обозрении» их никто не знает. Весьма возможно, что помощь не приходит писателям, написавшим до десяти томов, всю жизнь жившим *только литературою*, и подается лицам, которым когда-нибудь и что-нибудь *случилось* написать. Известно, что готовящийся к «юбилею» Фонд ничем не помог при жизни Достоевскому, — хотя функционировал в его время. Это — исторический укор на его памяти. Существует всеобщее убеждение, что тут действует «партийное кумовство», слегка задрапированное тем, что из ста выдач одну делают лицам «противоположных убеждений», «не симпатичных убеждений». Слух этот очень тверд, и только полное освещение дела могло бы его рассеять. Я позволю себе сказать еще следующее: старость писателя также вправе искать себе поддержки, как профессора или учителя. Он делает не меньше и делает однородное с ними. Школа была бы совершенно бессильна в стране, если бы за рядами учителей, как *передатчиков*, не стоял в глубине жизни второй ряд — писателей как творцов.

Правда, не все писатели хороши: но ведь и учителя и профессора не все же хороши? Но государство *всем* труженикам школы обеспечивает покой и кой-какой достаток. Не покушаясь на «новые расходы» казны, нельзя ли было бы взимать копеечный с рубля налог в пользу инвалидов печати, при продаже каждой книги?

Книга стоит рубль: магазин, отпуская ее, взимает «1 р. 01 к.». Покупателю явно это не трудно; казне ничего не стоит это учесть: ибо число проданных книг известно книготорговцу и может быть проверено у него через торговые записи. И, наконец, книг продается так много, что этот *один процент* с книжной торговли создал бы фонд, достаточный для пенсионного обеспечения тех приблизительно двух тысяч литераторов, труд которых так или иначе лежит фундаментом под обширным и сложным явлением, именуемым «просвещением страны».

Умолкни они.

Закройся театры.

Прекратись журналы, газеты.

И страна явила бы весьма пустынный и дикий вид.

Дело это национальное.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ КОЛЬЦОВА

Академическая библиотека русских писателей. Выпуск I.

Полное собрание сочинений А. В. Кольцова. Под редакцией

и с примечаниями А. И. Лященко. Издание разряда изящной словесности

Что прежде всего бросается в глаза при взгляде на эту книгу, это изумительная дешевизна: за том в 477 страниц превосходно выверенного текста любимого русского поэта, с двумя его портретами, из которых один в красках, со снимками двух памятников ему, четырьмя facsimile с рукописей, с репродукцией картины Бореля «Литературный вечер у Плетнева», с биографией Кольцова, с 66 письмами и, наконец, с обширной критической работой над всем этим материалом почтенного г. Лященко, — кажется, молодого профессора, — любитель литературы платит всего 60 коп., а в коленкоровом переплете — 75 коп.! Это — в Петербурге; но в других городах, т. е. с пересылкою, на 25 коп. дороже. Все это так дешево, что можно применить к книжке обычное русское восклицание при счастливой покупке: «дешевле пареной репы». На этот раз спасибо Академии наук, горячее спасибо. Без сомнения, не только вся образованная Россия, но и вся грамотная Россия поспешит купить Кольцова в этом издании; без сомнения, школы будут покупать его массами, «про запас», — и это необходимо, так как лучшего и дешевле издания, чем это юбилейное, просто нельзя ожидать в будущем. Жаль, если не заготовлен стереотип; жаль, если спрос не будет через год, через два удовлетворяться или даже если он будет удовлетворяться «с заминкой», по казенному русскому обыкновению. Будем, однако, надеяться, что приняты «меры».

Образ поэта встает перед нами как живой, особенно из его писем. Везде в них открывается его простая, малообразованная, но глубокая душа. Можно сказать, «ничто человеческое ей не чуждо»: и, читая письма, невольно думаешь, как есте-

ственно выросли из души написавшего эти письма — и его песни, и его «думы». И в тех и других ничего наваянного, или очень мало; во всяком случае ничего сделанного, искусственного. На «думы» Кольцова, хотя они менее поэтичны, чем его «песни», следует смотреть со всею сердечностью: ничуть это не есть философия, наваянная или наваянная литературными знакомствами, а есть высокоценное выражение тех неясных и действительных дум, размышлений, теоретических и религиозных запросов, какие стелются в душе народной и, в некотором смысле, делают народ наш глубочайшим на земле философом. Тоны «Дум», настроение «Дум» везде перебивают строки писем Кольцова, посвященные житейским мелочам. Кольцов представил собою редкий и исключительный случай, когда дошел до печатного станка урожденный народный поэт, из тех, кто безыменно творил целые века и сотворил ее русское песенное, былинное и сказочное творчество, наши поговорки, присловья и пословицы (философия народа).

Но вернусь к замечательному изданию. В особых приложениях даны юношеские произведения поэта, далее — стихотворения, приписываемые Кольцову (кажется, ложно), «обзор рукописей (не одних стихотворений) Кольцова», находящихся в Воронеже, в Императорской публичной библиотеке, в собрании П. Я. Дашкова и других частных лиц. В высшей степени характерны заглавия некоторых тетрадок: «Упражнения Алексея Кольцова в стихах, с 1826 года, с октября 1-го дня. Выбранные, лучшие и исправленные. Переписано 1827 года, марта 20 дня», с эпиграфом на ней из Ломоносова: «Науки юношей питают...». Так и чувствуешь начало литературных дней поэта. Другая тетрадка: «Незабудки с долины моей юности. Алексея Кольцова. 1830 г.». Все на синей, старой, торговой бумаге, его крестьянским, полудетским, ученическим почерком. Все так и просится кусочком в оперу Чайковского, который любил в ткань своей музыки вводить романсы давней старины. Юность Кольцова, его первые литературные труды, его первая поездка в Петербург были сами по себе прелестным «романсом» наших тридцатых годов! Что-то давно они не повторяются. Как груба около него «оглобля», положенная на наших глазах в литературу умным и сильным Горьким. Совсем другие времена.

Бог с ними.

Академия наук в разряде изящной словесности, хотя и несколько поздно, приступила к изданию наших писателей: «изящному, доступному и вместе отвечающему требованиям науки и школы». Особая комиссия выработала общий план этого издания, наметила серию авторов, а также и постоянный, общий тип внешней формы, какую должна иметь книга, и расположение в ней материала. Начато все с Кольцова, так как подходил его юбилей. Но, пожалуй, и хорошо, что народный поэт пойдет впереди всех.

Кроме поэтов, хотелось бы, чтобы «Академическая библиотека русских писателей» включила в состав свой и писателей-мыслителей, давших большой толчок русскому сознанию. Давно мечтается о *Corpus*'е, т. е. о сводном издании русских славянофилов. Еще на студенческой скамье для новичков русского склада души, лет 25 назад, чувствовался недостаток в таком издании. «Откуда взять? Где найти? Где и у кого прочесть?» — спрашивалось о русской особливости, о русском самостоятельном лице в истории. Помню определенно, мы студентами об этом спрашивали и тогда ответа не находили. А «Бокль» и «Льюис», можно сказать, на каждом шагу валялись по дороге, хватая за ноги, как проститутки: гово-

рю о дешевизне и обилии изданий и популяризации. Наконец, «Академическая библиотека» может подумать о народной песне, о народной сказке, о былинке, загадке, поговорке. Где взять все это дешево? А нужно дешево. Пора русскому гимназисту, русской учащейся девушке дать народное русское слово, дать умное русское слово, взамен Мопассана и «Энгельса с Марксом», от которых прохода на книжном рынке нет, между прочим просто по дешевизне их. Конечно, тут не должно быть партийности, и вместе с Киреевским (где взять его сочинения?) и Конст. Аксаковым нужно дать и Чаадаева, и Радищева. Пусть дана будет вся замечательная русская мысль, русское политическое чувство, государственное чувство, рядом с русскими художниками формы. «Не одни поэты, но и *русская дума*, глубокая и чистосердечная, — вот желательный девиз для издания, великолепного в своем замысле и начале.

Следующий выпуск «Библиотеки» будет посвящен Лермонтову, предположенному в пяти томах, за 4 р. 50 к., который выйдет в 1910 году. Энергия издания есть тоже вещь, совершенно необходимая в данном случае.

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Вот уже два века прошло, как русское правительство, русские писатели, вся решительно печать и, наконец, школа всемерно чистят и полируют «матушку Русь», будто старый самовар к празднику. И так, и этак повертывают, трут и родно-²⁰ю золой из печки, и иностранным порошком из аптеки. Кажется, в высшей степени одушевлен чистильщик, и в высшей степени не одушевлена очищаемая вещь. Он так умен, она так глупа. Вещь — это Россия, мастера — это мы, «образованный класс». В этой борьбе, в сущности, прошла наша двухвековая история. Это главная ее тема.

Как ни старался мастер, ничего не выходит. Даже порол плеткой, топтал ногами, мял, крутил — не выходит ничего!.. И лаской, и уговором — ничего не выходит! И со священниками, и светским способом, и через церковную печать, и через гражданскую печать, всячески: но — нет результата!

«Ну, и скотина эта Россия», — говаривало почти прямо правительство.

³⁰ «Нашей азиатчины и предела нет!» — совершенно открыто кричала печать.

Первое затем поворачивало «на реакцию», вторая предавалась безнадежности, унынию и писала своих известных героев «с меланхолией», «Рудин» и т. п., «Дневник лишнего человека» и проч.

И хочется сказать им всем:

— Господа, да ведь вы чистите не самовар, а живого человека. Самая ваша тема неверна, самая задача ложна. Задача ваша состоит в нелепом требовании, чтобы у человека были усы и эспаньолка, но не было кишок. «Потому что усы красивы, а кишки грязны». Живому существу грязное столько же нужно, сколько и чистое. Живому все нужно, что в нем *есть*; ибо это «есть» и появилось потому, что оно нужно. Для обольщения женщин природа дала мужчине красивые усы; но для переваривания пищи нужен был именно длинный, петлями, канал — и природа создала кишки. Для барышни усы красивее; и без усов «мужчина не

мужчина». Но ведь это же пустяки, эстетические пустяки; биолог скажет, — и голос его фундаментален, — что кишки в человеке неизмеримо важнее и, так сказать, торжественнее и священнее усов!

«Кишки — святая вещь; а усы — чепуха. Усы сбреет парикмахер; а вот если кишки сбрить — человек помрет».

В единственном разговоре, какой мне удалось вести с гр. Л. Н. Толстым, он мне с печалью и недоумением сказал, сказал с *враждою*: «Как *унижается* человек в любовных ласках, какие он совершает унижительные для величия своего поступки». Кажется, протест гордости и есть настоящий родник духоборческих идей Толстого, выраженных в «Крейцеровой сонате». Но ведь это тот же спор усов и кишки, и удивительно, что такой мудрый и *простой* человек, как Толстой, стал на сторону усов. Барышню, конечно, занимают усы. Но зачем же Толстому быть *mademoiselle*: *мать* барышни говорит: «К чорту усы: отправление кишечника несравненно важнее, трогательнее и священнее». Я Толстому тоже сказал, что «все сии кажущиеся грязными вещи, какие бы он ни держал в уме, — суть вещи превосходные»; и что это «просто покров Изида, под которым до времени природа скрывает важные вещи, дабы мы их не трогали и не беспокоили любопытством; а пришла минута, стало „нужно“, и они вдруг нам кажутся не гадкими, а приятными, и то самое, что мы прежде назвать не смели, — мы теперь ласкаем всяческими ласками». Совершенно как происходит дело с младенцем: он рождается «весь грязным», но что сравнится даже *по религиозности* с тем восторгом, с тем глубоко даже до страха чувством, с каким мать покрывает его поцелуями.

Как это *серьезно* сравнительно с поцелуем в надушенные усы!

Какие пустяки затруднили Толстого! Но эти пустяки затрудняют и «образованный класс» России, когда он думает о земле своей. «Какое свинство всюду, Боже, какое свинство!..» Разве не об этом написаны «Мертвые души» и «Горе от ума»?

Хочется сказать:

— О, Господи!.. Ну, и «свинство», — но не терзайтесь так, пожалуйста, и не пишите «Дневников лишнего человека». Без «свинства» не обходится природа, и вся она, матушка, создана со «свинством», а живет, цветет, и, согласитесь сами, что никак нельзя *выдумать* лучше, чем *существующая* природа. Выдумашь, распланируешь на бумаге уж непременно без «свинства»... *Sine qua non*... * На этом, между прочим, все социалисты осеклись. Задача их, как и культурных русских людей, — «вырезать у человека кишку, — потому что в ней гадости». Но так, оперируя на бумаге с пером в руке, они создают человека без «кишечника», и естественно, что он не живет. Социалисты великолепны, только пока борются с правительствами, а как только они «всех победят» и останутся одни, то не продышат и суток. И просто оттого, что без «кишок» и без «свинства», что все «вычищено» и «вырезано»... Человечество выплюнет их с отвращением и болью и заживет по-старому, «по-грязному» и «по-живому». И уж тут, вообще, положен предел мечтам человеческим и мечтательности человеческой.

Высшая мечта человеческая — «рай до грехопадения». Но знаете ли, сколько, по Талмуду, жил человек в раю? Одни *сутки*. Соблазнение Евы змеем произошло в вечер того дня, когда она была сотворена. В этом «комментарии» к Библии,

* неперенное [условие] (*лат.*).

сохранившемся у талмудистов в устной передаче тысячелетия, лежит одна из тайн библейской космогонии. Действительно, «один день» еще можно просуществовать без пищеварения и «гадостей»; но не дольше. Как «дольше», — так, просто, нечего делать и, в сущности, нечем жить! Нельзя же тысячу лет смотреть в глаза друг другу «с любовью». Стошнит, опротивеет и просто... напишешь «Дневник лишнего человека». Рождение человека, т. е. прекраснейшего в мироздании существа, из «такой сплошной гадости», потому магично, мистично и священно, что оно есть общий символ происхождения всего живого и прекрасного, теплого и горячего, из некоей «грязнотцы». Народы так и говорят: «Мир родился из хаоса», из «тьмы». «Бе туман над водами» — ну, и потом звезды и цветы.

Эта космогония человечества важнее парикмахера и усов.

Возвращаюсь к «правительственным» усилиям и к усилиям «образованного класса».

Некий писатель, обсуждая памятник Александру III Трубецкого, сравнил круп лошади, на которой сидит царь, да и всю фигуру лошади, — со «свиньей». И вместе сказал, что лошадь под царем знаменует Россию. Это сравнение и чтение известного «Дневника» Никитенко, где описываются события трех царствований, внушили Д. С. Мережковскому грустные размышления, которые он выразил в статье «Матушка свинья». Это — наша Россия, «полная свинства». Конечно, все это — так, и в грусти Никитенко и Мережковского много правды, хотя нельзя не заметить, что на всем протяжении пятидесятилетнего «Дневника» рассматривается собственно *один Петербург и взглядом петербуржца*. Это «nota bene» читателю нужно держать в уме. Где же у Никитенка армия? Он видел только канцелярию военного министра и главный штаб. И деревню он забыл: он видел ее только в детстве. «Дневник» его есть в значительной степени брюзжанье чиновника над всем чиновным и переполнен сплетнями и пересудами канцелярского характера. Мужик из Нерехты, поп из Калуги решительно ничего *для себя* понятного и интересного, близкого и родного, там не найдет. Но оставляю Никитенку и обращаюсь к скорби Мережковского, где он говорит, что борьба России и Запада сводится в значительной степени к борьбе *лица* человеческого, которое выражает собою Европа, с «крупом животного», который напоминает собою «матушка Русь».

Но ведь она же «Святая Русь» по определению народа, который говорит о себе, что он «просмердел в грехах»! Вот два определения: как странно они сближаются! Мережковский такой христианин: поморщится ли он от тех страниц Евангелия, где написано, что Христос родился не в чертоге, а в вертепе, что вокруг стояли не принцессы и придворные дамы, а были пастухи, ясли, и, *terribile dictu* *, коровы, ослы и, уж верно, где-нибудь неподалеку чесалась и свинья! Какое же хозяйство и хлев без свиньи. В «такой-то простоте» сошел на землю наш Спаситель. Тут, в религии, дано повторение того же символа, какой дан и в рождении человека, «таком нечистоплотном»... Тут есть серьезная магия, о которой кому бы и задумываться, как не мистику Мережковскому? Нет, серьезно, — «звезды из навоза, а паркеты и дворцы блистают только поддельными бриллиантами».

* страшно сказать (*лат.*).

В этой обратности скрыт узел какой-то необходимости. «Все прекрасное — из смирения», «святое — оттуда же»; а из *гордости* человеческой — ничего! Тут припомним и Толстого, с его чистоплотностью. Нет, позвольте, мир и мораль можно дернуть за вожжу и сказать:

— Что церемониться! Облейся слезами, грешный и святой человек, и приложись устами к тому, на что ты плевал в высокомерии своем!

Это — о народе, который казался «образованному классу» таким «смердящим» и «грязным». Да и вообще... Очень мало понимает человек, особенно после ванны, в чистой рубашечке, да еще предварительно обрившись и постригшись. Это как-то убавляет разума. Наконец, как любителю истории культуры, и особенно древней Эллады, я замечу на прямую *тему* его статьи, озаглавленной «Матушка свинья», следующее: он не отвергнет, что Греция была самым светлым местом во всем поле древних цивилизаций. Священное место искусств, наук, мудрости и поэзии. Но эта страна имела свой алтарь. И без подсказываний он скажет, что это, конечно, — Элевзин, место священных таинств Цереры. Шиллер написал ей гимн, — ей, языческому божеству. Значит, — трогало, значит, — трогательно. Но знает ли Мережковский, что изображено на монетах Элевзина, — единственных, какие дошли до нас, т. е. на всех: свинья с одной стороны, над нею инициал имени города ΕΛΕΥ, а на другой — Церера, едущая в колеснице, запряженной крылатыми драконами! Может посмотреть в моей коллекции. На монетах же безусловно всегда изображались только предметы местных культов, специально почитаемые, специально в этом месте, в этом городе. Не удивительно ли для Элевзина изящной Греции такое почитание? Между тем кто был причастен элевзинским таинствам, тот, по словам древних писателей, «умирал не как другие люди, но с радостью, ибо умирал с верою в вечную жизнь души». Это — записано, это — точно. Но кто не заметит тут сближения с нашим народом, который, живя «свинья свиньей», умирает, как никакие другие люди, — бодро, мужественно, прямо с радостью, безгранично веруя в загробную жизнь. Да и вообще в «чистенькой Европе» все эти «религиозные суеверия» давно выметены, а у нас в «навозе русской земли» они хранятся как жемчужина, и Мережковский слишком знает, что русский народ есть последний, в котором ничего не пошевелено из религии, и не по глупости, а по серьезности его. Россия и есть последний Элевзин, единственный неразрушенный Элевзин Европы. Говоря это, я просто повторяю трюизм, то, что всем известно. Воображаю, что все это удержится, если и вычистить народ хорошо, как медную посуду к празднику; если переделать его в «образцовых финляндцев» или культурных немцев. Но есть магия вещей, магическая связь вещей. Кишок никак нельзя заменить каучуковыми трубками. Нельзя сделать, чтобы человек рождался из резинового пузыря. С глубоким инстинктом народ наш бережет свою «нечистоту» от всяких культурных чисток, помня, что звезда Востока остановилась над коровьими яслями и что вообще «навоз» человечества как-то таинственно связан со всем священным и теплым, чем живет и греется человек. Народ в этой связи не отдает себе отчета, но народ это чувствует. Само собою разумеется, однако, что «навозу» нельзя давать дорастать до краев, что его надо убирать; но, убирая, нельзя доцарапываться до «крови», и вообще тут надо поступать осторожно и, главное, совершенно надо оставить идею «убрать с *корнем* и *весь* навоз». Именно до «корня»-то и нельзя доходить, «весь»-то и опасно убрать. Вдруг все умрет, похолодеет, увянет. И не станет бессмертия души; не ста-

нет загробного существования, зашатается совесть, затоскует, страшно затоскует человек, по крайней мере русский человек.

Не станет Элевзина. Станет «Париж № 2». Не надо. Страшно.

ПОГРЕБАТЕЛИ РОССИИ

Доверенный человек Ф. П. Карамазова, пресловутый Смердяков, был погружен не в одни мистические и апокалиптические темы, о которых рассуждал со своим приемным отцом, слугою Григорием. Как известно, в этих темах он был ехиден, зол и критичен, чем раз вызвал пощечину от угрюмого Григория Васильевича. Но ехидный и насмешливый *esprit* * Смердякова иногда перебрасывался и на темы земные, реальные. Так как это было вне круга его постоянных интересов, то им он отдавал часы удовольствия и отдыха, между прочим — часы любви. Такой разговор Смердякова со своей Дульцинеей подслушал невольню Алеша Карамазов:

— Может ли русский мужик сравнительно с образованным человеком чувства иметь? По необразованности своей он никакого чувства иметь не может... Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна.

Она высказывает предположение, что он такое чрезвычайное суждение приносит как штатский человек: а будь военным, то защищал бы Россию. Смердяков вышел из себя:

— Я не только не желаю быть военным, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат.

Мнение социал-демократическое.

— А когда неприятель придет, то кто же нас защищать будет?

— Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию военное нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнего, — и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма тупую-с и присоединила к себе. *Совсем даже были бы другие порядки-с.*

Кто в этом пророческом прообразе не прочитает упорной веры наших «левых фракций»: «Если бы умные социал-демократы захватили власть в России, *совсем были бы другие порядки*». Наконец, кто в словах Смердякова не услышит звон фразы, брошенной прямо с кафедры первой Г. Думы проф. Кареевым: «Я предлагаю слово Россия исключить из думских дебатов, так как это имя оскорбляет чувства нерусских членов Думы».

Несчастливым образом в круг этого смердяковского мышления попал и добрый, бесхитростный Дмитрий Сергеевич Мережковский, у которого как-то странно закружилась голова и кружится последние годы. Я, конечно, не хочу проводить параллели между ним и Смердяковым; но бывает же, что образованный и умный человек вдруг начинает вторить безголовой толпе, воплощающей чистую смердяковщину. Так случилось с нашим романистом, критиком и философом. После многолетних занятий Леонардо-да-Винчи он, став вдруг почти социалистом,

* ум (*фр.*).

volens-nolens * повторяет «левые» тезисы о России, но только облекая их, по материалу прежних своих занятий, в апокалиптические тоны, в апокалиптическую терминологию.

Россия — мертва. Это — труп. Труп ее уже в могиле. Она все нисходит и нисходит в своей истории, но (цитируем) — «существует предел, за которым нисхождение становится низвержением во тьму и хаос. Не чувствуется ли именно сейгас в России, что близок этот предел, что нисходить нам дальше некуда: еще шаг — и Россия уже не исторический народ, а историческая падаль».

Довольно сильно. Даже яростнее, чем у Кареева и Смердякова.

И далее:

«Не мертвец, восстающий из гроба, а погребенный заживо — Россия нынешняя. Кричит, стучит в крышку гроба — и никто не слышит, только могильную землю, горсть за горстью, набрасывают и ровняют, утаптывают — холм насыпали, крест поставили. Достоевский пишет на кресте: *Смирись, гордый человек!* Л. Толстой: *Не противься злу!* Вл. Соловьёв: «Дело не в самодержавном строе России, а в текущем содержании этого строя». И вот Вячеслав Иванов в наши дни говорит: *Россия еще воскреснет Духом Святым*».

И сам Мережковский всем им отвечает:

«— Нет, не Духом Святым воскресаем, а духом Звериным, удушаюсь, умираю, — мог бы ответить погребенный. — Кричу, стучу — и никто не слышит. Уже земля обсыпалась, задавила меня. Больше не могу кричать, голоса нет. Земля во рту».

Эта последняя отчаянная фраза — «земля во рту» — взята и в заглавие всего фельетона «Земля во рту». Как крик. Как вопль. «Потрясу Россию».

Гениальный Достоевский сделал удивительный кунштюк перед политическим исповеданием Смердякова. Сперва читаешь и не понимаешь, до того это кажется ерундою. Но вот вступаешь в публицистические полемики и вдруг оцениваешь все предвидение Достоевского.

«...На базаре говорили, — передает он Дульцинее, — и ваша маменька тоже рассказывать мне пустилась по великой своей неделикатности, что Смердящая (мать Смердякова) ходила с колтуном на голове, а росту была всего двух аршин с малым (слушайте дальше, читатель!). Для чего же „с малым“, когда можно просто „с малым“ сказать, как все люди произносят? Слезно выговорить захотелось, так ведь это мужицкая, так сказать, слеза-с! Может ли наш мужик против образованного человека чувства иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я с самого сыздетства как услышу бывало „с малым“, так тогню на стену бы бросился. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна!».

Так вот оно что: «с малым» услышал, и эта неграмотность покорила его литературный вкус. Но до чего гениально! Вообразите, — «Земля во рту» написано Мережковским по поводу огорчения двумя фактами:

- 1) Воздухоплавание началось в Европе, а не у нас. У нас генерал Кованько.
- 2) В Испании одного Феррера казнили, а вся Европа закричала. У нас ежедневно вешают, а все молчат.

Но что в статье Дм. С. Мережковского мне показалось верхом остроумия, то это то, что — по крайней мере касательно воздухоплавания и Кованько — он по-

* волей-неволей (лат.).

вторяет памятный летний фельетон М. О. Меньшикова именно о Кованько и про-
рванном воздушном шаре, на котором аэронавты разбились, а касательно Фер-
рера и проч. повторяет «Не могу молчать» гр. Л. Толстого.

И все это передернув или не связав конца статьи с началом: ибо если Толстой
написал «Не могу молчать», если вышла целая книга «О смертной казни», Л. Анд-
реев написал «Рассказ о семи повешенных» да и вся вообще печать полна этой
темы, то каким же образом Россия нема перед зрелищем смертных казней?!!

Но в чем же лежит настоящий пафос статьи Мережковского? Отчего он счита-
ет Россию страной погребенною? Где, как говорят немцы, «зарыта собака»?

10 — Россия гибнет оттого, что у нас министерство Столыпина и октябристы
в Думе.

«Уходит день и приходит... А земля все стоит», — говорит Экклезиаст...

Господа, господа, — «братья-писатели!» Да ведь мы отравились «правитель-
ством». Ну, это — такой пень, что какое слово ни скажет писатель, все — на пень
глядя. Нет ему свободы, все глядит на пень. «Пень, пень повернись так; пень, пень,
повернись иначе». «Пень, дай я тебя обряжу. Пень, пень, не срубить ли тебя».
Никуда от пня. «Все от печки танцуем». Господи, какое удушение! Господи, какая
несвобода. Что оно нам, крестный батюшка, что ли? Или «родная матушка», что
нас родила? Что это мы ничего без «правительства» придумать не можем. При-
права ко всем кушаньям. Окраска всех мыслей. О, Боже, вот поистине рабство!
30 Да уж не прав ли Достоевский в ужасной аллегории Смердякова, и не изобража-
ем ли мы его, а «правительство» — гитару, на которой мы играем все арии. Ведь
эта отравленность «правительством» есть повторение чиновнического духа «все
приписывать начальству» и обнаруживает в нас не граждан, не мыслителей, не
свободных людей, а всего-навсего Акакиев Акакиевичей, — только перешедших
от переписывания бумаг в департамент к дописыванию статей в журналах!

Вспомните Пушкина: Боже, как он умел быть *свободен и независим*, стоя не-
посредственно около царя. Свободен в темах своих, свободен даже в дерзости
любви. Ибо друг Мицкевича и декабристов, написавший о себе «Памятник», он
30 знал, как рискует, написав «С Гомером он беседовал один» и еще несколько сти-
хотворений анонимного характера, где, однако, говорит гораздо сдержаннее
о царе, чем об екатерининском вельможе в знаменитом стихотворении «Князю
Юсупову».

Да, все в России «от чиновника»: даже вот и литература, и философия.
«Пень» да и только. Такие рыцари до Иерусалима не дойдут.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

<О России>

Со своего корня нельзя уйти растению: оно умрет. Оно может быть только со-
рвано со своего корня: ветром, зверем. С своей земли некуда уйти народу. От сво-
его народа некуда уйти человеку. Вот аксиомы, которые нельзя не держать в уме,
40 в сердце, начиная что-нибудь думать, говорить, делать.

Мы — русские. От этого факта никуда не уйдешь.

Больна Россия, хороша она, худа она, — все равно: она очертила круг нашего существования с такой властью, которой нельзя преодолеть. Работай, живи, люби, ненавидь в пределах этого круга, в черте этой земли.

Ни уйти от этого некуда. Ни поделаться с этим нечего.

Но есть светлый рок и есть темный рок, и светлым или темным он делается от нашего отношения к нему. Потому что по существу рок, конечно, один-единственный. Судьбу «быть русским» можно принять с ненавистием и можно принять с любовью. «С любовью» не значит с похвалою; не значит с одобрением всего, самодовольством, сытостью, квиетизмом, сном. «С любовью» — значит с великой заботой и с великой надеждою. И только. Любовь есть долг. Есть эполеты, которые «обязывают». Все это внутри, в душе, в совести, отнюдь не наружно. Кто не видел старых ворчунов-служак, кто не наблюдал кричащих, нервных работников, — которых почему-то все окружающие уважают и любят. Коллективный глаз никогда не ошибается: это любят настоящих патриотов, кровных русских людей, которые, будучи вечно в работе и встречая всюду недоделанное или скверно сделанное на Руси, ругают «порядки отечества» или, точнее, беспорядок в отечестве. Настоящий патриот вечно недоволен. Но каким недовольством? Частностями, конкретным. Никогда он не поднимет голоса или руки на целое, на все. Никогда не выразится, даже в слове, в обмолвке, против «Русской земли», «Русского царства», против «русского духа». Не выразится в обмолвке, потому что нет этого в душе. При грубости, нервности, порой при ругани «русских порядков», в душе горит вечный (никому не заметный) огонь любви, и бесконечной любви, к «русскому» в целом.

Владимир Даль, собравший «Толковый словарь великорусского языка», был преворчливым чиновником медицинского департамента, однажды накричавшим на молоденького Тургенева за то, что он опоздал явиться на службу. Вот пример. Таких тысячи.

Наша интеллигенция отравилась на этом пункте, точнее, свихнулась на нем и как бы впала в безумие. Судьбу «быть русским» она приняла как темный рок, и он стал для нее действительно темным, несчастным роком от этого ее отношения к себе. Я не могу подумать без ужаса и отвращения, наконец, без величайшего негодования и оскорбления о том, что еще недавно $\frac{8}{10}$, а теперь все-таки целая $\frac{1}{2}$ русского образованного общества думает о России, о ее судьбе и будущем, думает велительно и требовательно, практически и деятельно, под углом схем и мысли, данной из Берлина евреем Марксом. Каждый, знакомый с моей литературной деятельностью, знает хорошо, что я не имею никаких суеверий против евреев, ни страха перед ними, ни (распространенной) брезгливости к ним; но Маркс, единственно за власть, полученную им над несчастными русскими, есть для меня один и исключительно «противный жид», коего «Капитал» я не вынес бы руками из квартиры, но сделал бы это при помощи угольных щипцов или наковальни на руки перчатки. Как-то, лет пять назад, на мои одобрительные слова о «русских социал-демократах», русско-немецкая пропагандистка ответила мне:

— Зачем вы говорите «русский социализм»: такого нет. Социал-демократия есть международная партия, и в России — только ее фракция. Мы — не русские.

Хотя она была лютеранка и немка, однако родившаяся и получившая все образование в России, и ходила по фабрикам и мастерским читать премудрость Ка-

утского. Россию и русских (я заметил) она очень любила, больше, чем лютеран и немцев. Но едва заходила речь об идеях и программе, о «долге» и «ответственности», она отвечала:

— Мы европейцы. Ничего русского мы *не признаем*.

Тут именно нужно обратить внимание на то, что это «по программе». Натура девушки была неизмеримо лучше и чище ее программы. Но этот действительно противный еврей из Берлина своими арифметическо-экономическими выкладками до того захватил власть над ее душой и над тысячами русских душ, что они отреклись от своей более чистой природы и восстали против русской земли уже *в целом* по этим «директивам» из Берлина. Они образовали программу политического, экономического и социального переворота *в России*, не имея для нее *в России ни единой точки опоры*. Это — измена. Это предательство.

Поэтому я никогда бы не стал читать Маркса с целью проверить, «прав» ли он, как не стал бы вслушиваться в соображения людей, что «можно взломать двери и окна чужого дома» и расхитить его. Выкладки могут быть правы, но отвратительно самое дело. Отвратительно и преступно. Отвратительно, что на нашу историю, на наш «дом» идут с ломami и поддельными ключами, чтобы взломать его. Тут не «наука», а нападение, и отвечать на него можно отпором, а не рассуждениями. Тут борьба, в которой на сторону нападающего перебежали *русские*.

Этот ужасный факт, что наполовину русское образованное общество стало к своей земле в положение предателей ее, изменников ее, ведущих врага на ее стены, есть самый убийственный факт нашего времени, при котором сделалось совершенно невозможным движение вперед ее истории. Стало не по причинам боли и непорядков русской земли, а потому, что Маркс «сочинил такую совершенную теорию». Наполовину русское образованное общество, или по крайней мере литературное общество и примыкающее к литературе, стало «марксистским» и тянет Россию сделаться «марксистской» в учреждениях, в законах, в строе.

30 — А если *нет* — я ее ненавижу.

— Кого?

— Россию.

— Свою землю?

— Свою землю.

Вот диалог, в котором сосредоточивается самая сущность современного положения. И уже много десятков лет. Если и меньше половины общества примыкает к этому лозунгу, то зато примыкает самая молодая его часть, свежая, наивная, надеющаяся и в которой невольно положена «надежда» России, по возрасту ее. Маркс оставил корни и ствол русским и снял плод дерева, его цвет.

40 — Но, — скажут, — Евангелие также приняла Россия, и вообще есть истины «универсальные».

— Сравните Евангелие с Марксом! Евангелие говорит человеку, Маркс говорит мелочной лавочке; Евангелие занимается всем человеком; марксизм — его кошельком. Не Евангелие вошло в Россию, а Россия вплыла в Евангелие как что-то более широкое, действительно универсальное. Ни Россия, ни Европа, ни весь человеческий дух не задыхается в Евангелии, ему там не тесно, ибо как может быть тесно от лозунга: «Становись лучше»? Но Маркс считает в кармане рабочих

и заводчиков, он основал целую систему человеческой жизни на приходо-расходной книжке и приглашает меня стать таким же ростовщиком (денежником), как он сам. Это — петля: петля на шею всякого свободного человека, который не хочет жить рублем! Он к этому тянет не отдельного человека, а систему отношений, строй общества, т. е. подчиняет меня как *лицо* своему кошельку и приходо-расходной книжке. Я могу на это ответить только ударом, а не рассуждением. Потому что суть марксизма в ударе, а не в рассуждении.

«Истине» или «не истине» в его рассуждениях я противопоставляю совершенно другую категорию — «родного» и «не родного». Молодая часть общества, его «цвет», его «надежда» никак не могла становиться на его сторону потому, что это есть для России «не родное», а она — цвет и плод — выросла из русского ствола и корня и естественно должна завершить их, иметь «вкус этого дерева», «сок этого дерева», и — никакого другого. Конкретностями, частностями она может быть недовольна. Никакое дерево не совершенно. Но самое *недовольство* должно быть *русским*, а не берлинским, т. е. корениться в *определенной* русской боли, исходить из указания на определенные русские неурядицы и вообще быть *русскою работою на русской позве*. Тогда как марксизм весь есть литературное впечатление и коренится на литературной впечатлительности читателей: недаром он и «пропагандируется», недаром «читаются книжки».

И «быть русским» стало черною судьбою для нашей интеллигенции: она не-сет ее как бремя, как несчастье. Вся ее работа уходит на отрицание, на разрушение: чем выше одушевление, тем работа разрушительнее и «блага» в общем итоге становится меньше. Большая сила пороха: рвет скалы. Да. Но ни единого пригорочка не может насыпать, ни единой горы воздвигнуть, создать ни единого украшения земли. В такое-то положение черного разрывающего пороха стала интеллигенция в русской земле: без способности что-нибудь сотворить.

Говорят, много самоубийств в молодежи.

Напротив, до удивительности мало *по ее положению*: положению, из которого, по поговорке, можно только «броситься в воду». Душа затоскует. Хочется создать, а не разрушать, а созидать решительно нельзя по глубоко *островному*, не материковому, положению всей русской образованной мысли, всей русской образованности за последние 50 лет.

КУПРИН

Литература наша потеряла *здоровье* и затем — *красоту*: закон органической и духовной природы, «его же не преjdeши». Но из выдающихся беллетристов нашего времени, печально падавших «со ступеньки на ступеньку», нельзя не выделить Куприна. Его простой, не умничающий, а умный рассказ, его наблюдательность, его внимание и уважение к обыденному — все это соединяет его перо с большими старыми мастерами русского слова.

Мне не приходилось писать о его «Яме», между тем сюжет этого рассказа боковым образом касается вопросов, с давних пор мне близких. Кто из женщин попадает в эту яму? Как они сюда попадают? Это — европейская тревога, европей-

ская забота. Много великих филантропов отдали этой теме всю свою жизнь. Как рассказывают, г-жа Северова написала пьесу на эту тему, насколько она касается *малолетних*, — и написала талантливо и умно. В этой огромной области не могут быть забыты наблюдения, сделанные Куприным в его «Яме».

«Взгляните — ведь все это еще *дети*, — говорит он устами одного из действующих лиц рассказа об обитательницах «Ямы». «*Неразвитые* дети, — почти сплошь из *простого народа*». Такова гурьба, масса, в которой, однако, есть и яркие, но немногие исключения. Но о тех — особое рассуждение; они имеют *лицо*, и рассказ здесь может быть только личным, о каждой порочной такой девушке. 10 Масса же остальных глубоко безлична, шаблонна; и что касается «борьбы с ямою», то направляемая на шаблон и безличность, не берясь за неподдельную задачу побороть рвущуюся сюда *лигность*, борьба эта может опереться на слова Куприна о характерном детстве проституток. Это в огромной массе — беспризорные *дети*, попавшие сюда случайно или по несчастью, и возвращение которых на нормальный путь трудовой жизни совершенно возможно.

Давление полицейских правил и, еще больше, распространенный и ни на чем не основанный предрассудок, будто девушки «Ямы» и ям лишены *общей нравственности*, не имеет всего очерка, всего округления *нравственного в себе лица* — мешают все более возврату их в чистую, здоровую жизни! Их не берут в работу, 20 в ремесло, в трудовые заведения и артели; и им ничего не остается более, как продолжить раз начатый промысел. В этом отношении наблюдения Куприна чрезвычайно ценны. Печальное их ремесло есть действительно какой-то придаток к личному существованию, отнюдь не входящий вообще язвою во все существо девушки. Правдивость, доброта, участливость к соседям, простой и ясный взгляд на вещи, способность к хорошему и верному товариществу, большая денежная честность и аккуратность — черты, не исключенные из личности так называемой «павшей девушки». Попадают исключения, но эти исключения есть, и есть не в меньшем проценте, в сплошной массе остального женского населения. Остается важным наблюдение, что как ремесленницы, как кандидатки в ремесло 30 и услужение они не стоят ниже прочих сверстниц *лигно*, в *душевном огерке*. В них только прибавлено решительное равнодушие к тому, в пристрастии к чему их подзревают, и с такою уверенностью, совершенно ложной!

Здесь — главное наблюдение Куприна.

Что такое подобная девушка в натуре своей? Слабополая или вовсе бесполоя! Само «падение» совершилось по некоторому равнодушию к своему полу, — потому что пол не ощущался его носительницею как что-то большое, важное, ценное, заслуживающее сохранения! «Так себе, как и все прочее в человеке», как пускаемые в ремесло «руки» и «ноги», и «голова». Как только пол не выделен 40 в своей ценности — так образовалась естественная «проститутка»; как мужчины, не имеющие вообще серьезного взгляда на свой пол — ведь вообще все суть проституты, т. е. делают точь-в-точь то самое, что эти несчастные девушки. Но казнь (общества) почему-то падает не на тех, кто *сверху*, кто коновод всего движения, кто есть «покупщик», а на покупаемый товар, воистину несчастный.

Девушки эти не суть *лигно* павшие существа, но *общественно* павшие, и исцеление всей этой громадной язвы вполне возможно. Это просто — «осушка местности», «поднятие почвы», и как в полях, в низинах — оно совершается через простую подсыпку земли. Обыкновенно — «спасают личности». Но все это

именно *не лигное* дело, и «личностями» здесь нечего заниматься. В трудовом и энергично работающем, наконец, успешно работающем составе людей их не зарождается. Они появляются как «гриб в сырой местности» везде, где есть праздность, лень, разгул, незанятое время, лишние деньги. Подробнейшие, до мелочей, до «невыразимого» расспросы этих девушек могли бы убедить, что они удовлетворяют не нужде населения, отнюдь не его половому голоду, как думают вообще и везде, а только праздности и разгулу мужского населения! Именно *нужды-то* тут и нет: вот открытие.

Нет *нужды!*

Эти девушки отнюдь не *навшие*: полный очерк души в них сохранен!

10

Они вполне способны к нормальной, обычной жизни, бытовой, сословной, классовой, всякой; не унижат собою ремесла и круга товарищей. Только «осушите почву», т. е. праздность, разгул, участие лишних денег и фантазии.

Это — сверху, от «господ».

Снизу как служанки им подымаются навстречу субъекты с врожденною недоразвитостью в себе пола, умалением его, слабостью его, равнодушием к нему, вялостью в нем. Это — не *охозие*, а самые *мало-охочие* в данной линии деятельности.

Ослабление, болезнь, изнеможение; хилость, вялость; и — ни искры огня. Вот сущность. Тут вовсе нет пламени. Это сплошная «слякость». Из этой сущности вытекает совершенная возможность борьбы и полной победы. Разумеется, при этом останутся те, которых я выше назвал и отделил как особые «личности». Клеопатру египетскую ничем нельзя было бы повернуть на другой путь. Но таких, естественно, немного, и обществу вовсе не для чего с ними бороться. По немногочисленности они и безопасны. Проституцию можно победить не как *лигное явление*, а как *общественное явление*. И общество, как только перестанет заниматься биографиями и кинет мысль спасти «кающихся (мнимо) Магдалин», а вместо того перейдет к «общим условиям» — победит эту вековую свою язву.

20

Вот высокоценные выводы, к которым привел нас наблюдательный г. Куприн.

ПОТУХШИЕ ОГНИ

30

Рассказ Куприна «Яма», посвященный описанию проституции и размышляющий о проституции, вызвал критическую оценку, как литературный труд известного и даровитого автора. Но описанное им явление, которому посвящены силы тысячи умов во всех странах Европы, заслуживает специального к себе внимания, специального о себе слова независимо от качеств литературного произведения, хотя и в связи с ним. Всякий будущий исследователь этого тяжелого и мрачного явления не забудет «Ямы», и, может быть, ее именно возьмет исходною точкою фактического и идейного освещения дела. «Судьба русской проститутки — о, какой это трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь. Здесь все совместились: русский Бог, русская широта и беспечность, русское отчаяние в падении, русская некультурность, русская пошлость, русское терпение, русское бесстыдство». Действительно — это огромный бытовой узел, огромное скопище

40

национальных черт, выразившихся в этом особенном положении, и нельзя не думать, что в каждой нации, в каждой стране, в каждой религии и в каждой культуре и эпохе проституция складывается на свой лад и приобретает свой колорит. Напр., рассказ его начинается историей той «ямской слободки», — как говорят, определенной улицы в Киеве, — которая теперь вся застроилась домами терпимости, и которая положила зерно делу: «Давным-давно, задолго до железных дорог, на самой дальней окраине большого южного города жили, из рода в род, ямщики — казенные и вольные. Оттого и вся эта местность называется Ямской слободой, или просто Ямской, Ямками, или, еще короче, Ямой. Впоследствии, когда паровая тяга убила конный извоз, — лихое ямщицье племя понемногу растеряло свои буйные замашки и молодецкие обычаи, перешло к другим занятиям, распалось и разбрелось. Но за Ямой на много лет — до сего времени — осталась темная слава как о месте развеселом, пьяном драчливом и в ночную пору небезопасном. Как-то само собою случилось, что на развалинах тех старинных, насиженных гнезд, где раньше румяные разбитные солдатки и чернобровые сдобные ямские вдовы тайно торговали водкой и свободной любовью, постепенно стали вырастать открытые публичные дома, разрешенные начальством, руководимые официальным надзором и подчиненные нарочитым суровым правилам». Очень важный очерк, и, конечно — отвечающий факту. Куприн, устами репортера-резонера, в конце рассказа спрашивает: «прекратится ли когда-нибудь проституция» и «что это за явление в его сверхчеловеческом безобразии». Обратившись к первым строкам собственного рассказа, он ясно бы увидел, что тут есть расслоения, — и что вопрос резонера его рассказа не имеет ответа только по неточности самого вопроса, по его неопределенности. «Солдатские женки» и «чернобровые ямские вдовы», конечно, всегда были, и, если хотите, это была проституция; а, в то же время — это и не была проституция. Она не давала темы для того патологического рассказа, каким является «Яма», для ужасных вздохов и стонов, и автора, и читателей. Много песенок, собранных первым их собирателем Новиковым, — песен городских, развеселых и разудалых, иногда грустных и сентиментальных, — вышло из таких «ямских слободок» и «солдатских слободок», где любовь цвела из-за денег или около денег, небольших, а иногда и порядочных, а иногда и вовсе без денег, в формах пошлых и идеальных, смотря по человеку. «Товара» не было, «лавочки» не было, запатентованной и зарегистрированной, куда 1) приходят, 2) берут, 3) платят и 4) уходят, — без памяти, без песни, с анекдотом вонючим, а не с рассказом пахучим. Эта новая проституция возникла совсем недавно, когда стало все «упорядочиваться», и, конечно — через начальство. Рассказ Куприна очень верно, инстинктивно-верно начинается с разговора околоточного Кербеса с содержательницей дома, и с получения взятки в сто рублей за недонесение о взятии в дом несовершеннолетней. Тут и несовершеннолетняя — вздор, и взятка — вздор, т. е. побочное, несущественное: важно, что на первый план выступают полицейский и содержательница дома, взаимодействующие, взаимопонимающие, взаимопомогающие. Они и есть, как говорится о древних хорах — «корифеи» проституции, выводящие за собою девушек, заморенных, усталых, на продажу по типу лавочки и торговли. Лавочка и торговля учреждены совсем недавно, совместными усилиями государства и медицины, — при негласном «благословении» церкви. Читатель удивился последнему: голоса церкви не было слышно. Да, но идея ее живет тут: «солдатских же-

нок» и «чернобровых вдов» она не отстояла, не защитила как живое самостоятельное лицо, с правом на дальнейшее существование. «Человек, в сущности, животное многобрачное, и даже — чрезвычайно многобрачное», говорит Куприн устами того же резонера. Это не так — в целом, преувеличение: потому что есть мужчины, которые при полной возможности, при полном праве — и не коснулись проституции, да и не коснулись вообще никакой женщины, кроме своей жены. Человек коронует живой, органический мир: и все типы любви, от абсолютной моногамии у голубей и лебедей, до абсолютной же полигамии у других животных, встречаются у человека, и по закону именно коронуемости животных человеком — должны встречаться и будут встречаться извечно. Давно это пора принять в фундамент суждений об отношении полов и государству, и обществу, и церкви: в Библии, где на первой же странице установлен брак как половое притяжение, как родительская связь, рождающая связь — не установлена нумерационная сторона брака: и евреи, которые знали *свою* Библию не хуже же нашего, никогда и не ставили вопроса о нумерационной стороне семьи. Моногамная семья, строго моногамная, установлена впервые в истории цивилизации Римом, римским правом, римскою юриспруденцией, — и, заметим, римская семья, в конце концов, и повалилась, изолгалась и развратилась под действием этого требования, которое никогда не могло быть исполнено по несоответствию натуре человека в указанной выше дробе ее. Эта дробь и разрушила римскую семью, как не истинную. Восточное христианство было созерцательным, «пустынножительным», и практическими вопросами, в частности вопросами семьи и брака, не занималось, упоминая о них нехотя и небрежно: напротив, западное практическое христианство занималось ими много. Но оно выросло на почве Рима. Католичество взяло римскую формулу семьи — абсолютную моногамию, и по возможности без развода, — думая, что она подпирается и тем фактом, что Ева *одна* была создана для *одного* Адама. Но, конечно, если бы для Адама было создано две Евы — это предписывало бы полигамию всем людям, обязывало бы всех к ней, что противоречит натуре человека в голубиных и лебединых ее особях. Бог не связал так человека: и вот это все, что означало создание одного Адама для одной Евы. Но статистика всемирно доказала, что рождается на каждых 100 мальчиков 103 девочки, — и эти «3» никак и никем не обречены же на вечное девство, на бесплодие, на «дурную траву — из полявок», — «вон» из памяти человеческой и рождения всемирного. Законы природы тоже что-нибудь значат, и, при внимательном рассмотрении, они никогда не противоречат закону Божию: «3» сверх нужных для абсолютной моногамии «100» девушек и составляют тот остаток для полигамических инстинктов, которые вовсе не так многочисленны, если отбросить распущенность и дебош: но чрезвычайно упорны и, так или иначе, «находят свое». Эти «3» сверх «100» образовали собственно и ту слободу «чернобровых вдов» и «веселых солдатских жен», они вообще образуют в каждом обществе и в каждую эпоху некоторый женский остаток, который должен быть бережно сохранен и защищен, и государством, и церковью, конечно, не для девства и бесплодного засыхания, абсолютно никому не нужного и не интересного, — а для пользования ими «в час, его же не знает никто, только Отец Небесный». Я пишу совершенно серьезно, и хочу выразить ту мысль, что половой инстинкт, который не есть только родовой, «потомственный инстинкт», но и заключает в себе некоторую «сказку, сущую в себе», — нельзя рассматривать как железно-

дорожный поезд, «идущий от Петербурга до Москвы со скоростью 24 версты в час», и поэтому его не удавалось и никогда никому не удастся поставить на рельсы. Это и хорошо, в этом и истина. Печально было бы, если бы дети рождались из машины: такие дети были бы машинные же, куколки на пружинах, а не люди. Половой инстинкт — океан и буря, с электричеством, но и с тишью, гладью, с невыразимой прелестью и красотой в нем. «Всего есть». И так и должно быть: иначе все было бы мертво и безжизненно в нем, а через это — мертво и безжизненно и во всем рождающемся.

Вместо того чтобы охранить и сберечь этих «3» сверх «100», церковь взглянула на них с враждою, презрением и отвращением. Это — сор, мешающий поезду двигаться, мешающий машине идти. И она ничего не имела против, т. е. молча одобрила и «благословила», когда государство и медицина, на этот раз безглазая, — взяли в свои жесткие руки этот женский остаток, в свой надзор, опеку и наблюдение. Государство же, войдя в эту сферу, сделало то, что оно всегда делало, куда бы ни входило: преобразовало существа с лицом и биографией во что-то безличное и имеющее вместо истории жизни формуляр о «службе». Оно преобразовало «солдатских жен» и «чернобровых ямских вдов» в послужных «чиновниц», с полезной или необходимой функцией для общества. Так появилась «проституция» XIX-го века и «дом терпимости» этого же столетия. Это не мировые явления, не вечные, как думает Куприн: смешивать это явление, местное и недавнее, с фактом всемирной и вечной свободной любви, свободной отдачи себя за плату — невозможно. «Наследник престола в Турции должен быть сыном рабыни, купленной на рынке»: эта-то «за деньги купленная женщина» и есть первая жена Султана. Когда я прочел это в каком-то очерке, то изумился закону: но сейчас же все понял, сообразив, что ведь «мусульмане суть *агаряне*», происходят от Измаила, сына Агари, купленной возлюбленной и вместе рабыни Авраама. «Наследник турецкого престола и будущий падишах правоверных должен быть рожден строго по типу рождения Измаила, т. е. от продажной любви: это есть самая аристократическая, единственно аристократическая и вместе мусульманско-церковная форма рождения, происхождения, брака. Но ведь Турция просуществовала пять веков и потрясла Европу войнами, мужеством, здоровьем. О порочности турок и вообще мусульман, о развале у них семьи — ничего не слышно. Неужели же эту «любовь за деньги» мы сблизим с европейскою проституцией, а их семью — с нашими домами терпимости. Архаическая, самая священная форма брака у евреев есть не маленькое подобие нашего венчания, — крошечный обряд с раввином, введенный подражательно: давая монету девушке-невесте, именно одну монету, наш рубль, юноша-жених произносит: «Беру тебя, дочь Израиля, в жену себе по закону Моисееву». И брак был кончен и не расторгим — до первого желания мужа, который мог расторгнуть брак без повода, по формуле: «ты (жена) не угодна в очах моих». Это — типичный проституционный акт: «беру тебя, пока ты мне нравишься, беру за рубль». Но семья и у евреев не разваливается. Дело в том, что «священный брак», религиозно-освященный, у евреев, как и у других восточных народов, развился непосредственно из «священной проституции», которая на самом деле проституцией в нашем смысле, в нашем значении, с нашим вонючим запахом — отнюдь не была. Хотя была: 1) временною любовью, 2) за деньги. Куприн смешивает имя с делом. Имя «проституции» всегда было: но того ужасного явления, которое у нас существует

под этим именем, глубоко неприличного, отвратительного до невозможности произнести это имя в обществе, в семье, до боязни произнести его в литературе — никогда не было. Оно <появилось> совсем недавно и обязано происхождением своим «благопопечительности» государства и «мудрости» медицины.

* * *

Обратимся к теперь, к нашему. Что такое теперь проститутка? Рисунок Куприна очень не полон, и едва ли фотографически верен. Между тем, здесь было бы чрезвычайно важно собрать возможно больше литературных фотографий, по мере возможности — собрать живые, натуральные слова. Важны обычаи, нравы, времяпрепровождение. Важны песенки, анекдоты. Медики давно обязаны были бы, хотя на латинском языке, описать все эксцессы, какие совершаются здесь, и кем совершаются, лицами в каком возрасте, положении, с каким образованием. У Куприна есть об этом страница и одно мимолетное замечание в шесть строк: но обличающая «профессоров и адвокатов» и всех сословий людей страница — так горяча и вместе так обобщена, что не дает читателю ничего существенного. А оброненное замечание именно оттого, что оно кратко, дает мысль, что это «случай и исключение», тогда как на самом деле это и не случай, и не исключение, а $1/2$ всей проституции. Вообще мы вовсе не знаем, «что именно совершается» в этой области, а оттого не знаем ее и вообще, — иначе как схематично и отдаленно. Что же такое теперь проститутка? и кто становится ею? ¹⁰

Кроме небольшого процента как бы продолжательниц древней священной проституции, — древних Клеопатр из простолюдинок, — огромнейший процент их, подавляющая и основная масса, образуется из девушек врожденно слабого пола, недоразвитого, некрасивого, незначительного, безжизненного. Без лица пола. Это-то *безлигие* пола, стертость лица в нем, индивидуальности, — и есть производитель теперешней нашей проститутки. ²⁰

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

<О книге А. Котовича>

Появилась очень ценная историческая работа — «Духовная цензура в России. 1799—1855 гг.» г. Ал. Котовича, огромный том в 630 страниц убористой печати и большого формата, цена коему назначена несоизмеримо низкая — 2 р. 75 к. Есть же у нас авторы, типографии и издатели, которые трудятся с терпением и бескорыстием, встречаемым только в пчелином и муравьином царствах. ³⁰

С обычной обстоятельностью питомцев духовной школы г. Котович написал, по архивным документам, историю русской духовной или, вернее, церковной цензуры, введенной Петром Великим одновременно с учреждением Св. Синода, и в том же «Духовном регламенте», который сделался у нас уставом церковного управления. Эпиграфом взяты слова Мильтона, великого творца «Потерянного

рая» и одного из основателей английской умственной свободы: «Человеку прежде всяких льгот нужно право свободно приобретать познания, свободно говорить и свободно судить о вещах сообразно своим убеждениям». Автор взглянул на свою задачу не с той пошловатой точки зрения, которая у нас сделалась почти исключительной: что цензура в самом факте ее есть *анекдот*, а ее история представляет восхитительное поле для рассеивания цветов остроумия. Таковы были работы по цензурной истории Скабичевского и Лемке. Г. Котович взглянул на дело совсем с другой стороны: «Если в свое время в цензурные архивы сдавались на хранение, вместе со всякого рода литературным мусором, самые оригинальные рукописи и в протоколы заносились мысли, не вмещавшиеся в параграфы цензурного устава, то теперь возможно и целесообразно изучение при посредстве этих архивов и протоколов самых нежных движений духа, наиболее чутких предвидений, самых искренних порывов в религиозной области. Собрать все невысказанное, недоговоренное по независевшим от авторов условиям, проследить влияние гнета на гибель полных жизни и силы талантов, засвидетельствовать объективный характер их сетований — не значит ли осуществить цель, имеющую положительное историко-литературное значение? Наконец, в этом своем положительном моменте не может ли исследование о духовной цензуре послужить и оправданием добра, заложенного, но не раскрытого в подзаконной деятельности наших отцов? По своему психологическому состоянию каждый носитель назревших для своего времени взглядов, убежденный в их правоте, но не выразивший, ввиду царившего гнета, всего своего содержания, испытывает в той или другой степени трагедию Иова. Горькое сознание того, что „дни мои прошли; думы мои — достояние моего сердца — разбиты“, порождает последнее желание: „О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны они были в книге“ (Иова, главы 17, 16 и 19). На архивных кладбищах воскресают писатели, и из цензурных протоколов несутся к нам живые голоса невысказанных убеждений. И, посвящая эту книгу — книгу взвешенных воплей и обсужденных страданий — как первый дар любви заживо похороненным и их разбитым думам, мы начинаем творить для них и их могильщиков суд беспристрастной истории».

Так говорит достойный автор в своем достойном предисловии. История цензуры — это, конечно, не арена для шуток какого-нибудь малообразованного Лемке, это — трагедия-хроника, требующая себе от историка вовсе не водевильного тона. В огромном томе г. Котович собрал материалы для одной части этой цензуры — именно *духовной*, и за годы от 1799 до 1855 г., т. е. за два царствования, в значительной степени слитые единством. Но это *в наужном отношении*, может быть, самый ценный отдел истории цензуры: дело в том, что светская цензура обрывала душистые цветочки около повестей, драм и т. п., портила *орнамент* мастерства, не задевая мысли или незначительно ее задевая; ибо запрещения и гонения на *цельные произведения* редко имели место. В книгах же церковного и богословского характера уничтожалось не украшение, а *мысль, строй идей*, направление в *разрешении вопросов самых трудных и высоких*. Извлечения из архивов, чтение и напечатание обвинительных постановлений цензурного комитета, с большими *цитатами из обвиняемого сочинения*, — могут сохранить для нашего и будущего времени очень ценные обрывки глубокой умственной работы прошлого.

...Где главный источник духовной цензуры, откуда выползали самые ядовитые ее скорпионы? Из высокаторжественности. Не из представлений об истинном или ложном, полезном или вредном, а из того, что «все сие дело», т. е. духовное дело, иерархи представляли себе до того важным, так сказать сановным, до того «при мундире и церемонии», что малейшее отступление не только от традиционного образа мысли, но и от традиционного образа выражений, слов, построений фразы казалось им столь же недопустимым, как недопустимо натуральное слово, слово от себя, или неловкое, хотя бы и благонамеренное движение или шаг на торжественном выходе при приеме иностранных послов или в обрядах крещения и венчания... Духовенство со страшною боязливостью очень рано и торопливо создало *обрядовое слово*, — и за ним спряталось, как за стеною, наиболее обеспечивающей, спокойной, безопасной и неуязвимой. Создав этот обряд торжественных слов, туманных и высокопарных выражений, иногда с совершенно неясной мыслью, создав их применительно решительно ко всему, к изложению священных событий, к упоминанию священных лиц, к наименованию священных предметов, к изложению диссертаций и учебников, церковь и создала цензуру не столько для «пресечения вольных мыслей» (куда уж там), сколько для хранения этого обрядового слова, позлащенного слова, этого бриллиантового слова, сиявшего «яко драгоценное камение на драгоценной митре». Так что о «ходе мыслей» тут не было уже и речи, до такой глубины и не добрались. «Хода» не допускалось, допускалось только «шествование». И все или большая часть цензурных коллизий и возникала на почве встречи натуральной рабочей мысли с великаторжественными словесными ожиданиями. Цензура была не логической, а риторической, до «философского отделения», говоря языком устройства старой бурсы, она не поднималась. Таким образом отношения к книгам и сочинениям можно единственно объяснить, напр., возникновение весьма «секретного дела о противозаконном переводе ветхозаветных книг» знаменитого протоиерея Павского, профессора Петербургской духовной академии и наставника цесаревича Александра Николаевича. За этот перевод — совершенно верный, и не рассматривая верности или неверности его, — с него хотели снять священный сан! Почему? Приблизительно по такому рассуждению: «Дело это великое, перевод. Оно уже сделано, употребляется в церкви, употреблялось века. Как же можно решиться вновь переводить? Чтобы исправить ошибки? Но сия дерзкая мысль уже содержит утверждение, будто ошибки были и не замечались: за какую дерзость виновника следует приговорить к тому-то и тому-то». Основной же вопрос «Да есть ошибки или нет ошибок» — и не поднимался, и не занимал никого. Это — риторический метод, а не логический и не фактический.

И он родился не сам собою, а отразил общее состояние церкви. Мы хотим сказать, что русская духовная цензура и ее история непременно и должна была быть такою, какою была, и только такою, никакою еще иною. Иерархия наша, олицетворявшая собою церковь, всегда витийственно, — шествовала, не взирая, что под ногами, и не взирая, что вокруг. Было самоупоение великими словами и торжественными жестами. Было что-то подобное пению соловья, который поет всего лучше, если закроет глаза. Народ пал, и давно пал на колени перед сим «торжеством славы». Что же еще оставалось?.. «Господи, как хорошо: не построить ли кушу для сего пребывания в вечном покое». К этому положению дела и примыкала деятельность цензуры. Цензура, цензоришки — низшая и незначи-

шая должность монашескочиновной службы должны были наблюдать, чтобы со стороны кто-нибудь и как-нибудь не произвел беспорядка в этом «велелепии», по глупости, по незнанию ритуала, по дерзости, вольномыслию и проч. Торжество, слава, великолепие, красивость, все и должно было течь «в статью» к этому, «в тон» с этим, и никак еще...

Причем же тут могла быть наука?

Философия?

Богословское мышление?

Ровно ни при чем... «Профессор соловью не товарищ».

10 Их и не было. Или они — не допускались. Иначе как «класс должности» и «мундир службы». Вот внутренняя душа «Истории духовной цензуры в России».

«СЕ ЧЕЛОВЕК»...

На мрачный гроб русской духовной цензуры, очерченный г. Котовичем, мне хочется положить одну маленькую незабудку.

Это из личных воспоминаний.

Ах, русское духовенство, русское духовенство: и ненавидишь его, — иногда ненавидишь всеми силами души, — и любишь. И нельзя оторвать одного, нельзя заглушить другое.

20 Приезжаю я в Александро-Невскую лавру. В бумаге завернут том первый моей книги «Около церковных стен», только что отпечатанный. Насовал я там всяких колючек духовенству под пазуху. Только напечатал и думаю: «Не пропустит цензура, сразу же не пропустит».

Издание стоило страшно дорого. «Все затраты пропали». Жаль и мыслей: многие были чрезвычайно дороги мне, не по самолюбию, а деловым образом.

«Умрет моя бессмертная мысль. Книга горит: это душа моя горит».

Горюю. И боюсь. И стучусь в дверь цензора.

Долго не отпирали. Потом отпер какой-то засаленный мальчишка. Должно быть, послушник. В длинном.

Учтиво спрашиваю:

30 — Отец архимандрит дома?

— Гуляют!

— Гуляют?..

— В монастырском саду.

Ах, Боже мой. Что же теперь делать.

— Да где сад?

— А вот тут недалече. За стеной.

— Да почему же они гуляют?

— А пообедали и гуляют.

«Пообедали!». Но ведь я приехал еще утром и был всего час дня.

40 — Может, пройдете туда? — это он спрашивает.

— Ну, что же. Попробую.

Прошел. Приотворил калитку. Сад огромный и красивый. Весь пустой, тихий. Приглядываюсь: и вижу далеко-далеко бредет по аллее темная фигурка.

Не будь я с «виной» под мышкой, — подошел бы, поздоровался. Но я держу в руках книгу, обвиняющую меня: как же я пойду тревожить с нею начальство? Конечно, рассердится и не пропустит!

Затворил калитку и вернулся в келью. Сажу мрачнее тучи. На душе мысли скребут. «Целых две тысячи рублей пропало».

Чей-то голосок спрашивает:

— Вам что?

Поворачиваюсь. Еще монах.

10

— Книгу надо пропустить. — Называю фамилию и заглавие книги (полный криминал). — Вот и жду старшего цензора.

— Зачем?

— Чтобы он подписал. Билет там что ли выдал. Вообще, что духовная цензура не препятствует.

— Ну? — точно не понимает.

— Боюсь, цензурна ли. Дорого стоило печатание. Вдруг запретят.

— Так зачем же запрещать?

— А если не цензурна.

— Пустяки. Отчего не цензурна. Давайте сюда.

20

Я подал.

— Отец архимандрит, при котором я состою помощником, высокой созерцательной жизни человек, и его отвлекать по-пустому не подобает. Он занят богомысленными размышлениями...

Он взял перо и попробовал о бумагу качество. Обмакнул в чернильницу.

— Вот мы ее и пропустим.

Так красиво растянул слова.

— Не читавши??!

— А для чего же читать. Ведь вы хорошо пишете?

И чуть-чуть смеется. Я взглянул на него. Не старый, почти молодой. Волосы белокурые. «Брада» и все такое, как следует. Полон. Бел. Но не очень, в меру.

30

«Се человек», — подумал я. И сказал вслух:

— Как бы вам в ответ не попасть. Ведь закон... правила.

Он улыбнулся совсем широко:

— А какие же мне «правила», когда я монах. Мы живем по благодати, а не по правилам. Закон — для внешних.

И смеется. Чуть-чуть с лукавством, но добрейшим. И весь он вообще имел что-то деликатно-русское в себе. Ни тени грубости; о цинизме и вспомнить было нельзя.

— Только вы мне за это вот что: напишите рецензию на сочинение моего товарища по семинарии, священника (такого-то, имя забыл) — «Об Арсении Мациевиче». Основательный труд, деньги затратил, а он — семейный. Писал же по первоисточникам.

40

И он «одобрил к обращению» мою — «Около церковных стен».

Я взял серенькую книжку об Арсении Мациевиче с самым пылким желанием написать рецензию. Прочел — полна интереса и труд, конечно, компетентный. Начал я писать рецензию. И лишь оттого, что таковое писанье «по просьбе» мне

пуше ада противно и тягостно, я так и не исполнил все-таки долга перед добрейшим отцом А. Вскоре он был переведен куда-то на юг, настоятелем монастыря: и оттуда еще раз напомнил о своем семинарском товарище.

И еще раз захотел я исполнить. И еще раз не исполнил. Верно, он меня осуждает теперь.

* * *

10 Так что на смертных полях цензуры есть и цветы. И когда Господь призовет на Страшном Суде всю духовную цензуру к ответу: «Что ты сделала с русской религиозною мыслью», то седые старцы и строгие, изможденные постом лица, выдвигая вперед отца А., скажут:

— Господи! Но ведь и Содом обещано было пощадить, если в нем найдется десять праведников! Вот отец А., вот и еще. И, найдя несколько таковых же, возопиют хором, «соборне»:

— Не все мы были грубы и жестоки. Были и милостивцы среди нас... Ради сих добрых не взыщи, Боже, и с остальных.

КРАСОТА-ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА

20 Рассматриваю недурные портреты Кромвеля и Мильтона, приложенные к декабрьской книжке «Вестника Европы». Если чем новая редакция старого журнала может похвалиться, то серией подобных портретов заграничной работы, которая за год, за два даст читателю целую галерею замечательных лиц, русских и европейцев...

Портрет Кромвеля напомнил мне знаменитую биографию его, — собственно ряд комментированных писем, — изданную Карлейлем. Милтон — мягкое и благородное лицо; но Кромвель...

И я вспомнил начатки русской свободы, взглянув на эти портреты основателей великой английской свободы. Ах, лица человеческие, лица человеческие: как много они говорят!

30 Кромвель — это все сметающая сила. Маленькая бородка клинышком, волос редок, лицо, должно быть, бледное, под кожей ясное строение костей, т. е. мяса немного, — и весь он костяной и нервный. Взгляд... необыкновенной решительности и упорства! Вот о ком сказать: «*Regis voluntas suprema lex este*» *.

Но он не был королем, а, как пишет Иловайский, «ограничился титулом протектора республики». Как это красиво звучит: «протектор республики». В одной половине титула — королевское значение, в другой — признание суверенитета республики. Но я заговорил о политике и титулах, когда мне хочется сказать только о портретах.

* «Воля короля — высший закон» (лат.).

Ну, как ни самолюбив Павел Николаевич Милюков, Кромвелю-то он уступит? Его все-таки победили два каких-то хулигана, тогда как Кромвель не был никем побежден. Потом Милюков привлек победителей своих к ответственности перед мировым судьей... К чему их приговорил судья — неизвестно: но ужасно некрасивая страница в биографии протектора русской свободы.

Почему же она, несчастная, не удалась? почему она увяла? кто ее увялил?

Некрасивые лица... Боже, что значит красота в истории? Идет она в победной колеснице: и руки опускаются перед нею, ноги бегут навстречу, в горле спазм и все сливается в реве приветствий, восторга безотчетного, неудержимого, глупого, счастливого. Все счастливы, что любят красоту, все счастливы, что она перед ними во всем озарении побед и счастья. 10

Победа всегда красива, счастье всегда красиво... Наша русская свобода нечаянно «вбежала во двор», в отворенную калитку, — как беспризорная собака с улицы, и, вбежав, начала сейчас же кусаться и гадить. Помните красные журналы на Невском? Ни одного остроумного слова, ни одной талантливой страницы. Знаете ли, не было ни одной *одушевленной страницы!* Что за фатум — непостижимо. Но ни одного великого слова за дни удивившей всех и абсолютной свободы печати не было произнесено.

Новый рассказец Горького, уже начавшего надоедать в то время Горького, и напыщенный риторический рассказец Л. Андреева. Господа, а Англия встретила свободу «Потерянным раем» Мильтона! 20

Не было красивого... Не было в самой встрече, в первом моменте свободы.

О, потом могло пойти похуже, поплше, как всегда бывает в истории: но необыкновенно важен первый шаг какого-нибудь напора, новой силы, нового начинания.

Ужасно, что это «прошмыгнуло в дверь», — помните, при Святополк-Мирском. Вбежало. Потом началась бутафория. Помните 9 января: как ужасно, что оказалось потом, ведь с несомненностью оказалось, что все это были дутые слова и дутые мечты, все это «несение икон» и «портретов». Как ужасно, что все началось с *подделок!* 30

Не было изящества: не было изящества души и лиц! «П. Н. Милюков и Кромвель»: ну — и *finis*. Все пошло, как пошло, все случилось, что должно было случиться.

Не спорю и не защищаю ничего из того, что раскрылось в японскую войну: но это *ликование* при всяком раскрытом новом воровстве, при всяком обнаружении трусости и бездарности!! «Побито 1000 солдат: но командир бежал и получил орден»: в этом стереотипе событий никто даже не вспомнил, что ведь тысяча-то простых русских людей все-таки бились, умерли, иногда жестоко умерли! Все было забыто: восторг, что генерал бежал или вот кормился молоком от какой-то коровы, а главное, что он получил орден и за это можно кого-то хоть анонимно выругать — заливал все собою, доминировал над всем, и Россия решительно ликовала. Т. е. не Россия, а кто «делал ее свободу». 40

Цинизм, хохот, ненавидение... Ругань всех и вся, гул ругани от моря до моря... И ни одной строки, как у Мильтона.

Мы не научились (ранее не научились) быть благородными: и свобода, которая есть благородное явление и удел благородных, — минула зараженный дом наш и куда-то скрылась. Вот наша история, как она есть.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Чего же нам не хватило для получения, для осуществления свободы?
Героической личности.

Героическая личность не та, которая непременно преуспевает, которая побеждает. Это не непременно талант, гений. Она может быть довольно обыкновенных способностей. Героическая личность в *тоне* действий, слов, отношений, всего, и, вчерне, она выражена в том, что подобный человек, обыкновенно с юности, с рождения о всем мыслит необыкновенно, вот именно «героически». Герой всегда серьезен.

10 Вот это-то у нас и было подгноено с корня. С весны, с «незапамятных времен» нашей истории, героическому негде было расти, но особенно негде стало ему расти с появлением язвительного смеха в нашей литературе. С детства ведь все читали и *смеялись* персонажам Грибоедова, потом явился Гоголь: захотали. Начал писать Щедрин: «подвело животики!» Ну, где тут было замечаться юноше? А без мечты нет героя. Без воображения, без великого дара надежды, без странного, может быть, обманчивого представления о людях, как о достойных существах, не может зародиться герой.

У юноши с 14 лет «подводило животики» при всяком чтении, а в 19 лет появилась кривизна губ, желтизна кожи, взгляд раздраженный и презирающий.
20 Чиновник или писатель в 29 лет решительно презирал все в России, кроме себя и той «умной книжки» (термин Чернышевского), которую он читал.

Ну, можно ли было с этими «Печориными» в 29 лет приступить к осуществлению свободы? Свобода — это юность, это свежесть, это надежда и любовь. Это требование свободы для людей в силу безграничного *уважения к ним*. Но ведь у нас *никто не уважал никаких людей*. В этом-то и центр всего дела. У нас были отдельные кружки, уважавшие себя и своих членов, непременно только своих. *Общерусского уважения* не было. Вот где сгноился корень русской свободы!

Объяснюсь примерами. Белинский после известного своего письма к Гоголю (где он его упрекал за «переписку с друзьями») говорил, досадуя на себя и разочарованно: «я завыл волком в нем, защелкал зубами, как шакал». Это было незадолго перед смертью, когда он был болен, измучен, раздражен... Но причины — одно, а дело — другое. Сущность в том, что Белинский в нем действительно «завыл» тем демократическим и вместе чахоточным тоном, музыку которого мы слушаем вот 50 лет. Сейчас перейдем от него к тому, что говорил, писал и делал Грановский. Грановский ничуть не гениальных способностей человек. Но он до сих пор стоит одиноко-обаятельной фигурой во всей, если можно выразиться, «цивилизации русской», во всей образованности русской, во всей истории русского духа и русских дел, — потому что почти *один* он представляет типично героическую личность, как мы очертили ее выше и как она есть на самом деле.

40 В сочинениях, в этих миниатюрных статейках, собственно без всякого крупного содержания, — в *рецензиях на книги*, как и в письмах к друзьям, родным, жене, везде у него этот *единственный в русской литературе тон* человека, который не умеет шутить, в душе которого стоит вечно какая-то торжественность, без предмета и имени, в сущности, торжественность самой души, как той ночи, о которой написал Лермонтов в стихотворении «Выхожу один я на дорогу».

По этому строю души Грановский был гражданином несуществующей и существующей, вечно осуществляемой, и может быть, несбыточной республики, хотя по внешнему положению он был только чиновником министерства просвещения, в условиях еще более тесных, чем в каких стоял Белинский. Но он не «выл»... Как он никогда не кусался... И в какие еще более тяжелые условия его ни поставили бы, он никогда бы не сбросил с себя тоги гражданина, хламиды философа и не надел бы растрепанных лохмотьев обозленного на начальство обывателя, каким, в сущности, говорили решительно все, не только Чернышевский, но и Герцен.

Герцен был менее свободен от Дубельта и Бенкендорфа, живя в Женеве и Лондоне, чем Грановский, живя в Москве. Ни в одной статье Грановского даже нельзя почувствовать, что он жил при монархии. Никакого следа влияния, зависимости, подчинения... А Герцен «с того берега» только плевался на этот, т. е. только и думы у него было, что о «их превосходительствах». Какой же это гражданин: это чиновник в отставке или притесненный помещик. Как и Щедрин со своею «сатирою», чем он был? Вице-губернатор, никак не могший дослужиться до губернатора.

Как Вересаев: не смог быть медиком и вышел в литературу. Но вместо повестей и стихов начал писать, что все медики почти только преступники, ибо ничего не умеют, ничего не могут и ничего даже не хотят хорошо сделать. И что удивительно в удивительной России: пациенты Боткина и Захарьина заговорили: «В самом деле, какие глубины раскрыл Вересаев: медиков нет, и самая медицина невозможна». Возражали ему даже ученые. Между тем все это — история с недоучившимся, неспособным и хныкающим господином.

И совершили «обыватели» типичную «обывательскую революцию». Где было много изломано и много сечено... И эти крики: «Ох, как вы больно сечете», вперемежку: «не виноват», «не я, а он», «не мы, а они» и «прошу прощения», «пора простить», «не станем больше»...

Да, не было для песни Мильтона. Каковы песни, таковы и певцы...

ОКОЛО НАУКИ И УНИВЕРСИТЕТА

(По поводу 30-летия ученой службы В. О. Ключевского)

Талантливая, деятельная курсистка Раевских курсов, в Петербурге, убирала свою небольшую комнатку в сентябре месяце... Полки и этажерки устанавливались книгами по истории литературы, по психологии, истории философии и политической истории разных, по преимуществу древних, народов. Со всего стряхалась пыль, все обтиралось тряпочкою, — вечная их девичья натура: кто же видал студента, обтирающего книгу? А, вот, и портреты... Скучные или скучноватые «родители» получили свое почетное место на письменном столе, родитель vis-a-vis родительницы: «Вам дано официальное почтение... Чего же вам больше? Не ропщите». На столике, близ кровати, поставлен портрет любимой подруги, в зорко выбранной симпатичной позе трудолюбивой девушки, занятой шитьем...

Как Маргарита за прялкой... А вот вынимаются и большие рамы. Они просты, аскетичны, без украшений. Это — Тургенев, Толстой и В. Н. Фигнер. Два великих писателя повешены на стенах так, что входящий в комнату прямо видит их, и только их, раньше других подробностей комнаты. «Здесь царствует литература». Но перевернут, лицом к свету, третий вынутый из ящика портрет. Все знают лицо Фигнер в ее молодости; это — прелестнейшее из русских лиц... Все оно сдержанно, строго; голова немного опущена; волосы, прическа бедны, скудны; лоб небольшой, низкий; платье скромно, — наверно, черное, без отделки... Но это 10 частности, которые еще ничего не говорят. В небольших, должно быть, тусклых глазах и сжатых, но не крепко губах, чуть-чуть сморщенных, при опущенной голове — все дает впечатление странного упорства воли и сосредоточения мысли на чем-то одном, поглощенности души одним желанием, тягучим, многолетним, неотвязчивым.

...Черные думы, как черные мухи,
Все не дают мне покоя.

«Сумасшедшая и святая», — шепчут ваши губы, когда вы смотрите на портрет. Но, повторяю, никакому лицу русской литературы не уступит это молоденькое девичье лицо шлиссельбургской затворницы. Видел, видел я в 1905 году в Шлиссельбурге маленький садик-огородик, разделанный ее руками во дворе: 20 узенькая грядочка, с какими-то цветочками и морковью, и тут же желтые черепки каких-то разломанных цветочных горшков. Годы она «пахала» эту грядку...

А черные думы, как черные мухи,

— стучали в ее узкий, упорный лоб.

Портрет этот, большой и превосходно сделанный, курсистка повесила перед письменным столом. «Там (Тургенев и Толстой) — русская слава, здесь — моя 30 путеводная звездочка».

И договаривалось где-нибудь в уголке души:

— «Мы, девушки... да, мы не гениальны и не дали родной земле ни Тургенева, ни Толстого. У нас нет новых мыслей, нет творчества и Америки мы не откроем».

— «Что делать, — судьба. Натура вещей».

И, взглянув на портрет Фигнер:

— «Но мы шли. О, с каким упорством, терпением мы шли. И пойдем, и идем. Мы все с русской землею, около русской земли. Мы — не чужие. Да, *творчество*: ну, что же, нет его... Но, может быть, взглянув на нас, на наше терпение и подвиг, на наше молчаливое страдание, мужская сильная душа давала стальные клятвы и выводила цепь сотворяющих дел и мыслей... У них (мужчин) — фактура истории, тело истории, видимое, осязаемое; в нас — ее одушевляющее начало».

Есть подвиг и есть вдохновение: подвиг, это — мужское; вдохновение, это — от женщины. И еще лучше, точнее, — от девушки, невесты... Невесты неневестной.

40 Люблю я эту юность, с ее маленькими книжками, маленькой наукой, озабоченную, серьезную. Может быть, все и изменится в ней потом, пройдут мысли, минет одушевление. Что думать о «потом». Я люблю этот святой миг «теперь», когда верится и делается, читается и думается, хлопчется и устраивается. «По-

том» если и будет худо, скажем о нем худое, но «сейчас» — это, положительно, хорошо, и отдадим ему хорошие мысли, хорошие чувства, — и восхищенное, и благодарное.

Как энергично, волною, поднимается просвещение в России. «Нет университета для женщин» *по имени*. Нет титула, заглавия, вывески. Но, на самом деле, в Петербурге два полных женских университета: «Бестужевские курсы» и, вот, эти «Раевские курсы». Боже, неужели когда-нибудь мы окажем историческое безвидие и выкинем за борт это старое, ставшее историческим, имя «курсы», название «курсистка», уже вошедшее в обиход литературы и жизни, уже округлившееся в целую маленькую замкнутую культуру, со своею гордостью, со своими воспоминаниями, традициею, законом, модою, ставшее давно художественным образом и символом целого ряда понятий; выбросим — и, обрадовавшись «утверждению начальства», — заменим шаблонным, безличным, подражательным названием — «женский университет», «девушка-студентка». Не нужно этого... Мы бедны историею, и нашу маленькую, особливую историю мы должны беречь.

Раев — человек лично совершенно незначительный, безо всяких научных заслуг, был, благодаря каким-то связям, много лет директором Бестужевских курсов; затем, смененный там, он не захотел, по самолюбию или денежным интересам, оставить привычного и известного ему дела и основал новые, свои, курсы, на Гороховой улице, во всем повторяющие Бестужевские. Дело это было бы безнадежным, если бы он все опер на свое имя; но он имел такт устраниваться от педагогической и ученой части своего же создания, оставив себе только материальную, хозяйственную сторону дела. Ученое направление курсов находится в заведывании и полном распоряжении профессорской коллегии, составленной из лучших сил университета и Бестужевских курсов. Получился 2-й женский университет, составленный из факультетов: историко-филологического, юридического и физико-математического, с огромным, доходящим до давки в аудиториях, комплектом слушательниц. И занятия здесь кипят, как и на Васильевском острове, у «бестужевок». Снова я должен повторить то, что говорил много раз прежде:

Благодаря умелой, близкой и личной помощи профессоров и их ассистентов и ассистенток, занятия слушательниц идут с той отчетливостью, умением и прилежанием, с тем, наконец, внутренним (душевым) успехом, как это и *возможным* не представлялось лет 20—25 назад, например, в Московском университете. Сужу не по слухам, а по тому, что вижу и видел 25 лет назад.

Сверх слушания и знания лекций, требуется к экзамену прочитать и на экзамене обнаружить знакомство с целою вспомогательною литературою. Это по каждому предмету две-три солидных книги, которые не читаются, а *изугаются*. И прежде, конечно, «литература предмета» рекомендовалась; но она — не *требовалась*. И, «рекомендуемая» в сериях книг, в десятках сочинений на разных языках, — она являлась только «риторическим украшением» в чтениях профессора, нимало и не ожидавшего, что кто-нибудь станет в самом деле с нею знакомиться. Все это изменилось теперь; рекомендуется не более двух-трех сочинений, чаще же только одно, и непременно на русском языке. Рекомендуется исполнимое и доступное для *каждого*, и зато это — *требуется*.

И вот три тома «Лекций по русской истории» В. О. Ключевского легли на столик деятельной слушательницы. Это — «рекомендованное» пособие. И потянулись длинные зимние ночи, проводимые за чтением тысяч страниц, — разных

книг, по всевозможным направлениям, со всевозможным историко-филологическим содержанием. Как говорит где-то Некрасов:

Думы девичьи пугливые
Кто же может разобрать...

И опять весна... Год занятий подходит к концу. И как-то, войдя в комнату, я вижу перед учебным столиком девушки уже не портрет, великолепно сделанный, В. Н. Фигнер, — а довольно плохой портрет, больших размеров, вырезанный из газетного «приложения», но вставленный в раму, — Василия Осиповича Ключевского.

¹⁰ Нужно жить в *наше время*, нервное, истерическое, полное политических мизантропов, отравленное страстями, загаженное порнографией, время юных безнадежных самоубийств, чтобы взвесить и оценить этот путь юной и во всем неуверенной странницы:

— От В. Н. Фигнер до В. О. Ключевского. Какая перемена! Какой перелог душевного строя! Между тем у Ключевского, как известно, ни одной политической строки нет, — ни прогрессивной, ни консервативной. Что же он сделал с юною, 25-летней головкою? Что наговорил ей этот 60-летний старец? Что мог он сказать такого, что задвинуло собою ореол трагической судьбы и, до некоторой степени, гениальной личности, по крайней мере, в красоте, по крайней мере, в законченности, шлиссельбургской мученицы и героини?

²⁰

Он — такой старик!

Она — такая юная!

И третья, юная, в наше время — подала руку старику... С каким-то доверием и покоем.

* * *

В течение зимних занятий, иногда только, слушательница нет-нет и спросит мельком:

— Вы слушали Ключевского?

Или еще:

³⁰ — Ключевский прямо не говорит, но заметно, между строк, — как он *любит прошлую Россию*. Конечно, — и теперешнюю... Всю Россию, вообще.

И только.

Но эти-то тропинки, дорожки, путики и привели колеблющуюся девушку к совершенно новым выходам из колебаний, из сомнений. Ее взяла за руку и повела за собою любовь *старика к родной земле*. Она вдруг одолела веяния из Шлиссельбурга. Одолела не споря, одолела не возражая, одолела не отрицая, не порицая.

⁴⁰ Я уверен, самому В. О. Ключевскому этот маленький рассказ дал бы наибольшее удовлетворение. Нет анатомии без морфологии, нет большого без малого, нет побед в истории без победы в душе человеческой. В этом укрепляет меня и то, что уже лет двадцать назад, когда он начал читать лекции в Московском университете, о нем говорили не в студенческих кругах, а люди со стороны, зна-

ющие его домашнюю жизнь, — что он всему предпочитает беседу с учащимися, предпочитает ее ученым и служебным разговорам с товарищами по преподаванию, по кафедре. «Нет, он не так любит, когда к нему заходит профессор, и охотнее говорит с зашедшим к нему студентом». В сущности, В. О. Ключевский был всегда *одинокую*-профессором; корпоративные, служебные шумы, боренья, отпоры, натиски были ему чужды, — не враждебным, а спокойным отчуждением. Он был к ним пассивен; и интерес загорался в нем только к лицу человеческому, единичному лицу, — в разговоре на любимые темы. А темою его было все поле русской истории, — великое поле, уснувшее вечным покоем. Но он любил и травку, выросшую на этом поле, — простых людей без претензий, обыкновенных русских людей, ничем не отличенных, от студента духовной академии или университета до простых обывателей, с какими сталкивает нас жизнь.

* * *

В. О. Ключевский вступил на кафедру Московского университета заместителем знаменитого С. М. Соловьёва и сотоварищем Н. А. Попова, приходившегося Соловьёву зятем. И сразу, без усилий, «само собою», — он заслонил их обоих.

У Соловьёва в последние годы его преподавания на лекциях бывало мало слушателей. Положив красивую, белую, большую руку на переднюю каемку кафедры, так что кисть ее вся была перед глазами студентов, и закрыв глаза, белый, седой старец с обыкновенным русским лицом говорил докторальным, повелительным тоном обыкновенные истины, долженствующие разьяснить ход русской истории. Как в лице его все было обыкновенно, так в речи его все было обыкновенно. Не было своеобразно поставленного уголка, из которого вдруг брызнул бы свет на лица, на события. Да и «событий» не было; были схемы. Он «разьяснял» историю, предполагая факты ее известными. Он ничего не рассказывал; лиц никаких не очерчивал. Но не было вполне ясно, почему «разьяснения» его относились именно к русской истории, так как, казалось, они в равной мере могли быть приложены к истории архаической Греции, феодальной Германии или к первобытному строю инородцев Волги. Индивидуальности истории не выступало, нашей *русской истории*, — как не было индивидуального русского лица и у лектора. Но сам Соловьёв, всегда в черном сюртуке, никогда в «служебном» мундире, — был удовлетворен своим чтением, которое не было хуже чтения Ранке в Берлинском университете или чтения Du-Ruis в Сорбонне...

«Завалившие» студенты в «Малой юридической аудитории», где он читал историко-филологам, — позевывали, скучали; думали, зачем им не пришлось слушать «настоящего Du-Ruis», и думали о том, куда пойти вечером — в бильярдную, театр или пивную. Конечно, «студенты были недостойны своего профессора», — сопоставление, кончившееся без неприятностей, так как студенты на эту мысленную мысль не возражали.

Н. А. Попова все называли «трубою». Отличный детина, пудов около 6 весом, чрезмерного роста, ширины в плечах и голоса, он читал громогласно «что придется» — то по истории, то о славянских отношениях политического и дипломатического характера, то о переписке Погодина с Шафариком и Ганкою, — и все посматривая в окно, откуда были видны стенные или башенные часы, универси-

тета ли или соседнего здания. Сам я часов этих не видал (не любопытствовал), но так говорили студенты. Лекциям его также не придавали значения. Их выучивали к экзамену, но в течение года ни ими никто не занимался, ни вообще по русской истории. Лекции В. И. Герье и П. Г. Виноградова по всеобщей истории, профессоров Тихонравова и Стороженка по истории литературы заливали своим интересом, важностью и образовательностью кафедру русской истории. Она решительно падала, несмотря на присутствие Соловьёва. Имя последнего было славно. Оно украшало университет. Но для аудиторий, но *внутри дела* оно оставалось без значения, никого и ничего не двигало.

И вот умер С. М. Соловьёв. Профессора произнесли над гробом траурные речи, — довольно обыкновенные, с язвительными намеками на то, что начальство не умело как следует почтить творца 29-томной «Истории России с древнейших времен», и это сократило его дни, подействовав на сердце. «Все обошлось достаточно либерально», — как писал Достоевский в «Дневнике писателя» тех дней о всех таких маленьких событиях, торжествах и сборищах. Время тогда было задушенное, общество задыхалось, «начальство» было, действительно, возмутительное, хотя бы в лице невежественного попечителя округа, и профессора в журналах и надгробных речах, адвокаты в защитительных речах, и, вообще, всякий, когда и как мог, вставлял свою шпильку по адресу начальства, совершенно, впрочем, безвредную и едва ли кому-нибудь особенно неприятную. «Начальство управляет: ты, раб, трепещи, повинуйся и немного ворчи»... Все обошлось как следует и благородно. И вот через немного дней прошел говор, что в большой словесной аудитории (во 2-м этаже нового здания университета) новый профессор русской истории, В. О. Ключевский, будет читать первую пробу лекцию. Профессор же этот приглашен от Троице-Сергия, из духовной академии. Мы, студенты, никакого представления о нем не имели, и появлению его не предшествовало никаких слухов.

Аудитория переполнилась. На скамьи прошло несколько профессоров университета, между ними Герье и другие. И, вот, неуклюжей, раскосой и торопливой походкой вошел новый профессор и не столько сел, сколько уместился на кафедре, живя на ней, двигаясь, поворачиваясь и корпусом, и головой, и руками. Есть фигуры летучие, есть фигуры стоячие, есть фигуры сидячие: В. О. Ключевский был фигура ползучая, стелющаяся, цепляющаяся. Как лиана около дерева, как павилика около забора. И он полз руками, фигурой, больше всего мыслью, полз голосом... Но здесь я должен сказать отдельно о голосе.

По аудитории пронесся резкий, тонкий, нам, студентам, показалось — почти дискант; но, конечно, дисканта не было: это был горловой голос в высоком напряжении, при котором голосовые связки особенно дрожали. Какая противоположность с Соловьёвым и Поповым: они были мужи, мужчины — как слоны. Из недвижимой фигуры несли именно «трубою» спокойный бас, без напряжения и волнения. Речь стучала, как толстые ноги слонов о каменную почву. У Ключевского голос был явно женский, крикливый, певучий, и он им не говорил, «как прилично профессору», а тянул его, как тянут проволоку на фабриках... Лекция была тягучая, гибкая, бесконечная нить, свиваемая так и этак.

Это — форма. Она нас удивила и не была нам приятна. Теперь о содержании. Ни темы, ни хода мыслей «пробной лекции» я не помню: меня заняло в ней другое: строение мысли, строение фразы как словесного предложения.

Ничего подобного я не слышал ни прежде, ни потом. Ключевский нередко останавливался (на мгновение), чтобы перестроить иначе уже произнесенную фразу и кончить ее так, как нужно было: в последнем завершении, в последнем чекане, к которому ни прибавить ничего нельзя было, ни убавить из него. Поэтому, когда фраза завершалась, — это была художественная, литературная фраза, которая могла сейчас лечь под печатный станок. Медленно, с какой-то натугой, со страшной внутренней работой *вам сейчас на кафедре* он «печатал» слово, строки, предложения, всю характеристику лица или эпохи, давал ответ на вопрос или недоумение науки и ученых. Это было необыкновенно.

Речь, им произнесенную, без поправок, без корректуры, без «просмотра автора» — можно было помещать куда угодно: все было кончено и завершено, отделано последнею отделкою. За каждое слово и оттенок слова он мог бы судиться или стреляться на дуэли, — если бы это сколько-нибудь было вообразимо относительно его.

Но было явно, что он не отречется никогда ни от одного оттенка: а их было много. Чтение его было полно оттенков, ретуши; нередко (в отношении исторических лиц) оно звучало тонкой и решительной иронией; общий привкус речи был шутливый, подсмеивающийся.

И все это так просто и непретенциозно, как может быть только у старого преподавателя духовной академии.

Все было страшно ново: ни на одного из наших университетских профессоров он не был похож. Нисколько! Полная им противоположность.

Бесспорно, он принес сюда на своих сапогах землицу от мощей Сергия Радонежского, от тенистых аллей Троице-Сергиева Посада, от тамошних пахучих порядков или беспорядка, от бурсы, от вечного тамошнего ладана, от кипариса и восковых свеч. В университет с ним вошла духовная академия: в ее идеальном, лучшем выражении. Он ее внес уверенно и твердо, от нее не отрекаясь, ею не стесняясь. Но и без спора, без критики университета в его светском духе и «душке». Сущность и особливость «Ключевского в Москве» заключалась в высшем и, может быть, неповторимом слиянии в одном лице традиции и духа русского церковного просвещения, бытового, народного, религиозного, — с просвещением государственным, светским, общественным, вольным. В том и другом он откинул ложное и мелочное, черное или пустое и оба слил в своем умном лице, в своей кованой речи.

Черный (тогда), гладкий, длинный волос, вроде дьячковского или диаконского, обрамлял его сухощавую голову... Лицо все жило, особенно рот и глаза, но также вся его мускулатура. Борода маленькая (меньше, чем теперь на портретах)... Все давало впечатление типичной стародавней духовной фигуры. «Не то псаломщик от кафедрального собора, не то подьячий Посольского приказа времен царей Михаила и Алексея»... В нем не было заметно ничего нового, «новенького». Чего-нибудь щеголеватого нельзя было и вообразить в связи с ним. Это был не наших времен человек. И, вместе, — наших, по отсутствию вражды к «нам», по полному пониманию «нашего времени».

Через 2—3 лекции его уже слушал весь факультет, всякий, кто мог. Он совершенно заслонил собою и память Соловьёва, и Попова. «Русская история» в кафедре вдруг поднялась на чрезвычайную высоту, к чрезвычайному авторитету, привлекла чрезвычайное внимание и интерес.

С ним хлынула в университет огромная русская волна: в университет, несколько европейский, несколько космополитический, несколько пресный и без определенного вкуса. И все это без вражды к кому-нибудь, к чему-нибудь профессора. Это было удивительно! Тут сказала сила, обаяние лица, которое и без меча носит побеждающий меч.

Русская порода, кусок драгоценной русской породы, в ее удачном куске, удачном отколе — вот Ключевский. Я сравнил его с лианою, с павиликою: цепляясь руками, фигурой, умной головой, внимательной любящей душой, — он 30 лет растет и ползет по старой русской стене, залезая своими «крючками» во все ее щелочки, во все ее скважинки. И никто так, как он, не знает, и никто так, как он, не любит эти старые священные стены.

Поклонимся ему всю Русью. Без этого поклона мы были бы легкомысленными потомками своих предков.

О ПИСЬМАХ ПИСАТЕЛЕЙ

Истекают последние дни 1909 года. И я тороплюсь сказать читателям несколько слов о самой поучительной и привлекательной книге, какую прочел за этот год. Это — письма Эртеля.

Два слова вообще о «письмах» как отделе литературы.

Когда-нибудь этот отдел станет самым любимым предметом чтения. Более и более пропадает интерес к *форме* литературных произведений как некоторому искусственному построению, условно нравящемуся в данную эпоху, и нарастает интерес к душе их, т. е. к той душевной, внутренней мысли автора, с которого он писал свое произведение. Литература и история литературы ранее или позже разложится на серию типичных личностей данной нации, как бы говоривших перед Богом и человечеством от лица этой нации; сказавших исповедание ее. Но сказавших это исповедание не в формуле, не «в символе веры», а скорее в совокупности *мотивов* этой веры и потому пространно, отрывочно, сложно. Со временем литературная критика вся сведется к *разгадке личности* автора и авторов. И вот в тот зрелый, августовский или сентябрьский период истории литературы, письма авторов, посмертно собранные и напечатанные, приобретут необыкновенный интерес, значительность, привлекательность.

Это — вообще. Теперь в частности о русских письмах.

Мы, русские, талантливы и робки. Может быть, самая проницательная нация из всех, но вечно напуганная чем-то ложным в своем положении, и особенно тем, «признаны» ли мы и как будто «не признаны» и как бы нам добиться «признания». Бог весть, для чего оно нам так понадобилось. От этих условий или положений тон у нас искренний; но этим искренним тоном мы вечно привираем. Не опасно, не ядовито, не разбойно; но все-таки привираем. Наша «великолепная» литература, прижизненно печатаемая, вся или почти вся с этим невинно-робким привиранием; где авторы раскрашивают себя перед читателями, приписывают себе мнения, каких на самом деле не имеют или не очень их имеют; притворяются равнодушными к тому, что на самом деле горячо любят, и заинтере-

ресованными в том, к чему на самом деле равнодушны. И т. д. Но вот посмертно печатаются письма, написанные к приятелям и полуприятелям, к друзьям, к врагам, к родным; написанные впопыхах, среди дела, и о которых большею частью автор через полчаса забывает. И в них его личность вдруг встает *вся*, и притом «как есть».

Сочинения автора — это то, чем он хотел казаться.

Письма его — то, что он есть.

В «сочинениях» он всегда играет роль. Ну, искренно, ну, гениально. Но только в письмах он — без роли; смиренный актер, без грима и костюма, который ест свой скромный ужин. Взглянуть на такого, послушать такого — тоже интересно. ¹⁰

И именно — у писателя.

Мастерство писательства состоит не в одном даре письма, слова; хотя оно необходимо — но этот дар письма является только заключительным звеном цепи других, более внутренних и драгоценных, даров. Сущность писательской души заключается в гораздо большем, чем у обыкновенных людей, даре вникать в вещи и любить вещи, видеть их и враздробь, и в обобщении, в связи, в панораме. Писатель больше любит и больше понимает обыкновенных людей.

У него вместимость души и страстность души больше. И все это отражается не только в «построенных» произведениях (литература при жизни), но не может не отразиться и в каждой записочке. ²⁰

«Да, — скажут, — но есть писатели без писем или с такими неинтересными, как у писарей».

Это не настоящие писатели, и даже по отсутствию или присутствию, по интересу или безынтересности частных писем мы, собственно, и можем только после смерти без ошибок оценить, прошел ли в литературу настоящий писатель или лишь ложное его подобие. Что делать. Ложные писатели всегда были, а теперь они заняли на $\frac{3}{4}$ поле «текущей литературы». Они, собственно, ничего не пишут, а все «составляют», «сколачивают», сочиняют самым жалким видом сочинительства. «Я как пишу, — хвастливо рассказывал мне один романист, — в 10 часов утра после кофею сажусь за письменный стол. Пишу до двух, как Зола, — не отрываюсь. Завтракаю и потом гуляю. Так делал и Диккенс. Придя домой, уже ничего не делаю. После обеда час отдыхаю и потом опять сажусь за тетрадь и пишу до десяти. В десять еду в гости к литератору». Потом, промолчав, продолжил: «В год я пишу один роман. Написав, никуда не несу, а дожидаясь, когда редакторы пришлют запрос: „нет ли готового романа“. Пишу в ответ, что *есть*, но не могу продешевить» и прочее. Дальше о мастерстве: «Когда пишешь роман, то ведь всякого понапишешь. Очень много лишнего. И вот, кончив, я начинаю вторую работу: я все лишнее убираю. Пишу я на одной стороне листа: и лишнее я не зачеркиваю, конечно, о, нет! Я его выстригаю. Роман укорачивается и улучшается в живости и быстроте хода действия. Вторично прочитываю и еще выстригаю. ³⁰ Тогда роман кончен, и я его продаю. А из того, что выстриг, я, немного прибавив, делаю повесть. Из маленьких же выстрижек — эскизец, очерк. И потом тоже в печать».

Я пришел в ужас. Несчастный, да тебе бы вечно торговать у отца в лавке: но ты вышел в литературу!

«Но какова неблагодарность общества и критики», — рассказывал он. «Я двадцать семь лет пишу. Все же тружусь добросовестно. И хоть бы кто плюнул мне

в шапку, т. е. обругал: не было и этого. Никто и ничего, и нигде не писал о моих романах».

Действительно, никогда и нигде я не читал даже упоминания. Но это так понятно! И когда умрет этот несчастный, никому даже не пойдет на ум, что это «умер писатель». Он был красен в лице и сед в волосе. Поконфузившись, он прислал мне томов десять романов и повестей. «Для добросовестности» и по молодости (тогда) я начал читать.

До того тяжело. До того трудно. До того скучно. До того ничего не помнишь из «рассказанного» уже, и ничего не ожидаешь, что будет дальше рассказано, даже ничего дальше *не хочешь*... «Фу, пропасть! а надо читать, нельзя, через неделю встретимся в гостях у третьего литератора». И, засыпая и щипля себя за виски, чтобы возбудить, я прочитал страниц 75. «Убил, совсем убил: не живу! умер вместе с автором!»...

Ну, конечно, такой «писатель без писем». Второго такого я не встречал в жизни; но приближающихся к таким, без сомнения, много. Ни автобиографии, ни биографии, ни «письма» таких писателей, конечно, не интересны. Да едва ли они когда появятся в печати или даже есть в рукописи. Такой писатель весь сколотился в «романы». Ничего вокруг.

10 Переходя к письмам настоящих писателей, нужно заметить нечто об их объеме содержательности и даже издании.

В молодости, когда писатель только пробивается в литературу, и «печать не вмещает всего» — письма бывают многочисленны, пламенны, содержательны и очень упорядочены, притом естественно упорядочены, без придуманности. Это — льется настоящая литература, только по обстоятельствам не дошедшая до печатного станка. Здесь нужно сделать «нота-бене». Как есть писатели, всю жизнь печатающиеся и в которых нет ни капли «писательства», так есть, наоборот, неудачники, печатная литература у которых почему-то «не вышла», но на самом деле одаренные прекрасным даром, лишь не пришедшимся «ко времени». 30 Всю жизнь они остаются маленькими, незаметными писателями. Вот их частные письма представляют — иногда — удивительный интерес, — жизненность, редкий талант. Это суть «подпольная литература», не попавшая к свету в свое время: но при внимании будущих библиографов она может внести в литературу неожиданную яркую полосу, стать ее украшением и славою. Беспримерный пример этого — Амьель; у нас — Никитенко. Оба при жизни ни в чем литературном не выразились или выразились мало, бесцветно, даже бездарно. А после смерти сразу засияли, как две яркие звезды. Особенно Амьель, давший страницы бесподобной красоты и глубины.

В цветущий же и «признанный» возраст деятельности писатели, естественно, очень мало пишут, и письма становятся небрежны, «нудны». 40 Что может быть тягостнее, как дважды говорить одно и то же: писатель же, личность коего уже сполна захватывается печатными станками, может в частных письмах только повторять то, что у него напечатано, и от этого и он пишет их с отвращением, тягостно, капризно, уродливо. Влад. Соловьёв, который много печатался и вообще был «признан» с молодых же лет, от этого и писал все свои письма, посмертно теперь печатаемые, в тоне непрерывной шутки и гримасы, с явной и большой тягостью для себя. Одно большое и содержательное письмо приходится на сто, на 150 «записочек» и вообще и абсолютно бессодержательной мелочи в переписке.

Сапожник ходит вечно в опорках: ему некогда шить себе сапогов, потому что он постоянно шьет сапоги другим. По этой же, в сущности, причине и большой писатель в цветущий период своей деятельности естественно и неодолимо остается без личной, без частной корреспонденции. Кроме «иногда», «изнутри», «про-рвавшись»... и в последнем случае это высоко ценно, как лучшие страницы напечатанных при жизни произведений. Здесь все правда, все золото. Здесь есть блестящие поразительной наблюдательности над жизнью и зоркости к жизни.

Вот эти жемчужины, окруженные мелочами и, попросту сказать, хламом в частной корреспонденции, следовало бы печатать (когда издается вся переписка умершего писателя), отмечая сбоку, по полю страницы, вертикальную тонкою чертою, как это иногда делывалось в старинных ученых изданиях XVIII века. Это могло бы очень увеличить *число гитателей* такой переписки, сообщая занимательность и поучительность чтению, да облегчило бы и справки и цитирование. Ученые, критики, литераторы *сплошь* все прочитают; но не надо забывать и читателя попросту, который, естественно, не может читать так много, который читает с пользою, частью наслаждаясь и частью педагогически. И вот для него такие *отгержкивания* (сбоку) важны и могут через эту технику издания способствовать распространению страниц, мыслей, наблюдений над жизнью.

КАК ЛЮДИ РУСЕЮТ

В Риме, кроме «патрициев», «patres», — потомков туземных обитателей семи холмов, были какие-то «patres conscripti», «приписные отцы», — предмет голо-волонки ученых. Сам Моммзен не понимал, что это такое и откуда они взялись. Но вообще можно, конечно, думать, что эти «приписные отцы» римского народа и Вечного города были потомками выходцев из разных стран, которые выдающимся образом потрудились на римской почве и затем через браки совершенно слились с потомством древних «patres». И стали они «приписные отцы» народа и государства. Есть патриотизм почвы, и есть патриотизм дела, трудов. «Родина» есть не только место, где я родился, но и то, во что я положил весь труд свой. Это — патриотизм «общего дела», «нашего дела».

Он везде есть.

«Наша Русь» не только от Балтийского моря до Охотского, но и от новгородцев времен Рюрика до нас. Во втором смысле «наша Русь» есть строительство, есть храмина построенная: и «отцы» ее или ее дети, притом любимые, отличные дети и отцы, — суть все, кто ее строил. Ее плотники, ее мастера.

Таких много уже теперь на Руси: и, признаюсь, я не могу без волнения смотреть, как заброшенные к нам люди в третьем, четвертом поколении до того цепко связываются со всем русским, до того горячо в ней трудятся, до того впитывают ее дух и веру, как это не всегда можно видеть и в настоящих «patres», потомках новгородцев и киевлян. Лучший пример — Аксаковы, от какого-то татарина или киргиза «Аксака» пошедшие; или Жуковский, рожденный от любви русского помещика Бунина и пленной турчанки. Без Аксаковых, без Жуковского Русь не цела, не имеет полного своего состава, полного роста и объема. Следовательно,

это подлинные ее «patres», «отцы отечества», но, конечно, «conscripti», «приписные», «прившедшие».

Законы крови и породы, потомства и рождения — неизвестны. Но один из них — просвечивает. Вялая любовь — вялое потомство, пылкая любовь — талантливая производительность. Энергия любви передается в потомство даровитостью — души, жизни, подвигов, знаменитости, — занимательности или значительности, яркости, глубины, правды. Но «сила любви» всегда проистекает из контраста любящих: тетива и лук обратны друг другу, и чем рука стрелка дальше оттягивает назад тетиву — тем стрела летит дальше. Вот «просвечивающий закон», объясняющий большую даровитость потомства от смешивающихся разных *этнографических* пород, разных вер, разных темпераментов, разного цвета кожи, разного цвета волос, даже разного возраста! Но тут мы входим в законы мировой застенчивости, которые, если бы даже и могли рассказать, — должны о них промолчать. Создатель как бы говорит людям: «Вы творите жизнь, которая должна длиться века, по возможности даже не должна никогда исчезнуть, а все развиваться и расти. Не будьте же сонны, не будьте устали. Нет более значительных в вашем бытии минут. Будьте же мудры, как Экклезиаст, и нежны, как творец Песни песней. Все большое теперь позволено, все яркое и сильное, и запрещено все тусклое, малое, короткое, все безжизненное».

20

* * *

Писатель Эртель был третьим потомком, происшедшим от берлинского бюргера, захваченного в армию Наполеона и попавшего в плен под Смоленском. Он, будучи 17 лет, был привезен в Воронежскую губернию офицером Мариновским. Со временем он женился на крепостной девушке этого офицера, приписался в мещане города Воронежа, перешел в православную веру и затем всю долгую жизнь, с большим потомством, «маячил» по речкам Битюгу и Рыкани, в Воронежской и Тамбовской губерниях, затем — в Москве, то служа в имениях, то управляя имениями, но никогда не порывая связи с работой и землей. Из детей старого «Людвига» (выходец из Берлина) никто уже не учился и не выучился по-немецки; да и русскую грамоту знали не все, и только отец писателя Эртеля «кончил курс» в воронежском уездном училище.

Такова судьба, — в сущности, связанная с судьбой и гибелью «великой армии» французского императора. Мелкая щепка вплыла за большим кораблем в русские воды: но не погибла — а вынырнула в третьем потомке. Читая письма Эртеля, с интересом наблюдаешь, до чего «трудиться вместе» заменяет собою, или уравнивается с «родиться вместе». Интерес «Писем» заключается в глубочайшем проникновении их русскою стихиею, русскою действительностью, характером народности то в любви, то в оценке, в негодовании, безнадежности и надеждах. И до чего от всего «германского» не осталось и следа.

Огромное большинство писем — к Черткову, известному другу Толстого; и письма эти — не лучшие. Натура реальная и рабочая, Эртель скорее пытается войти в толстовские идеи, чем на самом деле входит. Он силится согласиться и невольно спорит с Чертковым. А о человеческих спорах и соглашениях вообще

нужно заметить, что первые почему-то выходят даровиты, а вторые бывают почти всегда бездарны. Чертков, как известно, во всем «согласился» с Толстым: и собственная личность его почти беспримерно бездарна; обратно, и Толстой «согласился» с восхищенным им Чертковым. И в результате получилась такая лужа скучищи, тоски, неинтересного, как нет, кажется, еще другого такого места в нашей литературе. Точно два фарисея обнялись и крепко поцеловались. Сладко, а не вкусно; любви много, а таланта нет; патока и молоко так и разливаются: но очень немногие имеют силу их отведать. Толстой дал нам *тезис* — искусство; это, конечно, язычество, проникнутое ощущением, что все в мире «не только хорошо, но и прелестно». В этом охвате свет «прелести» брошен даже на ограниченное (Николай Ростов), глупое (Курагины) и порочное (Долохов, Анна Каренина). Но затем с такою же силою, или по крайней мере так же продолжительно, Толстой начал построять *антитезис* — это его евангелизм: «Ничего не надо, все плохо, все порочно, и все очень глупы, даже Шекспир и я» (бывший). Есть что-то роковое и даже антихристианское, роковым образом антихристианское, в том, что Толстой, в одной личности своей сочетав язычество (молодость и средний возраст) и христианство (старость), показал первое прелестным, занимательным, мудрым, всепрощающим, всеблагословляющим, ароматичным, звездным; а второе показал нам злым, черным, ничего не понимающим и совершенно бесплодным. Как это у такого «мудреца» вышло — непонятно: но итог целой его жизни именно таков. «Война и мир», «Казаки», «Севастополь», «Детство и отрочество», «Анна Каренина» — это великое русское язычество; как им ненавидимая «синодальная церковь», толстые восковые свечи, зажженные лампадки, молебны, акафисты — это глубь и очарование Византии, которая, с великою эстетикою, на самой Голгофе вновь как бы построила Пантеон и Акрополь, вновь воздвигла золотистый Соломонов храм. Но вот вышел другой Толстой, новый: и разбил Византию и язычество, Пантеон и иконы, загасил ладан, загасил свечи. Мы увидели «Акима простоту» и его знаменитое «тае»: но, увы — кроме запаха его ремесла, ничего отсюда не слышим. Размышлять не о чем: чего же тут размышлять о «тае». Все воскликнули: «Да нет, нам лучше с прежними пороками Толстого, чем с его новыми добродетелями». Язычество — порочно, гениально и плодоносно, оно, наконец, бессмертно; а христианство, положим, и свято, но зато — ложись прямо в гроб. Вот результат всей литературной деятельности Толстого, всей его личности, всего жизненного труда: он так же твердо, каменно, в неопровержимых иллюстрациях доказал истину язычества, как доказал скуку и смертность христианства. Но то ли он сознательно делал? А какое нам дело до его «сознания»: на деле так вышло! Лет через 10—20 эта «языческая работа» Толстого станет совершенно ясна: все разделятся на не-толстовцев, язычников, потомков Ростовых, Болконских, Карениных, вкусно кушающих, вкусно воюющих, ведущих земские собрания, ухаживающих, декольтирующихся, поигрывающих в картишки, ну и замаливающих «грехи» свои под старость лет, или за которых молятся прелестные Долли, молятся и крошечные детишки, а по лесам — деды и странники. Словом, — «все как есть, по-живому, по-православному». И им противопоставится второе стадо «последних христиан», вот этих «толстовцев»: не плодящихся, не кутящих и естественно вымирающих, потому что что же им еще-то делать?! «Подмоченный порох», который «не стреляет». Вот «подмочить порох» в смысле страсти, в смысле огня; подпустить в культуру экстракт орії

purī *, смешанного с aqua distilata **, тонкою иголкой насмешки и критики проколоть мировое яйцо, мировую утробу, мировой зародыш, и, словом, принести Смерть, возвестить Смерть, раскрасив поучениями ее страшный облик, — это и есть «последний Толстой», «старец Толстой», которого принял в свои объятия беспримерно скучный Чертков, как бы в лице своем «поставив точку над і»: «Взгляните, как все это теперь бездарно и отвратительно».

Сыграли историческую роль.

На две трети переписка Эртеля захватывает эти темы толстовства: как ум, как писательский талант, Эртель не мог не подчиниться гению Толстого; но как практическая живая натура, он не мог не почувствовать глубокой неестественности всего этого учения, в которое влезал как во что-то неживое.

ТОЛСТОВСТВО И ЖИЗНЬ

<I>

Толстовство можно рассматривать и как догму, и как «веяние». Точнее, оно выразилось в догматической форме как «непротивление злу», как критика «догматического богословия» митрополита Макария, как отрицание церковного культа и, наконец, целых полос Библии и Евангелия, — в заключение некоторых волевых и некоторых нравственных настроений, первоначально очень туманного, неопределенного характера. «Не хочется» — вот философия, обратная другой: «нетерпеливо хочется». «Нетерпеливо хочется» собственно всей природе; «нетерпеливо хочется» — это крик молодости, юности; «нетерпеливо хочется» — это только словесное выражение немых и потому особенно могущественных, неодолимых космических энергий. В «нетерпеливо хочется» все понятно. «Не хочется» — это гораздо таинственнее, страшнее; это, в глубине дела, — очень страшно. Это — старость, образ Смерти; это — бледность вещей; потускнение вещей. «Астарта румянит стихии мира», — сохранилась заметка какого-то древнего жреца около имени этой богини, выражавшей всевозможные «похоти», «похотливость» всего мира. «Румянит стихии». Это и есть *нагало жизни, зародыш живого*. Водород, азот, кислород, фосфор, сера — все это «от начала мира бе». Но все это было до времени мертво. Что же такое случилось, когда и как случилось, что все это начало вдруг жить. Древние в мифологии своей это и отметили: «Вдруг везде начали нравиться друг другу», «возжигали друг друга», в них родилась «похотливость», они «зарумянились»... Вот кто их «зарумянило» — и зажгло в них жизнь, и стали они живыми: «живыми» единственно по присутствию в них «похоти», по «похотливости» вещей.

Вдруг поднимается Толстой и говорит:

«Этого не надо». Это — грех. «Притом — только это собственно и грех: все прочее, что мы называем злом, есть лишь модификация этого одного: «хочу», «хочу» — грех; «не хочу» — святость.

40 * чистый опий (лат.).

** чистой водой (лат.).

И скучно, и грустно, и некому руку подать.

Лермонтов в этой одной строке и в этом известном стихотворении выразил, в сущности, всего «второго Толстого», «Толстого в старости». Кратко, поэтично и окончательно.

Эртель, случайно попавший в молодости в радикальные кружки журналистики, отсидевший, за дачу революционерам адреса своего для переписки, в Петропавловской крепости, был чужд если не каких-либо религиозных чувств, то каких бы то ни было религиозных понятий. И знакомство с поздними сочинениями Толстого и с Чертковым пахнуло на него волною неизведанного, и привлекательного, и интересного. Это отразилось в литературной его деятельности. Сейчас же резко и грубо напали на него Скабичевский, Протопопов и Михайловский. Нападение, исходной точкою которого служило полное непонимание этими журналистами религии и всего религиозного, непонимание приблизительно такое же, как Пушкин врожденно не понимал математики, ни сути ее, ни метода ее, — это оттолкнуло Эртеля от старого, привычного позитивизма и сблизило с Чертковым. Самое привлекательное в переписке с Чертковым не проблема собственно толстовства, а те самостоятельные мысли Эртеля о нравственных и религиозных вопросах, какие он попутно высказывает. Чередуюсь с сообщениями сельского хозяина о неурожайной весне, о порубке леса, о пролете журавлей, эти философские его мысли полны свежести и какой-то натуральной правды. Например, до чего хорошо его рассуждение, что лишь осложненный художественностью ум есть настоящий ум; а ум без искусства в себе — слеп, короток и просто есть худой руководитель даже в вопросах практики (письмо к П. А. Бакунину, стр. 306). Или, например, это сравнение метафизики и позитивизма: «Свои отношения к метафизике и позитивизму всех толков я сравниваю с отношением к двум женщинам: одна не просто умна, но загадочно умна, обаятельна, прелестна, немножко капризна, немножко кокетлива, но это ничего, даже очень хорошо, и еще неотразимее пленяет; другая — умна как серенький осенний день, проста, благоразумна, правдива, суха, строга и безупречной нравственности. Сердце мое лежит к первой: еще бы, еще вчера она подарила меня такой многообещающей улыбкой, таким чарующим взглядом влажных, затуманенных глаз. Но дело в том, что в обществе, во-первых, плохо говорят о ней — впрочем, это еще не беда, — беда в том, что циркулируют документы, говорящие как нельзя более ясно о ее вольном поведении, о ее грязноватых связях, о ее обманах, лукавстве и т. д. „Документы эти поддельны!“ — возражает обворожительная m-le Метафизика, качая своей головкой, и вдруг в ее взгляде загорается что-то такое чистое, благородное, высокое, что я и сам готов поверить, что документы поддельны. Но с другой стороны, идешь к сопернице, вкушаешь трезвые словеса, смотришь на это холодное и скучное, но несомненно честное лицо и думаешь: „А ведь *та*, кажется, солгала“» (стр. 308 — письмо к Бакунину). И далее — о том, что *самому* ему, Эртелю, нет досуга и нет у него даже достаточных знаний, чтобы разобраться в «документах» и порешить хотя бы для себя спор позитивных наук и философии.

Вот такой страницы нет ни одной в переписке Вл. Соловьёва, ум которого был замечательно сух, не маслянист, формален и книжен, Эртель же не отрывался от полей. Сравнение его между позитивизмом и метафизикою не только изумительно по *тогности*, но и как хорошо, что собственная мысль автора остается

в неясности, переходит в многоточие. Ах, эти многоточия: без них нельзя бы писать и даже искать истину. Истина, самая глубокая и окончательная, есть именно многоточие и немота.

В письме к З. С. Соколовой он выразил отношение к толстовству как к веянию и в письме к Б. Д. Вострякову — отношение к нему же как к формуле, как к борьбе с православием. Соколова, сама толстовка или радикалка, упрекала Эртеля за его живую, энергичную натуру и «отчаянное поведение», выразившееся в том, что иногда в приятельском кругу он не отказывался от стакана шампанского, стоящего, как известно, шесть рублей бутылка, за какую ценность можно бедному купить рубаху. Эртель отвечает ей: «Скажу вам, что еще задолго до усманского шампанского (на какой-то свадьбе, где его видела Соколова) я был с точки зрения „строгой морали“ поведения превратного, и как вы до сих пор не замечали, — не понимаю. Но в этом не нахожу у себя расхождения слова с делом, в чем вы меня упрекаете: так как никого и никогда не призывал ни к трезвости, ни к аскетизму. И не то чтобы я не уважал этих превосходных вещей: но оттого, что *всех* (курсив Эртеля) загнать в Фиваиду значило бы точно так же оскотить и обесценить жизнь, как это было бы достигнуто истреблением виноградников, „сожжением предметов роскоши“, что делал Саванаролла, и сочинений, ну, хотя бы Фета и тысячи поэтов, ему подобных. К счастью человечества, этого никогда не случится, как бы в эту сторону ни „перегинали палку“ люди фиваидского настроения вроде христиан во времена, напр., Феодосия Великого, истреблявшего языческие храмы, статуи, библиотеки и предметы жизнерадостного античного искусства, или наших „толстовцев“ во главе с самим Львом Николаевичем. „Выплеснуть ванну вместе с ребенком“, конечно, всегда будет много охотников — именно из тех, иногда и великих, людей, которые воображают, что их суд над жизнью есть единственный истинный и их природные склонности и порывы души обязательны и нормальны для *всех* (курс. Эртеля). Но никогда не выплеснут, и слава Богу. Одним словом, призывать людей к добру, с моей точки зрения, чтобы они ездили в 3-м классе, не ели хорошей пищи, не носили хорошей одежды, не пили шампанского, — и такими призывами я никогда не занимался. А если случалось призывать к чему, так к чувству жалости и справедливости, к пониманию вещей не по их внешности, а по внутреннему содержанию, а главное, *жизнеспособности* (курс. Эртеля), которая в том и заключается, чтобы не забиваться в узкую щель аскетического ли, эпикурейского ли мировоззрения, не впрягаться ни в какие сектантские оглобли. Другое дело, прав ли я в этом понимании человеческого назначения, обнимающем собою и Христа, и Анакреона.

Правда, «Акимы-простоты» по железной дороге ездят в третьем классе: но ведь большею частью с бесплатным билетом, выданным из какого-нибудь благотворительного комитета. Все-таки кто-то их везет и на них делает, за них делает. Вопрос о труде, и именно *энергичном* труде, неразрешим с христианской ли, с толстовской ли точки зрения. *Кто-то должен энергично работать*, вероятно „язычники“: а все „расслабленные“ и „убогие“, „Лазари“ и „Марии Магдалины“, явившие образ христианства, имеют ту слабую сторону в себе, что их никак нельзя представить работающими, и они раскидываются красиво картиною лишь на фоне „всего готового“, всего им заготовленного. Но только это удивительно: „язычники“ трудятся за себя и за них, и их — в ад; а эти лишь красуются: и вдруг им за это рай, блаженство, вечная жизнь. Очень тяжело нам, работникам.

Впрочем, смиримся: „ад“, „язычники“, мы или „христиане“, „с Богом“ или без Него — станем трудиться, и при этом весело и беззаботно. И уж там как-нибудь сосчитаемся. Не станем спорить: и если у Магдалин и Лазарей такое призвание к „созерцательности“ — заготовим и им все нужное без возражений. Авось на том свете нас помянут „без горечи“. И на том отрадно».

<II>

Есть полустины, которые не нужно переводить в твердые истины. Не нужно потому, что они именно в самой натуре своей не тверды, относительно, частичны. Стань «христианином до зарезу»: и, право, умрешь. Так и случилось с Толстым и всем толстовским учением, только это именно и случилось. Нельзя даже и «молиться» до шишек на лбу: это уж народный говор. Но все же забота о ближнем, все же «алкания правды» так возвышенны, что и всякий борющийся с христианством попадает лицом в грязь. Надо «так» и «этак». Это — не арифметика, где «помножай два на два без сомнения». Жизнь сложнее. Жизнь — красота. Жизнь — неизреченная. Здесь сплошь и рядом «дважды два — пять» и даже дважды два — стеариновая свечка. Был болен, и совершилось исцеление: и я здоров. Невероятно: но радостный *факт!* И как же я его отвергну, когда глаза мои его видели и руки осязали? Но *зудо* — «дважды два стеариновая свечка». И хорошо, что они в жизни есть. Хорошо, что есть загадка. Но, даже и «исцеленный», могу ли я скрывать от себя проблемы труда, энергии, жизни, творчества, — что все уже выходит из орбиты христианства, о чем христианство ничего не говорит и даже недвусмысленно отвергает это или проходит *мимо* этого, *без внимания*. И вот я, даже исцеленный и видевший Христа как бы воочию, приявший добро от Него, благодать, хлеб, — все же ввиду этих новых проблем оканчиваю этим нетвердым: «и так, и этак». Ничего окончательного. Истина заключается именно в неокончателном, в нетвердом, в неуверенном. Как уверенность — так ложь! Явная, нестерпимая! Да что же: разве нет в мире кроме цветов — и оттенков, кроме прямых линий — и изогнутых, «неуловимых», кроме «да» и «нет» еще «что-то», «кажется» и пр. Сам мир полон «нерешительностями», и уже с этим ничего не поделаешь. Да даже более: как только мир весь и без остатка перешел бы в «ясные очевидности», так он и сделался бы конечным, ограниченным, немножко глуповатым, всеконечно бессильным. И попросту, перестал бы «родить» и потерял бы «будущее».

А без этих двух вещей как же в мире и жить-то можно бы? Задохлись бы в «решенных уравнениях».

Прелесть мысли Эртеля, не учившегося в университете, который не отрываясь всю жизнь прохлопотал около сохи, около поля, около деревенской конторы, который имел семью и самым положением *вынужден* был трудиться, — заключается, при постоянной *твердости тона*, в уклончивости «заклучений»; в этих неопределенных уравнениях, которые он выдвигает «убежденным» своим противникам, как бы говоря: «В кабинете ученого действительно все определенные уравнения, и они же царят в келье монаха и в комнатке курсистки. Но как за стены их выйдешь, так все встречаешь неопределенные уравнения. Но это — не причина горечи: именно *от этого* я свободен, свеж и на все, даже невероятное, надеюсь».

Если взять само даже толстовство, неприятное в своей «твердости», то даже в отношении его прямое и резкое отрицание, сухое и строгое отвержение было бы уже заблуждением. Нужно именно «так и этак». Нужно только *не быть* «толстовцем»: но, затем, и в мотивах возникновения его, и в составе его «веяний» можно открыть и свободно признать много основательного и прекрасного. Все-му «час» и «место»: есть «час» — когда именно толстовство хорошо; место — где именно оно уместно. Но прошел «час», минуло «место»: — оно не нужно, вредно, неразумно.

10 «Эх, З. С., — пишет Эртель Соколовой: — вспоминайте вы почаще слова: „не всякий, взывающий «Господи! Господи!», войдет в царство небесное“, и наоборот, — не всякий, пьющий грешным делом шампанское, попадет в ад. Грешный Герцен, право же, стоит безгрешного Е. П., так же, как из другой области, из области вымысла, „беспутный гуляка“ Моцарт — безукоризненного Сальери. Я хочу этим всем сказать, что так называемое „самоусовершенствование“ всегда будет „домашним делом“ людей, а на арене общественности плюс составителю не тем рекордом, который они побьют *по части воздержания*, а тем, сколько они *внесут в жизнь сердца, ума и таланта* (мой курсив)».

20 Вот тезис, представляющий лучшую критику толстовства: *«твори, а не ограничивай себя в потреблении»*. Твори, создавай вещи, ценности, потребляемые продукты, даже до избытка для другого; и при этом условии ты можешь есть и носить одежду, сколько тебе хочется и нравится: до этого ни людям и даже Небу дела нет. Раз эта формула сложилась, — «Акимы-простоты» отлетают в сторону; самое большее, на что они могут претендовать, — это милосердие; и никак не могут становиться еще каким-то «идеалом» и «примером» для человечества. Эти «прокормляемые», а не «кормящие» идеалы, Бог с ними: устали от них люди, собственно — работники. «Бог подаст, проходите», — можно проговорить, обернувшись к Толстому в образе Акима-простоты.

30 Эта мысль Эртеля, в ее оттенках и переливах, чрезвычайно важна: высказанная в частном письме, горячо, лично и просто, она дает лучший ответ на недомыслие общества, которое, познав гипноз художника — Толстого, незаметило всей скудости идей Толстого-философа. Эртель пишет далее своей корреспондентке — вместе судье: «А не приходило вам в голову подумать, что вот я, пьющий шампанское, когда случится, и вообще человек далеко не фиваидского строения, с вашей точки зрения, вызывал и вызываю много любви и дружбы к себе, которые, я уверен, еще более обнаружатся, когда меня не станет и когда многое тайное, конечно, сделается явным. Так говорить про себя нескромно, это правда, но вы вынуждаете меня к нескромности. И пойду еще дальше в ней. Вы с К. К. искренно и во всю силу вашей души стремитесь к простоте, ограничиваете свои потребности, *смотрите на всякую копейку как не на свою, не прозь осудить* —
40 *и иногда жестоко — людей иного типа, иных пониманий и взглядов на жизнь*, а между тем выходит как-то так, что самое дорогое и привлекательное для вас в жизни — сцена, устройство разных предприятий для народа, свобода, а для К. К. и медицина, — все это доступно вам, во всем этом вы плаваете, а для меня самое любимое и привлекательное: литературная деятельность, хозяйство на своей земле, устройство таких же предприятий, как ваши в Никольском, — недоступно, а главное, недоступна свобода, недоступно спокойствие за завтрашний день, за будущее своей семьи, своих детей, у которых нет богатой бабушки, и я сам

в работниках у Хлудовых, да еще молю Бога, что попал в работники, ибо без этого буквально бы пропал. Неужто такая разница судьбы, что вы очень нравственны, а я скверного поведения и иногда случится, что не отказываюсь от бутылки шампанского». Эртель объясняет дальше, с цифрами в руках, что когда нужно было доканчивать операцию голодного года и денег уже не было, то он, не задумываясь и не стесняясь, брал их, где только возможно было, и затем «всего себя, без остатка и без размышлений о завтрашнем дне, отдавал делу, и вышел из него с долгом в 10 тыс. руб. и с такими разбитыми нервами, что было уж, конечно, не до морального состояния. Три года я не имел ни физических, ни нравственных сил писать, три года! Емпелевка давала убыток, три года у нас толкалась масса народа, в том числе и по голодным делам, — и разумеется, все это ложилось на мой личный бюджет. Я это вам напоминаю не для того, чтобы разыгрывать „казанского сироту“, а для того, чтобы указать, что личная „безнравственность“, с одной стороны, не помешала забыть все „лишнее“ и залезть, ради общего дела, в безысходную трясиину долгов и неврастений. Милая моя обличительница! Бывает, что *живут* в еду, в вино, в рысаков, в женщин, и это *не то, что безнравственно, но гнусно, скудно, некрасиво, подтачивает если не физическую, так умственную жизнеспособность...* (мой курс. — В. Р.) Но бывает, что эти „пороки“ только аксессуару жизни, — и надо это разбирать. Соглашусь, что и та точка зрения, с которой такие аксессуары рассматриваются неблагоприятно, в свою очередь, может иметь резоны: но отсюда еще далеко до полного осуждения „несогласно мыслящих“. Затем у каждого есть свои слабости. У меня, напр., к шампанскому, — у другого к осуждению людей, и к тому, чтобы ставить им „каждое лыко в строку“. Ну, что же, я все-таки предпочитаю остаться при своей слабости, а не при чужой...» (стр. 385)

Так просто, ясно и спокойно. Корреспондентка Эртеля, З. С. Соколова, — «каждую свою копейку (наследственную? помещичью? от богатой бабушки?) считает чужою»: и это дает ей такое нравственное удовлетворение, такую сытость собою, что она «не прочь осудить — и иногда жестоко осудить» людей, смотрящих на *трудовую, заработанную* копейку как на безусловно собственную, причем она тратится и на рубаху, и на милостыню, и на стакан вина. Но этот добрый «стакан вина» родит в Эртеле такое настроение, что он не спорит с нею, признает свои слабости и не упрекает ее за ее, а только взвешивает ее объективно для решения спора, в котором все важно, и практическая сторона, и теоретическая. Поразительно при этом следующее: люди аскетического настроения («фиваидского» у Эртеля) суть жестокие судии мира. Это что теперь, когда они «не у дел»: но все-таки и у нас они воздвигли все темницы на «несогласно мыслящих» (Соловки, Суздальская крепость-монастырь), а в старое время власти и господства именно они зажгли все костры (на Западе). И вот едва Толстой, такой кроткий и прощающий в «Войне и мире» и «Казаках», начал только приближаться к этому «фиваидскому настроению» и затем совсем впал в него, как сперва Анну Каренину, такую прекрасную и талантливую, он толкнул под поезд, жестоко надписав в эпитафии: «Мне отмщение и Аз воздам», а затем опрокинулся на сословия, на ученых, на Шекспира, на всю цивилизацию, да собственно и на всех людей, кроме Черткова и его и своих «ближних». Вот вам и «смысл жизни», и «Иоанново Евангелие *любви*». «Всех люблю, а на всех сержусь»... Птичек в поле он, конечно, любит; отчего же, чирикают себе; но едва сосед его поднес стакан

красного вина ко рту, как он позеленел в чувствах. Мало этого: и близкие, и далекие, за ним идущие, таковы же: Соколова — как крючком удочки — задела под ребро заработавшегося Эртеля, и осторожно, издали, но старается привести его в тихий затон «неделания», поста, злобы и осуждения. Эртель отмахнулся:

— Не до вас. Стою на работе. Идите к праздным...

Толстовство вдруг село на мель как одна из затей людей, которые вообще *не принуждены работать*, которые живут «так» или на «наследственное» (Чертков), или же имеют такой колоссальный талант, который, как дерево с золотыми яблоками, каждую осень кладет в мошну и даже «про запас» богатство. Ведь ¹⁰ и Будда был тоже *царский сын*. И весь путь этот или «царский», или «богачей»... Обыкновенным людям он — зарез...

НА РАСПУТЬЯХ

В уютной небольшой гостиной нас собралось несколько человек, и все мы живо заговорили на тему, о которой только что выслушали блестящую лекцию. Ее читал молодой богослов, который, пройдя университет, поступил потом вольным слушателем в духовную академию и ведет теперь образ жизни, который всего лучше можно охарактеризовать «светскою миссией». Странное казалось бы явление, а между тем — давно необходимое. Около церкви, как ее друзья, а отчасти и наставители, два века стоят чиновники. Их выделило государство. Обществу давно пора было выделить из себя таких же друзей, а при успехе и воз- ²⁰ можных, эластичных и мягких руководителей, которые действуют разумом и убеждением, сердцем и любовью, между тем как люди в мундире действуют приказанием и нажимом. Почему же Хомякова не назвать деятелем такой «светской миссии»; почему Рачинский, с его преданностью церкви, с многолетним трудом на ее пользу, не есть уже такой светский и неофициальный миссионер? Но что принадлежит, как право Хомякову и Рачинскому, принадлежит в возможности мне и каждому читателю.

Лекция была трогательна по одушевлению. Я знал этого молодого богослова, «до слез» (если позволительно так выразиться) преданного церкви: но вот что ³⁰ ударило меня в его лекции. Как и многие славянофилы (хотя совершенно самостоятельно), он повторял: «ex oriente lux» *. Германские и романские страны он представил нам религиозно умершими. У него точно зеленые огоньки бегали в глазах, когда он говорил о протестантстве и папстве. «Все от Руси! Все от нас». Я улыбался. Но я был и сам тронут чуть ни до слез, когда вдруг, привстав и что-то процитировав, чуть не целую страницу из одного беллетриста-народника, еще живого, но уже много лет замолчавшего в тягостном и неисцелимом недуге, он сказал:

«— Но вот в чем дело. Русская интеллигенция имеет за собою бесспорный подвиг. Кто бежал к голодающему народу, кто бежал к страждущему народу? Кто ⁴⁰ его лечил и в годы трудные и тяжелые, в годы иногда страшные, представитель-

* «с востока свет» (лат.).

ствовал за его свободу? Все это есть подвиг и не хвастливый, вековой подвиг той бесформенной и, казалось бы, непутевой интеллигенции, которую многие склонны упрекать, как не имеющую в себе Бога, религии. Я говорю менее о людях литературных и более о людях трудовых, но не обегая и первых. В наших беллетристах-народниках прошло столько любви к народу, у них есть страницы с таким светом совести в себе, что я, богослов, не знаю высших и чистейших страниц в своей специальной литературе, которою занимался в Академии. В этом и пункт серьезного интереса, что интеллигенция бесспорно имеет в себе Бога, хотя и не говорит о Нем, стыдливо Его таит: что без имени Божия на устах она сделала дела, которых далеко не сделали в том же количестве и с тем же рвением люди с именем Божиим на устах. И (он как-то вспылел и запутался) дело в том, что эту интеллигенцию уже невозможно покорить, ее поздно покорять, ее никто не вправе поманить издали и высокомерно перстом к вере; а можно только примириться с нею, и притом признав весь ее подвиг и всю ее идеалистическую, трудовую и мыслительную правду». — Он повторил имя беллетриста-народника. — «Я сам из бедных. Я — тоже народ. Для меня, гимназиста и студента, этот беллетрист был то же, что для Израиля пророк. Это есть русская форма пророчества, священного огненного писания. Да».

И он сел. И, как я всегда его наблюдал не во время речи, вдруг не то заснул, не то оступел, «осоловел». Теперь что бы ни говорили вокруг него, даже по поводу его чтения, он все бы только полуслышал до новой своей речи, всегда пылкой и иногда неизъяснимо прекрасной. «No, signore, io parlo improvvisatore»... * — вспоминал я не раз из «Египетских ночей» Пушкина, стараясь объяснить себе его натуру и талант, столь глубоко не диалектический, иногда прямо не умный и столь всегда вдохновенный.

Мы были возбуждены его чтением. И несколько юристов, писателей, духовных лиц и чиновников собрались еще раз обсудить и перерешить ту же тему. Понимались разные голоса:

Действительно, момент победы невозможен ни для одной, ни для другой стороны. Действительно, — это мировой вопрос, ибо не у нас только, но и на Западе, до известной степени в целой нашей цивилизации глубокая, органическая трещина разделила культурное общество и церковь. И этим тревожится не столько общество, сколько церковь. Протестантские, католические страны и, наконец, наше православие равно объемлются тревогою, что приходящие слушать их в храме Божиим все редеют и редеют, и что они не только количественно, но и качественно понижаются. Вспомним вещее слово К. Н. Леонтьева, смертельного врага интеллигенции и самого принципа интеллигентности: «везде было и всегда будет, что народ раньше или позже идет за интеллигенцию; распинает ее — но потом все-таки за нею же идет». Отсюда-то и вытекала такая скорь Леонтьева, который видел, что его дело и идеал, дело и идеал Византийской Москвы, не имеет будущего, проиграно по всеобщему отвращению интеллигенции и культуры русской к этому идеалу. Перенесем это предвидение Леонтьева на дела духовные, религиозные, — и мы почувствуем тоску и тревогу Леонтьева. Я много лет каждое воскресенье бывал в церкви, бываю здесь в Петербурге. Бывал в Москве. Бывал в провинции. Нигде чиновник, судья, моряк, генерал, журналист, доктор,

* «Нет, синьор, я бедный импровизатор» (*ит.*).

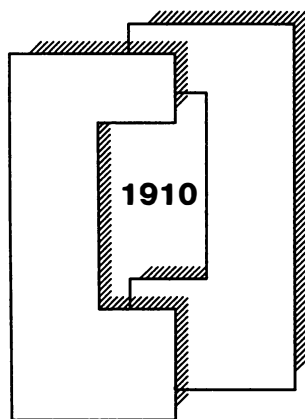
общественный деятель не стоит среди народа и не молится усердно. Везде одни простолюдины. Простолюдины и еще в самом небольшом числе образованные женщины. Это гораздо более жутко, чем книги Штрауса и Ренана. Ренана можно было опровергнуть, а рассказываемого мною факта ни опровергнуть, ни вообще как-нибудь победить нельзя, и при виде его по душе верующего проходит тоска... Я вспоминаю слова Леонтьева и душа моя наполняется самыми тяжелыми предчувствиями.

10 Вся сила лекции, нами выслушанной, и лежит в том, что она показала *raison d'être* * этого факта. До сих пор над ним ругались, его порицали. Лектор нам показал, что за стенами церковными, в этой интеллигенции, есть одушевление, идеал. Что это вовсе не проходимцы идейные, не ничто. Идеализм встретился с идеализмом же, бросились грудь с грудью. Тщетно один враг, не будучи в силах повалить другого, требовал бы у судьбы, чтобы тот составил протокол и осудил его. Дopeваются последние песни — я говорю о богословской против интеллигенции полемике. В духовенстве наконец пробуждается сознание, подымаются светлые умы, которые не примиряются с положением дела. Еще вчерашние дни собственной неловкой полемики считаются ими как положительный проигрыш. Они говорят интеллигенции: «Что такое? Мы ничего не разберем. Вы от нас уходите, мы вас ругали; но тут есть что-то худшее, чем лень и безверие, в вас есть не-
20 годование: а когда слушатель негодует, в этом не всегда бывает он виноват, а бывает часто виноват и противник. Мы верим, что стоим на абсолюте — Боге; но готовы признать, что стояние-то наше на этом абсолюте было и нетвердо, и нерадиво. Камень под нами вечен и непоправим, но мы — относительны, несовершенны, слабы». Это изменяет положение дела, открывает почву мысли и суждению.

30 *Многое* говорилось на лекции блестящего, но как-то не дельного. Нам показывали небесные видения, рисовали воздушные перспективы. Но все это как *fata morgana* ** в степи. Дело проще. Я верующий, но с кое-какими недоумениями. Я много блуждал в вере туда и сюда, но отчего? Да куда мне было пойти? Очень высоко было понятие, развитое на заседании, что Церковь есть тело Христово, которое безгрешно и неосязуемо, что она везде и ни в каком
<Не окончено.>

* Разумное основание; смысл (*фр.*).

** Мираж, призрачное (*ит.*).



НУЖДА ВЕРЫ И ФОРМ ЕЕ

Эртель, отсидевший в Петропавловке, окруженный друзьями полулегального характера, сотрудник радикальных журналов, и проч., и проч., — стоял, однако, головою выше их по глубокой своей жизненности, *природности*, вечной связи с землей и действительностью, которую любил горячее партий, программ и прочитываемых им книг. Всех друзей он проверял «матушкой природой» и всякую книгу критиковал «в свете солнечного луча», вот как он льется с вечных небес: и в книге его писем особенно и любопытно наблюдать эту борьбу между природою и изломанными, несчастными людьми... По человечности жалеешь людей, сочувствуешь им, даже становишься на их сторону, чтобы «разделить несчастье», но ум и вся натура говорит: «Не здесь *вегная правда*». И Эртель соглашается, гнется, входит в чужие вкусы, но кончает разрывом и переходит на сторону «натуральности», на сторону «естественного»...

Человек еще в деде своем лютеранин, по корню — берлинец, по воспитанию и обстановке почти русский нигилист, по крайней мере — вначале нигилист, вот как кончает он (стр. 392 «Переписки») с *догматическим* «толстовством»: «Что касается до личных моих убеждений, — пишет он в 1902 г. Б. Д. Вострякову, — то в моих глазах человек без *религии* (курс Эртеля) существо жалкое и несчастное, особенно человек простой и бедный, но, в конце концов, и всякий; и если некоторые выражения и формы религии могут мне казаться отжившими, анахроническими, даже нелепыми, то все же я, принимая во внимание огромное большинство тех, для которых эти формы и выражения пока удовлетворительны, всегда скажу: лучше уж анахронизм, чем отсутствие религии, чем дешевое, непродуманное «свободомыслие», под которым чаще всего скрываются невежество и глубокое равнодушие к высшим интересам и запросам духа. Ты скажешь: зачем же поддерживать анахронизм в формах и не бороться против него, или не оставить эти формы спокойно вымирать, если они вымирают? Но нужно иметь в виду, что подобная борьба только тогда допустима и может быть благотельна, когда вместо отжившей формы ты знаешь другую и в состоянии убедить людей, что эта иная лучше старой. Если же ты станешь бороться одним отрицанием прежнего, то получится «горше прежнего», т. е. ветхая форма погаснет не одна, но в падение свое увлечет и содержание свое, само существо *религии* с ее вечною силою, вечною свежестью. Отсюда выходит, что мы должны относиться с великим уважением к тем глубоко и страстно религиозным (? — В. Р.) людям вроде Л. Толстого, которые несмотря на все препятствия цензуры, попов, синодов, жандармов (жаргон старого нигилиста. — В. Р.), миссионеров, — гнут и ведут свою линию, т. е. в сущности борются за свободу духа, веры, исследования; но

если мы не подвижники, не можем или не хотим сами участвовать в этой борьбе, — нам остается одно: в каждом частном случае разбирать, что полезнее: отойти ли совсем в сторону, пробавляясь ли дешевым отрицанием над жаждою святости у простых и невежественных людей, или не соблазнять их этим презрительным равнодушием и отрицанием, дабы они, по английской пословице, «не выплеснули из корыта и ребенка вместе с грязной водой», т. е. вместе с устаревшею формою не откинули бы и религии. Я лично стою за то, что полезнее и *достоинее примиряться с формами, как бы они ни казались иногда нелепыми и бессмысленными, нежели жертвовать тем, без чего человек мертв* (мой курсив. — В. Р.). Затем, что бы там ни говорил Л. Толстой, совсем *без формы, без культа, без выраженной религия существовать не может* (мой курс. — В. Р.), по крайней мере — в ближайшую тысячу лет».

Мне же кажется — и *никогда* не может, и не нужно, чтобы это «могло» быть когда-нибудь: *культ* для чувства Бога то же, что *жест* при виде любимого, при встрече с родным, что *голосовой звук* (слово) при работе мысли. Зачем удерживать *естественные выражения души*?! «Культ» религиозный — такая же принадлежность культуры и человека, как речь или грамматика: — он вечен, необходим и прекрасен! Эртель продолжает:

«И потом Толстой забывает, что „формы“ в религии удовлетворяют, помимо веры, — и художественное, тоже очень необходимое и могущественное чувство, и что, например, *внешняя обстановка, хотя бы нашего православия*, — его *mise en scène* *, если можно так выразиться, — *удивительна по своей красоте, по своему красогному, пластическому, звуковому символизму* (мой курсив. — В. Р.)».

Да, миссионеров бы я отменил. Чему они помогают? Ничему не помогают! Их бы я заменил следующим: *архиерей ежегодно должен объехать все села своей епархии, все самые глухие села*: и в каждой сельской церковке с местным священником и диаконом, но со своими архиерейскими певчими, должен отслужить одну *полную архиерейскую службу*. Если в год всего объехать нельзя — в *два года раз можно*. А консисторские дела «побоку»: пусть эту канцелярщину вершит секретарь или вообще какой-нибудь безблагодатный наймит. Не могу не вспомнить при этом незабвенного викария петербургского митрополита — епископа нарвского Антонина, ныне на грустном «покое»: он восторженно рассказывал, как крестьяне жадно ждали и просили у него хотя малой службы, и он старался им отслужить хотя молебен в какой-нибудь давно заколоченной часовенке, как потом шествовал пешком по полям среди крестьянских хлебов, и все говорил им «слово» своим великолепным голосом. Вот уж был «поп» «по мужикам...» при такой учености. И он «не у дел» при теперешней бездарности и всеобщем равнодушии...

Кончу письмо Эртеля, а читатель пусть отбросит в сторону ненужные слова старого нигилиста. Я их сохраняю, потому что именно из уст нигилиста, среди всех свидетельств нигилизма, интересно услышать поразительную вырвавшуюся истину о *главном, о существенном, о вечном*:

«Самая главная вина православия заключается в том, против чего боролись даже такие экстраправославные, как Хомяков, Владимир Соловьёв и другие, — в его противоестественном союзе с государством. *Но вовсе не в его таинствах* (на

* внешняя сторона (фр.).

которые ополчился Толстой), не в его мистериях, *благолепии, догматах, требах*. Будь оно действительно „свободною церковью“, не якшайся со светскою властью, не превратись в своего рода департамент, я решительно не понимаю, чем было бы оно хуже католичества и бесчисленных протестантских сект. Напротив, гораздо *глубже, тепловатнее и красивее*» (стр. 392).

Это признание из уст полунемца и не остывшего еще нигилиста в тяжелую пору Сипягина, Плеве, Победоносцева и Саблера, — какой оно крик истины, крик натуры. Можно прошептать вечно победное, тысячелетнее: «Тебе, Бога, хвалим». Да, старина крепка. Старина не даром до сих пор живет. Люди, да чем же она живет?!..

10

* * *

Кончу об отношении Эртеля к православной церкви, сравнительно с отношением к ней же Толстого.

Мешает ли православная церковь доброму *лигному подвигу* человека? Вот простой и ясный вопрос, который мы предлагаем ввиду разбегающихся по сектам русских людей. «Стадо рассыпается», — можно сказать о церкви и православии. И невыносимо больно видеть, когда человек действительно доброй и деятельной жизни, любящий народ, любящий человека, уходит в какой-нибудь религиозный «толк», подразделение, секту, буквально «отряхая с ног прах» от православия, с глубоким негодованием к нему, а в особенности к духовенству, со словами: «Здесь нет спасения, с этими людьми нельзя спастись, ни самому, ни народу. Ухожу из гибели». Такие люди есть. Таких людей я *видел*. И нет страшнее зрелища.

20

Страшен будет ответ духовенства на Страшном Суде...

Все это так...

Но вот вопрос: *мне (и всякому)* разве помешает духовенство, — в массе бездельное, пассивное, невежественно-самоуверенное, не трезвое, корыстное, — разве помешают мне семинарии и семинаристы, духовные академии и академики, консистории, духовный суд или бессудность, и проч., и проч., что я все знаю и осуждаю, — потрудиться среди православного люда добрым православным подвигом точь-в-точь так, как я готовлюсь мысленно начать трудиться в сектантской общине?

30

Нет, не помешают. В *лигной жизни* они ничему не помешают именно вследствие безграничной *шири* православия, его свободы, пожалуй, связанной с *пассивностью*. «Мне что же, делай что хошь», — говорит, в сущности, каждое духовное лицо, расчесывая женскую косу свою известным большим, деревянным или костяным, гребнем. «Как хошь»... Это и ужасно, соглашаюсь, — эта пассивность, эта безвольность, это равнодушие к добру и злу. Да, но в одном отношении они хороши.

Они *нигему не мешают*.

40

И вот отчего я никогда и никуда не ушел бы из православия. Куда из него уйти? Оно не имеет границ.

Как только католичество — границы.

Как лютеранство — границы.

Как какая-нибудь секта — границы, и страшно узкие, тесные, задушающие!!

Но православие говорит: «Как хошь!».

Это хорошо. И из него я никуда не уйду. Пусть уходят губернаторы из него, потому что оно действительно мешает или, лучше сказать, не помогает благоустройству народному, не связывает деревни, не вяжет уз над бытом: если и не способствует, то не препятствует порокам, преступлениям, озорству, разгулам, ужасам моральным, физическим, правовым, всяким. Словом, с *правительственной* точки зрения оно, как не помогающая, пассивная сила, представляется действительно ужасным; но с *частной* точки зрения, с точки зрения *частного* человека и *частной* жизни, — это, можно сказать, религия настолько удобная, какой еще не появлялось на свете! «Как хошь»: и можно быть демоном или *ангелом*.

— Кто же вам (возможные сектанты) *ангелами*-то помешал быть? Чем отъединяться, разбредаться в стороны, собираться в новые средоточия, секты, — отчего на *православной* ниве вы не трудились добрым трудом, каким вот трудитесь теперь в секте?

Этого недоумения я никогда не мог решить. На этот вопрос я никогда не услышал ответа ни от кого из уходящих в секту.

Я могу (кой-как) постигнуть уход из православия только на почве следующего мотива. Бывает, что человек бесхарактерный, *переезжая в другой город* или даже *на новую квартиру*, вдруг освобождается от застарелых своих пороков, главным образом от пороков распушенности, и *нагинаяет лугше жить*. Конечно — перед переездом «дав зарок себе», «клятвы», «обещания» и проч. Но оставшись на старой квартире, он «зароки» нарушал бы. «Уже так все слежалось», — «и вот в этой комнате мы всегда играли в карты», десять лет, «или я всегда был пьян». Словом — «новая квартира — новый быт», «новый город — другая жизнь». О таком «потрясающем» событии, как женитьба, даже народ говорит: «Женишься — *переменишься*». В жизнь входит *новая, свежая* волна, с женитьбою — огромная, с другим городом — большая, с новой квартирою — кое-какая: и эта волна может помочь ломке и забвению вообще *старого, порозного* старого, *вредного* старого. Вот тут и можно понять секты. «От православия — все мы, все в нас... От его *корня* все у нас на Руси потекло. Но это все — ужасно горько, кисло... Закисло мы в нем. Айда, — вылетим из него и *заживем по-новому*». Таким образом, тут мотив не столько моральный, что «на почве православия ничего сделать нельзя», сколько мотив лежит в бесхарактерности, вялости русских: в отсутствии в них силы взлета, в их пассивности.

Я ограничиваюсь мотивами моральными, какими, очевидно, двигался Толстой в своем отделении от церкви. Мотивов собственно догматических, вероисповедных, как и исходящих из философии религии или христианства, я вовсе не касаюсь.

НАШ «АНТОША ЧЕХОНТЕ»

⁴⁰ Мечта юности, или грусть юности, — как и первая любовь, не забывается до старости. Она кладет на личность человека неизгладимый отпечаток.

Теперь среди портретов «любимых писателей» вы во всякой образованной семье, в комнатке всякого студента или курсистки встретите портрет или карточ-

ку «Антон Чехова»... И среди бородатых, могучих в лепке матушки-натуры или глубоко оригинальных фигур Тургенева, Толстого, Плещеева, Мея, Некрасова, Добролюбова, Чернышевского — фигура или, точнее, фигурка Чехова представляется такою незначительною, обыкновенною... Слишком «наш брат», то же, что «мы, грешные», — слабые, небольшие и вместе недурные люди. Положенная нога на ногу, подпертая рукою голова, волосы и небольшие, и не маленькие, не вовсе гладкие и не слишком, волнистые, вероятно, русые, — и это пенсне, до того у всех обычное — наконец, выражение лица скорее скучающее, чем грустное, — конечно, умное, но без всяких мирпвых вопросов на себе, без «запросов духа», «мировой скорби» и «политического негодования», — все это как будто сводит Чехова во второй ряд литературных величин..¹⁰

«Эх, обывательщина!..»

Это — наша собственная фигура, когда в пору студенчества мы мотались по урокам, или — знакомого, не окончившего курс студента, который, поступая на медицинский факультет, вышел было в юристы, но и юриста из него не вышло, и вот он живет теперь «так», словом, лицо и фигура «обыкновенного русского человека из образованных», сплошь все милых и сплошь все жалких, которые ни в чем не могут помочь и явно нуждаются во вспомоществовании. Гения нет, силы — небольшие, дум, как серых мышей, — толпы, но все незначительных, обыкновенных, которые не могут дать человеку большой судьбы.²⁰

«Эх, русское бессилие!..»

Но все так умно, душевно, — как вы не встретите у заграничного «авиатора», — «завоевывающего воздух», чорт бы его побрал. У «авиатора» такая же деревянная душа, как и весь его деревянный аппарат, и только удивительным образом на этом «ничто-человеке» выросла одна чудовищной величины способность вот к авиации или к передаче звука по проволоке. Чехов, конечно, никогда не выдумал бы даже новой зубочки, «более удобной и приспособленной к культуре», хотя бы из него тянули жилы. И ничего не выдумал бы, да и действительно никогда ничего не выдумал бедный «Антоша Чехонте», которому не удалась медицина, юриста тоже из него не вышло, — и вот, в раздумье и безденежье, он начал писать, что видел и что слышал, и помещать где-то в «Листках» и читаемых по портерным иллюстрированным журнальчиках. Как это поется в нетрезвой песенке:³⁰

Фонарики-сударики
Горят себя, горят...
Что видели, что слышали
Про то не говорят.

Чехов начал рассказывать, — и, вместо «медицины», у него вышла «литература». Как «обыкновенно у русских»... Именно, как ночной мигающий фонарик, мимо которого бегут люди, спешит преступление, готовится скандал, и фонарь⁴⁰ всем светит, «добрым и злым», богатым и бедным, никого не удерживая, никому не помогая, но все видит и знает... Так «Антоша Чехонте» начал писать свои миниатюрные рассказы, в 3—4 страницы, в фельетон длиной, в полфельетона.

— Пока не устал и как длинно выйдет. Точку везде поставить можно.

Оглянулась гордая литература на него, взором назад и вниз:

— Это еще что такое?..

Бедный «Антоша Чехонте» съезжился... Еще бы не съезжиться под величественным вопросом Михайловского, у которого что мысль, то — гора: «о прогрессе истории», о «правде-истине и правде-справедливости», «герои и толпа», «вольница и подвижники». Но была нужда, да и в душе было что-то такое, что пело... Все «поется и поется», и «Антоша Чехонте» все «писал и писал»... почти не смея выйти в большую литературу, где сидели люди с такими бородами... Как ассирийские боги.

Почти до смерти Чехова продолжалось это недоумение:

10

Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?

О, наш всевидец, Пушкин: за сколько лет он предсказал критические вопросы Михайловского о Чехове, установившие тон отношения к нему больших журналов... но не публики. «Публика», серая и непретенциозная, полюбила «Антошу Чехонте», «своего Чехонте», — этого человека в пенсне, совершенно обыкновенного.

Чехов довел до виртуозности, до гения обыкновенное изображение обыкновенной жизни. «Без героя» — так можно озаглавить все его сочинения и про себя
20 добавить, не без грусти: «без героизма». В самом деле, такого отсутствия крутой волны, большого вала, как у Чехова, мы, кажется, ни у кого еще не встречаем. И как характерно, что самый даже объем рассказов у Чехова — маленький. Какая противоположность многотомным романам Достоевского, Гончарова; какая противоположность вечно героическому, рвущемуся в небеса Лермонтову...

У Чехова все стелется по земле. Именно, даже не идет, а стелется... Вернее, растет по земле.

Как жизнь, как природа, как все.

«Сударики-фонарики»

мигающими глазами своими видят, может быть, самое важное в жизни, потому
30 что они видят *самое обыкновенное* в ней, т. е. везде бывающее и чему суждено всегда остаться.

Утешимся, как слагатель народных присказок, изрекший:

Дождичек идет
Перед солнышком...
Солнышко взойдет —
Перед дождичком.

Без героического и величия земля тоже не прожила бы, как и без травы и мхов ее не бывает. Даже более: тот гений, та виртуозность, до которой Чехов довел обыкновенный рассказ об обыкновенном событии, свидетельствует, как
40 и всякий апогей и вершина, что мы подошли к краю, за которым начинается «перевал к другому»... Чехов довел нас как раз до взрыва, — поднятия большой вол-

ны. И его «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» по времени почти сливаются, немного отступая назад, с «Песнью буревестника».

Дождик моросит
Перед солнышком...

Но я оставляю в стороне историческое положение беззвучной, глухой музыки Чехова... Это — особая линия размышлений. Мне хочется еще докончить об его музыке.

В юности и героически настроенный человек, конечно, ищет гор, препятствий, борьбы. «Ступай на погибельный Капказ». Все Бог дал, и все Бог устроил, — в природе и в жизни.

10

Но в полдень нет уж той отваги, —
Порастрясло нас, нам страшней
И косогоры, и овраги.
Кричим: «Полегче, дуралей!»
Катит по-прежнему телега,
Под вечер мы привыкли к ней
И, дремля, едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

Этот усталый полдень жизни и еще более усталый и немного сонный вечер жизни — его и рисовал Чехов с миной горькой и усмешливой. Чехов не был бы Чеховым, не был бы «русским интеллигентом», если бы к простодушной и доброй его поэзии не примешивалась везде эта кислотца. Не жгущая, не острая, — для этого он был слишком «русским», — но все-таки именно кислотца. «Люблю кислые щи с кашей, но на этот раз они уже слишком перекисли, да и каша распирает бока» — вот Чехов и его отношение к жизни, прощающее, с усмешкой, любящее, но не уважающее.

«Что же тут уважать? Конечно, все плохо... И всем ужасно скучно».

Это — припев и «Вани», и «Сестер», и старожилы «Вишневого сада».

Толстого или Достоевского, даже Тургенева, наконец, ленивого Гончарова Бог или Natura-Genitrix * вырубали из большого дерева большим топором. Все крупно, сильно, — в творчестве, в лице их. Сотворение Чехова все шло иным способом. На небольшой дощечке дорогого палисандрового или благочестивого кипарисного дерева, из мирных стран Востока, тонкою иглой начертан образ тихого, изящного человека, «вот как мы все», но от «всех» отличающийся необычайным благородством рисунка, всех линий. В Чехове Россия полюбила себя. Никто так не выразил ее собирательный тип, как он, не только в сочинениях своих, но, наконец, даже и в лице своем, фигуре, манерах и, кажется, образе жизни и поведении. «Все вышло, как у всех русских: учился одному, а стал делать другое; конечно, не дожил полных лет. Кто у нас доживает? Гнезда не имел, был странствующий. И все немного музыкантил или мурлыкал себе под нос. Ни звука резкого,

40

* Природа-мать (лат.).

ни мысли большой. Но что-то такое во всем этом есть, чего нигде еще нет. Что бы это такое? Да, скучно без этого было бы жить. С другим было бы удачнее, счастливее, благополучнее, но скучнее. А этого, вот, слушаешь, слушаешь и забываешь, что дождь идет, что так глупо все, и не то что миришься с глупым, — этого нет, — но в безмерно глупую и дождливую эпоху находишь силы как-нибудь просуществовать, пересуществовать ее, переташиться по ней».

Спасибо тебе, поэт. Ты нас баловал, когда всем было очень тяжело. Но в музыке твоей всегда звучала струна, по которой мы знали, что «есть край иной». И суть твоей песни заключалась в том, что пела-то она об одном, вот «об этом»,
 10 а грезы навевала-то совершенно о другом, «вот о том». И мы под звуки твои и спали, и не спали.

* * *

А впрочем, и настанет «все то же», мы нашего «Антошу Чехонте» не забудем... Есть «погибельный Капказ», и есть срединная, плоская «Рассея», куда обширнее кавказских стремнин... Настоящая мудрость заключается в том, чтобы в героическую эпоху жить героически, а в негероическую эпоху все-таки не разбивать о стену голову. Великое «что делать» всегда останется под солнцем: «что делать» — как недоумение, «что делать» — как бессилие. Беспременно героическая натура, Достоевский, устами Мити Карамазова сказал:

20 — В тысяче мук я *есмь*. Корчусь — и все-таки *есмь*.

Это говорит Митя перед каторгой; но сам Достоевский, в горчайшую минуту личного существования, в одном частном письме, порассказав приятелю все напасты, кончает:

— Не правда ли, живуч я, *как кошка*...

Это — когда ее выкинут из третьего этажа в окно, а она перевернется и все-таки побежит.

«Есмь» — самое главное; «есмь» — первое. Рождаемся мы не все для варенья и яблок, но, между прочим, и для кислого существования. «Что делать!». «Быть человеком» важнее, чем быть «сытым человеком» и даже «нравственным человеком», «добрым человеком», ибо, чорт возьми, *кто* же будет «сыт-то» или «нравственен», если «меня нет», существа с желудком и 10 заповедями? И поэтому я всегда сперва подумаю о том, чтобы «мне остаться на земле», и уже потом подумаю, какими заповедями обставлюсь и по сколько фунтов хлеба буду съедать в день. Все *после* «жизни», все «позади» жизни... Не знаю, для чего мне после этих строк о грустном Чехове хочется кончить, обращаясь в особенности к юности:

— Не убивайте себя!

Никогда, ни за что, ни в каких обстоятельствах, ни даже после преступления или перед ним, — все-таки не убивайте.

30 Нить, которая *раз* оборвется, — никогда не завяжется. А все прочее, ей-ей, все, не только тяжесть жизни, но и грех ее, даже ужасный грех, — все-таки можно связать ею «вторичный узелок».

* * *

Эту мысль о жизни внушает Чехов тем, что грустная дума и тон его весь полон полужизни. Мерцает, мигает, теплится, но не горит. И, глядя на это «мигающее», долго глядя, вдруг преисполняешься мистического страха: «вдруг погаснет». И кричишь: «Зажигай все, лучше все зажигай, нежели эти ужасные темень и хлад, когда вдруг все погаснет!».

КАК ДЕЛАЛИ ОДНОГО УЧЕНОГО...

Одного тупого человека хотели сделать профессором. Вот наставник и говорит ему:

— Чтобы изучать рыцарскую эпоху, не надо самому драться на турнирах. 10

— А как же? — спросил тупица.

Наставник продолжал:

— Чтобы изучить опиум или гашиш, не нужно самому становиться курильщиком опиума. Тогда сойдешь с ума, а диссертации не напишешь.

— Не понимаю, — сказал тупица. — А как же?

— Чтобы писать о сумасшествии, не надо сходить с ума. Такого называют не «психиатром», а сажают в желтый дом.

— А как же? — твердил тупица.

— Ученый объективен: он имеет зрение, логику и вообразительную способность представлять предметы, и с помощью их создает науку... 20

— Не понимаю, — сказал тупица. — У меня вообразительной способности нет, а логики... не знаю!.. Я думаю, что для того, чтобы писать о проституции, нужно быть проститутком, чтобы писать об алкоголизме, нужно быть пьяницей, и чтобы писать о сумасшествии, нужно быть сумасшедшим.

— Нет, из вас ученый не выйдет.

— Но я хочу быть ученым. Непременно я хочу быть профессором...

— А впрочем, — сказал наставник: — кафедры пустуют, кто-нибудь должен же читать студентам науку. И если у вас такое рвение, надевайте мундир министерства народного просвещения.

Так произошел один профессор в Москве. 30

Через четыре года послетого, как была напечатана моя книга «В мире неясного и нерешенного», он написал на этих днях (кажется? в радикальном) «Утре России» ее разбор-очерк под названием «Мистическая порнография», где обвиняет *лично меня как человека* в преступлениях, караемых во Франции судом исправительной полиции. Почему? Потому что книга написана о поле и его феноменах. Автор с равным правом мог бы обвинить в том же Вейнингера за его «Пол и характер» и д-ра Фореля за книгу «Половой вопрос». И все основано на ошибке метода, формула для которого такая:

1) Он пишет о проституции,

2) Следовательно, он проститут. 40

Я соглашаюсь, что на наших профессоров не надо надевать смиренных рубашек. Они тихие. Но когда я опускаю монету в зелененькую кружку с этикетом: «Приют для слабоумных, калек и идиотов», — я думаю, что жертвую для некоторых из этих профессоров, и может быть, кое-что даю для своих рецензентов.

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ТРЕХ СОСНАХ

С таким жаром, кровью в сердце, ряд умных людей спорит несколько собраний по вопросу о том, чего требует высший христианский идеал: личного ли углубления и усовершенствования, или работы над общественными формами, над политическим и национальным строем?

¹⁰ Это — тема последних собраний христианской секции, которая выделилась в старом религиозно-философском обществе в Петербурге, не сливаясь и не отделяясь от него. Заседания этой секции более интимны, менее многочисленны. Она продолжает исключительно религиозную работу прежнего общества, как известное, отклонившегося к темам литературным и публицистическим.

Нужно ли думать о прекрасном обществе?

Или о прекрасном человеке?

²⁰ Правда, это — старая тема всего русского общества, всей русской философской и религиозной мысли. В последнем собрании В. П. Протейкинский, постоянный посетитель секции, убедительно доказал длинными выдержками из Достоевского и Толстого, что оба эти корифея нашей религиозной мысли стояли не за личный и потому эгоистический, хотя бы и моральный, идеал; что им обоим предносилось «совершенное общество», а не совершенный только «человек»; оба говорили о «мире» как союзе людей, о «братстве человеческом»; мечтали они об общине, деревне, улице «морализованных», «преображенных», а не об отшельничестве и отшельнике как завершеном идеале. Это было ново относительно Толстого, у которого, как известно, прорывались и мысли обратного направления, но Протейкинский совершенно вразумительно, совершенно убедительно доказал это и относительно Толстого.

³⁰ Все это интересно, все это так. Действительно, ведь и «толстовцы» собирались именно в *колонии, общины*, а не жили одиночками.

Заметим, что и Достоевский с его «всемирною гармонией», и Толстой с его новыми мыслями о «братской общине» встретили в 80-х годах прошлого века сильного критика в лице Константина Леонтьева. Последний выступил против них с брошюрой — «Наши *новые* христиане, гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский». Он указал, что идеи и стремления Толстого и Достоевского, идущих под стягом Евангелия и Христа, — вовсе не евангельского и не христианского происхождения, что Христос ни о какой «мировой гармонии» не учил и ее не предрекал. Напротив. Он предрекал, что «все будет хуже и хуже», что земля и все земное идут к «концу», что настанут болезни, мор, голод, вражда людей друг к другу, войны и ожесточенная распря среди людей, «пойдут народ на народ и язык на язык». Все это так, все это в Евангелие есть. «Проповедывать же и надеяться на мировую гармонию, на счастье еще на этой нашей земле, — говорил отчетливо

Леонтьев, — есть безумие и богохульство, есть антихристианская и антицерковная мысль».

Леонтьев был точен, как счетная машина. Достоевский вскоре умер, среди жара недоконченной полемики. Но в «Записной книжке» его нашли следующие строки:

«*Леонтьеву* на его мысль: не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет. В этой идеи Л-ва есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить добро делать? Живи в свое пузо; живи впредь спокойно в одно свое пузо».

10

Последние *лигные* слова, обращенные к К. Леонтьеву, были несправедливы: он был идеалист лично, до трогательности добрый и мягкий, но с суровыми суждениями, капризно суровыми, «нарочно» суровыми. Он очень любил «горячить» общественное мнение и жег его парадоксами, иногда оскорбительными или, лучше сказать, всегда оскорбительными, когда было можно. Но, оставляя эту художественную привычку Леонтьева в стороне и обращаясь к делу, мы должны сказать:

1) Действительно, мысль о блаженстве человека на земле есть мысль апокалипсическая.

2) В самом Евангелии и в устах Иисуса Христа — ее нет, не было.

20

Достоевский, не давая себе отчета, все время во всей своей литературной деятельности, и тем ярче, чем ближе к концу ее, шел «на парусах» под апокалипсическим ветром, под дуновением из Апокалипсиса, а отнюдь не из трех синоптических Евангелий. В то же время воображая, что он комментирует, «разъясняет» Евангелие, «Лик и волю Иисуса Христа». Здесь поправка Леонтьева была совершенно точна, совершенно правильна. Как известно, до сих пор церковь не имеет ключа к Апокалипсису и не дала ему движения, применения в жизни: и «церковный идеал», который тоже защищал Достоевский, смешивая его с апокалипсическим, с «царством Духа Утешителя», — выразился вполне в византийском строе, в отшельничестве, в затворе, в замкнутости Афона и его киноий, дух которых знал Леонтьев, проживший там несколько лет, и в своей брошюре он его выразил страстно и язвительно.

30

Леонтьев был строг, сух и документален. Он был совершенно прав с точки зрения *прошлого* церкви.

Достоевский же... был прав с точки зрения *будущности* церкви на земле (Апокалипсис).

Спор не закончился за смертью Достоевского в самом его разгаре. Что касается Леонтьева, который был глух к Апокалипсису, как и все «сухие», недвижимые, как все *status quo* * в составе церковном, то ему просто не пришло на ум спросить: «Да откуда этот *новый* дух в христианстве? Откуда эти *новые христиане*, которых он так правильно заметил? *Сами* ли они сочинились, сочинили себя, и не дует ли в них что-то от времен же Иисуса Христа?».

40

Тогда бы он открыл Апокалипсис. И едва ли сам удержался бы в своей чертовой форме, в жестоком строе своих мыслей...

* существующее положение (*лат.*).

Спор был чрезвычайно обещающий, но он не был кончен. Вмешавшийся в него Влад. Соловьёв ничьему делу не помог: он сослался на «гуманность», которую выражают Толстой и Леонтьев. Но это уже было привлечением к делу «посторонних документов», которое комкало и затирало все дело, весь вопрос, его сладкую и содержательную муку.

— Четвероевангелию ли нам следовать? Которое утверждает факт: «Было Лицо и учило тому-то». Далее следуют катехизические «тексты», Византия и весь status quo.

10 — Или следовать Апокалипсису: полному неясности, непостижимостей. Но в котором все роится, вот как роится улей пчел, и все вылетает новое и новое, из каждой строки, из всякой главы. Дует не ветер, а буря, вихрь, срывающий всякое status quo, вечно зовущий, толкающий, несущий куда-то в даль, в бесконечную даль, к каким-то невероятным обещаниям, с невероятными надеждами и... полною верою! «Небо трясется», «звезды падают», «кружатся царства», «плачет земля» там, «ликует» здесь; белые одежды, пальмовые ветви мира, — все это среди грома и разрушения. Понять ничего нельзя в строках, отдельных выражениях, но ощущается с пронзительной ясностью буря, ярость, умиление, разлом и созидание... Вот все, чем так полна была психологическая стихия и Достоевского.

— Ну, чему же следовать? Тому? Оно — свято.

20 — Но свят и Апокалипсис. Он признан. Он — канон. Только «за семью печатями». Так не следовать ли ему?

Вопрос, к сожалению, не был доведен до этой ясности. До этой прозрачности. До всего величия этого церковного его смысла. Вл. Соловьёв перевел его в публицистику и, можно сказать, утопил в сухих песках «Вестника Европы».

Но, устранив от этих далеких горизонтов и беря скромнее задачу, мы должны ответить членам христианской секции религиозно-философского общества:

30 — Вы спорите о том, как быть нам в нашем положении? Следовать ли «Вехам» и отдельным призывам Толстого и начать постройку в себе «внутреннего человека», или примкнуть к общественной работе, как она установилась во всей России, налаживается или разлаживается? Но поступать нужно каждому *по дару его*. И Спаситель говорил о «разных дарах» у человека, у человечества. Есть люди совершенно неспособные к общественной работе. Неудержимо они уходят в себя, копаются в душе своей, слушают ее, слушают совесть свою, голоса в ней, призывы в ней и мучительную критику. Такие люди только бы испортили в общественной работе, не имея тех объективных даров, того внешнего уха и внешнего глаза, которых она требует. Зачем они здесь? Да их гнать отсюда надо! Какой же Кольцов «сельский староста», или Лермонтов — «правитель канцелярии», или... Сергей Радонежский мог ли бы быть думным боярином? Оставьте их в покое; принудительно оставьте, если бы по наивности или рассеянности они не остались

40 сами. Мир пользуется ими с другой стороны, *особым их даром* (слова Спасителя), какой у них есть; душа их, утонченная и нежная, родит чудные слова, небесное учение; личная жизнь их представляет тогда что-то обаятельное, недостижимое для остальных смертных. Вот эти слова, вот эта личная жизнь, часто аскетический подвиг в пустыне, в пещере, в лесу — все это есть сладкий, редкий и питательный плод, какой берет от них человечество и исцеляется им от многих язв, хотя и не становится от него сыто, как от хлеба.

Есть лекарство, и есть хлеб, и оба нужны.

Хлеб работают хлеборобы: люди дюжие, утилитарные, не рассеянные, в себя не уходящие, не мечтательные, не грезящие. Они делают всю общественную работу, которая также насущна, как и личный подвиг святого затворника, как золотое слово поэта. Хоть вы стегайте в три кнута «общественного деятеля», он вам ни одной строчки стихов не напишет. Или напишет отвратительные, которых лучше бы не было. Но зачем же устраивать перекрестное сечение и такую взаимную муку принуждения каждого не к тому, к чему он способен? Пусть дары растут свободно. Пусть все дары растут свободно, и всякий приходящий к Дереву Жизни берет то с него, что ему сладко вкусить, в чем он нуждается. Оно же, это Дерево, тем и отличается от садовых наших произрастаний, что дает всякие плоды, а не один, — «по двенадцати раз в год», как обещал Апокалипсис. ¹⁰

Люди, не мучьте себя, не сочиняйте себя, и вы будете счастливы, сыты и... спокойны. Последнее-то и есть самое важное.

ЗАВЕТЫ БЫТА И ТРУДА

Многие письма Эртеля, всю жизнь прожившего в реальной возне с народом, а с другой стороны, находившегося в постоянном идейном общении с левыми кругами интеллигенции, дышат такой правдой, болью, признаниями, что было бы печально оставить без ознакомления с ними всю читающую Россию. Тут нечто такое, от знакомства с чем растешь. «Вы ругаете немцев и вообще тяготитесь заграницей, — пишет он Н. Я. Петрову. — Не знаю, дорогой мой, — что касается меня, то должен сознаться, что я почел бы за величайшее счастье отдохнуть от милого отечества, хотя, разумеется, не поехал бы для этого в Берлин, а поужнее или позападнее. Русский, в сущности, хорош только „на заре туманной юности“, — это я говорю об „интеллигентах“, — а с возмужалостью такая в огромном большинстве дрянь, что из рук вон. Народ же русский... лучше не говорить. Правда, он глубоко несчастный народ, но и глубоко скверный. Отсюда, конечно, не следует, что на него надо плюнуть, но следует то, что находиться с ним в *реальных отношениях* очень тяжело, иногда до нестерпимости. Правда, есть позиции, с которых он представляется интересным и симпатичным, это позиция этнографа и вообще наблюдателя, как был наблюдатель автор „Записок охотника“ на- ²⁰ пример. Но стоит только хлебнуть „реальных отношений“, как — увь! — сквозь поэтическую оболочку живо засквозит грубый и, главное, лживый, лживый дикарь. И не то плохо, что груб и лжив с „барином“, а то, что он до сих пор оправдывает язвительные слова Котошихина или Крижанича: „Русские друг дружку едят и с того сыты бывают“. Мужички именно едят друг друга с превеликой готовностью и самым подлым образом».

Тема книги, так шумящей сейчас — «Наше преступление» г. Родионова... Кстати, об этой книге: я ее прочел. Но, прочитав, вспомнил следующее: буквально такую книгу, но не в беллетристической форме, у г. Родионова очень слабой, а в виде голых рассказанных фактов и небольших рассуждений, сопровождающих эти факты, лет десять назад прислал мне в форме рукописи сельский учи- ⁴⁰

тель, помнится — Золотов. Я прочел, ужаснулся, — написал автору письмо, что книга очень важна, но едва ли ее кто-нибудь напечатает, так как она слишком идет вразрез с духом времени и особенно его демократически-розовыми «упованиями». Тогда автор на свои средства (средства сельского учителя!) напечатал ее, выставив на обложке *текущий* год, когда книжка появилась в декабре! Через месяц она сделалась уже *старою*, «прошлогоднею». И, конечно, никто ее не прочел и не обратил внимания. Книга г. Родионова, «Наше преступление», подняла эту же тему: но она пришлась ко времени и ее подняла волна общественного внимания. Но помянем добрым словом и Золотова, а кстати и Эртеля: все три говорят в один тон. Эртель оговаривается, что он «не сказал бы этого всего *негатно*», да и не сказал бы «даже устно *не близким людям*»: ибо только близкий может понять, как можно «ненавидеть любя», а посторонний и далекий человек этого не поймет, и принял бы слова его в объективном холодном смысле.

«Нет, — продолжает он, — это — не объективно, но все равно глубоко мучительно, потому что тут не вся правда, но много правды. Во всяком случае, достаточно много для того, чтобы по временам усомниться в блистательной якобы карьере матушки Федоры. Тем более, что к карьере ведут ее ой-ой какие ненадежные людишки! И в довершение говоря, поверьте, именно они-то и есть „излюбленные“ — надолго! — а не те, которым мечталось бы вручить судьбы. Больше скажу: если бы волею богов российскому народу, т. е. мужичкам и „сословиям“, представлено было въявь обнаружить свои политические вкусы, то, боюсь, каждая ныне действующая величина, вроде г. Победоносцева, приобрела бы объемы куба. Как ни страшно, но надо выговорить: какое ни на есть русское правительство, но оно гуманнее и прусвещеннее — и стыдливее — массы русского народа. Правительство в лице Муравьёва перевешало много поляков. Будьте спокойны, „подлинный народ“ перевешал бы их в десять раз больше. Считают, что в царствование Александра II казнено и всячески погублено несколько тысяч молодых людей революционного образа мыслей. Я начинаю думать, что если бы дали волю „подлинному народу“, он расправился бы с этими тысячами на манер Ивана Грозного. А духоборы, штундисты... Разве, вы думаете, „святая простота“ ограничилась бы теми репрессиями, которые теперь так возмущают нас?.. Но говоря все эти горькие вещи, я, однако же, далек от мысли утверждать, что какой бы то ни было „народ“ лучше русского. Например, французы, немцы, англичане, пожалуй, будут еще похуже. Но эта хорошая основная ткань русской народной души (я допускаю, что она хорошая) так переплетена с навыками рабства, а на Западе ткань посредственная так скрашивается прочной, глубоко внедренною культурностью, что, разумеется, жить и действовать гораздо легче там, чем у нас... И все-таки, все-таки я не сомневаюсь, что при наличности таких-то и таких-то условий Русь действительно могла бы сделать блестящую карьеру, „мальчик без штанов“, какого нам начертал Щедрин, мог бы превратиться в нечто лучшее, нежели блонравный немецкий мальчик. Но горе-то в том, что „условия“ редко являются со стороны, а больше вырастают изнутри, — изнутри же что может вырасти у камаринского мужика, или у его „сословий“, или у его беспочвенной и бессильной интеллигенции, в значительной степени зараженной „чеховщиной“? История, говорили еще недавно, делается идеями. Да, но еще более — навыками! В русской истории идей и фантазий ужасно много, „навыков“ же никаких, если не считать навыков к беспорядку решительно во всех сферах жизни...» (стр. 369—370).

Последние строки подчеркиваю я. «Навыков нет на Руси...». Это как изваянные слова. Каких «навыков?». «Быту» столько, что хоть отваливай, — как ни в какой стране. А между тем «быт» есть именно «навык», есть «сегодняшнее», похожее на «вчерашнее». «Быт» есть устойчивая, привычная, вековая жизнь. О каких же «навыках» говорит Эртель? Он не раскрыл скобок, не пояснил формулы. Увы, весь наш прославленный «русский быт», такой красивый, художественный, мягкий, такой, наконец, добрый — есть *пассивный быт*, а не *активный быт*. Мы *лежим* художественно: а как *пойдем* — то ковыляем, и вообще тут живописи конец! Вот в чем дело, вот где горе! Все «киты» русской действительности, все острые углы, ее режущие, все ее «горя горькие» сошлись в одну точку, к упору в одну стену, единственную: *пассивный народ!!* Прекрасный, живописный, но — пассивный. Если, как говорят философы, «пассивное начало» в природе есть то же, что «женское начало» в ней, то вот и объяснение: замечательно мягкий, нежный даже, русский народ есть явно *женственный*; это острым взглядом заметил даже Бисмарк, недолго побывавший в России. Но если так, то из этой *женственности* русского народа вытекает и его пассивность. В то же время бабы бестолковы и терпеливы: поразительная терпеливость русского народа (некрасовское: «терпением изумляющий народ») параллельна с изумительной бестолковостью русского человека, единично и лично, но больше всего — в массе, в толпе. Толпа русская, громада русская — всегда «бабий базар» по потере всяких концов и начал. Но вернемся к «навыкам»: святых много на Руси, — как ни в какой стране; но, будучи золотыми частицами, они тонут в массе хаоса, безобразия. И «святые» русские учат как «жить», а все-таки не как *работать*. У русских нет золотых «навыков» работать и золотых навыков «относиться» к среде, к условиям и к людям. «В избе» — хорошо (красиво), а «соседские отношения» — отвратительны; или еще: «одиночка — святой человек, а как вошел в семью, обзавелся семьей — пошел сущий ад». Везде «скверно» идет по линии связей человека с человеком, или по линии отношений человека к объективному миру, к работе, должности, службе. «Гениальные личности» есть; а «государственная служба» везде испорчена. Мужик, т. е. одиночка, богатеет, но до известного и притом небольшого предела: как рост богатства дошел до пункта, где оно требует для дальнейшего увеличения уже многих голов, требует связной и согласной работы, равномерно талантливой и непременно добросовестной, так начинается развал и провал, причина коего кроется в неизменном надувательстве кем-нибудь когонибудь («лживость» в указаниях Эртеля). На этом провалились громадные состояния в России. «Деревья в России высоко не растут». Такая этнографическая ботаника. И вот тут «святые Руси» уже не помогают, не учат. Не умеют, не знают. На вопрос: «как работать, как *сообща строить*», вся святость Руси, ее былая святость, ее историческая святость — ничего не отвечают.

Молчат.

И никто не умеет сказать: «*как же...*».

Вот где горе. Вот узел всех запутанностей России.

Музыки труда не началось в России. Мы жили, точнее — *были*: и создали удивительный идеал *быта*, этой «были» своей, «былого» своего. Он удивителен, этот наш быт, у помещиков, у хороших крестьян, у многих в духовенстве. Пушкин, Тургенев, Толстой, Гончаров увековечили это святое «жили-были» русской земли...

Но русский человек в трудах, в обязанностях, в долге, в службе?..

Петр, один Петр, дал этому пример: но умер — и оставил пустое поле за собою. Опять после него пошло «жили-были»...

ИСТОРИЧЕСКИЙ «ГЕНИЙ» ФРАНЦИИ

Сухая дружба на политической почве не принесет того плода, который может принести взаимное тяготение народов в целях высшей культуры. За Францию, обладательницею броненосцев и прекрасной армии, хочется вспомнить Францию Расина и Мольера, Декарта и Паскаля, «Национальной библиотеки» и «Академии надписей», Сорбонны, знаменитой старой «Политехнической школы» и «Нормальной школы»; наконец, Францию Шарко и Пастёра, Лагранжа, Коши и ряда других математиков, которые длинным рядом своим и великими заслугами в области математики, астрономии и физики не имеют себе равных во всей Европе.

Лишь во второй половине XIX века Англия и Германия начали уравниваться с Францией в области так называемых «точных наук», но в XVII, XVIII и первой половине XIX века Франция шла во главе всех народов во всем, что касалось точного, по преимуществу математического, освещения тайн мироздания и земной природы.

Столько же в зависимости от голубого неба этой южной страны, как и в зависимости от кельтическо-романской крови французы всегда чуждались туманного, неясного, неосновательного в области мысли; всякой философии, приближающейся к вымыслу; всякой гипотезы с претензиями на достоверность. Француз Ламарк гораздо раньше Дарвина высказал основные его предположения, но удержался объявить, что они «объясняют мир»; «натурфилософия» немцев, эта «философия природы» без опыта и без наблюдения, построенная в мозгу теоретиков, никогда не получала во Франции ни гражданства, ни признания; так называемая «позитивная философия» Конта имела больше последователей в России, чем в самой Франции: классическая страна точных наук, она в лице лучших ученых не допускала этого нагромождения друг на друга таких не сродных, явно разграниченных наук, как математика и психология, механика и социология. Конт был французский инженер, ставший «великим философом» только для Петра Лаврова и русских студентов, но без всякого значения или с небольшим значением для Франции.

Оставим его.

Esprit * французов весь выразился в ясности, точности; в проведении везде твердых разграничительных линий; в синтезе и обобщении, который не есть смешивание, смесь, не есть куча разнородного. «Ordre», «порядок» — душа французского ума, французского управления, французских дел, французской речи и французской администрации.

Этим ясным и точным умом Франция долго светила всему человечеству, на ее писателей, на ее поэтов, на французское управление, на «вкус» и «ум», во всем

* Ум, дух (фр.).

этом разлитый, вся Европа долго взирала с завистью и удивлением. Кольбер так же очаровывал, как Буало; Вольтер нравился одним не менее, чем Боссюэт другим: блеск как бы хорошо полированной стали, твердой и гибкой в одно время, казался недоступным для ума и вкуса, наконец, для самого языка других народов.

Французский язык стал языком всей блестящей Европы; всего, что в ней хотелось не углубляться только, но блеснуть, гореть на солнце, сверкать.

Французский «вкус» покорила себе народы.

Этого фазиса культуры, который пережила вся Европа, все ее страны, от великих до малых, все ее дворы и высшее общество, она никогда не может забыть. Франция вошла кусочком в историю каждого народа; и не упомянув «Франция», невозможно написать «Истории России», как и «Истории прусского двора», «Истории Бельгии», «Англии»... 10

Позолота Франции есть на всех народах. Старинная позолота, во многих местах уже стершаяся, полинявшая, но когда-то она ярко горела. И она драгоценна до сих пор... И по действительности, и по памяти.

Даже и до сих пор еще форма утвари, покрой платья, вид и убранство комнат, мебель имеет названия, взятые от эпох французской истории. Этого нет относительно Германии, Пруссии, Лондона. Вкус «Версаля» не то, что вкус «Манчестера»... 20

В более чем вековых усилиях преобразования политического и экономического строя, всего социального строя, Франция, естественно, несколько ослабела в этих вековых достоинствах своего духовного гения, — но будем надеяться — не навсегда. Ломка и наружное изящество несовместимы. Франция именно «ломалась» из одного строя в другой; все ее кости болели, кожа трескалась и через нее лилась кровь. Никому это легко не достается. Но есть все основания верить, что еще через полвека, через век, когда «республиканский строй» сделается «старым добрым строем» Франции, при котором не только живут люди, но и родились при этом строе, и даже не лично только, но и в лице отцов своих, старый *esprit* Франции загорится прежним блеском. 30

Это будет. В это верует дружественная ей Россия.

О ТАРНОВСКОЙ

...Роковая тройка наша несется стремглав, и может, к гибели. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как воображалось Гоголю, а просто от ужаса, — это заметьте. От ужаса, а может быть, и от омерзения к ней. Да и то еще хорошо, что сторонятся, а, пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться, и станут твердою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации! Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их, не копите их все нарастающей ненависти... 40

Этих слов Достоевского, вложенных романистом в уста прокурора, произносящего обвинительную речь против Мити Карамазова, невозможно не вспомнить, читая пространные телеграммы из Венеции. На тридцать лет *вперед* сказал Достоевский о том *смятении*, которое не может не испытать Европа, — культурная, успокоенная, урегулированная, — если когда-нибудь, по необходимости или случайно, перед нею разверзнется «требуха» России, с ее «святыми» нестеровского типа, кликушами, эпилептиками, слабовольными, безвольными, что все переваливает неудержимо и, главное, неуловимо «на другой полюс», где уже перед глазами нашими дрожит не веноч «святого», а лезут чудища порока, грязи, 10 извращения, разврата, в каком-то фантастическом танце подлинно адского характера. Ибо, поистине, этот особенный тип *судорожной* святости, святости как «припадка», святости как «болезни» (русское «юрорство»), как-то органически, неотделимо соединен с особенным высвечиванием, с особенным колоритом русской порочности.

Омут, где вода идет *винтом*, туда, сюда, но, во всяком случае, *не прямо!* Главное, — *не прямо!* Вот это «все идет винтом», все «кружит» и все «топит в себе» — и образует коренную черту русской стихии. Венеция просто захлебнулась сейчас в ней. Да и вся Европа наглядится и передумает о России, по поводу дела Тарновской, больше, чем по поводу какого угодно романа Толстого или Достоевского. 20 О романе всегда можно подумать: «Это — вымысел» или: «Тут много прибавлено и сочинено». Но «дело Тарновской» не оставляет сомнения в подлинности.

Какова же эта подлинность?

«Дело Тарновской» до того во вкусе Достоевского, что снова нельзя не удивиться прозрению этого романиста, которого современники упрекали за «фантастичность» и «невероятность сюжетов», тогда как на самом деле оказалось, что подлинная жизнь воспроизводит вовсе не спокойно-прекрасные сюжеты и типы Толстого или Гончарова, не семью Ростовых или Обломова и Райского, а типы и сюжеты из «Бесов», из «Идиота», из «Карамазовых». И не только в этой самой резкости и глубине, яркости и порочности, но часто далеко оставляя за собою 30 роман!.. Да, даже роман Достоевского что-то бледное и несмелое около процессов Тарновской, Ольги Штейн, Гилевича...

А какое сходство!

Процесс Ольги Штейн... Но разве вы не помните «Подростка» Достоевского, где выведена целая компания шантажистов, мошенников, куда замешиваются и где «застревают» и идеально чистые люди, как этот «подросток», и люди с положением в свете, князя, один — старый и дряхлый и другой — молоденький и безвольный; попадают в него или, по крайней мере, соприкасаются с ним и гордые красавицы света. Всех затягивает Ламберт, с его любовницей Альфонсинкой... В компании этой и содомит-мальчик Тришатов, говорящий, в пьяную минуту, 40 удивительную речь о музыке, о грехе, о слабости, о раскаянии (конец романа). Вот-вот попадет в «нестеровские святые». Ведь такой «кающийся» юноша, с пониманием «всего высокого и прекрасного», со «слезой» во взоре.. Но как все напоминает Шульца и Штейн, даже в нерусских именах главных действующих лиц. Точно Достоевский обладал ясновидением.

И, наконец, этот венецианский процесс, с его предисловием в Гомеле...

Помните Настасью Филипповну в «Идиоте», о которой ни один читатель не может решить, сумасшедшая она или здравомыслящая... Но ни у кого нет сомне-

ния, что она — неестественная и ненормальная, как это воочию видят врачи, судьи и журналисты и в Тарновской. Настасья Филипповна — в вечном смятении, судороге; не остается минуты на месте и, что еще хуже, двух минут не бывает в том же психическом предрасположении и в одинаковом отношении к окружающим лицам, к окружающей обстановке, ко всем реальным условиям существования. И ее «с равным безумием» любят чистый и немощный князь Мышкин, «внушающий такую жалость», «явно больной», и мрачный Рогожин, в конце концов фантастически зарезавший ее во время объятий. Только Настасья Филипповна — страдальческий характер и «внизу положения», а Тарновская — «наверху положения» и властная распорядительница чужой судьбы. Но в прочих чертах характера удивительное сходство, особенно если осложнить Настасью Филипповну чертами Грушеньки из «Карамазовых». Грушенька и Настасья Филипповна — родственные, параллельные фигуры, только несколько варьированные и в разном положении. Но обе — «блудницы», с какой-то тоской, с влечением к «многомужию», с силой безумно привязывать к себе мужчин, которые ради них теряют все, разрушают около себя привычный строй жизни, «выходят из себя»... и, потому безумя, гибнут, еще раньше дойдя до преступления. Только и Грушенька, и Настасья Филипповна — миниатюры около Тарновской, но миниатюры, необыкновенно верно, необыкновенно точно наметившие или «напророчившие» роскошный тип... Тарновская богата, знатна с 17 лет... Тратит тысячи на туалеты, тогда как тем не давались и сотни. Вообще, от более «несчастливого» своего положения, — униженного и зависимого, — и Грушенька, и Настасья Филипповна не развернулись так широко, не полетели так далеко. Но это *одна* «Золушка» в наряде нищей и потом в наряде принцессы... Та же душа, полет, устремление, та же «тоска» и «ненахождение себе места» в чудовишной и обаятельной самке... Болезнь и жажда мучительства, себе и другому. Только «нищенка», естественно, причиняет более ран себе, а «принцесса» бережет себя и ранит других.

«Помучься, как я мучусь»... «Нет, лучше умри, как умерла бы я».

Смерть, кровь, отравы... и деньги, много денег, — вот окружение всех трех. Всех трех нельзя представить себе труженицами: неделя работы, — черной и тяжелой работы, — свела бы с ума всех трех. И не оттого, что руки их не приспособлены к работе, бессильны, изнежены, — вовсе нет. Но оттого, что работа, т. е. *принуждение и регулярность*, связала бы их воображение, помешала бы их фантастике, помешала бы их какому-то вечному «роману», в котором жила их душа и без которого ни на минуту, с ранней юности, она не обходилась и не могла обойтись. Чорт знает, — около сумасшедших людей начинаешь произносить сумасшедшие мысли. Тарновская видом и поведением своим только-только вот не выговорила настоящее свое *profession de foi* *:

— Да, нужно было много денег, как редкой орхидее — драгоценная теплица, как таланту — обстановка и царице — дворец. Не могла же Клеопатра помещаться в лачуге Диогена, ни в скромной квартире честного буржуа. Якобы честного... Я не из «честных тружениц», «зарабатывающих себе хлеб». У каждого своя порода. У меня — брильянтовая. Из брильянтов не строят домов, а носят их на шее, в колье. Брильянт не так утилитарен, как кирпич, как честный и скромный кирпич, но все люди за этот «ненужный» и «блестящий» брильянт почему-то дают

* символ веры (*фр.*).

больше денег, нежели за целый воз и даже чем за целую гору кирпича. Вот когда вы убедите людей, что «за брильянт не надо платить дороже, чем за кирпич», тогда вы и меня убедите, что я — ненужное существо, что мне лучше бы не жить, что меня нужно спрятать в тюрьму, на каторгу или повести на казнь. И еще полнее: только тогда, когда вы *объясните*, гг. честные юристы и мудрые психиатры, *погему же* именно, по каким бесовским мотивам самые *доб-ро-де-тель-ней-шие* люди хватаются за брильянт раньше, чем за «служебно-нужный» кирпич, и платят в 1000 раз дороже за него, нежели за этот материал для своих уютных домов, для своих семейных домов, — только поняв это и объяснив это господам присяжным заседателям, вы получите и *верх* надо мною, право *настоящего суда* надо мною, не юридического, а, так сказать, *sub specie aeternitatis*, «под углом вечности»... Но вы никогда этого человечеству не объясните и ничего никогда ему не докажете. Потихоньку вы и сами любите брильянт больше, чем «утилитарный камень»; вы, как и все люди, живете «по вкусу», а не по благоразумию, и только это дело случая, что мне на дороге попались Наумов, Комаровский, Прилуков, до встречи буквально такие же «честные, тихие и трудолюбивые», как каждый из присяжных, как психиатры, врачи и судьи, обо мне судящие... Теперь я под замком у вас, а встретитесь вы мне в чистом поле, среди матушки-натуры, в зеленом лесочке, на купаньях, на паркетке гостиной, — и сидели бы на месте Наумова,

²⁰ Прилукова и Сталя, людей *comme il faut* *. Все ведь люди *comme il faut* до встречи с «особенными обстоятельствами». Просто ваша биография бедна и «без приключений», но у русских, благодаря девственной натуре страны, «приключения» роem роятся и хоть отбавляй... Денег было много нужно для моей красивой жизни, и я их брала... где попадетсЯ. Как и все берут «где перепадет», не стараясь во что бы то ни стало «честно заработать», а только удерживаясь на границе «уголовного». И я удержалась: сама рук не марала. Все для меня делали, как вы же ведь заставляете рудокопов проводить годы в подземных шахтах, без света солнца, добывая вам «ненужные» брильянты. Так и для меня «добывали» юноша Тарновский, Сталь, Прилуков. Просто мне отдавали все деньги, а я тратила... Рудокопы и красавица в брильянтах. Ведь они же *копались в руднике, хотели* этого, ползли туда, гибли там, — значит, я *стоила!* В этом «я *стоила*» все и дело и все мое оправдание. Если они *лезли* в рудник, то явно и не *стоили* ничего, были *врожденными рабами*, как я — *врожденная царица*. Вы бы их спросили, почему они лезли. Здесь и лежит объяснение, а не в вашем суде. Но мне все доставалось мало: какие-то десятки тысяч! Разве это деньги для «оправы брильянта». На «оправу» себе Клеопатра растратила Египет, а Помпадур — Францию. В моих несчастных обстоятельствах, в вашу пошлую мещанскую эпоху я и дошла до преступления, т. е. вы довели меня до него. Узкое время: на десять Клеопатр только одна губерния или на десять Помпадур — ни одного Людовика. Мы задыхаемся,

⁴⁰ я и такие, как я. Просто — мы красивы; не одним телом: мы занимательны; по нас «сходят с ума», как по вас не сходят ваши жены, ни вы не сходите по своим женам. Ни вы, ни г. председатель суда. Что же нам делать, когда мы так родились. Да и, знаете, есть какое-то *преднагертание* в том, чтобы мы *были*. Зачем движется история, куда идет все? Все идет к какому-то шуму, к чему-то блестящему, «великому», — сами говорите. За «великую победу» жертвуют сотнями тысяч жиз-

* приличный (фр.).

ней. А что она такое? Шум, слава. И ни крохи «хлеба». Значит, «не о хлебе едином»... Мы, вот, и есть такие «сверх-хлеба»... Мы нужны просто как «украшение». Верьте, нами «счастлив» мир, как много были счастливы эти одурелые Наумов, Комаровский, Прилуков, да и еще многие, оставшиеся в тени... Много, очень много; могло бы быть и больше, если бы у меня был миллион... Или царство, как у счастливой Клеопатры. Не воспел же Пушкин, именно в этих стихах не воспел, мещаночку из Выборга, уединенно вяжущую носки своему мужу. А Пушкин имел вкус, — уж, поверьте, не меньше присяжных, которые меня судят. О смысле истории никто не знает, но все тоскуют по какой-то красоте, по славе, наконец, все рвутся к движению, событиям, переходу из состояния в состояние. 10

Ведь в этом состоит история. Поверьте, я — из центров ее, мистических центров. Оттого мне и служили все, ради меня умирали мои любовники, — как именно этот момент умирания любовника за час наслаждения и воспел Пушкин. А он был не без вкуса и ума. Это вы, пожалуйста, помните. Нельзя засудить меня, не осудив Пушкина, по крайней мере не зачеркнув у него «Египетских ночей». Но жаль всем зачеркнуть. Вот объясните-ка, почему всем жаль. Всем жаль, и грустно было бы, тоскливо было бы остаться при одной добродетельной поэзии, где все женщины вяжут носки мужьям и все мужчины ходят в должность. Скучно всем, всему человечеству! За что же вы будете судить Наумова, что он сорвался с цепи своей службы при канцелярии губернатора и вдруг побежал за мной? Или 20

Прилуков ради меня бросил гражданские процессы? Бескорыстный человек: предпочел женщину деньгам, службе и карьере. Не преступник, а Дон-Кихот. Вам бы на него любоваться, а вы его судите. Давно исчезло «поклонение женщине», а было когда-то, было все Средние века. Вокруг меня вдруг поднялось оно, вихрем поднялось, мистически поднялось. Смотрите, как умер Сталь, мой «рыцарь бедный». Я сказала, и он умер, как раб по повелению того владыки, — которого опять воспел Пушкин, — пославшего собрать смолу смертоносного дерева. Последнее доказательство любви — смерть, и я брала ее, и мне хотелось брать ее, как вечно нужное доказательство того, *кто я*... А что этот бедный умер, в счастливой любви ко мне, то вы все, мещанишки, умираете же в своих мещанских тифах, туберкулезах, сходите с ума от идиотического «переутомления» на службе 30

и за работой... За работой, чтобы обставить обитою Манчестером мебелью свои идиотические «приемные», куда решительно никто не ходит, и нашить безвкусных кофточек своим супругам, на которые ни один человек не смотрит. Сталь вкусил час царской жизни и умер по-царски. Хорошо. Возвышенно и мудро. Разве народы не ведут войны за «престиж и славу»? Дайте же «престижа» и женщине. Если люди, воины тысячами — и вовсе не глупые — умирают «со счастьем» за «честь родины», за «славу родины», — как вы помешаете и как вы осудите, что благородный и умный мужчина «умирает со счастьем» ради любимой женщины, за ее честь, для ее славы... да и для ее обогащения, наконец? «Страховые 40

полисы» так естественны... Мне нужно было, действительно, много денег, и любовники чувствовали, что я из тех, которым деньги нужны сотнями тысяч, и умирали ради моего обогащения, как англичане в бурской войне умирали ради доставления «обожаемой родине» алмазных копей Капштадта... Одно явление там и здесь. И, не судя англичан, не судя Англии, посылавшей «сынов» на смерть за алмазные копи, — как осудите вы меня за хлопоты о полисах Сталя и Комаровского, за смерть прекрасного юноши, моего деверя, который своею смертью удво-

ил состояние мужа, т. е. мое? Одно явление. Но что вы в истории одобряете, то осуждаете в биографии. Непоследовательно. Говорят, у меня есть «женская болезнь», и я ненормальна, «безумная». Но ведь медики знают всегда только факт, ищут фактов, «осязательного» и обычно не имеют никакой для этого теории, кроме глупых. Есть болезни красивые, к украшению: румянец украшает в ранних фазах чахотки, а бледность сообщает «интерес» лицу. Как украсился, одухотворился весь образ Гейне от спинной сухотки. Да и вообще мало ли мы знаем великих и прекрасных больных страдальцев: насколько красивее и «священнее» был Дон-Карлос, чем его толстый отец?! А Гамлет: им все любуются, все им «заинтересованы»; а он явно ненормален. Ведь Гамлет, со своею полубольностью, полусумасшествием, был тоже виновником смерти Офелии, «замучил» ее; да и заколол шпагою одного придворного. Преступник... и, судя меня, преступницу, вы как бы повторяете придворных датского короля, которые бы судили Гамлета. Болезни бывают к украшению; бывают к гению, — как болезнь вечно больного Паскаля. Да и у нас Гоголя «залечили» глупые медики, которые, вообще, кроме тифа и гастрических расстройств, мало в чем понимают. Медики знают слова, целый лексикон слов, и прищипливают к явлениям только эти выученные ими слова. Они собираются посадить меня в отделение буйных больных, но я сама поместила бы их в камеру тихих идиотов. Да, я и больная; да, я и безумная, но тою формой болезни и безумия, которая, вообще, завита в самое ядрышко мира, почему он весь не рассудительно движется от строчки к строчке, от «а» к «б», а кружится, вертится, перелетает через пропасти, гибнет, возрождается и, вообще, скользит по краешку смерти и, однако, в целом — бессмертен... Смерть близко была около меня; я ее чувствовала постоянно, влеклась к ней, толкала к ней, играла с нею. Вовсе не тело во мне любили, — хотя и тело было хорошо, — но влюблялись в этот вихрь во мне, вихрь болезни, безумия, вечного движения, вечных переходов, контрастов и красоты. И я в нем сумасствовала, и сумасствовали со мною другие; и в 15 лет мы прожили, со мною прожили эти люди, мои любовники, столько, сколько без меня не прожили бы во всю свою скучную, бесцветную, глуповатую жизнь. За это платят, за это же дорого платят: и жизнью, и царствами, как говорит история, как говорит Пушкин.

* * *

Омут... истины, заблуждения, порока и... вероятно, каких-нибудь добродетелей, вызвавших у Прилукова одно восклицание, совершенно вне целей защиты: «Никогда я не встречал в моей жизни таких *несчастливых* женщин» (как Тарновская). Чем?! Как?! — было бы любопытно услышать. Тут-то и лежит возможная разгадка всего. Мы воображаем, что где сыплются тысячи, там не может быть несчастья. Мизерная демократическая точка зрения, по которой десятью целковыми залечиваются все раны. Не забудем также, что смертельно раненный гр. Комаровский прежде всего спрашивает: «Уведомлена ли Тарновская?» Воображать, что такие слова относились только к ее физическим «прелестям», — умирающему, конечно, ненужным, умирающему не могшим прийти на ум, — наивно. Что же влекло к ней? Явно — другое. Что? Она в «вихрь» своей психики и болезненной биографии вовлекала именно «душу» своих любовников, приковывая и кра-

сотою их, какую-нибудь «складочкой» этой красоты, «уголком» ее, до безумия, но еще более захватывая их сочувствие, сострадание, жалость к безрассудно вертящемуся колесу всей своей личности и всей своей фортуны... Что-то иррациональное, и это ее «иррациональное» сокрушало в них рациональное — жизнь, быт, биографию, труд, службу и имущество.

В успокоенной, рассудительной и действительно слишком уж омещанившейся Европе «дело Тарновской» подняло старые воспоминания... И там бывало такое *прежде*, но все «быльем поросло». Клок русской действительности, ворвавшейся на Запад, сорвал эту «ковыль-траву» со старой могилы... и пробудил старого покойника, в золотом герцогском кафтане или в фижмах времен Помпадур и Калиостро. ¹⁰

— Ах, денег... так мало денег... и такая мещанская обстановка. Меня бы надо судить не здесь, перед присяжными, а в маленькой комнатке дворца дождей, наверху, где заседал Совет Десяти, страшный и романтический. Ну, пусть бы он рассказал меня... А то теперь — меня непременно отдадут под наблюдение гг. психиатров, и вообще будет все так научно и глупо. Угораздило же меня родиться в такую непрезентабельную эпоху...

К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ «ВЕХ»

Идти ли русскому обществу за универсализмом всей русской литературы, как она выразилась от Жуковского до Толстого, или ему, свернув с этой дороги широкого понимания и широкого сочувствия, перейти «на железнодорожные рельсы». От Маркса до Михайловского, попросту — погрузиться в социал-демократический интерес, в социал-демократические надежды, в социал-демократические законы и всю психологию, — вот практический вопрос, перед нами лежащий, вот вопрос, на который отвечают «Вехи»... «Сборник статей о *русской интеллигенции*», — таков подзаголовок «Вех», — статей критических в отношении своего объекта, статей, наконец, отрицательных. Возможно ли, однако, *образованным* людям какой-нибудь страны восставать против «образованности» этой страны?.. По существу, конечно, невозможно! Невозможно Англии восставать против «английской образованности», Германии — против «германской образованности» и Франции против «французской образованности». Хотя недостатки и односторонности, конечно, в каждой из названных «образованностей» есть. «Образованность» есть умственный дух страны, умственные наклонности страны, умственные вкусы страны; наконец, это есть умственные предрассудки, предрасположения, суеверия, привычки страны, как они выражаются преимущественно в литературе и искусстве, но также в нравах общества и даже в политике страны. Явно, что против «образованности» своей страны просто нельзя поднять голоса, не в силах поднять его никто почти в силу национально-физиологической своей природы. Как же написаны «Вехи»?.. Как могло случиться, что они появились? Общее правило о невозможности восстания против «образованности» своей страны имеет исключения. Ренан и Тэн после разгрома Франции Германиею оба заговорили о преимуществах над французскою «образованностью» — ³⁰

образованности германской. О недостатках французской образованности «*века просвещения*» (XVIII век) заговорил ряд французских писателей высокого блеска после 1815 года. С падения Наполеона вдруг изменился характер и дух французской литературы, — и даже, общее, французской образованности. Вольней, Бональд, Жозеф де-Местр — умы совершенно другого порядка, *другого характера*, чем Вольтер или Дидро. Таким образом, критика «образованности» какой-нибудь страны возможна в этой же стране, но только она приходит не иначе, как после сильного потрясения, после большого «переживания». Так было везде, случилось это и у нас. Было бы совершенно невероятно, если бы после неслыханных испытаний японской войны и опыта нашей «революции» русская литература, что называется, не дрогнула. «Не дрогнуть» эта самая впечатлительная и тонкая ткань национальной организации могла бы в обществе лишь умирающем, старом, ни на что более не отзывающемся. Успех «Вех» произошел отчасти оттого, что никакая брань на книгу не могла переубедить общества в том, что здесь подали голоса свои самые чуткие, самые впечатлительные люди страны, и что, после революции и войны, это впервые послышался новый, свежий голос, так сказать, в уровень с пережитыми событиями, по крайней мере, *в связи с пережитыми событиями*. Ибо нельзя же считать духовным отражением пережитых ударов брань на Победоносцева, ропот на закон 3 июня и продолжающиеся надежды на долженствующую обновить мир социал-демократию. Все это — литература до японской войны и до «великой забастовки». Все это литература «еще при Сипягине и Плеве», и только. Но пришли новые события: неужели же литература одна прошла бы мимо их без всякого *впечатления*?

Таким «медным лбом» не оказалась литература. И появились «Вехи»...

В прекрасно написанном М. О. Гершензоном предисловии к сборнику выказана закругленно мысль его, мотив его, историческое его положение: «Не для того, чтобы с высоты познанной истины доктринерски судить русскую интеллигенцию, и не с высокомерным презрением к ее прошлому писаны статьи, из которых составилась настоящий сборник, а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны. Революция 1905—1906 гг. и последовавшие за нею события явились как бы всенародным *испытанием тех ценностей, которые более полувека, как высшую святыню, блюла наша общественная мысль*. Отдельные умы уже задолго до революции ясно видели ошибочность этих духовных начал, исходя из априорных соображений; с другой стороны, внешняя неудача общественного движения сама по себе, конечно, еще не свидетельствует о внутренней неверности идей, которыми оно было вызвано. Таким образом, по существу поражение интеллигенции не обнаружило ничего нового. Но оно имело громадное значение в другом смысле: оно, во-первых, глубоко потрясло всю массу интеллигенции и вызвало в ней потребность сознательно проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо на веру; во-вторых, подробности события, т. е. конкретные формы, в каких совершились революция и ее подавление, дали возможность тем, кто, в общем, сознавал ошибочность этого мировоззрения, яснее уразуметь грех прошлого и с большей доказательностью выразить свою мысль. Так возникла предлагаемая книга: ее участники не могли молчать о том, что стало для них осязательной истиной, и вместе с тем ими руководила уверенность, что своей критикой духовных основ интеллигенции они идут навстречу общесознанной потребности в такой проверке».

Таков голос времени, зов времени, на который ответила книга. Ее следует назвать настолько же подчеркнуто-славянофильской, как и подчеркнуто-западнической. В полном слиянии славянофильства и западничества, в *лигном духе* ее авторов лежит лучшая ее черта, главная прелесть. Они не примиряют *идеи* славянофильства и западничества между собой, не построят для этого умственные комбинации за письменным столом, — но *сами* и *лигно* они являются столько же русскими, славянами, сколько и западными германцами или кельтами. И. В. Киреевский, первый *славянофил* у нас, начавший литературную деятельность изданием журнала «Европеец», мог бы быть назван их прототипом и литературным родоначальником. Все грехи нашей личной и общественной жизни, грехи нашей государственности горят перед ними ярко, болят щемящею болью в их душе; но — в их *русской душе*, в *русском сознании*. Все преимущества западного духовного развития, западной дисциплины, западной школы не вызывают в них никакой зависти и только боль о том, отчего у нас этого нет. Они суть русские по крови, по духу, по заветам, по воспитанию; и западники — по вкусам, или, точнее, по мерилу в них добра и зла, по оценке развития и прогресса.

Этот факт, вполне точный, тем удивительнее, что из авторов «Вех» трое (почти половина) — евреи.

* * *

Авторы «Вех» не вполне солидарны между собою, но солидарны кое в чем общим. В предисловии это так определено: «Общею платформой соединившихся здесь авторов является признание теоретического и практического *первенства духовной жизни над внешними формами общежития* в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия, и что она, а не *самодовлеющие* начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе — на развитии безусловного примата общественных форм, — представляется участникам книги внутренне ошибочной, т. е. противоречащей естеству человеческого духа и практически бесплодной, т. е. неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, — к освобождению народа. В пределах этой общей мысли между участниками сборника „Вехи“ нет разногласий».

С симпатичными нам увлечениями и преувеличениями всегда хочется согласиться. И так хочется сказать «да» в ответ на этот положительный тезис книги. Но рассудительность и полная истина требуют здесь спора...

Англия или Афины променяли ли бы свою «Великую хартию», свой «Набеас согрус», свой ареопаг и экклезию, своих Периклов, Кимонов, Алкивиадов, своего Питта и Борка на некоторую, позволю выразиться, прелесть сердечную, сказывающуюся слезами, молитвой, постом и аскетическими упражнениями, или на непрерывные споры и рассуждения на темы совести, личного поведения и вообще «небесные», каким, например, предавались в своих «нравственных колониях» толстовцы, предавался сам Толстой в пору разработки идеи о «трех упряжках»

(три способа проводить свой день), предаются монахи в монастырях, предаются у Диккенса — его слезливые, молящиеся, угрюмые и желчные пуритане, пизтисты? Вот вопрос. Это со стороны зрелища истории, факта истории. Но затем и теория. Толстой однажды спросил: «Как нагреть воду в котле, не согревая каждой *гастыцы воды?*». Он хотел сказать, что нельзя получить «итога», не имея «слагаемых». Но на этот тезис можно написать разные иллюстрации... Гоняясь за «слагаемыми» и полагая в них всю сущность, один хитрый немец предлагал русским простакам чудодейственное «средство от клопов», притом «совершенно верно действующее»: нужно клопа изловить, раскрыть ему ротик, положить в рот крупинку изобретенной им мази (или порошка) «и тогда клоп, непременно умрет». «И когда вы, сударыня, — продолжал немец убежденно, — так поступите с каждым единичным клопом в вашем доме, тогда клопы совершенно выведутся и ваше жилище превратится из нечистоплотного русского в аккуратное немецкое». Против очевидности немецкого рассуждения совершенно нельзя спорить. Оно доказано. Но предпочтительнее просто выкуривать клопов серою или омы-
 10 вать стены и деревянную мебель кипятком — *разом*. Что касается до согревания воды, то опять кто же черпает воду ложечкой, из ложки переливает в наперсточ-
 20 ки, согревает каждый наперсточек и, слив в одно, получает такое великолепие, как «котел горячей воды?». Просто, наливают воду в котел, такого объема, сколько воды нужно в доме, и ставят на огонь. Так поступают, кроме философов, все кухарки и, кроме хитрого немца, все русские, да, думается, и заграничные хозяйки. Это — теория. Возвращаясь к истории, к Афинам и Англии, мы заметим, что помимо утилитарных соображений есть что-то неподражаемо-свежее и пре-
 30 красное в гармоничном, спокойном и оживленном общественном устройении, есть некоторая художественность в учреждениях: и о том мальчике, который с Марафонского поля прибежал в Афины и, вскричав: «Афиняне, вы победи-
 40 ли», — пал мертвым от изнеможения, мы до сих пор учим в школах: хотя какова «польза» этого восклицания, и что тут «исторически значительного?». Но поистине «не о хлебе едином бывает жив человек» — применимо вполне и к политике. Есть что-то красивое, прекрасное и благородное в одних учреждениях, и неодо-
 50 лимо-антипатичное в других. И мы ненавидим вторые, даже если бы кто-нибудь нам вполне «доказал» их утилитарность. — «К чорту доказательства! Это просто — *гадко*, вот и все». Гадка страна, проникнутая рабьим страхом, пропитанная лестью, угодничеством, пролазничеством; и хотя бы страна такая «наслаждалась вечным миром», мы ее проклинаяем; хотя бы тут «рабы все благоденствовали», например, при господах таких благочестивых, как Чертков или Неплюев, — мы прокляли бы и отвернулись от зрелища, от сущности, от идеи. Дело в том, что в человеке и его *необыкновенно сложной натуре* есть нечто от красоты дикой лани, — и этой дольки дикой и неупорядоченной красоты нельзя уничтожить через
 60 учреждения, нельзя подавлять учреждениями, но нужно *принять в учреждения*, вставив так, чтобы красота оставалась красотой и только никому не вредила. Мальчик оттого прибежал и Афины, что он знал, что там есть кому его выслушать. Суть не в мальчике, а в афинской толпе, которая ждала вести о победе или поражении, как о своем — *этой толпы* — *поражении или победы!* Если бы известие нужно было только сатрапу провинции и до него относилось бы, — мальчик так не поспешил бы: пришел бы угрюмый раб и с лстивой улыбкой передал бы письмо от победителя-полководца. Совсем другое дело, иное зрелище, — и учи-

телю школы нечего было бы рассказать ученикам. Из таких грустных рассказов слагается некрасивая история; граждане страны с такой историей угрюмо помнят или совсем не помнят прошлого, и не интересуются им, и не рассказывают ее иностранцам, и рассеянно смотрят по чужим краям, и уезжают в чужие края без тоски и сожаления. Это — страшное дело. Чтобы заработать красивую историю, можно решиться много перестрадать. И так, вопреки авторам «Вех», есть *самовладеющая* (это я подчеркнул важное у них слово) красота в учреждениях, в общественном сложении, или, переходя опять к теории, — в «способе нагревать воду в котле, а не в наперстках, и истреблять клопов курением серы, а не через вкладывание в рот мази».

10

Наконец, по наивности можно не замечать кое-чего, и такое незамечание не будет безнравственно; но когда наивности нет, когда ум сознает некоторые вещи, и это сознание не берется в расчет и деятельность совершается так, как бы его не было, т. е. притворно-наивно, тогда мы имеем дело с упадком нравственности, с грехом. К числу таких «грешных» вещей относится *в наше время* и равнодушие к политическим и общественным формам жизни, со стороны их утилитарности. Землепользование, обработка земли, ремесла, строй школы (а есть и «строй школы» помимо «хороших учителей») никак не улучшатся от наших молитв, от нашего личного нравственного совершенства, наших вздыханий, покаяний, слез и т. п. На вопрос, кого предпочтительнее иметь губернатором, *лигно* ли прекрасного человека, доброго семьянина, благородного *gentilhomme*'а *, но совершенно бездеятельного, тусклого, инертного, пассивного и вообще «невинного и наивного», или же «утонувшего в личных пороках», но гениально-деятельного, неусыпного, великую административную творческую силу, *сама губерния* ответила бы:

20

По мне уж лучше пей, да дело разумеи!

Увы, личная нравственность и общественная неспособность так часто сочетаются! Увы, сочетается и порок с творческим гением. Для *народа, населения*, для массы «личные пороки» совершенно незаметны, даже невидны за стенами дома или дворца, и вообще, говоря искренно, — просто до этого никому дела нет, никому это неинтересно; но личная *неспособность* к управлению поднимает вой боли в народе, да с нее часто начинается и крушение наций, государств, стран! Бисмарк поддержал бы такую падающую страну, как он поднял из «незначительного существования» Германию; но авторы «Вех» не оспорят, что сто добродетельных Чертковых при пособии всех авторов «Вех» не улучшили бы и уездного городка. Но стать в *лучшее* положение, городу, уезду или стране — значит вообще начать испытывать меньше боли, — и всего, что с нею связано. А с нею связано, *увы*, и много безнравственного; с плохим питанием, обнищанием, голодом связано всеобщее *недовольство, злоба, гнев, воровство, насилия, убийства, алкоголизм*. Не всей массой они отсюда текут, но некоторой долей текут отсюда. Поэтому в «мировой гармонии» порочный, но даровитый, талантливый управитель «нравственнее» добродетельного, но неспособного: при нем пороки уменьшают-

40

* дворянина (*фр.*).

ся, при добродетельном — растут. В итоге страны «добродетель» множит иногда пороки, а порок — увеличивает добродетели. Для того чтобы это увидеть, надо только перестать нагревать воду в наперстке, перестать интересоваться спальнями и будуарами правителей, — а веселым, свежим взглядом окинуть страну, поля, площади, улицы. Пусть все это шумит веселой, здоровой жизнью, хорошо торгует, хорошо танцует; пусть везде шумят разговоры, беседы, споры; ни у кого чтобы не было сонных, апатичных лиц... А куда они пойдут к ночи, — «к куме» или в церковь, право, *истории это неинтересно*. Человек вообще так прекрасен, что многие пойдут в церковь, без поощрения, без подсказывания. Дайте людям

10 немного потанцевать, а помолятся они сами.

Но, затем, к словам авторов «Вех» мы чувствуем все-таки симпатию, даже и видя их односторонность. Ничего нет противнее человека и противнее общества, заглушившего в себе интересом к политике всякую внутреннюю жизнь, психологическую, совестливую, поэтическую, религиозную. В особенности, когда эта «политика» есть не творчески-созидательная, не спокойно-делающая, а критико-злая и критико-бессильная. Увы, в России только эта и была и только эта почитается, уважается, приветствуется. Если взвесить все то море злобы, человеконенавистия, человекоотвращения, человекогадливости, в последнем анализе *человекоубийства*, какое ежедневно и ежемесячно вливается в общество

20 печатью и затем разливается по стране через мелкий говор на «правительственные темы», то поистине надо еще удивляться, как русский человек живет, существует и что делает, даже на что-то лучшее надеется для своей страны, или притворяется, что надеется. Потому, что какие же тут «надежды»... Вся жизнь русская, вся мысль русская, все нервы русские разделились на что-то «полицейское» и «антиполицейское», и умерло решительно все, кроме двух желаний: удержаться самим в полиции — это «правительственная программа»; или выгнать «тех» вон и на месте их сесть самим в полицию — это «пожелания общества». Какой-то «рай», за обладание которым все спорят: квартальные, профессора, гимназисты, дамы. «Кому сесть в полицию, нам или им», — об этом написаны все повести,

30 рассказы, много стихов, толстые печатные рассуждения. Когда однажды я несколько высказался в печати в сторону всеобщего успокоения и примирения, то в ответ получил письмо, очень характерное *по тону*. «Кого вы хотите обмануть вашей елейностью? Разве есть в мире общество, более загаженное полицией, чем русское? Правительство приложило все старания к тому, чтобы воспитать общество в духе полиции, полицейского сыска и шпионства, дать обществу полицейские нравы и настроение. Разве есть в мире общество более шпионское, умеющее находить *наслаждение в злословии и травле*, способное считать сыщика за человека, предполагать в нем человеческую душу? Полиция, этот заразный и злокачественный придаток, стала законодательницей выше Самодержца: она предписывает правила нравственности, правила поведения, правила воспитания детей и взаимных отношений. Разве мыслимо общество более омерзительное, чем современное русское, у которого образец, идеал — сыщик». Вот больной тон человека, отравившегося политикой. Автор уже не в силах обернуться на себя и заметить, что это *он сам* «находит наслаждение в злословии и травле», и подлежит сам убийственным определениям своего письма. Куда же такого деть, как не посылать арестовывать, хватать, казнить? Казнь уже стоит в его душе, как мечта,

40

как идеал. И между тем, вместо того, чтобы писать мне это письмо, он лучше прислал бы другое с цитатой хоть «Птички» Пушкина:

...В долгу ночь на ветке дремлет,
Солнце красное взойдет...

и т. д. Право, на такую злобу только я умею ответить этим стихом.

Иногда кажется, что лучший спор с политикой и политиками — цитировать Пушкина, читать чаще Пушкина; после прочтения новой книжки «Русск. Богатства» взять да и переписать своею рукой что-нибудь из Пушкина. Переходя к серьезному тону, замечу, что если бы эти «полицейские пока без погон», которые думают и чувствуют *в тоне* приведенного письма, которые печатают целые газеты и журналы в этом же самом тоне, победили бы и выгнали из участка «тех полицейских», теперешних: то, конечно, ничего иного они и не в силах были бы принести на их место, сотворить на их месте, как возвести старое и крепчайшее здание подобной же полиции, например социал-демократической полиции. Только к этому и рвутся, никакого другого пафоса их писания и не имеют.

Поэзия освобождает.

Религия освобождает.

«Нравственная духовная жизнь», о которой говорят авторы «Вех», освобождает, улучшает, подымает личность. Только не надо тут специфически подчеркивать: «нравственная забота *над собой!*».

И если когда-нибудь мы могли бы надеяться на что-то похожее на «Англию» или «Афины» у себя, то не иначе и не раньше, как пройдя через успокаивающую зону поэзии, искусства, религии, внутренней духовной жизни. Для создания свободных учреждений нужна *освобожденная душа, независимая душа*: возможно ли ее получить в теперешней политике? Мне кажется наиболее «прогрессивным личным движением» в настоящее время был бы выход из этого всеобщего омута, отстранение себя от него, отстранение его от себя, некоторое *временное* одиночество в целях «собрать что-то целое в себе»... Это и не так мудро и в пределах сил каждого. Нужно освободить себя от наркоза «последних известий»... Есть голубое небо, есть прекрасно написанная «История Греции» Грота, есть, к сожалению не переведенные, «Études sur l'histoire de l'humanité» * Лорана, бельгийского ученого. Наконец нам, русским, имеющим такую роскошь литературы в прошлом, лучше в 3-й, в 4-й раз перечитать «Войну и мир», «Анну Каренину», «Капитанскую дочку», «Мцыри», чем еще альманах «Шиповника» или «Земли», и в них «Францов Венецианов» и «Великих рыцарей Гуаков», т. е. какое-нибудь «В провале», «Крушение» или «Бездна» Айзмана, Миртова, Андреева и проч., и проч. и т. п., и т. п.

* «Очерки по истории человечества» (фр.).

АПРЕЛЬСКАЯ КНИЖКА

Дм. Кайгородов. «Наши весенние бабочки».
С красочными таблицами и рисунками по акварелям с натуры
Т. Д. Маресевой

Спешите, дети, запастись к апрелю «Весенними бабочками» нашего старого и юного, ученого и простодушного профессора Д. Н. Кайгородова, друга отрочества, матерей семейств и, вероятно, тех старых дедов-пасичников, что вынимают соты из ульев голыми руками и их не жалят пчелы, так как они «знают слово» (заговор). В прелестной сиреневой обложке, с двумя вербами по бокам и шестью белыми бабочками, сидящими на прутьшке, книжка так и манит глаз, и хочется побегать в магазин и купить книжку раньше, чем прочитал содержание. Но от-
10 вернув обложку, находим, что внутри книжки еще вкуснее, чем снаружи: начина-
ющая от бедных украшением «белянок», «желтушек» и «голубянок», переходим к знаменитым красотою (по-моему) «траурнице» (*Vanessa antiopa*), «павлиному глазу» (*Vanessa io*) и «с-белое» (*Vanessa s-album*). Сколько воспоминаний, как замер я, лет тринадцати, увидав медленно пролетающую «какую-то особую ба-
бочку»... И вот она села.. и медленно перебирает ножками по прутку... а на двух поднятых, средней величины, крылышках я увидел широкую «траурную» кайму, *настоящую* траурную: белая лента по темному, почти черному фону... Но не *зер-*
20 *ному*, почему-то *зерных* цветов у бабочек нет, у жуков есть (почему? Боже, почему это?!). А когда я ее наконец поймал в сачок и, нежно взяв за тельце, рассмотрел крылья, я был ошеломлен красотой этого темного и не черного цвета, оттененного «трауром»... Создал же Бог... Поймать «павлиный глаз» и «адмирала» я не надеялся никогда... Но поймал... Но как настоящим волшебством я был поражен, увидав у «какой-то бабочки» внизу крыла белоснежное «С». и... *с тогкою!!!* Прямо, точно из Кюнера и из наших гнусных «экстемпоралий», за которые я неизменно получал «2». Но как противен был весь латинский алфавит в тетрадках и в Кюнере, так одно, единственное «С» на крыле бабочки поразило меня почти религиозным страхом... Не меньше... Центром моего увлечения бабочками был сон:
30 мне привиделось в грезах о не пойманных еще бабочках и жуках, что я ночью сижу у костра в лесу: и вот ко мне начинают слетаться (я знал, что «на огонь» летят «они»...) великолепные жуки... и из них один, дровосек, с такими длинными усами, как я и не мечтал. И такое счастье: летят, ползают, не боятся меня, и я разглядываю все их великолепие форм и цветов...

Сон был до того «явен», что по утра я не верил, что этого «не было».

Потом же я всех поймал: и изумительного красотою махаона и чудесного по-
лидария, и громадного белесоватого аполонна... Аполлонов даже несколько: они уми-
рали и почти не «убегали» от ловящего, и я их брал руками, почти без сачка, дивясь, что они так медлительны в полете?! «Жизни бабочек» я тогда не знал.
40 «Кайгородова» еще не было.

Прелестные воспоминания: и вот как-то ночью я поймал даже случайно влетевшего в комнату сфинкса. Этот, как теленок: столько тела и так он непохож *по типу* на «легкокрылую бабочку». Толстое коническое тело, узкие, очевидно

сильные, крылья. «Бука...». Пропорционально другим бабочкам, в сфинксе есть что-то странное.

Сфинксы все редки и чудесны. «Мертвой головы» я никогда не видал иначе, чем в сухих коллекциях.

Не собирайте, дети, коллекций, не убивайте и не засушивайте бабочек... Просто, это скверно: но, поймав в сачок, нежно, нежно дотрагиваясь, изучите, что нужно, «по Кайгородову» и выпустите. И так поступите со всеми бабочками и жуками «своей местности» и «текущего месяца»... Коллекция же пустое тщеславие, ей-ей не стоящее жизни «легкокрылых». Я убивал, составлял коллекцию и чувствую до сих пор это, как грех перед природой. «Ну-ка, живого человека бы посадить на булавку». А все животные, все до человека, суть «не развившиеся люди», и ива «дремлет», а к Пасхе пробуждается. Точно кивает с ив: «Христос воскрес»...

Спасибо Кайгородову; спасибо старцу-юноше: своим прелестным языком и, главное, необыкновенно свежим чувством природы и интересом к «ежедневному» в ней, к «теперешнему» и «здешнему», он дал неисчерпаемое удовольствие русским семьям...

Кстати, совершенно «к стилю вещей»: проф. Кайгородов «православный из православных» и, между прочим, ужасно любит «праздники», и не только не хочет их сокращения, но и хотел бы еще увеличить число их. Я говорю: к «стилю вещей»: ибо ведь и само-то дело его, работа и жизненный труд, какой-то праздничный и воскресный. Я люблю все «выдержанные вещи», «хорошего стиля» и хотел бы увидеть третий сон, где убеленный сединами проф. Кайгородов, накинув на голову белое покрывало, как древние жрецы, совершает курение Аполлону, богу Солнца, и Деметре — Матери-Земле, и так как ему много лет и он совершенный «дед» (это я все вижу сон), то путает гимны языческие и христианские, и то читает «Богородицу», то Деметре: «Ты, Мать всяческие твари»... Но кончим сновидения. Дети, бегите и покупайте сиреневую книжку, с великолепными рисунками в красках.

«О ПЬЕСЕ ОСТРОВСКОГО «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»»

Из новых пьес Художественного театра я был на комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Боже: как она археологична, или как быстро живем мы!

Ни одного лица из тех, каких я видел на сцене, я уже не видал ни разу в жизни. Пьеса написана в эпоху преобразований Александра II-го, и я думал не без великого смущения: неужели через пятьдесят лет наши теперешние физиономии, теперешние наши души, наши волнения, страхи и надежды также совершенно исчезнут с лица земли, превратятся в такой же невозможный гардероб старых париков и изношенных костюмов, и глупых-преглупых разговоров, какой я видел перед собою на сцене?!... Островского я еще видел живым, правда, уже старцем: как же он мог вывести на сцену *такое*, чего я не видал и что для меня не-

представимо! Могила... и мы станем такими же могилами. И Блок, такой молодой и интересный сейчас, через 50 лет станет «черепом Рамзеса», показываемым в музее, или Глумовым, показываемым на сцене... Фу! Фи!

Я говорю так, ибо между Рамзесом и Глумовым все-таки не такая разница, как между мною и Глумовым. История была от Троянской войны до Глумова, но по том что-то сделалось, все перемешалось, и стали расти «мы».

И через пятьдесят лет.. Бррр... Где наши *надежды*? Куда они тогда уйдут? Неужели все рассеется как дым, и останется надо всем только вечное слово Гомера:

Будет некогда день и погибнет священная Троя,
С нею погибнет Приам и народ копыеносца Приама.

10

Флирт барон, — даже *это* вечное начало быта, — генерал и его спасительные проекты, хлопоты и поклоны. Глумова, его мамаша — нет, все, все это уже не то теперь. И, напр., генерал Куропаткин «спасает» Россию в своих книгах-проектах совсем другим слогом, чем «барон в отставке» в пьесе Островского.

Все умерло... Увы, или — слава Богу!

Кроме одного Глумова — все остальные персонажи Островского были разыграны изумительно. Это действительно: «художественная игра» и... в целом — художественный театр. Позвольте чрезвычайно точно передать сущность дела. Памятность игры, ее «впечатлительность», яркость ее сцены во время всего представления — все это величайшею обдуманностью доведено до последнего совершенства. Лучше, однако, всех был Станиславский в «старом военном барине», которому Станиславский дал истолкование «в военную сторону». В самом деле, он был одет в форму отставного генерала, когда у Островского в пьесе значится «важным барин». Однако истолкование совершенно точное: Островский только *забыл приписать* это, или вдуматься в ту подробность, что «старый барин, негодующий на новые положения реформы Александра II-го», никак не мог быть ни помещиком-земледельцем, ни даже военным гражданским сановником в отставке, но именно военным большого чина в отставке, остатком Николаевских времен... Станиславский вдумался и внес эту поправку, отвечающую «логике вещей», о которой так понятно и убедительно говорил у бар. Дризена.

20

...Его борода, такая длинная и неправильная, с более длинными волосами на одной половине лица, чем на другой... рыжая с сединой... вся вялая и уже не подстриженная, как она хорошо говорила о бессилии инвалида, преданного спасению отечества и воспоминаниям о былой любовной связи, с поползновениями прислониться к женщине и сейчас... И его «трам-трам-трам»... И, наконец, эта «подзорная трубка», в имитацию коей он свернул свой «проект о вреде реформ» и в которую смотрит «вдаль», как бы на скачущем перед ним эскадроне... все незабываемо!

И все играли прекрасно.

40

Мне показалось: не переигрывает ли только Манефа? Что-то слишком неотесанное, грубое, сумасшедшее почти, — и как будто это не соответствует тому, что она берет рубли и действует по чужому плану?

Может быть, я ошибаюсь. В превосходной игре Художественного театра я рассмотрел некоторые недостатки пьесы Островского: бесспорные...

Пьеса слишком сатирична, бьет на сатиру. В ней Островский-художник не удержался на высоте объективного бесстрастия и выступил борцом за Александровы преобразования против николаевских «пережитков». Толстой в «Войне и мире» *один* умел показать в смиренной фигуре *недалекого* Николая Ростова, чем; собственно, живет и крепко военное консервативное начало жизни. Фигура Ростова есть самая замечательная, самая историческая из необозримого числа лиц, виднеющихся на громадном художественном полотне Толстого. Ростов, в спорах с Пьером, говорит гневно: «Да, если Аракчеев прикажет мне с эскадронным итти на вас (приблизительно — декабристов), я пойду, не рассуждая». Это — консерватор, полный. Он не человек мысли, — мысль у него работает туго. И не человек воображения. Эти два качества — сильная мысль и сильное воображение, уже соделывают человека «из ряда вон», т. е. исторического. Толпа, естественно, не может состоять из полководцев: толпа состоит из толпы. *Кто она? кто она?* Толстой фигурую Ростова дал ответ: это — люди действия, а не фантазии; люди повиновения — то и хорошо для невыдающихся способностей; но вместе это люди и чести и долга, и «добродетель» того отряда, той шеренги, наконец, той улицы, села или помещичьего имения, с которым идут «в ногу» или живут «бок о бок». Но именно — *добродетели*, на этом надо твердо стоять, без этого нельзя ничего постигнуть, в быте, государстве и истории. История стала бы невозможною, государство и быт развалились бы немедленно, если бы эти известные народные «ряды» состояли не из таких фигур, как Николай Ростов, а из таких, каких нам дали Щедрин, Грибоедов, Гоголь, и вот, наконец, Островский в этой пьесе. Толпа имеет покорность: но определено и положительно она не бывает глупа (тезис всех наших писателей от Грибоедова); и в особенности она не есть грубо и прямо порочна, не есть «жюльническая»; как опять-таки нам рисовало это столько гениальных лиц. Толпа есть именно толпа: не больше, но и не меньше этого. Толпа есть разновидность народа; часть народа, «поближе к нам» и «повиднее». Она совершенно серьезна... не гениальна, даже несколько глупа, недвижна, не восприимчива к слову, к мысли: но устойчива, и она имеет несколько черт, не сложных, не «узором», но держащих, как крепкий канат с якорем на конце, всю историю в устойчивом равновесии. Мысли эти не «узором»: но в них есть горячее и честное чувство родины, добросовестного исполнения своего долга, добросовестной жизни «у себя на селе». Ведь кто-то умирал все-таки в Порт-Артуре? Имена не всех дошли. Дошли (кроме исключений) имена хищников: но были и герои, и святые, не оставившие имен. Кто? Толстой дал собирательное имя: «Николай Ростов». — штаб-ротмистр, женившийся с внимательным расчетом на приданое — на Марии Болконской, но *ее любящий*. Вот как дело обернулось: и «приданое», и — любовь. Так художник меньшего роста, чем Толстой, не сделал бы: или «любить без приданного», как Дон-Кихот Дульцинею, или «приданое» — и уже тогда проходимец, Плумов, Чичиков или Молчалин. Один Толстой удержался в великолепном спокойствии, и высоты поистине небесной достигнул, то масса не может состоять и действительно не состоит ни из Дон-Кихотов, ни из Чичиковых; что она в деньгах нуждается и деньги берет, то из этого не вытекает никакой «подлости». Ни — вправо, ни — влево. Середина. И — обыкновенная. «Такова жизнь»... и люди таковы, из которых состоит история... Состоит войско, идущее за Кутузовым или Куропаткиным, побеждающее или разбитое, славное

или опозоренное, счастливое или замученное. Нельзя не ценить это «войско-народ»...

Островский не стоял на этом уровне Толстого. Его пьеса груба: и из нее невозможно понять ни того, каким же духом или хотя бы иллюзиями были одурманены люди Николаевского времени, когда были герои и в Куропаткинской армии; ни того, от *каких же родителей* родились люди и вожди преобразовательной эпохи. Ничего нельзя понять. Тогда как читая «Войну и мир» в сущности понимаешь всю русскую историю. В Севастополе, в военно-историческом музее, я долго рассматривал лица *сестер милосердия*, работавших при знаменитой обороне. Все это были женщины и девушки «Николаевских времен». Но это полуцарицы, полусвятые... Столько достоинства и духовной красоты в них!

Главная роль — Глумова — не далась лучшему актеру в группе Художественного театра, г. Качалову. Почему? Здесь мы имеем дело с великолепной критикой пьесы, которую невольно производит мастерская «художественная» труппа. Глумов — химера, а не действительность. У самого Островского в замысле и выполнении этого лица не оказалось той «логики, связности и последовательности», о которых опять же так хорошо говорил Станиславский, произнося еще «*profession de foi*» * касательно роли режиссера и *умной* свободы актера в игре... Глумов умен, понимает новые реформы, говорит в небывалом прежде тоне о простом народе и...

1) никак не умеет добиться хотя бы какой-нибудь должностишки, умирает с голоду во время, *такое кипугее...*

2) только плутней и можно чего-нибудь добиться в эпоху Ростовцева, Ланского, Кавелина, Соловьёва, Блудова...

3) и ведет себя, как молодец с Хитрова рынка или с «Дна» Горького; чуть-чуть «номером» повыше...

Конечно, это выдумка и химера.

Которую не мог даже сносно нарисовать на сцене высоко талантливый Качалов...

30

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Г. Пархоменко

Очерк

С длинными волосами и женообразным бледным лицом, с семинарскими манерами, Пархоменко так и ходит около своих «портретов». Ими занята уже целая стена до потолка большой, очень высокой мастерской, — в далекой, дьявольски далекой части Петербурга.

— Какой вы неуклюжий, батюшка: хоть бы написали в письме маршрут в вашу мастерскую. Тут всего две линии, — трамвая и конки. Времени сорок минут, и вагон останавливается против вас. Чего же вы не написали. Я и ехал, и шел, и проклял свою судьбу, что поехал к вам. Как вы будете писать с меня портрет,

* «символ веры» (*фр.*).

когда я злой. Портрет должен быть «добрый», потому что я добрый. Но сейчас зол, и виной этому вы.

— Портрет будет такой, какой нужно. Времени терять нечего и садитесь.

— Точно «по телеграфу». Нет, это чорт знает что — писать портрет по телеграфу.

— Дайте сперва посмотреть, — сказал я недоверчиво.

Половина лиц знакомых, половина, даже больше — незнакомы. Которые знакомы — похожи. Всего лучше, по-моему, Морозов (шлиссельбуржец); хорош, но не «великолепен» (как писали и как думает Пархоменко вслед за семьей Толстого) портрет «в. п. з. р.». Изумительно взят Флексер (Волынский), сухой, ¹⁰ черный, в какой-то гимназической куртке, без воротничка и, словом, аскетом. «Может же человек так засушить себя». Точно трава в гербарии, потемневшая и ломающаяся. Ни росинки сырости и мягкого. Благородные лица Альбова и какого-то «народного писателя», — живописное и прелестное. Но всех выразительнее — Баранцевич: с морщинами, где-то шишечкою-прыщиком в лице, и следами «опыта жизни» во всем сильном выразительном лице. Чудовищно опухлое темно-красное, «бочкой», лицо Мамина-Сибиряка. А вон там — Ясинский, тут П. Б. Струве.

«Здравствуйте», — говорил я мысленно.

— Ну, похоже. Ну, ладно, берите кисти и рисуйте. ²⁰

Кисти были уже в руках у Пархоменко. «Телеграф»... Как не «телеграф», если он рисует в 4 приема большой поясной портрет, масляными красками. «Чорт знает, что такое». Год назад, совершенно не доверяя возможности такой быстроты и хоть каких-нибудь «качеств» в портрете, — я отказался. Но теперь на настойчивую его просьбу — согласился. «Пушай будет портрет в галерее». «Только надо сесть как писатели: позадумчивее». И я слегка опер голову, на кисть руки, будто задумался.

— Так нельзя. И он опустил палитру и кисть.

— Почему нельзя?

— Это будет картина, а мне для галереи нужен портрет. ³⁰

«Ах, чорт возьми: еще говорит умно! В самом деле, это будет „картина“, а не „портрет“. Вот переумнил меня!» — и я сконфуженно поправился и сел «в позу», как в фотографиях. Неестественно и несколько неудобно.

Сейчас же кисти заходили ходуном. Я повернут был к стене, занятой портретами. Чем далее я глядел на них, тем более они мне нравились, и не отдельно, а массою. Без рам, этих несносных золотых рам, кричащих о рынке или выставке — они являли собою что-то тихое и умное, комнатное или кабинетное. «Так любитель литературы украсил бы свой кабинет или дворец». Мне показалось чем-то невозможным разрознивать галерею. Каждый отдельный портрет мало ⁴⁰ говорил бы собою; но собранные вместе они являли зрелище и любопытное, и будящее много мыслей. Я стал входить во вкус Пархоменко, в мысль его, план.

— Это несосно, что вы всех вызываете к себе. Есть лица, которые никак к вам не поедут, а между тем они непременно должны быть в «Галерее русских писателей»...

— А я никак не могу уступить и рисовать их на дому: я хочу сделать все портреты при одном и том же освещении и по возможности в одной и той же позе, или, лучше сказать, — без позы.

«Ах, черт возьми: опять умно».

— Только взятые под одним углом зрения, при том же свете, в одной обстановке для рисующего, наконец, только взятые одним и тем же живописцем, лица писателей дают большой материал для сравнения, и даже больше — открывают свою истину. Я всеми мерами избегаю случайного и момента: мало ли писатель, может быть, в каком моменте, и он интересен для живописца. Нужно пожертвовать эгоизмом и писателя, и живописца, и рисовать не то, что «интересно», а что *есть*. Нужно зарисовать писателя, каким он *бывает*, а не каким ему *случится* быть...

10 «Все верно и верно», — думал я.

— Вот я вас посадил так, — обыкновенно. Я уже лет десять читаю вас, знаю многие ваши книги. Предполагаю ваши капризы и своеволия. Но всего этого мне не надо. Я сделал усилие забыть все, что вы писали, забыть ваш литературный портрет...

— Странно...

20 — И рисовать то, что *видит мой глаз в вашем лице*, а не что я знаю в вас духовно, не что думает о вас мой ум или воображение. Мне нужна натура; писателей я взял в натуре. Но, естественно, с мыслью, что потомству будет особенно интересна эта именно натура. Интерес вытечет уже из моего намерения, плана: дать «Галерею русских писателей». Из сюжета, содержания. Но я не хочу «интересничать» перед зрителями своей кистью, или своим воображением, или своими догадками.

«Все умно. Есть какая-то догадка у этого семинариста, — с такими длинными, бабьими волосами».

30 — Я зарисую всю русскую литературу, добьюсь полноты «Галереи». И ни за что ее не разрозню. За портрет Толстого мне уже предлагали из Москвы несколько тысяч (много тысяч), но я не согласился его отдать. Купит «Галерею» кто или не купит — от решения этого вопроса я не пропаду, но я не испорчу своего дела, и ничего не стану продавать враздробь. Поеду по России, буду устраивать выставки; на них все пойдут, все приедут. Но мысль моя простирается дальше. Естественно, мне хочется, чтобы «Галерея» была куплена государственным учреждением, где она сохранится прочнее и цельнее. И вот я мечтаю, что и после моей смерти явится другой живописец, который продолжит мое дело, которое я рассматриваю, как начинание; он пополнит «Галерею» портретами других выдающихся писателей, какие со временем будут появляться мало-помалу. И таким образом соберется полная, вполне полная «Галерея русских писателей», начиная с нашего времени...

40 — Да, вы несколько опоздали. Лиц Островского, Гончарова, Тургенева уже не вернешь... Не вынешь из могилы «к одному свету и под угол одного зрения». Но мысль, в самом деле, великолепная: только тогда вам нужно ее несколько переиначить или, вернее, дополнить. Какая же «Галерея русских писателей» без Ключевского? Я называю для примера; а таких очень много. В вашей «Галерее» есть ужасный, режущий недостаток.

Он рисовал, не отрываясь, но слушал.

— Вы рисуете собственно журналистов, а не «писателей», как духовных вождей страны, как строителей ее исторического ума. Вот в этом смысле ваша «Галерея» могла бы быть бесконечно нужна, содержательна, в полном смысле слова

была бы исторична. Но этого нет и этого я даже не вижу начала. Из некоторых якобы «писателей», вами нарисованных, есть такие, которые написали несколько рассказцев, никому неизвестных, несколько бесталанных стихотвореньиц; и наконец, есть в собственном смысле «газетчики», о которых вы знаете только потому, что они галдели чуть ли не каждый день в течение двух-трех лет, и галдением составили себе имя, почти скандальное. Но вы же сами хорошо знаете, что ни одной художественной строчки из-под их пера не вышло, и они не оставили ни одной мысли, которая бы запомнилась или ее стоило бы помнить. Почему же они «писатели»? Они *пегатались*, но это уже машина, типография. Они ни строки не дали в сокровищницу русского ума и русского искусства. 10

Мы остановились на одном имени и, почти не споря, согласились, что было непростительной ошибкой вводить его в «Галерею». Он вечно печатался. Вечно шумел. Вечно всех обличал; но каждая строка «обличала» его в том, что он вовсе и никакой не «писатель», а только присосался к литературе, как черная пиявка.

— Нельзя же рисовать человека с пиявкой, приставленную к десне больного зуба. Это «не верно» в отношении человека; ибо его существо — без пиявки. Так ваша «Галерея», прекрасная в замысле, — именно в этом-то замысле и испорчена «торчащею изо рта пиявкой», каковую роль играют некоторые газетные сотрудники, люди в прессе необходимые, но в литературе не играющие никакой роли, к литературе вовсе не принадлежащие. Литература, в конце концов, есть прекрасное, сильное, умное, — и должна быть ограничена тем, где это есть в наличности. 20

Он согласился.

— Запомните же это хорошенько и непременно исполните; в самом деле, вы напали на замечательно счастливую мысль. Но ее нужно хорошо провести в отдельных приложениях и непременно раздвинуть с «литературы» и на «науку». Какая литература без науки? В частности, наша русская литература мыслима ли без университета? Да и не только. А духовные академии? Дорисовывайте свою великолепную мысль и дайте России и особенно потомству текущего поколения... 30

— О нем-то я больше всего и думаю. Я думаю не о теперешних зрителях: а что моя «Галерея» будет в высшей степени нужна и интересна для следующих поколений... 30

— Вот видите. Мысль у вас вполне умная, точная и верная. Но что вы делаете? Кому в «потомстве» будет интересен портрет этого «публициста», обличавшего купцов с Сенного рынка. Само имя его не удержится ни в малейшей памяти «потомства». Вы же, раз Бог родил у вас такую мысль, должны выразить «в портретах» русскую духовную жизнь, с ее сумятицей, тоской, противоречиями, бурями. Тут все у вас «либералы»; так разве же из них одних состоит литература и русская умственная жизнь? Где у вас Ламанский? А это — имя. Где основатели высших женских курсов или горячие их деятели — В. И. Герье — для Москвы, профессора Александр Ив. Введенский и С. Ф. Платонов — для Петербурга? Странна русская «умственная, духовная жизнь» без них. Где Бехтерев? Чечотт? Профессора Отт и Феноменов? 40

Он с удивлением посмотрел на меня.

— Да неужели маленькая повесть в журнале, которую «прочли с удовольствием», — умственно важнее, духовно важнее, чем Бехтерев или Феноменов, к которым тащатся люди с Кавказа и из Сибири и на них смотрит вся Россия, их видит

целая Россия. Наконец, они сделали успех в науке, двинули дальше науку. Как же вы их исключите из «духовного образа» России: тогда этот «образ» будет довольно туповат; не полон и искажен. А вы рисуйте полно, тогда это и интересно будет «потомству». А то вы захватываете на полотно, с небольшими добавлениями лишь то, что уже захватили иллюстрированные приложения к газетам: очень нужно видеть сто первый раз лицо, надоевшее в «Приложениях». Вы берите, преимущественно берите то, что зритель увидит впервые у вас; что без «Галереи» вашей вовсе пропадет для потомства. Непременно берите ученых. Возможно ли не зарисовать Глубоковского, Бриллиантова, еп. Феофана и Каринского в петербургской дух. академии, Алексея Введенского, М. М. Тареева, П. А. Флоренского, проф. Спасского — в московской дух. академии? Историков литературы — Н. А. Котляревского, М. О. Гершензона, проф. Овсяннико-Куликовского, вдумчивого Леонида Галича? Почему все «Арцыбашев» и «Каменский»? Что за Фаусты русского духовного сознания? Вы берете то, что несет улица, чем шумит площадь. И это отнимает главную прелесть, возможную прелесть вашей «Галереи»: ее тихий домашний дух, ее умную бесшумность.

Позже, когда кончился «сеанс» и я встал, я увидел у г. Пархоменко целый список лиц, которых он предполагает писать; и он вообще старательно ищет имен и адресов, прислушивается, кого и почему следовало бы написать. Нельзя не видеть в его «Галерее» нашего русского национального дела. Мысль ее действительно очень удачна, но все зависит от исполнения. Нельзя усомниться в его желании взять все самое серьезное; но можно опасаться другого: что очень занятые люди, — у иных, правда, каждый час занят, — откажутся поехать к нему. Это будет ужасно жаль, — просто в социальных целях, в общерусских целях. Несколькое «упрямств», несколько важных «упрямств» может расстроить всю «Галерею». И здесь нельзя не посоветовать мягкости, уступчивости; нельзя не пожелать устранения литературного и ученого «снобизма», который есть, который встречается.

Мысль его взять писателей «в обыкновенном» — положительно умна. Портреты схожи, некоторые чрезвычайно схожи и удачны. Не все: например, у Ремизова не передана, или мало передана, замечательная бледность лица, белизна кожи. У И. И. Ясинского лицо взято уже, чем есть. Это — возможные промахи, каких, я думаю, вполне не избегает никакой живописец. Но от написания уже множества, — до пятидесяти, — портретов, и глаз, и рука г. Пархоменко уже приспособились к быстрой, энергичной и точной работе. Во время сеанса я услышал еще подробность, очень ценную.

— Завтра последний день, и я буду рисовать *глаза*.

— Почему так поздно? Ведь *глаза* — главное.

— Именно оттого, что главное. Портрет должен быть схож *до глаз*: а то «с глазами», раз они удачно вышли, он будет схож и без сходства или удачи в остальных частях лица. Удача глаз все затушует, заменит неудачу остального. Обманет и художника, и того, с кого он рисует. Этого не надо. Пусть портрет будет похож в менее духовных своих частях, и уже тогда можно завершить его в главном, — *в глазах, взоре*.

— Вот... А Репин говорит, что нет настоящего сходства в портрете, пока не вышли *губы*. «Схватить бы губы, положение рта, тайну рта — и тогда портрет выйдет».

И я мысленно перенесся в «Пенаты» его (имя дачи его в Куоккале), все зарисованное изумительными портретами. Изумительными в пронизательности... Преступников, гениев, дураков, наглецов, драпирующихся, иногда удачно, перед человечеством — я всех повел бы в мастерскую Репина для разгадки. Репин «проявляет» внутреннее человека, как «проявляются» фотографические пластинки в какой-то кислоте. Его едкая, внутренне едкая душа разлагает внешность человека, устраняет «вздор» его, прикрасы его, манеры его, и требует в суду зерно его. Все портреты Репина, суть «судящие» портреты... Как ужасно иногда он судит, жестоко... Но всегда истинно, может быть только немного преувеличивая, подчеркивая. Но подчеркивая то, именно то, что *есть*, что лежит «в натуре»... «Тайная карикатура»... Это иногда мелькает в уме при взгляде на его портреты. Но что же, если вообще «карикатурно» это Божие создание — человек... Его портреты Морозова (шлиссельбуржец), кн. Паоло Трубецкого, доброго и милого Гинцбурга (скульптор), г-жи Яворской, не говоря уже — Толстого, наконец, Гоголя (сжигающего «Мертвые души»), и Пушкина (гуляющего, во вдохновении, по набережной Невы), Менделеева, графини Паниной, г-жи Северовой, — все это работы великого, изумительного мастерства, о которых можно бы написать том... Тут каждая черта важна, характер посадки в стуле, поворот фигуры... Некоторые портреты взяты со стены, сбоку: нужно же догадаться, — но злой гений Репина догадался, что есть люди, которые всего выразительнее сзади или сбоку; что у них мало «лица» в лице, а «лицо» вылилось в сгибе, фигуры, если на нее смотреть сбоку, или в сутуловатой спине, согнувшейся на стуле. «Неумного» человека он возьмет так, что не видно глаз, ибо «глаза» ничего у него не говорят, у него нет «взора».... Удивительно. В гении Репина есть что-то родственное с Гоголем: тот же пафос преувеличения и внутреннего смеха, то же не доброе и мрачное. И — ни луча пушкинского солнца.

РАССКАЗЫ И. Л. ЩЕГЛОВА *

Скромно изданный томик рассказов И. Л. Щеглова прочтется с удовольствием и широкою публикою, и записными любителями литературы. Вторыми — как просто восемь рассказов из «нашей жизни», — той жизни, которая и коротка, и бесполезна, и пуста, и глубокомысленна, и скучна как будто... а однако, все-таки «жизнь», т. е. такое, лучше чего нет ничего из сотворенного. На всех рассказах есть налет мысли и грусти, — и вместе все они «рассказаны» если не сквозь смех», то сквозь легкую улыбку человека, имеющего вкус к шутке и понимающего ее жизненное значение. Рассказы — просты, ясны. Щеглов — из прежних писателей, которых гнетет декадентская «запутанность» и которые удержали ясность и простоту, — завещание еще античного мира, — как высшее мерило красоты, ума и порядочности. Не даром вместо эмблемы и эпитафии И. Л. Щеглов поместил на обложке книги снимок со статуи эллинского бога: это идет и это верно. Наконец, это не одно притязание.

* *Иван Щеглов. Рассказы. СПб., 1910.*

Любители же литературы с уважением поставят на полки своих библиотек первый томик рассказов того автора, который когда-то дал нашей литературе такие *chefs-d'oeuvres*, как «Убыль души» и «Около истины». Щеглов — правдивый писатель: и все изломанное и фальшивое, всякая подделка и личина ему претит органическим образом. В рассказе «Около истины» он дал убийственное изображение «колониального толстовства», т. е. толстовцев, собиравшихся в «колонии»... Рассказ, может быть, немногими помнится, но его поучительно было бы перечитать сейчас. В свое время он вызвал бурю негодования, и, что остроумно, в рядах отнюдь не «несопротивляющихся злу»... Бог весть почему поднялся ураган злобы против тихого изобразителя добродетелей Черткова. Кто читал дивный «Дневник Дьяконовой в Париже», увидит, что и у этой правдивой и беспритязательной курсистки Чертков очернен так же, как у И. Л. Щеглова: а поехав к проповеднику почти «на поклонение», она не имела мотивов ни лгать, ни преувеличивать. Помнится ее пометка: «Все говорили (у Черткова в гостях) о мужиках, о земле и труде земледельческом: но из разговоривавших никто не сумел бы отличить колоса ржи от колоса пшеницы». Впрочем, Бог с ними: история все унесет и все пронесет, одно золото останется...

Тон рассказов Щеглова — добрая, прощающая шутка; неверие в героизм и, пожалуй, нелюбовь к героизму; все «наше», «обыкновенное». В некоторых рассказах, как «Тетя из Витебска», звучит скептицизм, пожалуй чрезмерный. Жизнь, конечно, не удержалась бы в известной колее и даже не имела бы силы идти вперед, если б она вся и до дна была так мелочна и ложна, как кажется автору. Поверим в абсолютный порок и наряду удержим восторг и *полную веру* в абсолютную добродетель. Есть один, есть другая; *тогда* есть, не в фантазии, не в оптимизме. Кроме шуток и смеха есть горе, есть слезы; благороднейшие человеческие слезы, и *настоящие*. Без примеси *настоящего* вообще жизнь была бы невозможна. Да вот пример: я упомянул о Дьяконовой. Ее «Дневник», ее изумительная смерть от безнадежной любви к человеку, которого она даже хорошенько и не знала, — ее душа такая прелестно-девичья, и до того русская-русская, — разве все это не *настоящее*, без прогаров, без фальши, без притворства?

...И сколько таких *настоящих*... И чем была бы наша русская жизнь, если бы не эти *настоящие*... В рассказах И. Л. Щеглова и их преувеличенной грусти сквозь шутку, печали сквозь забаву есть эта односторонность или недостаток, что как будто судьба-мачиха не дала ему никогда в жизни встретиться с *настоящим*... И он никогда не содрогнулся, не удивился, и не передал в своих рассказах вот *этого*, от чего бы он содрогнулся или чему удивился.

АМФИТЕАТРОВ

Природа — и сотворительница, и насмешница. И вот случается, что в припадке насмешки она устроит человека, нарочно наделив его всевозможными способностями, но отнимет у него дар уменья распоряжаться этими способностями. И тогда получается картина, составленная из великолепий и нелепостей. Таков Амфитеатров...

Человек огромный, шумный, производительный, с большим животом, с большою головою, сын или внук протоиерея или архиерея — и революционер, когда-то сосланный, теперь убежавший в Париж — все чорт знает для чего — обширно начитанный и образованный, но который пишет, точно бревна катает, вечно предпринимающий, вечно разрушающий, ничего не создающий, кроме заработка бумажным фабрикам...

По-видимому, не злой, — он вечно ругается или кого-то громит... За что — он и сам не знает... Все равно, — «гром есть»... Способный прожить три жизни и десять состояний, без сомнения, никогда не обедающий в одиночку, вечером, несомненно, едущий в театр, если не занят статьею, «которая назавтра поразит весь свет»...¹⁰

Приятно всегда смотреть на его самоупоение... В «наше безнадежное время» Амфитеатров шумит, пыхтит, как паровоз или даже два вместе сцепленных паровоза, с контрпаром в обоих... Свистит двумя свистками. И не замечает, до чего всем скучно.

И до чего всех не развлекает и он, Амфитеатров...

* * *

Издal он книжку каких-то газетных вырезок. И сам понимает, что это просто — вырезки, никому ненужные... Без всякой собственной мысли *в целой книге*, т. е. без мысли, которая распространялась бы *на целую книгу*, оправдывала ее заглавие или появление. Что он понимает, это видно из названия одной статьи: «Газетное». Книжку, собственно, следовало бы озаглавить: «Вверх ногами или вниз ногами. Как хотите». Но нет: дав таланты, природа посмеялась над Амфитеатровым, отняв у него вкус...

«Как же назвать?» — подумал он о ворохе никому ненужных своих газетных вырезок. Задумался серьезно, — как всегда Амфитеатров. Мелькнуло священное воспоминание о Пушкине. Его Евгений Онегин — тоже странствующий вечно, как и Амфитеатров, тоже либерал, как и Амфитеатров, тоже с «охлажденным сердцем», как Амфитеатров... При этой мысли Амфитеатров вздохнул: «Россия не поняла *тогда* Пушкина, и *теперь* меня. Россия вечно ничего не понимает. Россия дура. От ее глупости я бежал в Париж. И Пушкину нужно было бежать. Пушкин единственно не умен в том, что он не бежал... не поступил, как я».²⁰

И наклонясь над письменным столом, он надписал над пуком своих статей с заглавиями:

«После праздника»...

«При особом мнении»...

«О Боборыкине, Чаеве, Дьяченко, Лихачеве»...

«Шлиссельбуржцы»...

«Айсидора Дункан»...

«Николадзе»...

«Ерзя»...

«Газетное»...

«Морская болезнь»...

«Притча о 29 февраля»...

40

— где уже из каждого заглавия торчат два выпученных глаза Амфитеатрова и его огромные кулаки, — надписал, задумчиво объединив их всех заглавием, заимствованным из Парижа:

Заветы сердца.

Так озаглавлена книга... с «Ерзею» и «Боборыкиным».

Взявшись за бока, мы смеемся до колик. «Пришло же на ум человеку!..»

Огромный, чудовищный, талантливый... под которым ломится кровать, когда он на ней спит, и расползается диван, на который он садится, взял в «эпиграф» себе самую задумчивую, самую тихую строку из вечно милого Пушкина.

10 Безвкусица!

Чудовищная!

Совсем другое идет к Амфитеатрову:

Обрыскал свет, —

Не хочешь ли жениться?

Вот эти слова Фамусова идут к его жизненной, подвижной, вечно предпринимающей что-нибудь фигуре.

20 Даже бессмыслица должна быть выдержана «в своем стиле»: и пук вырезок из газет, без центральной во всех мысли, совершенно никому не понятный и не нужный, так и можно было бы «для увенчания здания» озаглавить этим обращением к читателю из Грибоедова:

Обрыскав свет, не хочешь ли жениться?

Гораздо уместнее и тактичнее, главное — гораздо умнее, чем

Замены сердца.

Что окончательно глупо, потому что окончательно ни с чем не сообразовано.

* * *

Ну, Бог с ним... Не писал бы этих строк, не встретить у него куплетов против себя. Гиппиус написала когда-то стихи:

Вы ночному часу не верьте...

30 Амфитеатров, в сущности живущий тем, что он вечно что-нибудь «усваивает», запомнил мотив и сочинил, при чтении какой-то моей статьи, следующую «поэзию»:

Вы Василию Васильевичу не верьте.

Он исполнен злой чепухи:

Справа — ангелы, но слева стоят черти

И шепчут ему в уши грехи...

И т. д.

Это внушило мне тоже «подражание»,

Вы Александра Валентиныча не пугайтесь.
 Дана ему душа овцы и образ медведя.
 Ногами он топает, но никого не кусает,
 Ничему не вредит, и только всех предупреждает.
 Глаза всегда у него навывкате.
 Но это глаза не тигра, а барана.
 Руками он машет, издали видно:
 Но это — крылья ветряной мельницы.
 Читать бы ему на Москве Апостола,
 А он в Париж уехал прелюбодейный.
 В Москве его недостает, а в Париже от него скучно.
 Но таковы вечно обстоятельства всероссийские.
 Перелезая через забор, он всегда оборвется,
 Пролезая в амбар, — на гвоздь напорется.
 От боли кричит. Народ сбегается,
 И колотит бедную овцу, а не свирепого медведя.

10

Если это очень плохо, то виноват и тут Амфитеатров, толкнувший меня безвкусною книгою на всякую безвкусицу.

ВИАРДО И ТУРГЕНЕВ

20

Много было счастливых и великих привязанностей любви в России за XIX век... Но роман Полины Виардо-Гарсиа и Тургенева горит над всеми ими как что-то необыкновенное, исключительное. Здесь, однако, хочется вспомнить стих Ломоносова, которым он разъяснял важность словесности и стихотворства:

Герои были до Атрида,
 Но древность скрыла их от нас...

Он хотел этим сказать, что до Троянской войны было много героев; но никто их *не воспел*, и через это умолчание муз они стали из «бывших» как бы «не бывшими». То же можно сказать о Тургеневе и Виардо: для чести человеческой природы, для чести самой любви, наконец, просто для *истины* мы должны согласиться, что, конечно, великие привязанности любви всегда были и есть теперь и навсегда останутся... Но оне не *рассказываются*. И вот... как бы «не были». Наконец, для справедливости мы должны сказать, что семейные, супружеские привязанности бывают столь же сильны, как эти кометообразные привязанности законом не связанных между собою людей. В великом счастье, уделе и роке любви никого не хочется обидеть, никакую группу не хочется выкинуть со словами: «Неспособны к такой любви». Нет, все способны...

Но *подробно* мы знаем только историю любви Тургенева и Виардо.

«Историю»... Ее *не было*. Мы знаем, собственно, не «историю любви Тургенева», а ее очерк, ее яркую и не гаснувшую точку. Знаем «состояние», которое никогда не развертывалось во что-нибудь сложное, ветвистое, в какие-нибудь перипетии, колебания... Решительно эта любовь не имела «хода» в себе, движения, а только — стояние.

Как встала, так и замерла.

Пока умерла...

Умерла же, когда умер «он»... Мы сказали: «история любви Тургенева и Виардо»; потом что-то поперхнулось, и невольно написалось: «история любви Тургенева». Действительно, сердце сжимается ужасною болью, когда говоришь или слышишь: «любовь Тургенева и *Виардо*», «роман Тургенева с *Виардо*»... Звезда эта не горела бы так ярко и незабываемо, не будь это кровавая звезда.

Вся истерзанная, в шипах...

Любви «их» не было. Была его любовь... Вся история не получила бы такого ореола себе, такой знаменитости, наконец, о ней не было бы столько сказано, и пока она тянулась, и когда она кончилась, будь это обыкновенная счастливая любовь, будь это счастливая обоюдная любовь.

Ах, счастливы о себе не рассказывают.

Но когда счастья не выходит? С этого только и начинаются рассказы, жалобы, песни, объяснения, философствования.

С этого начинается «литература о любви».

Об этом поют и народные песни. Не о любви счастливой, а все о любви несчастной... Пропавшей, разбитой, не удавшейся.

* * *

Судьба Тургенева и Виардо или, лучше сказать, отношения Тургенева и Виардо интересны и почти научны, поэтично-научны в том отношении, что дают образец «любобной истории», «любобного чувства», по которому мы можем глубоко проникнуть в сущность этого загадочного и любобпытного явления...

Такого цветущего и как бы вечно умирающего...

30 Великолепного и страдальческого...

* * *

Была ли счастливее любовь Данте к Беатриче?.. «Он» оставил такую песню об этой любви, а она?.. Мы даже не знаем, кивнула ли ему она в ответ.

Замечательная любовь Пушкина к Гончаровой, конечно, не имела себе сколько-нибудь равнозначашего ответа. В личном обращении Наталья Николаевна называла мужа — «Пушкин»: случай, едва ли не единственный в семейных отношениях.

В литературе?.. Но разве не очевидно, что Дездемона вовсе не любит мужа с тою ежеминутностью памяти о нем, с тою наполненностью всего существа мыслью о нем, с тем дрожанием за каждую минуту его покоя, счастья и благородства, как это все мы видим в Отелло относительно ее...

И, наконец, задумчивый и глубокий Гамлет, конечно, не любит своей Офелии так, как Офелия его. Он все возится «с тенью отца», с «обязанностью мстить».

Конечно, он или не любит вовсе, или любит «на ходу», «между прочим». Отчего, в сущности, ведь и «сломилась» Офелия.

И, наконец, великая иллюстрация Тургенева, уже реальный, осязательный факт, исторически удостоверенный... Имел ли он какое-нибудь «да» от нее? Никем определенно не говорится, что между ними была хотя когда-нибудь физическая связь; но, опуская полог на эту сторону жизни, мы, производя почти научное исследование темы, должны констатировать то, что совершенно очевидно: что *была* или *нет* физическая связь, — она, во всяком случае, *не была* постоянна, ни длительна, ни вообще сколько-нибудь значаща в смысле ли долговременности или в смысле интенсивности, хотя бы и краткотечной.

10

«Ничего» или... «что-то», близкое к «ничего».

Вся сумма данных указывает на это. Ни одного показания — в противоположную сторону.

Любовь Тургенева, обнимавшая весь его цветущий возраст, с очень молодых лет и до могилы, — не имела никакого материального питания, не поддерживалась никаким общением, кроме духовного, зрительного. Это было сухое пламя, его сжигавшее, его согревавшее, его, очевидно, питавшее духовно (ибо он весь был наполнен Виардо), но которое не поддерживалось ни одним «брошенным в пламя поленом»... Разве «щепочка» когда-нибудь, да и то гадательно. Любовь его, такая прекрасная и исключительная, светилась как свет в гейслеровых трубках: без воздуха, без всякой материи.

20

В то же время у Тургенева была дочь «Ася», им увековеченная в рассказе. Кажется, она родилась уже тогда, когда был роман с Виардо. Да, но и Данте был женат; Виардо была Беатриче его, в иллюзии его, в мечтах его; а «Ася» родилась, как, вероятно, у Данте рождались дети от жены.

Между тем было бы плоскою ошибкою думать, что Тургенев был привязан к Виардо «духовною привязанностью»: к ее умственной интересности, образованию, такту, пению и проч. Нет и нет! Совершенно нет! Как и у Данте к его Беатриче, любовь была именно физическая, пластическая, отнюдь не спиритуалистическая, не духовная, не схематическая и отвлеченная, каковою непременно будет всякая только духовная любовь. Я скажу определеннее и резче, чтобы выразить мысль свою: что с момента встречи с Виардо, еще ранее, чем он мог оценить ее «духовные красоты», Тургенев как бы пал под ноги этой женщины... и остался так недвижим до конца жизни. В этой странной физической, но именно, однако, физической связи... пьедестала и статуи, канделябра и свечи.

30

Она горит, светит...

Он — ничего.

Она счастлива, цветет...

Он — смотрит на ее счастье.

Она *вполне* живет.

40

Он вполне не живет... Именно «не живет», поскольку любит и оттого, что любит ее. Он вовсе не живет *для себя*.

Своей личной жизни у него никакой нет, вне связи и отношения к Виардо.

Напротив, ее жизнь, ее личность вполне самостоятельны. Незаметно, чтобы хоть одна прядь волос легла у нее иначе «после того, как она встретила с Тургеньевым». Тогда как у него... Он весь изменился, стал «не тот».

Родина, литература, — все у него поблекло около Виардо. Все потонуло в лучах Виардо, в солнце Виардо.

Он имел отныне только *побогное* отношение и к России, и к литературе. О, конечно, «писал». Как же не писать, когда есть «талант». Он не умер, но замер. Однако, конечно, вся литература его отныне преломилась, как луч в стеклянной призме, в этой, его поглощающей, любви к одной женщине.

Не распространяясь, брошу только одно замечание, именно — Тургенев сделался у нас певцом чистой, высокой любви к женщине, благоговения к ней. И, воспев столько «историй любви», он ни одной не довел до конца. Все любви бесплотные, без результата. Кажется, во всех сочинениях Тургенева нигде никто не «качает ребенка». Еще поразительнее, что «колыбель ребенка» испортила бы почему-то живопись тургеневской любви, когда она вообще не портит никакой картины любви. Почему?.. Все так уже «приноровлено», «приспособлено», так «выходило» у Тургенева, безотчетно для самого его, невольно для него самого. Сам не зная того, он, в сущности, везде говорит о монашеской любви, аскетической любви, самоотверженной любви, самоотрицающейся любви.

Где же тут место ребенку, колыбели... *Тип* любви другой...

Все замужние женщины у Тургенева, например, матери его прекрасных девушек, — несимпатичны. Так «выходило». Все «рождающее» не годится для монаха. А «любовь» может вспыхнуть и в монахе. Сухая, до неба любовь, пламя без костра, свет без солнца и даже воздуха. Вся «любовь» в произведениях Тургенева — чудесные переливы бесплотных слоев света в безвоздушной гейслеровой трубке. Даже не помнится, чтобы кто-нибудь поцеловался; чтобы «обнялись двое», — и представить нельзя.

Только очерк, силуэт человека...

Ни губ, ни персей...

Как не дано ему было ничего от Виардо.

* * *

Но я недаром сблизил это с Дездемоной, Офелией, Беатриче. И Виардо умерла, и Тургенев умер. Важнее их — любовь. Ею все живем. От нее вечно будет питаться человечество.

Поразительную, страшную и роковую сторону любви составляет то, что она, в высочайших степенях своих, никогда не бывает... *равногастною*. Т. е. никогда не бывают равными обе половины любви, с той и с другой стороны. Любовь никогда не даст «равнения» (военный термин), и от этого совершенно никогда высочайшая степень любви не бывает счастлива.

Всегда — шип и кровь.

Роза, и в ней — запекающаяся капля крови.

Кого? Нужно ли договаривать... Того, кто менее любим: Тургенева, Пушкина, Данте, Офелии, Отелло.

Любовь есть нечто, в себе самом заключающее жертвоприношение. Тот, кто истинно и высочайше любит, всегда лучше слабейшей и менее любящей стороны: как Пушкин — Гончаровой, как Данте, — быть может, очень обыкновенной, — Беатриче, как Тургенев — Виардо.

Чистейшая кровь, чистейший дух, волнуется, мучится, изливается кровью. Кому-то это нужно, для чего-то это нужно. Для чего? — никто не постигает. Но, верно, «нужно».

«Предмет» же часто совершенно обыкновенен... даже вульгарен.

Чистое масло сгорает... в светильне, которая и *видна* через масло. Все говорят: «Светильня горит, ее свет светит». Между тем светильня стоит две копейки и способна только чадить: вся ценность принадлежит невидимому в ней маслу.

Но оно сгорает, улетучивается... уходит к Богу. Оно именно «сгорает», т. е. умирает, исчезает в своем вещественном, жидком и цветном составе.

Где оно?

10

Нет его!

Только «литературная деятельность».

Так от «Тургенева и Виардо» осталась пахучая, ароматическая «литературная деятельность» Тургенева, и этот запах никогда не исчезнет из нее.

* * *

Иногда думается, что в тайне любви (ее нельзя не назвать тайною) раскрывается последняя тайна тела.

Ведь что в нем понимают медики? Ничего. Считают кости, измеряют мускулы.

Но это пока — ничего.

20

Медики знают труп, а не живое тело.

Живое же тело и раскрывается в таинстве любви, которая и приходит, когда тело входит «в цвет», и уходит, когда оно отцветает.

Не всегда... но «лепесток цветочка» остается и в старости, и вообще «пока живет человек». Однако нормально и вообще любовь приходит в молодости, когда «расцветает» тело.

Любовь есть феномен тела. Любовь Тургенева к Виардо была так явно телесная... Все «ее золотистые волосы»... Все ее «некрасивое лицо», — но которое «я не могу забыть», и оно «всегда передо мною, где бы я ни был, что бы со мною ни случилось».

30

— «Я произнес ваше имя, когда поднялся занавес, как произношу его всегда в минуты тревоги и смущения». Так он писал ей в Лондон, после первого представления его первой пьесы.

Она ему ничего не ответила... Как обыкновенно.

Но без этой «физики», без отношения к «физике» Виардо не было бы романа Тургенева. Чувство Тургенева вспыхнуло не к «духу» Виардо, — его он и не знал тогда, — не к ее пению; потом пели Патти и Нильсон; с первого *взора* (однако именно *взора*, *физического ощущения*) оно вспыхнуло... к лицу, глазам, волосам, голосу, манерам, улыбке, фигуре, корпусу... к крови и нервам... к цвету и запаху ее.

40

Ко «всему» ее... от волос и до покроя платья.

Потом это осложнилось «духом». Как она «умна», как «образованна», до чего вообще «талантливая натура».

Да, но это — *потом*. И могло бы быть отнесено *ко всякой*.

Можно быть уверенным, что захворай Виардо, потеряй голос, — и все Тургенев любил бы ее.

В чем же тут дело? Да тайна ее тела, которую мы неопределенно и смутно называем «красотою», т. е. в сущности «тем, что нам нравится», — раскрылась Тургеневу, притом ему исключительно; не мужу, не какому-нибудь «счастливцу», вообще, не «поклонникам таланта» ее... а ему, Тургеневу. Почему *ему*? Самая неразрешимая тайна, собственно, единственно неразрешимая в любви, ибо тут все уходит в глубь индивидуальности и ее частных, особенностей. Виардо была испанская цыганка, из талантливой, т. е. очень породистой, очень сильной семьи, с очень большими силами сама. И лицо ее некрасивое, но чрезвычайно...
10 полновесное — говорит о силе, о власти. В ней была масса густой, темной крови. Кровь Тургенева была белая, слабая, жидковатая, «от северного климата»... и предков, живших долгою культурною жизнью и уставших в этой жизни. Кровь — еще более тайна или, по крайней мере, не менее тайна, чем любовь.

М. М. Ковалевский в воспоминаниях о Тургеневе приводит слова французского доктора, только что сделавшего «исследование» его, захворавшего чем-то: «Никогда я такого *слабого* организма не видал... Все — междуклеточная ткань, мускулы вялые, питание вялое». В словах доктора это было выразительнее, чем я пишу сейчас. Настолько выразительно, что я не забуду никогда этой характеристики внутренней физики Тургенева. Вот этот контраст кровей и вспыхнул тем
20 пламенем, которое горело так долго, так прекрасно и так страдальчески...

Но, во всяком случае, любовь Тургенева была оценкою Виардо... как мы оцениваем предметы по силе притяжения, которое они оказывают. Что такое «организм», «тело», — медики имеют об этом только мертвые слова; живое слово о нем говорит любовь, чувство, волнение, подчинение, рабство; страсть, зависимость; очарование — даже до «готовности умереть для него», «за него». Но почему, почему это не равно, не одинаково с обеих сторон? Любовь всегда вспыхивает из контрастов — и физических, и духовных. И уже самое существо *контраста* таково, что в нем неотносящееся, через него завязывающееся в «любовь» — не одинаково, «не равночастно». Всегда кто-то впереди... кто-то отстает; страдает один...
30 при покое другого. Вечная роза, — и вечная капля крови, запекаясь на ней.

По личности Тургенева и великой его привязанности к Виардо мы должны уберечь ее имя от всякой обиды... И несмотря ни на какую действительность. Для мира она может быть судима; но именно для русских она не должна быть никогда судима, даже если бы кто-нибудь и подумал нечто основательное против нее, даже если бы стал кто-нибудь говорить, что именно для русских она особенно судима за ее холод и равнодушие к Тургеневу. Да будет его воля священна: да будет ее память спокойна, не уязвлена около его священной могилы.

Возражателям же должно сказать одно слово: ведь тут было все — *Рок*. И она
40 была безвольна в себе, как он был безволен в себе.

— Ну, почему же Тургенев не полюбил другую? Которая бы его сберегла, успокоила, осчастливила? Засыпала бы любовью и благоговением? Ну, почему он эту, *другую*, не полюбил?

Вот и весь ответ на то, почему она *именно его* никак не могла полюбить сильнее, чем сколько любила... за интерес ума его, очарование талантов, образованность; за его благородную деятельность.

Рок. И — с обеих сторон.

В ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРАЧЕШНОЙ...

<Вл. Соловьёв>

Ах, эти литературные прачки, перемывающие чужое белье... Иной литератор десять лет пишет, двадцать лет пишет, наконец, тридцать лет пишет: и кого вы не спросите, однако, что же именно такой литератор пишет, никто вам определенно на это не ответит, потому что нечего в сущности и ответить. Пишет по разным «поводам», о разных «случаях» и о разных «лицах»: пишет в «обыкновенном направлении». За все 10, 20, 30 лет он не выскажет ни одной мысли, не защитит горячо и страстно ни одного тезиса... И ни «мыслей» у него нет, ни «тезисов» нет: а просто есть пять пальцев на руке, из которых не вываливается перо, как из «деревянной вставочки», в которую тоже можно вставлять разные перья, — и тогда эти перья будут писать или с прописей «моральные сентенции», или стишки, или политику на «текущие темы».

К числу таких «деревянных вставочек с пером» принадлежит г. Слонимский из «Вестника Европы»: муж поседелый, давний, старый, коего и читал в «Вестн. Евр.» уже будучи студентом, — тридцать лет назад, но который с тех пор никуда не подвинулся, ни в чем не переменялся, не вырос и не уменьшился — и, словом, не представляет в себе жизни или «движения» даже вытягивающейся резины, но именно коротенькой и вечно «той же» вставочки. За неимением темы, мысли и тезиса, — он все перебирает «чужое белье», и собственные статьи его несут ту муть-осадок, которая образуется около заношенных «принадлежностей костюма», если их опустить в тепловатую воду...

Некрасивая литература... Бог знает, зачем она существует.

В статье «О свободе полемики» («Вестн. Евр.», июнь) г. Слонимский пишет о разных литературных историях, о которых можно написать и сто томов, а можно и ничего не написать... и пишет тут о полемике в «Северной Пчеле», в «Отечественных Записках», о полемике Н. Я. Данилевского и Н. Н. Страхова; о всенепременном Н. К. Михайловском... И я, зевнув, хотел уже закрыть статью гробокopatеля, когда неожиданно наткнулся «на себя»: «Покойный Владимир Соловьёв изобразил тип литературного Иудушки в лице В. В. Розанова, выступавшего тогда в печати с такими рассуждениями о свободе и вере, которые были бы уместны только в устах щедринского Порфирия Головлева. Автор этих рассуждений, по словам Соловьёва, проявляет подлинные качества Иудушки своим „елейно-бесстыдным пустословием“: „по натуре своей он еще более лжив, чем скотоподобен; свой готентотский субъективизм он фальшиво привязывает к универсальной и объективной истине христианства; он лжет и клеветает на православную церковь, выставляя себя говорящим от ее имени“. Этою характеристикой взглядов г. Розанова, как совпадающих с понятиями и приемами Иудушки, В. Соловьёв несомненно задел самую сущность духовной лигности критикуемого писателя; но превысил ли он пределы законной полемики? Нет, потому что он разбирал исключительно высказанные в печати мнения г. Розанова о веротерпимости и дал им вполне подобающую, хотя и резкую оценку. Лучший судья в этом деле, сам В. В. Розанов, не признал этой характеристики за личную для себя обиду, что видно уже из того, что он старался сохранить хорошие лигные отношения с Соловьёвым».

Я не стал бы возражать на этот кусок текста, не содержащийся в первых отмеченных мною курсивом словах г-на Слонимского уже *взгляд самого Слонимского* на мою «духовную сущность», — притом без сделанной оговорки о времени, явно относящуюся не к эпизоду только, имевшему место 13 лет назад, а и *к теперь...* Согласитесь, что получить в лицо повторение: «лжив и скотоподобен», — и от человека, всегда при встречах мирно беседовавшего с вами, довольно удивительно, а для литературных нравов как будто и ново. Но Бог с ним. Затем в последних подчеркнутых мною словах он пишет фактическую неправду, — с таким видом, однако, как будто что-то знает. На Соловьёва я действительно не сердился за его статью: ибо будучи поэтом (и прекрасным, на мою оценку), он не был ни капли *художником-писателем*, умеющим схватить «лицо действительности» в своих писаниях; и не только моя «характеристика», но и вообще все характеристики, какие делались покойным рассеянным философом, — были верхом нелепости, неуклюжести и «ни с чем сходства...». Конечно, меня можно и *есть за это* больно уязвить: но только для Соловьёва-то это осталось навсегда скрытым. Но что было только неумелой шалостью у поэта-философа, в устах прозаического Слонимского получает вид необъяснимой злобы, беспричинного укуса. «За что вы кусаетесь? что я вам сделал?» — хочется его спросить...

И, наконец, в последних подчеркнутых словах содержится грубая ложь, с видом знания. *Я считаю, что Влад. Соловьёв отрекся внутренне от своей статьи: «Порфирий Головлев о свободе и вере», — где он напал на меня, так как через год после этого он приехал сам и первый познакомиться со мною, что совершенно нелегально, если бы он не сознал сам свою статью обо мне ошибочно в литературном смысле и особенно в психологическом. Скажите пожалуйста, г. Слонимский, зачем я поеду знакомиться с человеком «лживым и скотоподобным», с «Порфирием Головлевым»? Может быть, такие «знакомства» на роду написаны Слонимскому, но Соловьёву они несомненно на роду не были написаны. Он был из хорошего православного рода, внук деда священника и сын знаменитого историка, и никогда не плавал грустного плаванья между «нашими и вашими», дружа со всеми и обманывая всех. Прямой человек и прямая судьба. Дальше, он дружил с «Порфирием Головлевым», чему свидетельство — в его надписях на книгах, которые он мне дарил («Оправдание добра»). Позднее, после его статьи, мне показавшейся *оскорбительно-несправедливой* в отношении Пушкина («Судьба Пушкина»), где он *морально* обвинял Пушкина за весь тот ужас грязи, среди которого погиб поэт — мы разошлись с Соловьёвым: но причиною был я, написавший резкий и насмешливый ответ на эту его статью о Пушкине. После статьи этой он перестал у меня бывать, мне кажется по мотивам не крупного самолюбия. Вот и все. Но ни о каком *старании моем* сохранить *лигные хорошие отношения* с Соловьёвым» г. Слонимский, конечно, ничего не знает, потому что ничего такого не было. «Хорошие отношения», увы, наступили после смерти Соловьёва, когда я как-то внутренне «ахнул» и пожалел, что не стал к нему гораздо ближе при жизни, что было вполне для меня возможно. Потому что *лигное его отношение ко мне* всегда было более чем безукоризненно; оно было тепло, и думаю — имею повод думать — рвалось к задушевности. Произошло это по моему «некогда» и тоже рассеянности. Эпизод этот многие задевали в печати, и все остря острою Соловьёва: «А, Порфирий Головлев! Ха-ха-ха!». Что делать: литературные прачки не имеют другого материала. Скажу в заключение: дружили ли мы*

с Соловьёвым, ссорились ли, причиняли ли боль друг другу или сладкое (бывало и это) — все это *наше отношение*, до которого ей-ей никому нет дела. Я во многом (в полемике) сознаю себя виновным перед покойным; как о человеке — я о нем теперь лучшего мнения, какое вообще можно иметь о человеке; как поэт — он всегда мне чувствовался прекрасным, благородным и глубоким; к философии его я, правда, не имел и не имею вкуса, может быть, по безвкусию. Что же еще сказать? Все «счеты» — наши... Я старался заглядить «вины» свои перед покойным многими статьями о нем по его смерти — которые, думается, написаны тепло и, во всяком случае, с мыслью поддержать свежую его память. И, думаю, что если отношения наши имели около себя «шипы», каких около себя не чувствовал Слонимский вблизи Соловьёва, то были и розы, которых он тоже не чувствовал...¹⁰

«Вставочка» все писала... Ну, Господь с нею, со «вставочкой»...

ПОСМЕРТНЫЙ ТРУД ГЕНРИ ДРУММОНДА

Г. Друммонд. Идеальная жизнь. Сборник бесед. С портретом автора. Перевод с английского. Издание киевского религиозно-философского общества. Киев. 1910 г.

*Природный и нравственный идеализм англичан глубоко отличается от умозрительного и кабинетного идеализма немцев. И если он не принес таких пышных плодов в теоретической области философии, на этом важном, но ограниченном поле, — то зато непосредственно и на большую массу общества он влиял самым благотворным образом. Англичане не заносились за облака мыслью. Но зато ходящая по земле толпа их имела нравственное, здоровое и углубленное представление об этой земле, по которой она ходила, о самой себе и о тех туманах невысокого английского неба, за которыми она всегда чувствовала Бога. Страна Карлэйля и Диккенса всегда была серьезною, несколько угрюмою, набожною и в высшей степени трудоспособною. Цинизм никогда не смел в Англии произносить своих дерзких слов о Боге, о религии, о душе человеческой, о совести, об обществе, родной стране и долге.*²⁰

К числу лучших нравственных философов Англии принадлежит Генри Друммонд, — одновременно натуралист и спиритуалист. Рассматривая природные явления, — рассматривая их трезвым глазом естествоиспытателя, он везде в природе находит «душу», «смысл», — а не комбинацию только атомов и физических сил.³⁰

Киевское религиозно-философское общество (параллель нашему петербургскому с этим же именем, и московскому) перевело и издало сохранившиеся в рукописях Друммонда статьи его, не опубликованные им при жизни. В самой Англии, изданные сейчас же по смерти Друммонда, они выдержали одно за другим десять изданий; на русском же языке появляются теперь впервые. К сборнику их, озаглавленному общим именем — «Идеальная жизнь», приложен очерк жизни и трудов Друммонда, и прекрасно выполненный портрет его.

Темы сборника — исключительно нравственные; но изложение отнюдь не состоит в сухом и голом поучении: поучение, правда, получается, но как венец и ре-

зультат разбора Друммондом разных состояний человеческой души, разных «переживаний» ее, разных падений совести и озарений совести, какие случаются каждому испытывать в жизни в более или менее тяжелой форме. От этого характера и состава книги она читается как что-то близкое и в высшей степени интересное: читатель, вместе с Друммондом, «копается» в душе своей, «пересматривает» вторично все пережитое — и приходит к выводам, к которым подводит его Друммонд. Без таких «оглядываний на себя» и «без анализа себя» жизнь была бы слишком скучным явлением, и, пожалуй, очень мало достойным, у многих людей — мало достойным. Жизнь как нравственная борьба, как вечное усилие к героизму — может напомнить те 40 лет сознательного бытия, ответственного бытия, какие отмерены человеку, высоким внутренним интересом.

Пожелаем полезной и в высшей степени популярной книжке хорошего успеха. Да пожалеем, что до сих пор не собраны «воедино» разбросанные рассуждения нашего русского Друммонда — Платона Ал. Кускова, скончавшегося в прошлом году и прошедшего в русской литературе так незаслуженно незамеченным. Его «Разговор на пристани», «Наше место в вечности» должны бы стать «книжками-спутниками» русских размышляющих людей. Но все умное в России как-то туго прививается, и только пошлое и наглое бежит на Руси с поспешностью и быстротой «сороконожки».

20

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ

I

Критики, как и все смертные... ленивы. Этим только и можно объяснить, что они вечно пишут: «Еще этюд о Леониде Андрееве» или «Что хотел выразить Л. Андреев в своей новой драме» (повести, очерке), — что можно сделать и не читав «новой драмы», а припомнить старое и что-нибудь добавить от себя на этот раз. По этой же причине людской слабости новые выступающие писатели переживают «участь горькую»: критика о них молчит, т. е. лень было прочитать их действительно новые произведения гг. критикам, а потому и читатели... просто даже не узнают о самом их *существовании*.

30 Передо мною два сборника стихотворений: «Стихотворения» Валериана Бородаевского, с предисловием Вяч. И. Иванова, в издательстве «Оры», — и большой том «Стихов и сказок» Сергея Гедройц, с картиною в красках и серией иллюстрирующих рисунков пером художников Клевер — отца и сына. Остановимся сперва на первом. Автор уходит от переживаемого времени, с его смутными, волнующими событиями, в страны древнего Востока. В стихотворении «Маги» художественно верно передано самоощущение магов-царей, которому ничего подобного не сохранилось в новой цивилизации:

Мы — цари. Жезлом державным
Крепко выи пригибаем
Своенравным.

40

Нашей воле двигать звенья
Цепи мира вправо, влево —
Наслажденье.

Корабли несут нам дани:
Амбру, золото и пурпур.
Взмах лишь длани, —

Мерно в бубны ударяя,
Хор плясуний легких вьется...
Девой рая
Будет та, что перст укажет:
Улыбнется
И к ногам владыки ляжет.

Мы — цари. В венцах, с жезлами
Мы идем в пустыню грезить
Под звездами.

И столицу забываем,
Забываем блеск престольный,
И внимаем

Речи праведных созвездий,
Головой склоняясь на камень:
Нет в них лести!..

Там короной драгоценной
Из ключей черпаем воду —
Дар бесценный.

И, торжественные маги,
Пьем свободу,
Как забвенные бродяги.

Строки, прямые и упрямые как палки, — без всякой в себе гибкости и бегучести, без всякой пахучести и испаряемости (знаю, что нельзя так говорить...), чудесно «стилизуют» горячий, сухой Восток, где бродили эти чудовищные царьки маленьких стран, убежденные, что они «как боги» на земле, «равны богам», и что прочие смертные не имеют с ними никакого подобия.. Тяжелая поступь, тяжелые неповоротливые думы, «яко столпы...». «Чорт с вами, — хочется сказать в страхе, — хорошо, что вы провалились». Демократия бегаёт хоть и без подштанников, зато легко на душе. И ряд подобных стихотворений, из которых нетерпеливо хочется привести «Херувимов». В комментарий замечу, что наше православное слово «херувим» не византийского происхождения: в саму Византию оно перешло через посредство греков и евреев — из Халдеи. В клинообразных надписях попадаетея слово «керубу» (Keroubû), относится к каменным изва-

яниям громадных быков... Эти быки стояли во дворцах царей Вавилона, Ниневии и Персеполя... В XIX веке их выкопали из-под земли, — в мусоре развалин этих городов, — ученые Ботта, Лэйярд и друг., и теперь они перевезены в Лувр и Британский музей. Бородаевский посвящает им следующее стихотворение:

Херувимы Ассирии, боги крылатые,
Бородатые,
Возникают из пыли веков.
Железо, лопаты, как резец ваятеля,

10

Чародателя,
Возрождает забвенных богов.
Херувимы крылатые — камень пытанья

Высшего знания —
Из пыли веков
Двинулись ратью на новых богов.

Вашу правду несете вы, пращурь древние,
Херувимы Ассирии,
Ответ человека на пламенный зов Божества.

20

Был час, — и на камне
Почила рука и руку искала;
Вы — встреча двух дланей,
Вы — их пожатье,
Привет вам, быки круторогие,
С лицом человечески-хмурым грядите!

Опять это — негибкие, стучающие стихи: и поэт, обладающий тонким ухом, передал в них точно звук железной кирки, разбивавшей новый камень над древним.

Пусть это все — «стилизация...» Наше время, очевидно, имеет какой-то вкус к ней. Тут и богатство и бедность. Очевидная бедность *лигных* творческих сил, личных порывов, личных надежд; и богатство *образованности*, — не личной, а общей, пробуждающей вкус и влечение к могилам, к изжитым эпохам. Замирает жизнь в центре; и начинается оживление на периферии.

Г-н Бородаевский не обещает большой литературной деятельности. Ум его слишком пассивен для этого, недвижим... Но он прекрасно образован, обладает изощренным вкусом и страстным вниканием в чужое творчество. Вниканием вдумчивым, многолетним, тихим... Русская литература может ожидать от него со временем получить такой сборничек изящных стихов... Но, разумеется, это неизмеримо ценнее, нежели «Полные собрания сочинений Анатолия Каменского», от которых прохода нет в магазинах: до того их много... И все еще появляются новые и новые, как поросята от блудливой хавроньи... «Когда же конец», — думаешь.

II

Совершенно противоположен Бородаевскому другой только что начавший поэт — Сергей Гедройц, книга которого — «Стихи и сказки», с рисунками художников Клевер — сына и отца, лежит перед нами. Бородаевский точно выкопал из катакомб древний светильник, влил туда масла и вставил фитиль, и, зажегши его, пишет при тусклом и недолгом его свете свои стихотворения... Они короткие, их немного. Читая книгу Гедройца, вспоминаешь стих Державина:

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами...

На вас сыплются стихи, из которых *в каждом* — трепет минуты, горячей, знойной, иногда очень хлопотливой, всегда необыкновенно оживленной. Как первый поэт тих, так этот — шумен, подвижен, пожалуй, разнообразен. «Не хочется», — говорит задумчивая и, пожалуй, немножко ленивая муза первого. «Не терпится», — говорить молодая и энергичная муза второго. Почти все стихотворения подписаны именем тех мест, где были написаны (поместье Орловской губернии, Мукден, Царское Село), и, очевидно, относятся к реальному моменту, пережитому автором.

Отсюда их живость, нежность и теплота, местами раздражение и гнев. В книге совершенно отсутствуют стихотворения на «мировые темы», т. е. отсутствуют схемы и обобщения, отвлеченные идеи «зла», «добра», «человечества», «страдания», которые у людей, как Байрон, Гёте или Пушкин, выходят великолепно, а у людей поменьше похожи на болтающиеся без ветра очень большие паруса... Много вида и мало силы... Но С. Гедройц, как видно из книги, прожил завидную жизнь, полную мысли и движения, порывов, и не бесплодных, какой-то острой муки и головокружительных восторгов. Все это придает полноту и осязательность его стихотворениям, — качество, уже ставшее редким в наш век символики и отвлеченностей.

Стихотворения посвящены природе, любви и труду. И, как это и понятно, наиболее трепещут жизнью стихотворения, посвященные той «чаровнице», источника которой и существа которой никто не постиг. Все, конечно, знают, что «любовь» образует как бы «венчик будущего» и загорается в сущности над колыбелью младенца, «которому надо придти в мир...». Да; но это — «вообще», а подите-ка, разберитесь в частности, разберитесь в «неудачной любви», в «недостижимой любви», в любви «односторонней», — где «другая сторона» ничем не отвечает на чувство первой, и в других подобных случаях, где никогда никакого «рождения не последует, а между тем любовь горит так долго, ярко и прекрасно. Нет, любовь «связана» с рождением; но, по-видимому, стоит около него самостоятельным феноменом, с каким-то особым сосредоточением в себе.

Но любовь всегда рождает вдохновение; и даже не есть ли любовь «вдохновенное переживание» нашего организма? С. Гедройц, вечно влюбленный, хорошо передает и сущность вдохновения:

Касалась земля, — природа расцветала,
Смотрела в небеса, — смеялись они.

От звуков струн твоих гроза, смирясь, смолкала.
 И пели ручейков волнистые струи.
 Касалась сердец, — и, искру заронила,
 В них пламень вспыхивал, как вешняя заря,
 Мечтою светлую всю душу наполняя,
 Ведя на подвиги, о жертве говоря.
 Касалась прошлого, — безмолвно открывались
 Зеленые холмы запущенных могил...

10 Действительно, даже *наука*, даже *история* и *археология* невозможны без вдохновения... Без него и она превратится в скучную хронику профессорских будней и писания никому не нужных диссертаций. Но явится «вдохновенный» Бругш, «вдохновенный» Масперо, — и под их «горящим» взглядом тысячелетние обелиски и пирамиды заживут новою, второю жизнью. Мне признавался один талантливый хирург, очевидно, глубоко вникавший в свое дело: «*Без вдохновения невозможно быть хирургом. И знаете, что вдохновляет? Сознание, что за час операции жизнь больного всецело находится в ваших руках, что вы эту текущую операциею спасете ему жизнь. Это такой подъем чувства... и я могу отказаться от друзей, от родных, от материального достатка, предпочту, наконец, быть обиженным и оскорбленным; но не отнимайте у меня возможности ежедневно производить несколько операций. Не оперируя, я не живу, задыхаюсь; операция меня всего поднимает — и за минуты до нее, и на сутки после нее, но, главное, — во время ее, когда разрезаешь мускулы, ухватываешь пинцетом жилы, и горячая кровь течет по рукам, и вдыхаешь ее запах. Спасаясь и усталости не чувствуешь!*».

Все это — ты, святое вдохновенье,
 В венце из истинных лучей.

Во всемирную лирику любви С. Гедройц вложил несколько стихотворений, которые не забудутся по глубокой деликатности чувства:

30 Если непогода вьется над землею,
 Мелкий дождь осенний в окна застучит,
 Зарыдает ветер жалобной мольбою
 И тоску в больное сердце заронит;
 Закипит в груди тяжелое сомненье,
 Изнеможет ум твой в жизненной борьбе, —
 Прошепчи лишь слово, и в одно мгновенье,
 Друг твой издали прилетит к тебе.
 Пред тобой предстанет, весь доверья полный,
 Окружит заботой, ласкою любви,
 40 Далеко прогонит твой недуг безмолвный;
 Только его имя тихо призови.

Но испуганное воображение рисует другое: что «друг» отвернется от него и, замкнувшись в душе своей, не пожмет ответно руку. И тогда «ничего», — гово-

рит поэт, — я не дам упасть «укору» с твоих уст, и «начну за тебя думать и страдать», и никогда тебя не покину. Да, любовь только та настоящая, которая не умирает вся исстрадавшись, вся израненная. Любовь — «автономна» от взаимности, если можно так выразиться.

В книге много воспоминаний, уютности, много вообще теплоты, личной жизни, личных переживаний. Многие из них подписаны названием местностей, где были написаны, и чувствуешь, что это — необходимо. Я позволю себе привести только одно стихотворение, где автор говорит уже не о личном, не о минуте, а об «общем» и зрелище:

Улица узкая, улица темная; 10
 Тускло горят фонари.
 Где-то завывла собака бездомная;
 Крики звучат до зари.
 Возле забора, ютясь, пробирается
 Путника позднего тень.
 Песни нетрезвой припев обрывается,
 Будто и петь его лень.
 Скорбью, развратом, слезою страдания,
 Улица, вся ты полна!
 А в вышине голубое сияние 20
 Льет безмятежно луна.

Наши уездные городки... кто не узнает их в этом кратком, пластическом очерке... с их тягучей, однообразной, томительной жизнью... жизнью бездумной. И нужно ею *пожить*, чтобы столь точно охватить картину; и отойти потом от нее *в сторону*, чтобы сказать о ней этот суд, сожалеющий, любящий и прощающий...

СРЕДИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

<Брюсов и Пушкин>

В «Русск. Мысли» г. Валерий Брюсов напечатал первоначальную редакцию вступления к «Медному Всаднику», отметив ее варианты сравнительно с общеизвестным текстом. 30

Всем памятно, например те стихи, которыми «Вступление» начинается теперь:

На берегу пустынных волн
 Стоял Он...

Из печатаемой нами редакции видно, что это смелое «Он» поставлено Пушкиным совершенно сознательно: первоначально он назвал своего героя по имени:

Стоял задумавшись глубоко,
Великий Петр...

Заметим, что в рукописи эти стихи читаются еще в иной редакции:

Однажды, близ пустынных волн,
Стоял, глубокой думы полн,
Великий муж...

Далее характерны два стиха, при обработке повести откинутых и замененных другими:

10 Отсель стеречь мы будем шведа,
И наши пушки заторчат...

Интересно также, что знаменитое сравнение двух столиц с «новой царицей» и «порфиросною вдовой» пришло к Пушкину не сразу: раньше у него Москва проникала «*пред младшим братом*». Наконец, не лишены значения и более мелкие разночтения: «*всемірны флаги*» вместо «*все флаги*», «*незмаемые воды*» вместо «*неведомые воды*», «*везный ропот о гранит*» вместо «*береговой гранит*», «*бури зимних вечеров*», вместо «*прозражный сумрак*» и т. д.

Знать сам процесс творчества у Пушкина чрезвычайно интересно, а для нынешних скороспелых гениев и очень поучительно.

БЕДНЫЕ ПРОВИНЦИАЛЫ...

20 Когда появился роман Ф. Соллогуба «Мелкий бес», то многие *читатели столичных и университетских городов* приняли его за отражение современной провинции и приходили в ужас от мрака и грязи, среди которых протекает там жизнь. Провинциальный же читатель, *узнавая вокруг себя отдельные герты передоновины*, все же никак не мог признать этот роман за объективное изображение действительности, особенно же не мог согласиться, что передоновица — порождение провинциального уклада жизни. Причина этой разницы в оценке романа понятна: редко сталкивается скромный интеллигентный труженик уездного или губернского захолустья со своим *более даровитым* и счастливым *собратом*, постоянным жителем крупного образовательного центра. Происходит это, когда провинциал приезжает на короткое время «освежиться» в большой университетский город. Он жадно спешит запастись свежим воздухом, с наивной доверчивостью посвящает обстоятельно своего столичного собрата в свои местные общественные дела и делишки, уверен, что он со своими запросами в области искусства, литературы, общественной, политической мысли *достойн отнять* разорванное на кусочки *время столичного интеллигента* — ждет, чтобы ему дали разъяснения, указания, если уж не готовые ответы. И *столичный житель тяготится* по большей части *этой наивной фигурой* и *снисходительно-небрежно спускается до его уровня*... Вопрос о том, *такова ли наша провинциальная и общественная жизнь*, как ее рисует Соллогуб, имеет большое жизненное значение. *Страх провинции* заставляет многих из образованной молодежи держаться крупных

центров, хотя ей здесь и приходится перебиваться «с хлеба на квас» тоскливым репетиторством, механической перепиской, грошовой службой в конторах... И т. д.

Страница как страница... Можно бы подумать, что она написана лет 20, а то и 30 назад: нет, она написана для июньской книжки журнала за 1910 г. и напечатана не в «Астраханских Ведомостях», а в «Московском Еженедельнике», — журнале, во всяком случае, образованном... У страницы есть читатель и читатели, в столице и провинции; и так как предполагается и как-то «стоит в воздухе», что писатели если и не более умные люди, то во всяком случае более осведомленные и в разных отношениях более авторитетные люди, нежели читатели, — то страница вызовет разговоры, споры, пересуды, покачивания головой, в итоге сводящие к вздоху:

— Бедные провинциалы...

И к некоторой сладкой мысли:

— Да, счастливы те, что живут в столицах или, по крайней мере, в университетских городах. Они живут в некотором высшем эмпирее мысли, и можно сказать, что питаются идеями, как древние боги амброзией.

Столичному же обитателю только остается почавкать губами, процедив:

— Н-да...

* * *

Все это — после «Бесов» Достоевского, *сорок лет назад* написанных, где кто-то поет насмешливую песенку:

От Москвы и до Ташкента
Вся Россия ждет студента.

При полном знании — через газеты, через журналы — что Ф. К. Тетерников (Соллогуб) все время, по окончании курса учения, служил сперва преподавателем и затем инспектором Андреевского городского училища, что на Васильевском острове, в Петербурге; и если и *видал провинцию*, то *только в детстве*, когда едва ли мог подглядеть всю ее «подноготную» и вообще ее «задний двор»...

При очевидности, что вообще Соллогуб есть субъективнейший писатель, — иллюзионист в хорошую сторону, или в дурную сторону — но именно иллюзионист, мечтатель, и притом один из самых фантастических на Руси.

И, наконец, просто, что «изображать действительность» ему и в голову не приходило, — что это «не его дело», «не его тема», не «его интерес»... Все это очевидно решительно для всякого, — и *было очевидно еще лет 15 назад*, когда он издал первый крошечный сборничек своих стихов, действительно прелестных по классическому завершению формы, — и, конечно, в то время никем не замеченных:

Весенние воды — что девичьи сны:
В себе отражая улыбки весны,
Шумят и сверкают на солнце оне
И шепчут: «спасибо весне».

Осенние воды — предсмертные сны:
С печальным журчаньем, всегда холодны,
По вязкой земле, напоенной дождем,
Текут они мутным ручьем.

Это — в контурах обычной, старой, переданной нам поэзии; а вот и в новом тоне, — его личном, соллогубовском:

10 Где грустят леса дремливые,
 Изнуренные морозами,
 Есть долины молчаливые,
 Зачарованные грозами.
 Как чужда непосвященному,
 В сны мирские погруженному,
 Их краса необычайная,
 Неслучайная и тайная.
 Смотрят ивы суковатые
 На пустынный берег илистый.
 Вот кувшинки, сном объятые,
 Над рекой немой извиистой:
20 Вот березки, захирелые
 Над болотную равниную.
 Там, вдали, стеной несмелою
 Бор с раздумьем и кручиною.

Но когда Соллогуб писал эти прелестные вещи, — никто решительно не хотел заплатить за книжку и 50 коп., а «критики» глубокомысленно промолчали и «замолчали» поэта. Но вот тот же Соллогуб написал, как Ардальон Ардальонович Передонов обдирает в комнате своей обои и плюет на стену, затем... обрил кота и обмазал его вареньем... И вся Русь ахнула:

— Ах, вот великолепии! Обмазал кота вареньем... Этим они *в провинции* занимаются... наши *гитатели*!!
30 — Для кого же мы пишем... Как *грустно*!
 И новейший, очевидно начинающий критик, пишет:
 — От того молодежь *рвется в столицу*... В провинции душно, глупо: и лучше уж перебиваться если не в столице, то в университетском городе уроками, нежели жить Передоновым... педагогом толстовского типа, где-нибудь в Тамбове или Пензе...

* * *

Бедная провинция!.. Неслыханные по несчастью провинциалы!..

* * *

40 — Меня удивляет, — говорил мне год назад перешедший в Петербург на службу провинциал: — здесь у вас *никто не гитает*... Т. е. не читают вовсе книг, и даже

очень мало читают толстые журналы, ограничиваясь газетами, притом по преимуществу копеечной стоимости и сплетнического характера. Взяв листок газеты, он узнает: 1) где полетел аэроплан, 2) какой поезд свалился с насыпи и 3) какого генерала послали в Персию или Крит. Об этом размышляет дома или говорит за завтраком в ресторане, и затем засыпает спокойно на ночь, чтобы на завтра прочесть: 1) что полетел другой аэроплан, 2) а вместо крушения поезда — было наводнение там-то. У нас, в провинции...

— У вас, в провинции?.. — переспросил с любопытством я.

— Не только в губернских городах, не только в уездных, но даже где-нибудь на заводе или в земской лечебнице, уединенно стоящих, — читают решительно все; и читать *только газеты* считается дурным тоном и признаком совершенной неразвитости. Читают газеты не жадно, и они авторитетом не служат. Читают гораздо больше и внимательнее журналы: а главное, выписывают, покупают и читают книги. По истории, по литературной критике, и специальные у каждого по профессии...

— Этого журнала не читают?

Я подал ему «Солнце России»...

Журнал мало известный, но все-таки существующий. Он покраснел:

— Что-то специальное для Одессы, Бердичева или Петербурга. Назвать свое издание, за семь рублей в год, с портретами Вяльцевой и Тургенева, Коммиссаржевской и шлиссельбуржца Морозова, Виардо и упавшего авиатора... «Солнцем России» — это что-то не русское, а виленское или варшавское. Я читал публикации, что в Варшаве делают *вегные гасы*, т. е. никогда не останавливающиеся и не портящиеся, за 3 р. 50 к. штука, притом «с премией» и «с сюрпризом»: и... «Солнце России», очевидно, есть такая же варшавская работа...

— Напротив, с грустью должен сказать вам, что это сделано в столице Российской империи.

— У нас, в провинции, такое издание было бы невозможно, не стали бы читать и покупать. Это — кушанье для невзыскательных петербуржцев...

— «Невзыскательных» — это у вас хорошо сказалось. Столица перестала быть «взыскательной»: и так как, увы, вся почти литература «делается» столицей, то замечательный упадок литературы, наблюдаемый в последние годы, объясняется не столько «умственным упадком вообще России», как грустно гадают некоторые, но вот этой «невзыскательностью» Петербурга и Москвы... А «невзыскательны» они сделались оттого, что «у столичного интеллигента разорвано на куски время», как заметил на этот раз верно критик Соллогуба... И что он давно потерял сколько-нибудь длинную мысль, сколько-нибудь сложное ощущение... да даже и способность прочитать серьезную книгу. Россия серьезна: но две «главы» ее, одна с золотыми маковками и другая с легионом перьев и сотнями канцелярий — решительно становятся несерьезными... Нисколько не провинция, но именно столица выдвинула Арцыбашева и издала «Полное собрание сочинений Анатолия Каменского». Текущая литература, по элементарности и грубости мысли, возвращается к до-карамзинским временам; а по «вкусу» сравнялась с Тредьяковским. Неожиданно и достоверно.

— А провинция?..

— Зреет и дай Бог, чтобы дозрела до полной самостоятельности и независимости от столиц, по крайней мере, в теперешнюю фазу их духовного развития.

Не замечаете ли вы, что вопреки взгляду наивного критика Соллогуба, — в провинции теперь даже выходят самые серьезные книги. «Основы христианства» Тареева — в четырех томах — вышли в таком «захолустьи», как Троице-Сергиев *посад*, маленький пригород Московской губернии; в недавнее время там же напечатано прекрасное рассуждение П. Флоренского о чтении лекций вообще, о том, что такое и чем должна быть «лекция», «lectio», как особый вид научного и литературного созидания; лучший *религиозный* журнал в России — печатается там же, а отнюдь не в Петербурге и не в Москве; наконец, лучший теперь историк России — печатается все же не в Петербурге. Петербург как-то начал соскальзывать на изданица в одесском вкусе и тоне, одесском и варшавском; и дарит отечество то «Солнцем России», то «Газетой-Копейкой», обе, кажется, шкловского происхождения, и припахивают чесноком. Интересно «Солнце России», показывающееся из головки чеснока...

— Да, некрасивые явления. Некрасиво как-то стало в Петербурге.

— Ничего, обыватель принюхается. Есть поговорка: «стерпится — слюбится». Однако мы совсем отклонились в сторону от Соллогуба.

— Авторы русские очень несчастны. Они, естественно, не мыслители, — кроме очень немногих. Их учитель и наставитель — общество, массовый читатель. А массовый читатель руководится критиками, в том числе и вроде приведенного.

²⁰ Соллогуб никогда не видал провинции; никогда не задавался вопросом или тревогою о «состоянии России». И мог бы своего Передонова поместить с равным удобством на Сандвичевых островах, как и «в провинциальном русском городе»: ведь характерно не то, что он носит мундир учителя гимназии и говорит русскими словами, с русскими «приёмцами» речи... Характерно и поразило всю Россию, что он мажет коту вареньем и хочет сразу жениться на трех сестрах, выбирая, которая «потолще». Но это «характерное» присуще Сандвичевым островам не менее, чем «бедной русской провинции»; вернее же оно вовсе *никому и нигде* не присуще, кроме странного соллогубовского воображения... И *никого* и ничего не «характеризует», кроме опять же психики автора и его биографической судьбы.

³⁰ Но подите, справьтесь с критиками: они кричат и в толстых журналах, к в «Газете-Копейке», что автор «с силою Гоголя» написал своего «Мелкого беса», так как его Передонов всеконечно оставляет за собою далеко Чичикова, да и всех «мертвых душ», вместе взятых.

— Как ужасна провинция, как она бедна... Несчастливая молодежь, невольно бегущая в Петербург переписывать на машинке... напр., статьи знаменитых критиков.

И это — в сто голосов, в 100 000 экземплярах «Газеты-Копейки». Читатель поддается «критическому» глубокомыслию: и хотя сам видит, что часто в провинции думают лучше, чем в столицах, а во всяком случае серьезнее читают и деловитее живут, хотя он, наконец, знает, что Соллогуб никогда провинции не видал и невиденного никак не мог «описать»; а между тем подчиняется «авторитету» критиков и начинает думать и спрашивать себя: «Уж не пришел ли второй Гоголь обличить провинциальные пороки России и засмеяться зримым смехом сквозь незримые слезы». Я говорю — несчастные авторы: среди таких похвал, Соллогуб после «Мелкого беса» и начал писать «Навыи чары», в которых уже решительно никто ничего не понимает, а «действие» происходит и не на Сандвичах, и не в Пензе, а... под землю, на кладбище, *сколько можно понять*. На самом же деле,

и этого нельзя сказать утвердительно: потому что никто ничего не понимает в произведении, ни даже того, живы ли или уже умерли герои произведения. Что же касается скорби патриотов «о провинции», то нельзя не заметить им, что ведь дела Гилевича, Тарновской, Прилукова, Наумова, да и другие новейшие и тоже весьма скорбные, случились уж никак не в «богоспасаемой Пензе», а в городах старой культуры, высокого образования... и, словом, там именно, куда «молодежь всеми силами стремится переписывать на машинке» замечательные статьи замечательных авторов...

Вместо «бедная провинция» не подумает ли кто-нибудь хоть про себя: — Бедная литература!

10

«ЕДИНОЕ СТАДО» И НЕУГОМОННЫЙ ВОЛК

В «Современном Мire» напечатана полностью история о том, как поссорились «Иван Иваныч и Иван Никифорович», — разумеется, из-за слова «гусак», неосторожно употребленного одним из соседей... Таким «гусаком» оказалось в сущности невинное обвинение К. И. Чуковским редакции «Современного Мира» в том, что она, обещав поместить у себя на страницах «вещи» корифеев литературы, с Анатолием Каменским во главе, — на самом деле в течение года их не дала читателям. Боже мой, что из этого вышло... Редакция «Современного Мира», явившись *in plero** в редакцию «Речи», потребовала, чтобы редактор своеручно надавал шлепаков своему сотруднику, Чуковскому; в случае же отказа сей редактор должен драться на дуэли с Иорданским, который кроме кадила, оказывается, умеет держать в руках и «сам пистолет»; и, наконец, только после долгих уговоров и юридических «разъяснений», отступила до согласия все передать на третейский суд. Рассуждения сего третейского суда и его «постановления» и напечатаны полностью в последней книжке «Современного Мира», заняв в журнале целый печатный лист, который читателям, вероятно, приятнее было бы увидеть занятым каким-нибудь рассказом Мопассана или даже старой повестью Польде-Кока.

20

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он...

30

Что такое произошло? Отчего такая ненависть к Чуковскому? Говорят, в одной московской газете, сейчас после «инцидента», т. е. указания Чуковским, что журнал «обещал и не исполнил», появилась за подписью кроткого Батюшкова (критик и профессор) такая статья, которую Чуковскому даже не удалось прочесть: она была наполнена такою оскорбительною бранью, что близкие люди скрыли от него номер и не допустили прочтения. Так передавали в литературных кругах; и передавали также из всей статьи один еще наименее оскорбительный термин, будто «Чуковский является в литературе, до сих пор бывшей порядоч-

* в полном составе (лат.).

ною, нововводителем *желтой прессы*»... Содержит ли это намек на «желтую опасность» и указывает на «китайские, дикие, азиатские» приемы Чуковского, — или же это имеет в виду «желтые билеты» известных девиц и уравнивает «тлетворное» влияние Чуковского с деятельностью сих дев, неизвестно... Но поразительно: каким образом добрый и мягкий Батюшков мог так расสวิрепеть, возненавидеть и изругать?

Поразительно. Все поразительно. Что такое случилось? Я стал вдумываться в *историю русской литературы*, чтобы из «корней» ее что-нибудь понять в этой по существу глупой и пустой истории, истории из-за имени «гусак», которая до такой степени подняла нервы стольких литераторов...

И, кажется, нашел «причину»... И «причина» эта переводит меня от сочувствия Чуковскому, на стороне которого я раньше стоял, к сочувствию к Иорданскому, Батюшкову и вообще всем, которые хотели бы «поколотить» Чуковского...

Чуковский (как мы видали все его на лекциях) — страшно молод; юноша, даже без бороды, чуть-чуть с усиками... И, как все юноши, страшно самоуверен, дерзко самоуверен... «Мне *никого* не надо; *без всех* проживу».

Так думают гимназисты, студенты, недавно кончившие курс... Думают так «вольноопределяющиеся»... Это — *общественный индивидуализм*, как стремление оторваться «от своих», полететь *от* центра, а не *к* центру... Начало дезорганизирующее, антисоциальное.

И он полетел каким-то камнем и стал бить старые горшки... не взвесив, сколько стоило труда *установить* их, и даже еще раньше — *сотворить* эти глиняные горшки...

Взглянем далеко назад и взглянем как можно дальше в будущее. Боже мой: ведь нужен же какой-нибудь *мир* людям, вот этот вифлеемский «мир и благоволение в человецех»... Нужно же на чем-нибудь *согласиться и установиться!* Не вечная же «революция», т. е. смятение, сомнение, тревога; и вытекающее отсюда разрушение старых миров и создание новых миров...

30 Нужен же покой, радость, отдых. Нужен венец после победы. И кто критикует этот «венец», кто критикует *праведность* «праведника», признанного, канонизированного, установленного — тот вводит смуту и муку в душу и... поистине есть «враг общественного порядка».

Мучитель общества, враг толпы, массы.

Чуковский, с такими маленькими усиками, просто не мог понять и, вероятно, до сих пор не понимает, что он, собственно, делает. Не понимает, как «юнкер» и «вольноопределяющийся». Что он написал *вообще?*

Есть речи: значенье —

Пусто иль ничтожно...

40 Ничего значительного, важного. Не положил в литературу никакой жемчужины, за которую ему можно бы «простить остальное». *Того* задел, *о другом* написал $2\frac{1}{2}$ страницы; и все о писателях мелких, которым все равно и без Чуковского придет завтра смерть и забвение... Он как будто тешитя в литературе, тешитя с огромным чувством «сегодня» и «разбивает горшки» с чисто детской радостью. Но это — глубоко антикультурная, антисоциальная работа. Ребен-

ку это не видно: но кто уже седеет, не может не ахнуть при виде этих проказ; а когда они длятся долго и не обещают остановиться, не может не вознегодовать, наконец — позеленеть от злости.

Чуковский смутил покой русской литературы. Именно *русской* и именно *литературы*. В чем дело? Как все случилось?

От Белинского и до наших дней были положены некоторые «основоположения»... Воздвигнуты «стропила», выслан фундамент некоего духовного, общественного, идейного «здания». Как это трудно! О, до чего трудно, это может оценить только тот, *кто строил*. Чуковский никогда ничего не строил и *духа* «строительной работы», *пота* «строительной работы» он вовсе не знает... В том его трагедия и комедия, неправда его в самой правде... Белинский начал; продолжали «Современник», «Русское Слово», «Отечественные Записки», — и вот кончилось «Современным Миром». Продолжали линию после Белинского Добролюбов и Писарев, потом Михайловский, — и вот, наконец, Иорданский и Батюшков. Скверно, но приходится повторить термин о молодых аристократах: он «держался за хвост тетеньки». Но, в самом деле, всякая *история* идет к установлению *аристократизма*: и в долгих и трудных родах «русской духовной жизни», «русской идейной жизни» установился «второй этаж» огромного и сложного дома, *belétage*, в котором поселялись, естественно, наследники тех, кто все начал и кто с таким трудом строил, возводил здание... 10

И долгие годы неслышно прошли...

Гиганты строили фундамент: но, естественно, последующие были слабее их... да и история *теперь* нисколько не требует геркулесовских сил. Белинский горел и пламенел много лет; Добролюбов имел замечательный стиль; Чернышевский был неугомонен, разнообразен, смел... Но для чего все это Батюшкову?

Иные дни, иные силы...

Совершенно *достаточно*, *исторически* достаточно, если Семен Венгеров издает «с примечаниями» сочинения Белинского; а Батюшков просто будет жить в бельэтаже.

«Я в нем родился и живу».

30

Совершенно основательно: уже *родители* его были «из стаи славной», и если цыпленка не где-нибудь, но в одной из уютных комнаток бельэтажа.

— *J'y suis et j'y reste* *.

Что же такое *новенький* Чуковский делает? Он тоже вошел в бельэтаж: но не *по традиции*, а потому, что, видите ли, «у него такой образ мыслей». «Я всегда был 1) бедняк, 2) либерал, 3) люблю словесность — и потому 4) мне место около могил Белинского, Чернышевского и около кресла Михайловского».

Основательно, но не совсем: каждый этаж имеет дух, строй, традицию; имеет невидимую дисциплину как закон «принятого» и «приличного». Чуковский же

* Я здесь стою и остаюсь здесь стоять (*фр.*)

40

вошел уже слишком свободно и как дикарь («желтая пресса»), задавая совершенно неприличные вопросы:

– Вы только имели труд *родиться* в хорошем этаже (Батюшкову).

– Почему вы, собственно, издаете Пушкина: ведь вы едва умеете отличать стихи от прозы, и когда же и в чем вы проявили литературный вкус (Венгерову).

– Правда, вы приходите из семинаристов, как и Чернышевский: но *кого* и *чего* вы разволновали, возмутили? Вы скорее курица, чем публицист (Иорданскому).

И, наконец, всем:

10 – Господа, да вы только держались «за хвост тетеньки», как питомцы наших привилегированных училищ: и вошли «в прекрасное положение», «победное положение», не трудясь в победе и ничего не завоевывая.

Так говорил дикарь.

Но ведь он нарушал *строй, дух, систему!!!*

Для чего же «одерживать победу», когда она одержана? Но, с другой стороны, когда она одержана, то почему же не пользоваться положением?

Вокруг дикаря пронесся шопот:

– Но мы все честного образа мыслей!! Это и есть условие, лозунг и традиция!!

* * *

20 Разберемся.

Жить в анархии невозможно. Жить можно только «в каком-нибудь порядке». В литературе этот порядок «и мир» наконец установился. Он состоит в принятии некоторых тезисов, некоторых положений, с трудом и долго устанавливавшихся еще от времен Белинского... Ну, устанавливавшихся *активно*; но когда это уже все совершилось, то естественно осталось только *пассивно* сохранить их. И поэтому Венгеров, напр., отвечает за себя:

– Я издаю Пушкина не потому, что умею отличать стихи от прозы, а оттого, что я ненавижу чиновников...

И Батюшков:

30 – Я есть прогрессивный русский писатель оттого, что печатаюсь именно в прогрессивных журналах, и только в них.

А когда Чуковский спрашивает:

– Но что такое, господа, прогрессивный журнал?

То ему отвечают хором:

– Журнал честного направления... Или, конкретно: в котором печатаемся все мы.

«Наш этаж» и «наше положение».

Чуковский, по молодости и неопытности, начал вдумываться во все это. И, тоже по молодости и задору, стал возражать на все это:

40 – Все-таки я не понимаю связи между чиновниками и Пушкиным. Я согласен, – оттого и в нашем этаже, – что чиновники гадки и все воруют. Но независимо от этого я все-таки думаю, что Пушкина нужно издавать тому, кто *любит поэзию* Пушкина, кто *чит* его светлый лик, и все это, – как «любит», так и «чит», не шаблонно, не на словах только, но в смысле вообще, что «Пушкин есть вели-

кий поэт», но любить особенно, индивидуально, по какому-нибудь *сродству души своей*, по крайней мере, в слезах ее, по крайней мере, в мечтах ее, *с душою и поэзию Пушкина*... Нельзя же, напр., составить протокол о воровстве в интендантстве и на этом построить право свое читать эстетику в университете...

— Он ничего не понимает, — раздался шопот кругом.

— Нет, хуже: он *зол* и сознательно ничего не признает в литературе, в нас...

Чуковский продолжал недоумевать:

«Напр., Батюшков отрицает значение стиля в писателе: и в то же время вся его литературная деятельность состоит в разных статьях о разных писателях. Но ведь если для него незначаш и невыразителен *стиль* в сочинениях, то как же он вообще-то занимается писателями, о которых Бюффон еще определил: *le stile — c'est l'homme* *. Значит, он не чувствует, не осязает, не ощущает *самого предмета*, о котором между тем пишет *всю жизнь*, уже долгую и почти седую... Не понимаю».

— Желтая пресса... Шкура и душа не то китайца, не то проститутки... Как же он не понимает, что я пишу о писателях... тоже потому, что ненавижу чиновников. Соотношение очевидное: чиновники ненавидели и *теснили* писателей; а я, ненавидя их, — естественно, тем самым *люблю писателей*, люблю *всю вообще литературу*. А любовь открывает мне душу писателей, помогает мне *понимать* их. И я пишу... и я думаю, превосходно пишу... по крайней мере — недурно.

Чуковский все так же скучно и однообразно недоумевает:

«Наконец, вот вы все говорите — „честная литература“, „единственные честные писатели“... Ну, хорошо, верю: но отчего вот один журнал, обещая, что он даст читателям „Еще Санина“, дал только повесть Каменского, и то неконченную. А был обещан и Каменский, и Санин. В других этажах водится так, что „неисполнение обещания“ называется приблизительно обманом... А если в декабре перед подпискою — то „завыванием публики“: что в Гостинном дворе практикуется, а в литературе... в порядочной литературе...

— В «честной», не смешивайте...

— Ну, в «честной»: как будто «честность» и явный обман несовместимы...

* * *

Тут-то он и выступил против культуры («представитель *желтой прессы*»). Культура есть *условность*; есть *сохранение* некоторых условий, с великим трудом достигнутых, и на которых «все согласилось». Разберемся.

Белинский, Чернышевский и др. были мечтатели и идеалисты; они жили в эмпирее честных идей, и «в сей земной мир» не спускались; не спускались осязательно и практически. Если о «сем мире» они и говорили, то лишь в смысле «полного его отрицания», полного «от него освобождения», частью как древние стоики и частью как монахи. И они завещали «идеи» и даже в сущности одну идею: «освободиться от мира действительности, такого пошлого и низменного, где все одни интенданты и чиновники, да грязные купчишки: и вместо этого погрузиться в мир повестей, романов, стихов, критики... и (прибавка после) экономики в той форме ее, которая состоит в отрицании всяких форм. И — точка и аминь».

* стиль — это человек (*фр.*).

Но «традиция Белинского» ничего не говорила о торговле. О «купеческих делах» она ничего не говорила.

Поэтому когда «идеалистам» случилось вместе быть «издателями журнала», то, естественно, они писали «горячо и честно» в духе Белинского: но «торговлю» устроили в не этой «традиции» и вообще «всякой традиции», *которая у них и отсутствовала*: и взяли образцы с Апраксина рынка.

— Где традиция? — спрашивает Чуковский.

— «Вот!» — ему отвечают: «Мы печатаем статью Венгерова о Белинском, Батюшкова о Л. Андрееве и еще „Письма Энгельса к Марксу“».

10 — А подписка?

— Белинский об этом наказа нам не оставил. Мы остаемся «честными людьми» и «идеалистами» не в каком-то *новом* смысле, вам, Чуковскому, нравящемся, — и не в смысле космополитическом, что все неясно и недостоверно: мы остаемся «честными писателями» *в каноне русской литературы*, который заключается в трех ожиданиях:

— Ненавидишь ли ты правительство?

— Узвляешь ли ты чиновников?

20 — Занимаешься ли ты романами и повестями как самым священным делом на земле, читая их, взвешивая их, критикуя их, обещая их, помещая их как можно больше?

Все это мы исполнили. Помещаем много и обещаем еще больше. Требованиями замучили Каменского и Санина. В новом году всему этому дадим новое направление... еще неожиданный изгиб мысли... который смутит критиков. Вот и все. Еще через год еще постаремся. Спешим и не утомляемся... И будем спешить, и бегу нашему не предвидится конца... Пока не наступит конец российской державе... Тьфу: т. е. *России, русскому народу*. И до конца истории русской все будут читать «нас», а мы будем писать «для русских». И будьте покойны, г. Чуковский, не вам нас остановить и не вам с нами справиться. Мы хоронили и не таких.

* * *

30 И еще два слова, и опять в оправдание Иорданского.

А ведь, и в самом деле, это — *добрая традиция*. Просто либерализм и либеральный дух. На чем же nibудь надо *согласиться*. Не вечно «перестраиваться». Что взъелся Чуковский на такие пустяки, как что Венгеров или Батюшков «не имеют вкуса»? Очень нужно! Вот выискался эстетик. В обществе, во всяком благоустроенном обществе, нужно *главенство, власть и авторитет*. Как трудно достигнуть этого... Но вот наконец оно достигнуто, есть:

— Батюшков.

— Венгеров.

40 Эти имена *уже стояли*, когда Чуковский пришел в литературу. Стояли еще тогда, когда он, может быть, только рождался... И он обязан был им поклониться. Просто — как существу, как видному, как значительному. «Несть власть, еще не от Бога»: на этом покоятся история и порядок истории. Но он спросил «таланта»: «талант» всегда бывает только у первых, у победителей: а «последующее» держится только положением. Вот этого-то нервного узла истории он и не понял. Он не понял, что есть и *везде* должны быть, *всегда* должны быть «сущие по-

ложения», просто как «занятые места»: как родовые или идейные, духовные «кресла», стулья и скамьи. Он все это потревожил своим вопросом о «таланте», которым вообще смещается все, все ввергается в анархию, дикость и первобытность. И, наконец, он просто как будто не русский: разве славянофилы уже не подметили эту склонность русских давать первенство значения во всем *нравственной стихии* в человеке, а не «гордому уму», искать выше всего «сердца в человеке», а не каких-нибудь пустых западных качеств, вроде силы, энергии, героизма, блеска. Батюшков и не блестящ: но зато имеет честные убеждения; пусть Венгеров не остроумен: но зато же он хорошего образа мыслей. Разве они все не шептали вам на ухо, когда у вас мутилось сердце при взгляде на них: 10

— Шш... шш... Талант? — Пустяки! Гений? — Вздор! Энергия? — Седая мудрость народная говорит: «Укатают сивку крутые горки». Шш... шш... не поднимайте шума. Западная затея, и ничего из нее не выйдет. Киреевский и Хомяков учили: «христианское прощение»... ну, там *убогостей* разных, что вот «не понимают стиля» или «не различают стихов»... Доброе соседство, милая общинность жизни, вот как у мужичков на деревне... с круговой порукою. Все будет кругло, и все будет тепло, и все будет хорошо; не надо только поднимать шума. Сила — в *единении* сил; мы же давно едины и через единство и общность всех и одолевали постоянно. И раньше не все были таланты у нас: но и *о бесталаных среди нас* «наши» никогда не проговаривались, и через это сохранили «единое стадо». 20 В «едином стаде» великая сила, и к этому вообще ведет всякий прогресс и вся история. К единству, силе и авторитету. Это уже завоевано. К чему нам талант? Что за каприз? Вы страдаете, что падает литература? Это эстетика-то? А чорт с ней. Писали бы повести, а какие, все равно. «Капитанская дочка» или «Санин» — все равно. Была бы вообще литература, как вместилище, как объем. Талант не нужен: нужно направление, «идея». Нужно у русских русское: вот это милое единство душ, которое ценнее Шекспира. А «милого единства душ» мы вполне достигли: и, напр., у нас за 80 лет никто не выругал «своего» и не похвалил «чужого». Что-то в роде «церкви», литературной церкви, притом вполне «канонической» — со- 30 здалось на месте той старой и ненужной церкви, народной. И у нас — певчие, иеродиакон... и отдаленные архиереи, «надзирающие область». Михайловский — недавно умер, Белинский — вдали, «патриарх всему». Так все сложилось. Это — история, культура. В России это единственный духовный авторитет. Который мы охраняем бережно, осторожно, благоразумно, удаляясь «пьянства и блуда». И вы сами, конечно, видите в нас, что

Они немножечко дерут,
Зато уж в рот хмельного не берут.

«Пьянство — чорт с ним. Задушим. Нетрезвого гения мы скрутим и вытолкаем. У нас любовь... и мир... и, кроме всех добродетелей, и некоторые благодатные обилия, вот и «фонд» и «касса взаимопомощи»... Так что вы можете и любить 40 нас, и, конечно, и мы вас, и кредитоваться. Сказано: «где два и три соберутся», там и «пирог на столе».

Чуковский же ничему этому не внял и стал топтаться, как дикий человек на благоразумных пажитях. Это-то всеми и почувствовалось, как антикультурная агитация.

ПОСМЕРТНЫЙ ТОМ «ЖИЗНИ И ТРУДОВ ПОГОДИНА» Н. П. БАРСУКОВА

I

Брат покойного Н. Барсукова, Александр Пл. Барсуков, автор монографии «Род Шереметевых», издал к Пасхе этого года 22-ю книгу «Жизни и трудов Погодина» — с приложением подобного «Указателя ко всем двадцати двум книгам» громадного труда своего брата. Без «Указателя» трудно пользоваться книгою для справок; между тем на «Жизнь и труды Погодина», как обширнейшее фактическое и биографическое изложение истории русской словесности за три четверти XIX века, невольно будут ссылаться все ученые, которые станут писать о том же предмете; вынуждены будут справляться о подробностях в ней все, кто только возьмет перо, чтобы что-нибудь написать о ком-нибудь из духовных вождей русского общества за этот век. «Указатель» был совершенно необходим. С появлением же его работа покойного «историографа русской словесности», так сказать, получает себе надмогильный правильный «крест», т. е. конец, завершение и указание «идушим на могилу». И как хорошо и соответствует делу и духу почившего, что том этот появился «к Светлому празднику», «Все по православному», как и всегда было у Барсуковых...

«Указатель» занимает 385 страниц. По обширности его следовало бы разделить на указатель *лигный* и указатель *предметный*, так как в него кроме указания имен авторов всевозможных книг входит и указание на все сколько-нибудь важные политические события во внутренней и внешней жизни России. Так, под словом «Комитеты» делаются ссылки на всевозможные комитеты, действовавшие в России за XIX-й век: Главный комитет по крестьянскому делу, губернские комитеты по тому же делу — московский, нижегородский, рязанский и пр., и пр.; комитет лондонский революционный; комитет негласный (наблюдавший, сверх цензуры, за книгами). Указатель очень подробен, в чем и заключается главное качество подобных работ; напр., ссылки на страницы, где упоминаются «*gestae*» * гр. Серг. Сем. Уварова (бывший министр просвещения и вместе ученый эллинист), занимают четыре столбца довольно мелкой печати. Есть ссылки и... на Тмутараканское княжество (по поводу похождения тмутараканского камня с древнею надписью), и на Грузию, равно на маленькие княжества и города Германии. Погодин, — живой человек, — всюду заглядывал, всюду ездил, со всяческими людьми знакомился, хлопотал о всех вещах «мира сего»: и его биографу невольно пришлось тащиться за ним всюду же...

Однако 22-й том состоит не из одного «Указателя»: литературное содержание его составляют *шесть глав* собственно рассказа о Погодине, о лицах, имевших к нему прямое или косвенное отношение, и о выдающихся событиях, ему contemporaneous. Все это — в рамках 1862 года. Центральным лицом здесь является цесаревич Николай Александрович, его путешествие за границу, образование, впечатления, чтение разных книг, с отметками о всем, что из читаемого на него производило впечатление; его неясная и тяжелая болезнь, и, наконец, прежде-

* «подвиги», «деяния» (лат.).

временная и неожиданная кончина, так всех поразившая. Покойный Н. П. Барсуков воспользовался для этих глав материалом исключительно высокой цены. Преподавателем к наследнику-цесаревичу был приглашен графом С. Г. Строгановым, его воспитателем, наш известный ученый, Б. Н. Чичерин. Оказывается, под конец жизни он писал «Воспоминания», и часть их, относящуюся до этого времени, вдова покойного, Александра Алексеевна Чичерина, предоставила в распоряжение Н. П. Барсукова. Следуя своему методу и плану, он в этих шести главах делает обширные извлечения из этих рукописных «Воспоминаний», и каждому понятно, до какой степени все это интересно.

Здесь я мог бы положить перо в качестве библиографа (и библиофила), но читатель не посетует, может быть, если я перейду дальше и скажу несколько слов о покойном Барсукове как человек, лично его немного знавший, а также и о замечательном его труде «Жизнь и труды Погодина». Дело в том, что с первого же моего знакомства с первым томом его «Thesaurus'a» русской литературы я почувствовал к автору приблизительно то же, что он испытывал к памяти Погодина, кн. П. А. Вяземского и других лиц, о коих говорит в предисловии к I тому... А как он говорит о них, — этого невозможно не цитировать уже ради языка, изумительного в великолепии, теплоте и точности определений:

От дней моей юности, три мужа, достопамятные в летописях Русской Истории, наполнили мою душу и вызвали в моем сердце неудержимое желание начертать их жизнеописания, в поучение и разум грядущего поколения.

Митрополит московский Филарет — это более, чем за полвека руководитель церковной жизни и мысли России и всего Православного Востока, величавому слову которого внимали и благочестивые цари, и вселенские патриархи, и государственные сановники, и бояре, и простолюдины.

Князь Петр Андреевич Вяземский — это носитель исторических и литературных преданий почти за целое столетие, переживший много эпох в мире политическом и в литературном. Много видел он колебаний в том и другом: политические и литературные светила перед ним восходили и заходили; но на все это смотрел он как мудрец, поучающийся в делах Божьего мира. Это поэт, дышащий глубиной чувства и блистающий красотой слова, тонкий мыслитель, прозорливый политик, освещавший события в их неотразимом значении для будущего и, по признанию Гоголя, обладавший всеми качествами, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем. Знатный боярин, проникнутый преданиями своего древнего рода и в то же время с братской любовью и христианским смирением относившийся к своим собратиям по литературе, не обращая внимания, к какому званию и состоянию принадлежал каждый из них, и к нуждающемуся брату дружелюбно простиривший руку помощи, — он умел привлекать к себе возвышенным умом, простодушием и, по меткому выражению другого поэта, *добрейшим взглядом под строгою бровью*. Одним словом, князь Петр Андреевич был средоточием всего возвышенного целой эпохи, и сочинения его, издаваемые графом Сергеем Димитриевичем Шереметевым, послужат, по счастливому выражению Плетнева, «в назидание тем, которые некогда полюбят размышление и истину».

Павел Михайлович Строев — это человек, принесший в жертву *вся красная мiра сего* смиренной области Русской Археографии и ради ее проведший лучшие годы свои в монастырских и соборных хранилищах нашей Древней Письменности, в кладовых и подвалах, недоступных лучам солнца, куда, по его же словам, «груды древних книг и свитков снесены были как будто для того, чтобы грызущие животные, черви, ржа и тля могли ис-

требить их удобнее и скорее», и таким образом посвятивший свои дарования и жизнь сохранению и обнародованию источников нашей Древней Письменности. Но не жалейте о том, сказал, славный в историках, Леопольд Ранке, кто занимается этим, по-видимому, сухим трудом и через то лишает себя житейских наслаждений... Правда, эти бумаги мертвы, но в них тлеет остаток жизни. Смотрите пристальнее: в них возрождается жизнь столетий...

Заветная мечта моя осуществилась только отчасти: мне удалось представить очерк жизни и трудов П. М. Строева в книге, вышедшей в свет в 1878 г.; митрополит же Филарет и князь Вяземский остались для меня неприступными идеалами.

- ¹⁰ Когда, будучи в 1890 г. учителем в Бельской прогимназии, я выписал эту книгу, только что тогда появившуюся, для ученической библиотеки и, едва раскрыв ее, наткнулся на приведенные слова предисловия, — то вдруг почувствовал, будто встали из гроба Шафиоров, Посошков и Татищев, эти сотрудники Петра Великого и основоположники русского образования, встали митроп. Евгений, автор «Словаря русских писателей, — светских и духовного чина», и сам Погодин, и заговорили все передо мною «в духе и доблести русского слова», коего, увы, уже и тени не осталось в литературе текущей, в литературе журнальной и газетной... Теперь вот пошла «стилизация», т. е. восстановление словесного стиля давно исчезнувших эпох. Это — нравится... Но это явно искусственно и, как все искусственное, нездорово и притворно. Читатель моментально оценит весь мой восторг, когда я ему скажу, что за 20 лет до теперешней «стилизации» я встретил в лице Барсукова «стилизацию» же, но совершенно здоровую, нормальную, ни в тени не притворную, и состоящую просто в том, что, оказывается, не вся старая Русь умерла, а живут среди нее и теперь люди как бы Петровского времени, Екатерининского, или «дней Александровых благословенного начала»... И как «стилизуются», совершенно невольно, не только почерки и слог, но и люди: то под впечатлением том за томом потом прочитываемой «Жизни и трудов Погодина» я наконец «стилизировался» сам под цвет Барсукова и, как он описывает неоднократно о Погодине, однажды издали с четверть часа простоял на Николаевском вокзале, не отрывая глаз от «достопамятного творца *Жизни и трудов Погодина*», ³⁰ который в обществе двух господ что-то ел и пил, должно быть, бифштекс и пиво. Видеть его, осязать его и, разумеется, в особенности «поговорить бы» с ним для меня сделалось мечтою, по приезде в Петербург. На вокзале, где он был мне показан, — я видел его издали, и хотя он мне нравился явною «русскою складкою», — но подробностей я рассмотреть не мог.

В ближайшие же 2—3 года жизни в Петербурге я, однако, с ним познакомился... Раз — на его чтении новых глав книг о Погодине, и другой раз случайно утром.

- ⁴⁰ Едва я переступил порог его квартиры, Морская, д. 21, как я моментально был и «гостей» в ней, и не слушал само чтение «новой главы», а все разглядывал своего любимца и его обстановку... живой — необыкновенно; небольшого роста; борода клинышком, или вроде этого; русь с проседью, тип чего-то московского или подмосковного, например, я мог бы думать, что он из Ярославля, Нижнего или Калуги. Петербургского «чиновного» или «литературного» в нем ничего не было, он весь был «от земли», и полз по земле, вечно к ней принохиваясь. К лицам, с которыми он разговаривал, он несколько «приноровлялся», но тем умным, вместе и «сочувствующим» и «насмешливым» приноровлением, которое,

я думаю, еще от Калиты водилось на Москве и оттуда с тех пор расплодилось на всю Русь и есть свойство только русских. «Я умнее тебя, но чорт с тобой — думай, что ты умнее меня». Но нужно взять все это мягче и деликатнее, чем я говорю. Барсуков мне понравился: я именно ожидал, что он такой. Ожидал не «столпообразного», подобного «столпообразным руинам Грузии», о которых упоминает Лермонтов, — а живого, деятельного, умного и уклончивого русского человека, страшно упорного в труде, и который горит «про себя» сжигающим энтузиазмом. Такого и нашел.

Вся обстановка археографа из его сущности. В комнатах, и не тесных и не обширных, не было ничего, что не относилось бы до литературы и памяти о ней. Не только кабинет, гостиная и зал, но и какие-то комнатки «в стороне», как равно и «проходные» комнатки, наконец — коридорчики, были все увешаны в каком-либо отношении замечательными портретами разных ученых, «скуда относившихся», литераторов, журналистов, профессоров и вообще достопамятных деятелей духовной жизни России в два последние века. Никогда я не видел квартиры с таким умным светом в себе. Вся она была точно пропитана жизнью и трудом Н. П. Барсукова: а жизнь эта была лампадою с чистым маслом до краев, горевшею неугасимо перед «образами» русской истории и словесности... Все было в величайшем порядке: ни пыли, ни дезорганизации... Точно здесь жили тихие монахины, но давшие обет нового послушания: не выпускать пера из рук, и писать, писать... Все — слава, все — сохраняя от забвения.

«Теперь пойдемте в патриаршую», — сказал он гостям, когда чтение «новых глав» было окончено, и все достаточно поговорили.

Гости прошли в столовую.

— Я ее называю «патриаршей», потому что вот видите...

И он обвел рукою, указывая на стены.

Довольно большая и высокая столовая от потолка до полу была завешана портретами значительной величины — духовных лиц, почти исключительно монашеского чина. Сейчас я не могу вспомнить, были ли это «все русские духовные писатели», или это были «все русские архиереи»... Николай Платонович только объяснил, что «тут все собраны до одного», что в коллекции или галереи нет пропусков, ни недостатка. Однообразие темных колеров, торжественные позы фигур — как всегда у духовных; множества бледных, худых лиц и, конечно, очень много выразительности и мысли — все обдавало вас чем-то новым и поразительным. И поднимало в какой-то «торжественности», но и вместе несколько угнетало вас.

Ни пошутить, ни очень громко рассмеяться, ни — уж особенно — рассказать какой-нибудь «анекдотец» с солью, здесь не могло и придти на ум.

Но все *было* и *могло* быть, конечно, весело. Все оживленно говорили и болтали по поводу только что выслушанного и разных дел житейских.

* * *

По какой-то житейской или практической надобности мне непременно нужно было спешно увидеть Ник. Плат. Барсукова; и, чтобы не упустить застать его дома, я пришел к нему в начале 11 часа утра. У него, однако, был уже гость —

старый-старый член совета по делам печати, лет шесть назад умерший, и коего я тоже несколько знал. Как и Барсуков, он был тоже русского и тоже исторического настроения, современник и сотрудник по учебному делу еще Муравьева-Виленского. Оба вышли ко мне навстречу. Я так и ахнул...

Около грузной, квадратной фигуры члена совета быстро двигалась почти тщедушная фигура моего любимца, вся заливаясь улыбкой, радостью и смехом. Никогда я его не видал таким оживленным и так «в таланте». На нем была ермолка бесспорно татарского происхождения и бухарский халат пунцового-зеленого-голубого цветов, из легчайшей шелковой материи.

10 — Не могу здороваться. Отойдите. Хочу видеть фигуру.

Он отошел и также весь рассыпался в смехе.

— Отчего же вы не сниметесь в этом халате и не приложите портрета к «Жизни и трудам Погодина»? Без него издание не полно и даже не понятно. «Жизнь и труды Погодина» мог написать только академик в халате, вышитом красавицами из «Тысячи и одной ночи»...

— Я не академик, — продолжал он смеяться.

— Как, неужели вы не член Академии наук по отделу словесности?

30 Я был изумлен, смущен и уже заранее негодовал: пятнадцать томов «Истории русской литературы за XIX век», — и неужели энтузиаст, их написавший, не введен в состав членов нашей тощей Академии, в сонм этих Сухомлиновых, Пекарских и др. библиографов и копунов.

— Нет... Даже и не просился и не надеялся: члены Академии наук ставят ни во что мой труд, говоря, что он «не научен» и «не по методу» исполнен. Но я стар и уже теперь никак не могу научиться ни их «методу», ни «научности». Да и некогда: для окончания «Жизни Погодина» нужно, по крайней мере, еще 15 лет без передышки проработать.

30 Я вспомнил диплом на звание «почетного члена Академии наук», поднесенный академиками государственному контролеру Тертию Ивановичу Филиппову: и никак не мог понять, какая есть или может быть разница в «методе», по коему работали оба, Барсуков и Филиппов? Но почему же один не только «академик», но даже «почетный», — а другой... возбуждает лишь улыбки тех же академиков.

Я был неопытен; в Петербурге — новичок; и не понимал, что в Академии тянется та же «служба», и даже с прилагательными вроде «подслуживаться», как и в других петербургских «ведомствах», «учреждениях» и «департаментах». «Нас Гельмгольца не удивит, Либих нам не к лицу; а вот если его высокопревосходительству NN захочется сразу сидеть на двух креслах, министерском и академическом, — то мы можем подвинуть ему второе».

Мертвая Минерва все «увенчает»...

II

40 Труд Барсукова, конечно, не «ученый» в смысле тех мертвых украшений, какие на себе несет наша мертвая наука, сплошь переводная, подражательная и копирующая. Это так называемый «criticus apparatus», «критический аппарат» или еще «ученый аппарат», коим в виде многоязычных «примечаний» снабжаются наши магистерские и докторские диссертации. Как-то проходил раз я по аудито-

рии Московского университета. Ожидалась лекция профессора-юриста. Аудитория была почти пуста. Кое-где были группы разговаривающих студентов, да на партах лежали изредка книги, принесенные с собою слушателями, которые вышли покурить и «заняли места» книгою. Книга — конечно, только что взятая из университетской библиотеки: иначе как же они попали в аудиторию. И вот я вижу, лежит толстая книга, величиной с Библию или словарь Макарова, и на ней тоненькая. Я взял сверху лежавшую тоненькую, и по интересному сюжету долго ее всю рассматривал. Это не был «Курс лекций» или общее изложение науки, а специальное сочинение на специальную интересную тему, — положим, «Налоги во Франции во вторую половину XVIII века» (т. е. перед революцией). Книга была известного и хорошего русского профессора, достаточно хорошего. Конечно, она сопровождалась отличным «ученым аппаратом», в виде всяких примечаний, ссылок на литературу предмета, на «предшественников» и проч., и проч. Окончив просмотр, я взял в руки следующую, лежавшую под нею, книгу, — величиной с Библию. Едва я поднял крышку переплета, как увидел точь-в-точь то же специальное заглавие — (положим) «Французские налоги во вторую половину XVIII века». Сверил года, и русская книга была лет на шесть моложе иностранной. Не составляя перевода, ни (конечно) заимствования, она была как *труд*, как *работа*, как *задача* и *тема* повторением чьей-то немецкой работы; она была *самостоятельна* как «везение воза»: но *куда* его провезти и *какою дорогою провезти* — это все уже было повторением. «Какой-то немец раньше провез»... Провез «то же самое» и «тою же дорогою». Русский ученый «ехал вторым возом» за ним... Вот вся русская наука и едет таким «вторым возом», — за немецкой, французской и английской литературой, заключая оригинального в себе только русский язык и фамилию на «ов», «ев» и «ский» автора. Исключения из этого, конечно, встречаются, — но как они редки...

Книга же Барсукова не есть этот несчастный «научный труд» едущего десятым воза: она есть вполне русское произведение по духу, по замыслу, по вдохновению. Особенно — по вдохновению. Ведь что было замечательного в двух книгах, русской и немецкой, лежащих друг на друге: что у немца шевельнулось *вдохновение*, а у русского вдохновения *не было*; не было «веры, надежды и любви»... Суть книги и ученого, а наконец, и суть всей науки, заключается в *линии вдохновения*, в *вековой наугой* — с перерывами — *вдохновенности*, по коему один и другой и, наконец, десятый ум горячо и страстно поднимают вопрос за вопросом, обсуждают одну сторону за другою — в данном предмете; обсуждают, например, в революции XVIII века и «патологию страсти», и «финансы», и «нравы улицы» и «нравы двора», до подробностей, до мелочей, до анекдота и приключения исключительно: чтобы потом кто-нибудь один и последний все связал в полную и поразительную и, наконец, вполне понятную «картину целого». Труд Барсукова, конечно, не заключает в себе никаких «теорий словесности», ни рассуждений — всегда проблематических — о том, «отчего помер Гоголь» или «что значила в культуре русского общества — его «Переписка с друзьями», и проч., и проч. Он не щеголяет ни философией, ни «блестящими страницами». Барсуков был монах, презревший «суету мира», в том числе и научное тщеславие. Он допустил в книгу только добродетельное. Это «добродетельное» заключалось в 22-летнем жаре, оригинальном русском жаре, с которым он, «былое воскрешая» (слова Хомякова), восстановил в одной книге, около одной личности, полную картину ум-

ственной, духовной, сердечной и частью бытовой жизни русского образованного общества за $\frac{3}{4}$ девятнадцатого века, т. е. за время, когда русская литература проходила почти весь свой «золотой период»... Эта книга прекрасна и многозначительна уже единством духа, единством освещения; прекрасно, что *в одной постройке все связалось*...

Ее не перестанут читать не только ученые; лучше и больше — ее не перестанет читать общество. Барсуков сделал гораздо больше, чем «написал ученую книгу», чего от него бессмысленно ожидала *мертвая* Академия наук. Он написал *живую русскую книгу*, вполне новую и оригинальную, вот именно по духу, вот именно по освещению. Он «продолжил» и «сделал вклад» в словесность русскую, как Плутарх «сделал вклад» в историографию древнюю своими безыскусственными и тоже «не научными» жизнеописаниями. Я не без намерения привел большую выдержку из его предисловия. Духом этого предисловия проникнута вся книга, все 22 тома. Нужно вполне удивляться силе, самостоятельности и крепости Барсукова, что, окруженный со всех сторон «взбаламученным морем» нигилизма, этого отрицания, всего коснувшегося, этой насмешки, всех пересмеявшей, — он ни на минуту не ослабил «Аполлоновых струн» и выдержал до конца и последнего своего издыхания тон торжественного, великолепного, серьезного изложения вещей действительно важных в русской истории, действительно прекрасных в самих себе... Нельзя забыть, что предметом его повествования служат действительно лучшие люди и самые высокие умы, какие были у нас и украсили нашу историю. Поэтому торжественный его тон, немного героический, или «ироический» (по начертанию начала XIX века), вполне соответствует предмету. В то же время книга написана языком совершенно новым, нашим, теперешним, и читается легко, приятно, безостановочно, без утомления ума читателя, без противоречия его теперешнему словесному вкусу. Собственно, археологична в Барсукове *душа* его, его образ мыслей, его способ чувствования всех предметов, как бы «от Рюрика пошедший» и застывший у подножия бронзового памятника Карамзину в Симбирске, *рука* же его — т. е. вся фактура слов, слога, стиля — вполне наши, теперешние, привычные и обыкновенные.

И если бы наше м-во просвещения не было тоже похоже на «тоненькую книжку, лежащую на толстой немецкой, того же заглавия», оно давно двинуло бы книгу Барсукова в читальни, в библиотеки, в «награду за успехи и прилежание» ученикам и ученицам школ всех разрядов и направления. Нет книги, более способной предупреждать в юных умах прививку всяческого отрицания, прививку насмешки, прививку издевательства, увы, столь распространенного у нас в литературе и обществе. Книга Барсукова в высшей степени *культурна*, т. е. образовательна и воспитательна, по обилию любящего чувства, редкого, наивного и чистого, в ней разлитого. Автор стал выше мелочных свар, мелочных дрязг времени и целого века; он презрел смотреть на дурное и *мелозное* в духовенстве, в иерархическом строе церкви; он не заглядывает и не ищет заглянуть в щели и ямы администрации, не вникает нервно в мотивы ссоры славянофилов и западников. Великолепно! Тоги историка он не запачкал в грязи анекдота и сплетни. Мимо *мелозного* он переступил крупным шагом крупного историка. Панорама русской истории пронеслась перед его духовным взором только в громаде своей, и он в этой громаде равно и бесстрастно рисует друзей и врагов, напр., отдавая все должное, безусловно все «западникам», хотя явно сам более прибли-

жен к теням Карамзина, Жуковского, Киреевских, Аксаковых, Хомякова... Но Герцен, Грановский, Белинский не несут от него ни одного слова хотя бы косвенного порицания, как «славные сыны Русской Земли». Это — великая черта книги. Как бы ни была даже *гениальна* насмешка, все же она принадлежит к отвратительному роду человеческого создания. Если даже она убивает и *микроба*, то все-таки, однако, *убивает*. Никогда она не *творит жизни*. Великолепный и *творческий* характер книги Барсукова заключается в том, что она непрерывно одушевляет читателя, и одушевляет *к лучшему*... Всегда и везде зовет *к созиданию* и нигде к разрушению.

По этим качествам она должна бы давно стать и когда-нибудь непременно станет любимейшею читаемою книгою в России. Из нее *как с живыми лицами* познакомятся русские с безусловно *всеми* творцами русской умственной истории, — поэтами, беллетристами, критиками, учеными, философами, историками, публицистами, государственными деятелями. Познакомятся с основаниями государственных направлений, с мотивами этих направлений. Познакомятся, в общем — с *необозримым конкретным материалом русской истории*, без знания которого ничего нельзя начать ни думать, ни делать на Руси... Без чего можно строить «воздушные замки», но по *реальной русской земле* нельзя шагу ступить вперед...

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Очерки

I

В Религиозно-философском обществе

В петербургском религиозно-философском собрании С. Л. Франк прочел очень интересный доклад о книге Джемса: о религиозном возрождении нашего времени. Справедливо заметил С. А. Аскольдов, начиная свое возражение докладчику, что сам Джемс, присутствуя он в этом зале, — не мог бы не поблагодарить докладчика за такое изящное, разумное и убедительное изложение своей книги, — изложение, наконец, вдохновенное. Это не была диссертация или отрывок из диссертации; это было свое слово, — творимое на канве прочитанной книги.

Религия... связь человека с небом... Отчего эта связь так упорна, неотвязчива? Уйдя от человека, заглухнув, почти умерши, она возрождается опять потом с такою силой, как бы только что вот-вот родилась. За религию умирают: за нее умерло гораздо больше, чем за науку. Да и достаточно открыть глаза, чтобы увидеть очевидность, что *зеленое* дерево веры, такое старое и все-таки *зеленое*, перенести — куда могущественнее, ветвистее, многообъемлющее, неужели веточки и разветвления науки. Религия — как океан: она приемлет в себя все реки жизни, все ручьи ее. Это что-то народное, что-то громадное, что-то от века, *от изводов* человечества существующее. И посмотрите, она приемлет в себя мудреца и «дурячка», слабоумного, — даже не розня особенно сильно своего взгляда на них. Какое-то чудо, какое-то всемогущество...

Что же это такое?

И еще обратите внимание: религия — это и *народное*, и *глубочайше-лигное*. Она так же *удовлетворяет* личность, как и *просвещает народ*. Даже более: есть *лигные религии*, просто исповедуемые только *одним человеком*, вот «самим собой»... У меня, когда я слушал доклад, даже мелькнула мысль: «Если религий не столько же, сколько людей, то я не понимаю, что значит это слово». Положим, это чересчур индивидуально и субъективно, но и для такой мысли есть основания: ведь в сущности лишь *кажется*, что мы все (или многие из нас) *одной веры*, а на самом деле каждый верит «с оттенком». Без «оттенка» решительно нет веры. Как только без «своего оттенка», так начинается шаблон, общие поклоны, общие зывания, линейные, фронтовые, над которыми острил Вольтер. Попробовал бы он над «оттенками» сострить: осекся бы! Да и просто бы *сам* не захотел, по благородному существу предмета.

Что же такое религия? Я волновался, слушая доклад. Да что такое замирающий «позитивизм»? Вот, поистине, другой полюс религии. И из определения «позитивизма» лучше всего постигается сущность религии. Позитивизм мне представляется в образе тупого мальчика, который стоит перед забором и говорит: «Это — забор. Вот забор... деревянный... серый... На нем разные объявления, и я буду читать их все; буду их изучать... Объявления *связаны* с забором, потому что они всегда на заборе. Сущность забора и сущность объявлений связана: потому что мой глаз всегда их видит *вместе*... Забор — это что такое? Дерево. А объявления? Они на тряпичной бумаге, которая из льна, а лен — растение. Вот уж и *открытие!* *Единство* объявлений и забора коренится в том, что субстратом для обоих служит одна и та же *растительная масса*. Это я вижу. Это я щупаю. Это слышит мой нос, если я понюхаю. Если я растворю это в кислоте. Если я сожгу на огне. В пепле, в золе — единство забора и объявлений докажется явно через химический анализ»... Но позитивизм не всегда идет так далеко: в человеческой массе он останавливается просто на счастливом убеждении: «*nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*» *, «идея забора возникает от стояния перед забором», а «идея колокольни возникает тогда, когда остановился перед колокольнею». И, не стараясь быть критичным, можно сказать, что «позитивизм» сконцентрировал в себе все, что от века лежало в человеке началом косным, тупым, смертным, бескрылым, началом вялым и безжизненным. Иногда капризно хочется добавить, что «позитивизм» и «тупость» суть разные названия одного и того же. В обществе всегда именовали тупыми людей без догадок, без воображения, без фантазии, без предчувствий, без тонкой и дальновидной сообразительности; но в 50-х годах минувшего века тупость надела университетский значок, купила цилиндр, стала требовать себе хорошего оклада жалованья и казенной квартиры, и тогда стали говорить: «Нет — это не тупость, это — его превосходительство позитивизм».

* * *

А религия? Вся — порыв, воображение, мечта, полет; огонь и воздух. Ничего тяжелого, тяжеловесного. Никаких «землистых частиц»... То тяжеловесное, что

* «Нет ничего в уме, чего бы не было в ощущениях» (лат.).

ее начинает окружать много времени спустя после возникновения — учреждения, законы, формы, «мундиры», — есть смертный пепел на ее существовании, сбрасываемый обыкновенно при новом взрыве. Что же она по существу своему? Говорят: «касание *мирам иным*, чувство *иных миров*». Но откуда оно, и *есть ли* объективно «иной мир», — или это только игра нервов и фантазии, притом субъектов «не совсем нормальных» и умов «явно расстроенных», как уверяют позитивисты?

Пожалуй... может быть... но ведь «ненормален» и всякий истинный поэт, и уж особенно «не нормально» вдохновение его. Что очевидно оттого, что «не все люди суть поэты» и вдохновение «не так ежедневно и всем присуще», как пищеварение. Между тем таковы любимые доводы против религии позитивистов: «не все люди религиозны» и «не во всякое время цветет религия»... «Бог взял семена из *миров иных* и насадил на земле сад свой... и соприкосновением с *мирами иными* бывает жив человек»: в этой знаменитой формуле Достоевского, разъясняющей происхождение религии на земле лучше, чем все философии, нам кажется, есть маленькое отступление от правильной филологии, и вот если его устранить, то и станет вполне все ясно: Бог взял семена из *миров иных* и насадил на земле сад свой: и вот это то семя из иного мира, откуда вырос человек, и не дает душе забыть о горнем мире». Тогда является полное торжество формулы Достоевского с известным стихотворением Лермонтова («Ангел») и с идеями Платона, страстно сказанными в «Федре», — о ниспадении душ на землю, о их сломанных крыльях, об отрастании у них крыльев при созерцании на земле прекрасного, прекрасных форм, прекрасных тел и проч. Люди и тогда нам представляются *полнорослыми и неполнорослыми*: «позитивисты» — неполнорослы, те, у кого душа не выросла; но когда душа вырастает в полный рост, то и «горизонт религии» открывается, — сам собою и без усилий. Все — видно, все — очевидно. Это уже не «забор» позитивиста, но «дали», которые так же *есть*, как и «забор». Зрение — расширено, одушевление — поднято; слух слышит и менее осязаемое, чем слышит обыкновенный слух. То же «существование», как и у позитивиста; но только полнее, счастливее, выше, прозрачнее, воздушнее. Отношение между ними — как между птицею и амфибией. Но *зем же, зем* верующий верит, *откуда* течет в нем религия?

Каждая косточка «поет Богу», каждая кровинка, мускул, нерв, все... Душа ли из тела, тело ли из души? Неразрешимо, но они *связаны*. И вне *узла* этой связанности, изолированными — мы их не знаем. «Non est corpus nisi spirituale», «только *одушевленными* мы знаем тела», как и душу мы знаем только «в телах». Тело, организм — никак не менее мистично, чем душа. Лейбниц говорил о «смутных», «темных» представлениях, какие имеет душа наряду с «ясными»; Джемс говорит о сфере «темного сознания», которая окружает собою сознание ясное. Инстинкты (человека и животных), суеверия, предрассудки, предчувствия (из которых некоторые бывают разительными) — вот наудачу несколько указаний из сферы этого «темного» сознания. Нужно заметить, что само это «темное сознание» имеет ярусы, расслоения; все становится в нем «темнее, не расчлененнее, чем мы спускаемся в нем ниже, глубже». И с тем вместе — все делается увереннее, тверже. «Убеждения» меняются, но вот «суеверия» — почти никогда. Вера в «дурной глаз» (благословенно разделяемая мною) непоколебима при всякой учености: и много «систем учености» пройдет через голову мыслителя, а «дурной глаз» все мерцает через все рушившиеся наслоения. Однако что такое это «темное сознание»? *Ближайшая к нашей физиологичности психика*, уже прямо касающаяся не-

рвов, крови, «косточек» — как бы их испарение, как бы их запах, «дух». Простонародное слово «дух», коим именуется «запах», совпадает с именем самой темы, самого предмета психологии, и не напрасно. «Дух» простонародья и есть, в самом деле, основной, древнейший, фундаментальный «дух» науки психологии; «первая душа», *prote pux* сложного состава человека. *Всеобщность, распространенность, универсальность* религии, ее *прогность* и вечная *возрождаемость*, ее полная *неунигижимость* проистекает из того, что она коренится в этом «темном сознании», и, в сущности — *в физиологии человека, в живом* способе происхождения его; как и поэзия и гений, с которыми ведь «рождаются», но которым «на-
10 учиться» невозможно.

II

Константин Леонтьев и его «почитатели»

Бывший наш посол в Риме и потом товарищ министра иностранных дел, теперь живущий в отставке и на покое, К. А. Губастов, в нынешнем году, как и в прошлом, созвал к себе друзей и почитателей покойного К. Н. Леонтьева «побеседовать» об издании сочинений последнего, об оживлении памяти и интереса к его личности и трудам и проч., и проч. По этому поводу хочется сказать несколько слов, которые, может быть, не пройдут без вразумления...

Ах, «друзья»... Да вы одни и стоите *препятствием* на пути признания Леонтьева или возрождения его имени.
20

Что такое Леонтьев?

Фигура и гений у уровень с Ницше. Только Ницше был профессор, сочинявший «возмутительные теории» в мозгу своем, а сам мирно сидевший в мирном немецком городке и лечившийся от постоянных недугов. Немцы у себя под черепом производят всякие революции: но через порог дома никак не могут и не решаются переступить. Полиция, зная, что «немецкая синица» моря не зажжет, остается спокойною при зрелище их идейного бунта. Чем больше профессора бунтуют у себя под черепом, — тем, полиция знает, страна останется спокойнее.

Леонтьев, идейное родство которого с Ницше гораздо ближе, чем далекое
30 и даже проблематическое родство с ним Достоевского, — был не профессор, а глубоко *практигеская*, и притом *страстно-практигеская*, личность... Медик, гувернер, журналист и романист, дипломат, монах и, наконец, отшельник Оптиной пустыни, — он был, как сабля наголо: он не только «переступил бы порог» своего дома, но сейчас бы и бросился в битву, закипи она на улицах. С кем в битву? С теми же кумирами, которые разбил и Ницше. За какие идеалы? За те же, каким поклонялся Ницше.

Идеал Леонтьева — эстетическая красота. Но не в книгах (Ницше), — а в *самой жизни*.

Леонтьев поклонился *силе и красоте жизни, выразительности и мощи исторических линий*, как новому «богу»... Ради него он от всего отвернулся. Сам ради этого нового «бога» он измял свою литературную деятельность и изломал свою биографию. Никто при жизни его не понимал, а по смерти его почтили... только «друзья». Но о них потом.
40

Ради этого нового «бога» красоты он разорвал с современною ему «утилитарно-эгалитарною» действительностью, с этой «пиджачной» цивилизацией, с этою культурою «черных фраков и туго накрахмаленных воротничков». Он из нее бежал... в монастырь. Он бежал бы в Афины, в общество Алкивиада, Аспазии и Перикла, но как это умерло и (по его мнению) было невоскресимо, то бежал в последнее убежище эстетики наших дней — в черный монастырь с его упорным отрицанием жизни. «Мантии монахов все-таки эстетичнее вицмундира чиновника и клетчатого пиджака берлинского или питерского буржуа».

Отрицание Леонтьева было практично, Ницше — только теоретично. Леонтьев *перевел в жизнь* свое отрицание, свою борьбу против текущей истории. Он *в самом деле* вышел из действительности: вот смысл его ухождения в монастырь. Ницше остался просто «германским литератором», преуспевшим по смерти до «европейского литератора»... Он очень хорошо уместился в рамках этой цивилизации, нисколько с нею не разойдясь. Отсюда и признание его, такое шумное и скорое после смерти, во всей Европе. Европа признала в Ницше «своего человека», хорошего буржуа и доброго лютеранина. Ведь «лютеране» иначе называются «протестантами», «протестующими». Ницше, как Байрон, как Руссо, как в молодости Пушкин, как всю жизнь Лермонтов, пел «демона» и протестовал против Бога и человечества; но обыватели с берегов Темзы, Шпрее и Невы добродушно хлопали по плечу Байрона, Гёте, Пушкина, Лермонтова и Ницше, зная, что «свой своему глаза не выключет»... — «Ну, вот; и мы все в Бога не веруем и над христианством посмеиваемся в кулак, — говорили обыватели, пропуская „маленькую“ за галстук, — у нас и Штраус, и Ренан, а теперь и вы, Фридрих Ницше, украшаете словесность».

Леонтьев *натурою* разошелся со всем и всеми... И ушел в монастырь. Это гораздо страшнее, гораздо показательнее. Здесь невозможно приводить доказательства из его книг, статей, писем, посмертных заметок. Но это был Ницше не в литературе, а *Ницше в действии*. То, что он остался отвергнутым и непризнанным, даже почти не прочитанным (публикою), и свидетельствует о страшной *новизне Леонтьева*. Он был «не по зубам» нашему обществу, которое «охает» и «ухает» то около морали Толстого, то около героев Горького и Л. Андреева.

Леонтьев гордо отвернулся и завернулся в свой плащ. И черной фигурой, — именно как «Некто в черном», — простоял все время в стороне от несшейся мимо него жизни, шумной, отвратительной и слепой. «Все провалитесь в черную дыру смерти», — говорил он вслед, говорил, и никто не слышал, не слушал.

Даже его художественные рассказы, не уступающие чеховским и Короленко, — «Из жизни христиан в Турции» не прочитаны.

«Восток, Россия и славянство» едва можно отыскать у букинистов: в магазинах этого двухтомного труда нет.

Когда он написал «Наши новые христиане — гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский», то и Вл. Соловьёв, и Достоевский были испуганы. «Это — антихрист, так может говорить только антихрист», — не этими буквально словами, но *эту самую мысль* записал Достоевский в своей «Записной книжке» (смотри посмертное издание сочинений Достоевского 1882 г., с извлечениями из «Записной книжки»). Замечательно, что Леонтьев на обложке этой брошюры надписал: «Продается в пользу слепых города Москвы», т. е. якобы она издана с благотворительною, богоугодною целью. Но это — аллегория и насмешка: «слепые» —

это сами читатели, «в пользу» которых Леонтьев написал и напечатал свою брошюру-памфлет.

И с Достоевским, и с Толстым, кумирами тех дней и того времени, Леонтьев разошелся самым резким образом. «Я за толпою не побегу. И так как толпа тоже ко мне не пойдет, то я останусь один».

И остался...

И вот этот дьявол в монашеском куколе, — бросившийся в Оптину пустынь только оттого, что ему нельзя было броситься в Сиракузы к какому-нибудь тирану Дионисию (к которому путешествовал Платон), попал...

10 Попал в «объятия» друзей своих, Тертия Филиппова, Анатолия Александрова, Иосифа Фуделя, Вл. Ан. Грингмута, К. А. Губастова, Б. В. Никольского.

Столько «советников», — «тайных» и «статских»...

В «объятиях» их и заключается его темная «судьба», тот странный «*fatum*» около его имени и книг, о которых он говорил перед смертью.

Леонтьев — весь влюбленность. Он не имел другого отношения к вещам и идеям, кроме влюбленного или... негодующего и презирающего до степеней едва вообразимых. Но, судьба, — «почитателями» его сделались люди неспособные даже и к кой-какой любвишке. Он был, как Франческо-да-Римини в мистическом полете (у Данте): но обнимал пахучего Петрушку из «Мертвых душ».

20 Судьба...

Тем сочным басом, как говорил и Ноздрев, Б. В. Никольский гремел в прошлом году, что ему ничего не стоит заставить Академию наук издать «Полное собрание сочинений» К. Леонтьева... Забыв, что не в издании дело, а в читателе, — и что если бы был читатель, издатели и помимо академии нашлись бы, а без этого и академическое издание остается втуне.

Фудель, «друг» Леонтьева, — на предложение П. П. Перцова издать на свой счет 3-й том «Сочинений» Леонтьева, в дополнение к «Востоку, России и славянству», ответил требованием, чтобы издание велось по указаниям его, великого Фуделя, иначе же он не даст доступа к материалу неизданных посмертных леонтьевских статей.

30

Так как на это нелепое предложение нельзя было надеяться получить согласие, то попросту Фудель поставил veto к изданию 3-го тома своего покойного «друга»...

Т. И. Филиппов получил от Леонтьева «посвящение» себе одного его тома.

К. А. Губастов прекрасно и величественно «председательствовал» среди «почитателей имени Леонтьева»; и мне показалось в прошлом году, что это — просто берлинский конгресс или уж по крайней мере заграничная конференция...

Грингмут и теперь Л. А. Тихомиров, в обладании которых находилась типография «Московских Ведомостей», одним мановением руки могли бы дать обществу издание сочинений Леонтьева, от «крох» которого оба идейно питались

40

и питаются. Но «крохи» они подбирали, а «мановения» не дали...

И над всем этим хором «друзей» бас Бориса Никольского... «Я заставлю», «я сделаю», «меня знают»...

Он только не договаривал, что он всех переколотит чубуком, если кто-нибудь не станет почитать его «друга» Леонтьева...

Шум есть непременно сопутствие Никольского, как хвост есть непременно сопутствие кометы. Шум и неотвязчивое воспоминание о Ноздреве... Даже о двух Ноздревых, сразу вошедших в комнату.

И хочется вынести Леонтьева из обступившего могилу его хора «почитателей», сказав: вы не воскресители, а погребатели.

Расступитесь. И тогда он встанет сам... Во всем блеске и занимательности его идей...

Наш «Черный Некто»... Не рассмотренный, не услышанный. Но так влюбляющий каждого, кто сумеет раскутать плащ его и взглянуть в скрытое там лицо. Влюбляющий и влюбленный — так хочется назвать его, как собственным и исключительным именем.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ ХОМЯКОВ. К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ЕГО

10

(23 сентября 1860 г. — 23 сентября 1910 г.)

I

Прошло пятьдесят лет со времени кончины одного из самых замечательных и влиятельных русских людей за весь XIX век, — Алексея Степановича Хомякова. Он не был гением в той форме, какая особенно нам понятна и привычна, — вдохновенного стиха или художественной прозы. Хотя он писал стихи и постоянно писал прозою, но здесь он не поднимался выше уровня обыкновенного. А его некоторая притязательность и в этой области, вызвав насмешки, только повредила ему и отчасти была виною, что громада общества, — «толпа» в грубом значении, — прошла без внимания мимо настоящих духовных сокровищ, какие он имел и давал. Мы переходим к ним. Хомяков был гением в непривычной и тяжелой для нас форме — мысли. Много мыслителей, — от Бокля, Дрэпера и Спенсера до Дарвина, Молешота и Бюхнера, — «пленили» душу русского человека; затем держали ее «в плену» Шопенгауэр и Ницше... Но что касается первых, — это происходило оттого, что их мысль была слишком легка, усвоима, сразу же входила во множество голов, без всякой работы этих голов над собою, а Шопенгауэр и Ницше овладели русскою душою, так сказать, по закону контраста: от того, что для русской души они были совершенно новы по тону, по темам, в Шопенгауэре — по системе. «Новизна» и «необыкновенность» заворожили нас, и мы стали зачитываться этими философами, как дети пустыни зачитываются Шехерезадою. Хомяков, вне всякого сравнения, стоял выше первого ряда мыслителей, нами названных. Его мысль, — прилагая европейские оценки, — стоит в уровень, по качеству и силе, с Шопенгауэром и Ницше. Но, во-первых, она трудна в подробностях, в частности, в изложении и теме каждой порознь его статьи; а самое главное и для Хомякова несчастное заключалось в том, что он не давал заоблачной теории, не давал «своей личной выдумки», усвоив которую, каждый носился бы с нею, как со своим личным украшением, как с преимуществом своего личного ума и личного образования... Таковы хоть очень грубые, но вместе очень устойчивые мотивы быстрого и широкого торжества множества «теорий» и «систем»... Хомяков же гениально объяснял просто русскую жизнь, —

ту обыкновенную жизнь, разлитую вокруг нас, которая самую привычностью и обыкновенностью «претила», по крайней мере, грубой части толпы, и эту грубую часть толпы непреодолимо отвратила от Хомякова. Вот почему Хомяков был, есть и, по всему вероятно, навсегда останется пищею и другом только избранных умов, тех русских умов, для которых Россия всего интереснее. Увы! Это — общий закон: хотя корова нас кормит, а на слона мы только любимеем в зоологическом саду, но слона мы с любопытством рассматриваем со всех сторон, готовы слушать о нем рассказы, верим о нем вымыслам... Тогда как с коровы спрашиваем только хорошего молока, при болезни ее закалываем, но ни «легенд», ни «сказок» о ней не хотим, да и считаем их невероятными. Хомяков весь был погружен в стихию русской действительности, и других тем он не знал. Но не в том еще главная его ценность: в противоположность множеству умов, которые применяли к России нерусские оценки, нерусские измерения, нерусские объяснения. Хомяков русскую действительность объяснял в духе и смысле этой самой действительности, сводя работу мысли именно только к прояснению, к выведению в свет логического сознания, к формулам словесным. Таким образом, при кипучем уме и большой личной гордости, он сохранил деликатное и осторожное отношение к предмету и стал в отношении его в положение пассивное. Как это не похоже на Шопенгауэра и Ницше, которые хотели бы переделать весь свет, но всякий оценит, до чего такое отношение тоньше и глубже, как оно научнее и философичнее. Вместе с тем это еще более увеличивало «обыкновенность» Хомякова и его «неинтересность». Толпа решительно не могла пристать к нему, зачитаться им: в одежде его не было ни одного красного лоскутка, даже цветного лоскутка, который привлекает внимание к «вошедшему» раньше, чем он раскрыл рот. Хомяков был «обыкновенно одет»: костюм, в котором толпа никогда не узнает мудреца.

Но тем ценнее его значение для всех русских, которые узнают человека не «по платью»; и, думается, значение Хомякова в истории русской мысли вообще не подлежит ни уничтожению, ни забвению. До настоящего времени и, вероятно, навсегда он был и останется самую высокою вершиною, до которой достигала так называемая «славянофильская мысль», — мысль, которая имеет свои ошибки и односторонности, но имеет и, несомненно, истинное зерно. В этом зерне есть и свое «я хочу», и свое «я знаю». Будем ли мы рассматривать славянофильство как *волевое движение* или как *теорию* и «объяснение», мы не можем его просто отвергнуть, не можем его забыть, мы его должны победить, вынуждены с ним бороться. А где есть борьба, там возможно и поражение. В своем «я хочу» славянофильство есть личное или массовое движение к приобретению мировой роли, мирового значения России и славянофильству. На это можно только ответить: «как удастся», но, конечно, зачеркнуть такого движения, ни как возможности, ни как факта, нельзя. «Двигайтесь, скатертью вам дорога», — могут ответить самые злые критики. Но больше и хуже этого они не могут ничего ответить; «запретить» такого движения они никак не могут. Далее лежит «объяснение», теория; славянофильство во второй своей части утверждает, что такое волевое движение имеет под собою почву в глубоких особенностях русского сложения, русской жизни, русского быта и духа, русской истории и русской веры, — особенностях, которые, будучи зачаточны, несут в себе большую нравственную высоту и даже полную вечность.

Около этой мысли тоже можно начать кружиться насмешками. Но слабость насмешки всегда в том заключается, что она раскалывает скорлупу, но не может тронуть зерна. Русская действительность до такой степени сера, тускла и, наконец, определено дурна, что мысль «быть выше всех народов» и раздражала, и мучила, а главное — смешила множество даровитых, честных, умных и, наконец, особенно остроумных людей. На этом именно пункте славянофильство было осмеяно вдоль и поперек. И осмеяно совершенно основательно. Но зерна все-таки весь этот смех не коснулся. Остаются вековым примером евреи, — «посмешище» для эллинов и римлян, «народ грязный, необразованный и суеверный», как говорили о них античные писатели. И между тем они не только пережили этих древних, гордых и образованных людей, но когда «узвано стало все о них», — они вдруг раскрыли миру из себя «священное писание» и дали ему веру, дали истинное отношение человека к Богу и разъяснение истинного отношения Бога к человеку. Вещь, совершенно не воображавшаяся Тациту, Ювеналу и Горацию...

Нельзя не поразиться тем, что именно в такое время, когда славянофильство было совершенно погребено под насмешками, совершенно забыто, совершенно не имело себе последователей, — эта доля их чаяний получила надежду, да, наконец, и осуществление... Ведь они и не говорили никогда, что это «они дадут России величие и значительность»; они указывали, что Россия «сама это приобретет»... И что приобретет это она не мощью физической, а нравственными качествами... Между тем именно это лето мне пришлось прочесть, как перевод с английского, оценку одним англичанином русской действительности, русского быта, русской жизни, такую, что она покрывает, в сущности, все чаяния славянофилов. Он говорит о странном сочетании в русских слабости и устойчивости, бесхарактерности и упорства, тысячи «неудачливостей» во всем и вместе страшной жизненности, живучести и (что особенно важно) о присутствии у них великих сокровищ сердца, доброты, мягкости и любви, — всего того нового, что их литература вливает теперь в европейские литературы. Буквальные слова англичанина интереснее и выпуклее, чем я по памяти передаю их. Слова эти значительны потому, что они не навеяны, а, так сказать, «выглядены». Что они есть не мнение, а описывают факт. Но откинем совершенно англичанина в сторону. Через пятьдесят лет после того, как Хомяков умер, через семьдесят после того, как умерли братья И. В. и П. В. Киреевские, впервые начавшие говорить в этом духе и строе мысли, — самые ожесточенные их противники, западники, как и всегда пренебрегавшие ими русские радикалы, равно говорят, надеются, а отчасти и осуществили их великую мечту, — что русские внесут, обещают внести, а отчасти и сейчас вносят в стихии западного раздора и западного рационализма великие освежительные струи любви, мира, гармонии, прощения, братства. Продолжительная и настойчивая в этом направлении деятельность Достоевского и Толстого решительно склонила все течение русской литературы сюда; за литературою пошло и общество; и оба факта распространились в Европе, т. е. сперва стали известны в ней, а потом и повлияли на нее. Все это смешалось с политикой, перешло в осязательные движения общества и государства; и пусть это имеет множество противоречивых себе проявлений, перемешивается с грубостью, жестокостью, — однако общий тон очевиден и бесспорен. А нет жизни без борьбы, нет жизни без противоположностей. Но раньше всего указали на возможность и будущность этого

славянофилы. Гакстаузен, лично знавший Хомякова и составивший, пожалуй, первое серьезное описание России деревенской и России интеллигентной для Западной Европы, все воззрения Хомякова сводит к следующей формуле: «Во всемирной истории разные культурно-исторические народы были призваны выразить и довести до недостижимого завершения разные стороны человеческого духа и, вместе, метафизические основы земного существования, земного удела человека. Оставляя в стороне неясный Восток, Греция выразила свою задушевность в искусстве, и красота была тем, что греки довели до апогея; Рим выказал силу и создал образец государства и права; западно-христианская Европа с несравненною роскошью развила рассудочный, рационалистический элемент жизни и личности человека. Но остаются еще славяне, остается Россия. Все перечисленные начала жизни и личности у них слабы, не развиты, не ярки. Но есть последнее и венчающее все дары духа начало — любовь. Вот эту любовь и призваны показать миру эти самые последние, самые новые племена Европы и, вместе, исторической жизни, и, развивая этот принцип в своей жизни и в своей народной личности, наконец, у себя, в учреждениях и законах, они, естественно, являются кульминационным пунктом вообще исторической жизни, всемирно-исторической». Как только нам сказана эта формула, мы невольно ответим: «Ах, если бы... но это едва ли совершится. Однако, если бы совершилось, мы, в самом деле, могли бы сказать, что всемирная история завершилась, и что ей некуда более продолжаться».

Конец, завершение... Выше любви мы уже ничего не мыслим.

Однако так думаем именно «мы», русские. Пожалуй, это мы открыли и окончательно уяснили себе, лишь переживая всю деятельность Толстого и Достоевского. Наконец, после того, как об этом столь долго говорили славянофилы. Формула эта несколько не ясна для Западной Европы, и, по крайней мере, никто ее не указывал, как завершения истории. «Свобода, равенство и братство» если и содержат зерном в себе, конечно, любовь, то слишком формально отраженную, заключенную в формы и ограниченную формами. «Свобода, равенство и братство» так же относятся к «любви», как «галстук» к «чистоплотности»: «галстук», свежий галстук на чистой манишке, конечно, есть чистоплотность же, и даже быть определенно одетым в хороший галстук и в хорошую манишку выгоднее, показательнее и, наконец, просто лучше, нежели быть только вообще чистоплотным и в то же время оставаться без галстука и без глаженной сорочки. Но в глубине-то мы хорошо знаем, что «быть чистоплотным» все-таки выше и благороднее, нежели только носить крахмальное белье. Любовь, осуществись она, уже содержит в себе и равенство, и братство, и свободу, но, содержа их, любовь содержит еще и бесчисленное множество других вещей, других условий, других требований, например, без мягкости и нежности, без прощения и скромности нет любви.

При грубости и жестокости нет любви. Между тем «свобода, равенство и братство» были понесены из Франции на дуле пушек, в кровавых битвах, понесены как жестокое и неумолимое приказание, сломившее целый мир слабых племен и слабых государств... Дело в том, что при хорошо выглаженной манишке можно носить и часто носят совершенно грязные «невыразимые», тогда как условие и лозунг «чистоплотности» их совершенно исключают. О России можно сказать, что она, если бы и могла, никогда не пошла бы в триумфы Наполеона и Французской республики, и если бы пошла, увлеченная моментом и непременно только

частью населения, то с горьким плачем вслед за этим и при негодовании, при несочувствии огромных народных масс, большинства населения. Нам это просто не нужно, нас это не влечет, это не есть ничья в России мечта. Напротив, даже слабая потуга на «что-то» в гаагской конференции пронеслась по России эхом... Вот какой-нибудь действительный и настоящий «триумф» на этом поприще, в этом направлении способен был бы поднять всю Россию за собою...

Но что это такое?

— Любовь.

Если, наконец, скажут, что ведь «любовь есть главный принцип Евангелия», и «стара, как эта книга», то на это можно ответить, что ведь Евангелие с меньшим вниманием, чем на Востоке, читали и на Западе, но почему-то ни папы, ни Лютер не остановились на этом, как на главной стороне христианства. Почему? Да недостаточно сказать формулу, произносить слова, видеть слова, — нужно совсем другое. Нужно внутреннее и врожденное сродство природы с формулой. Хомяков и выразил, что в натуре русских лежит что-то, что делает русских первым настоящим христианским народом. Русские — христиане. Вот, в сущности, главное его открытие, усиленно потом повторенное Достоевским (только повторенное!), которое, с одной стороны, кажется обыкновенным и простым до зановенности, до полной неинтересности, до скуки и отвращения, а с другой стороны, кажется до того странным и невероятным, что невозможно этому поверить и хочется зашить говорящего так человека.

Хомяков и получал «заушения» всю жизнь и после смерти главным образом за эту формулу: «русские — христиане», т. е. это — единственные на земле христиане, впервые эту религию понявшие и даже прямо рожденные христианами, рождающиеся христианами.

II

Сюда примыкает главный его труд, главное дело жизни — его богословствование, целая богословская система, за которую Ю. Ф. Самарин, в предисловии к заграничному изданию его трудов, назвал Хомякова «отцом и учителем церкви». Но нам хочется иначе назвать все это дело: это не «богословская система», и Хомяков нам не кажется «богословом»... Он в стороне от всего этого, а дело его лучше и проще: всю жизнь свою, так и этак поворачивая язык, так и этак приносившись, то в частных письмах (к англичанину Пальмеру), то систематически, то в неудачных стихах, то в колючей прозе, — он искал выразить свое *чувство православия*, отнюдь не официального (оттого и не допустили печататься его богословские сочинения в России), а народного, деревенского и сельского, исторического и поэтического, наконец, бытового. «Вот так русский человек чувствует Бога», «вот как он молится», «вот чего он ищет от веры», «вот на что он уповает и надеется». Ни у Кирилла Александрийского, ни у Афанасия Великого мы этого не найдем, не найдем ничего подобного и приблизительного. Все они давали конструкцию догматов, все были мыслителями, все были схоластиками, везде они опирались на тексты, а в устремлении мысли следовали и отчасти рабски копировали Платона (чаще) или Аристотеля (в западном богословии). У Хомякова же видна безмерная любовь, безмерный восторг к русскому чувству Бога, к рус-

скому чувству веры, и для него это важнее текста и непререкаемое Аристотеля. Вот отчего официальное богословие, богословие духовных академий, никак не могло связаться с идеями Хомякова, но дело окончилось тем, что все свежее и деятельное в самих академиях пошло по пути Хомякова и признало его идеи, вернее — его чувство богословских истин, — правильным, обещающим, плодотворным (Н. П. Гиляров-Платонов, Антоний Храповицкий, в молодую его пору С. А. Рачинский и другие менее известные писатели и богословы). К словам, однако: «он чувствовал народную веру» нужно сделать ту оговорку, что он чувствовал веру народную, поскольку она примыкала и вытекала из чувства православного культа, без всяких отклонений (секты, раскол), православного обряда, православного «устава жизни», православного прямого «благочестия», без исключительностей и личного усмотрения. Хомяков сам (и притом с отрочества) любил посещать богослужение, и его вечно деятельный и пытливый ум усмотрел здесь то, что, конечно, видит и народ, но чего народ не умеет формулировать, от образованных же классов, к культу вовсе равнодушных, это и совершенно ускользает. Здесь мы должны заметить, что хотя культ у нас, конечно, греческий, но русские исполнители его за 900 лет практики надышали в него столько русской души, столько русских оттенков, в этих поднятиях и понижениях голоса, в замедленности или уторопленности движений, что некоторые путешествовавшие на греческий Восток священники и епископы замечали, что там «как бы совершенно иное богослужение, чем у нас». Попадались такие выражения. В чем же дело? Форма — одна, ритуал — тот же, но «надышала в него» другая душа. Напр., у греков все требовательно, страстно: греческие, напр., отцы церкви хоть в каноническом праве — неумолимы, грозят за всякую малость «отлучением», и о хомьянской любви тут не может быть и речи. Какая «любовь», если за врачевание у лекаря-«жидовина» виновный изгоняется из православного общества, лишается права принимать таинства, и если «анафема» грозит даже тому, кто случайно и невольно помылся в той бане, в которой мылся тоже «жидовин». Тут «гармония» Достоевского и Хомякова не имеют никакого применения. И из Константинополя, от фанариотов, Хомяков не вынес бы ни одной строки своих богословских трудов. А «вера» одна, и даже обряд один. Но дело не в скрипке, а в том, кто играет на скрипке. Мы должны заметить, что, при нетерпеливом желании о многом спорить в «вероучении» (по преимуществу против греческих односторонностей) в нашем церковном быте, как он есть, как он слезался исторически, как он выковался и высветился в горе, бедности, унижении, скрыта, при огромной глубине, удивительная нежность, теплота, мягкость, универсальность...

Вот пример: вопреки повелению канонов «не врачеваться у жидовинов» под угрозой анафемы, Иоанн Кронштадтский, самый великий наш архипастырь за XIX век, преспокойно сам «врачевал» и жидовинов, и даже мусульман. И хотя «канон» об отлучении за такое дело все знали, но любимому русскому «батьюшке» никто не смел возразить, никто ему не осмелился воспрепятствовать. Вот «любовь», ставшая выше «канона».

И много подобных, меньших. Все дело в оттенках.

Сказав: «теплота и нежность», — мы сказали слово, которым, пожалуй, лучше заменить слово «любовь», которое от злоупотребления людей без всякой любви совсем выветрилось и потеряло всякую пахучесть, всякую жизнь. «Любовь» — слишком схематично; «любовь» давно обратилась в кимвал бряцаю-

щий. Тут нет конкретности, не видно живого лица того, кто «любит» или якобы любит. Но как только мы произнесли: «теплая натура», «нежная натура», — у нас нет никакого сомнения о самом лице того человека, к кому мы приложили эти слова. «Нежный» человек не оскорбит; человек с «теплой душой» сумеет вас понять. Тогда как с «любовью» люди именно и жгли своих «братьев» от чрезмерности этой любви и никак не могли выслушать и понять «еретиков». Переходя теперь к идеям Хомякова, мы и скажем, что он подметил в «русском православии», — и притом в нем одном в Европе, — бездну этой «нежности» и чисто жизненной, житейской, пожалуй, бытовой «теплоты», которую, отождествив с христианской любовью, бросил ее будущим векам, как завет и идеал, как зов и требование, как высший критериум, вообще, нормального и лучшего в человеческих отношениях, в человеческом чувстве природы, в человеческом чувстве жизни.

Но нужно заметить, что лично и по характеру Хомяков не стоял так высоко, как стояли высоко его идеи... «Что имеем, — не храним, потерявши, плачем»... Бог весть, как у него умещалась эта великая идея христианства, как вечного и непреодолимого мира души, мира сердца, братства народов и, в сущности, братства самых богоощущений — с умственной назойливостью, ворчливостью, невысоким самолюбием, с полемическим духом и жаждою не только переспорить другого, но и отличиться в споре. Литературно он был очень неприятен и вовсе не красив. По идеям — Марк Аврелий, а по форме и по выражению идей — точно сотрудник из «Figaro». Он должен был бы великим чувством охватить и лютеранство, постигнув все великое в нем, постигнув несравненные исторические заслуги «римского вероисповедания», и героизм, мужество и честность Лютера и лютеран... И, с другой стороны, обязан был смиренно признать великие недочеты, особенно практические, какие есть «на Востоке». Но читайте его остроумнейшие полемические брошюры, направленные против западных богословов и критикующие сущность протестантизма и сущность католичества. Да, они остроумны, эти брошюры: полны блеска, кажется, что он неумолимо прав, и оба западные исповедания «раскрошены в куски»... Но, очнувшись от гипноза остроумия, мы замечаем, что он все время побеждает, собственно, себя самого, что он против католиков копирует ученого немца, а против немцев употребляет все изгибы иезуитской диалектики: «православия» же в нем самом не осталось и следа. С ним, в этом деле, случилось то же, что с Достоевским, который начинал с благословений и кончал всегда проклятиями, в «введении» приглашал всех соединиться в его объятиях, а в «послесловии» всех прогонял в шею, кроме того, кто отныне станет «клясться именем Федора Михайловича», как нового пророка и чуть не бога. Тут у обоих их был какой-то изъян: собственная, великая идея Хомякова требовала исключения всякой полемики «против западных исповеданий» и, словом, требовала в теории того же, что Иоанн Кронштадтский делал в практике: «Благословлять я умею и хотел бы всех благословлять, а проклинать — язык мой коснеет, и я точно умираю»...

Объяснение «русской веры» было зерном для Хомякова и в объяснениях русского быта и русской истории. В первом он указывал на общинный строй крестьянства и земледелия, во втором он указывал, что государственная власть была у нас призвана *изгужа*, от варягов. Община есть религиозное и нравственное братство; есть до известной степени «церковь», приложенная к труду челове-

скому и создавшая соответственную своему закону любви форму этого труда. То же — артель как труд на стороне от своей земли. Там и здесь «делятся поровну»; там и здесь нет «выкидышей» на сторону, обездоленных и обобранных, как нет и эксплуатации сильным слабого. В способе же возникновения государственной власти сказались равнодушие народное к элементу власти, нежелание владеть этою властью самому. В этих объяснениях Хомяков дружно входил в семью славянофилов, которые все были москвичи; эти москвичи «хором» вырабатывали самостоятельные и новые воззрения на свою родину и ее прошлое, никто ни у кого не заимствуя, но все учась друг у друга, споря друг с другом, действительно, в завете «любви», о которой говорил Хомяков. Друзья его, особенно Константин Аксаков, более обдумывали русскую историю и русскую общину, — и только в религиозно-церковных объяснениях Хомяков был первым и почти единственным; здесь он связывался только с И. В. Киреевским, но его мысль была гораздо сложнее и обширнее, чем как она вызревала у Киреевского, умершего рано и писавшего немного.

До Хомякова богословы наши рутинно следовали византийским шаблонам, обрабатывая их в духе и методе или католическом, или протестантском. Везде было «греческое» дерево под немецким или латино-итальянским лаком. Русского ничего не было: голос русского не звучал в суждениях о «русской вере». Хомяков был первый, у которого голос этот зазвучал. Он, вообще, рабски ни за кем не следовал, и здесь сыграла положительную роль его неприятная гордость и самонадеянность. Сердце у него, может быть, не было золотое, хотя он вечно писал о «сердце» (любви); но у него был золотой ум, которым он разыскал в народном и историческом духе это сокровище и (особенно важно) показал и объяснил его центральную роль. Он в самом деле нашел и назвал тот идеал, которому поклонились и Достоевский, и Толстой, — дальше которого (столько лет спустя!) и они не пошли, да дальше и, действительно, некуда идти. Достоевский называл его «мировою гармониею», «всечеловеческою гармониею»; Толстой не переменял имени и называет, как Хомяков же, — «христианскою любовью». Мы бы предпочли назвать его органическим теплом, вырабатывающимся в теле человеческом, в массе человеческой, в душе человеческой: причем само Евангелие было только возбудителем. На «древо жизни» оно сделало надрез, как делают таковой на березе, и из надреза потекла эта драгоценная, сладкая и пахучая влага. Ведь и Хомяков очень настаивает на *народном, национальном* начале, указывает на *историю*, на *быт*; указывает, в несравненной красоте словах, на важность в церкви именно *предания*, в котором ничего нельзя отменить *без общего согласия*: между тем как с отрицания «предания старцев» началась проповедь Христа, да и обратился Он не к «своему народу», а к хананеям и язычникам, к иноплеменникам.

«Национальное», во всяком случае, в Евангелии не играет никакой роли; Евангелие — универсально и космополитично; оно — «кафолично», т. е. *сверхнародно*... У Хомякова и вообще у славянофилов, как и у Достоевского («народбогоносец» в исповедании Ставрогина, в «Бесах»), тело народное, облик народный, кровь и род племенной занимают срединное, почвенное положение. Достоевский, оспаривая в своих журналах, «Время» и «Эпоха», западников и нигилистов-радикалов, выдвинул понятие «почвы», «почвенности»... «Без *погвы*

нельзя творить, нельзя расти». Удачное слово: но «христианский дух веет иде же хочет»: и самый выбор слова показывает, что у Достоевского, как и у Хомякова, везде, где они говорят о «христианской любви», нужно подразумевать эту *органическую связность* частей, это органическое, сердечное тепло, бегущее по жилам народным, это сострадание «брата к брату», вытекающее из того, что они суть один *род*... Это — *родственное* начало, а не космополитическое.

* * *

Хомяков и славянофилы положили остов «русского мировоззрения», которое не опрокинуто до сих пор, которое может иметь или не иметь последователей и все-таки оставаться истинным. Не истинно ли оно? И *да*, и *нет*. Или бесспорно уловлено много верного в действительности, в истории; «общий очерк дела» ими поставлен верно; идеал, к которому они зовут, — есть действительно идеал. Но идеал — душа, а около души есть тело; не то священное тело в прямом смысле, из которого проистекает органическая любовь, нами указанная, а *тело* как нарост подробностей, как сумма нормы и *уклонений*, возникающих в быте и в истории, когда организм, говоря языком Дарвина, «приспосабливается к условиям существования», когда в нем совершаются «вымирания» и «переживания». Как выражается Достоевский в одном месте: «эмпирическая действительность всегда сапогом пахнет». Европа даже в «добрых чувствах» переросла нас, не имея ни нашей «истинной церкви», ни нашей «сердечности», а просто шаг за шагом культивируясь, работая над собою, борясь социально, юридически и экономически против всего грубого, жестокого, несправедливого, эгоистического, «давая отпор» захвату и насилию. И, например, «коварный Альбион» не всегда бывает так хитер, скуп и прижимист, как благочестивый «господин купец», если он увидит «хорошо сложившиеся обстоятельства». С этой стороны, да и почти со всех сторон, славянофильство допускает выщучивание себя (припомним знаменитое стихотворение Алмазова). Но шутка — не опровержение, и то, над чем «можно посмеяться», все-таки может содержать в себе, за отсекаемыми наружными комочками и наростами, — драгоценное зерно, какого не найти в мире. В славянофильстве есть и это смешное и неверное, и это истинное и плодотворное. Над ним можно хохотать до упаду и его можно любить восторженно, не разлучаясь с истиною в одном и в другом случае. Стихотворение Алмазова гениально, а захочется плакать, приблизясь к порогу дома, где жил Петр Киреевский, где жил Иван Киреевский. Это — праведники, это — «святые» русской земли, «святые» светскою святостью и вместе какою-то религиозною, хочется и можно сказать, — церковною святостью. Идеи славянофилов подвергались и плутовской эксплуатации; с ними хищничали, больше — с ними грабили, убивали (жесткие черты политики). Но они же, славянофильские идеи, бросили в пыль идеальной борьбы, идеальной жизни — других. Тут чередовались многие: Игнатъев один, Игнатъев другой, Скворцов, Победоносцев, Рачинский, но и Тютчев, И. С. Аксаков, Страхов и Данилевский.

ИЗБЕГНУТАЯ ОШИБКА

В газетах прошло известие, что отлучение целого ряда писателей, предложенное на миссионерском съезде в Казани, — не состоялось. Именно оно не нашло сочувствия среди иерархов Св. Синода... Нельзя этому не порадоваться с самых разных сторон. Как известно, писатели большею частью живут «славою»: кормятся славою, обожают славу, хватают — откуда бы она не шла и какова бы не была — славу. В этом отношении ожидаемое «отлучение», конечно не доставив никакой горечи почти всем писателям, намеченным епископом Гермогеном, — скушано было бы ими как самое сладкое бламанже: Европа загудела бы, сто газет в России целый месяц кричали бы в каждом номере в защиту «отлученных жертв», и Анатолий Каменский, которого кроме его издателя Вольфа никому не приходило на ум считать великим, шепнул бы себе ночью в подушку: «а ведь в самом деле, пожалуй, я и великий человек, раз тысячелетняя церковь сочла мои сочинения опасными для себя»... Во всяком случае, *гонорар* за романы и повести все «отлученные» авторы повысили бы, и редакции охотно дали бы высший гонорар.

Церковь и скромно, и гордо, и умно не создала к этому обстановки. Не дала «возрадоваться бесу»...

Вообще «отлучать от церкви» людей, которые никогда ни прямой, ни косвенной связи с церковью не имели, ни положительно, ни отрицательно к ней не относились и просто «не ходили в церковь», «не знали церкви», «не думали о церкви» — странно. Таковы беллетристы-эротики, Каменский, Арцыбашев, Л. Андреев. «Что им Гекуба...». «Отлучение», обычай «отлучений» возник и имел смысл тогда, когда церковь была тесною и *определенною общиною*, всегда — *местною* общиною; когда она «верующих в себя» исчисляла, и знала это число; когда верующих не было «тьма»; когда отлучавшие и отлучаемые знали друг друга «в лицо». Ария, Нестория, Евтихия вся церковь знала; лично и подробно, всею массою, знала их мнения; и мнения эти волновали массу, приводили в смущение массу. В этих случаях и решительно во всех исторических случаях «отлучения» оно было «разрывом с человеком связи», каковая *связь была раньше*; отогнанием от себя вероучителя; и потому было актом позорящим, ошутимым, болезнетворным. Но какой же «вероучитель» Каменский или Арцыбашев? Что значит «отлучить от церкви» Леонида Андреева, который живет в Куоккала? Жил в Куоккала и останется жить в Куоккала. Прежде по утрам пил чай, и потом по утрам будет пить такой же чай. Ничего! Просто и решительно — ничего! Для чего же церковь трудится «для ничего»?

Она этого не сделала.

«Отлучить» можно того, кому это *больно*... Но тут представляется другой ряд вопросов: как же того, кому это «больно», можно отлучить? Самою болью он и показывает, что есть живой член церкви, имеет с нею какое-то, хотя бы и неправильное, болезнетворное, «кровообращение» общее... «Отлучение» его от церкви не может не быть фиктивно и не реально. Заболеет он, — и вот пошел в церковь: что же, у всех церквей во всей России поставить сторожей в дверях, чтобы «не пускать такого». Да сторожа и не могут знать его в лицо. Вот он приедет к Трои-

це-Сергию: неужели его там не впустят в собор? Подойдет к раке преподобного Сергия...

Как же св. Сергий? С детства учили мы: «Сердца сокрушенного *Бог не уничтожит...*». Кажется, что в словах этих — сердце всей религии. И так, если «отлученный» пришел с какой-нибудь болезнью, с какой-нибудь мукой души, с сознанием разных грехов своих, слабостей, увлечений, не сочинительских, а человеческих, и пришел «просто», не думая ни «да», ни «нет» о своих сочинениях в эту минуту, — как же в эту минуту святитель Руси, объемлющий всю ее мыслью и сердцем от монгольского ига до «теперь», отнесется к этой русской душе, пришедшей к его гробу? Опять вспоминаются слова псалма: «сердца сокрушенного Бог не уничтожит». Очевидно, для св. Сергия он будет просто «русский скорбящий человек, после монгольского ига сущий»: и даже св. Сергий не различит, в каком веке он живет: ибо для него поистине открылась «мгла веков», в которой наше «теперь» тонет и даже совсем не видно...

Нет, отлучить такого невозможно. Отлучение вообще возможно только в отношении «гордой личности», вроде Л. Андреева. Но таковую отлучать не стоит, по приведенным мотивам (слава)... А простого русского человека никак нельзя отлучить, потому что сам он никак не уйдет от церкви, а раз он не уходит от нее — у нее по самому существу религии (слова псалма) нет возможности его отогнать. «Очень просто» со всеми русскими он знает, что постоянно был «грешен», «дурен», «заблуждался» и прочее, и прочее; а «в каких именно мыслях заблуждался» — и сам не знает, по безбрежности вообще человеческой мысли, по ее колеблемости, по множеству переливов ее, по ее наконец бесконечности. «Чего не хочу думать — это-то именно и думается»; «отталкиваю от себя темы, а темы обступили меня»...

Что тут может сказать церковь? Только вспомнить слово, с которого началась ее история: «Что хочу — того не делаю, а чего не хочу — то постоянно делаю». Если такой пламенный и порывистый человек, наконец, такой *волевой* человек, как ап. Павел, сказал это с сокрушением о себе, то как вообще-то управляться с собою человеку?

Как песчинка на земле, как звездочка в Тверди Небесной — несется он: куда — не знает сам, никогда не знает. Стихии объемлют его. Ветры, буря. Мгла объемлет. Кто несет его?.. Чья-то «рука...». Ведь в этом «вера в Провидение»? Бог многое совершает в истории не только прямым путем, но и косвенным; и например, чтобы горячо засветилась какая-нибудь истина, Он перед нею «в предтечу» воздвигает «великое заблуждение». Все — по Гегелю: тезис — антитезис. Был велик св. Афанасий: но чтобы он «был» и «утвердил Символ веры» — нужно было предварительно явиться Арию и всей арианской смуте. Нет Ария — нет Афанасия Великого. Избрала ли бы такое «среднее» церковь, чтобы не было и Ария и Афанасия Великого? Так поступая, легко придти к мысли, чтобы «вообще ничего не было». Но Бог не так судит: Он не боится бурь, потому что Он бури держит в руках. И бури были, будут. Но все победит свет.

О ВЕЩАХ БЕСКОНЕЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ

(По поводу несостоявшегося
«отлучения от церкви» писателей)

Смысл слова «церковь» бесконечен и неисследим... Он туманен, и хорошо, что туманен. Вот, на днях, я вхожу в церковь, чтобы позвать принести к себе в дом чудотворный образ (на Воскресенском проспекте): только под конец я заметил, что в уголку ее идет маленькая вечеренка, 10—12 молящимися, — а все огромное ее пространство пусто и почти не освещено, а «сторожа» и разные «заведующие» (между прочим, приемом «збóвов» иконы) сидят по лавочкам и мирно, в полуголос, между собою беседуют. Пока я неторопливо шел по темному пространству, — может быть, оттого, что я не видел многих предметов, — я стал усиленнее обонять и обратил внимание на то, что, впрочем, и всегда чувствовал: оживительный, особенный, ни на что в свете не похожий, необыкновенно приятный и благородный запах церкви, — не могу не сказать: ароматистость церкви.

Ведь, по рациональному, должно бы пахнуть потом людских масс, — сапогами, одеждою. Ну, воском свечей, деревянным маслом. Или «суммой» этих запахов. Но ничего подобного нет, — и «запах церкви» отнюдь не есть запах деревянного масла и свечей, не весьма приятный или безразличный. Он совсем другой, и источника его совершенно не понимаешь. Можно только заметить, почувствовать, что он несовместим «до фанатизма» со всеми светскими, «мирскими запахами», — например, табачного дыма или женских духов. Раскольники, я думаю, оттого не переносят «табачного зелья», что они слишком вошли, втянулись в «запах церкви», по своему усердию, и оттого навсегда «запретили» себе табак. Пустить в церковь струйку табачного дыма — значит нарушить всю ее гармонию, «погубить» ее святость.

А почему? По какому «догмату?».

Все катехизисы об этом молчат.

Вполне «неисповедимо»...

И когда я шел по мраку церкви, то думал: «Боже, сколько здесь собрано *народного и исторического*... Прямо — *безбрежность*, и притом *неуловимая, неопределимая*». Каждый-то русский человек «постоял в церкви», а за свое бытие каждая церковь приняла в себя миллионы русских... «Какие ноженьки ни топтали твой пол»: святого и преступника, гения и безумца, но больше всего лучших русских людей — обыкновенных людей. Но ведь в человеческой фигуре, «вот как она дана Богом», в каждом человеческом дыхании, — у каждого «своем», есть что-то особенное, значительное, важное. Всякий человек есть маг, потому что всякий человек есть тайна и неисповедимость: и вот все они, все эти миллионы и живых, и давно умерших людей оставили «что-то свое». Здесь малое, неисследимое, незаметное, но что соединилось в огромное, властительное и чарующее.

И храм зачаровывает... Зачаровывает этим «духом» своим (аромат), но не им одним... Зачаровывает тем, что в нем так много «наслежено» (следы от сапог...) Что тут прошло «так много народа»...

С чем прошло? С какими думами? Перед преступлением? После преступления? Удержавшись от него? Не удержавшись от него? А еще больше и важнее — с заботой о завтрашнем дне, о рубле, копейке...

Боже, вся Русь «пронесена через храм Божий». И не было ничего в ней, *индивидуально* ничего, что так или иначе не стукнулось бы о камень церковный. И все слилось в резонанс, — какой бесконечный...

Но где об этом хоть строка в катехизисе?

Молчание.

Церковь не была, не есть и никогда не будет «выправкою». Она никогда не будет тем, что вот «все пуговицы застегнуты». Как мне нравилось в этот день, ¹⁰ (вечер), что сторожа и «кто-то», не замечая службы, не обращая внимания на службу, — разговаривали про себя и о своих делах. Вообще, при некотором особенном угле зрения, как начинают нравиться разные «небрежности», «недоделки», «неряшливости», казалось бы, в «таком великом деле»: но ведь оттого оно и «велико», что оно — *народно*, что церковь *слита со всем народным*: а если она «со всем» в нем слита, то не могла не отразить в себе и его, между прочим, «неряшливости»...

Три-четыре человека разговаривали в уголку... Почему это нравилось? А почему-то нравилось. Оттого, что они *не боялись*; оттого, что они не были «в *форме*» (в переносном смысле); оттого, в конце концов, что это — не департамент ²⁰ и не канцелярия, где уже все «при галстук»...

Множество «недоделок» церковных так и должны оставаться «недоделками»: устранили их *все*, — получится протестантская церковь, может быть, хорошая, но без запаха...

Нигде, кроме как в православной церкви, ни в костелах, ни в кирках я этого запаха не ощущал. Может быть, там есть свой, мною не уловленный. Но тот, о котором я говорю, есть вполне и исключительно «православный дух». Он весь какой-то деликатный, добродетельный, «от благочестивой жизни», от слез, что ли, от умиления, — не знаю, но он родит все это.

Но я о «застегнутых пуговицах»... Миссионеры, как известно, суть светские ³⁰ люди; это суть чиновники при обер-прокуроре Синода, т. е. при светском лице. Естественно, они имеют светский взгляд, или несколько светских взглядов и на церковь. Мысль «отлучения от церкви», их волнующая, представляется им «мерой строгости», наподобие строгостей, употребляемых во всяком департаменте относительно «небрежно служащих» или «неподобающе ведущих себя в казенном здании». *Бесконечность* церкви им — не ясна; *неуловимость* церкви — им невразумительна. От этого им не представляется ясным, что значит перерезать «пуповину», соединяющего русского человека с его церковью: т. е. и как это *ужасно*, и как это, в конце концов, и *невозможно*.

Говоря терминами Аристотеля, — «церковь есть энтелехия народа» (у Аристотеля: «душа есть энтелехия тела»), т. е. это есть скрытая, сокровенная *будущая* цель, которую *вырабатывает* народ за все время своего существования, — цель и вместе *форма* его, *сущность* его... Церковь вмещает в себе не одну «веру», но и *идеал жизни*, т. е. *форму ее*, *вид ее* (энтелехия), вмещает его «как жить», вмещает универсальное «как лучше»... Все это не статически, а динамически, т. е. *подвижно* в истории, *нарастая* век за веком... От этого и церковь «преобразовывалась», «росла», — даже и русская, не говоря о греческой, которая «сотворялась»... На-

род был здесь и подчиненным, но и подчиняющим. Народ, цари, «правительство», — да все, все... «Народное дело» — не мужицкое, а *народное*. И опять-таки и народ, и цари в этом воздействии на церковь, как и на себя принимая ее воздействие, — слились *неуловимо*.

Неуловимо — это главное! В «неуловимом» — весь смысл!

Чтобы *реализовать* «отлучение от церкви», — нужно бы для этого погасить весь дух отлучаемого... Переменить или уничтожить его привычки; весь его «образ человеческий»... Но это ни в чьей власти. А пока «образ православной жизни» или «образ православного человека» я ношу в себе, — никак я не могу *ощутить себя* «неправославным»... Нет такого самочувствия. А нет его, — и ничего нет. Что же «есть»? *Форма* отлучения, приказ по ведомству... Есть «состоявшееся решение» той *системы управления*, о которой я слишком знаю по истории, что она временна и преходяща... Но «система управления», полудуховная и полусветская, не есть еще «церковь» в мистическом и народном смысле. Даже страшно сказать: «церковь, это — *управление*», как один король сказал некогда: «государство, это — я». Нет: церковь, это — дух.

Вот от этой-то «духовности», неуловимой, необозримой, — нельзя «отлучить». И от нее никогда не «отлучится» (не выйдет из связи с нею) настоящий русский человек с настоящим русским сознанием. Ибо это значило бы для него сейчас же перестать работать в России, думать о России, о чем-нибудь в ней заботиться. Позвольте, если кто-нибудь *переболел* всю русско-японскую войну, то как такого «отлучить от русской церкви?» Язык не поворачивается сказать.

Нельзя этого сделать, нельзя этого воспринять.

Смешивание «управления церковного», — после Петра Великого полудуховного, полусветского, — с *духом* и *сущностью* и особенно *святостью* церкви (откуда и проистекает ее *народный* авторитет) указывает на *понижение* церковного самосознания у людей духовной власти... Не у всех, но у некоторых. «Мы *обижены*, и обиду свою выражаем через *отлучение*». Такова ведь реальная и выразимая сторона дела. Отлучение является встречною обидою. Но это уже слишком современная обстановка и современная психология, для которой «не по руке» это древнее оружие.

Кто может отлучить меня от отца и матери, *уже умерших*, от кровных родных, с которыми я каждый день сижу за столом, от домочадцев? Вот ближайшая ко мне часть *народного тела*. А, между *тем*, явно, что «отлученный от церкви» есть ео ipso * отлученный и от них, *в церкви сущих, из церкви не ушедших*. Нельзя этого сделать. Просто — нельзя. Иначе как вербально и формально. Здесь тонким образом расслаивается «управление церковное» от «существенности церковной»: одно идет в одну сторону, но другое остается неподвижно. Конечно, я своим родным, своим умершим отцу и матери остаюсь «единым по духу»: и это есть тот невидимый и достаточный «ход», которым я прохожу и в церковь, остаюсь в ней. Силы небесные, которые все в этом случае решают, — конечно, не расторгнут этой связи, не повелят отцу и матери отвернуться от сына, который желает с ними оставаться вместе.

Все фиктивно. Все нереально.

* тем самым (*лат.*).

Действительное «отлучение» есть вещь мистическая и страшная; есть похороны человека заживо... Человек, действительно, а не фиктивно «отлученный», должен бы начать сходить с ума, постепенно и медленно сходить с ума... как лишенный всякого душевного света. Этого нет. С «отлучаемыми» почему-то этого не случается. Почему? Да потому, что свет не «в окошко» только идет. Светом полон свет. «Задыхание» не происходит, умирание не совершается, потому что фиктивно отлученный находит, чем дышать в каждом своем шаге, в каждом своем деле, во всякой своей заботе о России, во всякой своей работе для России. По-прежнему он чувствует себя «в церкви»: воистину он чувствует, что «ничего не переменилось». Заболеет он, — и так же по-прежнему зажжет лампаду; придет настроение, — и прочтет прежнюю «Богородицу». Для очень многих, занятых постоянно практическим делом, в этих крохах и выражалось все. Эти все крохи с ним и останутся. Прежде он не искал большого, и теперь не будет искать большого. Или еще как говорит апостол: «Болит ли кто из вас, да призовет пресвитера церковного». И призовет. И добрый русский батюшка непременно придет; и побеседует, и скажет слово утешения, не «пытая» болящего, не муча его душевными муками. Мысль «отлучения» вообще есть католическая, — и прежде таковою (у нас) бывала, и теперь таковою останется. «Что удавалось папам, — удается и нам», «если папы могли, — почему мы не можем». Но католическая церковь есть церковь *дисциплины* и *формы*, прежде всего. Там все «пуговицы были застегнуты», всегда, от века. Это — ее миссия, ее сила, ее дух. Русская церковь — бытовая церковь. Ее дух совсем иной: *родной*. По этому духу она «ни с кем паки не разлучается», а «со всеми паки соединяется». Еще будучи мальчиком, я поражался, и неоднократно, наблюдением: живет человек, — студент или в этом роде, например, вольнодумный чиновник, — в церковь не ходит и «в Бога не верует», по определенным его словам. С ним живет старенькая-престаренькая мать, обхаживает его, готовит обед ему, заботится. При матери, правда, он грубых слов (о религии) не говорит, но мать все равно знает, что он в церкви никогда не бывает и «в Бога не верует». И вот он не говорит при ней грубого, а она тоже никогда ему ничего не говорит об его неверии, никогда-то никогда за это его не упрекает. Сама же постоянно ходит в церковь, ходит как только можно. Так живут годы. И она молча молится о сыне, какими словами, — ее тайна, но, верно, и о том, чтобы он «пришел в разум». И живут «неверующий» и «верующая» всю жизнь вместе, без единой ссоры, распри, спора... Я не наблюдал дальше; но можно себе представить, что когда пройдет «много лет», сын, наконец, и похоронит никогда его не упрекавшую мать, — и вот тут все ее молитвы, казавшиеся столько лет безуспешными, войдут в силу: сердце сына вдруг пошевелится другою жизнью, затеплится новым светом, и он сперва «маленько» помолится, «когда-нибудь» помолится. А седым человеком станет и совсем как она. Думается, что этот образ отношений есть коренной русский, и что эта миниатюра «домашней жизни» могла бы послужить и прообразом, и руководством большой жизни церкви, и ее отношений к «неверующим». Духовные власти пусть вспомнят те слова из поучения Иоанна Златоуста, которые читаются в Светлую заутреню: о «приходящих поздно, о приходящих в 11-м часу»...

ЯЗЫЧЕСТВО И ХРИСТИАНСТВО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(К уходу Л. Н. Толстого)

Садясь в сани, запряженными сытыми лошадьми, в хорошем убранстве, — я сказал другу, с которым ездил в Ясную Поляну:

— Что же, — Льву Николаевичу нужно взять за спину мешок с необходимыми вещами и уйти отсюда... уйти куда-нибудь, все равно. Или еще: построили бы ему избушку-келью где-нибудь неподалеку от Ясной Поляны; и в то время, как графская семья жила бы в прежнем доме, он жил бы в этой избушке, сам странник и принимая к себе странников, общаясь с ними, с мужиками, с попами, с «захудалыми людьми» всех положений и сословий. Это была бы гармония и смысл. Была бы радость. Радость на два дома, естественно разделившиеся. Но теперь два противоположные мира идей, понятий и стремлений зажаты в одном месте: ни — ему дышать, ни — им дышать. Бессмысленно, тяжело и невероятно, чтобы это не кончилось.

Это было лет пять назад.

И вот — «это» кончилось. Случилось то, чему следовало бы случиться уже лет двадцать тому назад, сейчас после «Исповеди» и «Крейцеровой сонаты».

* * *

Толстой внутренне давно уже стал странником-одиночкой; стал отшельником, — наподобие отшельников и пустынников первых времен христианства. Но у него за плечами была и его держала ноша: графство, семья, имущество; те связи — гражданские и юридические, — которые в идее он давно отбросил, но они связывали его железными узами и никуда не выпускали. В особенности после того, как дети выросли, достигли кто сорока, кто тридцати лет, встали все на ноги, поженились и повыходили замуж, имеют в «сочинениях его» полное и на всю жизнь, до избытка, обеспечение, — пребывание его в Ясной Поляне становилось не только бессмысленно, но и прямо даже смешно. Ведь он не «писатель»: это он отверг. Он — деятель, и деятельность его не только не кончилась, но, можно сказать, осталась вся «втуне», вся бесплодной и даже какую-то неправдивой, пока он оставался «граф», «собственник большого состояния» и «владелец яснополянской усадьбы». Все не только не кончилось, но *разорвалось* в идее. Толстой в Ясной Поляне — был разоренная мысль, разрушенный дом, «воздушный словесный замок». Он не мог, при его уме, чуткости и всесторонности, не чувствовать себя постоянно грустным, одиноким, оставленным, «неудавшимся». Действительность выражена была около него так грубо и прямо. Можно было бы как-нибудь смягчить расхождение идеи и жизни, но в Ясной Поляне ничего не было смягчено. Гордо, страстно и вполне право Софья Андреевна говорила моему другу:

— Лев Николаевич — гений, и ему образования не нужно, — но дети его, мои дети, — ничуть не гении, и кому же они нужны или интересны без образования? Что же, наконец, они без образования будут делать? Но он всех их повлек в «не-

ученье», в отвержение «плодов просвещения», а когда они выросли, и явился вопрос о службе, то не ему, а мне пришлось ездить, кланяться и просить, чтобы их определили куда нужно, и оговаривать и извиняться за отсутствие у них «плодов просвещения».

Она вся пылала и негодовала. Невозможно было не согласиться с нею.

— Дочь, особенно горячо следовавшая его ученью, оставила есть мясное, когда он написал «Первую ступень». Что в его летах можно не питаться мясным, — я понимаю, ибо это даже здорово. Но молодой организм требует совсем другого; она потеряла силы. И когда вышла замуж, — не могла доносить ни одного ребенка. Они рождались мертвыми, выкидыш за выкидышем. Теперь, после стольких страданий и когда она давно вернулась к мясному и окрепла, — у нее, наконец, родился живой ребенок.

Нельзя было ничего возражать.

— Дети не должны судить отца, и потому «Записки», которые я пишу, не должны быть опубликованы ранее (она назвала цифру лет, довольно большую...). Но в этих «Записках» я объясняю свою жизнь, свои поступки, и кто их прочтет, — не осудит меня.

Может быть. Может быть, она была права в зрелый, цветущий период жизни, когда дети росли. Но она слишком затянула борьбу и по инерции продолжала ее и тогда, когда никаких исчисленных ею «мотивов» уже не было.

Настал тот поздний час жизни, когда дети, собственно, не нуждаются в помощи родителей. Вспыхивает мысль, что она победила бы даже идейно Льва Николаевича, если бы вдруг, именно под старость, уступила ему: вместе с ним, не оставляя его, как более крепкая, вышла бы из ворот богатого и ненужного более для себя дома и приняла бы труд ухода, заботы и помощи. Нет, — легче и лучше: взяла бы счастье идти «об руку» с любимым мужем и великим человеком, куда бы он ни пошел, какова бы ни была его и ее судьба. Этот поступок в старости вдруг бросил бы свет и на ее молодое упорство, споры и даже прямой отказ повиноваться мужу, и нет сомнения, что Лев Николаевич не отказался бы от спутницы-жены.

Но этого не вышло. И победила не она, а он.

Но до ухода из Ясной Поляны Лев Николаевич все время был в положении побежденного. В положении *глубоко пассивном* и тяжелом.

* * *

Благодаря яркой и сильной личности Софьи Андреевны, с которой он, без сомнения, взял много черт в Наташу Ростову («Война и мир» писалась в молодые годы их брака, и она была горячею участницею в создании этого романа, — советом, словом, постоянным прочтыванием уже написанных глав), — благодаря этому в семье Толстых, — или, общее, в Ясной Поляне, — разыгралась миниатюра отношений христианства и язычества, их борьбы, колебаний в этой борьбе... и, вот, окончательной победы христианства над язычеством. Но победы в глубокой старости, в самом конце жизни. Зрелище это так жизненно, так важно, — оно помогает так много уразуметь в большой истории, в истории народов, — что на нем невозможно не остановиться. Мы не считаем нескромным говорить прямо

о семье Толстых, так как все это давно уже известно, известно из печати, из множества «записок о жизни в доме Толстых», — и вообще нет нескромности повторить в печати сказанное в печати же. Мы присоединяем к рассказам только комментарий. Толстые уже давно живут как под стеклянным колпаком, и их жизнь вся «в зрелище», притом не на одну Россию, но на весь свет. Как будто нарочно все так устроилось, чтобы ничего не ускользнуло из поучительности.

* * *

На семье Толстых в личной драме великого писателя, мы с изумительной отчетливостью видим, где и как проходят границы христианства и границы язычества, как мотивируется одно, и как мотивируется другое, наконец, где их место и где они уместны... Все это разыгралось в истории в большом масштабе. Но в малом масштабе, как реальную битву на листе картона, мы все это видим на тесном пространстве яснополянской усадьбы.

Когда я увидел старца Толстого, небольшого роста и слегка сутуловатого, в сером, почти крестьянском, халате, подпоясанного ремнем, — он был так красивее молодых или зрелых людей вокруг него, красивых и свежих...

— Мне ничего не нужно, — говорил его вид.

— Нам еще все нужно, — говорил вид их.

Он распустил руку, сжимавшую прежде «вещи»... Весь необозримый мир «вещей». Их рука твердо лежала на этих вещах: «это — наше», «это — второе я каждого из нас»; «мы без этого не можем обойтись, оно нам нужно в жизни».

— В жизни?.. Но я уже отжил... — так говорил его вид.

Он был гораздо духовнее всех их. Не по одному тому, что написал «Войну и мир» и был великий мыслитель, но вот и по этому отсутствию нужды во всех вещах. Когда человек ничего не имеет, что же остается у него? — Он сам. — То есть? — Остаются дух и маленькая оболочка его, тело. Человек «без вещей» страшно выигрывает в духовности; «при вещах» — он тонет в море их и страшно материализируется.

Поэтому «отказаться от вещей» — значит непременно войти в красоту. Монастырь, с «отказом от имущества», монастырь древний, наконец, отшельники и отшельничество поразили своею красотой древний мир, пышный, задыхающийся в «вещах», и он вдруг начал бледнеть, уступать в соперничестве перед этими простыми «аввами», которые знали звезды, душу и зверей пустыни, — только.

Нетленная человеческая красота победила красоту цивилизации. Девушки и юноши «с бóльшим запросом в душе», чем на хорошее замужество и хорошее наследство, — побежали к этим «аввам» в пустыню: и спор античного мира с новородившимся христианством был решен. Язычество стало мálиться, христианство — расти.

Пока оно не победило. И когда оно победило, — все вошли в него. И как только вошли «все», — и те, которые не отказывались ни от хорошего наследства, ни от хорошего замужества, — оно вдруг исчезло... Исчезло, как чистое... Исчезло, как одно... Исчезло, как горячая вера и жизнь по горячей вере... Христианство смешалось со всеми вещами, в том числе и отнюдь не христианскими, даже анти-

христианскими... Стало неузнаваемо. Стало серо, пестро, полоска через полоску. Приняло в себя металлы и озолотилось. Приняло власть и стало могуществом. Приняло в себя лозу и бич, и меч. Стало воевать, стало торговать...

И утратило всю обаятельность. «Где христианство? Где оно?». Евангелие так прекрасно и небесно, а то, что мы наблюдаем вокруг него, — даже мало сносно.

Начались гигантские исторические усилия «вернуть христианство», «вернуться к христианству». Толстой — один в ряду этих борцов, его жизнь последних лет — одно из таких усилий. Он — не новатор, а реставратор. В идеях его не заключается нового, — ничего такого, чего не было бы уже в уединенных шалашах тех древних авв. 10

Которые были так прекрасны.

И он так же прекрасен, как и они. Не более, но и не менее, если исключить шум и видность его все время. Они же были безмолвники или мало говорили, почти — ничего. В этом была их великая сила... и красота.

Конечно, он был страшно обезображен шумом, который происходил, отчасти, от него, но главное — вокруг него и все-таки, хоть косвенно, из-за него. Без него Ясная Поляна не была бы так часто посещаемая; о ней не писали бы так часто и шумно. Не спрашивали бы, и откуда не шло бы «ответов». Великим вкусом своим, пусть инстинктивно, не отдавая отчета, Толстой не мог не чувствовать, что «чем больше сияет он на вест мир», тем, в сущности, больше померкает в этом сиянии; чем больше растет его слава, тем все уменьшается «честь»; и чем кажется 20

большим авторитет, тем слабее делается обаяние. И ушел от этого. Ушел от слабости в силу, от блесков — в лучезарность, от шумихи — в настоящий и подлинный, внутренний авторитет.

«Разрушенный дом» он вдруг собрал; идею, уже начинающую становиться смешною, вернул к серьезности.

«Нет, христианство возможно, оно есть, не умерло», — вот смысл его ухода. Повторяем, это вышло бессознательно, само собою. Преднамеренно таких вещей не делается, или они не «выходят». У него же все вышло прекрасно, просто и естественно. Все уже давно зрело, накапливалось. Повторяем, — он вышел из 30

угрюмости в радость. Но дом его остался позади. Весь целый. Ничего в нем не переменится и не может перемениться: замужние дочери будут продолжать рожать, потому что им, решительно, невозможно не рожать: у них есть мужья. И сыновья будут рожать, потому что у них есть жены. И с каждым новорожденным одни и другие будут оглядываться: а как проживут наши дети? Есть ли что для них в запасе? Как силы и здоровье наше, успеем ли на своих глазах поднять их до полного возраста?

Красиво ли все это? Весь этот «оставшийся дом?..». В Ясной Поляне, — как мне показалось, — не очень красиво, потому что все сместилось со своего места, 40 все раздвоилось в мыслях, в желаниях, все приведено в некоторый беспорядок множеством начатых и недоконченных начинаний, — всею биографией великого старца. Он не согревает и давно не согревает более своего дома; он не одушевляет его, хотя бы старческим вдохновением. Но «дом» его предков-анонимов, Ростовых и Болконских? Он был красив, как это сказала вся Россия. Красота возможна и здесь, в «доме полная чаша», в «жизни на ходу». Это — явно. Но даже и в этом поистине «неудавшемся доме», в Ясной Поляне, жизнь все-таки

идет и не может остановиться, красива она или нет, потому что это есть жизнь возмужалого возраста или даже молодости, для некоторых (внуки) — младенчества.

— Не можем не жить, не продолжаться, не заботиться, не быть бережливыми... Не можем! Не в силах — пока *растем!*

Христианство, это — торжество красоты. Но язычество, — оно не может исчезнуть, как подневольность нужде, необходимости, железной силе рока. Пока мы слабы, пока мы не можем отказаться размножаться, вкушать, одеваться. Пока мы «вьем гнездо», как птицы, — и естественно в гнездо сносим корм.

¹⁰ Встречаясь, они разрушают друг друга: Толстой весь был «в разрушении», в сущности — в жалком и смешном виде, пока жил в язычестве Ясной Поляны; собою, личностью своею, жизнью своею — он иллюстрировал то, что сам написал в «Разрушении и восстановлении ада», где говорит о евангельской истине, введенной в обстоятельства исторической обстановки. «Весь ад восстановился...» в патерах, пасторах и прочее. Вот это он и пережил, точнее — не имел силы разрушить. Но подтачивал эту «жизнь язычества» своим равнодушием. Оба — уменьшились. Оба гасили свет друг друга. В Ясной Поляне не было так весело, наконец, не было так задушевно и талантливо, как у Ростовых, — когда все «служили», все влюблялись, нередко танцевали и ездили к незабываемому «дяденьке» (Наташи). Было много натуры. Вот — «натура»-то и погасла в значительной степени в Ясной Поляне и, как в большой истории, — у греков и римлян, — как раз «перед появлением христианства». Ясная Поляна имеет свои загадки, — Софье Андреевне, может быть, есть о чем рассказать. Но «как есть» — эти два мира должны были разорваться...

²⁰ В Ясной Поляне уже давно не было внутреннего огня, скрытого одушевления: и все держалось «оживлениями», которые вносились посетителями, «запросами» и «ответами», почтою и даже, наконец, «граммофоном». Эстетика давно падала... как пала и эстетика язычества уже до появления христианства... Все как-то связано таинственной связью: земная душа умерла, — и отделилась небесная душа. Но это — условно и ограничено: если бы та, первая, душа трепетала, была полна сочности, надежд, земных и прекрасных мечтаний, — не отделилась бы и никуда не ушла та, вторая, душа.

Впрочем, все земное умирает, это уж судьба. Рушатся семьи, роды, генерации; рушатся народы, цивилизации; юность вдруг становится похожа на старость, — не эстетична, как и она. Все рождается вяло и слабо; честная экономия вырождается в алчность. Все горбится и морщинится, еще в летах, до дряхлости...

И тогда приходит Христос и «спасает».

⁴⁰ Является великая личность после «средних» Ростовых-Болконских... Доканчивает разрушение «средних», — и одна уходит в пустыню, в лес, в келью, в монастырь, «куда-нибудь», сохраняя общий идеализм для человечества. Сохраняя слово для своих «духовных чад», которые им заменяют «плотских детей». Вечная история и вечное повторение. И вечная судьба.

ГДЕ ЖЕ «ПОКОЙ» ТОЛСТОМУ?

Л. Н. Толстому все-таки нет покоя... Во-первых, уже в комнату его вошел г. Чертков, которому он, конечно, «живейше обрадовался», как «радовался» свиданиям с от. Матвеем Ржевским Гоголь, сведенный с ума и наконец сведенный в могилу этим своим «духовником», — если не всецело, то в значительной степени. И, во-вторых, в нескольких саженях от Толстого, под его окнами и проч., с величайшим возбуждением бродит толпа семьи, родных и «почитателей». Давно оставлена мысль, что душа и «нервы» ограничены точною физикою человека: если за стеною беспокоится друг мой, то беспокоюсь и я, если он несчастен или плачет — тревожусь и я. И проч. Существуют «лучеиспускания души», темные, светлые, тревожные, спокойные. Тревога *вокруг* дома, без сомнения, передана ему, ускоряет пульс его и гонит сон. Теперь, когда вся Россия думает о Толстом, желательно, чтобы «друзья» его знали, и знали родные, что Россия не может не осуждать их, что они так далеки от исполнения мольбы Толстого о покое и уединении...

Все, в чем он нуждается, — это врач. Право быть близко (все-таки, однако, не в комнате) имеет только жена его...

Но в особенности совершенно здесь нет места «ученикам», и особенно такому «духовнику» как Чертков. Толстой буквально находится «в руках» Черткова: ограниченного и фанатичного своего «поклонника», который запечатал вечною печатью волнующийся и вечно растущий, вечно менявшийся мир дум и чувств Толстого, мир его настроений. Он запретил ему, поклонением и «преданностью», выход из такой-то фазы, в которой застал Толстого и которая его (Черткова) пленила; и буквально задушил Толстого мыслями Толстого же. Толстой оттого и менялся, что мысль его была всегда слишком специфична и несколько односторонняя: «перемены» были благом в нем, даже способствовавшим его здоровью. То земледелец, то учитель, то семьянин, то аскет — он был велик как «сумма этого всего», велик и счастлив и здоров. Он буквально «захворал» около Черткова, когда тот до земли поклонился ему, и, поднявшись всей огромной и тяжелой фигурой, произнес «над ним» мертвым голосом: «Credo: теперь — ни шагу далее и в сторону». Роль его протестантского или духоборческого «духовника», буквально как от. Матвея в православии. То же давление, то же суждение горизонта, та же толчея в небольшом круге формул, тезисов. Есть яды интеллекта, как яды тела. В религии их очень много, еще более в сектах и в сектантстве. Есть яды, поднимающие температуру и понижающие ее. Яд Черткова, venenum Chertkowi, понизил t° Толстого до опасных 35 град., задержал живой «птичий» пульс его и вообще превратил или усиливался все время превратить льва в «земноводное». Россия не скажет ему «спасибо» и в свое время произнесет над ним жестокий суд.

КОНЧИНА Л. Н. ТОЛСТОГО

Умер Толстой — человек, с которым был связан бесконечно разнообразный интерес, бесконечно разнообразное значение... Будут со временем написаны томы об этом значении. В эту первую минуту потрясающего известия хочется

сказать, что Россия утратила в нем высочайшую моральную ценность, которую гордилась перед миром, и целый мир сознавал, что у него нет равной духовной драгоценности: мы же, русские люди, потеряли в нем великую душу, которая нас согревала теплотой своею, изъясняла художеством, улучшала высокою требовательностью к достоинству человека, волновала муками своих колебаний и сомнений. Нет русского человека, из всех грамотных, кто со смертью Толстого не потерял бы чего-нибудь личного в собственной своей душе: до такой степени каждого грамотного он когда-нибудь чем-нибудь напитал, воспитал. Это — касается всех; но как много есть людей, которым он дал все их умственное и нравственное богатство, которых он был учителем и руководителем.

Потеря литературы, нашей и всемирной, невознаградима. Он был огромным метеором, к которому точно прилипали светоносные частицы русской души и русской жизни: и вокруг него, за ним, позади его — ничего не видно в теперешней литературе, кроме черной и безнадежной пустоты. Страшно остаться с этою пустотою, особенно страшно после него, его великой образцовости, которая всех сдерживала, усовещевала, останавливала на границе безобразия. Самым *бытием* своим Толстой был великим *цензором*: «упорядывающее» значение его литературы — бесконечно...

Умер он трагично и жестоко: но какая смерть не трагична и не жестока? Однако в этой смерти есть нечто и прекрасное, исключительное по благородству и оригинальности. Кто еще так странно, дико и великолепно умирал? Смерть его поразительна, как была и вся его жизнь. Так умереть, взволновав весь мир поступком изумительным, — этого никто не смог и этого ни с кем не случилось... Фатальна была жизнь его, фатальна и смерть. Вся Русь единомысленно сейчас у его бездыханного тела. Вся Русь будет мыслью возле его гроба. И надолго мысли и сердца потянутся к его могиле. И да будет здесь соблюдена та великая тишина, о которой он так молил в предсмертном письме, к которой он рвался в последние дни жизни, как величайшему идеалу своему, как к «единому на потребу».

ТОЛСТОЙ В ЛИТЕРАТУРЕ

30 Душа его отлетела; но в творениях душа Толстого остается с нами... Что не отразилось в них? От колыбели до гроба, от царя до крестьянина, от сподвижников Александра I до треволнений начала XX века все живет, дышит, говорит, думает в его великих созданиях. Это — целая культура. С его живого образа, который от нас ушел, мы должны перенести свою любовь на его книги, — перечитать их, пережить, перечувствовать; должны многое воплотить в своей нравственной личности и жизни. За последние годы волнение, образовавшееся около Ясной Поляны, несколько задвинуло собою от глаз повседневного читателя первые классические его произведения, особенно «Войну и мир», которая даже подернулась точно пылью археологии. Но вечно жива и молода эта «Война и мир», — и пыль нагнала на нее наша беззаботность, наша сутолока и толчея общественная, наше легкомыслие и невнимание. Теперь пришло время сдуть эту пыль. Пусть Толстой встанет перед нами именно в этом самом обширном и самом законченном своем творении, — в творении самом историческом. Именно оно, своим содержанием,

открывает ту удивительную эпопею русского общества и отчасти даже народа русского, каковою являются все его произведения, их сумма. «Война и мир» — главный корпус этой обширной, сложной и разнообразной постройки; к нему прибавлялись флигеля, этажи. В «Анне Карениной», «Власти тьмы», «Плодах просвещения», «Воскресении» — раньше в «Очерках Севастополя», «Детстве и отрочестве», «Казаках», «Двух гусарах» и других мелких рассказах дана история русского общества, всех ярусов, всех классов, за целое столетие от первых его лет и до последних. Вот эта-то история общества и предлежит нашему изучению. На ней мы можем воспитаться в самосознании. Никто так обширно не творил, как он: около его картин создания других наших поэтов и художников являются картинками, рисуночками, лишь там и здесь дополняющими великую эпопею Толстого.

Между Пушкиным и Гоголем он встал, склонившись всецело к Пушкину и не имея почти ничего гоголевского. Именно живопись Толстого своим положительным отношением к русской истории и русской жизни уравнивала гениальные отрицания малоросса Гоголя; уравнивала, притупила и сгладила. Толстой слишком нас убедил, что Россия — не страна «мертвых душ». Духовная красота лиц, им выведенных, тонкость их быта и образов, сложность их духовной жизни — от семьи Болконских и Ростовых до вечно мятущегося Левина, — так велика, что ею зачаровалась и Европа. И никто дерзкий не повторит сейчас, что Россия создает только типы Чичикова да Собакевича.

Толстой — положительный писатель. Он — творец положительных идеалов в жизни. Эта его положительная сторона своим талантом, гением сводить на «нет» отрицания последних годов, какие он высказывал; высказывал уже слабющим голосом и нетвердою рукою.

Нравственный мир или, вернее, нравственное море, волновавшееся около Толстого, имеет также ясное в себе средоточие: это — вера в душу человеческую, которая стоит выше царств, учреждений, законов, политики, борьбы партий, всего... От Платона Каратаева в «Войне и мире» до старичка Акима во «Власти тьмы» он пронес один и тот же идеал: кроткого человека, покорного воле Божией. Никогда Толстой не замешал себя иначе чем на минуту ни в одну партию, ни в одно «направление общественной жизни», сочувствуя многому здесь, но ничему вполне не отдаваясь. Единственно, чему он себя отдал, — это красоте души человеческой, непритязательной, простой, обыкновенной... Здесь мы также должны вспомнить удивительный образ Николая Ростова в «Войне и мире». Толстой даже не любил излишеств ума; излишества философии — не выносил. Он любил «отречения» — и именно «отречения» от сложных и искусственных умственных построений (Левин, Пьер Безухов). Его запутанная философия последних лет является поэтому чистым недоразумением и объясняется едва ли не в большей части давлением на него «друзей»...

Также чистым недоразумением является его расхождение с церковью. По основным идеям, по основному влечению: 1) к простой жизни и простоте выражения лица человеческого, 2) к отречению от мира, вернее — от суеты и «бестолочи» мира, — он, можно сказать, до жадности прильнул к церковному идеалу. Единственное, чего он мог не любить — пышность, «пышные церемонии», «пышные одежды» и проч. Но ведь явно же, что это — пустое, побочное. На этой мелочи возникла известная сцена, говорят, вяло написанная в «Воскресении» Толсто-

го, где он пересмеял литургию. Но сам он эту сцену зачеркнул, и только «друг худший врага» Чертков восстановил ее и напечатал в заграничном издании «Воскресения». Прочтя эту сцену, где они все осмеивались в своей службе, в своем обряде, «большие владыки» были оскорблены и поднялся (не в Синоде, но по инициативе местного преосвященного, затруднявшегося, как в случае смерти хоронить Толстого, и сделавшего об этом запрос в Синод) вопрос о его «православии», а затем почти невольно и непредвиденно сложилось и отлучение. В возбуждении последнего Победоносцев не играл никакой роли, не имел никакой инициативы. Так кратко рассказал это дело митрополит Антоний небольшому кружку писателей, среди которых был я. Явно, что все это — мелочь, не затрагивавшая ни существа церкви, ни существа Толстого. Они разошлись, так сказать, не центрами, а где-то на периферии. Центрами же они скорее глубоко совпадали. Здесь я не могу не передать одного поразительного восклицания-признания, какое у Толстого вырвалось в единственном нашем свидании. Он (почти больной) позвал меня в кабинет для разговора наедине. Привлекательнейшую сторону разговора составляли мелькавшие среди рассуждений «примеры из народной жизни», какие он видел и которыми он пояснял или подтверждал свои взгляды. Видя эту его любовь к народу, к мужику, к простому русскому человеку, я сказал:

— Но, Лев Николаевич, все это, о чем вы говорите и что считаете правдой и красотой русской души, он вынес из церкви, из ее незаметных вековых нагнетаний и веяний... Вся церковь наша проста и немудряща, убога и терпелива... Т. е. по духу своему, по молитвам, вековому внушению народу.

Он был очень слаб, да и разговор тянулся больше часа. В руках у него была палочка, на которую бродя (в зале) он опирался. Сидел он, весь изнеможенный, глубоко в кресле.

— Знаю я это!!! — и он вскочил весь страшно взволнованный и стукнув палочкой об пол.

Только моя рассеянность, или то, что я ошеломлен был его волнением, «пришел в смуту», — помешала мне поднять «этот кончик ниточки» и повести дальше к тому, что ведь никаких нет причин для расхождения «Церкви» и «Толстого». Нет причин главных, «в совести», — а только в каких-то глупых рассуждениях, в «рациональной» и «философской» стороне дела. Не «Аким-простота» расходился с Церковью, а «князь Андрей Болконский» в молодую и гордую и самоуверенную свою пору. Еще, пожалуй, точнее — это было одно из вечных «уклонений» и «забреданий на чердак» гениального и доброго и правдивого Пьера Безухова, который отождествил Наполеона с антихристом по каким-то своим математическим вычислениям.

Это — с одной стороны; с другой же — какая-то канцелярщина: необходимость на «бумагу с номером» тульского архиерея ответить «бумагою за номером» из Синода. Словом — «обыкновенное русское».

Что хотят, пусть говорят: для меня Толстой есть православный из православных, по духу, по жизни, по образу. «Православный с приключениями»... «Каковы мы все»...

И пусть молят все русские за душу его привычными молитвами. Ну, про себя, ну дома, все равно. Как-нибудь. У нас все «как-нибудь», и даже это и есть самая суть православия. Да не поднимется ни один злобный и разделяющий голос. Как Толстой не любил «разделений»!

Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ

<1910 г.>

Умер Толстой. И в море человеческих душ сколькими звуками это отзовется:

— Умер величайший мастер человеческого слова.

— Умер первый живописец быта, человеческих положений, состояний души человеческой.

— Умер самый страстный на земле правдоискатель.

— Умер самый горячий наш народолобец.

Я думаю, все это сложится в то, что мне лично хочется сказать над его бездыханным телом.

— Умерла величайшая *лигность* нашего времени.

Так не в одной России, но в Германии, Франции, Англии, Италии, в далеких странах Америки и Азии, в Нью-Йорке и Калифорнии, Иерусалиме, Каире и Калькутте скажут, заговорят о прекрасном беловолосом старце, тихо умиравшем и умершем в Ясной Поляне, в родовой старой усадьбе своей, Тульской губернии, — лежавшей верстах в 10-ти от одной маленькой станции Московско-Курской ж. дороги.

Мне не хочется торопливо говорить о нем пустого слова. Это так обидело бы его память. Так все спешное, подшитое «к теме дня» расходилось с его нравственным вкусом, с его взглядом на человеческие дела, на обязанности человеческие. Он, как тульский старичок, «был строг и милостив». — «Все мы — работники у Бога», — говаривал он. И лицо его ласково улыбалось, когда он видел, что люди «по-Божьи» трудятся. И то же лицо темнело, негодовало, проникалось истинным неуважением, когда он видел, что люди суетятся, без толку бегают, хлопочут, кричат и, словом, «в делах и помышлениях» уже не помнят Бога... Не обидим его памяти. Послушаем его слова. И над прахом его скажем несколько простых и ясных слов в развитие невольных и всеобщих восклицаний, какие при вести о его смерти огласят весь цивилизованный мир.

Величайший мастер слова

В вековой евангельской притче рассказано, что всякий человек «получает от Бога талант», но что Бог наказывает того, кто этот талант «зарывает в землю», т. е. не теряет и растрчивает, — как обыкновенно переводят мысленно это место Евангелия, — а сохраняет в *полугенном виде*, для своего личного употребления, *не* растит, *не* множит. «Полученное от Бога» мы должны умножать, удваивать, утраивать, удесятерять. Так в торговых странах Иудеи и Сирии, в соседстве с торговою Финикиею, Иисус сравнивал с «купцом, умножающим товар», «удвояющим капитал», жизнь человеческую и то небесное назначение, выполнения которого Бог ожидает от всякого человека.

«Даром, полученным от Бога», без своих усилий, без личных напряжений, был его великий дар слова, в смысле вообще литературного мастерства. Известно, что в последнюю морализующую фазу своей жизни он не придавал особенного

значения таким произведения, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Детство и отрочество», «Казаки». Это и справедливо, и несправедливо. С точки зрения субъективного его ощущения он вправе был не придавать особенной *лигной* цены произведениям, где выразился чистый «дар Божий», без того «приумножения» его, какого от человека требует Бог. В этой фазе возраста он занят был «приумножением» Божьего дара: *тем новым*, что он вносил в историю человеческую, в жизнь человеческую *своим лигным усилием*, своими *размышлениями*, выводами *ума* своего и решениями своего *сердца*. Он весь был сосредоточен на этом, трепетно сосредоточен. Он копал именно *эту* траншею, не другую, и, как всякий *настоящий* работник, смотрел на то, что у него под руками, перед глазами, не глядя ни назад, ни по сторонам. Но для всякого, кроме его самого, было очевидно, что его «морализующее» слово оттого и разносится на два полушария, что оно принадлежит автору «Войны и мира» и «Анны Карениной», который приобрел себе читателей-*энтузиастов* в обоих полушариях как великий художник слова.

Основное в Толстом, — самое главное, чему он всем и обязан, был непосредственный, счастливый, неблагоприятно приобретенный «дар Божий». Это его великий талант, в котором мы должны сейчас же различить две стороны.

Мастерство собственно *слова*, эта словесная *ткань*, бегущая в строках, строй предложений от точки до точки, если их взять из разных мест его произведений, из разных фаз его возраста. И, во-вторых — совсем другое: архитектурное построение его произведений, эту *кройку*, которая участвовала в создании его великой литературной одежды. Нам думается, что гениальное принадлежит кройке: а самый матерьял, так сказать, *сукно* его работ, было добротного, хорошего качества, местами отличного, — но, однако, не представляет ничего необыкновенного, и во всяком случае неизмеримо уступает словесной ткани Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Весьма возможно, что мастерство слова этих трех художников и не будет вообще никогда превзойдено, ибо в них язык русский *созрел, завершился* — и ему вообще некуда больше развиваться, двигаться. Иначе как в сторону плана, архитектуры, компоновки целого литературного произведения, куда он неизмеримо продвинулся дальше и у Толстого, и у Достоевского, даже у Тургенева и Гончарова.

Сила слова, красота его, — красота одной, двух, немногих, десяти строк: нуте, отыщите у Толстого такие десять строк, которые вызубрили бы наизусть оба полушария, вызубрили от невольного *огарования* и помнили наизусть. А у Пушкина — его стихи? У Лермонтова — его «Три пальмы» или «Когда волнуется желтеющая нива». Без приневоливания, все знают наизусть, мальчики и девочки лет в 14 *сами* учат. То же в прозе — «Тамань» и вообще *некрупные* отрывки «Героя нашего времени» (дневник Печорина — несносен или едва сносен), у Пушкина, напр., характеристика бабушки в «Пиковой даме», у Гоголя решительно все плотно «Мертвых душ». Все это — самые густые сливки, чистейшие, *густые* сливки русского *слова*, данные общею коровою русской словесности: да будет прощено грубое сравнение, прощено за его строгую точность (<1 нрзб> от точки до точки). Литература в самом деле есть нечто живое, в ней есть своя физиологическая сторона, магически-физиологическая. У Толстого сравнительно с этим — *хорошее* обыкновенное молоко; теплое, парное, для души и тела целебное, очень вкусное. Но чтобы «по душеньке так вот и текло», как неслыханная сладость, —

этого нет. А у Грибоедова — есть, у Крылова есть, у Пушкина, Гоголя, Лермонтова — есть.

Сколько строк посвящено Гоголем Петрушке, лакею Чичикова? Если сложить все отдельные строки, разбросанные на протяжении длинного произведения, то едва ли наберется больше одной страницы. А Петрушка всею Россиею помнится и *живо представляется*, едва ли не ярче, во всяком случае не менее ярко, чем Николай Ростов в «Войне и мире», которому посвящены десятки страниц. Осип в «Ревизоре» произносит один монолог: и по нему помнится крепче, рисуется жизненнее и *конкретнее*, нежели кто бы ни был из прислуги «Войны и мира» и «Анны Карениной». Вот *сила* слова, безотчетная, непосредственная, чарующая, гипнотизирующая, которою слово это входит в душу читателя и миллионов читателей и начинает жить в них, как *новая живая их гаслица*. Влетел в душу Ангел. И сел. И не улетит. Таково подлинно *гениальное слово*, гениальная *фраза*, *выражение*, каких у Толстого не было.

По *слогу*, *стилю* своему Толстой и не поднялся бы никогда на ту высоту, на какой он стоял для всего мира. Иностранцы этого никогда не почувствуют. Но мы, русские, обязаны сказать им эту простую и справедливую истину, что Толстой не был величайшим и даже не стоял среди самых великих волшебников *слова* русского.

Теперь мы перейдем к другому — к компоновке литературных произведений. «Война и мир» *неизмеримо* превосходит собою «Мертвые души». На вопрос, что ему *более дорого*, что — в случае выбора — он предпочел бы *сохранить* в русской литературе, «Войну и мир» или «Мертвые души», каждый или большинство русских ответили бы:

Конечно, «Мертвые души» выше как *литературное произведение*; но для меня и, вероятно, для России в «Войне и мире» есть что-то неизмеримо более *дорогое*, *милое*, *ценное*, *прекрасное*. Наслаждения, этого эстетического наслаждения, дьявольского щекотания нервов, конечно, я испытываю больше при чтении поэмы Гоголя, и вообще она сильнее, гениальнее, властительнее. Так. Но «Война и мир» мне *нужнее*; как человек, как русский я без нее *менее могу обойтись*. И если бы пришлось выбрать, что оставить себе вековечным другом и совершенно отказаться от другого — я выбрал бы Толстого и его «Войну и мир». Знаете, это — как хлеб: всегда *питают*; как посох — он *во всем пути* нужен, как бы ни был длинен путь, ну — путь жизни, что ли. А Гоголь, а «Мертвые души» — это какой-то острый лимбуский сыр, для гастрономов; или, если продолжать сравнение с посохом — это как палочка виртуоза-капельмейстера, сделанная из слоновой кости и с золотую инкрустациею, но *на которую не обопрешься*.

Мастерства — *меньше*, а произведение — *дороже*, вот вывод.

Чем же так *дороги*, *исключительно* дороги для целого мира сделались произведения Толстого?

Не отвечая сразу на это, заметим только, что — не считая русской литературы, со времени смерти Байрона, Шиллера, Гёте и, может быть, Гейне ни одно имя, кроме Толстого, не делалось таким всемирно признанным, всемирно влиятельным, всемирно значущим; не становилось в равной мере то непременно и постоянным аккомпанементом, то руководящим и самым высоким голосом в хоре всемирной цивилизации. И после него, теперь такого голоса не остается.

Названные имена, и еще Толстой, были последними, которые соединили на себе взоры и любовь всего образованного, размышляющего, идущего вперед и разыскивающего новые пути человечества. По этому сосредоточению внимания всех выдающихся людей эпохи на одном имени можно было заключать, что от Калифорнии до Камчатки, через весь старый и новый свет протянулась одна цивилизация, движется один и связный фазис всемирной истории, несмотря на множественность, разность и частью даже антагонизм составляющих ее народов, рас, государств. С выключением Гейне, каждый из них сосредоточил в себе высший идеализм эпохи. Гейне выразил какую-то всемирную гримасу, всемирно же признанную. Толстой выразил всемирное искание и недоумение. Но вообще всякий достиг всемирности положения и интереса. Между Гёте и Толстым всемирно читаемые Диккенс, Теккерей, Гюго, Вальтер-Скотт имели за собою публику, но уже не цивилизацию. Это огромная разница — быть всемирно читаемым и быть главою эпохи или одною из глав. Была свадьба принца; кроме рыцарей, дам, на свадьбу или, точнее, в городок, где она происходила, съехалось и множество рестораторов, актеров, театр и мимы; и один веселый «Петрушка» так всех смешил и доставил всем столько удовольствия, что его смотрели больше, чем принца, и помнили дольше, чем принца. Но, однако, все-таки «Петрушка» не принц и не для него съезжались сюда актеры, мимы, герои, красавицы. «Было что-то, что было»; а «Петрушка» был тут только при «чем-то». И как бы он ни был занимателен и талантлив, народен и популярен, через роковые оглобли «при чем-то» ему никак не перескочить. Конечно, Вальтер-Скотт и Гюго, особенно же Диккенс, были очень читаемы, страшно любимы, и вообще как-то грустно прилагать к ним имя «Петрушки». Ну, поставим на место его — Сальвини или Поссарта, «позванных на свадьбу принца». Однако все-таки существо дела остается, что они «позваны». Пришли в цивилизацию, до них и без них бывшую, и которая бы совершилась без них, ничего органически-необходимого из себя не потеряв. Между тем с Гёте, Шиллером, Байроном и также с Толстым из составного света общей цивилизации Европы выпадал и выпал бы один луч бесценно-дорогой, наконец — прямо *необходимый*, без которого эта цивилизация несколько потухла бы, обесмыслилась; она несколько помертвела бы или, точнее, не *доразвилась* бы, не *дородилась* бы. Разница неизмеримая со всемирною читаемостью, даже со всемирными восторгами.

Все читали Вальтер-Скотта, вся Европа. То же было с Диккенсом. Гюго видел в себе такое значение, что как-то выразился, что Париж, в котором он родился, будет некогда переименован в «город Гюго». Ну, и все это прошло, и Вальтер-Скотт давно уже переделан в «Библиотеку для юношества», Гюго еще читается с эстрады, в гостиных и театре, и долее всех и горячее всех живет один Диккенс... Но как-то живет одним тоненьким лучом, греет одною и ужасно одностороннею теплотою. Диккенс — цветок в цивилизации; цветок, затканый в ковер ее или выросший на лугу ее. Но все отлично понимают, что ничем эта цивилизация ему не обязана; что это она родила его, а не он рождал ее. А даже Гейне был именно одним из родителей, *рождателей* цивилизации. Что она гораздо более ему обязана, нежели он ее «общим условиям» или «ее духу», вообще ее «течению»... Оттого-то эти люди, Толстой, Достоевский, Гейне, Шиллер, Гёте, Байрон, говорили, писали, пели, думали и передумывали свои думы с такою безграничною свобо-

дою, неизмеримою самостоятельностью. Небо было над ними, но стен около них не было. Они были «ничему не обязаны»!.. Страшно и подумать об этой высоте, этом положении. Они сами давали, *дали* народам, цивилизации. Участь беспримерная, жребий завидный. Они были немножечко «боги» — это надо передавать шопотом из уст в ухо — «боги» в языческом и истинном, никогда не умиравшем и лишь сокрытом на время смысле.

Из них Гёте я назвал бы мудрецом, Шиллера — поэтом, Байрона — судиею-карателем и Толстого совестью этой единой цивилизации. Гейне стоит около них арлекином, пересмеивающим царей, поэтов, мудрецов и энтузиастов; говорящий, что «все это не [нужно]», по крайней мере, их короны и мудрые книги их не дороже [его пестрого шутовского костюма].¹⁰

В творчестве Толстого отразилось множество даров его. Мы говорим не об отдельных фазисах литературной деятельности, где очевидно и должны были выступить попеременно то одни дары, то другие. Нет, порознь, в каждое его произведение вошла удивительно *многосоставная* душа, около которой душа, напр., Гоголя или Грибоедова представляется истинно нищенскою, однотонною, однострунною, как бы резко и гениально ни звучала эта одинокая струна. Это отчасти имеет в себе ту причину, что Толстой стоял *ближе и натуральнее* всех русских писателей к русской жизни. Он был менее всех их литератором, «книжником»: и от этого именно «литератор» и вырос в нем в такую огромную величину, что, вечно касаясь земли, он тянул из нее всё новые и новые соки, силу, теплоту, и этот соединительный между ними ток никогда не прекращался, не ослабевал. Таким образом Толстой естественно стал так велик, как русская земля: чего не могло случиться ни с кем из русских писателей, ни даже с Пушкиным и Гоголем, не говоря об остальных. Но в этом лежит только часть объяснения сложного состава его произведений. *Сам* он был изумительно сложная натура, сложный талант. У Грибоедова везде недостает теплоты, у Тургенева нигде нет религиозного, христианского глубокомыслия, — Крылову недостает интеллигентности; у Гоголя нет благодушия и простодушия, он нигде не стоит с изображаемыми лицами и событиями плечом к плечу, в уровень, любя и уважая. Всюду его взгляд устремлен³⁰ сверху вниз, везде-то это ястреб, выклеывающий глаз действительности. Ужасный недостаток, плачевный! Наконец, «эхо»-Пушкин нигде не внедряется в предметы, а как волна — точно окатывает их, омывает, но не сохраняет в себе их сущности. Благородная душа Толстого, благородная именно в силу *многосоставности*, и проникает внутрь предметов, видит их «душу»; и чудно лепит их формы, любясь ими, как артист, как живописец или скульптор. Он любит мир и научает его, проповедует; жалеет его и старается сатирою исправить его («Плоды просвещения»). Везде он *друг* человечества, не отделяет свою полосу от мирского поля; везде слит с народом, в большом и малом. Теплота, правда, изобразительный талант, дар психологического прозрения, чего-чего нет в нем! В одно и то же время⁴⁰ он поучает, учитель, и в то же время поучается, ученик. Он учится даже у ребят, которых обучает грамоте в Яснополянской своей школе, учится серьезно, так сказать, трагически; не говоря о мужиках, у которых постоянно учится, он учится и у монахов, у попов (исповедь Левина в «Анне Карениной»), у офицеров и солдат («Севастопольские очерки»).

ПЕРЕД ГРОБОМ ТОЛСТОГО

Как Троя своего Гектора, как нибелунги своего Зигфрида — оплакивает Россия Толстого — свою гордость, свое величие, свою заслугу перед миром, свое оправдание перед ним, свое, наконец, искупление за множество грехов... Невольно бросаются в память эти мифологические и древние имена, так как все «явление Толстого в России», как заключительный аккорд нашей классической литературы, — походило на какой-то миф. Он жил среди нас; но как был не похож ни на кого из нас. Его жизнь как не похожа на обыкновенную литературную! Великий старец был «человек», и он сам снял с себя или усиливался снять имя «литература», как слишком тесное, узкое, частное, предпочитая оставаться просто «русским человеком», без определений, без границ, без мундира и сословности, без формы и ремесла. И если он продолжал творить в формах уже привычного труда, т. е. литературы, то все усилия делал, чтобы в эти рамки «толстовской литературы» вошла и религия, и церковь, и экономика, и быт, и семья, включительно до деторождения (предисловие к «Токологии» г-жи Стокгэм)... Все, все, целая жизнь, личная и народная...

«Я хочу быть русским человеком» — это пела его более чем пятидесятилетняя песнь, от «Детства и отрочества», от «Севастопольских рассказов»... Боже, какое пространство лет, времени.

20 Неся его гроб, мы должны иметь в душе образ Толстого за все эти года. Мы хороним Толстого не последних лет, даже не последних десятилетий; но Толстого от Севастопольской обороны до утвердившегося парламента. Ни одна частность не должна забывать огромности этого целого.

Около гроба его должны умолкнуть партии, раздор, вражда. Его смерть — народный траур, траур *страны*. Его будет хоронить *страна*. Всем напряжением души, всей энергией мысли и слова, точнее — шопота, мы должны прервать и не допустить никакого раздора, никакой смуты в эти похоронные дни. Всею жизнью своею, целостным образом своим, это был «серединный русский человек», сердцевинный человек: и все крайнее должно отпасть от его гроба, должно быть 30 оттеснено от его гроба. *России* — потеря. *Россия* — хоронит. Эта огромная Россия не должна дать подняться никаким крикам справа и слева: «почитателям» последних дней и лет его, как и саратовским выкрикам.

Похороны должны быть церковные... Он сам, своим первым движением, уже больной — поехал в монастырь, самый светлый и знаменитый подвигами своих старцев. Хотел беседовать со старцем, — и этой беседе помешали только сторожившие его фанатики-«ученики». Этих движений 83-летнего старца совершенно достаточно, чтобы понять, что у умирающего Толстого не было вражды к церкви. Так это поняла решительно вся Россия. Какая же мать не выйдет навстречу своему возвращающемуся сыну, не поедет на ближайшую от дома своего станцию, не встретит его уже в дороге, только едущего, а еще не приехавшего... 40 Какая радость матери, — тем большая, чем дальше она сама проехала вперед, на встречу сына. Но церковь всегда именовалась «матерью» верующих, «матерью народа русского»... Долг «матери» все теперь забыть, все сгладить, все отпустить «вольное и невольное» и окружить гроб Толстого своими чудными молитвами и песнопениями. Это не только требование правды, не только азбука христианства

и всего его духа миролюбия и милосердия, но и, наконец, мера осторожности: церковные похороны Толстого положат конец «секте толстовства», зарождающейся и еще не сформированной; напротив, если бы церковных похорон не было ему дано — это сразу отдавало бы тело, а с ним и душу «учителя» — сектантам. И именно в эту-то горячую минуту секта и сформировалась бы окончательно. Надеемся, что в Петербурге и, в частности, в Синоде это будет оценено и взвешено. Церковь не захочет новой секты, новой заботы и обузы: и уже ради этого Толстой будет похоронен «как всякий православный человек».

А Христос? А Его слово разбойнику уже на кресте? Его принятие последнего вздоха этого разбойника? Не церковь ли в самый момент причастия верующих на литургии вспоминает исповедание этого разбойника как самую сердцевину христианства, как центральный луч всего Евангелия? Говоря так, мы не называем Толстого «разбойником», а только приводим параллель и аналогию, указываем на двухтысячелетний способ христианской церкви относиться к душе человеческой. Наконец, у гроба нужно вспомнить целого Толстого, а не Толстого последних произведений; Толстой же в «Детстве и отрочестве», в описании странника Митеньки, и потом в «Войне и мире» и в «Анне Карениной» сказал великие и положительные слова о церкви. Это нужно вспомнить; вспомнить сильное и прекрасное, вспомнить опять-таки центральное, а не то, что лежит в его словах и сочинениях явно «на краешке».

Цельный же Толстой есть, бесспорно, христианин и православный. Нельзя же его считать «шопенгауэристом» или «буддистом», хотя всему этому он в жизни своей дал дань увлечения. И «толстовцем» в сектантском смысле он не был. Он был *коренным русским человеком*, некоторые слова коего запутали слабый ум некоторых русских людей. И только. Коренной русский человек, — и, следовательно, православный. Потому что нельзя быть русским и не быть православным.

Мир около него!..

Тише, народные волны!..

Смолкните, отдельные голоса!..

Россия хоронит своего Толстого!

РЕЧИ В «РЕЧИ»

Всегда нужно быть почтительным к начальству. Эту истину твердо помнит «Речь». Все сейчас пишут о Толстом, а она не только пишет, а посылает своего сотрудника к некоему «сановнику» с запросом об отношениях Толстого к церкви и как на оные смотреть надобно. Его высокопревосходительство в ответ неопределенно вещает:

— Это вопрос серьезный, очень серьезный... Смерть Толстого не может не отозваться болезненно в каждом русском сердце... Не давать выхода этому чувству само по себе уже большая ошибка.

Задумчиво помолчав, мой сановный собеседник продолжал:

— Конечно, надо признать, что положение представителей нашей церкви очень щекотливое...

Ну, конечно, с одной стороны нельзя не сознаться, а с другой стороны должно признаться. Либеральные сановники всегда себе верны. Но почтительный репортер не унимается.

— А как вы смотрите, ваше высокопревосходительство, на запрещение панихид?

— Я считаю это насилием над душами искренно верующих православных христиан. Опять повторяю, кто из нас знает каноны?

Положим, «каноны» тут ни при чем. Но его высокопревосходительству протительна эта сановная рассеянность, тем более что еще неизвестно, к какому вероисповеданию принадлежит само это превосходительство, столь дружественное «Речи».

Впрочем, поневоле приходится обращаться к любезности сановников, когда собственные сотрудники пишут так, что уж лучше бы они не писали. Г. Мережковский, напр., в том же № «Речи» совсем утонул в риторике. В Толстом у него воплотился «Дух Земли» (с больших букв, разумеется). «Лицо его — лицо человечества».

В эту минуту мы испытываем то, чего никогда никто из людей не испытывал. Сколько умирало великих сынов человеческих. Но никогда еще взоры всего человечества не устремлялись так на одного человека: никогда человечество не чувствовало так, что умер сын его возлюбленный, сын человеческий.

Удивительная эта легкость, с которой наши «неохристиане» пересыпают свои статьи словами и изречениями из Евангелия, обычно применяемые лишь к Христу. Сейчас их применяют к Толстому, завтра будут применять к Чехову, послезавтра — к Философову. «Украшение стиля». А когда спохватятся, начинают «смягчать»:

Мы также знаем, что все его величие перед величием Единого Сына Человеческого ничтожно.

Если знаете, зачем же суесловите? И почему такое «шатание мысли»:

Веруем, что малейший в Царствии Божиим наречется, *может быть*, большим, чем он.

Только «может быть?». А «может быть» и наоборот? Неизвестно, что и как. И только одно ясно: мудрено писать в наших «левых» газетах на «неохристианские» темы. Испытательное «может быть» всему поперек становится.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И Н. Я. ГРОТ

(Предсмертные мысли Л. Н. Толстого)

Вышла книга о покойном профессоре Московского университета, председателе Московского психологического общества и основателе до сих пор единственного у нас философского журнала — «Вопросы Философии и Психологии», Николае

Яковлевиче Гроде. Она составлена его братом, проф. Константин Яковл. Гротом, из очерков и воспоминаний 14-ти ученых о покойном и из писем 6-ти лиц к нему — Л. Н. Толстого, Н. Н. Страхова, А. Ф. Кони, Вл. С. Соловьёва, кн. С. Н. Трубецкого и архиеп. Никанора Одесского. Книга издана со всевозможными указателями и приложениями, необыкновенно тщательно и, как говорится, культурно. Таковы все издания и собственные работы почтенного Константина Яковлевича Грота, который в своем скромном и молчаливом сердце хранил никогда не гаснущую свечу любви к чему-нибудь, к кому-нибудь, — во главе же всего — любовь к просвещению России и ее ученым, успехах во всех направлениях, на всех поприщах.

10

В сборнике выделяется своим значением все, что вышло из-под пера Л. Н. Толстого; интересны и другие письма, а из них, по характерности, — пресвященного Никанора. Остановимся немного на последних и затем сосредоточимся на первых. Епископ Никанор, вместе с епископом Порфирием Успенским, были последними еще сиявшими внутренним сиянием «владыками» русской церкви, которая поразительно и необъяснимо блекнет в лигном своем составе... Пышные одежды, высокие саны, — а лиц нет. Пересыхает что-то... Воздуха, что ли, нет... Только «дыхание» в церкви все становится реже, все глуше. Около ученого археолога, гебраиста и эллиниста и, наконец, странствователя, еп. Порфирия, — Никанор стоит как «владыка» властный, страстный, грубый, резкий и умный. Ему принадлежит лучшее в нашей ученой литературе исследование позитивной философии Конта. Ему принадлежат поразительной силы и лиризма «Записки из истории ученого монашества в России», посмертно напечатанные в «Русском Обозрении». Но, главная, памятна его фигура, твердая, «матерая», не обточенная, зато крепко скованная, раздражавшаяся бурными суждениями и речами всегда прямыми, правдивыми.

20

С Гротом у него было особенное отношение. Опустела, по смерти М. М. Троицкого, кафедра философии в Московском университете. За сына-философа, бывшего в то время преподавателем в нежинском лицее, просил министра народного просвещения И. Д. Делянова маститый академик, бывший в свое время наставником Цецаревича Александра Александровича. Я. К. Грот, составитель «Русского правописания» и, вообще, человек бесчисленных заслуг. И. Д. Делянов ничего не имел против замещения философской кафедры в Москве молодым Гротом, но не считал удобным этого сделать, не снесясь с авторитетным лицом в церковной иерархии. Таковым был еп. Никанор. Тому пришлось проштудировать молодые труды еще позитивиста, материалиста и вольнодумца Грота. Правда, он еще не установился, но показывал себя «худым». Никанор с полным чистосердечием изложил все это в отзыве министру, тот — старому Як. К. Гроту, и он — сыну. «Есть препятствие: ты — неверующий». Нужно сказать, что семья Гротов, состоявшая из старца-ученого и из жены его, Натальи Петровны, урожденной Семёновой, была прелестною по патриотизму, религиозности протестантско-православной и по великому образованию, и не было никакой решительно причины юному философу становиться грубым позитивистом или отрицателем. Это и было налетом студенческих еще кружков и первоначального, не углубленного чтения и изучения. Все, как говорится, «скоро устроилось»... Но пусть письмо еп. Никанора рассказывает о том, о чем так много говорили тогда в Москве при первом появлении там Н. Я. Грота:

40

Есть чудеса на свете. Сегодня, именно, я под этим впечатлением.

Затем, вспоминая об отношении к Христу апостола Петра, который сперва во дворе первосвященника Анны три раза отрекся от Него, а впоследствии именно он утвердил Христову веру на земле, — продолжает:

Вы не подозреваете, что философия ваша (в первых, ранних сочинениях) потрясла меня. Я со всеми этими учениями давно знаком, и моя душа некогда очень глубоко болела. Но возобновление этих впечатлений в глуби душевной снова возобновило во мне *Weltschmerz* *. Именно, в пятницу, на пасхальную субботу, за всенощной, я плакал и молился: «Господи! Увы! Для моей веры нужно знамение. Этот поток новейших учений топит все. Пресвятая Владычица! Ты слышишь же меня, конечно. Для моей веры нужно знамение». И вот, именно, сегодня, между велико-субботнею утренею и обеднею, читаю ваше последнее «О душе». Это истинное чудо! Это Симон-Петр, обращающийся. Помолимся, — быть может, вы станете и утверждением пошатнувшихся умов, утверждением братии, заблуждающейся и не заблуждающейся. Иду ночью на *Деяния*. Говорят: «Профессор Грот присылал освятить пасхи». С Богом! И — Христос воскрес! Пасхальная ночь. Еду сию минуту в церковь на пасхальную утреню. Душевно преданный и уважающий Никанор, епископ херсонский и одесский, камарад по мысли.

Как характерно... Вот он, русский архиерей, во весь рост, со всеми подробностями... И панагия, и интеллигенция, и слеза веры, и старая бурса. Еще немножко:

20 ...Кланяюсь вашей супруге. Целую ваших детей. Этакая вы одаренная натура! Известно, что усиленная мозговая деятельность ослабляет успешность работы противоположного полюса. И та и другая потребляют много нервной материи. У вас же оба полюса замечательно плодотворны. Значит, вы не из рода Октавия Августа, от которого родились только бесплодные кретины... вроде Кая Калигулы и других.

Ах, бурса, бурса...

* * *

Обратимся к Толстому. Письма его к Н. Я. Гроту все дышат близостью, доверием и любовью. Они подписаны или просто «Л. Толстой», или «Любящий вас Л. Толстой», — без каких-либо других эпитетов. «Сверлящий» взор Толстого, 30 без сомнения, сразу схватил в покойном профессоре Московского университета главное: безобманную душу, чистое сердце, прямую речь и вечную юность, деликатную, милую, неспособную кого-либо оскорбить. Грот спорил, возражал, «оставался при своем убеждении»: но все выходило так, что, в заключение философских разговоров, хотелось сказать: «Хорошо... Но давайте святить куличи, а потом — их кушать». Заметно, что еп. Никанор совершенно не понимал *лигно-сти* Грота. Напротив, Толстой сразу же охватил всю личность Грота, «до скрытых ногтей ног»...

Издатель «Сборника», Конст. Як. Грот, обратился к Л. Н. с просьбою дать для книги о брате какие-нибудь воспоминания. И в ответном письме к нему, от

40 * мировая скорбь (нем.).

18 сентября 1910 года, из имения «Кочеты», Лев Николаевич излагает историю их знакомства и отношений. Это — последние, предсмертные строки Толстого. Они не могут не быть драгоценны для каждого русского:

Вы верно предположили, что то, что вы мне посылаете, вызовет во мне воспоминание о милом Николае Яковлевиче. Это самое случилось. Я прочел присланное и нынче утром, делая обычную утреннюю прогулку, не переставал думать о Николае Яковлевиче. Постараюсь написать то, что думал.

Не помню как, через кого и при каких условиях я познакомился с Николаем Яковлевичем, но помню очень хорошо, что с первой же встречи мы полюбили друг друга. Для меня, кроме его учености, и, прямо скажу, несмотря на его ученость, Николай Яковлевич был дорог тем, что те же вопросы, которые занимали меня, занимали и его, и что занимался он этими вопросами не как большинство ученых, только для своей кафедры, а занимался ими и для себя, для своей души.

Трудно ему было освободиться от того суеверия науки, в котором он вырос и возмужал и в служении которому приобрел выдающийся мирской успех; но я видел, что его живая, искренняя и нравственная натура невольно, не переставая, делала усилия для этого освобождения. Внутренним опытом изведав всю узость и, попросту, глупость материалистического жизнепонимания, не совместимого ни с каким нравственным учением, — Николай Яковлевич был неизбежно приведен к признанию основой всего духовного начала и к вопросам об отношении человека к этому духовному началу, т. е. был приведен к вопросам этики, которыми он и занимался в последнее время все больше и больше.

В сущности, вышло то, что Н. Я. сложным и длинным путем философской, научной мысли был приведен к тому простому положению, признаваемому каждым, хотя бы и безграмотным русским крестьянином, что *жить надо для души*, а что для того, чтобы жить для души, надо знать, что для этого нужно и чего не нужно делать.

Отношение Н. Я. к делу, по-моему, было совершенно правильное, но, к сожалению, он никак не мог освободиться от того, усвоенного им, как нечто нужное и ценное, научного балласта, который требовал своего использования и, загромождая мысль, мешал ее свободному проявлению. Разделяя со всеми «учеными» суеверие о том, что философия есть наука, устанавливающая основание *всех, всех* других истин, Н. Я., не переставая устанавливать эти истины, строил одну теорию за другою, не приходя ни к какому определенному результату. Большая эрудиция и еще большая гибкость и изобретательность его ума поощряли его к этому. Главной же причиной безрезультатности этой работы было ложное, по моему мнению, установившееся среди научных философов, разделявшееся и Н. Я. убеждение, что религия есть не что иное, как вера, в смысле доверия тому, что утверждается теми или иными людьми, и что поэтому вера или религия не может иметь никакого значения для философии. Так что философия должна быть если не враждебною, то совершенно независимою от религии. Н. Я., вместе со всеми научными философами, не видел того, что религия-вера, кроме того значения догматов, — установления слепого доверия к какому-нибудь писанию, — в котором она понимается теперь, имеет еще другое свое главное значение: признания и ясного выражения неопределимых, но всеми признаваемых начал (души и Бога), и что поэтому все те вопросы, которые так страстно занимают научных философов и для разрешения которых строилось и строится бесконечное количество теорий, взаимно противоречивых и часто очень глупых, — что все эти вопросы уже многие века тому назад разрешены религией, и разрешены так, что перерешать их нет и не может быть никакой надобности, ни возможности.

Николай Яковлевич, как и все его товарищи-философы, не видел этого, не видел того, что религия, не в смысле тех извращений, которым она везде подвергалась и подвергается, а в смысле признания и выражения неопределимых, но всеми сознаваемых начал (души и Бога), — есть неизбежное условие какого бы то ни было разумного, ясного и плодотворного учения о жизни (такого учения, из которого только и могут быть выведены твердые начала нравственности), и что поэтому религия, в ее истинном смысле, не только не может быть враждебна философии, но что философия не может быть наукой, если она не берет в основу данных, установленных религией.

10 Как ни странно это может показаться для людей, привыкших считать религию чем-то неточным, «ненаучным», фантастическим, нетвердым, науку же чем-то твердым, точным, неоспоримым, — в деле философии выходит как раз наоборот.

Религиозное понимание говорит: есть, прежде всего и несомненное всего, известное нам неопределимое нечто; нечто это есть наша душа и Бог. Но именно потому что мы знаем это прежде всего и несомненное всего, мы уже никак не можем ничем определить этого, а верим тому, что это *есть* и что это — *основа* всего; и на этой-то вере мы строим уже все наше дальнейшее учение. Религиозное понимание из всего того, что познаваемо человеком, выделяет то, что не подлежит определению, и говорит об этом: «Я не знаю». И такой пример по отношению к тому, чего не дано знать человеку, составляет первое и необходимейшее условие истинного знания. Таковы учения Зороастра, браминов, Будды, Лао-Тсе, Конфуция, Христа. Философское же понимание жизни, не видя различия или закрывая глаза на различие между познанием внешних явлений и познанием души и Бога, считает одинаково подлежащими рассудочным и словесным определениям химические соединения и сознание человеком своего «я», астрономические наблюдения и вычисления и признание начала жизни всего, смешивая определяемое с неопределяемым, познаваемое с сознаваемым, не переставая строить фантастические, отрицаемые одна другою, теории за теориями, стараясь определить неопределимое. Таковы учения о жизни Аристотелей, Платонов, Лейбницев, Локков, Гегелей, Спенсеров и многих и многих других, имя же им легион. В сущности же все эти учения представляют из себя или пустьские рассуждения о том, что не подлежит рассуждению, — рассуждения, которые могут назваться философистикой, но не философией, не любомудрием, а любомудрствовани-
30 ем, — или плохие повторения того, что по отношению нравственных законов выражено гораздо лучше в религиозных учениях.

* * *

Повторяю, — это от 18 сентября 1910 г., это — предсмертное и последнее, что написал Толстой. Все не ярко, не картинно, не сильно; все так, как мы привыкли за много лет читать у Л. Н. о философии, морали и жизни. Кровь выпущена, цветов и красок нет. Но отчего? Откуда этот язык? Эти как будто тавтологии и поворачивания все в одном, притом небольшом, круге, мыслей, тезисов? Именно, что это относится к Николаю Яковлевичу Гроту, профессору философии, председателю философского общества и основателю философского журнала, дает нам *ключ* к пониманию колера множества аналогичных рассуждений и сочинений Толстого. «Доели господина профессора русского человека», «съели книжные мудрецы натурального Саккия-Муни (Будда) из Ясной Поляны». Уже *век весь* — книжный; век — «ученый», арсеналом доказательств и принятого, утвердившегося

языка, утвердившейся фразеологии. Пыль пророка, пылающая пламенная страница не убедили бы их и их бесчисленных учеников, питомцев университета, читателей журналов и газет. И вот Толстой говорит совсем не свойственным ему языком, а языком обычных философских рассуждений, но на темы, противоположные философии, на темы религиозные, жизненные, «творческие». Вся философия — критика и анализ. Язык философский — критический и аналитический. Толстой же все хочет «снести живое яичко» (восточные религиозные системы): и эта тема, в сочетании с этим языком, образует «философствующего Толстого», который слишком часто и слишком основательно напоминал реторту средневекового алхимика, где варились мертвые вещества, в надежде произвести из них «живого человека», homunculus'a. В самом деле, всмотритесь в приведенное рассуждение. Оно — ценно и велико. Но чтобы выразить его, — нужно десять пламенеющих строк; это те десять строк, которыми во всякой религии очерчиваются сотворение человека, сотворение мира, искание Бога человеком. «И вдунул (Бог) в человека дыхание жизни, душу бессмертную»; «сотворил человека по образу Своему и подобию»; «как лань в пустыне ищет источника водного, так душа моя вечно ищет Тебя, Боже» (псалом Давида...) Но Толстой слишком знал, что все это гитается и уже не производит никакого впечатления на мир ученых и недоучек... Что же делать? И 10 пламенных строк, которые от себя и по-своему он мог бы великолепно сказать, мог бы сказать оригинально и по-новому, он заменил сотнями безжизненных, вялых строк, где еле оспаривал ученых и профессоров, оспаривал книжных философов с их вялою душою. Здесь можно привести следующее сообщение. Московское психологическое общество основал предшественник Н. Я. Грота по кафедре, профессор философии и психологии М. М. Троицкий. Он был последователем так называемого английского позитивизма, учений Экона, Локка, Юма, Джемса, Джона Милля и друг. Когда он оставил кафедру в университете, то одновременно оставил и председательствование в обществе, передав это своему заместителю Н. Я. Гроту, но оставаясь его почетным членом. И вот Грот предложил членам общества избрать в почетные собратья Л. Н. Толстого, который в своих дивных художественных анализах души человека уже давно был, в сущности, «почетным членом» всех психологических обществ всего света. Предложение Грота было, естественно, благородно и разумно. Но вот, видите ли, Толстой не написал никакой компиляции со ссылками на Вундта, Моудсли и проч., он не написал ни одной из тех бездарных компиляций, за которые преспокойно дают и «магистров», и «докторов философии». Это до того вывело из себя М. М. Троицкого, что он, бросив открыто Гроту обвинение в «заискивании популярности» и «искания рекламных имен», — вышел из общества и не дал ни одной строки в основанный Гротом журнал. Л. Н. Толстой, со всеми своими прониданиями в душу человеческую, со всем своим исканием первых философских истин, был для Троицкого «мужик», «неуч». Тут что-то проходит дикое у ученых: они готовы брать темами своих диссертаций, пожалуй, такие же философемы, какие вырабатывал и Толстой, — но с условием, чтобы они появились: 1) за тысячу лет до нашего времени; 2) были написаны на индусском, китайском и, самое меньшее, на греческом языке; 3) произошли в какой-нибудь стране расстоянием не меньше, чем на 1000 верст от России. Тогда это — тема, тогда это — предмет диссертации. Но Толстой, — «наш современник», живущий всего «в Тульской губернии», одевавшийся не в греческую хламиду, а в военный

мундир, да еще писавший романы и повести, — был *quantité négligeable*, «пренебрегаемую величиною» для одетого в строгий мундир министерства просвещения М. М. Троицкого, имевшего Анну 1-й степени на шее и написавшего сочинение, которого «от доски до доски» никто в России прочесть не мог, кроме наборщика, набиравшего его в типографии (знаменитая его «Наука о духе»). О совершенной «недоступности для чтения» этой книги писал в «Руси» И. С. Аксаков, говорили устно Н. Н. Страхов и Влад. С. Соловьёв. Оба последние не могли ее прочитать. На самом деле никакой «науки о духе» в этой книге не было: были схоластические, совершенно чудовищные, подразделения и подразделения, классификации и классификации «психических явлений», ни к чему не ведущие и ничем не кончавшиеся, да веленевая бумага (в издании Абрикосова), да чванство профессора, его самообожание и почти самообожение.

* * *

Докончим письмо-рассуждение Л. Н. Толстого к Константину Яковлевичу Гроту. Он говорит с глубокой жизненностью и пониманием:

Да, как ни странно это может показаться людям, никогда не думавшим об этом, — понимание жизни какого бы то ни было язычника, признающего необъяснимое начало всего, олицетворяемое им в каком бы то ни было идоле, — как бы неразумны ни были его понятия об этом необъяснимом начале, — такое понимание жизни все-таки несравненно выше жизнепонимания философа, не признающего неопределимых основ познания. Религиозный язычник признает нечто неопределимое, верит, что оно есть, и что есть основа всего; и на этом неопределимом, хорошо или дурно, строит свое понимание жизни, подчиняется этому неопределенному и руководится им в своих поступках. Философ же, пытаясь определить то, что определяет все остальное и потому не может быть определено, не имеет никакого твердого основания ни для построения своего понимания жизни, ни для руководства в своих поступках.

Оно и не может быть иначе, так как всякое знание есть установление отношений между причинами и следствиями, цепь же причин бесконечна, и потому явно, что исследование известного ряда причин в бесконечной цепи не может быть основой мирозерцания.

30 Как же быть? Где же взять ее? Рассуждение, т. е. деятельность ума, не даст такой основы. Нет ли у человека еще другого, кроме рассудочного, познания? И ответ очевиден: такое, совсем особенное от рассудочного, независимое от бесконечной цепи причин и последствий, познание каждый знает в себе. Познание это есть сознание своего духовного «я».

Когда человек непосредственно, сам находит это независимое от цепи причин и следствий познание, — он называет это сознанием; когда же он находит это общее всем людям сознание в религиозных учениях, — он называет его *верою*, в отличие от рассудочного познания. Таковы все веры, от древнейших до новейших. Сущность всех их в том, что, несмотря на те, часто нелепые, формы, которые они приняли в своем извращении, они все-таки дают воспринимающему их такие независимые от цели причин и последствий основы познания, которые одни только и дают возможность разумного мирозерцания. Так что научный философ, не признающий религиозных основ, неизбежно поставлен в необходимость, вращаясь в бесконечной цепи причин, отыскивает воображаемую и невозможную причину всех причин. Религиозный же человек сознает эту причину всех причин, *верит* в нее и, вследствие этого, имеет твердое понимание жизни и такое же

твердое руководство для своих поступков. Научный же философ не имеет и не может иметь ни того, ни другого.

Нужно заметить, что термин «научная философия» пестрил и книги, и журналы наши лет двадцать: «научную философию» искали и строили люди бездарные, никак не могшие различить вещей *sui generis* * и не понимавшие, что нельзя так же, как изложен «Курс физики» Гано, излагать наши мысли, догадки, чаяния... Впрочем, они и «догадки», и «чаяния» выбросили вон, — что нельзя с точностью «Курса физики» излагать предметы, над которыми трудилось человечество от Фалеса до Вундта. Ведь даже и «история», наука осязательная и точная, излагается уже не так, как физика; да и, вообще, всякую науку нужно излагать не «как другую» (науку), а «как лучшее»... И, может быть, есть такие, наконец, темы, где нужно «петь», а не «говорить»; так «в псалмах» излагал свои «знания» Давид, — очень твердые, уверенные знания; в «псалмах», аккомпанируемых арфою. Вот, еще есть «наука» или «область знания» — о красоте: ну, как эстетику изложить, как «Курс физики?». Можно так сказать, что нет ничего антинаучнее этих «научных философов», и никогда еще не рождалось на свет такой изнеможенности, как их мнимая «научная философия», где 1) нет никакой, на самом деле, «науки» и 2) решительно никакой нет философии.

На днях ученый профессор, — кончает Л. Н., — объяснял мне, как теперь уже все душевные свойства сведены к механическим причинам. «Еще только сознание не совсем объяснено, — говорил с поразительной наивностью ученый профессор. — Мы знаем уж всю машину, только еще не совсем знаем, чем и как она приводится в движение». Удивительно! Не сведено еще к механическим причинам только (очень хорошо это «только!») сознание. Не сведено еще, но профессор, очевидно, увидел, что вот-вот, на днях, получится сведение о том, что какой-нибудь профессор Шмидт из Берлина или Оксенберг из Франкфурга открыл механическую причину сознания, т. е. Бога в душе человека. Разве не очевидно, что старушка, верующая в матушку Казанскую Царицу Небесную, не только нравственно, но умственно несравненно выше этого ученого профессора.

Извините меня, Константин Яковлевич, что я так по-старчески разболтался. В оправдание могу сказать только то, что предмет этот, а именно ложное понятие о значении религии, столь распространенное среди нашего так называемого образованного общества, всегда занимал меня, занимает и теперь, занимал и тогда, когда мы дружили с Николаем Яковлевичем. Помню, что я указал ему на это его ложное понимание религии, разделяемое с ним и всеми учеными. Я помню, что он более или менее соглашался тогда со мною...

На эту же тему написано одно из писем Л. Н. к Гроту, от 1894 г. (без пометки числа и месяца, — стр. 222 «Сборника»). Оно очень картинно и дышит негодованием к материализму. Толстой пишет в нем:

«Истина с самых древних времен очищается кирпичом, как самовары. Она светла, но, чтобы быть еще светлее, — ее, должно быть, надо сначала запачкать кирпичом, и после этой операции она делается светлее. Истина доступна детям и скрыта от мудрствующих, т. е. сами мудрствующие замазывают ее. Эти мудрствующие наносят на нее кирпич, и им надо потереть ее. Теперь же наши материалисты наносят такого чудесного кирпича с грязью, что из-под него она должна

* своеобразный (лат.).

выйти особенно ясна». — И он советует Гроту заняться этим «снятием кирпича и грязи», наполненного материалистами в область религии и философии.

Нельзя понять у этих людей «кирича и грязи», почему они, собственно, влекутся к философии? Что их тянет туда? Отчего они не посвящают свои силы, и с успехом, просто и прямо физике, просто и прямо физиологии? Почему их тянет на *смежную* область? Не содержится ли в этом крошечном притяжении, в сущности, утвердительный ответ на все волнения Толстого? «Мы держим сальные свечи в руках („кирич“ Толстого), ибо другого осветительного материала нет в нашем мире: но с ними входим и хотим ими осветить какие-то подземные пещеры, какие-то скрытые от нас ходы, лабиринты, извивы... они нам *любопытнее*, чем сальный и кирпичный мир, из которого сюда спустились, хотя мы ничего себе и здесь не можем представить, кроме того, что всю жизнь было у нас перед глазами, — кирпича и сала. Кирпичом и салом мы начинаем, а чем кончим... Вот в незнании, *зем* кончим и *это* здесь найдем, — и лежит причина направления наших шагов, за которые нас осуждают чистые и строгие физики, чистые и строгие физиологи».

Натура Толстого была вся и до глубины религиозна; всегда религиозна. Именно после его кончины это движение его сыграет большую роль в судьбах умственного просвещения России.

20

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ

(Ответ К. И. Чуковскому и П. Б. Струве)

<I>

Разница между «честной прямой линией» и лукавыми «кривыми», как эллипсис и парабола, состоит в том, что по первой летают вороны, а по вторым движутся все небесные светила.

Писатели вообще не имеют права заниматься в литературе ни своими личностями, ни личностями друг друга: ибо читатель — не зритель, и вправе захлопнуть книгу, журнал или бросить газету, когда они требуют внимания к тому, что не представляет общего интереса. Поэтому, когда крайняя, настойчивая надобность вынуждает к этому автора, он может делать это только с крайне стесненным сердцем. И постараться сообщить своему писанию общий интерес; такой интерес, чтобы его рассуждения были применимы не к нему лично, объясняли не его одну личность (для большинства читателей безразличную), а применимы были ко множеству литературных явлений и объясняли «литературные портреты» теперешних или давних времен, для читателя уже интересные, любопытные, важные.

* * *

- Сколько можно иметь мнений, мыслей о предмете?
- Сколько угодно... Сколько есть «мыслей» в самом предмете: ибо нет предмета без мысли, и иногда — без множества в себе мыслей.
- Итак, по-вашему, можно иметь сколько угодно *нравственных* «взглядов на предмет», «убеждений» о нем?
- По-моему и вообще по умному — сколько угодно.
- Ну, а на каком же это расстоянии времени?
- На расстоянии одного дня и даже одного часа. При одушевлении — на расстоянии нескольких минут. 10
- Что же, у вас сто голов на плечах и сто сердец на груди?
- Одна голова и одно сердце, но непрерывно «тук, тук, тук». И это особенно тогда, когда вы спите, вам «лень» и ни до чего «дела нет».
- Критика подобрала эти ваши словечки, разбросанные там и здесь в статьях (К. И. Чуковский), — и спрашивает у вас ответа.
- Критика напрасно занимается не тем, до чего у нее есть дело. Но раз затронута моя «дремота», то я отвечу, что именно в те блаженные минуты, когда я «кнаружи» засыпаю — и наступают те «несколько минут», когда вдруг «сто убеждений» сложатся об одном предмете:

И я люблю — люблю мечты моей созданье. 20

Но как я не поэт, а немножко философ, то не «люблю», а «убежден», и не «мечту», а «мысль»...

- Страшно и как-то безнадежно для читателя... Где же тогда истина?
- В полноте всех мыслей. Разом. Со страхом выбрать одну. В *колебании*.
- Неужели же *колебание* — принцип?
- Первый в жизни. Единственный, который тверд. Тот, которым цветет все, и все — живет. Наступи-ка *устойчивость* — и мир закаменел бы, заледенел. Колебание «дня» и «ночи» ввел в природу Бог; и с такими оттенками: «заря», «рассвет». Именно «сто мнений», как я говорю: у Бога было тоже «сто мнений», как сделать «один день», и Он каждый его час и даже каждые десять минут сделал не похожими на другие. Там — солнышко, здесь — облачно, посырее, посуше — все!!! Но оставим творение природы и обратимся к творениям человека: и они все в «колебаниях», «переменах», в тенях и рассветах — до полной невозможности что-нибудь ухватить... Глупый растеривается их видя; «мертвое время» пеняет на них; но умный и умное время на них воспитывается, вооружается не содержанием их, а их методом, и сам получает способность рождать мысли... 30

В литературе теперь — говоря стихом Лермонтова о ветхой Грузии — все

...столпообразные руины.

Но это оттого, что она есть «бывшая литература», в том страшном смысле, как Горький вывел «бывших людей». Она вся застыла в торжественных позах, с важными жестами. Вся увита старыми «письменами»... Это — Помпея. Красивая, прочная и без жизни. В которую направляются «паломники»... 40

* * *

— Оставьте космогонию, которую вы запутываете ум. Мне нет дела до вашего «творения дня и ночи», так как религия для меня не существует. Я политик, скажите ваше мнение о нашей революции... ну, «былой революции». Вы написали о ней книгу — «Когда начальство ушло...». Но с вашими теперешними мыслями, *теперешними статьями* — она не вяжется. Что же прикажете думать и чему следовать?

— Статьям и книге. Статьям — непременно! Но и книге — непременно!

— Но ведь они исключают друг друга?

10 — Исключают. А вот вы *в своей живой душе* — и соедините. Поработайте. Потейте. А то что «брать готовенькое»... Ослиное дело. Я же и статьи пишу, и книгу написал с надеждой, что работаю не на конюшне, а в литературе. Ваш вопрос похож на вопрос Струве: он написал в ноябрьской книжке «Русской Мысли» что-то вроде «литературного портрета» моего, с прониканием в «глубину психологии»... А исходною точкою взял сопоставление, на нескольких страницах, мыслей о революции *теперь* и мыслей *тогда*, и, видя эти чередующиеся «да» и «нет» — растерялся, как Буриданов осел. Это — пример из логики, и потому не обидный. Буриданов осел стоял между чашкой воды и вязанкой сена и думал: «Я хочу есть, как же я повернусь в воде?». И глядя на сено: «Я хочу пить, как же я повернусь к сену?». И умер бедный, и, не напившись и не наевшись. Струве следовало в *живой душе* примирить мое «да» и «нет»: но живой души в нем не нашлось, и он написал... не буду повторять, что он написал.

20 — Вы все опять путаете своим «Буридановым ослом», как выше «днем» и «ночью»... Я великодушен, как все «наши», и ради дела соглашаюсь быть «ослом». Скажите же честному ослу, что вы думаете о 1905—1906 годах?

— Да и нет. Горесть и радость.

— Но разделите...

30 — Разделяю. Радость — это оживление. Расцветшие лица, упоение надеждами. Да просто — живость движения. Хотя я раз только был на митинге, но и то, что видел, а особенно то, что слышал о них, слышал от третьих не заинтересованных лиц — это незабываемо. Русь шумела, как хороший лес в бурю, и не один я сравнивал те дни с картиной «городов московских» в 1610—1611 году. И я любил это тогда, и помню и люблю сейчас. Но любил — картину, но любил — жизнь, но любил — искусство. Нет, это не была уже «обломовская Русь»... Вековой колорит страны пал, и рождался какой-то новый колорит...

— Дальше! Дальше!

40 — Что же «дальше»... Программы? Я и тогда, в 1905—1906 году, в них не вслушивался, просто от лени: а «лень» у меня наступает тогда, когда я вижу неважное, мелочь, глупости. Все и всякие программы хороши, когда их исполняют художники, и все и всякие программы гадки, когда их исполняют ремесленники. Церковь — она была прекрасна при Иоанне Златоусте и Юстиниане Великом, когда строился Софийский собор, а теперь...

— Это не интересно. Ваше отношение к государству?

— Оно холодновато. Не скрою — я анархист, насколько больше всего люблю сидеть дома. Но я вижу ваш испытующий взгляд и догадываюсь о задней мысли. Поэтому, не моргая перед опасностью, скажу, что *среди серии других вещей, этой*

совершенно не сродных, — мне также нравится и «старый король в Фуле»: без прелести в нем, настоящей прелести, разве сложилась бы о нем средневековая песенка и запела ли бы о нем прекрасная Гретхен? Эх, господа, поменьше суровости, побольше доброты, и — полная правда. В категориях всех вещей и в линии всех направлений есть прелестные вещи. Признаем это — и мир будет спасен. Будем выбирать «по добру», а не по «положению» — вот истина... Я, по крайней мере, настолько мало «политик», что «песня Гретхен» для меня решает все, и теперь я уже не шучу, а говорю страшно серьезно, со всем напряжением души: «песня Гретхен» решает для меня «политику», — и чему она улыбнется — тому улыбнусь и я, а что она проклянет и возненавидит — отвернусь от того и я. Даже еще подведу «философию» под ее улыбку и проклятие. Вам не нравится? Ответу стихом из Державина: ¹⁰

Таков, Фелица, я развратен.

Без поэзии для меня нет политики, и я тому и аплодирую, что поэтично, и до тех пор аплодирую, пока оно поэтично. Отлетела поэзия — «прощайте». Я уснул, умер и больше не «политик».

— А Мирабо? Шарлота Кордэ?

— Мирабо был гениален, а Шарлота Кордэ — поэтична. Аплодирую.

— А «мы»?..

— «Мы» то же, что Владимир Карлович Саблер после Златоуста и Софии Константинопольской. Или, как говорит Пушкин: ²⁰

Скука, холод и гранит.

«Все» обратили Шарлоту Кордэ в машину: вот ваш «террор», гильотина «террор». Бойня и гадость. Я лучше пойду к «старому королю в Фуле»... Постараюсь его найти в лесах, в древности, в летописях...

— А «бюрократия»?..

— С «бюрократией» он, конечно, будет не интересен, и тогда я запою песенку Мирабо...

— Но ведь после Мирабо была именно гильотина, т. е. машина, «мертвецких дел учреждение»?.. ³⁰

— Тут я плачу: и вот потому-то и возненавидел вообще «политику», что в ней бывали поэтические минуты, а вообще-то она есть дело жестокое, грубое, «дипломатическое» к тому же, т. е. хитрое и лгущее. Помня это, зная это, испытал это — я и «затворился дома», т. е. стал тихим и кротким анархистом, но по наружи «всех почитаю», а внутри... ничего не думая, кроме как о «завтра» и «сегодня», как какие-то пророки в пустыне. «Для меня важно, чтобы сегодня не шел дождь, а остальное в Божьей воле». Мало. Тихо. И не понимаю, почему я за это бесчестен (обвинение Струве).

Добавлю: началом эстетическим действительно управляется история, или, вернее — движется; и «поэтично» или «не поэтично» — это есть не один мой мотив. Великое начало красоты есть корень больших шумов в истории: ведь отчего мы «когда-то» возненавидели бюрократию? Очень «невыгодно», что ли? очень «страдали»? Но стало, к 1900—1903 году, очень скучно... С главы «Всемирная ску- ⁴⁰

ка» и начинается моя книга «Когда начальство ушло», — чего Струве не заметил или на что не обратил внимание: а это-то и есть в ней *главное*: мое объяснение *происхождения* 1905—1906 годов, насколько эти годы были правы, насколько они были *прекрасны*. Комиссии «открывались» и «закрывались»... Их высокопревосходительства что-то мямлили: а что — никто и разобрать не мог. Гигантской фигуры — ни одной.

И зашумело все... И поднялись все. И было хорошо. И пока было хорошо — я говорил: «Хорошо». А когда стало «худо» — я начал говорить: «Худо!». Вот смысл книги «Когда начальство ушло», посвященной описанию того, что «видел», «слышал», и тому «боренью мысли», какому предавался и сам. Но Струве не заметил, чем кончается книга, как не заметил, чем она началась. Она кончается тремя символическими страницами. На одной написано одно слово — «Увы», т. е. «все пропало», «надежды не удались». На следующей вопрос — «Что же случилось?», т. е. почему надежды обманулись? И на третьей — картинка, когда-то намазанная для меня А. М. Ремизовым по прочтении «жития одного грешного пустытника»: какая-то «мушкара», луна и «ведьма на помеле». Вот чем «все кончилось», — подумал я, подумал в 1907—1910 году. И все так написал. Почему же вся эта *правда и тогда, правда и теперь* образует «ложь и тогда и теперь»? О, Буриданов осел — ты никогда не напишешься.

20

<II>

Розанов не то, что безнравственный писатель, он органически безнравственная и безбожная натура.

П. Струве

Тут вопрос ставится о чем-то основном, органическом в писателе, об его существовании и его естестве, неотъемлемом и непоправимом.

Он же

Остановлюсь еще, и упорно, на тезисах, которые высказал, с предложением запомнить их в литературе, да и гг. «политикам». Поэзия есть хранитель политики; хочется преувеличить и добавить — ангел хранитель; и как он отлетел — *этому* направлению, от которого отлетел, надо говорить «прощай». Основывается это на том, что поэзия необыкновенно *жизненна*, а потому и покидает все безжизненное, не несущее в себе здорового зерна для развития в будущем; и еще на том, что она как-то внутренне «стара годами», имеет в уме своем что-то мудрое, древнее... Поэзия мудрее науки: и, например, в то время как «быть ученым» удастся часто и глупым (Вагнер в «Фаусте»), поэт ни один и никогда и никакой не был глуп, и это невозможно. Поэты все «преумницы», хоть поют «о птичках». И сама поэзия есть какое-то глубокое проникание в суть вещей, в «невидимый корень вещей», и в то же время глаз у нее обширный, схематический, заглядыва-

ющий за горизонт. Кто воспел «русскую осень» — уж, будьте уверены, есть в то же время и *глубоко чувствующий* «русский гражданин», способный к подвигу, к долгу, к терпению и страданию за родину. «Основные политические качества», неизмеримо высшие, чем способность «спеться в партию», или «сделать искусный ход в парламентской борьбе». Все это глупости, никому не нужные. Поэтому дар песен и даже дар чутко слушать песню — есть великий *государственный дар*, и его следовало бы принимать во внимание при установке «прав государственной службы», «голоса при выборах» и проч. Возьмем Байрона на Западе и у нас Гоголя: казалось, один все пел «стишки», а другой рассказывал смешные рассказы. Между тем насколько они видели *дальше* министров, — всех без исключения своего времени и даже ближайшего! — Итак, политики-специалисты должны обращать внимание не на то, много ли пишется в журналах и газетах статей «в защиту их направления»... Гораздо внимательнее они должны прислушиваться к тому, *куда* клонят песни...

«*Лира за меня, и я владею будущим!*» — вот тезис политика.

Теперь другой упор мысли: о многообразии идей и «убеждений» об одном предмете.

Есть социал-демократическая «История России» Шишко. Тема ее — «все в России гадко, было и есть, но не будет так, когда завладеем делом *мы*». Убеждение ясное, твердое, и, вероятно, у автора — «на всю жизнь». Да, это — тезис: он ясен, прозрачен. Возьмем теперь кого-нибудь до Карамзина, из архаических историков XVIII века: «В России все было славно. Побед тоже много. И при постоянном отечества преуспении будет еще больше». Хорошая история, во всяком случае, лучше бы и не надо, если бы она не оказалась *неверною*: одна линия, все в одну линию, все вылилось в бесконечное «да!». У нигилиста Шишко его отвратительное и, наконец, глупое заключается в постоянстве «нет!». Где ни лежит Россия, что русские ни делали, — все «ничего нет или очень глупо» для умницы Шишко. Но детски наивное у одного и старчески выродившееся у другого ложно в своей однолинейности, в своей однотонности, в *определенном одном мнении о предмете неизмеримо сложном!*

Перед нами Ключевский, и на прямой вопрос: «Была ли прекрасна история России?», «была ли она дурна», «светла», — он ничего не ответил.

Он опустил голову. От глупого вопрошателя он отвернется. Глуп сам вопрос «что такое?» о предмете *сложном и живом*.

Это — не геометрия. «Прямая линия» — да, вот ее определение: «кратчайшее расстояние между двумя точками». Но все сложное не имеет *одного определения*, а живое — даже и вообще неопределимо! Оно неопределимо потому, что *содержательность* всего живого уходит в бесконечность!

Отвернувшись от глупого, Ключевский взял бы за рукав умного и, введя в кабинет со «свитками» и книгами, сел бы и спросил:

— Ну, что вы хотите?

И на вопрос, «как, однако, все было *герно* в нашей истории», рассказал бы об Ульяне Осоргиной, русской непросвещенной вдове-дворянке, которая была «к народу» любящее, чем даже социал-демократы.

Тот, взяв его книжку «Добрые люди на Руси», через несколько дней пришел бы умиленный и растроганный и начал бы говорить в духе архаического историка XVIII века.

— А вот я вам скажу анекдот, — остановил бы его седой профессор и передал бы, как «урезывали язык» Артемию Волынскому на Ситном рынке, на Петербургской стороне.

Еще через несколько дней тот пришел бы яростный, как Шишко.

— «Оставьте Шишко — Шишке, лучше будем *угиться*!»

Вот...

* * *

Одно и то же предложение «дождь идет» может быть истинно и не истинно: оно истинно, когда *действительно* дождь идет, а когда солнце светит — уже не истинно. А как, по-видимому, просто и что, казалось бы, граматичнее и логичнее «идущего дождя». «Так просто и ясно»... Но уже Гераклит сказал, что «вещи текут», «утекают из-под рук» и «под мыслью»; и даже более удивительное сказал: «Не может один и тот же человек войти в реку и выйти из нее». Действительно — выйдя, он уже *на пять минут состарился*, химия его организма чуть-чуть *переменилась*, мелькнули у него совсем другие *мысли*, и он действительно «не *тот* человек, который за пять минут назад вошел в воду!» Действительно — «вышел из воды *другой человек*!»

Я волнуюсь... Да чем страстнее я любил или люблю революцию, чем внимательнее я в нее (в *лица* ее) всматривался, чем в ней я более *понял*, тем мнения мои о ней дальше разойдутся, в один и тот же день разойдутся... И вероятно, из ближайших друзей моих многие знают, что о всех «ближайших сердцу вещах» я говорю сплошь и рядом «в пятницу» совсем другие слова, *совсем в другом тоне*, чем какие говорил в «четверг»... Ибо в «четверг» и «пятницу» я различное *держал в уме* (часто не называя этого, что «держу в уме»), — иных лиц, иные факты, иные мотивы. От глубочайшего негодования — до восхищения.

Кажется, прост вопрос: «Был ли *реалист* Гоголь?» «Такой *натуральный* писатель», — твердили со времен Чернышевского. А на гоголевском празднике в Москве вдруг выступил яростный тезис, поддержанный почти школою (множеством голосов): «Гоголь был *фантаст*, не знавший действительности, даже ею *не интересовавшийся*». Во всяком случае, два мнения. О таком ясном предмете. «Спорили до зубов».

— Кто я? Говорю о себе самом, «таком ясном предмете». — Не знаю. Уж если чего я решительно не знаю, то это — кто я: и именно оттого, что слишком глубоко себя знаю. Чист? Не чист? Дик? Благоустроен? Умен? Подслеповат? Пошл? Великодушен? Как-то я услышал, и подряд два раза, сказанные слова «о хитрости». Никогда не приходило на ум, но стал вдумываться: и когда я стал думать об этой, казалось бы, в своем роде «прямой линии», но *в сложном существое живого человека*, то, к удивлению, нашел, что как одно направление («хитрость»), так и другое («простодушие») уходят решительно в бесконечность: 1) т. е. что и простодушью, детскости, наивности я сам не нашел предела, окончания; но с другой стороны и 2) сложности, преднамеренности, обдуманности, «хитрости», наконец, даже «лукавству» и «скрытности», тоже нет границ и предела. Каким образом? Ведь «несовместимо?». Быть «ребенку в старике» и «старiku в ребенке?» Оказывается — все *совместимо*.

Я сам себя не знаю.

И ни об одном предмете не имею одного мнения.

Но сумма моих мнений, однако, есть более полная истина, чем порознь «имеемое» (кем-либо мнение).

Я жив: и кто хочет «учиться» у меня (читатели) — слушайте же всего меня, ни на чем не останавливаясь, даже (особенно талантливые читатели) не останавливаясь и на «сумме», а от меня «боком» заражаясь тем волнением и жизнью, какой я горю вот много лет не уставая: и ты проживешь жизнь (над другими темами) также счастливо и грустно, плодотворно и опять грустно — до отчаяния, до могилы, «как бы до смерти», и опять переходя в озарения, до «не хочу более, довольно»!.. 10

Вот и все. Истина? Не истина? Можно ли построить формулу: «жизнь есть истина?». Не смею: жизнь есть «данное», «обреченное», «роковое», «благодатное»... И опять — определения бесконечны...

С этой точки зрения жизнь и грустна, и велика. Где ее концы? «Где моя душа?». У Бога, в аду?

Я стою печальный, только в надежде, что она «у Бога».

Ветер ли тут ходит? Тишина ли?..

Да что я люблю: тишину? бурю?

И опять — бесконечности; бесконечные ответы... Нигде «да» и нигде «нет»... 20

А вы приступаете с вопросом:

— Ваше *определенное мнение* о революции?.. И если вы его не дадите — вы относитесь *не гестно к вещам*...

Если я не знаю, «где моя душа», и если вместе с тем я глубоко знаю, *вижу*, что «она — *везде*», то этот вопрос просто истаивает по своей жесткости, по своей грубости, по своей короткости. Вы с сапогами и «кадетами» залезли в область, куда вам никогда не следовало входить и где нельзя на вас смотреть иначе, как на «иностранца», «чужака»... Здесь вам не принадлежит ни о чем судить и никого судить.

А вы судите... 30

<III>

Струве удивлен появлением моей книги «Когда начальство ушло...» в *том же 1910 году, в котором* я написал несколько разных статей о наших революционерах. Не обратив внимания на то, что нельзя же *одновременно*: 1) «льстить начальству» текущими статьями и 2) раздражать его публикацией книги, содержащей «похвалы самым левым течениям 1905–1906 годов» и «самое яркое и страстное обличие старого, дореволюционного строя» (отзыв самого Струве о книге «Когда начальство ушло»), он указывает *мотив* написания последних статей, «вымученных и бездарных», желанием моим заискать перед силою «вернувшегося начальства»... Человек берется разгадать мою «психологию» и не умеет сосчитать по пальцам до четырех: 40

1) Статьи — угодливо кланяются.

2) Книга — дает заушение.

3) Все — в *том же 1910 году*.

4) Ergo — Розанов «приспособляется и духовно льнет ко всякой в данный момент господствующей силе», «то — к революции, то — к реакции».

Замечу, что и книга «Когда начальство ушло» была в первых главах написана еще при Плеве, еще до японской войны: и как же тогда я «льстиво помогал освободительному движению», когда торжества его не было и оно не предвиделось (1901—1903 годы)?

Да и вообще к чему Струве принимает позу патетического защитника революции? Он, участник «Вех»? В свое время подыгрывавшийся к Витте *в силе* своею шумихою с марксизмом и походом против земледельческой, общинной и кустарной России? потом бегавший по Аптекарскому острову? ставивший затем у правого лагеря идею «национального лица» и «Великой России» и плящущий эту идею, как свое открытие, перед кадетами, левыми и октябристами? всегда, в сущности, бродивший между кадетами и октябристами и — бывший *volens-nolens* * бесплатным официозом? Ибо быть официозом есть натура всякого немца. Неужели не понимает Струве, что в самых даже реакционных своих статьях я все же гораздо радикальнее, *потому что мечтательнее* и, следовательно, построю идеал гораздо *дальше от эмпирической действительности*, нежели он, тихий и кроткий штутгартский филистер и петербургский благонамеренный обыватель? Струве радикал? Струве революционер? Вся Россия может рассмеяться, а «Россия» Гурлянда и Сыромятникова может потрепать его по плечу, сказав: «Wollen Sie machen eine Revolution, unser Kamarad? Хе-хе-хе... Haben Sie einen grossen Brauning?» ** Ха-ха-ха! Вы остроумны и понимаете, что такое германский хороший *виц...*».

Возвращаемся к статье его с «защитой революции».

От своих читателей он скрывает поводы, по которым были мною написаны эти статьи: 1) убийство революционерами влюбленной девушки, которая, войдя в комнату любимого человека в его отсутствие, рылась у него в книгах и бумагах. Хотя революционер знал, что она его много лет и безнадежно любит, но скрыл это от товарищей-ссылных, обвинил ее перед ними в возможном шпионстве; они заманили ее в лес и там умертвили. 2) Подделка передовых статей в газете «Страна» на другой день после 1 марта, где террористы притворились мирными конституционалистами. Хотелось бы прибавить теперь 3) — преследование упреками жены одного сосланного в каторгу революционера, доведшими ее до самоубийства вместе с малолетним сыном. Она очень любила мужа, и, чтобы вернуть его себе и семье, подала прошение на Высочайшее Имя... Они так на нее накнулись, осыпали такими оскорбительными, измучивающими словами, что она, не дождавшись мужа, покончила с собой и с сыном, лет 7 мальчиком; с последним, вероятно, для того, чтобы не оставлять его в злобную жертву товарищам. Они заели бы и его, как «отроде таковской матери», как съели ее. Событие это случилось последний месяц в Самаре. Вот на этих «добренских людей», до того «любящих человечество», я и восстал, но распространительно, расширяя суждение вообще на «породу этих людей», как мы по поводу *нескольких инквизиторов*, жегших людей, осуждаем *вообще жестокость католиков*, «делавших» или

* поневоле (*лат.*).

** Хотите ли вы совершить революцию, наш товарищ? <...> Есть ли у вас большой браунинг? (*нем.*).

«допустивших» это... Суждение обычное, суждение не точное, но вместе гигиенично-предупредительное: «не делайте впредь», «остерегитесь», «устыдитесь», «до чего вы дошли»... По-моему, в этих суждениях я был верен началам свободы и человечности, ради коих, в ожидании коих, в надежде на которые я приветствовал и события 1905—1906 года. Но прямо и словесно, конечно, тут есть разница. И Струве, который есть только «политик», — «политик» без поэзии, — лиц людей не различающий, «вдов» и «сирот» не считающий, «невест» (убитая девушка) тоже не считающий... Да, забыл добавить: собственно настоящим мотивом моим напасть на первомагтовцев было то, что ребенка, рожденного Гесею Гельфман, всю жизнь самоотверженно служившей им, никто из «товарищей» или богатых «сочувственников» в обществе, ни г. Плещеев, ни г. Полонский, — никто, никто не взял по смерти матери на воспитание себе, не «усыновил» и проч., а его как щенка и «ненужный кусок мяса» отправили в воспитательский дом. Тоже «душеньки»...

Ну, я немножко и раскричался...

Струве, мертвенный внутри, написал по этому поводу:

«Я никогда не думал, что Розанов так легко от глубочайшей любовной солидарности с самыми крайними течениями освободительного движения перейдет к беспардонному оплевыванию этих течений и даже доведет свой цинизм до того, что будет революцию и лобызать (*изданы книги в 1910 г.*), и оплевывать одновременно... Цинизм есть надлежащая, и единственная надлежащая, характеристика для этих литературных жестов. Об оправдании их не может быть и речи, ни с какой точки зрения»...

И «пошел и пошел» щипать траву...

* * *

Я говорил раньше о *переменах* в своих мыслях... Но в одном я никогда не менялся: в верном служении своему глазу. В верной *передаче* словом впечатлений глаза. В сохранении свежей, позволю сказать — юной, впечатлительности. Где начинается факт — для писателей начинается священство: ведь факт не я, не мое: как же я его изменю? «Меняй мысли, свое создание: а фактов не трогай, они создание природы». И факты *загибами* своими, своею *изменчивостью*, своим *предательством* роят новые и новые мысли, совсем другие мысли, «чем вчера». Увы, литература, превратившаяся в

Столпообразные руины,

вся преданная пафосу a priori, не считающаяся с a posteriori, утратила (или скрывает?) свежую впечатлительность. И исчезла из нее вообще *правда жизни*... Условность и искусственность печати сжимает всякого «натурального человека», «натурального писателя», и он, подобно рыбе из-под льда, бросающейся к проруби, — бросается из издания в издание... к левым, к правым, к средним, ко всяким. Вот и источник моих «хождений из консервативных изданий в либеральные» (упрек Струве, с воображением, что я в этом «покаюсь и впредь не буду»). Струве мог бы припомнить, что в 1901—1903 гг. я из «семинарских изданий»,

с ними не разрывая, уходил в декадентско-художественные («Мир Искусства»)... И здесь, и там был совершенно искренним, конечно же! Это разве можно подделывать?! Редакторы (и сотрудники) «Мира Искусства» не проходили долгого... «хождения по церкви»: и им могло казаться, что я от церкви «отошел»... Да, я отошел в ней от *многого* (иначе и не пошел бы в «Мир Искусства»), но не от всего, да и отошел-то немножко «плача и рыдая», как говорится в церковном стихе. Но уже это все было от «Мира Искусства» скрыто, и там я об этом не распространялся, просто не найдя бы слушателя. Зачем? Какая цель? Я с разными говорю на разных и языках: но говорю слова только *мои*, именно ту часть *моих слов*, которая чувствуется и оказывается общемо со слушателем. В каждом издании я виден *не весь*: но в каждом издании видна *моя истина, истинно-существующее* во мне! Оттого же в 1895 или 96 году, сотрудничая в «Русском Вестнике», я предложил Н. К. Михайловскому сотрудничество в «Русск. Богатстве», чему он *не удивился*. Я менялся: но, должно быть, Струве никогда не испытал рождающих движений души, не знал любящей мысли, если воображает, что можно «покончить со старым», его вовсе забыть?! Знает ли он, что уже глубоко возненавидев «свое прежнее», его нельзя все-таки оторвать, и не продолжать таить под «старым пеплом» все еще привязанность к этому, уже теперь проклиняемому? Струве вот этого-то ожога и не знает: как клясть, все еще любя? Он «защитник революции»... да ему и в голову не приходит, что в тех самых «ругательных против революции» статьях, на которые он навалился холодным боком рыбы, все еще бьется кровь автора статей 1905—1906 гг., и в них именно больше *идеальной связи с революционным духом*, обновительным, чем в его теперешней защите революции. Связь эта *в тоне*, а не в буквальных словах. Вот этого-то *тона* (как «патина» в старых монетах) никак не умеет подделать Струве, не умеют подделать все они, льстецы революции... Мне же не для чего льстить революционерам, и даже я могу их (в слове) казнить: так как о чем бы я не писал, и в каком бы духе ни писал, о церкви, об обществе, о литературе, *по устройству души моей* «революция» бежит везде в моих строках и внутренне движет их: все и всякие мои мысли, самые реакционные, все равно. *Революция не формула, а дух*... Ну, вот «духа»-то ее вам и не удастся заполучить, а у меня это «свое», «врожденное»...

Кончу о воспоминаниях и о пластах «старого» в душе: вот и декаденты — уже «прошли»... сами от себя отреклись или осмеяны другими. Кажется, одна «история»... Но и их я помню всех, и люблю, и ничего не забыл, и именно как *людей*, как *образы и жизнь*... Все они были, в их милой страннической психологии, точно «сейчас переехав на другую квартиру»: ни быта, ни преданий... Слетались, разлетались... И все «кучкой», «роем»... Иногда — два «роя»... Все, даже и старые — точно дети... Поистине «не имеют *нигде* пребывающего града»... Точно все за «городом». Вот... Но и когда я был с ними, *я, не говоря им, любил* старую елецкую церковку, костромскую «Косьмы и Дамиана»: *в то самое время любил*, когда им говорил об египетской религии и надевал новую египетскую красоту (ряд статей в «Мире искусства»)... Все в смеси. Огонь и лед. Никогда этого не узнает Струве... Кладутся серии впечатлений «так», кладутся серии впечатлений «поперек», кладутся серии впечатлений «совсем напротив». Глазок все свеж: но и душа памятлива. Стынет ниже, но погаснуть никогда не может: и прокопай туда канавку (одно новое впечатленье): вдруг начнет «чадить» совсем другой огонь, чем вчера... *чадит рядом, сегодня же, около этого другого «огня».*

А Чуковский и Струве пишут о моем «холоде» и «цинизме», равнодушии «ко всякой истине»... только о моей будто бы «художественной впечатлительности»... «Художественность» всегда была для меня последнее дело, и холодной эстетикой не подернута ни одна моя страница. Да неужели это не чувствуется? Вся сила моя или вообще, если есть какие «качества», и лежит в любви: но реальной любви и к реальному... «Ты облетел вселенную», — говорит Бог Сатане в «Книге Иова»: как ни удрученно в чем-нибудь походить на злого духа, но и о себе я тоже могу сказать, что «облетел вселенную», — *большую гостью привязанностям*. И раз я в себе соединил до полного реализма и уездного «дьячка с косичкой», и «странствующего декадента», — *имея всю простую и твердую веру* этого дьячка, и веря ¹⁰ в то же время в поклонение «живому зерну» (до разлома и размола) в Луксорском храме (Египет): то и без пояснений ясно, что «побывал я везде». И не Струве, медлительно «ползающему на чреве» (книга Бытия, 4-я глава), со мной спорить, — Струве, который не любил ничего...

УСЕРДСТВУЮЩИЙ МИТРОФАН

Один господин, с «благочестивой бородой», но совсем без головы, не взлюбил почему-то современной русской литературы. И, скорбя об уничтожении цензуры и надеясь на ее восстановление, много лет посвятил на составление обширного увража, куда занес выписки из «богомерзких» писаний Кузьмина, Арцыбашева, Каменского, Розанова, Горького, Мережковского, Протопопова, ²⁰ Андреева и, кажется, еще многих других литераторов. Старался этот господин с усердием чиновника старой цензуры, и как никакой чиновник не может оставить своего труда «втуне», то и он решился сообщить своему увражу «движение» для «спасения отечества». С сею целью он вошел куда-то с «ходатайством о пресечении» и будто бы переслал свой «увраж»... Но он оказался так велик, что для прочтения его не нашлось ни у кого охоты. Читавшие персоны заметили только, что содержание оно близко по содержанию и мотивам с известною «запискою» саратовского архиепископа, представленною в Казани на миссионерский съезд, но гораздо слабее ее и даже малограмотно в отношении литературы и в отношении церковного учения. Сей кустарь-богослов и никем не нанятый цензор ³⁰ свалил в одну кучу писателей, не имеющих ничего между собою общего и даже между собою непримиримо враждебных. К тому же едва ли он не из секты хлыстов: он, между прочим, ближний приятель знаменитого Григория Распутина, устраивавшего в банях радения с петербургскими барынями. Но хлысты, «радея» сами, как известно, гнушаются «плотью» и не допускают вовсе христианского брака, как «скверны». И Распутин, когда «радел», то убеждал барынь, что он это делает для познания, свободен ли его «дух» от соблазнов и сможет ли перенести зрелище нагих женских тел без вождления. А когда «вождление» наступало, и он его удовлетворял, то объяснял, что в «совершенство» еще не пришел, и надо опять попоститься и потом опять порадеть. Так Григорий Распутин ⁴⁰ проводил свои дни в удовольствии, молитве и посте. Но совершенно известно, что «скверны» брака он не признавал, «скверну» полового общения отвергал

и на эту удочку поймал не одного аскета... Возвращаемся к цензору нравов и литературы. И его обуяла мысль, что всякое половое вожделение есть «скверна» — мысль чисто хлыстовская и враждебная церкви, которая признает и утверждает благословением христианский брак. Потому он и набрал в кучу совершенно разнородных писателей, заметив у них то общее, что все они разрабатывают проблему пола. Но он не заметил, что в то время, как Каменский, Арцыбашев и некоторые другие услажденно описывают всякие «падения» и, в сущности, описывают их хлыстовский «свальный грех», но только разбитый на отдельные сцены, — другие писатели, как Мережковский и Розанов, стараются поднять к серьезному половую жизнь человека и в этом отношении не имеют другой задачи и другого понимания, чем какое церковь выразила, вводя венчание и утверждая институт брака.

Поистине: «своя своих не познаша»...

Старец сей, — мы слышали, — тоже с Волги, но имеет пребывание не в Саратове, а в Самаре. Что это за благодатный угол богословов, невежд и сыщиков? Хоть бы «Волгарь» постарался просветить своих «ближайших читателей», а то они совсем заросли блохами, клопами и тому подобной нечистью, какую Ной напрасно набрал себе в ковчег и не дал ей погибнуть в очистительном потоке.

ЖИЗНЬ И СЧАСТЬЕ

На вечную и тревожную, особенно в наше время, тему «О ценности жизни» прочел 12 декабря интересную лекцию в пользу 10-го попечительства о бедных, доктор философии В. О. Баранов. Произнесена была лекция вполне прекрасно, и нужно удивляться, отчего лектор не выступает чаще перед петербургским обществом. Правда, он уже старец, когда-то переписывавшийся с Д. С. Миллем и Ч. Дарвином на научные и философские темы, но он полон энергии, свежести и внутреннего душевного движения. Достоинство лекции — точный научный язык, интересные данные из области науки и философии, от старых времен Декарта до новейших теорий о радиации, критика нравственных воззрений античного мира и германской философии, все это — связанное и освещенное живым умом автора. Исходною же точкою послужили самоубийства нашего времени, о которых кто только не думает теперь... «Не нашедшие смысла в жизни» суть люди, лишенные стойкого мировоззрения. Старое, традиционное воззрение, которое нам надыхали история и церковь, отвергнуто как «наивное», отвергнуто без достаточного его знания, без достаточного в него вникания; а поставить что-нибудь взамен его *свое, твердое* — не хватает сил... Не хватает знания, образования, способностей... Люди поднимаются над землей, делают взлет: а еще крылья не отросли. Таковы все «преждевременные самоубийства», как их можно обобщить. Самоубийцами делаются не только люди очень развитые, но (судя по оставленным запискам) иногда и совершенно не развитые. Одна самоубийца, например, как на мотив решения указала на то, что у нее украли новую кофточку... Убивают себя от голода жизни, убивают себя от пресыщения жизни. Никогда, однако, не убивают себя на переходе от голода хоть к какому-нибудь насыщению. Не уби-

вают себя поднимающиеся в жизни, поднимающиеся в труде, поднимающиеся в замыслах, в начинании: вообще — которым есть *куда лететь*. Убивают всегда «перед стеной». Самая страшная, потому что совершенно неодолимая стена — это *потухшие собственные желания*, всяческое «пресыщение», материальное или духовное. Например, никогда не убивают себя коллекционеры и нельзя представить себе, чтобы прекратил свою жизнь такой «собиратель»: ибо он каждый день живет в ожидании и надежде. Так же спасает от самоубийства всякая любознательность, даже на мелкой степени любопытства. Сплетники, конечно, никогда не «кончают с собой». Вообще из *отрицательных наблюдений* можно было бы построить хороший *положительный вывод*: «кто ж именно себя убивает»,¹⁰ а в связи с этим и «*погему убивают?*». Автор от вопроса о «ценности жизни» перешел к изложению и критике теорий «счастья», каковыми он признает все без исключения античные моральные мировоззрения, не исключая и стоиков. Здесь воззрение г. Баранова было ново, оригинально и — *убедительно*. Конечно, и стоицизм есть только благородный эгоизм; он заключает в зерне своем «счастье» возвышенных душ, «блаженство» или «удовольствие» гедонистов. Германские теории все построены на идее «долга», т. е. чего-то не «мне» нужного, но «кому-то», — народу, государству, человечеству, Богу, вечности. Но, конечно, это — другое понятие, чем «счастье», чем «интерес моей жизни». В «пессимизм» теоретический и особенно практический, с самоубийством в заключение, никогда не²⁰ впадает человек, любящий окружающее, любящий людей больше, чем сухой мирок своего «я». Движимый мотивом — «нельзя быть счастливым в несчастном обществе», «нельзя быть счастливым, видя кого-нибудь несчастным» — он найдет неисчислимо приложение своим силам, он выйдет на дорогу, нигде не кончающуюся... И перед ним никогда не поднимется глухая стена «бессмысленного, ненужного и невозможного»...

ТОЛСТОЙ И КРАПИВЕНСКИЕ АБОРИГЕНЫ

Полны остроумия воспоминания профессора Московской духовной академии г. С. Плаголева о Толстом. Студенты подложили ему 9 ноября перед лекцией записочку на кафедру: «Просим вас сказать свое слово по поводу смерти Л. Н. Т-го».³⁰ Маститый профессор, читающий историю религий и написавший по предмету своей кафедры волюминозные труды, был застигнут врасплох, и произнес «слово» без подготовки и попросту. Но оно оказалось в высшей степени живым и интересным, потому что оказалось, что и Толстой, и профессор — уроженцы одного уезда и города, и профессор еще 10-летним мальчиком видал, как «барин-граф» приезжал в его родной городок то как мировой посредник, то как член училищного совета, то как земец и, наконец, «ревизор училища», которого мальчуганы естественно побаивались. «Толстого я начал читать, лишь только выучился читать, как и все наши крапивенские школьники. Книгами для чтения Толстого тогда были наполнены библиотеки наших начальных школ». И тогда, наезжая в Крапивну, он поражал всех оригинальностью своих взглядов, «в которых, впрочем, не упорствовал». То он скажет, что «земская медицина совершенно бесполезна, и что два ведра воды нужнее, чем все лекарства», то заявит, что «воров не⁴⁰

надо сажать в острог». Все это удивляло тихих обитателей Крапивны, удивляло тем мирным удивлением «без последствий», с каким они смотрели бы на воздушный шар или на первый локомотив железной дороги. Годы, однако, шли... Толстой реже и реже навещался в Крапивну, а крапивенцы меньше и меньше стали интересоваться Толстым. «По мере того, как имя его становилось всемирным, интерес к нему ближайшего городка все падал», — говорит профессор-старожил. И объясняет почему.

Нельзя удивляться этому. То новое, что Толстой начал возвещать миру, не было новостью для его родного города. Видите ли, ново все то, что хорошо забыто. Лекция о том, что земля неподвижна, может быть сенсационною и представляться парадоксальною в Лондоне или Берлине, но когда старший брат Льва Николаевича, Сергей Николаевич, крапивенский предводитель дворянства, привез в Крапивну сообщение: «брат говорит, что земля не движется», то какую сенсацию могло произвести это отрицание коперниковской теории в городе, где очень немногие слышали о ней, а большинство жили, совсем не подозревая о ее существовании? Точно так же, какое значение могло иметь для Крапивны воспроизведение Толстым рассуждений Руссо о вреде культуры, когда во всем городе едва ли можно было найти 10 человек, знающих приведение дробей к одному знаменателю, когда учитель русского языка писал здесь «кулыбель», а местный гений, энциклопедист и вольнодумец, приобретя книги Дарвина, оставил их неразрезанными? Толстой стал косить, пахать землю, шить сапоги и класть печи. То, что Толстой умел все это делать, не могло удивлять крапивенцев. Многие, занимавшие в городе по своему состоянию или положению высшие места, начали свою карьеру с нищеты, и раньше, чем познакомиться с сапогами, сами плели для себя лапти. Местные представители культуры, духовные лица, понятно, хорошо были знакомы с искусством косьбы и пахоты, ибо отцы и матери их сами и пахали, и жали. Но другой вопрос, зачем Толстой стал это делать, когда у него не было нужды? Зачем он склал печку бедной вдове и склал будто бы по ее отзыву неважно («а как ему скажешь, графу-то?»), когда мог бы помочь ей деньгами? Над этим вопросом не задумывались: барское чудачество, баловничество. Притом, это чудачество не представлялось и оригинальным. Теория «опрошения» была применена на практике некоторыми недоучившимися джентльменами, прибывшими в Крапивну из столиц; но так как у этих джентльменов не было ни средств, ни умения, то понятно, что их опыты потерпели крушение. Толстой стал писать богословские трактаты и подверг критике катехизис Филарета, разобрал догматическое богословие митрополита Макария. Но религиозная жизнь моей православной родины мало соприкасалась с подвергнутыми Толстым критическому анализу творениями. Из катехизиса помнили лишь казавшиеся странными славянские выражения, а на догматику Макария местные представители богословского знания смотрели, как на такой бездонный кладезь мудрости, в который самое лучшее не пытаются проникнуть. У нас верили просто, и с одинаковым равнодушием проходили мимо нападений на веру, и защиты веры. У нас, — замечает профессор, — вопросы если и были какие, то сводились к одному: есть Бог или нет? О бытии атеизма все знали с 60-х годов: но Толстой атеистом никогда не высказывал себя. А разобраться в том, как Толстой понимает Бога и как представляет свои отношения к Нему, — это представлялось и долгим, и трудным, и бесполезным.

Между тем, когда Толстой стал жить своею новою жизнью и писать свои богословские трактаты, он перестал совсем жить интересами своего уезда, он отошел от него. Новые занятия Толстого были чужды его окружающим; вот почему, когда он стал привлекать внимание мира, внимание ближних к нему ослабело.

Это очень живая страничка. Как «богоспасаемая Крапивна», живет, в сущности, и вся «богоспасаемая Русь». Все «под Богом» — и дальше этого, ей-ей, богословию не следовало бы ходить. «Только запутаешься и навредишь себе». — По крайней мере, в раю, у Адама и Евы, дальше этого богословие не шло. «Ходили под Богом», среди райских дерев. И отлично. Лучше рая ничего не выдумаешь: Победоносцев от этого и задумывал «сократить академическое богословие». Может быть, это и очень злостно и глупо, а может быть, это и в высшей степени мудро, дальновидно и благостно. Даже Вольтер дальше этой мысли не пошел: «не надо богословов и богословия»; только тот с хитростью и усмешкой, а Победоносцев серьезно и патетически, и вполне *нравственно*. «Мудрецы двух полюсов сходятся», а в основе их лежит просто город Крапивна: немножко есть, немножко пить, а там все «Бог устроит». И Диоген то же говорил. Вообще, в сущности, мудрецам «всех стран» спорить не о чем. Только пыль разводят.

Два мимолетных воспоминания о Толстом. «Толстой — художник, а не мыслитель», это аксиома о нем. Но нужно сказать больше: Толстой был необыкновенно сложен как психолог-наблюдатель и даже как метафизик-наблюдатель. И его концепции мира, рождения, смерти, концепция Бога в высшей степени интересны и важны, пока в них чувствуется *глаз* наблюдателя, чрезвычайно долго жившего. Но не только как мыслитель, но даже как *восприниматель* чужой мысли, Толстой был азбучен, и нестерпимо азбучен. Просто даже «складов» у него не выходило. Его сведение Евангелия к *морали* и отрицание в Евангелии и в Христе *неисповедимого* и *тайны* основывается не на злостности и злоухищрении, но именно на этом дефекте, что даже в *восприятии* он дальше «складов» не шел. Помню, при единственном свидании, сейчас после встречи, он сел и начал говорить о новом труде Мечникова, что «это — вздор», а затем и вообще об естествознании, что это — «легкомыслие». Так как я был другом Страхова и хорошо знал его книги, то увидел и услышал, что он, в сущности, повторяет мысли Страхова (его личного друга) в его споре с Бутлеровым; повторяет его книгу «Об основных понятиях физиологии и психологии». Но что говорил Страхов с полным знанием этих наук и особенно их *истории* и *методов*, сменившихся в истории, то Толстой повторял без всякого понимания сущности дела, сущности спора. И повторял-то он вяло, но *самоуверенно*. Все это являло печальное зрелище и не скажу, чтобы красиво.

Впечатление было совершенно иное, когда он заговорил (через несколько часов) *от себя*, на любимые *свои личные темы*, подкрепляя свои тезисы или, вернее, свои догадки ссылками на народ, на его мнения, на «виденное и слышанное». Это было великолепно! Все было полно красок и *ума!*

Еще воспоминание: в 1894 году Страхов сделал на свой счет издание (2-е) моей книги «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». В начале же этой книги говорилось много о Гоголе и *после-гоголевской* литературе, именно о Достоевском и Толстом. Говорилось, что они противодействовали отрицательному гению Гоголя; и вместе указывалось, что вразрез со своим временем, оба эти писателя устремили внимание на мир человеческой души, всего надеясь от души, от *работы* над душою, вопреки чаяниям общества 80-х годов, всего надеявшихся от «общественных учреждений» (конституция, парламентаризм). Книга была издана к весне, а летом Страхов по обычаю проводил несколько недель

в Ясной Поляне. Толстого он чрезвычайно любил и придавал величайшее значение нравственной и религиозной тревоге, какую он поднял.

Как-то он мне и сказал, — много позднее, — что он взял на это лето с собою и изданную им мою книгу. «И мы там читали вместе» (должно быть, за общим столом).

— Что же Толстой? — с понятным интересом спросил я.

Чуть-чуть Страхов помолчал, и сказал, сделав движение рукой (как «махнул»).

— Он не понимал.

10 Я изумился.

— Он ничего не понял. Не понял самой речи... Ваших слов и никакой мысли.

Что это такое? Почему?

Сложности *мысли* там никакой не было, «философии» — никакой. Но мы все «грешные», пишем после Гоголя не старой пушкинской прозой, этой ясной и простой прозой, без множества придаточных предложений, а гоголевской прозой, запутанной в отношении синтаксиса, но более психологически-сложной, выразительной и яркой, — более «язвенной», с «грешком». Язык Пушкина — язык ангелов, язык Гоголя — язык демонов. Что делать. Грешный человек, тяжело грешный — просто ничего не сумел бы написать «прозой Пушкина». Сколько над этим ни «ахай», ничего с этим не поделаешь. Вот этой «грешной» гоголевской прозы, с ее загибами и подавленным пламенем, по-видимому, совсем не понимал и даже не *воспринимал* Толстой. Нельзя ведь не заметить, что и все его «еретичество» есть совершенно безгрешное. «Давайте только любить ближнего»: это язык ангелов. Но как только посложнее проза и посложнее *мысль, построение*, — он отходил в сторону.

Или пытаюсь вникнуть — писал то, что писал в своих богословских трактатах.

ЗАБЫТОЕ ВОЗЛЕ ТОЛСТОГО...

30 Великое «не сотвори себе кумира» — остается интимным и около могилы. В множестве речей, звучавших недавно о Толстом, почти отсутствовало связывание его с предшествующею литературою; почти отсутствовало воспоминание о Пушкине. И *от одного этого* все речи звучали риторикой. «Он *один*», «он *наш*», «им все *конгилось*», и чуть-чуть не договаривали в преувеличении, что им «все началось».

Между тем «единственный-то» и «всеобще наш, русский», — *без разделений и до разделения* — остается все-таки милый и прекрасный, всемирный и великий Пушкин.

40 Сейчас же и около самой могилы Толстого, и нисколько не в ущерб ему, даже не расходясь с ним в мнении, — мы должны сказать, и должны особенно не переставать твердить это в лицо всему миру, теперь уже читающему по-русски, — что гений Пушкина неизмеримо выше и чище, спокойнее и универсальнее, наконец, прямо могущественнее и поэтичнее гения Толстого.

Как могущественнее его и гений Гоголя и Лермонтова.

Не торопитесь кричать и выслушайте.

Величие гения заключается в силе; а сила достаточно определяется немногими страницами, одной «вещью». «Анчара» все-таки не написал и не *смог* бы написать Толстой, — сколько бы ни усиливался и в минуту величайшего своего вдохновения. А Пушкин написал «так просто», — в одно утро, «когда шел дождь». Вот пока дождь шел, он и написал «Анчара». А ведь «Анчар» — эти 18—20 строк, стоят «Казаков», одной из жемчужин в короне Толстого. Я даже решусь сказать, что «Анчар» так же содержателен, всемірен и страшен, как «Смерть Ивана Ильича».

Такой прелести, такой изумительной прелести, как «Моцарт и Сальери», Толстой ни одной не написал. Это было выше его сил и выше *красоты его гения*. Красота гения Толстого — высока; но гений Пушкина не только выше, но *неизмеримо* выше, чем гений Толстого.

А его «Скупой Рыцарь»:

А л ь б е р т

Ужель отец меня переживет?

Ж и д

Как знать? Дни наши сочтены не нами;
Цвел юноша вechбр, а нынче умер,
И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу.

20

Это так же хорошо, вещь, страшно, как «Смерть Ивана Ильича»... Только ведь это всего пять строк!

Далее — Лермонтов. Возьмем прозу. Такой прелести, как «Тамань», — ни одной нет у Толстого. Сложнее, больше, интереснее, — конечно, есть: но это не решает вопроса о качестве и силе; «качество» и «сила» в слове — это только прелесть. Конечно, Толстой дольше жил, больше видел, наконец, он жил в неизмеримо более зрелую эпоху, — и, естественно, написал более интересные вещи, чем крошечная «Тамань», почти к тому же лишенная содержания. Но не только «Тамань», но и еще «Отрывок неоконченной повести», где упоминается дом «Штос» и играют в «штос» так изумительны по *форме*, по *стилю*, — что ни одно произведение и ни одна отдельная страница у Толстого не сравнится с ними.

30

Ни с стихотворением:

Из-под таинственной холодной полумаски
Звучал мне голос твой, отраднй, как мечта...
.....
И создал я тогда в моем воображеньи
По легким признакам красавицу мою.
.....
И все мне кажется: живые эти речи
В года минувшие слышал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
Мы вновь увидимся, как старые друзья.

40

10 Вся публицистика Толстого, занимающая несколько томов, слабее и *менее впечатлительна*, чем лермонтовские «1-е января», «Люблю отчизну я, но странною любовью» и «Дума» («Печально я гляжу на наше поколение»)... если присоединить к этому «Кинжал» и «Пророк», — то блеск Лермонтова, блеск и могущество, совершенно зальют ватные «Размышления о московской переписке» и «Что я видел в Ржановском доме». «Видел» то, что мы все увидим, если пойдем; а «рассуждения» таковы, что от них никто не побежал в Ржановский дом «тоже посмотреть». Но прочитав «1-е января» — вскочишь... У Лермонтова была такая сила, что, «выпади случай» — и он мог бы в неделю поднять страну. Просто — вскочили бы и побежали; у всех затуманились бы головы.

Толстой всю жизнь хотел «поднять»; ему ужасно хотелось «поднять»... Это заметно. Но его ватные рассуждения и призывы никого не поднимали, кроме малокровных и анемичных... Он был разительно *бессилен в слове*. И знаете, отчего?

20 У него не было *стиля*... Вот того именно, что «вдруг всех поднимает»: чему нет сил *сопротивляться*. Вчитайтесь в прозу его, где угодно, в самом лучшем месте: психологически — бездна, наблюдательность — изумительная, благородство тенденции выше всяких похвал. И, словом, «мудрец», «как бы Будда». Но ведь «Будда» — одно; а «великий писатель», «ковач таинственного слова», которое *30* всех завораживает и поднимает, всех зачаровывает *формой* — совсем другое. Толстой — великий человек. Толстой — великая жизнь. Полная глубины и интереса, полная благородства. В этом отношении и Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов перед ним ничтожны, пигмеи. Ну, какая их была «жизнь»? Нечего рассказать, и, знаете ли: стыдно рассказывать. До того мелка, мизерна. Да, но это совершенно другое, чем «писатель» (ковач слова). Толстой не был «великий писатель». И это просто определяется тем, что он даже без *стиля*...

30 Речь его, рассказ его, страницы его все матовые... Точно «не закаленная сталь»... Или день без солнца, по крайней мере без зноя. Возьмите же Гоголя, — о «бронзовой булавке в виде пистолета» у прохожего (начало «Мертвых душ»); тут африканское солнце палит, жжет, делает черною кожу с первого прикосновения. Магия. Радий Слова. У Толстого везде «без радия», — все обыкновенные вещества.

«Песнь о купце Калашникове»: страшно выговорить, а ведь это не меньше «Войны и мира». Ну, так же полно, так же до глубины, так же страшно *реально* живет целая эпоха, и какая от нас дальняя, в стихотворении в 10 страниц...

Вот это — сила. Тут огромности гения нет пределов... «Это — божественно»...

И у Пушкина, Лермонтова, Гоголя все «божественно» в самом серьезном смысле.

40 У Толстого же все человечно, «наше»... Толстой не супранатурален, а только натурален.

* * *

Но, однако, «собрания сочинений» трех названных родоначальников русской литературы, поставленные около целой «библиотеки», составленной из «всех произведений Толстого» — бедны, неинтересны, *бессодержательны*. Боже мой,

до чего убоги *по-сюжету* «Мертвые души» около «Войны и мира» и «Анны Карениной». Что же это такое? да и у Пушкина сюжет или ничтожен, или *вымышлен*. Ведь его «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы» суть просто *пушкинские фантазии*... Что же все это значит?

Жизнь русская была страшно неразвита еще тогда, психологически и общественно. Какая-то вечная, и от начала до конца, — деревня. И никаких «сюжетов» кроме деревенских. Мужик и барин, лакей и ямщик, да еще «полицеймейстер», да еще «господин прокурор». И некуда дальше «пройти», кончен «русский мир»...

Ко времени Толстого, и особенно ко второй половине его жизни, «русский мир» бесконечно вырос... До неузнаваемости: в «дней Александровых прекрасное начало» и предполагать было нельзя...

И Толстой вобрал в себя всю эту сложность жизни; и творчество его, по сюжетам, по темам, — по *всемирному интересу и всемирной значительности тем* — заливает также сюжеты Гоголя, Лермонтова, Пушкина, как те красотой слова заливают Толстого.

Вот разница, происхождение и связь.

Страшно выросла *душа русская*, страшно поинтереснела. Если сравнить Анну Каренину с Татьяной Лариной — это точно женщина и «ребенок», точно «жена и мать» около вечной пансионерки, непредвиденно вышедшей замуж, но, в сущности, и после этого остающейся трю же «девой», с луной и нянюшкой. Прелестно, но не занимательно. Есть на что взглянуть: но «рассказать» решительно не о чем; «рассказать дальнейшую биографию» просто невозможно, потому что, в сущности, ее нет и она и невозможна.

Прекрасный беленький цветок...

Жила — умерла.

К «нашим временам» сделалось, что «родиться — ничего не значит», — а вот «ты *проживи-ка жизнь*», или еще: «проживи-ка ее, окаянную». При Пушкине «окаянства» — не было. А с «окаянства», — как учит история грехопадения, — и «начинается все»...

«Пошли длинные истории»... И миниатюрная Татьяна развернулась в сложную, роскошную, с страшною судьбою Анну. «Такою грешною, такою несчастною, такою незабываемую»...

О которой так болит душа...

И болит она об Иване Ильиче... Об умершем прокуроре Гоголь только буркнул: «умер». А что рассказал Толстой о таком же «обыкновенном человеке»!.. Да, стали *сложнее умирать*, потому, что стали *сложнее жить*.

Стали метафизичнее умирать: разве не вполне метафизична смерть Анны?

Появились загадки. Ужасы. Появилась тоска, грех. Толстой страшно «распух» от всего этого, от этого богатства русской жизни, которая теперь уже волнуется, как океан, а не течет, как речка.

И как-то задумаешься: а что же будет дальше, через 100 лет? Обыкновенно предполагают, что «чудеса» явятся в технике: но «чудеса» явятся в самом человеке... От «прокурора» до «Карениной» больше расстояния, чем от «проселочной дороги» до «железнодорожных рельсов»... И это неизмеримо более интересное и многозначительное расстояние.

Д. ШЕСТАКОВ. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГРЕЧЕСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗАНИЙ О СВЯТЫХ

Варшава, 1910 г.

Книга вращается в памятниках раннего христианства и в последних памятниках язычества. Читая ее, — как бродишь по смешанному лесу, из разных деревьев, из разных пород, с разными травами. В высшей степени интересно и не для специалиста-ученого узнать, что к тем именам святых и ангелов, к которым он привык с младенчества, народное воображение греков, римлян, германцев и славян ранней поры привязало множество языческих воспоминаний. Вот пример. «На классической, истари проникнутой богомыслием почве Египта почитание ангелов, и в частности архангела Михаила, нераздельно сливается со старыми, местными языческими культами. В *житии святого Иоанна Милостивого*, архиепископа александрийского, написанном архиепископом неапольским, Леонтием, архангел Михаил вешает (*взвешивает*) души умерших на весах, являясь таким образом совершенным преемником египетского бога мертвых, Озириса. Архангел Михаил с весами воспроизводится многими памятниками искусства в сцене страшного суда; таков он часто в коптском искусстве, в нескольких ранних итальянских мозаиках, в трех армянских церквах Иерусалима. Египетская надгробная надпись 409 года просит Бога за покойницу: «Удостой ее, через святого твоего и *ведущего* к свету архангела Михаила, вселения в лоно святых отцов». Но этот характер архангела как *путеводителя* в загробный мир повторяет стереотип египетских рисунков, где Озирис обычно ведет душу умершего в «тот свет»... Это — частность, мелочь, подробность, взятая нами для примера. Обширные исследования г. Шестакова в области *исцелений*, совершенных, по легендам, святыми, — в сказаниях о святых *истогниках*, — о покровительстве стадам и порознь отдельным домашним животным, — о молитвах, заговорах и проч., и проч., все это долго и внимательно водит читателя по прелестной области христианского мифотворчества, где замирала одна религия и зарождалась другая, где колыбель и гроб так удивительно соединились. Автор живо чувствует оба мира, он и классик (по кафедре в университете), и теплый церковник, «как вы да я». Труд его хорошо пополняет исследование А. И. Алмазова «Святые — покровители сельскохозяйственных занятий» (Одесса, 1904 г.). К сожалению, местами книга написана неуклюжим университетским языком, *lingua barbata professorum* *: и это тем более жаль, что когда-то в «Новом Пути» и теперь в «Журнале Министерства Народного Просвещения» этот же профессор писал и пишет изящным и простым языком. Ученость — ученостью: но язык постоянно надо беречь. Например, «*моряцкие* сказания» вместо «*морские* сказания», упорно повторяемое автором выражение — несносно. Но в высшей степени желательно, чтобы общество наше начало и приучалось читать книги, подобные настоящей. Посвящена она «Русскому археологическому институту в Константинополе», — недавно учрежденному, и, очевидно, есть плод занятий в нем молодого и талантливую ученого.

* язык бородатых профессоров (*лат.*).

А. П. ЧЕХОВ

Голубые озера, голубой воздух, — панорама природы, меняющаяся через каждые десять верст, какие делает путешественник или проезжий, — очертания гор, определенные, ясные, — все занимательно и волшебю с первого же взгляда. Это — Швейцария.

Люди бодрь, веселы. Здоровье — неисчерпаемо. В огромных сапожищах, подбитых каким-то гвоздеобразным железом, с длинными и легкими палками в руках, с маленькими и удобными котомочками за спиной, они шагают по своим горам, с ледника на ледник, из долины в долину и все оглядывают, рассматривают, должно быть, всем любуются.

Я всматривался в этих людей. «Вот гениальная природа и гениальный человек»... То есть «должно бы быть так». Ведь человек — конечный продукт природы. Откуда же взаться человеку, как не из природы? И я вглядывался с непременным желанием любить, восхищаться, уважать.

Лица — веселые, а здоровье такое, что нужно троих русских, чтобы сделать из них одного швейцарца. В Женеве, на общем купанье, я был испуган спинами, грудями, плечами мужчин и не мог не подумать, что этот испуг должна почувствовать каждая женщина, к которой подходит такой человекообразный буйвол, «и тогда как же и на ком они женятся» и вообще «как устраивается семья у таких буйволов». Я представлял тщедушных, худеньких, измученных русских женщин, каких одних знал в жизни, и естественно не мог их представить в сочетании с такими буйволами.

И я еще думал и думал... Смотрел и смотрел... Любопытствовал и размышлял.

Пока догадался:

— Боже! Да для чего же им иметь душу, когда природа вокруг них уже есть сама по себе душа, психея; и человеку остается только иметь глаз, всего лучше с очками, а еще лучше с телескопом, вообще некоторый стеклянный шарик во лбу, соединенный нервами с мозгом, чтобы глядеть, восхищаться, а к вечеру — засыпать...

Сегодня — восхищенье и сон...

Завтра — восхищенье и сон...

Послезавтра — восхищенье и сон.

Всегда — восхищенье и сон.

Вот Швейцария и швейцарец во взаимной связи. «Счастливая семья»... Кто же рассказывает и даже как можно рассказать историю «счастливой семьи»? История, «судьба» начинается с разлома, крушения, болезни, страдания. Не страдай так ужасно Иов, можно ли бы было написать «Книгу Иова»?.. «Книга Иова», вот эти *тридцать страничек*, которые читаются в течение тридцати веков... Но, Боже, стоит минуту подумать, чтобы понять, что «Книга Иова» есть сама по себе факт, сама по себе *история, действительность*, и притом такая, в которой матери, содержательности, крови, нервов и жизни более, чем в каком бы то ни было Иове, жил он или нет, страдал или не страдал. Иов, положим, промучившийся в проказе тридцать лет. Да, страшно! Ярко! Потрясает! Льешь слезы. Однако он умер, и все умерло. Извержение на Мартинике погубило тридцать тысяч человек: но все умерло и прошло, и ужасный в жестокости человек уже теперь не по-

мнит о них или очень мало вспоминает: все *конкретное* — увы! — краткотечно и как-то остается «без последствий»... В «Книге Иова» гораздо больше жизни, души, силы, действительности, нежели было всего этого в самом Иове, а между тем не страдай Иов, не появилось бы и «Книги Иова».

Что же такое страдание человека, единичное, личное, «*вот это страдание?*»? Зерно, из которого иногда вырастает дерево, могущее затенить всю землю.

И придет под прохладу его усталый и отдохнет!

И пройдет прохожий и скажет: «Я никогда не видал такого дерева».

И окрестные люди говорят: «Ни у кого нет этого, что у нас. Это нам послал Бог, сиротливым и неумным, такое чудо и мудрость, и могущество. Все приходят сюда и дивятся».

Вот Иов и человечество...

Но все от того, что кто-то написал для человечества «Книгу Иова».

Без этого — ничего...

Зачем швейцарцам история? Зачем швейцарцам поэзия? Зачем музыка? У них есть красивые озера...

* * *

Тусклые звездочки, холодное солнце... да и тех двести дней в году не видно. Дождит, вечно дождит... За городом не столько природа, сколько болото. Да, есть цветы — на кладбище. Лучшая береза, с развесистыми ветвями — там же. Мне два года случилось выжить в городе Белом Смоленской губернии; там единственное место гулянья было кладбище. И я, помню, с молодой женой, только что повенчавшись, ходил гулять туда. Больше решительно некуда пойти. А природы хочется, в «медовый-то месяц»...

Незабываемо выла там баба над могилой. Впервые услышал *живые* причитанья...

А молодому хочется жизни... «Ну, какая жизнь в России». Посопим.

Воет ветер в поле. Истории — ниоткуда. «На кой тебе леший история?» — озирается злобно на вас полицейский. Да, в Белом была история: именно, интеллигентные старожилы уверяли, что «Белый», с мужским окончанием, это теперешнее имя города, а некогда он назывался «Белая», с женским окончанием, «потому что была крепость Белая, защищавшая Московское государство от набегов Литвы, с земляным валом. А остатки вала это и есть вон те бугорки, что сейчас поднимаются за кладбищем. Но когда Польшу присоединили к России и вообще все это кончилось, то Белая естественно переименовалась в Белый».

— И больше ничего?

— Ничего.

«На кой тебе леший история?» — это как-то звенит в ушах, в душе... «И без нее беспокоило: вон кажинный день предписания от начальства. Опять убили в Косой улице; начальство предписывает — разыскать. А как его разыщешь, когда он убежал? Поле велико, лес велик, — где его искать? Убили — Божья воля. А начальство серчает: ищи, говорит».

И запахиваешься ту же в пальто, в шубу, — смотря по времени года. Идешь с кладбища домой. Скидываешь пальто, отряхивая снег или дождь с него. «До-

ма» натоплено, тепло, тепло, как за границей решительно не умеют топить домов, — нет таланта *так* топить. И садишься за самовар, «единственное национальное изобретение». Самовар же вычищен к «кануну праздника» ярко-ярко... И горит, и кипит... Шумит тихим шумом комнатной жизни. Белоснежная скатерть покрывает большой стол... И на подносе, и дальше вокруг около маленьких салфеточек расставлены чашки и стаканы с положенными в них серебряными ложечками... И сахарница со щипчиками, и чайник под салфеткой. Сейчас разольется душистый чай.

И будет сейчас всем хорошо. Тоже «как не бывает за границей». Несется небольшой смешок, без злобы:

— Дверь затворите крепче, чтобы полиция не вошла. Чорт с ней!

Не дает она нам настоящий истории, так будем жить маленькими историями.

«Маленькими придуманными историями»... Вот Тургенев в его рассказах. Вот весь Чехов.

...Небо без звезд, без силы, ветер без негодования, непогодь, дождь, серо, сумрачно, день, не отделяющийся ярко от ночи, ночь, не отделяющаяся ярко от дня, травки небольшие, деревья невысокие, болотце, много болотца; и дальше, на черте недалекого горизонта — зубчатый частокол «тюремного замка», еще дальше — кладбище, а поближе сюда желтая гимназия, в сторонке — белая церковь с колоколом и крестом, — вот обстановка Чехова, в которой он рос и захворал, и все запечатлел в уме своем под углом этой серости и бессилия, этого милого и недолговечного.

Чехов жил и творил в самый грустный период нашей истории, кульминационно-грустный. Он не дожил до «освободительных дней», и так как самые дни эти пришли случайно, в связи с непредвиденною войною, то в нем и не было никакого предчувствия взрыва, ожидания его. Гладко позади, гладко было и впереди... По этой глади шел он, больной раннею чахоткой, о которой знал язвительным знанием медика.

Мне передал о нем один человек, близко его знавший и горячо любивший:

— Мы как-то встретились с ним в Москве... Я был на перепутье, проездом через Москву... Он и говорит мне раз: «А не пройдемся ли мы на кладбище (такого-то) монастыря? Смерть люблю читать надписи на надгробных памятниках. Да и вообще люблю бродить среди могил»... И это бывало не раз. Я уступал ему. И, бывало, мы бродим, бродим... Какие попадаются надписи — то ужасно смешные, то замысловатые, то трогательные. Это еще не разработанная часть русского словесного творчества.

Какой вкус... Но как это похоже на Чехова, как идет к нему.

Другое сообщение чрезвычайно меня удивило. Оно шло от того же человека и, я думаю, совершенно достоверно. Было передано просто как удивительный факт, без тени осуждения.

— Антон Павлович раз приехал в Рим. С ним были друзья, литераторы. Едва передохнув, они шумно поднялись, чтобы ехать осматривать Колизей и вообще что там есть. Но Антон Павлович отказался; он расспросил прислугу, какой здесь более всего славится дом терпимости, и поехал туда. И во всяком новом городе, в какой бы он ни приезжал, он раньше всего ехал в такой дом. Удивительно!

— Вполне удивительно!!

Рассказывавший не сказал мне, что он ездил туда не «для себя» и что вообще это не было с теми целями, с какими обычно делается; но из всего хода рассказа, передачи видно было, слышно было, что Чехов любил это как *сферу наблюдения* или как обстановку грезы, мечты; может быть, как стену *противоположности*, через которую пробивалась его идеалистическая мысль и, пробиваясь, становилась энергичнее в действии, в напряжении. Бог знает. Можно разное объяснить. Мне и на ум не приходит объяснить в дурную сторону, дурным любопытством. Тут что-нибудь глубоко-грустное, какая-нибудь такая глубокая «своя дума» у Чехова, которой он даже и не рассказал и не рассказывал приятелям «в объяснение», которое так естественно ожидалось бы. Скажу только, что с юности грустный Гоголь вывел же в «Невском проспекте» встречу художника-мечтателя с «такой барышней»... Тут, и этих встречах, что-то острое, печальное, жуткое и страшное. Но я нахожу, что этот дикий вкус в Риме, — в самом Риме поехать «первым визитом» именно сюда, — как-то совпадает со вкусом пойти и погулять но кладбищу...

Ведь и там смерть, и здесь смерть... Там — смерть человека, индивидуума; здесь — смерть цивилизации, общества, фазиса культуры и истории.

«Люблю видеть, как человек умирает. Жутко, страшно. А так хочется заглянуть».

Чувство медика. В особенности больного медика. Может быть, что-нибудь объяснит в этом вкусе Чехова та прибавка к рассказу, какую я выслушал, когда все продолжал удивляться:

«В этом отношении был похож на Чехова еще один наш писатель».

И рассказчик назвал одно из аристократических имен литературы: не то гр. Алексея Толстого, или Соллогуба, или Плещеева. Во всяком случае писателя без малейшей порнографии.

— Он любил целые вечера просиживать в зале таких домов. «Я полузакрою глаза. Несется ихняя музыка. Танцуют. Пары уходят и возвращаются. Все как следует. И я переносусь в прошлое и воображаю, что сижу на вице-губернаторском балу».

Я передаю сообщение буква в букву. Пусть разбирается читатель в том, в чем я не умею разобраться.

Но почему-то именно в Чехове мне нравится это слияние... «Тут есть что-то чеховское», — от этого впечатления не отвяжешься.

— Кладбище. Могилы, эпитафии...

— И зала с музыкой. Барышни в розовом, удаляющиеся с кавалерами...

И он грезит. Он, Чехов...

— А что мне Колизей? Мертвечина. Декорация прошлого — и чорт с нею. Я живой человек, и мне не долго жить, я болен, но я ни минуты не отдам на этот раззолоченный славою Колизей, ни на св. Петра с его пилигримами. А пойду-ка я лучше в дом... и увижу настоящее, живое, трепещущее и руками медика пощупаю ребра у больных, у падающих, у искалеченных и, однако же, все-таки лучших и прекраснейших по присутствию в них жизни и действительности, нежели сто Колизеев, вместе сложенных. Чорт с ними... Вы — обыкновенные, и вам надо смотреть Колизей, чтобы из надуманной души вытащить несколько надуманных же ощущений, а я — особая статья, Чехов, и вот пойду в б...

Что-то в этом роде, должно быть, шевелилось у него.

* * *

Когда я читал его «Баб», то сухим, деловым глазом исследователя вопроса видел, что этот очерк-рассказ должен быть введен целиком в «Историю русской семьи», в «Историю русского быта», «В историю русской женщины». Но особенно — в первую. Только одна вялость русской души, выросшей между кладбищем и б..., сделала то, что никто не застонал над рассказом, никто не выбежал на улицу и не закричал и вообще не совершил того скандала, после которого уже нельзя прятать шило в карман. «Мы не жида и дела Дрейфуса не подыдем». Собственно, начальство на это и рассчитывает: «Русские — паиньки» даже в случае несчастия пропустят в горло лишнюю рюмочку и уснут обломовским сном, без сновидений и привидений». У нас «какая-то леди Макбет», — сто человек зарежут и только потребуют кусок брокаровского мыла. Нет, в самом деле, ну, только одного человека, всего ведь одного, и даже буржуа, богатенького, без особенных улик обвинили в измене и сослали на ихний остров Сахалин, — начался «гвалт», сто, тысяча голосов закричали во Франции, а затем *заставили* кричать и во всей Европе, наконец, в целом свете; кричали четыре года и заставили вернуть с Сахалина... одного человека, всего только одного! Это отдает песками Аравии, солнцем Сирии, «Книгой Иова», авторов этой книги, коллективных, народных. «Око за око»... У нас хоть ломай всем руки и ноги, никто у тебя за это подушки из-под головы не выдернет, никто из шевелюры волоса не вынет. 1) «Обязаны просить», 2) «Во всяком человеке есть искра Божия, в том числе и у ломающего руки и ноги», 3) «Ведь уже все прошло, ноги-то и руки поломаны, ничего не воротишь, — зачем же чужую шевелюру портить» и 4) и фундаментальное: «А какое нам до всего этого дело? Мы пьем чай из хорошеньких чашечек, которые в случае дела Дрейфуса могут и разбиться». Наши «Рюрики, Синеусы и Труворы» это хорошо знают и как о Сахалине, так и о Шлиссельбурге полагают, что русский человек никак из-за этого не поднимет *фактической* истории. «Напишет горячую статью в журнал, но затем — все успокоится».

Мы народ не мстительный и давно живем под заветами евангельского прощения. «Вот и Л. Н. это же говорит». «Рюрикам» все на руку.

Ни русская юриспруденция не обеспокоилась «Бабами», ни духовенство. А. Ф. Кони так же остался величествен и недвижим, как и митрополит Антоний, благожелательный не менее Кони. Если бы они рассердились на русскую действительность за «Баб», они испортили бы безоблачно-доброе выражение лица своего и вообще покачнули бы ту репутацию, приобретение которой стоит столько жизненного труда. Лишние нервы портят физиономию. В «Бабах» рассказывается, как русский простолюдин, у которого отлучилась жена, сходится с бабою и прижил от нее ребенка. Затем, когда жена к нему возвращается, то он читает этой бабе наставительное рассуждение об ее нехорошем поведении, говорит, что «теперь эти глупости надо оставить» и вообще приходит в норму, порядок и законность. «Все как следует»... Все эпически спокойно. Рожденный мальчик, уже подрастающий, торчит тут же на телеге, никому ненадобный. «Все как следует», «все — по-христиански». «По-христиански»: 1) согрешил — без этого человек не живет, для искупления таких грехов и Христос пришел на землю; а потому 2) «надо покаяться после греха» и «вернуться на добрый путь». Об этом

Христос говорит в притче о блудном сыне, да и вообще это — само собою. Но все это — с *лигной точки зрения*, как перипетии моей *лигной судьбы*: Евангелие обществом не занимается, а «спасает только душу». Торговец, «спасающий свою душу», естественно, когда вернулась к нему жена, и возвращается к ней; а той женщине что же он скажет, кроме того, что она — дурного поведения, и даже он с нею «вот нагрешил». «Все, поистине, по-христиански», и женщине, как и мальчику ее, только остается подумать: «мы же должны простить его», — потому что древнее око за око отменено высшим законом евангельской любви. Все «утрачивается» и «закругляется» в такой порядок, исторически высший и окончательный, что...

Но и у Кони, и у митрополита Антония такие хорошенькие фарфоровые чашки, что они никак их не разобьют ради этой бабы и ее мальчика.

«Все-таки уютно на Руси»... Ну, не на всех хватает счастья, ну — и что же. И Мессина тряслась, и в Мартинике было извержение. Позвольте, да в самом Евангелии и притом Сам И. Христос говорит: «Повалилась башня и задавила многих... Грешных ли одних? Нет, но и праведных».

Баба эта и мальчик ее попали в число «задавленных праведных». Но раз сказано, что о них нечего спрашивать, то *кто же и как* будет спрашивать? «Солнце восходит над добрыми и злыми»; вот оно взошло и над мужичком, любившимся с бабою, когда вернулась жена. Даже если он «хуже разбойника», то опять ничего, ибо сказано, доброму раскаявшемуся разбойнику сказано: «Днесь будешь со мною в раю». Вернувшись к жене от той бабы, разве он не «раскаялся в поведении и злым» естественно имеет дополнение: «а когда заходит солнце — то ночь наступает для злого и *доброго*». Баба опять как попала под Силоамскую башню, так и под эту «ночь» недоговоренной притчи...

— Ну, и темно, ну, и Бог с тобой, и плачь... Ныне свет Христов пришел, — и тебя никто ровно не заметит, ибо ты уже обработана и в притчах, и прямым учением.

Не могу объяснить, но как-то брезжится, что написавший этот сюжет, написав в строках такой ужасающей правды, простой и *спокойной*, естественно, заехав в Рим, должен был поспешить не в Колизей, чтобы посмотреть новость, а в такой дом, который ему и на Руси давно пригляделся. «Наша старая правда, наша христианская правда».

Бабы, так как их «задавила Силоамская башня» и по жребию им выпала «ночь», утешаются хоть орехами и подсолнечниками. Тут же у Чехова рассказано, что, когда мужья их заснули, одна толкнула другую в бок и прошептала:

— Ин, сноха, пойдем, побалуемся с семинаристами.

Это приезжие к попу сыновья, из семинарии, уже кончавшие курс: кони добрые, выросшие на хорошем овсе. «Все над добрым и злым», и «сперва постраствуем в грехах, а потом будем обедню служить».

Все округляется во что-то доброе и милое. Мила наша Русь круглостью. Ведь какой круглый был Платон Каратаев (в «Войне и мире»). Столько жил и ни на что не сердился. Его наконец застрелили, но он и тогда остался «круглым». Решительно, солнышко на Руси не заходит. Холодноовато оно, но зато уж не заходит.

Близко к полюсу.

* * *

Когда Чехов написал «Мужиков», то произвел переполох в печати, — он, такой тихий и бесшумный всегда. Не знали, как отнестись к ним. Хвалить? Поричать? Мужики были так явно несимпатичны, между тем как печать уже несколько десятилетий была соединена с мужиком «симпатией». Не хлебом и чаем, а «симпатией». «Мужики», впрочем, повторяли то, что было о них сказано в странной «Власти тьмы» Толстого; но у Толстого это было сказано как бы для «христианского примера», а у Чехова без «примера» сказано, а так, просто, что вот «есть». Это «есть» ужасно жгло сердца и оскорбило интеллигенцию тем, что она не знала, как к этому отнестись. «Любить» явно можно только симпатичное, а тут? ¹⁰

— Они не любви просят, а хлеба. Работишки, хлеба и земли.

Все было поставлено жестко, экономически. Тут Чехов писал рукою не беллетриста, а медика. Почти центральное место в рассказе есть одна строка.

— Он у нас не *добытчик*.

Это семья аттестует одного своего члена-инвалида.

«Не добытчик»... Это глупое, тупое слово, какую-то кувалдою стоящее в строке, слово такое не литературное, не тургеневское, — сосет-сосет вашу душу по ночам. Сперва ошпарило, а потом сосет.

— Куда же его, если он не добытчик?

Лишний рот в большой семье около маленького каравая. Скверные мысли ²⁰ приходят на ум. Ну, а если «недобытчик» захворает, — значит, его хворь не почувствуют другие так, как если бы заболел добытчик? Или если его ушибет камень, убьет гром? С «добытчиком» сделается, — и все ахнут, застонут; а с «недобытчиком»?..

Тут «закругления» Платона Каратаева разрываются: «недобытчика» вообще не жалеют, к «недобытчику» ничего не чувствуют, — и не по злобе, а *по усталости*.

— Все привыкаем не есть. Никак не можем привыкнуть. Все хочется, каждый день хочется... Хлебца и молочка. *Устали*, «привыкая»...

Ужасное «устали» за десять веков существования! Как не устать... Ну, и где же тут «десять заповедей» морали, куда приложить тут Нагорную проповедь Евангелия?.. ³⁰

«Блаженны ищущие и алчущие правды»...

— Нам бы хлебца.

Не совпадает.

«Блаженны, когда вас будут гнать и поносить»...

— Никто нас не гонит, и даже все «любят». Только проходят все мимо. Нам бы землицы.

Но о земле и хлебе Учитель жизни ничего не сказал.

Указал на Небо, что «туда надо стремиться». «Вот и Л. Н. подтверждает».

* * *

40

С изнурительною чахоткой в груди, неудачник-медик, с нуждой в деньгах, не большой и не острой, но «все-таки», — Чехов прошел недлинный путь жизни, на все оглядываясь, все замечая, ни с чем бурно не враждует, и вообще бурь в себе

и из себя не развивая. «Штормы — в океане; на Руси какие штормы? Стелется ветерок». И безграничные равнины Руси, с ее тихими реками, вялой и милой зеленью все окинул он ласковым и печальным взглядом, — взглядом человека, который добирается до ночлега и обдумывает, будет ли он тепел, не придется ли опять зябнуть.

Он наблюдал, видел, рассказывал...

«Любовь? Где же вечная любовь?» — Не на Руси! «Верная любовь?» — Не по нашим нравам.

Какой-то почти «прохожий» человек, соседний человек, инженер, что ли, или чиновник, ухаживает за «женой ближнего», и с желанием неперемennого успеха. Жена — хорошая женщина, обыкновенная женщина.

У нее ребенок, мальчик. Тянется что-то 14-й год брака. «Инженер» несколько ей не нравится. Но удивительно «хочет». Есть нагнетания воли, магнетизм воли, шопенгауэровское «хочу», — и волны этого чужого «хочу» захватывают ее. Но она честная женщина, вполне честная. Это уже я комментирую. В критическую минуту или накануне критической она играет со своим ребенком, прижимается к нему, старается вообще преднамеренно и нравственно отразить наступающую волну отбойною волной материнского чувства. Все правильно, верно, мудро, все по инстинкту. Но «канун» прошел, и наступил настоящий день. Зов повторяется, волна идет сильнее, — волна, ее затревожившая, — и она кличет отдыхающего мужа.

— Саша! Проснись!

— А? Что? — Храп продолжается.

— Саша, ты нужен мне. Проснись...

Муж все сопит в кровати.

— Беда идет, Саша... Если ты не будешь со мной, беда будет.

— Да оставь же ты меня, дай выспаться. — И муж повертывается на другой бок.

Жена спустилась с балкона, в аллею сада... Все «случилось»...

30 *Что случилось? Как случилось?* — «Все по-русски»...

У нас штормов нет, рыцарства не было, даже дуэли не привились. «На нашу русскую точку зрения» даже все это представляется комизмом — и дуэли, и рыцарство, а уж штормы в особенности.

Тиха Русь. Гладка Русь. Болотцем, перегноем попахивает, «а как-то мило все». *Отчего мило? Кому мило?* Кто это рассказывает, — тому мило, кто это видит, — тому мило, да, по правде, и всем нам мило. «Ко всему принохались».

И задумчивый художник, с полукритикой, без возможности протеста и борьбы, шел и шел... к ночлегу ли, к станции ли. Пресса и общество шумели вокруг него, неглубоким и не «своим» у каждого шумом. Лес шумит, а деревья не слышно. И среди шумящего леса шел путник-созерцатель, не вторя лесу, но и не дисгармонируя с ним, его не поддерживая, но ему и не противореча. У Чехова было столько же «хочу», сколько «не хочу». Именно как у Руси, у которой «не хочется» так же много, как «хочется»... Все нерешительно, все неясно...

Он стал любимым писателем нашего безволия, нашего безгероизма, нашей обыденщины, нашего «средненького». Какая разница между ним и Горьким! Да, но зато Горький груб, короток, резок, неприятен. Все это воистину в нем есть, и за это воистину он недолговечный писатель. Все прочитали. Разом, залпом

прочитали. И забыли. Чехова не забудут... В нем есть бесконечность, — бесконечность нашей России. Хороша ли она? — Средненькая. — Худа ли? — Нет, средненькая.

О, Боже! Да тянись же ты, кляча, хоть до глубокой могилы.

ПРИШВИН

Целый вечер слушал рассказы «бывалого человека». Но прежде два слова «à part» *...

Менделеев написал замечательную книгу «К познанию России». Книгу прочли, похвалили и заперли в книжный шкаф, чтобы не убежала. «К познанию России», но, Боже, *когда* же нам «познавать» ее, когда в руках столько политики, а в журналах столько повестей. Ключём, сопим и сидим дома. 10

«Бывалый человек» — это Пришвин. Исключенный за дерзость учителю из гимназии, он уехал в Сибирь, в Тюмени кончил курс, потом поехал за границу, учился в Берлине и еще где-то. Вернулся на родину, немного послужил, но, соскучась городом, взял ружье и стал странствовать. Почему-то потянуло его на север, «где людей меньше». Обошел русскую Лапландию и ту часть Карелии, что образует тот географический гриб, который сидит сверху над Скандинавским полуостровом. Лапландия — это шляпка, а полуостров — корешок гриба. Заметили на картах?

Вернулся в Петербург. Впечатлений много, а девать некуда. К счастью, встретил умного старичка немца. Тут вставлю его слово: 20

— Когда вы подходите к русскому, то он издала уже измеряет вас как мошенника, и принимает меры, чтобы вы не провели его. Это я всегда замечал, везде. Немец, напротив, встречает вас с полным к вам доверием, как вполне благородного человека, совершенно, однако, вас не зная. Беда, если вы его обманете. — Он сделал знак ярости. — Но пока вы его не обманули, он вам вполне верит. Немец, узнав о моих странствиях, сказал:

— Карашо. Русский думает, что жить можно только в Америке, и читает Купера. Русский не знает, что у него в своей земле могут быть неведомые края с дикарями. Вы пишете книгу, а я ее издам. 30

— Да не знаю, сумею ли. Я ходить умею, а писать, может быть, не умею.

— Карашо. Я напечатаю. Дело за себя скажет.

Пришвин напечатал последовательно две книги — «Край непуганой птицы» (русская Лапландия) и «За волшебным колобком». — Это в детстве он слышал от няни в сказке, что какой-то «волшебный колобок» все катился да катился, а «молодец» за ним все шел да шел, и так прошел много земель. Мотив сказки он взял в заглавие книги о странствиях.

Книгу я читал: может быть, слог в ней и не «очень», но холодок ледяных речек, но невообразимая первобытность природы и жителей, лопарей и русских — все это веет со страниц чем-то непривычным и совершенно новым. Именно — 40

* в сторону (фр.).

холодок речей. Природа там «как из рук Творца», но до того эта Лапландия в автора въелась, что и Пришвин сам «как из рук Творца».

Читал я книгу уже года $1\frac{1}{2}$ назад: и сохранил только это общее впечатление. Он рассказывает и семейные истории у лопарей. Одна «лопка» (дочь лопаря-богатея) так описана, что при встрече я спросил автора:

— Как же вы удержались от романа с нею? Она до того прелестна, дика, наивна, скромна, что хоть кому угодно в невесты.

Но она вышла за деревенского писаря. «Выйти за русского» такое чудо и честь для бедных лопарей, что многотысячные богачи отдают дочерей с охотой вот даже за такого чиновника, как писарь. Вот говорили: «Лопка-то (такая-то) — вышла за русского!».

Дивились и пировали: ели оленей и ездили на оленях.

ОТЛУЧЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ

Как сообщает благородный Клишевич, доставляющий за 2 р. известия со всего света, — предполагавшееся «отлучение от церкви» целого ряда писателей — не «прошло» в Св. Синоде. Нельзя этому не порадоваться с самых разных сторон. Как известно, писатели большую часть живут «славою»: кормятся славой, обоняют славу, хватают — откуда бы она ни шла и какова бы ни была — славу. В этом отношении ожидаемое «отлучение», конечно, не доставит никакой горечи почти всем писателям, намеченным еп. Гермогеном, скушано было бы им как самое сладкое бламанже. Европа загудела бы, сто газет (в России) целый месяц кричали бы в каждом номере и в защиту «отлученных жертв», но Анатолий Каменский, которого кроме издателя Вольфа никому не приходило на ум считать великим, шепнул бы ночью в подушку: «А ведь в самом деле, — пожалуй, я и великий человек». Во всяком случае, *гонорар* за романы и повести все «отлученные» повысили бы, и редакции охотно дали бы высший гонорар. Церковь и скромно, и гордо, и умно не дала этой «радости бесу»...

Вообще, «отлучать от церкви» людей, которые никогда ни прямой, ни косвенной связи с церковью не имея, и «просто» не ходили в церковь, — странно. Отлучение имело смысл тогда, когда церковь была тесной, и *определенной общиной*, всегда местной общиной; когда отлучавшие и отлучаемые знали друг друга «в лицо». Это — было изгнание «от себя» — по-видимому ощутительное, болезненное, но что значит «отлучить от церкви» Леонида Андреева, который живет в Кукола, жил в Кукола и останется жить в Кукола. Прежде поутру пил чай, и потом будет пить такой же чай.

Ничего, просто и решительно — ничего.

Для чего же церкви трудиться «для ничего».

Она этого не сделала.

Отлучить можно того, кому это больно... но тут представляется другой род вопросов, как же того, кому это «больно», можно отлучить. Самую болью он и показывает, что он есть член церкви, имеет с нею какое-то, хотя бы и неправильное, болезнотворное «кровообращение» общее... И «выброс его из церкви» не

может не быть фиктивен. Болит он о церкви... и вот опять пойдет в церковь. Что же, у всех церквей во всей России поставить сторожей, чтобы «не пускать такого». Да сторожа и не могут знать его в лицо. Вот он придет к Троице-Сергию, неужели его не впустят. Придет к раке Преподобного Сергия...

Как же св. Сергей? «Сердце сокрушенного Бог не унижит»... Если он пришел с болезнью, с какой-нибудь мукой души, с сознанием разных грехов своих, — и ничего, ни «да», ни «нет» в эту минуту все думая о своих сочинениях, как же святитель Руси, объемяющий всю ее мыслью и сердцем от монголов до «теперь» отнесется к этой русской душе <...> к его гробу.

Опять вспоминаются вечные слова псалма: «сердце сокрушенного Бог не унижит». Очевидно, для св. Сергия он будет просто «русский скорбящий человек, после монгольского ига сущий», и даже св. Сергей не различит в каком веке он жил: ибо для него, поистине, открыта «мгла веков», в которой наше «теперь» — тонет.

Нет, отлучить такого невозможно. Отлучение вообще возможно только в отношении гордой личности вроде Л. Андреева. Но такую отлучать не стоит по приведенным выше мотивам (слава), а просто русского человека никак нельзя отлучать потому, что сообщая со всеми русскими он постоянно знает, что «грешен», «дурен», «заблуждался» и проч., и проч.: а «в каких именно мыслях заблуждался» — и сам не знает, по безбрежности вообще человеческой мысли, по ее колеблемости, по ее, наконец, и бесконечности, «не хочется думать — а думается». Зачем «ересь», а «ересь» сама по себе лезет, «ничего не поделаешь». Что тут может сказать церковь, только вспомнить свое же слово.

«Что хочу делать — того ничего не делаю; а чего не хочу — то делаю». Если такой пламенный и порывистый человек, такой *волевой* человек, как как ап. Павел, сказал это с сокрушением о себе: то как вообще-то управиться с собою человеку.

Как песчинка на земле, как звездочка на тверди небесной — несется он: куда — не знает сам, никогда и не знает. Стихии объемяют его...

Чья-то «рука»... Ведь в этом «вера в Провидение». Бог многое совершает в истории не только прямым путем, но и косвенным; и, например, чтобы горячее загорелась какая-либо истина, он перед нею «предтечею» воздвигает «великое заблуждение». Все по Гегелю: тезис—антитезис. Был великий св. Афанасий Великий: но чтобы «был», явился, просиял — нужно было явиться Арию и всей арианской смуте. Нет Ария — нет Афанасия Великого.

Избрала ли такое «среднее» церковь, чтобы не было и Ария, и Афанасия Великого? Так поступая, легко придти к мысли, чтобы «вообще ничего не было». Но Бог не так судит: он не боится бурь, потому что он бури держит в руках. И бури будут. Но ее победит свет и тишина и счастье... Но как и были.

Тогда они придут и не как что-то мертвое, а как что-то весеннее...

Люблю грозу в начале мая...

Тут и поэзия, и религия сходятся.

<ВОЗРАЖЕНИЕ А. Г. ГОРНФЕЛЬДУ О Н. В. ГОГОЛЕ>

Есть умственно-аристократические или духовно-аристократические темы.. К числу таких принадлежит вопрос о загадке гоголевской личности и, в связи с нею, о *верности* или *неверности*, *правдивости* или *фантастичности* его творчества. Теме этой посвящает в «Русск. Богатстве» статью г. Горнфельд (не то же, что Кранифельд), ум точный, «справочный», не делающий ошибок в счете и цитатах... ум осведомленный в истории литературы, но сам не литературный и бескрылый. Заметка его вызвана недавнею статьею П. П. Перцова о постановке

10 в «Художественном Театре» пьесы из романа Достоевского с указанием на истеричность и ненатуральность действующих лиц и представляемых сцен; но сказав только несколько слов о Достоевском, г. Горнфельд переходит к Гоголю как главе «натуральной у нас школы» и старается утвердить реальность и жизненность его изображений, вступая в полемику с В. Я. Брюсовым, отвергнувшим этот реализм в своей речи при открытии в Москве памятника Гоголю. Речь была неосторожна многими словами, которых нельзя было произносить в среде патетически и «по обыкновенному» настроенной публики, и вызвавшая чрезвычайную бурю: не *стугали* стульями, а *бросали* с громом стулья на пол и, хлопая дверями, выходили вон из залы. Потом она была напечатана под заглавием «Испепеленный».

20 На нее-то и опрокидывается г. Горнфельд, находя, что Брюсов повторяет только упреки Н. Полевого, современника Гоголя, тоже указывавшего разные *неточности* и *невероятности* в описаниях и характеристиках Гоголя... Вывод Горнфельда следующий:

«Если *не вполне достигнутая правда* есть отрицание реализма, то никакого реализма попросту никогда в русской литературе было».

Но Горнфельд (вот позитивизм!) не понял самой *темы*...

Брюсов и некоторые другие отрицали «реализм» у Гоголя, ссылаясь вовсе не на то, что у Гоголя есть *ошибки* против действительности, что он «*не вполне достиг правды*», что она у него не полна, и проч. С этой точки зрения и под таким

30 углом можно судить Пушкина, Гончарова, Толстого, Писемского, Островского, — писателей с действительными или возможными «ошибками», а не с *искажением*. У Гоголя же, может быть, «ошибок» и не было, а у него было всеобщее *искажение*, точнее — была какая-то *искаженность* в восприятии и потом в передаче, как закон души его, от которого он не мог освободиться, что и привело к трагической развязке его и личности и творчества. Ведь всему естественно «спокойно закончиться», «спокойно умереть»; но этого решительно нельзя сказать ни о гоголевском искусстве, ни о нем лично. Нет, — тут загадка, может быть, не имеющая разгадаться до глубины никогда. Все кончилось судорогой, мукой, молитвой и запавиванием, — без ясных поводов, *по какому-то очевидно внутреннему закону*,

40 *по неправильности самой «траектории»*, по которой началась и вылетела и полетела дальше, к гибели, его судьба и жизнь. Останавливаясь собственно на *одной черте*, «реализме у Гоголя», мы должны заметить, что 1) конечно, никого *реальнее* его не было в нашей литературе, и 2) *в то же время в тех же самых со-зданиях* никого не было фантастичнее, антиреальнее, не было еще у нас такого «сновидца», как он... Все совершилось и было так, как если бы он бросил «полную

правду» на полотно: но затем с одного уголка (*не с четырех*) потянул немного все это полотно... «Правда» вот «вся налицо»: но она так *сморицилась*, приобрела такие фантастические размеры и очертания, пришла в такие комбинации, что все закричали...

От ужаса, отвращения, презрения...

«Не тó! Не тó!».

Между тем ведь на полотне все «именно тó», именно «правда»...

Сказать: «Гоголь *реалист*» — ужасно легко; немного труднее, но все же не очень трудно, сказать и обратно: «Гоголь *не реалист*».

Этот мир его пугал. Ведь мы же не боимся мира, который видим? Иногда кажется, что ему весь мир представлялся населенным призраками, — и вместе, конечно, от этого пустым, просто лишенным содержания, содержательности. Какими «призраками», Вием? Нет, вот именно Чичиковым и проч. Ведь его «Нос» написан о таком же осязательном господине, как Чичиков: а что он о нем написал? Чуть-чуть бы не поудержаться ему, и он *вдохновенно* отнял бы носы у всех «мертвых душ» или приставил бы им по третьей ноге, и хохотал бы неудержимо, проделывая все столь же реально, до чудовищности реально, как все проделал в рассказе «Нос». Получилась бы совсем другая «поэма»; столь же гениальная, но которая не дала бы уже Чернышевскому повода для мрачных выводов.

Так царства дивного всеильный господин.

20

«Мир Гоголя» есть именно «мир его фантазии», вымысла, утешения, гнева... В то же время сделанный с изумительным «реальным мастерством»... «Вот все точь-в-точь как мы видим»... Но на самом деле ничего «такого» мы не видим: и, конечно, *буквальных Собакевича, Манилова и даже Петрушку* ни один человек в мире не видел и их нет. Но «искусство натуральности» так велико, что нам всем показалось, всему миру показалось, что это «где-то видели мы» и «именно *так тожно*». Между тем ничего не «видели» и ничего не «точно». Это именно *искусство натуральности*, как *метод руки, как способность души*, а не *натуральные предметы, срисованные обыкновенною рукою, обыкновенным глазом и проч.* Есть рассказчики, которые «выдумывают»: ну, до того натурально, что, слушая, «животики подведешь» от смеху... Но это — *талант*: «рассказанных предметов» он вовсе не видал и даже не искал увидеть.

Талант.

Мир.

«Талант»-то у Гоголя был натуральный, к «натуральному» устремленный, все *натурализирующий*.

А «мира» вовсе никакого даже нет, он отсутствует.

«Чичикова» никогда не было, т. е. таких людей не было; а вот «как он *нарисовал Чичикова*», то у всех животики подвело и все закричали: «Мы это видали». Между тем никто ничего не видал.

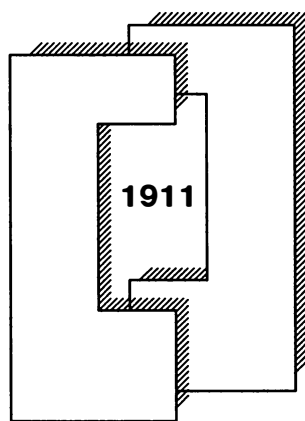
Таким образом его фантазия сгущалась до осязаемости. «Иди и пощупай». Щупали и находили *тело*, между тем «тела» никакого не было, а только его сгущенная фантазия, дьявольская, демоническая...

Так царства дивного всеильный господин.

И эти «образы», «вымыслы», Петухи, Тентетниковы, вылились на его душу и как бы задавили его, не давая «свободно вздохнуть»... На давая глотнуть воздуха реальной действительности, простой, неухищренной, поистине единоспасительной.

Вот как было дело... но и это приблизительно, гадательно...

Придвигая Гоголя к Решетникову, Островскому, Гончарову, которые «все с ошибками», Горнфельд не различил *самой темы* — «об устройении души Гоголя», или еще — «о фантастике как основной душевной стихии у Гоголя», «о структуре гоголевского творчества», и проч. И вообразил, что кто-то «ловит Гоголя на ошибках», как гимназиста ловят на «ошибках в диктанте». Ничего подобного...



НЕ ВЕРЬТЕ БЕЛЛЕТРИСТАМ...

Бог, спасая мою душу, наделил меня такую ленью, что я вот лет пять ничего не читаю из беллетристики... Кроме нечаянных случаев. С месяц назад, сидя у ночного столика больного, я, чтобы сократить часы, взял толстую книгу «Шиповника» (издающегося *не русским*) и прочел там рассказ г. Олигера из времен аграрных беспорядков... Вот тема.

Поместье... Небольшое... Владелица, лет под 40 девушка, вяжет чулки и ходит по пустынным комнатам... При ней компаньонка, из остзейских немок. Иногда она играет на рояле. 10

Ходит так шесть дней в неделю, но не седьмой. В седьмой день недели приезжает сосед подполковник, с небритыми щеками, заспанный, жесткий, грубый... И, принятый почти молча барышней, спрашивает водки и вин, равномерно закуску. Все это приготавливает в столовой компаньонка, которая затем быстро уходит в свою комнату «на верх» и запирается там на 24 часа. Так происходит, в неизменном порядке, уже много лет.

Внизу, в столовой, и подполковник и барышня-помещица угощаются. Она все молчалива и конфузлива, он все становится храбрее и наглее. Из разговоров приведены только первые фразы и реплики. Затем все застилает туман, как и головы полупьяных собеседников, и в тумане совершается все то, что обычно за- 20меняется точками.

К 7 часам утра подполковник садится в бричку и уезжает «домой», в какую-то полуразрушенную хату, почти среди поля; компаньонка через час выходит из своей комнаты и заглядывает к «барышне»... Барышня, с компрессом на голове, лежит в постели... Она брызгает на нее духами и та сама тоже брызгается духами, и так продолжается дня два. Компресс, головная боль и духи.

Речи (в рассказе) кой-какие есть... но в афоризмах, в обрывках. Дум, кажется, никаких нет, кроме «хочется» и «не хочется». Это — невольно нужно сказать — псиное существование прерывается «аграрным беспорядком». Входят мужики, — «все такие славные», высокие ростом, прямые, интересные, с глубокомыслием в «словце», и делают все, что, по Олигеру, им надлежало сделать. Т. е. на месте «псиного существования» водворяют истинно-человеческое... Пес в женском образе и с дворянством по положению куда-то убежал, — с помощью влюбленного в нее глухонемого сторожа (героизм «представителя народа»).

Дочитав, бросил с отвращением. Потом взяла злость: что это, «тип»? Или — случай и исключение (возможное), но тогда автор должен оговорить: «видел сам». Да, впрочем, «исключение» кому интересно? «Исключение» возможно описывать, как *тудо* на фоне быта, или в героическую сторону, или в сторону

злодеяния; когда в «исключении» раскрывается бездна психологии, трагизма или судьбы. Нет, явно автор не хотел сказать, что это «исключение»; без точной оговорки («сам видел», «у нас так было») читатель и права не имел принять это за исключение, и невольно должен прийти к выводу, что «русский беллетрист Олигер вот под каким углом наблюдал наше поместное дворянство»... И очень естественно: «если так, то чорт бы его (дворянство, помещиков) побрал».

Рассказа никто не заметил, но прочитать-то, однако, все прочитали. «Шиповник» в провинции «до дыр» читают. Что же сказали дворяне?.. Что же как не промолчать! Россия? А что ей сделать кроме как промолчать же?

10 Один Олигер, получив рублей сто гонорара, кушал котлетки с картофелем, месяца два, — вероятно в кругу благовоспитанных своих детей и с целомудреною, скромною, милою женою.

Она так мила: а вот русские дворянки удивительная св....

Случайно прочитал один рассказ за много лет. Но в новогоднем обзоре русской литературы за 1910 г. прочел в «Речи» у Корнея Чуковского следующее резюме:

20 «В истекшем году академик-беллетрист написал целый том о крестьянах, Горький — о мещанах, гр. Алексей Н. Толстой — о дворянах. И не как-нибудь, не мимоходом написали, а очень подробно. Тут годы и годы изугения, вникания, *вглядывания (!)*. Не романы, а скорее трактаты. „Что же такое, наконец, современное наше крестьянство?“. „И наше дворянство?“. „И кто же такие мы?“».

...«Бунин в романе „Деревня“ каждой строкою твердит: „Крестьянство — это ужас, позор и страдание“. То же говорит Горький о мещанах, то же гр. Ал. Н. Толстой — о дворянах. Ив. Рукавишников начал роман из купеческой жизни, о характере содержания которого уже можно составить себе представление по заглавию: „Проклятый род“».

30 — „Лютая ненависть к этой проклятой стране!“ — говорится у Бунина в „Деревне“. „Выродки-дикари“, — называются там крестьяне. И черта за чертой, по крупице, по зернышку, как драгоценную какую коллекцию, собирает, упиваясь, Бунин к себе на страницы всю грубость и грязь современной русской деревни, умело и старательно повевая нам в душу отчаяние:

Довольно! не жди, не надейся,
Рассейся, мой бедный народ.

В деревне для Бунина нет никаких надежд, никаких перспектив: все изжито, загажено, проклято.

А эти дворяне, что режут у соседских коров соски; продают за кредитный билет чужих и собственных жен; заводят у себя гарем из проституток, угощая ими приятелей; зазывают к родным своим сестрам дюжих мужиков для разврата, или сами сожительствуют с сестрами, — „выродки-дикари“, что могут внушить они 40 нам, как не ту же „лютую ненависть к этой проклятой стране“»...

Иной прочитавший подумает: да уж не гибнет ли наша Россия? Поверив четырем беллетристам, как не подумать?! Или что четыре беллетриста врут, как и пятый, Олигер? В самом деле, из чего-то надо выбирать, на чем-нибудь останавливаться. Ну, если правду они говорят, тогда России уже, в сущности, нет, одно пустое место, сгнившее место, которое остается только завоевать «соседнему ум-

ному народу», как о том мечтал уже Смердяков в «Бр. Карамазовых». «Я думаю, что эту проклятую Россию надо завоевать иностранцам», — говорил публицист-лакей. Но есть другая очевидность, довольно внушительная, что Россия просто — стоит, тысячи гимназистов и гимназисток поутру бежит учиться, и все лица такие ядрененькие, свежие; что откуда-то они приходят, вероятно — из семьи, где не все же «братья живут с сестрами»; что какую-то огромную «живность» съедает Россия ежедневно, и едва ли это все «коровы с отрезанными сосками», и т. д. И из этой огромной наличности следует, что беллетристы, все пятеро, просто врут.

«Изучают годами, прилежно, пишут томы», — воображает Чуковский. «Романы все *талантливые*», — резюмирует он в следующем абзаце своего годичного обзора. Да что «талантливо»-то? Написаны они «талантливо»: так ведь это мастерство руки, привычка к технике письма, и, словом, чернила и бумага. «Литература, сударь»... «Сочинительство»... Но о подобных «сочинителях» уже Лермонтов давно желчно сказал:

С кого они *портреты пишут*!
Где *разговоры* эти слышат?
А если и *служилось* им.
Так мы их *слушать не хотим*...

Блаженное «не слушайте!». Как мне хочется повторить это — «не слушайте и не читайте!». Повторить на всю Россию, особенно на глухую провинцию, откуда собираются «в надежде правды и добра» студенты в столицы, «кончившие гимназистки и епархиалки» на курсы в университетские города, и все учатся, живя впроголодь, живя часто в унижении, на что-то надеясь и очевидно *желая потом работать* для этой «проклятой России», проклятой Смердяковым и беллетристами и я думаю также вообще многими лакеями... Об «отрезаемых у коров сосках» никто не писал, телеграмм нигде не было, корреспонденции не было: а уж корреспонденты народ «дошлый» и все на месте выведывают, подсматривают, подслушают, — наверное обстоятельнее и точнее беллетристов. Корреспонденции не «литература-с» (Боже, приходится это сказать): и вот были такие корреспонденции, по две на год приходится, что где-то «обгорел на пожаре мальчик», и «одна сестра милосердия» или «студентка медицинских курсов» (никогда имя не прописано) дала у себя вырезать из кожи лоскуток, чтобы «свежим к свежему» приложить к болячке и заживить ее. И ведь «медали» не получают, ничего — даже и имени нет! Но мне кажется, все беллетристы скорее в ад бы пошли, чем хоть как-нибудь, боком и эпизодически рассказать такой «бывающий случай». «Какая же это будет литература», проворчит под нос академик Бунин. «Литература — это чтобы мать на теще женилась» или, например, Смердяков на Бунине. Это *chef d'œuvre*. Но не верьте... Господа, не верьте!

...дружно гребите во имя прекрасного
Против течения...

как завещал нам милый поэт.

* * *

Одно наблюдение... я редко выхожу из дому, но случается: и вот раз был на немного «демонстративном» обеде по поводу обиды одному писателю и общественному деятелю, на Литейном, в «Театральном клубе». Проговорили речи, отобедали... Но когда я стал выходить, то изумился дивному убранству зал, комнат, каких-то «переходцев» и проч. (дом — дворец князей Юсуповых). «Боже, это отдано *под клуб*», — такое изящество, какое можно увидеть только в палаццо Флоренции или Венеции. Живали же наши бары... Подойдя сзади, взяла меня под руку одна писательница, когда-то деятельный сотрудник «Речи», — умная, талантливая, энергичная. «Пойдемте, я вам покажу»... И мы пошли по всем этим залам и лестницам. Обошли... «Ну, вот там еще комната, — сказала она, — там играют. Хотите?» Я «хотел». Она подвела к дверям: мы стояли в дверях минуты четыре-пять. И то, что я увидел и *услышал* от нее, незабываемое зрелище, ставшее одною из «образующих линий» в моем развитии за последние годы.

— Это все писатели (она называла фамилии, я никого не знал)... Ну, как вы не знаете? Это дочь профессора, вышла замуж за драматурга, но неудачно, развелась и теперь вышла за беллетриста, и счастлива — вот они *vis-à-vis* друг с другом. Черненькая и беленький (я приблизительно накидываю канву ее шопота, конечно с ошибками в подробностях). Это лучшие литературные силы Петербурга. Из них (это я точно помню) никто не считает себя «писателем», пока не добьется двенадцати тысяч годовых... Только с этого времени он считает себя фигурой, а не пешкою в литературе. И шесть тысяч обыкновенно отдает жене на хозяйство, — а остальные проводит здесь...

«Проводит здесь!»... Мрачные, с тусклыми лицами, без улыбки, без единого слова (весь зал был глубоко безмолвен), они смотрели каждый перед собою и что-то передвигали. «Голос» был один в комнате, из угла, раздававшийся время от времени... Там вертелась машинка или что-то вроде фисгармонии (я спросил — это *не была* рулетка, и вообще не «азартная игра»). И когда он «выкрикивал» — каждый что-то у себя «передвигал».

Пассивно, без страсти, без азарта, — очевидно! Ах, треклятые: ведь это — машина. Машина играла «Ваньку-встаньку», и все литераторы переставляли у себя «косточки» по этой «Ваньке-встаньке». У кого больше — тот «выиграл»: но выиграл очевидно не сам, а ему выиграла «машина».

Игру я уважаю. Почему нет? Огонь. Страсть. Отчаяние и восторг в две минуты. Это понятно и постижимо:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю.

Да и нравы чудесные:

Как в ненастные дни
Собирались они часто,
Гнули, Бог их прости,
От пятидесяти на сто...

Это Пушкин взял эпитафией к «Пиковой даме». Словом, тут «что-то» и иногда даже великолепное... Помните игру Долохова и Пьера в «Войне и мире»? Красиво и помнится: но здесь, в палатце Юсуповых, в «Театральном клубе», был просто опиум, опиум забвения, опиум: «надо отдохнуть до статьи».

Ах, так вот где они

...разговоры эти слышат,

подумал я про «описателей» и «оплакивателей» русской земли.

Господа, не читайте! Провинция, ради Бога, не читайте!! Читайте историю, древности, занимайтесь вообще наукой... И оставьте «текущие» романы и повести в журналах, которые есть то же теперь, что «оды» в XVIII веке, или, бывало, 10 «очередная сатира» у ежемесячного Щедрина...

К 40-ЛЕТИЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И. И. ЯСИНСКОГО

8 января исполняется 40-летие литературной деятельности *Иеронима Иеронимовича Ясинского* (поляк по отцу и малороссиянин по матери, — дочери полковника Белинского, отличившегося в Бородинской битве). Сорок лет деятельности прежде всего огромный жизненный труд, который уже сам по себе не может не быть оценен обществом и печатью. Везде умный и начитанный, всегда наблюдательный, он во многих своих повестях, особенно в ранних, обнаружил и крупный беллетристический дар. Можно, однако, думать, что художественно-беллетристическое творчество было стеснено и скомкано непрерывной и неустанной работой его, как журналиста и публициста. Он к слишком многому и разнообразному тяготел, чтобы дать сильное произведение в одном каком-нибудь роде: судьба большинства писателей. Публицистические статьи его, подписанные псевдонимом «Независимый», появлялись в редактируемых им газетах и журналах. Большинство беллетристических произведений подписаны псевдонимом — *Максим Белинский*. Начав свое писательство в кругах резко позитивного исправления, в половине 80-х годов прошлого века он разошелся с этим направлением и выдержал обычный «шторм слева» за независимость своих взглядов: но удержался и удерживается до сих пор в идеалистическом и эстетическом течении нашей литературы. С этого времени он печатался в «Русск. Вестнике», «Русск. Обозрении», «Наблюдателе»; немногие его очерки были помещены и в «Нов. Времени». Ясинский издавал и собственные журналы — «Ежемесячные Сочинения» и затем «Беседу». Из беллетристических его произведений до сих пор читаются с удовольствием «Киевские рассказы», «Бунт Ивана Ивановича», «Трагики», «Старый друг», «Петербургские туманы», «Ординарный профессор». Затем выдержала пять изданий его прекрасная по общепольности книга «Этика обыденной жизни». Это — рассуждения обывателя и философа о том, как вообще грубо и плоско проходит наша обыденная жизнь, и как мы могли бы ее наполнить вкусом и изящностью, немного подумавши над бытовыми «мелочами», из которых, однако, слагаются ⁹/₁₀ жизни каждого из нас. 20 30 40

УБОГОНЬКИЕ В ИСТОРИИ

В свое время, размышляя над происхождением идеи «загробного мучения» в средневековом католичестве, с его красками, с его подробностями, и затем думая: откуда вытекло это тоскливое желание перетащить трансцендентную «мўку» сюда, на землю (инквизиция), я пришел почти к наблюдению, что в основе его лежит юродство тела и духа, безобразия «я»... Не замечали ли вы, что все *красивые лицом* — очень добры, ласковы, приветливы; а что благие в душе своей, благие и чистые, — всегда веселы, легко прощают обиду, светлы лицом и словом, не «привязываются» к другому, не «мстят» и проч., и проч. Наконец, что большинство богатых людей — щедры и «хлебосольны». Логика души ясная: «Само-
10 му хорошо — хочу, чтобы всем было хорошо».

Не то юрод или урод... Уж он «не забудет»... Он схватит у человека ниточку, словцо: и за «словцо» будет тянуть у него душу. Тут есть что-то мотающееся, тоскливое, вязнущее в зубах: и вот из мотка этих чувств или подобных ощущений возникла, в раннем и первом фазисе своем, инквизиция. Мир цветет, счастлив; мир в существе своем, в вечном зерне — Моцарт:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать...
20 Все предались бы вольному искусству...

Я говорю, что мир, вышедший из творческого акта Божества, в тайной субъективности своей очень похож на это самоощущение, какое дивный Пушкин вложил Моцарту. Нужно ли оговаривать, что «не мог бы существовать» есть *modus dicendi* *, для усиления впечатления. Напротив: *им-то* и живет, как своим «праздником», как «троицной березкой» весна...

Но подходит к «вдохновению» сбоку хромой... С косым глазом... Немошный, без радости, таланта и света. Никогда, никогда он с этою радостью *здорового мира* не сольется. И болит он весь, болит, как больной зуб. Болит грехом ума своего, души своей. И, подойдя к радости мира, стряхивает с кистей рук свою немощь на
30 чужую радость, шепча: «Прими болезнь мою! Прими печаль мою»...

Вот инквизиция. Родник ее. Психологический и метафизический, не говоря об исторической обстановке.

* * *

Что я такое сделал Струве?.. Отвечал ему вежливо... По пунктам, на все вопросы... Ни на одну грубость не дал реплики. И думал — все, дело кончено; признаюсь, ждал интимно благодарящего письма от него (мы с ним шапочно знакомы, и раза два он у меня был). Но в только что вышедшей январской книжке «Русск. Мысли» он дошел до какого-то исступления... и в то же время, чего никогда с ним

* манера выражения (*лат.*).

не было, берет тексты из Евангелия, в слоге его вместо грубости — мягкость, и он пишет решительно *не своим тоном*, даже два раза процитировав Евангелие (никогда не делал!):

«Для меня Розанов — неординарный нововеоременец, а один из первых русских писателей, — человек, награжденный большим писательским дарованием и чисто художественным прозрением»... «Объективно — это обстоятельство огромной важности: ибо в нем лежит большая сила, чем во множестве маленьких беспорочно-благонамеренных писателей. И потому бесстыдство Розанова есть большое *горе* (подчеркнуто Струве) русской литературы»... «Именно этот смысл она имела для меня и должна иметь для моих читателей... И то, о чем я пишу *со скорбью как о горе* (мой курс.), никто не должен принимать с радостью, вроде того ощущения, какое овладевает стихийно толпой, когда раздается крик: «Вора поймали» (слово-то всунул-таки размякший от благочестия Струве). Моя статья написана в другом настроении. Не удовлетворение я испытывал, когда я разоблачал Розанова, а огорчение. И не потому, что этот *заведомый двурушник*, сотрудничающий в разных газетах»... (слово опять пало читателю в ухо). И т. д.

Какой тон! Сколько психологии в нем!! Так и видишь хромающего со стоном... «Ох, болит! Все болит!». И ползет он, ползет сюда... Иголочки-то сейчас выпадут... Да уж и выпали, укололи...

«Никого я, в том числе и г. Розанова, не могу без тяжкого душевного испытания (?!! — В. Р.) — счесть заведомо делающим дурное, нечестное. Иные говорят, что „нельзя пить из колодца, в который, может быть, плюнуть придется“. Какое противоестественное и жестокое изречение! Как отразилась в таких поговорках вся извращенность русской жизни и вся извращенность нашей общественной психологии»...

Этот хромой — почти святой!

«Мне, конечно, скажут: в этой извращенности повинны «Новое Время» (??!!), произвол, правительство и т. д., и т. д., и т. д. Да, конечно, совершенно верно: повинны. Но, кто бы и что бы ни были в ней повинны, все-таки это — психология извращенная: в ней таится жестокость, злоба и гордыня».

Осуждает злые чувства... Совсем святой человек! Но уж словечки-то произнесены, и читатель их услышал! «Конечно, все скажут — он *подлец*, и даже это так в самом деле: но мое благостное сердце не позволяет мне слиться с голосом всех».

И «все» уронены, и «подлец» пригвожден: только «хромец» стоит в сторонке и молится Богу. Ах, Струве, Струве... где *вы?* где *ваше?*..

«Морально такой человек никогда *не будет прав* (курс. Струве). Это один из тех случаев, когда мудрость житейская и мудрость этическая расходятся в разные стороны. Житейская мудрость учит нас величайшему недоверию к людям вообще, к „грешникам“ в частности. Но житейски мудрый завет: „не пей из колодца, опять плюнуть придется“ — не может быть превращен в общее моральное правило. В справедливом гневе и негодовании»...

Подходит! Совсем подошел!

«...Можно или, вернее, *извинительно плюнуть в лицо человеку, совершившему мерзость* (Струве раньше меня назвал „в корне безнравственным человеком, не могущим удержать в себе лжи“, — и конечно, читатель его статей это запомнил и сейчас делает вывод о „можно плюнуть в лицо“), но ни одного человека, самого дурного, самого грешного, нельзя раз навсегда превратить в плевательницу».

Выпала иголочка... Это — новый оборот: «превратить в плевательницу». Сладко заныло сердце Струве.

Сладко, еще перечту...

«Радуются изобличению Розанова... доволен всякий. Кто никогда не верил Розанову, с ним не общался, а, наоборот, *всегда готов был плюнуть ему в лицо и за прошлое, и за настоящее, и за будущее!*».

Ну, это — триумф. И сейчас падает на колени ханжа: «Но это была бы злая радость и самодовольство: а такие чувства не одного ли духа с молитвой фарисея: Боже, благодарю тебя, что я» и проч.

¹⁰ Горничная плюнула. Фарисей помолился. «Вместе» составляют «Струве». Хорош соус...

Три времени: «и за прошедшее», и «за настоящее», и за «будущее». «Будущее»-то чем виновато? А в прошлом — «Семейный вопрос в России», «Сумерки просвещения». По *деловому* содержанию — всей России будет жалко. Да и Струве так их хвалил, — выписывал страницами цитаты и все восхищался почему-то слогу. Бедный Струве. Как ему теперь горько!! А уж вошли эти похвалы в его книгу, и их «не вырубишь топором». Вот теперь будет смотреть с ненавистью на собственную книгу...

* * *

²⁰ Признаюсь, тех больших качеств, какие он видит во мне, — я не вижу. Но уж все равно, — *он видит*. Я подсказу, что он видит: ибо его похвалы вращаются около одного пункта, который он не умеет назвать. Это — *психологичность самого языка*, большая нагнетенность (как «нагнетают» воздух) ее — качество новое... Ею-то, между прочим, угадываются «тайны» противника: и он вдруг видит себя «яко бос, яко наг», когда вступает в препирательство, задрапированный в высокие чувства... Напр., оскорбленного литератора или оскорбленного гражданина... Но не в них дело:

³⁰ Труден первый шаг
И скучен первый путь... Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник... Поверил
Я алгеброй гармонию...

И все дальше... Все точно так, как вложил Пушкин Сальери. Ни *один* из русских писателей так не озаглавливал своих, *за много лет*, трудов: «На разные темы»... И не придавал же этого странного заглавия книге.

Я сделался ремесленник...

Бумагу положил перед собою, а мыслей — нет. «На разные темы»... Да, действительно «на разные темы». Кое-что и в сущности — ничего.

В тишине и тайне
 Я стал творить...
 Нередко просидев в безмолвной келье
 Два, три дня, — позабыв и соль и пишу...

Но, Струве: надо быть скромным. Вы много понаписали о разных добродетелях, а не имеете простой и всем нужной: отчего вы не пришли никогда ко мне вечером (только не когда я занимаюсь нумизматикой), мы бы почитали, посмотрели вместе черняк, и, может быть, появилось бы что-нибудь другое, чем что появляется теперь... уж сколько лет... и все с одним заглавием, без «говора» в заглавии и в сущности — *без темы* («На разные темы»):

10

Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
 Висит между плодов пришлец осиротелый.
 И час их красоты — его паденья час.

И занимались бы нумизматикой. Ничто так не успокоит волнения публициста, как нумизматика.

Струве дал толчок кговору обо мне: «Вестн. Евр.» (январь) говорит, что обо мне можно быть «только невысокого мнения как о *человеке*» (кто его спрашивает об этом?), а «Русск. Бог.» по-демократически размахнулось: Розанов, как и один герой Достоевского, говорит о себе в ответах Струве: «Нет, я не подл — я только широк». Язык, понятия и обвинения, совершенно небывалые у нас даже в 60-е годы! И что стольким людям за дело до моей нравственности, души, совести... Какая забота о «спасении». Россия так чиста, что больше и «спасать» некого. Струве, в той же книжке, где дал мне «плевок в лицо», говорит, в споре с Жаботинским, что «допустить в белорусских и малорусских губерниях школьное преподавание на местном народном языке — значит готовить себе то, что Австрия имеет в Галиции», «раскалывать *единство культуры и хода истории в России*». Итак, он принял уже самые крайние мысли «Нов. Вр.», с чем вовсе не согласны *все* сотрудники «Нов. Вр.». (Я лично стою за этнографические языки в начальных школах.) Явно, что не «душеспасение» им руководит, а, ругая «Нов. Вр.», он маскирует источник, откуда берет темы, тон и мысли свои «на разные темы». Я не упоминал и стеснялся упоминать, что меня возмутило с первого же взгляда в нападении Струве; стеснялся упомянуть потому, что Струве имеет обыкновение или, *может*, имеет дух отречься от того, что говорит устно: так, когда я привел рассказ его о провокаторе, заведшем для них журнал «Начало», он печатно заявил, что никогда этого не говорил. В своей полемике против меня он приводит устные со мной разговоры: итак, я вправе сказать, отречется он от этого или нет, что *именно* его-то, Струве, нападения на революцию в самом ее фундаменте, в самой ее идее, с злорадным заявлением, что «жаль одного — не дали ей дойти *до конца*, и тогда только все ужаснулись бы по-настоящему и *Вехи* получили бы надлежащее оправдание» (это — буквально), далее — что «такого позора, какой представляла наша радикальная журналистика в пору появления „Анны Карениной“ и „Войны и мира“, — никогда во всемирной литературе не было, и следовало бы сделать хрестоматию из этих критических статей и приложить к *Вехам* как образец радикальной бессмыслицы, злости и безвкусыя» (тоже — буквально), — все эти суждения Петра Бернгардовича, с большим подъ-

20

30

40

емом и характерными его «преткновениями» сказанные весной минувшего года на вечере у А. В. Вержевской, — подействовали на меня, а в словах моих о Чернышевском и Писареве прямо прозвучал тон слов Струве... И вдруг именно *эти слова* взяв, *свои слова*, — из моих статей, он обвинил меня как предателя освободительного движения, врага прогресса, врага всей прогрессивной печати! Тут я пережил ощущение, каких в жизни и в деле *разоговаривания в геловегеской природе* переживаешь много раз...

Да: я один «день» говорю одно, «другой» день — другое. Ну, что: тяготит, хочется сказать. Волнуешься, меняешься. Но *ни один геловек в мире не может сказать*, чтобы устно и дома я сказал хоть единый *тон*, единую *букву*, какую не посмел бы сказать и не сказал бы в печати; или чтобы печатное — я говорил *дома* иначе, с друзьями *инаге*! Никогда, ни один человек, друг, знакомый, ползнакомый, этого не скажет: иначе как лжец, и лжец будет опровергнут другими свидетелями. Одни слова «за пазухой» и на страницах газет. Это-то, *мне кажется*, и есть все, что составляет нравственность писателя. Что еще иначе могу я сделать. Как не говорить, что думаю: глупо, умно, порочно, добродетельно, безумно, гениально. Так что читатель знает все мое «за пазухой». Но «Вестн. Евр.», «Рус. Бог.», «Рус. Мысль» и в перепечатках множество газет подняли камни: «нельзя уважать», «плюнуть бы в лицо», «подлец». Эх, господа, не знаете вы тайн писательства. Для вас все это — улица, для меня — «дома», для вас — говор толпы, для меня — мысль в уединении. А уединение имеет свои сладости, каких нет на улице. Ну, представьте (секрет писательства, индивидуальный), — получить «плювок в лицо» составляет для меня удовольствие. Ну, так-таки и удовольствие... Равно «подлец» и проч. Сперва болит, час-два: но потом переходит в какую-то удивительную приятность, больше — в какое-то сладкое и нежное самоощущение. Не понимаю, «садизм», что ли: может быть, расплюевская природа? Поймешь себя, когда будешь «на том свете»; а теперь просто — значительное равнодушие к похвалам (стучат колеса на улице) и влечение быть обиженным, униженным, оскорбленным («заноза» Дома), какой-то работой перерабатываемая в сладкое, мирное, тихое, прощающее... Глубоко прощающее.

Таков, Фелица, я развратен.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕРРОР

«Розанов один из первых русских писателей»...
«Это нужно помнить»... «Это должны помнить и враги его».

П. Струве, «Русск. Мысль», декабрь.

То же — январь

Можно бы и извинительно Розанову плюнуть в лицо. Но мое христианское чувство не позволяет этого.

П. Струве, «Р. Мысль», янв

Можно в лицо плюнуть Розанову за его прошедшее, за его настоящее и за его будущее.

П. Струве, январь

О Розанове разнесся крик по печати: «Поймали вора».

П. Струве, январь

Розанов о себе говорит, как один герой Достоевского: «Я не подлец, а я только широк».

«Русск. Богатство», аноним

Розанов — бесстыжий двурушник. 10

А. Пешехонов, «Русские Ведом.»

О Розанове как о человеке можно быть не высокого мнения.

«Вестн. Европы», К. А(рсеньев?)

Социал-демократия давно установила в нашей литературе террор. Как пел Минский, присоединившийся на тот день к Горькому и к какому-то «Богданову», которого, впрочем, за глаза он называл «дураком»:

«Кто не с нами — против нас: он должен пасть».

Беденький, он сам «упал» куда-то вон из России, как и вообще не столько враги социал-демократии «падают» перед их сокрушительными ударами, сколько они в бессильной злобе *сами* «от своих ударов» разлетаются в стороны... 20

Но в вяленькой, трусливенькой печати они терроризируют. Орудие террора — лишение чести, опозорение, как я выразился, «кислота в лицо». Что для женщины «красота лица», то по понятным мотивам для писателя есть оценка его нравственной личности, его искренности и правды. Лишенный этих измерений, — писатель, само собою разумеется, не существует, умирает.

Социал-демократия *сама* бессильна овладеть литературою: ведь талантов там нет и все вроде «Богданова»; зато она задавила всякий протест против себя, через угрозу «опозорением», и в значительной степени заставила служить себе «сочувственными отзывами» или «почтительной полемикою» почти всю печать. 30
Все сводится к шантажу, угрозе и клевете: и вне этих орудий социал-демократия в сущности литературно не существует.

Но где «болото», там и «утопленник»: беденькая социал-демократия, оболыщенная лестью со всех сторон, не догадывается, какой она давно «утопленник» и «мертвое тело» среди этих банкиров, издающих социал-демократические газеты («Утро России»), богоносцев и боготворцев, аристократов и чиновников; из всех их, — *она увидит в грозный час*, — «шубы не сошьешь». Но это ее дело, и пусть сама разбирается в своей канцелярии.

Струве совершенно прозрачно устроил мне «кислоту» в лицо. Устроил с оглядкой на социал-демократию, которую про себя он также презирает, как Минский в пору редакторства «Нашего Времени», и в которой, как Минский, он также заискивает, — особенно в декабре и январе... На устном суде, суде чести литераторов или обычном государственном суде, где есть время, где можно часы говорить и особенно *можно ссылаться на устные разговоры*, я мог бы доказать ему, что все его нападения против меня *внутренно-лживы*, и об этом он сам знает; что они глубочайше *фальшивы*; что из двух нас уж, конечно, он «двурушник», работающий для торгово-промышленной партии в Москве (об этом писалось в газетах), и одновременно с этим пуская у себя в журнале, как редактор, социал-демократические статьи... Маленькая рыбка за всяким кораблем плывет, откуда через борт выкидывается кой-что... До чего *притворно* все его негодование на одновременную работу в изданиях противоположных политических убеждений, можно видеть из того, что он сам меня приглашал к этому, все шло *через его руки и у него на глазах*, и пять лет назад, и год назад! Что же он теперь молится о душе «грешника» (тон последней его статьи), когда он сам меня соблазнял? «Душеньки» завелись в литературе... Точно так же на подобном суде я мог бы доказать седовласому «Вестнику Европы», что он *не смел* выражаться обо мне в том смысле, что «*как о человеке* обо мне можно быть не высокого мнения»: ибо едва ли седые головы снискивают о себе «высокое мнение», когда положены к ногам или сапогам, конечно, не чищенным, социал-демократов; на том же суде я мог бы уличить вечного юлу Чуковского, который по смерти Толстого писал мне: «Противно мне все, что делается около гроба Толстого, брожу по лесу и реву: хотел бы видеть вас, и только одного вас», а теперь, 1 января, напечатал (в предположении «окончательной победы» социал-демократии), что я «Азеф, и одной рукой душу то самое, что другою глажу по голове»; что я «отец идейного духовенства в России...».

Все это я мог бы разоблачить...

Но, господа, какая скука таскаться по судам! Какая потеря времени, главное — времени...

О чем вы пишете? Что вам нужно? Ваша душа — при вас, моя — при мне, ваши писания — при вас, и я из них не сделаю себе плагиата. Ну, превосходно все, кристально чиста у вас душа, героичны мотивы... Известно, «честная партия»... Оставьте же меня в покое... Чего вы все пристали ко мне, как шавка к прохожему... Разве нет тем? сыта Россия? все исправно в ней? Пишите *о России*, а не *о лицах*... *О лицах стыдно писать*, — это есть безделье, бестактность и тунеядство. Вы должны оплатить читателю его рубль определенной пользой. Что вы пишете и что я пишу, — это говорит о себе *содержанием своим*, и нечего подписывать: «се лев, а се человек», «се негодяй, а се герой». Никак не можете взлететь выше этого. «Крылушки не поднимают». Возьмите ходули — выше подыметесь. «Ближе к небу»... Да, впрочем, по уверению нашему, вы «близки к небу», «к Богу», «к будущему»... за плечами у вас так ангелы и поют, или «демоны» пушице ангелов по нынешнему веку... Ну, и слава Богу, и Христос с вами, монументов вам будет много, денег у вас, конечно, и теперь достаточно, и когда умрете — то, конечно, «венки» и «венки»!.. И отлично. Но ради Бога, пока жив, не приставайте.

Р. С. Струве не задал себе вопроса, из каких составных частей состоит *талант*, без каких-либо всемирно не было ни одного таланта? Сам он написал, и настойчиво, не один раз, не обмолвкой, что, по его оценке, вкусу и разумению, я есть «один из *первых русских писателей*», даже без оговорки, что из «писателей современных»... Да почему? В *даровитость писательскую* абсолютно входит его *ЧЕСТНОСТЬ*, ибо только правда дает искренность, дает жар, дает смелость, дает твердый ток, дает огонь, образует «стиль»... Стиль как «лучистое строение» груди слов и мыслей, неподдельное и неизъяснимое явление, в природе языков человеческих лежащее. Как есть рассеянный свет, матовый, бессильный, так есть световое лучеиспускание, «то же и не то же», — и вот это есть и в языке. Оно рождается и только может родиться из горения души, *непрерывно не ниже известной температуры*; из пламени совести. *Стиль и совесть неотделимы*. «Талант» и есть *преобразование в слово нравственных сил души* (не «прописных»), нравственных оттенков души, нравственных тонов души, до полной точности светописа, до полного автоматизма, до абсолютного совпадения. «Талант» отделяется от души, как *сок от дерева*: можно ли же подделывать сок? Или сказать, что сок яблони течет в березе? «Талант» есть полное удовлетворение «полной личности автора», так как он и течет из *полноты* его, из *целости* его; из всей его биографии, открытой и *сокрытой*, из дел и «делишек», из жизни и «приключений», из всего, *до дна*. А вы несчастным образом вообразили, что 1) душа — одна, и может быть подлая, ей «плюнуть бы в лицо», 2) а талант — какая-то странная привеска с боку, игрушка арлекина, *орудие у человека*, а не *сам человек!!!* Это так было бы, если бы «талант» был «ум»: но «ум» в него входит только четвертой, десятой долей, но главным-то образом он сплетен из *гневов и нежностей, любви и негодования*, из отношения и именно *нравственного отношения к вещам*. Но и это — не все! Не все, мало! *Полный человек* — вот «талант». *Рождение и жизнь* — вот талант! Талант есть *фатум*, талант есть *судьба*. Что же такое вы говорите о «бесчестности» таланта?

Да, если бы Пушкина или Лермонтова, если бы Белинского или Добролюбова кто-нибудь с *полигным* уличил в краже, если бы целый полк полиции его застал на плутовстве и обмане: то я и весь мир рассмеялись бы полку в лицо... Наконец, скорей усомнился бы в своих глазах и в собственном здравом уме, нежели поверил бы, что писатели с жаром Белинского, Гоголя, Пушкина, Добролюбова, наконец, Писарева — писавшие их *языком, их слогом, на их темы*, могли «играть на два фронта», иметь «два лица и две совести» (обвинение меня Струве), и вообще могли что-нибудь *малейшее негестное сделать*. Наконец, предположим самое последнее и невероятное, что Пушкин украл (для спасения жены от болезни, смерти, ребенка от голода или проституции, — *я бы украл*), то и я со мною весь свет предпочел бы жить всю жизнь с «укравшим Пушкина» несравненно ему драгоценнее, милее, на его взгляд благороднее, чем «душа Струве, получающего от торгово-промышленников только выговоренное жалованье» (пишу для примера, без факта). Поэтому обвинения против меня Струве, при его же признании меня первоклассным талантом (ввел же его во искушение Бог), — обвинения прямо в мошенничестве, — представляют такую историю в истории литературы, какой, конечно, никогда не было.

Несчастный Струве, поистине несчастный!..

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<Струве и Пешехонов>

Г-н Струве письмом в редакцию газеты «Речь» заявляет, что взятые мною в эпиграф слова из статьи — *согинены мною самим*. Между тем вот эти слова, как я их читаю сейчас на странице 183 январской книжки «Русской Мысли»:

...не верил Розанову, никогда с ним не общался, а, наоборот, всегда готов был *плюнуть ему в лицо и за прошлое, и за настоящее, и будущее* (6-я и 7-я строки внизу).

Несколько выше этой цитаты, на той же странице, где речь идет *обо мне, и только обо мне*, а не о каких-либо вообще «людях», помещена следующая тирада: «В справедливом гневе и негодовании можно или, вернее, извинительно *плюнуть в лицо человеку*, совершившему мерзость, но ни одного человека, самого дурного, самого грешного, нельзя раз навсегда *превратить в плевалницу*».

Кто здесь превращается в *плевалницу* и кому *плюется в лицо*, — совершенно ясно из примечания на следующей, 184 странице: «Защитительные статьи Розанова (т. е. защитительные от клеветы Струве) означают такую глубину нравственного падения, что писать о них не имеет смысла и даже невозможно. Тут уже не только органическое *бесстыдство*, а *сознательная и до последней степени лживая злоба*».

«Может быть, г. Пешехонов не разделяет моей оценки дарования Розанова... Мне кажется, что то, о чем я пишу со скорбью, как о горе, г. Пешехонову доставляет какую-то радость, вроде того стихийного ощущения, которое овладевает толпой, когда раздаётся крик: „вора поймали“. Моя статья написана совсем в другом настроении. Не удовлетворение я испытывал, когда я „разоблачал“ Розанова, а огорчение».

Пешехонов, что-то приблизительно из мужичков, написал простодушно-грубую статью обо мне *по поводу статьи Струве и ссылаясь на нее*. Пешехонов был введен в обман Струве, доверившись *его знанию меня как человека*; ибо Струве в редактируемых им журналах «Полярная Звезда» и «Русская Мысль» помещал мои статьи, а это, вообще говоря, делается при личных сношениях, личном *знакомстве*. Вообще весь обман по печати *пошел от Струве*, и я могу негодовать на легкомыслие других, на легковерие других, но невольно их прощаю, как введенных в туман обмана. Что это именно обман, что печать и общество имеют дело с обманщиком, можно видеть из теперешнего его заявления, что ругательства его, взятые мною эпиграфом к статье «Литературный террор», *согинены мною самим*. Бедный литературный городничий уверяет публику — ревизора, будто «эта вдова сама себя высекала». Читатель, конечно, не поверит, чтобы я сам себе плевал в лицо. Но как же смел Струве так дерзко и нагло отречься от собственных слов? Здесь видим соединение пасти волка и хвоста лисицы. Он запас себе лазейку на случай, если его осудят за слова и выражения, допустимые только в ночлежке. Именно, *он влагает эти слова Пешехонову*, моему полемисту вслед за Струве, и влагает их примерно. *Пешехонов-то ничего подобного не говорил*. Он привел лишь в общем и схематическом виде поговорку, какую слышал от покойного своего учителя, Н. К. Михайловского, — советовавшего ему, Пешехонову, «не пить из колодца, в который плюнуть придется». Обыкновенный их демократический

жаргон. Вот на этих словах Михайловского Пешехонову он и построил свою статью: играя с пословицей, и все как будто увещая Пешехонова обходиться со мною по этике и как заповедывал Христос обходиться с грешниками, он преобразовывает пословицу, ко всем и вместе ни к кому не относящуюся, в ругательство, где мое физическое лицо сближается с физическим же плевком. Чьим? Да уж, конечно, плевком Струве, сколько он не прячясь в лазейку. Ибо *Пешехонов-то этого не говорил, у него слов: «Можно плюнуть в лицо Розанову», «плюнуть в лицо за его прошедшее, настоящее и за будущее» и «крик раздался — вора поймали» — нет.*

Тексты из Евангелия, бесконечная злоба, до желанья съесть, заготовление лазейки, всовывание в рот Пешехонова своих слов, своего отвратительного ругательства — все это подробности такой картины, такого поступка, указав на которые читателю и России, я могу только сказать одно: так Бог покарал этого человека, уронив его в яму, которую он копал другому. Я же всегда верил, что дурно начатое дело не может не кончиться дурно для самого начавшего... *Как кончится оно в данном случае — я не знал. Но верил безотчетно, что теперь или много позже, ну — через годы, ну — после смерти, станет всем ясно, кто есмь или был я и кто был или есть Струве. Но такого скорого конца я не предугадывал.*

18 января.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТИПЫ

Русская литература родила целый маленький народец, — миниатюру, копию и символ великого русского народа. Значение всей совокупности лиц, выведенных в произведениях наших классических писателей — неизмеримо и разнообразно. Прежде всего, это — художественная работа великих мастеров слова, и на ней мы изучаем, на ней *осязаем* их технику, приемы работы, закон их художественного воображения. Вовсе не начиная с Гоголя, но с самого уже начала, с Фонвизина и даже с Кантемира, русская литература была реалистична и натуралистична; романтизм, наприм., являлся в ней только гостем и «прохожим странником», но иногда — хозяином. Поэтому и мастерство русских писателей сводилось к уменью наблюдать, выбирать из видимого характеризующее и общее, выбирать *типовое*, — наконец наблюдать и оригинальные странности, занимательные, новые или обещающие; и все это взять в слове, взять в горниле великолепного русского языка, художественного уже в самой своей филологии, в корнях своих. Не на каждом языке можно было бы написать русскую литературу: в полноте и во всем составе ее и можно было написать только на русском языке. Таково одно значение «литературных типов». Второе также неизмеримо важно: мы собственно недостаточно вдумываемся в то, что совокупность лиц, выведенных в произведениях наших писателей, суть *единственные люди*, по которым физически, осязательно узнали и всегда будут узнавать Россию и русский народ в целом мире, в Европе и далеко за ее пределами. Таким образом, «народец, рожденный нашими писателями» — это есть дитя великого русского народа, высланное за пределы родины. По нему судят и будут судить о русских в обоих полушариях, и не один век.

Дитя это — хорошее: здоровое, способное, разнообразное, колоритное. Дитя явно «с будущим».

Понятна важность до подробностей изучить его.

«Словарь литературных типов» * отвечает этой задаче. Всех выпусков предположено 24; и начиная с 7-го, уже печатающегося, они обнимут следующих писателей: Пушкина, Толстого, Гончарова, Достоевского, Писемского, Островского, Салтыкова, Герцена, Успенского, Чехова. Это — далеко от полноты, и нет сомнения, что «Словарь» будет пополняться и расширяться, что он будет иметь наследников и продолжателей, вероятно получит и «реформаторов».

¹⁰ Все в нем полно, умно, заботливо, и — не расплывчато, без лишних слов (самая опасная сторона в подобных изданиях). «Словарь» — крепко, туго сколочен 1) из характеризующих слов, словечек и целых описаний в том литературном произведении, где данный тип выведен и 2) из оценок данного лица у *всех* видных историков русской литературы и сколько-нибудь выдающихся русских критиков. Все это — дословно, в цитатах.

¹⁰ Через это читатель знакомится «в сокращении и концентрации» не только с произведениями писателя, но и со всею литературою о нем, ученою и художественно-критическою; наконец — с его изданиями, в критической оценке каждого. Все это сопровождается еще «приложениями», в которых дана *обстановка* творчества и жизни писателя. Так выпуск: «Грибоедов» содержит пять приложений: «Источники для изучения Грибоедова», «Свод выражений и имен, обратившихся в нарицательные» (т. е., по удачности и типичности, обратившиеся почти в поговорки, беспрестанно повторяемые в обществе и в литературе), «Прототипы действующих лиц» (т. е. те *живые лица*, Грибоедову современные, с которых — по догадкам ученых и современников — он срисовал свои портреты), «Список лиц, имен и предметов в *Горе от ума*», «Грибоедовская Москва и поколение 20-х годов». Последняя статья читается с захватывающим интересом, как превосходный исторический этюд.

³⁰ В начале каждого выпуска помещена «Биографическая статья»: погодный перечень событий из жизни автора и написания им важнейших произведений.

Полнота «типов» — исчерпывающая.

Нельзя не пожелать самого широкого распространения этому в высшей степени полезному изданию, этой в высшей степени трудолюбивой работе. Особенно — среди учащихся.

ЛУЧШАЯ КНИГА ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ

(К воспоминаниям о М. М. Стасюлевиче)

Это, конечно, пустяки, что об умершем можно говорить «или хорошо, или ничего». Что за условность? Что за притворная ложь в такой страшный час, пе-

⁴⁰ * Словарь литературных типов. Выпуск 1–2: *Тургенев*, 2 р. Выпуск 3: *Лермонтов*, 1 р. Выпуск 4: *Гоголь*, 1 р. 25 к. Выпуск 5: *Аксаков*, 1 р. Выпуск 6: *Грибоедов*, 1 р. Общая редакция Н. Д. Носкова. Цена за шесть выпусков — 6 р.

ред священством смерти? Нет, не то, совсем не то хотели сказать сами римляне своим «aut bene, aut nihil». Что-то другое они хотели сказать.

Когда задернется золотым покровом церкви тело вчера еще живого человека, как странно холоднее сегодня, так странно безмолвное сегодня, то неожиданно его фигура поднимается перед нашею душою совершенно в иных чертах, чем в каких она знала ее, видела ее в необозримой «сплетне мира», как хочется назвать эту нашу теперешнюю, земную жизнь. Мы все здесь немного сплетничаем и всегда сплетничаем. Злословим, смеемся. Шутим, остроумничаем. «Золотой покров церкви» вдруг говорит гласное: «довольно». И тон речей наших невольно перемещается. «Ходим на цыпочках» около гроба, в тесной комнате; и также ¹⁰ в некрологах, воспоминаниях. Вот что значит древнее «aut bene, aut nihil».

Говорим «последнее *прости*» человеку... и говорим неодолимо любя, сожалея, припоминая все дорогое в нем. «*Каждый* человек нам дорог», вправду дорог: вот что говорит хор голосов вокруг гроба, где исключено все дурное. Это не условность, это нравственность. При жизни шутили, смеялись, но когда «вот вдруг умер» — все это опадает как *не настоящее*, и остается только настоящее: «как был он нам *нужен*, как мы *любили его*, кто-то теперь за него выполнит его дело»...

Зияние. Пустота. Смерть — всегда *пустота*, вот что страшно. Мы хватаем, обнимаем «пустое место», которое нам осталось вместо «живого человека». Порыв к словам, восторгу, слезы, шум, — все это образуется как смятение вокруг этого ²⁰ ужасного «пустого места», которого не выносит душа человеческая, как физическая природа тоже не выносит «пустоты». «*Non ego vacui*», «*Natura habet horrorem vacui*»*: как эти поговорки средневековых физиков применимы к смерти! Вот и «смерти» не выносит душа человеческая: и перед бледным лицом ее бежит в шум, сообщество, коллективность. Бежит трусливо, ужасно заробев. Вот происхождение, вот древний корень и старинных «похоронных обедов», и тризны, и «надгробных речей», и всей «пышности» похорон, всей их сложности... «Только бы не остаться *одному*»; «на *миру* и смерть красна»... Как мы боимся этой ужасной гостыи. А ко всем она придет...

* * *

30

Мне хочется указать на самое лучшее, что, по-моему взгляду, оставил покойный Мих. Матв. Стасюлевич, и что наверное останется совсем незамеченным. Он однако работал над этим трудом много лет: работал в лучшую, молодую свою пору; работал когда преподавал историю покойному цесаревичу Николаю Александровичу, и труд этот составляет собственно *процесс, материал*, как бы «черновые тетради» преподавания, тщательно собранные, приведенные в систему и избранные любящим учителем. Да, вот что хочется сказать надгробно Стасюлевичу: «Иди, белый старец, с побелевшими волосами — туда, где встретит тебя юная тень любимейшего ученика твоего. И обнимет тебя за всю крепкую любовь, какою ты его любил столько десятков лет. Любил, и помнил, и лелеял».

40

Как известно, цесаревич Николай Александрович был необыкновенно даровит, впечатлителен, жив и любознателен. Приглашенный к нему в преподаватели

* «Боязнь пустоты», «Природа боится пустоты» (лат.).

М. М. Стасюлевич, только что из учителей Ларинской гимназии перебравшийся в профессию, ответил на эту любознательность со всей энергией именно *нагигающего* ученого, энтузиаста. Два энтузиазма встретились: и результатом явилась изумительная трехтомная книга, подобной которой нет не только в русской, но вряд ли есть и в иностранной литературе, даже в германской. Это «Хрестоматия по истории средних веков, в памятниках современных (т. е. средневековых) и в освещении новых ученых».

Узнал я ее тридцать лет назад: и поверит ли читатель, что страницы ее, большого формата, крупной печати, на «так себе» бумаге — до сих пор памятливы мне как страницы какой-то священной летописи, из которой *впервые я узнал*, что такое «былая история», не эта только, не одних средних веков, но всякая вообще. Понял из нее впервые *существо истории*, как науки, не только *in concreto* *, но *in idea* **. А «средние века» стали буквально для меня родными, прямо «легли мне за пазуху»: и средневековую, положим, Англию, поезжай я туда на место всяких Вестминстерских аббатств, я понимал бы и чувствовал не меньше самого англичанина, даже очень образованного, даже ученого. «Суть» всегда в «сути»: вот ее-то изумительный Стасюлевич и дает в изумительной своей книге.

Сидоний Аполлинарий, Тертуллиан, еще кто-то, еще многие (имена забылись за тридцать лет), — все говорят языком V, VI века: говорят в лагере Атиллы, говорят в Риме, потрясаемом варварами, говорят за юную христианскую общину, говорят против развратных патрициев, говорят в частном письме «к другу», говорят в полемическом трактате. «О, жители Трира (может быть, путаю город): стены города вашего дрожат под таранами гуннов, а вы сидите в цирке и услаждаетесь зрелищем»... Или: «Я вижу бедствие еще худшее, чем всеобщая погоня за наслаждением и покупка его всякою ценою. Я вижу, что из вас, римляне, никто не чувствует себя счастливым, пока не видит несчастными всех окружающих»... Как едкая соль, эти неслыханные строки, эти незнакомые нашему веку ощущения и переживания падали из священной «хрестоматии» на мою душу юного учителька гимназии... И у меня был порыв всякого гимназиста схватить «за шиворот» и заставить читать со мной эту книгу... Но у учеников всегда было «так много задано по другим предметам». Я только передаю впечатление: через тридцать лет я цитирую на память строки: «все одинаковы и далеки», нет: скорее — «пять пальцев на руке, и который ни занозит — больно и кровь потечет». Космополитизм — сглаживание, упрощение; возврат к элементарности и, в сущности, к одичанию; «европейское образование» есть *усложнение*, расширение «родного». Дальнейшее развитие «организма».

Но вернусь к книге... «Хрестоматия» — это *не* «мое сочинение», и оттого в большинстве они тусклы, бесцветны, «космополитичны». У Стасюлевича был определенный ученик, любимый ученик; как он ожидал — будущий царь России. Таким образом, то несчастное обстоятельство, какое сопутствует составлению всякой хрестоматии, ремесленность, «сколачивание из чужого материала своей книги», выпало отсюда. Стасюлевич создал свою хрестоматию, как художник лучшее свое художественное создание, — с этою же любовью, надеждой и верой. И это было возможно для Стасюлевича, ибо здесь работал его *вкус, выбор*. Ни

* в действительности (лат.).

** в идее (лат.).

при каких стараниях он не мог бы написать художественной *своей книги*: но хрестоматию он мог «выполнить» именно художественно, с наивысшим мастерством, какое вообще достигаемо для человека. Ибо тут действовали только его ученость, вкус, выбор, знание «материала» и готовность много перечитывать его, много работать над ним. Из «ученых статей нового времени» я тоже помню строку, а общее впечатление до сих пор так ярко, что я мог бы войти в Кельнский собор или в Вестминстерское аббатство, «как свой человек», как «тутошний житель», со всей психологией германца или англичанина, с *правом* их сказать: «это мое, это наше» (европейское, из цивилизации Европы).

Наравне с лекциями Герье, Стороженко, Троицкого, Буслаева (гуманисты ¹⁰ Московского университета), дивная «Хрестоматия» Стасюлевича сделала меня европейцем. Не в смысле, что там «лучше удобства», а в смысле: сколько же там пережито! Какая золотая река людей, непрерывная река червонного золота из века в век катилась там, и позолота вся почернела, но сохранилась, была и есть. И нигде в мире еще нет, ни на одном из пяти континентов земли, столько этой черной позолоты, слой за слоем, слой над слоем... И все это до того прекрасно, до того благоуханно, что «не быть *европейцем*» уже нет более ни сил, ни способностей. Это не космополитизм, «без цвета, вкуса и запаха». Напротив, это сто запахов в одной точке. Стасюлевич и другие «гуманисты» внесли по лепестку, живому лепестку, настоящему, в сердце русского юноши: и он стал немножко «от ²⁰ плоти германца», «от плоти англичанина», не потеряв совершенно ничего из *русского* и даже из *костромского*. Мне кажется, настоящее «европейское образование» совершенно противоположно космополитизму («без цвета, вкуса и запаха»): оно не сглаживает чувства *своей земли*; но оно делает тоже *своею* и чужие земли, но именно с чувством этого же «родного». Не из О. Тьери, которая есть канон исторического знания: «Как один стакан из целебного источника более лечить здоровье, нежели бочка обыкновенной пресной воды, — так точно пропитывание нескольких листочков из памятника, *современного самому событию*, более ознакомляет с ним, с его духом и смыслом, с его сущностью и мировым значением, нежели чтение целой диссертации или нескольких диссертаций о том же ³⁰ событии, но принадлежащих *новым угеным* и написанных *новым языком*».

Священный канон — для школы, для образования.

Сам Стасюлевич никогда не обращал чужого внимания на свою хрестоматию; это была его милая и прекрасная скромность. Наша бурлацкая публика, конечно, тоже ее «не заметила». «Зачем Стасюлевич, когда есть Петр Лавров-Миртов». Известно, «по Писареву». Но чуть ли не «по Писареву» живет, дышит и движется тоже и все наше министерство просвещения. «Зачем учиться истории, если можно читать современные циркуляры, взложенные изящным языком здания у Чернышева моста». Оно никогда *не рекомендовало*, никогда *не указало* на изумительную учебную книгу, давно написанную на русском языке. Да, всеконечно и понятия ⁴⁰ о ней не имеет. Нигде так мало не учатся, как «у Чернышева моста». С ученых пажитей Руси, ученых и служебных, выпалываются плевелы: но не кидаются «в огонь вечный и неугасимый» по угрозе Спасителя, а по русскому благодушию собираются в один пучок и всаживаются «у Чернышева моста». Сими «горькими травами» опояется Русь...

Книга совершенно неизвестна... Неизвестна в учебных заведениях, неизвестна учителям истории. Сам я наткнулся на нее по стечению особых и случайных об-

стоятельств. Но каждый «с ответственностью в душе» родитель, если у него есть сыновья в 17 лет, не сделает ничего лучшего, как если «ко дню Ангела» и «к Пасхе» купит этому сыну 1) по всеобщей истории — «Хрестоматию по средним векам» Стасюлевича, 2) а для ознакомления с русской культурой — незабвенную книгу Барсукова: «Жизнь и труды Погодина», которую можно назвать «Всеобщим жизнеописанием русского образования за XIX век». Трудитесь, русские родители —

«Сейте разумное, доброе, вечное».

А то пройдет время, хватитесь — и будет поздно. Задичают ваши сыновья
10 «над Миртовым» и «у Чернышева моста».

«ЦВЕТСЛОВЫ» И РИТОРЫ

Всегда спокойный и осторожный, критик А. А. Измайлов останавливается в «Русск. Слове» на последних рассказах М. Горького и Л. Андреева. Один написал «Жалобы» (в «Совр. Мире»), другой — «Рассказ змеи о том, как у нее появились зубы» (в 14-м альманахе «Шиповника»). Интересны выводы критика по поводу рассказа Андреева:

В рассказе всего пять страниц, и это — типичное стихотворение в прозе. Это ужасно, что в буйном расцвете молодости и сил Андреев фатально соскальзает на тот же ничтожный, риторически напыщенный жанр, с увлечения которым началось падение Горького со ступеньки на ступеньку. Создатель «стихотворений в прозе у нас», Тургенев, вероятно, десятки раз переворачивался в гробу в покаянной судороге. О собственных набросках Тургенев всегда говорил с конфузом и кивал на Стасюлевича, что это он вовлек его в невыгодную сделку. — С той поры стихотворения в прозе пишет всякий, кто только умеет держать перо в руках. Все завалено этой литературной ватой... Тысячи набросков, не имеющих никакого смысла и содержания и являющихся голым упражнением в стилистике, сыплются в корзины редакций. Часть их проникает в печать. Польские риторы, вроде Тетмайера, истощают свой талант в этой словесной пене. И так создаются пухлые книги, из которых не вынесешь ни одной темы, ни одной новой мысли... Трагично, когда писатель с дарованием оказывается в плену у этой «цветословной риторики»... «Школа риториков» растет и растет, цветословие берет в плен все больше и больше народа, и есть авторы, как Гусев-Оренбургский, которые уже совсем разучились писать простым и спокойным языком, без пафоса и напыщенности.

Стоит задуматься. Действительно, Тургенев «Стихотворениями в прозе» как бы создал новую форму литературных произведений, новый стиль словесных созданий, на который с величайшею жадностью устремились *молодые*. Но то, что так удалось 70-летнему Тургеневу, почему-то совершенно не удается молодым. Отчего? Стоит задуматься.

Свои наброски, *без всякой отделки*, — за *трудностью* по старости отделявать, за старческим *пренебрежением* к отделке, — он и назвал «Senilia». Название

«Стихотворения в прозе» дал им Стасюлевич. Хотя название хорошо привилось в истории литературы, но в «жесте» Стасюлевича нельзя не видеть некоторого на этот раз безвкусица. Стихотворение — это что-то пыльное, рвущееся из груди, именно «молодое»... Юные народы писали стихотворения томами («Илиада», «Магабарата» и «Рамаяна», «Шах-Наме»). Последнее же создание Тургенева явно не имеет в себе тела и не имеет претензии на него, *подделки* под него. Нет, это именно «Senilia», «старческое». Почему же звезда их так вспыхнула в литературе?

Да оттого именно, что Тургеневу было 70 лет, что это был безмерно образованный и развитый человек, и знавший такие тревожения судьбы. «Стихотворений в прозе» нельзя объяснить, «Стихотворения в прозе» никогда бы не появились, не испытай Тургенев двух вещей в жизни: романа с Виардо, о котором можно повторить заключительный стих Шекспира по «Ромео и Джульете»:

Что в мире не было еще печальней этой
Истории...

И не испытай он, во-вторых, ужасного унижения: когда его, старца с белыми волосами, с такими заслугами перед Россией и перед литературой, *столько знающего и видевшего*, заставили «извиняться» перед собою студенты Московского университета в том, что он их «не так понял»... Свидетелем последнего, за коим последовало «примирение молодежи с писателем», я сам был в Москве... Не забываемое впечатление...

И вот он написал изнеможенное и мудрое — «Senilia», о котором кто-то сказал в литературе, что их нельзя читать местами без слез и местами без содрогания. Конечно, они «недоработаны» и «без отделки» в том смысле, что каждый обрывочек, всего в несколько строк, в страничку, мог бы быть развернут в рассказ, в повесть, в роман. Да, это Senilia, когда не хочется работать, не может работать... Но, знаете ли: Тургенев, собственно, создал *вегную форму* для духовной, поэтической, художественной деятельности старости, старцев. Так только и могут творить, сумеют творить, *смеют* творить старцы, — люди с огромным опытом жизни, люди страшно расширенного горизонта, *на пороге вегности, уже прощаясь с землею*...

Когда ничего более не нужно, когда ничего более не страшно...

Сказать и горькое и сладкое... Как бы «последний глоток влаги» и «разбил бокал».

Чудная форма. Единственная. Вдруг случайно удавшаяся.

Да, нужно было для выработки ее прожить Тургеневу свою странную и мрачную жизнь. Так любить, так рыцарски любить, как молодой рыцарь — до 70 лет; и — эти «молодые ночи», пробежавшиеся по спине старца.

И он написал свои дивные «Senilia», единственные во всемирной литературе. О, отнюдь не «стихотворения в прозе»: Боже, до чего это глупо!!!

О том, как «Провидение» или «Природа» задумывается над способами удлинить ногу блохе — с таким же старанием, с *равным* старанием, не большим, но и не меньшим, чем что думает это страшное Провидение о судьбе народов и о «страданиях молодости»...

О том, как мужествен воробей, защищающий от страшной собаки птенца. «Гораздо мужественнее, чем я был тогда в Москве», могло мелькнуть у Тургенева.

О «благодарности» или, лучше сказать, «о неблагодарных».

О Роке, Судьбе; о Железной Необходимости.

О терпеливых, о страдальцах.

Об Артемиде и о кресте.

Все это — великое «прости! прости!» земле.

И вдруг в этом великом тоне, в этом *священном тоне* осмеливается «сочинять» что-то (когда у Тургенева именно ничего *созиненного* нет) какой-нибудь Леонид Андреев, с такими толстыми ногами, с такой чугунной грудью, с такой войлочной головой... Или Максим Горький, такой же «сметливый» и талантливый, как Алексаша Меньшиков при Петре, вчера «подававший горячие пирожки на улице», а сегодня «полудержавный властелин», как о нем сказал Пушкин: ибо в наше время «державство в публике» стоит и уравнивается со старинным «державством» около трона...

Молодость — без знания, без опыта, ну и естественно «счастливая молодость», — просто *не смеет* писать в этих грустных тонах, в этих поблеклых цветах... Пусть себе малюет малявинских «Баб». Это у нее выйдет хорошо. Должно выйти. Пусть берет браунинги, поленья, и «лупит» кого нужно. Тоже «выйдет»... Но она *не смеет*, и, во всяком случае, Бог ее накажет бездарностью, если она возьмется за эти тоны, где много неведомых юности слез и лежат навсегда для нее закрытые страдания.

«Тургеневское» — Тургеневу...

А Горькие и толстоногие Андреевы пусть упражняются на «куоколовские темы»: «как он, мрачный, бежал по улице, спасаясь от полицейских, и вбежал в публичный дом, и увидел Деву»... «И Дева ему рече...». «А он Деве рече...». И все «дева» и все «юноша», и все они друг другу «рече», ну — и чорт с ними... Но старую нашу литературу не захватывайте мальчишескими руками.

И. В. КИРЕЕВСКИЙ И ГЕРЦЕН

*К выходу 2-го издания Полного собрания сочинений
И. В. Киреевского, в редакции М. Гершензона. 2 тома*

30 Ну вот, наконец, и *лицо* человека, о котором приходилось столько думать и которого любил уже давно — Ивана Васильевича Киреевского в превосходном новом издании его сочинений, сделанном М. Гершензоном...

В очках, должно быть с круглыми стеклами и неуклюжих, в высоком воротнике сорочки, в более чем старомодном полукафтани, полусюртуке, с остриженными волосами, сидит «наш друг Иван Васильевич» в большом и удобном старинном кресле. Одна рука заложена за борт сюртука, другая не столько опирается на ручку кресла, сколько сжимает ее. Лицо поставлено прямо, упорно; подбородок чуть-чуть выдается вперед; над глазами большие надбровные дуги; череп — скорее коробочкой, без округлости, без шаровидности, как у «обыкновенных русских». Нет, — это лицо и голова вовсе не «необыкновенно русские»...

Взгляд пристальный. Губы маленького, красивого (хочется сказать — «хорошенького») рта сжаты. Все выражение — презрительное, негодующее. Но он молчит. Слушает и презирает говорящего.

И вот я дорисовываю в воображении: vis-à-vis сидит Герцен, с его широким русским лицом, добрым, мягким, с сочными полными губами, — и изливается в потоках речей, оспаривая «нашего Ивана Васильевича». Соловей сам себя заслушался. Талант весь масляный. Так и блестит:

Как некий чародей
Отселе править миром я могу...

— говорит у Пушкина миллионер-рыцарь перед открытыми сундуками с сверкающим золотом. У Герцена «золото» было в его талантах, в его уже, наверное, округлой, шарообразной голове, «истинно — русской».

Что недоступно мне?..

мог спросить о себе, опять словами богатыря-рыцаря, Герцен; что не поддается очарованию моего слова, очарованию моей мысли... и... и будущего «полного собрания сочинений». Герцен был прирожденный сочинитель; сидевший против него и все молчавший Киреевский был явно не сочинитель.

Он презирал, молчал, негодовал и не мог ничего возразить «тоже нашему» Александру Ивановичу. Слова никак не лезли из маленького и изящного рта, немного девичьего.

Александр Иванович счел это за явную победу и, еще шире распустив крылья, как орел несся над пространствами всемирной мысли, то позитивной, и идеалистической, цитировал то Шеллинга и апостола Павла, и все связывал золотым шнуром своей мысли, хочется сказать — колючею военной проволокой, но сделанною из чистейшего золота его остроумия, его гибкости, его приткости. Считая противника совершенно побежденным (потому что тот все молчал), он по своей русской доброте, теперь уже оказывал ему покровительство, кое-что небрежно припомнив из его давних полуслов, — соглашался с этими полусловами, уступал из своего, отказывался. Богачу отчего не отказаться. А Герцен каждую минуту чувствовал, каждую секунду чувствовал: «Как я богат! Нет, как я несчетно одарен... сравнительно с этим моим бедным другом, так ощетинившимся, и бессильно ощетинившимся, в ворота своей рубахи и плохо сшитого кафтана».

Наконец Киреевский буркнул:

— Вы нескромны!!

Герцен ответил: «Что такое? ничего не понимаю! „Не скромны“, „immodeste“... что такое говорит этот чудака, этот еж, этот крот?.. „Нескромны“: я ему говорю о падении Рима и апостоле Павле, проповедывавшем на его площадях, цитирую и верно цитирую Volney'я: он мне говорит, что я „нескромны“»...

— Нескромны, и все это очень глупо, и «Апостол Павел», и «Рим», и ненужный вам «Вольней». Вы нескромны, наглы и легкомысленны. Вам кажется, что вы ужасно даровиты, а на самом деле вы глубоко бездарны, и золота-то в вас нет, а только позолота... или, точнее, вы весь осыпаны бриллиантовой пылью и сверкаете как солнце, но настоящего-то *теплого солнышка* в вас нет ни единого луча. И все к вам побегут, но из вас ничего не вырастет.

— Вы говорите, как Валаамова ослица, извините...

— И договорию... И умрете вы холодной смертью, без настоящего *друга* около себя, без *родного человека*, измученный, раздраженный, разочарованный... Умрете холодной ледяшкой где-нибудь *не на родине*... Но есть свои законы у холодного солнца, у искусственного солнца, вот из бриллиантовой пыли: в то время, как вы будете так холодно и ненужно умирать, вдали от этого места будет шуметь ваше *имя*, шуметь *ваша слава*... «Полному собранию сочинений» будет очень хорошо: только *вам-то* будет очень плохо...

— Это голос Корейши, юродивого...

10 — И Корейша договорит: просто этого ничего не нужно, ни «вас», ни вашего «полного собрания сочинений». Ветер, даль и пустота...

— Что же нужно?

— Молчание!

— Молчание? талант бездарных?

— Талант даровитого. Молча светит солнце. Молча созревает плод. Молча кормит корень. Вся *природа* молчалива, все в природе молчаливо. Гром и ветер — исключения, и ведь это не Бог весть что. Чем больше молчания, тем больше «делается». «Чего» делается? Всего, всех бесчисленных вещей, которые созидаются в природе, «ткуются на ее вечном станке», как выразился Гёте. Молчание — добродетель, а разговоры... могут быть просто «болтовней». Вы в самом деле *нескромны* — и удивились и не поняли, когда я вам заметил это. Между тем настоящий *ум* начинается со *скромности*, т. е. с некоторого плача о себе и своих силах, о своем бессилии; и, пропорционально этому, с *внимания* к окружающему, с желания *угиаться* из окружающего. Вы, Александр Иванович, такой говорун, что очевидно, никогда ничему не будете учиться серьезно. При вашем блеске вам кажется, что у вас «от рождения все науки в голове сидят». Но они, конечно, там не «сидят», и вы во всем и на всю жизнь останетесь *дилетантом*... При таланте, вот таком огромном, как у вас, или, точнее, при такой бездне мелких талантов, какою обладаете вы, — дилетантство с полбеды: но за вами в дилетантизм потянутся и бездарные, и тогда нашей России будет совсем плохо. Долго, долго не придет к нам *настоящей науки*... Ценна ли *настоящая наука*, вы об этом если и не знаете, то догадываетесь: ну, вот эта *настоящая наука* никак не может зародиться иначе как в *глубоком безмолвии*, почти в немом человеке. Науке положил начало тот, кто хотел говорить и не мог говорить; я думаю — немой и даже глухой. Но зато утроенно зрячий, с телескопами вместо глаз... Наука, как и все лучшее, рождается из добродетели: я недаром заговорил о вашей нескромности, перейдя от нее к порицанию в вас всего, к уникальному порицанию, к универсальному отрицанию. Теперь я начну универсальную *хвалу*, и начну ее с хвалы *святому*. Если вы растерялись перед словом «скромность», то тут вы уже совсем ничего не поймете. Но

30

40

ничего. Я буду говорить перед вами как перед тумбой. Буду говорить мало понятным бормотаньем как бы среди глухих. Начало *мира*... начало мышления... начало самого человека коренится в *святом*: оно редко, невидимо, не мечется в глаза, а скорее хоронится от глаз, но в нем-то и лежит *корень* всего *мира*... И пока *мир* держится именно *на этом корне* и не пожелает получить в основу себя другого корня, — он останется жив, цел и вечен. Святое есть непорочное; святое есть полная правда; святое — оно всегда прямо. Я не умею иначе выразить, как сказав, что святое есть *настоящее*. «*Настоящий человек*...», «*настоящее золото*...», «*на-*

стоящая дружба»: вы понимаете эти термины. Мир состоит из «настоящих вещей» и из *подражаний* «настоящим вещам...». И вторых очень много, а первых очень немного, вот как золота... Мы подошли вплотную к лицу вещей: вот и талант ваш — не настоящий, и кто пойдет за вами — не настоящие люди, и во всем движении вашем не будет настоящего содержания. Но выйдем из кабинета этого и пойдем за околицу нашей деревни: вот куда, где мой брат, Петр Васильевич, собирал народные песни и собрал их несколько томов: это есть *мир настоящего*, глухой, темный, суровый, незнаемый. *Народное море, народная совесть, народная нужда, народная дума*. Наши с вами разговоры пройдут, и «Вольней» вам в самом деле не нужен, как и «Апостол Павел среди Рима» есть только словесное украшение 10 великолепной вашей речи. И потому, что все это — «не настоящее». Но вот в этом «народном море» последняя крупница сыграет свою роль; займет умы настоящей науки, не чета моей голове и не чета вашей голове, и взволнует настоящим волнением совесть более глубокую, чем «у нас с вами». Безотчетно это море и именует себя «Святая Русь». Но и эта «Святая Русь» сейчас же хрустнула бы во всем своем достоинстве, если бы она была самодовольна, самовлюбленна, вот как мы с вами; если бы она не была полна слез о себе, сознания своего убожества и своей немощи. Так что есть *ярусы* «святого»: «святое» в «святом» и «святое» под «святым». Как и в «истине» есть тоже сложность, углубления и высоты. Самоуверенная и самомненная демократия есть такое же жалкое и скоропроходящее 20 явление, как и ваш блестящий талант или блески вашего таланта; народ «свят» *отраженною святостью* другого высшего, что уже не есть этнографическая масса, а вечные абсолюты, над всеми народами стоящие; вечные звезды в истории. Ну... это совесть, это Бог. Выйдя сюда, мы уже выйдем за грани Руси. Сюда я не ухожу. Но я остаюсь и останусь с Русью; и тогда, как вы умрете, наверное, где-нибудь вне Руси и холодно, озябши, — я непременно умру в Руси; и хоть шума вокруг меня не будет, но зато будет немножко того тепла, без которого жить невозможно и страшно даже умереть без него. Моя дорога уныла: но она светло кончится; ваша дорога светла: но она уныло кончится.

Труды Киреевского вязнут в зубах... За пятьдесят лет — два издания! И то какие: не народные, не дешевенькие, а великолепные большие издания для ученых 30 и библиотек. Нет, это не о них сказал Некрасов великолепный стих:

Студент не будет посыпать
Ее листов золой табачной...

Эта проклятая «зола» так западает к самому корешку... И сберегая новенькую книгу, ее ни ногтем не выковырнешь, не выдучешь ртом. «Знакомые истории»...

Девушка в девятнадцать лет
Не замечается над нею,
О ней не будут рассуждать,
Ни дилетант, ни критик мрачный...

Да, чтобы переиздать или даже чтобы хоть внимательно перечитать эти старые тетради и книжки, надо родиться какому-нибудь специалисту «Гершензону», пройти весь неизмеримый, весь бесконечный путь от «Талмуда» до «славя-

нофильства», и тогда он найдет в полузабытом, почти забытом писателе какие-то слова жизни и понимания, каких не нашел нигде еще в русской литературе...

Вот чего никак нельзя представить себе: чтобы человек очень старой культуры, неся ее в крови наследственно или в сознании усвоенно, культуры этих «вавилонских оттенков» или оттенков «римских», «греческих», — стал вчитываться и наконец взялся переиздать Герцена, с учеными примечаниями, с кропотливостью над каждой строкой. «Будто Священное Писание»...

Вот этого духа «священства», — священства в *самом происхождении*, не лежит ни на одной странице и ни на одной строке Герцена. Корейша-Киреевский в самом деле набормотал когда-то правду: что все сочинения Александра Ивановича не «из добродетели», — тогда как его, Корейша, сочинения текут в самом деле «из добродетели». Смешно, смеешься до упаду, а потом перестаешь смеяться и думаешь: «Это в самом деле серьезно». Дело в том, что, не будь у Александра Ивановича такое «легкое перо», он никаких «сочинений» не писал бы, а или проигрался бы в Монако (если только Монако тогда было), или был бы убит на дуэли, или сделался бы генерал-губернатором, командиром корпуса или первым секретарем при русском после в Лондоне. Что-нибудь в этом роде... Смирный же Иван Васильевич, «такой Корейша», никуда бы не перелез из своей симбирской деревеньки или из каменного дома на «Собачьей площади» (в Москве), где вот они спорили с Герценом: и если бы не пером, то хоть долотом на каменных столбах уж записал бы, т. е. вырезал бы свои знаменитые мысли... До того не интересные студенту и 19-летней девице... Т. е. Киреевский был подлинно «священный писатель», и его «кой-какие сочиненьица» суть тем не менее подлинное «священное писание» в нашей русской литературе... Написанные в том настроении, о котором Лермонтов сказал:

В небесах торжественно и чудно.
Спит земля в сияньи голубом...
Отчего же мне так больно и так трудно?..

Стих Некрасова о студенте, «посыпающем золою» и т. д., и этот другой стих о пустынноике, вышедшем одиноко на дорогу, можно сопоставить. Две сладости: реальная, земная; и другая — какая-то явно не земная, грустная, одинокая, отвергнутая... Но тем пуще сладкая, сладчайшая.

Одна сладость пала на Герцена. Другую выбрал себе Киреевский.

Он и за ним вся линия славянофилов (он был *родоначальник их*) в самом деле сочинили какое-то «священное писание» в русской литературе, «естественно не читаемое»... Алтарей так мало, а площадей так много. Но все их «творения», довольно «вязкие в зубах», в самом деле исходят из необыкновенно высокого строения души, из какого-то священного ее восторга, обращенного к русской земле, но не к ней одной, а и к иным вещам... Чего бы они ни касались, Европы, религии, христианства, язычества, античного мира, — везде речь их лилась золотом самого возвышенного строя мысли, самого страстного углубления в предмет, величайшей компетентности в суждениях о нем. Чего от них никогда не могло произойти, чего в линии их развития никогда не могло появиться — это Д. И. Писарева. Ни его «Отрицания эстетики», ни его «мыслящих реалистов»... А это характерно. Дети всегда характерны для родителей.

* * *

От Киреевского пошли русские одиночки.... От Герцена пошла русская «общественность»... Пошло шумное, деятельное начало, немного «ветреное» начало... движущееся туда, сюда, всюду. У Герцена была шарообразная голова, «по-русски», и полные мягкие губы. И «общественное начало» у нас говорило и говорило. Говорило сочно, сладко, «заслушиваясь себя»... с успехом, какой всегда имел и Герцен. Впрочем, оно лет через 50 обмелело бы; даже раньше; если бы в помощь ему и отчасти чтобы сменить его и вытеснить не пришли семинаристы 60-х годов, с закалом суровым, дерзким и... жертвенным. Герцен был так талантлив и счастлив, что «жертвы» у него никак не получилось бы: между тем только на «жертве» построятся великое в истории. Замечательно, что когда пришли «семинаристы», по-видимому, «единомышленные» с ним, Герцен затосковал... Он увидел свой конец, свою смерть. Он был в порыве глубоко их отвергнуть, восстать на них: но не решился и — промолчал. Почему? Ведь он был так неизмеримо их талантливее, не говоря уже о просвещенности. «Друг Мадзини... друг Прудона». Тогда как Чернышевский был всего из Саратова, а Добролюбов из нижегородской бурсы. Отчего же он почувствовал себя вдруг слабым? Семинаристы, при всей их грубости и «незнании иностранных языков», сообщили всему движению закал и твердость стали: тогда как Герцен был только мягкое железо. Сталь может рубить железо, а железо — в какой бы массе ни было — не может перерезать самой тонкой пластинки стали. На всем протяжении неизмеримых сочинений Герцена, где столько блеска и роскоши, нет ни одной страницы трогательной и «хватающей за душу». Даже нет, в сущности, ни одной интимной страницы. Уж слишком не «священное писание»... Попахивает бульваром: ну, «бульваром» в июльские дни, когда Париж шумел, Людовика-Филиппа гнали и Гизо бежал в карете с грязным бельем. Но хоть и в «июльские дни», однако именно «бульваром»... Ничего не поделаешь. Судьба. Та же «судьба», с горечью и сладостью в себе, дала Добролюбову много поесть черной каши и кислых щей, прежде чем он вышел в литературу. Да и таланта у него, как у Герцена, не было. У него была та «скромность», о которой спросил Киреевский у Герцена, и Герцен тогда ничего не понял. Скромность — и с ней «добродетель», качество немного Корейши. У семинаристов появилось чуть-чуть «священного же писания», с его жаром, с его верою, с его «торжественным настроением в душе». И — не «вязло в зубах». Вся Русь поняла и сразу оценила стих Добролюбова, — чуть ли не единственный стих, какой он написал, — не из шутивых:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен,
Но за то родному краю
Вечно буду я известен.
Милый друг, — я умираю,
Но спокоен я душою
И тебя благословляю, —
Шествуй тою же стезею.

Это просто как в самом деле завещание умирающего живым *родным людям*, — перед лицом которых и перед лицом гроба не приходит на ум ни вымысел, ни

украшение. Одна простота. Одна правда. Одна суровость. Вот таких восьми строк во «всем» Герцене нет. На «родное» по-родному и отозвались. Вся Русь откликнулась на стих Добролюбову; больше: она вся встала перед ним. Когда на людном собрании «общества в память Герцена» (в Петербурге основалось года два назад) после двух-трех чтений о нем корифеев петербургского либерализма, европейского либерализма, я заговорил «и о Добролюбове», — я был остановлен пренебрежительным замечанием:

— Ну, можно ли сравнивать Добролюбова с Герценом... Добролюбов же был совсем не образован. А Герцен — европейский ум. Да и какой талант — разнообразие талантов!..

Произнесено было так уверенно, что я замолчал. Да, Добролюбов был беднее Герцена, как и Киреевский. Но в каком-то одном и чрезвычайно важном отношении он был его и неизмеримо даровитее, тоже как Киреевский. Герцен весь рассыпался, разливался: но воды его «мелели», с каждым днем и каждой саженью движенья вперед. Ключ и Киреевского и Добролюбова бил из глубины земли... Бил и не истощался и поил многих и многих... И пившие находили воду его свежую, вкусно и здорово. В Герцене ни одной ниточки не было от Киреевского, но в Добролюбова вошла крошечным уголком, тоненькою ниточкою душа Киреевского. Это — любовь к родной земле, к дальней околице, к деревенской песне. Киреевскому было бы совершенно нечего конфузиться перед Добролюбовым; Добролюбов не мог бы почувствовать никакого негодования к Киреевскому. Хотя все их мирозозерцание, все их идеалы — несоизмеримы, далеко, в сущности — враждебны. Но

Капля крови, общая с народом...
У них у обоих была.

Между славянофильством и радикализмом русским есть та же связь, как между часом бури и часом тишины *одного и того же дня*.

ОДНА ИЗ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ ДОСТОЕВСКОГО

*Александр Закржевский. Подполье.
Психологические параллели. Киев. 1911 г.*

«Записки из подполья» Ф. М. Достоевского есть «unicum» в русской литературе, ни на какое другое произведение в ней не похожее, чрезвычайно ценное и многозначительное, не «войдя» в которое совершенно нельзя понять Достоевского, не «преодолев» которое чрезвычайно трудно двигаться или продолжать двигаться «вперед» по стезе человеческого прогресса, немного розовой, немного даже «румянощечкой» и, во всяком случае, очень счастливой стезе... В «Записках из подполья» поднялся некоторый «бледный ужас», *terror palidus* античного мира, перед всеми, надеющимися на человеческое счастье на земле и высчитывающими по пальцам время прихода этого счастья и торжества его... «Никогда это-

го счастья не будет, — сказал Достоевский, — и самое высчитывание его по пальцам не только теперь, но и навсегда останется просчетом, неудачей, путаницей...». «Счастье — в несчастье, — продолжает он как бы мировую диалектику, — и оттого оно неосуществимо...». «Счастье для каждого — исполнить свое хотенье; не разумное, не благородное, не *полезное для него* по высчитыванью чужих соседей, всемирных филантропов или всемирных умников, а вот именно только *свое* и именно *хотенье*, да еще, — шепчет он, — с разными *погесываньями*...». И совсем на ухо внушает: «В *погесываньях*-то все и дело. Каждому хочется по-своему почесаться, и иногда так, что вслух он ни за что не скажет... Но он разобьет всякую великолепную действительность, для него разумниками построенную, чтобы взять 10
который-нибудь осколочек этого великолепия и им *по-своему* почесаться, поскрести зудящую точку своей души или своего тела, — ну, все равно, душонки или поганого тела... Но, однако же, человеческого тела и человеческой души, выше которых ведь мир ничего не видал и Бог ничего не создавал... Ради которых — история, всякий прогресс; для которых старается цивилизация и приходили все праведники».

«Хочется почесаться...». Кому, как — все равно!!

И все теории разбиваются об этот физиологический факт, физиологический и вместе психологический, об этот, наконец, *универсально-метафизический* факт 20
человеческой природы, человеческого душеустройства и даже историко-строения. «Не учтите, господа!». — «Не уловите, господа!» — хохочет из своего «подполья» дикий и гениальный человек, злой и насмешливый человек, которому «добро», «нравственность» и «братство со всеми людьми», «счастье этого братства» даже на ум не приходило...

«Не учтите... И я останусь *один и свободен* — вот вывод, доказанный, как теорема, в философии Канта, и вместе вот крик каторжника, с его распаленным нутром, поглядывающего на темный лес, ощущающего кистень под отрепьем одежки.

И уйду! Уйду! Может, сотворю и святое, но *если захожу*. Удивлю мир подвигом, но если... *захочется*. Если же вы поперечите мне, протянете руки к моим рукам, 30
чтобы схватить, удержать, задержать, — залью мир преступлением, и вы содрогнетесь».

Царь и каторжник... Нужно заметить, в каторжнике всегда есть немножко «царя», — ну «царя» сказок и детского вымысла, по жажде им свободы, по странному ощущению какого-то врожденного права на эту «свободу», на безграничное «я хочу».

Безграничность, неуловимость, всеобъемлемость «я хочу», наконец, *всеправность* «я хочу» Достоевский противопоставил всемирному «я понимаю». И его «я хочу» разбило «они понимают».

Теория разбилась о факт. 40

Нужно читать у самого Достоевского гениальные изгибы диалектики «подпольного человека», перерывающиеся хохотом, буквальным: «Ха-ха-ха! Умники...». Читать действительно *исгербывающие* полностью возражения против «разумного устройства жизни человека», — главная тема возражений, — чтобы сразу почувствовать, что тут под формой почти беллетристического произведения, под вуалью слабой, неохотной беллетристики Достоевский сказал свое душевнейшее «верю и знаю», изложил свое вероисповедное «credo»... Когда-то

вся Россия почувствовала, что в Позднышеве «Крейцеровой сонаты» говорит сам Толстой, исповедуется сам Толстой, призывает к новому решению сам Толстой... Толстой был вообще весь и всегда «в удаче», и его «Крейцера соната» еще в литографском тиснении была прочитана всею Россиею, и Россия о каждой странице «Крейцеровой сонаты» не только подумала, но и мучительно ее пережила. Достоевский, напротив, был и до сих пор остается «в неудаче». Совершенно изумительно, что «Записки из подполья» при появлении своем не обратили на себя ничего внимания, и современных критик на эти «Записки», возражений против них, даже простого ознакомления с ними, прочтения их мы не знаем.

10 «Так, статья какая-то в журнале»... Между тем «подпольный человек» есть такое же «alter ego» *, такой же «литературный плащ» для духа гениального писателя, как «Позднышев» или как повторяющийся в разных произведениях «Нехлюдов» для Толстого...

— Где мысль, образ, наконец, физиология Толстого?

— В «Позднышеве», в «Нехлюдове», вечно думающих о нравственном добре... Вечно к этому усиливающимся, но слабым на пути; и оплакивающих слабость свою евангельскими слезами.

— Где Достоевский и его секрет?

Не сразу ответишь и только прошепчешь:

20 — Конечно же, в «подпольном человеке»! Безыменном, страшном...

Характерно, что «подпольный человек» фамилии не имеет, имя его не сказано. «Просто — человечество! Все!».

Демократ и царь. По мысли — царь, по «почесываниям» — демократ.

* * *

«Человек бывает в двух видах: в департаменте, на балу; но бывает еще в бане. Я люблю человека в бане. Тогда я вижу его всего и без прикрас. А то он так завешен мундирами, орденами, подвигами и пенсиями, что не разберешь».

Вот тезис Достоевского, тон исповедания «подпольного человека», гон самого Достоевского. «Когда вы строите *человеческое счастье*», то вы строите его собственно для одевшегося человека, такого-то ранга, такого-то положения, такого-то оклада жалованья и такой-то пенсии. Это скучно и неверно. Такие *штаты* расписать легко, и все наши *теории счастья*, от Бентама, от Руссо, от Милля, от Кетле и до Писарева, — просто департаментская жалкая работа, которою удовлетвориться могут старички на пенсии, но которою никогда не удовлетворится... молодость, гений и преступность. Просто, — не удовлетворится голый человек, «в натуре»; купец в бане и я в подполье. Вы построите искусственное счастье для сочиненного человека, для искусственного человека, для вами выдуманного человека. Просто, и вы *притворяетесь*, когда сочиняете теории, и притворяются ваши читатели, когда делают вид, что им верят. Сбросьте притворство, вот как

40 я, и получите критику, хохот и диалектику «подпольного человека».

«Записки из подполья» — такой же столп в творчестве Достоевского, как и «Преступление и наказание». Здесь — мысль, там — искусство. Самое «Пре-

* «второе я» (лат.).

ступление и наказание» нельзя понять без «Записок из подполья». Без них нельзя понять «Бесов» и «Братьев Карамазовых».

* * *

Только в половине 90-х годов прошлого века было обращено впервые внимание на «Записки из подполья»... Позднее Н. К. Михайловский заметил, что «подпольного человека можно связать»... Ответил с большой проницательностью в *натуре подпольного человека*, но с полным бессилием против его диалектики. Дело в том, что Достоевский говорит, что если «всемірное и окончательное счастье, наконец, устроится, то никак нельзя поручиться, что не явится некий господин несносного вида и, уперев руки в боки, скажет: «А не послать ли нам все это счастье ударом ноги к чорту, чтобы пожить опять в прежней волюшке, в свиной волюшке, в человеческой волюшке? И не то важно, — продолжает Достоевский, — что такой человек явится, но то существенно, что он непременно найдет себе и сочувствие».

— Такого человека, вот так заговорившего, — возразил Михайловский, — можно связать.

Т. е. на «почесыванья» есть тюрьма, уголовное наказание, а для предупреждения «почесываний» есть партийная дисциплина. Вообще, в том или другом виде — железо, рамки.

Это сразу восстанавливает всю государственность, или «общественный строй, как он есть», — ну, лишь с предположением некоторых дополнений, преобразований и т. д. Но вообще Михайловский уперся в старый строй, в извечный строй, чтобы как-нибудь защититься от гениальной критики Достоевского.

Но тюрьма, оковы — не возражение. Против мысли — не возражение...

Договорю, однако, дальше о судьбе «Записок из подполья». С первых лет XX века, и чем дальше, тем сильнее, внимание к ним начало расти; скажу больше — изумление перед ними начало подниматься в уровень с их настоящим значением. Теперь уже нельзя говорить «о Достоевском», не думая постоянно и невольно, вслух или про себя, о «Записках из подполья». Кто их не читал или на них не обратил внимания — с тем нечего говорить о Достоевском, ибо нельзя установить самых «азов» понимания. Целый ряд писателей выдающегося успеха — Л. Шестов, Мережковский, Философов — начали постоянно ссылаться на «подпольного человека», «подпольную философию», «подпольную критику»... И термин «подполье», понятие «подполье», наконец, сделались таким же «беглым огнем» в литературе, журналистике и прессе, как когда-то «лишний человек» Тургенева, его «отцы и дети» или как «нравственное совершенствование» после Толстого.

Нужно заметить, что «нравственное совершенствование» есть другой полюс «подполья», — от него защита, против него рецепт. Сильны ли — вот в чем вопрос... Но как в этом «самосовершенствовании» и «подполье» сказались, что Достоевский и Толстой были антиподами один другому...

И вот, наконец, только что появилось в Киеве целое литературно-критическое исследование А. Закржевского: «Подполье. Психологические параллели», посвященное Достоевскому, Леониду Андрееву, Ф. Сологубу, Л. Шестову, А. Ре-

мизову и Мих. Пантюхову. Книга эта — молодого, кажется, начинающего автора, написанная с большим жаром и вся преданная идеям «подполья», тону «подполья»... В «подполье» надо различать идеи и тон... Оба важны. Г. Закржевский берет «подполье» Достоевского как бы свечою в руки, чтобы при ее свете рассмотреть всех перечисленных писателей, т. е. целую полосу, целое течение в литературе.

Не буду этой книги рассматривать, замечу лишь одно. Хотя «Записки из подполья» написаны Достоевским в молодую пору, но *психологически* это самая старая, так сказать, самая древняя из его книг... Ей много веков возраста... Ее писал глубокий, седой старец, бесконечно много переживший, передумавший... Ведь есть старцы юные; нельзя не заметить, что Толстой в старости был юным, и даже передают, что почти в 80 лет способен был иногда расшалиться, разрезвиться. Напротив, Достоевский уже учеником инженерного училища был, в сущности, стариком, как никогда же не были юны Гоголь и Лермонтов.

Так ранний плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между плодов, пришлец осиротелый...

Вот, в сущности, психология всех их, уже в отрочестве старцев. Ранняя, страшно ранняя потеря вкуса к жизни, любви к действительности, к реальному. Страшное, как в паровике пара, напряжение мысли и воображения. Разрыв с людьми, потеря с ними «родного». Это если их взять «как бы в бане», вне «орденов» и «костюмов», которые они тоже умели и даже невольно должны были надевать на себя и носить так или этак до гроба.

Закржевский же, уже по патетическому тону его книги, еще молодой писатель, без психологического опыта; он «ужасается» на «Записки из подполья», восхищается перед ними, становится на колени перед «мраком» Достоевского... как мальчик перед пугающим его рассказом седого дяденьки, перед напугавшим его во сне сновидением. Вообще, между Достоевским и Закржевским нет психологической близости, какую мы всегда должны ожидать, если ожидаем удачной критики. «Подпольный человек» — страшный человек, и таким особенно образом, что о нем лучше помолчать. Былые цивилизации всегда отделялись от него четырьмя каменными стенами и «в рассуждения не входили». Может быть, исход и в самом деле лучший. Но на «айда!» попробую здесь вступить немножко в суждения.

* * *

— Подпольный человек, — вы — гениальный человек. Что сделал для «синтетических суждений» Кант и этим открыл свою великую «Критику чистого разума», то вы сделали для «социального синтеза», обнаружив, как и почему он в окончательной форме невозможен. Ваша заслуга перед социологией — такая же, как Канта перед философией.

— И вы, конечно, правы... Ну, что же тут спорить?.. Диалектику вашу нельзя ни переломить, ни подавить, ни расчлнить. Наука... Страшная, отрицательная наука, все разрушившая...

— Но вы говорили о «почесываньях»... Гениальное, гадкое словцо, так характерное для вас и Достоевского («Люблю трактирец с *грязнотцой*»). Этими почесываньями вы все и разрушили. И правы. Потому что «почесыванья» в самом деле есть, и (подспудно) они всемогущи. Ну, какое же у вас, подпольного человека, «почесыванье»? Спрашиваю, чтобы знать, как к вам отнестись и ввести в границы вашу философию. Ибо тогда ведь, очевидно, она будет «философией под углом некоторого индивидуального, глубоко личного почесыванья» и, естественно, заключится в рамки, потеряет свою универсальность. О «почесываньях» вы, конечно, гениально сказали, что они *лигны*, что в них — суть личного «я», просто «я». Ну, так в чем же ваше-то «я»?

10

Безудерж русский... Русское «море разлитое». Наши «пиры трехсуточные» с «перепившимися гостями» и т. д., и т. д. Это — как подоплека, как натура. Вы слишком русский человек, г. Достоевский, и вместе г. «подпольный человек». Нельзя оспорить — хорошо, красиво. Но вы сами в других местах говорили, что русский человек любит и слезы, любит до муки слезы... Помните все «плакавшую», вечно обиженную жену Федора Павловича Карамазова, мать Алеши: слезы матери, в детстве виденные, и вырастили душу Алеши. «Подпольному человеку» можно противопоставить не тюрьму, как указал Михайловский, из которой при гениальных-то способностях он, конечно, убежит, но вот Алешу Карамазова, который перед «подпольным человеком» ни на шаг не посторонится... И который молчанием своим, тихостью своею заставит умолкнуть несколько болтлив

20

ого «подпольного человека». Ведь вы соглашаетесь, что «подпольный человек» несколько болтлив. Хорошая черта в смысле неопасности. Ему, как «национальному типу», можно противопоставить тоже «национального» Алешу... Который со всеми гармонизирует, соглашается... Дело в том, что «подпольный человек» выразил всемирную едкость, всемирный анализ, всемирное разложение, но, конечно, мир в один час погиб бы, если бы в нем и был, в его подоплеку заложен был бы один этот анализ, огненная кислота: ей противоположно связующее масло, тяготение к всемирному синтезу, столь же мучительное, столь же тоскливое, как и анализ. Как земля держится в орбите своей центробежной силой, которая не может победить центростремительную, и центростремительную (упасть на солнце), которая не может победить центробежную (оторваться вовсе от солнца), так мир существует, цел и, наконец, цветет потому, что в нем анализ и аналитические течения никак не могут истребить синтетические. Живет насмешка, живут слезы, есть смех Гоголя, есть пафос Шиллера. Сам Гоголь половину жизни смеялся, половину плакал. Вот пример и мировой закон. Вы говорите, что «все разрушите» и что «за вами пойдут». Алеша Карамазов «не пойдет», и, вообразите, с ним найдутся тоже «согласившиеся». Вы сами это хорошо знаете, и, вообразите, это есть то же «почесыванье», но совсем другого полюса, однако, с упорством и рьяностью именно «почесыванья». Был очень яркий человек, железный человек — Разин, но, представьте, Сергей Радонежский был точь-в-точь такой же железный человек, и у него «силушки» — что у Степана Парамоновича, ни чуточку не меньше. Один разрушит, другой создаст; один «сбросит сапогом к чорту», другой (молча) опять подымет и опять положит на место. Два «почесыванья». В том и дело, что есть два «почесыванья», и вот на «двух»-то мир и построен. Известно: две руки, две

30

40

ноздри, два глаза, верх и низ, правое и левое, — этому еще Пифагор учил и на это просил обратить внимание.

Капризный вы человек... капризный и истеричный, и в *капризности* и лежит ваше специальное, ваше индивидуальное «почесыванье». Критика подпольного человека есть гениальная критика, умственно гениальная, но «по натуре» слабого, бессильного, страшно невоспитанного, страшно развращенного, страшно русского человека, «со всеми пороками», «с уймой пороков». Гениально — да. Но можно и иначе определить: раскудахтался. Ишь, какой петух выискался: всю цивилизацию расклюет. Не склюет он курочки, несущей яйца. Несет и несет, никак не может не нести. Это такое же начало мира, как петух. Невозможно курице победить петуха, но петуху тоже невозможно победить курицу.

«Подпольный человек» кудахтает, что «на разуме и науке нельзя построить общежития» (тезис, почти главный, «Записок из подполья»). Да, конечно, если упереться лбом «по-ослиному» в науку. Стать на четвереньки, двумя руками и двумя ногами, на разные науки... Может быть, такие ослы и были, и не оспариваю, что они бывали на Западе.

Но уважать науку все-таки нужно, ибо в науке тоже есть страшное «почесыванье», о нее ужасно любит «чесаться» человек, и уж тут ничего не поделаешь, и нужно ее, эту науку, это рассуждение, этот «счет по пальцам», вами столь презираемый, припустить к жизни и строительству «уголком», дать ей посидеть на стульце, опереться на нее одною из четырех конечностей, а не всеми четырьмя конечностями. Тогда вдруг воссияет «мировой свет разума», от этой науки скромной и деликатной, от науки по типу Сергия Радонежского, а не по типу Стеньки Разина. Ваша критика «науки» гениальна, насколько она относится к «Стеньке Разину» в ней, который тоже есть, был и возможен. Но позитивизм отпраздновал свои триумфы и успокоился, как Степан Парамонович в своей могиле. Без «разума» все-таки невозможно строить жизнь, но пусть он будет, как и все в жизни, все в человеке, все в цивилизации, скромн, деликатен, не притязателен, не нагл, не болтлив, не самоуверен. Зачем «разум» воображать с бакенбардами Ноздрева? Таким он был у Писарева, в его статейках, вас раздраживших тоном самоуверенности. Он может быть в скромном скюртуке Пастёра, который — после зрелищ умиравшего от укуса бешеной собаки мальчика — на несколько лет отложил свои научные темы, научные уже «в ходу» работы и погрузился в одну великую скорбную задачу — во что бы то ни стало отыскать исцеления от укуса бешеного животного! И нашел!! Вот «Алеша Карамазов» науки, вот ее «Сергий Радонежский». Такие есть!! Подпольный человек — страшный подпольный человек — страшный по уму: да, увидав Пастёра, когда он нашел свое средство, после шести лет работы, — ты воскликнул бы: Осанна! Осанна как Сыну Давиду!!

И целовал бы ноги ему, руки ему, этому «ученому», застенчивому, бегущему от толпы... Уединенному и тихому.

* * *

Так что Достоевский спорил против «паричка» науки, а не против души науки, которая есть и бессмертна, и велика...

НОВЫЕ СОБЫТИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

Прежде, бывало, умрешь —
и назначат триаду с похвалами.
Теперь будущий покойник
сам и заранее кушает собственную тризну.
И пирог, и похвалы, и все...

Каким стыдом, каким невыносимым стыдом залилось бы лицо Белинского, если бы ряд друзей-писателей, покойные Боткин, Грановский, Герцен, Грубер, наконец, Гоголь и Лермонтов, войдя в его комнату, похлопали бы его по плечу и сказали:

— Ну, неистовый Виссарион, потрудились ты! Столько лет стоял на посту критики. Можно сказать, хранил честь литератора и отстаивал достоинство литературы. И уже болен, ослаб... Но не кручинься. Нет заслуги, которая бы не наградила, и нет звезды, которая не воссияла бы. Вот билет, детина. Приходи. Устраивается:

Ветер В. Г. Белинского

— Я, Герцен, беру выяснить перед публикой: 1) «Общественное значение идеалов Белинского»; Боткин прочтет эстетическое *mot* *: «Белинский и Пушкин». Потом одна дама поиграет на рояли... что ты любишь? чего тебе хочется? 2) Лермонтов прочтет «Пророк» — стихотворение, где он разумеет тебя и, наконец, 3) Грановский прочтет: «Были ли критики в древнем Риме, отчего их не было и что от этого произошло», — все с намеками на тебя и упоминаниями о тебе. Потом хор, кантата, — и прения о прочитанном; т. е. в сущности — о тебе.

— Да, да! Со всех сторон! — подтвердил бы другой приятель. — И все, Виссарион, о тебе! Все о тебе, наш великий критик, гордость нашей литературы, слава текущих дней!

Что почувствовал бы Белинский?! Нельзя и вообразить! Но прежде всего нельзя и вообразить, чтобы друзья Белинского, или просто писатели того прекрасного и благородного времени, задумали подобное осквернение и Белинского, и литературы. Ибо Белинский, при этом предложении приятелей или при таком предприятии вообще петербургских литераторов, залился бы краскою стыда и воскликнул:

— Позор! Позор!!! Вы с ума сошли. Неужели в целой России вы, светлые головы ее, не нашли другого предмета, чем занять внимание публики, не нашли никакого интереса, русского или всемирного, о чем бы поговорить, побеседовать между собою. Да что я, покойник, что ли, чтобы обо мне говорить: «сей человек служил верой и правдой» и проч., и проч.? Или я Нерон, который, пропев песнь, ожидал увенчания публики? Или, наконец, я — мертвая лягушка, которую потрошат в анатомическом театре? Ругать, хвалить и, наконец, *разбирать*, «доискиваться смысла» и проч., и проч., можно в критике, можно в журналах, в газетах. Там можно и «разнести по косточкам» и «вознести до неба», как вот я живого Гоголя или тоже живого Фаддея Булгарина. Но

* слово (фр.).

Вечер Ф. В. Булгарина

могли бы устроить только его приятели по негласной службе. А

Вечер Н. В. Гоголя

этого просто и представить себе нельзя, иначе как пародии, шутки, только на *маслянице*, когда ходят все ряжеными, и *только у приятеля на дому*, и то лишь у такого, у кого водится дома водка, чтобы можно было потом всем перепиться.

* * *

Но то было 60 лет назад! Времена переменились. *Страшно изменилось существо писателя*. Изменилась душа русского человека... Слияло одно лицо на нем. И зарумянилось другое лицо. И это румяное, самодовольное, признаюсь — глуповатое лицо, похожее на масляничный блин с завернутою в него семгую, заявляет, публикует и печатает:

Вечер Куприна,

посвященный всесторонней оценке этого писателя, в чтении профессора N. N., поэта M. M., критика L. L. С музыкальным отделением. После — прения.

Так было два года назад. Просто было мучительно читать... Неужели тогда Куприн *пошел на этот вечер?* И слушал 2—3 часа, как его все хвалили и хвалили, т. е., конечно, под видом и предлогом якобы «критики», «разбора» и «анализа». И вот теперь, вообразите, я получаю повестку, где прописано:

20

**Литературно-музыкальный вечер,
посвященный произведениям
Федора Соллогуба.**

Вступительное слово Е. В. Аничкова: «Стыд и бесстыдство 80-х годов перед судом Чехова и Соллогуба. Зависимость личности от коллектива и детерминизм явлений как основные данные мирозерцания Соллогуба. — Поруганность Красоты. — Надо быть злым. — Добро и Красота в слиянии двух правд — Правды-Обыденщины и Правды-Поэзии».

Романсы из «Ваньки-Ключника» Соллогуба. Исполн. г-жа Акцери (и еще две г-жи).

30

«Сказочки», его же, прочтет О. Э. Озаровская.

«Пролог» из трагедии «Победа Смерти» и *сцену из новой драмы* «Заложники жизни»... прочтут такие-то.

Сцены: из «Мелкого Беса» и «Тяжелых слов» — прочтут такие-то.

Детские песенки и мелодекламации, — музыка...

«Гимны Родине»...

.....

«Чертовы качели»...

* * *

По «сцене из *новой драмы*», которую, очевидно, можно было получить *из рук* автора, нельзя не заключить, что *объект* «Вечера» есть до некоторой степени

40

и субъект его, т. е. принимал хотя бы некоторое участие в его созидании, устройстве и, может быть, в самом замысле... Можно ли представить себе Белинского, Добролюбова, Грановского, представить Ломоносова или Гоголя, представить Островского, Толстого, Гончарова, говорящими: «Господа, устроимте вечер *обо мне*»; или: «Господа, если *обо мне* хотите читать и *меня* класть на музыку: так вот вам новая неожиданная вещь. Будет занимательнее».

Просто, какой-то ужас... Где же это *лицо* у человека, — то лицо, которое вопреки желанию, разуму, неожиданно все выдает, *неудержимо покраснев*... Я не говорю о Соллогубе, который, очевидно, поддался какому-то завертывшемуся около него вихрю: я говорю о *коллективном* «лице» всех устроителей... Как не почувствовалось того невольного сжимания горла, когда вы говорите невыносимо-неловкую вещь; или вот этой *краски, застенчивости*, когда делаете явную бестактность.

«Вечер об Евдокии Растопчиной»... еще кое-как можно представить. «Великосветская забава»... Можно представить себе, что Манилов согласился бы, если бы вкрадчивый Чичиков предложил устроить «Публичный вечер, посвященный рассмотрению планов Чичикова и Манилова».

— «Очень приятно», — проговорил бы Манилов. Ноздрев всеконечно и живейшим образом принял бы участие в «Вечере, посвященном описанию его порывов, успехов и неудач». Наконец, если перейти к писателям, то отчего не представить «Вечер о Поль-де-Коке»; но, например, «Вечер о Гизо» совершенно нельзя представить; и немыслим «Вечер о Шиллере». Вообще, это любопытно, *о ком можно и о ком нельзя представить*. «Вечер о веселых старичках из „Стрекозы“» — можно: но как представить «Вечер о суровых юношах из „Русского Богатства“»?! Что же все эти «разницы» показывают? Что ни о чем настроенном серьезно и хоть чуть-чуть торжественно — *нельзя*, ни о чем озабоченном, тревожащем — *нельзя*, и можно только *о беззаботном, о пустом*... Обобщенно: о том, что *не имеет темы существования!*

Бестемное лицо!..

Бестемное время!..

Печальная разгадка и, может быть, страшные годы.

— Не знаем, что делать... Чем заняться... Что бы почитать. Давайте *друг о друге!*

Невесело лежать в могилах прежним русским писателям. Тяжелые им снятся сны...

БОГАТЫЙ И УБОГИЙ

Аристотель и Ломоносов в своих «Риториках» упустили одну главу руководства к писанию сочинений: как давать написанным сочинениям *заглавия*. «История Русского государства» звучит просто и прозаично. Это пахнет Соловьёвым и Ключевским — людьми прозаического века. «История Российского государства» — безвкусно и напыщенно. Так назвал бы свой труд кн. Михайло Щербатов. Но «История государства Российского» — великолепно; и нужно было

родиться Карамзину, чтобы дать России не только великолепный труд, но и так великолепно озаглавленный. В этом заглавии есть что-то римское, что-то русское, — именно как в Карамзине тех дней, когда он, повидав все в Европе, вернулся на родину, перестал улыбаться, перестал писать шутки, стихи и повести, и решил дать России родного Тита Ливия.

Но представьте: на прилавке книжного магазина вы встречаете книжку: «Критические рассказы». Если вы человек с умом, вы ни за что ее не купите. Почему? Невозможно купить и прочитать. Почему? почему? Автор не умен, а только умничает; автор — фанфарон, а критика более других ветвей литературы требует добродетели, — т. е. скромности, спокойствия, добросовестности, справедливости. Наконец, автор кокет: собрав в сборник свои статьи, он думал не о серьезном в них, а какое впечатление он сделает на публику... Так и этак он жеманился «перед зеркалом», т. е. перед мысленным отражением себя в душе читателей. И пережеманился: дал заглавие смешное и не дельное, но в высшей степени претенциозное. Так иная дама поместит у себя на шляпке и вишни, и розу, и «еще что-нибудь». Критика — рассмотрение; критика — анализ; критика — всегда труд и забота. «Но я хочу, чтобы во мне увидели и беллетриста», — и несчастный автор с счастливой улыбкой надписывает книжку: «Критические рассказы». Если это «рассказы», то, конечно, не критика! А если «критика» — то, конечно, не рассказы! Тут дело не в форме, а в сущности. Чем талантливее критик — тем он меньше будет способен что-нибудь рассказать; а хороший рассказчик «сядет в лужу» с попыткой критики. И нужно, поистине, не иметь ни одного, ни другого дара, да и, наконец, просто надо иметь не очень много ума, чтобы по-молодому размахнуться: «А вот я издаю свои „Критические рассказы“».

Что же такое случилось с бесспорно умным и бесспорно талантливым Чуковским, что он так измарался в заглавии новой своей книжки? Я как только взглянул, просто потерял всякое «обаяние» от Чуковского. Все слетело, вся прелесть. Я стал спрашивать: «Да что, уж не *показался ли* только Чуковский всему свету и умным, и талантливым». И стал думать.

Странно. Пишет превосходно, а впечатления нет. Уж много лет пишет, а никак не скажешь: «Вот какую *мысль* проводит этот писатель». Очень странно для писателя: не проводить никакой мысли. Что же он пишет? — «А так, пишет. И превосходно пишет». В каком роде? для чего? — «Он, собственно, клюется. Ключнул одного. Ключнул другого». — «Да для чего?!». — «А так, чтобы вышло осязательное впечатление. Больше ни для чего»...

Странно... Не столько писатель, сколько воробей: потому что если Чуковского самого спросить, на кого он походит, на орла или воробья, то он, залившись краской стыда, смущенно и невнятно пробормочет: «Конечно, на воробья, орлиного во мне ничего нет. И я клюю все маленькое, маленьким клювом и маленькие зернышки». В самом деле, страсть его разбирать все *мелочи*, писать о мелочах в писателе, и, по возможности, о мелочах в самом *мелком писателе*, которого и не читает никто, которого даже почти никто и не знает, — изумительна! Поистине, это критик о Вербицкой. Послушайте: он ни за что на свете не напишет статьи о Толстом и Достоевском. Самая талантливая его статья-лекция была... о Натте Пинкертоне в русской литературе и о *кинематографе* как отделе литературы! Это до того изумительно, что просто в дрожь бросает! И лекция-статья его о Пинкертоне была изумительно-блестяща, даже до глубокомыслия!

Удивительный «философ для Пинкертон». Просто ничего не понимаешь. Да кто он?

Репин написал его изумительный портрет. Выставив вперед руки, он точно играет ими для кого-то... Но пальцы *не отделаны* живописцем-психологом: и видишь точно не пальцы, а искривленные когти хищной птицы. Но руки — впереди всего, впереди фигуры. «Этот господин что-то вечно делает руками, — и он должен быть или престижжитатор, или фокусник, или... хуже: когти говорят о «хуже»... Фигура откинулась назад, к спинке кресла, — предовольная собою... «Этот господин преуспеваает; несчастья с ним не может быть». И действительно, — лицо полно улыбки и каждой черточкой говорит:

— Как я талантлив! Боже мой, как я талантлив, — и почти один среди такой бездарной св..... Все мне обещает успех: да он уже и есть! Книжки мои расхватываются, на лекции мои сбегаются. И это только начало, только еще начало...

«Начало, — а потом?».

Потом? Что же «потом», — добродетельный и добрый Чуковский? Роковое для нас заключается в том, что в натуру вашу вообще не входит «сначала» и «потом». Не входит *развития*. Вы тянетесь, как резинка, а не растете, как дерево. В вас есть что-то мертвенное, *не органигеское*, при всей талантливости и вечном *кажущемся* вашем движении. Самое сравнение с воробьем очень велико и слишком лестно: вы стеклянный шарик, быстро вертящийся и ослепляющий толпу (говоря вашим языком) «папуасов». Все в вас слишком современно: вы в высшей степени *современный писатель*, — право, какого еще не урожалось в литературе нашей. «Современность» — душа ваша.

И талантливая душа. Если бы вы были тупы, вы были бы в высшей степени счастливы. Но вы в вечной тоске, так как понимаете, что «современность» — это не литература. От грызущей тоски у вас выросли когти: но вы понимаете, что для писателя желательнее было бы иметь просто пальцы. Своим талантом вы ненавидите свою же талантливость, думая: «Господи, если бы потише! если бы поустойчивее! Если бы мне остановиться! Если бы мне поменьше таланта!!».

Но «колесо катится и катится». Никак не может «остановиться» Чуковский. Все может, а остановиться не может. И катится ровно. Давно катится, много катится, а «дороги» нет, а «станции» нет, да и раньше не было никаких станций. Катается, катается, туда-сюда, по кругу, прямо... точно с повязкою на глазах велосипедист, и у которого вместо ног шарниры, и он роковым образом не может остановиться. Потому что «чем» же ему остановиться, какою мыслью, каким соображением? Мысли и соображения вообще не было — и в самом начале.

Так он совершенно измучится. Вытянется на много-много томов. Хорошо переплетет их. И под старость, сидя в красивом кабинете, перед длинною полкою с золотистыми надписями на корешках своих *Oeuvres complètes*, раздраженный, озлобленный, будет думать:

— Вот где скрыто мое несчастье! Вся Россия говорит обо мне: но это — папуасы. Я же хорошо знаю, до чего я несчастлив!

— И оттого, что Бог не дотянул моего ума до настоящего ума... и получилось одно остроумие. И разные общественные «интересы» не дотянул до настоящего доброго чувства к действительности. Дал мне одни полукачества и ни одного подлинного качества, кроме едкого самосознания. О, как оно полно, это самосознание!

И ШУТЯ, И СЕРЬЕЗНО...

Есть же такие счастливые имена, нося которые просто нельзя не стать литератором: «Иванов-Разумник!..». В именах есть свой фетишизм: называйся я «Тургеневым» — непременно бы писал хорошим слогом; «Жуковскому» нельзя было не быть нежным, а Карамзину — величественным. Напротив, сколько ни есть «Введенских» — все они явно люди средние, будут полезны современникам и не оставят памяти в потомстве. Имена наши немножко суть наши «боги» и наша «судьба»...

Но я совсем разъязычивался...

- ¹⁰ «Иванову-Разумнику» на роду написано: 1) быть литератором, 2) очень расудительным, почти умным и 3) не иметь ни капли поэтического чувства. Что делать: судьба, имя.

С этими качествами он написал в «Русских ведомостях» два невероятной величины фельетона о Д. С. Мережковском: «Пастырь без паствы» и «Мертвое мастерство», которые я прочел с понятным интересом и литературного критика, и друга критикуемого писателя.

«Разбор» этот есть в то же время «разнос»: от Мережковского ничего не остается не только как от писателя, но ему ничего почти не оставляется и как человеку:

Скука, холод и гранит —

- ²⁰ вот что остается от поэта, романиста, критика, публициста, религиозного искателя и почти реформатора (по некоторым идеям, по учению о «третьем Завете» и проч.). Но *каким же образом* он стал во всяком случае видным писателем? чем в себе он написал 15 томов? и наконец, что его нудило столько стараться, столько работать? говорить, убеждать и прочее? Даже будучи очень уверенным в себе «Разумником», г. Иванов не может не признать, что в подобной оценке что-то не совсем *так*.

- ³⁰ И между тем весь «разбор-разнос» г. Иванова-Разумника в высшей степени основателен, «научен», доказателен. Прямо наконец — он справедлив. «У Мережковского везде — мозаика; из мертвых кусочков он пытается слепить что-то целое живое, чего у него не выходит»; «нет вдохновений»; в основе — «нет любви», «холод, снег», «кусочки разбитого зеркала, выпавшего из рук злой волшебницы, из коих один попал в тельце Мережковского и образовал в нем душу», и т. д., и т. д. Отсюда странное «одиночество» писателя, которое он сам осознает, сам выразил его в стихах; и наконец, «неудача» всех дел его, замыслов, судьбы.

Все это г. Иванов-Разумник рассказывает сложно, длинно, скучновато, но основательно. Читатель соглашается с ним гораздо ранее, чем дочитывает до конца его фельетоны. Да, в сущности, едва ли кому-нибудь в России это не было ясно и до Иванова-Разумника, который только подвел *resumé* общему мнению.

- ⁴⁰ Что делать — «Мережковский»... Чорт знает что обозначает фамилия, — ни «розан», ни «хлеб». В фамилии нет никакого *сказывания*; ничего «говорящего» о своем носителе; не входит в нее названия никакого *осязательного* предмета. Даже не понятно, *откуда* она происходит: из венгров, из поляков, может быть, из евреев? Но решительно ни один *натурально русский* не назывался «Мережковским».

И все это отразилось в судьбе, в литературном образе, в основе же — в зародыше души. «Чорт знает что», «вечно буду стараться, но ничего не выйдет». Нет, господа, нужно верить в астрологию. «Мережковский» — с совершенно непонятным в смысле и происхождении *именем* — ничего «понятного и ясного» и не мог выразить. Имена наши суть наши «боги-властители». Живя — мы *осуществляем* свое имя.

Но зато «Мережковский» звучит хорошо. Это не то, что какой-то «Розанов» или «Курочкин», или даже «Подлипайлов» (допустил же Бог быть такой фамилии); и замечайте, что в общем «литературная судьба» Мережковского красива; она не осмысленна, но эстетична. Стихи, романы, критика, религиозные волнения — все образует «красивый круг», в который с удовольствием всякий входит, не отдавая отчета, «зачем», «почему». Взять «том Мережковского» в руки — приятно. Всем приятно высказать: «А я стала читать Мережковского» или: «Я давно занимаюсь Мережковским». Что-то солидное. Что-то несомненно литературное. Книгоиздательство Вольфа, перед изданием «Полного собрания сочинений» Мережковского выпустившее известную критику-отзыв о нем, в сущности, нисколько не впало в ошибку, преувеличение или торговую рекламу. Оно вполне *тожно* и, думаю, искренне выразило то, что «звучит» в воздухе»: 10

— Мережковский?

— Что такое? 20

— Красиво.

— Да что «красиво»-то?

— Красиво звучит. Красивое положение. Стихи, критика, романы; Бог. Все красиво, вообще красиво. Около Мережковского красивый воздух. Над Мережковским красивое небо.

— Но он *сам, сам!*.

— Ах, убирайтесь вы к чорту. Надо уродиться «Разумником», чтобы до всего доспрашиваться, до всего доискиваться. Это — не критика, а служебное следствие. Сказано: красиво, — и нюхайте.

— Но плод? 30

— «Ну, тут и разгадка: никогда не будет плода. Боже мой: есть же махровые цветы. Бог создал. Почему такому не быть и в литературе? Махровый цветок не несет в себе плода, нет в нем «завязи и плодника», нет душистой сладкой пыльцы. Нет меда и нектара. Я, сказав «нюхайте», — ошибся от торопливости. От «Мережковского», по самой сути его фамилии, ничем не пахнет: он есть махровый цветок, который существует *только для взгляда, только для любования* и больше еще решительно ни для чего. Вот тут-то его и тайна, отчего он «не *действует*», «не *заражает*». Оттого, что не входит в нос. Нет запаха. Того запаха, который *вещественно ворошит* мысли, входит в человека, в читателя, в последователя «одушевляющим» началом. «Духи» и «душа» одного корня: «Мережковский» — без духов и таинственным образом действительно без души (тут «Разумник» угадал), — и — отсюда вся его судьба, бездейственность, бесплодность... 40

Но он вечно усиливается «принести плод»: здесь начинается та положительная сторона Мережковского, не обрисовав которую тоже «во всю величину», Иванов-Разумник написал однобокую статью, которая, будучи столь истинною и в то же время глубоко ошибочна, и есть почти клевета или памфлет.

Мережковский есть изящно-трагическая фигура в русской литературе. Вечно с «Христом» на устах, он есть

Печальный демон, дух изгнания,

но по-человечески, но смиренно возненавидевший печальную долю свою, печальную судьбу, печальный характер и личность в себе, и литературных писаний. Сколько усилий сотворить добро, даже маленькое, хотя бы «партийное», у этого Мережковского!! Он, конечно, не «эс-эр», но вдруг прикинулся эс-эром. «Разумник» думает, что это маска. Но это глубже, страшнее: «добрые люди, припустите меня к себе: я что-нибудь доброе у вас сделаю, выкопаю канаву, вырою колодези для питья»; «шумят в России эс-эры, не понимаю — но все равно, буду возить, как водовоз, воду на эс-эров!». Вот настоящее «сердце» Мережковского — доброе, хорошее, бестолковое, но в высшей степени благородное сердце. Д. С. Мережковский совершенно не то, что З. Н. Гиппиус с ее «ядовитостями»: Мережковский вовсе без яда и без заразы. Он действительно демоничен, но по *натуре* («Мережковский»): а «по работе в жизни» — он в высшей степени утилитарный человек, старающийся быть всем нужным, для всех полезным, сработать какую-нибудь «работу» в истории России. И, словом, «по сознанию человеческого долга» он есть уже Водовозов, а не «Мережковский». Но, ввиду демоничности, у него ровно ничего не выходит, так как он *предвежно*-холоден: ни над чем он не расплачется, ничему не расхохочется, не «посмеется с людьми их добрым смехом». «Мережковский» в нем побивает Водовозова: но Водовозов есть его великое нравственное оправдание. Замечали ли вы, что Мережковский — глубоко смиренный, скромный человек; «смирный русский человек». Ну, а это одно ставит его на неизмеримую нравственную высоту над сотнями «разумников», и с малой и с большой буквы. Мережковский есть вполне изящная фигура... и *хотел бы быть добрым...* Но он сухая и бесплодная фигура: это уже *судьба*. «Великой борьбой я боролась», — говорит о себе какая-то библейская женщина, и, помнится, именно бесплодная, «не получившая счастья детей». Мережковский вот может повторить это о себе: «все соки свои (не „кровь“, потому что ей не полагается быть у „Мережковского“), — все соки я выжал мучительно, чтобы слиться с добрым родом человеческим, с прекрасным родом человеческим: но ничего не вышло. Я навсегда от него отделен. Но я не принес никакого зла, — никакого и никому. И если меня не любили живого... все-таки я заслужил, чтобы по смерти на могилу мою чья-нибудь рука не уставала никогда приносить розу».

И это будет: и именно будут приносить розу душистую, с медвяным нектаром, который будет ненасытно вдыхать не умеющий умереть покойник, который был на земле точно усопшим жильцом...

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

Вероятно, у многих в Петербурге и провинции забилося сердце, когда на этих 40 днях появилось маленькое, скромное объявление в газетах:

Л. Ф. Достоевская
БОЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ
Современные типы

По биографии Достоевского, написанной Н. Н. Страховым, все знают, что у него осталась дочь Любовь; и инициалы имени и отчества «Л. Ф.» почти с несомненностью говорили, что на литературное поприще появляется именно она... Я поспешил в магазин, и посвящение книжки «памяти отца моего Федора Михайловича Достоевского» подтвердило ожидание, почему-то радостное. Почему? Да, Достоевский всем нам интимно дорог, и видеть его «кровь» в литературе, — просто приятно. Лет 16 назад мне сказал Страхов именно об авторе книжки, тогда еще молоденькой девушке: «Она — наследница талантов своего отца». Он сказал это по поводу пьес для домашнего театра, который она писала тоже «домашним образом».

Вот коротенькое предисловие ее к первой своей книжке: «В наше время, вследствие ненормального положения женщин в обществе, число больных девушек увеличивается с каждым годом. К сожалению, люди мало обращают на них внимания. Между тем большинство таких девушек выходит замуж и заражает своею нервною и ненормальною последующие поколения.

Я медицины совсем не знаю, да и таланта медицинского у меня нет. И все же я решаюсь описать некоторые, наиболее поразившие меня типы. Нет сомнения, что ученые со временем начнут серьезнее изучать ненормальность женщин, чем делали это до сих пор, и тогда им могут пригодиться даже самые ничтожные материалы. Вот, в качестве таких материалов, я и решаюсь напечатать первый выпуск моих „больных девушек“».

Во всяком случае, это умно, дельно и практично. Если бы вместо той «изобретательной» дребедни, какую беллетристы преподносят нам в толстых книжках журналов, простые девушки начали рассказывать *наиболее выдающееся*, что им стало известно «в жизни», — из судьбы виденных и узанных девушек и женщин, — литература много выиграла бы прежде всего в *интересе*, в *занимательности*. А польза и поучительный смысл таких «простых рассказов» были бы огромны для читателей, для общества, но также и для науки.

В книжке три рассказа: «Чары», «Жалость» и «Вампир». Мне показалось, что Л. Ф. не выдержала задачи, намеченной в предисловии, и, должно быть, природный литературный дар повлек ее дальше сухой и деловитой темы, темы *строгой*: передавать *виденное*, не выходя из рамок того, что видел *глаз* и услышало *ухо*. В рассказ врывается воображение, творчество. Я, по крайней мере, не умею отнестись к ним иначе как к *беллетристике*: но «чисто прибранной», умной, никого не копирующей (в том числе и отца)... Рассказы во всяком случае вполне литературны, и, может быть, больше этого не следует требовать от «первого шага». Я сказал, что подражания *даже и отцу* — не видно. И это — так. Но *натура* отца сказала в первом и самом значительном рассказе: вообразите, девушка, чистая и нравственная, с горячею, исключительною любовью к детям, в каком-то болезненном, ненормальном кошмаре задушивает ребенка, ей вверенного! Сцена эта передана страшно и натурально: девушка оказывается с врожденною *маниею* к этому ужасному преступлению! Чем более она любит беззащитное существо, — еще ребенка, — любит с пронизающею все ее существо любовью, — тем «в мо-

мент приступа», в кошмарную ночь неодолимо влечется умертвить его!! Я сказал, что в этом фантастическом рассказе дочери сказала «натура» отца: точнее сказать, выразилось *продолжение* замечательной склонности великого романиста сводить вместе, связывать «в один узел» величайшую человеческую чистоту, *вот, именно детскую*, с величайшим страданием, и именно мукою, *замугиванием* ее. Все помнят «Смерть Илюшечки» в «Бр. Карамазовых»; или как турок разможил голову болгарскому ребенку, которого посадил на колени, — и ребенок стал играть дулом пистолета: турок в это время и спустил курок (рассказ в «Дневнике писателя»). Еще: как один помещик затравил собаками провинившегося мальчика лет семи; и как другой мальчик, таких же лет, утопился, избегая наказания. *Подробности, которыми окружены все эти терзания — смерти, и страшно напряженный тон рассказа*, говорят, что у Достоевского было какое-то влечение «вот так поставить дело», свести «вот эту невинность», притом страстно любимую, «пронзительно любимую» (его термин) — с ужасною насильственной смертью, именно — с мукою. В высшей степени характерно, что у дочери сказано это как *продолжение*, как *дальнейшее развитие*, даже как *заключение* и *конец*; ибо куда же «дальше идти»? *Смерть...* но не от врага, не от «турка» или «барина», а от кроткой девушки, тоже почти ребенка по годам, притом любящей этого ребенка исключительною любовью, экзальтированной, но, нельзя скрыть, *не материнскою*, а вот именно какою-то *девичьей* («Больные девушки»), особенной, *обожаящей*, восторженной... как к *величайшему художественному созданию природы*.

Такие кошмары у *женщин и матерей* не являются, и совет доктора, к которому девушка обратилась, когда у нее впервые начались эти кошмары (видение терзаемых детей и ощущение ужасного при этом наслаждения), совет «поскорее *самой* выйти замуж» — не представляется неуместным... Но, с другой стороны, надо заметить, что у «больной девушки» вовсе ни в чем не проявлялось влечение к замужеству: с детства (в институте) она скучала обществом взрослых людей; ее мир был — *одни дети!* любовь — *одни дети*, которых она *тайно душила!!!*

30 Суд застал ее на втором преступлении. Она сейчас же созналась во всем. Но оставалась совершенно равнодушна ко всему, и только горько заплакала, когда ей пришлось прощаться с Жоржиком (третья намечавшаяся жертва), к которой уже успела «горячо привязаться».

Страшно. И, повторяю, очень интересно по *родовой, генетической* связи с одним уклоном в творчестве великого своего отца...

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РОД СОЛОВЬЕВЫХ

От могучего дерева всегда много отпрысков: Сергей Михайлович Соловьёв, автор двадцатидевяти томной «Истории России с древнейших времен», хранитель московской Оружейной палаты и профессор Московского университета, 40 «роди» сынов Всеволода, Владимира, Михаила, и еще «дщерей» Поликсену, Наталью, и еще «проч., и проч.»... Студенты, слушая престарелого профессора, потихоньку острили: «каждый год Сергей Михайлович печатает новый том „Истории“, и каждый год у него рождается еще ребенок в семье...». Так ли это было —

не знаю, но если присоединить и *внуков* — наверное так: нам читал лекции по истории западных и южных славян его *зять*, Нил Александрович Попов, благодушный и праведнейший человек, коего за рост, толщину и бас мы прозвали «трубою». Уже ученик этого зятя, теперь проректор Московского университета, М. К. Любавский, написал волюминозные труды по истории Литвы... Сам *зять* много и постоянно писал. Был бодр; и, казалось, ему жить «сто лет», но он безвременно и почти молодым погиб от рака прямой кишки (болезнь Некрасова). Старцем, но еще свежим, умер и «столп всего», Сергей Михайлович. Но уже шумно выдвинулись сыны его, Всеволод и Владимир. Судьба их была неодинакова. Владимир прекрасно разработал свои таланты, вооружился разностороннейшим образованием, окончив что-то к двадцати двум годам Московский университет и Московскую духовную академию, причем в университете он проходил не один историко-философский факультет, но и естественное отделение физико-математического факультета. Таким образом, чуть не «преждевременно» он знал все *существенное*, что можно знать в нашу эпоху и развернул эти знания, оплодотворенные врожденным пылом и гением, в обширную философскую, публицистическую и поэтическую деятельность... Только бы убавить жару, только бы прибавить осторожности, и как все было бы хорошо! Но теперь мне вовсе не хочется судить, а хочется сказать «хвалу» могучему роду Соловьёвых. Нигде так не радуешься человеку, как увидев его хорошо «разродившимся» и хорошо «развернувшимся»... Говорят, Русь что-то блекнет: вот я и хочу возражать против этого «блекнет». Судьба Всеволода, старшего сына историка, была печальнее. Нил Александрович Попов (зять историка) правдиво и по-русски сказал мне как-то, еще студенту, когда я пришел к нему за справками и книгами для курсового сочинения и побочно спросил о сынах историка: одном — философе, и одном — романисте:

— Всеволод Сергеевич берет том «*Истории*» отца, выуживает из него романтический смысл, и на тему этого сюжета пишет исторический роман, который продает Марксу (издатель «Нивы») по 300 руб. за лист, когда отец его за превосходные исторические статьи получает из «Вестника Европы» по 100 руб. за лист...

В самом деле, Всеволод Соловьёв, человек энергичный, смелый, немного грубый, писал быстро роман за романом на «темы» отца... И все романы эти были деревянные, бездушные, захватывающие только ту «большую» и даже «аграмадную публику», которую вообще не принято и нельзя считать обществом «литературным»... Только его «Покрывало Изиды», разоблачение знаменитой Блаватской, написано в литературных формах, с литературным вкусом, литературным тоном... Так, куда-то торопясь и как будто вечно нуждаясь, он «зарыл в землю» талант свой, неизвестного или неясного содержания и цены. И умер он совершенно рано (и непостижимо!), судя по своему, прямо гигантскому здоровью... Весь он был, с виду, как литой, бронзовый.

Но могучее дерево тем и могущественно, что шумят его другие ветви, когда одна заглохла...

Владимир обширно раскинулся: и имя его стало затмевать даже имя отца-историка.

— Откуда такое страшное *несходство* между историком Соловьёвым, этим спокойным, развесистым деревом, в котором «вьют гнезда многие птицы», и сы-

ном его Владимиром, который вытянулся в необыкновенно высокую и тонкую жердь, отовсюду видимую и колеблемую на все стороны? — спросил я одного его родственника.

— Влияние матери, влияние матери, — на это же надо обратить внимание! Владимир Сергеевич — весь в свою мать, которая была малороссиянка, с большими причудами в характере, и в которой было что-то вешее, фантастическое, причудливое, почти готов сказать — колдовское. Странные сны, странные фантазии... Все это прыснуло во Владимира, поэта, философа, мистика. Вы знаете лицо его: это же совсем не лицо отца, историка, — спокойное, твердое, коренное великорусское. Но он — портрет матери!.. Он был и в духовном отношении ее портретом или... наследником!

Страшно важно. Действительно: философ Соловьёв есть живое и личное отрицание историка Соловьёва; историк Соловьёв ни в одной черте ученых трудов и личной биографии не имеет ничего общего с сыном.

Уравновешенный дуб. Наш русский, всем нужный. Который дает тень три века, и отжив, дает материал для корабля «петровской работы», или из которого строят вековые стены хозяйственного дома, которому тоже «века не будет»...

И далекая южная пальма, красивая, не «наша», совсем не «наша», которая манит взор, возбуждает воображение, возбуждает «прелестное стихотворение» о себе, но ни в какую *поделку* не годится, ничего «петровского» из нее не сделаешь, ничего из нее не *сработает*, и, в конце концов, даже, обозлившись, *изругаешь ее*:

— Куда, матушка, забрела в Русь болотную? Холодную, неприветную? Возбуждаешь «стишки», когда нам надо дрова рубить. Манишь, мучишь, тревожишь, когда нам нужен хороший сон, бодрая работа да крепкая баба...

Соловьёв был и аскет: он такого-то плодовитого отца!

«Ну ее, к лешему, эту пальму: как *привидение* в ночи на дороге...».

Во Владимире Соловьёве было много и «привидения»... Любопытнейшая в нем черта...

Но я хочу, с точностью летописца, исчислить «род Соловьёвых»...

Поликсена Сергеевна Соловьёва, — кто не знает ее прекрасного «Инея», книжки стихов, из коих каждое имеет параллельный себе *рисунок*?.. Если бы эти рисунки пером, естественно величиною в страницу, в полстраницы книги, увеличить до обыкновенных размеров обыкновенной картины, то несколько десятков их могли бы составить целую выставку, с тем, чего именно недостает выставочному искусству: с изумительным богатством *лигности*, физиономии автора. На некоторые рисунки хочешь часы смотреть; хочешь, чтобы они *постоянно* были перед тобою, как *твое настроение*, как *любимое свое настроение*; смотри страницы: 8, 13, 17, 33, 41, 51, 61, 67, 71, 73, 80, 89, 97... Местами это хорошо, как почти в великих созданиях Беклина...

Но она никогда не выставлялась и не выставится. Ведь она не тот Чулков, ко- его первым прославившим его произведением было «Письмо в редакцию всех газет» о том замечательном событии, что он вышел из состава сотрудников «Золотого Руна»... Тогда все оглянулись и впервые узнали «Георгия Чулкова», и запомнили; а когда все «запомнили», то он, естественно, воспользовался, что-то где-то быстро понаписал, и уже теперь печатает седьмой том «Собрания своих сочинений», кажется, со «вступительной статьей» остроумного и ученого профессора Овсяннико-Куликовского...

Соловьёва — вся в застенчивости, и даже спрятала свое имя, — уже в отце знаменитое, — в *безыменном псевдониме* «Allegro»... Не правда ли, «allegro» как «иней» же: ни имени, ни пятна. И что-то «прикрывает» собою. Как это идет к поэту, к поэтессе, к женщине, к девушке... Соловьёва («Allegro») никогда не «в выставке», а точно куда-то уходит, и вечно видишь ее со спины. Вся она, кажется, — в этом стихотворении:

Руку дай, дитя, тропю хвойною
Забредем далеко мы, — туда,
Где нас жизнь загадкой беспокойною
Не найдет, не встретит никогда.
Где мгновенья стынут, не меняются,
Где не вянут тихие цветы,
Где в прозрачном небе поднимаются
Тонких елей стройные кресты.
Там, забыв стремиться в даль неясную,
К тишине душою ты прильнешь,
И молитву первую безгласную
Ты с моей молитвою сольешь.

10

Или вот, в сфере описания и понимания, «Петербург»:

Город туманов и снов
Встает передо мною
С громадой неясною
Тяжких домов,
С цепью дворцов,
Отраженных холодной Невойю.
Жизнь торопливо бредет
Здесь к цели незримой...
Я узнаю тебя с прежней тоской
Город больной,
Неласковый город любимый!
Ты меня мучишь, как сон,
Вопросом несмелым...
Ночь, но мерцает зарей небосклон...
Ты весь побежден
Сумраком белым.

20

30

Это — полно и физиономично, как портрет Серова. Из «Антологии Петербурга», которая уже есть и замечательна (вот бы ее собрать!) — этого не вычеркнешь никогда. И посмотрите, сколько порицания, любви (задумайтесь над *противоположностями*, г. Струве); как все деликатно и благородно.

Аллего-Соловьёва вполне противоположна брату Владимиру, философу, — который (увы!) был всегда «в выставке». По этому влечению к безмолвию, к тишине, к «внутренней келье», как-то невольно называешь ее и более философом, и более богословом, чем ее знаменитый брат. Ах, есть вещи, с религиею нес совме-

стимые: к числу их принадлежит базар, без которого не мог обходиться Влад. Соловьёв. Что делать. Судьба. Рок.

Еще немного. Ведь это хорошо как у Тютчева:

Я сбросить хотел роковую неволю мучений.
 Я в полночь глухую дороги искал,
 И вдруг я услышал среди тихих ночных дуновений,
 Что кто-то душе прошептал:
 — Не бойся страданий, не бойся любви безответной.
 Над мраком страданья — не меркнущий свет.
 Не бойся нарушить молчание песнью приветной
 Быть может, раздастся ответ.

10

И все у нее в этих тютчевских тонах; но другое, но свое только столь же благородное... И хочется книжку ее поставить около Тютчева: лучшая похвала, какую мы умеем сказать!

Allegro — вечерующий день «рода Соловьёвых». От «крепкого» историка, отца, точно выдвинулась куда-то далеко-далеко тонкая, слабая, одинокая ветвь... И выдвинулась совсем не туда, куда обращены все другие ветви, вся листва. И висит она, медленно засыхая, над черными водами реки и под черным небом с глубокими звездами. И забыла о дереве. Забыла о родине, роде. «Одна душа моя» — вот родина. И над этою «душою» поэтесса медленно-медленно вырезает тонкий крест.

20

Умирают белые сирени

И хочется ответить ей ее же стихом:

Буду помнить белую сирень я
 И дыханье звездных лепестков.

У Соловьёвых был еще третий брат — Михаил. Станным образом, имя его было названо в печати только в момент смерти: именно, жена его, — переводчица-труженица, — в миг кончины мужа вышла в другую комнату и застрелилась. Об этом прошумели газеты. Она застрелилась, оставляя сына мальчика, Сережу (имя отца их, историка). Что Михаил проживет как-то недолго, это чувствовалось еще в университете (Московском), где я и рой сверстников помним его в 1880—82 годах. Он был чрезвычайно мал ростом, ни капли не похож на отца, — до глубокой противоположности! — но был, в сущности, очень похож на Владимира (философа), только являл его прекрасное, как бы поблекшее и засыхающее, повторение. При маленькой, узенькой в плечах, сухой фигуре, он имел необычайно длинные, неопределенного цвета волосы, которые образовали «копну» на голове, странную, некрасивую, нелепую. У Владимира Соловьёва были тоже замечательные волосы, — но красиво-легкие и как смоль черные; у Михаила — тоже, но бесцветно, некрасиво и почти безобразно. Станный мальчик (он имел

40

вид совсем мальчика студентом, без всяких признаков бороды и усов), он точно чувствовал и был огорчен своей «безвидностью»: и я совершенно не помню его в другом положении, как стоящим где-нибудь в углу, молча и ни с кем, или в проходе между партами, никуда не идущим и ниоткуда не уходящим. Совершенно не было случая, чтобы он с кем-нибудь разговаривал. Совершенно не по чему не было видно, чтобы ему что-нибудь было нужно. Каким образом такой человек мог жениться и еще в такой мере привязать к себе жену (самоубийство в момент смерти мужа) — совершенно непостижимо. «Но, значит, было что-нибудь». По виду он имел такой характер, как будто это был утенок, поставленный на горячий песок, или цыпленок, поставленный в воду (с краю). «Все не по мне, и не знаю, зачем я?» — «Что-то такое со мной сделали, — а что — я не знаю. И от этого, что со мной сделали — я несчастен». Недоумение. Покорность. Бессилие. И — ум. Об этом говорили, и мне, по крайней мере, писали близко знавшие его люди. «Многодум, суждения которого безошибочны» (в одном письме ко мне, — отнюдь не родственника его).

Ничего не писал. Был учителем гимназии. Жена его переводила. Никуда не рвался. И умер рано, оставив мальчика, которого почему-то в разговорах и письмах называли «Сережей» воспринявшие друзья его отца, и вообще друзья и почитатели «литературного рода Соловьёвых»... Это был целый кружок московских символистов-поэтов, между которыми выдавался Андрей Белый — сын знаменитого профессора математики в Московском университете, Бугаева: Андрей Белый, В. Я. Брюсов и еще «множество, множество их». Эллис, должно быть, Бальтрушайтис, Борис Садовский *, вообще кружок критико-литературного журнала «Весы», а раньше — должно быть «Мира Искусств», книгоиздательства «Мусaget и Скорпион», все «они», бесчисленные «они», все молодежь, шумная, надеющаяся, вся, конечно, влюбленная, дурачащаяся, озорничающая, поющая, пишущая стихи, «разносящая всех» в критике, — вся, однако, очень образованная, это нужно очень заметить, — следящая за всем в литературе, все в литературе отвергающая: вот чад, дым, брызги и огонь, куда попал «Сережа Соловьёв», и, конечно, он сам тотчас стал «петь» в этом хоре поющих, непременно и немолчно поющих птиц... Будущему историку литературы будет в высшей степени интересно и *привлекательно* изучать этот кружок, почти — кружки, то рассыпающиеся, то соединяющиеся, и, пожалуй, привлекательно не столько в смысле «оставленных произведений», сколько в смысле живой личности, физиогномии. Ведь они занимались действительно *«всем и еще где-нибудь»*, например занимались даже астрологией, и Андрей Белый, проведши месяцы бессонных ночей, — составил свой «гороскоп» (смотри его «Символизм»). «Гороскоп» себе составил и один из них, до того теперь ушедший в солидность, что мне неловко называть его имя. Таким образом они шевельнули астрологию, алхимию, они были «ради-ем раньше открытия радия», и, можно сказать, родились с «рентгеновским лучом» в глазу; говорю это, конечно, в переносном смысле, — потому что *именно это* и составляет их физиогномию, душу и, может быть, судьбу... Величайшую их привлекательность составляло постоянное оживление; постоянная нелепость;

* См. его «Русская Камена» — сборник историко-критических очерков о русских поэтах, вышедший в конце минувшего года, и сборники собственных стихов «Позднее утро» и «Полдень».

постоянное беззаконие. Один рвался в монастырь, другой возился с проститутками; оба — на «ты», друзья «беззаветные». Здесь было очень интересное аскетическое течение, — давшее результат, определенный, хороший. Единственные в Москве «настоящие монахи» были декаденты же, об этом я шепчу будущему историку... Монахи, ушедшие в глубокий аскетизм, глубокое отречение от мира, суеты, от славы и какой-либо известности, не говоря уже о чем бы то ни было физически «скромном»... И были на «ты», в дружбе, с людьми величайше распущенными. Впрочем, «рентгеновскую» сторону в них составляло то, что между ними вовсе не встречалось «людей», а только юноши, какого бы они возраста ни были. Ничего «солидного»; определившегося «общественного положения; ничего обещающего будущего члена Г. Думы»... Или — «присяжного поверенного» или «профессора». Из них мог выйти: поэт, преступник, поп. «Свернуть голову» или «сломить голову»... «Пойти в монахи» или «возлюбить всех чужих жен»...

«Натура отдохнула» в Михаиле Сергеевиче Соловьёве: и сын его, — из «Серези» превратившийся в «Сергея Михайловича» (точное повторение имени и отчества основателя литературного рода, маститого историка), деятельно и быстро стал разворачиваться в поэта. Сперва он был под сильным увлечением восторженно-аскетической и восторженно-мистической лирикою и философиею своего дяди; но позднее стал отходить от нее в сторону более естественного порядка вещей. В минувшем году он издал большую книгу стихотворений под говорящим заглавием: «Апрель», которую недурно в апреле месяце перечитывать России и русским.

Братья! Сестры! Облекайтесь в ризы светлые, венцы венчальные
И во сретение Христа теките по стезям зазеленевших трав.
Братья! Сестры! Слышите ли сладостное пение пасхальное
По лугам и пажитям, по холмам диким и удолиям дубрав.

Со свещьми возженными в руках, лампадами златоелейными,
Звонкими кадилами грядут и мужи сильные, и старики.
Лапти юношей белеют райскими нетленными лилеями,
Словно жертвы кровь на девушках повязанные алые платки.

Птичьи гласы, щекот славий, кукования зеганцы тихие
— Над ключами светлыми, в тени берез зеленых и плакучих верб.
Здравствуй, церковь верная, бежавшая от царствия Антихриста:
Излилася чаша гнева Божьего и жатву сжал Господний серп.

Руки крепкие, расставшиеся с косами, плугами, сохами.
Подымайте крест, крестьяне русские, возлюбленнейшие Христа.
Вся земля исполнена молитвами, рыданьями и вздохами,
Расцвели стихирами, псалмами девичьи румяные уста.

Стали храмами дубравы озаренные, а рощи — кельями,
От купальниц золотых восходит ладан и гудит зеленый звон.
В укрепленье верным въяве зрится над березами и елями,
В пень ангельском, на красных тучах, просиявший солнцем град Сион.

Брат с сестрою, — равный с равной,
Матери, отцы, сыны.
Перед церковью дубравной
Все мы кровью крещены.

Мы под тем же самым небом,
И, как в первый век земной,
Нивы золотятся хлебом,
И луга шумят травой.

Мать земля! Твои мы чада
Ты ли нас не защитишь?
Горняго зыскуя града,
Мы в твою бежали тишь.

10

Геи, жатвами богатой,
Лоно влажно и черно.
Сколько лет в него оратай
Золотое клал зерно!

Нелегка его работа!
Православная земля,
Сколько слез и сколько пота
Выпили твои поля!

20

Вся Россия — хлеб и небо.
Сотни верст — одно и то ж:
Золотые волна хлеба,
Ветром зыблемая рожь.

Вся Россия — только горе:
Стонет богатырь-силач,
И в веках гудит как море
Детский вопль и женский плач.

Вся Россия — лишь страданье,
Ветра стон в ветвях берез,
Но из крови и рыданья
Возрастает ожиданье
Царства Твоего, Христос.

30

(«Сион грядущий»)

Тут много «вообще соловьёвского»: богословие — от Владимира, чувство широкой вековой Руси — от деда-историка; греческая «Гея» («Земля») — от декадентов; молодость, зов в зеленые дубровы — от зеленого своего возраста. Но все соединено в *свое*, все — не подражательно, а лишь несет в себе переливы разных течений *рода, генерации*.

Теперь много говорят о «захудании» Руси. Корень всякого захудания — в *родовом* захудании. Вот отчего я остановился особенно любовно на Соловьёвых как «литературном *роде*»: сколько таланта, *разнообразия*! Как «род» богаче единоличного «родоначальника», хотя им и был *знаменитый историк*, т. е. личность *огень значительная*. Но «род», «дерево» — всегда больше зерна, основания. Так и *должно* быть, так *есть*, в этом *смысл истории*, т. е. расширения, раздвижения. «*Шире* дорогу», «давай *простора*» — вот лозунг генераций. Наши русские генерации не уступят *талантом* никаким другим генерациям: только они не так «поканцелярски» текут, как там: деды, дети, внуки — все *скопидомы*, откладывают в копилку, и вырастает миллиардер или Ротшильд. У нас «папаша» копит, сын «покровительствует искусству» и... нимфам; внучка строит больницу, правнук уходит в монастырь; — а еще братец, другой правнук, «остальное» расшибает в Монако. «Все равно ничего не вышло»... Но незаметно вышло многое: вышилась полоска узорной Руси, и татарской, и парижской, великолепной и «невозможной», которую мы любим и ненавидим, клянем и благословляем. Но выше всех наших «треволнений» ее в тишине небесной благословляет Бог... Ломка на глазах Русь: вся ломается. А на самом деле вся *перестраивается* и вечно *растет*. Вот наше «невечное» и «неудачное»...

ОБ ОДНОМ ЗАБЫТОМ ЧЕЛОВЕКЕ

20

(Пропущенный юбилей)

2 апреля этого года исполнилось *сорокалетие* со дня кончины замечательного русского человека, *архимандрита Феодора Бухарева*. Это была выдающаяся личность в русской церкви, в русском обществе, в истории русской мысли. Некоторые его выдающиеся рассуждения, как-то: «О миротворении» и «О православии в отношении к современности», были переизданы в 1906 г. петербургским обществом религиозно-нравственного просвещения; биографические данные о нем собирал и печатал профессор Казанской духовной академии Знаменский; когда-то Погодин выражался, что в архимандрите Феодоре он встретил, наряду с о. Матвеем Ржевским (но в совершенно противоположном духе) личность самого высокого религиозного настроения, какую он видел за всю свою жизнь. Митрополит Филарет любил его и покровительствовал ему с самой его юности. И, несмотря на все эти внутренние условия и внешние обстоятельства, жизнь, служба и мировоззрение его не «опочили тихим сном»... Вот как объясняет это один из почитателей его памяти, священник А. П. Устьянский: «Окончив курс в Московской духовной академии, Бухарев сразу же принял монашество. Митрополит Филарет, хотя и расположенный к нему, смутился своеобразием его мышления, всегда пылкого, никогда не считающегося с обстановкою службы и установленными шаблонами богословского изложения, и перевел его из осторожности в Казанскую духовную академию. Бескорыстный аскет и младенчески чистая душа, ⁴⁰ арх. Феодор вызвал здесь, как вызывал и ранее в Москве, восторженное отношение к себе юных студентов-учеников. Через несколько лет он передвинут был

в Петербург и назначен духовным цензором. Здесь он начал печатать свое „Толкование на Апокалипсис“, но по проискам известного Аскоченского печатание это было запрещено. Это событие так поразило наивного, чистосердечного и уверенного в своем *правомыслии* отца Феодора, что он не счел возможным оставаться далее в рядах администрирующего в церкви монашества и снял с себя как сан архимандрита, так и монашеские обеты. После сего он вступил в законный брак, прожил около восьми лет и помер в 1871 году, на 47 году жизни. Супруга его, Анна Сергеевна, и доселе проживает в гор. Переславле, Владимирской губернии. Главною основною идеею, которую он проводил во всех своих сочинениях, была мысль о необходимости благодать и истину Христову распространять на все стороны, на все слои человеческой жизни, семейной, общественной, политической. В наше время, когда мы имеем под руками множество сочинений Вл. С. Соловьёва, Н. Н. Неплюева и подобных, эта мысль для нас не новость, но первым ее провозгласил арх. Феодор, и это в начале пятидесятых годов, когда у нас царил сухой и неподатливый служебный формализм, совершенно не считающийся с жизнью, совершенно, наконец, с нею не взаимодействующий. Архимандрит Феодор поистине послужил тем „упавшим на землю“ и потому, конечно, ото всех забытым зерном, из которого на самом деле выросло все современное нам пророческое направление русской мысли, на наших глазах приносящее такой обильный, такой роскошный, заставляющий истинно радоваться, духовный плод. Правоту своих воззрений Бухарев хотел практически подтвердить своей собственной жизнью: сняв с себя монашество и вступив в законный брак, он сбивал монашескую монополию на путь спасения только в *безбрачии*. В наши дни, когда повыше всех монахов вознесся светоч Иоанна Кронштадтского (писано в 1901 г.), т. е. лица из *белого духовенства*, простого *священника* и *женатого человека*, — тезис отца Феодора уже для всех оправдан». Позднее тот же свящ. Устьинский договаривал: «Все, что высказывал в своих печатных сочинениях и в устных беседах о. арх. Феодор, совершенная истина. Но неточность его состояла в том, что высказываемое им он относил не к той Ипостаси Пресвятой Троицы, к какой следует. Он чуял истину, но не смог определить ее географию. Тем не менее его громадная заслуга состоит в том, что он *всю* область бытия и человеческой жизни и деятельности подвел под один покров религии».

Сделать это, конечно, можно двояко: сжимая, сдавливая, стискивая жизнь. Это — Средние века, это католичество, это монашество. «Лишнее» в жизни, не умещавшееся за церковный «переплет», сжигалось в аутодафе. Но не таково наше сельское, не мудрящее православие: спазма делается в горле, когда нужно что-нибудь сжечь. — «Лучше я погожу», «лучше я помолчу». Так оно стояло до XIX века. Но жизнь все росла, развертывалась. Шли реформы 60-х годов. «Как же православие?». Архимандрит Феодор первый ответил и в нашем простом русском духе, истинно-историческом. Он начал *пантеизировать* православие. «Пантеизм» — неприятное слово, уже потому, что иностранное. Но мысль его содер-
 жится уже в православном обычае — кропить *святою водою*, т. е. церковною, *домашний скот*, — как и служить *молебны о дожде*. Православие не враждебно природе; православие «везде видит Бога» (мужики, паче того бабы; Лесков, Достоевский; Л. Толстой *до перелома* «мировоззрения»). Но все это не имело, так сказать, семинарского и академического выражения; фразировки, сказывания; все это был «обычай сел», а не доктрина схоластики. Арх. Феодор и дал первый

этим *народным залежам* духа богословское оправдание, «догматическое» изъяснение. Отсюда нападение на него Аскоченского и растерянность современных ему богословов, просто «не нашедшихся». На самом деле, арх. Феодор «все спасал» в религии, говоря, что «современность» с нею не расходится: новая техника, прогресс, реформы, просвещение, светские школы. «Все в моих объятиях», — говорил любящий, кроткий, тихий (по портрету судя) архимандрит-монах. — «Как ты смеешь: ведь ты монах, *отрекся от всего*», — завопили кругом, завопил не один Аскоченский. «Монашество не *отрегение*, а *примирение*» — ответил тихий инок. «Но если вы так понимаете монашество, как *вражду* ко всему, вражду к самому *человеку* и его *счастью* на земле, вражду к его „лучше“, то я предпочитаю уже лучше снять монашество, нежели возненавидеть мир».

И снял. И исполнил.

Это историческая заслуга, великая.

Монашество само теперь глубоко меняется, если уже не изменилось: оно есть не суровая *борьба с миром*, но тихая молитва о *мире же*, но в стороне от мира, для тишины, для «лучше» в молитве. Это совсем другое дело. Само монашество пантеизируется. Оно не тонкая и горячая стрела, все пронзающая и кровенящаяся; это *было*, но это *отходит*. Монашество скорее разливается теперь в озеро, тихое лесное озеро, в котором отражаются звезды, отражаются леса, пьют из него лесные звери... Таков образ инока, *нашего русского инока*, который дал св. Серафим Саровский, ничему не враждебный, все благословляющий. Вообще «каковы *мы*, таковы и *небеса*»: важнее догматов перемена в *духе времен*... Этот «дух» смягчился; этот «дух» *растворился*... В него именно вошла *влага*, влажное начало мира... Еще и по Фалесу «вода родила богов и людей». Огонь — палит, жжет и уничтожает. Это католицизм, Бог с ним. Наши поля широкие, наши леса прохладные; грибом пахивает, мхом, папоротником. Ну, какое тут «аутодафе». На ум не придет; наши раскольники по лесам и «иконки» расставили. «Кто-нибудь, *неведомый человек*, пройдет и помолится». Все это, сумма этого, и есть пантеизм, или, уклоняясь от греков и возвращаясь к славизмам, — «Божеское все и во всем». Не забудем же того, кто хорошо послужил этому, даже до страдания, до колючек терний на голове, архимандрита Феодора Бухарева. Вечная ему память и мирный покой в земле...

ОКОНЧАНИЕ «ПИСЕМ СОЛОВЬЁВА»

Вышел третий и последний том «мгновенных слов» Владимира Серг. Соловьёва, его записочек, писем, телеграмм, шуток, стихов, каламбуров и глубоких изречений, какие он бросал в течение жизни... не в корзину, а в карманы друзей своих, просто знакомых и даже едва знакомых людей, с которыми его сталкивала жизнь и деятельность; и эти письма они сберегли; а друг его и благоговейный хранитель его памяти, профессор философии Э. Л. Радлов, все это собрал и тщательно издал. Россия не может не быть благодарна Радлову. В трех томах живая и *конкретная* личность Соловьёва встает с такой ошутительностью, что мне, по крайней мере, показалось при чтении первого тома, будто Соловьёв разговари-

вает у меня в комнате с другими людьми, и что он вовсе и не умирал... Происходит такая живость от того именно, что он, кажется, никогда не «засаживался» за письма, а писал свои писульки «на ходу», урывком: и сумма их сыграла роль живой фотографии. Исключения, может быть, составляют его письма к важным католическим особам, в Загреб или в Париж; тут он «садился» и «сочинял»; но как бы эти письма ни были важны в «догматическом, философском и исповедном» смысле, для живой личности покойного они ничего не дают, или дают мало. Покойный обладал зеркальностью души, и всегда при разговоре отражал несколько в себе лицо другого горящего собеседника. Напротив, в записках «на ходу» он никого не отражал, потому что торопился; и в них он говорит *сам* и говорит *один*.¹⁰

Один не очень остроумный, но, говорят, чистосердечный немец из Штутгарта сказал в большом кружке писателей по поводу собранных Радловым писем, что «во всей русской литературе он не знает большого циника, чем Соловьёв, — и именно *это открылось в его письмах*». Поводом к этому, без сомнения, послужил тон *непрерывной шутиливости*, постоянного остроумия, с которым Соловьёв говорил о всех вещах — о предметах религии и философии, о друзьях и врагах, о родине и загранице. Обо всем. Откуда, в самом деле, эта шутка? Она постоянна у Соловьёва. Шуткою мы облегчаем жизнь. Мы шутим, когда нам трудно или что-нибудь «невозможно». Разумеется, когда при этом есть и врожденный дар шутки. Но «врожденно» цинизма не появляется, это — само собою разумеется.²⁰ Ибо «цинизм» есть «насмешка над жизнью», и откуда же она возьмется, когда жизнь неизвестна и даже не начата? *Талант* шутки есть преизбыточество ума, фантазии, живости, смешливых сопоставлений, т. е. очень быстрой, почти моментальной способности комбинировать по новому предметы, слова и мысли. Этот врожденный дар был у Соловьёва, о нем говорят все его «писульки», эта почти трехтомная игра слов. Но немец протянул отсюда до «цинизма»: между тем врожденным даром шутки Соловьёв *облегчал* свое бремя жизни, явно очень тяжелое для него по множеству внутренних и внешних причин; и утешал, или рассеивал себя при постоянных своих, в сущности, неудачах. Примерный, образцовый профессор по всем задаткам, по подготовке в университете и в духовной академии, — он в начале же своей деятельности был признан «невозможным и недопустимым на кафедре» в каком бы то ни было учебном заведении.³⁰ Потом пошло дело еще хуже: усилиями Победоносцева были признаны «вредными вообще всякие его сочинения по богословию», т. е. не только сущие, но и будущие; и даны были соответствующие инструкции по тогдашней цензуре, а духовным журналам просто было предписано «не печатать». Это было вполне отвратительно, но нужно заметить, что такое вполне отвратительное распоряжение было дано вполне чистым человеком. Просто — Победоносцев был так убежден. «Все, что пишет Соловьёв, — только вредно для России», — говорил он и устно; и соответственно распорядился. Радикализм, страсть и «коренное решение вопроса». Огонь встретился с огнем, и сильнейший попалил слабейший. В воспоминаниях «Исторического Вестника» было как-то напечатано, что в 1905 г. радикалы, овладев почтою в каком-то уезде, по Волге, перестали «пересылать по почте» все консервативные и средние журналы и газеты, а оставляли их лежать, говоря: «Мы не *заинтересованы* в аккуратном доставлении сих газет». Пусть сами «доползают»... И Победоносцев, делая распоряжение по журналам своего ведомства, вероятно, тоже думал: «Пусть Соловьёв на ручной машине сам

печатает свои статьи; мы, духовные, и вообще Россия, в этом печатании *не заинтересованы*. Философу во всяком случае приходилось тяжело...

И он шутил и шутил, горькими своими шутками.

Конечно, цинизма в нем *и капли не было*. На всем протяжении трех томов нас кольнуло морально следующее. Вышла какая-то книга *с предисловием* Соловьёва. Журнал «Вопросы Философии и Психологии», где все работали друзья Соловьёва, бывшие с ним все на «ты», дал неблагоприятный отзыв о книге, однако без малейшего упоминания о предисловии Соловьёва; неблагоприятный и при том *насмешливый*. Казалось бы, вольному — воля: не могут же все любить то, что нравится Соловьёву. Но Соловьёв хотя и был «друг своих друзей», — вдруг в этом случае обнаружил что-то вроде их начальника, господина, вообще отнюдь не «равного с равными»: он пригрозил полным своим отстранением от журнала, если означенная рецензия не будет вынута (вырезана) из отпечатанной уже книжки, что наносило и материальный ущерб очень бедному изданию, и задерживало книжку, и было оскорбительно и для всей редакции. Весь тон был «диктования условий»... (см. его письмо к Н. Я. Проту) Соловьёв знал, что он есть первая фигура в философском журнале, что «разойтись» с ним для журнала невозможно. Но он не понял или никогда не чувствовал, что такое положение диктует изощренную деликатность, уступчивость, «не гоньбу» даже и за бестактностью, или кой-какой обидой. Но он был поистине «на ты» как старший в артели с подручными; он был внутри страшно горд и отнюдь «равным» себя ни с кем не считал. Таким образом, «товарищество» его с «товарищами» было мнимое. И вот тут хочется видеть причину его жизненных неудач, и причину притом религиозную, *настоящую*. «Гордым Бог противится», — поговорка библейская и, кажется, русская народная. Над всеми «начинаниями» Соловьёва не было Божия благословения, — тихого, хорошего. Не было им и человеческого долгого сочувствия. Он был так талантлив, что сразу все вставали навстречу ему... Катков, Ив. С. Аксаков, славянофилы и западники, — все перед ним именно «вставали», когда он среди них появился. Достаточно сказать, что Катков напечатал в своем «Русск. Вестнике», где тогда печатались романы Достоевского и Толстого, его *докторскую диссертацию* — «Критику отвлеченных начал»: вещь, совершенно самоубийственная для журнала! Таким образом, «все» были «готовы на все»... Но он был именно *одинок*, а не «друг своих друзей». Правда, он как «зеркало»-то отражал собеседника: но за стеклом этого зеркала уже стояло или дерево, или пустое пространство, или что-то. В этом «что-то» был и гений, и одушевление, и высший полет, но ко всему была примешана огромная уединенная гордость, уже ни с кем не считающаяся, никого не уважающая... Это шло бы к Наполеону, к Скобелеву. Им она была *нужна*, у них *играла роль*. Но зачем она философу? Или — «Божьему человеку»? Незачем. И большинство, притом не худших людей, оставляли его, или даже делались его противниками. Отсюда его судьба, довольно безрадостная. Он перерезал нашу «русскую атмосферу», как пылающая, пугающая, необыкновенная комета; и — исчезающая с горизонта. Но при всем почитании его никак нельзя поместить его в то высокое и вечное созвездие, которое протянула над землей история философии. В нем не было той благородной тусклости лица, какую мы находим у всех философов, от Фалеса до Канта и Дж. Ст. Милля, «о жизни которых что *рассказать?*». Есть великие качества в большой известности. Но есть тоже великие качества в совершенной безызвестности. Философия

роднее второму. Почему-то роднее... Вот этого благородного «матового, спокойного» цвета мы не читаем на лице Соловьёва: который кипел, сверкал, блеснул, может быть как *бриллиант* — и все-таки как *не философ*. Охотно соглашаемся, что он был «более чем философ»: но только *духа философа* (при огромных философских *способностях*) в нем совершенно не было. Совершенно другие все признаки, весь «абрис», весь «паспорт»... «По этому *виду*, — сказал бы переводчик Харон, — можно проехать в Царство Небесное, во дворцы, в общество, аристократию, к поэтам, к католикам. Но где Платон и Кант, Малбранш и Спиноза — туда по *приметам этого паспорта* дороги нет».

ПАМЯТИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

10

Кончина Василия Осиповича Ключевского отзовется в тысячах сердец как *лигное* несчастье, в десятках тысяч умов — как горе о потере для *науки и литературы*, а вся Россия если не сейчас, то очень скоро сознает, что в лице его утрачен нашу землю историк, так сказать, наиболее отвечающий своему предмету. О последнем мы скажем ниже; в первую же минуту охватывает душу самое горячее чувство именно как бы личного несчастья, которое переживут в эти дни, без сомнения, все личные ученики и слушатели покойного профессора.

Он соединил все качества, которые требуются для идеального наставника. Если с «лекцией» соединить представление о «музыке, наполняющей аудиторию», а в Москве, где читал Грановский, это ожидание естественно, то мы скажем, что у Ключевского этого не было. Ни голос его, тонкий, резкий, несколько женский, не отвечал такому ожиданию, ни особенно — ум, вовсе не гладкий, не летучий, а скорее цепляющийся за свой предмет, и цепляющийся с такою силою, изгибистостью и приноровленностью, что уже нельзя было различить субъекта от объекта, разделить историка от истории, «Ключевского» от «Грозного», «Петра» или «Екатерины». Нет, это не был певучий лектор, наполняющий музыкаю голоса зал и которому слушатели отдаются как прежде всего очарованию. Но ведь это и не нужно. Или нужно в другом месте. В университет слушатели собираются, чтобы научиться, а не насладиться. И вот этому-то инстинкту научения он идеально отвечал как *наставник*.

20

30

Отвечал всем... И, прежде всего, тем, что он был монах-профессор, живший в своей науке, как в келье, из которой никуда не уходил, никогда не имел ни явного, ни затаенного желания куда-нибудь переступить, был ею счастлив, был ею сыт и напоен, и как келья светится своим обитателем, так Ключевский осветил всю русскую историю своею любящею личностью, до такой степени преданною ей одной; своим, наконец, разумением ее и, словом, тем, что так сжился с нею... Тут и объясняются слова: «он соответствовал своему предмету», по-видимому, простые и мало говорящие. Русская история ждала своего историка... и не находила. Нужно ли говорить, что из трех выдающихся лиц, посвятивших ей свои силы и таланты, — Карамзина, Соловьёва и Костомарова, — ни один ей не соответствовал. Великолепный Карамзин, захотевший дать отечеству красноречивого Тита Ливия, явно не соответствовал «новгородским мужикам», дела и мысли которых, удачи, приключения и несчастья сплели нашу раннюю историю; про-

40

сто он был слишком великолепен, слишком литературное имя, слишком счастливый вотчинник своей симбирской вотчины, чтобы полазить и поразгребаться в новгородских и псковских кочках, на московских задних дворах, как известно, всегда не чищенных, и острым глазком все там выглядет, а затем острым язычком, сплетая грешное и святое, обо всем порассказать. Карамзин, в духе, в идеях, весь был продукт правящего дворянского сословия, чистосердечно и идеалистически слившегося с реформационной деятельностью от Петра до Александра. Народ, племя, задворки села просто были неизвестны ему, поэзия и грех кабака — неведомы, судьба солдата — не печальна, сказки мамушек, начетчиц, приживальщиц — или не услышаны, или закрылись литературными впечатлениями. И история его, в сущности история одного правительства центрального, была великолепно словесною панорамой, где мы видим только передний фасад кремля, соборов, дворцов, правильно движущихся войск, успехов, — или оплакиваемых в молитве неуспехов, — перемены на троне. Самая кисть его была так устроена, что не могла бы написать никакого настоящего безобразия, никакого настоящего греха, в его крупное, большое, красивое слово не попадали «мелочи жизни»... А без мелочей, греха и безобразия какая же история? Где она?

В Костомарове историк разжиживался беллетристом, он унизился до написания размалеванного «Кудеяра», просто чтобы излить месть на ненавидимого им Ивана Грозного. Похвально такое негодование в нем как в моралисте, но просто, это — ниже историка. Историк имеет свою месть: это — *правда*, и месть эта делается убийственной, когда правда рассказана спокойно. «Синодик царя Ивана», приложенный к «Сказаниям Курбского», с этими ужасными славянскими буквами под титлами, где говорится об «утопленных в Шексне» и в других местах, с надписками между строками: «да с ним два брата» или: «и с женою и с детьми», и так несколько страниц все одних имен, все одних «убиенных», говорит куда больше повести Костомарова, напечатанной в «Вестнике Европы». Костомаров жил в слишком мятущееся время и сам был слишком взволнованный человек, притом не человек центра России, а одной из ее окраин, со всею скорбью этой 30 окраины и памятью мучительных чувств, чтобы мог сделаться центральным русским историком. Он дал блестящие труды по русской истории, но войти в дом и принести блестящие подарки не то, что быть хозяином дома. Наша история с ним не сжилась, он не вжился в нашу историю.

Не был хозяином ее и Соловьёв; в 29 томах «Истории России» он будто распоряжается ею, почти как господин или как арендатор, арендовавший плохо устроенное имение, которому умом своим, ученостью и крепким, стойким характером придает лучший вид, разум и осмысленность. Весь *тон* его таков, как бы историк стоит выше истории. Он не уравнился с народной судьбою в ее, увы, бывающем и необходимом оподлении. А без этого, как без позора и греха, опять где правда 40 истории, правда в *тоне*? В 29 томах мы имеем беспримерно ученого и беспримерно работоспособного русского человека, но который лично и врожденно не имел множества таких русских «жилок», без которых просто невозможно усвоить всю полноту русской действительности. Несмотря на огромное протяжение почти трех десятков томов, она не полна. И не полна в существенных частях. В ней нет тех «ветров буйных», которые гуливали по Руси, и той «землицы», в которую по пояс увяз Святогор-богатырь. Нужно ли договорить, что Соловьёв совсем непонятна была личность св. Сергия Радонежского.

Во всяком случае, он построил и изъяснял тело России. Души ее он не коснулся.

Замечательно и привлекательно, что Ключевский, по-видимому, не имел намерения с первой же молодости выступить «историографом отечества», как это совершенно явно в Карамзине и Соловьёве. Оба — и Карамзин, и Соловьёв — не были «сверстниками» своих сверстников, товарищами — товарищей, но и в сознании способностей своих, а главное — достоинства, ставили себя особо и над ними; и, пройдя быстро (Соловьёв) фазис магистерских и докторских диссертаций, клали уже в молодости первый этаж здания «на всю жизнь», — выпуская 1-й том систематического изложения. Это — и хорошо: должен же быть и *созна-* 10
вать кто-нибудь себя полководцем; но в *истории*, и особенно в *русской истории*, это не совсем хорошо, ибо не обещает богатого внутреннего успеха. Слишком русская история не «формальна», чтобы довольно формальное сознание своего личного первенства и авторитета обещало в сознающем так себя человеке глубокого «ведуна» недр этой истории... И останется «излагатель», все клонящийся к «правительству» и «правительству», к фасаду и фасаду... Ключевский уже в середине своего возраста оставался весь со студентами, весь в аудитории, почти не показываясь наружу, не заявляя себя громадой печатных трудов, и особенно такой значительности в заглавии, как «История России»... Можно сказать, любовь к нему возникала раньше, чем уважение; любовь дозревала, становилась совершенно крепкою, но только в тех, естественно немногих, лицах, которые его лично знали, слушали, учились у него, видели его самого в занятиях. России в то же время он оставался совершенно неизвестен. Так он не был никому известен среди московского студенчества, когда был приглашен на кафедру Московского университета. Забелин или Иловайский заливали его своей знаменитостью. Только люди такого *вкуса*, как незабвенный Николай Саввич Тихонравов, могли рассмотреть жемчужину в сору; мне ничего не известно о роли Тихонравова в приглашении Ключевского на кафедру русской истории после смерти Соловьёва; но почему-то думается, что именно Тихонравов «утвердил» его сюда, несмотря на то что у Ключевского не было почти никаких печатных трудов, а профессором 30
(Московской духовной академии) он был уже давно, — седой волос уже давно показался в его небольшой черненькой бородке или «в чем-то», что росло на месте бороды. Но едва Ключевский вошел сюда на кафедру, — с первой же лекции, битком набитой любопытствующими и не ведающими ничего студентами, — он покори́л их себе всех умом, мастерством, изумительным русским талантом в применении к главному русскому делу. «Главным русским делом» естественно назвать для русских «русскую историю». Сейчас все почувствовали, что лучшего лица нельзя было поставить на эту кафедру, что «дело» нашло своего «мастера», а «мастер» впервые получил в свое обладание все «дело». Московский университет — центральный в России; Москва собрала, выковала, выучила как-никак 40
Россию; в Москве, и именно профессором этого университета, была написана самая громадная «История России»... Приглашение сюда заместителя Соловьёва было ответственным... Но сразу же, в первые недели, даже с первой лекции, столь памятной, все *твердо* сказали (именно — твердо!), что совершилось нечто удачное, что никакого другого лица сюда не нужно, что Ключевский есть даже не «лучший», а какой-то «естественный» заместитель этой кафедры, есть профессор «само собою разумеется»...

До этого времени была отпечатана им только маленькая книжка, которую можно было разыскать лишь у букинистов, — «Жития святых как исторический материал»... Не правда ли, как характерна тема? Ее и вообразить нельзя под пером Соловьёва или Карамзина. Ведь «жития» не могут помочь установлению какой-нибудь исторической даты; по ним нельзя распутать какой-нибудь родственной связи великокняжеской путаницы; ни сделать заключения об экономическом состоянии сословий или века. «Жития» путают легенду и историю, вымысел и действительность. Итак, для «осязательной действительности», которую, естественно, были заняты историки, эти жития не давали ничего, и историки прошли мимо них. Но душа не осязается. Чем-то она жила у русского народа до университета, до гимназии, до книгопечатания и газет. Ключевский увидел то, что было очевидно всегда, но очевидно не для профессоров *его кафедры*, а для ученых соседних кафедр, для Тихонравова или Буслаева, что без вникания в «Жития святых русской земли» невозможно постигнуть целой *половины* народной души и народного быта, а следовательно, и уловить душу, аромат, наклон и неодолимые течения больших, объемных событий истории, которыми были заняты Соловьёв и Карамзин. Те рубили березу, а сока ее не отведали. И сока ее не дали испить читателю. Ключевский, в незаметном раннем труде, именно обратился к этому соку, как бы сказав: только отведав его, можно понять и светло-зеленую листву березы, и ее белый ствол.

И все это вышло у него «само собою» вовсе не как «метод», как новизна в науке, как ее другое направление. Отшельник жил в келье, вовсе не желая обратить на себя чье-нибудь внимание, не желая, чтобы его кто-нибудь увидел и за ним кто-нибудь последовал.

Впервые большее внимание было обращено на него с появлением «Боярской думы», и это время, 80-е годы прошлого века, были первыми, когда имя его сделалось общеизвестным в России. Авторитет его, «знаемость» его — утвердились. Но и здесь он не воспользовался ею: он не спешил издать новые труды и остался по-прежнему профессором для своих студентов, наставником аудитории и исторических «семинариев» (занятие со старшими группами и писание рефератов). Жизнь его проходила в любящем уяснении *для себя* предмета, но в уяснении открытом, вслух, среди учеников, которые, понятным образом, привязывались к такому наставнику. Все было «само собою»... В этом «само собою» почти весь секрет и душа Ключевского. Он «никуда» не рос, никуда не «хотел», ни к чему не стремился; но как около старого дерева «само собою» нарастает с каждым годом новая древесина и оно становится все больше и толще, — так Ключевский «само собою» вырос в коренного русского историка, — по справедливости оттеснив в разряд чего-то *искусственного* всех историков до себя... Все это произошло «само собою». Уже лет за шесть до напечатания первого тома его «Курса лекций по русской истории» в обществе, между прочим, в Петербурге, сильно и волнуясь говорили: «Отчего не печатается курс лекций профессора Московского университета Ключевского?» Говорили, волнуясь и негодуя на книгоиздателей и книготорговцев. Литографированного текста его лекций искали, покупали за высокие цены. Вообще, устная слава Ключевского предшествовала его печатной славе. Он весь был в слове и весь был для слушателя. Вне личного общения, с теплым голосом, с живой улыбкой в ответ на слово, как будто для него не было общения. Он не «имел воли к нему», — говоря языком Шопенгауэра, — хотя и не избегал его.

Эта черта его показывает высокое интимное напряжение его души, — и им-то именно он и *уродился* русской истории, как ни один историк до него, стал «естественным русским историком», наиболее «отвечающим своему предмету». В «историографе» Россия не нуждается; «историограф» всегда напишет: «Ach, du mein lieber Augustin...»*. «Естественный русский историк» и должен был зародиться где-нибудь незаметно среди студенчества, живущий для этого студенчества, как для слушателей только своих, с глубокой субъективностью отношения к ним, без желания для себя красоты и славы, почти без книг, без книжного выражения. Все так именно и совершилось, как должно было быть: под давлением требования, едва ли с большой охотой, Ключевский стал «выдавать в печать» свои «Лекции по русской истории», которые можно было бы озаглавить: «Мои чтения в Москве своим слушателям», — до того они имеют в виду не публику, не Россию, а именно «личного своего слушателя».

Но эта-то особенная теплота, связность наставника «со своим слушателем» и есть надлежащая форма, надлежащий канон для единственного возможного и единственного следуемого изложения русской истории. Вся она — не показная; вся она тиха, непритязательна; вся вместе с тем прекрасна и глубокомысленна. «Нет лучше русской истории», — как ответил Пушкин Чаадаеву, но это «лучше» ее разглядывается в тихих студенческих аудиториях, да в келье-кабинете ученого и совершенно улетучивается с великолепных страниц историографии. Где великопленные победы? Где шумные на весь свет походы? Где такие «успехи дипломатии», которым дивится весь свет? Ни, наконец, великих завоеваний ума и энергии нет. Тихо копается русский человек. Точно и лица от земли не поднимает. Но любящую «отцовской» рукою историк поднимает к свету это лицо древнего русского человека и в какой-нибудь вдове-помещице Осоргиной дает увидеть читателю, дает услышать своим слушателям такую милую человечность, такой вечный подвиг любви и терпения, перед которым вдруг все успехи римских пап кажутся какою-то ненужною вознею, кажутся бесчеловечной грубостью (см. «Добрые люди Древней Руси» В. Ключевского, Сергиев Посад, 1892 г.).

Из такой одной черты сыплется ослепляющий свет объяснений. Например, читая Соловьёва или Карамзина, никак нельзя понять, отчего же, например, Россия, «в интересах *единства* христианства, не приняла католичества»? «Не приняла его и в интересах освобождения от татарского ига»? Католики бы помогли. Для могучих держав Запада ничего не стоило бы сбросить с нас монгольское иго. Повторяем, в «гладкой», «нешероховатой» истории и Соловьёва, и Карамзина этого не видно. Но в изложении Ключевского сразу видно: для Руси так же невозможно было принять католичество, как для мягкой и довольно пухлой Ульяны Осоргиной «невместно» было бы одеть железные рыцарские латы. И она не одела бы их даже при обещании, что в таком виде покорит весь свет. «Невместно мне», «не умещаюсь я», «жестко мне». Католичество *грубо и жестко* для православной души, насильственно для самого славянского тела, выпеченного из пшеницы, а не скованного из железа. А мал ли этот факт, что русские остались вне католичества? Соловьёв мог превосходно распутать дипломатические отношения с западными дворами при Елизавете или Екатерине, но вот этого огромного факта церковной особеннности Руси он не только не понимал сам, не толь-

* «Ах, мой милый Августин...» (нем.)

ко не объяснял слушателям, но даже его и не замечал вовсе иначе как случай, без всякой внутренней необходимости.

Ключевский «как раз пришелся по русской истории», — этим все сказано. Не мудрил, но старался понять ее. Везде стоял в уровень с нею: мысль, что его ум мог бы быть применен к занятиям историею более сложных народов, более, так сказать, «всемирных», оскорбила бы его. Его нельзя было бы отнять от русской истории, как ребенка от мамки или мамку от ребенка. Только «вместе» они составляли «одно». Эта взаимная приспособленность «питания», где индивидуум просто не жил бы, не питай его соком своим «прародительская история», а «историю» эту, в свою очередь, никто не умел бы так «разжевать» другим, как он, — это-то и образовало полную гармонию ученого и науки.

Ключевский был тепел всем, это была самая незабвенная черта его для слушателей. И это равно и для тех, кто не имел к нему никакого личного отношения, ни разу глаз-на-глаз не беседовал с ним. Тепло лилось из его слова, из его интонации, из взглядов, какие он бросал на предмет своего слова. Нельзя представить его сонным, вялым, недеятельным. Он был московский живой человек, но с киевским поэтическим оттенком, с киевским нравственным и церковным идеалом. От Костомарова его отделяло московское благоразумие, московское чувство единства Руси, но возможную жестокость и властительство, хотя бы в идеях, в тенденциях московского историка, смягчали тихие напевы Украины. Так вышел этот замечательный выразитель *всей* Руси, как и следует быть историку всей Руси. Но у него это вышло как-то «само собою», «от природы», а не через ломку убеждений, не через «проверку ума». Вышло безболезненно и безобидно, — врожденно. Широки звоны московские, и под ширь их должны войти и грусть Украины, и удаль Питера. В некоторых полосочках лекций Ключевского есть и она: например, где он говорит о русской любви «*подразнить* счастье», пошалить около «удачи», что и сложило поговорку «авось». Вот этой заметки опять не сделали бы Карамзин и Соловьёв. А без «авосья» не было бы Руси.

Нельзя полчаса читать «Лекций» Ключевского, чтобы не наткнуться на объяснение, обмолвку, заметку, которая вас удивляет. Она ценна тем, что не случайна: обмолвка всего в строку зрела годы занятой над историею, и не только *тени* памятников исторических, но и обдумывания их, взгляда на них *художественного глаза*. Вот в этом-то художественном глазе, художественном вкусе Ключевского все и дело. Его не заменить, не возродить...

Да будут дозволены два слова, которые нам хотелось бы сказать в заключение и без которых дух усопшего возроптал бы. Во всей его личности, и особенно в отсутствии в нем жажды славы или известности, чувствуется, что он прожил счастливую личную жизнь. За всеми его трудами, за *способом* его трудиться чувствуется, что кто-то всю жизнь оберегал его, — оберегал, как он берег русскую историю.

Когда в Москве открывался памятник Гоголю, он нигде не показался, — ни при «открытии», ни на одном из «заседаний по поводу»... Когда об этом невольно спрашивалось, слышался ответ, что он «загрустил и никуда не показывается» и будто это связано с тем, что лошади расшибли переходившую улицу его старушку жену. Другие этот случай отрицали (или не знали о нем), но говорили, что у него в доме действительно неблагополучно, — хворают. Этот колеблющийся слух полуразъяснился, когда вышел четвертый том его «Лекций», посвященный

«памяти» жены. Тихо прожили они, кажется без детей, день за днем сорок с лишком лет. Нельзя не отметить в Ключевском чрезвычайно доброго отношения к русской женщине. Нельзя не отметить, что для подобного отношения всегда требуется живое ощущение, личная удостоверенность. В богатых свойствах русского историка, в сохранении и возделывании этих свойств, которые могли бы и развеяться «ветрами», могли бы исказиться и надорваться, а между тем все сохранены нам в целостности, чистоте и гармонии, — во всем этом и за все это русская земля обязана многим его незаметному другу, начавшему тогда «прихварывать». И нам не кажется неуместным сказать, что, прося у Бога «вечной памяти рабу Его, новопреставленному Василию», мы хорошо сделаем, если прибавим про себя: «и рабе Божией Анисье». Вместе жили, вместе трудились для нас словом, духом, больше всего — духом. Вместе их и помянем.

ПАМЯТКА О КЛЮЧЕВСКОМ

О В. О. Ключевском долго еще будут думать, писать... Несомненно, что *наука* «русской истории» и *кафедра* русской истории сейчас находятся под сильнейшим давлением его личности, его письма, его речи, его манеры говорить и судить... Он как-то оконкретил фигуру «русского историка»; и как теперь, так и еще долго потом не будет представлять «русского историка» в ином виде, чем Василий Осипович; или будут *усиливаться* повторить его в себе, *желать* увидеть его повторение на кафедре...

Это — сильнейшее влияние *лигности*. Ключевский был ярко выраженная *лигность*: это — первое, что о нем следует запомнить. Нельзя забыть его жестов, его фигуры, его голоса, его манер выйти, войти, говорить с собеседником. Например, я ни разу не видал, чтобы он стоял «прямо, как палка», — обычное положение нормального человека; чтобы, слушая, он был «невозмутим, как сонный пруд вечером», — тоже обычная поза слушающего человека; или чтобы *говоря*, — он «выпячивал грудь», — тоже довольно обычно. В сравнениях я немножко преувеличиваю, чтобы оттенить свою мысль. В. О. Ключевский *незабываем* между прочим потому, что в самых частях положения человека, в обычных положениях ученого — слушание, своя речь, момент собственного размышления или наблюдения толпы — он нисколько не походил ни на какого обыкновенного человека.

Он весь был гибок, подвижен, необыкновенно *жив*. Живость, величайшая живость — вот качество, которое первым в нем бросалось в глаза. «Этот человек не умеет спать», — хотелось сказать о нем. Или — «он спит, вероятно, беспокойно» и постоянно «видит сны». Сумма того, о чем я говорю, свидетельствует о крайнем переполнении его жизнью, жизненностью.

Это и есть *талант*. Ключевский был в высшей степени *талантливый человек*: не профессор, не ученый, но именно — *человек*. Из удивительного, на редкость, «талантливого человека» и вырос замечательный профессор, ученый. Но это — «приложилось», пришло потом... Если бы судьба выкинула его на совершенно другое поприще, если бы школьным учением и средой рождения и воспитания он был выброшен, например, в администрацию — и там он заставил бы «кипеть под собою дело»... Он не мог бы заснуть. Не дал бы заснуть.

Богатая и яркая личность, — и именно *русская*. В нем не было ничего схематического, общечеловеческого. Можно представить англичанина, француза и немца в таком теле, в такой фигуре, с такими манерами, как С. М. Соловьёв, П. Г. Виноградов... Уже как Тихонравов — такие «немцы не бывают»; а как Ключевский — совершенно не бывают, окончательно!

Как со словами «жид» (без порицания), «немчура», «французик» мы соединяем что-то типичное-типичное, колоритное-колоритное, «что однажды Господь Бог вырезал, и на все времена», — так «москвич» и даже вот именно «москвич, пришедший из Троице-Сергиева посада», был точно вырезан навеки в «Ключевском». Ничего «схематического», никакой «отвлеченности»... Как писали после его кончины, — больше всего к нему привязались почему-то питомцы московского Училища *животиси и ваяния*. Не университета и не духовной академии (где его тоже очень любили), но вот эти *будущие художники*. Уверен, что в этой очевидной странности сыграл свою роль *глазок* начинающих «ваятелей» и «живописцев»... Они заметили, как не могли в университете и в академии — бесприммерно «изваянную Господом Богом фигурку», — «фигурность» которой перелилась и в дух, в слово, в ум, в лекции... И отдались ей с восторгом...

Продолжу наблюдения, сравнения.

Между «Россией» и «Западом» та главная разница, что весь *Запад* «родился в столице», а *Россия* «родилась в уезде»; и даже, пожалуй, «где-то под сосенкой». Так это отсвечивает в мелочах и важном. Параллельно этой «национальной особенности» Ключевского нельзя представить, чтобы он родился в Пензе «на главной улице». Непременно — «в переулочке». Не знаю, но почему-то мне не кажется, чтобы он когда-нибудь получил «золотую медаль». Вообще в нем была поразительная «не выставочность». Известно, мы «выставок» не умеем устраивать; и «монументы» у нас тоже выходят нелепые. Не ко двору... Так и Ключевский долго-долго «терся» где-то в Троице-Сергиевой лавре; до середины своего возраста. И только к концу жизни, без усилия, без старания, без соперничества, — решительно «затенил» собою историков до него.

30

ПАМЯТКИ О В. О. КЛЮЧЕВСКОМ

II

Как выразить в одном слове новизну, особенность и заслугу Ключевского в науке?

Он соединил Соловьёва и Буслаева. В личности своей, в духе, в лекциях, в изданных «Курсах», во всем. Это-то именно *соединение*, совершенно бессознательно и непреднамеренно происшедшее, и составляет «метод Ключевского» — опять же метод совершенно безотчетный, невольный. «Перло из натуры» у него Соловьёвым и Буслаевым.

Ранее это казалось несовместимым, и вообще это трудно совмещается. Один — систематик, другой — поэт. Один — деловой излагатель, другой — художник, сновидец, фантазер. Я говорю, ставя эпитеты резче, чем следует, чтобы оттенить

свою мысль: но *зерно* дела было именно таково у разных до противоположности этих ученых. Как же их соединить? Как слить воду и огонь, не «потушив всего», не «испортив» и воды и огня? В Ключевском это маленькое чудо, эта психологическая загадка и совершилось.

Особенность его «Курса лекций» состояла в том, что он великие процессы русской истории, ее вековые течения, как и еще более ее частности, ее подробности, наконец, совершенно конкретные лица и единичные происшествия обнял не только схематической мыслью, которая в нем *была* (досюда — Соловьёв), но обнял и поэтическим сочувствием, художественною восприимчивостью и художественно сказанным словом, обнял *душою*, обнял *талантом* (все это — Буслаев).¹⁰ И получилось «Ключевский»: явление совершенно новое на кафедре и в книге.

Приведу пример. Славянские и чудские племена мешаются, язычество и пришлое христианство мешается. Ключевский объясняет:

Приведенные из *Летописца* рассказы воспроизводят наглядно процесс взаимодействия русских пришельцев на север и чудских или финских туземцев, живших по большим озерам Новгородской земли — в области религиозных поверий. Сближение обеих сторон и в этой области было столь же мирно, как и в общежитии: вражды, непримиримой противоположности своих верований не почувствовали встретившиеся стороны. То и другое племя нашло в своем мифологическом созерцании подобающее место тем и другим верованиям, финским и славянским, языческим и христианским. Боги обоих племен поделились между собою полюбовно: финские боги сели пониже, в бездне, русские повыше, на небе, и так поделившись, они долго жили дружно между собою, не мешая один другим, даже умея ценить друг друга. Финские «боги бездны» были возведены в звание «бесов», и под кровом этого звания получили место в русско-христианском культе, обрусьи, потеряли в глазах Руси свой иноплеменный финский характер: с ними произошло то же самое, что с их первоначальными поклонниками финнами, охваченными Русью. Вот почему русский летописец XI века, говоря о волхвах, о поверьях или обычаях очевидно финских, не делает и намек на то, что ведет речь о чужом племени, о чуде: язычество, поганство русское или финское, для него совершенно одно и то же; его несколько не занимает племенное происхождение или этнографическое различие языческих верований.²⁰ Для пояснения этого племенного безразличия верований приведу коротенький рассказ, сохранившийся в рукописи Соловецкого монастыря, единственный в своем роде по форме и содержанию. Здесь простодушно и в легендарном полусвете описано построение первой церкви в Белозерской стране на реке Шексне. Церковь оказалась на месте языческого мольбища, очевидно, финского. В Белозерском краю обитало финское племя весь; камень и береза — предметы финского культа; но в рассказе нет и намек на что-нибудь инородческое, чудское. Вот этот рассказ:

«А на Белеозере жили люди некрещеные, и как учили креститься и веру христианскую спознавати, и они поставили церковь, а не ведают, во имя которого святого. И на утро собрались да пошли церковь свящати да нареци, которого святого, и как пришли к церкви,⁴⁰ оже в речке под церковью стоит челнок, в челноке стулец, а на стульце икона Василий Великий, а пред иконою просфира. И они икону взяли, а церковь нарекли во имя Великого Василия. И некто невежа взял просфиру ту да хотел укусить ее; ино его от просфиры той шибло, а просфира окаменела. И они церковь свещали да учили обедню пети, да как начали Евангелие чести, ино грянуло и не по обычаю, как бы страшный, великий гром грянул, и все люди уполошились (перепугались), чаяли, что церковь пала, и они скочили и учили смотреть: ино в прежняя лета тут было мольбище за олтарем, береза да камень,

и ту березу вырвало и с корнем, да и камень взяло из земли да в Шексну и потопило. И на Белеозере то первая церковь Василий Великий от такова времени как вера стала».

Но христианство, — продолжает профессор летописный рассказ, — не вырвало с корнем чудских языческих поверий; народные христианские верования, не вытесняя языческих, строились над ними, образуя верхний слой религиозных представлений, ложившихся на языческую основу. Для мешавшегося русско-чудского населения христианство и язычество — не противоположные, одна другую отрицающие религии, а только восполняющие друг друга части одной и той же веры, относящиеся к различным порядкам жизни, к двум мірам, — одна к міру горнему, небесному, другая к преисподней, к «бездне».

- 10 По народным поверьям и религиозным обрядам, до недавнего времени сохранившимся в мордовских и соседних с ними русских селениях приволжских губерний, можно видеть наглядно, как складывалось такое отношение: религиозный процесс, завязавшийся когда-то при первой встрече восточного славянства с чудью, без существенных изменений продолжается на протяжении веков, пока длится обрусение восточных финнов. Мордовские праздники, большие *моляны*, приурочивались к русским народным или церковным празднествам, Семику, Троицыну дню, Рождеству, Новому году. В молитвы, обращенные к мордовским богам, верховному творцу Чампасу, к матери богов Анге-Патяй и ее детям, по мере усвоения русского языка вставлялись русские слова: рядом с *ванимань монь* (помилуй нас) слышалось *давай нам добра здоровья*. Вслед за словами заимствовали и религиозные представления: Чампаса величали «верхним богом», Анге-Патяй «матушкой богородицей», ее сына Нишкипаса (пас-бог) Ильей Великим; в день Нового года, обращаясь к богу свиней, молились: *Тауньки Вельки Васяй* (Василий Великий), *давая поросят герных и белых, каких сам любишь*. Языческая молитва, обращенная к стихии, облекалась в русско-христианскую форму: *Вода-матушка! Поддай всем хрещеным людям добрый здоровья*. Вместе с тем языческие символы заменялись христианскими: вместо березового венка, увешанного платками и полотенцами, ставили в переднем углу икону с зажженной перед ней восковой свечой и на коленях произносили молитвы своим Чампасам и Анге-Пятям по-русски, забыв старинные мордовские их тексты. Видя в мордовских публичных *молянах* столько своего, русского и христианского, русские соседи начинали при них присутствовать, а потом в них участвовать и даже повторять у себя отдельные их обряды и петь сопровождавшие их песни (Лекция XVII, том I).

- Сколько здесь *света* — и не выберешь! Главное — этот *мягкий тон*, тон универсальной любви и универсального понимания. Таким *языком* не умели говорить, объяснять, описывать ни Каченовский, ни Карамзин, ни Костомаров, ни Соловьёв, ни Милюков. Хочется прибавить, что возможность этого *тона* и этого понимания могла возникнуть ни в *первой*, а только во *второй* половине XIX века, как зрелый плод всего «натурального» развития нашей литературы, и вместе — развития *психологического*. Тут есть штрихи Буслаева, сказал я, — с его погружением в легенды; но есть тут и «штрихи» Толстого и его «Войны и мира», а главное — всей его *лигности*, всей его *народности*; и «штрихи» Достоевского и Лескова, с их легендами, с их всею *психологией*, с «русскою способностью перевоплощаться в дух всех народностей» (Достоевский). Тут есть, наконец, и «землицы» Островского... Ключевский тем и замечателен, что совершенно безотчетно он вобрал в себя, в *свою талантливую душу*, стихии всей русской литературы, всех ее противоположных течений: и светом, образовавшимся из такой *сложности*, осветил русскую историю, осветил летописи и «жития святых». Вот его заслуга, вот его

особенность. Через это он стал *естественно* первым русским историком; и теперь и в будущем нельзя представить русского «историка» иначе как чего-то «вроде Ключевского»; с его простотою, с его старой мудростью. Он был современный нам «многоверный человек»; вместе «бесформенный человек», способный принимать «все формы» (протей). Может быть, отсюда его подвижность, гибкость в самой фигуре: точно это лиана или русская трава «павилика», вьющаяся около всяких растений, около забора, около всякого прута, бумажки, сора. «Гнусь, стелюсь, около всего вьюсь, все люблю, везде солнышко и *всемірное* и *мое*... И все меня *греет*, а я все *цепляю* (история, связь событий) собою». Вот Ключевский. 10

Незабываемая личность. И да будет ему вечная память. С Ключевским выросло русское самосознание. Скажем его языком: с Ключевским русские люди помнили. Желательно, чтобы его «лекции» не только были «употребительны» в университетах и на женских курсах, а чтобы они вообще сделались любимым чтением; чтобы они разошлись в обществе, в публике. «Стыдно не знать Ключевского», как и Кольцова, Даля, Островского, Лескова, Толстого.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

1 июня (30 мая) 1811 – 1911 года *

Двухсотлетие рождения Белинского если и будет когда-нибудь праздноваться, то уже с таким ощущением археологичности, старины, чего-то «быльем поросшего» и всеми забытого, что жутко и представить себе; итак наступает *последний день*, когда Россия даст Белинскому *живую* оценку, *живое* воспоминание... 20

Он был друг, великий и прекрасный, наших гимназических дней; у других — студенческих; но вообще — друг поры учения, *самого впечатлительного возраста*, первых убеждений. Со всем этим он неразделимо, кровно сросся. Нет ни одного теперь из образованных русских людей, в крови и мозгу которого не было бы частицы «Белинского», как чего-то пережитого горячо и страстно, благоговейно и восторженно. Да извинит читатель примеры: мне сейчас 55 лет, но хранится у меня, и по временам я взглядываю на нее, тетрабочка гимназиста 3 класса, где я, без буквы «ѣ», переписал его «Литературные мечтания»: слог его, мысли, пафос, этот летучий язык, обернувшийся около стойких предметов и поваливший их, очаровал, обворожил меня, «начинающего читать серьезно» мальчика. И как книга была «чья-то» или «откуда-то взята», расстаться же с этим сокровищем мне не казалось возможным, — то я все и переписал себе в тетрабочку, на эти дни забыв латиниста Кильдюшевского и математика Степанова (учителя) и, конечно, получив за эти дни списывания несколько двоек и единиц. С Белин- 30

* До сих пор трудно вполне точно установить день рождения Белинского. В метрике его — фотографический снимок с этого документа помещен в «Новом Времени» 2 января, — значит-ся 1 июня, между тем как сам В. Г. Белинский упоминал и 30 мая. 40

ского начиналось наше *серьезное зтение*: это безусловно *всех!!!* Нельзя, почти без слез благодарности, не вспомнить, что, лишь прочитав Белинского или вообще «вступив в *сферу Белинского*», мы произносили торжественно и сладко: «Я человек»; то есть уже не мальчик, странствующий по степям Америки с Майн-Ридом, а русский сознательный *человек*, волнуемый всеми волнениями России, ее будущего, ее прошлого, ее литературы, ее гражданского и политического бытия.

Да, да: во *все* это «вводил» Белинский; буквально как катехизис Филарета «вводит» в православие. Пишу конкретное, что знаю, что видел, как было дело у всех моих сверстников. В 14–15–16 лет, мы как бы вкладывали руку свою в руку уже могильного, уже усопшего Белинского, и говорили мысленно: «Веди нас, куда знаешь; мы *верим* тебе, и только тебе одному. Веди нас к гражданству, к зрелости, познанию литературы, к познанию всей жизни, вообще человеческой и в частности русской».

Сладко вспомнить. Все это было буквально так; и, может быть, не бесполезно это запомнить будущему историку. Белинский был для нас не только критиком, но каким-то «духовником», к суду которого мы относили свои поступки, к суждению которого относили свои зарождавшиеся мысли; что мы «по заветам Белинского» прокладывали мысленно путь жизни, свое будущее — это само собою разумеется. Даже и в голову не приходило, что эта жизнь может сложиться, может пойти вне путей Белинского. Об этом никаких споров, никаких разговоров не было: это было «решено», и крепко. Говорю опять не лично только, а и обо всех своих милых товарищах, — о поре учения, и говорю в пределах всего, что тогда охватывал глаз, докуда дохватывал глаз. Все «зачитывались Белинским»: мы — в 3 классе, но хорошо было известно, что им же зачитывались и семиклассники, и восьмиклассники. У них-то потихоньку мы и таскали с полок «Белинского», а они брали «его» из благодетельной Карамзинской библиотеки (бесплатной, в Симбирске).

Это было влияние всеобъемлющее, всемогущее. Не продолжительное, но, однако, охватывающее приблизительно десять лет. Как оно кончилось — скажу (если скажу) в конце, а теперь предлагаю читателям вдуматься в него.

«России» и ее грамотности, ее «просвещению» Белинский дал столько же, сколько все министерство просвещения: а сколько оно миллионов стоит ежегодно!!! Белинский же все «даром» дал: поил всех, прямо заменяя гимназические и университетские науки: законоведение и юридические науки, русский язык и историю литературы, начала нравственности, и уж конечно катехизис. «Критик» в нем для нас был не главное: главное «учитель жизни» и, в сущности, «учитель *всего*»... Так как он касался «всего» в своих критиках, то он был для нас первою «энциклопедиею». Но не фактической, а идейной; хотя, отчасти и побочно, и фактически. Для молодой России, для всей Восточной Европы он сыграл в XIX веке ту же роль, какую в XVIII веке для Франции и всей Западной Европы сыграла знаменитая «Энциклопедия» Дидро и д'Аламбера, но только в других тонах, «в нашем русском духе». Его роль, будучи «энциклопедическою», была во многих отношениях лучше, чище, нравственнее, воспитательнее; она была как-то свежее и моложе; в ней не было старческого цинизма, чего было довольно в знаменитой «Энциклопедии».

Но побочные действия были не те, а центр — был тот же. «Всему учились у него»; всем руководились «по нему».

Это — необъятно. И все даром. И все дал сухопарый, не окончивший университета студент...

Вот этим духом студенчества, юным-юным, он и охватил нашу молодость; а, отдаленнее, им же он охватил и всю русскую литературу; через литературу же охватил и целое общество. Все «по Белинскому»... Хорошо ли это? Есть худое и хорошее. Конечно, быть вечно «молодым» недостойно и, наконец, смешно быть обществу, *всему* обществу, уже довольно старенькому. А, с другой стороны, что же все-таки лучше молодости? Вспомните-ка, оглянемся; поплачем.

Эти черты, и смешные, и счастливые, привил Белинский. «Все от него»... И юные студенты, делающие «политику», и довольно старенький Милюков, тоже «делающий политику», — пошли, отдаленно и косвенно, от ветерана русской критики. Не стой его там, в николаевские времена, вся политика наша, конечно, сложилась бы серьезнее, фундаментальнее; но, с другой стороны, если поверить Кальдерону, что «жизнь есть сон», то отчего не предпочесть очень серьезной политике, которая напоминает скуку мелочной лавочки и бухгалтерского чистописания, политику нашу «русскую», вот со студентами и барышнями, которая прекрасна, как «Сон в Иванову ночь» Шекспира. Пусть 95 человек хвалят одну: позвольте мне «помолодиться» и с другими четверьмя человеками заявить, что я предпочитаю Шекспира — Милюкову, Белинского — бухгалтерии, и не хочу политики без «барышень», забастовок и вообще «несбыточной как сон» ерунды... Даже «историограф» Карамзин говаривал, что «без чародейства сладких вымыслов» невозможно прожить: а уж нам и тем паче позволительно жить, двигаться и мыслить в этом направлении.

Суть Белинского, историческую суть, мне кажется, можно выразить одной строкой: личным своим волнением он взволновал всю Россию. Сравните *до* него и *после* него: как было все тихо раньше, и как все шумно пошло потом. Пушкин писал поэмы: да, зачитывались; знали наизусть. Но эстетическое наслаждение имеет свойство спокойно ложиться на душу; и воспитывает оно тихим воспитанием. С Пушкиным зрела Россия; становилась лучше, совершеннее, делалась умнее. Да, но это — все *другое*, чем волнение. Волнения не принес ни Лермонтов, ни даже Гоголь, ни Грибоедов: волнение и *мог* принести только сам недоучившийся студент, но с *пламенной жаждой угения* и с тучею *сомнений, вопросов*, которые прежде всего ему самому были не ясны. Вот этой «вопросностью» своею, и вечным недоумением, и тоскою в недоумении, он и «поднял на дыбы» все, что было грамотно; поднял как «свой своих», как «брат братьев», как «вечный ученик» тех «вечных учеников», какими приличествует быть вообще людям, которые и не «боги», и не «мудрецы». Тут сыграло положительную и прекрасную роль даже то, что он не был так учен и даже так всесторонне образован, как его старшие сверстники; именно это-то и нужно было молодому *растущему* обществу. Он поднялся и начал учиться, так пламенно, как немногие во всемирной истории: и все за ним вскочили и бросились к книгам, журналам, своим, переводным, учась и учась с его же пламенностью. И это продолжалось вплоть до пресловутых изданий Павленкова, — все на «серьезные» темы, все — учебного характера, с наивностью и «горячей» начинкой. «Все от Белинского»...

Вот это гораздо важнее того, что он был собственно «критиком»: и, как таковой, критически осветил всю русскую литературу до него и ему современную, и верно, чутко, гениально отгадал только что начавших при нем выступать но-

вых писателей... Все это и помимо его могло бы сделаться; а «новых писателей» оценили бы со временем, потом. Да и оценили Тургенева, Гончарова, Достоевского, конечно, *независимо* от «предсказаний» Белинского. Но *волнующего* и *возбудительного* его значения никто не мог заменить: и не будь его, все развитие общества совершалось бы потом гораздо медленнее, более «сквозь сон» (без сновидений, тупой), более апатично и вяло. Он внес *живость*: вот это — то, за что теперь вся Россия должна положить ему зёмный поклон. И когда мы праздновали недавно реформы 60-х годов, мы должны были вспоминать не только Тургенева или Григоровича и их рассказы из крестьянской жизни: нужно было вспомнить *именно Белинского*.

Его лихорадкой даже и до сих пор продолжает лихорадить общество. Косвенно, побочно, но все пошло «от него»...

Собственно для настоящей критики он не был достаточно спокоен. Рассуждение Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» до сих пор остается лучшею критическою статьей во всей русской литературе. Рассуждение Гончарова о «Горе от ума» («Миллион терзаний») несравненно зреее, серьезнее, *интереснее* критических импровизаций Белинского. Краткие критические афоризмы Пушкина ценнее целых статей Белинского. И вообще, *для настоящего времени* Белинский так явно *устарел как критик*, что об этом нечего распространяться. «Натуральная школа» русской литературы принесла в себе так много новой зрелости, что Белинский из «вечно молодого» стал невольно и неодолимо превращаться в «наивного». Нам передается его температура — и это слава Богу; но лишь в молодости мы у него *угимся*, не имея сил «учиться», «следовать» в годы более зрелые; в годы, когда просто прочитаны и продуманы Островский, Гончаров, Писемский, Толстой, Достоевский.

Граница и «окончание» Белинского может быть выражена тоже одной строкою: мы учились жизни (значение Белинского) у того, кто сам жизни не знал.

Отсюда естественное равнодушие к нему всякого человека в зрелом возрасте, и всего общества в более зрелую пору; естественное отодвигание его уже сейчас в «археологическую даль»... То, что было его преимуществом (молодость), есть вместе и его недостаток. Он потому и мог заразить и взволновать все общество, что «еще сам учился»: но от этого же он и не может быть «учителем» до седых волос своих сотоварищей и сограждан. «Не знал жизни»: можно понимать это, как факт, но следует усилиться понять это, как *метод*. Некрасов был еще моложе Белинского: но Белинский с первого же прикосновения к поэту «мести и печали» почувствовал, что в этом совсем юноше есть что-то *более зрелое*, чем в нем, маститом критике. Известно также большое, подавляющее впечатление, какое произвел на него Лермонтов. «Песня о купце Калашникове» Лермонтова *психологически зреее* всех критических статей Белинского. Лермонтов, громадою ума своего и какою-то тайной души, был *опытнее, старше, зреее* Белинского; хотя фактически и практически знал жизнь, вероятно, еще менее его. Тут вовсе дело не в фактическом знании; а в какой-то способности *посмотреть на жизнь, взглянуть на людей*: и в момент понять в них то, что Белинский до гроба так и не понял, и не мог бы понять, проживи он хоть и до семидесяти лет. С оговорками и извиняясь, но нужно все-таки сказать, что Белинский был вечный младенец, и именно — *врожденно*, нося это в себе и как талант, и как страдание. У него была какая-то странная *развязанность, разъединенность* с жизнью, будто он был ка-

кой выброшенный на необитаемый остров человек или вечный затворник-монах... Во всяком случае нельзя даже представить себе, чтобы он кого-нибудь из близких, из друзей, *«порасспросил о его жизни»* и вошел с интересом *во все ее перипетии*, в ее канву, ход, *fatum*. «Жизнь» была просто не нужна ему, не интересна; интересны были только «книги, которые читал и любил ближний», и те «идеи, на которые навели его эти книги». Этим заканчивался круг того, к чему влекся Белинский. Именно от этой *ужасной в сущности односторонности* он и сделался великим критиком; но от этой же односторонности происходит то, что в высшей степени плодотворно только одно его волнующее значение: *а угить-ся у него негему*. 10

«Сам не знал жизни»: нет, хуже и печальнее — Белинский был глубоко анти-натуральный человек, *безнатуральный человек*. Одни идеи. Одни книги. Правда, все о «жизни»: и идеи, и книги, и беседы, «разговоры» с друзьями, «за полночь», «до утра». Но в «разговорах» этих вращались все одне *схемы*, одни «понятия» о жизни. Белинского нельзя представить себе, чтобы он выслушал «со вкусом» какой-нибудь анекдот; о том, чтобы он сам его рассказал — и думать нечего. «Анекдот» оскорбил бы его душу, ухо: между тем ведь это только «цветная полоска» из жизни. Но вот именно «цветного»-то чего-нибудь, колоритного, «под чем кровь течет» — Белинский органически не выносил. И это-то и лежало таинственным корнем под тем явлением, что он до самой смерти остался каким-то 20 в сущности неразвитым ребенком, неразвитым почти физиологически; не то — монахом, не то — на пустынном острове, не то — пансионером всеобщего русского пансиона. Еще маленькое указание: известно, как в 60 и 70-е годы всех бесило, что «мы в опеке»; Белинский тоже, косвенно и осторожно, мог бы пожаловаться на «опеку», «опекание», ну — хоть моральную, ну — хоть в воспитании, к семье, а косвенно — и в «гражданстве», в «быте», в «государстве». Но тайна в том, что ни малейше его «опека» не тяготила, и «опекание» — житейское, гражданское, всяческое, опекание редакционное — просто им не замечалось, судьбе и существу его не противоречило; а, напротив, лишь при опекании и под опекою он и мог жить, существовать, действовать, *по младенчеству и неопытности всей* 30 *натуры*. Поразительно, что даже Пушкин столкновения с цензурой имел: но Белинский не имел никакого столкновения с цензурой, никогда из-за его статей «историй» не выходило. Он просил «пеленок», как «дитя», хотя и очень пылкое, огненное, гениальное. Но «через свой возраст не перескочишь»: пеленки были в сущности «по нем», — редактора и политического строя. Отсюда те жесткости и обиды, которые он переносил и на которые жаловался, но с которыми не умел бороться, — что все происходило не столько, например, от «эксплуататорских способностей» Некрасова, сколько именно от «без-натуральности» субъекта, от его вечной «пансионерности».

«Вечный нахлебник»... «Пьет и кушает мало»... «Очень удобен, потому что не требователен и неустанно работает». «Мечтатель, горячая голова». Все относились к нему немножко как *не к своему*. «Вечный учитель и всех учит. Нам, людям жизни, не товарищ». 40

И он «учил»... И все, даже этот недостаток, сослужил великолепную службу, тоже легли подножием судьбе и значению *великого критика*. «Человек не от мира сего»... Так и *должно быть*.

Можно сказать, что каждая капля крови из-под житейского тернового венца, облежавшего его голову, выростала в пышную розу в сознании общества, в судьбе общества, в этом самонужнейшем его «волнении»... Он и без того-то волновался; волновался без причин, одной мыслью. Всякий же укол, трение, боль у этого схематического мыслителя, с трагическим пафосом, без анекдота, вызывал пламенные статьи на мировые темы, о мировых муках и сомнениях, которые гнали сон от Карповки до Урала, от Холмогор до Киева.

— «Еще Белинский написал статью»... «Читали?..» «Что думаете?»

И все читали, читали; учились, учились.

10

* * *

«Не житейский человек» имеет два смысла: практический и теоретический. Не жалко и не печально, что после Белинского мы долго не могли приучиться к бухгалтерии; но печально и трагично, что с ним мы разучились несколько постигать суть реальных вещей, потеряли несколько вкус к ним; потеряли их осязание, потеряли их обоняние. Здесь уже начинается *задерживающая* для «просвещения» роль Белинского. Возьмем пример — Потебню; возьмем великие труды — Даля. Оба «разворочали» русский язык; «разнюхали» словесное, звуковое, фонетическое народное творчество. Без объяснения всякий поймет, что оба были «не школы Белинского»; трудились, жили, думали, и даже волновались прекрасными и великими волнениями, вне «метода Белинского». Печально все-таки было, что то великое волнение, которое поднял Белинский, было разговорное волнение, пусть и лучших людей страны, пусть и в лучшие, патетические годы их жизни. В противоположность «Горю от ума», которое решительно начало эпоху «разговоров в салонах», Белинский начал эпоху разговоров по *комнаткам-кейкам*, — разговоров *вдвоем*, а не *в обществе*: и все-таки это были «разговоры», и нечто худое было в том. Ах, правы были египтяне, что они поклонялись «как *святым*», вечно молчащим животным, должно быть, пораженные таинственным их *вегным молганием*. «Разумны, прекрасны: и никогда не разговаривают»... Как не поклониться. Потебня верно до самой профессуры не умел говорить. Вообще в людях, которые неуклюжи в разговорах, бестактны в разговорах, и «не берутся за это трудное мастерство» — есть особая, исключительная ценность, между прочим именно для культуры, именно для исторического движения общества, страны. Конечно, с ними «не начнешь газеты»: но ведь есть особенное благо в том, что «никак нельзя начать газеты». Доведем мысль до предела, и она сейчас станет убедительна: то общество духовно погибло бы, нравственно погибло бы, для будущего погибло бы, в котором вдруг все члены обратились бы в «газетный народ», с этим талантом «говорить сколько угодно». Задохлись бы, передрались бы и друг друга убили, притом не родив ни одной мысли. Явно, что Потебня, явно, что Пастёр или Ньютон выходят не «из этой среды», и сами не «этого духа», не этого «метода» люди... Вот тут мы и уловляем, что линия влияния и благородного действия Белинского, с его гениальным и страшным журнализмом (журналист-монах, журналист-solo), имела в себе внутреннюю *границу*, имела для себя внутреннее *окончание*. Дух его, ум его, деятельность его не имела «трех измерений»: она вся лилась в плоскости и была *плоска* сама по себе! неодолимо!! фа-

тально!!! *Гениальна*, — и все-таки плоска... Какого-то «корешка» в нем не было, — «уходящего в землю». И это передалось обществу. «Все» учились у него; но, увы, это не было бы углубленное учение; точнее: это не было учение, с каждой минутой *углубляющееся*, идущее *дальше*. В этом отношении он в высшей степени не прогрессивный, а задерживающий писатель: и очень долго «толочься на Белинском» решительно вредно, и не показало бы большого ума, *большой души* в «толкущемся». Здесь он может быть даже «измерителем душ», «водомерным снарядом»... Белинский *переживается*: и каждый должен пройти эту стадию горячо и страстно, «клянясь именем учителя», «клянясь сохранить ему верность *до гроба*». Но именно — «переживается»: то есть оставляется гораздо ранее «гроба». 10
 В чтении, в умственных увлечениях — то же, что в любви: «клятва верности» здесь может превратиться в черствую, лицемерную, притворную, похолодевшую связь «двух в одно»... С Белинским мы пережили чудный роман. Никогда не будем жалеть о нем: это первая любовь. История этой «любви общества и писателя» прекрасна и трогательна, как история Манон Леско и кавалера де-Гриэ... И все-таки «роман гимназиста» не заканчивает жизнь, не исчерпывает жизни. За маем идет знойный июнь, ароматный август... Идут «труды и дни» долгого года... Белинский — только сеял: прямо — *апрельский геловек*. Кроме Манон, есть *иные типы чувства и отношений*: Пенелопа тоже чего-нибудь стоит, наша русская Татьяна тоже стоит чего-нибудь. Вспомянем Манон, но не забудем ни Пенелопы, ни Та- 20
 тьяны.

ВЕКОВАЯ ГОДОВЩИНА

(30 мая 1811 г. — 30 мая 1911 г.)

Ровно сто лет назад тому, 30-го мая 1811 года, на неизмеримых равнинах России, в коем-то городке, в коей-то хижине совершилось событие, до которого никому не было дела, кроме одного человека, с кем оно произошло; и, сверх этого, оно было совершенно похоже на десятки тысяч других таких же событий, в один час и день с ним происшедших в других городах, местностях и домах России: родилось крошечное новое человеческое существо...

Как мать кричала: о, ей было больно!!

30

Но никому решительно еще не было больно, и никто не кричал. Взял отец на руки новорожденного: «новая радость пришла в мир, и наша бедная семья тоже вот осветилась чем-то новым». В ту пору не было еще такой экономической жесткости, и «лишний рот у каравая» не тревожил и не угрожал ничем. «Прокормитса около всех». Но и до радости отца не было никому дела.

Все проходили мимо окон дома, маленького, деревянного, не высоких над землю, — где мучилась и наконец отмучилась роженица. И никому-то, никому не было дело до того, что происходило в нем.

Заметила «нового пришедшего в мир человека» только церковь: пришел седенький священник, вынул из узелка заношенную епитрахиль и ризу, облекся 40
 в ветхую их ткань и произнес тоже ветхие слова, в незапамятные времена сло-

женные и придуманные, — «о всяком новом приходящем в мир человеке»; взял в руки крошечное красное существо, погрузил его трижды в освященную воду, с зажженными восковыми свечами по ободку купели, — и нарек имя новорожденному «Виссарион».

И обычные, если не сказанные, то молча подуманные пожелания: «Пусть растет. Служит подпорой старым родителям. Учится хорошо, наставников слушает. Церкви и отечеству служит на пользу. И во благовремени мирно почитет, приложась к «отцам своим».

.....

10 У, какое давнее все это, вековое, обыкновенное.

.....

Но из всех младенцев, в этот же час и день родившихся, от которых сейчас едва сохраняются тлеющие кости в земле, без признака «мягких частей», имя «Висиньки Белинского», как его звала мать и звали школяры в училище, сохранилось одно, и вот прошло сто лет, — век пронесся! — а вся Россия в этот день одними устами и одним сердцем скажет: «Вечная память Виссариону Белинскому! Как он много сделал!».

И седенького священника нет. И от него тоже «мягких частей не сохранилось»... Но на этот раз, поздравляя измученную мать в темной спальне, с горящей сальной свечкой, он не ошибся, молвив обычное: «Поздравляю вас. Новый человек родился, — новая радость миру. Поправляйтесь, вставайте, кормите, воспитывайте».

О, как все обыкновенно: да, но и «обыкновенная дорога» тоже очень обыкновенна, а без нее «никуда не проедешь».

.....

30 Мальчика откормили, вынянчили; мальчика отдали в ученье; мальчик никогда не был резв, всегда был угрюм. Все о чем-то думал. Учился так себе, больше читал. К чтению у него была огненная страсть. И, задумчивый, угрюмый, на вид молчаливый, — он на самом деле был преисполнен огненных речей, которые невнятно шептались у него на прогулках, в углу комнатки и, без сомнения, во время «приготовления уроков», которые на самом деле он не «готовил», или «готовил» кое-как; а тут же, держа под столом книгу, маленькие рассказы Карамзина или баллады Жуковского, что-нибудь из «Утренней Зари» или «Покоящегося Трудолюбца», — журналов тех дней, — пожирал страница за страницей, не замечая минут, часов...

Не замечая дней, годов.

40 Мальчик «ушел из дому», — не буквально, а духовно: он ушел в «странствие по книгам», и с ними — в странствие по странам, временам, народам, культурам. «Русские» и «греки» для него смешивались в одно — «человека», «людей». Он не очень различал их. «Греки» и теперь «германцы», брезжившиеся ему в образах Тацита и «Песни о Нибелунгах», ему казались, во всяком случае, занимательнее «русских», с их однообразием быта и истории и уж слишком большой «обыкновенностью». В России «кое-чем» ему казались только книги. Россия «вся в обещании»... «Вперед! вперед!! В будущее, в будущее! В прошлом нет ничего, как и теперь, все тускло, серо, малозначительно». Греки уже на заре истории имели Троянскую войну и певшего о ней Гомера: можно ли с героями Илиады и Одис-

сеи сравнить тусклые фигуры няниных сказок, с их вечным «дураком», который оказывается умнее всех умных. «Национальное остроумие, попытка бесталанно-го заявить, что он-то и есть настоящий талант».

Известно, «33 года сидим на печи», а потом?.. И «потом» русский человек готов еще просидеть сорок лет на том же месте, если его не сгонит отсюда «дубинка» Петра... «О, Петр, великий! Петр! Ты — один у нас! Такого, вот *такого* — даже и у германцев не было». Он «рвал», и «ломал»; но рванье и лом и нужны нашей ленивой, пассивной, засиженной мухами цивилизации. «Цивилизация»... да ее и нет еще, она не начиналась.

Так бурлило в душе маленького Висиньки... Отец и мать, видя его все угрюмым, немного даже боялись его: при нем не рассмеешься громко, не расскажешь смешной анекдот. Вечно задумчивый мальчик точно судил в душе всех окружающих: и окружающим это передавалось гипнотически. 10

— Он, может быть, и хороший, серьезный, обещающий. Но только он нас никого не любит, ни тебя, мать, ни меня, отца. И точно нет у него сестер и братьев. И к нему тоже не лежит как-то сердце.

Мальчик был тяжел в семье. И ему было тяжело в семье. В «своем домике» тоже было все затянуто паутиной, как везде; и, как «везде» же, тараканьи брюшки торчали из всех щелей потолка. Виссарион угрюмо на это посматривал. «В Москву! В университет!» — молчал он. Ибо он постоянно молчал. И постоянно горел в душе. 20

И приехал в университет... на «долгих ямщиках». Новый мальчик, глубоко новый, приехал в глубоко старый университет. Ему вообразалось, что тут «Фалес и Пифагор, бродя в хламидах, рассуждают при слушающих юношах о началах всех вещей и о происхождении мира», а на самом деле это были затянутые в старомодные мундиры чиновники, вяло читавшие то по-латыни, то по-немецки, и, во всяком случае, не всегда по-русски о славянах на острове Рюген, о надписи на тмутараканском камне, о флогистоне, в то время заменявшем «кислород», и «об их высочествах» Рюрике, Синеусе и Труворе... Ибо, приближаясь к «князьям», профессора даже в отношении Рюрика, Синеуса и Трувора не обходились без мысленного «ваши высочества». 30

Огненный мальчик и холодел, и мерк... Какая-то «история», — и его исключили. Кажется, с аттестацией «за неспособность». Правда, Виссарион Белинский ничего не хотел знать «об острове Рюгене и его первых насельниках».

Мальчик весь трепетал жаром. Никогда *такой*, вот именно *такой*, не подходил еще к науке, в университет, к литературе, к жизни... Он *весь* был нов. Белинский был глубоко *новое лицо* в русской истории. Он был отовсюду «изгой»; он был глубоко *один*. «Изгой» из дома, с которым его не «роднило» ничто; из университета; из «круга», которого, впрочем, около него и не было; из «сословия», которого, впрочем, тоже почти не было. Все реальные связи его с действительностью были тусклы, не крепки, не интересны (для него); все скорее «ввязались» около него, нежели его держали крепко, или хорошо бы помогали. Скорей «путались около ног»...

Связь была одна у него — с книгой, с миром книг!

С идеями! С волнующимся, туманным, со «звездочками», идеальным миром! Вот эта связь была реальна, горяча.

И Белинский сделался великим книжником! Я не умею этого выразить, мотивировать, доказать, но чувствую, что в эпитафии

ВЕЛИКИЙ КНИЖНИК

содержится все его определение, указание как границе его значения, его смертной стороны, умирающего в нем, его, наконец, ошибок и незначительности, — так, с другой стороны, огромного значения и исключительной роли, какую он сыграл в нашей истории, имел для всего нашего последующего развития.

Теперь «великим книжником» стать легко, и через это не получишь значения. «Второй Белинский» невозможен и, может быть, не нужен, как не нужен Гутенберг после Гутенберга. Вот попалось сравнение в идейном смысле, не в смысле печатного станка, а в смысле *напегатанной мысли, изданной идеи*, в смысле *книготворения как философии*: Белинский был для Восточной Европы, еще холодной, еще безкнижной, еще пренебрегавшей книгою и не понимающей ее значения, — истинным Гутенбергом!

Который *доказал* книгу и *оправдал* книгу.

Я бы ему поставил памятник такой: взъерошенный, с сухощавой фигурой, впавшими щеками, он вскочил с дивана, или «чего-то вроде дивана», в халате, или чем-то «вроде халата», и, обращаясь с взглядом, и пламенным, и негодующим, вниз, к зрителям, толпе, народу, к ученикам, студентам, к самим «господам профессорам», он ударяет сухощавым пальцем, согнутым в суставе, — вот этим самым суставом, этой «косточкой» — в переплет книги, которую держит другою рукой:

— Читайте! Все читайте!! О, сколько можете, — читайте все! и что угодно... нет, впрочем, лучшее, негодного отнюдь не читайте, но в этом мы разберемся потом, для этого я и родился, чтобы научить всех, что надо читать и чем зачитываться... В основе же и первоначально — просто читайте.

Он нес «книгу» как веру, как религию. Нес «книжность» или «читаемость» как новое «православие»... Точнее, как такую «славную веру», которая должна сменить всяческие «православия» — и наши, и не наши...

Море книг...

Море идей... Волнующийся туманный идейный мир, с «звездочками»...

В Белинском было что-то, что напоминает религиозного реформатора; в нем есть «родное» с Лютером, Кальвином; только не на «вероисповедной почве», а вот на почве совершенно другого материка. Поразительно, что это его значение (без формулы) чувствовалось даже его современниками: «за ним шли» или «на его сторону становились» люди неизмеримо более его образованные — Грановский, Герцен; люди ученые; «становились на сторону», в сущности, студента... Вечно недоучившегося студента, которому, впрочем, «доучиться» и не было возможности, так как он «вплыл в море» и вместе «открыл море», не имеющее берегов и концов.

Книга... весь книжный мир... не в смысле книгопечатания, а вот того, *гему книгопегатание служит*. Он был «вторым этапом Гутенберга». Тот указал технику, — этот *доказал* книгу, показал *правду* книги...

И умер, и задохся. Под книгами, за книги, ради книг...

Страдал, горел, говорил. Вечно говорил... Был «только писателем», как никто до него и после него. Другие были то «дворяне», то даже «знаменитые писатели». Уже это — плохо. Есть «прибавка», не настоящая, умаляющая значение. «Ради *славы* отчего же не сделаться и писателем?». — Белинский был просто «книжник», «писатель книг», т. е. как потом оказалось при издании, а при жизни — статей, просто журнальных статей, но все — о книгах, непременно о книгах, об идеях, об идейно книжном мире... До задыхания, до чахотки и смерти.

Да, это реформатор. В Белинском есть что-то особенное, что ни в ком не повторилось. И именно нигде, и ни в ком не повторилось его великолепного лица, ¹⁰ великого сердца, его «всего», «всей совокупности», — вот этой «конкретности Белинского». У него не было в сочинениях ни капли поэзии: Грановский писал изящнее его; Герцен писал красивее, разнообразнее, сильнее; по *тону*, по *стилю* — Добролюбов был сильнее его; Чернышевский был подвижнее, еще живее, разнообразнее; кроме Добролюбова, все названные писатели были его учение, тоньше и культурнее развиты, в собственном смысле — образованнее. Но никто из них не получил такого значения, как Белинский, «отец всего», — «отец» собственно и их всех, перечисленных писателей, в том числе и современных ему почти ученых людей, как Герцен. Белинский прямо «из рук» учился у Герцена гегельянству и политике, и между тем Герцен был всего его «сыном», его «приемышем», — например, в расхождении со славянофилами, став «на сторону Белинского», тогда как Белинскому и на ум никогда не приходило «становиться на чью-нибудь сторону». Он был «первоначальный»; именно — «отец всего».

Как? Каким образом? Что это значит? Но ведь и около Петра великого были более искусные полководцы (Меньшиков), дипломаты (Шафиров, Толстой), ученые... Но не «Петр следовал за Ломоносовым, а Ломоносов за Петром; и Петр даже с Лейбницем — первым умом всего века — только «совещался» и отнюдь ни в чем ему не «следовал». Равно Меланхтон был неизмеримо учение Лютера, и так же, как он, видел все погрешности папства; но реформации Меланхтон не сделал и не мог бы сделать, а малоученый, умственно вовсе не тонкий Лютер ³⁰ сделал. Вот частица всего этого «блестка» и Петра, и Лютера лежало и на Белинском; было такое «перышко от жар-птицы», которое «осветило весь дом», как только его вынули из-под полы. Это и есть *лигность*, первоначальная, перво-зданная, «верховодящая» в истории, которая всех заражает; все за нею следуют и хотят следовать, и сама она учит с таинственным прирожденным правом — учить, руководить, указывать путь. Он родился «князем мысли», «князем мысленного царства», идейного мира; и уже тогда, в комнате у матери, угрюмый и неразговорчивый, шел «к этому княжеству», воспитывался к нему, зрел до него, — все не понимая и сам, почему у него «не учатся уроки», и он «так равнодушен к матери и отцу» и к паутине по стенам. ⁴⁰

«Все от него пошло», — можем мы сказать о всем умственном мире России. Любили и не любили Пушкина; но Белинского никогда не «не любили». Именно как реформатор; именно как «основатель новой церкви». Кто же «не любит» Лютера у лютеран, — даже если и не читал ни одной его строчки. «Дух Белинского», «смысл Белинского» — у всех нас, с каждым, во всяком. Всякий из нас — не стой в прошлом фигуры Белинского, — несколько иначе бы чувствовал, мыслил и говорил. Немного — и все-таки *инаге*.

Тургенев, придвигая Белинского к Лессингу в Германии, говорит о преимуществах последнего: «ибо он знал даже греческий язык». И прочее в том роде. Большая ошибка. Лессинг ни йоты не имеет Белинского. Хоть бы он знал восемь языков. Писал по-гречески и по-латыни, хотя бы он преобразовал германский театр, он все-таки есть «один из писателей в ряду славных», а не *родонагальник целого общества*, чем был Белинский, не преобразователь всего общественного духа, преобразователь его в философском отношении, преобразователь его в литературном отношении, преобразователь его в политическом отношении, преобразователь его даже в вероисповедном смысле, — чем всем был Белинский. Ибо «церковь», несомненно, слабула везде, где водворялся «пафос Белинского», где прививалась его «литературная религия». Между тем никакое увлечение Лессингом не мешало лютеранам ходить в свою кирку. В Белинском была исключительность: «Или я, или другое; или Виссарион, или Фаддей Венедиктович Булгарин». «Булгариным» же он обзывал или готов был обозвать все, что было «не мы», не «я, Герцен, Бакунин и Грановский»... Так произошло его «Письмо к Гоголю», так произошел его разрыв с славянофилами. Во многих отношениях все это было глубже самого Белинского, как во многих отношениях католичество, когда-то поборовшее язычество, когда-то умиравшее за Христа в цирках, — было глубже лютеранства. Но Лютер — именно он, а не Меланхтон, — «закусил удила»; как «завыл волком» (собственное о себе выражение Белинского в письме) батя Виссарион, когда появилась, после «Мертвых душ», неожиданная «Переписка с друзьями» Гоголя. — «Прочь от Рима»!! «Прочь от этого нового Булгарина».

С Белинским входил прозелитизм, «вербование сторонников», вербование молодых полков молодого движения, — чего вовсе не входило с «знавшим греческий язык» Лессингом. Сам Тургенев захотел «лечь рядом с Белинским» (на кладбище), как его верный ученик, как его «послушник». Между тем он превосходил Белинского образованностью, вот как именно Меланхтон Лютера. Но Лютеру было все равно, где лечь — около Меланхтона или в другом месте; он был так полон жизни, трепетал интересом к «сейчас», к чужому и всемирному «завтра», что о могилах не думал. Меланхтон был просто частный человек, обыкновенный человек, и захотел лечь «около Лютера». Как и Тургенев: великий литератор, неизмеримо прекраснейший Белинского, но — не великий человек, даже вовсе не новый человек.

Обыкновенный человек и великий литератор.

Белинский был, пожалуй, обыкновенный литератор (слог мысли), но был вполне великий человек.

.....
 Где же кончается его «церковь»? Маленькая, пылкая, пропагандирующая?

Где кончаются «книги» и начинается толща жизни.

Аполлон Григорьев, указавший в 70-х годах прошлого века на «почву» и «почвенные веяния» в литературе, в сущности, провел границу, где оканчивается влияние и значение Белинского... Но Аполлон Григорьев не был услышан: плохо ли писал, не пришло ли время, — но не был услышан. Итак, станем говорить о самом принципе, не ссылаясь на его проповедника. Все идеи Белинского суть *переработанные* идеи, как есть *фабрикаты* в отличие от *произведений природы*. В них вовсе не чувствуется *своего, непосредственного, лигного* впечатления; не чувствуется своего осязания, своего глаза, своей прицелки к действительности,

своей работы над действительностью. В жизни Белинский был младенец, едва ли умевший сосчитать все гривенники в рубле. А «Россия» заключает в себе много «гривенников», и не вести им «счета» невозможно. Белинский жил вне государства, родины, народности, в сущности, — вне истории, кроме идейной, литературной. Жил в «комнатке», и весь его мир ограничивался «комнаткой» и рядами книг на полках... «Святой» в келье «книжности»: в глубочайших недрах духа — аскет, монах, хотя имел жену и детей. Имел, — но едва ли *сам* когда-нибудь пропел колыбельную песню над ребенком; как едва ли когда-нибудь вник и в «денежные затруднения по хозяйству» жены своей. В сущности, он был «квартирант» у когда-то молоденькой девушки, ставшей почти случайно его женою; так были «женаты» и «семейны» и некоторые апостолы: без всякого отражения *семьи* в жизни их, в глаголах их покоривших себе мир. «Семья» и «брак» «святых», христианских святых... Повторилось это явление и в Белинском: жил он *на погве*, но без всякой *связи с погвою*. Объясню все примером: большие узоры геометрии он мог разобрать, но отличить белый гриб от боровика никогда бы не мог. Он не мог «понюхать вещи»; все предметы для него никак не пахли. Мыслей — сколько угодно, а обоняния — никакого. Вот границы его природы и гения. Это не то, что Потебня — филолог, не то, что Буслаев — философ, ученый и сказочник. В сущности, «мир Белинского» нисколько не занимателен, и сам Белинский — трогателен, но не занимателен. Великолепен, прекрасен, создал целое движение, всех повел за собою, — да! да! да! Но — не занимателен. В личность его не будут вглядываться века, как в личность Гоголя или Лермонтова; вся его личность как-то лежит «в плоскости», а не «в кубе». «Кубического» — ничего, плоского — не охватишь взглядом. Ну, и т. д., параллелей можно прибавить много. Все в том, что не умел «понюхать вещи»; просто никогда не был в сыром березовом лесу, где, сняв гриб с кочки, поднес бы его к носу, и долго, долго дышал бы его своеобразным, *единственным в мире* запахом, зажмурив глаза и повторяя: «Боже, как сладко! Как просто, безлюдно, малоценно, а ничего *такого* еще в мире нет». От «отсутствия обоняния вещей» в нем не было, уже в самой литературе и литературности его, «колдовского начала». И он, в сущности, вовсе не «обворожителен» в серьезном значении этого легкомысленного слова. Не «занимателен» и не «обворожителен», и оттого, что не был «kuldu», «колдун», «халдей». Ничего подобного и приблизительно. Был литератор, «как и все», и «всех увлек» именно оттого, что был костью от кости «всех». Судьба и граница. Счастье и смерть. Совсем другой мир начинается, вот где «седенький священник пришел принять его от роженицы». Тут уж есть «kuldu», «халдей». Этого совсем Белинский не понимал. «Зачем? Что такое?». Можно бы ответить ему: «Не дать же роженице роман Поль-де-Кока, и даже ваши „Литературные мегтания“». Еще другой мир начинается, где его sereneкие родители говорили: «Наш Висинька нас не любит, но мы его все-таки будем любить. Не *нам*, так *кому-то* всякий человек нужен. Не бывает, чтобы человек *ни для чего* приходил в мир». Опять «kuldu» показывается, показываются страхи Гоголя, мечты, тоска Лермонтова. Белинский всего этого не «унюхал». В глубоком, высшем смысле он был бедный человек; и «церковка» его, — великолепная, шумная церковь, — без пения, без тоски, без тепла, без грез и воспоминаний, без детей и старцев, а только с шумящим народом «средних лет». И нет в ней «эвхаристии», нет «крещения», нет вообще таинств. Как и «лютеранская церковь», она вся состоит из «проповеди», которой младенцы не разу-

меют, а люди достаточно пожилые говорят: «Все это мы сами умеем, и даже красноречивее»...

Чахло, бедно не надолго, — но для истекшего времени, с его грубостью, бескнижностью, неуважением к книге и к идеям, это было высочайше просветительно и высочайше необходимо. Но вечная алгебра, но в высшей степени важная «практическая задача из арифметики».

«ДРУГ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА»

В связи с литературным завещанием гр. Толстого и трагедией его смерти личность Черткова получила некоторый интерес для русского общества, хотя и минутный, но острый. И сведения о нем или живые впечатления от него не могут не возбудить внимания. Я позволю себе сделать небольшие извлечения из «Дневника» г-жи Дьяконовой, одной из самых привлекательных русских книг по ее чистому и всеоживляющему тону, по множеству непосредственных, «из природы» наблюдений. Рассказ относится к 1900 г., когда Чертков жил в Лондоне. Русская курсистка, 26 лет, приехала сюда отдохнуть и случайно узнала, что по соседству с нею живет Чертков.

28 августа. «Друг великого человека!» — уже это одно облакает личность каким-то ореолом: ведь когда солнце отражается в воде, то она блестит так, что глазам больно.

И я была вся полна ожиданием увидеть существо высшего порядка.

30 Он встретил меня просто и приветливо.

— Очень приятно познакомиться. Вы где же учитесь?

— В Париже, на юридическом факультете.

— Это почему же вы избрали себе такие науки?

— Я хотела бы быть адвокатом.

— А-а... мужиков обирать будете?

Я была озадачена и обижена.

— Ну, перестань пожалуйста, — видишь, как ты смутил барышню, — примирительно заметила его жена, уже немолодая, замечательной красоты женщина.

30 Я горячо стала доказывать ему, что у нас, юристов, и в мыслях нет замышлять что-либо против мужика, что мы, наоборот, хотим идти к нему навстречу, развивать в деревнях подачу юридической помощи населению; что, кроме того, я лично хочу отстаивать право женщины на самостоятельное существование, чтобы она имела те же гражданские права, как мужчина.

— К чему права? — спросил он.

— Если отрицать всякое право вообще, то конечно да; но мы живем не в мире грез, и женщине, при ее юридическом неравноправии, куда как трудно бороться с тяжелой действительностью. Мы одинаково рождаемся на свет, хотим жить, а в беспощадной борьбе за существование — как мы вооружены, позвольте спросить? Вот я и высшие курсы кончила, а прав у меня все равно никаких. Даже заведывать учебной частью в женской гимназии не могу, на это есть директор, хотя я образована не менее его...

Он слушал молча и мне казалось, что слова мои для него звучат чем-то странным — точно все, о чем я говорила, имело самое ничтожное значение...

Я все-таки осталась довольна. Наверное, когда рассмотрю его поближе, то увижу в нем то необыкновенное, что привлекло к нему сердце великого писателя земли Русской.

31 августа. Я мало-помалу перезнакомилась и ориентировалась в обществе моих соотечественников. Они живут здесь целой дружной большой семьей — в большом доме на берегу моря. Сад, огород, чудное местоположение делают этот уголок очаровательным. Русские путешественники все находят здесь самое радушное гостеприимство и потому можно увидеть самых разнообразных людей. Проезжают и ученые, и литераторы, и просто так путешествующие...

Описывается хозяйство... Дьяконова приняла самое деятельное участие в работах на огороде, и — чего от нее не ожидалось — перевозила навоз на тачке. Заведывавший огородом брат хозяйки называл ее «работницей», она его «хозяином». Все в высшей степени нравилось свежей девушке. «Не знаю, — пишет она, — что может быть лучше физического труда на свежем воздухе, он действует на меня прекрасно: развивает силу, пробуждает энергию, поддерживает какое-то ровное, спокойное настроение... К вечеру, усталая, я возвращаюсь домой, чтобы заснуть крепким сном без сновидений».

Таким образом, она не была против толстовства. И вообще на все дело смотрела без «принципов».

2 сентября. Никогда, кажется, не забыть вчерашнего дня. Мы ехали на собрание какого-то общества в Barnemonth. Он (Чертков) предложил мне сесть в экипаж, которым правил сам. И дорогой завел разговор о цели и смысле жизни и попросил позволения указать их мне.

Хотя я и не нуждалась ни в чьих указаниях и выработала свое мировоззрение не с чужих слов, а собственным нелегким и упорным трудом, все же приготовилась выслушать с почтительным вниманием.

— Цель жизни — служение добру. Вы призваны здесь совершать свое служение и сделать столько добра, сколько можете...

Вот наконец начинается интересный разговор, — с восторгом подумала я и спросила, ожидая проникнутого необыкновенной мудростью ответа: — Что же мне делать?

— Добро.

Это было совсем даже неопределенно. Добро — добро, но мне хотелось бы, чтобы он говорил более реально и менее отвлеченно.

— Но вы объясните мне, в чем оно должно заключаться, как проявляться?.. Хорошо, — вы можете жить, не ломая себе головы над вопросом о заработке, а мне в будущем он необходим. Помнится, я уже как-то объяснила вам, что педагогики не люблю и считаю нечестным ею заниматься, раз не чувствую в себе призвания. Медицина никогда меня не интересовала. Так что вы, если хотите дать совет мне лично, должны принять сначала в соображение то, что я рано или поздно должна буду считаться с вопросом: чем жить?

— Живите и распространяйте кругом себя добра, насколько вы можете.

— Да вы сначала ответьте на мой вопрос, — настаивала я, начиная терять терпение от этого уклонения в сторону.

Он пожал плечами.

— Поступите в гувернантки.

О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка! — вспомнилось мне отчаянное восклицание героя гоголевского «Портрета», и я едва не повторила его вслух.

...Я даже и не возразила ему ничего; а он был, очевидно, убежден, что делал хорошее дело, наставляя на путь истины.

7 сентября. ...Какие это славные молодые люди, добродетельные и... неинтересные! Толстолец (один из гостей!) явно не симпатизирует мне. Он какой-то односторонний, видно, что не одобряет во мне абсолютно ничего: ни моих идей о равноправности женщин, ни того, что я на юридическом факультете; даже то, что я усердно занимаюсь физическим трудом, не располагает его в мою пользу. И он при всяком удобном случае готов читать мораль о братском отношении к людям. И каждый раз мне так и хочется сказать ему, что в нем-то именно как раз я братского отношения к себе и не вижу, а только скрытое молчаливое осуждение всего моего существования.

9 сентября. Я все присматриваюсь к этим людям и чего-то жду от них... Жду, чтобы они стали ко мне ближе, поняли бы, насколько нужны, необходимы мне поддержка и участие.

Но нет... каждый из них слишком занят своими делами. Все относятся просто вежливо, но в сущности безлично... И я чувствую, что невидимая стена отделяет меня от них, перешагнуть которую невозможно...

Я начинаю приходить к убеждению, что никакая проповедь любви не в силах изменить природы человека. Если он рожден добрым, обладает от природы чутким сердцем, он будет разливать кругом себя «свет добра» бессознательно, независимо от своего мировоззрения. Если же нет этого природного дара — напрасно все. Можно быть толстоцем, духобором, штундистом, можно проповедовать какие угодно реформаторские идеи и... остаться, в сущности, человеком весьма посредственного сердца.

Потому что как есть великие, средние и малые умы — так и сердца.

Человечеству одинаково нужны и те, и другие.

Характерно, что близкий друг нашего великого писателя обладает этим «добрым сердцем» отнюдь не более, чем другие обыкновенные люди. Сейчас видно, что он пришел к своим убеждениям сначала головой, и уже потом *сделал* себя таким, каким он воображает, что *должен быть*.

30 Однообразно, точно зауценно-спокойный тон голоса, одинаковый со всеми, а в жизни, в привычках остался тем же баринином-аристократом, каким был и раньше.

Он пишет книги по-русски, по-английски, принимает посетителей, упростил до крайности внешнюю обстановку: всюду, вместо дорогих письменных, стоят столы простые, некрашенные, а весь его большой дом держится неустанной работой мужика, беглого солдата Мокея, который, копая со мною картошку, как-то сказал: «Работы очень много! Вертишься, вертишься день-деньской без усталости, то туды, то сюды, а нет того, чтобы для себя, значит, свободного времени».

И Дьяконова кончает, сравнивая с толстоцями свою хозяйку-англичанку:

40 Я предпочитаю мою мисси Джонсон, гостиния которой обставлена элегантно, но которая сама моет полы, стирает белье и делает все совершенно просто, без всяких нравственных проповедей, потому что с детства привыкла к труду.

Последняя запись:

На днях рубили капусту под окнами его кабинета. Он высунулся и спрашивает:

— Что это такое?

— Капусту рубим, — ответила горничная.

— А-а-а! — снисходительно удивился он.

Я остолбенела. И этот человек, прожив столько лет в деревне, бывший гласный земства, демократ, — *не видал никогда, как рубят капусту!*

Эти замечания натуральной русской девушки (всего 26 лет!) так хороши и свежи, они так везде бьют в цель, что перечитать их интересно будет всему русскому обществу. «Толстовство» или, вернее, «чертковство» не ложно, — о, нет! Оно — *мертвенно*, и в этом все дело. Оно все «сделано» на верстаке человеческой мысли, человеческого измышления: и на нем не растет ни одной зеленой травки. Якобы «из деревни» — оно коренным образом расходится именно с «деревнею», понимаемая под нею не одни хижинки такого-то фасона, а вообще «натуру», «матушку-землю», «зеленый лесочек», «чистое поле». И еще оно расходится с *гением*, с *талантом*. Чертков беспримерно убогий человек, именно — убогонький. Он оттого и ненавидит «натуру», заменяя ее везде «рассуждениями», что «натура» всегда гениальна, везде сильна, везде «своя» и «сама»: и это все прямо *ненавистно* убогонькому деспоту. «Натура» вот этой курсистки, юристки, ну — репейника, ну — нелепо растущего, но, однако, — со *своим стеблем*, который *по-своему* тянется к солнцу.

— Не надо натурь! Вот — я!

Боже, каким образом Толстой мог подчиниться такому... Старость, старческое изнеможение — только этим и можно объяснить.

ПАМЯТИ ИВ. ЛЕОНТ. ЛЕОНТЬЕВА-ЩЕГЛОВА

...Я знал Ив. Леонт. Леонтьева-Щеглова уже в увядании сил: и образ его неразделен для меня с образом человека в непрерывной грусти, или недоумения. П. П. Перцов хорошо оттенил его литературное положение. Жить бы Щеглову надо в беззаботное и остроумное время, время *гисто литературное*. Тогда талант его ярко бы расцвел и сам он прожил бы счастливую жизнь. Но он не гармонировал со средою и среда не гармонировала с ним. Он попал в сильную и мутную волну, которая смяла его вдохновение, и «наделала грубостей» человеку. Не жаль было бы этого всего, если бы в силе этой волны заключена была чистая правда. Но волна была поистине мутна примесью множества притворных мыслей, множества тех грязных струек, которые бегут за всякой побеждающею силой. Леонтьеву пришлось переносить не от силы общественного движения и не от сильных людей в нем, но вот от этой мути, бегущей кому-нибудь и вечно «вслед»... Здесь, в судьбе своей, он невольно сблизается с недавно же умершим П. И. Горленко, этим образованнейшим и культурнейшим человеком наших дней, которая также отодвинула в тень грубая, толкающаяся локтями толпа, рвущаяся к успеху.

Ах, литература, литература... Так все «обстоит благополучно» в тебе, если поглядеть сверху или сбоку; и так много неблагополучного, если заглянуть туда же снизу. Кажется, что литература работает «поставщиком» благородных чувств на всю страну; благородных чувств и благородных мыслей, наконец — способов благородно относиться к ближнему... Всех поучает, и «указательный перст» ее торчит высоко над страной; но приглядитесь, как накидывается она скопом на

жертву из своих же братьев, которая ослабела, упала, сделала ошибку и еще раз упала: а то так просто молвила слово не «вовремя» или не в тон остальным. Казалось бы, «поддержать», «поднять по человечеству», следуя указательному персту»; закрыть собою, затенить ошибку, или же принять укор на всех, на корпорацию, на всю «писательскую братию». Куда!.. Нет «братьев» среди писателей: на «упавшего» накидываются и разом, решительно все, у кого есть чем уязвить — зубом так зубом, когтем так когтем, клювом так клювом. Иной, сам весь избитый, ударяет хоть хвостом с выпавшими волосами. Вопрос только в том, чтобы не поднялся и не показал сам зубы тот, что упал: если есть признаки, что он не подымется и не защитит себя, на него наваливается вся писательская «лава»...

То-то «любовь к ближнему»...

Леонтьев-Щеглов имел мужество в самую пору образования толстовства-чертковства написать остроумную сатиру на него в «Русск. Вестнике», под названием «Около истины»... Уже метка эта приставка: «около», указывавшая на моральный промах учителей... Здесь даны черты биографии Черткова. Хотя толстовство само по себе было враждебно радикальному и политическому течению нашей журналистики, тем не менее один этот повод, что Щеглов коснулся жизни частного человека, хотя и с большою общественною ролью и особенно с претензиями на роль, поднял на него все литературные «скорпионы»... Никто не говорил, чтобы Щеглов что-нибудь искажил, что-нибудь прибавил или вообще сказал какую-нибудь неправду: правды его не отрицали, но он формально нарушил формальное правило литературы, или, точнее, то, «что общепринято»... Тут именно был случай поставить все в тень: могла быть ошибка *такта* у писателя, при самых чистых и *очевидно* чистых намерениях. Но это было время, когда миллионер-Чертков приступал к изданию целой серии маленьких морализующих книжек («Посредник»), в компилировании которых могли принять участие многие силы; издание могло потребовать сотрудничества множества писателей-компиляторов... Только этим и можно объяснить, что во всех газетах и журналах, дотеле обходивших молчанием Щеглова, имя его вдруг сделано было печально знаменитым...

Правдолюбивый, тихий и скромный Щеглов не умел бороться; да борьба вообще не сфера беллетриста. Последовали неудачи с его пьесами для театра; они «не одобрялись» к представлению на Императорской сцене. Ив. Л-ч здесь горько жаловался на покойного П. И. Вейнберга, председателя или видного члена комитета для рассмотрения пьес для Императорских театров. Подрывался успех, подрывались вообще крылья; подрезывались и источники хлеба и жизни. Ив. Л-ч ни с чем не умел бороться.

Я знал его только в эту пору жалоб, бессилия и начинающих болезней. Было явно, что он писать, по крайней мере ярко, не может: а для писателя если не писать, значит и вообще не жить. В последние же годы его постиг удар в личной жизни: опять пассивно, без всякой его вины, без повода и неожиданно. Иван Леонтьевич все мерк: и чувствовалось, что этой звездочке не разгореться.

Но его любили все, кто близко знал. За обеденным столом, в день ангела, собирались его друзья — И. И. Ясинский, Ал. Ал. Измайлов, М. М. Федоров, редактор «Слова» и «Литературных прибавлений в Торгово-Промышленной Газете»,

В. А. Амфитеатров (пока был здесь), непременно Горленко, и еще непременно его как бы «телохранитель», В. М. Георгиевский, руководитель школы церковной живописи... Среди них тихо ходил и тихо говорил хозяин. У него все было тихо: давний и незаметный для друзей недуг подтачивал его силы, и уже давно сточил их. В разговоре совершенно отсутствовало что-нибудь не литературное. Я не знаю другого писателя, который был бы так... *не безразличен*, но *спокоен* в отношении тем общественности и политики. В комнатках его как будто жили тени Гоголя и Пушкина, коих вещественные реликвии у него хранились крепко запечатанными в шкафах... Все воспоминания о них; маленькие рассказы; анекдоты; да еще о любимце его Джером-Джероме; да еще о М. Г. Савиной... Еще — о Чехове.

Он был как бы ослабевшею няней около их памяти. Все шумело другим и новым; все бежало к новым и новым задачам. Вырастали новые славы, новые имена. Иван Леонтьевич ничему не мешал, ничему не противился: но только он отходил в сторону, отгораживаясь в свой угол со своими воспоминаниями. И комнатки его напоминали «нянюшкину жизнь» и «нянюшкино занятие»: это был маленький литературный музей, коего он был искусным и умным собирателем и хранителем. Но он любил не *вещи сами по себе*, к *вещам* у него не было никакой привязанности. Сквозь вещи он любил *людей*, связываясь с ними как-то *осязательно* через эту *осязаемую вещь*. — «Вы знаете ли, что такое этот красный графин? Мне его подарил (такого-то числа, в день моего юбилея) Павлищев, вот тот старичок, сидит в углу: это дорожная фляжка Пушкина. Ее он всегда клал с собою в сани...».

И портреты Чехова, Тургенева, Диккенса, все глубоко *лижное*, особенное, ничего торгового и шаблонного, кругом глядят со стен, с этажерочек, с каких-то столиков... Избави Бог дотронуться и что-нибудь переместить...

И милая шутка хозяина вьется около всего этого. Он постоянно шутил. Он никогда и ничего не «излагал»... Видно было, что *юмор* есть его врожденный и главный дар.

И все собирался писать, и все хотел писать, непременно писать... Ах, если не «писать» писателю, *как* ему в самом деле жить? А между тем «писать» — это так часто зависит просто от подтачивающего нас недуга, которого и сам недужный не видит или не понимает, да и врач иногда ленится на него внимательно взглянуть... И хочет поднять крылья писатель, а крылья не поднимаются. А как сказать ему: «Сложи крылья и только *сиди*». Именно перед писателем невозможны самые обыкновенные слова...

Или полет, или могила.

И путь его, и жизнь, и в особенности *лижность* необыкновенно чисты. Это главная черта Леонтьева-Щеглова. Опять соединяешь его в этом с Горленко. Литература в высшей степени неблагоприятна для сохранения в человеке именно *чистоты*. Вся шумная, имеющая главным мотивом в себе самолюбие, вся пропитанная соперничеством и ревностью, она «копит» человека, едва он опустился в эту сферу. Нужно что-нибудь особенно любить, любить постороннее, вне себя, чтобы этого избежать; любить больше, чем себя. Вот одно спасение. Это спасение Леонтьев нашел.

— Народный театр...

— Гоголь...

Да будет земля тебе легка, наш тихий общий друг...

НЕОЦЕНИМЫЙ УМ

(К. Леонтьев. «О романах гр. Л. Н. Толстого».
Москва. 1911 г.)

Слова Лермонтова о пророке —

Он горд был, не ужился с нами —

так идут к фигуре, к образу, к духу, к стилю Константина Леонтьева. И священное слово, что «не бывает пророков для отечества своего», — опять с какою глубиной приложилось к нему!! Двадцать лет прошло с его смерти: а имя его, мысли его, книги его до того неизвестны «в отечестве», словно Леонтьева и не рождалось вовсе, словно такого писателя в Русской земле и не было! Между тем ряд таких умов, как покойный кн. С. Н. Трубецкой, Вл. С. Соловьёв. Ю. Н. Говоруха-Отрок, Лев Толстой и Достоевский, а из современных — Н. А. Бердяев, П. Н. Милюков, Л. А. Тихомиров, П. Б. Струве, одни признали его огромную силу (Толстой и Достоевский), а другие прямо назвали его одним из самых ярких и поразительных русских умов за весь XIX век. Если в этой оценке сходится и бывший террорист, теперь редактор «Московск. Вedom.», Тихомиров, с его бурной душой и судьбой, и «аккуратные» не менее Акакия Акакиевича Милюков и Струве, и наконец, гении нравственных вопросов, как Толстой и Достоевский, то, Боже мой: ведь это же что-нибудь *знагим!* Тут — не аберрация, а покоряющая всякое сердце истина. И когда это сопоставишь с тем, что «даже самое имя писателя неизвестно», кроме немногих случайно натолкнувшихся на книги Леонтьева, то слова Лермонтова о «пророке» и слова Св. Писания тоже «о пророках для отечества», в истине *приложимости своей к Леонтьеву*, — станут разительно очевидны!!

...Сколько вот лет критика, библиография приглядываются к «начинающим начинающих» и ждут: «не талант ли?» И как радуются, если есть хоть «признаки таланта»... Рождение «таланта» в литературе радует всех: это счастье и честь страны, удовольствие каждого. Эх, добрые читатели: устройте праздник всем, устройте праздник стране. Будет зачитываться Пинкертоном и Вербицкой. От тебя, публика, от твоей *серьезности* ведь действительно зависит судьба литературы; и, косвенно, — целой страны судьба. Если ты не будешь знать и любить своих лучших писателей, если будешь давать ловкой Вербицкой строить второй (как мне передавали) каменный дом, щекоча нервы студентов и курсисток, если «читатель-студент» и «читательница-курсистка» (естественно, самый обильный читатель) на самом деле суть только «бульварные читатели», — то, конечно, *могила стране*, могила *культуре и образованию*, и тогда на кой же черт вас зачем-то учили и строили для вас университет и курсы?! Неужто же это все «для Вербицкой»? Восплачьте... не стыдно иногда и поплакать... не стыдно *умному* человеку и *гестному* человеку. Или все напрасно? Все победила панталонная Вербицкая? Ложись в могилу и умирай ум, совесть, слово, гений при холодном хохоте восьми университетов, четырех духовных академий и двух сотен гимназий, которые после Пушкина, после триумфов слова от Пушкина до Толстого, вдруг вынесли на плечах Вербицкую и объявили: «Не они, а она!».

О стадо, о чудовищное стадо: какой ты ужасный демон... печальный и непобедимый.

Однако если бы по какому-нибудь вдохновению «к лучшему», капризу «к лучшему», несколько сотен человек в Петербурге и Москве, нащупав рубль в кармане, пошли и купили «О романах гр. Л. Н. Толстого» К. Леонтьева — они в один день устроили бы тот «праздник в литературе», который наступает с рождением «нового таланта». Да, добрый читатель: новый талант родился!

Правда, он родился и умер в тоске, никем не uznанный, кроме заглянувших в могилу (см. выше имена). Но публика для него не «родилась». В момент рождения для него «публики» и произойдет рождение «нового таланта в литературу». 10

* * *

Каждый сильный писатель движется каким-нибудь пафосом. Какой же был пафос у Леонтьева?

Красота действительности. Не в литературе, не в живописи или в скульптуре красота, не на выставках и в музеях, а в самой жизни. В *быте*, в *событиях*; в характерах, положениях. Под другим углом, другим языком, чем Карлейль, он выразил ту же мысль, какую тот выразил в своей теории «о поклонении *героям*». «Герой», «героическая личность», «героическая эпоха» — вот чему следует поклоняться, чему вековечно поклоняется человек, сознательно или бессознательно... Историю движет эстетическое начало — более, нежели начала религиозные или политические. 20

«Прекрасный человек» — вот цель; «прекрасная жизнь» — вот задача. Если ее прикинуть к мужскому идеалу, то это будет «сильный человек» и «сильная жизнь»... Читатель сам увидит, что тут есть совпадение с Ницше, хотя Леонтьев писал и высказал свою теорию раньше Ницше, и в ту пору, когда имя германского мыслителя не было даже *произнесено* в русской литературе. Но в то время как Ницше ничем решительно не мотивировал своего преклонения перед «сильным белокурый зверем», Леонтьев совершенно ясно высказал основание своего поклонения. Наиболее прекрасная жизнь есть наиболее *сильная* жизнь, т. е. далее всего отстоящая от смерти, от *конца*; красивейший человек бывает в *цветущий* 30 возраст (*биографически*), в *цветущую эпоху* (исторически), т. е. опять-таки во время, наиболее далекое от конца, от смерти.

Расцвет — это сила и красота.

А старость и смерть всегда *безобразны*.

Идеал *эстетический* совпал с *биологическим*.

Что можно сказать на это, кроме того, что это всегда правда.

* * *

Но что такое *расцвет* — это мечта «прогресса», чаяние всех «цивилизаций»? Биолог ответил в Леонтьеве: «Это — *сложность*». Наиболее «сложный человек» есть наиболее красивый человек, в то же время и наиболее сильный. Наиболее «сложная цивилизация», «сложная культура» есть в то же время и наивысшая; 40

точнее — в «сложный свой период» всякая культура проходит через кульминационную точку собственного существования.

За нею культура начинает *падать*, и это падение есть непременно *упрощение*. Есть два упрощения: старческое, младенческое. До «высшего пункта развития» человек и культура просты потому, что они еще *не развились*; после «высшего пункта развития» люди и культуры упрощаются потому, что они *вырождаются*. «Дряхлость», «болезнь» всегда есть *деформирование* болящего органа; смерть есть *деформирование* целого организма. Ткани не выдерживают напора жидкостей; жидкости их прорывают и смешиваются. Человек гибнет, так гибнет «машина», когда «механизмы», его составляющие, как бы тают, растворяются, *уподобляются друг другу*... Все перестает быть «собой», теряет «эгоизм своего я» — и тогда человек умирает.

Не иначе умирает и цивилизация. И она тает, когда ее части, органы, функции теряют «эгоизм своего я». Самое лучшее, говорит Леонтьев, — *борьба*. Пусть мировые силы, отдельные властолюбивые личности ведут человечество к унитаризму, единоформенности, единосоставности; *гастии* не должны нисколько уступать этим мировым силам, властительным личностям, и отстаивать страстно и мучительно свое «я».

Красиво? Верно? Я не могу назвать более великолепной теории. Она истинна, как сама *действительность*. Скажу точнее: *теория* Леонтьева есть просто действительность, ее описание, ее название. Леонтьев был великий мыслитель; он был и страстный мечтатель; но этот мечтатель и философ был прежде всего реалист.

Не порицая Ницше, хочется сказать: до чего наш Леонтьев, умерший в 1892 г., когда имя Ницше было вовсе неизвестно в России, на самом деле поднялся головою выше Ницше. Но пустая толпа прошла мимо него. Она ничего не услышала.

* * *

Отсюда вытекла вся его «публицистика». «К сложности!» — вот его крик. «К *красоте!* к *силе!*» Тут он столкнулся с славянофильством, к которому первоначально принадлежал, и откололся от него; столкнулся и с Толстым, и с Достоевским, которых обоих он назвал «сантиментальными христианами». Теория, ставшая страстным личным убеждением, заставила его бороться с «панславизмом», т. е. «*объединением славян*», т. е. их слиянием в *одно*, когда общий крик его души и теории был: «*многое!* не забывайте *многого!*». «Не мешайте *разнообразию и противоположности* этих множественных частей». Славянофил — против объединения славян: конечно, он был черным вороном среди них! Далее, будучи государственным и патриотом, он восстал против «обрусения» остзейских немецких провинций, как равно и Польши! Это — в царствование Александра III, с одной стороны, и в пору начавшихся триумфов религиозно-нравственной проповеди Достоевского и Толстого. Все от него чурались и бежали; «большая же публика» даже не знала, что в литературе поднялся громадный спор около замечательной теории.

«Все теперь *умирает*, все *падает*; потому что все *обезлиживается*... И он с жестокостью восстал против величайших стимулов нашего времени: против любви,

милосердия, жалости; против *уравнительного* процесса истории, который он называл «эгалитарным процессом»; против «братства» народов и людей. «Не надо! Не надо! Все это — к смерти, к деформации народов, племен, людей!». «Барин» и «лакей» превращаются в двух «полулакеев»; глохнет везде «провинциальная жизнь», сливающаяся в жизнь единой «столицы». «Не надо!» Я формулирую по-своему его мысль. Но мысль — эта. «Все эти *ближние*, сливающиеся в *одно братство*, — сливаются в стадо, которое едва ли и Христу будет нужно». Таким образом, как бы раскинув руки, он восстал против всего движения европейской цивилизации, христианской культуры. Конечно, это был титан, в сравнении с которым Ницше был просто немецким профессором, ибо Ницше и в голову не приходило остановить цивилизацию или повернуть цивилизацию: он писал просто книги, занимательные немецкие книги!

Словесия — и они *нужны*; аристократия — *да!* но при пламенной борьбе с нею *демократии*. Пусть все «борется», «разнообразится»: ибо через это приходит «цвет»! Через это *одно*; нет *других* средств! Не надо этого «братства», этого сюсюканья, этой всей бабьей, мягкотелой цивилизации. Железо и сила — вот закон жизни. Пусть будут все «врагами», потому что это гораздо лучше *сохранит в каждом его физиономию*, нежели предательская «любовь», предательское «друг друга обьем», при коем люди потеряют краску щек, блеск глаз, потеряют силу и красоту, обратившись в хаос нюнящих, противных, смешных и никому решительно не нужных баб.

Так он стоял в великолепии своих теорий. И никто не слышал. Даже не прочли... По-моему, он стоял выше Ницше и был неизмеримо *героичнее* его потому именно, что отнюдь не был «литератор», а *практигеский боец*, и так понимал всю свою личность, всю свою деятельность...

* * *

Книги его — «Наши новые христиане», «Гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский», «Национальная политика как орудие всемирной революции» (т. е. всемирного *разложения*) и, наконец, главный труд — «Восток, Россия и Славянство», Бог даст, будут изданы, и скоро. Скоро, скоро, чувствуется, придет время Леонтьева. Кстати, не думайте, наивный читатель, что это тот «Леонтьев», который составил латинский словарь и которого поминали всегда вместе с Катковым: ничего общего! А многие этих *двух* Леонтьевых смешивают в *одно* лицо, и едва ли такое смешивание не есть одна из причин безвестности *Константина* Леонтьева, о котором я говорю... Интересная грамотность публики...

В своем критическом этюде о Толстом Леонтьев рассматривает творца «Войны и мира» и «Анны Карениной» как *завершителя* «натурального романа» в России, в котором «натурализм» не только достиг своей высшей точки движения, но, наконец, достиг *пресыщенности*, чего-то утомительного для души, утомительного и, наконец, несносного для вкуса, после чего хочется отдохнуть на произведениях совершенно другой школы, другого построения, другого духа, «будут ли то соблазнительные романы Вольтера и Жорж Занда или целомудренные „Записки инока Парфения“ — все равно». Сам Толстой, говорит он, почувствовал удушливость натурализма, начав после больших романов создавать ма-

ленькие рассказы из народной жизни, которые, независимо от морали их, от тенденции и проч., замечательны в чисто литературном отношении тем, что *совершенно иначе художественно построены*. Ни у Вольтера, ни в «Чайльд-Гарольде», ни в «Луcreции Флориани», ни у Гёте, ни у старца-Аксакова не «разрезывает беспрестанно котлеты, высоко поднимая локти»; никто не ищет все «тщеславие и тщеславие», «бесхарактерность и бесхарактерность». Нигде во всем перечисленном не коробит взыскательного ценителя ни то, что «Маня зашагала в раздумьи по комнате», ни «тпррру! — сказал кучер, с видом знатока, глядя на зад широко расставляющей ноги лошади»... Ни что-нибудь вроде: «Потугин потупился, потом, *осклябась, шагнул вперед и молча ответил ей кивком головы*». На всем этом, и русском и не русском, и древнем и новом, одинаково можно отдохнуть после столь долголетнего «шаганья», «фырканья», «брызганья слюною» в гнев (Достоевский) и проч.

Так говорит Леонтьев. Физиология имеет свое место в жизни, и, следовательно, ей неотъемлемо принадлежит определенное место в литературе; но именно — определенное, а не беспредельное и особенно не хаотическое, «где и как попало» и «чем больше, тем лучше». Леонтьев первый отметил и резко указал, что составляет *положительный недостаток, положительную неверность против самой природы*, это перегружение «жилыми» подробностями, мелочами, аксессуарами произведений Гончарова, Тургенева, Достоевского, Толстого; подробностями вне цели, вне необходимой связи с рядом стоящим, подробностями, как некоторой Ding an sich, «вещи в себе»... Это — *школа, это выдумка геловека*, а не закон самой «натуры», которая, напротив, всегда обрубает все ненужное, лишнее, мешающее, превращая «отслужившие органы» в «рудиментарные остатки» и наконец изглаживая и их... «Ничего ненужного!» — крик природы; а это «подняв локти» около «еды» или «зашагал» вместо «пошел» суть явно ненужное, лишнее. «Все ненужное вредит», — учит физиология: «вредит» оно не только в физиологии, но и в искусстве, мешая его *красоте*, как там оно мешает *здоровью*.

Второй недостаток «натуральной школы» — это пресыщенность психологией. Действия мало, действие ничтожно, действие в художественном отношении «сделано» небрежно: все внимание автора обращено на то, чтобы перегрузить свои персонажи невероятным количеством «внутренних движений»; и так как это опять «сверх природы» — это «внутренние движения», наконец, сочиняются, иногда фантастично (у Достоевского), а во всяком случае — не целесообразно. Сколько «внутренних движений» у Левина («Анна Каренина»), у Пьера («Война и мир»): а *жизни* — почти никакой или — мелочная, «своя», не больше, чем у «всякого», и даже значительно меньше, чем у «всякого», который и детей хоронит, и семейные измены терпит, и над неспособными детьми бьется, и теряет должность или имущество. У Левина жизнь катится благополучно, а Толстой по крайней мере том употребил на описание его «переживаний», или фантастических, или просто никому не нужных, если «нужду» тоже не «высасывать из пальца», т. е. не сочинять, не «перегружать» ею себя, общество и мир. Мир устроен значительно проще, но, с другой стороны, он устроен и значительно страшнее, ответственнее, мучительнее, содержательнее, чем описывает русская «натуральная школа», где все только «дергают локтями» или как-то необыкновенно «шагают» и ничего не *делают*, в сущности, *не живут*.

«Такая ли жизнь?..».

Леонтьев отвечает: «Не такая!»

Обращаясь к анализу «Войны и мира» и сравнивая этот роман с «Анной Карениной», Леонтьев замечает, что в смысле *тождности* изображений и *верности духу времени* — второй роман совершенно безупречен; напротив, «Война и мир» хотя более дорог нам значительностью изображаемой эпохи, тем не менее в чисто художественном отношении имеет погрешности. Так, первому десятилетию XIX века совершенно чуждо было то упрощенное и «наравне» отношение к простому народу, к простолюдинам, какое приписано Пьеру Безухову; «его речи, его дневники отдают Константином Аксаковым, жившим в 40-х годах, и самим Львом Толстым 60-х годов»... Платон Каратаев совершенно возможен в 1812 году: но *взгляд на него Пьера, рассуждения по поводу его Пьера* — это анахронизм. «В то время люди были очень образованы, начитаны; но в них не было *сложности душевной жизни*, развившейся гораздо позднее, лишь во вторую половину XIX века»: и образ как Пьера, так и Андрея Болконского сделан «слишком горельефно (с сильным углублением внутрь), а не барельефно» — и тем нарушает историческую правду.

«Когда Тургенев, по свидетельству г. П. Боборыкина, говорил так основательно и благородно, что его талант нельзя равнять с дарованием Толстого и что „Левушка Толстой — это слон!“, то мне все кажется — он думал в эту минуту особенно о „Войне и мире“. Именно — слон! Или, если хотите, еще чудовищнее: это ископаемый *сиватериум* во плоти, — сиватериум, которого огромные черепа хранятся в Индии, в храмах бога Сивы. И хобот, и громадность, и клыки, и сверх клыков еще рога, словом, вопреки всем зоологическим приличиям».

«Или еще можно уподобить „Войну и мир“ индийскому же идолу: три головы или четыре лица и шесть рук! И размеры огромные, и драгоценный материал, и глаза из рубинов и бриллиантов, не только подо лбом, но и на лбу! И выдержка общего плана в романе, и даже до тяжеловесности неиссякаемые подробности; четыре героини, и почти равноправные (в глазах автора и читателей), три героя (Наташа, Мария, Соня и Елена, Пьер, Болконский и Ростов). Психический анализ в большей части случаев паразитический именно тем, что ему подвергаются самые разнообразные люди. Наполеон, больной под Бородином, и крестьянская девочка в Филях на совете; Наташа и Кутузов; Пьер и князь Андрей; княжна Мария и скромный капитал Тушин!..»

Этим великолепным сравнением начинает Леонтьев разбор «Войны и мира» и «Анны Карениной», — разбор, который по справедливости можно назвать *образцом* литературной критики. От последней мы совершенно отвыкли, так как вот уже сколько десятилетий вместо *литературной* критики мы видим или проверку политического паспорта у автора-романиста, или отчаянное заверение автором-критиком о своей полной политической благонадежности; и, словом, что

Чувства добрые он лирой воспевал...

Никуда *дальше* и никуда *в сторону* от тощей тетрадошки, по которой уездный поп читает обычную свою проповедь.

Леонтьев из разбора творчества Толстого сделал разбор всей нашей *натуральной школы* как школы, противоположной пушкинской краткости, пушкинской *давности*, пушкинской *целесообразности*. И, завершив разбор, заканчивает то сравнение, с которого начал:

«Я люблю, я обожаю даже „Войну и мир“ за гигантское творчество, за смелую вставку в роман целых кусков философии и стратегии, вопреки господствовавшим тогда у нас правилам художественной сдержанности и аккуратности; за патристический жар, который горит по временам на ее страницах так пламенно; за потрясающие картины битв; за равносильную прелесть в изображениях как „искушений“ света, так и радостей семейной жизни; за подавляющее ум читателя разнообразие характеров и общепсихическую их выдержку; за всеоживляющий образ Наташи, столь правдивый и столь привлекательный; за удивительную поэзию всех этих снов, бредов, полуснов и предсмертных состояний. За то, наконец, что лучший и высший из героев поэмы, кн. Андрей, — не профессор и не оратор, а изящный, храбрый воин и идеалист. Я поклоняюсь гр. Толстому *даже за то насилие*, какое он произвел надо мною самим тем, что заставил меня *знать как живых и любить как близких друзей* таких людей, которые мне кажутся почти современными и лишь по воле автора переодетыми в одежды „Бородина“, лишь силой его гения перенесенными на полвека назад в историю. Но, припомнив вместе с этим в совокупности все сказанное мною (т. е. что изложено в книге), — я чувствую себя вправе думать: это именно то, о чем я говорил раньше, — „три головы, множество рук, глаза из рубинов и бриллиантов, — только не подо лбом, а на лбу, у огромного, золотого, драгоценного кумира“».

20 «Конечно, это ничего не значит со стороны *достоинства во всецелости*; но это *знажит огонь много со стороны тожности и строгого реализма*».

«Великолепный и колоссальный кумир Браммы индийского стоит по-своему олимпийского Зевса. И есть не только минуты, но и года, и века такие, что дивный Брами будет нравиться уму и сердцу нашему гораздо больше, чем Зевс, правильно-прекрасный, положим, но который *все-таки человек, как все*. Но вот в чем разница: можно восхищаться кумиром Браммы или Будды, можно судить по нему о мирозерцании индийских художников и жрецов, но нельзя еще по этому величавому изваянию *судить о действительной наружности жителей* Индии; а по Зевсу, Лаокоону и гладиатору можно хоть приблизительно вообразить внешность красивых людей Греции и Рима».

30 Таким образом, Леонтьев был первым и остается до сих пор единственным, кто указал *границы реализма* у Толстого, по крайней мере в «Войне и мире». Вместе с тем он первый и опять единственно указал, что весь «реалистический период» в русской литературе естественно и сам в себе закончился; созрел и наконец «перезрел»... Что дальше идти здесь некуда. «Изучать действительную жизнь или изучать жизнь по „Анне Карениной“ — это равнозначает» — с этого утверждения, которое он развивает во всей своей книге, начинается его разбор романов Толстого. Что же дальше?.. Не отвечая на вопрос этот, мне хочется только указать, что анализ Леонтьева и его художественные утверждения, между прочим, 40 совершенно объясняют, почему приблизительно после «Анны Карениной» для русской литературы настала пора новых исканий, новых попыток... Декадентство, символизм, «стилизация» — во всем этом литература заметалась, ища не повторять то, что было пройдено, что было прекрасно в расцвете и созревании, но совершенно несносно в перезрелом виде. В этих путях искания литература находится и сейчас. Для самих наших романистов и поэтов в высшей степени необходимо ознакомиться с Леонтьевым. Что касается читателей, то уже по приведенным отрывкам они могут видеть, что Леонтьев-критик есть вместе с тем

и первоклассный *писатель*; что он дает что-то совсем другое, чем ежемесячные журнальные обзоры литературы, о которых хочется сказать то, что и Лермонтов сказал о кислых недозрелых плодах:

...Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между плодов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час.

Чувствуется, что для Леонтьева наступает «час красоты». И когда для него настанет этот час, уже от одного сравнения в глазах читателей не могут не повалиться десятками «плоды недозрелые», которые лишь бременят древо жизни..
Дай Бог. Будь чуток, читатель.

10

ФРАНЦУЗСКИЙ ТРУД О ВЛАД. СОЛОВЬЁВЕ

Очерк

*Vladimir Soloviev «Introduction et choix de texts traduits pour la première fois» par J. B. Severac, docteur en-lettres, professeur de philosophie au Collège de Château-Thierry. Paris, 1911 **

1

Талант *быть громким*, быть сразу *заметным*, оставаться *заметным до конца дней*, — есть какой-то совсем другой талант, нежели быть глубоким, интересным, значительным и плодотворным. Конечно, большей частью первый дар и вторые дары совпадают, т. е. истинно значительное в то же время есть и самое видное. Но не всегда. Достаточно напомнить о христианстве, которое в первые годы существования и даже целый век не было «очень заметно», так что у языческих писателей-современников не сохранилось даже *упоминания* о нем. В параллель этому можно припомнить Ньютона: он открыл «про себя» дифференциальное исчисление, названное им «теорией флюксий»; но это открытие, составляющее целый и едва ли не главнейший отдел теперешней высшей математики, лежало у него в письменном столе, не опубликованным целые тринадцать лет, пока то же открытие, сделанное и *опубликованное* Лейбницем, не заставило и Ньютона, наконец, расстаться со своими домашними бумагами и дать их на прочтение ученому миру Европы, о котором он, очевидно, ничего не думал, ни «да», ни «нет».

20

30

Талант *громкости* проистекает из одного недостатка и одного достоинства. Нельзя скрыть от себя, что он рождается от некоторого недостатка внутреннего целомудрия, тишины и застенчивости: но в то же время нужно признаться, что он проистекает и из подлинной любви к людям, братства с людьми; из доброго

* *Владимир Соловьёв*. «Введение и избранные сочинения, переведенные впервые» Ж. Б. Севераком, доктором литературы, профессором философии в Колледже Шато-Тьерри. Париж, 1911 (фр.).

и доверчивого к ним отношения. «Громкий человек» вечно публикуется; не спешите думать, что это он «хващается»: совсем нет! Просто — он ничего в себе не удерживает, у него нет молчания. Если это и «не хорошо» в некотором смысле, то превосходно в другом смысле. Если в одном отношении «не совсем нравственно», то зато в другом отношении «в высшей степени нравственно»! Что делать: есть такие противоречия и совместность! Такой «вечно публикующийся человек», шумный, шипящий, брызгающий пену во все стороны, привлекающий к себе общее внимание, в сущности, отдает себя в общую «еду», на «всеобщее употребление», делается некоторою «всеобщою евхаристиею», как в Мексике юноши, отдавшие себя в жертву богу Солнца. Публика, обожавшая и даже «боготворившая» юношу, разрывала его тело на куски и жадно поедала эти куски, думая соединиться через это с «Солнцем»... Так в истории проходят эти знаменитые «поедаемые» юноши и мужи, девы и женщины, которые с самых юных лет необъяснимо волнуют около себя толпу, всегда любимы ею, всегда сами ее любят; и не имеют другой жизни иначе, чем на глазах толпы. Даже свои «тайны» они все публикуют; интимные переживания, задумчивые грезы, передуманное и недодуманное, перепеченное и недопеченное, по поговорке: «Что ни есть в печи — все на стол мечи».

Одни и те же люди, громкие и тихие, играют хотя совершенно разную, но одинаково необходимую роль в истории человечества. Без «шумных людей» жизнь была бы как-то скучна, монотонна; уж слишком и до зевоты добродетельна. Бог с нею, — нужно отдавать земле все земное. Пусть мудрецы строят храм; в стороне от него, совсем в другой стороне, пусть строят другие совсем иное здание — обширный театр, по-древнему начертанию — «феатр», «позорище», «зрелище». И когда одним людям захочется помолиться, то пусть они помолятся; а когда другим людям захочется сыграть комедию и даже водевиль, то пусть они тоже не стесняются.

Покойный Вл. Соловьёв принадлежал, бесспорно, к категории этих невольно шумных и неодолимо-шумных людей. Что бы он ни пережил, что бы с ним ни случилось, — он непременно об этом рассказывал всем в печати. Плыл он раз на пароходе по Финскому заливу, засыпал в каюте. Вдруг вскочил в ужасе: ему показалось, что на плечо к нему уселся мохнатый чертенок. Можно было бы испугаться до вечного молчания, или рассмеяться как пустяку. Ибо есть люди, которые видят же «зеленого змия»... Так и этак, но едва ли это есть тема для печати. Но Вл. Соловьёв немедленно все изложил в стихах:

«Черти морские меня полюбили...»

и проч. Из Лондона в Египет его позвала Небесная Дева... Он отправился в Египет; затем, все манящий Деву, побрел пешком и без проводников в пустыню и едва не был убит арабами, принявшими его за «шайтана», за «духа»... И опять об этом подробнее изложил «господам читателям» («Три свидания»). По поводу этих «Трех свиданий», где Соловьёв рассказывает, по собственному признанию, о «самом важном в жизни, что он пережил», — один глубокой мысли человек передал мне, что если зорко присмотреться ко всем, и особенно к мистическим, самым задушевным его стихам, да и к его богословской системе «богочеловече-

ства», то можно не только в неясных намеках, но и в совершенно отчетливых словах прочесть некоторую «навязчивую идею», овладевшую философом, которая, содержа в себе высшее богохульство, имеет параллели только в средневековых кабалистических мечтаниях и умозрениях. Что такое эти «свидания» его с Небесною Девуою? Куда и в особенности *для tego* он, стремительно и никому не сказав, уходил в пустыню? На что надеялся, *tego* в особенности *желал*? Точные слова его, пафос его в этих словах, их религиозный экстаз не оставляют сомнения, что в «предмете свидания» он видел, чувствовал и обожал Божественное существо, — христианского или нехристианского значения, на это невозможно ответить. Но мысль его, надежда и *желание*, в особенности *желание*, совершенно ясно заключались в том, чтобы стать к этому существу в отношении «возлюбленного» или «жениха»; точнее, он уже осознавал себя «женихом», он уже был «возлюбленным», об этом ясно говорят его слова: и услышав трижды «зов» придти на свидание, спешил на него, как жених, порывающийся стать супругом. Таким образом, у Соловьёва на степени любимой мечты, но неотступной и с болью, была мысль «овладеть Божественною субстанциею» через посредство одной из тех историй, какие рассказывают о средневековых суккубах и инкубах, не державших на отношения только с мелкими, грубыми и, главное, грешными «духами». Особенность и новизна мысли Соловьёва заключалась в том, что ничего ни грешного, ни низкого *в предмете* его «розовых мечтаний» (собственный его термин) не было. Совершенно напротив... Но совершенно вместе с тем понятно, что образовав такую странную тенденцию и особенно охваченный этим желанием, он с такой силой, как никто до него, с такой «осязательностью» и «очевидностью», с такой близостью *ощущения* заговорил об «Антихристе», как никто ранее его не говорил у нас... Ну, что же... «неотвязчивая мысль»... которую «побороть невозможно»... но которой очень естественно можно бояться, можно пугаться. В литературной деятельности Соловьёва заметно присутствие этого постоянного испуга; и самая его «публичность», постоянное публикование всего о себе, содержит как бы этот вечный крик: «Отворите двери и войдите ко мне. Я боюсь быть один». Его «публичность» была трагическою, и этим отличалась от обыкновенной, от житейской. Но потом и сама собою она осложнилась житейской шумностью, шумностью вечного публициста и вечного спорщика.

Если справедливо, что у Соловьёва была эта концепция, для которой никаких precedентов в православии нет, но эти precedенты *косвенно* имеются в мистических течениях католичества (например, экстазы св. Терезы) и у нас в хлыстовстве, — то отсюда объясняются многие частности его биографии и его писаний: прежде всего, его исповедимое отращение к *земной, обыкновенной* форме плотских отношений, решительная вражда к земному *деторождению и семье*, личный аскетизм и, наконец, параллельная этому, постоянная нескромность языка, мысли, и, так сказать, смущающих образов. О последнем с удивлением и очень много рассказывала в своих «Воспоминаниях» года два назад его замужняя сестра, г-жа Безобразова. Как «уневестившийся Христу» святые католичества отрекались от вступления в замужество, так и по тому же мотиву Вл. Соловьёв сохранил, как об этом существует всеобщее убеждение, свое девство не нарушенным. Это — не скопчество, это — обратный ему полюс.

* * *

Образ Влад. Соловьёва, естественно, сделался самым занимательным и вместе шумно известным среди русских мыслителей. Тихие тени таких затворников мысли, как братья Ив. В. и П. В. Киреевские, или таких спокойных мыслителей, как Данилевский и Страхов, были совершенно заслонены им. Как мы сказали выше, дар шумности не всегда совпадает с значительностью; и обратно: многое очень ценное остается совершенно в тени. Исследователь самой ранней поры нашего славянофильства М. О. Гершензон говорит об И. В. Киреевском, что он на несколько десятилетий предвосхитил мысли некоторых лучших западно-европейских философов... Но кому же до этого дело?.. Нужен был специальный исследователь, нужно было появиться специальной книге о Киреевском, чтобы уведомить самих русских о бытии у них такого самостоятельного и оригинального мыслителя. Нечего и говорить, что его имя осталось и, по всему вероятию, навсегда остается вовсе неведомым западноевропейским читателям.

Столь же понятно, наоборот, что Влад. Соловьёв первый из русских мыслителей сделался известен в Западной Европе. Он сам проложил к этому дорогу, издав по-французски два своих труда: «Россия и всемирная церковь» («La Russie et l'Église Universelle») и «Русская идея» («L'idée russe»).

Только что вышло по-французски целое исследование о Соловьёве в составе библиотеки изданий под общим заглавием: «Les grands philosophes français et étrangers» *. До сих пор вышли следующие томы этой «Библиотеки», посвященные каждый том отдельно одному философу: «Платон», «Декарт», «Кант», «Габриэль Тард», «Ламарк», «Монтескье», «Генри Бергсон», — и предначертаны к изданию «Кабанис», «Бутру», «Гельвеций», «Лейбниц», «Аристотель» и «Дюркгейм». Среди первых книг, уже изданных, находится и труд о Влад. Соловьёве, принадлежащий перу г. Северака, доктора словесных наук и профессора философии в коллегии Chateau Thierry: «Vladimir Soloviev. Introduction et choix de textes traduits pour la première fois». В изучении России, притом народной, автор этой книги не новичок: темою для докторской диссертации по предмету словесности он избрал «Духовные стихи русской секты людей Божиих», и под этим заглавием и появился его труд на французском языке. Книга о Владимире Соловьёве является довольно естественным продолжением этой диссертации, так как и у него много «Духовных стихов», да и сам он без всякой натяжки может быть назван «человеком Божиим». Именем этим называют себя последователи нашей «христовщины» — хлыстовщины, которой подлинный смысл гадателен и, кажется, суть этого сектантства заключается не столько в определенных мыслях, сколько в довольно особой и исключительной духовной организации, а может быть, и в физиологической, мозговой организации.

Книга содержит небольшой (33 страницы) биографический очерк, переходящий, за бедностью внешних перемен, в историю философских и религиозных переживаний Влад. Соловьёва. Это как бы введение. Главною же работою профессора Северака был умелый подбор текстов из всех его сочинений, который связывался бы в целое и закругленное изложение его главных мыслей, главных тенденций, главных тезисов. Работа эта, как по подбору, так и по переводу, не

* «Великие французские и иностранные философы» (фр.).

могла не быть очень тяжелою, и нельзя не заметить, что этого не сделано для Соловьёва и в русской научно популярной литературе. Вот перечень отрывков, данных г. Севераком, в той последовательности, как они у него стоят:

1) «Философия и богопознание (теория)». Перевод 2-й главы из «Философских начал цельного знания».

2) «Воплощение Бога-Слова». Перевод 11-й и 12-й глав из «Чтения о богочеловечестве», содержащих рассуждения об искушении И. Христа в пустыне и о роли Запада и Востока в боговоспитании человека и человечества.

3. «Христианство и революция». Перевод *приложенного* к русскому изданию «Сочинений Влад. Соловьёва» — «Изложения его речи, произнесенной 13-го марта 1881 г. на высших женских курсах в Петербурге».

4. «Природа и смерть. О грехе, законе и благодати». Перевод введения к «Духовным основам жизни».

5. «Христос и совесть». Перевод «Заключения» к «Духовным основам жизни».

6. «Аскетизм и нравственность». Перевод второй главы из первой части «Оправданий добра».

7. «Религиозно-нравственные добродетели». Перевод четвертого параграфа из пятой главы первой части «Оправдания добра».

8. «Личность, семья и государство». Перевод восьмого параграфа из первой главы третьей части «Оправдания добра».

9. «Национализм и космополитизм». Перевод четырнадцатой главы из третьей части «Оправдания добра».

10. «Вина и смерть». Перевод четвертой главы из «Права и нравственности. Очерков из практической этики».

11. «Антихрист». Перевод третьей и заключительной глав из «Трех разговоров».

12. «Идея сверхчеловека». Перевод статьи 1899 г.

13. «Тайна прогресса». Перевод статьи.

* * *

Все это сделано и любовно, и зорко. Ввиду популярных задач книги, г. Северак приложил к ней три портрета Владимира Соловьёва, в возрасте 25 лет, в зрелом возрасте и в старости, затем два снимка Московского университета, его старого здания с актовым залом и библиотекой и нового здания с аудиториями историко-филологического факультета; вида пятой московской гимназии, где учился Владимир Соловьёв; вида Москвы из Кремля; и портретов двух писателей, Достоевского и Толстого, идеи которых Соловьёв или пламенно поддерживал (Достоевский), или жестоко на них нападал (Толстой). Последнего, как известно, Соловьёв даже сблизил (в «Трех разговорах») с Антихристом за его мысль о возможности своими усилиями, без благодати, церкви и таинств, достигнуть нравственного совершенства. Хотя нельзя про себя не заметить, что ведь и либеральная полемика Влад. Соловьёва, как и множество глав его «Оправдания добра», где он ведет человека к возможному «добру» средствами логики, средствами философии и, наконец, зовом просто к чувству человеческой порядочности — заключают в себе ровно эту же долю «антихристианства». Нужно вообще раз

и навсегда спросить себя: что же трагедии Шекспира и Шиллера, где эти поэты без ссылок на Христа вызывают к человеческому сердцу, защищают человеческую свободу, учат понимать человеческую душу, надеются на нее, верят в нее, неужели это все «Антихристовы зовы», «Антихристовы предвестники»? Неужели вообще то доброе, что по *корню и происхождению* лежит действительно вне Христа и даже как бы вне памятования о Христе, тем самым, т. е. вот эту свою самостоятельностью, *направлено против Христа?* Конечно — нет! Тут Соловьёв дошел до средневеково-католического изуверства, до концепций Данта в его «Аде». Скажем присловьем доброго русского народа: «Волков бояться — в лес не ходить». Все православные преспокойно верят, что всякое добро, и вне Христа сделанное, остается добром же, самостоятельным, человеческим добром, Христу *не противоположным, а сродным*. Как убеждены и в том, что всякое зло, «богомольно» сделанное (есть такие святости), не искупается именем Христовым, «всуде произнесенным», — и остается решительным и отвратительным злом. В противном случае в раю осталось бы много людей, от встречи с которыми «избави Бог», а в ад попали бы люди «ничего себе», с которыми «можно водить компанию». Куда при этой строгой концепции девать Любима Торцова? Да даже и Ноздрева и Репетилова страшно запихивать в ад: а уж какие они все «богословы».

II

²⁰ Г-н Северак, не обратив внимания на таких мыслителей, как братья Киреевские и А. С. Хомяков, впал в преувеличение, назвав Влад. Соловьёва «первым русским философом». Мысль эту он повторил вслед за проф. философии в Московском университете, почтенным Лопатиным (автором «Основ положительной философии», в 2-х томах), который мотивированно и все-таки *преувеличенно* дал Влад. Соловьёву этот титул. Он «справедлив в отношении *преподавателей* философии в наших высших школах (Лопатин так и выразился), которые *излагают* философские системы, но до сих пор ни разу не творили философских мыслей; но явно несправедлив, если взять во внимание все умственное и литературное развитие России. Гораздо больше, чем томик, собранный г. Севераком из Владимира Соловьёва, можно было бы извлечь философских мыслей у Достоевского, особенно из «Дневника писателя», у Толстого, наконец, даже у Гончарова (рассуждения в «Обрыве») и у Тургенева (как здесь и там разбросанные афоризмы). Наконец, еще раз повторим имена Киреевских, Хомякова и прибавим к ним имена Гилярова-Платонова и Герцена. У всех у них найдется совершенно достаточно философских мыслей, и что касается *компетентности* мыслей, — нисколько не уступающих соловьёвским. Остается совершенно определенным и твердым тезис, что Соловьёв *колебался* во всех своих мыслях, то расширял, то суживал одни из них, и от некоторых совершенно *отказывался*. Само собою разумеется, что в этом ничего не было худого, а только хорошее. Отказаться от неверной мысли — такой же выигрыш перед Богом и миром, как и найти вновь самую лучшую мысль. Но все-таки процесс умственной работы, состоящий в «восхвалениях» и «отречениях», не есть философский. Мысли Соловьёва всегда были более вдохновениями, чем собственно доказанными мыслями, что тоже к лучшему: философия в греческом смысле и в смысле германо-английско-французском явно не сродна русской душе, русскому уму... И, кажется, не к чему нам стремиться повто-

рять греков, немцев, англичан. У нас все же есть «мудрость» и «правда», от народных пословиц до вдохновенных «дневников» Достоевского и коротеньких рассуждений Толстого. Выковырять ногтем у Неба его тайны русский человек не надеется: а ведь к этому рвались «систематики» в философии. Бог с ними. Эти «системы» все разрушились: а из русских «поговорок» и «пословиц», созданных 1000 лет назад, многие остаются верными, глубокими и правыми до сих пор, несмотря на весь совершившийся с тех пор прогресс.

Влад. Соловьёв был вдохновенный человек... очень большой сложности. Конечно, он очень универсально образован, но не это в нем главное. В своих сочинениях он, действительно, коснулся, *колеблясь*, всех тем философии... Но именно «коснулся»: а «прикосновение» только — всегда есть не главное. За восемь томов его сочинений лежит нечто более интересное, привлекательное, значительное, чем все они, это — сам наш бородатый и сухощавый философ, с его страшным смехом, постоянным впадением в задумчивость, с его сарказмами, шутками, балагурством и какою-то внутреннею литургиею... Не было человека, более сосредоточенного внутри, «до безумия», и более рассеянного, и как будто веселого снаружи. Его портрет, его лицо, его фигура, перипетии его жизни в их мало известной сердцевине — вот что занимательно. Словом, «Владимир Сергеевич Соловьёв» занимательнее «Собрания сочинений Влад. Серг. Соловьёва». Совершенно твердо можно сказать, что в нем ужились гений и безумие; что он был в равной мере грешник и святой, — и в церковном, и во всяческом смысле; неоспоримо то, что он был вполне благородным человеком, т. е. благожелательным человеком в отношении к родине своей и людям вообще. «Оправдание добра», это — характерное название, и это есть программа его *лигности*, как он «хотел бы», как ему «*мечталось*». Но... не как у него *выполнилось*. Вся его критика славянофильства слаба и ничтожна; врагов он побеждал более шумом призванного «к шуму» человека, чем истиною. Наконец, при всем его благородстве «во вдохновении», — им владели слишком явно «слабости», «соблазны», и «грехи» в эмпирической действительности; владели «духи низшего порядка»... Это — у всех есть и, конечно, ему не упрек. Но все это — мелочи. Есть какая-то загадка в нем как в человеке. Он так же темен, как Гоголь. По всему вероятно, *оконгательно* и он не будет никогда разгадан. Все его сочинения, все восемь томов, есть какая-то пена, то белая, то темная, бьющая из водоема, в который никогда никто не заглядывал, и теперь уже невозможно в него заглянуть. Он вечно был чем-то встревожен; вечно о чем-то тосковал: вечно куда-то рвался... куда? — определенно никто не знает. Его «возлюбленную» осталась все-таки «теософия», т. е. и не философия, и не богословие, а что-то третье. С маниакальным постоянством ум и сердце его возвращаются сюда. Он все говорит о «Божественной премудрости», а не о Христе, и не об Иегове Ветхого Завета, а вот об этой «Премудрости», «Софии» («Софийские храмы» древнего православия), которая есть какая-то мечта Византии, никогда явно не формулированная. Может быть, он старался разгадать, что содержалось в этой мечте. Кидался за этим и к гностикам, и в Каббалу, — кидался в языческие даже мифы. Здесь мы снова припоминаем его «роман с Богом» («Три свидания»).

Может быть, его увлекла мысль, что был же когда-то заключен «завет» между Богом и человеком, как известно, получивший себе физическую, телесную и именно на *поле* мужчины и печать... Затем этот имел вид обоюдного договора,

связывавшего не только человека, но и связывавшего Бога. В Ветхом Завете евреи представлены «требующими» от Бога, требующими «по договору»... богатств, силы и прочего. «Значит, возможно», «значит, бывало»... — подумал Влад. Соловьёв... Если *было* «возможно», то отчего невозможно «*в будущем*» или «*теперь*»... «Было раз» — может случиться и «еще»...

Все хорошо сознают, что Соловьёв писал свою «философию» не в порядке «раз», «два», «три», а именно как что-то будущее, мечущееся и в конце совершенно неясное... Все сознают или недалеко от сознания, что около гения в нем жило и безумие, или почти — даже безрассудство. Около святости был и «грех»...
 10 Не невозможно, в самом деле, думать, что им овладела мысль еще «заключить союз с Богом», «третий завет», — персонально, лично, страстно, мучительно. «Удалось Аврааму, отчего не удастся мне?»... Какой-то безвестный пришелец из Халдейской земли, из городка Ур... Какие у него особенные, исключительные, названные в Библии заслуги перед Богом? Послушание да любовь, преданность. Но разве же Владимир Соловьёв не был всецело «предан Богу», «не любил Его», не «слушался Его»?! Все это было, все это он исполнил; больше, — он как бы вытянул жизнь и личность по пути этого «повиновения, любви, преданности». Такой «богословской» *лигности*, до такой степени всецело и безраздельно поглощенной Богом, действительно никогда у нас в России не появлялось, не было.
 20 Ни один священник, ни одно духовное лицо не было до такой степени переполнено, насыщено, почти до физического насыщения, мыслью и заботой, и надеждой, и восторгом о Боге, как Влад. Соловьёв. *Вот в этом его первенство* в литературе русской и в мысли русской. «Ну, так *это* же?.. *Поэтому* же не завет?.. *Где* же завет, *когда* же завет?..».

Авраама «позвал Бог»... И все дело в «зове»... Бог «избирает» Сам, неведомо *кого*, неведомо *когда*... Соловьёв очень настоятельно и очень страстно, горячо в биографии Магомета (для издания Павленкова) доказывает, что и Магомет был «позван», «истинно позван». Значит, и не к одному Аврааму были «зовы», через это возможность «зова» вообще увеличивается... Владимир Соловьёв был
 30 «владеем» этой мыслью, — вот как «владеемы» бывают «одержимые», — кто знает, может быть, истинно. Мы входим здесь в совершенно неисследимые изгибы души человеческой. В *организации* Владимира Соловьёва лежало что-то, почему он *думал, предчувствовал и ожидал*, наконец, *надеялся и молил*, что «будет *день и место*, — и он будет позван»... наречение свершится, завет состоится...

Наконец, ведь «заветы» бывают большие и малые, на определенную миссию и вообще...

И он рвался, рвался...

И в этом рвении и сгорел...

«Хоть какой-нибудь» завет, «хоть что-нибудь»... И, конечно, он, в *самом деле*,
 40 слышал «зовы», за которыми (не малое расстояние!!) *без колебания* проплыв из Лондона в Египет («Три свидания»)... бросив все дела, реальные дела, диссертацию, темы...

«Пророком» он не был, но *полупророком* был; и если он не сделался Авраамом, то все же «грешным» Валаамом он был. В наш рациональный век и это ново, громадно и исключительно.

Около «колодца, в который заглянуть никто не успел», мы можем, естественно, только гадать; но, может быть, некоторые почувствуют, что в изложенных

догадках есть в самом деле частица *лигности* Соловьёва, что догадки эти правдоподобны...

«Приди, — манила его „Премудрость“... И он шел... Но видение исчезло, — и он возвращался, расстроенный, измученный и опять надеющийся...

ЕЩЕ ДВА СЛОВА О С. Ф. ШАРАПОВЕ

...Какой-то «мор» в ряду писателей: на протяжении с немногим месяца четвертый *видный* писатель сходит в могилу: Фофанов, Щеглов, Альбов и вот теперь Шарапов... Гробы их закрываются, не дав передохнуть и очнуться друзьям, свидетелям, читателям.

Над закрывшимся гробом Сергея Федоровича мне хочется отметить черту его души, которая для многих покажется неожиданностью, когда я ее назову, которая *действительно была в нем*, и, собственно, для меня, служила единственно связывавшим нас литературным качеством его. Ибо *идеи* и *темы* его относились к тем областям, в которых я ничего не понимал или они мне не были чужды, не интересны.

Сергей Федорович Шарапов был до редкости *скромным человеком*.

Да, этот шумный, красивый, большерослый человек, с мягкими руками, с мягкими щеками, с жгучим взглядом смеющихся добрых глаз, с непрерывной улыбкой губ, — весь в речах, вечно что-то предпринимающий, во что-нибудь веривший, в чем-нибудь убеждавший вас — с сотнею мелких талантов, так и лившихся с него оживлением и возбуждением, был бы, пожалуй, неприятен, неприятен определенной группе людей, напр., созерцательных, если бы задумчивый взгляд не подмечал под всем этим шумом *скромной души*, нисколько не занятой своим «я», а занятой действительно теми *темами*, о которых он шумел, в которые действительно *верил* и которые, увы, часто были совершенно *не основательны*. Он имел мало «критики» в себе, и от этого в основательности и не основательности мог плохо разбираться. Вечно с пылким «да» или «нет» на устах, он не доказателен был и в «да» и в «нет». Но убеждал неустанно, по многу лет. Так он выдумал «русские царские орлы» — особые бумажки с такими изображениями и с денежною условною стоимостью, которые заменили бы и червонцы, и прежние кредитки. Но в чем заключалась бы их разница от прежних «кредиток» — он не мог объяснить. Прежних «кредиток», упавших до 60 коп., он не любил. Но вот, подите: «царские орлы» были совсем другое дело: падать не могли, обесцениться не могли, и при них никакого золота не надо было, а печатать их можно было сколько угодно. Возможность-то печатать их «сколько угодно» и с этим вместе безгранично двигать вперед русскую промышленность и торговлю — и соблазняла его. На пропаганду этого он потратил много лет; не только печатал статьи и брошюры об этом, но составлял об этом «докладные записки», посылая их во всевозможные учреждения и всевозможным высоким лицам, от которых могло бы зависеть решение нашей денежной системы. С. Ю. Витте, осуществившего золотую валюту, который в то время был в апогее славы и силы, он считал «убийцей России», или приблизительно так, и без стеснения это печатал. Это об-

разец вообще его мысли, — а она перекидывалась от финансов к церкви, к философии, к вопросам нравственности. Не здесь, не в *решении* вопросов была его сила, а в *возбуждении* их: здесь он был неистощим, неутомим, всегда рвался, надеялся, верил. Всегда *делал* или задумывал *делать*. Вот по этим качествам *новизны*, постоянного искания, *порыва* — он и был цене в разнообразных ролях, которые принимал на себя: журналиста, писателя, редактора, лектора. «Шарапов» и «себе на уме» несовместимы: хотя нельзя с грустью не думать, что иногда люди «без языка», стоявшие за ним и возле его, имели нередко это «себе на уме». И когда он шумно в чем-нибудь «проваливался», всегда смеялся и никогда не негодуя, по крайней мере, никогда не ненавидя — эти люди «себе на уме» отходили осторожно в сторону.

Потребность служить, чему-нибудь, России, партии, лицам, *памяти* лиц — была его потребностью. Он был или казался себе «преемником» Аксакова (И. С.), Гилярова-Платонова и Скобелева: последнего — разумеется, в качестве оруженосца, пажа или патетического корреспондента. Эпитеты мои не тверды, как не твердо было все и в Сергее Федоровиче. Но он непременно чему-нибудь «служил» и что-нибудь «славил». Он предупреждал Россию от каких-нибудь несчастий. Иногда он «славил» совершенно незначительных лиц, безвестных лиц: и здесь на число «удач» в общем можно полагать такое же число «неудач». Но здесь я и перехожу к его скромности и бескорыстию, которые всегда меня поражали: много ли найдется писателей, которые, приобретя уже шумную известность, с таким энтузиазмом и, наконец, даже вредя себе, — посвящали бы время, заботу и типографские чернила другому имени, лицу, никогда его не могущему отблагодарить. Между тем на пропагандирование «не себя» ушла треть его жизни и всех писаний. И в разговорах, в личном общении ничего не было обычного, как увидеть его всецело подчиненным чужому авторитету, чужому мнению, чужому вкусу, — и это не завистливо и тайно, но «с громом, свечами» и при «колокольном звоне». Всегда думалось: «Да когда же вы начнете *работать для себя?*!».

Нашу Россию он бесконечно любил. Это было первою причиною его литературной неудачи, так как вот уже полвека, как в России имеет успех только космополитическое, или прямо враждебное нашей земле. Второю причиною его литературной неудачливости было то, что он всегда был страшно *лигген* в своих изданиях, журналах и статьях. Они не отвечали *нужде* страны, как эта нужда *слагалась объективно*; они все выражали только *его самого*, разумеется, по преимуществу в его взглядах «на нужды страны». Но «его взгляды» и «реальные нужды» — не одно и то же. Разумеется, нужно было уже предварительно «поверить в него», чтобы начать читать его шумные журналы. Но тут мы входим в тот логический круг, который носит название «*circulus virtiosus*» *. Как «поверить», не читавши; и как, с другой стороны, начать читать, когда знаешь, что все это «Сергей Федорович и его ближние». Но зато эти *лигные* его издания, какого-то странного *гастного характера*, — будто напечатанные «домашние рукописи» — были незаменимы для начинающих, для людей новых, и молодых и очень старых, но которые раньше не могли пробиться в печать, и между тем мучительно этого хотели, и иногда несли в себе мучительно интересную мысль.

* порочный круг (*лат.*).

Умер он в расцвете сил, неожиданно, и даже неизвестно отчего... Близкие не сообщили, — а между тем о конце его все-таки, вероятно, хочется узнать множеству читателей его, между которыми, мы хорошо знаем, были горячие энтузиасты.

Мир его праху и добрая память.

НЕДОУМЕНИЯ И НЕДОУМЕНИЯ...

В последней книжке «Русск. Богатства» появились две статьи, посвященные памяти умершего месяца три назад Мельшина-Якубовича. Но, увы: не цветут цветы, даже и надгробные, в социал-демократическом лагере! Авторы статей — точно ничего не видели и не *поняли* в умершем, и пишут о нем, как канцелярскую «отписку» о столоначальнике, — с вялыми похвалами, с схематическим очерком лица. Не говорю — взволноваться, но ничего *понять* о человеке нельзя. 10

Напечатанный *портрет* Мельшина-Якубовича так замечательно-прекрасен, а жизнь (по изложениям) оказалась так трогательна и (мне кажется) полна запутанностей, что тут можно написать целую поэму... Я верю, что лицо человека «что-нибудь значит», что Бог не без причины и «указания» дает человеку наружность, фигуру, строение лба, глаз... Сейчас передо мною нет портрета Мельшина: но едва месяц назад я открыл его (в книжке журнала), мне показалось, я вижу человека такой необыкновенной душевной организации, такой полной душевной чистоты, такой правильно и прекрасно прожитой жизни, как это редко приходится встретить в жизни и даже редко увидеть в «портретных галереях истории»... Не скрою: с чувством национализма я подумал: «Э, если у русских есть *такие лица*, русским еще *долго жить*. Не зачадит нас чад». 20

Мужество, открытость, героизм... Ничего нахального, бессовестного, хвастающегося (обыкновенные черты радикалов)... Ничего из тех *мелких лиц*, какие с ужасом я увидел на скамье подсудимых, когда судили рабочих депутатов (по *хвастовству* чего одно лицо Авксентьева стоит; по серости, тусклости чего стоит лицо знаменитого Носаря!)... В Мельшине была явно аристократическая порода: и я не могу отделаться от мысли, что это аристократ забрел в толпу «так себе людей» и почти задохся в ней... Отсюда его усталость, эта ужасная усталость, которую указывает один из «воспоминателей», г. Муйжель, и которая доходила до того, что в разговоре иногда он закрывал глаза, и, долго так пробыв, открывал их и спрашивал: «О чем мы говорили?». И что он никогда не поехал на «отдых» к рассказывающему о нем радикалу, — ни «ловить язей под мостиком» в Псковскую губернию, ни «на Юг», несмотря на уверения радикала, что тот в вагоне «будет ухаживать за ним, как за отцом...». 30

«— Ах, канцелярия... Истомила ты меня, канцелярия, — мне кажется, думал Мельшин. — И „с язями“ все будем говорить о партийных делах, и в вагоне мне не дадут покоя „новые начинания“».

Он был поэт. С Верою Фигнер — единственные поэты радикализма. Судя по надписи на стене одного из сибирских этапов, — горячо любил Россию; не отвлеченно любил, а как *родину*... Этих двух черт достаточно, чтобы догадаться, что за 40

«принадлежностью к партии» в нем было и еще «кое-что», чего никак не могли рассмотреть Муйжели, Мякотины, может быть, не сумел рассмотреть и Михайловский, и оно осталось глубоко *затаенным* и отразилось только в *нежном*, благородном лице. Что же могло быть общего в *сдержанном* и *скромном* Мельшине с прямо падающим вам на лицо Авксентьевым, который лезет вам в глаза, в уши со своим «я», «я», «мы», а «главное — я». Между тем он не мог с ним не говорить, не видеться, даже не «действовать *заодно*», не делать *вида уважения*, или, по крайней мере, *не* неуважения к «радикалу», и довольно видному...

Представляю, как стонала его душа... И он вынужден был молчать.

¹⁰ Вот родник его усталости, наверно! Не физической усталости, а душевной. Но уже «вода держала берега», а «берега воду»; уже он вплыл «в это море», и раз вплыл, то куда же деться? На что надеяться? Где лучше? Я как-то думаю, чувствую, что много, много тоски проходит в наших «радикальных душах», вот со склонностью писать «и стихи». Недаром их недолюбливают в том лагере. «Поэзия — опасная вещь». Да, опасная...

Не знаю, правильно ли, но думаю, что Мельшин *вообще* принадлежит русской жизни, русскому уму, русскому строю души, — не без основания в те мрачные годы (начало 80-х годов минувшего века) выбросившийся в радикальную волну и унесенный ею, но по душевному строю к ней вовсе не принадлежавший, и во всяком случае не принадлежавший ей *исключительно* и *истерпяюще*. Эта мысль мелькнула мне год назад при чтении хорошенького воспоминания Веры Фигнер о Лесгафте, — тогда казанской студентки. Страшно впечатлительная девушка, она обиделась за любимого, доброго, ласкового учителя; оскорбилась за причиненное ему оскорбление, и с этого начался ее радикализм; потом ей «объяснили», что «все со всем связано, и если не революция — то *лигной оскорбленности* на Руси — не избыть», и она ушла в революцию. Словом, ее «начинили начинкою» разные тупоумные Петры Лавровы; при общей неразвитости или полуразвитости юнейшей девушки (что-то 17 лет) это легко было сделать. В ту пору нас всех «развивали», и мы все «верили». И замечательная девушка была потеряна ³⁰ для русской действительности.

Мельшину и Фигнер я предложил бы один вопрос, так настойчиво стучащий мне в голову, когда я прочел разные «мелочи» из жизни Белинского:

— Отчего Герцен, так ценивший Белинского, вероятно, имевший авторитет для Краевского, наконец, друг Бакунина и, как он, отрицавший собственность, конечно, в том числе и свою, не помог материально Белинскому, не «разделил с ним чаши», просто не дал ему в своем доме сухой комнаты, когда тот «глотал алебастровую пыль» и задыхался от кашля в сырой и холодной, *вредной* квартирке? Он красиво рассказывал, что «Белинский спорил опять до *крови*» (у него, как чахоточного, при горячих спорах кидалась кровью горлом): но ни разу себе не ⁴⁰ сказал: «*Не буду жив, пока не помогу*». Но даже *известий не дошло*, чтобы он *настаивал перед Краевским*, его *просил*, его *улигил*. Чего же стоят его окрики на Бенкендорфа, когда он морально трусил *приятеля*-Краевского? И чего стоят его протесты против «буржуа», когда он приберег свои полмиллиона и не спас друга, идейного друга, великую ценность для всей России, от болезни, ужаса и отчаяния? Но я не сужу Герцена, потому что пришлось бы судить раньше его — *себя*. Я открываю только этим вам, и Мельшин и Фигнер, чего же стоит вообще *теловегеская порода*, даже при лучших убеждениях и «лучшем развитии», и как после

этого судить нам министров или «постового городского», мокнувшего на улице... Не в этом дело. Вам кажется, «зло» лежит на аршин глубины в земле, и, стоит копнуть, и выдерешь его и «осчастливишь землю» (идея революции, надежда ее, пафос ее). «Ах, в *другие* руки бы *власть!*». Но когда владел богатством и *не помог* Герцен, то вы видите, что «зло» лежит не на аршин глубины, а оно пропитало землю до центра: что отвратительны — *лужище!* и что *спасти* может только Бог... Религия, вера, таинство... Нужно *возрождение* человека, не одного, но вот и Герцена... Да и бедному Белинскому, умершему в чачотке, нужна была вера в «возрождаемость души человеческой», чтобы тоже собраться с силами правительства, перестать трусить *умного* Герцена, и сказать ему, ну хоть в последние дни, встретясь в Париже, когда Белинский уже совсем умирал, а Герцен был также богат: «Эх, Александр Иванович! Врем мы все как Чичиковы: не в Мадзини дело, и не в николаевском режиме, а в том, что ты видел, как я умираю, и рассказывал анекдоты, а не дал мне чашки воды испить».

Вот ведь где ужас-то! Что «правительство», — «правительство» легко исправить. «Поправьте» вы Герцена, «поправьте» Белинского: ну, дайте ему храбрости перед «своими»...

И когда бы вы почувствовали, что до «сердца» земли дошло горе, тоска, лживость, сухость, ну тогда было бы то, причем незачем было бы писать этих строк... было бы совсем все новое, другое...

Не задохся бы Белинский.

Счастливее умер бы Мельшин.

Была бы Вера Фигнер (без шуток) «смотрительницей богоугодных заведений», чем, если верить Гоголю, занимались на Руси «Земляники»...

Вот свет, вот заря... Но ее никогда не будет на Руси. Сказано: «Земля произрастит нам терн и волчцы» и «будет скрежет зубовный». Стара сказка, и надоела, а все на глазах.

ГЕРЦЕН

Н. А. Котляревский закончил в «Вестн. Европы» блестящий очерк — «Общественные настроения 60-х годов», посвященный собственно одному Герцену. Работа — исчерпывающая, подводящая итоги; спокойная, уравновешенная; и все выводы, как и частные замечания, проф. Котляревского можно принять. Бесконечно интересно приведенное им письмо Б. Н. Чичерина к Герцену в пору издания «Колокола»; бесконечно жаль, что *не отыскано* письмо Добролюбова, написанное к тому же Герцену в ответ на его глумление и которое, вопреки обыкновению, Герцен не поместил в «Колоколе». Два эти письма, Чичерина и Добролюбова, как две «координаты», определяют или определили бы (если б письмо Д-ва отыскалось) «местоположение» Герцена в русской литературе и в русском политическом движении.

Центр воззрения Котляревского на Герцена — что это был «человек сороковых годов»; а вся плеяда писателей 40-х годов вылетела из «дней Александровых прекрасного начала», — и в 50-е и в 60-е годы она явно устарела; не умом, не

темпераментом, в особенности — не знанием, а «чем-то»... что назвать трудно, определить невозможно, но что чувствуется в каждом слове, каждом поступке, в стиле, во всем. Кавелин, Костомаров, Чичерин гораздо менее радикальны и прогрессивны, чем Герцен: но вот, подите, в «радикальные» 60-е годы они были «своими людьми», а Герцен был для них стар. Тут именно «что-то», — «неуловимое». Чернышевский выказал почти мистическую чуткость, когда по поводу полемики Герцена с Добролюбовым поехал *лигн* повидать Герцена, и, по словам последнего (в «Колоколе»), назвал его «ископаемым мастодонтом».

10 Прекрасное слово, красивое слово, незабываемое сравнение, обворожительная острота — это был *кумир*, перед которым все меркло для людей невольно-пассивного положения, в каком находились все люди николаевского времени. Герцен был в нем протестант, — но, однако, был все-таки человек *николаевского времени*. Странно сказать: но государь Александр II, которого он осыпал упреками (в «Колоколе») за недостаточно быстрые и недостаточно радикальные реформы, на самом деле стоял гораздо *впереди Герцена*, стоял *наравне* (в одной *новой психологии*) с Чичериным, с Кавелиным, даже, наконец, с кружком «Современника»; и просто — тем одним, что вышел из-под обаяния *слова*, как какого-то фетиша, какого-то «божка», и предпочитал ему хоть маленькое, но *дело!* хоть серенькое, но *дело!!!*

Герцен был последним могиканом слова, «довлеющего себе». Решительно, он зажился; и в пору освобождения крестьян и польского восстания, земства и нового суда, был уже «мастодонтом», или, предпочитая жаргон третьей Думы и полемистов ее, — «зубром». Самый «социализм» для него был главным образом великолепным «литературным полем». Вообще — он был изумительным литератором, вне сравнения с кем-нибудь. Но *человеком жизни* — он не был; ни — всем тем, что вытекает из этого неизмеримого понятия.

Долг, труд, решаюсь сказать — совесть, наконец, «гражданин» вот в этом тягучем понятии, что он «отбывает и воинскую повинность», наконец, даже «человек» вот в этой горькой истине, что нельзя и не дозволено им называться, не вспахав своими руками полоски земли (Толстой, Библия): все это суть исторические положения, исторические ситуации, до которых *не дотянулся* Герцен. Отвратительное слово «барин» все-таки приложимо к нему. Пусть он звал к «топорам» — и все-таки был «барчук» с музыкой. «Музыка» его была прелестна: и все-таки все отравлялось сознанием, что это — музыка «барчука» и «ничего-недельщика» (простите варварское слово). Даже как-то чудовищно и наконец позорно подумать, что он, столько лет прожив, — все *только писал*. И писал все *свои мысли!!!* Даже тюрем в Лондоне не осмотрел, как это сделали люди *новые*, Диккенс (одно из странствий Пикквика), наши Чехов, Мельшин и друг. Решительно ничего не «щупал руками», а все выдумывал!! Тридцать лет выдумывать *из головы* — это чорт знает что такое! Просто — неблагородно. «Благородство» в смысле «чистеньких рук», доходящее до «неблагородства»! Он на «топоры» оттого и указывал, что срубить березу еще мог в порыве, а вот из березы выделывать какой-нибудь инструмент, сколотить стол, сделать соху, борону — решительно бы не мог. И посади-ка бы его «во власть» на случай «освобождения крестьян»,

ну — на трон: то он сделал бы несравненно менее Александра II, ибо менее его был *трудопособен и скромен*; он все бы измял, все бы искровянил, и в конце концов, ничего не сделав, заехал бы от отчаяния в такую реакцию, какая нашему правительству и не снилась, или истерично выкрикнул бы, еще в большем отчаянии и сохраняя «noblesse» *: «А, ничего не разберешь... Рубите всех и освобождайтесь сами!». Лень... Разве не ленью звучат эти слова его: «На себя только надейтесь, на крепость рук своих: заострите топоры, да за дело — отменяйте крепостное право снизу! За дело, ребята: будет ждать да мыкать горе» («Колокол», № 25). Это — голос барчука-Дубровского, из эпохи 20-х, 30-х годов прошлого века; это голос «мрачных героев» *детских* повестей Лермонтова. А Герцен печатал это уже в старости, печатал в 1858 году!!! Конечно — «мастодонт» или «зубр».

Читать выдержки из его «Колокола» (у Котляревского стр. 149–151 июльской книжки) — просто отвратительно, по фразистости: точно куплеты из «Черной шали» Пушкина.

Гляжу я безмолвно на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

Для *нашего времени* это совершенно несносно: и так понятно, что «кормило власти» было взято из рук его молодежью «Современника»... Из рук его это «кормило» просто выпало по старчеству, по их слабости. Ну, что мог юноша-Дубровский со своими «кинжалами» и «пулями» в толпе добропорядочных людей, как Кавелин, С. М. Соловьёв, Чичерин, Самарин, И. С. Аксаков. Среди них Герцен был как игрушечный «конек» детской комнаты, как «пистолет», стреляющий пробкой.

И он «палил» из своего «Колокола», никого не пугая, не восхищая, и все изумляясь. Почему так мало впечатления (после первых и очень *коротких* успехов)... И тот же Чернышевский опять очень пронизательно его определил «лишним человеком» (термин Тургенева).

«Я — лишний человек», — передавал свою беседу с ним сам Герцен («Колокол»). Да, «Гамлеты» водились не только в «Шигровском уезде», заезжая и «в Лондон».

Котляревский очень деликатно, но вместе точно и *строго* отрицает в нем совершенно способности политического агитатора, политического бойца, вообще политического человека. Он делает это очень органично, связывая отсутствие агитационных даров со всей суммой духовных особенностей Герцена, и даже с *преимуществами* его разнообразного ума, развития, душевной мягкости, многосторонности.

* * *

Он зажился, человек «Александровской эпохи»: и лучи совершенно новой эпохи, пав на это старое лицо, заиграли на нем каким-то неприятным и ложным светом. Точнее, наоборот: в лучах нового взошедшего солнца лицо это вдруг пе-

* «достоинство» (фр.).

редернулось некрасивыми чертами, показало в себе ложные краски. Объяснение: почему мы не должны «вечно жить» (забота Мечникова), *даже огонь долго жить*, почему мы должны «вовремя умирать». Некрасиво «с лицом одной эпохи» появиться «в другой эпохе».

В 60-х годах все закипело работой, деятельностью... Герцен был к ней не способен, *даже литературно*. С пером в руках, он не мог стать *нигему пособником*. «Я родился сказать русской жизни *иронию*», — великолепно он формулировал себя; но ведь в пору освобождения крестьян за такое великолепие можно было только высечь розгою (что с ним и сделал Чернышевский при разговоре). Поднялся вопрос об учении крестьянских ребят. Ушинский стал писать свои великие работы и учебники: что такое они были для Герцена? Он и *понять* их не мог, у него все была «Черная шаль» на уме. Пирогов писал «Вопросы жизни»: вот *новая литература*, — нашего уже времени!! Начались воскресные школы; стали создаваться, то украдкой, то насильно «женские курсы» всех родов: что тут мог Герцен, как было приложить к этому его фразы: «Вам следует снять корону, если вы не можете сразу освободить крестьян» (обращение к Александру II). Начиналось земство и земская медицина; Герцен фразировал: «Царских мантий в два цвета нет... Ступайте в монастырь» (тоже обращение к государю, в № 97 «Колокола»). Он становился *комиген*; неудержимо, с лицом и в позе трагика, он начинал вступать в роль *комика*. Это положение до такой степени печально и страшно, что оно похоже на казнь. Тоном «казни» и проникнуты его последние писания. Н. А. Котляревский, мне кажется, чуть-чуть ошибается адресом, относя этот тон к его скорби об обществе, о судьбах его, о судьбах России... Не таким тоном звучала его прелестная литература, еще «40-х годов», в первое время по выезде из России. А положение общества, нашего и европейского, было тогда еще несравненно мрачнее. Наконец, именно в самое последнее время, вот когда у него слышались стоны, он был принципиально против мрачности.

«Сойдут скоро со сцены эти *желтевики* (от „желчь“, неудачное прозвище, каким он окрестил сотрудников „Современника“); они слишком угрюмы, слишком действуют на нервы, чтобы долго удержаться. Жизнь, несмотря на восемнадцать веков христианских сокрушений, очень языческим образом предана эпикуреизму и *à la longue* * не может выносить наводящие уныние лица невских Даниилов, мрачно упрекающих людей, зачем они обедают без скрежета зубов и, восхищаясь картиной или музыкой, забывают о всех несчастиях мира сего... Нас поражает торопливость, с которой эти люди отчаиваются во всем, злая радость их отрицания и страшная беспощадность. После событий 1848 года они были разом поставлены на высоту, с которой видели поражение республики и революции, вспять идущую цивилизацию, поруганные знамена — и не могли жалеть незнакомых бойцов. Там, где наш брат (! — В. Р.) останавливался, оттирал, смотрел, нет ли искры жизни, они шли дальше пустырем логической дедукции и легко доходили до тех резких, последних выводов, которые пугают своей радикальной бойкостью, но которые, как духи умерших, представляют сущность, уже вышедшую из жизни (? В. Р.) — а не жизнь. Это освобождение от всего традиционного доставалось не здоровым, юным натурам — а людям, которых душа и сердце были поломаны по всем составам. После 1848 года в Петербурге нельзя было

* долго (фр.).

жить... Чему же удивляться, что юноши, вырвавшиеся из этой пещеры, были юродивые и больные? Потом они завяли без лета (?? — В. Р.), не зная ни свободного размаха, ни вольно сказанного слова. Они носили на лице глубокий след души помятой и раненой. У каждого был какой-нибудь тик, и сверх этого личного тика, у всех один общий — какое-то снедающее их, раздраженное и свернувшееся самолюбие. Половина их постоянно клялась, другая постоянно карала... Да, у них остались глубокие рубцы на душе. Петербургский мир, в котором они жили, отразился на них самих; вот откуда их беспокойный тон, язык *saccadé* ** и вдруг расплывающийся в бюрократическое празднословие; уклончивое смирение и надменные выговоры, намеренная сухость и готовность по первому поводу осыпать ругательствами, оскорбительное принятие вперед всех обвинений и беспокойная нетерпимость директора департамента... Добрейшие по сердцу (!) и благороднейшие по направлению, они, эти желчные люди наши, тоном своим могут довести ангела до драки и святого до проклятия» («Колокол», № 83, 15 октября 1860 г.).

Вглядитесь, вслушайтесь, как летит эта речь... В ней ничего конкретного, осязательного, ничего *матерьяльного*... Чистый *словесный спиритуализм*, без всего *содержимого*... Это соловей закрыл глаза и поет о чем-то, едва касаясь «легкими перстами» темы. Дело не в теме, а в музыке. И где бы, на какой странице мы ни открыли бы Герцена, всюду мы найдем эту в сущности монотонную психологию: певца, счастливого своею песнею. Слишком много счастья... Нигде Герцен нас не *измугит*: странно для стольких лет литературной деятельности. Нигде не приведет примера, от которого бы волосы зашевелились на голове: а ведь бывает такое, в жизни бывает. Ну, что жизнь: лучше литература! Нет, в самом деле: в восьми томах нигде отчаяния? Той давящей, *гнусной* тоски, в которой человек вдруг заползает по полу на четвереньках вместо того, чтобы ходить «по-человечески» на двух ногах. А тоже бывает. Воют люди, ползают... Но соловьиная песнь несется... Изумительный литератор, Герцен был только литератор. Он был не только не боец (Котляревский), но, можно подозревать, что и как человек он был «кое-что» и не более. Придеремся еще раз: тюрем он не осмотрел, в Уайт-Чепел (квартал проституции в Лондоне) он не пошел; и вообще не имел любопытства никуда «заглянуть». Не подглядывающий был человек; скорее уж жмурящийся. Скажем демократически: без белого воротничка не вышел бы на улицу. Пусть он ответит нам, что такой взгляд есть пошлость: сохраним эту пошлость. Как, ратуя всю жизнь за «пролетария», ни разу не понюхать зловонного тряпья, в которое одет и обут «этот Джон», «тот Жак», «наш Яшка»... Но ничего *конкретного* и *нигде*, из этой области, не встречается у Герцена. Все — схемы, везде — идеи, всюду — пафос, непрерывно — звон. Такая музыка в конце концов надоедает. Герцен восхищается, но на неделю. Через год он становится нестерпим. Я подозреваю, что тайная и *главная* причина стонов «в конце» заключалась в том, что он сделался нестерпим сам себе, как человеку вкуса и ума; что ему было отвратительно дальше *так же писать*, а иначе он не мог.

Скучно, скучно!.. Ямщик удалой, —
Разгони чем-нибудь мою скуку.

* отрывистый (фр.).

Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор или разлуку.

Когда раздались эти песни, это *конкретнейшее из конкретнейшего*, читатели Герцена, я думаю, вздохнули с необыкновенным облегчением, как после осмотра «собора в стиле рококо» выйдя на лужайку, на село, на улицу, и сказали: «Вот, слава Богу, отдохнем!! Вот *живая* литература, *теперешняя*... Ну их к чорту, эти «рококи», эти завитушки красноречия, эти «восемнадцать веков христианских сокрушений», эти «Даниилы на Невском», и вся эта ахиня нашего окончательно состаревшегося Александра Ивановича... Сухо, сухо это... Нет влаги. Нет сырости. Нет болотца, кочечки. Не пролетает дупелек... Какое чудо, какая свежесть этот несколько плутоватый Некрасов, играющий в картишки, чорт его дери, но посмотрите, что он поместил в последней книжке «Отечественных Записок»:

Дом не тележка у дядюшки Якова,
Господи Боже, чего-то в ней нет!
Седенький сам, а лошадка каракова.
Вместе обоим сто лет...

Герцен угас: потому что загоралась заря *народнигества*, народных движений в жизни, народных тонов в литературе, — сельских, пожалуй «с выпивкой», фабричных, опять, извините, «с дракой», с фигурами битыми и бьющими, гуляющими и работающими, «разблаженными» и «разнесчастными»... как всех «Бог сотворил»... И в заре этой потускла его *искусственная*, т. е. ложная, звездочка, казавшаяся такой великолепной лишь на пустынном небе николаевских времен, когда стихов было много, жандармов тоже много, и никакой прозы, ни одной идеи. Тут-то он и взвился каскадом идей и великолепной умной прозы почти во всех родах: но прозы нигде не гениальной по силе или новизне, и как-то бездельной... Образов, сравнений так много, что хоть открывай базар: но ни одной «idée fixe» *, тоскующей, *грызущей* мысли. Где центр, зерно, из которого бы вырос *весь Герцен!* Такого нет. Странно для писателя такого огромного значения. Все великие люди, умы, поэты, были «монолитны»: но Герцен весь явно «составлен» из множества талантов, из разных вдохновений, из многообразной начитанности. «Своей природы» у него гораздо меньше, чем «впечатлений со стороны». Но и впечатления эти только «хорошо обработали его наружность», но не заязвились ни одно в сердце... «Не могу лучше писать» — главная горечь всей жизни. «Публика перебегает к „Современнику“» — последнее отчаяние. Странно, дико и, наконец, некрасиво. Потому что настоящая красота растет изнутри, а не наводится снаружи... Если «душу» определять по составным элементам нашего *согрус'а*, то среди костлявых и твердых людей, сердечных и пылающих, «жилых» и неотвязчиво-упорных и т. д., и т. д., мы назвали бы Герцена *кожным* человеком: сила токов, крови, талант нервов — все бросилось у него «в лицо», в «наружные покровы» тела, все напыжило их, напрягло, создав в своем роде единственную фигуру и образ, на который «заглядываешься»...

Как «на выставку»...

Но «на груди не заснешь» у него...

* «навязчивая мысль» (*фр.*).

РЕЛИГИОЗНЫЙ «ЭКЛЕКТИЗМ» И «СИНКРЕТИЗМ»

(Из воспоминаний о Влад. С. Соловьёве)

Г-н Толстой напечатал письмо в редакцию «Нового Времени», в котором, сославшись на свидетельство нескольких лиц, рассказывает о «католическом причащении» Вл. С. Соловьёва.

Без сомнения, дело именно так и было, как передает он, и фактический рассказ только подтверждает теоретические догадки. Т. е. что Влад. Соловьёв принял католическое причащение и благословение от папы, не *отрекаясь от православия*; а с другой стороны, известно, что он предсмертно исповедался и причастился у православного священника, не *раскаиваясь и не сожалея о католическом своем причащении*.¹⁰

Это — религиозный *синкретизм*.

Добавлю к воспоминаниям Толстого маленькую подробность из своих воспоминаний, могущую *внутренно* объяснить поступок Вл. Соловьёва и вообще всю сумму его отношений к двум церквам.

* * *

В пору участия в «Мире Искусства» я написал маленькую статью: «Классификация славянофильских течений». Заглавие было другое, но тема — эта. В конце ее было указано и «место Влад. Соловьёва», так как уже постоянным интересом к церковному вопросу он несомненно принадлежал к *славянофильскому крылу русской литературы*, чуждой церковного интереса во всяческих своих «крыльях» и всем вообще «оперении» и в целом теле. Рукопись (затерявшуюся потом у Д. В. Философова, соредактора «Мира Искусства») я показал Влад. Соловьёву, только что тогда со мною познакомившемуся. Он ее принес мне через неделю с одобрением и с просьбой изменить только одно слово.

— Какое?

— Вы даете мне историческое положение *эклeктизма*...

— Ну, да! У вас есть много славянофильского, и в то же время вы — пылкий западник. Вы православный, и в то же время защищаете католичество. Когда вы полемизируете с позитивистами, — вы выступаете как христианский философ или, по крайней мере, как представитель немецкого философского идеализма, а когда вам надо поразить профессоров духовных академий или Грингмута и «Московские Ведомости», или Данилевского и Страхова, — вы говорите жестким языком позитивистов и естественников, их тезисами, их аргументами, их смехом. Вы *ни в одном лагере*, и в то же время *принадлежите ко всем*, смотря по моменту борьбы и позиции воина. Я не осуждаю этого и вообще не вмешиваюсь в это, а только определяю это как *эклeктизм*.

— Против определения я и не спорю, а только хотел бы, чтобы вы употребили другое слово — *синкретизм*.

— Это еще что за зверь?

— Почти то же, что «эклeктизм», но другого оттенка. Эклeктизм есть внешнее приспособление вещей друг к другу, понятий друг к другу, философских систем

друг к другу. «Эклектик» обычно не имеет никакой своей идеи; например, в философии — это вовсе не философ. Не дорожа, в сущности, никакой идеей, в вере — ни одною верой, в политике — ни одною партией и программой, он старается их все «примирить» между собою, согласовать между собою, отрезывая там одно, здесь — другое и все сшивая непрочными нитками приспособления и удобства. Это дело холодное и бездушное. Прежде всего, дело внешнее. Когда философы умирают, священники умирают, бойцы умирают, — на поле битв их выступают ловкачи-«эклектики», уверяющие, что никакой *борьбы* и не надо было вести, что все согласно между собою или согласуемо через самые маленькие уступки, почти только в словах...

Я распространяю его мысль, но, конечно, «эклектизм» — именно это.

— *Синкретизм* же совсем другое. В философии Кузен был эклектик; но если вы будете читать историю греческой философии, то вы найдете там целые эпохи *синкретизма*, когда дотоле *раздельно и противоположно* существовавшие философские течения неудержимо *сливались в одно русло, в один поток, преобразовывались в одно более сложное и величественное учение*. Это — дело внутреннее, дело горячее, дело *плавки*, а не *околачивания*.

Он ходил по комнате.

— И вот мне хотелось бы, чтобы вы применили ко мне *это* понятие. Потому что об «удобствах» идейных я не хлопочу; но мысль *примирения* и *слияния* меня занимает... Точнее, я чувствую, что *во мне сливаются* многие явления, дотоле существовавшие отдельно и даже враждебные...

Повторяю: *к ходу* разговора и *мысли* его я ничего не прибавляю и только для читателя вставлял побочные объясняющие слова и примеры. «Я — *синкретист*, а не *эклектик*», — вот была защита Соловьёва. Немного он конфузился при этом, беря себе высший ранг, и вообще речь его была трудна, тяжела для него. Я немедленно согласился с ним и поправил всего одно слово. Нужно заметить, однако, следующее: как статья была написана о «классификации славянофильства», то «синкретизм» или «эклектизм» касался собственно *западничества* и *славянофильства*. Но едва он начал говорить, как я почувствовал, — и он видел, что я это чувствую, — что «славянофилы» и «западники» совершенно исчезли из поля нашего общего духовного зрения, и мы говорили о *христианстве* и о *церквах*, вообще о *религии* и *религиозных* течениях. Все вероисповедание его, сверкнувшее в этой борьбе слов, — «эклектизм» или «синкретизм», — можно выразить так: «Весь христианский мир разделен... Это же — боль, скорбь и позор! Христос основал *одно* уже потому, что Он зерном всего дела поставил *любовь* и *мир*. Вот я и есть эта пламенная личность, не напрасно родившаяся в мир, которая сквозь слезы и муку начинаю *соединять* в себе, *сплавливать* в себе (синкретизм) противоположные исповедания, кляня распря и раздор, наполняющие собою христианский мир».

Опять я ни на йоту не отклоняюсь от его мысли, хотя слова «вера» и «христианство» не были даже произнесены. Но мы говорили *только именно о христианстве* и *вере*. Слово «синкретизм» было просто смешно в применении к литературным партиям... «Что им Гекуба?..» И в сущности как он, так и я вовсе почти не интересовались «славянофилами» и «западниками», хотя и ломали за них другое: «вера» — «атеизм», «душа» — «материальный мир». Когда же зашел разговор о «синкретизме» и «эклектизме», то мы уяснили *роль Соловьёва в распре церквей*, — в тысячелетней распре, — и только.

Сюда и падает рассказ г. Н. Толстого, конечно, верный и точный, ибо он вытекает из всего существа дела. Как *сплавить* церкви между собою? Подите-ка, со­з­ывайте «вселенские соборы» и вторично «пересматривайте на них догматы». В *дебри* забредете, и никакой это *лигности* недоступно. Что же может сделать тут *лицо, гас­т­ный человек*, Владимир Соловьёв?

Были Волконские, Мартынов, Гагарин, Печорин, которые *переходили в католигество*. Но это ни одной крупницы не клало на весы *соединения церквей*, ибо все они в миг перехода *отрекались от православия*. Распря оставалась зияющею, та же.

Владимир Соловьёв сделал шаг совершенно в *сторону, глубочайше оригиналь­ный, лигный*, — и которого *помешать ему сделать никто не мог*: он причастился Св. Тайн *под одною* формулою и *под другою*, признал *своими* обе *иерархии* и через это стал *католико-православным* или *православно-католиком*...

Факт этот был *утаен* им потому, что ни русская администрация, ни русский суд, конечно, не стали бы входить в его идеи о «синкретизме» церквей, а просто *и формально* приняли бы причащение по католической форме и от католического священника за *переход в католигество*, — у нас с мыслью и движениями души обращаются не нежнее, чем с мешками овса в амбаре. И с Соловьёвым за выполнение замечательного религиозного начинания поступлено было бы суровее, чем с облившим серною кислотою чужое лицо. Между тем поступок его мог по­лучить все свое значение только при открытости, гласности, — только в случае, если бы из *лигно­го дела* он превратился в общий *вероисповедный вопрос*. «Можно ли так поступать?» «Что из этого выйдет?» «К чему это поведет или могло бы по­вести в веках?»

* * *

Г-н Толстой говорит, что «достаточно прочесть сочинения Соловьёва, чтобы увидеть, что *душою он был католик*». Тут нужно много приписать полемичности Соловьёва. Он писал в России, где на католиков постоянно и только нападали. Уже в силу совершившегося в нем «синкретизма» он не мог не считать себя при­званным *отражать эти нападения*. И, «отражая», естественно, казался как бы одетым в католическую пелерину. Затем, несравненно большая *активность* католицизма, активность его в истории, в междуплеменных отношениях, в высшей степени отвечала подвижной, неугомонной натуре философа. И последнее: его философским даром просто претила «короткость», условная правда, неискренность, уклончивость и, особенно, во всех направлениях недоведенность до конца православного умозрения, православной догматики, православных богословских систем. Напротив, в католичестве «догматика» уже со Средних веков была утонченнейшею философскою системою. Там «богослов» всегда был синонимом «возвышенного философа»: история средневековой «философии» есть в то же время история «католического богословия». Там умозрение — живой орел: у нас — замерзшая на улице галка.

Но когда раз в полемике я заметил ему с негодованием, что в католических храмах никогда не видно *детей*, и что это надо связывать с тем, что там детям *не дается пригастия*, он в ответной бранливой статье оговорился: «Обычай католи-

ков не давать причастия *детям* я не считаю *правильным*». Это было в пору самых патетических выступлений его за католицизм и самых желчных слов о «наших церковных делах»... Но и полемика не толкнула его высказаться за обычай, явно антипатичный. Между тем этот «обычай» столь же явно рационален, философичен, последователен. Причащение дается «во оставление грехов», и католики и дают его только возрасту «грешному», зрелому, «искупительному»; дают лишь *после* исповеди, *после* раскаяния. Таким образом, «Христовый момент» у них связан с неперменным «Предтеченским моментом»: сперва — покаяние, потом — избавление. Но православные «все сбили в кучу». «Не надо философии, 10 какая философия»... «Какая *радость* причаститься! А уж если *радость*, то как же, взрослые, *мы все причастие возьмем себе одним?* Идем туда и с мамками, и с бабками, и с малыми детьми»... И вышло *глупее*, но *народнее*; не так закруглено в мысли, но как-то явно более «по-христианскому», чтобы «всех заключить в любовь», всех «простить и помиловать». Больших «умозрений» у нас оттого и не вышло, и никто у нас не придает им никакого значения; с «умозрениями» непременно запутаешься; ведь все философские системы *спорят* между собою. А «спастись» всем нужно, и «уж Бог, Батюшка, — Он спасет нас, как знает Сам...». Нам этом вся Русь, весь Восток стоит. С этим можно связать и отсутствие у нас, *уже в светский период*, в XVIII и XIX века, философии: не изощрились, не приготовились, 20 не истончили способностей, пока только верили. На Западе же после Дунс-Скоттов и Оккамов, естественно, родились сейчас же Декарт, Бэкон, Кант.

Вернемся к Соловьёву: как *полемист*, как *писатель*, он «был католиком» (Н. Толстой о нем); но как «жилец мира» он оставался «православным». Сила православия — не в умозрении, а в быте. «Как жить», «как чувствовать», как «созерцать», — не в диспутах, а «у себя дома», — вот на что отвечает православие. Обращу внимание на следующее: с 90-х годов прошлого века в русской литературе, в стихах, в рассуждениях, даже в критических статьях, сделались весьма частными ссылки на св. Франциска Ассизского. Он сделался каким-то «литературным русским святым», притом «единственным святым» русской интеллигенции. 30 Казалось бы, Соловьёву, как вот «католику», поддержать это, повторить это. Но можно поразиться, наоборот, следующим: везде, где дело заходило о нравственном образе человека, об идеале души человеческой, Соловьёв ссылался непременно на «праведного русского человека» или на «греческого старца», т. е. непременно брал примеры и образцы на Востоке, а не на Западе. И это — невольно, непреднамеренно и бессознательно. Т. е. его «домашний идеал» был православный, притом не ученый, вот «и с детьми», Франциска же Ассизского, великого светоча католического аскетизма, он даже ни разу не упомянул. Но все помнят его старца «Пансофию» (в «Трех разговорах»), как и ссылки на то, что вот как-то «водится в хороших монастырях», или «один старец пустынный (греческий) 40 сказал»... И проч. Вообще, «интимное его души» жило, порхало и питалось нектаром восточно-греческим, а не западно-латинским. Это явно! Этого можно не заметить, пока не обратит внимания; но едва станешь всматриваться, как очевидно различишь, что православие было Соловьёву сердечно ближе, сердечно понятнее, сердечно достовернее католичества. В смерти и исповедании его (у православного священника) — *вся и окончательная истина*.

Нельзя не сказать, что и в «синкретизме церковей в душе своей» он поступил как *русский*: подобного поступка нельзя вообразить себе у католика! Католицизм

не только как система, но и как всякая единичная душа неуступчив, воинствен, наступателен. «Римская душа» и «бронзовое литье». Напротив, у русских это — почти *система*: уступать, мириться, не спорить. Оттого «миссионеры» у нас так несимпатичны (не *народны*), а в католичестве, это — «душа всего» (конгрегация «de propaganda fide», иезуиты, да и все ордена раньше их). Соловьёву даже и на ум не пришло попросить у папы, у кардиналов римских, у учителя и друга епископа Штроссмайера, чтобы они дали в обмен «на его душу» (Влад. Соловьёва) «душу какого-нибудь хоть завтрашнего католика», т. е. чтобы в то время, как он (Соловьёв) причастится по католическому обряду и от католического священника, не отрекаясь от православия, — в это же время для полноты и обоюдосторонности «синкретизма» какой-нибудь католик причастится у православного священника, по православной формуле, и тоже *не разрывая с католигеством!* Бедный, робкий и умный Соловьёв, он знал, что *этого никогда не будет!* Что ни папа, ни кардиналы, ни сам «отец духовный» и вместе «друг-единомышленник» его, Штроссмайер, этого поступка *своему не разрешат!* Он видел и даже не решился попросить, — не спросил: «А вы?» И тонкий ум его не мог не видеть, что никакого «синкретизма» нет, а есть только русская мечта, русская тоска по «разделении», великодушный порыв русского «всечеловека»... И в душе, в глубочайших ее тайниках, он не мог не отпрянуть назад, к своим «старцам» русских монастырей. В самом деле, сколько лет прошло, и ни один-то, ни один католик не причастился «по-нашему», т. е. ни одному не указал этого «синкретизма» его философствующий духовный отец в сутане. Ничего взаимодействующего...

Поступок Соловьёва единичен; но мысль этого поступка носит, и притом независимо от примера Соловьёва. Русские, созерцающая общую концепцию христианства, действительно оплакивают его разделение и бытие отдельных, не *собщающихся между собою церковей* принимают как упразднение самой идеи «церкви», конечно, единой. «Един Христос, едина церковь». Разнообразие обрядов и даже вероисповедных систем, самых, наконец, «символов веры» еще не рушило бы дела, если бы над ними господствовала любовь, высший принцип христианства. Но вот этого-то и нет. За разделением в догмате и обряде последовала *вражда*, т. е. угасание самого *света христианства*. Где «вражда», взаимное «презрение», там уже какой «Христос»? Его нет, Он удалился... Поэтому у многих русских бродит мысль не о «соединении церковей» через гармонизацию вероисповедных формул, что недостижимо по вечному свойству ума «спорить», — а о полном уравнении и примирении между собою церковей через выдвигание высшего христианского принципа: любви и примирения. Пусть все и останется разделенным и разнообразным: но пусть верующие, исполняя «свое» в каждой церкви, запретит себе всякую вражду к «по-своему», православные — к католикам, католики — к православным, те и другие — к лютеранам и обратно. Конкретно: пусть каждый подходит «под благословение» и священника иной церкви, а бывая в чужих странах, и принимает все таинства другой церкви, «по нужде» и потому что «ближе», да и, наконец, с полным сознанием, что это — «одно в разных формах», что исповедь, причастие, крещение *действуют* «во избавление грехов» везде, где они совершаются с верою во Христа, Евангелие и апостолов. Мысль эта бродит, и мне приходилось ее слышать от православных священников, притом такого «строгого стиля» и такой «непоколебимости» в православии, что «дальше некуда», — правда, в то же время очень разумных, очень размышляю-

щих (увы! — их немного). Таким образом, «синкретизм религиозный», о котором мечтал Владимир Соловьёв, есть *факт* в душе многих русских: «никакого разделения не чувствуем! никакой вражды не ощущаем!». Это только не выговорено вслух, не сложилось «в теорию», не стало предметом обсуждения в печати. Но *ожидать* этого было очень естественно, и именно с русской стороны, по объясненным чертам русского характера. Притом, — я опять это повторяю, — мысль об том высказывается (мне устно, мне в письмах) в самых «кряжах» православия без единой ниточки «отщепления» от своего, без всякого «шатания» и «измены», — исключительно от боли о «разделении» и «вражде», которая ¹⁰ принимается за что-то темное и демоническое. Это подспуднее, чем случай с Соловьёвым, который все-таки был «литератор» и «интеллигент»...

* * *

Разница между католичеством, православием и лютеранством (включим и его, ибо и о нем болит) следующая:

Католичество, это — великая сила организации, талант организации. У нас все это слабо, у лютеран тоже слабо. Наконец, у католиков великий жар нападения, атаки, бой. У нас этого совсем нет, у лютеран слабо (хотя все-таки больше, чем у православных). Наконец, у католиков громада тонкой мысли. У нас вместо этого — путаница, у лютеран — благочестивая жизнь, «пиетизм». Сила мысли ²⁰ перешла у них в философию, в богословия ее не осталось. У католиков — действительно слова Христа, сказанные одному и исключительно апостолу Петру («паси овцы Мои»).

Сила и красота лютеранства в частности. Честность эта обняла собою и мысль, и жизнь. Возьмите суждение лютеранского богослова и церковного историка, с одной стороны, и православного или католического, опять церковного историка и богослова, — с другой. Русский, итальянец, француз, грек, берясь за книги, за рукописи, за документы или начиная «строить умозаключения», смотрит не на *материал свой*, а на то, что «ему нужно доказать». Истина у него «заранее существует», есть «данное», которое надо *оправдать*, и только. Эта истина есть ³⁰ просто «старое учение», есть «вчера» богословия или привычных исторических изложений. «Весь вопрос идет об Иловайском»... «Святыня» — в Иловайском, т. е. в традиции и в привычке. Это значит, что «святыни» вовсе нет, и «истины» тоже никакой нет. Нет и в высшей степени не нужно, окончательно не интересно. Это до такой степени есть «общий метод» и православия, и католичества, что он объемлет самые высокие умы, самые добросовестные характеры, самые высоко настроенные души. «Все уже известно, и если мы пишем *вновь*, то для того только, чтобы убедить темных и злых. Но умным и благим ясно: это — Иловайский». Поэтому подделка историческая и «кривотолк» в суждении, это — две ноги, на ⁴⁰ которых стоит весь «человеческий организм» восточного и западного «богомышления». Например, ведь совершенно ясны, непререкаемы, не допускают ни перетолкований, ни дополнений или упущений слова Христа апостолу Петру («паси овцы Мои»). Явно, что тут стоит перед православным море, в которое оно никогда не всплывало мыслью, умозрением. Но уже все равно, «не всплывало» и «решилось не вплыть»: многотомные труды исписаны и том, что «Христос

все говорил всем апостолам, *толпе* их, и ничего особенного и исключительного не говорил одному Петру: и подsunуть нравственный мотив французской революции: «fraternité, égalité» *. «В толпе учеников Христовых были fraternité и égalité, а потому они все слушали разом, и ничего для себя лично не было выслушано апостолом Петром». Это есть явное вранье; но все равно, уж его нужно «доказать».

То же о монашестве. «Епископ должен быть единые жены мужем», — слова апостола Павла. Да, но монашество — наличный факт, и все доказательства сводятся к тому, что «ни единый епископ не вправе иметь жену».

То же о времени и месте крещения св. Владимира: профессор Голубинский нашел новые данные, говорящие, что он был крещен и не *там*, и не *тогда*, как «все учили по Иловайскому». Ему дали медаль, выдали денежную награду, но печатать труд запретили.

То же изображения с равноапостольного царя Константина Великого: на тысячах монет, до того бесчисленных в нумизматике, что оне ценятся по 50 копеек, он изображен без бороды, и вообще портрет его совершенно достоверен. Но «уже Иловайский изобразил его с длиною брадою», и теперь перемена невозможна. Все и всегда будут подписывать под иконою славянскою вязью: «Св. Равноапостольный Константин», а рисовать над надписью не его, а неведомое лицо, при-
20

близительно отшельника из киевских пещер. Это — миниатюры. Но оне — метод, прием. *Инаге*, чем эти миниатюры, вообще нет ничего в католических и наших историях, в католических и наших рассуждениях.

Истина дана. Это — «вчера». Ее нужно доказать. Вот для чего существуют материал и библиотеки.

Лютеранин подходит к библиотеке, можно сказать, «перекрестясь»... Подходит «со страхом и трепетом»... «Бедный я человек; ничего не знаю *сегодня*... Но я буду сидеть дни и ночи, буду корпеть годы, и, может быть, в конце ряда лет мне откроется, что Моисей перешел через Чермное море не 20-го августа, как пишет Иловайский, а 21-го августа. И я водружу в священной науке *новый факт!*» Я несколько улыбаюсь, говоря о «20» и «21 августа»; но, в самом деле, наука лютеранская вся проникнута этим: «буду верен в *малом*, — и Господь поставит меня над *большим*». Она начинает с мелочей, с глубочайшим благоговением к мелочам и с клятвою верности — не слукавить в мельчайшем из мельчайшего. Но отсюда *шаг за шагом* она поднялась до вершин, до «столпов веры», до «звезд религии». Наука германская вся свята, религиозна и есть в точности, «*sacra scriptura*» **. Но все это — от Лютера. До Лютера и немцы лгали, как итальянцы или французы, — как все католики. Лютер дал «клятву верности» не говорить «лжи». Вся Реформация в этом и состоит.

Это — в мышлении.

Но то же и в жизни. Немецкий негоциант, заехав в Суматру, не обсчитает туземного царька на десять пфеньгов. И то же — немецкая горничная свою барыню; то же — министр финансов свою страну. Это и образует «немецкую культуру», не гениальную, но где «все в порядке».

* «братство, равенство» (фр.).

** «святое писание» (лат.).

Но организации таланта, гения и, наконец, «сокровенной сущности» религии не ищите там. Все и кончается тем, «когда же Моисей перешел через Черное море: 20-го или 21-го августа?». «Скрижалей завета» никогда там не читалось, ни с Синая и никаких. Производя умопомрачительную «библиотеку» по предмету «церкви» и «религии», они лишены вовсе чувства первой и чувства второй и даже не знают, что это такое, — иначе как в форме представлена о толпе добропорядочных людей, поющих по временам псалмы и для чего-то читающих Евангелие.

- 10 «Честная жизнь» и «честное мнение» сделано для них как будто не нужным самое «искупление»... Для чего оно? Финансы в исправности, на улице порядок. Зачем заповедь «не укради», когда никто не крадет? И они живут без заповедей, без тайны и Бога. У них есть феномены религии. Но ноумена религии у них нет.

* * *

- Православие же и католичество различаются между собою, как деревня и город, или даже не город, а его администрация, и даже одна центральная администрация. «Бюро, превосходно работающее» — вот католицизм. Деревня, с ее распушенностью, невзыскательностью, с «случайным» в житии ее, с ее «претерпеванием», с ее «каждый может прийти и обидеть», «каждый может прийти и обмануть», с воров, всегда «не пойманным», с приказчиком, обсчитывающим, кулаком «прижимающим», — вот Восток вообще и, в частности, православие. Его привлекательная сторона — в безбрежности и просторе. «Каноны» страшны, но никто их не исполняет, и никто не следит, чтобы кто-нибудь исполнял. Во множестве случаев русский два раза соприкасается с православием: когда его крестят и когда его хоронят. Во всю остальную жизнь, т. е., в сущности, всю жизнь, работая, думая, живя, сочиняя, он не имеет нужды «даже взглянуть в ту сторону, где лежит православие». Это такая вера свободы, какой ни одна вера, ни синагога, ни старое язычество не допустили бы; и ее нигде еще нет в христианском мире. Мы поэтому только ее не чувствуем, что не знаем нигде из нее исключений. Вся русская литература XVIII и XIX веков могла вырасти только при условии этой страшной, хочется сказать — дикой свободы. Тургенев как-то ответил, когда ему в споре привели одно изречение Христа, что он этого не знал, потому что «никогда не читал Евангелия». Есть такие и в католичестве: но отщепенцы от веры, враги церкви. Между тем Тургенев ни с кем во «вражде» не состоял и ни от кого не «отщепился». «Жил православным и умер православным». Он «отщепился» было от молодежи, — от гуманной, свободолюбивой и великодушной молодежи. И какую мукою прошло по нему это «отщепление», чего оно ему стоило!! Вот синагога, строгая, взыскательная. Самым видным журналом второй 40 половины XIX века был у нас «Вестник Европы»: за 43 года издательства его М. М. Стасюлевичем в нем не было помещено не только ни одной статьи о православии, о русской церкви, о христианстве, но даже не было дано места ни одной строке. Журнал имел вид издававшегося в царстве полного, уже осуществив-

шегоса атеизма. Но никто на это не обратил внимания, и никто об этом ничего не спросил. Никто этим нисколько не забеспокоился. Явление это станет еще поразительнее, если принять к доверию то, что писал один кардинал, — если не ошибаюсь, Ванутелли, — бывший в Петербурге во время коронации и затем проехавшийся в Москву и в Киев, чтобы «посмотреть русскую веру», — что большего усердия к вере и к церкви, чем какое он видел у русского народа, он нигде не видал, и его не существует нигде в Европе. Таким образом, здесь уживаются вместе самая горячая вера и полная в ней свобода... Не уживаются не официально, а «само собой»; уживаются не в «законах», а в «быту», который, однако, над всем господствует, не давая особенно шириться и «закону». Исключения, исходящие от «закона» и «администрации» (начало города, начало Рима и католичества), попадают, но они до того тонут в общей действительности, что их никто не замечает. ¹⁰

Возвращаясь к возможному «синкретизму», мы скажем, что вот в этих-то вещах, относящихся до «души», ни Рим, ни Россия никак не могут податься. Но Россия не может «истаять» в своей «деревенщине», глупой и славной, ни «Рим» убавиться в своей мудрости и власти, в своей гордости стоять «столицею мира». Начала это вечные, антагонизм этот вечен. Но «деревенский житель» любит «побывать в столице». Вот Соловьёв, вот Гагарин, Волконские, Мартынов. Однако, поразительно, что эти «странствия в столицу», в сущности, не переродили «русака-деревенщика»: они приняли только догмат, только формулу, только одежду. Вот если бы был пример, что русский, перейдя в католичество, дошел до высоких ярусов, например, иезуитской иерархии, стал бы если не генералом ордена, то главою «провинции» (иезуиты весь земной шар поделили на «свои провинции»), т. е. проводил бы «захват» католичества дальше и дальше, выше и шире, борясь пламенно против «схизмы» православия, против «отступничества» лютеран и т. д., и т. д., то это было бы характерно и существенно. А то ведь и великий автор «Единства философских сил», Секки, был «иезуитом»; но он ничего не видел, кроме подзорной трубы логарифмов. Так и Мартынов, и Гагарин, и Волконские были прекрасные представители «человечности» и выразители «христианских чувств» вообще, наконец, «единства церкви» в его схеме, без специфически-католического привкуса. А в нем и дело. Дело в Риме, а не в том, читать ли символ веры с «Filioque» или без «Filioque». ²⁰

И многие русские будут странствовать «в столицу», наконец, вообще потеряют предрассудки «против столицы». Т. е. «синкретизм», по идее Соловьёва и по мысли тех священников, каких я знаю, совершится. Но при этом не следует забыть напомнить «столице», что и она должна взаимно отпускать сынов своих «проехать в деревню». При такой взаимности «город» и «окрестности» могут жить в полной гармонии, не изменяясь в своих нравах, обычаях и колорите, не меняясь даже в «антагонизме», который не есть вражда, и с нею правдоподобно «бесовское», а есть просто *разное существо вещей у предметов*, которое каковым было, таковым и останется. Христос об этом-то разнообразии изрек: «В Дому Отца Моего обителей много». «В Дому», а не «вне Дома», т. е. все — в вере, все — в спасении. ⁴⁰

ЧЕМ НАМ ДОРОГ ДОСТОЕВСКИЙ?

(К 30-летию со дня его кончины)

Прочел в «Вестн. Евр.» статью С. А. Адриянова о Достоевском, вызванную тремя о нем статьями — Андрея Белого, г. Кранихфельда и Вячеслава Иванова, в свою очередь вызванными 30-летием со дня смерти Достоевского, исполнившимся в этом году...

Тридцать лет прошло, а как будто это было вчера... Мы, толпою студентов, сходили по лестнице из «большой словесной аудитории» вниз... И вдруг кто-то произнес: «Достоевский умер... Телеграмма». — Достоевский умер? Я не заплакал, как мужчина, но был близок к этому. Скоро объявилась подписка на «Полное собрание сочинений» его, и я подписался, не имея ничего денег и не спрашивая себя, как заплачу.

«Достоевский умер»: и значит, *живого* я никогда не могу его увидеть? и не услышу, *какой* у него *голос*. А это так важно: *голос* решает о человеке все... Не глаза, эти «лукавые глаза», даже не губы и сложение рта, где рассказана только биография, но *голос*, т. е. *врожденное* от *отца* с *матерью*, и следовательно, из вечности времен, из глубины звезд...

Я вспомнил начало знакомства с ним. Мои товарищи по гимназии (нижегородской) уже все были знакомы с Достоевским, тогда как я не прочитал ничего из него... по обращению к звуку фамилии. «Я понимаю, что *Тургенев* есть великий писатель, равно как Ауэрбах и Шпильгаген: но чтобы *Достоевский* был в каком-нибудь отношении прекрасный или замечательный писатель — то это конечно вздор». Так я отвечал товарищам, предлагавшим «прочитать». Мы делали ударение в его фамилии на втором «о», а не на «е»: и мне представлялось, что это какой-то дьякон-расстрига, с длинными волосами и маслящий деревянным маслом волосы, рассказывает о каких-нибудь гнусностях:

— Достоевский — ни за что!..

И вот я в VI классе. Вся классическая русская литература прочитана. И когда нас распустили на рождественские каникулы, я взял из ученической библиотеки его «Преступление и наказание».

Канун сочельника. Сладостные две недели «отдыха»... Впрочем, от чего «отдыха» — неизвестно, потому что уроков я никогда не учил, считая «глупостью». Да, но теперь я отдыхаю *по праву*, а тогда по хитрости.

Отпили вечерний чай, и теперь «окончательный отдых». Укладываюсь аккуратно на свое красное одеяльце и открываю «Достоевского»...

— В., ложись спать, — заглядывает ко мне старший брат, учитель.

— Сейчас.

Через два часа:

— В., ложись спать!..

— Сию минуту.

И он улегся в своей спальне... И никто больше не мешал... Часы летели...

Долго летели, пока раздался грохот за спиной: это дрова вывалили перед печью. Сейчас топить, сейчас и утренний чай, вставать... Я торопливо задул лампочку и заснул... Это было первое впечатление...

Помню, центром ужаса, когда я весь задрожал в кровати, были слова Раскольникова Разумихину, — когда они проходили по едва освещенному коридору:

— *Теперь*-то ты догадался?..

Это когда «без слов» Разумихин вдруг постиг, что убийца, которого все ищут, — его «Родя». Они остановились на секунду: и вдруг добрый и грубый бурш Разумихин все понял. *Как он понял* — вот эта «беспроволочность телеграфа», сказанная в каком-то комканьи слов (мастерство Достоевского, его «тайна») — и заставила задрожать меня. Я долго дрожал мелкой, бессильной дрожью...

* * *

Но это — впечатление одной страницы, даже нескольких строк, и да не рас-¹⁰ пространяет читатель этого «переживания» на «впечатление от Достоевского» вообще. Напротив, в противоположность почти всем читателям, я за всю жизнь ни разу не пережил от него *болезненного впечатления*, патологического, нервирующего, о котором говорят все. И не понимаю, что это такое «болезненное впечатление».

Я всегда его читал ровно, спокойно... Об убийствах или философию — всегда ровно. Нигде — дрожания, страха. Нигде — отвращения. «Ровно читаю», — везде ровно, — «моего Достоевского».

В слове «моего», пожалуй, выражена сущность дела, т. е. *мотив* безудержности совершенно *безболезненного* чтения. Никак не скажешь: «я читаю *моего Толстого*», «я читаю *моего Горького*», «моего Шпильгагена»... Почему? Шпильгаген писал *для мира*; и когда мир стал читать его, то между читателями очутился и я. Та-²⁰ ким образом, между «мною» и «Шпильгагеном» не было соединительной нити: я *восхищался* его идеями или его *романом*. «Шпильгаген» я употребляю для примера (тогда много его читал), но можно подставить всякое другое имя. Всякий «писатель» для читателя вообще, для меня мальчика был «гора», на которую я *смотрю*. Какая же связь? Чтб общего?

Самое поразительное в впечатлении от Достоевского было то, что он не был «горою»... Вообще «величественного» ничего не было. Не «Тургенев» (звук имени)³⁰... Но он, не с десятой, а с первой страницы, даже, если хотите, с первых строк как будто вошел в эту самую комнатку, с красным одеяльцем, и, побродив угрюмо и молча по ней, подсел к боязливому мальчику на кроватку, пощекотал его, сморщился, улыбнулся, и затем тусклым языком, плетясь и плетясь, начал... говорить, рассказывать, объяснять... еще рассказывать, больше всего рассказывать, не обращая никакого внимания на «мальчика», и все говорил о какой-то своей задушевной муке, задушевной скорби, о самых тайных своих биографических фактах...

А мальчик, хитренький и не учащий уроков, все слушал и замирал... И страшно много узнал нового, неожиданного... Развратился и просветлел... «Согрешил»⁴⁰ и «воскрес»... все с Достоевским.

— Ах, как *тяжел* грех...

— Ах, как бы *опять* к Богу...

Это, я думаю, главное нагнетание... И чтб поразительно: разные «Бокли» не изгонялись из души, и, чередуясь, проходили по этой душе, потом «материализ-

мы», «атеизмы», «социализмы», — вся русская «обывательщина». Право, атеизм так сроден русскому гимназисту, что это есть просто «обывательское русское явление», событие «нашей Петропавловской улицы», и нужно перестать быть «Ивановым» и обратиться в «Шмидта», чтобы перестать быть «атеистом и социалистом». Хорошо: но вот в чем дело. Пока года четыре спустя после прочтения первого романа Достоевского плыли потом «социализмы» и «атеизмы», — то *совершенно параллельно им и одновременно с ними* стала упорная точка или, пожалуй, темное облачко, ни во что пока не разрешавшееся, даже ни с чем (с «атеизмами») не спорящее, но — *не они*. Стало и не уходит. Ничего не говорит, а только ¹⁰ *все видит*. Те, другие облака, плыли, сплывали: а это — *все одно и все стоит*.

Потом все те облака стали *скужны*... Просто не стало никакого интереса ко всем «атеизмам», хоть какие они ни будь, хоть «разрази всю вселенную» и «сорви все кресты с церквей и все троны с земли».

— Скучища... Господи, какая это тощища...

И осталась интересна ужасно маленькая точка, даже две точки:

— А, однако, как утешить, успокоить, *облегчить* NN (Макара Девушкина, или рассказчика «Белых ночей», Нелли, Соню Мармеладову, «честного вора» и т. д.).

И еще:

— А как же, однако, и *погему* Разумихин понял Раскольникова, когда тот ему ²⁰ ничего не сказал и вообще не сделал никакого признания?

Точка антропологическая: *геловек*.

Точка космологическая: мир как *загадка*.

* * *

Так, кажется, было дело. «Бокли» и «Лассали» — все поплыло, как *мелозь*; социализм или атеизм тоже сплыли, как *мелозь*, «некоторые из *геловегеских построений*»... Достоевский вернул душу к великому реализму: как вот, однако, быть с «честным вором», который взял да и удавился от совести... «Поменьше бы совести: не удавился бы»; а если такая совесть, то «как не удавишься»? Что же: ³⁰ «уменьшить ему совесть» или «бросить веревку и сказать — *вешайся!*» Труднее решить, чем всего Лассалья.

Трудность мира — не в схемах, а в конкретном: трудность — в «мелочах». *Город* сделать благополучным — не великое дело; а вот проживи-ка ты благополучно *в своей семье*. На первое хватит хорошего губернатора, вторую проблему не умел разрешить Толстой.

Но если «город благополучен», а в городе «всякая семья несчастна», то на кой чорт то большое, грандиозное, схематическое, философское и социальное «благополучие»? А между тем «домашнее благополучие» иногда зависит от такой дрянной вещи, что вот у меня сапог ногу жмет. Ну, в этом роде... Когда сапог давит на мозоль, никакой «гармонии вселенной» не обрадуешься.

⁴⁰ Счастье — в бесконечной индивидуальности.

«Счастлией» столько, сколько индивидуальностей...

Береги индивидуальность; береги *всю жизнь*: вот канон, и нет других.

Но *этот* канон — отрицание всяких канонов... «Броди, человек, в лесах, в полях; броди по улицам, в городах; и только внимательно смотри, чтобы твоя тропа ни с чьей чужой не пересеклась и ничьей чужой не мешала»...

* * *

Но я все сбиваюсь и отвлекаюсь в сторону от Достоевского... Чем же, собственно, он стал дорог с первой строки и с первой минуты знакомства? «Пришел и сел в комнату», «пришел и сел в душу». Но это аналогии и описания.

Суть Достоевского, ни разу в критике не указанная (сколько я знаю ее историю), заключается в его *бесконечной интимности*...

После лица и книги, которых я не хочу здесь называть, ибо они *вне* человеческих сравнений, Достоевский есть самый *интимный*, самый *внутренний* писатель, так что *его* читая — как будто не *другого кого-то* читаешь, а слушаешь свою же душу, только глубже, чем обычно, чем всегда... Ведь и «своя душа» раскрывается вот до такой-то глубины, вот до другой глубины, а бывает и совершенно поверхностна, и, наконец, легкомысленна. Чудо творений Достоевского заключается в устранении расстояния между субъектом (читающий) и объектом (автор), в силу чего он делается *самым родным* из вообще сущих, а может быть, даже и будущих писателей, возможных писателей.

Это несравненно выше, *благодороднее*, загадочнее, значительнее его идей. Идеи могут быть «всякие», как и «построения»... Но этот тон *Достоевского* есть *психологическое чудо*.

Идеи были у вас, и прошли... Но свои идеи, я *прошедшие* — дороги. Вот почему «все идеи» Достоевского могут пройти, или могут оказаться ложными, или вы их перестанете разделять: и от этого *духовный авторитет Достоевского* *нисколько не уменьшится*. Это — чудо.

Как оно взялось у него? «Я всегда больше любил *обдумывать* свои произведения, чем писать их», — говорит он, почти не замаскировываясь, что — о себе, в «Униженных и оскорбленных». Это показывает в нем *не первоклассного писателя*, у которого естественно центр наслаждения — самое *писание, самая форма* (как сказало «обдуманное»)... И так, за «писателем» в Достоевском стоит другое, *важнейшее* («больше любил это»...). Не будь «писателем», он бы и иначе выразился; в *другую эпоху*, наверное, выразился бы не журналистом с серией романов в руках, а *инаге* и, может быть, *ярче*, пламеннее, *мирообъемлющее*... Вспомним его «Сон смешного человека», «Легенду об инквизиторе» и рассказ Версилова своему сыну о заграничных странствованиях («Подросток»)... Вообще из всех «сочинений» Достоевского можно бы извлечь от 20 до 50 страниц такого текста, который как-то странно видеть в «романах», которые испепеляют и уничтожают всякую форму беллетристики и показывают в нем *человека, сердце, ум* совершенно сверхъестественных размеров: провидца, ясновидца, «одержимого» или «пророка», «святого» или опять-таки «одержимого»... Такие «эпилептики» в древние, наивные и доверчивые времена, времена доисторические, начинали культуры, цивилизации, строили или перестраивали «великие города»... В Достоевском было немножко от «Ромула и Рема», вскормленных дивной волчицей, или от «Нина и Семирамиды», с историей о какой-то «голубке», в которую, кажется, обратилась Семирамида, предварительно задушив мужа. Последнее сочетание особенно напрашивается в аналогию к нему, у которого элемент преступности, *тяготение к преступному, интерес к преступному*, как-то таинственно и загадочно сплетался с праведными, святыми порывами, чувствами, словами. В Достоевском более, чем в каком-либо русском человеке, содержалось явное иррацио-

нальное чудо, ни существа, ни границ которого мы не знаем и не можем понять (именно как в *зуде*), но их *чувствуем*... Ни в ком еще из русских не было так много *супра*-натурального мира, как в нем... И так как «супра-натуральных чудес» раскидано довольно много в истории (только не в нашей), то можно вообще сказать, что вникание в Достоевского есть лучший мост из всего, что имеется в русском сказывании (литература, наука) для разгадывания и постижения вообще всемирной истории, которой мы, собственно, не имеем самого «нюха».

* * *

Но оставим это и вернемся к *интимному*. И так, он больше любил «думать»,
 10 чем «писать»... И романы его, как равно «Дневник писателя», есть только неполная и несовершенная, именно немного *похолодевшая* и *неприноровленная* («меньше люблю писать») форма, но этих самых его сжигавших и томивших мыслей и чувств, этих чудодейственных *отношений его сердца к миру*... В сущности, он все и говорит об этом, об *одном* этом... Он говорит о мироощущении, вот как «скользнул боком я, червяк, по боку — мира чудного, который создал Бог»... Не нахожу слов выразить то, что чувствую. Достоевский всю жизнь пытался выразить, и иногда это ему почти удавалось (20 страниц, 50 страниц), совершенно новое мироощущение, в каком к Богу и миру не стоял ни один человек. Это — не наука, не поэзия, не философия, наконец, это и не религия или по крайней мере не одна
 20 она, а *просто новое чувство самого человека, еще открывшийся слух его, еще открывшееся зрение его*, но зрение души и слух тоже души. «Услышал новое, увидел новое» (собственные слова в «Сне смешного человека»); но по новизне не было у него слов, не было ничего соответственного, точного и реального, в старых словах. Я думаю, это все и чувствуют в его четырнадцати томах: *пытается* сказать, а не может сказать. К описанию этого он подходит, в частности, где говорит почти то же, не замаскировываясь, о своей эпилепсии. Но ведь эпилептиков очень много, а этих «чудес» о себе они не рассказывают, и вообще тут «мелкий бес» подозрительности или скромности заставлял Достоевского все кивать на «медицину» и сваливать в ее немые реторты... Конечно, тут дело не в медицин-
 30 ской эпилепсии, нисколько не экстраординарной, а в том, что *за нею стояло и вызывало самые припадки эпилепсии, как бы временное безумие и потерю памяти*... Слов ясных он и не мог найти, потому что в памяти сохранялись только последние секунды перед припадком; но вот эти 20—50 страниц несут, как *зарю*, отсвет в себе того солнца, которого прямо он и не видел сознательно сам, и не мог ничего о нем рассказать определенного. Но «цвета», но «спектр» *в заре те же, что в солнце*. И он говорил о нем:

— Ах, вот если бы *это, чего не умею выразить* — то все были бы счастливы, все; и *лев лег бы рядом с ягненокм*.

Таким образом он держал «почти в руке» развязку самых мучительных
 40 мировых проблем, — не владея чем и выдумываются почти отчаявшимся человечеством «социализмы» и «атеизмы»... «Ах, не то, не то», — твердил он. А что же есть «то», — не успел выразить, да даже вполне *ответливо*, в форме «видимого солнца», а не прощальной «зари», и сам он не знал. «Ах, видел *зарю*: но *солнца* никогда не видел. Но *знаю*, что оно есть: вы же именно не знаете, все и никто, что есть, существует и когда-нибудь покажется это *солнце*».

* * *

Но я все отвлекаюсь от его *интимности*: она и произошла от этой страшной занятости его духа одной мечтой, одним желанием, одной потребностью, которая не находит истока. Тогда не будешь писать романа «в правильных главах». Получится весь тот хаос, который заключается в его 14 томах; но хаос этот везде проникнут таким *мугительным шопотом вам в ухо*, что вы, забывая более правильные творения, слушаете этого «эпилептика»... как слушали Нуму Помпилия первые пастухи Рима, или слушала Семирамида свою вещую «голубку»... Опять я сбиваюсь от секрета *тона*: в каждом человеке есть *способности*, которыми он работает, — память, ум, воображение, мозговая воля, чувство вкуса и меры; ¹⁰ и есть *середогка души*, обыкновенно скрытая у всякого, и которая только изредка и нечаянно прорывается. Все 14 томов Достоевского, где вкуса не очень много, являют эту «середочку» его души. И вот это-то и образует его *бесконечную интимность* с каждым (соответственным) читателем, который за его книгу берется и который вовсе не читает его как «литератора», вовсе не видит в нем «писателя», «гору *вне себя*», а чувствует, что какая-то одна душа реет в нем самом и в Достоевском, душа «возможная и во мне», душа «мною забытая», душа «моя ошибочная», но именно, *однако, моя душа*, родная; вечная и всеобщая, — и в то же время *его единственная*, Ф. М. Достоевского. Говоря языком древних философов, в нем было немножко «души *мира*», частица которой, конечно, есть «и во мне», ²⁰ есть она в «каждом». И вот эти частицы, при чтении, сливались до безраздельности, до единства; да даже в реальности — они и суть *одно*. Конечно, это совсем другое, чем писать роман «своею способностью вкуса» или «даром художественного воображения». Какое мне до всего этого дело? Но у Достоевского никак не скажешь: «Мне до него *нет дела*». «До Достоевского» есть дело каждому: ибо никто не может быть равнодушен к своей душе. Достоевский — не «он», как Толстой, как всякий; Достоевский — «я», грешный, дурной, слабый, падший, поднимающийся. По тому, что он есть «я», и притом каждого человека «я» — он встает с такой близостью, с такой теснотой к каждому, как этого вообще нет ни у одного писателя, кроме Лица и Книги, которых мы не упоминаем. И навсегда Достоевский ³⁰ останется поэтому наиболее «священным» из наших писателей, ибо он совершенно перешел грани литературы, отчасти разрушив их, внутренне разрушив, — и передвинувшись в сторону, где вообще все полагают «священное», полагают «религиозное» в первобытном смысле. Дабы кому-нибудь не показались наши слова преувеличенными, скажем, что был «ближе к Истине» разбойник на кресте, нежели Платон в Академии. Все слабости Достоевского — при нем; вся немощь — при нем; и, может быть, из идей его — ни одна не истинна. Но *тон его истинен, и срока этому тону никогда не настанет.*

Он говорил, как кричит сердцевина моей души.

Как тоскует душа всех людей в черные и счастливые минуты... ⁴⁰

Когда мы плачем...

Когда мы порываемся...

Когда мы клянем себя...

Все, все это — у нас, как у него, который был «так близок к Истине», что это составляет чудо его личности и биографии, которого с ним никто не разделил.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОНЧИНЫ Ф. Э. РОМЕРА

(8 августа 1901 — 8 августа 1911 г.)

Сегодня исполнилось десять лет со дня кончины одного из самых достойных русских деятелей и писателей, притом в области самой важной — *Федора Эмилевича Ромера*, сотрудника «Нов. Вр.», «Русск. Вестника» и друг. и редактора «Земледельческой Газеты». Поляк по отцу, русский и православный по матери, уроженец Калужской губернии и землевладелец Орловской, — он, при спокойном и ясном характере и уме, дал редкий образец кипучей деятельности, сосредоточенной на русском хозяйстве главным образом, но легко и свободно перебрасывающийся и на другие области. Он писал романы, повести, стихи, был публицистом, — и все эти сочинения его составляли пять томов, изданных три года назад: но это было «между делом», которым оставалось во всю его жизнь — *поднятие хозяйства средней полосы России*, поднятие его примером, образцом и постоянной работой в журналах и газетах о частностях и подробностях земельной культуры, преимущественно плодоводства и огородничества. Он первый основал цветочное семеноводство в России: до него семена цветов можно было только выписать из-за границы. Нельзя лучше охарактеризовать его деятельность, как приведя эти слова из его речи за шесть лет до кончины: «25 лет меня учила земля и русская деревня, — теперь постараюсь говорить о том, что я вынес из своей 25-летней практики». В 1898 году министерство земледелия поручило ему обследовать сады, казенные и частные питомники, школы садоводства и прочее, южной полосы России. Его отчет послужил основанием для коренных перемен в постановке учебного дела в сельскохозяйственных заведениях юга. Министр земледелия А. С. Ермолов, высоко ценивший его ум и знания, поставил его во главе министерских изданий: «Сельское Хозяйство и Лесоводство», «Земледельческая Газета», «Известия Министерства Земледелия».

Начало широкой его деятельности и популярности в сельскохозяйственном мире положили ежемесячные обзоры сельскохозяйственной жизни в России, печатавшиеся в «Русск. Вестнике», и фельетоны по тому же предмету в «Нов. Времени»; наконец, огромное количество статей как в перечисленных выше специальных изданиях, так и в журнале «Деревня». Со всех сторон тянулись к нему в Богородское (имение Карачевского уезда, Орловской губ.) крестьяне за советом, как и приезжали землевладельцы научиться у него приемам интенсивной работы: и эта работа «показом, а не наказом (словом)» составляет вторую половину его деятельности, тесно переплетенную с первой, литературною. Человек 60-х годов, он остался в стороне от литературных и идейных течений того времени, не разделяя их отрицательности, радикализма, пессимизма; но он имел в своей натуре бодрую струю их, крепкий состав. Идейно он весь примыкал к «самодержавным основам» царствования Александра III, которому по его кончине посвятил прекрасные страницы. Память его сохраняется и надолго сохранится в истории земледельческой культуры России, которой он принес многоценные плоды своего ума, опытности и безграничной веры в будущее великой родины.

Фед. Эм. Ромеру принадлежат, кроме классических «Бесед о практическом плодоводстве», романы: «Под разными флагами», «Нерешенные задачи», «Ди-

летанты», — и повести: «В среде образов звериных», «Сестры», «Деревенский Линч», «Губернская Магдалина», «Последний этап», «М-лле Катишь», «Пустое сердце», «Вымирающие», «Жизнь или сон», «Спетая песня». Все эти сочинения изданы книгоиздательством Маркса.

«МАГНИТСКИЕ» И ФИЛОСОФОВ

Д. В. Философов на самом деле гораздо умнее своих писаний, т. е. остроумнее и проницательнее... И он постоянно несколько хитрит в них, как «хитрил» сорок лет покойный Н. К. Михайловский. В возражениях мне насчет состояния наук в России он соглашается, что это состояние невысоко, но... винит в этом, даже странно выговорить, Магнитского, который умер *пятьдесят лет* назад!! Магнитского, и еще Уварова, Делянова, Боголепова. Но, Боже, все эти люди давно уже померли, да и науки при них — сравнительно с текущим временем и принимая во внимание раннюю фазу истории, — все-таки цвели. При Толстом и Делянове были Менделеев, Бутлеров и Меншуткин, при Уварове — Остроградский и Буняковский, минералог Кокшаров; были при таких «варварах» историки Грановский, Кудрявцев, Ешевский, Соловьёв, Костомаров, Ключевский... Все это Философов знает, может быть, даже тверже меня, — ибо это знает свет улиц. И пишет все-таки сам инсинуации на «несимпатичных» покойников: ибо уже таков шаблон журнального и газетного «катехизиса»...

Пиши «от сих до сих» и «от энтих до энтих»...

Эти министры, видите ли, «не дали возможности непрерывной бескорыстной работы в лабораториях, клиниках и библиотеках». Так и напечатано: хотя на глазах всех, кажется, десятый «Магнитский» гонит учащихся в лаборатории и клиники, а общество и печать, и в числе их сам Философов, навешивают учащимся, что «не в лабораториях дело, а в чтении *умных* газет и *умных* книжек», ни к какому учению не относящихся и ни с малейшей наукой не связанных.

— Увольте еще «Магнитского», этого Кассо — и науки расцветут.

Как много, подумаешь, зависит от их высокопревосходительства: размягчают сердца, ублажают душу, прибавляют фосфору в мозг.

И не замечает Философов, как не замечает вся наша печать, что этот взгляд вовсе даже не либерален. Это — французский взгляд, взгляд «просвещенного абсолютизма» XVIII века, французских «Людовиков», окруженных энциклопедистами, нашей Екатерины и германских Фридриха II и Иосифа II. «Нужен хороший министр, — а *остальное* все будет». Нисколько не пытаюсь быть оригинальным, я противоположу ему английский взгляд, что «все зависит — *от себя*». Науку делают, как и ее задерживают, не министры: делает ее *население* и великие условия его *активности* или *пассивности* в нем. Вот если бы «мы», общество и печать, были правдивы и мужественны, юноши и девушки наши, конечно, *угились бы*, никаких в *учебных заведениях* забастовок бы не было; а оппозицию неправильной правительственной политике делали бы не *дети*, а *отцы*, прячущиеся теперь за спинами «детей». Была бы серьезна политика, была бы серьезна и наука: а теперь ни серьезной политики, ни серьезной науки у нас нет.

Я упомянул о Михайловском, приводя его имя в связь с Философовым: оба — *приседают* до публики, до «зауряд» читателя, а не говорят полным голосом ту

очевидную истину, которую по степени своего ума не могут не видеть. Оба представляются *наивнее* и (да будет прощено слово) *глупее*, чем они есть в самом деле. Этот факт, что писатель пишет наивнее, проще и глупее, чем сколько у него есть в голове, довольно общеизвестен: между тем ведь это такой «антихристов факт», что голова кружится, если в него вдуматься. Самая *суть* литературы, *суть умственности*, т. е. культуры, просвещения — конечно, есть *ум* и *ум*, *талант* и талант. Прежде, бывало, люди из кожи лезли вон, чтобы «блеснуть дальновидностью», корпели годы в библиотеках, чтобы «сказать новую мысль»; говорить «как все», говорить «по шаблону» считалось унижительным: ибо тогда для чего же в самом деле говорить, брать перо в руки, называться писателем? И так не только «прежде» было, а *всегда* так было: ибо таково, повторяем, *существо* литературы, мысли и науки. Вдруг что-то сделалось, что писатели стали притворяться «глупенькими», стали «скрывать свои мысли». Милюков три года держался, чтобы сказать своих знаменитых «ослов», каковыми, конечно, и раньше этого словопроизношения были его «друзья слева»; да и самый способ сказывания не оставлял сомнения, что он произнес это «наконец-то», а внутри себя и всегда так думал. Но еще Милюков — политик, и у него литература — прикладное дело. Но когда всю жизнь, все 40 лет «приседает» Михайловский, когда *наивнигают* Мережковский и Философов и, словом, литература «пишет глупее, чем думает», то, согласитесь, в одной области, в области слова, точно «антихрист пришел»... Ибо как же и назвать такую литературу, как не литературою «от лукавого»...

Удивительны наивности Толстого, который и пытался нравственно возродить человека на средневековый лад, или на буддийский лад. «Видали ли вы святого, который, увидев голодного коршуна, дал ему клевать свою грудь». Очень нужны эти буддийские сказки. Хоть бы и был такой святой — никакого в нем проку. Сам себя утешал и сам на себя любовался в зеркало. Нам нужно воскресение не этих нервно-патологических экстазов средневековья, а нужны добродетели поля, площади и улицы. Вот ты «в толпе» стой прямо, не гнишь, не лести; это добродетель *мужества*, а не добродетель *сострадания*, и она нужнее, важнее, наконец даже благороднее. «Там, за горами, коршун терзает грудь святого», — а здесь, на площади, мы все преусердно друг другу лжем. Да и сам Толстой не «согрешил»-ли своим «Не могу молчать», как и Влад. Соловьёв в лекции после 1 марта: два *нравственно* самые авторитетные имени, самые *первые люди* страны. Ибо за месяц, за год перед этим они вовсе не «вопиали» на весь мир: «Опустите оружие! бросьте покушения!». Вот бы где яростной толпе «отдать грудь на растерзание», как тот святой отдал коршуну. Но хороши «за горами» буддийские сказки: а «на площади» смиренномудрые лукавцы пожимают руку тому, кто в успехе, в нравственной силе, в общепризнанном авторитете.

И долго еще эти «христоролюбивые лгуны» будут мозолить нам глаза и портить воздух истории. Долго не придет Катон: простой, необразованный, грубый, который не покривит душой перед своим местным Капитолием.

* * *

Науки в России и учебные занятия в заведениях больше зависят «от нас с Философовым», говоря иносказательно, чем от Кассо и «Магнитских», которые всего только «писали циркуляры». В одной канцелярии циркуляр «написан»,

а в другой канцелярии циркуляр «читают»: и всего-то исторического хода — от канцелярии до канцелярии. Не министры «делают погоду» в стране. Ее делают бесчисленные, необозримые «мы»: и погода выходит «слякоть» — когда все лгут, притворяются вот «наивными», «не видящими», «не понимающими»; и могла бы сделаться как ясный морозный день или как солнечный летний день, когда бы все решились мужественно описывать то, что видят, и высказывать то, что понимают.

Бедная наша молодежь действительно запуталась. При изыскании мотивов самоубийств в ее среде всего чаще жужжит напевание: «Это от приостановки *активной политики* в стране». Но не поискать ли причины в страшной разочарованности молодежи вообще *окружающим обществом*, и более всего стоящим *близко к ней*: своими наставниками, руководителями, своими недавними «вождями». О разочарованности с этой стороны писали не так давно в «Рус. Вед.» г-жа Ел. Кускова, — не догадавшись спросить *себя*, спросить *внутри себя*: не основательна ли эта разочарованность? Но она полна сомнений: «молодежь от нас уходит, *виновная* молодежь!.. Мы же *правы*, нам поправляться *не в чем*, и мы только должны опять, как в 70-х годах, приняться за наставничество, чтобы снова вернуть ее к себе». Таков смысл ее длинного фельетона. Ей не приходит на ум, что людей такого прямолинейного склада и упрощенного мирозерцания, как она, молодежь переросла; а от людей, «приседающих до ее уровня», — отшатывается по непосредственному чувству правды и здоровья. В одном и другом случае она глубоко *одинока*: и вот не сосчитанный мотив ее пессимизма, «серости» на душе, приостановки жизненных энергий, что в особенно острых случаях не может не привести к фатальной развязке.

ЗАГАДОЧНАЯ ЛЮБОВЬ

(Виардо и Тургенев)

В высшей степени интересно то, что рассказывает или, вернее, *разыскивает* г. И. Гальперин-Каменский относительно романа Тургенева и Виардо. Всегда и многих уже давно занимал вопрос: было ли в этом романе что-нибудь *физиогномическое!* Уже по тому одному, что любовь тянулась от 25-летнего возраста Тургенева до его смерти, а о связи все-таки *спрашивают*, и *спрашивали* себя все, близко обоих их знавшие, с очевидностью показывает, что связь была в высшей степени призрачна, неправдоподобна, что ее *не было* или *почти* не было, и все сводится к этому «почти», которое может быть равно или «нолю», или «чему-нибудь»... Вопрос, изыскание и любопытство относится именно к «малому», к «бесконечно малой исчезающей величине», как говорят математики.

Я назвал «любопытство», но в хорошем, достойном смысле. Было бы унижительно для историка, для критика и литератора добиваться этой «биографической подробности *о Тургеневе*» и в высшей степени оскорбительно для самих Тургенева и Виардо: кто имеет право копать в таких интимностях двух частных людей, с своею *гестью*, которую не смеют оскорблять и после смерти? Раз

они сами этого *не сказали*, никто не вправе *искать о них*, узнать это. Но, мне кажется, любопытство здесь другое. Даже неинтересно никому узнать, — «что же именно было между Тургеневым и Виардо». Истории принадлежит и истории любопытен их гений, их мысли, их оценка жизни и людей, — и только. Дальше ее любопытство вовсе не простирается. Да, но только «ее». Мы назвали любопытство это «благородным» потому именно, что тут «Тургенев» и «Виардо», литература и пение, не играют никакой роли, а встретился поразительный феномен отношений двух любящих людей, мужчины и женщины, холостого человека и замужней женщины, матери семейства, который есть явный «сфинкс» уже по тому одному, что о присутствии *физической связи* спрашивают.

Ведь она так естественна? Ведь почти невероятно жить сорок лет в семье, быть «любящим и любимым», хотя бы и не пламенно, не горячо, и не «иметь связи», иначе, как в духе, в воображении, в «союзе сердец» в романтическом смысле, без всякого физиологического привкуса и осложнения. Но, очевидно, было что-то странное в отношениях, что поражало всякого, приближавшегося «к семье Виардо с Тургеневым», что они откидывали это естественнейшее, это нормальнейшее предположение и, «повидав», не *утверждали*, а начинали *спрашивать*: «Неужели *нигего нет?*».

Повторяю, никто при такой степени близости, при этой жизни «под одною кровлею», в «одном гнезде», не спрашивает. Все «знают» и ничего не говорят. И не любопытно, и слишком ясно. В артистическом же и литературном мире, где есть и неотъемлемые «особые права», никем это и не осуждается. «Не всем по-замоскворецки жить».

Отношения Тургенева и Виардо были явно аномальны. Это какой-то особый феномен любви, страшно редкий, трогающий нежностью, глубиной, продолжительностью до «вечности» и без всякого субстрата в себе материи. Какая-то «радиоактивная» любовь. Известно, что радий «производит работу», но на нее не тратится: исцеляет, обжигает, светит непрерывно, а сам все «цел» и «тот же». Это чудо, открытое впервые в радиии, поколебало даже «закон сохранения энергии», аксиому всего естествознания. В любви Тургенева есть эта же радиоактивность: любят, живут друг с другом, постоянно беседуют, говорят друг с другом, он слушает ее, она читает его произведения, — и не устают, не соскучиваются. Совершенно неприменима формула Лермонтова, такая страшная для любви, такая ужасная для всех истинно и глубоко любящих:

Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты.
Против *усталости* и *скуки*
И своенравия мечты?

Ужасна эта «усталость» и «скука», заволакивающая почти всякую семью, на 10-й, на 20-й год жизни. Но «невечность любви» есть почти поговорка о любви, ее в своем роде «закон сохранения энергии», или, в этом частном применении, «закон траты энергии». Она вечно та же, пока в «совершенной работы»... В этом ведь и заключается «закон сохранения энергии». Она — вечно та же, пока в покое, а как начала работать, — тратится, исчезает. В сущности, она «переходит в работу». И любовь, давшая «крылья» любовникам, сдвинувшая их с места, связав-

шая в семью, далее одушевлявшая на всякий подвиг и ежедневный труд жизни, и «переходит в это», в «грудю сделанных дел», в «детей», меняясь и исчезая в своем первоначальном предбрачном виде, в этом розовом эфирном виде.

«Все уже отяжелело и... умерло. В 50 лет мы живем только *привычкой*», — говорят несчастливцы. Рок любви, судьба любви.

В любви Виардо и Тургенева этого нет. Как же это не любопытно? Как не любопытствовать? Это не только интересно само по себе, это и страшно важно, между прочим, в возможном и далеком будущем, даже практически. Какая же семья не хотела «черпнуть немножко» этой вечности? Но *как?* Но *откуда?* Эта загадка унесена в могилу Тургеневым и Виардо, но, очевидно, право всякого любопытствовать здесь до последней мелочи, до последней подробности. Тут «Виардо» и «Тургенев» ни при чем: тут судьба и счастье «нас», вообще так не любящих, и которые им завидуем. «Откуда? Что такое?»

Тургенев «разлучался» (формула Лермонтова), но говорил: «Хорошо здесь, хорошо отдохнуть. Но вот позовет Полина, и я поеду».

Он говорил о России и Франции. Такое расстояние! И он «в разлуке» жил месяцы...

«Новая красота», например, баронессы Вревской, его если и тревожила, то как-то неглубоко. Замечательно, однако, что при этом неглубоком и без последствий притяжении у него образовывались чувственные пожелания, каких, очевидно, наблюдатели никогда не улавливали между Виардо и Тургеневым, ибо иначе они просто «знали» бы, а не «спрашивали». Очевидно, ничего подобного между Виардо и Тургеневым не было: ибо тогда «чего же спрашивать», — даже и ошибившись, все просто «знали бы», «утверждали бы», как, вероятно, тысячи раз ошибаясь, «утверждают» про всякого... Сплетня всегда немножко «дополнит», неблагородное воображение «дорисует». Если о Тургеневе «спрашивали», то именно потому, что ничего подобного не было, ни малейшего «повода» не было... «И приступа нет». Воображение, догадка, подозрительность не имели к чему и «прицепиться»... И в этом и заключается весь феномен.

Смотрите: с Вревской отношения мимолетны, а следы чувственного пожелания сохранились в письмах. К Вревской он тоже питал благоговейное уважение, но преимущественно нравственное. Это надо отметить: Вревская — монахиня, святая, героиня, умершая от тифа в военном лагере, и Тургеневу все-таки хочется или «приходит на ум» поцеловать ее, обнять ее... Виардо он знает сорок лет, да что — живет с нею. Как перевирают, шутя, о любви — «дышали одною кровлей и жили под одним воздухом». Но во всех бесчисленных письмах, самых интимных, ни одного физического штриха, ни одного чувственного пожелания...

А она была артистка, певица, все это нужно очень отметить.

«Святую» хочется поцеловать, «артистку» смотрит, слушает, благоговееет, любит... о, как глубоко любит! Но «поцеловать» не хочется...

* * *

Я бы не взял пера в руки, ибо не имел бы ничего добавить к «общеизвестному о Тургеневе и Виардо», если бы однажды не услышал рассказ от покойного Ив. Л. Леонтьева (Щеглова). Именно он «к случаю» раз сказал мне, что ему при-

велось в своих и военных, и литературных странствиях встретить одну супружескую чету, что-то из мещан или небольших купцов, где «муж до того безумно любил свою жену, так благоговейно и свято ее чтил, и именно за красоту и пластику, и вообще *тело*, что искренно, и набожно и трепеща, передал Л-ву, что никогда с нею не сообщался и даже помыслить об этом не смеет. Жена тоже любила его, но спокойнее: она была счастлива или, лучше, довольна этим восхищением к себе, довольствовалась им, была сыта, — и дальнейшего не требовала».

Я был так поражен рассказом, что не догадался спросить: «А не жила ли она с другим?» Ибо и такие феномены бывают, и их знать мне приходилось: жена любит «другого», или чаще «других»; муж же питает к ней глубокое благоговение, никаких «препятствий» не ставит, но сам с нею не «живет». Итак, «другой стороны» в рассказе Щеглова-Леонтьева я не знаю, но одна сторона явно параллельна Тургеневу. Когда мы говорили об этом со Щегловым, мы не имели в виду Т-ва: разговор был случаен, не литературен, и Щеглов-Леонтьев собственно *уломнул* о случае, т. е. не «рассказывал», и не мог попасть в некоторое «преувеличение», свойственное течению «рассказа», почему я особенно доверяю фактической точности.

Муж рассказал: «Я не имею общения». Он, у которого все «права»... Очевидно, и у него чувственность не возбуждалась, ибо при малейшем ее возбуждении он ее удовлетворил бы. Что же «препятствовало бы»? Очевидно, в случае Т-ва не положение «чужой жены» играло роль, а это же отсутствие позы, желания, аппетита. Я говорю грубо, потому что передо мной наука, и я должен точно выразить существо дела. Это существо:

— Никакого аппетита. И всегда сыт. Именно «радиоактивность». Там — «вечно действую» и «всегда цел», здесь — «вечно сыт», хотя «никогда не ем».

Чудо.

Тургенев нигде не говорит о гуманности Виардо, ее милосердии, ее женском отзывчивом сердце; нигде даже о ее благородстве; ни одного слова о ее доброте. Нравственные предикаты отсутствуют. Не отрицаются, а отсутствуют. Тургеневу не приходит даже на ум спросить о «доброте» Виардо, а если бы, например, кто-нибудь заметил, что она «не добра и не отзывчива», то Тургенев, не споря, просто не обратил бы на это внимания. Так чувствуется, ибо явно из всех его слов, из совокупности сказанного о Виардо, припоминаемого о Виардо, что он погружен в какую-то *стихию благоговения*, очень общего свойства, почти без конкретностей, без подробностей.

— Какой у Полины нос!

— Нос? Не знаю... Не приходило на ум. Не заметил.

— Да добра ли ваша Полина?

— Не знаю. Не спрашивал себя. Вы говорите — «нос» и «доброта»: без сомнения, все это великолепно, хотя я и не заметил, потому что она вся великолепна, и вот это-то я уже заметил, и даже это одно видел и вижу всю жизнь, восхищен этим, молюсь на это...

«Молюсь» — очень подходящее слово: в случае того лавочника (Щеглов) и Тургенева мы имеем редчайший случай, не риторический, не «преувеличенный», настоящего обоготворения, обожения человека человеком, женщины мужчиною... Притом не в слове, а в самом чувстве. Это-то одно и важно. «Могу посягнуть» (Щеглов), но «никогда не посмею». Тут научная важность и принад-

лежит редчайшему в мировой культуре феномену, который через переписку Т-ва становится довольно известен, наблюдателен и изучаем, а *лигно* такой феномен увидеть, может быть, никому не придется, не придется многим всю жизнь. Между тем этот феномен дает просвет к языческим, т. е. «натуральным», обоготворениям человека человеком, что, без сомнения, извело из себя «цикл богов», было гнездом греческого Олимпа, да и «чудес» на Востоке...

«Могу посягнуть, но не смею... Ведь она — *богиня*»...

Как же иначе назовешь? Да и почему иначе «не посягаешь»? Отчего, отчего, — это самое главное, — не зарождается «аппетита»? Боги вечны и несъедаемы, а «человек человека вечно ест», «истирается около него», стареет, тускнеет. ¹⁰ Любовь Т-ва вечно юна. Она не только юна, она именно вечна и, очевидно, со смертью Тургенева не умерла. Он старел, умер, но, умирая, любил, как в 25 лет. «Вечная любовь». Это черта божественная. Как не чувствовать, что Тургенев испытал в «счастье своей жизни», во «встрече с Виардо», то, что никогда, может быть, мы не испытаем: божественное ощущение божественного порядка вещей, божественного отношения вещей.

Ему открылся самый «узел язычества», опять же не постигнутый учеными. Ну, с чего «бабу» называть «Венерой»? Все ученые об этом мозг ломают. «Баба есть баба», — вещь хорошая и «земная». Вдруг Тургенев (и тот лавочник) чувствуют, или их дивным очам открылось дивное чудо, как из «земного» совершенно ²⁰ исчезает «земля», и они... видят и не посягают. «Венеру» и видели Тургенев и тот лавочник, мы же никто не видели, и уж всего меньше эллинисты и романисты... Но этим двум открылся кусочек языческого мира, мы же, взглянув на это и увидав *возможность* (самое главное *есть! существует!*) этого, догадываемся невольно и «само собой», что ведь языческий-то мир! — но только скрыт от обыкновенных глаз. *Есть, но невидим.*

«Невидимое небо» не у одних христиан: у язычников, и особенно у них, «небо невидимо» еще более, чем у христиан, — оно еще таинственнее, волшебнее, загадочнее.

«Зовут Лукерьей, а она — ангел».

Это гораздо удивительнее, чем увидеть ангела «вдали», «в сновидении», когда «брезжится».

Тут ничего не «брезжится»: приходит в лавочку, провела ладонью по лицу мужа, а он не смеет и поцеловать руку, потому что это — «рука ангела».

Удивительно. Вполне чудо. И ведь не выдуманно: все письма Тургенева налицо, «самые интимные» (слова Гальперина-Каменского), и ничего физического, никакого слова о физике, «какие у вас глаза» или «жму вашу ручку». Ничего. Одно язычество.

Вполне «языческий небосклон»... Зажглась «звезда Венеры». Но жена лавочника, может быть, осталась девой, а m-те Виардо рожала детей. Но и «Венера» — не solo: была «Юнона», реальная супруга, да и вообще языческие богини имели «деточек», по крайней мере, имели склонность к этому. Тут «дети» и не «дети» не играет никакой роли, а суть в том, что «показался богом», почувдился «бог»... К чему коснуться мне нельзя, да и не хочется, не смею.

— Смотрю и вечно сыт.

Всю люди и «живут» религией, сыты религией, в религии находят «утешение»: все — предикаты биографии Тургенева, сколько она соотносится с Виардо.

А влияние Виардо на литературную судьбу Тургенева огромно (и иначе и быть не могло): смотрите, он и не имел другой темы, кроме любви; все его темы суть незаметная единственная песня любви. То-то и «отвернулась молодежь», что «общественный элемент» был в ней «припекою сбоку». Не в нем дело, а в серии разноцветной любви и ее глубоких слов, ее нежнейших, неуловимых движений. Но посмотрите дальше подробность: все «любви» Тургенева не имеют земного увенчания, не переходят в брак или в браке скоро постигает «смерть» (*Deus ex machina* *), ибо Тургенев, в сущности, поет вовсе не земную любовь, «с детьми и семьею», а эту небесную языческую любовь, вечную и все «ту же» (радиоактивность), вне граней и пределов Лермонтова, — любовь бессмертную и соделывающую чужое бессмертие. Он пел «кусочек открывшегося языческого неба», как приобретение своей биографии.

* * *

Я несколько отвлекся в сторону общих соображений: оттого муж Виардо несколько не ревновал к Тургеневу, и, что еще важнее и показательнее, Тургенев не ревновал Полину к мужу. Две любви, «земная» и «небесная», до того не сходны между собою, что не встретились, не пересеклись, не исключили друг друга. «Что римлянину до того, что Юнона имеет отношения к Юпитеру», и еще более: что греку до того, что Афродита обнимает «мало ли кого». Факт — в феномене: что я «благоговею» и «чту», а не в биографии и судьбе почитаемого. «Боги свободны, я же обречен молитве им», — мог ответить глубоко священный религиою римлянин и грек. Замечательно, что «*religio*» и значит «связь»: это — «цепь», которая меня держит непонятным образом, вот как «связь», непонятная и необоримая «привязанность» у Тургенева в отношении Виардо... Он вполне мог сказать: *Naec est religio mea — meus amor* **.

Нужно остановиться на мысли, около которой колеблется Гальперин-Каменский, что «отношений» между Тургеневым и Виардо никогда не было. По закону вообще этих «отношений», по которому когда раз преодолена стыдливость, — они продолжают, и здесь «второй шаг» следует за «первым», пока не погаснет любовь. Что же удерживало бы от второго, десятого шага, от постоянного сожития? Да и тогда, безусловно, загорелась бы ревность у мужа Виардо к Тургеневу, и, во всяком случае, у Тургенева — к m-г Виардо. Но они были друзьями. Ни тени ссоры и вообще недобрых отношений. И Виардо до смерти любила мужа или, вернее, была привязана к нему тою спокойною привязанностью, которою она была привязана и к Тургеневу. «Боги» далеко не так любят «людей», как люди любят их. Цепь «*religio*» восходит кверху, но далеко не «так же» она опускается к земле...

— «Ах, дорогой друг, — писала Виардо сейчас же после кончины Тургенева своему другу Людвигу Пичу: — Это слишком, слишком много горя для моего сердца! Не понимаю, как оно еще не разорвалось! Наш горячо любимый друг потерял сознание за два дня до смерти. Он не страдал, жизнь прекратилась медлен-

* здесь: внезапно (*лат.*).** Такова моя религия — моя любовь (*лат.*).

но, после двух вздохов. Он умер *как мой бедный Луи* (муж Виардо, скончавшийся четырьмя месяцами раньше Тургенева), не приходя в сознание. Он снова стал красивым, с величавым спокойствием смерти... Боже мой, какое страдание!»

Тон письма этого и особенно любящие слова о памяти мужа (Луи) не оставляют сомнения о любви к нему. От мужа у нее были дети, — и по закону плотских отношений, которые продолжают «докуда можно», раз они начаты, — «отношения» с мужем длились у Виардо до тех пор, пока они вообще длились у *Виардо*. Как же Тургенев? Отсутствие у него всякого ревнования, всякой тяжести от *присутствия* Луи, убеждает, что любовь его к Полине была вовсе не плотская, не плотская по *составу* своему, по *материалу*, в ней *горевшему*, хотя объектом ее был «весь образ Виардо», в том числе и физический, и даже больше всего физический. Этому вполне отвечает то, что Тургенев любил, и не однажды, плотскою любовью других девушек во время уже «обаяния Виардо», и это в нем не разрушало «обаяние Виардо», как, с другой стороны, «обаяние Виардо» этому несколько не препятствовало. Все это можно только понять через «движение в разных плоскостях», все эти феномены лишь при этом условии и допустимы, т. е. они допустимы лишь при том факте, что между Виардо и Тургеневым «ничего не было», — не было плотского, физического, что тела их ни однажды «не коснулись». Слова историка французской революции Мишле о Виардо, когда он увидел ее и услышал ее пение, что «не было бы безумием, если бы она была выбрана богинею разума и внесена в Notre Dame, как поступили люди первой революции тоже с женщиною», — очень характерны и показательны. По общим отзывам и Тургенева, и Мишле, Виардо не была красива. Это очень важно. Кожная красота вообще малосодержательна и потому малозначительна. Обратите внимание, что Венера Милосская, собственно, *лицом* не представляет выдающейся красоты. Дивный греческий художник знал эту тайну, что не в лице лежит могущество притяжения человека к человеку, тайна «божественной красоты», и придал изображению своему почти обыкновенное лицо. Но весь мир назвал изображенное «первою красотою» в мире, а наш Гл. Успенский, долго смотрев на статую, почувствовал, что она как-то «выпрямляет» его душу, т. е. возвращает из больного, пришибленного, уродливого состояния, в каком «живем все мы, мятущиеся», к первоначальному, здоровому, «нормальному» состоянию, в сущности, невинному и райскому. Раз уловил все это Гл. Успенский, не особенный эстетик, от статуи и часов созерцания ее, — мы можем представить себе, как «выпрямлялась» душа Тургенева от 40-летнего созерцания «высшего на земле совершенства» (слова его о Полине Виардо), притом в живом, теплом образе, коего он имел не только «вид» перед собою (и этого было бы довольно), но слышал еще голос, наконец, делился с ним мыслями! Виардо поистине «обращала его к небесному», и у него «отрастали крылья», — как описывает Платон в своем «Федре» действие на душу нашу созерцания прекрасных лиц, прекрасных фигур, тоже человеческих, живых. Платон в этом же «Федре» говорит, что подобная восторженная любовь, и именно к прекрасному телу, к прекрасному лицу, исключает плотское общение, не допускает даже мысли о нем! Эта «платоновская любовь» знаменита и никогда не была разгадана. Любовь Тургенева относится к этому *порядку явления*; она не то же самое, что «любовь» у Платона, но именно только этого порядка, этой категории. Целый ряд католических мистиков, особенно католических святых девушек, говорят о этой «любви», уже обращенной к небожителям. Мы

имеем здесь целый спектр цветов, но общее в них всех то, что от них «ничего не выходит», «нет потомства», «нет детей», и между тем это есть именно *любовь*, и даже именно восторг к *телу*, к *телесной оболочке* человека, к образу, к «виду» и никак не к душе, не к мыслям, не к убеждениям и проч. Но связь между объектом и субъектом всегда есть; есть связь между обонянием и запахом, слухом и звуком, между вкусом и вкусными вещами. Возможность подобной *бесплотной влюбленности* обнаруживает перед нами, что самое тело человека есть не одна плоть, не один костяной и кожный состав, что оно не есть только «мешок с кровью», от которого отделились четыре рукава. Впервые мы постигаем, что есть особенный смысл в словах: «и создал Бог (из глины, т. е. вещественно, физически) человека, по образу и подобию Своему создал его», — и затем только, потом уже «вдунул в него дыхание жизни, душу бессмертную». «Образ и подобие» относятся именно к фигуре человека, но не к «образу мыслей», не к «убеждениям», не к «душе». «Богopodobно» тело, а душа «бессмертна». Предикаты совсем разные, хотя и связанные между собою: только это, именно *такое, как у человека*, тело достойно было вместить «душу бессмертную», а «душа бессмертная» именно здесь искала себе дом. Итак, «образ человека» есть «образ и подобие» Божества: это говорит Священное Писание, наше православное, наше русское. Что же к этому может прибавить Венера Милосская? Она не смеет выговорить таких смелых слов. Она только намекала, давала человеку «гадать», а здесь сказано прямо, — сказана самая сокровенная мысль язычества! Тело не только «ангелоподобно» или что: оно прямо и без всякого посредства, само собою и само по себе, есть «образ и подобие Божие»! Но ведь если так, к нему явно возможен чисто спиритуалистический восторг, оно может зажигать дух, а не только тянуть к себе тело. Кроме «глины», в нем есть этот абрис, этот очерк, который волнует неизъяснимым волнением душу. К нему образуются «влюбленность», — без детей, без физики, без крови и семени. Поразительно, что Тургенев, переживший в себе и даже всю жизнь свою переживавший этот удивительный, редкий и трудный феномен, непрерывно воплощал только его один во всех своих созданиях: везде у него говорится об этой голубой любви, без детей, без супружества; о любви только до брака или с быстрою гибелью в браке (Лиза Калитина и Елена); в сущности, об отношениях «невесты» и «жениха»; еще прямее — о «несчастной любви» инокинь. Оттого ему так удался образ Лизы, завтрашней «инокини»; точнее, не «удался», а больше и лучше: в любви Лизы Тургенев с наибольшей полнотой, «нерассыпанностью» и цельностью, передал тембр и колорит, музыку и тайну своей собственной любви к Полине, эту загадку «Платоновой любви». И как все наиболее «характеризующее личность» бывает особенно ярко в созданиях человеческих, так «образ Лизы» вдруг засветил на весь мир *как муж, жена Лаврецкого*, а перед привлекательностью его склонились все русские поколения.

Напротив, все супружества у Тургенева «дурно пахнут»: родители Елены, Лаврецкий, — да и все; Ирина и ее «генерал», все, все!! Что же это такое? Почему? «Оженились», «искусались», «погрязли», потеряли цветок девства, переступили за строгую черту «вечной невесты» и «вечного жениха». Отсюда же объясняется колоссальная сила «Отцов и детей», вышедшая во всемирную значительность, тогда как «Бесы» Достоевского, где он, в пику Тургеневу, изобразил по-своему «папаш» и «деточек», не получили никакой силы, никакого влияния, никакого значения. Достоевский был «папаша», притом чадолюбивый; Тургенев — веч-

ный «жених» (с приключениями на стороне, как это бывает и у монахов). В «Отцах и детях» он поднял в необыкновенный ореол детей, а о «папашах» не нашел решительно ни одного доброго слова, ни одного смягченного слова. Смотрите, затем, один малозаметный штрих в Тургеневе, но очень значительный и показательный: смерть везде не обрубают у него жизнь героев (как у Толстого), она разрисована и окружена «рыданиями». Полное православие — совершенно монашеская концепция смерти. Смерть — не «точка», не «кончено» и «прощай». Это — начало грез, воспоминаний, в сущности, начало «потустороннего мира», отдаленно — начало «воскресения». Тургенев раз выразился, что он «так давно читал Евангелие, что ничего из него не помнит». Все равно, — а христианином он был. Чтобы быть христианином, не надо непременно читать Евангелие; христианство — дух и даже почти физиология, особенная, личная, вот так и кончающаяся на «жениховстве» («се Жених грядет в полунощи») и не переходящая отнюдь в супружество. У Тургенева и была эта тайна и духа, и физиологии. Многим нравилась Виардо, но даже муж любил ее обыкновенною мужнею любовью. Один Тургенев, один только он, полюбил ее «вечною любовью жениха», никогда не ища ни поцелуев, ни объятий, — отчасти и не желая их, по крайней мере, не горя к ним, отчасти не смея о них и подумать. По всему вероятно, поцелуй и объятия с Полиною просто не доставили бы ему ничего особенного, а что-нибудь «большее» оттолкнуло бы его, и уж, непременно погасило бы ту голубую любовь. И он, и она это инстинктивно чувствовали и не делали шага к тому, что им существенно было не нужно. «Не нужно» до того, что «не приходит на ум». В этом все и дело; самая душа Тургенева была чиста от всякого «греховного помысла» в отношении любимой женщины, к которой между тем он горел несравненно любовью! Таким образом, нельзя сказать, что «любовь к Виардо» повлияла хоть опытом своим на литературную деятельность Тургенева: тут дело глубже и больше. «К Виардо так привязался этою особенною любовью» человек, которому суждено было, который был призван написать впоследствии «Отцов и детей», «Дворянское гнездо», «Накануне»... Оба явления текут из одного стержня: любовь и литература. Но они глубоко между собою связались, страстно обнялись, дополнились. Да и самая жизнь Тургенева: странник, ушедший в добровольное изгнание, человек без родины. «Где ваша родина?» — спрашивают русского инока в Сирии, араба в Греции, грека в России. — «Родины на земле не имамы. Наша родина на небе».

Таков Тургенев.

И это он — *весь*.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ

Настоящая статья была написана по просьбе г. редактора журнала «Revue Contemporaine», — для ознакомления с вопросом о Толстом и Русской Церкви западноевропейских читателей. К такому уху и уму она и принорована, — подробностями своими, тонким своим, *мелочами*. Но тезисы, в ней высказанные, суть в точности мои тезисы. Русская Церковь в 900-летнем стоянии своем (как, впрочем, и все почти *историческое*) поистине

приводит в смятение дух: около древнего здания ходишь и проклинаешь, ходишь и смеешься, ходишь и восхищаешься, ходишь и восторгаешься. И недаром, — о, недаром, — Бог послал Риму Катилину и Катона, Гракхов и Кесаря... Всякая *история* непостижима: причина бесконечной *свободы* в ней, — и плакать и смеяться. И как основательно одно, основательно и другое... Но все с осторожностью...

Или, может быть, даже без осторожности?

И это — *может быть*. История не только бесконечна, но и неуловима.

Статья была переведена на французский язык редакцией журнала; русский ее оригинал печатается теперь впервые.

10

В. Р.

С.-Петербург.

25 сентября 1911 г.

Они не понимали друг друга; даже не знали. И — разошлись. До проклятия с одной стороны (отлучение Толстого от Церкви, с его впечатлением в обществе), до полного пренебрежения — с другой (отношение Толстого к Церкви). Софья Андреевна передала мне на вопрос, «как отнесся Толстой к отлучению его», что он «выходил на свою обыкновенную прогулку, когда принесли с почты письма и газеты. Их клали на столик в прихожей. Толстой, разорвав бандероль, в первой же газете прочел о постановлении Синода, отлучавшем его от Церкви. Надел, прочитав, шапку — и пошел на прогулку. Впечатления никакого не было».

20

Потом, может быть, — было впечатление, но как последующая волна *от его собственных об этом предмете размышлений*. Но никакой «волны» не поднялось в момент удара, и от самого удара.

* * *

Духовенство наше страшно не воспитано художественно, поэтически, литературно. И это не только справедливо относительно простых священников, но и относительно епископов и даже митрополитов. Митрополит Филарет Московский был последним всесторонне просвещенным и художественно развитым лицом в составе русской иерархии. Его стихотворный ответ на одно стихотворение Пушкина, где говорилось о бесцельности жизни, указывает, что он был впечатлителен, и глубоко впечатлителен, к поэтическому слову. Но Филарет был вообще человек исключительных способностей. Чрезвычайно ученый архиепископ Херсонский и Одесский Никанор уже писал профессору Н. Я. Гроту, что он «имел терпение прочитать всего несколько глав *Анны Карениной*»: но роман ему «показался так неинтересен, скучен и бессодержателен, что он его бросил, не дочитав». Между тем этот архиеп. Никанор известен в нашей русской литературе как первый знаток позитивной философии Огюста Конта и английских его последователей, написавший самый серьезный разбор ее. Большинство же духовенства, и высшего и низшего, не читало — иначе как случайно и в отрывках — даже «Войну и мир», и совершенно не имеет понятия о других превосходных и небольших произведениях Толстого. Оно так занято предметами своей церковной службы, вообще своею собственною «церковною историей», истекшею и текущею, не-

40

удовольствиями и затруднениями в своих отношениях к светской власти, от которой зависима, наконец, экономическим своим обеспечением, или, вернее, полною необеспеченностью (русские священники не получают жалованья), что ему «не до стихов и прозы». Если оно что и читает, то сочинения друг друга о разных духовных предметах; это — серьезные; менее серьезные читают газеты и низменную беллетристику. Вообще они придают значение жизни своей сословной, и — жизни государственной; но жизни литературной они не придают никакого значения, «не ставят ее ни в какое *число*», говоря языком пифагорейцев. Поэтому когда вопрос зашел об отлучении Толстого от Церкви, то духовенству субъективно он представился совершенно иначе, чем всему русскому обществу, наконец — чем России. Для Церкви и духовенства «отлучить Толстого» значило выразить, что начал еретичествовать и оскорблять Церковь «один из литераторов, незаслуженно превознесенный, который писал романы из пустой жизни светского общества, совершенно уже не христианской по нравственности и быту». О Толстом знали только, т. е. знало духовенство, что он изображал балы, скачки, увеселения, охоту, сражения, — все «до духовных предметов не относящееся». И духовенство совершенно не знало, а в случаях знания — совершенно не понимало, тот огромный, волнующийся и тонкий духовный мир, в который Толстой проник с небывалою пронизательностью. Духовенство наше не только литературно не образовано, но оно и психологически не развито: и сомнения, тревоги, колебания, мучения совести и ума Левина («Анна Каренина»), князя Андрея Болконского и Пьера Безухова («Война и мир»), Оленина («Казачьи»), Нехлюдова («Воскресенье» и «Утро помещика») — для него просто не существовали. Все это казалось «вздором и баловством барской души», праздной, без работы и серьезного служебного долга.

Это — понимание одной стороны. Мы видим, что оно граничит с полным непониманием.

Но и Толстой, с одной стороны, совершенно не понимал Церкви.

Он знал Евангелие — да.

Он видел темноту и корыстолюбие духовенства. Видел его мелкую бытовую неряшливость, сказывающуюся в мелкой боязни перед большою властью, непрямоту в отношениях к богатым людям, от которых оно экономически зависимо; и равнодушие к нравственному состоянию народа. Действительно, духовенство сумело приучить весь русский народ, до одного человека, к строжайшему соблюдению постов; но оно ни малейшее не приучило, а следовательно, и не старалось приучить, русских темных людей к исполнительности и аккуратности в работе, к исполнению семейных и общественных обязанностей, к добросовестности в денежных расчетах, к правдивости со старшими и сильными, к трезвости. Вообще не научило народ, деревни и села, *упорядоченной и трудолюбивой, трезвой жизни*. Это имело страшно тяжелые последствия. Бывали случаи в России, что темный человек зарежет на дороге путника; обшаривая его карманы, найдет в них колбасу; тогда он ни за что не откусит от нее куска, если даже очень голоден, если убийство случилось в постный день, когда церковью запрещено употребление мяса. Это — ужасный случай, но он действителен. Толстой вывел это во «Власти тьмы», где даже убивают новорожденного ребенка, — но *предва-*

рительно надев на него крест, т. е. приобщив его к составу верующих, введя в Церковь. В России есть много *святых людей*: и гораздо реже попадаете просто *гестный, трудолюбивый человек, сознательный в своем долге и совестливый в обязанностях*.

Это — общее несчастье России. Сколько в обществе и печати ни говорили об этом духовенству, оно было исторически глухо к этим словам. Оно не замечало, не чувствовало укоров. Таков *дух и история* русской Церкви и русского духовенства, а известно каждому из личной жизни, как трудно сознать, почувствовать и исправить специфические данные, недостатки и пороки. Таким образом, этот страшный проступок духовенства есть, однако же, проявление только общечеловеческой, мировой слабости, безволия, «таковы» в отношении других слабостей и пороков.

Толстой гневался и волновался около этих недостатков духовенства. Около его бесчувственности к слову, к укору. И волнение, развиваясь дальше, — выразилось в резком осуждении русских *пышных церковных служб, пышных облачений*, и присущего духовенству значительного *властолюбия и гестолубия*. «К чему все это, когда вы не выучили народ даже воздерживаться от водки».

* * *

Конечно, Толстой был прав здесь. Но *мелкою правдою*. Есть в мировых и исторических вещах крупная правда и мелкая правда. Перикл украсил Афины великими созданиями архитектуры и скульптуры: и *истощил государственную казну* на это. Афиняне бросились на него с жестокими упреками, и едва он сам не принужден был пойти в изгнание. Он спасся только, сказав: «Хорошо, граждане, — расходы на статуи и храмы я приму на свой личный счет; но зато на них сотру надпись: *воздвиг афинский демос*, и выставлю подпись: *это сделал для народа Афин Перикл*». Афиняне взволновались и оставили прежние надписи, но приняли на себя и расходы, т. е. увеличение налогов. Другой пример: Сципион Африканский спас Рим, победив Аннибала; но на поход в Африку истратил очень много денег и, главное, не записал всех расходов и не мог дать отчета. Народ, подготовленный агитаторами, в шумном собрании потребовал у него отчета. Молча он взглянул на неблагодарных граждан и сказал: «Сегодня годовщина битвы при Заме (где он разбил Аннибала): я иду в Капитолий принести благодарность богам. Кто хочет — пусть следует за мною». Впечатлительный народ под обаянием благородного слова кинулся за ним в Капитолий, покинув клеветников. В обоих случаях народ, *требуя отчета в деньгах*, — был, разумеется, прав. Но он был *мелочно прав*: и оттого вообще неправ. В такую неправоту впал и Толстой.

Он не понял или, лучше сказать, *просмотрел* великую задачу, над которою трудились духовенство и Церковь девятьсот лет, — усиливалось и было чутко и умело здесь, и этой задачи действительно чудесно достигло. Это — выработка *святого человека*, выработка самого типа *святости*, стиля *святости*; и — *благогестивой жизни*.

Конечно, если бы русский народ ограничивался представлением, что убить не так грешно, как съесть мяса в постный день, — то в России не было бы возможно вообще никакому человеку жить, сам народ давно погиб бы в пороках, и Россия

как государство и нация развалилась бы. Но *зем-то* она держится. Чем? Тем, что от старика до ребенка 10-ти лет известно всем, что такое «святой православный человек»; тем, что каждый русский знает, что «такие святые — есть, не переведутся и не переводились»; и что *в совести своей*, которая есть непременно у каждого человека, все русские вообще и каждый в отдельности тревожится этим образом «святого человека», страдает о своем отступлении от этого идеала, и всегда усиливается вернуться к нему, достигнуть его, достигнуть хотя бы частично и не долго.

«Святой человек» или «Божий человек» есть образ, именно художественный образ (а не понятие), совершенно неизвестный Западной Европе и не выработанный ни одною Церковью, — ни католицизмом, ни протестантизмом. ¹⁰

Он заключается в полном и совершенном отлучении себя от всякого своекорыстия, не говоря о деньгах и имуществе, даже вообще о собственности, — это отречение простирается и на славу, на уважение другими, на почет и известность. «Святой человек» погружается в совершенную тишину безмолвной, глубоко внутренней жизни: но не пассивной и бездеятельной, а глубоко напряженной. Усилие направляется на искоренение в себе всяких «нечистых помыслов», т. е. на искоренение самых *мыслей и желаний*, связанных с богатством, знатностью, женщинами, шумом городов и базаров. Но это — только отрицательная половина дела, которая была бы неисполнима без положительной: что же наполнило ²⁰ бы душу, опустевшую от «нечистых помыслов»? Свобода от «нечистых помыслов» есть только выметенная горница для принятия какого-то гостя. Этот «гость», в нее входящий, есть Бог. Но не «Бог» как понятие, не «Бог» как религиозная истина: а Живое Лицо Его, Живое Его Существо, наполняющее душу такого «русского праведника», «русского юродивого», «русского святого» неописуемым восторгом и счастьем. Но — не это одно, хотя это — главное. Русский не остается с этим. Иногда он на десять лет уходит в лес, выкапывает себе пещеру, строит себе шалаш, и в нем живет, на голоде и холоде и в полном безмолвии, чтобы «сподобиться узреть Бога», «почувствовать Бога»... Он непрерывно душевный феномен, мало известный или вовсе не известный у других народов. Этого ³⁰ ни описать, ни выразить нельзя, это нужно тайно подсмотреть или случайно услышать. Вся молитва сплетается из глубокого сознания своей греховности, своего ничтожества, из совершенной примиренности души со всеми людьми, виденными и которых не видел он, из жажды Божией помощи, из надежды на Божию помощь, из веры в чудо и чудесную Божию помощь, из веры в чудо и чудесную Божию помощь. Душа такого человека, за 5—10 лет, прошла страшные отречения и полна страшной жажды. И «по вере» дается: он «чувствует Бога около себя», в своей пещере, шалаше, в келье; больше же всего, конечно, в душе и пылающем сердце. И вот он закален: закален от «искушений», соблазнов, от влечения к пустоте и ничтожеству мира. Но «русский святой» не бывает без великой ⁴⁰ любви ко всем людям. «Русский святой» есть глубоко *народный святой*. Тогда он выходит из своего уединения и безмолвия: и одни из таких людей делаются «странниками», т. е. переходят из места в место, странствуют по всей России, идут в знаменитые величием и древнею славой монастыри России, Греции, Палестины. Или, чаще, поселяются где-нибудь *поблизости* к монастырю (но никогда почти в самом монастыре), и беседуют с теми людьми, которые к ним приходят искать утешения и совета в несчастии жизни, в потере ближних, смерти жены

или мужа, смерти детей, в брошенности мужем или возлюбленным, в разорении, притеснениях от людей и власти. Наконец, приходят люди, запутавшиеся со своим умом и совестью; приходит убийца, приходит богач, кающийся в дурных способах приобретения богатства. Приходят все «труждающиеся и обремененные», о которых учил Спаситель, что Он «пришел исцелить их». Приходят, наконец, неизлечимо больные телом, чтобы он о болезни их «попросил Бога». Шалаш или келья такого «святого» бывают окружены массою народа: и проходя среди его, «святой», по взгляду на лицо уже узнав, чем (приблизительно) томится пришедший, дотрагивается до него рукою, уводит его к себе в келью или как-нибудь уединяется, и беседует, расспрашивает, советует. 10

Такому «святому», по общему народному убеждению, нельзя солгать, как и нельзя, «грех», что-нибудь ему не досказать. Таким образом, перед ним раскрывается вся душа и вся жизнь пришедшего за помощью человека. И как за год он переговорит таким образом с несколькими тысячами людей, а за много лет со многими десятками тысяч человек, то душа и духовный взор и духовный разум такого «святого» до того изощряется и утончается в постижении природы человеческой и всех колебаний жизни человеческой, что он становится — как народ называет — «прозорливым», т. е. он прозирает до самого дна душу человеческую, видит эту душу в самом трепете, в самых потаенных волнениях, в самых скрытых поползновениях и слабостях; 20

и в то же время он видит в этой душе лучшие возможности, находит такие силы, которых сам пришедший в себе не признавал; наконец, одушевляет и укрепляет к лучшей новой жизни своим святым одушевлением. Он не просто *советует*, а *повелевает* пришедшему человеку сделать что-то и то-то, всегда в глубочайшем соответствии с силами и способностями человека, никогда ее резко не насилуя и не ломая. Очень нуждающимся, сиротам, вдовам, он помогает деньгами, — из тех, которые приносят «в дар» ему другие. Толстой любил посещать таких «святых», ибо зрелище народное нигде так не открывается, как около жилищ таких «святых». Один такой русский отшельник дал ему сюжет для рассказа «Три старца»: он в нем только несколько переименовал случай, которого случайно был зрителем. 30

Именно, — Толстой раз видел, как такой «старец», уже окончив беседу с народом, шел к келье, а люди все бежали около него, и он от этого еще более изнемогал. Вот один из таких «бегущих» схватил его за край одежды. Старец к нему обернулся. — «Что тебе?». — «Как спастись?». — Старец, совсем изнеможенный, в силах был только проговорить: — «Да, сколько вас в дому?» — «Трое», — ответил пристававший. Тогда, остановясь и задыхаясь, старец сказал: — «Ну, так и *спасайтесь*, молясь: *три вас, три нас — спаси нас*». Так мне рассказывал сам Толстой. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» вывел в лице старца Зосимы иеромонаха Амвросия, из той Оптиной пустыни, куда перед смертью поехал из Ясной Поляны гр. Толстой. Здесь же у отца Амвросия бывали лучшие русские философы, 40

Страхов и Соловьёв; первый был не только философом, но и превосходным ученым по физиологии и физике. К старцу Амвросию (он умер лет 18 назад) приезжали и купцы-миллионеры, и придворные лица, дворяне, военные и последние бедняки и убогие. И он совершенно одинаково говорил со всеми. Таким образом, подобный «святой» есть собственно «исцелитель» болящей душою России и болящей в жизни России, — иногда на свою небольшую местность, иногда на несколько губерний, иногда даже на всю нашу землю. Последнее было со священником города Кронштадта, Иоанном.

Но это — законченный образ «святого». Однако *приближения* к нему купцами рассеяны во всем народе; или — редкий русский человек не переживает порывов к этой святости, хотя недолгих и обрывающихся. Вот этою стороною своей нравственной или, вернее, своей духовной жизни и живет русский народ, ею он крепок, через нее встает из всяких бед. Русский народ никогда не отчаивается, всегда надеется. Параллельно с грубостью, ленью, пьянством, пороками, но в другом направлении, идет другая волна — подъема, раскаяния, порывов к идеалу. И это в простом народе еще сильнее и распространеннее, чем в образованных классах.

Но этот «святой человек» дан Церковью, церковным духом, церковною историей. Молитвы, присущие нашей Церкви, которые непрерывно народ слышит в храмах, полны совершенно особенного духовного настроения и жизненного понимания. Это духовное настроение полно нежности, деликатности, глубокого участия к людям, глубокой всемирности... В храме постоянно слышатся молитвы «о всех людях» (не об одних православных, не только о своей Православной Церкви), о «примирении всех людей» (между прочим — о примирении «всех Церквей»); о том, чтобы Бог укрепил в людях кротость, прощение обиды; вместе с тем в храме упоминаются с молитвою о помощи «все теперь болящие», все «путешествующие»; священник вслух молится, чтобы Бог помог присутствующим «подавить свой гнев», «не осуждать своего ближнего», «видеть собственные недостатки»; чтобы Бог помог каждому «рассеять свое печальное настроение». 20
Есть ежедневная молитва о том, чтобы Бог каждому присутствующему послал в свое время «безболезненную кончину» и «образ христианской смерти». Вместе с тем Церковь молится о плодородии земли, о «мире всего мира», о «благорастворении воздуха», т. е. о хорошей погоде для урожая, овощей и плодов. Все это очень *народно* и очень *жизненно*: храмовая служба наша обнимает мелкое и великое жизни человеческой во всех ее подробностях, в высшей степени понятных и в высшей степени нужных каждому. Отсюда проистекает народный и любимый характер церковной службы. Не зная церковной службы, совершенно нельзя понять, что такое русский народ и как он произошел. Если бы уничтожить церковную службу и разрушить действие ее на душу народную и на быт народный, — Россия немедленно дезорганизовалась бы, пришла в хаос и пала. Храм вполне заменяет для нашего народа гимназию, школу, университет, книгу и науку. Этого нельзя понять, не зная универсальности нашей храмовой службы и того, что она вся выражена поэтично, вдохновенно. Ее музыкальная сторона, заключающаяся в повышении и понижении голоса произносящего молитвы, в напевах молитв — удивительна. Таким образом, она не только просвещает народ известными истинами, но и постоянно зовет его к идеалу, притом к идеалу жизненному, простому, достижимому, практическому, трезвому и благородному. 30

* * *

40

Вот великий «Акрополь» русского народа; его «победа над Аннибалом»... Здесь таится так много сокровищ, что в виду их совершенно невозможно было подымать тех споров с *богословием* Церкви, т. е. с *книжными теориями* о Церкви, которые начал Толстой. Пусть был бы во всем прав Толстой, и «русское богосло-

вие» под его критикою превратилось бы в развалины. Это ничего решительно не затронуло бы. И «русский святой», с помощью всему слабому и болящему в народе, остался бы по-прежнему все также нужен и полезен народу, также свят и прекрасен в своем образе; и «даруй, Господи, мир всему миру, соедини всех верующих вместе, уничтожь разлад их сердец, дай нам всем кончину жизни светлую, совестливую и безболезненную» — все это осталось бы истиною, все это останется прекрасным и глубоким. Толстой был очень похож, в своих богословских трудах, на медведя, который, — желая согнать муху с лица своего заснувшего друга-человека, — поднял бы против этой мухи камень, который может убить самого человека.

В этом он был не прав и бессилен. В России, в образованных классах, очень развит новый атеизм: атеисты шумно приветствовали его критику, воображая, что она что-то разрушает. Наконец, ей очень обрадовались теснимые правительством сектанты, так как эта критика удовлетворяла их чувству вражды к Церкви. Но на нее совершенно не обратила никакого внимания вся масса серьезно образованного русского общества, которая знает существо своей Церкви и знает ее корни.

* * *

Еще о последних, об этих «корнях»... Толстой учился в университете, на физико-математическом факультете, притом, по собственному воспоминанию, — учился плохо и небрежно. Хотя он потом всю жизнь очень много читал и изучал, но это не могло заменить университетских лекций по истории. Дело в том, что никакая книга не содержит в себе *интонации* живого голоса живого человека и не содержит «отступлений в сторону», оговорок и замечаний, — которыми профессор сопровождает чтение в аудитории. Наконец, ни в какую книгу нельзя уложить и ни в какой ученой форме нельзя выразить тех частных бесед, бесед мелькающих, обрывающихся, недоконченных, которые студент, заинтересованный наукою, может иметь с профессором, у него на дому, или идя по коридору из аудитории. Ведь часто афоризм скажет больше, чем рассуждение; насмешка, сарказм живого человека, или его восхищение, выраженное в блеске глаз и вибрации голоса, — скажут больше, чем печатные строки с печатным знаком восклицания. Словом, книга всегда «без штрихов»; и в книге говорит ученый «без тона»; а «тон делает музыку»: и Толстой знал историю вот именно «без музыки». Т. е. в сущности он ее вовсе не знал, иначе как скелетно и в одних фактах. Духа ее не знал, аромата ее не обонял. Только ученый, уже всю жизнь посвятивший на изучение эпохи перевода античного мира в новый христианский, мог бы в четыре года университетского курса дать почувствовать Толстому такие тайны античных чувств, такие тайны противоположных христианских чувств, мог бы передать такую непостижимость древней смерти и нового воскресения, как поистине ⁴⁰ уловимы для голоса и уха и неуловимы для бумаги и чтения. Толстой был просто необразован в этой области. Как ни велик его гений, как ни глубоко и всемирно его сердце, он понял бы, что все-таки это есть *лигный* гений, *лигное* сердце, что через голову его проходят *лигные* мысли, сегодня *одни* и завтра — *другие*: и все это только оmyвает подножие того гигантского горного хребта, какой являет со-

бою история в бесчисленных *пластах* ее, *твердых* и *неисповедимостях*. Как мал Шекспир перед английскою историею! Может быть, он гениальнее всякого англичанина: но *все-то* англичане, весь английский народ, все поколения этого народа так велики, мудры, поэтичны, что Шекспир все-таки является среди его как Монблан среди Альп. Он *выше* всех: но Альпы неизмеримо *больше* его... То же и Толстой в религиозной критике Православия: в одежде мужичка и странника, *подражая русскому мужику и страннику* — он входил в толпу народную, где-нибудь около монастыря. И он *тонул* в ней, исчезал, становился невидим. Это — физически, но *также* и *духовно*. Он вдруг действительно перестает быть «великим» среди этого народа, болящего всеми язвами человеческими и мучающегося всеми человеческими сомнениями. Народ, простая обыкновенная толпа в тысячу человек, но измученная и религиозно взволнованная, поднятая религиозно молитвой, надеждой, страхом, отчаянием, принесенным сюда из домов своих, — она религиозно была... не выше, но массивнее, серьезнее, страшнее всех учений Толстого о «непротивлении ли злу», или каких других, все равно. Народ — гигант, всегда гигант. История — еще больший гигант, колосс. И нельзя человеку, никогда нельзя подходить к этим величинам, иначе, чем с желанием вникнуть сюда, уважать это, любить это...

Море всегда больше пловца... Оно больше Колумба, мудрее и поэтичнее его. И хорошо, конечно, что оно «позволило» Колумбу переплыть себя: но могло бы и «не дозволить». Природа всегда более неисповедимая тайна, чем разум человеческий. Толстой — был разум. А история и Церковь — это природа.

СОЧИНЕНИЯ ЮРИЯ ФЕОДОРОВИЧА САМАРИНА

Том четвертый. Москва. 1911. Стр. LVI + 558

Сочинения Ю. Ф. Самарина издаются с тою роскошью и дешевизною, как это присуще и возможно только для фамильных и «памятных» изданий. Издание едва ли найдет толпу шумных читателей, но оно будет необходимостью во всякой серьезной библиотеке, для всякого государственного человека, для тех многочисленных и государственных, и общественных деятелей, которые отдают жизнь и силы крестьянскому делу. Четвертый том посвящен именно последнему. Содержание его не литературное, а государственно-устроительное. В нем помещены «Труды по составлению проекта положения о крестьянах в редакционных комиссиях», обнимающие время с 3-го июня 1859 г. по 10 октября 1860 г.; и многие статьи, написанные Юр. Феод. в аксаковском «Дне», в связи с тем же вопросом. Книге предпослано обширное предисловие Д. Ф. Самарина, которому принадлежит и самое издание, и его редакция. Ю. Ф. Самарин принадлежит к высшему типу наших государственников, тех государственников, не прислушавшись к голосу которых, и не послушав совета их, пришлось через полвека отступить перед кричащей толпой и перед людьми, враждебными уже самому государству, самому, наконец, порядку и всякой правильной гражданственности. К худу или

к добру, но все вообще славянофилы, не исключая и Самарина, были люди, так сказать, «комнатного характера». Между тем некоторая доля истории делается «на свежем воздухе», и чем дальше, тем больше. От этого своего характера славянофилы не получили шумного признания, и даже никогда не были очень распространены и общеизвестны. Но — каждому свое. И вольное, и невольное уединение и непризнанность сохранили за ними то целомудрие пера и ту чистоту и прямоту духа, мысли, всех суждений, которых остается в печати все меньше и меньше, и плоды этого духа, их сочинения, потеряв в распространенности, приобрели в вечности. Так IV-й том «Соч. Ю. Ф. Самарина» читается и сейчас с интересом. Читатель, даже не специалист, уходит в крестьянский мир, не только в одно его хозяйство, а и в его дух. «Мы — ваши, а земля — наша» — эта аксиома крестьянского мировоззрения режет и сейчас ухо и давит недоумением ум, как и тогда, 50 лет назад. «Нам воли не надо („мы — ваши“) и крепость нас не тяготит: а тяжело, когда *есть нечего*, когда *хлеба мало*». Освобождение крестьян, как известно, основывалось совершенно на противоположном: им давалась свобода, зато часть *прежде владимой* (фактически) земли — отходила к помещику. Оказалось, что крестьяне были в полном от этого недоумении, и не верили даже, что это было «Царево решение». «За землю» они ничего не хотели работать помещикам, и ничего же и платить им: считая землю *извегню своею*. Но соглашались, взамен *всей земли*, остаться «барскими», «в неволе». Споры на этой почве Юр. Ф. со своим братом Дим. Федор., который в качестве мирового посредника проводил «на земле» реформу (в Самарской губ.), в высшей степени любопытны. Но мы не можем входить в подробности, отсылая читателей к самой книге.

«ОТОЙДИ, САТАНА»

Несчастную и благородную семью Стольпиных точно распинают... Изуродовали 10-летнюю девочку — молчание; убили отца и мужа — молчание; но вот за убитого поднимает голос брат: и ему велят замолчать, ссылаясь на заповедь Христа о любви, которую он обязан теперь исполнять. Почему же «о любви даже и к врагам» (политическим) ничего не говорил в печати Мережковский, ничего не говорила Гиппиус, ничего не говорил Философов, ничего не говорила Соловьёва, когда случилось несчастье на Аптекарском острове? Что, изранение 10-летней девочки сказало ли что-нибудь их сердцу? Ничего. «Не наша кровь пролита, все равно». «Не наша, и *не наших*». Подняли ли они голос с протестом, когда не год, не два шла травля против убитого, не критика его и не порицания, на что каждый вправе, а травля, — и таким образом умы общества готовились к убийству, дабы, когда оно совершится, все остались равнодушными зрителями и конвульсивным движением не причинили вреда убийцам. Мясник, раньше, чем заколоть быка, оглушает его ударом обуха по голове; роль такого предварительного «оглушения» играет печать известного сорта: криками, ложью, злобою, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц и из года в год, она доводит читающее общество до того, что кто-нибудь встает и убивает... Убивает с чувством *глубокого права*, вот как Богров, как все они...

«Посланец *народный*», думает о себе убийца; так он поверил печати, подтасовавшей собою народную душу, народную волю, народный голос.

Почему же, пока литературою подготовлялось убийство, Мережковский молчал? Гиппиус не протестовала? Философов «не присоединился»? и Соловьёва не была «притянута за волосы»? Почему они *тогда* не говорили устно в своих редакциях, не выступали гласно с протестом против такого *тона* травли, почему *тогда* молгали о христианской любви?»..

Христианская любовь и русские газеты... «Речь» и Евангелие... Но что же может быть кощунственнее этого соединения?! Если бы сколько-нибудь было чувства *уместности* и гармонии у наших писателей, они на столбцы газет никогда бы не тащили этих слов — «милосердие», «жалость», «любовь», «милость», «прощение»... Ибо слова это все *домашние*, слова — выработавшиеся в *благословенных странах* и в *благословенные минуты истории*, когда политики не было, и где газет тоже, слава Богу, не появлялось... Когда теперь типографские чернила пачкают слово «любовь», то уже в двух вершках расстояния чувствуется убийство, и когда заговаривают в газетах о «милосердии», — знайте, это готовят паспорт и переодевание убийцам, которые могли бы бежать... Христианская любовь и орган Гессена и Милюкова, Гиппиус и человеческое милосердие: господа, смотрите же на этот маскарад, вы не видали ничего подобного по водевильности!

* * *

Отвратительно.

Боже, до чего стала отвратительна русская литература.

На газетном языке мы вправе говорить о гневе, ярости, корысти, выгодах и победе партий. Это тоже не золотые речи: но, по крайней мере, без лжи.

Еще о софизмах Влад. Соловьёва. Он разделил «национальность» и «национализм», одобряя один и призывая все египетские язвы на второй. Но какая же между ними разница? Национализм есть *заостренная национальность*, заостренная для битв и борьбы, для защиты своего «существования», говоря Дарвиновым языком, — когда этому существованию угрожает гибель или тяжкий вред. Что же такое за «меч», который должен быть постоянно туп; который нужно сломать, как только он отточен? Какая же другая, *родовая* разница, между «национальностью» и «национализмом»? Когда никто на Россию не нападает, а она в мире и тишине растет из себя, из своего зерна и на своем корню — она «национальна». Но на нее нападают... Что же, и при ветре ей нужно не шелохнуться листьями? Вот философия Соловьёва не то младенческая, не то шулерская. Нет, при ветре дерево шумит листьями, перед битвой меч оттачивается... Мягкое железо в битвах закаливается в сталь. «Но это уже *национализм*, а не национальность, которую я *дозволил*», — вопит длинноволосый философ, и за ним повторяют сейчас кровенящимися ртами главные писаки...

Оставьте, господа, шулерство. Бросьте связывание себя с философией и с Христом. И вечно-то у наших либералов и социалов потребность носить чужое имя и держать в кармане чужой паспорт. Какое-то «партийное» недомогание!.. Мережковский — Гиппиус — Философов — Соловьёва, *имея свои прямые чувства* (ненавидения России и симпатии к еврейству) говорят, будто они «проповедают

Соловьёва»; а Соловьёв, *тоже за свой счет браня* Страхова, Данилевского и славянофилов, ссылаясь, будто бы он «действует по Христу». Но ни Христу — Соловьёв, ни Соловьёву — Гиппиус и Мережковский — вероятно, не были нужны... «Отойди от Меня, сатана»...

* * *

Тот, кто начал гнуться, мало-помалу *вырастает кривым*. Есть закон «дальнейшего духовного развития». Уже Соловьёв начал отречением от России; ломался, истеричничал, — но, раз ступив на эту тонкую почву, не мог поправить своей «печальной судьбы»... Он *отрекся нравственно* и от Пушкина (в «Судьбе
10 Пушкина») и гнулся дальше и дальше, до унылой смерти... Но если бы он посмотрел на тех летучих мышей, которые теперь цепляются ветвями за его саван... Была литература... поэзия была... была философия... И вдруг выглянул полицейский Кулябко: «Это — *все мои друзья*». И от «интимной близости» с Кулябкой некуда деться Мережковскому, Гиппиус, Соловьёвой и Философову. Одна душенька и одно исповеданье.

ОПРАВДАНЫЕ НАДЕЖДЫ НАШИХ ГЕРОСТРАТОВ

«Новый энциклопедический словарь» Брокгауза-Эфрона, как и первое его издание, фабрикуется русскими профессорами-компиляторами и пропускается через еврейскую цензуру заправил издания. В силу этого в нем пропущено много
20 имен русских ученых и замечательных деятелей, зато уж разными «Аскинази» пестрят его столбцы. В первом издании его еврей-публицист Слонимский поместил не только собственную биографию, но и биографию своего «папаши», когда-то что-то написавшего по агрономии. Немного бы больше смелости, и он поместил бы биографию своей тещи; может быть, для 2-го издания он не упустит это сделать. Во всяком случае, во 2-м издании вовсе пропущено имя ученого епископа *Антонина*, автора репродукции, т. е. восстановления утерянного текста, пророка Варуха, по его переводам на восемь древних языков, громадный филологический труд более, чем в 1000 страниц. Не назван громадный труд В. П. Черванского «Семирамида» в исчислении популярной русской литературы об Ассирии. О г-же Балобановой, знатке кельтических языков, в 11-ти строках дан
30 только перечень ее ученых и литературных трудов (с пропуском очень важного: «Библиотекосведение») и ничего не сказано о ее жизни и педагогических трудах. Но вот рядом с нею излагается биография неразвитого и бесхарактерного студента Балмашова, которому еврей-Гершуни дал в руки револьвер и послал его застрелить русского министра Сипягина, — и тут столбцы «Словаря» раздались. Не только приведены его предсмертные слова, но даже приводится «литература» предмета: рассказ свящ. Петрова в «Русс. Сл.» от 27 мая 1907 г., заграничная брошюра «Памяти С. В. Б.» и брошюра, вышедшая в 1906 г. в Петербурге: «Убийство трех министров», — Боголепова, Сипягина и Плеве, наконец, «Казнь С. В. Б.»

в июньской книжке «Былого» за 1906 г. Всякий гимназист отсюда может заключить, что все свои двойки и единицы в гимназии он может поправить, если согласится кого-нибудь убить по еврейской указке, они ему доставят в своих изданиях если не историческое бессмертие, то бердичевское бессмертие. Но все не заинтересованные в еврействе люди могут смотреть только с отвращением на этот апофеоз «полезных убийств», каким окружает недоучившихся мальчишек солидный по объему и виду quasi-ученый «Словарь». Качества «Словаря» в высшей степени понижаются введением этой легкомысленной политики. И нельзя не пожелать, чтобы наша Академия наук взялась за составление настоящего солидного «Русского энциклопедического словаря», — настолько нужного каждому. Это было бы превосходною услугою русскому образованию, и это есть прямая задача именно Академии. ¹⁰

К 100-ЛЕТИЮ ПУШКИНСКОГО ЛИЦЕЯ

(19 октября 1811 г. — 19 октября 1911 г.)

К. Я. Грот. Пушкинский лицей (1811–1817).

Бумаги первого курса, собранные академиком К. Я. Гротом

Благочестивая в науке семья Гротов все продолжает подвигаться на словесно-книжном поле: Конст. Яковл. Грот, сын приснопамятного академика Якова Карл. Грота, наставника императора Александра III, издал к столетию Александровского лицея, бывшего «Царскосельского», которое исполняется 19 октября 1911 года, огромный том, документально живописующий быт, историю и нравы, капризы и веселости, успехи и неудачи отроческого гнездышка Пушкина... Бумаги, составляющие этот том, все были собраны его отцом, и по ним он составил дважды изданную книгу «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники». Конст. Як. Грот, однако, справедливо думает, что самые «бумаги» эти достойны издания во всей полноте своей, не только для ученых, для которых «все важно», но и для широких образованных слоев общества, для которых перелистать и местами погрузиться в чтение этих «документов» так же занимательно, как и в каждую новую книжку «Русск. Архива» или «Русск. Старины», а по питомцам лицея и привлекательнее даже. Спасибо трудолюбивому профессору... Все Гроты отличаются ³⁰ какою-то благочестивою, благородною памятью: для первого «Большого Грота» лицей был священен, как место *собственного воспитания*, сливавшееся с местом воспитания любимейшего и величайшего поэта Пушкина, посещения коего он еще помнил. Пушкин посетил лицей два раза, в 1828 г. и в 1831 году. О первом посещении Я. К. Грот рассказывает: «Мы (воспитанники лицея) следовали за ним тесною толпою, ловя каждое его слово. Пушкин был в черном сюртуке и белых летних панталонах. На лестнице оборвалась у него штрипка; он остановился, отстегнул ее и бросил на пол; я с намерением отстал и завладел этою драгоценностью, которая после долго хранилась у меня. Из разговоров Пушкина я ничего не помню, да и почти не слышал: я так был поражен самим его появлением, что не ⁴⁰

умел даже и слушать его, да притом *по всегдашней своей застенчивости шел позади других...*». В словах «о своей застенчивости» будущего светила науки сказалась вся его натура: а рассказ о «штрипке» как-то символичен для всей его последующей биографии и даже для биографии *рода* Гротов... Не улыбайтесь «штрипке»: ведь тогда он был мальчиком. Но почтеннее и *умнее* поднять «штрипку» Пушкина, нежели выругать Пушкина, над чем потом старались тысячи русских мальчиков, именно *этого возраста* (нигилизм)... С умения благоговеть к *крошке*, к *незаметному*, к *мелочи*, — благоговеть или быть *внимательным* — и начинается человеческая культура. Цивилизацию начал не тот, кто *разбил* горшок, а кто *сделал* горшок: вот ответ русскому нигилизму, который состоит из разрушения, надеется на разрушение, возвел разрушение в религию и построил теорию истории, как теорию разрушения и разрушений. Это — дикарь, изменник и разбойник, которого нужно умертвить, ибо он сам грозит все умертвить: это *единственный*, который *может умертвить: это единственный*, который *может быть умерщвлен*. Нигилизм — сатана прогресса, антихрист цивилизации, проклятие всего на земле «лучше»; и все на земле, вся земля вправе на него восстать и убить его, как своего *единственного* врага, или, вернее, *объединителя* всех враждебных сил... «Nihil» противоположно «Pan»: и «Pan» должно убить «Nihil». А «Pan» начинается со «штрипки»; в том, чтобы «поднять» мелочь и долго ее «хранить»: не уни-
 20 зить, не оплевать, а поднять и поцеловать. И «штрипку» Пушкина, и ученическое его стихотворение, — с ошибками в грамматике, — да еще дав facsimile этих *ошибок*. Пушкина, потом Дельвига, потом всех, кого можно, о ком сохранилась *память*, кто *жил* и даже если он не оставил памяти, то помянем и «безымянных»... Вот *культура*: лес на останках леса же, город на пепелище города, слияние живых и мертвых в универсальный и *вегный организм любви*, организм взаимного уважения, где никто не забыт и не непочтен никто — самый *безымяннейший!* Это и есть «Pan» культуры: антитезис ее *нигилизму*, где один таскает другого за волосы, и каждый только *о себе* кричит, что он что-нибудь значит... Грот именно шел «в застенчивости *сзади*»: но благодарность к *любящему* (т. е. к Гроту) перенесла
 30 его через головы торжественной вереницы нигилистов (Чернышевский, Писарев), которые все шествовали «впереди всех» и теперь совершенно забыты, как *самые последние, самые ненужные*.

Но оставим их, вечную боль нашего ума. В день 100-летнего юбилея К. Як. Грот принесет в дар Пушкинскому музею, основанному при Александровском лицее, все бумаги и документы, собранные его отцом, но перед этою сдачею *подлинников* он передаст в дар обществу их типографское и фотографическое их воспроизведение. Тут и ученические журналы, и официальные отметки об успехах и прилежании всех питомцев во всех науках. О Пушкине записано: «Более понятливости и вкуса, нежели прилежания, но есть соревнование. Успехи хороши довольно
 40 (русск. и латинск. яз.): при всей остроте и памяти нимало не успевают» (немецк. яз.); «худые успехи, без способностей, без прилежания и без охоты, испорченного воспитания» (у адъюнкт-профессора Рененкампа); «весьма понятен, замысловат и остроумен, но не прилежен вовсе и успехи незначущие» (по логике и нравственности); «острота, но для пустословия, очень ленив и в классе нескромен, успехи посредственные» (по математике); «более дарования, нежели прилежания, рассеян. Успехи довольно хороши» (по географии и истории); и — «по нравственной части» оценка, которая, собственно, остается верною до конца жизни

Пушкина и свидетельствует о незаурядном глазе наблюдателей-воспитателей лица: «Мало постоянства и твердости, словоохотен, остроумен, приметно и добродушен, но вспльчив с гневом и легкомысленен». Точь-в-точь таким он поднимал пистолет на Дантеса; «каков в колыбельку, таков и в могилку».

Ни одно учебное заведение в России не имеет таких особенных, лигных отношений к литературе, как Александровский лицей, бывший «Царскосельский»... и будущий «Пушкинский», как его уже поминутно переименовывают в печати, всегда почти зовут в обществе, и, может быть, когда-нибудь официальность уступит этому народному «крещению»... «Александровских» заведений и учреждений так много, что лицей тонет в их числе, теряет яркое и славное в своей истории, почему и за что его любят, «Пушкинский лицей» — в самом названии говорит свою историю, говорит о том, как он стал драгоценен «россиянам», и может стать словом. Имя императора Александра I так перегружено содержательностью: Отечественная война и Священный союз, Сперанский и Аракчеев имеют такой в себе вес и значительность, что свирель Пушкина как-то ломается возле них; и уступит из этого мавзолея дел и событий один лицей — имени «Пушкина», т. е. официально переименовать «Александровский лицей» в «Пушкинский лицей», кажется естественным и естественною благодарностью родины к памяти Пушкина. С этою мыслью соединяется и другая: о возвращении лица в Царское Село и водворении его в том самом месте, где он был при Пушкине и как он связан тысячью подробностей с его лицом, биографией и стихотворениями... Ах, эта наша разрушительная, монгольская и нигилистическая вместе, тенденция оставлять старые пепелища, покидать старые места, все перефасонивать, переделывать и, в сущности, разрушать. Нет, «нигилист» в нас давно сидит... С этими пожеланиями прекрасному лицу мы встречаем первый день II века его существования.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ДОСТОЕВСКОГО

(Литература в переплетениях с жизнью)

I

Творчество Достоевского, даже в самых фантастических его точках, не так уже фантастично, как это представляется читателю, не знакомому с его личностью и с обстоятельствами его творчества. Я помню, в первый же раз, когда познакомился с его вдовою Анною Григорьевною, то спросил ее об этом, уверенный в отрицательном ответе. К удивлению, она дала ответ положительный.

— О нет! Федор Михайлович ужасно любил вставлять в свои романы кусочки действительности, какие нам с ним встречались на жизненном пути... Любил это и весело, по-домашнему, смеялся со мною таким своим вставкам. Это простиралось на мелочи. Вы помните в «Братьях Карамазовых» Черемашню и село Мокрое.

Еще бы я не «помнил».

Анна Григорьевна весело рассмеялась и точно ушла в воспоминания.

— Так это же *станции* по дороге из Петербурга в Старую Руссу, куда мы, бывало, ездили каждое лето на дачу, в свой дом.

Я не догадался спросить: «А Лягавый, — тот жулик-кулак, который спит в Мокром пьяный на лавке и, проснувшись, только ругается и хохочет, и больше никакого толку от него ни герои романа, ни читатель романа не видят?». Но и Лягавого, до такой степени конкретного, что его нарочно «не выдумашь», верно, видел где-нибудь Федор Михайлович, хотя, может быть, и не в Мокром. Такие лица, как доктор Герценштубе (тоже в «Братьях Карамазовых»), не выдумываются. Это слишком частно, особенно и странно: и тут сперва должна сотворить матушка-природа, а потом уже человеку дано срисовать ее и украсить срисованным свое человеческое произведение. Но замечание Анны Григорьевны о том, что Достоевский вообще *любил это делать*, любил *этот прием работы*, побуждает расширить границы того исторического и реального, которое, по общему признанию, захватили его романы. До сих пор общее сознание утвердило историческую портретность только за следующими его лицами:

Петруша Верховенский в «Бесах», это — Нечаев.

Кармазинов там же, это — *Тургенев* (карикатура-портрет).

Степан Трофимович со своей статьей «Об аравитянах» — *Грановский*.

Нужно заметить, что с историческим Грановским Степан Трофимович имеет так мало общего, так мало *единого*, что мы не решились бы на свое указание, если бы не слова Тургенева: «Ну, пусть он изобразил в смешном виде меня (Кармазинов), но зачем он затронул *Грановского*?». «Затрогивания» было очень мало: он перенес мысленно благородного, мягкого, *уступчивого, пассивного* идеалиста 40-х годов в сильную и мутную волну 60-х годов. Но все подробности смешной и чуть-чуть нечистоплотной биографии Степана Трофимовича, разумеется, не имеют ничего общего с настоящей биографией Грановского.

Достоевский имел одну, так сказать, мимолетно-общую черту с Гоголем, — демоническую: его, как и Гоголя, смех разбирал «до пупика» при мысли, при образе, при самом имени какого-нибудь «установленно идеального» лица, авторитета, идеала. Помните, у Гоголя эту дьявольскую мефистофелевскую гримасу:

«Перед ним сидел *Шиллер*, не тот Шиллер, который написал „Вильгельма Телля“ и „Историю тридцатилетней войны“, но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял *Гофман*, не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и что-то говоря с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и подняв вверх голову, а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожного ножа на самой его поверхности. Шиллер говорил: „Я не хочу, мне не нужен нос! У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по 40 коп.; это будет 1 руб. 20 коп., это будет в год 14 р. 40 коп. Слышишь, мой друг Гофман? На один нос 14 р. 40 к.! Да, по праздникам я нюхаю Рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю два фунта Рапе, по 2 р. фунт. Шесть да четырнадцать — 20 р. 40 к. на один табак! Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли? Но я швабский немец, у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! Режь мне нос! Вот мой нос!“».

Это — дьяволов смех... Это — Мефистофель, шумящий со студентами в погребке Ауэрбаха: его голос, его тембр, все его, но в натуре, т. е. я хочу сказать, что это место с «Гофманом» и «Шиллером» написал настоящий Мефистофель, не выдуманный, не литературный, а какому в самом деле случается бродить по свету...

Кармазинов и Степан Трофимович, в каковых преобразовал Достоевский Тургенева и Грановского, суть эти вот именно «Шиллер» и «Гофман» гоголевского творчества, конечно, без всякой мысли о подражании. Обоих, — и Гоголя, и Достоевского, — толкнул «смех до пупика», какой в них поднимался при виде «утвержденного авторитета», и особенно морального и эстетического. Таковыми в Германии особенно были Шиллер и Гофман, а в России тоже, несомненно, были именно Тургенев и Грановский. ¹⁰

Гоголь взял самое мечтательное, самое эфирное и посадил в «сапожника»; Достоевский благороднейшего Грановского посадил в «нахлебники» к богатой вдове да заставил еще жаловаться потихоньку, что его «хотят женить на чужих грехах»... Так же глупо, чудовищно и грязно, как история с отрезаемым по «дороговизне содержания» носом у Гоголя...

Но подобные, *взятые из действительности* лица всегда суть вводные персонажи в романах Достоевского, во всяком случае, не главные. Главные, начинающиеся с двоящегося образа Раскольникова-Свидригайлова и кончая Алешей — Иваном Карамазовыми, суть выразители колеблющегося и тоже раздваивающегося мирозерцания самого Достоевского... Будущий историк литературы воспользуется следующим методом для изучения этих главных лиц: ²⁰

1) Проследит единство некоторых идей, я сказал бы — «навязчивых идей», почти фантомов, которые владеют этими персонажами. Явно, что это то же в своем роде, что автобиографический Нехлюдов у Толстого (в «Утре помещика», в «Юности», в «Воскресении»). Таким «Нехлюдовым» для Достоевского является длинный и разнообразный ряд лиц, — в сущности, вся главная толпа их. Например, в «Униженных и оскорбленных» есть поразительная фигура старого князя Вальковского; чуть-чуть тут взято, может быть, от одного титулованного издателя — автора небольшого литературного органа, издающегося до сих пор, с которым соиздачествовал в свое время Достоевский... Но гораздо более замечательны родство и близость этого князя Вальковского с Свидригайловым. А что Свидригайлов есть «Нехлюдов» Достоевского, то это видно из того, что не Свидригайлов написал, а Достоевский написал знаменитого «Бобка», — развратные и служебные разговоры покойников на Смоленском кладбище, что буква в букву повторяет кошмар Свидригайлова о том, что, может быть, «тот свет» похож на баню с пауками... «Знаете, деревенская угарная баня... И по всем стенам пауки»... «И только»... «Я бы непременно так сделал, ибо это самое справедливое». ³⁰

Душно... И вдруг это «душно» пахнуло на нас из «Бобка»... ⁴⁰

Далее: Иван — Алеша — старец Зосима, это — опять все «Нехлюдов» Достоевского. Его идеи — в разных вариантах, оттенках... Но здесь я перехожу ко второму методическому приему, который сделает будущий историк литературы, именно:

2) Он сопоставит монологи-суждения главных персонажей в романах Достоевского с монологами самого Федора Михайловича в его «Дневнике писателя» и через это опять откроет «нехлюдовщину» в его романах...

Через два эти приема может быть совершенно выделено все мирозерцание Достоевского, начиная от юности и до его гробовой доски; выделено и, наконец, даже изложено в виде просто хрестоматии из его произведений, по годам его жизни и по времени написания отдельных романов, притом в словах столь ярких, точных и сильных, каких не заменит никакое «собственное изложение» историка литературы, биографа или критика.

* * *

Историко-литературные изыскания последних лет, направленные *на все поколение 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годов*, раскрыли перед нами два псевдонима в романах Достоевского... единственно тем, что произведения Достоевского не так ярко помнятся, как произведения Толстого или Тургенева, и огромная и беспорядочная толпа его персонажей далеко не так выпукла перед *всеобщим* воображением, как Платон Каратаев, Нехлюдов, Пьер или как Базаров, Рудин, даже Пигасов, — только этим можно объяснить, каким образом археологам нашего общества не пришло на ум сопоставить сделанные ими замечательные открытия, замечательные воспоминания с целыми полосами художественных живописаний Федора Михайловича. Мы разумеем исследователей: М. О. Гершензона, А. И. Фаресова, А. С. Пругавина, П. И. Бирюкова, Н. В. Чайковского (известный народоволец). Явно, все названные писатели не принадлежат к «любителям Достоевского», иначе то, что я сейчас скажу, было бы уже давно сказано в нашей литературе.

Отрицательная, отвратительная личность Петруши Верховенского (псевдоним Нечаева) в «Бесах» уравнивается или, скорее, возмещается целую группую лиц, менее *подробно* описанных, но, пожалуй, *освященных* еще ярче, чем он... Это — Шатов и Кириллов. Кто они? Что такое они? Их *положение* в обществе, их *отношение к действительности* те же, что и у Нечаева: положение — *посторонних* людей, отношение — *критическое*. Давнее, старое явление, хорошо нам знакомое с гимназии: кто из нас не припомнит, что в то время как масса товарищества: 1) принадлежала к определенному сословию или классу обывательства и 2) по окончании курса предназначала себя к определенной профессии — врача, судьи, чиновника, земца, помещика и пр., и пр., и пр., — некоторые из милых товарищей нашего отрочества и юношества, собственно: 1) ни к чему себя не предназначали, *как к профессии*, и 2) ни к какому определенному кругу общества не принадлежали. Я называю эти «тени прошлого», может быть уже ушедшие в землю, невольно «милыми», потому что хотя тому прошло уже сорок лет, тридцать лет, но за всю жизнь, в которую мало ли народу пересмотрено, мало ли каких встреч было, на этих лицах останавливается воспоминание с наибольшим удовлетворением... дерзну сказать (хотя то были и мальчишки) — с наибольшим уважением. Привлекала вот эта их «непринадлежность ни к чему», в настоящем ли, в будущем ли. От этого на них ложился свет какой-то сиротливости, главным образом духовной, хотя большею частью на них лежал и свет физической сиротливости, по отсутствию родства, по слабости родства, или далекого, или нелюбимого и, во всяком случае, не очень «слаженного». Но, главным образом, они

были «духовные сироты», потому что ни к чему-то, ни к чему в действительности они не были привязаны, ни с чем не связаны... Вытекало это из избытка у них воображения и общих чувств, общих идей... Все они были монахами-мечтателями, вернее, и по возрасту, — были как бы мечтательными послушниками возле монастыря, который им был совершенно не нужен и нисколько их не тянул. Есть такие «монашки» или «монашенки» на отходе, вечно готовые «бежать», вечно уходящие, а не приходящие, однако, с каким-то общим и неопределенным позывом в себе именно к монашеству, т. е. к «бегству от мира», к одиночеству. «Монашества хочется, но невыносим ни один монастырь». Почему же «невыносим»? «Ни один устав не по мне: по мне будет только тот устав, который я сама выдумую». Таким образом, с существом монашества в этих замечательных и памятных отроках была слита беспредельная анархичность, вытекавшая не из склонности к «дебошу», а из бесконечной индивидуальности в них, субъективности, интимности... Их царапала и «оскорбляла», в сущности, всякая действительность не оттого, что она была дурна, а оттого, что она была не воздушна и слишком тяжело ложилась на их существо, как бы сделанное все из воздуха, мечты и воображения. Все они не чесались или плохо чесались; одевались худо и презирали одеваться хорошо; учились худо или «так себе» и никогда — отлично. Не были драчуны, шалуны, хотя иногда бывали «проказники» и «на худой платформе»... но это — не главное. Главное — книги и мечта. Чтение совершенно необузданное, «без всякого разбора», но, главным образом, без всякого удержу, день и ночь, как гашиш, как опиум. Что же, однако, искалось в чтении? Опять не определенный «устав» и «монастырь», а «как бы куда уйти». «Любовь к чтению» вытекала из того одного, что книга была «не жизнь». «Чтение» было «бегством» для того, у кого не было денег и возможности «купить билет в поезд» и уехать непременно «куда-нибудь», без определения места. Как «определенное место», — так «гадость» для этих 17–18–23-летних «бегунов». Есть такая и секта у русских. А сектанство наше, собственно, разрабатывает вширь и вглубь народную психологию, общественную психологию, личную психологию, но именно — нашу. Эти одиночки-нигилисты, всегда тоскующие, всегда угрюмые, в большинстве — печальные, скучающие, ни к чему не могущие «приткнуться» и привязаться и в то же время безумно привязанные...

К чему?

А вот найти наконец «устав по мне», а за явную невозможностью этого — придумать самому такой «устав», который бы удовлетворил всех, насытил бы всех и никого более не царапал, не мучил, как мучит вообще всякая действительность. И по молодости, да и вообще по разным законам души («мое «я» есть центр мира»), им не приходило на ум, что мучит их не «такая» или «иная» действительность, а самое существо *действительности, осязательности, конкретности*, по противоположности с слишком большой эфирностью существа, большой духовностью, преобладанием воображения и мысли. Таким образом, они стояли, не зная того сами, перед «квадратурой круга», «философским камнем» и «жизненным эликсиром», — темы, равно привлекательные, вековые и важные, потому что неразрешимые. «Неразрешимое» всегда нравится уму человеческому, потому что он и действительно, по существу своему, «больше всего»... Он бы не рос и не был бы вечен, он не был бы умом человека, а только умом животного, если бы что-нибудь нашлось в действительном больше его. Но все его меньше,

и в поисках объекта, достойного и равного объекта и соперника, он ищет и привязывается до безумия именно к «неразрешимому», именно к квадратуре круга, к жизненному эликсиру.

II

Достоевский, при всех его колебаниях около мировых проблем и около русской действительности, никогда не выпускал из мысли этих «русских мальчиков», как он их назвал под конец жизни в «Братьях Карамазовых». Впрочем, «мальчики» тут ни при чем; это если и «присказка», и даже важная, то все-таки не существо дела. Дело не в возрасте, не в годах, а в психологии. Ведь и в монастырях «монашенками на *отходе*» бывают не только отроки и юноши, но и зрелые мужи, иногда даже старцы. В «Братьях Карамазовых» Достоевский устами Ивана называет так его брата Алешу, хотя тот и был в возрасте почти жениха (его полуроман с Лизою Хохлаковой), и еще группу гимназистов почти младших классов, с Колею Красоткиным во главе, читающих «из-под полы» Герцена и проч., и проч. Но есть целый роман, посвященный такому «мальчику»: это — «Подросток». Наконец, не к таким ли, в сущности, «мальчикам» принадлежит и его князь Мышкин, «идиот», в знаменитом романе этого имени? Конечно! Опять типично отроческая психология, хотя и происходящая от болезненной организации героя, но это уже все равно — отчего. Взята невинность отроческая, чистота отроческая, и «оригинальный склад мышления», не связанного, в сущности, ни с чем, не тяготеющего ни к чему реальному. Но этого мало. А кто такие студенты-товарищи Раскольников и Разумихин? Да не всего ли только «желторотый мальчик» и знаменитый Иван Карамазов, философ 24 лет, сочиняющий, вместо поисков служебного места, легенду о католичестве и православии, о христианстве и судьбах его в истории? Вот эти-то помыслы «о том, чего мне не нужно», и суть всего. Суть в стремлении «я» к бесконечно удаленному от «я», к тому, чего «и не увидеть», о чем «и не услышать». Суть — в этом деле; вернее, — в этом характерном «безделье». «Бродит-бродит человек и сочиняет легенды», как «калики-перехожие» сочиняют свои «духовные стихи». Наконец, если мы вспомним «Пушкинскую речь», канва которой, конечно, была заготовлена раньше, но *сказалась* она словами, создавшимися в момент самого произнесения, и *сказалась*, как мы все чувствуем и понимаем, в каком-то глубоком экстазе и волнении, — что такое эти слова об Алеко, ушедшем в цыганский табор от цивилизации, от города?! О, тут Достоевский наивно и невинно схитрил около Пушкина, навязав ему «пророческое предвидение наших теперешних дней»: Пушкин таким «пророчеством» не обладал, не был им болен, им богат или им беден, а в «Алеко» он просто передал одно из бывавших или возможных приключений своего помещичьего времени, широкого и самодурного, капризного и поэтического, в том вкусе и роде, о каком исторически известно в судьбе и приключениях «кавалерист-девицы» г-жи Дуровой. И только. Я сказал об экстазе, который, по все-
⁴⁰ му вероятно, овладел Достоевским в самый момент, как он вошел на эстраду. И вот, едва почувствовав этот приступ тоски и бури в душе, он прямо сейчас же (самое *нагало* речи) заговорил об этих «русских мальчиках», заговорил языком «лирических отступлений» Гоголя и уж никак не эпическим языком Пушкина:

«...В Алеко Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем»...

Достоевский все явление связывает с реформой Петра Великого, «оторвавшего общество от народа». Но это — явная ошибка. Аналогичные «бегуны» были у нас до Петра; да и теперь *в народе* они являются не от «реформы Петра», так как последняя еще «по почте не дошла» на Урал, в Сибирь, всюду, где появляются безграмотные «страннички», уходящие и уходящие в леса, в «мать-пустыню».

«Тип этот свхвачен безошибочно, тип этот постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле, поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут».

На самом деле, пойдя не «от Петра», а выражая черту русского духа, они не исчезнут вовсе и никогда. И... либо разрушат русскую державу, определенный строй, кристалл русской жизни, или... может быть, занесут его куда-нибудь в небо. Дело в том, что тут много и «монгольщины», и «святой души».

«...В наше время если они и не ходят в цыганские таборы, то ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, *ходят с новою верою на другую ниву* и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного, ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. О, огромное большинство интеллигентных русских и тогда, при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции, и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалованья, с игрой в преферанс. Что в том, что один еще и не начал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и о нее крепко стукнулся лбом. *Всех в свое время то же самое ожидает*».

Таким образом, в путающейся, далеко не сознательной, глубоко безотчетной речи Достоевский то относил это явление к «Петру Великому», то говорил, что это «охватит всех», «захватит всю Россию».

Из последующих слов мы возьмем только эту вкрапинку:

«...У него лишь тоска по природе, жалоба на общество светское, мировые стремления, *плаг о потерянной где-то и кем-то правде, которую он отыскать никак не может*».

Ну, где тут Пушкин, какой Пушкин?.. Это — «Тройка» Гоголя, его «у, Русь, чего ты вперила в меня очи и ждешь чего-то от меня» и проч. Точнее, гоголевские «лирические места», так безотчетные и так невольные, были «эмбрионами», «начальными завитками» этих бушующих речей Достоевского, вот как на пушкинском празднике и как многие его страницы-монологи в романах и в «Дневнике писателя». Есть личный дух, а есть и дух истории, прямо «личность истории», и Достоевский не тем продолжал Гоголя, что после «Шинели» написал «Бедных людей» (взгляд И. С. Аксакова), а вот тем, что сказал об Алеко и цыганах, о Татьяне и Онегине после «у, Русь» Гоголя, тем, наконец и вообще, что душа Достоевского во многом продолжала и «уяснила смысл» души Гоголя, «раскрыла содержание» души Гоголя, как «дерево» раскрывает смысл «зерна, из которого выросло»...

Из приведенных цитат и указаний можно видеть, что огромная полоса творчества Достоевского была занята темой «бродящего русского мальчика», — мальчика, отрока, юноши, но, во всяком случае, «без своего дома и места на земле»... Вместо «дома» — тревога; вместо «отечества» — тоска; «какой-то плач о какой-то и кем-то потерянной правде», — как он хорошо выразился. Это, так сказать, *общее облако*, из которого «*пал дождь*» там и здесь в его романах и в конце концов оросил половину их...

III

Я указал, как в момент произнесения речи о Пушкине (в Москве, при открытии памятника) Достоевский заговорил, в сущности, «ни к селу, ни к городу», о русских «ищущих мальчиках», придравшись к сюжету «Цыган», написанных отнюдь не на эту тему. То же случилось с ним, когда печатались главы за главами «Анны Карениной» в «Русск. Вестнике». Мало ли там содержания психологического, этического; мало ли сторон в романе, которые могли бы взволновать критика. Но, пропустив все это, Достоевский в февральском номере «Дневника» за 1877 год (глава 2) останавливается всего на полустранице романа, где Левин и Стива, ночуя на охоте, перед сном ведут следующий разговор, какого, действительно, не ведут, наверное, ни немецкие, ни французские охотники на своих ночлегах. Вот он, в своей краткости и выразительности, буквально:

30 «— Но всякое приобретение, не соответственное положенному труду, нечестно, — сказал Левин».

Это он возражает Облонскому, оправдывавшему железнодорожных тузов, у которых тогда этот дворянин и москвич искал «места». Он для этого ездил с визитом к «еврею Вареновскому», прозрачный псевдоним «еврея Полякова» в «Анне Карениной».

«— Да кто же, — возразил Облонский, — определит соответствие?.. Ты не определил черты между честным и нечестным трудом. То, что я получаю жалованья больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, — это бесчестно?»

30 — Я не знаю.

— Ну, так я тебе скажу: то, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, пять тысяч, а этот мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника.

— Нет, позволь, — продолжает Левин. — Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысяч, а мужик — пятьдесят рублей, — это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имени, — сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина.

40 — Я не отдаю потому, это никто от меня этого не требует, и если бы я хотел, то мне нельзя отдать... и некому.

— Отдай этому мужику, он не откажется.

— Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую?

— Я не знаю, но если ты убежден, что ты не имеешь права...

— Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле, и к семье.

— Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так...

— Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.

— Нет, уж извини меня, это — парадокс...

— Так-то, мой друг, — заключил князь Облонский. — Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, — и тогда отстаивать свои права; или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, — *как я и делаю, — и пользоваться ими с удовольствием.* 10

— Нет, если б это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, — *по крайней мере, я не мог бы; мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват».*

Вот разговор. Отвлечемся на минуту от Достоевского к Толстому. В «Воскресении» появляется Нехлюдов, тоже alter ego Толстого, как и Левин, но он уже решает вопрос, над которым колебался Левин, т. е. Толстой 1877 года: он именно «идет с мужиками совершать купчую», передавая им землю. И, наконец, уход самого Толстого из Ясной Поляны после годов собственно приготовления, нерешительности, что такое, как не этот же «договоренный» разговор Левина и князя Облонского. Правда, в «Воскресении» удалено маленькое и огромное обстоятельство. Левин говорит: «У меня есть обязанности к земле и к семье», я не имею права отказаться от собственности или — колеблюсь... У Нехлюдова нет ни жены, ни детей, ни «обязанностей к земле» каких-нибудь особенных, потому что какой же он землероб? Он барин. 20

И Толстой перед уходом из Ясной Поляны достиг того возраста, когда, естественно, человеку нужно только три аршина земли да котомка за плечи, да кой-какая одежонка. Есть физика возраста, бывает и метафизика его. В 85 лет вообще никакому человеку ничего не нужно. Не нужно, — и ничего не хочется.

Но в 35 лет? в 40? в 50? 30

Совсем другая метафизика, и Левин, как и Толстой, всю жизнь рассуждали, рассуждали совсем иначе...

В приведенном отрывке, с его прерывистыми речами, перебиванием друг друга, недоконченностями, многоточиями, обрисован социальный вопрос в такой неиссякаемой полноте, как это могло удаться только Толстому и не удалось бы Достоевскому, не удастся вовсе ученым. «Неиссякаемая полнота» и зависит от недоговоренностей: поставь Толстой «точку», обрубь, скажи «credo», — и получился бы шаблон «Русского Богатства» и тысячи популярных книжек, над которыми Достоевский отнюдь бы не взволновался. Но он взволновался. Сейчас мы перейдем к его речам, а пока отметим некоторую «смертную тень» в Толстом: вся приведенная сцена, кроме неиссякаемой полноты своей, поражает еще тем, что она написана *совершенно спокойно*. Толстой так и продолжал далее роман: наутро охотники проснулись рано, легавая «Ласка» удивительно делала «стойку», и, как все читатели помнят, Левин настрелял очень много дупелей. Описано это еще превосходнее и еще внимательнее и красочнее, чем разговор Стивы и Левина. Тут — покой Гёте... Нет уж, как хотите, а у Толстого сказалось это же олимпийское величие классика, за которое Бетховен и Берне так ругали «тайного совет- 40

ника» Гёте. Конечно, тут дело не в «тайном советнике», как и у Толстого дело было не в «графе», а в том, что социальная тема у обоих тонула, как волна в океане, в невероятном множестве таких же, не меньших тем: о христианстве и язычестве, о морфологии растений и о теории солнечного света. Тут Толстой был Гёте, величавый и равнодушный; а Достоевский затрепетал всем трепетом земли и в тоне повторил Шиллера, Белинского и Берне... Но неизмеримо шире, сложнее. Нужно, однако, взять момент биографии Достоевского.

Шел 1877 год, а по приходо-расходным книжкам, напечатанным в посмертном издании его сочинений, мы знаем, что бережливая и кропотливая Анна Григорьевна, взяв в свои руки издание его романов, достигла того, что именно в 1876—77 гг. Д-кий жил уже без нужды; без тех ужасных долгов, которые его душили всю жизнь, душили еще с «Преступления и наказания», и до степени, что он «нес в заклад последнюю юбку жены», «так что нам (с женой) теперь невозможно и на улицу показаться» (одно письмо из-за границы к Ап. Н. Майкову). Таким образом, это был именно год, когда Д-кий вынырнул из чудища «социальной темы» как личной муки, личной скорби, личной язвы, наконец, как личного оскорбления (он говаривал: «Мой талант стоит миллиона»)... Вынырнул и получил все-таки возможность рассуждать о ней, как медик, вышедший из болезни. Но что такое «социальная тема», — он знал шкурно, чего, несомненно, не знали ни Гёте, ни Толстой. Он знал, что социальная тема есть первая тема, важнее солнечного света и всякой морфологии. Что *этой* теме нельзя «утонуть в океане волн», нельзя потеряться, нельзя исчезнуть... Что перейти от «вчерашнего разговора» к «завтрашней охоте с Ласкою» есть преступление, есть художественный цинизм...

Это он все знал, но Толстого не упрекнул. И просто — «некогда». Вылились три бурные главы, вариант к гениальным «Запискам из подполья». Но главы эти удивительным образом наше общество забыло, а в 1905—1906 годах даже и не вспомнило о них, хотя эти годы, — 1905—1906, — общество русское, простонародье русское только и делали, что *практически* пробовали так и этак разорвать узел, если не развязать узел именно спора Левина и Стивы и комментария к нему Д-го.

«Еще 40 лет назад, — говорит он, — у нас едва сотня людей знала об этих вопросах, поднятых на Западе Сен-Симоном и Фурье, и вдруг менее чем через полвека об этом говорят два обеспеченных помещика, на охоте, „не какие-нибудь профессора и специалисты“, а люди светские... и которым, казалось бы, что тревожиться? Во-вторых, это отношение к имущественному вопросу кн. Облонского: „Решает насчет справедливости этих новых идей такой человек, который за них, т. е. за счастье пролетария, бедняка, не даст сам ни гроша, напротив, при случае сам оберет его как липку“. Но с легким сердцем и с веселостью каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом абсурда. „Я, дескать, с этим совершенно согласен“. Заметьте, что вот эти-то Стивы всегда и в этом первые согласны. Одной чертой он осудил *весь христианский порядок, личность, семейство*...»

Непременное «nota bene»: в этот год были в возрасте 6—7 лет дети Достоевского, его «Федя» и его «Люба»*, и это был всего 2-й или 3-й год, когда он, пройдя ужасную дорогу пролетария, становился сам собственником, хотя чуть-

* Родились — дочь в 1869 г. и сын в 1871 г.

чуть. Кстати, у него только что родился еще третий ребенок (вскоре умерший), и Д-кий, глядя на него, не мог не думать, что в своих годах он мало имеет надежды увидеть всю эту кучку детей взрослыми и что «поднимать» их придется его Анне Григорьевне, тогда женщине совершенно еще бедной, но с *нагалом достатка*, — поднимать, т. е. кормить и обучать в учебных заведениях. Всех этих мотивов совершенно не знали ни Нехлюдов «Воскресения», ни сам Толстой, отчего последний и перешел так легко к «охоте»...

Но Д-кий с рьяностью отца ничем не защищенных малюток, с твердостью человека, который каторжно трудился, хоть и пером, воскликнул: «Тут христианская цивилизация!» Он с яростью накидывается на сытого *bon vivant*'а * Стиву, который решает не только о своем родовом имении, полупромотанном, но и о зарботке Фед. М-ча, который он сберег в тысяче или двух тысяч рублей, и оставит эти гроши своей молодой вдове с тремя детьми. Только взяв эту обстановку момента во внимание, мы поймем тон Д-го:

«Заметьте тоже, что у нас нет науки, но эти господа, с полным бесстыдством сознавая, что у них нет науки и что они начали говорить об этом всего лишь вчера и с чужого голоса, решают, однако же, такого размера вопросы без всякого колебания. Но тут третья характернейшая черта: этот господин прямо говорит: „Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, — и тогда отстаивать свои права; или признаваться, что пользуемся несправедливыми преимуществами; — как я и делаю, — и пользоваться ими с удовольствием“. Т. е., в сущности, он, подписав приговор всей России и осудив ее, равно как своей семье, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается: „Я, дескать, сознаю, что я — подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие. *Après moi le déluge*“*. Это потому он так спокоен, что у него еще есть состояние, но случись, что он его потеряет, — почему же ему не стать червонным валетом? Самая прямая дорога».

Тут у читателя должен на секунду сверкнуть образ «барона» со «Дна» Горького... Как Д-кий все угадал на много лет вперед... Этот горьковский «барон» есть вечный столп цивилизации; «барон» до «Дна» и барон на «Дне», в фазах происхождения и «положения»... И Стива, конечно, есть тот же «начинающий» барон. Вспомните и отношения его к Долли, и как он выпрашивает у нее позволение заложить еще и ее имение... Совершенный «барон»...

«Итак, вот этот гражданин, вот этот семьянин, вот этот русский человек, — какая характернейшая, чисто русская черта! Вы скажете, что он все-таки — исключение. Какое исключение»...

Опять какое предчувствие (у Д-го) будущего! Сейчас я помню, как в дни уличных митингов я сидел вечером за чаем у Н. М. Минского. Это было до первой Думы, чуть ли даже не до 17 октября. Все шумело, все умы были подняты, и как-то счастливо подняты. Вдруг раздался звонок, и в маленькую столовую вошли муж и жена, «он» — писатель, «она» — его жена и господин, в шелковом платье с «треном» (шлейф) аршина в два. «Представились», и я услышал лучшую из русских фамилий, до того историческую и громкую, что... «ничего лучшего пред-

* кутила, весельчак (фр.).

** После меня хоть потоп (фр.).

ставить нельзя». Сели. Чай дымился. И «она» передала живо, как сейчас слушала речь уличного оратора перед огромной толпой, «на известную тему».

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал я, видя ее одушевление. — Но нельзя же все вдруг. Хорошо, если будет и конституция.

Лица ее и всех присутствующих выразили отвращение. Я сконфузился и поправился:

— Ну, республика, но...

— Что «но»...

10 — Не рабочая же республика, не социальная республика, с полным уравни-
ем имуществ.

«Муж» мешал сахар в стакане и тянул сладкую влагу с чайной ложечки.

— Ну, конечно, социальная республика! — воскликнула она и чуть-чуть открыла локти. — Руки были красные, худые и некрасивые.

«Чорт знает что», — подумал я и замолчал. Но чувствовал, что спорить прямо не имею права: какой же спор, когда «народ хочет».

Была ли она искренна? — Да. — Хотела этого? — Хотела.

20 Но, может быть, она была и неискренна? — Да, тоже. Дело в том, что мы
«с чаем» и в уютной маленькой столовой были так далеки от «рабочего строя»,
что бытие «буржуазной цивилизации», к каковой они, конечно, принадлежали
с мужем, представлялось ей « $2 \times 2 = 4$ », т. е. вечной и совершенно неразрушимой
аксиомой. И аксиома эта до такой степени вечна, железна, неопровержима, что
именно от ее вечности-то и можно, а, наконец, даже и хочется повторять:

Вверх дном!

Кувыркoм!..

Это во время кораблекрушения страшно повторить такое; в Мессине этого стиха не скажешь. Но оттого именно, что вся Россия на плоскости стоит и никаких землетрясений в ней не бывает, в ней и можно читать какие угодно «землетрясительные» стихотворения, можно высказывать самые решительные пожелания.

30 Россия — самая консервативная страна, — оттого она и самая радикальная. Консерватизм обеспечен обломовщиной, а обломовщина родила «беспечальную» фантазию.

Вот и весь «Стива», который не так страшен, как показалось Достоевскому. Отведут на «Дно», — вот и вся «История Меролинг»... На «Дне» места много. «Дно» — столп цивилизации. Восходят. Нисходят. И нет причины от этого рутьиться самой цивилизации.

40 Не нужно напоминать, до какой степени много в 1905—1906 гг. именно титулованных и богатых людей стало на сторону полного земельного переворота, да и вообще имущественного переворота. Здесь «прогноз» Достоевского разителен;
мы же не забудем его нравственных *résumé*.

Я указал, что фаза биографии Достоевского, совпавшая с высказыванием его последнего, предсмертного взгляда на имущественные отношения, была фазой, когда он сам начал впервые «становиться на ноги»... Это — без упрека и отнюдь не к умалению авторитета его взгляда. В самом деле, кто же может разъяснить «смысл любви», кроме любящего, и «смысл разума», кроме разумного, и «смысл

науки», кроме ученого, и, наконец, «смысл имущества», кроме имущественного человека. Голос пролетария здесь вовсе не авторитетен; голос человека, живущего «от сегодня до завтра». У пролетария авторитетно его «я хочу» (владеть). Это — жажда, это — инстинкт, это — воля. Тут энергия и есть авторитет. Но когда пролетарий говорит: «а они не должны хотеть» (т. е. владеть имуществом) и «должны в мою пользу отказаться от него», то здесь он от «хочу» переходит к «знаю» и здесь он вовсе не авторитетен, потому что он именно не знает смысла «владеть», не знает, между прочим, его нравственного смысла, его хорошего смысла, его благородного смысла. Достоевский с кучею необеспеченных детей и женою, сам больной и уже старый, написавший в свое время о чиновнике Мармеладове, которому «некуда пойти», между прочим, оттого, что он без имущества и никому не нужен, — знал «хорошее» имущества, открыл именно в эти последние годы вечную и добрую сторону имущества как стержня жизни, как фундамента, без которого все валится. И потому он, владелец всего каких-нибудь 2—3 тысяч «залежных», прямо закричал на Облонского, когда он вздумал отказаться (хотя на словах) от своего имущества, сказав прямо: «Ты — подлец». Помилуйте: Облонский, — или Нехлюдов, или Толстой, — отказывается в пользу бедняков от богатства; вдруг Достоевский, этот-то бедняк, этот-то праведник, этот-то истеричный и человек «муки», кричит: «Это — подлость! Это — измена!» Просто невероятно, но дело стоит именно так. Он кричит на богатых и требует, чтобы они не раздавали имущества беднякам, потому что если это «по теории» и включает молчаливое: «Это должны сделать все», то, очевидно, *по совести и он* должен отдать свои 2—3 тысячи, ибо есть люди вовсе без копейки, и через это оставить «Любу и Федю» идти и «пополнить процент социальной статистики» насчет протитутток и пролетариев. А что такое «быть пролетарием» — он знал лучше Нехлюдова и Толстого. И в нем вдруг закричали кровь и вместе христианское сострадание, оно же и зоологическое сострадание: «Не хочю! Боюсь! Страшно!» «За себя страшно, а за малюток-сирот еще страшнее». И вот он, не ошибаясь, а совершенно верно, совершенно авторитетно говорит: «Тут — семья, личность, весь современный порядок, весь строй христианского общества, вся совершившаяся тысячелетняя цивилизация, которая стоила крови и мук». Добавим уж от себя: «Крови и мук не меньших, чем пролетарские слезы, чем пролетарские стоны». Стоны здесь, но стоны и там. Кровь тут, но и там кровь. Кровь, пролитая за утверждение всего этого, за то, чтобы дети заработавшегося до страдания отца («Федя и Люба») не шли в проституцию и голод; чтобы работник под старость (сам Федор Михайлович) имел отдых и мог посидеть на завалинке, любуясь закатом солнца; чтобы издерганный в нервах и больной человек (он же Федор Михайлович) имел не «коллективный с другими номер в общей гостинице» (фаланстерия Фурье, «рабочий дом»), а свой угол в своем доме, вот в тихой Старой Руссе, около Анны Григорьевны и лаская рукою головки Феди и Любы. Ему не «вообще женщины» нужны, а Анна Григорьевна и не вообще «дети», а «свои Федя и Люба». Конечно, стержень и узел собственности лежит не в Облонском, Нехлюдове и Толстом; он лежит в Мармеладове и его Катерине Ивановне, в Соне Мармеладовой и ее судьбе, в Федоре Достоевском. Они «знают», что такое собственность, — «знают», потому что ее «работали», без нее гибли. А те ведь ничего не «работали» и никогда не «гибли». Кто же авторитет: они ли, которые «отказывались» (от имущества), или он, который «удерживал» (его)? Конечно, он! Конечно

но, зерно богатства есть именно бедность, зерно имущества есть именно труд, зерно владения, и «прав наследства», и «неотчуждаемости собственности», — всего, всего этого родник и источник есть сам же пролетариат или, точнее выразиться, «пролетарность», бытие такой штуки в мире и мироздании, чудовищной, пугающей, перед чем леденеет кровь.

Ужас неимущества!

— Давай имущества!

Вот их утверждение в истории. Святое и вечное.

Но что же делать с пролетариатом? Не с пролетариатом вчерашнего дня, который сегодня стал имущим, а с пролетариатом сегодняшнего дня?

На это и отвечает Левин, а Достоевский отвечает в том комментарии, который высказывает по поводу, в сущности, ленивых реплик Левина. Так как барчук назавтра пошел охотиться.

IV

«Левин» Толстого, к взгляду которого на собственность и имущественные отношения мы должны сейчас перейти, представляет, как и «Алеко» Пушкина, опять того «скитающегося русского человека», того «тоскующего мальчика» у нас, «не крепкого земле», т. е. «не крепкого» вообще всяким определенным, твердым, традиционным отношениям, взглянув на один абрис которого, Достоевский испытывал то же, о чем Пушкин сказал в другой сфере и в другом отношении:

Но лишь божественный глагол

До слуха чуткого коснется...

И т. д., и т. д. Достоевский вздрагивал, как кавалерийская лошадь при звуке трубы, как конь рыцаря при призывном роге к битве, как рота вскакивает и хватается за ружья, когда «тревога» барабанщика зовет ее в бой и к смерти. У всякого есть своя «муза»: у Некрасова это была муза «мести и печали», — мести, довольно естественно, за прошлое, ибо месть только и может относиться к тому, что было, и уже по этому одному, в сущности, консервативная муза, со старыми словами, вариациями и тонами. Вот этой «музе мести и печали» у Некрасова у Достоевского соответствовала «муза», которую я не умею лучше сравнить ни с чем, как с галкою или вообще птицею, сидящею на крыше дома, в момент, когда она, увидев что-то или понадеявшись на что-то, а может быть, просто «соскучась сидеть на одном месте», вытянула длинно шею, поднялась на пальцы ног и подняла крылья, но еще не взмахнула ими и потому единственно не отделилась от крыши, но сейчас отделится. Куда? С какою судьбою? «На восстание многих или на падение многих» (евангельский термин), — неизвестно, неизвестно самой птице, неизвестно самому Достоевскому. Мы, наконец, скажем эту главную тайну его биографии и главный смысл его лица, исторического его лица, биографического его лица, — что он сам, «наш Федор Михайлович», был от «аза» и до «ижицы», от лона матери и до могилки в Александро-Невской лавре, «тоскующим русским мальчиком», «скитающимся русским человеком», — только им

и всецело им; то «желторотым», как Иван, то «с девичьим лицом и совсем юненьким», как Алеша, готовым проклинать, звать, проповедывать и отрицать. Словом, «у галки ноги почти отделились». В этом суть всего.

Загорит, заблестит луч денницы, —

как процитировал или сочинил Достоевский в отношении евреев, «готовых покинуть Европу» и уйти в Ханаан:

И кимвал, и тимпан, и цевницы,
И серебро, и добро, и *святыню*
Понесем в старый Дом, в
Палестину.

10

Тут смысл — что: важна музыка. Важна тоска. Важно, что хочется откуда-то выйти, но таким страшным «уходом», от которого «на старом месте» вообще ничего, кроме мусорных ям и загаженных мест, ничего не останется, а где-то «далеко-далеко» зародится новая земля, новая жизнь, в сущности, совсем другая цивилизация, в сущности, совсем иная культура... «Галка еще не полетела», но это все равно. В маленькой ее головке, может быть, неумной, может быть, безумной, совсем нет идеи «дома», на крыше коего она сидит и до которого ей совершенно и окончательно нет никакого дела, хоть сгори, хоть упади, хоть превратись в сновидение. Достоевский — величайший русский «странник», доведший идею «странничества», инстинкт «странничества», тоску его, необходимость «вот-вот сейчас взять котомку и посох и выйти» до какой-то истерики, муки, проклятий и той черты, где «вот-вот только еще стекла не полетели». Он есть «самый будущий русский человек», — таково его определение; в противоположность консерватору Некрасову, все возившемуся «с крепостным правом» и «памятью своей матери», точно его воспитала мамаша Манилова, случайно вышедшая замуж за Собакевича и завещавшая сыну «музу мести и печали»...

20

Вот отчего:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется...

Вот отчего душа Достоевского вся заигалась и трепетала, как только он видел, что «кто-то брал котомку и выходил»... Но новизна его, весь радикализм новизны доведен был до того, что он «не воспользовался» ни одним из старых проклятий, ни одним из прежних отрицаний, не употребил ничего из жаргона Байрона, Руссо, Лермонтова, Гоголя, не впал ни в один стереотип отворачивания и негодования, каким, собственно, переполнена и пресыщена Европа (как и Россия), и совершенно в параллель русским «странникам-бегунам», которые имеют вид «завсегдашнего мужика» и только про себя шепчут о всем мире: «Антихрист! Антихрист!» — и он, в параллель им, просто был «русским литератором, жившим в Свечном переулке» «с Анною Григорьевной» и «Федей и Любой» и, кроме того, совершенно дружившим с местным квартальным... Можно посмеяться: на-смешник Гоголь хоть вывел «положительный тип» в купце Костанжогло, но До-

40

стоевский дошел до того, что решительно полюбил «милых, премилых» пристава и его помощника да еще какого-то при полиции письмоводителя, к которым, помните, пришел каяться Раскольников, а они ему говорили: «Ну, что вы на себя наговариваете: может ли такой образованный молодой человек совершить преступление?!». Согласитесь сами, что если Достоевский подсмеивался над Тургеневым, Грановским *, в ярости разрывал в клоки «идеи» проф. Градовского и «мысли» «Вестника Европы» и в то же самое время ничего оскорбительного для своего ума и своего вкуса, нравственного, как и художественного, не находил в уличных околоточных, — то «странничество» совершилось! Это — такой «переворот Европы», после которого от нее, ото всей цивилизации, которую решительно *везде и во всем* он оспаривал, и остались одни «постовые городовые». Байронисты возьмут «в новый мир» Байрона и все, что за ним последовало, из него вытекло; «вольтерианцы» возьмут 95 томов «Oeuvres» и салоны, где они читались; студенты — «все движение, начиная с декабристов», т. е. все возьмут, в сущности, очень много, целые области нашей цивилизации... Но «страннику Достоевскому» ничего этого не надо: верный беспредельному мистицизму своему, своей ужасной беспредметной тоске, беспредметной и потому всеобъемлющей, он отказывается от всяческих книг... и много-много, что, взяв томик Пушкина, притом неправильно понятый и перевернутый, как вот раскольники перевирают Евангелие, и... какого-то Колю Красоткина, всего гимназиста III класса («Братья Карамазовы»), да «благообразного старца» (см. «Подросток», конец), потом чудака Версилова («Подросток»), «идиота» кн. Мышкина, «простака-рубаху» Разумихина («Преступление и наказание»), да вот трех «полицейских», все, «без исключения», хороших людей, и с ними... идет... к великим утешениям убийцы-Раскольникова, идет найти «разрыв-траву» или «жизненный эликсир» для умиротворения его сердца, для умягчения сердца Ивана Карамазова... в сущности, идет к отысканию средств залить мировую скорбь... скорбь преобразовать в радость... в восторг до потрясения вселенной, до колебания всех ее столпов...

30
 Загорит, заблестит луч денницы,
 И тимпан, и кимвал, и цевницы,
 И серебро, и добро, и *святыню*
 Понесем в *старый Дом*...

Вот задача... Буквально как в Апокалипсисе: черное сделать белым, белое — черным, преступника показать святым, проститутку (Соня Мармеладова) возвести в идеал чистоты и невинности, «попрасть цивилизацию» сердцем Коли Красоткина (14 лет) и т. д., и т. д. Кто прочитает это, конечно, скажет: «В этом идеал Достоевского»... Сюда усиливаются все его романы, вся «эпилептика» его публицистики... Но ведь это, конечно, значит уйти в отрицании несравненно дальше Байрона или Вольтера, дальше кого бы то ни было на Западе; дойти до именно «бегунов» наших сект, которые одновременно являют вид «простого мужичка» и считают весь мир обреченным на «испеление», как, конечно, «христианин» мысленно испеляет «Антихриста»... Смелость Достоевского дошла... до руко-

* См. в «Дневнике писателя» главу «Идеалисты-циники».

пожатия полицейскому, — не «полиции», но полицейскому; как и в «убийце» он защищает не убийство, а убившего и так и для того защищает и «берет с собою», чтобы «убийства» не было никогда, никем, ни для чего. Как и «полицейских» он ввел, опять устраняя не только «полицию», но даже и то, в чем она только часть, — государственность (рассуждение монаха Паисия в «Бр. Кар.»). Таким образом, эти убийцы, воры (рассказ «Честный вор»), мелкие чиновники, пьяницы (Мармеладов), проститутки, старые генералы (отец Аглаи в «Идиоте») и генеральши, студенты, гимназисты идут «странствующею толпою»... к избавлению мира от греха, проклятия и смерти, от ада и отрицания, от зла и насмешки, от злобы и издевательства (ненависть его к Щедрину, да и *ко всем безусловно насмешникам*), к восстановлению какой-то белой звездной невинности, какого-то астрологического «неба», с «ангелами», восходящими на небо и нисходящими на землю, с конечным и всеобщим устранением порока, вот этого убийства, вот этого алкоголизма, воровства и т. д., и т. д. Только едва ли и с устранением «проституции», — что в мысль Д-го решительно не входило, это уж его «пункт»... «Соню» он не исключает, а скорее делает ее чуть ли не центром «избавления от скорбей», только преобразовав в «святую» и послав именно ее, т. е. *таких*, «ко всем грешникам» как «апостола» и глашатая совершенно новых истин. В «Сне смешного человека», где наиболее полно, целостно и патетично выражено «позитивное учение Достоевского», ревность исключена, и *на этом построено все*, т. е. исключена *лигная и исключительная* семья, а общество людей вполне невинных представлено как единая семья, т. е. как народ без семьи, где девы, юноши, мужи, старцы блуждают и «прилепляются», рожают детей и не связываются между собою, оставаясь и бесконечно свободными, и бесконечно слитыми, — свободными по бесконечному уважению друг к другу, слитыми по бесконечной любви всех к каждому, где, в сущности, все *братья и сестры* и нет, в сущности, родителей и детей, нет старших и младших... Достоевский не политически рассек, но *метафизически рассек* узел «неравенства людей», «*inégalité des hommes*», о чем мечтал Руссо и что он пытался устранить и, конечно, не устранил через «*Contrat social*»... * 10 20 30

— Не надо возрастов!

— Не надо семьи, мужей, жен, отцов, матерей...

— Есть только «блудницы», в нимбе сияния, как Соня (Мармеладова), и «блудники» вроде Мити Карамазова, но уже без страсти к запою...

— Есть (договорить ли страшную критику на Достоевского?) немощный князь Мышкин, «женящийся» на «грешной» Настасье Филипповне, «любовнице вон того купца»... Страшный «брак»... Достоевский вырвал «кость и кровь» из брака и толкнул всех в «блуд», но какой-то духовный, странный, с «прилеплением» или отсутствующим, или очень редким... «Целоваться будут очень много, а детей будет рождаться очень мало», — можно сказать, прочтя его «Сон смешного человека». Однако удержимся; скажем «молчать» критике. Мы берем не Достоевского-созидателя, а Достоевского-отрицателя: не «куда прилетела галка», а что она «слетела с крыши»... 40

* «Общественный договор» (фр.).

* * *

«Всего любопытнее, — говорит Достоевский, покончив с взглядами на собственность Стивы Облонского, — что рядом с этим многочисленным и владычествующим типом людей стоит другой, — другой тип русского дворянина и помещика и уже обратно противоположный тому, — все, что есть противоположного. Это — Левин, но Левиных в России — тьма, почти столько же, сколько и Облонских. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создал ему в романе художник, а говорю лишь про одну черту его сути, но зато самую существенную, и утверждаю, что черта эта до удивления страшно распространена у нас, т. е. среди нашего-то цинизма и калмыцкого отношения к делу. Черта эта с некоторого времени заявляет себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болезненно стремятся получить ответы на свои вопросы, они твердо надеются, страстно веруют, хотя и ничего почти еще разрешить не умеют. Черта эта выражается совершенно в ответе Левина Стиве: „Нет, если бы владение собственностью было несправедливо, ты бы не мог пользоваться благами ее с удовольствием, по крайней мере, я не мог бы, — мне, главное, надо *тувствовать то, что я не виноват*“» (курсив Д-го).

Вот словечки о чувстве «виновности», сопряженном с собственностью, вырвавшиеся мельком у Толстого и гениально комментированные Достоевским, из которых родился знаменитый образ-формула Н. К. Михайловского о «кающемся дворянине». «Дворяне» были в земледельческой и крепостной России главными представителями собственности, и эти русские, «кающиеся» о своей собственности уже естественно и просто дотягивались до образа «кающегося дворянина». Агитатор Михайловский гениально воспользовался этими обмолвками русских художников-христиан, романистов-христиан, чтобы толкнуть огромные массы русской молодежи на путь «кающегося дворянина», этот «честный русский путь», и захватить в дальнейшем этих «кающихся» в социал-демократический невод:

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь *умы уловлять*, будешь помощник царям.

30 Вечное дело — политика... Он *усиливает* дело и *суживает* его. У Достоевского и Толстого, с их многоточиями и недоговоренностями, колебаниями и нерешительностью, вопрос был поставлен в такой глубине и всеобъемлемости, как это никак не могло войти в узкую голову Михайловского, в сухое сердце Михайловского.

«И Левин, в самом деле, не успокоится, — продолжает Достоевский, — пока не решит, виноват он или не виноват. И знаете ли, до какой степени не успокоится? Он дойдет до последних столбов, и если надо, если только надо, если только он докажет себе, что это надо (какой тон! совсем галка, слетающая с крыши), — то, в противоположность Стиве, который говорит: «Хоть и негодяем, да продолжай жить в свое удовольствие», он обратится в «Власа», в «Власа» Некрасова, который роздал свое имение в припадке великого умиления и страха

И собирать на построение
Храма Божьего пошел.

«И если не на построение храма пойдет собирать, то сделает что-нибудь в этих же размерах и с такою же ревностью...»

Вот куда махнул Достоевский, восставший в «Бесах» против «революционно-го типа» русского человека. В 1877 году, за год до смерти, он придвинул этот тип к «Власу», сказав, что у них один родник движения («снялся с крыши») и что то, куда они рвутся, — даже если и обманчиво, — то священно, как построение храма, по вложенной вере.

«Заметьте, опять повторяю, и спешу повторить, черту: это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым *нужна правда* (курсив Достоевского), одна правда, без условной лжи, и которые, чтобы достигнуть этой правды, отдадут все решительно. Эти люди тоже объявились в последние двадцать лет* и объявляются все больше и больше, хотя их и прежде, и всегда, и до Петра (вот сознание, что не «из разрыва с народом при Петре» все родилось) еще можно было предчувствовать. Это — наступающая, будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда. О, в них большая и нетерпимость: по неопытности они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. Но я только то хочу заявить изо всей силы, что их влечет истинное чувство. Характернейшая черта еще в том, что они ужасно не спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам и убеждениям: тут и аристократы, и пролетарии, и духовные, и неверующие, и богачи, и бедные, ученые и неучи, и старики, и девочки, и славянофилы, и западники. Разлад в убеждениях непомерный, но стремление к честности и правде непоколебимое и нерушимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, — говорю: обратится в Власа. Закричат, пожалуй, что это дикая фантазия, что нет у нас столько честности и *искания гестности*. Я именно провозглашаю, что есть, рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России, что их нельзя уже не видеть и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву с своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собою собственным приговором общество русское с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдаст все, чтобы очистить сердце свое от вины своей. Замечательно тут то, что, действительно, наше общество делится почти что только на эти два разряда, — до того они обширны и до того они всецело обнимают собою русскую жизнь, — разумеется, если откинуть совершенно ленивых, бездарных и равнодушных»...

Столько слов, такая страшная определенностью своею картина по поводу неопределенных недомолвок двух помещиков на охоте, в сущности, гораздо «прицельнее» думавших о дупелях на завтра, нежели о социальном вопросе...

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,

* Уже из этой хронологии явно, что сюда входят именно названные ранее «бесами» русские странники-революционеры, странники-народолюбцы, «пошедшие в народ» и «опростившиеся», «народовольцы» и проч. «землевольцы» и т. п., и т. п.

Как встрепенувшийся орел,
 Душа поэта содрогнется...
 Тоскует он...

Не в Толстом здесь дело, а в Достоевском: Толстой лишь «прошелся перстами по струнам», — без особой мысли и впечатлительности, «прошелся», как величавый Гёте. И вдруг Достоевский весь загорелся жаром чисто вулканическим, затрясся именно как вулкан, и мы слышим «этот противный серный запах, — как запах тухлых яиц», по которому жители Портичи, Резины, бывших Помпей и нового Неаполя узнают близость извержения и землетрясения...

- ¹⁰ Кто усомнится, на которой же стороне Достоевский: на стороне ли новых тревог или старого цинизма? Но ведь это было всего за три года до потрясения 1 марта. Достоевский определил самую дату: «началось 20 лет тому назад», т. е. в пору «Современника»... Что же, переменился он с тех пор? И «да», и «нет», скорее — «нет». Достоевский всю жизнь был *с ними душою*, но *не с ними делом*, был «с Раскольниковым» и уж несколько не с чиновником Лужиным («жених» Дуни Раскольниковой), хотя и отметил, что Раскольников «погиб». Он отделался вот от «гибели» их, не физической только, но и душевной, вернее, — от *волевой* гибели, гибели *поступков*. «Все это еще *дети*», — мелькает у него здесь и там; «дети», «желторотые мальчики» и Раскольников, и Иван Карамазов, и, конечно, «Алеко», и этот «Левин». И вот с *детством* их и *исключительною неопытностью*, просто по *искренности* своей, не сливался старец Достоевский, которому *по психике* его было сто лет жизни, века жизни, тысячелетия! Старый это был дуб на российских равнинах, но с высыпавшими под старость зелеными листиками. Ведь он почти поет во всей приведенной странице эту знакомую песню гимназистов и юношей:

Отречемся от старого мира...

Да и как поет! Как не умели в 1905—1906 годах!

- ³⁰ Мы видим, — вся жизнь и до сих пор кипит около этих слов Достоевского. В его словах — тот уголек, который жжет кровь, подымает сердце, мог бы поднять народные волны... Но они забыты были сейчас же после того, как были произнесены, и забыты по особой причине, преднамеренно и злобно. Встала «машинка» на место глубокой психологии и глубокой совести, старая «нечаевская машинка», которая начала «рубить мясо», как рубит его кухонная машинка, — «рубить котлету», что короче и утилитарнее задумчивых песен русских «странников», каковым был, в сущности, Достоевский. Дело сузилось, омашинилось, потеряло душу, — ну, с этим психолог Достоевский не мог слиться. Омолодение России подошло в корне, к нему вдруг пришел старый цинизм. Стива *согласился с Левиным*, — в этом все дело. Он вдруг *взял в свои руки* задачу Левина, и задача стала «неразрешимой», точнее, — она перешла в мириады уродливых, грязных ⁴⁰ решениц дела, бывшего святым по существу.

ИЗ ЖИТЕЙСКИХ ВСТРЕЧ. К. М. ФОФАНОВ

Сохранить живой портрет Фофанова и нужно, и хочется. Его все знали в Петербурге, в Москве едва ли кто знал. Еще лучше его знали в Гатчине, где он был «обывателем», и его все и ежедневно видали на улице, на одних и тех же привычных улицах, в привычном печальном состоянии... Об этом — ниже. Не любить его никто не мог; но все, едва он шумно появлялся (он всегда шумел), убегали от него с любящим смехом, с улыбками, анекдотами. Появление его в редакции, где всегда бывает много постороннего народа, не знающего этого поэта в лицо (да он часто бывал и «неузнаваем»), и, следовательно, не могущего объяснить себе, «что это такое», — вызывало смятение. Моментально захлопывалась дверь и никого не впускали в комнату, где он был; затем как можно скорее удовлетворяли его просьбу или нужду (он иначе, как прося, и не приходил никуда) и затем с «попутчиком» отправляли на «следующий пункт» его вечного странствия, туманного, бесконечного странствия...

Помните, евреи в пустыне «шли за облаком». Чорт знает что за география. Фофанов точь-в-точь жил по такой «географии»... И он вечно «шел за облаком», смотря вверх (постоянная постанровка его головы на шее), не видя, что под ногами, не замечая земли, и совершенно и не интересуясь даже, куда его несут ноги. Кроме редакции он мог зайти к министру, к хулигану с Сенной, к «отцу дьякону», везде оставаясь «собою», нисколько не меняясь, и произнося быстрой скороговоркой речи, которых ни один смертный понять не мог, кроме центрального выкрикиваемого слова, услышав которое, зажимали уши и смеясь разбегались, при полном его недоумении: ибо сам Фофанов всяческие слова считал совершенно обыкновенными.

Знаете ли, что, схоронив Фофанова, мы схоронили ангела? Совершенно безгрешного — до такой необычайной степени, как этого не бывает, и это невероятно.

Это — один тезис, которому нужно совершенно поверить, ибо без этого в Фофанове ничего нельзя понять.

Степень его невинности, безгрешности, отсутствия в нем «грехопадения», отсутствия всей решительно Библии, *после грехопадения, последующей* и сложной, последующей и мучительной, — была до того поразительна, что я, «узнав вот Фофанова», узнал клочок совершенно *новой* для меня действительности, новой психологии, нового человеческого состояния... Ибо даже к нему приближений я совершенно не знаю.

Объясняется это, может быть, и даже вероятно, тем, что лет приблизительно с десяти и никак не позже четырнадцати, т. е. в возраст совершенно невинный, — и особенно у него, вечно вдохновенного, невинный, — он запил странной формой какого-то наследственного запоя, ужасного, непрерывного (кроме редчайших, болезненных для него минут). И этот ужасный запой поставил непроницаемую стену между ним и всею действительностью: и он так и не узнал, что люди обманывают, лгут, злятся, хитрят, завистничают; что у них есть какие-то «нравы» и они живут в «обычном состоянии, как все»; что есть что-то «принятое», «обычное», «законное», что есть «лучше» и «хуже».

Ну, вот вам анекдот:

Бегут из фойе театра, машут руками, хохочут... На вопрос «что?» — отвечают: «Фофанов! Фофанов!»... Шло юбилейное представление им любимого писателя; зрители все — «званные», «почетные»... Туалеты и прочее. Прежде всего в торжественной тишине какой-то сцены Фофанов «во фраке, и все как следует» (одела жена) перегнулся через барьер ложи второго яруса и на весь театр закричал реплику произносившему что-то актеру, воспламененный моментально смыслом произнесенных им слов, которые за минуту он торжественно и благоговейно слушал (Фофанов был вечно в благоговении). Конечно, его с «проводным» отправили приблизительно в буфет. По поводу «юбилея писателя» все было даровое (у Фофанова не было никогда денег), и он в буфете «подкрепился»... Как представление было «юбилейное» и тоже даровое, то в фойе было не много и не мало «разной публики», предпочитавшей «зрелищу» просто возможность поболтать, посмеяться и попить чайку. Были дамы... «Подкрепясь», Фофанов «последовал куда-то» и попал в это несчастное фойе. Узнав, что «Фофанов», его окружили дамы. «Скажите нам стихи», и говорят ему цитаты из него. Публика была вся литературная, а следовательно, и дамы. Фофанов — в отличнейшем настроении, дамы все — размилашки, вероятно, много было декольтированных, и вся сумма этой действительности, при «втором взводе», отразилась у него такой комбинацией мысли, что, если они так его любят и ценят, то пусть по смерти его приходят в музей анатомии, которому он завещает свою особенно интересную часть тела, и там она будет сохраняться в спирту, в совершенной свежести и полном своем виде. Можно представить себе... Я не преувеличиваю и не прибавляю слова... Дамы с визгами рассыпались; но Фофанов, нисколько их не думавший оскорбить, как он и никого никогда в жизни не оскорблял, продолжал торопливо, весело и торжественно следовать дальше...

Все «за облаком»...

— Ну, куда вы, Фофанов? — сказал я в этот вечер. — Поезда теперь никакого нет, пойдете ночевать ко мне.

— Невозможно! Меня ждет жена. Должен ехать...

30 — «Должен» или «не должен», а поезда нет.

— Все равно, я на вокзал. Может быть, какой-нибудь поезд.

— Ни одного. Хоть расшибитесь. Едем ко мне.

Не едет и толчется в снегу. Стоим. Долго.

— Ну же!..

— Она будет беспокоиться, ждать. Невозможно.

Третий человек подсказал, что можно дать телеграмму. Дали, успокоили ее. И тогда он поехал ко мне.

Какая все-таки тонкая деликатность: уже «на десятом взводе», да и «такой день» — вообще «празднуем» и «море по колено», — но Фофанов помнит, что кто-то о нем беспокоится, и сам беспокоится, и толчется в снегу, хоть «тут заснуть» или доползти ползком «в свою Гатчину», чтобы сказать жене: «Я цел, усну и ты усни». Сколько *трезвых* этого бы не сделали...

И ответно пользовался тою же деликатностью.

Года через полтора после этой ночевки его у меня, близкий мне человек поехал к жене его и предложил ей повезти ее мужа к одному врачу, в Орловскую губернию, *который наверное излечивает запой*. Конечно, такие есть и в Петербурге, но «тут уж наверное, так как излечен вот этот год мой родственник от запоя са-

мого упорного и многолетне-застарелого». Последовало согласие и начались приготовления, т. е. с нашей стороны, к далекой и хлопотливой поездке. Все решено, и вот только «взять и тронуться в путь»; но в последний момент жена его, которой запой мужа был как бы смерть, т. е. житейски тяжел и невыносим, сказала с печалью:

— Нет, не надо везти. Все-таки мы его везем обманом, не говоря — куда и зачем. Нет его решения, согласия, нет его воли. Да и душа его будет тогда не «своя». Он будет здоров какою-то чужою, вложенною в него душой. Не будет пить чужою волею... Это так ужасно, что пусть лучше будет, что будет. Я не чувствую себя вправе так поступить с ним.

10

А чего стоил семье и дому его запой — об этом можно было судить, только однажды где-нибудь увидев его...

* * *

Лучшие минуты, — вдохновения, писания стихов, — проходили, естественно, наедине. А все остальное время, т. е. на виду, среди семьи, Фофанов совершенно не имел никакого «вида».

Возбужденный, произнося непонятные слова, где-то мелькала гениальность, то неприличие, но, естественно, чаще последнее, он куда-то шел, откуда-то возвращался, чего-то хотел, чего-то опять не хотел, в «виде» совершенно «безвидном» одетый или раздетый. Одетый, насколько его одели, и раздетый, насколько это кому-нибудь нужно... Он вечно «несся»... Нельзя представить его сидящим, лежащим... Даже когда «пили чай», он, собственно, подходил к столу и выпивал, что бы ему ни налили, залпом, разом и куда-то опять убежал, что-то ему было «нужно»... За обеденным столом я его не видал и не могу себе представить. Я не видал его даже *пяти минут*, в течение которых он остался бы спокоен и недвижим. Разве кто-нибудь что-нибудь стал бы ему рассказывать, чему он изумился бы: тогда, вот изумляясь, он мог на пять минут «попридержаться». Ему потребно было вечное движение, он был в вечном движении. «Сон» и «Фофанов» просто не умеют совместиться в голове. Без сомнения, он бредил во сне или видел галлюцинации; на час, на два, может быть, засыпал, как убитый. Но ровного и *спокойного* сна я у него не могу представить, и, вероятно, этого не было.

20

30

Вместе с М. М. Федоровым, впоследствии редактором «Слова», а также редактором «Литературных приложений» к «Торгово-Промышленной Газете» финансового ведомства, где печатались Фофанов и я, я посетил его в Гатчине. Он жил на просторной, великолепной, уединенной улице, «уже близко к полю», — занимая не главный дом и в пристройке не главную часть. Сейчас не помню подробностей положения дома: только все было просторно на улице, на дворе, «пахло полем».

Очевидно, все это выбрала его умная и милая жена, так как сам он, очевидно, не мог бы ничего выбрать и в собственном смысле не мог даже «искать квартиру». Ему вообще ничего «не нужно было». В полутемной прихожей разделись и вошли в детскую спальню! Она вся была уставлена кроватками, маленькими. Была велика и просторна, воздуха много. М. М. Ф-в сказал мне: «У него каждый год — ребенок, а нынешний — он совсем стеснен в средствах, потому что роди-

40

лись двойни». Детей было очень много, и все «с присмотром». Вышла его жена, с благородным, симпатичным лицом, которую я знал раньше и о которой слышал, что это — институтка, влюбленная в девичестве в его поэзию, и которая отдалась именно поэзии и поэту, пренебрегши всем остальным и пренебрегши предостережениями. Известно, — русская девушка. Я думаю, другого такого милого создания, как «русские девушки», не существует: по великодушию, беззаветности, героизму. И все такие раскосые и косолапые, с большим бюстом и выбившеюся «из порядка» косой... Не красива, — а будет «жена верная». Конечно, не без исключений, изумительных и убийственных, но общий очерк, я думаю, верен.

10 Фофанов только тем и спасен был, что около него встала такая девушка (все это — говорили), спасен, по крайней мере, на многие годы, лет на десять, на пятнадцать. Дальше шла столовая или что-то вроде столовой, — по крайней мере, тут мы пили чай. «А вот дальше — комнатка мужа».

Я вошел.

В ней все было придумано, избрано, чтобы оберечь вдохновение поэта. В противоположность другим комнатам, где было довольно беспорядка, эта была в безукоризненном порядке и чистоте. Чистые занавески, на окнах цветы, недорогие и свежие, в бутонах и расцвете, хорошие стулья, кушетка, горка, полки с книгами, стол с бумагами и письменным прибором, нигде пятен, пыли. И выходила комнатка на лужайку или в сад: только она вся была в свежести и чистоте и давала положительно изящное впечатление. Все это, конечно, устроила ему жена, задумчивая и прелестная. Пишу это к тому, что лет через 5—8 они разошлись, и Фофанов приходил в редакцию с чудовищными жалобами на нее, «вслух» и «откровенными», как это всегда у него было, и с требованием, чтобы из конторы редакции (откуда ему выдавалась пенсия в 75 р. ежемесячно) ей ничего не давали. Все смеялись и знали, что обвинение его — вздор, как и самое «требование» — минутная и бессмысленная вспышка. Что-то еще он говорил о «доме», который чуть ли она не «получила в наследство», и что дом этот тоже принадлежит ему, «как мужу». Этому еще усиленнее смеялись: главное — тому,

30 что он, такой абсолютный ребенок, вцепился в чужой «дом», когда ему не только «дома», но и своего пальто не нужно было. Все знали его абсолютное бескорыстие, так как он даже не понимал, что такое «собственность», «имущество», «владеть» и «распоряжаться». Но он настаивал, что «дом — его», и потому-то, и потому-то, «а также и жалованье, ибо он — поэт, а она — ничто»; и что она «такая Мессалина, которую надо посадить на цепь». Пуговицы все расстегнуты, борт грязного пиджака чем-то залит, борода огненного цвета трясется, руки не умыты, ничего не умыто, а интонация страшная и ничего понять нельзя. Опять «посадили на извозчика и отправили». Все его берегли, постоянно, все его любили, и все не придавали ни малейшего значения никаким его словам. Обвинения его,

40 конечно, сказанные каждому в Гатчине, могут когда-нибудь, через пятые и десятые руки, проникнуть в печать и стать «биографическим материалом»... Предупреждая эту возможность, я и рассказываю все виденное: несомненно, жена его терпела столько, сколько вообще возможно, и если «разрыв» произошел, то в чем бы ни лежала его сущность, жена его, несомненно, ни в чем не виновна, — во всем права. Ибо ни у кого бы не хватило терпения и 3—4 года прожить в таких условиях. И когда «канат терпения лопнул», то «оторванный конец» (т. е. она) мог полететь куда угодно. Пишу на случай, если бы какие-нибудь факты и оказа-

лись даже «верны». Тут была та область хаоса и неменяемого, где вообще нет «виновных», а одни факты... Ибо самая «вина» есть «нарушение закона», и как же вы ее введете туда, где нет и не было никакого «закона», как сдержки и нормы, как естественно ожидаемого.

— Нищие, нищие, мы — нищие! — кричала она, совершенно обезумевшая, когда хозяин их выселил за неплатеж квартирных денег на улицу с детьми. Это было за несколько лет до Гатчины, перед Гатчиной. Она была помещена в психиатрическую больницу, ему кто-то и как-то помог. Помешательство было временное, от «ужаса жизни», и скоро она выписалась из больницы и стала опять около мужа. Без сомнения, она (потому что он вообще не мог ничего «предпринимать», делать «шаги в делах») выхлопотала ему как пенсию от Академии наук, так и пенсию от редакции большой газеты, и перевезла его и семью в Гатчину. Этот крик безумной женщины всегда нужно помнить прежде, чем судить о ней.

* * *

Попили чайку. Отслушали его анекдоты. Мелькали его талантливые словечки. Но больше всего занимало его название какого-то нового мыла, которое, если произносить с неправильным ударением, то получалось неприличие. Жена его удерживала, но он снова и снова пытался произнести знаменитое название. Оно его внутренне забавляло, и ему казалось, что оно и всех должно забавлять, т. е., следовательно, доставить всем удовольствие. Наконец, мы двинулись и пошли к вокзалу. Конечно, он увязался «проводить». Та же скороговорка, ничего понять нельзя и брызгающие слюни. Вдруг он, как бы став во фронт (спиной к нам и лицом к дороге), поклонился в пояс едущему экипажу. С коляски ему ответил поклоном пожилой военный.

— Кто это?

— Разве вы не знаете?

— Нет!

— Благороднейший человек! Удивительная душа! Комендант Гатчины. — Имя, отчество и фамилия.

Что у него «удивительная душа» — конечно, Фофанов где-нибудь услышал. «Болтали в трактире»... Несомненно, что он не был с ним «знаком», ибо «никакой возможности», никакого местного отношения или связи. Но «болтавшие в трактире» забыли, о чем они говорили. В благородной же душе Фофанова это запало: теперь где он ни встречал эту «чистую душу», от отвешал ей с тротуара чуть не земные поклоны. В этой мелочи — весь Фофанов. Земного ему не нужно было, ничего ему не нужно было. Он едва сознавал, где и как и с кем жил... Но он весь был «в слуху»... Т. е. о мире он узнавал «через слух»... И вот если «через слух» до него доходило что-нибудь благородное или, наоборот, что-нибудь горькое и низкое, — то он заражался или высочайшим «благодарным» волнением, или, напротив, «ругательным». Последних мне от него не приходилось слышать (кроме разве в тот раз о жене), «благодарными» он был вечно преисполнен. Все это — без малейшего отношения к нему лично.

— Раз, — рассказывал мне покойный писатель Щеглов-Леонтьев, — мы шли с ним... (где — я сейчас забыл). Я и говорю ему: «Ведь вот тут квартировал Бе-

линский». Фофанов, ни слова не говоря, повалился на землю и, должно быть, стал целовать ее. Лежал долго, и я насилу его мог поднять. Не встает; и говорит, что он не может уйти с этого места.

Т. е. «с этого священного места», по которому ходили ноги Белинского. И опять это характеризует его «с головы до ног»...

* * *

«Запой», однако, у него не было. «Запой» состоит в припадках опьянения, причем между припадками человек в рот не берет вина, а во время припадка пьет непрерывно и доходит до исступления и белой горячки. Ничего подобного у Фофанова не было. Ни о каких «припадках пьянства» я у него не слышал, но — увы — не слышал и о *перерывах* пьянства. У него совершенно не было трезвого времени и трезвого состояния. По-видимому, он как непрерывно был вдохновен, «в воображении», — так непрерывно был и пьян, полупьян, четверть-пьян, но непременно в какой-нибудь степени пьян! И нельзя не думать, что эти два состояния, небесное и слишком земное, грязное — были у него связаны. Вино помогает воображению; в вине человек как-то «видит сны»... Вся поэзия Фофанова есть «видение сна»: и алкоголь ему нужен был для самой поэзии. Это как-то чувствовалось, виделось, едва соприкоснешься с ним. Стихи его, местами достигающие пушкинской красоты, стихи, которые никогда не умрут, пока жив русский язык и живет русская восприимчивость к родному слову, — все, однако, суть продукт *воображения* о природе, а не *ощущения* природы, *воображения* о жизни и человеческих отношениях, а не отчетливого их переживания. Напр., это чудное стихотворение:

Звезды ясные, звезды прекрасные
 Нашептали цветам сказки чудные,
 Лепестки улыбнулись атласные,
 Задрожали листья изумрудные.
 И цветы, опьяненные росами,
 Рассказали ветрам сказки нежные
 И распели их ветры мятежные
 Над землей, над волной, над утесами.
 И земля, под весенними ласками.
 Наряжая тканью зеленою,
 Переполнила звездными сказками
Мою душу безумно влюбленную,
И теперь в эти дни многотрудные,
В эти темные ноги, ненастные,
 Отдаю я вам, звезды прекрасные,
 Ваши сказки задумчиво-чудные.

По полноте мысли, по простоте образов стихотворение это не уступит никому во всемирной литературе. Но что в нем реально пережито? Реальное восприятие чувствуется только в подчеркнутых мною строках; что-то тяжело было

в жизни, денег не было; была осень и лил дождь. Только. Но — и тут алкогольный пар играл роль, — поэт был «безумно влюблен»: во что? Вот в это свое состояние, сейчас, за стаканом холодного чая «с прибавкой», когда дождь барабанил в окно. Напор поднимался, — сил ли, или сил, подогретых «паром»? Но только поэту было «хорошо»... Так, «счастливо на душе»... И у него моментально сверкнуло чудное связывание всей природы, всего мироздания с этим — «хорошо на душе»; причем «изумрудные лепестки» и прочее, на которые он едва ли когда посмотрел внимательно, а только боком их замечал, пробегая мимо, как и «звезды» и пр., и пр., и ветры и особенно скалы, едва ли когда-нибудь виденные, просто суть одни слова и одни воспоминания... Суть: «безумно влюблен» и «сегодня холодно на дворе». Это — только и реально. Все прочее — выдуманно. Прочее — алкоголь. Как и поклон «коменданту» не был «признанием бюрократии», или претензия владеть «домом жены» не была выражением корысти.

Реальное просто для него отсутствовало...

А «сны» его, золотые сны — были действительностью.

* * *

Как-то кого-то хоронили. Я был в толпе. Был и Фофанов. Как было еще утром, а выехать на похороны из Гатчины он должен был не позднее 8-ми часов утра, то он был совершенно трезв. Соответственно этому молчалив и спокоен. И я слышал мужские и женские голоса:

— Что же, говорят, он так безобразен: он — прекрасен. Прекрасные, одухотворенные черты лица...

Вот я передал все, что мне пришлось о нем узнать и как его видел.

ЛОМОНОСОВСКИЕ ИЗДАНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ЕГО ЖИЗНИ

С благоговением я снял с полок несколько книг в кожаных, полуразвалившихся переплетах, хранимых «через тридцать лет» (в течение тридцати лет), говоря синтаксисом XVIII века. Книги сии суть:

Российская грамматика Михайла Ломоносова. Печатана в Санкт-Петербурге. При Императорской Академии Наук. 1755.

В малую 8-ю долю листа. Перед заглавием картинка: солнце в лучах, внутри коего инициал имени Елисаветы Петровны, с короною над буквою. Под ним два гения (головки с крылышками) дуют изо всех сил. Еще ниже три символических, полунагих фигуры (муз? божеств?) стоят за спинкою кресла. В широком кресле сидит, в лавровом венке и со скипетром, императрица Елизавета. Перед нею в круглом столе, покрытом скатертью, развернутая книга с заглавием «Россий-

ская Грамматика». Перед столом «народ» или «учащиеся»: безбородые фигуры времен Петра и Елизаветы (по костюмам) и с краю бородатая фигура времен Московского царства. На столе: циркуль, наугольник (прямой угол из дерева), древесная листва и плоды; у подножия стола — два мальчика-гения, записывают в книги, должно быть, «деяния Елизаветы» или имена славных ее сподвижников.

После титульного листа — лист с посвящением: «Пресветлейшему Государю Великому Князю Павлу Петровичу Герцогу Голштейн-Шлезвигскому, Стормаврскому и Дитмарсенскому, Графу Олденбургскому и Делменгорстскому и прочая, Милостивейшему Государю».

Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Господина Коллежского Советника и Профессора Михайла Ломоносова. Книга первая. Второе издание с прибавлениями. Печатано при Императорском Московском Университете 1757 года.

В 4-ю долю листа. Перед титульным листом великолепный портрет Ломоносова: гордое, вдохновенное и пренебрежительное (высокомерное?) лицо повернуто в сторону (придумывает рифму? творит мысль стиха?). Одет в великолепный расшитый кафтан того времени. На листе бумаги, положенном на стол, вывел заглавие стихотворения:

Ода

20

Ее Имп. Велич-ву

Под портретом подпись:

Московский здесь Парнас изобразил витию,
 Что чистой (sic) слог стихов и прозы ввел в Россию,
 Что в Риме Цицерон, и что Виргилий был,
 То он один в своем понятии вместил,
 Открыл природы храм богатым словом Россов
 Пример их остроты в науках Ломоносов.

На столе, фигурном, без скатерти, стоит глобус и раскиданы циркуль и транспортир. В шкафу, стоящем влево, на полках реторты и вообще принадлежности химии. Сзади, через окно, виден сельский ландшафт.

На титульном листе изображена: гора Парнас, на вершине коей четырехстолбный храм. Около него Пегас, поднявшись на задних ногах и тоже «вдохновенно отогнув в сторону голову», готовится полететь и уже почти летит. Внизу — полунагой Аполлон, в лавровом венке и сандалиях, играет на лире. По скатам Парнаса — деревья, кусты и травы.

Впереди текста и впереди самого оглавления книги помещено: «Предисловие. О пользе книг церковных в Российском языке». Это — знаменитое рассуждение, разучиваемое у нас в гимназиях.

Книга содержит: переложение псалмов 1, 14, 26, 34, 70, 143, 145; «Ода, выбранная из Иова», «Утреннее размышление о Божием Величестве», «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния».

Затем — 12 од «торжественных» и «подвальных».

Далее — 44 «надписи» (к статуе Петра Великого, — 5 отдельных надписей), «Надгробная Святому благоверному Князю Александру Невскому», и современный, на разные случаи.

Еще далее — 6 «Слов публичных», из них: «О пользе химии», «О электрических явлениях на воздухе, с изъяснением», «О происхождении света», «О рождении металлов».

Позволим себе привести выдержку из 3-го «Слова» — о Петре Великом:

«И по окончании трудов военных, по укреплении со всех сторон безопасности целого отечества, первое имел (Петр Вел.) о том попечение, чтобы основать, утвердить и размножить в нем науки.

10

Блаженны те очи, которые божественного сего Мужа на земле видели!

Блаженны и треблаженны те, которые вот и кровь свою с Ним, За Него и за Отечество проливали, и которых Он за верную службу в главу и в очи целовал помазанными Своими устами...

Но мы, которые на сего Государя при жизни воззреть не сподобились»... И т. д. Какая красота, какая сила слова!!!

И в заключение знаменитое стихотворное рассуждение: «Письмо о пользе стекла к Высокопревосходительному господину Генералу Поручику, Действительному ее Императорского Величества Камергеру, Московского Университета Куратору и орденов Белого Орла, святого Александра и святые Анны Кавалеру, Ивану Ивановичу Шувалову, писанное в 1752 году».

20

Это поистине великолепное издание следовало бы во всей благородной обстановке тех дней, т. е. с соблюдением формата, цвета и всех качеств бумаги, шрифта и драгоценных портрета и виньетки, — переиздавать стереотипно ad usum scholarum *. Но наше параличное министерство просвещения (сегодня день стыда его!) ни о чем не догадается, никогда ни о чем не догадывалось.

Краткой (sic) Российской (sic) Летописец с родословием. Согинение Михайла Ломоносова. В Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук 1760 года.

В малую 8-ю долю листа. Посвящен великому князю Павлу Петровичу.

Эти, самим Ломоносовым изданные, книги нельзя почти читать: их можно только целовать, с пылью на них насеившею, с пятнышками на страницах, с хлопками тонкой, износившейся в веках кожи на переплете. Тут — все древность, все — золото, везде — след забот, ума Ломоносова. Следующие книги уже можно читать.

30

Краткое руководство к краснорегию. Книга первая, в которой содержится РИТОРИКА, показующая правила обоего краснорегия, то есть ОРАТОРИИ и ПОЭЗИИ, согиненная в пользу любящих словесные науки трудами Михайла Ломоносова Императорской Академии Наук и Исторического Собрания Члена, Химии Профессора Шестым тиснением. В Санкт-Петербурге, при Императорской Академии Наук 1791.

40

Это — перепечатающийся учебник, — обыкновенный школьный. И, наконец:

Покойного Статского Советника и Профессора МИХАЙЛЫ (sic) ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА собрание разных согинений в стихах и в прозе. В Типографии Императорского Московского Университета 1778 года.

* для школьников (лат.).

Три книги. С трагедиями «Тамира и Селим», «Демофонт», с «героической поэмой «ПЕТР ВЕЛИКИЙ», и т. д., и т. д., всякие прелести...

Так трудился, думал, печатался наш славный «Михайла Васильевич», — около Петра как бы его младший брат по гению, или его сын по вдохновениям и неустанности, по оживлению, склонности к пирам и наукам, к дерзости и надеждам, к войне (с академиками), к борьбе и вечному строительству России и для России. Имя — прекрасное, праведное, почти святое по всестороннему одушевлению, в то благородное время, когда у всех почти русских

10

Восторг внезапный ум пленил.

Что́ было за время... Какие они были все счастливые, в буклях, париках, в золоте кафтанов, с мечами, с гусиными перьями, с чернилицами и астролябиями. Поистине:

Ступит на море — море кипит.

20 Так шли «походом» они на Запад за Русь, «братъ штурмом» просвещение, «сравниваться» с Европой и, конечно, «завтра превосходить ее»... Бодрое племя: где ты зародилось? Ты родилось в дворцах и в деревнях, в морозах и в зное неизмеримых равнин Родины, от Астрахани и до Архангельска. Тебя родили цари и мужики: и вся ты с «ура!» двинулась вперед, на завоевание наук, искусств, стихотворчества, великолепной гордой прозы, «химии» и «похвальных слов». Да, «похвальных слов»: гиганты чувствовали кровь в жилах

Не то, что нынешнее племя.

И били вдребезги чернильницы, пиша все «оды» и «оды». Стоили «од» и писали «оды». Естественно. Натурально.

30 Склонимся перед памятью великих. Соберем их книжечки. Эти старенькие, ветхие, священные книги. То «начало Руси», духовной, умственной, волнующейся, огненной... Казалось, она вся «подражательна»: о, как *в действительности* она была оригинальна и самостоятельна, самобытна — и нова в истории. «Шире ворота» — сказала Русь всемирной истории: и с колокольчиками, бубенцами, с лихим ямщиком на облучке, с пушками и самопалами въехала в Германию, Францию, Голландию и Англию. И «отворили ей ворота»...

Прошли ворота... Но, лихо въехав, мы неожиданно встретили какие-то пески. Пески, пески... желтые, однообразные. Тонет тройка в них, храпят лошади. Ямщик чешет затылок: или остановиться, или поворотить даже «вспять»?.. И сам ездок — не то дремлет в тарантасе, не то видит какой-то мутный сон, не то отчего-то опьянел, и глубоко равнодушен к «вперед», «назад», «влево» и «вправо». «Куда-нибудь»...

Так пронеслось два века. Так мы живем и жили, под музыку «грустной песни ямщика»...

К 20-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА (1891 — 12 ноября — 1911)

Памяти Константина Николаевича Леонтьева.
† 1891 г. Литературный сборник. С.-Петербург. 1911

Несмотря на замалчивание «левого» стада, имя и память Константина Леонтьева не поддается забвению. Известный петербургский священник и деятель К. М. Агеев сделал идеи этого публициста и теоретика истории предметом магистерской диссертации, защищенной в Киеве: «Христианство и его отношения к благоустроению земной жизни. Опыт критического изучения богословской оценки раскрытого К. Н. Леонтьевым понимания христианства. Киев, 1909 г.»¹⁰ Это уже не кое-что беглое, а фундаментальный труд, который не пропадет из библиотек. И вот сейчас, к исполнившемуся 20-летию со дня его кончины (12 ноября 1911 г.), появился сборник статей, посвященных оценке с разных сторон личности, биографии и сочинений замечательного писателя второй половины XIX века. Наиболее ценною частью сборника является первая статья «Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его мирозерцания» А. Коноплянцева. Это первая биография писателя, собранная из живых источников, которые естественно погасают с каждым годом и десятилетием и навсегда утрачиваются для историка; так что не посвяти теперь г. Коноплянцев несколько лет жизни собиранию материала о Леонтьеве, может быть, составление сколько-нибудь пол-²⁰ной или даже просто связной биографии русского романиста, публициста и философа сделалось бы навсегда невозможным. За это — всегдашнее, историческое спасибо. Занимая 156 страниц, содержит отрывки не изданных в целом писем К. Н. Леонтьева и точно воспроизведенные разговоры о нем его друзей — биография очень полна. С величайшею любовью автор относится к личности Леонтьева и с величайшею бережностью ко всем перипетиям его литературных, политических и религиозных взглядов, убеждений и теорий. Вместе с тем биография бесстрастно справедлива и нигде не переходит в «хвалебную песнь», совершенно ненужную в этом деле и оскорбительную для такого лица, как Леонтьев. Панегирик нужен убогому, как заплатка на убожестве, а большой и яркий человек, даже³⁰ при очень больших грехах, страстях и недостатках, не нуждается в ложном одеянии, каким является «панегирик». Коноплянцеву же принадлежит библиография сочинений К. Н. Леонтьева и библиография *статей о нем* (145), причем раскрыты многие анонимы и инициалы, иногда инициалы преднамеренно неправильно поставленные (напр., «Л. К—в» вместо «К. Л—в»). Затем очень интересны воспоминания о К. Н. Л—ве, написанные для «Сборника» К. А. Губастовым, наиболее долголетним и близким другом покойного; прелестные письма к нему Леонтьева были напечатаны несколько лет назад в московском журнале «Русское Обозрение». Вообще, как автор писем — Леонтьев стоит еще выше, чем как автор *статей*: и мы не припомним еще ничьих писем в русской литературе, кото-⁴⁰рые были бы так же увлекательны и умны, философичны и остроумны, как его письма; так живы и искренни до мельчайшего штриха, до «йоты». В этом отношении особенно поучительно сравнение его писем с письмами Владимира Соло-

вьева, которого, Бог весть с чего (верно, за ученость и стихи), он ставил неизмеримо выше себя. В самом деле Л—в был неизмеримо более изящною фигурою, чем С—в; неизмеримо более интересною и гордою, самостоятельною и свободною. Вл. Соловьёв вечно соглашался с партнером (в письмах, разговорах), Леонтьев вечно спорит, возражает. Лицо его всегда прямо, открыто, мужественно. В нем никогда не обманешься, ибо он издали кричит: «Иду на вас». Поэтому, читая его письма, соглашаешься или не соглашаешься с ним в мысли, — внутренно с каким-то восторгом жмешь и жмешь его руку. Говоря о «восторге» — передаю личное чувство, ни разу не поколебавшееся за 20 лет, когда в самом сменились или изменились все чувства, все мысли, все отношение к действительности. Вот эта нравственная чистота Леонтьева — что-то единственное в нашей литературе. Все (почти и великие!) писатели имеют несчастное и уничижительное свойство быть несколько «себе на уме», юлить между Сциллою и Харибдою, между душой своей и массой публики, между литературным кружком, к которому принадлежат, и ночными своими думами «про себя»: ничего подобного не было у Леонтьева с «иду на вас». Скорее он преувеличивал расхождение свое с друзьями, — несколько сколько-нибудь его «замазывал». И если «правда» есть *пафос* литературы — а она должна бы быть им, — то Леонтьев достигает полного совершенства в этой патетически-нравственной стороне ее... И поистине, вот бы кому писать

¹⁰ «Оправдание добра»... Но он знал, что «добро» — все в афоризмах, в мгновениях; и что нужно не иметь никакого к нему *обоняния*, чтобы этак года на три засесть за *систему* «оправдания добра» (название, в высшей степени забавное, труда Соловьёва, страниц в 700). Точно это был «зверь», которого никак не мог изловить философ; бродил за ним, как за бизоном в прериях или за черно-бурой лисицей в тайге; «не дается в руки»... Явно, не было *нюха, осязания*; никакого не было *вкуса* к добру, которое открывается так просто, как запах розы, и близко, как поцелуй возлюбленной. Но оставим кисляев философии. Они все протухли со своим «добром» и «недобром» и ищут в кармане «бумажки», которой туда не положено. Нечем рассчитывать ни с Богом, ни с человеком.

²⁰ «Сборнику» предпослано очень интересное (анонимное) предисловие. Из статей в тексте интересны: Е. Поселянина «К. Н. Леонтьев в Оптиной Пустыни», А. В. Коровина «Культурно-исторические воззрения К. Н. Леонтьева»; характеристика Б. В. Никольского страдает всегдашним жаром и всегдашней торопливостью нашего неугомонного «черносотенника»... Ему всегда хочется сказать пред статьей: «Выпейте холодной воды». Кончая указание на книгу, скажу как неэтический писатель, подражая «серому люду» в Александровском рынке: покупайте, господа! Книга стоит дешевле бутылки вина и фунта икры, и бросайте скверную русскую привычку только кушать и пить: нужно немножко и подумать! Примите это как шутку: но, ей-ей, тут и серьезное. Плачет, давно плачет серьезная русская книга о серьезном читателе. Вот и Кусков до сих пор не издан: нет и «избранных сочинений» самого Леонтьева, нет и не появились спустя 20 лет по смерти... А он сейчас же после этой смерти был назван «гениальным».

³⁰

⁴⁰

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Исполнилось пятидесятилетие литературной деятельности В. П. Буренина. Самое раннее впечатление от его таланта для большинства из нас сливается с светлой порой дней юности. Мы с ним учились *шутить*, мы *по нему* учились беззаботно смеяться над тем, что смешно. Гораздо позднее мы рассмотрели в нем за тоном непрерывной шутки другое, так сказать, *ответственное лицо*. Шутка и пересмеивание было его «сегодня»: но источник и цель их лежали далеко «впереди» и далеко «позади». Пересмеивание *смешного* вытекало из глубокого уважения к великому *прошлому* литературы, и направлялось к тому, чтобы будущее литературы было достойно ее прошлых времен, прошлых образцов. Своим остроумием он клал пределы *лигной необузданности, лигной разнузданности*, учил быть *сдержанными* и *осмотрительными* начинающих писателей. Словом, за шутящим писателем с легко бегущими строками мы увидели в зрелые наши годы озабоченного человека, с двойной ответственностью — писателя и гражданина. Он никогда не был беззаботным писателем, он всегда был писателем долга.

Суждения его в запутанных иногда литературных делах и вопросах — всегда были разумны, просты и ясны. В. П. Буренин вообще являет прекрасную форму великорусского здравого смысла. Вот этот-то крепкий здоровый смысл великоросса и бросился, в лице русского критика, в борьбу с нахлынувшим на нас и литературу нашу инородческим ломаньем, мутью и смутой, инородческим притворством и издерганностью. Он, человек 60-х годов, крепко отстаивал русский голос, русскую душу, русский нрав в нашей литературе, делающейся все более и более смешанною, космополитическою, международною, бездушно-эсперантистскою, если можно так выразиться. Казалось, враги одолевали, но он бодро греб «вперед», не обращая внимания на мутные, заливающие корабль русской литературы волны...

Привет русскому писателю и мужественному воину в сегодняшний бодрый и светлый день! Пусть еще много лет, не уставая, трудится он, верный хранитель и защитник лучших преданий великой русской литературы, и пусть дождетс я ее воскресения, для которого он так много трудился!..

В. П. Буренин категорически отказался от всякого чествования в день 50-летия его литературной деятельности. По желанию Виктора Петровича деньги, предназначавшиеся его сотоварищами по работе в «Новом Времени» на устройство юбилейного праздника, собрание сотрудников газеты решило передать в пользу голодающих. На этом же собрании было постановлено отчислить в пользу голодающих, кроме того, два процента с гонорара сотрудников, делая эти отчисления до 1 октября 1912 г.

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ ДОБРОЛЮБОВА

Уже заглавие этого издания * само по себе — почти целое сочинение; а как составлялось оно, — мы можем по заглавию судить о неуклюжести и самой редакции, и самого издания. Действительно, огромные томы, в два столбца, по типу словарей и энциклопедий, на плоховатой легко рвущейся бумаге, наверное отобьют охоту и у покупателей, и у читателей, хотя напечатаны они очень хорошим, четким шрифтом. По бедности внешности — это какое-то монашеское издание. Далее, самая неприятная подробность издания — это то, что *вводные г. Лемке статьи* введены под *добролюбовские заглавия статей*, и, таким образом, пока не дошел до буквы «М. Л.», — читаются как писанья самого Добролюбова, только странного характера и другого стиля. И лишь дойдя до *М. Л(емке)*, понимаешь ошибку и бранишь; невольно и основательно, зачем не выделил редактор своих статей более наглядно для читателей, напр., помещая их петитом и, во всяком случае, более мелким шрифтом, а еще лучше — помещая *после* добролюбовской статьи или *под гертою, внизу* страницы, сделав сноску от заглавия. Так все делают, и так следовало сделать г-ну Лемке. Самые статейки его, библиографического характера, прилежны, кропотливы и не замечательны. Лемке — не критик и не историк, а библиограф с желчью. Это не тон Добролюбова или Чернышевского, хотя и их мысли, а тон Зайцева, или Шашкова, или Цебриковой... Таков Лемке, который будет еще много и долго писать, много и долго издавать, много и долго компилировать... Перейдем к изданному автору.

Он заслуживал бы именно *изящного, стильного издания*, непременно небольшими томами, с заставками, с рисунками на обложке, где можно же было бы выразить дымную и пламенную атмосферу тех лет исторической России, в которые сам он, Добролюбов, выдвинулся такую стильною, крепкою, неподатливою фигурою. Как море, шумела вокруг Добролюбова жизнь, — а он, как «маяк времени», стоял в нем свои пять-шесть лет, упрямый, недвижимый, негаснущий, «наводящий на путь». Он не имел разнообразия и, пожалуй, талантов Чернышевского, но он был гораздо его монолитнее и, пожалуй, крепче. Был сосредоточеннее, отвлеченнее, пожалуй — уже его, но душевно — и чище его. В нем не было славоблюбия и честолюбия Чернышевского — черт, во всяком случае, не идеальных. Добролюбов на все времена останется наиболее чистою фигурою 60-х годов; может быть — совершенно чистою: а ведь в литературе это так трудно сказать вообще о *ком-нибудь*. И недолгая жизнь, недолгое «испытание» — этому способствовали: иногда смерть *сберегает* людей, а не разрушает их... Добролюбов захватил именно самую раннюю, самую идеальную полосу 60-х годов, когда все было «в надежде» и еще ничего не началось «в осуществлении»... А *осуществленное* редко бывает похоже на надежды...

* Библиотека русских критиков. Первое полное собрание сочинений Н. А. Добролюбова в 4-х томах. Под редакциею М. К. Лемке, с его вступительными заметками к каждой статье Н. А. Добролюбова, примечаниями и биографическим очерком. С приложением трех портретов Н. А. Добролюбова, его факсимиле и именного алфавитного указателя ко всем четырем томам. Издание А. С. Панафидиной. СПб., 1912. — 4 тома.

Критика Добролюбова была *реальная и публицистическая*: еще бы в ту пору — освобождения крестьян и всех реформ! Она и не смела бы быть иною. Тут он был прав против нападок на него Достоевского и Страхова, их «Времени» и «Эпохи»... Прекрасно и разумно то время, которое, «как один человек», подымается для осуществления великой задачи истории, не зная ни разделений, ни покоя по уголкам, когда одна волна идет великим валом от края до края моря, от материка до материка, — и, словом, идет как по стиху Лермонтова:

И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных...

10

Повторяем: счастливое время, и счастлив, кто сыграл в нем счастливую роль. Добролюбов сыграл эту счастливую роль! И мы не можем, никто не *смеет* жалеть его молодости, жалеть о его ранней смерти. Как будто есть удовольствие умереть в 65 лет от какого-нибудь нефрита или склероза. Прелестнее краткая яркая жизнь: людей так много на планете, а света в планете так мало! Не будем же жалеть эти вспыхивающие и быстро гаснущие огоньки. Они планете нужны, они будущему нужны. К нашему «теперь» значение всех критик Добролюбова прошло, т. е. теперь они уже и неверны, и ненужны. Но это все равно. Изменившееся значение критики и духа ее переводит только его из рубрики «критики», пожалуй, в более значительный отдел — «писателей». Он умер как критик, но как *«писатель»* он не умер и не умрет. За силу свою, за упор, за значительность. За то, что он — «прекрасное писательское лицо». Его уже давно не читают, кроме «своих людей», ни как критика, ни как писателя. Но своевременно всей России начать его читать и любить, как одного из лучших русских писателей. И тут тоже идет стих Лермонтова:

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный?
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

Последний стих особенно идет к Добролюбову. В нем было что-то крепкое, железное. Это, вообще говоря, присуще старости, а Добролюбов был по летам еще так молод. Но вот подите: Белинский и в средних годах, уже «пожилым», все был юношею, как бы 18—23 лет; а Добролюбов в свои 24 года — «точно прожил долгую жизнь». Странные вещи, господа, встречаются на земле: люди, по крайней мере выдающиеся, в сущности имеют *один возраст всю жизнь*, — один *духовный возраст*: Некрасов — средний возраст всю жизнь, Белинский — всю жизнь юноша; Чернышевский — всю жизнь точно 29 лет, Добролюбов — всю жизнь как бы 43-х лет, даже когда он учился в семинарии. Именно как 43-х и 29-ти, ни годом моложе, ни годом старше! Так слепила «душеньку» и «черты лица» Природа-Матушка. Ее же не переборешь, не исправишь, не упрекнешь даже...

Вот это сочетание юноши (по метрике) и пожилого человека (по какому-то таинственному опыту духа) составляет индивидуальную особенность Добролюбова. Необъяснимо почему, но из 60-х годов это самое дорогое имя. В суровости

его была какая-то нежность, в сдержанности — энтузиазм, в «поучительности» — безумие 24 лет. Все это и приводит душу читателя до сих пор в смущение и волнение. Да: забыл Писарева. Ему всегда было 12 лет.

БЛЯХА № 101

— Как же, голубчик, я найду свой багаж?

— Бляха № 101, — ответил «мужичок вообще» на вокзале, и тронул рукой медную бляху на груди, где была выставлена эта цифра.

Эту бляху № 101 и всякую другую подобную напомнил мне «Иванов-Разумник», издающий книгу за книгой, где он зачем-то пересказывает своими словами всех новейших писателей, — ну, конечно, несколько сокращая. Так, он тома в двух все копался с Михайловским у Разумника за 3 р., чем *самого* Михайловского за 15 руб. Но все-таки *самого* Михайловского читать занимательнее: много побочных интересных мыслей, отдельных ценных замечаний, которые в «Разумник» не вошли.

Непонятно, зачем он столько пишет. К удовольствию Рубакина и его «Среди книг»?

Он неверно множит. Читаю почти 100 страниц о Мережковском. На каждой странице, от верхней строки до нижней, он утверждает, что у Мережковского в душе 0, в таланте 0, в правде 0, во всем 0. Соглашаюсь и множу

20 $0 \times 100 = 0.$

Но у «Разумника» и во введении к статье и в заключении статьи: «значительный писатель», «крупная величина» etc. И нигде, ни в одной строчке оговорки: «Ну, а *вот в этом* — он прав» (или «значителен», «интересен»). Нигде *не прав*, — а в общем *значителен*.

О другом писателе (грешным делом, это я сам): «Передонов», «ходит в белье», «все переврал», «ничего не знает». Опять множу:

— 1×20 (число страниц) = — 20.

Но в результате: «его будут всегда читать», «через несколько веков читать».

30 Открываю обложку: Иванов-Разумник *без имени*. Просто, с дивана чуть не свалился (читал лежа). *Все* с именем: *Виссарион* Белинский, *Александр* Пушкин, *Дмитрий* Мережковский, *Василий* Розанов: почему же один, *единственно* один во всей русской литературе Иванов-Разумник не зовется ни «Семеном», ни «Петром», никак. Читатель не поверит, и потому выписываю полное заглавие: «Творчество и критика. Иванов-Разумник. Жертвенник с пылающим огнем (рисуночек). Издат. Прометей Н. Н. Михайлова». На обороте: «Типография Энергия». У *издателя* — имя (Н. Н.), у автора — нет! Тут я связываю эту странность с тем, что Иванов-Разумник все излагает, притом заглавия книгам дает изысканно-философские: «Великие искания» и, помнится, «Идеи жизни» или «Жизнь идей». Но и «Жизнь идей» открываешь: видишь — излагает своими словами 40 Белинского. Он (Ив.-Раз.) *работает вообще*, везет *воз вообще*, — для Рубакина.

Рубакин, вероятно, знает, что его зовут, положим, «Петром Семенычем»; симпатичная жена или почтенная мамаша тоже зовут его, вероятно, «Петей». Но к мамаше и Рубакину он имеет *определенное и личное* отношение: для читателя же, для которого он не имеет никакого *личного отношения*, — он и не выставляет своего имени.

— Бляха № 101: она вам и принесет багаж.

Это, в сущности, верно и он недаром «Разумник»: «Я — писатель, и притом — *разумный*. А больше чего же вам спрашивать».

Положим, так... Но хочется чего-то симпатичного в литературе, с именем и даже с отчеством. «Может, зашли бы в буфет выпить чайку». С «Разумником» ¹⁰ничего нельзя «выпить», можно сказать только — «принеси мне вещь». И он «носит» на спине своей — Белинского, Михайловского, должно быть, понесет скоро Лаврова, Огарева, Герцена.

Удивительно, что впервые в *позитивном направлении* литературы совершилось это исчезновение личного имени. «Мы только рабочие»... Для литературы мало. Я давно ною, указываю и немного капризничаю, что позитивизм грозит повытоптать из жизни всякие цветочки и оставить только булыжник. Булыжник, какое ему имя? Лежит. И без имени делает свое дело. Так-то так. А жалко старинки.

Жалко красок, поэзии. Все уносит безжалостный позитивизм. ²⁰

— У, чортов ты забор: тянешься, тянешься, все доски, все строганные, и нет тебе конца... нет конца... нет конца... все один, везде один...

— Это мы по Петербургу, — язвительно возражает Разумник.

— Да, как коллежские ассесоры... Все коллежский ассессор: в Сенате — он, в юстиции — он, в духовном ведомстве — он, в просвещении — он. «Чиновник» — это позитивист в государстве, а позитивист — это чиновник в природе. Связать бы вас «по ноге, да утопить в воде».

— А мы и в воде не тонем, — язвит Разумник.

— Ну, остается выбраться крепко. Но, пожалуй, за это «чиновник» в участок возьмет. Ничего нельзя поделать. Нужно молчать и терпеть. ³⁰

А хороши были старые «крестильные» имена... Все уходит, линяет. Какая-то мировая осень на дворе: и от этого так серо и скучно, в душе, на улице, в литературе.

Рубакин оглядывается:

— А мне не скучно. Вот и еще книжка прибавилась, — и, значит, новая страничка в мое «Среди книг». Умейте избирать занятия благоразумные, полезные и спокойные.

— Ах вы, эдакие, Рубакины и Разумники: бомбу мне, ради Бога бомбу, «полцарства за бомбу».

РОКОВОЕ В НАСЛЕДИИ ТОЛСТОГО...

40

Драгоценные произведения Л. Н. Толстого подобны «золоту Рейна» в трилогии Вагнера: «кружат голову» своему благодетелю, внушают какое-то «безумие» и в конце концов несут несчастье и гибель. В образованном, историческом обще-

стве «гибель», конечно, заключается не только в прекращении физического существования, но и в значительном ущербе нравственного достоинства. Кто же не скажет, что около этого «золота Рейна» странным образом и чрезвычайно померкло достоинство всех его обладателей или даже только претендентов на обладание.

10 Всем очевидно, что около этого «достояния» могли бы быть «сыты и довольны» все его дети, и с детьми своими, и с детьми детей своих... по-библейски. Конечно, при условии несколько прирабатывать и, словом, трудиться. Наследство в таких размерах, что оно погружает наследников в праздность и тунеядство, — ядовито, исполнено «греха», говоря понятиями Толстого; и, конечно, вся его мораль, все его идеи были против такого «обеспечения праздности на всю жизнь». Отбрасывая эту разваленную часть наследия, дети, внуки и правнуки Толстого имели в произведениях его достаточный фонд, на котором могло бы сложиться их образование, выращивание и скромный, хотя бы какой-нибудь, труд. Повторяем, «на всех бы хватило». Если бы не ссоры, раздор...

20 Все и на всех ожесточились около «золота Рейна». Софья Андреевна, которая казалась столько лет его обладательницей, его крепкою держательницей, и вдруг оказалась лишенной всего. Самое сохранение в тайне нескольких уже законченных художественных произведений, казалось всей России сбережением дорогого подарка для 40-летней подруги жизни. Так и она думала, так и все думали, в целой России, много лет. Она была заботливой матерью; пока он мечтал и писал, воображал и философствовал, она неустанно работала в семье; подняла всех детей, до единого всех выкормила своей грудью (ее слова мне), устроила, сколько было в ее силах, их судьбу, — что было вовсе нелегко при постоянных менах его «убеждений», при анархии в его философии и несколько в его быте или в его порывах быта... Труд ее огромен; и для всей России «Софья Андреевна» есть очень дорогое имя. Не забудем, что она была его вдохновительницей в лучшую, золотую пору его деятельности. Свое огромное «я», упорно сопротивлявшееся в ней «его учению», не уменьшает, а только увеличивает уважение к ней. Она не была безжизненным зеркалом, отражавшим в себе фигуру великого человека. Можно 30 кое-что в ней не любить, кое-чему не сочувствовать: но решительно ни один человек не оспорит, что это была сила, характер и ум.

И была прекрасная мать, всю жизнь свою положившая не на свое «я» (ведь у жен часто бывают и «свои интересы», замкнутый «свой мирок»), а единственно на детей и на мысль о их *будущем*, единственно на мужа и на заботы о его *настоящем*. Нет ни у кого и никакого подозрения, что у ней есть хотя малейший «свой интерес» вне интереса семьи, кровных, домочадцев.

При таком положении вещей естественно было думать, что она остается наследницей этого, для дальнейшего устройства и направления всего «яснополян- 40 ского гнезда», яснополянского «выводка». Все так думали в России: и ее речи, поступки, взгляды на вещи, взгляды на «сочинения своего мужа» не давали мысли, чтобы она сама сколько-нибудь колебалась, сколько-нибудь не была уверена в своем положении «госпожи дома» и госпожи «всего»... Что именно она будет издавать сочинения Л. Н. после его смерти, об этом ни у кого не было сомнения.

Вдруг в самый момент его смерти она оказалась лишенной всего. Всего — самого естественного! Даже не была допущена к его постели, когда он умирал. Он умер — и они *не простились*!! Сорокалетние супруги!! Вся Россия прямо вздрог-

нула за ее судьбу. Все сердца, которые, может быть, что-нибудь и имели против нее раньше, в эти страшные минуты «астановской катастрофы», бесспорно, повернулись к ней с величайшей жалостью, с величайшим сочувствием.

Ее имя и образ, хотя и «в контрасте» с мужем, до того связались с ним, что невозможно думать «о Л. Н. Т-м», тотчас не дополнив и не отделив его фигурой «Софьи Андреевны». «Где-то она всегда тут близко...», спорит, шумит, но «около него». Для всей России это всегда будут «он и она», как «Левин и Китти», или как «Пьер Безухов и Наташа».

И вдруг в последнюю минуту она отброшена, откинута... и все почувствовали, что в жесте этом было что-то презрительное и негодующее, неуважительное и враждебное. Все в то же время почувствовали, что это что-то совершенно ненормальное и случайное; не «решение всей жизни», а случайный эпизод последнего месяца жизни.

Всегда была ярка около Толстого любимица-дочь, Татьяна Львовна, и сестра-монахиня, Мария Николаевна.

Но не они были около постели умирающего: был все «он», «муж рока», Чертков, и Александра Львовна, никому дотоле не приходившая на ум. На вопрос, «что это такое», никто не сумеет ответить, кроме «девушка»... Просто — «девушка», «одна из дочерей Толстого».

Она-то и оказалась наследницею всего, обладательницею «Золота Рейна», — единственная младшая дочь, Александра Львовна. И как только оно попало в ее руки, — оно начало свою гибельную работу. «Второе несчастье» чуть ли не горше первого: дочь восстала на мать, отделилась от матери и противоположила свое сухое, юридическое право, с «аблакатами» которых так хорошо высмеял ее отец в «Воскресенье», и с «беззаконием в законе», ядовито выставленным там же, — против правды внутренней, против правды по существу, против правды по взгляду всей России.

Ведь так просто было бы «по-толстовски» поступить, даже «по-толстовски и по-чертковски», — во имя мира сердец и всеобщей «округлости», какой научал всех словом и примером Платон Каратаев. Прийти к матери и сказать:

«Вот, мама, эта бумажка. Она мне совсем не нужна. Я не стяжательна и живу в опрощении. Ты нас кормила, родила и воспитывала. И еще крепка и здравомысленна. Делай привычное себе дело, а я и все мы будем жить по-старому, по-привычному, возле тебя и по твоему руководству».

И даже в случае стяжательности и отъединения ожидалось бы, что она скажет:

— Денежная сторона изданий принадлежит мне, по завещанию и закону. Доход от изданий — моя собственность. Но лучший редактор их была *ты* и, очевидно, можешь быть только *ты*. Хорошее, осторожное издание — дело почти науки, которое может быть уравновешено только близостью к автору и чрезвычайным, интимным вхождением в мир его творчества. Я совершенно в этом неопытна, и *ты* возьми весь этот привычный и знакомый труд на себя, за известный процент участия в его доходе.

Вот как дело должно бы быть поставлено, если даже ставить его на коммерческую ногу. Издание должно быть «наилучшим» в интересах самой дочери; а «наилучшее издание» может дать только ее мать, — знаток рукописей и корректур, 40-летний спутник и почти сотрудник Л. Н-ча по технике писанья, переписывания и исправления. Дочь тут едва ли что может; едва ли в чем компетентна.

Россия ни в каком случае не может положиться на «редактирование Александры Львовны Толстой», об умелости которой, даже об образовании которой она не имеет никакого представления.

А права России в «наследии Толстого» тоже есть. Сам Толстой ясно выразил, что именно Россия есть настоящий наследник его произведений, — через то, что отрекся от прав собственности на все (кроме рукописных) нехудожественные свои произведения, лично для него всего более дорогие и одновременно менее всего доходные. Явно, что он передал в «родовую собственность», в данном случае — Александре Львовне, только «дойную часть» своих произведений, а не их смысл, дух и оберегающую все это оболочку слова, формы. Все это — в нравственном и в религиозном смысле, есть достояние, наследие России. Он все *взял от России*, как наблюдатель, как художник и мыслитель; и все *возвращает* ей же, умноженное сторицею. Очевидно, «молоко от коровы» не может же выпить все одна хозяйка, как не вправе его и расплескать. Молоко это русское, и должно пойти в Россию, должно поить Россию. Александра Львовна в собственном смысле есть владельница той суммы денег, какая получается от продажи «вечного молока». Ее собственность есть *касса*, а не *текст*; ее право — в назначении *цены* издания, но никакого права нет в установлении *буквы* и *строк*... Юридическое наследование всегда есть наследование *ценности*, а не *фасона*; и когда в «фасоне» заинтересована вся страна, то собственник ценности, наследник ценности должен дать стране полное удостоверение в том, что драгоценное наследие не будет «перифасонено» по непониманию, неумелости, неопытности, или еще хуже — по тенденции.

Вот отчего вся Россия не может не стать на сторону Софьи Андреевны, в ее праве защитить и никому не выдать драгоценного рукописного материала, хранящегося в Историческом музее в Москве. Эти рукописи были ей *подарены мужем*. *Материально, вещественно*, как *бумага* и *буквы*, как *текст* и *рукопись*, как «весомое и осязаемое», они принадлежат ей *с момента подарения*; и еще не было юридического прецедента, чтобы последующее завещание кассировало права на вещь того, кому эта вещь подарена. Подарение есть отказ от собственности, и объектом завещания не мог быть стародавний подарок, по тому простому соображению, что в момент писания завещания он уже не составлял собственности самого завещания. Софья Андреевна не имеет права только *издать* рукописи «Исторического музея»: но никому их не выдать, даже не дать никому к ним прикоснуться — она вполне может, вполне вправе. Вполне вправе сказать: «Это — мое, и *только мое*». Еще тоньше или «казуистичнее» она может поступить, — раз все поставлено на карту казуистики, — отпечатав толстовский текст; и предоставив «законным наследникам» печатать с обозначением цены — только одну обложку Александре Львовне и затем, предоставив ей в собственность, за вычетом — расходов по печатанию, всей массы книг, как товара, Александра Львовна есть наследница только *товарной стороны* сочинений Льва Николаевича, но собственницею *текстуальной их стороны* является обладательница рукописного материала, ей врученного мужем, врученного не в последний месяц тревог и смятения, случайностей и «моментальных решений», а в пору спокойную, рассудительную и устойчивую.

Мучительные вопросы около «Золота Рейна». О, если бы скорее кончилась связанное с ним несчастье и зло, раздоры и отравы душ...

ТУЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ (К истории и загадке Черткова)

София Андреевна Толстая не отрицает, что в последний год Лев Николаевич был прямо влюблен в Черткова. Он весь изменялся в лице, когда г. Чертков появлялся в доме. Влияние Черткова росло...

*С. А. Толстая в Петербурге.
Беседа с нашим сотрудником.
«Биржев. Вед.», 1911 г.*

10

Легкая улыбка иногда уместней тяжеловесных громов. Прочел статью г. Перцова — «Чертковство»... В «Людах лунного света» мною совершенно разъяснены «духовные содружества», бывшие в Греции и на Востоке до христианства, но затем особенно пышно расцветшие на внесемейной почве у ранних христиан I—IV веков. В pendant к своей книге я не могу не указать замечательное в самых разнообразных отношениях рассуждение проф. Московской духовной академии П. А. Флоренского — «О дружбе», в двух последних книжках «Богословского Вестника». Флоренский говорит (и доказывает историческими примерами), что теснота духовного единения и степень экстаза в нем, при подобных «дружбах», совершенно эквивалентна испытываемым в браке чувствам, и потому именно *фильм* * заменяла обычный брак, становилась *на его место и делала его ненужным*. Все эти явления, до мелких черт, можно наблюдать в истории якобы «гипноза», о каком говорит г. Перцов в своей статье «Чертковство». Тут не «гипноз», носящий свои определенные черты, — а нужно подобрать другое имя. Но напрасно П. П. Перцов волнуется... Весь эпизод, постепенно разъясняясь, кажется, приобретает скорее комический оттенок, ибо на громадную, подавляющую и обаятельную (как говорят) фигуру Черткова, вступившего неожиданно в соперничество с Софьей Андреевной Толстой, падает тень от маленького и тоже очень серьезного Смердякова, играющего на гитаре и поющего куплеты:

30

Непостижимой силой
Связан я с милой:
Господи помилуй
Меня и ее...

* * *

Царская корона...
.....

* любовь (греч.).

И прочее. Дочитать можно у Достоевского. Смердяков, конечно, уступал морально Черткову; но зато, очевидно, Чертков умственно уступает Смердякову, который был все-таки «философ». Но обоих единит то, что один и другой презирали «отечество, страну и веру»... И если Чертков переехал в Англию, то Смердяков думал эмигрировать во Францию. Россия могла бы сказать обоим вслед:

Была бы милая здорова;
Господи помилуй
Меня и ее.

ПРОФ. В. И. ГЕРЬЕ И ЕГО ТРУД О ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ *

10

Добрая профессура в университете — такая же непостижимая вещь, как и урожай талантов в литературе¹. Откуда-то приходит... Куда-то уходит... «Бог дал, Бог и взял», как говорит народ о счастье. Мы только пользуемся: и очень мало понимаем источник, откуда нам является такое «благорастворение воздуха» и «изобилие плодов земных», говоря словами литургийной эктиньи. Кажется, однако, есть два если не источника рождения талантов, то их хорошей шлифовки и крепкого закала. Или — очень большое счастье, или — острое страдание, в стране, обществе, историческом фазисе. Ну, как не появиться талантам

В надежде славы и добра...

- ²⁰ Талантливая эпоха Петра Великого и талантливая эпоха Екатерины II, как и начало царствований Александра I и Александра II, были таким *положительным стимулом*. А отрицательным стимулом... их у нас было сколько угодно. Сверху все чего «боялись» и «попридерживали»; и когда это было «огень», как в Николаевскую эпоху, то «закал» выходил хорош (Лермонтов, Гоголь, Грановский и его современники, Хомяков и Герцен). Но большею частью не было «очень», а сверху, в середине и снизу больше все кисли, — ² друг на друга сердились, обвиняли и сплетничали, и тогда получались «обыкновенная литература» и «обыкновенный университет», без тупости и без блеска.³ Щедрин все плел восьмитомную сплетню, Валуев и Тимашев о чем-то мямлили и на что-то не решались, Никитенко гражданствовал⁴ в потаенном «Дневнике», Некрасов процветал в клубе, на охоте и в журналистике, прочая Русь — счастливая играла в карты, несчастная молилась и умирала в больницах или чаще без больниц... и все передвигалось медленно от Севастополя к Манджурии. Толстой один в этом как и во всем был счастлив, независим и рос как-то только из себя. Он развернулся в громадную силу, в пышное дерево, живя в эпоху нисколько не осененную «надеждами на славу и добро» и не очень угнетенную. Все вокруг него было среднего роста, а он развился в громадный рост. Кажется, он питался соками во-

* Цифрами обозначены места зачеркнутых слов. См. *Варианты*.

обще русского дерева, *всего* русского дерева: ведь просто «история», просто «прошлое» заняло половину его внимания, дало ему половину возбуждения, заполняет половину, и лучшую, его творчества...

Но оставим литературу, и будем говорить об университете. Теперь он далеко не в процветании, и причина так ясна, что ее нечего и указывать. Извне он завоеван, а внутри сгноен в нищенстве. Завоеван, конечно, нашими мужественными социал-«спасителями», давно обещающими отечеству свободу и благоденствие; а сгноен просто тем, что, по-видимому,⁵ «обозленность» сверху⁶ побуждает год за годом все отказывать в улучшении положения вообще учащего у нас персонала. Кто же из *талантов* станет искать профессуры, когда адвокатура и врачебная практика оплачивается в шесть раз больше, журналистика — тоже, труд в банках, в промышленных предприятиях, на железных дорогах, в акцизе, в департаментах и канцеляриях — оплачивается в два, в три раза дороже. Профессура — нищенство; этим из нее, по-видимому, «выбивается пух», убавляется «красивое перо»... «Перо»-то убавляется, «пуха» очень мало, наука и литература научная явно поблекла и почти только влачит существование... Но обозленность тоже достигла каленого состояния, и это очень мало способствует пресловутому «успокоению», будто бы столь⁷ искомому. «Завоеванные» нищетою профессора не могут не шептать озлобленно: «А... пусть же все довоевывает социал-демократия. Так плохо, что хуже все равно никогда не будет». «Голод — не тетка»: *за себя* ещё могут его нести ученые, но могут и поколебаться перед тем, чтобы заставить нести его жену и детей. Не забуду, как готовившийся на⁸ кафедру геологии молодой ученый, лет 28, — объяснял мне, сидя в кухне, соединявшей «свои обязанности» с его кабинетом, что «вот если бы он мог занять уроки латинского языка в I-м классе такой-то гимназии, то и совсем бы хорошо, для приготовления к магистерскому⁹ экзамену оставалось бы время: теперь же он не знает, что делать, так как утро уходит на занятие в минералогическом кабинете и слушание лекций, а вечер весь поглощается двумя уроками, в дальних и главное в разных частях города». Получал он, как «готовящийся к кафедре», 50 р. в месяц, напечатал уже две работы по своей науке, переведённые и на французский язык,¹⁰ относился¹¹ к предмету так внимательно, что к слушаемой лекции *приготовлялся дома по книгам* (не бывалое явление¹² лет тридцать назад): но... имел неосторожность или, вернее, добросовестность рано жениться, на дочери своего гимназического учителя, и уже имел ребенка. Жена при ребенке сама стряпала, он же не имел другого помещения для своих «ископаемых остатков», кроме как кухня с единственным стулом и столиком¹³, около глухой стены: у окна шла стряпня. Но естествознание увлекает своей осязаемостью, и он уже изучает «разрезы пластов» в двух губерниях: хотелось доискиваться еще, и он¹⁴ шел вперед, несмотря на пугающую нищету... А что впереди? Тогда как даже «хранящие дела» в канцеляриях¹⁵ того же министерства просвещения, т. е. только отпирающие и запирающие шкаф и достающие оттуда¹⁶ «такое-то дело за таким-то номером», все-таки получают рублей 75 в месяц. «Пуха», конечно, нет у такого ученого: но невозможно осудить, если раздражение его будет чрезмерно. Нельзя осудить вообще профессуры, если она не¹⁷ горячо сочувствует «петербургскому начальству»¹⁸, или не «искореняет на месте крамолу», как бы следовало и ожидалось. Поставленная в положение неперменного недовольства, — она недовольна; вечно в большой или малой «репрессии», — она¹⁹ свободолюбива. «Где жмет, там и охает»: уж это такой за-

кон, которого даже святое правительство не уймет. Нет, я вместо «успокоения», которое тоже денежек стоит,²⁰ перекинул бы несколько миллионов вообще на развитие науки, на ученые экспедиции, на издания ученых книг и журналов, на обеспечение ученых, *присмотрел бы за всем этим зорко и сам, и... terrible dictu **, в совершенно серьезных консервативных целях дал бы автономию университетам и дух. академиям, по принципу: *divide et impera ***. Ну, если один сапог жмет ногу профессору и студенту, явно они оба будут говорить, охать, критиковать, жаловаться «в унисон». Университеты до тех пор не перестанут быть архирадикальными, пока не будет разрублен «унисон» профессуры и студенчества... А пока они «согласны» и «дуют в одну сторону», ну что с ними сделает попечитель, министр и, наконец, сам градоначальник? Введет полицию, уведет полицию; придут войска. «Выудят» что-нибудь огнепалительное или какие-нибудь такие «бумажки». Все это явно вздор и ни к чему не ведет, ни к чему *никогда* не приведет, ибо всякие «бумажки» очень²¹ недолго принести и опять. Конечно, вопрос в том, чтобы

1) университет в полном составе начал работать, учиться, интересоваться наукою, *увлекаться* наукою. Т. е. чтобы профессора были талантливы,²² или, что тоже, чтобы *талантливые*, энергичные лица *нагали искать профессуры*. Это возможно только при уничтожении²³ равенства между «профессурой», во всех её степенях, и особенно *в ранних*, и между «нищенством».

2) Чтобы совпадение в «образе мыслей» профессора и студенчества, особенно в образе мыслей государственном, политическом, было только случайным, но не массовым, не всеобщим и неизменным. Т. е. удалите общий и единый «пресс», нажим. Одинаковость положения «под ближайшим начальством».

Где «нажим», там и «отжим». «Отжим»-то и есть либерализм: но кто его не хочет, для чего же «нажимать»? Однако самое положение «начальства», это «верхнее положение», делает то, что всякое начальство вообще «нажимает», в Китае и в Соединенных Штатах. Так как у нас вся профессура в оппозиции к начальству, то сделайте ее самую «начальством» — и тогда она станет нажимать на «оппозицию». Совершится²⁴ разделение между студенчеством и профессурою: кроме случаев совместного²⁵ и дружного служенья за ученым столиком в ученом кабинете. Тут могут и будут «пить чай» вместе²⁶. Но это не то же, что «вместе» на митинге, сходке, или «согласно» там и здесь «единомысленно», там и здесь. Здесь будет полное «разделение», и просто от того, что профессура «управляет»... А²⁷ всякий «управляющий» — даже²⁸ и Клемансо был против «сходок» и «забастовок».

Автономия — не сейчас, но лет в двадцать — совершенно «выправила» бы ход университетского корабля; поставила бы науку и занятия «прямо»... И кроме автономии («профессура — в начальство») сделать это не способно ничто. Вечно будут «согласны профессора и студенты», никогда их попечитель или министр не победит иначе как *на неделю*, *на месяцы*, самое большее *на год*; вечно будет сперва скрытое и потом явное²⁹ возмущение «в позволительных размерах», «докуда хватит», и всегда это будет очагом готового распространения «неуспокоения»

* страшно сказать (*лат.*).

** разделяй и властвуй (*лат.*).

вообще в стране. Вечно будет «университетский вопрос», пока не будет «корпорации профессоров, совершенно и хорошо обеспеченных, которые заведуют всеми учебными и учёными делами в университете, и управляют студенчеством, ответственные перед³⁰ общим правительством (Петербург) за тишину и безопасность для страны и города студенчества и вообще университета».

Только в этом положении профессура будет всеми силами, какие у нее есть, сопротивляться напору революции на университеты... сопротивляться *искренно и горячо*. Без этого ни *горячности*, ни *искренности* добиться нельзя. Может быть, особенно первые годы, она все-таки не выстояла бы: но нельзя забывать, что не «выстаивали» против нее иногда и другие начальства, не выстаивала полиция, администрация, министерства... Поэтому, напр., события в университете в 1905—1906 гг. нельзя класть «в зачет» автономии: очевидность и хроника тех дней показывали, что «автономная коллегия профессоров» *всеми силами боролась* с революционным натиском, всеми силами успокаивала и сдерживала студенчество, всегда была против введения в стены университета или на студенческие сходки «посторонних³¹ лиц»... Всё и заключается в этом внутреннем желании и *направлении* его: а что, напр., вторжения Желябова в Петербургский университет³² «автономия» все-таки не сдержала бы, то это, во 1-х, очевидно и, во 2-х, несколько не важно, потому что и вся власть³³ преемственно гр. Д. А. Толстого как министра просвещения и гр. Лорис-Меликова как министра внутренних дел тоже не предупредила и не сдержала этого, естественно, тайного вторжения.³⁴

Но все-таки что-то говорит, что даже с Желябовым, его пронырством и наглостью, «автономия» поспорила бы: именно, она предварительно, лет за 20, развила бы настолько научного одушевления в университете, привила бы научные вкусы и предрасположения, наконец, приучила бы студенчество к достоинству и самоуважению, что о подговоре этих студентов, как баранов, к даче пощечины министру, не могло бы быть и речи. В «автономных университетах» Англии и Германии, при этой университетской гордости, вырабатывающейся только в атмосфере³⁵ независимости и благородства, «история Желябова и Сабурова», конечно, не мыслима. *Ничего подобного там и не было никогда.*

Позволяю себе высказать эту гипотезу, многие годы томящую мою душу. Есть упрощенные формы³⁶ политического и национального существования, когда «искусство управления» все разлагается на прямое «приказание» и прямое «послушание», не содержа в себе ничего третьего. Но это — наивные времена, наивные эпохи. Совершенно явно, что Россия — поясним, Россия Толстого и Достоевского, — давно из этой поры вышла. Она вошла в пору более сложного существования, когда «искусство управления» должно заключаться в³⁷ выработке, в выращивании взаимно противоположных и взаимно уравновешивающих сил, положений, энергий. Из борьбы «центробежной» и «центростремительной» сил, из которых одна толкает землю прямо упасть на солнце и сгореть, а другая усиливается оторвать ее от солнца и заморозить в межзвездных пространствах, получается гармония движения земли около солнца, устойчивого и равномерно-го, при котором земля и никогда не сгорит, и никогда не замерзнет.³⁸

Но я, собственно, собрался говорить и не об автономии, и не об университете, а о проф. Герье и его новом труде, или, вернее, заново переработанном — «Французская революция 1789—95 гг. в освещении Ипполита Тэна»: и только мысль

об авторе этого труда, занявшем кафедру истории в Москве после Грановского, Кудрявцева и Ешевского, — вовлекла меня в невольные воспоминания и мысли о профессуре вообще, об университете вообще...

«МУЧЕНИКИ ИДЕИ...»

Русская печать более и более освобождается от того захвата ее социализмом и социалистами, который совершился в прошлом поколении... Профессорский «Вестник Европы» в 40-летнее редактирование М. М. Стасюлевича ни разу не решился отнестись критически к русским и заграничным вождям социализма, не по личному сочувствию им, которого у М. М. Ст-ча не было, но из страха быть сейчас же заброшенным комьями грязи и лишиться половины подписки. Теперь журнал тоже редактируется профессорами, и даже близкими покойному основателю журнала, но времена изменились; и посмотрите, как живописуются социалисты во Франции в повести «Кира Барсюкова» г. Ивана Странника.

— Эта старуха Шарбонель, почти страшная на первый взгляд, вполне завладела, держит на привязи, в беспрекословном повиновении, самого тонкого, самого лучшего из современных писателей!

— Аристида Латун?

— Да, Аристида Латун... И это любовь — настоящая любовь! Он с восхищением смотрит на нее, на эту с головы до пят искусственную, злую и умную старуху. А она гордо выставляет его на общее поклонение, окружает льстецами, поводит разговор на такие темы, где он мог бы особенно блеснуть, следит за тем, чтобы его слушали с должным вниманием...

Описывается их жизнь, обеды...

— Роскошь изумительная, — продолжает рассказчица. — Стол покрыт необыкновенною желтою скатертью, посредине его положено большое зеркало без рамки, на котором стоит скала из саксонского фарфора с пастухами и пастушками; по краям зеркала серебрятся корзины с розами, и корзина с корзиной связана ниспадающей цепью цветов. Между каждыми двумя приборами графин с вином... Сидят за обедом на больших стульях, обитых красным шелком, с высокими прямыми, тоже мягкими спинками. Очень удобно и просторно, туалеты даже очень выигрывают... В глубине столовой играет мраморный фонтан, стены в гобеленах, легкий ковер под ногами, по которому беззвучно двигаются лакеи...

— О чем же говорит Аристид Латун?

— А говорили все о политике. Аристид Латун, оказывается, социалист, — и все присутствующие, конечно, были социалисты. Говорил Латун так тонко, так умно, красивыми, законченными, благозвучными фразами. Вновь бы слушала!

— И вы со всем соглашались?

— Как же иначе? Ведь его не переспоришь. Вышло бы невежливо, да я и аргументов бы не нашла; он так говорил, что я каждому его слову верила... Видно, что он все обдумал, вдоль и поперек знает всю Францию, нужды и интересы классов, как устроить все к лучшему. Но пока он поучал, ко мне нагнулся мой сосед слева и шепчет: — «Вы, может быть,

воображаете, что если бы теперь на улице заревела толпа, требуя исполнения того, чему учит наш знаменитый друг, он бы пошел с нею? Нет, преспокойно остался бы сидеть здесь и глядеть бы не стал на беспорядочную свору». — Слова эти так испугали меня, что я чуть не отшатнулась. Он прибавил мне любезно: — «Мы не так великодушны, как вы, русские, — и свой лоб опасности зря не подставляем».

Конечно, «лба опасности не подставят» и московские банкиры, издающие левые листки. Вслед за Европою, и у нас социализм переползает — уже значительно переполз из подвала в бельэтаж. И здесь умрет той естественной смертью, как все зажившее, самодовольное, тупое. Социализм только подрумянивает жирный трон буржуазии; но испортить его решительно не в состоянии. Буржуазия это хорошо видит и сама начинает «социализироваться». Она хорошо видит, что из подвала социализм может если не повредить серьезно, то поделаться неприятностей. Во избежание «сюрпризов» она ввела его в себя, научила есть ножом и вилкой и утираться салфеткой; и вообще приучила к разным «мелочам» обихода... Изголодавшимся за прежние годы социалистам это очень понравилось, и, мало-помалу, сохраняя убеждения о «ниспровержении всего существующего», они примазались к этому «существующему» и пьют от него сладкий нектар. Этот способ «борьбы с социализмом», к которому прибегла буржуазия, гораздо спорнее полицейских мер. Идеи — идеями, но лучше сделать человека «ручным». И это делается как-то автоматически и невольно. Круг таков: 10

Идея социализма — победила.

Победив — стала популярна, захватила толпу.

Толпа, как читатели, как слушатели, как ученые и последователи — даешь силу и богатство.

Получив силу и богатство, пролетарии из «социалистов» превратились в «буржуа»... Не все, но их *вожди*, их *таланты*. Именно к кому полилось золото и сила.

И «социализм» теперь расслоился на неимущий по-прежнему пролетариат, но во главе которого стоят восторженно обожаемые этим пролетариатом буржуа, которые им командуют и управляют. Интересно окончание и *résumé* приведенного разговора. 30

— Латун поступил бы правильно, — говорит один из собеседников — не выйдя на улицу. Мускульная его сила мало что сделала бы для успеха дела, а его ум, его книги, его речи увеличивают сумму знания и счастья народа, двигают его вперед.

— А на что он похож? — спросила Тестевская.

— Напоминает одновременно мудрого старого слона и трусливого зайца, — задумчиво ответила Ольга Андреевна.



ВАРИАНТЫ



1908

О РУССКИХ БОГОИСКАТЕЛЯХ

Варианты гранок

Стр. 15.

⁸ — Итак, признание есть. / Итак, признание есть. Н. А. Бердяев мог бы с правом говорить о малой *усвоенности* идей даже в этих трех богоискателях <так!>. Но это происходит от того, что самые идеи их, как идеи и прочих всех «богоискателей», гораздо сложнее, одухотвореннее и вообще труднее усвоимы, нежели идеи политические и экономические. Последние, напр., можно *популяризировать*, о них можно составить краткий учебник или брошюру. Но можно ли популяризировать или переложить в брошюру идеи Влад. Соловьёва или Хомякова, порывы Мережковского или Свенцицкого? Даже не придет в голову. И вот, что это даже «не придет никому в голову» по своей нелепости и невозможности, — и решает многое в отношении популярности, распространенности. Но ведь в этом есть и добрая сторона. Писатели эти, как кажется и вообще «богоискатели», не могут подвергнуться «вульгаризации», опошлению. Премущество великое, счастье исключительное.

Но «богоискателям» нельзя пожаловаться, что они не имеют вообще «признания».

²¹ — ...«Вопросы Жизни» — все имели своих читателей. / ...«Вопросы Жизни» — все имели своих читателей. Даже потом традиция не была прервана. Безвременно погибший «Век» ведь, в сущности, принял темы, полет и вообще дух «Нового Пути». Если вообще он спорил против корифеев «Нового Пути», то разве в *тожестве мыслей* дело? Дело очевидно в методе, не логическом, а психологическом. Дело именно в *богоискании*: и конечно гг. Свенцицкий, Эрн и Ельчанинов могут находить Бога вовсе не там, где Мережковский, Бердяев или Минский. Это совершенно второстепенный вопрос. Очевидно, Свенцицкий *вполне брат* Мережковскому, как Мережковский *вполне брат* Влад. Соловьёву, хотя все трое они и в споре между собою. Дело в том, *где* полагает каждый из них «сокровище души своей». Если «сокровище» положено в религии, в душе, в религиозной культуре, вообще за пределами эмпирической действительности: то все эти люди слиты, конечно, в одну семью!

Стр. 16.

³⁸ — ...только «алтарей» и «алтарей». / ...только «алтарей» и «алтарей». Фи. Ведь Он не генерал-губернатор, которому нужна парадная встреча и приветствия. В гранках зачеркнута подпись «В. Розанов» (которая есть в журнале) и чернилами вставлено — «В. Варварин».

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Варианты машинописной копии

Стр. 42.

- ³⁹⁻⁴⁰ — не увидев Толстого скоро / не увидев его скоро
⁴³ — не ограничилось физикою. / *далее*: Но об этом когда-нибудь потом.

Стр. 43.

- ¹ — Дом в Ясной Поляне сделал / Дом сделал
² — где нет детей. / где нет маленьких детей.
⁵ — сидели один или два господина / сидели один или два образованных человека
⁷ — т. е. идей, что вот приехал / т. е. идею, что вот «приехал»
⁹⁻¹⁰ — должно показаться скучным, кроме него. / должно показаться скучным, кроме его.
¹⁰ — рассматривать холмы и пригорки? / рассматривать холмы и пригорки около себя?
¹¹ — Вошла графиня / Вышла графиня
¹⁶ — умна, но несколько практическим умом. / умна, но земным, твердым, немного практическим умом.
²⁰⁻²¹ — Я ожидал большого роста — по портретам и оттого, что он — «Альпы». / Я ожидал большого — по портретам и оттого, что — «Альпы».
²¹⁻²² — Микелю Анджемо Моисей представлялся колоссом / Микель Анджемо Моисей представлялся колоссом
²²⁻²³ — а может быть, в сущности, Моисей был плюгавым. / а может быть и даже вероятно, Моисей «в натуре» был «плюгавым жиденком».
²³⁻²⁵ — Я заметил, что душа и тело, величие души и тела ~ находятся иногда во взаимном отрицании, во взаимном попирании. / Я заметил, что душа и тело находятся во взаимном отрицании, во взаимном пожирании.
²⁵⁻²⁶ — А когда увидишь — удивляешься. / А когда увидишь — так удивисься.
²⁷⁻²⁸ — даже застенчиво подходил / робко или застенчиво подходил
²⁹ — подняв на меня глаза / подняв на меня («гость», «новое лицо») глаза
³¹ — Но мой глаз и мой ум / *далее*: вслед за глазом
³³ — И хотелось сказать / Так хотелось сказать
³⁵ — и больше никогда его не увижу». / и больше никогда не увижу». *В конце страницы редакционной сноски нет.*
³⁶ — *Текста*: Было печально и досадно, отчего я раньше не постарался его увидеть. — *в МК нет.*
³⁷⁻³⁸ — «Именно так, как ему должно быть». Только не здесь, не в барской усадьбе. / «Именно так, как ему должно быть». Только не здесь, не сидя, не в барской усадьбе.
³⁸⁻³⁹ — отленилось от него! / отстало, отленилось от него!
³⁹ — Сидеть бы ему на заваленке / Сидеть ему на завалинке
⁴³ — «дом» был бы мал для него / «дом» был мал для него
⁴⁴ — «идушим к нему» / и «идушим к нему»
⁴⁴⁻⁴⁵ — т. е. страна и история. / т. е. *страна и история.*
⁴⁵ — перерос условия видного индивидуального существования / перерос условия всякого индивидуального существования
⁴⁶ — «профессии», художества и литературы. / «профессии» и художества, литературы.

Стр. 44.

- 1-2 — одинока и грустна, но велика и своеобразна. / может быть, одинока и грустна, но велика, своеобразна.
- 4-5 — если бы старец разрушил эту квартиру / старец разрушил эту квартиру
- 6-7 — то *душа* вещей, та незримая душа, какая есть во всякой вещи, умерла бы в обстановке Толстого / и *душа* вещей, та незримая душа, «*энтелехия*», какая есть во всякой вещи, и она (этой «душою») служит человеку, умерла в обстановке Толстого
- 12-13 — потеряли гармонию, связанность, красоту, смысл. / потеряли гармонию, связанность, красоту, смысл. «Никому не хочется жить!» «Хотелось» жить этому старцу, пустынною, и хотелось ему жить одному, в пустыне.
- 13 — рассыпался и «дом» / рассыпался дом
- 14 — продолжал удерживаться. / продолжал стоять, удерживаться.
- 15 — Л. Н. был одет в старый халат-пальто-шляфрок / Он был одет в серый халат-пальто-шляфрок подпоясанный ремнем. / *далее*: или кушаком.
- 17 — какие одежды он обычно носил. / *далее*: не отталкивал.
- 19-20 — неодолиме раздражения и ярости. / неодолиме «раздражений», гнева, ярости, «нервов».
- 21-22 — сброшенные таинственную *тишиною?* / сброшенные в пропасть эту таинственную «тишиною».
- 23-24 — Вот эта мировая тишина ~ религиозная, была и в Толстом. / Вот эта мировая тишина ~ религиозная, священная была в Толстом.
- 25-26 — в *существо* как *жизнь* / в *существо* то как *жизнь*
- 29-30 — Это не нужно / Не нужно
- 32 — В комнате была и Софья Андреевна. / и в комнате была и Софья Андреевна.
- 32-33 — И заговорили, «как в обществе», / и заговорились речи, «как в обществе»,
- 33 — тяжелые, скучные речи. / тяжелые, скучные.
- 35 — я ничего не запомнил. / я не запоминал.
- 37 — обедал он как бы один, и особо. / обедал он как бы один, особо.
- 38 — что-то нетвердое и, конечно, безубойное. / что-то нетвердое, простое и, конечно, безубойное.
- 39 — не смешиваясь с остальными. / не смешиваясь с остальным.
- 41-42 — Пища вообще есть большое разделение или соединение людей / Пища есть страшное *разделение* или *соединение* людей
- 43 — «вместе» или «одни». / «вместе» и «одно».
- 44 — которой мы не станем есть. / *далее*: а евреи любят «чеснок», который для нас непереносим. Это — самые важные, мистические разделения, как «травоядные» и «плотоядные» мистически и космологически между собою разделены.

Стр. 44—45.

- 45-1 — христианство пошло не только от Голгофы, но и от постов; / христианство пошло не столько от Голгофы, сколько от постов;

Стр. 45.

- 1-2 — Голгофа не ранее начала побеждать мир, / *далее*: завоевывать страны и народности,
- 9 — не подымется язык / не поднимется язык
- 13 — почему он / для чего он
- 16-17 — она могла бы санкционировать / одна могла бы санкционировать
- 21 — они же обеспечены / а они обеспечены

- 22–23 — как цветущий сад размножения / *далее*: (много дочерей)
- 25 — он «граф», «дворянин», «великий писатель»?.. / он «граф» и «дворянин», «великий писатель» и «украшение общества»?..
- 25–26 — перед Катюшей Масловой и судьбой ее ребенка, который «загорвел» и *умер!* / перед Катюшей Масловой и судьбой ее ребенка, который «зачервел» и «умер».
- 28 — позвал меня в кабинет к себе / позвал меня в кабинет-спаленку к себе
- 30–31 — о страстях и борьбе с ними, о супружестве. / о страстях и борьбе с ними и о супружестве.
- 31–32 — мучившего меня недоумения / мучившего меня недоразумения
- 33 — иллюстрируя свои объяснения / иллюстрируя объяснения свои сказал, прямо ответив на мой вопрос. / *далее*: — Из моих дочерей одна венчалась оттого, что муж ее в бытность женихом сказал, что он ни за что не вынес бы ни малейшего умаления уважения, достоинства, престижа дорогой ему девушки. И как уже все это отнесено к венчанию, в законе связалось венчанием, то он и не может ее принять в жену, не венчавшись. Муж другой дочери, наоборот, иллюстрируя свои объяснения — искренний и страстный борец против церковной обрядности, идеалист и герой этой борьбы. И он сказал: «Мне легче повеситься на березе, чем пойти в церковь и совершить обряд, до такой степени враждебный всему строю моих чувств». И они живут так, не венчавшись.

Ввиду дорогой мне темы я позволяю себе передать этот разговор: да и что он значит перед Катюшей Масловой, ребеночек которой «зачирвел». Ведь этого не должно быть. Нигде, никогда. Ведь мы *все* этому должны помочь, должны помогать словом, убеждением, но, конечно, впереди всего примером личной жизни? И кто же должен это начать, как не мудрые, как не шатающиеся на ногах столпы общества и цивилизации? Если мы все будем убегать в щель от страха и конфуза... то куда же *пойдет* Катюша Маслова и как же она *не убьет* своего ребенка?

Мудрые свободные, обеспеченные, глубочайшие, нравственные должны начать движение...

- 35 — другие разговоры, более существенные и сложные. / другие разговоры, которых я не передаю, более существенные и сложные (для него).
- 39 — Учился и из слов, и из него. / Учился и «из слов», и «из него». не давал впечатления / не давал на меня впечатления
- 40–41 — есть учитель, — но это уже последующее и само собою. / есть «учитель», — но это уже «последующее» и «само собою».
- 41 — видел перед собою / видел перед собой

Стр. 46.

- 1 — бесконечным владевшего / бесконечное видевшего
о веренице бесконечных вопросах думавшего. / о веренице бесконечных вопросах подумавшего!
- 2 — наблюдал и учился. / наблюдал и учился, учился и наблюдал.
- 4 — как франт, кругообразно, / как франты кругообразно,
- 6 — было 76 лет. / было 74 (или 76) лет.
- 7–8 — думалось: / казалось, шепталось:
- 12 — любимые имена / любимые его имена
- 17 — повела его и к проповеди / повела его к проповеди
- 21 — Все у него из «натуры»... / Все из «натуры»...
- 33 — не раньше, не до него / не раньше и не *до* него
- 35–36 — В МК в конце текста — авторская подпись, без даты и места.

«СВОИ ЛЮДИ» ПОССОРИЛИСЬ

Варианты правки в вырезке

Стр. 55.

²² — а на Леопарди / а на Леонарди

Стр. 56.

⁵ — нелестные отражения. / лестные отражения.

¹³ — В разряде «суеверия» / В категории «суеверия»

²⁷ — На вопрос: почему? Он едва ли имеет другой ответ / На вопрос: почему? — он едва ли имеет другой ответ

²⁹ — порождает задержку жизни / плодит задержку жизни».

⁴⁰ — убогое ничтожество души / убогое мечтательство души

⁴³ — но во главе всех вещей / и во главе всех вещей

Стр. 57.

⁷ — От этого-то так и больны / От этого так и больны

⁴²⁻⁴³ Просто нет соответствующего крючка. / Просто, — нет соответствующего крючка.

⁴⁴ — называют себя атеистами, в сущности, религиозны / называли себя атеистами, были, в сущности, религиозны

⁴⁵ — Это как и смерть / Это как смерть

ДОМИК ЛЕРМОНТОВА В ПЯТИГОРСКЕ

Варианты гранок

Стр. 111.

²² — Домик Лермонтова в Пятигорске / Гранки первой части очерка (см. л. 34а) имеют тот же заголовок, что и начало публикации его в НВ (16 июня 1908 г.) — «Домик Лермонтова в Пятигорске»; последующие главы гранок содержат несколько измененный заголовок — «Лермонтовский домик в Пятигорске» (см. л. 26а, 37); с этим заголовком вторая и третья главы появились и в пегати (НВ. 23 и 30 июня 1908 г.).

³² — И дым отечества нам сладок и приятен! / далее: Однажды зашел в Люцерне в такое укромное место, где не помещается более 2—3 человек. Было запутано входить сюда, по каким-то лесенкам, и я смушался, как выйду назад. Вдруг за перегородкой слышу здоровый московский хохот. «Ну, — подумал, — уж если и здесь русские, то где же их нет?»

³⁷ — покупая апельсины в маленьких фруктовых лавочках и говоря по-русски. / покупая по-русски апельсины в маленьких фруктовых лавочках.

³⁹⁻⁴⁰ — мы их уже завоевали». / далее: В самом деле, русских рождается так много, что они ползают везде по Европе, как тараканы. Немножко пачкают все там, очень много расходуют, ну и все-таки присматриваются к земле, которую хорошо бы прикарманить.

Стр. 112.

⁴ — рассуждающие в Интерлакене / рассуждающие в парламенте

⁸⁻⁹ — с калейдоскопом будничных происшествий. / далее: Это мы им устроим для развлечения.

- 17 — что-нибудь такое выключнется и теперь. / *далее*: «Семи бед подряд не бывает», — утешает и народ.
- 23 — действительно саднело... / действительно саднило...
- 29 — столкнулись с Германией. / столкнулись бы и с Германией.
- 31-32 — «Нигилисты прошли» с неудачей московского вооруженного восстания. / *далее*: и спроси-ка Плева, рискнул бы он вынести московское вооруженное восстание и сотни две ветлужских и чебоксарских республик, чтобы через них *выболел* и *прошел* русский нигилизм, — то и он, и Победоносцев несомненно сказали бы, что эта цена невелика за такую победу. Все и совершилось... Оба старика, вероятно, из могил своих поют: «Тебе, Бога, хвалим, Тебе, Господа, исповедуем...» Нигилизм гаснет в обществах «Огарков» и «Лови момент»: и воображаю загробную радость всех Аскоченских. «Вот, мы говорили, вот, — мы предсказывали: свобода — вот она»...

Стр. 113.

- 2-3 — Жандарм-то ~ и был его всегдашним кушаньем. / *далее*: Но правда взяла свое. И на склоне лет старик вдруг обрадовался, увидя его гигантскую и, вероятно, благодушную фигуру. Человеку со *злой физиономией* не пришлось бы на ум сделать самый маленький подарок. Не явилась бы ассоциация впечатления и движения, и Салтыкову, давая три рубля, следовало бы безмолвно повторить за Пушкиным:

Не все я в мире ненавидел,
Не все я в жизни презирал.

Стр. 114.

- 3-4 — как этого не написалось у Гоголя и, может быть, даже у Пушкина. / как этого не только не написалось у Гоголя и Пушкина, но явно и не было им доступно.
- 4-5 — или в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива». ~ и его «Сон» / или в «Когда волнуется желтеющая нива» и в его «Сне»
- 7-8 — наступившей вскоре после его написания / наступившей очень скоро
- 10-11 — По одному этому стихотворению / По нему одному его стихотворению
- 12 — и вот этого я не сказал бы / и вот этого нельзя сказать
- 14 — неизмеримо больше, нежели историческое значение Лермонтова. / неизмеримо больше.
- 16 — Однако Кутузову / Но Кутузову
- 31 — поэта, жившего в нем / поэта, связанного с ним
- 32 — не одному «школьному юношеству» этого города / не одному «школьному юношеству»

Стр. 115.

- 6 — и вовсе напрасно / и вовсе не нужно
- 16 — «Домик Лермонтова» окнами обращен / «Домик Лермонтова», стоя по той линии ее, которая ближе к центру, окнами обращен
- 17-18 — *Слов*: с видом на природу. — *в гранках нет*.
- 35-36 — домик Лермонтова в последнюю мою поездку в Пятигорск не оказался пуст. / домик Лермонтова на этот раз не оказался пуст.
- 36 — До сих пор «Домик Лермонтова» / «Домик Лермонтова»
- 39 — парадный дом построен позднее / парадный дом построен в новое время

Стр. 116.

- 21 — и вот образ Ее я привез / а вот образ Ее я привез
- 23 — Как я был удивлен. / До чего я был удивлен.
- 34 — и сопоставил ее со словами / и сопоставил их со словами

Стр. 117.

¹⁸⁻¹⁹ — не примериться посидеть тут / не примеряться посидеть тут

³¹⁻³² — который недавно сгорел / который на днях сгорел

Стр. 118.

⁴⁻⁵ — памятник поставлен в стороне от подлинного места дуэли. / памятник поставлен много левее или правее подлинного места дуэли.

НА КНИЖНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ РЫНКЕ

<А. Каменский>

Варианты гранок

Стр. 118.

²⁰ — молодые / молоденькие (Л. 59а)

Стр. 121.

³⁹ — Фирма старая и известная, — это более всего меня и поразило. / В издательстве могу ошибаться, но фирма старая и известная, — это более всего меня и поразило. (Л. 59)

Стр. 122.

⁹ — «нумерах» / «номерах» (Л. 59)

НА КНИЖНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ РЫНКЕ

<Ч. Диккенс>

Варианты гранок

Стр. 132.

⁴⁰ — много... Говорят / много... Все говорят (Л. 58)

Стр. 133.

²⁵ — огромный / большой (Л. 58)

Стр. 134.

¹²⁻¹³ — Он доставляет удовольствие, пользу, *счастье* целой нации и, наконец, — как я на себе испытал — и всему грамотному человечеству. / Он доставляет удовольствие, пользу, и, наконец, — как я на себе испытал — *счастье* целой нации и, наконец, всему грамотному человечеству. (Л. 58а)

²⁵⁻²⁶ — человека». Русская литература почти вся существует совершенно / человека». Таким образом, от «малых сих» и «великих тех» русская литература вся и без исключений существует совершенно (Л. 58а)

Стр. 135.

²⁹ — *не нужной* в этом виде. Помните / *не нужной*. Ну, не сами эти характеристики, а они *по связи своей* со всей массой выведенной в романе жизни и по связи с отношением к ней самого Диккенса. Помните (Л. 58б)

³⁷ — Брезжит обновление религии в возможности / брезжит новая религия, новая вера в возможности (Л. 58в)

- ³⁹⁻⁴⁰ — в докторе. Передаю / в докторе. «И ну их к чорту, этих епископов, с их мантиями и всем». Передаю (Л. 58в)
⁴¹ — и случаен / и прочее (Л. 58в)
⁴⁷ — в той «армии спасения» / в той «церкви будущего» или «армии спасения» (Л. 58в)

Стр. 136.

- ³⁻⁴ — другой? Ведь и в самой теперешней христианской церкви все родилось / другой: и — *только!* Все ведь отсюда родилось; как все светлое в самой даже церкви, в теперешней христианской церкви, родилось (Л. 58в)
⁸ — отцы». Но «разум» / отцы»; так договорим же истину: все сотворил он, человек, из бесконечности своего сердца. Но «разум» (Л. 58в)
²² — Таким образом, моя мысль не так нова / Таким образом, моя мысль о «перемене правды» и в конце концов о «перемене церкви» не так нова (Л. 58в)
²⁸⁻²⁹ — очевидных выразителей нового мирозерцания. Повторяю / очевидных столбов новой... церкви ли, религии ли. Но во всяком случае на этом все держится и все основывается. И это страшно важно: что в *человечестве* все и вся основывается *на человеке*. Повторяю (Л. 58в)
²⁹⁻³⁰ — нельзя ощутить церкви / нет церкви (Л. 58в)
³³ — пассивно, теперь / пассивно, и например все «христианские добродетели» были только добродетелями пассивности: теперь (Л. 58г)

Стр. 137.

- ³ — сапогов? Даже на / сапогов? Во всяком случае, Четь-Минеи, т. е. «жития святых», переменятся: а с этим переменится и вся церковь, весь дух церкви. Даже на (Л. 58г)
¹⁶⁻¹⁷ — священников. / *далее:* А, что заморщились? Это сапоги не для вас, а для мира, — и сапоги эти не так сладки, как жалованье духовенству и миссионерам? Но ведь потому-то я и заговорил о новой религии, о святых докторях, о праведных конторщиках, о *врожденной* и *натуральной* человеческой святости, что, напр., в Киеве тоже собрались «патриархи <с> длинными волосами», которые показывают благочестивое лицо свое народу, как раз накануне того, начнут сдирать с него последнюю шкуру. Новый метод, новые люди! Вот что нужно! (Л. 58г, 58д)
²⁹ — совсем слабее. / положительно скучны. (Л. 58д)
⁴¹ — прощения! Ведь Бог / прощения! Как эта крошка Доррит ухаживала за своим слабым, не умным, тщеславным отцом, скрадывая своим уважением и незаметием его недостатки. А сама она ведь была так умна! Как же не мог Диккенс, такой умный и деликатный, не заметить приемов, ну и, пожалуй, некоторой пустоты своей подруги-старушки. Ведь Бог (Л. 58д)

Стр. 138.

- ¹⁴ — конгресса / тамошнего парламента (Л. 58д)
¹⁶ — прав в Америке / прав, напр., в Америке (Л. 58д)
³⁰ — простить. / *далее:* Не мог, наконец, скрыть своего гнева, столь неделикатного, грубого и невозможного после волшебного приема, ему оказанного. (Л. 58е)

Стр. 139.

- ²⁻³ — сухости. Я вспомнил / сухости. Тогда его отношение к жене-старушке получает другое освещение: та просто хотела жить, как «жена Диккенса», имя которого было славно в Америке и Европе, и не хотела ездить на извозчике, когда могла ездить в своем экипаже. Но он, — как и по книгам его, и по биографии

его видно, — предпочитал и извозчикам собственную ходьбу. Я вспомнил (Л. 58е)

- ⁹ — сосаньем. Вот что / сосаньем. Тогда история в Америке, так подействовавшая на Диккенса, как и его через силу публичные чтения, — все получает понятное объяснение. Вот что (Л. 58е)

ОДНО ВОСПОМИНАНИЕ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Вариант белого автографа фрагмента текста

Стр. 184—185.

³⁵⁻¹⁷ — Заговорили о «Крейцеровой сонате». ~ Он высказал это проще ~ в то же время ничего к мысли и не прибавив. / В литературе есть произвольная сторона, но есть и роковая. Помню, когда Лев Николаевич хило и трудно поднялся с кресла и, протянув вверх руку, стал выбирать из лежавших на полочке тетрадошек одну, «искомую», я подумал с глубоким и недоумением, и страданием.

Т. е. «не может» перестать все перебирать и перебирать тетрадошки, все писать новые и новые тетрадошки... Он был болен (был припадок после обеда), очень устал, но — «Вот еще тетрадошка».

— У вас есть знакомые священники, — сказал он. — Вот передайте им, пожалуйста.

В вагоне я посмотрел; это было «Разрушение и восстановление ада», и о том, что «Детей не надо учить закону Божию», потому что он начинается с Библии, а в Библии с первых глав начинаются все глупости. Прочитав страниц по 6-ти из «тетрадошки», я не мог далее, от скуки, и заснул. «К чему это?»

— Графомания, — мелькнуло у меня.

Из духовенства я не решался никому передать «тетрадошек»: так мне было неловко и больно за старца, еще великолепного в натуре своей. Сколько огня в беседе! Сколько молодости, энергии, в припоминаниях, в соображениях. Когда я заговорил о «послесловии» к «Крейцеровой сонате», он сказал:

— Да, конечно, род человеческий будет вечно томиться и жить: но мне хотелось дать толчок к умеренности здесь, к удержанию от излишеств. Но и излишества будут...

Он повел рукой и продолжал:

— Но нужно, чтобы человек плакал об этом, знаете, кто мне представляется самым нравственным человеком, из всех, каких я знал. Один священник, с которым был страшный случай, или, лучше сказать, происходили страшные случаи. Он был очень благочестив и богобоязнен. От этого ли и страха не испытать дурных мыслей во время богослужения, или от другого чего, но всякий раз, как, служа службу, он входил в алтарь, — он испытывал именно прилив дурных возбуждений, а когда из алтаря выходил на солею, оно проходило. Священник страшно мучился, считал себя страшным грешником, и вечно плакал свое падение. Вот этот священник, с вечным грехом и вечным плачем о себе и кажется мне праведнее всех праведников, каких я тоже знал, но у которых не было греха — не было и раскаяния.

Толстой рассказал гораздо грубее, чем я здесь передал; рассказал в непременных для печати словах, называя все своим именем. Я поразился. «Бывают же случаи, каких и предположить нельзя». Во всяком случае от «заклочения» «Крейцеровой сонаты» он отказался, сказав, что это «порочно» и для «вечно существующего <?> действия на читателя».

Но я отвлекся. Рок в писателе тоже нужно принимать во внимание, и не класть на лицо автора всех темных теней, которые вытекали бы из суммы им написанного. Мысли эти приходят на ум, когда читаешь переписку его с теткой его, Александрой Андреевной Толстой, и вот теперь при воспоминаниях об его сестре, грозной Марье Николаевне Толстой.

ПАМЯТИ ДОРОГОГО ДРУГА

<О А. А. Кедринском>

Варианты гранок

Стр. 206.

- ²¹ — Неожиданно пришло известие / Неожиданно принесли мне известие
²⁵ — только печатных людей. / только почетных людей.

О «НАРОДО»-БОЖИИ КАК НОВОЙ ИДЕЕ МАКСИМА ГОРЬКОГО

Разногтения машинописи

В машинописи более короткое название статьи — «О „народо“-божии». Первый абзац печатного текста в машинописи отсутствует.

Стр. 209.

- ²⁶ — Достоевский конец жизни своей / Достоевский под конец своей жизни
²⁸ — свидетельствует о безудержи / свидетельствуют о безудержности
³⁵ — безбожия, внебожия. / безбожия, вне-божия.
³⁸ — сам народ / самый народ

Стр. 210.

- ⁶ — быть Господом Богом?» / стать Господом Богом?»
¹⁴ — не себя и не из своей души / не себе и не в себе
³¹⁻³² — что в итоге / что все в итоге
³⁹ — и как скучаем / и до чего скучаем

Стр. 211.

- ⁵⁻⁶ — огромных и исключительных / страшных и исключительных

1909

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Варианты гранок

Стр. 226.

- ¹⁸ — но когда он поднимается говорить / но когда он поднимается на кафедру

Стр. 227.

- ⁶ — Марксисты, может быть, принесут «лепту св. Петра». / Принесут марксисту «лепту св. Петра».

- ¹⁰ — (страшно вытаращенные на публику глаза) / (страшно вытянутые к глубине глаза)

Стр. 228.

- ²⁸⁻²⁹ — нет религиозного тона в слове / нет религиозного духа в слове

Стр. 229.

- ⁴⁻⁵ — Без «фокуса» этого Религиозно-философские собрания / Без «фокуса» этого, в оптическом смысле, религиозно-философские собрания

ТРАГИЧЕСКОЕ ОСТРОУМИЕ

Варианты гранок

Стр. 231.

- ¹⁴⁻¹⁵ — Именно как «Угрин», «Какао», «Угрин», «Какао» / Именно так: «Какао», «Урбен», «Урбен», «Какао»
- ¹⁸⁻¹⁹ — вкус и к религии / вкус и в религии
- ²⁶ — и нет ничего. / и нет ничего.
— Подожди, слышим, что «Бог» и «Какао»: да была засуха и грозит голод, — некогда!
И все в том роде, и все разбегаются.
- ²⁸ — именно как вот рекламы / именно как вот «Урбэн» и «Какао»
- ³⁰ — Что за дикие усилия! / Что за дикие усилия.
- ³⁰⁻³¹ — иначе Его и постигнуть нельзя. / да иначе Его и постигнуть нельзя.
- ⁴⁷ — «нигде же никто видел» / «никогда же никто виде»

Стр. 232.

- ¹ — Бог как бы выпитал в себя всю мировую застенчивость / *подчеркнуто простым карандашом*
- ² — закон устройства Святаго Святых / закон устранения Святаго Святых
- ¹⁰ — со своими вывесочными криками? / со своими криками «Урбэн» и «Какао»?
- ¹⁰⁻¹¹ — Он как бы арестует Бога и / *подчеркнуто простым карандашом*
- ¹¹⁻¹² — скрытости, тайны... / скрытности, тайны, застенчивости.
- ¹² — г. Мережковский столько времени возился / он столько времени возился
- ¹⁶ — Иначе нельзя понять его «Угрин-Какао-Бог». / Иначе нельзя понять «Урбэн-Какао-Христос».
- ³² — Д. С. Мережковский / *подчеркнуто зеленым карандашом*
- ³⁸ он на самом деле весь позитивен / *подчеркнуто простым карандашом в тексте публикации в газете*
- ⁴⁰ В его книгах нет ночи, а от этого нет и тайны Божией. / *подчеркнуто простым карандашом в тексте публикации в газете*

Стр. 233.

- ¹ — отличного ученого. / *далее: И таким скромным, воистину прекрасным знанием.*
- ¹¹ — путаница и «Угрин») / путаница и «Урбэн»)
- ²⁷⁻²⁸ — ни о каком грядущем Мессии теперь / ни о каком теперь грядущем Мессии
- ³⁹⁻⁴⁰ — и Бог, и вывесочные крики, и Второе Пришествие, и все Заветы для него / и Христос, и Урбэн, и 2-е Пришествие, и все заветы для него

А. С. БЕЛКИН (НЕКРОЛОГ)

Варианты гранок (текст до авторской правки)

Стр. 306.

- ²⁸⁻³¹ — плакал... Некоторые фактические сведения о его учебных годах сообщил М. К. Любавский, проф. русской истории в Московском университете, в последней книжке «Вопросов философии и психологии». Он приводит выписки из сохранившегося дневника А. С. Белкина. «Нет / плакал... «Нет (Л. 25)
³¹ — дневника А. С. Белкина / дневника его (Л. 25)
³² — в этом дневнике / в своем дневнике

Стр. 307.

- ²⁴ — непохожего в вершине / в вершине непохожего (Л. 25)
²⁹ — «классики», восемь / «классики» с 10-летнего возраста, восемь (Л. 25)
³² — в Московском университете / в университете (Л. 25)

Стр. 308.

- ⁴ — сознавал / чувствовал (Л. 25)
⁶ — только потому / именно оттого (Л. 25)
⁸⁻⁹ — сил, способностей, таланта, ума, захирел / сил, захирел (Л. 25)
⁹⁻¹⁰ — остается его личность. / остается личность. (Л. 25)
¹⁰⁻²⁰ — личность. Товарищи не забудут ~ не должна о нем забыть. / личность А. С. Белкина. Превосходный ученый, он был обширно начитан в своей области и вообще был обширно образован. Выдержав блестяще испытание на библиотекаря Г. Думы, он с присущей ему добросовестностью объехал западноевропейские парламенты, и там ознакомился со строем и порядками парламентских библиотек. Смерть подкосила его еще в цветущем возрасте. Мир праху твоему, добрый университетский товарищ.

ОДИН ИЗ ПЕВЦОВ ВЕЧНОЙ «ВЕСНЫ»

Варианты гранок

Стр. 330.

- ¹⁶ — литература в высшей / литература, однако, в высшей (Л. 19)
¹⁷ — русской / русскою
²² — ежедневном. / *далее:* В конце концов не понимаешь, что это за люди там живут, и что это за жизнь, которую они ведут. (Л. 19)
²³⁻²⁴ — Жанна, в романе Мопассана «Une vie», в предупреждение / Жанна, в предупреждение (Л. 19)
²⁶ — детей. Это / детей и не зачинают их. Это (Л. 19)
³⁸ — Жильбертой / Джильбертою (Л. 19)
³⁹⁻⁴⁰ — сблизиться / сойтись (Л. 19)

Стр. 331.

- ⁷ — Таким образом / Так что (Л. 19)
¹⁶⁻²¹ — «Душа Жанны была переполнена печалью; ей казалось, что она затеряна в жизни, далека ото всех. Солнце садилось. Воздух был мягкий. Ей хотелось выплывать свое горе на чьей-нибудь груди. К горлу подступали рыдания; она прижалась к Жюльену. З Удивленный, он смотрел на ее волосы, не видя ее лица, спрятанного на ее груди. Он подумал, что она любит его, несмотря на все пре-

жнее, и напечатлел / «Жанна чувствовала, что сердце ее сжимается, тонет в печали; ей казалось, что она затеряна в жизни далеко от всего. Солнце садилось. Воздух был мягкий. Желание плакать угнетало ее, — потребность излиться дружескому сердцу, потребность выплакать свое горе на чужой груди. К горлу подступали рыдания; она раскрыла объятия и упала на грудь Жюльена. Z Она плакала. Удивленный он смотрел на ее волосы, не будучи в состоянии видеть ее лица, спрятанного на его груди. Он подумал о том, что она любит его, несмотря на все, и напечатлел (Л. 20)

³³ — непонятности / понятности (Л. 20)

³⁵ — помните ли то / помните вы то (Л. 20)

Стр. 332.

⁸ — негодяев. Наконец / негодяев, точнее (по Мопассану) — сложенному в обществе своем из таких негодяев. Наконец (Л. 21)

¹⁰ — Марье толкающего ногой / Марье уже толкающего ногою (Л. 21)

¹⁴ — отчего с него / то и с него (Л. 21)

¹⁶ — разница. / далее: Предположим несколько. (Л. 21)

²⁸ — супруг. / далее: «Однажды была удивлена, стала наблюдать и вскоре заметила, что все его объятия останавливаются ранее, чем она могла быть оплодотворена. (Л. 21)

³⁵⁻³⁸ — Благодарю! Z Можно представить себе положение замужних французских женщин, которым выпадает судьба получать вместо живого человека такого человека. Патер Пико со своими / Благодарю! Z Она схватила его, покрыла поцелуями и сказала тихо: „О, умоляю тебя, сделай, чтобы я стала еще раз матерью“. Z Но он рассердился, словно его оскорбили: „Ты в самом деле теряешь голову. Избавь меня, пожалуйста, от твоих глупостей“. Z Она умоляла и решила заставить хитростью его дать ей то счастье, о котором мечтала. Z Она попробовала удлиннить поцелуи, играя комедию безумного пыла, прижимая его к себе обеими судорожно сжатыми руками в порывах притворного упоения. Она пустила в ход все хитрости; но он оставался господином и ни разу не забылся». Z Вот чистая резина, не правда ли? Такой резиновый господин, что удивительно. Каждая порядочная русская женщина плюнула бы трижды на такую «машинку» и ушла бы к любовнику, — конечно, чистая перед совестью и Богом. Патер Пико со своими (Л. 21—22)

Стр. 333.

¹⁶ — жилет? Неужели француженки / жилет? Но ведь это возвращает к знаменитому фраку Чичикова — «цвета наваринского дыма с пламенем»: неужели француженки (Л. 22)

²⁴⁻²⁵ — понять. Z Вот разница / понять. Z Чувство отца, чувство интереса к ребенку ведь есть общее, мировое. Мопассан на одной из самых разительных страниц рассказа передает, как дворовые мальчики собирались смотреть на роды собаки. Бесподобная по реализму и полноте страница, по смелости. Ни Толстой, ни Достоевский так не писали. Это — мудрость старой Франции. «Показался еще щенок, шестой. И мальчики восторженно закричали». Мальчики чужие, да и это — собака. Вероятен ли же рассказ Мопассана о Жюльене и приведенных его словах Жанне, как и о словах этого Жюльена во время родов от него же служанки Розалии? Невероятны. Мы, по крайней мере, вправе спорить. А перед Толстым — не вправе. Z Вот разница (Л. 22—23)

³⁰⁻³¹ — захотел». Z У русских / захотел». — Ну, это мотив недостаточный. Z Ведь он пишет «une vie», «жизнь»: и до мопассановских затей нам просто нет дела. «Une vie» — так и подавай «vie», без прикрас, без своего. «Так назван роман —

осуществляя названное». Русский просто почел бы невозможностью вводить здесь произвол каприза; он чувствовал бы ответственность перед темой, — до того ужасной! Но Мопассан этого не чувствует. «Жульен пусть будет гадок, а Жанна — добродетельна. Я так хочу. Потому что это — контрастно, и свести их красиво. А добродетельный около добродетельного — это скучно». Но драма жизни поистине так велика, что нам нет дела до художественных соизмерений автора, и мы кидаем роман с негодованием: «как он смел, начав такое писать, не довести до полной убедительности?» *Z* У русских (Л. 23)

Стр. 334.

²³ — хорошим. Мы, русские, вообще / хорошим. Так рос наш А. С. Хомяков, основатель славянофильства: его отец проиграл в карты ни больше ни меньше как миллион. Пушкин тоже рос не в строгой семье. Да мы, русские, вообще (Л. 24)

²⁸ — сомнительна. / *далее*: Отчего нежностью и не баловать нежный возраст? «Бывает так, а бывает и иначе»: я знал мальчика, воспитывавшегося у старого генерала-педагога, директора кадетского корпуса. Ему он отдан был «в целях строгости». Увы: именно со времени отдачи юноша, до тех пор безукоризненный — пошел по противоположному пути, «в реакцию режиму», замотался, погубил жизнь свою и кончил жалостно самоубийством. К генералу он поступил после гимназии: а в гимназии был ее украшением, тихим, послушным, бесконечно мягким! «Бывает и так».

Мопассан никого не взволновал, потому что ничего не доказал. (Л. 24)

³² — а волка / а дикого волка (Л. 24)

³⁸ — воспитания / воспитателя (Л. 24)

Стр. 335.

²⁵ — Стива / он (Л. 25)

Стр. 336.

¹ — степени все русские романы дают / степени они все дают (Л. 26)

²¹ — природы. Но вообще / природы. Есть такая тенденция, странная, таинственная: пример ее — монастырь, идея монастыря. «Божественно» не одно природное: увы, божественно также и анти-природное. Как учил Пифагор: «есть земля, а есть и *противо-земле*». Никто не знал, что скрыл мудрец в этой странной мысли. Но вообще (Л. 26)

МАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА У ГОГОЛЯ

Варианты по рукописной копии

Стр. 337.

¹⁻² — дочери дали отрока-юношу. / дочери отрока-юношу. (Л. 1)

³ — чужие дома / чужие дома (Л. 1)

³⁹⁻⁴⁰ — проводились, попеременно, в одном или другом родительском гнезде, и после этого только, утешив / проводились; утешив (Л. 1)

Стр. 339.

⁴⁰ — сообразовано / сообразно (Л. 2)

Стр. 341.

²³ — с Авраамом было «приятно Богу», что видно из того, что не Авраам искал / с Авраамом искал (Л. 3 об.)

Варианты гранок

Стр. 337.

- ⁵ — взяли / взяты (Л. 11)
- ²³ — слов как бы от имени / слов, идущих как бы от лица (Л. 11)
- ²⁷ — приводит их / приводит мысль и воображение их (Л. 11)
- ⁴⁰ — свое гнездо / собственное новое гнездо (Л. 11)
- ⁴¹ — Лет восемь назад, в одном из фельетонов «Нов. Вр.» / Лет восемь назад, в одном из фельетонов «Нов. Вр.» — Евреи здесь ужасно порицались, — с оговоркою, что все низкое и грубое не относится к евреям «в субботу», когда самочувствие их совершенно переменяется. (Л. 14)

Стр. 338.

- ¹⁴ — на них / в лицо их (Л. 11)
- ¹⁵ — непознаваемым / неназываемым (Л. 11)
- ¹⁶ — пятнадцатилетних дочерей / 15-ти летних своих дочерей (Л. 11)
- ³³ — сосновый / сотовый (Л. 12)

Стр. 339.

- ³⁴ — семью / восемью (Л. 13)

Стр. 340.

- ⁴ — больше закинуты, заброшены «чем-то», чем / скорее закиданы, забросаны «чем-то», нежели (Л. 13)
- ¹⁰ — от молодой / от притока молодой (Л. 13)
- ³⁸ — оружие или материал его / оружия или матерьяла его (Л. 15)

Стр. 341.

- ⁴⁻⁵ — тогда не нужно / такие не нужны (Л. 15)
- ⁶ — семи / четырех (Л. 15)
- ¹³ — «Никакой брак, — внушает Талмуд, — так не угоден / «Никакое супружество, — внушает Талмуд, — так не угодно (Л. 16)
- ³¹ — зятя / т. е. девери (Л. 17)
- ³⁹ — «вол», «конь» / «вол» или еще «конь»

Стр. 342.

- ²¹ — иметь / брать (Л. 17)
- ³² — и усиливаться, удержаться / и усиливалась, удержаться (Л. 17)

Стр. 345.

- ³¹ — все / это (Л. 19)
- ³⁸ — у нас. / у нас. «Родственнички скучны». (Л. 19)
- ³⁹ — Но оно здесь / Но здесь оно (Л. 19)
- ⁴⁰ — линиях — родство / линиях (у нас) — родство (Л. 19)
имеет интерес / заинтересовано (Л. 19)
- ⁴¹ — в поле / интереса к полу (Л. 19)

Стр. 346.

- ¹¹⁻¹² — пантеизируется и через / пантеизируется; через (Л. 20)
- ¹² — материальную / половую (Л. 20)
- ¹²⁻¹³ — детонатор, — соединен с полом / детонатор, — он соединен у каждого с полом (Л. 20)

- ¹⁶ — странный / страшный (Л. 20)
¹⁷ — манией / магиею (Л. 20)
²¹ — и всех / и у всех (Л. 20)
²² — Ведь все такие родственники и возбуждены / Ведь все такие близкие родственники — и между тем все возбуждены (Л. 21)
²³⁻²⁴ — взял книгу у соседа (по-русски) / взял (по-русски) книгу у соседа (Л. 21)
³¹ — странным / страшным (Л. 21)
⁴⁴ — евреев / евреек (Л. 21)
⁴¹ — ясно и фаллично / явно фаллична (Л. 21)

Стр. 347.

- ² — помнятся. Между тем / помнится.

Отворила я
 другу моему,
 а друг мой
 ускользнул, ушел.
 Душа
 покинула меня, когда он говорил
 Я искала его,
 но его не нашла;
 призывала его,
 но он мне не ответил.

Между тем (Л. 21)

- ¹⁰⁻¹¹ — пиршество Иеговы-Жениха / наступило пиршество Иеговы-Супруга (Л. 21)
¹⁴ — является позднее / позднее является (Л. 22)
¹⁶ — пропустить / пропускать (Л. 22)
²⁷⁻²⁸ — своей (для всех народов) «священной истории» / «священной (для всех народов) истории» (Л. 22)
³⁵ — они / евреи (Л. 23)
³⁹ — «никто не может войти / «никто уже не войдет (Л. 23)

Стр. 348.

- ² — Лота было целомудреннее / Лота кажется мне целомудреннее (Л. 23)
¹⁵ — нерушимо / очевидно
²⁵ — и защитою. / защитою отцовского семени в дочерях. (Л. 23)
⁴⁵ — его / мужа (Л. 24)

Стр. 349.

- ¹¹ — бесслитное / несомненное (Л. 24)
¹³ — Авраама, Лота / Авраама (Сара была ему сестрою), Лота (Л. 24)
²⁸⁻²⁹ — завершением родства, обращенная к родному... / завершением родства... [терчет в себе сально похотливый характер, «как с прислужгой» и «на ходу в коридоре», [гостиницы] вырастая в священное старое древо «продолжение нашего рода». Половой акт совершенно изменяется, он растворяется [осложняется тем] в том [типично] священном чувстве, какое составляет суть [какое прежде <2 нрзб.> родству] родства. Супружество «с родною» есть per suam naturam: и так же отличается от супружества «с чужою», как (в наших понятиях) сожитие «с венчанием» отличается от сожития «без венчания». «Родной брак» есть первоначально и естественно «иеротический», «священный» брак: «родство»-то и санкционирует его преобразует из светской вещи, из физиологиче-

ского события — в событие мистическое, in rem sanctam. [Это сквозь <1 нрзб.> И показано в Библии. Удерживая] Удерживая (совершенно не верится) [невероятно <1 нрзб.>] наши понятия о половом акте, как *скверне*, мы выразим свою мысль, сказав, что [здесь] родство поглощает, разрушает половой акт [разрушает его], сжигает в нем скверну, а не наоборот, как все и всегда думают: будто половой акт съедает родство, загаживает родственные [чувства] отношения и чувства.] (Л. 25)

Стр. 350.

- ⁹ — брата / детей (Л. 26)
- ²⁴ — нравящееся / всех привлекающее (Л. 26)
- ³⁷⁻³⁸ — фаллической / fall'ической (Л. 26)

Стр. 351.

- ³⁻⁴ — прототипа. Z Конечно, все это гадательно, так как / прототипа. Z * * * Z Мы, когда думаем о «родном влюблении», и отпрядываем перед ним с испугом, — пугаемся именно того, что здесь «родство погребло», «fallus разрушает его», «осквернил и погубил». Между тем происходит совершенно наоборот: «родства» нельзя погубить, как нельзя выпить океана. Хотя «родство» и течет из fall'ической связи, но оно его обширнее, распространеннее, как *все* дерево больше своего *корня*. И когда завязывается fall'ическая связь между родственниками, т. е. происходит «родной брак», — то, наоборот, fallus поглощается, растворяется [<1 нрзб.> в родстве. Он есть, но теряет свою натуру] родством. Все в нем «сальное» и «вонючее» что могло бы быть, омывается голубыми волнами родства; пунцовые волны его тонут в голубом. Здесь «похоти» нет, а «родственное слияние»... Слияние, продолжающее «наш род», отца и матери, деда и бабки, без чужих, без посторонних, без «улицы» и «чужого города». Брак углублен и стал несравненно теплее. Собственно, супружество «с родною» есть per suam naturam: и так же отличается от супружества «с чужою», — как (в наших понятиях) сожитие «с венчанием» отличается от сожития «без венчания». «Родной брак» есть первоначально и естественно «иеротический», «священно-служебный» брак: «родство»-то и сообщает ему характер «sancta rei», преобразует его из светской вещи — физиологического события — в событие мистическое и вещь священную, религиозную. Как *типично* религиозно ведь всякое родственное чувство; «родство» — корень священных вещей и святых отношений. В эти-то священные волны и погружается совоупление, — естественно, омываясь [от них] в них, отмываясь от «греха», если бы он был или мыслился. Родство *сожгло* в нем «скверну» (в наших понятиях): когда мы думаем, будто он смыл, разрушил, «загадил» родство. Совершенно все наоборот!.. Z * * * Z [Конечно все это гадательно,] Все это мы говорили, вникая только в существо соединяемых вещей, так как (Л. 27–28)

- ¹⁹ — это было так, в глубоко / все было так, в этом глубоком (Л. 28)
- ²⁷ — народов / племен (Л. 28)
- ³¹⁻³² — фаллизировать, вульвизировать / fall'изировать, vulv'изировать (Л. 28)
- ³³ — тени, что / тени: от того, что (Л. 28)
- ⁴⁴⁻⁴⁵ — бесчестной / бездомной (Л. 29)

Стр. 352.

- ³⁻⁴ — ее в наших невыносимо грязных формах, конечно, лежит эта / этого непотребства, метафизическим в нем корнем, конечно, лежит эта (Л. 29)

МЕЖДУ АЗЕФОМ И «ВЕХАМИ»

Варианты гранок

Стр. 377.

- ⁴ — Станкевич, Тургенев, вошел Азеф... / Станкевич, Тургенев, кто-нибудь, вошел Азеф...

Стр. 378.

- ⁴⁵ — Лицо Азефа чудовищно и исключительно. / Лицо Азефа до того чудовищно и исключительно, что, я слышал, в иностранных газетах печатался его портрет с насмешливой подписью: «Русский *государственный* человек». Как же можно / То есть как же можно

Стр. 379.

- ¹⁶ — пришедшего к сознанию / пришедшего к горькому сознанию
²⁹⁻³⁰ — имей они чуткость, кто же бы послал им такую грушу, как Азеф? / *далее*: Узнали бы и убили; или не пошли на общение. Никакого результата и потери денег и человека.
⁴⁵ — со своею курьезною «Историюю литературы» / со своею странною «Историюю литературы»

Стр. 380.

- ⁹⁻¹⁰ — духовного вникания. / *далее*: «Они слепы. Пошлем Азефа».

Стр. 381.

- ⁷ — Как Азефа было узнать? / *далее*: * * * Есть один поразительный пример, до какой чудовищности доходит *непсихологичность* людей этого закала и школы, этого метода и духовного воспитания или, скорее, невоспитанности. Каждый, кто читал «Апокалипсис», не мог не поражаться страшною силою его кованых образов и жгучей мощностью языка, до того сильного и исключительно, как это встречается еще только на немногих страницах ветхозаветных пророков. Это — совсем не язык отцов церкви. Совсем другаяковка языка. Все отцы церкви или компилируют кусочки Священного Писания, или «изъясняют» его, или рассуждают от себя, но в последнем случае очень длинно, сложно и так, что это впоследствии послужило примером «семинарщине». Все постепенно разжижалось и разжижалось, но разжижаемая эссенция — одна. Творения Иоанна Златоуста, плавные и великолепные без хаоса и бури в себе, лежат перед нами во многих томах. Какую же надо было иметь чудовищную *слепоту* к стилю, слогу, к манере письма, к калибру духа писавших, чтобы приписать Апокалипсис, тоже *внимательно изугенный*, Иоанну Златоусту, тоже *внимательно изугенному*. «Это писал *один писатель*».

Вот вся история Азефа и как его не узнали. Морозов, поместивший Апокалипсис в творения Иоанна Златоуста, не сделал больше и хуже, как В. Фигнер, кн. Кропоткин, Лопатин, поместившие Азефа в свою среду.

Та же неразвитость, страшная *духовная* неразвитость.

- ³⁸⁻³⁹ — не только изучения, но *талантливо*го вникания / не только изучения, но *талантливо*го внимания <возможно, *опечатка*>
⁴⁰⁻⁴¹ — я за *талант* вникания / я за *талант* внимания <возможно, *опечатка*>

Стр. 382.

- ¹¹ — тысячи благоговейных ослов! / тысячи благоговейных ослов.

Стр. 383.

- ²¹ — Вся критика не поразила бы / Вся критика не поразила ли <возможно, опечатка>
- ³⁴⁻³⁵ — Выступили свободные литераторы совершенно независимого образа мыслей. / *далее*: не связанные ни с какими редакциями, ни с какими влиятельными группами.
- ⁴¹⁻⁴² — сесть там, заговорить там. / *далее*: Писатели эти, что очень мало замечено, нисколько не говорят против революции, и по существу даже не враждебны ей, не враждебны политике, радикализму. Они движутся своею мыслью в гораздо более широкой и возвышенной сфере и говорят, что вот *здесь*, в этой лучшей и мудрейшей сфере, радикалов не смел ни трогать Азеф и никогда их не смог бы обмануть. Эта сфера раскрывает глаза и *изошряет* все чувства. Она ни радикальна, ни нерадикальна. Она *усложняет* и *углубляет* дух человеческий, не запрещая человеку быть в политике чем угодно, быть радикалом, революционером, консерватором, националистом или космополитом.

А. Л. ВОЛЫНСКИЙ.
«Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ»

Варианты автографа

Заглавие: Книга о Достоевском

Стр. 386—387.

- ³⁹⁻¹ — незаметнейшее, скромнейшее в русских идеалах / то незаметнейшее, скромнейшее в русских идеалах

Стр. 387.

- ⁸⁻⁹ И его больно ударили за них, а он больно кусался и громко лаял у ворот чужого дома. / И его больно ударили за них, а он больно кусался, и громко лаял, и все выл, выл, у ворот чужого дома, у алтарей не своих, — некрасиво, отвратительно и героически.
- ¹⁰⁻¹¹ — неэстетичен; но в высшей степени героичен. / неэстетичен: но в высшей степени героичен.
- ¹³ — разбирал Лескова / разобрал Лескова
- ¹⁸ — А такое событие было. / *далее* в автографе имеется несколько абзацев, отсутствующих в тексте публикации:

Значение его меньше, чем Венгерова, чем Л. Я. Гуревич. Тех все знают, г-жу Гуревич как-то и почему-то вот любят и уважают. И Венгеров, и Гуревич со всем русским слились. Просто небольшие, но милые русские литераторы, которых все хлопают по плечу и они сами всех хлопают по плечу. Мужички среди мужичков. Постояльцы на одном дворе.

Волынского никто решительно не хлопнет по плечу, и он тоже никому на плечо не положит свою руку. В этом почти вся беда. На «нашем русском дворе» беда. Так у нас водятся. Такие люди у нас не приняты.

С Волынским возможно только поговорить церемонно, поблагодарить за поучительность его мыслей. И поспешить с мыслью потихонечку [*лист поврежден с нижнего края*] <...>

О Волынском нельзя рассказать никакого смешного анекдота: неужели это не беда?

С ним не было никаких сальных происшествий: в море «русского свинства» это — полное несчастье.

- ³⁸ — не идущего к обществу. / *далее в автографе имеется несколько абзацев, отсутствующих в тексте публикации:*

В бедной квартирке, на одинокой кровати лежит этот темный (смуглый) человек, обтянутый точно чужою кожей: все рассуждающий, весь сморщенный.

Ни — детей.

Ни — женщины около него.

Только коридорный лакей принес жидкого чая. Сухо. Бесплодно. Не растет ничего. Кстати, — нельзя представить себе Волынского с бородой или усами. Ничего не растет. Кроме правильных волос на голове по форме. Сущность человека в его фигуре, «которую создал Бог». И да не будет нескромным или пусть извинят меня, что я, говоря о судьбе и душе этого человека, сопровождаю свои мыслительные штрихи и этими портретными штрихами, как их мне пришлось увидеть при единственном посещении нашего «известно-безвестного» критика в Пале-Рояле, в Петербурге.

Стр. 388.

- ⁴ — Море русского свинства залило Волынского: / Море русского свинства залило Волынского: ученость его, героизм его, энтузиазм его. «Ничего не надо. Жидом пахнет».

⁸ — то ведь как бесплодна / то ведь как бесчеловечна

¹⁹ — при изучении Достоевского / при изучении Д-го

²¹ — предметом, а с Достоевским / предметом: а с Достоевским

²⁹ — похоронила перед собою / похоронила под собою

Стр. 389.

¹³⁻¹⁴ — Лишь вот «из Достоевского узнанное». / лишь «из Д-го узнанное».

²⁴ — без них не усвоится, напр., Достоевский / без них не усвоится, напр., Д-кий

²⁵ — «из Берлина». / *следующий абзац не выделяется в качестве абзаца*

³⁵ — благословляют руки / благословляют те руки (те — *выгеркнуто*)

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Варианты гранок

Стр. 426.

- ⁴⁴ — самой души, как той *ноги* / самой души. Как той ночи

Стр. 427.

²⁶ — И эти крики: / *далее:* «долой папашу» и

«Ох, как вы больно сечете» / «ой, папаша, как вы больно сечете»

²⁹ — не было для песни Мильтона / *далее:* и не было для дела Кромвеля.

1910

К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ «ВЕХ»

Варианты гранок

Стр. 471.

- ²¹⁻²² — «на железнодорожные рельсы» / на удельную тропинку приблизительно (Л. 19)

- ²⁴ — и всю психологию / и психику (Л. 19)
²⁵ — «Вехи»... «Сборник / «Вехи», быстро выдержавшие три издания... «Сборник (Л. 19)

Стр. 472.

- ⁷ — приходит / [проходит] возможна (Л. 19)
²¹ — до «великой забастовки». / дореволюционная. (Л. 19)
²¹⁻²² — литература «еще при Сипягине и Плеве», и только. / литература эпохи Сипягина и Плеве, не больше. (Л. 19)
²⁴⁻²⁵ — И появились «Вехи»... / И появились «Вехи»...
 Сейчас печатается со стереотипа уже 4-ое их издание, — это в течение пяти месяцев: «так как спрос на книгу не падает», — пишет мне один из участников сборника. Таким образом, он будет прочитан всею образованною Россиею. (Л. 19а)
³⁸ — оно ~ потрясло / она ~ потрясла (Л. 19а)

Стр. 473.

- ⁴ — Они не примиряют / Они примиряют (Л. 19а)
¹⁷⁻¹⁸ — Этот факт, вполне точный, тем удивительнее, что из авторов «Вех» трое (почти половина) — евреи / в гранках отсутствует (Л. 19а)

Стр. 474.

- ⁵⁻⁶ — *воды*. Он хотел сказать, что нельзя получить «итога», не имея «слагаемых». Но на этот тезис можно написать разные иллюстрации... Гоняясь / *воды*», т. е. чтобы получить итог, нужны слагаемые. Конечно! Гоняясь (Л. 19б)

Стр. 476.

- ³⁰⁻³² — Когда однажды я несколько высказался в печати в сторону всеобщего успокоения и примирения, то в ответ получил письмо / Когда я несколько начал призывать к миру и успокоению своими последними политическими статьями, я получил открытое письмо (Л. 19г)

Стр. 477.

- ⁵¹⁻⁵⁴ — Солнце красное взойдет... Z и т. д. Право, на такую злобу только я умею ответить этим стихом. Z Иногда кажется, что лучший спор / Солнце красное взойдет — Z Птичка гласу Бога внемлет, Z Встрепенется и поет... Z Вот лучший спор (Л. 19г, 19д)
¹⁴⁻¹⁵ — полиции. Только / полиции. Ну, на что Петрищев, Мякотин и Пешехонов способны, кроме как быть квартальными? Только (Л. 19д)
¹⁵ — их писания и не имеют. / *далее*: Никогда мне в голову гордиться не приходило, и вообще я смотрю на себя как «среднего человека», не лучше и не хуже «соседей, друзей и знакомых»; но всеми фибрами души я сознаю, что самый «свободомыслящий» писатель в текущей литературе, самый что ни на есть радикальный, независимый и прогрессивный. И просто от того, что не повторяю в себе «белку в колесе», угорелую белку в сумасшедшем колесе, — какую представляет собою вся печать и общество, наглотавшись «последних политических известий». (Л. 19д)
²⁰ — «нравственная забота *над собой*». / *далее*: Просто — Пушкин, лучше и вернее. Маленькая семья, маленькое хозяйство. (Л. 19д)
⁴⁹ — «Études sur l'histoire de l'humanité» / «L'Hystoire de l'humanité» (Л. 19д)

В ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРАЧЕШНОЙ...

<Вл. Соловьёв>

Варианты гранок

Стр. 498.

¹¹⁻¹² — в своих писаниях / в писаниях (Л. 37)

³² — Позднее / Дальше (Л. 37)

БЕДНЫЕ ПРОВИНЦИАЛЫ...

Варианты гранок

Стр. 509.

⁴⁰ — становятся несерьезными... / становится несерьезною... (Л. 38в)

⁴² — Каменского». Текущая литература / Каменского». Литература (Л. 38в)

Стр. 510.

³⁸⁻³⁹ — что часто в провинции / что в провинции (Л. 38)

³⁹ — чем в столицах / чем часто в столицах (Л. 38)

⁴⁵ — «Навьи чары» / «Новые чары» (Л. 38)

Стр. 511.

⁷⁻⁹ — статьи замечательных авторов... Z Вместо / статьи авторов Люциферов. «Люцифер» я здесь произношу не в дурном смысле, а в буквальном и хорошем. «Люцифер» — буквально значит «несущий свет», т. е. все равно что «Прометей»... В Петербурге что ни квартира — то Прометей в ней сидит: а такие высокие учреждения, как «Литературный фонд» или «Касса взаимопомощи литераторов» — так те совершенно переполнены прометеевским огнем. В них «не то демоны, не то ангелы» и рубли считают, и в ревизионных комиссиях участвуют, и, как случилось с большим Доманским, — всего за три недели до смерти «с демоническим смехом» выталкивают на мороз из квартиры Голубевского дома, и затем «с демонической гордостью» издают «Юбилейный сборник» в память своего замечательного «L-летия». Z Когда ж о честности высокой говорить: Z Сам плачет, и мы вы <так! — Е. Н.> рыдаем... Z * * * Z Вместо (Л. 38)

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Очерки

II

Константин Леонтьев и его «почитатели»

Варианты правки гранок

Стр. 528.

¹³ — в Риме и потом товарищ / в Риме и товарищ

¹⁷⁻¹⁸ — и проч. По этому поводу ~ без вразумления... / и проч. В числе других и я получил это приглашение. Но, скорбя о преждевременной и поразительной кончине Иннокентия Анненского, так недавно мною виденного председателъ-

ствующим собрания, я решил вечер собеседования 10 декабря посидеть дома. Но «друзьям» покойного Леонтьева мне хочется скахать несколько напутственных или вразумительных слов... (*все это выгержкнута*)

28 — страна останется / страна остаетса

Стр. 529.

7-8 — вицмундира чиновника / и блузы рабочего, подделывающегося под интеллигента».

Стр. 529–530.

47-1 — насмешка: «слепые» — это сами читатели / насмешка: «слепые». Z Это сами читатели

Стр. 530.

1-2 — брошюру-памфлет. / *далее*: Так говорит «некто в черном», эта непризнанная Кассандра тех дней.

16-17 — едва вообразимых. / едва вообразимых!

36 — берлинский конгресс или уж по крайней мере заграничная конференция... / Берлинский конгресс или уж по крайней мере конференция...

39 — оба идейно питались / оба питались

43 — всех переколотит чубуком / всех приколотит чубуком

Напечатана подпись: В. Розанов — *она загержкнута и от руки написано*: Варварин, *снова загержкнута и опять написано*: В. Розанов.

На л. 10, гранках без правки, идентичных л. 9, помечено: «Изгнанники русской литературы»

КОНЧИНА Л. Н. ТОЛСТОГО

Вариант гранок

Стр. 552.

22 — Так умереть, взволновав весь мир / Так умереть, вдруг за день до смерти взволновав весь мир

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ

(Ответ К. И. Чуковскому и П. Б. Струве)

Варианты гранок

Стр. 571.

12-13 — И это особенно тогда, когда вы спите / *далее*: дремлете

23 — Странно и как-то безнадежно / Странно и как-то безнадежно

Стр. 573.

23-24 — гильотина «террор» / гильотина — «террор»

38 — (обвинение Струве). / (Струве).

Стр. 574.

3 — насколько эти годы были правы / насколько они (годы) были правы

3-4 — насколько они были прекрасны. / насколько были прекрасны.

⁵⁻⁶ — Гигантской фигуры — ни одной. / *далее в гранках выгертнут текст*: Была «прочная фигура»: Плевел. Не гениальная — а «прочная». Стоит и стоит. Всем было отвратительно, а он «стоит». Все играют «в карты», а он «перебирает бумаги». Поэтому, когда с ним случилось «несчастье», я поехал (на другой день) «посмотреть это самое место»... Незабываемое впечатление: продолговатые кубики мостовой, из какого-то особого материала, не кирпич и не булыжник, вдавились немного в землю... И тут же «грязный красный трактир», «во вкусе Достоевского». Мы все в ту пору дошли до «вкуса Достоевского»: и тошно, и страшно, и мысли путаются...

— Бумм...

— Пусть.

⁸ — *Текста*: А когда стало «худо» — я начал говорить: — «Худо!». — *в гранках нет.*

²¹⁻²⁸ — *В гранках эпитафий нет.*

Стр. 575.

²² — «в России все было славно, / *далее*: императоров так много,

²³⁻²⁴ — Хорошая история ~ лучше бы и не надо / Хорошая история, во всяком случае, лучше Шишко, потому что крепила надежды. Лучше бы и не надо

²⁶ — глупое заключается в постоянстве «нет!». / глупое заключается в пространстве «нет!».

²⁹ — в своей однолинейности, в своей однотонности / в однолинейности, в однотонности

Стр. 577.

⁶⁻⁷ — не останавливаясь и на «сумме» / и не останавливаясь и на «сумме»

Стр. 578.

³⁵ — подала прошение на Высочайшее Имя... / *далее*: т. е. на жаргоне их — «стала просить тирана»...

Стр. 580.

²²⁻²³ — и в них именно больше идеальной связи с революционным духом, обновительным и разрушительным, чем в его теперешней защите революции. / ^a и в них именно больше реальной связи с революционерами, чем в его теперешней их защите. ^b и в них именно больше «бродильного начала», нежели в его вялой и неправдивой (неискренней) защите революции.

³¹ — а у меня это «свое», «врожденное»... / *далее*: И когда от теперешних революционеров и могил не останется, мои мысли будут [революционно] обновительно будить общество. Да, *подумав*, вы и сами *это знаете*. Почти вы и говорите это же в своих статьях, проговариваете...

⁴² — Все в смеси. Огонь и лед. / Туда, сюда. Все в смеси. Огонь и лед.

Стр. 581.

⁵⁻⁶ — но реальной любви и к реальному... «Ты облетел вселенную», — говорит Бог Сатане в «Книге Иова» / но реальной любви и к <здесь и дальше текст гранок передает неточно понятую правку в несохранившемся автографе> могу сказать, что «облетел вселенную» <как> говорит Бог «по утру» Сатане в «Книге Иова»

ЖИЗНЬ И СЧАСТЬЕ

Правка на вырезке статьи

Стр. 583.

- ³ — Самая страшная, потому что совершенно неодолимая стена / Самая странная, потому-то совершенно неодолимая, стена
¹⁰ — построить хороший *положительный* / построить хороший, *положительный*
¹⁰⁻¹¹ — «кто ж именно себя убивает», а в связи с этим и «погему убивают»? / «Кто ж именно себя убивает», а в связи с этим и «почему убивают»?
¹⁵⁻¹⁶ — «счастье» возвышенных душ, «блаженство» или «удовольствие» гедонистов. / «счастье» возвышенных душ.

В конце текста НВ вписана подпись «В. Розанов».

1911

УБОГОНЬКИЕ В ИСТОРИИ

Варианты гранок

Стр. 610.

- ⁷ — а что благие / и что благие
²⁴⁻²⁵ — *им-то* и живет, как своим «праздником», как «троицной березкой» весна... / *им-то* и живет мир, как «троицной березкой» живет весна...

Стр. 611.

- ² — *Текста:* даже два раза процитировав Евангелие — *в гранках нет.*
¹⁰ — она имела для меня и должна иметь / имело мое выступление против Р-ва, и так это должно быть
³¹⁻³² — словечки-то произнесены, и читатель их *услышал!* / словечки-то *произнесены*, и читатель их услышал!
³³ — мне слиться с голосом всех». / мне слиться с голосом всех. Нет, подлецом я его *не назову вслух.*
³⁴ — пригвожден к эшафоту / пригвожден
⁴⁵ — читатель его статей / читатель его журнала

Стр. 612.

- ² — Сладко заныло сердце Струве. / *далее:* Или, как говорит у Баратынского поэт о только что написанном стихотворении:
⁷ — это была бы / это было бы
¹² — и за «будущее». / и за «будущее» говорят о температуре гнева...
¹⁵ — так их хвалил / так эти мои труды хвалил
¹⁶⁻¹⁷ — в его книгу, / в его книгу, отдельно изданную,
²¹⁻²⁷ — Я подскажу, что он видит: ибо его похвалы вращаются около одного пункта, который он не умеет назвать. Это — *психологизность самого языка*, большая нагнетенность (как «нагнетают» воздух) ее — качество новое... Ею-то, между прочим, угадываются «тайны» противника: и он вдруг видит себя «яко бос, яко наг», когда вступает в препирательство, задрапированный в высокие чувства... Напр., оскорбленного литератора или оскорбленного гражданина... Но не в них дело: / И тогда не разъяснит ли нам все сердцевидец Пушкин:

Стр. 613.

- ⁵ — Вы много понаписали / Вы много написали
²²⁻²³ — больше и «спасать» некого / больше «спасать» некого
²⁷ — самые крайние мысли «Нов. Вр.» / самые крайние, самые правые мысли «Нов. Вр.»

Стр. 614.

- ⁷ — переживаешь много раз / переживаешь не много раз

ЛУЧШАЯ КНИГА ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ (К воспоминаниям о М. М. Стасюлевиче)

Варианты гранок

Стр. 620.

- ³⁶ — М. М. Стасюлевиче / Матв. М. Стасюлевиче (Л. 31)

Стр. 621.

- ³² — Мих. Матв. Стасюлевич / Матв. М. Стасюлевич (Л. 31)
³³ — над этим трудом много / над этим много (Л. 31)
³⁵ — и труд этот составляет собственно *процесс* / и что составляет собственно *процесс* (Л. 31)

Стр. 622.

- ¹ — Ларинской / Каринской (Л. 32)
⁴⁻⁵ — но вряд ли есть и в иностранной / но и ни в одной иностранной (Л. 32)

Стр. 622–623.

- ³²⁻⁶ — На память строки; «все одинаковы и далеки», нет ~ я тоже помню строку, а общее впечатление / на память строки; а общее впечатление (Л. 32)

Стр. 623.

- ²⁵ — из О. Тъери, которая есть / «все одинаковы и далеки», нет: скорее — «пять пальцев на руке и который ни занозить — больно и кровь потечет». Космополитизм — сглаживание, упрощение; возврат к элементарности и, в сущности, к одичанию; «европейское образование» есть *усложнение*, расширение «родного». Дальнейшее — развитие «организма».

Но вернемся к книге... «Хрестоматия» — не мое сочинение, и от того в большинстве они тусклы, бесцветны, «космополитичны». У Стасюлевича был определенный ученик; как он ожидал — будущий царь России. Таким образом, то несчастное обстоятельство, какое сопутствует составлению всякой хрестоматии, ремесленность, «сколачивание из чужого материала своей книги», выпало отсюда. Стасюлевич создал свою хрестоматию, как художник лучшее свое художественное создание, — с этою же любовью, надеждой и верой. И это было возможно для Стасюлевича, ибо здесь работал его *вкус, выбор*. Ни при каких стараниях он не мог бы написать художественной *своей книги*: но хрестоматию он мог «выполнить» именно художественно, с наивысшим мастерством, какое вообще досягаемо для человека. Ибо тут действовали только его ученость, вкус, выбор, знание «материала» и готовность много перечитывать его, много работать над ним. Из «ученых статей нового времени» я тоже помню строку, из Августина Тъери, которая есть (Л. 32–33)

- ³⁶⁻³⁷ — движется тоже и все / движется все (Л. 33)

И. В. КИРЕЕВСКИЙ И ГЕРЦЕН

Варианты гранок

Стр. 626.

- ³² — сделанном М. Гершензоном... / сделанном М. Гершензоном с тем пониманием и вкусом, с которыми этот странный еврей-библиофил «охорашивает» старых и полузабытых русских писателей, над которыми, кажется, уже и могила заросла травой... Но он их любит, этот черненький еврей-талмудист (по виду), как ведь собрал же незабвенный Шейн обрядовые русские песни, русские и белорусские, с таким прилежанием, с такою очевидно любовью, в таком множестве вариантов, что просто руками разводишь... Будущий библиограф XXI столетия напишет когда-нибудь целую монографию о том, *как и почему* привязались эти евреи — народ, казалось бы, до того нам чуждый, враждебный, — к русским могилам, к русским погостам, к пожелтевшим старым тетрадочкам книгохранилищ, к старопечатным русским книгам... Но пока что — нельзя не сказать спасибо.
- ³⁸⁻³⁹ — череп — скорее коробочкой / череп — хорошей коробочкой
- ⁴⁰ — Нет, — это лицо и голова вовсе не «необыкновенно русские»... / Нет, — это необыкновенный русский...

Стр. 627.

- ³⁵ — Герцен ответил: ~ «immodeste»... / Герцен опешил: ~ «immoderte»...

Стр. 629.

- ²⁻³ — И вторых очень много, а первых очень немного, вот как золота... / вот как золота в русском казначействе, обеспечивающего наши несчастные и бесчисленные ассигнации.
- ¹¹ — И потому, что все это — «не настоящее». / И потому, что Вы — «не настоящее».

Стр. 630.

- ⁶ — Взялся переиздать Герцена / Взялся переиздать Киреевского

Стр. 632.

- ²⁶⁻²⁷ — как между часом бури и часом тишины *одного и того же дня*. / как между часом бури и часом тишины одного и того же дня. Опускаю подробности, которые, впрочем, тоже важны...

И ШУТЯ, И СЕРЬЕЗНО...

Варианты гранок

Стр. 644.

- ⁴⁻⁵ — «Жуковскому» нельзя было не быть нежным / Жуковскому нельзя было не быть важным
- ⁶ — «Введенских» / Введенских
- ⁹ — Но я совсем разъязычился... / *в гранках отсутствует*
- ³⁰ — «нет вдохновений» / «нет вдохновения»
- ³⁸ — подвел *gésimé* общему мнению. / подвел тезисы общему мнению.
- ⁴¹ — никакого *осязательного* предмета. / *какого-нибудь обязательного* предмета.

Стр. 645.

- ³⁴ — Я, сказав «нюхайте», — ошибся от торопливости. / Я, сказав «нюхайте», — я ошибся от торопливости.
⁴² — и отсюда вся его судьба, бездейственность, бесплодность... / и отсюда вся его судьба, действенность, бесплодие...

Стр. 646.

- ¹⁸⁻¹⁹ — Но, ввиду демоничности, у него ровно не выходит... / Но, в силу демоничности, у него ровно ничего не выходит...
²³ — «смирный русский человек». / «смирный русский человек».
³⁶ — не умеющий умереть покойник, который был / не умеющий умереть. Покойник, который был

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

Варианты гранок

Стр. 647.

- ⁵ — и инициалы имени и отчества «Л. Ф.» / и инициалы имени отчества «Л. Ф.»
¹⁷ — Между тем большинство / Между прочим, большинство
²⁵ — Если бы вместо той / Если же вместо той
²⁹⁻³⁰ — много выиграла бы прежде всего в интересе, в занимательности. / много выиграла прежде всего в интересе, в занимательности...
³⁴ — литературный дар повлек ее дальше / литературный дар навлек ее дальше
⁴²⁻⁴³ — в каком-то болезненном, ненормальном кошмаре / в каком-то кошмаре
⁴⁴⁻⁴⁵ — девушка оказывается с врожденною манией к этому ужасному преступлению! / она оказывается с *маниею* к этому ужасному преступлению!
⁴⁶ — любит с пронизающею все ее существо любовью / любит с материнскою любовью

Стр. 648.

- ² — рассказе дочери сказала «натура» / рассказе дочери оказалась «натура»
⁶ — в «Бр. Крамазовых»; или как турок / в «Бр. Крамазовых»; как турок
⁹ — Еще: как один помещик / Как один помещик
¹⁰ — мальчика лет семи; и как другой мальчик / мальчика лет семи; и другой мальчик
²⁵⁻²⁶ — «поскорее *самой* выйти замуж» / «поскорее самой выдти замуж»
²⁹ — любовь — одни дети, которых она *тайно душила!!!* / любовь — *одни дети!* которых она *тайно душила!!!*

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РОД СОЛОВЬЕВЫХ

Варианты гранок (Гр)

Стр. 648.

- ⁴⁰ — «роди» сынов Всеволода, Владимира, Михаила / «роди» сынов Всеволода и Владимира
⁴¹ — Слов: и еще «проч., и проч.»... — в Гр нет.

Стр. 649.

- ¹⁵ — что можно знать в нашу эпоху / что можно было знать в его время

Стр. 650.

- ³⁵ — с изумительным богатством личности / настроения, с изумительным богатством личности
³⁷⁻³⁸ — смотри страницы / страницы
⁴² — *Слов:* замечательном событии — в *Гр нет.*
⁴⁵ — быстро понаписал / быстро написал

Стр. 651.

- ¹⁹ — *Слов:* вот, в сфере описания и понимания, — в *Гр нет.*
³⁸⁻³⁹ — *Текста:* И посмотрите ~ как все деликатно и благородно. — в *Гр нет.*

Стр. 652.

- ¹⁻² — без которого не мог обходиться Влад. Соловьёв. / А без «базара» не мог обойтись Влад. Соловьёв
¹⁶ — далеко-далеко тонкая, слабая / далеко-далеко тонкая жердочка
²⁰ — поэтесса медленно-медленно / она медленно-медленно
²⁵ — *Текста:* И хочется ответить ей ее же стихом: — в *Гр нет.*
³⁷⁻³⁸ — он имел необычайно длинные / он имел длинные

Стр. 653.

- ¹³ — писали близко знавшие его / писали близко его знавшие
¹⁸⁻¹⁹ — *Слов:* друзья и почитатели — в *Гр нет.*
³² — *Слова:* привлекательно — в *Гр нет.*
³⁵⁻³⁶ — *Текста:* действительно «*всем и еще кем-нибудь*», например занимались даже — в *Гр нет.*

Стр. 654.

- ² — оба — на «ты» / обои — на «ты»
⁷ — были на «ты» / на «ты»
¹³ — «возлюбить всех чужих жен»... / *далее:* Конечно — это привлекательно.

Стр. 656.

- ¹³⁻¹⁴ — вышилась полоска / вышла полоска
¹⁶⁻¹⁷ — Ломка на глаз Русь / Ломка Русь

ОКОНЧАНИЕ «ПИСЕМ СОЛОВЬЁВА»

Варианты гранок

Стр. 658.

- ⁴⁰ — Россия не может не быть благодарна Радлову. / *далее:* а сам покойник, конечно, мигнул ему «спасибо» с того света.

Стр. 659.

- ²² — *Талант* шутки / «Талант» шутки

Стр. 660.

- ¹⁶ — *Текста:* (См. его письмо к Н. Я. Гроту) — в *гранках нет.*
³⁹⁻⁴¹ — *Текста:* И большинство, притом не худших людей, оставляли его или даже делались его противниками. Отсюда его судьба, довольно безрадостная. — в *гранках нет.*

Стр. 661.

- ⁴ — но только духа философа / но только духа философа
⁴⁻⁵ — *Текста:* (при огромных философских способностях) — в гранках нет.

ФРАНЦУЗСКИЙ ТРУД О ВЛАД. СОЛОВЬЁВЕ

Очерк

Варианты гранок

Стр. 697.

- ¹² — В гранках подзаголовок «Очерк» отсутствует.

Стр. 697–698.

- ³⁴⁻¹ — из доброго и доверчивого к ним отношения. / доброго и доверчивого к ним отношения.

Стр. 698.

- ⁶ — есть такие противоречия и совместности! / есть такие противоречия и совместности!
⁹ — делается некоторою «всеобщю евхаристию» / делается некоторой «всеобщю евхаристию»
¹⁰⁻¹¹ — даже «боготворившая» юношу / даже «боготворявшая» юношу
¹⁹ — Одни и те же люди, громкие и тихие, / Одни и те же люди
²³⁻²⁴ — пусть строят другие совсем иное здание — обширный театр / пусть строят другие и обширный театр
⁴¹ — где Соловьёв рассказывает, по собственному признанию, / где Соловьёв рассказывает

Стр. 699.

- ²⁻³ — некоторую «навязчивую идею», овладевшую философом, которая / некоторую «навязчивую идею», владевшую самим философом всю жизнь и которая
⁵⁻⁶ — для него он, стремительно и никому не сказав, уходил в пустыню? / затем он бежал в пустыню?
¹²⁻¹⁴ — точнее, он уже сознал себя «женихом», он уже был «возлюбленным» ~ порывающийся стать супругом. / и — так как мысль, двинувшаяся в известном направлении, и по логике, и по страсти течет неудержимо и дотекает до конца — стать тем, чем каждое «жениховство» естественно завершается и удовлетворяется.
¹⁵⁻¹⁶ — Таким образом, у Соловьёва на степени любимой мечты, но неотступной и с болью, была мысль «овладеть Божественною субстанциею» / Таким образом, у Соловьёва на степени «навязчивой идеи», т. е. полубредового характера, но неотступного и с болью, была мысль «овладеть божественной сущностью», взять ее «в подчиненное себе положение»

Стр. 700.

- ⁶ — дар шумности не всегда совпадает с значительностью; и обратно / дар шумности не всегда совпадает с значительностью; или обратно
²⁴⁻²⁵ — «Аристотель» и «Дюркгейм». / «Аристотель» и «Дюркгейм».

Стр. 700–701.

- ⁴⁴⁻¹ — Работа эта ~ и по переводу не могла не быть очень тяжелою / Работа эта ~ и по переводу очень большая

Стр. 701.

³² — затем два снимка / два снимка

Стр. 702.

⁶⁻⁷ — т. е. вот эту свою самостоятельностью / эту свою самостоятельностью

¹⁴⁻¹⁶ — В противном случае в раю осталось бы много людей, от встречи с которыми «избави Бог», а в ад попали бы люди «ничего себе», / Иначе как в раю остались бы люди, от встречи с которыми «избави Бог», и в ад попали бы люди «ничего себе»,

²⁹⁻³⁰ — Гораздо больше, чем томик, собранный г. Севераком из Владимира Соловьёва, / Гораздо больше, чем том, приведенный г. Севераком,

³² — и у Тургенева (как здесь и там разбросанные афоризмы). / и у Тургенева (как афоризмы).

⁴²⁻⁴³ — были более вдохновениями, чем собственно доказанными мыслями, / были более вдохновениями, чем собственно мыслями,

Стр. 703.

³ — Выковырять ногтем у Неба / Выковырять ножом у Неба

⁵ — а из русских «поговорок» и «поговорок», / а из русских «поговорок»,

⁶⁻⁷ — многие остаются верными, глубокими и правыми до сих пор, несмотря на весь совершившийся с тех пор прогресс. / многие суть истинные и до сих пор, при всем освещении теперешней науки.

²⁰ — в нем ужились гений и безумие / в нем уживались гений и безумие

²⁶⁻²⁷ — побеждал более шумом призванного к «шуму» человека, / побеждал более шумом, к «шуму» призванного человека,

³⁶⁻³⁷ — Его «возлюбленную» оставалась все-таки «теософия», т. е. и не философия, и не богословие, а что-то третье. / Его «возлюбленную» (не в дурном смысле) оставалась все-таки «теософия», — и не философия, и не богословие, а что-то другое, что-то третье.

³⁹ — а не о Христе / и не о Христе

⁴² — и в Каббалу / и в Кабалу

⁴³⁻⁴⁴ — *Текста:* Здесь мы снова припоминаем его «роман с Богом» («Три свидания»). — *в гранках нет.*

⁴⁶⁻⁴⁷ — получивший себе физическую, телесную и именно на поле мужчины и печать... / получивший себе физическую, телесную и печать...

Стр. 704.

¹ — связывавшего не только человека, но и связывавшего Бога. / связывавшего не только человека, но и Бога.

¹⁻² — В Ветхом Завете евреи представлены «требующими» / В Ветхом Завете евреи везде представлены «требующими»

³⁻⁴ — *Текста:* — подумал Влад. Соловьёв... — *в гранках нет.*

⁴ — Если «возможно» / Если «возможно»

⁷⁻⁸ — как что-то будущее, мечущееся и в конце совершенно неясное... / как что-то бурлящее, мечущееся и в корне совершенно неясное...

²⁵ — И все дело в «зове»... / А все дело в «зове»...

Бог «избирает» Сам / Бог «избирает» сам

²⁸ — были «зовы» / были «зёвы»

³¹ — может быть, истинно. / может быть, и истинно.

³¹⁻³² — изгибы души человеческой. / *далее:* тайники души человеческой.

⁴⁰ — слышал «зовы» / слышал «зёвы»

⁴¹⁻⁴² — бросив все дела, реальные дела, диссертацию, темы... / бросив все дела, реальные дела...

⁴⁴ — В наш рациональный век / В наш национальный век

Стр. 705.

³ — «Приди, — манила его „Премудрость“... / «Приди и овладей, — манила его „Премудрость“...»

НЕДОУМЕНΙΑ И НЕДОУМЕНІЯ...

Вариант гранок

Стр. 707.

⁷⁻¹² — В последней книжке «Русск. Богатства» ~ но ничего *понять* о человеке нельзя. / Все-таки жалко, что наши «радикалы» писать не умеют, да кажется не умеют и видеть, наблюдать... Когда кто умрет из них, то точно пишут канцелярскую «отписку» о столоначальнике или начальнике отделения, — с вялыми похвалами, с схематическим очерком лица. Не говорю — взволноваться: но ничего понять нельзя.

¹³ — Напечатанный *портрет* Мельшина-Якубовича так замечательно-прекрасен / Умер «Мельшин» или «Якубович» (я не знаю, которая его фамилия подлинная), напечатанный *портрет* которого так замечательно-прекрасен

³⁰⁻³¹ — Отсюда его усталость, эта ужасная усталость, которую указывает один из «воспоминателей», г. Муйжель, и которая / Отсюда его усталость, эта ужасная усталость, которую указывает у него г. Муйжель, и которая

³⁵ — радикала, что тот в вагоне / радикала, что он в вагоне

Стр. 708.

⁹ — И он вынужден был молчать. / И должен был молчать.

¹⁰ — Вот родник его усталости, наверно! / Вот родник его усталости, — верно!

¹¹⁻¹² — уже он вплыл «в это море», и раз вплыл, то куда же деться? / уже вплыл «в это море», и раз поплыл — куда же деться?

³⁰ — для русской действительности. / для русской действительности, горькой действительности...

³⁴⁻³⁵ — и, как он, отрицавший собственность, конечно, в том числе и свою, не помог материально Белинскому / и, как он, отрицавший собственность, не помог материально Белинскому

⁴⁰ — пока не помогу». Но даже известий не дошло / пока не помогу». А он был почти миллионер и мог. Но даже известий не дошло

⁴²⁻⁴³ — *приятеля*-Краевского? И чего стоят его протесты / *приятеля*-Краевского? и его протесты

Стр. 708–709.

⁴⁷⁻¹ — и как после этого судить нам министров или «постового городского» / и как после этого судить нам царей, министров или «постового городского»

Стр. 709.

⁹⁻¹⁰ — чтобы тоже собраться с силами правительства, / чтобы тоже собраться с силами,

¹² — не в Мадзини дело / не в Мазини дело

¹⁵⁻¹⁶ — Что «правительство» — «правительство» легко исправить. / Что «цари», «царей» легко исправить.

- ¹⁸ — И когда бы вы почувствовали / И когда вы почувствовали
²⁴ — занимались на Руси «Земляники»... / занимались на Руси только «Земляники»...

Л. Н. ТОЛСТОЙ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ

Варианты белого автографа (БА)

Стр. 741—742.

- ³⁸⁻¹² Авторского предисловия к статье: Настоящая статья была написана по просьбе г. редактора журнала «Revue contemporaine» ~ русский ее оригинал печатается теперь впервые. В. Р. С.-Петербург. 25 сентября 1911 г. — в БА нет.

Стр. 742.

- ¹⁴ — Слов: с его впечатлением в обществе — в БА нет.
⁴² — свою собственную «церковную историей» / свою собственную «церковную историю»

Стр. 743.

- ⁹⁻¹⁰ — то духовенству субъективно он представился / то церкви субъективно он представился
³⁵⁻³⁶ — Текст: не старалось приугиить — в БА без курсива.
³⁹⁻⁴⁰ — Текст: упрямой и трудолюбивой, трезвой жизни. — в БА без курсива.
⁴³ — если убийство случилось / когда убийство случилось

Стр. 744.

- ² — Текст: святых людей — в БА без курсива.
³⁻⁴ — Текст: тесный, трудолюбивый человек, сознательный в своем долге и совестливый в обязанностях. — в БА без курсива.
⁷ — Текст: дух и история — в БА без курсива.
⁸ — каждому из личной жизни / каждому из личной жизни каждого
⁴⁰⁻⁴¹ — Текст: благостивой жизни. — в БА без курсива.

Стр. 745.

- ³ — тем, что каждый русский знает / что каждый русский знает
¹⁴ — и на славу, на уважение другими, на почет / и на славу, уважение другими, почет
¹⁸ — Текст: мыслей и желаний — в БА без курсива.

Стр. 746.

- ²⁹ — переиначил случай, которого случайно был зрителем. / далее в БА: Так мне рассказывал сам Толстой.
³⁰⁻³⁶ — Текста: Именно, — Толстой раз видел, как такой «старец» ~ и спасайтесь, молясь: три вас, три нас — спаси нас». Так мне рассказывал сам Толстой. — в БА нет.
⁴³⁻⁴⁴ — Таким образом, подобный «святой» есть собственно «исцелитель» болящей душою России / Таким образом, такой «святой» есть собственно «исцелитель» болящей душою
⁴⁶ — иногда даже на всю нашу землю. / иногда даже на всю Россию.

Стр. 747.

- ¹ — Но это — законченный образ «святого». / Но это — достигнутый образ «святого».
 Текст: приближения — в БА без курсива.

- ¹² — особенного духовного настроения / особенного душевного настроения
¹³ — Это духовное настроение / Это душевное настроение
²² — Есть ежедневная молитва о том / Есть молитва о том
³² — Россия немедленно дезорганизовалась бы / В БА над словом дезорганизовалась *вписан вариант* развалилась, а ниже *вариант* преобразилась; *изменения в текст не введены.*

Стр. 748.

- ⁶⁻⁷ — все это осталось бы истиною, все это останется прекрасным и глубоким. / все это остается истиною, все это остается прекрасным и глубоким.
²³ — *интонации* живого голоса / *интонаций* живого голоса
³⁸ — тайны противоположных христианских чувств / тайны других христианских чувств

Стр. 748—749.

- ⁴²⁻¹ — *Текст: это есть лигный гений ~ твердых и неисповедимостях.* — в БА не содержит выделений курсивом.

Стр. 749.

- ² — он гениальнее / он был гениальнее
⁴ — велики, мудры, поэтичны / велики, могучи, мудры, поэтичны
⁶ — в одежде мужичка и странника / в образе мужичка и странника
⁹ — *Текст: также и духовно.* — в БА не содержит выделения курсивом. действительно перестает быть / действительно переставал быть
¹⁰⁻¹¹ — мучающегося всеми человеческими сомнениями. / мучащегося всеми человеческими сомнениями.
¹⁴⁻¹⁵ — она религиозно была... не выше, но массивнее, серьезнее, страшнее всех учений Толстого / она религиозно была выше всех учений Толстого
²⁰⁻²¹ — но могло бы и «не дозволить». / а могло бы и не дозволить.

ИЗ ЖИТЕЙСКИХ ВСТРЕЧ. К. М. ФОФАНОВ

Варианты гранок

Стр. 775.

- ¹⁻² — Из житейских встреч. К. М. Фофанов / [Из жизненных встреч.] К. М. Фофанов
¹³ — он иначе, как прося, и не приходил никуда / он иначе, как с нуждою, и не приходил сюда
³⁴ — Ибо даже к нему приближений / Ибо приближений даже к нему
³⁹⁻⁴⁰ — кроме редчайших / *далее: невыносимых и*

Стр. 776.

- ² — им любимого писателя / его любимого писателя
¹⁰ — не было никогда / никогда не было
¹⁶ — была вся литературная / была всё литературная
³⁵ — будет беспокоиться, ждать. Невозможно. / *далее: Я на вокзал.*
⁴⁰ — и сам беспокоится / *далее: этим беспокойством*
⁴³ — И ответно пользовался / И ответно он пользовался

Стр. 777.

- ³ — только «взять и тронуться в путь» / только бы «взять и тронуться в путь»
⁷ — нет его воли. / нет его *воли.*

- 21 — это кому-нибудь нужно... / это было кому-нибудь нужно...
 22 — когда «пили чай», / *далее*: то
 42 — и вошли в детскую спальню!! / и вышли — в детскую спальню!!

Стр. 778.

- 7 — И все такие раскосые / И все они такие раскосые
 26 — что обвинение его — вздор / что обвинения его — вздор
 33-34 — и потому-то, и потому-то / потому-то и потому-то

Стр. 779.

- 1-2 — нет «виновных» / *далее*: и «правых»
 2-3 — *Текста*: и как же вы ее введете туда, где и не было никакого «закона» — *в гранках нет*.
 30 — Что у него «удивительная душа» — конечно / Что у него «удивительная душа» —

Стр. 780.

- 10 — я у него не слышал / я у него не слышал
 27 — Задрожали листья изумрудные / Задрожали листья изумрудные

К 20-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА (1891 — 12 ноября — 1911)

Варианты гранок

Стр. 785.

- 9 — изучения богословской / изучения и богословской
 24 — разговоры / рассказы
 33 — К. Н. Леонтьева / К. Н. Леонтьева

Стр. 786.

- 2 — В самом деле / На самом деле
 9 — в самом / *в самом*
 11 — нравственная чистота / *нравственная гистота*
 32 — А. В. Коровина / А. В. Королева

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ ДОБРОЛЮБОВА

Вариант НВ

Стр. 788.

- 2-3 — как составлялось оно, — / как составлялось оно, — очевидно, редактором
 4 — самого издания / всего издания
 19 — или Шашкова, или Цебриковой... / *далее*: В чем есть что-то «унизительное и оскорбительное», оскорбленное идейной, собственной незначительностью, «на роду написанной» и которую уже не поправить.
 19-20 — Таков Лемке, который будет еще / Он будет еще
 21 — долго компилировать... / *далее*: И ведь напустит желчь неудачного человека.
 24-25 — тех лет исторической России, в которые сам он, Добролюбов, выдвинулся / пламенную атмосферу тех авторов, в которые сам он выдвинулся
 26 — шумела вокруг Добролюбова / шумела вокруг него

- 34 — И недолгая жизнь / И его недолгая жизнь
 34-35 — этому способствовали: / способствовали этой чистоте и цельности:
 35 — иногда смерть сберегает людей / где смерть сберегает людей
 37 — и еще ничего не началось в «осуществлении»... / и еще ничего — в «осуществлении»...

Стр. 789.

- 5-6 — ни покоя по уголкам / ни покоя «по уголкам»
 7 — идет как по стиху Лермонтова / все повторяет стих Лермонтова
 8-10 — И отзыв мыслей благородных Звучал, как колокол на башне вечевой, Во дни торжеств и бед народных... / И отзыв мыслей благородных Звучал, как колокол на башне вечевой, Во дни торжеств и бед народных...
 14 — Прелестнее краткая / Выше краткая
 14-15 — яркая жизнь: / далее: выше и даже прелестнее
 16 — эти вспыхивающие и быстро гаснущие огоньки. / эти огромные вспыхивающие и быстро гаснущие огни...
 планете нужны / планете нужны
 17 — будущему нужны. / будущему нужны.
 21-22 — За то, что он / далее: просто и вообще есть
 22 — Его уже давно / Сейчас его уже
 23 — своевременно всей России / своевременно всей России
 32-33 — все был юношей / все еще был юношей
 33 — точно прожил / точно уже прожил
 36 — Некрасов — средний возраст всю жизнь / Ну, вот Некрасов — средний возраст 32-х лет всю жизнь

РОКОВОЕ В НАСЛЕДИИ ТОЛСТОГО...

Варианты БА, Гр НВ

Стр. 791.

- 40 — Роковое в «наследии» Толстого... / Около «наследия» Толстого... БА; Гр НВ?
 42 — своему благодетелю / своему обладателю БА; Гр НВ

Стр. 792.

- 17 — его обладательницей, его крепкою держательницей / обладательницей его и крепкою держательницей БА; Гр НВ?
 18-19 — Самое сохранение им в тайне нескольких уже законченных / Самое непечатание им при жизни законченных БА; Гр НВ?
 33 — И была прекрасная мать / И прекрасная мать БА; Гр НВ?
 39-40 — всего «яснополянского гнезда» / всего «яснополянского поезда» Гр НВ?

Стр. 793.

- 2 — страшные минуты «астановской катастрофы» / страшные минуты «Астаповской катастрофы» БА; страшные минуты «астаповской катастрофы» Гр НВ
 5 — отделив его фигурой / оттенив его фигурой БА; Гр НВ
 14-19 — Текст: Всегда была ярка около Толстого ~ «одна из дочерей Толстого». — в Гр НВ выгертнута, а затем восстановлен, о чем сделана запись на полях: «печатать».
 21 — единственная младшая дочь, Александра Львовна. / в БА слов нет; в Гр НВ слова вписаны
 25 — в «Воскресенье» / в «Воскресеньи» БА; Гр НВ

- 30 — Прийти к матери / Придти к матери БА; Гр НВ
 35 — ожидалось бы / ожидалось ли БА; Гр НВ?
 37 — их была ты / их была ты БА; Гр НВ?
 38 — можешь быть только ты. / можешь быть только ты. БА; Гр НВ?
 41 — и ты возьми / и ты возьми БА; Гр НВ?

Стр. 794.

- 5 — именно Россия / именно Россия БА; Гр НВ?
 6 — (кроме рукописных) / в БА слов нет; в Гр НВ слова вписаны
 10-11 — Все это — в нравственном и, позволим сказать, в религиозном смысле — есть достояние, наследие России. / Все это — собственность и наследие России, даже в «заповедных» художественных его произведениях, и особенно в произведениях, еще не изданных БА; Гр НВ?
 13-23 — Текст: Очевидно, молоко от коровы ~ еще хуже, — по тенденции. в Гр НВ вытеркнут, а затем восстановлен: на полях против него — помета «печатать». После слов еще хуже, — по тенденции. в БА следует текст: Около умирающего Толстого была почему-то не одна Александра Львовна, но она и с нею вместе «роковой муж». Если они были «вместе» около умирающего, очевидно, «вместе» не допустили мать до него, — то не разольется ли во всей России тревога и опасность, что и «редакция произведений Толстого» будет производиться тоже «вместе». Но бесцеремонность и тупость Черткова всем известна; его беспощадный сектантский дух, не церемонящийся чужим «духом» и еще менее с чужим словом, с чужою буквою — тоже ни от кого не скрыть. И его «редакция» будет безусловно принята с отвращением и враждою всей Россией. В Гр НВ текст вытеркнут.
 21-22 — В газетном тексте статьи от слов должен дать до «перефасонено» по непониманию, содержится дефект, связанный с пропуском части текста в Гр НВ. В БА текст гитается: должен дать стране полное удостоверение в том, что драгоценное наследие не будет «перефасонено» по непониманию, а в Гр НВ — должен дать стране полное удостоверение дет часть слова будет, после пропуска предыдущих «перефасонено» по непониманию. Смысловая достаточность фразы возможна при введении тире (либо двоеточия): должен дать стране полное удостоверение — «перефасонено», по непониманию.
 24 — Вот отчего вся Россия / ^а как в тексте ^б. Вся Россия Гр НВ
 32-33 — собственности самого завещания. / собственности самого завещателя. БА; Гр НВ
 36-37 — Еще тоньше или «казуистичнее» она может поступить, — раз все поставлено на карту казуистики, — отпечатав толстовский текст / Еще тоньше она может поступить, даже отпечатав их текст, БА; ^а как в БА ^б Еще тоньше или «изумительнее» она может поступить, раз все поставлено на почву казуистики, — отпечатав текст
 38-39 — и предоставив «законным наследникам» печатать с обозначением цены — только одну обложку / и предоставив печатать — с обозначением цены — только одну обложку Александре Львовне, БА; Гр НВ?
 39-40 — и затем, предоставив ей в собственность, за вычетом — расходов по печатанию, всей массы книг, как товара / и затем отпечатанные экземпляры ~ со счетами типографии. БА; Гр НВ?
 40-41 — Александра Львовна есть наследница / Наследники по завещанию суть наследники БА; Гр НВ?
 47 — и отрава душ... / и отрава дум... Гр НВ?

В гранках после текста проставлена дата: 1911.; подпись В. Розанов заменена на В. Варварин, которая зачеркнута.

ПРОФ. В. И. ГЕРЬЕ
И ЕГО ТРУД О ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Загеркнутые варианты

- 1 «Откуда-то приходит...»
 2 за что-то
 3 Один
 4 благородств[ал]
 5 «раздраженность»
 6 все меняет
 7 желаемому
 8 кафедре
 9 яз...
 10 относился
 11 относитесь
 12 в наше время
 13 в стороне
 14 работал одушевленное
 15 Петербурга
 16 «дело»
 17 стоит вообще на стороне
 18 или своего местного попечителя
 19 таковые репрессии недолюбливает
 20 перестал бы сбивать пух с ученых
 21 легко
 22 т. е.
 23 тожества
 24 «divide et impere»
 25 солидарного
 26 вместе»
 27 «нас»
 28 сам
 29 будет
 30 государственным
 31 личностей
 32 она какая
 33 этого не сдержали
 34 Но все-таки как-то представления о «культуре» говорят, что «автономия» справилась бы и именно не допустила Желябова; именно она настолько подняла бы ученый и учебный дух университета, подняла бы его в 20 лет влияния, что *само студенчество* уже не пустило бы к себе Желябова, или не повиновалось бы ему как «чуду», «тесто», стадо баранов. В *этом все и дело*. А к этому Толстой и Л. Меликов были бессильны, «автономия» же это может, *для автономии это естественно*
 35 свободы
 36 полиц...
 37 созидании
 38 В. Розанов II

КОММЕНТАРИИ

СТАТЬИ 1908—1911 гг.

1908

О «РУССКИХ БОГОИСКАТЕЛЯХ»

(с. 15)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка статьи – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 125. Л. 5–7. В гранках зачеркнута подпись «В. Розанов» и чернилами вписано: «В. Варварин». См. *Варианты*.

Напечатано: Живая Жизнь. 1908. 1 янв. № 1. С. 5–8.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 285–287).

Печатается по тексту первой публикации.

Поводом к публикации статьи послужил очерк Н. А. Бердяева «Русские богоискатели» (Московский Еженедельник. 1907. № 29. С. 18–28).

С. 15. *Величины, которыми можно пренебречь* – термин Б. Паскаля. Так он называл ту величину, которая меньше данной величины.

С. 16. *...не меньше Никейского символа...* – Никейский Символ веры был принят Церковью на I Вселенском соборе в Никее (325 г.).

НЕКРАСОВ В ГОДЫ НАШЕГО УЧЕНИЧЕСТВА

(с. 17)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 190. Л. 4.

Впервые напечатано: РС. 1908. 10 и 15 янв. № 8 и 12. Подпись: *В. Варварин*. 15 января измененное название: «Некрасов в пору нашего ученичества».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 244–255).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 16. *Цусима* – сражение 14–15 мая 1905 г. в Корейском проливе у острова Цусима, где во время Русско-японской войны японский флот разбил русскую Тихоокеанскую эскадру. Символ поражения.

С. 17. *...«Колыбельную песню» его, которую так осуждал ~ Вольнский...* – «Колыбельная песня» Некрасова написана в 1845 г., А. Вольнский писал о Некрасове в своей «Книге великого гнева» (СПб., 1904. С. 209–210).

...в 1873 г. ~ учеником 3-го класса – Розанов закончил 3-й класс в Симбирске в 1872 г., и летом того же года старший брат Николай перевез его в Нижний Новгород.

С. 18. ...негр Бичер-Стоу... — имеется в виду роман американской писательницы Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852; рус. пер. 1857).

...«ударил по сердцам с неведомою силой»... — А. С. Пушкин. Ответ Анониму (1830).

С. 18. ...перед 17-м октября... — 17 октября 1905 г. Николай II подписал Манифест о даровании основ гражданской свободы».

С. 19. ...«три года скажи, — не доскажешь»... — Н. В. Гоголь. Ревизор. I, 1.

С. 20. В барском доме была угена... — Н. А. Некрасов. В дороге (1845).

С. 21. Натогивши широкий топор... — Н. А. Некрасов. Вино (1848).

С. 22. ...один из 4-х ~ томов Некрасова... — В 1873—1874 гг. в Петербурге были изданы «Стихотворения» Некрасова в 3 томах (6 книгах), которые, очевидно, имеет в виду Розанов.

По Высочайшему повелению... — Высочайшее повеление было подписано императором 24 мая 1878 г. и направлено против антиправительственной пропаганды.

С. 24. «В лесах» — роман П. И. Мельникова-Печерского (РВ. 1871—1875; отд. изд. М., 1875). Слова из этого романа Розанов взял эпиграфом к статье «Тенор журналистики» (Слово. 1903. 18 дек.; см. во втором томе настоящего издания).

К. В. В-ский — товарищ Розанова по Московскому университету К. В. Вознесенский, с которым Розанов поддерживал отношения до самой своей смерти в Сергиевом Посаде. См. статью о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 199).

ВЯЧЕСЛАВ СИЛЬВЕСТРОВИЧ РОССОЛОВСКИЙ

(Некролог)

(с. 27)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 11 янв. № 11434. Подпись: Р.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 287—288).

Печатается по тексту первой публикации.

Россоловский Вячеслав Сильвестрович (1849—1908) — журналист, сотрудник «Нового Времени», работавший вместе с Розановым. См. о нем статью в «Розановской энциклопедии» (с. 832). Свои статьи в «Новом Времени» часто подписывал инициалами В. С. Р. Издателем «Нового Времени» с 1872 г. был Ф. Н. Устрялов, с 1874 г. К. В. Трубников, а с 29 февраля 1876 г. стал А. С. Суворин.

С. 27. ...на время турецкой кампании... — имеется в виду Русско-турецкая война 1877—1878 гг.

Л. АНДРЕЕВ И ЕГО «ТЪМА»

(с. 28)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 207. Л. 8.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 25 янв. № 11448.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 255—261).

Печатается по тексту первой публикации.

См. статью о Леониде Николаевиче Андрееве (1871—1919) в «Розановской энциклопедии» (с. 68—70).

С. 28. «Тьма» — рассказ Л. Н. Андреева в третьей книге «Литературно-художественного альманаха издательства „Шиповник“» (СПб., 1907).

С. 28. «Иуда Искариот и другие» — рассказ Л. Н. Андреева в книге 16 «Сборника товарищества „Знание“ за 1907 год» (СПб., 1907). См. статью Розанова «Русский „реалист“ об евангельских событиях и лицах» (НВ. 1907. 19 июля; наст. изд. Т. 3. С. 581—588).

С. 29. ...*Л. Андреев со своим «Лодыжниковым»...* — Перед публикацией рассказа в альманахе «Шиповник» напечатано объявление о том, что «переводчиков просят обращаться за разрешением на перевод и за справками к представителю автора И. П. Ладъжникову» (приводится берлинский адрес издателя Ивана Павловича Ладъжникова).

...*знаменитой поцегине, которую Николай Ставрогин...* — Ф. М. Достоевский. Бесы. I, 5, 8.

С. 30. *А ведь я ругку-то у вас не поцелую.* — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. 1. Кн. 3. § X.

«Убивец» — рассказ В. Г. Короленко (Северный Вестник. 1885. № 1).

...*Христос воскрес, только побывав в аду.* — Евангелисты не пишут прямо об этом. Христианский догмат о сошествии Христа в ад основан на «Деяниях св. апостолов» (2, 31); см. также 1 Петр 3, 19—20.

С. 31. ...*«ел и пил с блудницами и мытарями».* — Мф 9, 10.

С. 33. *Я не тебе поклонился.* — Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. 4, IV.

АВТОР «БАЛАГАНЧИКА» О ПЕТЕРБУРГСКИХ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЯХ (с. 33)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 174. Л. 3.

Впервые напечатано: РС. 1908. 25 янв. № 21. Подпись: *В. Варварин.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 262—272).

Печатается по тексту первой публикации.

Статья Розанова представляет собой отклик на статью А. Блока «Литературные итоги 1907 года» (ЗР. 1907. №11/12. С. 91—98). «Балаганчик» — первая часть трилогии «Литературные драмы» (альманах «Факель»: СПб., 1906. Кн. 1; поставлена в театре В. Ф. Комиссаржевской 30 декабря 1906 г.). Об отношении Розанова к А. Блоку см. статью С. Р. Федякина в «Розановской энциклопедии» (с. 137—144).

С. 33. ...*«кто истинно счастливый человек?»* — Тема счастья человека особенно волновала Н. М. Карамзина в течение десятилетия с 1793 по 1803 г., что отражено в философском трактате, состоящем из трех частей: «Мелиодор к Филолету», «Филолет к Мелиодору» и «Разговор о счастье. Филолет и Мелиодор», в которых запечатлелась эволюция убеждений писателя после Французской революции, противопоставившего французским просветителям свое понимание счастья. Позднее Розанов вернулся к мысли о Карамзине в статье «Кто истинно счастливый человек» (Из тем Карамзина) (МВ. 1916. 2 и 6 июля).

С. 34. «Золотое Руно» — журнал миллионера П. П. Рябушинского, издававшийся в Москве в 1906—1909 гг. Розанов печатался в нем в 1906 и 1907 гг. См. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 1498).

Все ничто в сравнении с вегностью И с соленым огурцом... — А. Н. Островский. Волки и овцы. II, 5 (из реплики А. В. Мурзавецкого). В сочинении «Русский Нил» (1907) Розанов

нов, вспоминая свои гимназические годы, поясняет, что так «шутят гимназисты» (Собр. соч. Т. 16. С. 198).

С. 35. *С яйца* — Гораций. Наука поэзии, 147.

«суета сует» — Еккл 1, 2.

С. 36. *...ярлык с надписью «идиотство» к стихам самого Блока...* — см.: «И старшие богатыри декадентства, и младшие как будто наперерыв друг перед другом стараются о том, чтобы выказать в наибольшем блеске <...> свое идиотство, искреннее и подлинное или деланное и шутовское — все равно, но сумасшествие и идиотство несомненное» (*Буренин В.* Новые плоды декадентства // *НВ.* 1904. 7 нояб. № 10305. С. 5). Журналист В. П. Буренин сочинял грубые пародии на стихи А. Блока, который не только знал их наизусть, но и часто читал вслух (А. Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 1. С. 381).

С. 40. *Буйного веселья...* — Ап. Григорьев. Цыганская венгерка (1857).

С. 42. *...неудачного «мужика»...* — речь идет о поэте Н. А. Клюеве.

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

(с. 42)

Автограф неизвестен.

Сохранилась машинопись с подписью: В. Розанов — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 65–68. См. *Варианты*.

Впервые напечатано в кн.: О Толстом. Международный толстовский альманах / Сост. П. Сергеевко. М.: Изд-во «Книга», 1909. С. 284 — 291. В конце статьи: Петербург. 1908. Апрель.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 319–323).

Печатается по тексту первой публикации.

В письме к Толстому 16 января 1903 г. Розанов объяснял причину, побудившую его просить Толстого о разрешении посетить его в Ясной Поляне: «Глубокоуважаемый Лев Николаевич! Чтение в „Миссионерском Обозрении“ [1903. № 1] длинной беседы с Вами священника Смирягина пробудило во мне сильнейшее желание увидеть Вас. „Так это возможно свящ., почему же невозможно мне“. Но я не стану обременять Вас длинными беседами, — так, может быть, что-нибудь скажем друг другу, что минута подскажет. Вообще я буду прилагать все старания не утомлять Вас. Как мне ни больно Вас просить об этом, но если Вы мне позволите к Вам приехать, не откажите разрешить со мною посетить Вас и жене моей. Она женщина не навязчивая, скромная, совершенно без праздного любопытства, но любит меня давнишнею любовью и хорошая христианка... Она много чище меня сердцем. Я больше стараюсь быть чистым, чем умею. Бывает, кровь от человека природно добрая, — и тогда ему добро легко дается, само нисходит (такова жена моя). Такой крови у меня нет. И я понимаю добро, а делаю его плохо. Мотивы желания увидеть Вас — очень разнообразны. Человек — я думаю — факт природы, и бывают факты обыкновенные и чрезвычайные. С другой стороны, я один раз живу в жизни. Не увидев Вас, я нечто потеряю, но, поверьте, — не в смысле любопытства, которого у меня вовсе чрезвычайно мало. Но, может быть, я чем-нибудь поражусь, новое для себя открою, новая вереница мыслей почнетсся.

Вот сумма смутных причин, по которым я очень, очень хотел бы увидеть Вас. И если Вы не имеете ничего против — не откажитесь поручить ближним ответить мне, можем ли мы вдвоем приехать к Вам в Ясную Поляну? Ваш искренне В. Розанов (сотрудник „Нов. Вр.“)» (РГБ. Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 44. Л. 1–2).

21 января Толстой отвечал Розанову, «что еще слаб после болезни», и обещал написать, если поправится. 1 февраля Розанов вторично писал Толстому о своем желании увидеться с ним. Не получив ответа, Розанов в конце февраля пишет Толстому третье

письмо: «Вам так, очевидно, несимпатична мысль о моем посещении, что прошу Вас не считать себя связанным обещанием ответить мне о времени и месте и вообще о согласии. Симпатии и антипатии — неразрешимы в доводы, доказывания. У меня есть горечь по поводу этого, но не острая и не жгучая. Тяжело быть неприятным великому человеку, но нужно уметь переносить тягости... Ответа я не буду ждать» (Государственный Литературный музей. Летописи. Кн. 2: Л. Н. Толстой. М., 1938. С. 225).

На это Толстой отвечал 28 февраля 1903 г.: «Василий Васильевич, очень сожалею, что вы мое — непродолжительное — молчание несправедливо приняли за нежелание познакомиться с вами и вашей женой. Я очень медленно поправляюсь и только на днях стал выходить и почувствовал себя крепче. Надеюсь, что вы теперь исполните и ваша жена ваше намерение посетить меня. Теперь я особенно усердно прошу вас об этом, так как мне было бы очень больно думать, что я вызвал неприятное чувство в добро расположенном ко мне человеке, которого я знаю по Н. Н. Страхову. Он любил и ценил вас, а я всегда с любовью вспоминаю про милого, доброго, ученого, смиренного и не по заслугам любившего меня Страхова. Надеюсь, что до свидания. Если телеграфируете, то вышлем за вами лошадей» (Там же).

С. 42. *Это было зимою, года три тому назад.* — Розанов приезжал в Ясную Поляну с женой 6 марта 1903 г.

С. 43. *Микелю Анджели Моисей...* — речь идет о скульптуре итальянского скульптура и живописца Микеланджело Буонарроти «Моисей» (1515–1516) в Риме.

...Моисей был плюгавым. — В русском языке понятие «плюгавый» (невзрачный, жалкий по виду) встречается с начала XIX в. Пушкин в эпиграмме «На Каченовского» (1818) писал: «Плюгавый выползок из гузна Дефонтена».

А когда увидишь — удиляешься. — К этим словам сделано примечание редакции альманаха о том, что Розанов «не первый описывает Л. Н. Толстого как человека маленького роста. На самом деле Л. Н. выше среднего роста».

«Исповедь» — религиозно-философский трактат Толстого, написанный в 1879–1881 гг. Номер журнала «Русская Мысль» (1882. № 5), где «Исповедь» была опубликована под названием «Вступление к неопубликованному сочинению», был запрещен и конфискован. Отдельное издание вышло в Женеве в 1884 г.

С. 44. *Парфенон* — древнегреческий храм Афины на акрополе в Афинах. Разрушен в 1687 г.

Капитолий — храм на Капитолийском холме Рима. Освящен в 509 г. до н. э., существовал до VI в.

«Неделание» — название статьи Л. Н. Толстого (Северный Вестник. 1893. № 9), в которой утверждается принцип ненасилия как центральный для христианского учения.

...с «никонианами». — т. е. со сторонниками патриарха Никона, проведшего в 1650-е гг. церковную реформу, противники которой стали называться старообрядцами.

С. 45. *Кит Китыг* — так в комедии А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856) называют купца-самодура Тита Титыча Брускова.

«Загорел» — «зачиврел» (Воскресение. II, 5).

...прямо ответив на мой вопрос. — в рукописи в РГАЛИ после этого следовали еще два абзаца, отсутствующие в печатном тексте (см. *Варианты*).

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ С. Н. ШУБИНСКОГО

(с. 46)

Автограф неизвестен.

Первые напечатано: *НВ*. 1908. 1 апр. № 11514. Подпись: *В. Р-вз*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 295).

Печатается по тексту первой публикации.

Шубинский Сергей Николаевич (1834–1913) — историк, редактор журналов «Древняя и Новая Россия» (1875–1880) и «Исторический Вестник» (1880–1913), автор книг «Рассказы о русской старине» (СПб., 1871), «Черты и анекдоты из жизни императора Александра I» (СПб., 1877), «Из жизни русских писателей. Рассказы и анекдоты» (СПб., 1882). Первое издание его «Исторических очерков и рассказов» вышло в Петербурге в 1869 г., шестое — в 1911 г. (переиздано издательством «Московский рабочий» в 1995 г.). См. о С. Н. Шубинском статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 1193–1194).

КРАСОТА МОЛЧАНИЯ (К юбилею Л. Н. Толстого) (с. 47)

Автограф неизвестен.

Сохранилось два экземпляра гранок статьи в НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 56а, 63.

Впервые напечатано: НВ. 1908. 3 апр. № 11516.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 296–297).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 47. *Сколько их, куда их гонят...* — А. С. Пушкин. Бесы (1830).

ПАМЯТИ Ф. И. БУЛГАКОВА (с. 48)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 10а–14.

Печатается впервые по гранкам РГАЛИ.

Булгаков Федор Ильич (1852 — 31 марта 1908) — журналист, художественный критик, с 1897 г. редактировал «Новый Журнал Иностранной Литературы, Искусства и Науки», где Розанов печатался в 1900 и 1901 гг. С 1900 г. Булгаков — ответственный редактор «Нового Времени».

С. 50. *Тантал* — в древнегреческой мифологии фригийский царь, обреченный богами на вечные муки: стоя по горло в воде, он не мог утолить свою жажду.

ОКОЛО НАРОДНОЙ ДУШИ (с. 51)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1908. 20 апр. № 11531.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 297–301).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 52. *А и поклонилась бы Спесь отцу-матери...* — неточная цитата из стихотворения А. К. Толстого «Ходит Спесь, надуваучись...» (1856).

С. 53. ...социалисты, марксисты и прог., — всегда были душевно неразвитые люди... — Критика Розановым интеллигентского отношения к народу продолжает мысли статьи М. Н. Каткова «Наше варварство — в нашей иностранной интеллигенции», опубликованной в «Московских Ведомостях» 28 апреля 1878 г. (см.: Катков М. Н. Собр. соч.: В 6 т. СПб., 2011. Т. 2. С. 405—409).

Назовем... эту сторону души «метерлинковскою» — Розанов использовал имя бельгийского писателя Мориса Метерлинка для обозначения антипозитивистского направления, противостоящего «нигилистам, экономистам, историческим материалистам». Подробнее Розанов пишет об этом в статье «О народной душе», опубликованной неделю спустя (см. в этом томе).

С. 54. ...в минувший день Пасхи — В 1908 г. Пасха пришлась на 13 апреля. Накануне в Москве было самое большое наводнение.

«СВОИ ЛЮДИ» ПОССОРИЛИСЬ...

(с. 55)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 27а. В вырезке правка Розанова черными чернилами учтена в публикуемом тексте. Эту правку см. в *Вариантах*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 21 апр. № 11532.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 301—304).

Печатается по тексту первой публикации с правкой Розанова.

Поводом для статьи Розанова стала публикация: *Минский Н.* Леонид Андреев и Мережковский // *Наша Газета*. 1908. 16 марта. Н. Минский написал ответ В. Розанову под названием «Забвенная душа» (Речь. 1908. 27 мая. № 125): «В двух статьях, направленных против меня, Розанов указывает на противоречие, которое будто бы существует между возражениями, которые я теперь делаю Мережковскому, и теми религиозными идеями, которые я проводил на религиозно-философских собраниях. Я не намерен вступать с Розановым в спор о религиозной истине, но я не могу оставить без ответа его статей, в которых допущено много фактической неправды. Говоря о моем участии в религиозно-философских собраниях, Розанов сообщает о факте, о котором до сих пор не упоминалось в печати, а именно, о докладе, который я читал „перед лицом высокопоставленного иерарха“ и перед лицом „соиерархов“. Кроме самого факта моего чтения у петербургского митрополита в присутствии многих духовных и светских людей, все рассказы Розанова с начала до конца сплошная неправда». Говоря о двух статьях Розанова против него, Минский вспоминает публикацию Розанова «О „Двух путях“ Минского» (*НП*. 1903. № 10).

Журналист Л. Галич (псевдоним Л. Е. Габриловича) отозвался резко критически об этой статье Розанова в заметке «Свой человек оболгал» (Речь. 1908. 23 апр.): «“Сидели, сидели в одном гнезде и рассорились”, — пишет Розанов о Минском и Мережковском, о своих вчерашних покровителях и друзьях. Автор осторожно умалчивает, что сидел еще в гнезде кто-то третий, сидел, вдобавок, в самом теплом углу, и этот кто-то, неизвестно зачем, теперь старается по примеру плохой птицы огадить гнездо». Речь идет о разделе «В своем углу», который Розанов в 1903 г. вел в журнале «Новый Путь», одним из руководителей которого был Мережковский; близок к журналу был Минский.

27 апреля 1908 г. Л. Галич напечатал в «Речи» свой «Последний ответ», который закончил весьма вызывающе: «Розанов ужасно обиделся, что я назвал его „заласканным“ писателем, и боится, не ласкал ли я его, потому что в таком случае он „должен оговориться, что ласки некоторых господ чрезвычайно марают“. Я понимаю опасения г. Розанова:

после бани, заданной ему покойным Влад. Соловьёвым, есть основания чувствовать себя чистым».

С. 55. *...об «истине идеалов церкви, и в особенности монашеского».* — В своем ответе на статью Розанова Минский утверждал: «Статьи „об истине идеалов церкви и т. д.“ я никогда не писал, мне, в то время печатавшему труд о мэонизме, самое заглавие кажется злою шуткой» (*Минский Н.* На общественные темы. СПб., 1909. С. 240).

С. 56. *...посылая статью за статьей в газеты, где доказывает все литературное ничтожество ~ Мережковского...* — Итогом выступления Минского против Мережковского стала статья «Абсолютная реакция (Религиозные идеи Мережковского)» в газете «Слово» 29 июня 1908 г., вошедшая в его книгу «На общественные темы».

...Христа я признавал ~ Судией мира. — *Розанов В.* Об основаниях церковной юрисдикции, или О Христе — Судии мира // Новый Путь. 1903. № 4. С. 134—150 (в книгу Розанова «Темный Лик». СПб., 1911 — вошло под названием «Христос — Судия мира»).

...«на земле встречаются разные народы»... — *Геродот.* История. I, 131.

О НАРОДНОЙ ДУШЕ

(с. 58)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ.* 1908. 28 апр. № 11539.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 305—308).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 58. *Когда я упомянул о Метерлинке, то имел в виду одну его пьесу...* — речь идет о драме «За стенами дома» (1894) в первом томе Сочинений М. Метерлинка в 3 томах (СПб., 1907), к которому Розанов написал послесловие.

Цусимский бой — поражение русского флота 14—15 мая 1905 г. в Корейском проливе у острова Цусима во время Русско-японской войны 1904—1905 гг.

С. 59. *Скужно, скужно, ящик удалой!..* — Н. А. Некрасов. В дороге (1845).

Бес благородный скуки тайной... — Н. А. Некрасов. «Отрадно видеть, что находит...» (1845).

«последние могоканы» — название романа Фенимора Купера «Последний из могокан» (1826) породило выражение, означающее последнего представителя чего-либо (могоканы — вымершее племя индейцев Северной Америки).

ПЕСТРЫЕ ТЕМЫ

(с. 61)

Автограф неизвестен.

Сохранились вырезки из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 138. Л. 15 (статья V). Ед. хр. 133а. Л. 17 (статья VI). Ед. хр. 136б. Л. 40 (статья № VII). Ед. хр. 136б. Л. 39 (статья VIII).

Впервые напечатано: *РС.* 1908. 30 апр., 13, 22, 25 мая, 1, 8, 12, 14 июня. № 100, 110, 118, 120, 126, 132, 135, 137. Подпись: *В. Варварин.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 17 (с. 107—161).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 62. «Проституция в древности и у нас» — ср.: Дюпуи Е. Проституция в древности и половые болезни. СПб., 1907.

«Тайнами жизни» и «Саниным» — речь идет о сборнике рассказов Н. А. Лухмановой «Тайна жизни» (М., 1900) и романе М. П. Арцыбашева «Санин» (СПб, 1908).

Куприн вот переделал «Песнь песней» — имеется в виду повесть А. И. Куприна «Суламифь» (альманах «Земля». 1908. Сб. 1) о любви царя Соломона к Суламифи.

С. 63. «Смерть Ланде», «В утреннем рассвете» — повести М. П. Арцыбашева «Смерть Ланде» (Журнал для Всех. 1904. № 12) и «Тени утра» (Там же. 1905. № 12).

С. 64. ...на литературных вечерах у Вяч. И. Иванова... — Розанов посещал литературный салон «Башня» Вяч. Иванова (1905—1909); с которым встречался ранее в начале 1900-х гг. в редакции журнала «Новый Путь».

...о русской и об южной любви у Майкова. — имеются в виду стихи А. Н. Майкова в цикле «Из дневника» и «Очерки Рима» («Fortunata», 1845).

...русская эмигрантка из Франции — речь идет о письме (вольный пересказ) З. Н. Гиппиус к Розанову от 10 февраля 1908 г. (РГБ. Ф. 249. М. 3872). См. публикацию Е. Н. Никитина в «Литературоведческом журнале» (2010. № 27. С. 184—185).

«Как дошла ты до жизни такой?» — Н. А. Некрасов. Убогая и нарядная (1859).

С. 65. ...Афанасьев написал три тома «О русском мифическом творчестве»... — Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865—1869. Т. 1—3.

«Тридцать три уroda» — повесть Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (СПб., 1907), жены Вяч. Иванова, вызвавшая ироническое удивление писателей: «И зачем ей было все это писать!» — недоумевала З. Гиппиус (Антон Крайний. Братская могила // Весы. 1907. № 7. С. 61).

С. 66. ...Моммзену, у которого слушал в Берлине лекции. — Об ученичестве у немецкого историка Т. Моммзена Вяч. И. Иванов вспоминал в статье «О Моммзене» (Весы. 1904. № 11. С. 46—48).

С. 67. Спор между гг. Чуковским, Жаботинским и Таном о евреях... — речь идет о серии статей в газете «Свободные Мысли» (СПб., 1908): Чуковский К. Евреи в русской литературе (14 янв.); Тан В. Г. Евреи и литература (18 февр.); Жаботинский В. Письмо (О «Евреях в русской литературе») (24 марта); Тан В. Г. В чулане. К вопросу о национализме (7 апр.); Жаботинский В. Еврейский патриотизм (12 мая).

Десять томиков Гейне... — Полное собрание сочинений Г. Гейне вышло в Петербурге в 1900 г.

С. 68. Ему принадлежит знаменитая фраза: «Соком нервов моих пишу я свои сочинения». — В последний год своей жизни немецкий писатель и публицист Л. Бёрне в памфлете «Менцель-французоед» (1837) писал: «Я пишу не так, как другие: я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов». Русский перевод Сочинений Бёрне вышел в Петербурге в 1896 г. в двух томах (перевод памфлета «Менцель Французоед» включен в первый том).

Из истории французской литературы нельзя исключить Литтре... — имеется в виду «Словарь французского языка» (1863—1872. Т. 1—4) французского филолога Э. Литтре.

...из истории английской литературы нельзя исключить Джонсона... — имеется в виду «Словарь английского языка» (1755) английского филолога С. Джонсона.

...собираение обрядовых песен русского народа... — имеется в виду труд русского и белорусского фольклориста П. В. Шейна «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.» (СПб., 1898—1900. Вып. 1—2).

С. 69. ...философия шотландская... — шотландская школа, философия «здорового смысла», возникшая в 1760—1780-х гг. в шотландских университетах; основатель — Т. Рид.

С. 69. *Мицкевич ~ создал приснопамятный образ еврея-цимбалиста... — в поэме А. Мицкевича «Пан Тадеуш» (1834).*

Что сделалось с добрым Жаботинским, — я не знаю. — В 1903 г. В. Е. Жаботинский примкнул к сионистскому движению и вскоре стал одним из его руководителей.

...«варить козленка в молоке его матери». — Исх 23, 19; 34, 26; Вт 14, 21.

Ликует буйный Рим, торжественно гремит... — М. Ю. Лермонтов. Умирающий гладиатор (1836).

С. 70. *«Гаршин для него есть совершенно свой, родной писатель...» — Тан В. Г. В чулане. К вопросу о национализме.*

«О семени твоём благословятся все народы» — Быт 22, 18; 26, 4; 28, 14.

...Иосифа Флавия ~ написавшего первую их историю... — Древнееврейскому историку Иосифу Флавию принадлежит сочинение «Иудейская война», излагающее события от 167 г. до н. э. до 73 г. н. э.

С. 71. *...идею «вечно жид», выдуманную посредственным французским романистом... — речь идет о романе Эжена Сю «Вечный жид» (1844–1845; рус. пер. в те же годы, т. 1–10). В позднейших изданиях озаглавлен по имени главного героя «Агасфер».*

...«благословении всех народов через потомство»... — Ис 44, 3.

...Антокольский, лепя Иоанна Грозного или Ермака... — имеются в виду статуи «Иван Грозный» (бронза, 1871) и «Ермак» (бронза, 1891) скульптора М. М. Антокольского.

С. 73. *Славянские гости уехали из Петербурга. — 9–17 мая 1908 г. в Петербурге побывала группа лидеров славянского движения западных стран (Чехии, Словакии, Галиции, входивших тогда в состав Австро-Венгрии) — К. П. Крамарж, И. Ф. Грибарь, Н. П. Глебовицкий и др. Делегация обсудила с русскими государственными и общественными деятелями вопросы общеславянского единства и сближения; предполагаемое проведение в Праге Всеславянского съезда и славянской выставки.*

...перепищу Погодина со славянскими угеньями и деятелями... — Попов Н. (сост.). Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835–1861) / Примеч. Н. Попова. М., 1879–1880. Вып. 1–2.

...ковоской и белогорской битвы... — 15 июля 1389 г. произошло сражение войска сербов и боснийцев с армией турецкого султана Мурада I, после которой Сербия была подчинена Османской империи. Битва при Белой Горе (вблизи Праги), после которой Чехия утратила самостоятельность и попала под власть австрийских Габсбургов, произошла 8 ноября 1620 г. между чешскими войсками и Католической лигой.

С. 76. *...Погодина, загитывавшегося в молодости ~ Шиллером... — М. П. Погодин начал вести дневник в 1820 г. и, прочитав трагедию Шиллера «Коварство и любовь», записал 29 августа 1820 г.: «Что за человек Шиллер! Огонь!».*

Ив. Киреевский издаваемый им журнал назвал «Европейцем». — Журнал «Европеец» И. В. Киреевский начал издавать в 1832 г. После выхода второго номера журнал был закрыт.

«Борьба с Западом» — сборник статей Н. Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе» (СПб., 1886–1896. Т. 1–3). В статье «Россия и Европа» (Вестник Европы. 1888. № 2, 4) Вл. Соловьёв писал по поводу этой книги: «Борьбы с Западом мы здесь не видим» (Соловьёв В. С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 389).

С. 77. *...Тургенев захотел легь в могилу рядом с ним. — За несколько дней до смерти И. С. Тургенев завещал похоронить себя рядом с Белинским на Волковом кладбище Петербурга. Тело его было перевезено в Россию, и воля исполнена.*

...один пел средневековый ад, третий осмеивал и ад и рай средневековья, а второй вообразил, что «все итальянское уже прошло, и настанет завтра все римское». — речь идет о «Божественной комедии» Данте, «Декамероне» Боккаччо и о Ф. Петрарке, в трактатах

которого понятия «итальянский» и «римский» рассматривались, однако, как символы одного рода («Против тех, кто хулит Италию», 1373).

С. 78. *...в отношениях Каткова к И. С. Аксакову...* — К. Н. Леонтьев писал о периоде между 1861 и 1881 г. в статье «Владимир Соловьёв против Данилевского» (1888): «Наконец „бездна“, зиявшая давно в дали, <...> разверзлась даже и пред слабыми умственными очами бессознательных и „добрых“ наших либералов. И они наконец-то в ужасе отступили. К счастью, другие люди (Аксаков, Катков) приготовили нам убежище под кровом государственно-церковной национальности нашей, которой столь многие из нас прежде не дорожили, не понимая ее. Умеренный либерализм стал выходить из моды» (*Леонтьев К. Н. ПСС и писем: В 12 т. СПб., 2007. Т. 8 (1). С. 389*).

«Русь» — газета, издававшаяся И. С. Аксаковым в Москве в 1880—1886 гг.

...в ночь смерти И. С. Аксакова ~ статью против него... — об этом писал Н. М. Павлов в статье «В заключение нашей полемики с г. Цветковым» (РО. 1895. № 10. С. 855), которой откликнулся на статью К. Н. Цветкова «Добровольный ответ на „Вынужденное объяснение“ Н. М. Павлова», опубликованную в том же номере журнала.

С. 79. *Вас. Ос. Ключевский на лекциях русской истории...* — Розанов слушал лекции В. О. Ключевского в Московском университете с 1880 г.

Головнин, проживший три года в японском плену... — Василий Михайлович Головнин (1776—1832) руководил кругосветным плаванием в 1807—1809 и в 1817—1819 гг., в 1811 г. был захвачен японцами и провел в плену 26 месяцев, рассказ о чем издан в 1818 г. под названием «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев».

С. 80. *Их высмеивали.* — Поэт Н. Ф. Щербина написал эпиграмму «Катков и Аксаков» (1867):

Кэткоф лорд да смерд Иванец
Прямо делом повели,
Чтоб не портил иностранец
Или русский самозванец
Жизни русския земли.

«Россия и Европа» (1869) — труд философа Н. Я. Данилевского, прочитав который Розанов писал Н. Н. Страхову: «Удивительно трезвый и ясный ум. Над прочими нашими славянофилами он имеет то громадное преимущество, что совершенно чужд всякого мистицизма» (*ЛИ. С. 161*).

...«Россия вся в будущем»... — слова М. Ю. Лермонтова в его записных книжках (*Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 384*).

С. 81. *Люблю отгизну я, но странною любовью...* — М. Ю. Лермонтов. Родина (1841).

...«а ядра, все нагнетая воздух, через равные промежутки времени...» — Розанов пересказывает сцену из «Войны и мира» Л. Н. Толстого (Т. 1. Ч. 3. Гл. XVIII).

Проселогным путем люблю скакать в телеге... — М. Ю. Лермонтов. Родина.

...на днях появилась брошюрка ~ о суде и «деле» Артемия Волинского... — Зезюлинский Н. Ф. Неравная борьба: Волинский и Бирон. По первоисточникам. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1908. По возвращении из ссылки дети Волинского поставили памятник на могиле своего отца, похороненного близ ворот церковной ограды Сампсониевского храма на Выборгской стороне.

С. 82—83. *...Пимен в «Борисе Годунове» ~ «с миром и прощением»...* — Таких слов в трагедии Пушкина нет. Пимен говорит: «Да ведают потомки православных / Земли родной минувшую судьбу ~ А за грехи, за темные деянья, / Спасителя смиренно умоляют».

С. 83. *...«слуга и богомолец».* — Патриарх говорит Борису Годунову: «Твой верный богомолец» (сцена 15: Царская Дума).

С. 83. ...«сердцем хладные скопцы»... — А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).

Ревет ли зверь в лесу глухом... — А. С. Пушкин. Эхо (1831).

С. 84. *Аксаков, когда звал «домой» Россию в 1881 году...* — имеется в виду знаменитая статья И. С. Аксакова, начинавшаяся словами: «Да, в Москву, в Москву призывает теперь своего царя вся Россия... Пора домой! Пора покончить с петербургским периодом русской истории, со всеми кровавыми преданиями переворотов, измен, крамол XVIII и XIX века!» (Русь. 1881. Особое прибавление к № 17. 10 марта. С. 1–2).

Влахерна — Влахернская церковь в пригороде Константинополя (Стамбула), возведенная в середине V в. В 473 г. ей привезена из Святой земли икона Богородицы. В 1453 г. разрушена, сохранились руины. В 1653 г. Влахернская икона подарена русскому царю Алексею Михайловичу. Ныне в Музее московского Кремля.

...приказал выколоть глаза ~ повелел вести ослепленных домой... — Византийский император Василий II в 1014 г. сокрушил Болгарское царство, велел ослепить 14 тыс. пленных и отослал их на родину к царю Самуилу. Потрясенный увиденным, болгарский царь скончался.

...«царствовать на страх врагам»... — из старого гимна Российской империи «Боже, Царя храни» (1833, слова В. А. Жуковского, музыка А. Ф. Львова): «Царствуй на страх врагам».

При угастии и содействии двух братьев Киреевских ~ перевода греческих аскетических писателей... — В 1845 г. И. В. Киреевский сблизился с оптинским старцем Макарием. Их обширная переписка содержит письма о переводах греческих изданий.

...были переведены Иоанн Лествигник... — речь идет о византийском христианском писателе VII в., написавшем руководство к иноческой жизни под заглавием «Лествица райская», известное еще в Древней Руси. Один из новых переводов вышел в Козельской пустыни (М., 1892), или Оптиной пустыни, основанной в XIV в. Образ «Лествицы» заимствован из видения Иакова (Быт 28, 12).

«Добротолюбие» — сборник духовных произведений православных авторов IV–XV вв. Впервые опубликован на греческом языке в Венеции в 1782 г. под названием «Добротолюбие священных трезвумудрецов, собранное из святых из святых и богоносных отцов наших...». На русский язык перевел Паисий Величковский (издание 1793 г.), позднее — Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов. До 1914 г. вышло девять изданий.

...у Чернышева моста в Петербурге в 1902 и 1903 годах... — речь идет о РФС, проходивших в ноябре 1902 — марте 1903 г. в помещении Императорского Географического общества на Чернышевой площади.

С. 85. ...«Я пришел проповедовать пленным освобождение...» — Лк 4, 17–19.

...с уставом Феодора Студита. — Византийский церковный деятель и писатель Феодор Студит (759–826), настоятель Студийского монастыря в Константинополе, создал устав этого монастыря, который был записан братией после его смерти. В 1065 г. Студийский устав был занесен на Русь киево-печерским игуменом Феодосием, и от него пошли все монастырские уставы (в редакции патриарха Алексия, XI в.).

С. 86. *...на постройку новых гетых броненосцев.* — 27 мая 1908 г., завершая обсуждение военных вопросов, в Думе выступил военный министр В. А. Сухомлинов с докладом, вызвавшим новые обсуждения.

С. 87. *«Освобождение»* — журнал П. Б. Струве выходил с 1902 по 1905 г. сначала в Штутгарте, затем в Париже.

...когда встрегали военного прокурора Павлова... — Главный военный прокурор России (с августа 1905 г.) В. П. Павлов был инициатором закона о военно-полевых судах. 16 июня 1906 г. выступал во Второй Государственной думе под крики: «Вон! Долой, палач! Долой!». Убит эсером 27 декабря 1906 г.

С. 87. *...произносил свои угрозы Аладын...* — Лидер трудовой группы в Первой Государственной думе А. Ф. Аладын часто выступал с речами, угрожая ростом народных революционных сил, если Дума не примет соответствующие законы.

С. 88. *...«ростуск» двух Дум.* — Первая дума распущена манифестом Николая II 9 июля 1906 г., Вторая дума — его же манифестом 3 июня 1907 г.

...выходку Алексинского... — Г. А. Алексинский, большевик во Второй Государственной думе, выступал с язвительными речами (особенно по бюджету), которые вызывали возмущение большинства. Одна из его наиболее резких речей была составлена В. И. Лениным.

С. 89. *...поставить точку под главой о Цусиме...* — из речи П. А. Столыпина в Думе 24 мая 1908 г. о морской обороне, которая была встречена криками одобрения.

...в эпоху сербской войны... — Сербско-черногорско-турецкая война 1876—1878 гг., которая стала затем частью Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Возглас Каткова в 1881 году: «Встаньте, господа, — правительство возвращается!» ... — 7 октября 1884 г. в «Московских Ведомостях» М. Н. Катков писал в статье «Возвращается ли правительство?»: «Итак, господа, встаньте: правительство идет, правительство возвращается!.. Не верите?» (Катков М. Н. Собр. соч.: В 6 т. СПб., 2011. Т. 3. С. 614). Розанов относит этот «возглас» к 1881 г., потому что именно в марте 1881 г., после убийства Александра II, установилось новое правительство, о чем он писал в статье «Кто был победителем 8 марта 1881 года?» (1896; см. наст. изд. Т. 1. С. 428—434).

С. 90. *...стон стоял в пегати от «Витте и Дурново»...* — 24 октября 1905 г. С. Ю. Витте был назначен председателем Совета министров, а 23 октября 1905 г. министром внутренних дел стал П. Н. Дурново, что вызвало полемику в печати.

...от огня близкого к нему человека, знающего его с детства... — речь идет о журналисте, сотруднике «Нового Времени» Александре Аркадьевиче Столыпине, брате П. А. Столыпина.

С. 91. *...кажется, Московский университет...* — П. А. Столыпин после окончания Виленской гимназии поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета; окончил его в 1885 г.

...взрыва на Аптекарском острове... — 12 августа 1906 г. эсеры бросили бомбу на даче П. А. Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге. 30 человек погибло, еще более ранено, в числе последних сын и дочь Столыпина. Сам он остался невредим.

С. 92. *...Бирилёв, при котором все это произошло...* — адмирал А. А. Бирилёв был морским министром с июня 1905 г. по январь 1907 г. Его сменил на этой должности И. М. Диков (по январь 1909 г.). В мае 1905 г. Бирилёв был назначен вместо З. П. Рождественского командующим флотом Тихого океана, но прибыл во Владивосток после разгрома флота при Цусиме.

С. 93. *...«великою ложью века сего»...* — статья К. П. Победоносцева в «Московском сборнике» (1896) называется «Великая ложь нашего времени».

Это было Ватерлоо бюрократизма, или ~ ее Цусима. — т. е. победа (над Наполеоном) или поражение (русского флота).

С. 94. *...письма одного из самых уважаемых в России священников...* — имеется в виду священник А. П. Устьинский, друг Розанова. В письме к нему после 20 апреля 1903 г. Розанов приводит оценку Устьинского К. П. Победоносцевым: «И Победоносцев говорит: Да и сам я вижу, что священник хороший» (Розановская энциклопедия. С. 1037).

С. 95. *...профессора-классика с немецкой фамилией ~ режь Демосфена «О венке»...* — имеется в виду профессор кафедры классической филологии Московского университета Александр Николаевич Шварц (1848—1915), занимавший с 1908 по 1910 г. пост мини-

стра народного просвещения. Речь древнегреческого оратора и государственного деятеля Демосфена «О венке» написана в 330 г. до н. э.

С. 95. *Аорист* — форма глагола в древнегреческом, древнерусском и некоторых других языках, обозначающая состояние в прошлом: «положих» — «я положил».

Не могу еще забыть его защиты докторской... — защита докторской диссертации А. Н. Шварца «О государстве Афинском...» происходила 9 декабря 1891 г.

...учебной «разрухи», которая пронеслась над Россией... — речь идет о революции 1905—1907 гг.

С. 96. *Шифристки* — выпускницы институтов, получившие шифр, знак отличия, резной знак государыни, знак фрейлинского звания.

Законоспаское училище — первое высшее учебное заведение в России (с 1687 г.), Славяно-греко-латинская академия, связанная с именами многих деятелей русской культуры, в которой в 1730—1735 гг. учился М. В. Ломоносов.

...смог сделать Феофан Прокопович относительно Ломоносова. — М. И. Веревка в своей «Академической биографии» Ломоносова (1784) рассказал о том, что Ломоносов солгал при поступлении в Славяно-греко-латинскую академию, назвавшись сыном холмогорского дворянина. Сподвижник Петра Великого Феофан Прокопович, любивший его «за отменные в науках успехи», призвал к себе и сказал: «Не бойся ничего; хотя бы со звоном в Большой Московский соборный колокол стали тебя публиковать самозванцем, я твой защитник».

...в пору толстовских строгостей... — имеется в виду гимназическая реформа 1871 г., проведенная министром народного просвещения Д. А. Толстым и обеспечившая установление классического образования..

С. 97. *Акакий Акакиевич* — герой повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1842).

Пелопоннесская война — крупнейшая в истории Древней Греции война (431—404 до н. э.) между союзами греческих полисов. Афины капитулировали, признавалась гегемония Спарты.

...перевод Вебера, сделанный Чернышевским... — «Всеобщая история» (1857—1880. Т. 1—15) немецкого историка Георга Вебера. Первые 12 томов были переведены Н. Г. Чернышевским со второго издания, вышедшего в 1882—1890 гг.

...в трудах Любкера или Куглера... — имеются в виду книги: *Любкер Ф.* Реальный словарь классической древности. СПб., 1884—1887. Т. 1—5; *Куглер Ф.* Руководство к истории искусства. М., 1869—1871.

...знаменитой анкирской надписи... — В городе Анкира (Фракия) у входа в храм Августа был вырезан греческий и латинский текст, составленный самим императором Августом о его государственных делах. Сохранились фрагменты этой надписи, опубликованной Т. Моммзеном в первом томе «Корпуса латинских надписей» (1865).

...старых солдатенковских изданий... — Книгоиздатель К. Т. Солдатёнков (1818—1901) издавал художественную и научную литературу, в том числе труды Ф. Любкера и Ф. Куглера.

С. 98. *Лютеция* — В 52 г. до н. э. римляне Юлия Цезаря захватили Лютецию и стали называть ее «Город Паризиев». Название «Париж» утвердилось около 300 г.

Ганзейский союз — торгово-политический союз северонемецких городов во главе с Любеком, существовал в XIV—XVI вв.

«Русская правда» Ярослава Мудрого — свод древнерусского права эпохи Киевского государства, дошедший в списках XIII в. («Древнейшая правда»), связанный с именем великого князя киевского Ярослава Мудрого.

«Правды» или «Законы варваров» — записи обычного права германских племен V—IX вв.

С. 98. *«Салигеский закон»* — запись обычного права салических франков. Зафиксирована в начале VI в. указанием короля Хлодвига.

С. 99. *«русских поэтов ~ перевели на свой грузинский язык.* — первый перевод стихотворения А. С. Пушкина («Ангел», 1827) был сделан в 1830 г. Теймуразом: перевод стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спеша на север из далека...» (1837), сделанный Р. Эристави, опубликован в журнале «Цискари» (1858. № 7).

«...то «идет» Юпитеру, не «удаётся» быку. — латинская пословица «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». Согласно латинскому мифу, Зевс похитил царскую дочь Европу в образе быка.

Экзарх Никон ~ погиб жертвою на алтаре... — 28 мая 1908 г. экзарх Грузии Никон (Софийский) был убит в Тифлисе грузинскими националистами.

С. 100. *Андреп* — Выступление депутата 3-й Думы (октябриста) профессора судебной медицины Василия Константиновича Анрепа состоялось 10 июня 1908 г. и длилось более двух часов.

С. 102. *Министр народного просвещения* — А. Н. Шварц (1908—1910).

С. 104. *«...о собаке, которой Алкивиад отрубил хвост...»* — Афинский военачальник Алкивиад (V в. до н. э.) приказал отрубить своей любимой собаке хвост. Афиняне стали жалеть собаку и бранить Алкивиادا. «Я хочу, чтобы они болтали об этом, — сказал он, — чтобы они не сказали обо мне что-нибудь похуже» (*Плутарх*. Алкивиад, 9).

«...я не слышал ни во второй, ни в третьей Думе. Там были «реги»...» — очевидно, описка автора: должно быть — ни в Первой, ни во Второй думе. Противопоставление «деловитости» Третьей Думы «говорильне» Первой и Второй неоднократно встречается у Розанова.

«У нас, слава Богу, нет парламента» — заявил 24 апреля 1908 г. министр финансов В. Н. Коковцев, имея в виду, что бюджет почти не зависит от Думы. «У нас, слава Богу, есть конституция» — возразил ему П. Н. Миллюков.

С. 107. *«Россия»* — ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1905—1914 гг., с 1906 г. орган Министерства внутренних дел.

«...с натинкой»...» — И. С. Тургенев. *Ночь*. 1, IV.

С. 108. *«Пусть погибнет мир, но торжествует справедливость»* — девиз немецкого императора Фердинанда I (1503—1564).

В. Л. КИГН

(с. 109)

Сохранился черновой автограф — РГБ. Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 21. Л. 1 — 2.

Впервые напечатано: *Записки Отдела рукописей РГБ*. М.: Пашков дом, 2008. Вып. 53. С. 461—463. Публикация А. В. Ломоносова.

Печатается по тексту чернового автографа.

Дедлов Владимир Людвигович (наст. фам. Кигн; 1856—1908) — прозаик, публицист, критик. Об отношениях Розанова и Дедлова см. в статье А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 327—330).

С. 110. *«Школьные воспоминания»* — *Дедлов В. Л.* Школьные воспоминания (К истории нашего воспитания). СПб., 1902.

ДОМИК ЛЕРМОНТОВА В ПЯТИГОРСКЕ

(с. 111)

Автограф неизвестен.

Сохранились: 1) гранки очерка — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 34а—37 (части 1—2), 26а—27 (часть 2), 28—29 (часть 3) (см. *Варианты*); начальная часть гранок имеет заглавие «Домик Лермонтова в Пятигорске», последующие озаглавлены «Лермонтовский домик в Пятигорске»; 2) вырезки из газеты *НВ* — Там же. Л. 30 (часть 2), 32а (часть 3) с заглавиями «Лермонтовский домик в Пятигорске»; в тексте вырезки 2-й части очерка — одна поправка (перестановка слов): «А она есть и дорога.» вместо «А она и есть дорога.»; на полях газетной вырезки 2-й части — подсчеты строк и запись о публикации «Н. В.» № 11594».

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 16, 23, 30 июня. № 11587, 11594, 11601.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 272—280).

Печатается по тексту первой публикации с учетом поправки, внесенной автором в газетный текст 2-й части.

См. статью А. А. Голубковой о Михаиле Юрьевиче *Лермонтове* (1814—1841) в «Розановской энциклопедии» (с. 526—532).

С. 111. ...в *Интерлакене и Люцерне* — летом 1905 г. Розанов с женой и старшими детьми ездил в Германию и Швейцарию (Женева и окрестности).

При постройке Троицкого моста ~ украли столько-то... — заложен в 1897 г., открыт 16 мая 1902 г. к 200-летию Петербурга. Сметная стоимость — 5 200 000 руб., итоговая стоимость составила 6 100 000 руб.

И дым отегества нам сладок и приятен!... — А. С. Грибоедов. *Горе от ума*. 1, 7.

С. 112. *Наполеон с Воробьевых гор...* — Наполеон взирал на Москву 2 сентября 1812 г. с Поклонной горы.

...«великие народа познается в несчастиях»... — Н. М. Карамзин. О любви к отечеству и народной гордости (1802): «Великие люди и великие народы подвержены ударам рока, но и в самом несчастье являют свое величие».

...московского вооруженного восстания. — баррикадные бои с 9 по 18 декабря 1905 г. в Москве, особенно в районе Пресни.

...*Салтыков ~ подарил ему три рубля.* — Розанов неточно передает текст из главы VII «Заключение» очерков М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом». Автор по возвращении из Парижа в Россию говорит о слуге-артельщике, которого называет «мальчиком без штанов»: «Я тебе уже три двугривенных сряду без контракту отдал, а ты хоть бы ухом повел... — Вот тебе рубль, — говорю. Принял».

Вержболово, Эйдткунен — пограничные станции на русско-германской границе. Правильно: Эйдткунен. Ныне, соответственно, г. Вирбалис в Литве и пос. Чернышевское в Калининградской обл.

С. 113. *Химики согиняют музыку...* — имеется в виду А. П. Бородин.

...военные — комедию... — А. С. Грибоедов.

...финансисты пишут о защите и взятии крепостей... — И. А. Вышнеградский, профессор Михайловской артиллерийской академии, в 1888—1892 гг. министр финансов.

...специалист по расколовению попадает в государственные контролеры ~ слушать народные песни. — Т. И. Филиппов, с 1889 г. государственный контролер, познакомил «молодую редакцию» журнала «Москвитянин» со старинными русскими песнями и один из первых показал художественное значение народных песен.

...*Валаамов, едзящих на пророгествующих ослицах.* — речь идет о библейском пророке Валааме, ослица которого внезапно заговорила человеческим языком, протестуя против побоев (Чис 22, 27—28).

С. 113. *Николаевское кавалерийское училище* — речь идет о Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, учрежденной в 1823 г. Лермонтов состоял в ней с 14 ноября 1832 г., а 22 ноября 1834 г. выпущен в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. С 1864 г. именовалось Николаевским кавалерийским училищем.

...«съехавшему со своего места»... — с 1825 г. Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров размещалась на наб. Мойки у Синего моста. В 1839 г. Школу перевели в новое здание в расположении Измайловского полка. В 1883 г. там открылся Лермонтовский музей, в 1916 г. перед зданием училища (ныне Лермонтовский пр., 54) открыли памятник поэту.

С. 114. *...церкви ~ «юродивеньким» — строят.* — Розанов прежде всего имеет в виду часовню, открытую в 1902 г. в Петербурге на могиле Ксении Блаженной на Смоленском кладбище, а также храм Василия Блаженного (1555—1560) на Красной площади в Москве.

Оба раза, как я был на Кавказе... — Впервые Розанов ездил на Кавказ и в Крым летом 1898 г., второй раз был на Кавказе летом 1907 г.

С. 115. *Сивцев Вражек* — название московского переулка (известно с XVII в.) от оврага («вражка»), по которому протекала небольшая река Сивец (Сивка).

Ситный рынок (Сытный рынок) — старейший петербургский рынок, открытый на Сытинской площади в 1711 г.

С. 116. *Феодоровская Божия Матерь* — икона в костромском Богоявленско-Анастасиинском кафедральном соборе. Первое упоминание о ней восходит к волжскому городу Городец, который в 1239 г. был сожжен татаро-монголами. Икона исчезла, но была вскоре обретаена в лесу младшим братом Александра Невского князем Василием Костромским. В 1239 г. она была принесена в Успенский собор во Владимире, затем стала моленным образом Александра Невского и находилась при нем до его смерти в 1263 г., после чего Василий Костромской вернул ее в Кострому. В 1613 г. инокиня Марфа благословила этой иконой своего сына Михаила Романова на царство.

С. 117. *...дома в Тарханах ~ который недавно сгорел!* — В ночь с 13 на 14 июня 1908 г. дом сгорел. В 1909 г. на старом фундаменте был построен новый дом, сохранивший вид и планировку старого.

...взять все это место в казну... — Пожелание Розанова исполнилось в 1912 г., когда домик В. И. Чилаева, последнее место жительства Лермонтова в Пятигорске, усилиями Кавказского горного общества стал музеем.

...монумент, воздвигнутый ему в Пятигорске. — первый памятник Лермонтову работы скульптора А. М. Опекушина открыт в Пятигорске в августе 1889 г.: бронзовая фигура сидящего поэта на гранитном пьедестале в виде скалы.

...«бронзовая хвала», как называл эти памятники И. С. Аксаков... — В «Речи о Пушкине при открытии памятника поэту в Москве 8 июня 1880 года» И. С. Аксаков в заключение сказал: «Пусть изваянный в меди образ этого всемирного художника и русского народного поэта неумолчно зовет...» К. Н. Леонтьев в книге «Восток, Россия и славянство», которую хорошо знал Розанов, писал в главе «Г. Катков и его враги на празднике Пушкина»: «В газетах напечатаны еще речи г. Островского, И. С. Аксакова о „медной хвале“». У Розанова «медная хвала» превратилась в «бронзовую хвалу».

С. 118. *...небольшой памятник на месте дуэли...* — в 1881 г. на предполагаемом месте дуэли Лермонтова был установлен небольшой каменный обелиск. В июле 1901 г. был открыт временный памятник в виде гипсового бюста на месте дуэли (автор — архитектор И. И. Байков), который в 1907 г. разобран из-за нестойкости материала. После перевоза гроба в Тарханы в 1842 г. могильная плита на Пятигорском кладбище была зарыта в землю, и следы ее затерялись. В 1903 г. на произвольно выбранном месте (вблизи склепа А. П. Шан-Гирея) был установлен гранитный обелиск с надписью: «Место первоначально погребения М. Ю. Лермонтова». В 1915 г. на месте дуэли был установлен новый памятник работы скульптора В. М. Микешина (obelisk с бронзовым бюстом в круглой нише).

НА КНИЖНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ РЫНКЕ

<А. Каменский>

(с. 118)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки газеты *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 59, 59а, 59б, 59в. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 24 июня. № 11595.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 314–319).

Печатается по тексту первой публикации.

Об отношении Розанова к творчеству Анатолия Павловича Каменского (в 1908 г. вышел его сборник «Рассказы» с обозначением, что это первый том) см. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 442).

С. 119. *...следивший за пегатанием друг...* – имеется в виду студент О. Б. Гольдовский – см. о нем статью в «Розановской энциклопедии» (с. 279–280).

С. 119–120. *...в двух толстых журналах ~ Отзывы высокомерно-снисходительные и презрительные.* – речь идет о рецензиях на книгу Розанова «О понимании» Л. З. Слонимского (Вестник Европы. 1886. № 10. С. 850–857) и без подписи (РМ. 1886. № 11. С. 270–272). Благожелательная рецензия была написана Н. Н. Страховым (ЖМНП. 1889. № 9. С. 124–131).

С. 121. *...об этой нерононовской казни...* – речь идет о рассказе А. Каменского «Преступление» (1908). Далее Розанов говорит о его рассказе «Четыре» (1907); написан в 1905 г. и послан М. Горькому, который в письме к Каменскому от 9 декабря 1905 г. дал о нем отрицательное заключение (*Горький М.* ПСС. Письма: В 24 т. М., 1999. Т. 5. С. 114–115).

Согинения Анатолия Каменского. Том первый. Изд. М. О. Вольфа – очевидно, Розанов видел рекламу, такое издание не состоялось.

НАЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

(с. 122)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 4 июля. № 11605.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 319–322).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 122. *...Александр I подарил прусскому королю несколько крестьянских семей.* – Александр I после разгрома Наполеона подарил Фридриху Вильгельму III крепостных певчих для созданной прусским королем православной церкви в новом поселке Александровка при Потсдаме.

С. 123. *...«Приехавшему в Москву иностранному принцу ~ понравились француженки из „Альказара“».* – Л. Н. Толстой. Анна Каренина. IV, 1. Неточная цитата («В сущности, из всех русских удовольствий более всего нравились принцу французские актрисы»).

«Vorwärts» – главный журнал немецких социал-демократов, выходил с 1876 по 1933 г.

Придите володети и княжите нами – В «Повести временных лет» под годом 6370 (862) говорится, что славяне, чудь, кривичи и весь обратились к варяжскому племени русь с этими словами. «И от тех варяг прозвалась Русская земля».

С. 124. *«История цивилизации в Англии»* — труд английского историка и социолога Г. Т. Бокля, о котором Розанов написал статью «Книга особенно замечательной судьбы» (РО. 1898. № 3—5); вошла в его книгу «Природа и история» (СПб., 1900).

Такова ссылка Бокля... — Бокль ссылается на путешественника А. Г. Ленга (Бокль Г. Т. История цивилизации. М., 2002. Т. 2. С. 307).

«высшая раса» — Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла (1886). Отдел IX.

СИЛА НАЦИОНАЛЬНОСТИ

(с. 125)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1908. 7 июля. № 11608.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 322—325).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 125. *«Вагнер в своей книге — «Поляки и пруссаки»...»* — книга не установлена. Труд «Поляки и пруссаки» о сопротивлении польского народа германизации опубликовал Эдмон Бернус в 8-й серии Тетрадей в январе-марте 1907 г.

«Александр III посетил нижегородскую выставку...» — При Александре III состоялась XV Всероссийская художественная и промышленная выставка 1882 г. в Москве. XVI Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде, организованная по воле Александра III, открылась в августе 1896 г., уже после смерти царя. Ее посетил Николай II.

С. 126. *«От нас нашей русской сути в семи водах не отмоешь»* — И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания. Вместо вступления (1869).

«окунуться в немецкое море»...» — В предыдущем абзаце в том же «Вместо вступления» Тургенев писал: «Я бросился вниз головою в „немецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня...».

С. 127. *«Кого Бог захочет наказать, у того он отнимает разум».* — Источник выражения — трагедия Софокла «Антигона», строка 620; приобрело характер пословицы.

НА КНИЖНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ РЫНКЕ

<М. Арцыбашев>

(с. 127)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1908. 11 июля. № 11612.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 280—286).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов познакомился с Михаилом Петровичем Арцыбашевым (1878—1927) на литературных вечерах у Вяч. Иванова (см. статью в «Розановской энциклопедии», с. 90—91). Это был «совершенно еще юноша, с маленьким пушком на подбородке, тогда бедно одетый, неуклюжий и угрюмый. <...> На вечерах у Вяч. И. Иванова тогда философски разбирался вопрос о поле, об „эросе“, о значении и происхождении чувственных страстей... и едва ли „Санин“ не был навеян этими разговорами» («Пестрые темы» // РС. 1908. 30 апр.).

С. 127. *«Санин» ~ целый поход против него...»* — Роман М. П. Арцыбашева «Санин» печатался в журнале «Современный Мир» (1907. № 1—5, 9; отд. изд.: СПб., 1908; Берлин,

1908) принес автору широкую известность. Итоги дискуссии и резкой критики романа подведены в кн.: Данилин Я. «Санин» в свете русской критики. М., 1908.

С. 128. ...*да еще благогинного...* — Благочинный — священник, несущий административную ответственность за вверенный ему округ, состоявший из нескольких церквей с приходами.

«Словарь иностранных слов, вошедших в русскую книжную речь» — имеется в виду книга: «30 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с объяснением их корней» / Сост. А. Д. Михельсон. М., 1866; 5-е изд. М., 1874. См. статью Н. С. Лескова об этом словаре: «Новое русское слово» (Петербургская Газета. 1891. 29 нояб. № 328).

С. 130. ...*смесь Каина и Скублинской...* — Акушерка Марианна Скублинская организовала в Варшаве притон по убийству новорожденных. За 1889—1890 гг. ею было убито и похоронено свыше 50 младенцев. Приговорена к каторге.

...*могила «Карла и Эмили»...* — По преданию, в немецкой слободе в Петербурге около Лесного проспекта на Выборгской стороне в середине XIX в. ремесленник Карл Браудер полюбил дочь булочника Эмилию Кирштейн. В течение десятилетий родители не давали согласия на брак, и они, взявшись за руки, утопились в Круглом пруду. В память «удивительной любви и не менее дивного послушания родителям» была названа улица Карла и Эмили (в 1952 г. переименована в Тосненскую). Известна и могила влюбленных: металлический крест в ограде вблизи Политехнического института.

С. 131. «Под ветер осенью ненастной» — «Романс» А. С. Пушкина (1814): «Под вечер, осенью ненастной, / В далеких дева шла местах / И тайный плод любви несчастной / Держала в трепетных руках».

«тьма», «бездна», «в тумане» — названия рассказов Л. Н. Андреева: «Тьма» (1907), «Бездна» (1902), «В тумане» (1902).

С. 132. ...*на одном ветере...* — речь идет о литературном салоне Вяч. Иванова, известном как «башня Вяч. Иванова», существовавшем с осени 1905 г. в Петербурге на Таврической ул., д. 25 (ныне д. 35).

Розеттский камень — плита 196 г. до н. э., найденная в 1799 г. близ г. Розетта (Египет) с параллельным текстом на греческом и древнеегипетском языках, что позволило Ж. Ф. Шампольону дешифровать египетские иероглифы.

НА КНИЖНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ РЫНКЕ

<Ч. Диккенс>

(с. 132)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 58е. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 23 июля. № 11624.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 286—294).

Печатается по тексту первой публикации с исправлением ошибки по гранкам (с. 287, 13 св.) — вместо «восемьдесят» — «восемь — десять».

Розанов, читая романы английского писателя Чарлза Диккенса (1812—1870; см. статью в «Розановской энциклопедии», с. 334—335), проводит сравнительную характеристику английской и русской литературы. Речь идет о романах Диккенса «Лавка древностей» (1841, рус. пер. 1843), «Крошка Доррит» (отд. изд. 1857, рус. пер. 1856—1857), «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837, рус. пер. 1838), «Жизнь и приключе-

ния Николаса Никльби» (1839, рус. пер. 1840), «Дэвид Копперфилд» (отд. изд. 1850, рус. пер. 1849) и очерков «Американские заметки» (1842, рус. пер. 1843).

С. 133. ...*такой осадок образовался в душе от его «Тьмы» и «Иуды»* — имеются в виду статьи Розанова «Л. Андреев и его „Тьма“» (НВ. 1908. 25 янв.; наст. том. С. 28—33) и «Русский „реалист“ об евангельских событиях и лицах» (НВ. 1907. 19 июля; наст. изд. Т. 3. С. 581—588).

«Шиповник» — литературно-художественный альманах издательства «Шиповник» (1908. Кн. 5) содержит «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева.

«Сборник Знания» — Сборник товарищества «Знание» за 1908 год (Кн. 25) включает повесть М. Горького «Исповедь», о которой Розанов написал в статье «О „народо“-божии как новой идее Максима Горького» (РС. 1908. 13 дек.; наст. том. С. 209—211).

Роман Гонгарова «Обрыв» зрел десять лет. — роман задуман в 1847 г. под названием «Художник». В 1860—1861 гг. были опубликованы отрывки из романа (с подзаголовком «Из жизни Райского»). Опубликован в «Вестнике Европы» в 1869 г. (отд. изд.: 1870).

С. 134. ...*писал «Юрия Милославского»*... — роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) живописует сцены старинной русской жизни.

С. 134. «Подворье Кровотогивого сердца» — Ч. Диккенс. Крошка Доррит. Кн. I. Гл. XII.

С. 138. ...*на одном парадном обеде...* — имеется в виду речь Диккенса на банкете в его честь 7 февраля 1842 г. в американском городе Хартфорде (штат Коннектикут). См.: Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т. М., 1963. Т. 28. С. 456—460.

«Заметки о С. Американских Штатах» — «Американские заметки» (1842) Ч. Диккенса переведены на русский язык в 1843 г.

НАШИ ПУБЛИЦИСТЫ

(с. 139)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 40. Вверху слева на вырезке надпись чернилами: «приемлю сокращения редактора. В. Розанов». Подпись статьи «А. В.» зачеркнута и чернилами написано: «В. Розанов».

Впервые напечатано: НВ. 1908. 3 авг. № 11635. Подпись: А. В.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 336—342).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 139. «Московский Еженедельник» — журнал «Союза мирного обновления», выходил в Москве в 1906—1910 гг., редактор-издатель кн. Е. Н. Трубецкой (1863—1920), с № 8 за 1907 г. по 1908 г. он же и Г. Н. Трубецкой. В журнале печатались Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, В. Ф. Эрн, С. Л. Франк и др.

«Дневник институтки» — В 1902 г. в Петербурге вышел первый выпуск «Дневника институтки» В. П. Авенариуса.

С. 140. ...*«ящик с ужасами»*... — перечисляются произведения Л. Н. Андреева: «Красный смех (Отрывки из найденной рукописи)» (Сборник товарищества «Знание» за 1904 год. СПб., 1905), «Рассказ о семи повешенных» (Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1908. Кн. 5), «Жизнь Василия Фивейского» (СПб., 1904; см. рецензию Розанова «Литературные новинки» // НВ. 1904. 2 июня).

С. 141. «Отмена смертной казни»... — речь идет об указе императрицы Елизаветы Петровны 17 мая 1744 г. об отмене смертной казни за неполитические преступления.

С. 141. *«Письма темных людей»* — сборник немецкой антиклерикальной сатиры начала XVI в., написанный на латинском языке гуманистами У. фон Гуттенем, К. Рубианом и Г. Бушем.

С. 143. *«Так говорил Заратустра»* (1883—1884) — название книги Фр. Ницше.

НЕПОСТИЖИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

(с. 144)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 102.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 23 авг. № 11655. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 343—344).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 144. *Духовное ведомство ~ воздержаться от гествования графа Л. Н. Толстого...* — 23 августа 1908 г. в газетах («Санкт-Петербургские Ведомости», «Петербургская Газета», «Речь», «Современное Слово», «Новая Русь») было опубликовано обращение Синода к верующим «воздержаться от участия в чествовании гр. Л. Н. Толстого» как «упорного противника православной веры».

«Бог поругаем не бывает» — Гал 6, 7.

О ПАМЯТНИКЕ И. С. ТУРГЕНЕВУ

(с. 145)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 16.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 27 авг. № 11659. Напечатано в форме «Письма в редакцию».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 294—296).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов видел И. С. Тургенева на публичном заседании Общества любителей российской словесности 18 февраля 1879 г. Об истории отношений Розанова к наследию Тургенева см. статью С. Ф. Дмитренко в «Розановской энциклопедии» (с. 1019—1022).

С. 144. *...«когда взвился занавес — я произнес ваше имя».* — Письмо Тургенева к французской певице Полине Виардо от 17 (29) января 1851 г. по поводу постановки его комедии «Провинциалка»: «В момент поднятия занавеси я тихо произнес ваше имя: оно мне принесло счастье» (*НВ*. 1906. 10 июня). В русском переводе письмо Тургенева печаталось под датой 17 (29) декабря 1851 г. (*Вестник Европы*. 1911. № 8. С. 202). См. далее в коммент. к статьям «Виардо и Тургенев» (*НВ*. 1910. 20 мая; наст. том. С. 491—496) и «Загадочная любовь (Виардо и Тургенев)» (*РС*. 1911. 8 сент.; наст. том. С. 733—741).

И. С. ТУРГЕНЕВ В 1879 г. В МОСКВЕ

(с. 148)

Сохранился автограф б. д. — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 27—30.

Печатается впервые по тексту автографа.

С. 148. *Я прочел задушевные воспоминания М. М. Ковалевского о Тургеневе...* — «Воспоминания об И. С. Тургеневе» М. М. Ковалевского опубликованы в журнале «Минувшие годы» (1908. Авг. № 8), что является основанием для датировки данного неоконченного отрывка. В романах «Дым» (1867) и «Новь» (1877) Тургенев изобразил жизнь русских за границей и народническое движение в России.

...ссылку за симпатии к Гоголю... — В феврале 1852 г. Тургенев под впечатлением смерти Гоголя написал некролог для «Санкт-Петербургских Ведомостей». Цензурный комитет запретил печатание некролога, но Тургенев опубликовал его 13 марта в «Московских Ведомостях». По распоряжению царя Тургенева посадили под арест, а затем выслали в имение под присмотр полиции.

...гуть-гуть не «виновник» ~ освобождения крестьян... — Существовала легенда, будто Александр II решил освободить крестьян после прочтения «Записок охотника» Тургенева. «Первая любовь» — рассказ Тургенева (1860).

С. 150. *Касьян с Красивой Межи* — название рассказа (1851) из «Записок охотника» Тургенева.

«Бурмистр» — рассказ Тургенева (1868).

С. 151. *«И пошла писать губерния...»* — Н. В. Гоголь. Мертвые души. Т. 1. Гл. 8.

На митингах перед 17-го октября... — 25 октября 1905 г. Розанов опубликовал в «Новом Времени» свой очерк «На митинге», вошедший затем в его книгу «Когда начальство ушло... 1905—1906 гг.» (СПб., 1910).

...«Пятнице в память Полонского»... — Пятницы Я. П. Полонского начались вскоре после переезда его в Петербург в 1858 г. и проходили вплоть до кончины поэта в 1898 г. 20 октября 1898 г. почитатели его решили продолжить «пятницы», придав им характер общественных собраний его памяти. Почетной хозяйкой кружка, просуществовавшего до 1917 г., стала вдова поэта Ж. А. Полонская.

...один раз в редакции журнала «Вопросы Жизни»... — Журнал «Вопросы Жизни» был преобразован из журнала «Новый Путь», в котором постоянно участвовал Розанов. В новом журнале, выходящем в течение 1905 г., Розанов оказался не ко двору. Он выступил в нем один раз, опубликовав первую часть своей статьи «Из старых писем. Письма В. С. Соловьёва» (окончание статьи, согласно уведомлению С. Н. Булгакова, не попало в журнал).

80-ЛЕТИЕ РОЖДЕНИЯ гр. Л. Н. ТОЛСТОГО

(с. 152)

Автограф неизвестен.

Сохранились два экземпляра вырезки из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 57а, 64. Название статьи на втором экземпляре вырезки подчеркнуто красным карандашом; сверху надпись: № 91.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 28 авг. № 11660. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 296—299).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 152. *...как бы позднее и он сам ни критиковал его...* — Автокритикой романа «Война и мир» считается статья Л. Н. Толстого «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“» (Русский Архив. 1868. Март).

Л. Н. ТОЛСТОЙ

(с. 154)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 101.Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 28 авг. № 11660.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 299—306).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 156. *Тургенев где-то описывает, как Фет-Шеншин ел землянику со сливками...* — 18 июня 1859 г. И. С. Тургенев писал А. А. Фету: «Что-то Вы поделяваете? Чай, поглощаете землянику возами — с каким-то религиозно-почтительным расширением ноздрей при безмолвно-медлительном вкладывании нагруженной верхом ложки в галчатообразный раскрытый рот».

С. 157. *...«изугать реальную жизнь или изугать ее по произведениям Толстого — это все одно».* — В начале второй главы в статье «Анализ, стиль и веяние (О романах гр. Л. Н. Толстого)» К. Н. Леонтьев писал: «Один из наших известных ученых и писателей несколько лет тому назад, разбирая в приятельской беседе достоинства „Анны Карениной“, заметил, между прочим, „что тот, кто изучает „Анну Каренину“ — изучает самую жизнь“». Речь шла о Н. А. Любимове.

...он именно — зеркало... — Сравнение Толстого с зеркалом русской жизни стало после выступления Розанова расхожим. Через две недели, 11 сентября 1908 г., этот образ, не ссылаясь на Розанова, использовал В. И. Ленин в статье «Лев Толстой как зеркало русской революции» (газета «Пролетарий», Женева).

С. 158. *«Как живет и работает Толстой»* — книга П. А. Сергеенко «Как живет и работает Л. Н. Толстой» (М., 1898) выдержала три издания и была переведена на многие языки.

...после появления «Крейцеровой сонаты» он сделался «опять отцом»... — «Крейцера соната» Л. Н. Толстого появилась в 1891 г. Очевидно, Розанов слышал, что у сына Толстого Ильи Львовича 22 декабря 1891 г. родился сын Николай, умерший 2 декабря 1893 г.

...Пьер Безухов ~ поехал кутить ~ кажется с Долоховым. — Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. 1. Ч. 1. Гл. VI. Пьер Безухов поехал на ночной кутеж к Анатолию Курагину.

С. 159. *Я видел Толстого один раз в жизни.* — Розанов с женой посетил Ясную Поляну 6 марта 1903 г.

...«быть или не быть»... — вопрос Гамлета (III, 2) обычно воспринимается как выражение неуверенности.

При нем жил доктор — поляк... — речь идет о домашнем враче Толстого Душане Петровиче Маковицком, словаке по национальности, составителе «Яснополянских записок», изданных в 1979 г.

С. 160. *...ткнул в бок и Шекспира...* — имеется в виду очерк Толстого «О Шекспире и о драме» (1906).

Дульцинея — имя, придуманное Дон Кихотом, героем романа Сервантеса, для «дамы сердца»; иронически — возлюбленная.

ТОЛСТОЙ МЕЖДУ ВЕЛИКИМИ МИРА

(с. 161)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *РС* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 126.

Впервые напечатано: РС. 1908. 28 авг. № 199. Подпись: *В. Варварин*.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 307–312).
Печатается по тексту первой публикации.

С. 161. «*Юность*» — повесть, завершающая трилогию Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» (1864). Повесть впервые напечатана в январском номере «Современник» 1857 г. под названием «Юность. Первая половина», однако «вторая половина» (по первоначальному замыслу «Молодость») не была написана.

«*Много ли человеку земли надо*» — рассказ Толстого из цикла «народных рассказов» называется «Много ли человеку земли нужно» (Русское Богатство. 1886. № 4).

С. 162. «*Смерть Ивана Ильича*» (1886) — повесть Толстого, поводом к созданию которой послужил услышанный писателем рассказ о смерти от рака 2 июля 1881 г. члена Тульского окружного суда Ивана Ильича Мечникова, брата знаменитого биолога.

«*Власть тьмы*» — пьеса Толстого «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть». Дешевое народное издание тиражом несколько сотен тысяч экземпляров напечатало книжное издательство «Посредник» (1887).

С. 164. ...«*отлугить его от себя*»... — Отлучение Толстого от церкви произошло 22 февраля 1901 г. и заставило Толстого написать статью «Ответ на определение Синода от 20–22 февраля и на полученные мною по этому поводу письма».

С. 165. «*суета сует*» — Еккл 1, 2.

«*Хозяин и работник*» (1895) — рассказ Толстого, о котором Розанов писал в статье «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» (РВ. 1895. № 8).

ЧЕГО НЕДОСТАЕТ ТОЛСТОМУ?

(с. 165)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 69.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 3 сент. № 11666.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 344–346).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 166. ...*макарьевского «Догматического богословия»*... — *Макарий (Булгаков), митр.* Православное догматическое богословие. СПб., 1868.

«*Чем люди живы*» — рассказ-притча Толстого из цикла «народных рассказов»; впервые напечатан в журнале «Детский Отдых» (1881. № 12).

С. 167. *Писать о вегетарианстве, писать календари, писать «Изречения мудрых» со всего света*... — речь идет о трудах Толстого: вегетарианское предисловие «Первая ступень» к книге Г. Уильямса «Этика пищи» (М.: Посредник, 1893), «Календарь с пословицами на 1887 год» (М.: Посредник, 1887), «Мысли мудрых людей на каждый день» (М.: Посредник, 1903).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «НОВОГО РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ»

(с. 168)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1908. 13 сент. № 212. Подпись *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 355–360).
Печатается по тексту первой публикации.

С. 168. Редакция «Русской Мысли» отвела большой отдел... — В журнале печатался отдел «Философия».

«Хлеб наш насущный дай нам днесь» — Мф 6, 11.

...«русским мировым скитальгеством», «тоскою русского человека»... — имеется в виду речь Ф. М. Достоевского «Пушкин», произнесенная на заседании Общества любителей российской словесности, где он говорил, что «русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье». «Стать настоящим русским и будет именно значить <...> указать исход европейской тоске в своей русской душе».

...«благородную грусть русского дворянина»... — Розанов имел в виду слова из седьмой главы первой части романа «Подросток» Достоевского: «Это благородное страдание, мой друг, и дается лишь избранным».

С. 169. Другой инициатор «нового религиозного сознания»... — здесь Розанов имеет в виду себя.

С. 170. Этот разговор у него был с лютеранином. Следующий — с православным. — Под лютеранином подразумевается Ф. Э. Шперк, а под православным — И. Ф. Романов (Рцы).

Паге — больше (устар.).

...«Спаси нас, защити нас» — Тот же мотив звучит в письме Розанова к Э. Ф. Голлербаху 18 сентября 1918 г.

С. 171. ...Гретхен, которую так судили женщины и подруги у фонтана... — сцена из первой части «Фауста» Гёте.

В здоровом теле — здоровый дух — Ювенал. Сатиры. X, 356.

С. 172. ...на воздушных кораблях графа Цепелина... — речь идет о дирижаблях, производство которых организовал в 1900 г. немецкий конструктор граф Ф. Цепелин.

А ШЕЙН?..

(с. 172)

Сохранились гранки — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 16. Над заглавием надпись чернилами: «Не напечатано».

Печатается впервые по гранкам.

Шейн Павел Васильевич (1826–1900) — русский и белорусский фольклорист, составитель сборника «Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.» (СПб., 1898–1900. Т. 1–2). Розанов уже начал тему, связанную с Шейном, в «Пестрых темах» (РС. 1908. 13 мая; наст. том. С. 68).

С. 172–173. ...Чуковскому, который ~ ввел в заблуждение ~ М. Бугровского. — 14 января 1908 г. в газете «Свободные Мысли» К. И. Чуковский напечатал статью «Евреи в русской литературе», на которую М. Бугровский откликнулся рецензией в «Новом Времени» (1908. 17 янв.). Вместе с тем далее используются мысли Чуковского из второй его статьи «Евреи в русской литературе. 2. Чужой кошелек и Семен Юшкевич» (Утро. 1908. 29 сент.), после которой и была написана статья Розанова, оставшаяся ненапечатанной.

С. 173. «Ворона, матушка, как ты хороша: каркни во все воронье горло»... — аллюзия на басню И. А. Крылова «Ворона и Лисица» (1808).

Хорошо поет, собака... — Н. А. Некрасов. Осторожность (1865; из цикла «Песни о свободном слове»).

С. 174. *Талес* — в иудаизме белая мужская накидка для молитвы.

С. 175. «*Соловей и роза*» — стихотворение А. А. Фета (1847).

«*око за око*» — Лев 24, 20; Мф 5, 38.

43 ГОДА «КОРРЕКТНОСТИ»...

(с. 176)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 13—14.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 5 окт. № 11698.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 374—377).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 176. «*Вестник Европы*» — общественно-политический журнал, выходил в Петербурге с 1866 по 1918 г. С самого начала по 1908 г. его редактировал М. М. Стасюлевич, с № 11 1908 г. — К. К. Арсеньев; издатель — М. М. Ковалевский.

...*заметки своего царственного питомца — цесаревича наследника Николая Александровича.* — В «Вестнике Европы» (1908. № 9/10. С. 490—504) М. М. Стасюлевич напечатал «Из учебных тетрадей покойного цесаревича Николая Александровича (1863 г.)». В 1860—1862 гг. Стасюлевич преподавал историю Средневековья и Нового времени цесаревичу Николаю Александровичу.

...*о другом наставнике цесаревича...* — Ф. И. Буслаев в 1860 г. прочитал наследнику курс «Истории русской словесности в том ее значении, как она служит выражению духовных интересов народа».

С. 177. ...*Карамзина ~ издававшего года три «Вестник Европы»...* — литературный журнал «Вестник Европы» был основан Н. М. Карамзиным в Москве в 1802 г. и выходил по 1830 г. Карамзин редактировал его в 1802—1803 гг.

...*Тургенева ~ после разрыва с Катковым...* — После выхода в «Русском Вестнике» М. Н. Каткова романа И. С. Тургенева «Дым» (1867), в котором были сделаны сокращения (намек на сластолюбивые похождения Александра II), отношения Тургенева с Катковым обострились.

...*после закрытия «Отечественных Записок»...* — Журнал, издававшийся в Петербурге с 1839 г., был закрыт в апреле 1884 г. «за распространение вредных идей» (Правительственный Вестник. 1884. 20 апр. № 27).

ВЕЛИКИЙ МИР СЕРДЦА

(Нечто о Л. Н. Толстом)

(с. 178)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *РС*. 1908. 9 окт. № 324. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 312—318).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 179. ...*письмо неизвестного русского священника к гр. Л. Н. Толстому* — 5 октября 1908 г. Толстой написал письмо «Лицам и учреждениям, приславшим поздравления ко дню восьмидесятилетия», где читаем: «Благодарю и лиц духовного звания, — хотя и очень немногих, но приветствия которых тем более дороги для меня, — за их добрые пожелания». 8 октября ряд газет опубликовал это письмо.

С. 181. ...«один из людей видел и говорил лицом к лицу с Богом». — Исх 33, 11.

С. 183. *А счастье было так возможно... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. 8, XLVII. «Бога невозможно увидеть и не умереть»...* — Исх 20, 19.

С. 183–184. *«Определить — значит сузить»...* — Б. Спиноза. Письмо 2 июня 1674 г. Яриху Иеллесу (Соч.: В 2 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 492): «Ограничение есть отрицание». См. также в «Лекциях по истории философии» Гегеля (Ч. III. Гл. 2, а-2).

ОДНО ВОСПОМИНАНИЕ О Л. Н. ТОЛСТОМ

(с. 184)

Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 136–137 — представляет раннюю редакцию фрагмента текста: «Заговорили о „Крейцеровой сонате“... ничего к мысли и не прибавил». См. *Варианты*.

Впервые напечатано: РС. 1908. 11 окт. № 236. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 377–382).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 184. *Толстой был полуболен, когда я разговаривал с ним...* — Единственная их встреча состоялась в Ясной Поляне 6 марта 1903 г.

«Три старца» — рассказ Толстого из цикла «народных рассказов», напечатан в 1886 г.

Я отнесся недоверчиво к ее «послесловию» — В послесловии к «Крейцеровой сонате» (1889) Толстой рассматривает половые отношения мужчины и женщины, которые, по его мнению, губительны для молодежи.

С. 187. *«Очерки Афона»* — В 1871–1872 гг. К. Н. Леонтьев жил в русском Пантелеймоновском монастыре на Афоне. В свою книгу «Восток, Россия и Славянство» (1885–1886) он включил очерки об Афоне.

Ватопед — православный греческий мужской монастырь на Святой Горе Афона, основанный в 972 — 985 гг.

С. 188. ...«больше об одном покаявшемся, нежели о ста праведниках»... — Лк 15, 7.

СБОРНИК ПИСЕМ ВЛАД. СОЛОВЬЁВА

(с. 188)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 28 окт. № 11721.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 384–385).

Печатается по тексту первой публикации.

О Владимире Сергеевиче Соловьёве (1853–1900) см. статью Я. В. Сарычева в «Розановской энциклопедии» (с. 894–905).

С. 188. *«Письма Владимира Сергеевича Соловьёва»* — под редакцией и с предисловием Э. Л. Радлова вышло четыре тома (СПб., Пг., 1908–1923).

...при IX томе его «Созинений»... — Первое Собрание сочинений Вл. С. Соловьёва в 9 томах издано в 1901–1907 гг. (СПб.: Общественная польза).

С. 189. *...закрытие университета...* — В письмах Соловьёва речь идет о закрытии на неопределенное время Московского университета в связи со студенческими волнениями в 1887 г.

АВТОПОРТРЕТ Вл. С. СОЛОВЬЁВА

(с. 189)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 58.

Впервые напечатано: РС. 1908. 28 окт. № 250. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 385—392).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 189. ...«Из литературных воспоминаний о Н. Г. Чернышевском» — Эпизод о Чернышевском приведен также в книге С. М. Соловьёва «Владимир Соловьёв: Жизнь и творческая эволюция» (М., 1997. С. 44—45). Розанов цитирует третий раздел «Из литературных воспоминаний».

С. 190. «Былое» — журнал, издававшийся В. Л. Бурцевым в Лондоне в 1900—1904 гг. и в Париже в 1908—1912 гг., в котором публиковались «Материалы для словаря политических ссыльных в России».

Голконда — государство в Индии XVI—XVII вв., славившееся добычей алмазов. Имя стало нарицательным для обозначения богатства.

С. 191. Н. Н. Страхову по поводу его полемики ~ о спиритизме... — Н. Н. Страхов выступал против спиритизма, получившего распространение даже в университетских кругах: «Грустно было думать, что в эту цитадель науки, — писал он о Петербургском университете, — закрался и укрепился в ней явный враг научных понятий» (*Страхов Н. О вечных истинах: Мой спор о спиритизме.* СПб., 1887. С. IX).

«Медиум, о, безопаснейший ибис!» — На самом деле перевод латинского выражения означает: «Средний путь самый безопасный» (*Овидий. Метаморфозы.* II, 137).

С. 192. *Посылаю к Б—у негра с рукописью.* — В издании Э. Л. Радлова это письмо 1895 г. осталось без комментариев (с. 256).

С. 193. ...«на 11-ю версту»... — т. е. в сумасшедший дом.

...алмазы Пушкина, жемтуг Тютчева, изумруды и рубины Фета... — это развернутое сравнение Розанов неоднократно вспоминал в своих статьях.

С. 194. «Судьба Пушкина» — статья В. С. Соловьёва опубликована в «Вестнике Европы» (1897. № 9. С. 131—156; отд. изд.: СПб., 1898) и вызвала резкую критику. К. Медведский с возмущением писал: «Даже у Писарева мы не найдем равного по нелепости упрека Пушкину» (МВ. 1897. 18 сент.). В самом «Вестнике Европы» против нее выступил А. Ф. Кони со статьей «Нравственный облик Пушкина» (1899. № 10). Наиболее серьезные возражения Соловьёву были высказаны Розановым в статье «Христианство пассивно или активно?» (НВ. 1897. 8 окт.; включено в его книгу «Религия и культура»).

«Оправдание добра» и «Критика оталеженных нагал» — сочинения В. С. Соловьёва 1880 и 1897 г.

Не жди ты песен стройных и прекрасных... — В. С. Соловьёв. Посвящение к неизданной комедии (1880).

«Под пальмами» ~ представляет Толстого как сокровенного Антихриста. — напечатано в «Книжках „Недели“» (1899. С. 5—37) и является первой частью «Трех разговоров». Перед упоминанием имени Л. Н. Толстого речь шла об «антихристе, который „будет говорить громкие и высокие слова“», что и дало повод Розанову сделать свое заключение.

«В тем моя вера». — Впервые книга «В чем моя вера?» вышла в Париже в 1885 г., и тогда же появились немецкий и английский переводы. В России была запрещена (издание 1884 г. тиражом 50 экз.) и стала печататься отдельными изданиями только с 1906 г.

АВТОПОРТРЕТ Вл. С. СОЛОВЬЁВА
Церковные занятия его и его личность
 (с. 195)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 59—59 об.

Впервые напечатано: РС. 1908. 31 окт. № 253. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 392—399).

Печатается по тексту первой публикации.

В статье цитируются «Письма» В. С. Соловьёва под ред. Э. Л. Радлова (СПб., 1908. Т. I) с указанием страниц.

С. 195. *Статьи ~ о византийской государственности...* — Соловьёв В. С. Византизм и Россия // Вестник Европы. 1896. № 1, 4.

«*примат апостола Петра*» — утверждение в учении католической церкви первенства апостола Петра, непогрешимость которого якобы переходит к римскому епископу. Вл. Соловьёв рассматривает этот вопрос в трудах «Вселенская церковь» (1889), «Славянский вопрос» (1891).

С. 196. *...учение о «догматическом развитии церкви»* — Исследование Соловьёва «Догматическое развитие церкви» (1885) вызвало полемику между двумя группами молодых богословов. Противники Соловьёва не признавали возможности изменения догматов церкви.

...сожжении протопопа Аввакума... — глава старообрядчества Аввакум был сожжен по царском указу 14 апреля 1682 г.

...избиении кромских крестьян... — Весной 1895 г. крестьяне Кромской волости Орловской губернии захватили земли помещика Шепелева после его смерти, за что были избиты (письмо Соловьёва от 23 апреля 1895 г.).

...запрещении молитвенных собраний штундистов... — Положением от 4 апреля 1894 г. последователям секты штундизма запрещалось собираться на общественные молитвенные собрания.

С. 197. *Индикт* — в церковном летоисчислении единица, равная 15 годам.

«*Идолы и идеалы*» — статья В. С. Соловьёва в «Вестнике Европы» (1891. № 3, 6) с критикой проповеди «опрощенчества» Л. Н. Толстого.

«*беззаконие и празднование*» — Ис 1, 13.

Ах, далеко за снежным Гималаем — одноименное шутивное стихотворение В. С. Соловьёва (1887).

С. 198. «*История теократии*» — Соловьёв В. С. История и будущее теократии. Загреб, 1887.

«*Несториева ересь*» — учение (признается одна богочеловеческая воля Христа) архиепископа Константинопольского (428—431) Нестория, осужденное на Третьем Вселенском (Эфесском) соборе (431).

Цвет лица геморроидный — стихотворение В. С. Соловьёва в письме М. М. Стасюлевичу 26 октября 1893 г.

...«вещей невидимых оближение»... — Евр 11, 1.

С. 199. «*Кавказ*» — политическая и литературная газета, выходившая в Тифлисе с 1846 по 1918 г. Поэт и биограф Соловьёва Василий Львович Величко редактировал газету с 1896 по 1899 г.

о «*желтой опасности*»... — «Желтая опасность» (1898) — заглавие романа английского писателя М. Ф. Шила о китайцах. Вскоре выражение вошло в язык публицистики, хотя иногда ошибочно приписывалось германскому императору Вильгельму II.

С. 199. *...смерть Макарова* — вице-адмирал Степан Осипович Макаров, командующий Тихоокеанской эскадрой, погиб 31 марта 1904 г. на броненосце «Петропавловск», подорвавшись на японской мине близ Порт-Артура.

...адмирал Витгефт был убит — адмирал Вильгельм Карлович Витгефт (1847–1904) после гибели С. О. Макарова был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой, 28 июля 1904 г. повел эскадру из осажденного Порт-Артура во Владивосток и был убит на броненосце «Цесаревич».

С. 200. *В «Трех разговорах» есть страница...* — Розанов передает по памяти высказывание Политика (в финале 3-го разговора) из историософского трактата Соловьёва «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории»: «Не знаю, что это такое: зрение ли у меня туманится от старости или в природе что-нибудь делается? Только я замечаю, что ни в какой сезон и ни в какой местности нет уж теперь больше тех ярких, а то и совсем прозрачных дней, какие были прежде во всех климатах...»

Есть бестолковица... — стихотворение В. С. Соловьёва в письме В. Л. Величко 3 июня 1897 г.

«Вот и моя зуботыгина Страхову...» — На резкую статью Соловьёва «Счастливые мысли Н. Н. Страхова» (Вестник Европы. 1890. № 11), следуя совету Толстого, Страхов отвечать не стал. Соловьёв оценил это как свою победу и написал новый выпад против Страхова «История социальных систем» (Вестник Европы. 1891. № 7). Очевидно, публикуемое Радловым октябрьское письмо Соловьёва к М. М. Стасюлевичу без даты относится не к 1891-му, а к 1890 г.

С. 201. *В лесу болото* — стихотворение В. В. Соловьёва в письме Э. Л. Радлову 16 января 1895 г.

К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЙ (с. 202)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 10 нояб. № 11734.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 402–404).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 202. *...в заседаниях Религиозно-философского общества 1907–1908 года.* — В сезон 1907/08 г. произошло 9 заседаний: 3 октября 1907 г., 15 октября (с докладом Розанова «О нужде и неизбежности нового религиозного сознания»), 8 ноября, 21 ноября (с докладом Розанова «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира (По поводу статьи Д. С. Мережковского „Гоголь и о. Матвей“»), 12 декабря, 3 и 14 февраля 1908 г., 12 марта (с докладом Розанова «О христианском аскетизме») и 23 апреля 1908 г.

С. 203. *Меж детей низтожных мира...* — А. С. Пушкин. Поэт (1827).

...величайший псалом ~ после униженного греха... — псалом 50, молитва Давида, когда он каялся в том, что убил Урию Хеттеянина и овладел его женою Вирсавией.

С. 203. *На этой неделе собрания возобновляются.* — Заседанием 13 ноября 1908 г. открылся сезон 1908/09 г., выступил А. А. Блок с докладом «Россия и интеллигенция» (опубликован: *ЗР*. 1909. № 1. С. 78–85). Предполагавшиеся прения по докладу (с участием П. Б. Струве, В. А. Степанова, К. М. Агеева) были запрещены градоначальником. См. об этом следующую статью Розанова.

МЕЖДУ ТЬМОЮ И СВЕТОМ
(К инциденту в Религиозно-философском обществе)

(с. 204)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 17 нояб. № 11741.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 404–406).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 205. *...к секретарю общества ~ вмешательство еще третьего глена совета... —* Секретарем РФО был С. П. Каблуков. Совет Общества избирался на трехлетний срок. Первыми членами совета были учредители Общества С. А. Аскольдов (председатель), А. И. Введенский, В. В. Розанов, В. А. Тернавцев, С. Л. Франк.

С. 206. *...суть 17 октября —* имеются в виду свободы, объявленные манифестом 17 октября 1905 г.

ПАМЯТИ ДОРОГОГО ДРУГА

<О А. А. Кедринском>

(с. 206)

Сохранились гранки с правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 27–28. См. *Варианты*.

Печатается впервые по тексту гранок.

Кедринский Александр Антонович (1857–1908) — учитель древних языков в Елецкой гимназии с 1880 г. В 1903–1907 гг. директор Смоленской гимназии. Умер 28 ноября 1908 г. Написанный Розановым для «Нового Времени» некролог не был опубликован. См. о нем статью В. П. Горлова в «Розановской энциклопедии» (с. 454).

С. 206. *Петербургский историко-филологический институт —* существовал в Петербурге с 1867 по 1918 г. в здании, которое ныне занимает филологический факультет Петербургского университета (Университетская наб., 11).

<В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ>

(с. 208)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 28 нояб. № 11752. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 407).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 208. *26 ноября состоялось закрытое заседание... —* Это заседание РФО, как отмечает Розанов, не стенографировалось; оно не вошло в трехтомник «Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах» (М., 2009).

**<КРУЖОК К. А. ГУБАСТОВА
В ПАМЯТЬ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА>**
(с. 208)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 6 дек. № 11760. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 407).

Печатается по тексту первой публикации.

О Константине Аркадьевиче *Губастове* и Розанове см. статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 312–313).

**О «НАРОДО»-БОЖИИ
КАК НОВОЙ ИДЕЕ МАКСИМА ГОРЬКОГО**
(с. 209)

Автограф неизвестен.

Сохранилась машинопись статьи – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 125. Л. 1–40. См.

Варианты.

Впервые напечатано: *РС*. 1908. 13 дек. № 289.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 530–532).

Печатается по тексту первой публикации.

О Максиме *Горьком* (1868–1936) см. статью И. А. Бочаровой в «Розановской энциклопедии» (с. 283–293).

С. 209. «*Исповедь*» – повесть М. Горького, напечатанная в 1908 г. в Берлине в издательстве И. П. Ладыжникова и почти одновременно в «Сборнике товарищества „Знание“ на 1908 год» (СПб., 1908. Кн. 23). Московский протоиерей И. И. Восторгов обратился к председателю Совета министров П. А. Столыпину с просьбой изъять из обращения «Исповедь» Горького как «ниспровергающую религию». Повесть вызвала в печати много разнообразных и противоречивых откликов.

«*Бог, творяй гудеса*» – духовное песнопение.

«...*Бог есть синтетическая лигность...*» – Здесь и далее Розанов цитирует роман Достоевского «Бесы» (II, 1, 7).

<О РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ>
(с. 211)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 18 дек. № 11772. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 408).

Печатается по тексту первой публикации.

Анонимный отзыв о заседании 16 декабря 1908 г. напечатан также в газете «Слово» (1908. 18 дек.).

С. 211. ...*доклада А. А. Мейера «Религия и культура»...* – впервые опубликован под названием «Религия и культура. По поводу современных религиозных исканий» (СПб., 1909).

НОВЫЕ ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

(с. 212)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 96.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 20 дек. № 11774.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 409—410).

Печатается по тексту первой публикации.

В своем обзоре Розанов упоминает (с сокращенными названиями) следующие книги:

Декарт Р. Метафизические размышления / Пер. В. М. Небезиной под ред. А. И. Введенского. СПб., 1901.

Этика Аристотеля / Пер. и предисл. Э. Радлова. СПб., 1908.

Беркли Дж. Трактат о началах человеческого знания, в котором исследуются главные причины заблуждения и трудности наук, а также основания скептицизма, атеизма и безверия / Пер. Е. Ф. Дебольской под ред. и с предисл. Н. Г. Дебольского. СПб., 1905.

Мальбранш Н. Разыскание истины / Пер. Е. Б. Смелова под ред. Э. Л. Радлова. СПб., Т. 1. 1903; Т. 2. 1906.

Кант И. Критика чистого разума / Пер. и предисл. Н. Лосского. СПб., 1907.

Виндельбанд В. История древней философии с приложением философии средних веков и эпохи Возрождения / Пер. под ред. и с предисл. А. И. Введенского. 4-е изд. СПб., 1908.

Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками / Пер. под ред. А. И. Введенского. 2-е изд. СПб., 1905—1908. Т. 1: От Возрождения до Канта; Т. 2: От Канта до Ницше.

Льюис Дж. Г. В. История философии от начала ее в Греции до нашего времени / Пер. В. Чуйко. СПб., 1865—1867. Вып. 1—3.

Целлер Э. Очерки истории греческой философии / Пер. М. Некрасова под ред. М. Каринского. СПб., 1886.

Вебер Альфред. История европейской философии / Пер. И. Линниченко, Вл. Подвысоцкого под ред. А. А. Козлова. Киев, 1882.

Швеплер Альберт. История философии / Пер. под ред. П. Д. Юркевича. М., 1884. Вып. 1—2.

ЛИЧНОСТЬ ОТЦА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

(с. 213)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1908. 21 дек. № 11775.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 532—533).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов посвятил кончине протоиерея и духовного писателя *Иоанна Кронштадтского* (1829—1908) четыре статьи, публикуемые в наст. томе. Об отрицательном отношении Иоанна Кронштадтского к сочинениям Розанова см. в статье С. М. Сергеева в «Розановской энциклопедии» (с. 429).

С. 214. ...апостол Фома ищет вложить персты и осязать — Ин 20, 24—29.

1909

ПОТУГИ НА ПРОРОЧЕСТВО

(с. 215)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 5 янв. № 11788. Подпись: *Старый друг*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 17–20).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 215. *...в глухой России или в Сицилии* — имеются в виду поездки Д. С. Мережковского в керженские леса к староверам в 1902 г. и поездки весной 1900 г. в Таормино (Сицилия).

«Речь» или «Слово» — Мережковский печатался в газетах «Речь» и «Русское Слово». Его статья «Пророчество и провокация» появилась в газете «Речь» 4 января 1909 г. и затем вошла в его сборник «Большая Россия» (СПб., 1910).

С. 216. *О, род лживый и коварный (слова И. Христа... — Христос говорит: «Род лукавый и прелюбодейный»* (Мф 12, 39; 16, 4).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И МЫСЛЕЙ
ОБ ИОАННЕ КРОНШТАДТСКОМ

(с. 217)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *РС*. 1909. 9 янв. № 6. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 534–539).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 218. *Андреевский собор* — освящен в 1817 г. С 1865 по 1908 г. в нем служил Иоанн Кронштадтский. В 1932 г. храм был уничтожен, на его месте поставили памятник Ленину, который в 2000 г. был убран, и затем поставлен камень в память того, что здесь был собор апостола Андрея Первозванного.

С. 219. *...900 лет своего существования* — Первые века русская церковь была одной из митрополий Константинопольского патриарха. В 1051 г. киевский князь Ярослав Мудрый добился постановления на первосвятительский престол первого русского митрополита — Илариона.

Иоаннов женский монастырь — основан в Петербурге в 1900 г. Иоанном Кронштадтском в честь его покровителя преподобного Иоанна Рьльского. В храме покоятся мощи святого Иоанна Кронштадтского.

С. 220. *«Регламент» Петра Великого* — «Духовный регламент» для Синода, составленный в 1721 г.

«Моя жизнь во Христе» — *Сергеев И. И.* Моя жизнь во Христе: Правда о Боге, мире и человеке: Дневник Иоанна Кронштадтского. СПб., 1903.

С. 221. *...свое мнение о Льве Толстом...* — речь идет о книгах Иоанна Кронштадтского: «Против графа Л. Толстого, других еретиков и сектантов нашего времени и раскольников» (СПб., 1902), «Ответ Отца Иоанна Кронштадтского Льву Толстому на его „Обращение к духовенству“» (СПб., 1903), «О душепагубном еретичестве графа Л. Н. Толстого» (СПб., 1907), «О еретичестве гр. Льва Толстого» (СПб., 1908).

С. 222. *...о тем одно время писали газеты.* — Эти сведения Розанов почерпнул из книги: *Тенеромо И. [Фейнерман И. Б.]. Воспоминания о Л. Н. Толстом и его письма.* СПб., 1905. С. 110 (гл. 20: Иоанн Кронштадтский).

...вспоминает это и Достоевский... — Ф. М. Достоевский. Сон смешного человека. IV (Дневник писателя за 1877 г. Апрель. Гл. 2).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИМУЛЯНТЫ

(с. 223)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 174. Л. 1.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 11 янв. № 11794.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 324—326).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 223. *Блок гитает о землетрясении в Мессине...* — Доклад А. А. Блока в РФО 30 декабря 1908 г. в сокращенном виде был напечатан в «Нашей Газете» 6 января 1909 г., а в полном виде в альманахе «Италия: Литературный сборник в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине» (СПб., 1909). Сильнейшее землетрясение в Сицилии, разрушившее Мессину и унесшее 100—160 тысяч жизней, произошло 15 (28) декабря 1908 г.

Завоил Д. С. Мережковский. — В прениях выступали Д. С. Мережковский, Г. И. Чулков, П. Б. Струве (см. отчеты в «Нашей Газете» 1 января 1909 г.).

...роман Марты с Мефистофелем... — И. В. Гёте. Фауст (Ч. I. Сцена «Сад Марты»).

С. 224. *«Утреннее размышление о Божием величии по поводу грома»* — ода М. В. Ломоносова «Утреннее размышление о Божием величестве» (1743) посвящена не грозе, а описанию бурных процессов, происходящих на солнце.

«Вечернее размышление по поводу северного сияния» — ода М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» (1743).

«внутренней Цусимы» — В очерке «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (СПб., 1909) Д. С. Мережковский писал: «Во внешней политике — до Цусимы, а во внутренней — до того, о чем и говорить непристойно» (гл. X).

...сообщать в газеты ~ «везжает в Россию»... — в газетах появилось сообщение, что 11 июля 1908 г. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус возвратились из Парижа в Петербург.

...«он предположил бы, чтобы Россия не существовала вовсе...» — Розанов пересказывает статью Д. С. Мережковского «Красная шапочка» (Речь. 1908. 24 февр.); вошла в книгу Мережковского «В тихом омуте» (СПб., 1908), полемически направленную против П. Б. Струве.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<О выходе из совета Религиозно-философского общества>

(с. 225)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 17 янв. № 11800.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 29—30).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 225. *...выйти из состава совета...* — В 1907—1908 гг. председателем совета РФО был С. А. Аскольдов, ушедший с этого поста из-за невозможности придать заседаниям философский характер. На его место был избран церковный историк И. Д. Андреев, при котором на заседаниях Общества появились литературные и социальные доклады. В 1909—1912 гг. председателем был Д. В. Философов, в 1912—1917 гг. — А. В. Карташёв. *...вовсе не угастовавшим в собраниях 1907—1908 гг. ...* — Мережковский, Философов и Гиппиус находились в это время за границей.

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ

(с. 226)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 62. См.

Варианты.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 23 янв. № 11806.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 38—43).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 226. *И вырвал грешный мой язык...* — А. С. Пушкин. Пророк (1826).

...в собрании Религиозно-философского общества 21 января. — Собрание происходило 20 января 1909 г. Доклад В. А. Базарова «Богоискательство и богостроительство» опубликован в литературно-критическом и философско-публицистическом сборнике «Вершины» (СПб., 1909. Кн. 1. С. 331—361). Доклад Философова под названием «Друзья или враги» опубликован в журнале «Русская Мысль» (1909. № 8. С. 129—147).

...«Длинноухий Шигалев встал и положил перед собою тетрадь»... — Ф. М. Достоевский. Бесы. II, 7, 2.

...похож на Маргариту за прялкой... — И. В. Гёте. Фауст. Ч. 1. Сцена «Комната Гретхен».

Жил когда-то старый / Добрый король — Там же. Сцена «Вечер».

С. 227. *Ах, уехал он, уехал...* — слова народной песни.

Лепта св. Петра — дань в пользу папы римского, взимавшаяся в некоторых странах. В Англии с 787 г.

«Собрание романов Рафаила Зотова» — прозаику, драматургу и поэту Р. М. Зотову принадлежит более 100 крупных сочинений, однако его собрание сочинений не издавалось. Пользовался популярностью у непритязательных читателей.

...«Мы тогда много наблудили языком». — таких покаянных слов Мережковского найти не удалось. Вызывает сомнение сама возможность подобного заявления, поскольку в это время он занимался возрождением традиций Религиозно-философских собраний в РФО.

Совру — простят. — А. С. Грибоедов. Горе от ума. IV, 4.

«истинно добрый геловек» — Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника (1790). I.

...сходство с одной знаменитой нашей поэтессой. — очевидно, имеется в виду З. Н. Гиппиус, которой Мережковский посвятил стихотворение «Не-Джиоконде» (1913).

...лакеям, которые «в герое видят обыкновенного геловека»... — имеется в виду известное выражение «Для камердинера нет героя», восходящее к Плутарху и повторенное у Монтеня, Лабрюйера, Гегеля, Герцена и др.

...из Баскова переулка... — Басков переулок в Петербурге — место нахождения редакции журнала «Русское Богатство».

С. 228. *...«Какая же может быть религия без Бога»...* — Розанов имеет в виду доклад Д. В. Философова 20 января 1909 г. в РФО о богостроительстве и богоискательстве.

С. 229. ...в прошлогодних собраниях г. Свенцицкого... — 14 февраля 1908 г. священник и писатель В. П. Свенцицкий прочитал в РФО доклад «Мировое значение аскетического христианства». В ноябре 1908 г. он был исключен из Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьёва за антигосударственную деятельность и в 1909 г. перешел на нелегальное положение.

У ГРОБА ОТЦА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

(с. 229)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 29 янв. № 11812.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 48–50).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 230. ...он погребен в женском монастыре... — Иоанн Кронштадтский (Сергиев) был погребен 23 декабря 1908 г. (заупокойную литургию возглавил митрополит Антоний (Вадковский)) в основанном им Иоанновом ставропигиальном (т. е. с покоем Патриарха) женском монастыре на Карповке в Петербурге. Монастырь был заложен Иоанном Кронштадтским в 1900 г. и освящен в 1902 г.

Дивеевский женский монастырь — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области был основан в 1780 г., закрыт в 1927 г. и вновь открыт в 1991 г. В Троицком соборе находятся мощи Серафима Саровского. *Саровский монастырь*, находящийся поблизости, был основан в начале XVIII в.

Невская лавра — Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, мужской православный монастырь в Петербурге. Заложен Петром I на месте, как тогда считалось, победы в 1240 г. Александра Невского над шведами. С 1797 г. имеет статус лавры. 18 февраля 1932 г. все монашество были арестованы, в 1933 г. монастырь был закрыт. В 1957 г. в Троицком соборе возобновились богослужения.

ТРАГИЧЕСКОЕ ОСТРОУМИЕ

(с. 230)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 38–40, 43. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 9 февр. № 11822.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 326–330).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 230–231. *«Мережковский»* — статья Блока в газете «Речь» 31 января 1909 г., начинающаяся словами: «Когда-то Розанов писал о Мережковском: „Вы не слушайте, что он говорит, а посмотрите, где он стоит“. Это замечание очень глубокое» (цитата из статьи Розанова «Оконченная „трилогия“ г. Мережковского» // *НВ*. 1905. 28 апр.).

С. 231. *Угрин* — рекламируемое средство от прыщей.

...«имени Господа Бога твоего не произноси всуе»... — Исх 20, 7.

...«нигде же никто видел»... — Ин 1, 18.

С. 232. ...закон устройства Святаго Святых... — Ис 26.

С. 232. ...с «белыми дьяволицами» ~ да с Юлианом Отверженным. — речь идет о трилогии Мережковского «Христос и Антихрист»: 1. «Смерть богов. Юлиан Отступник» (первоначальное название «Отверженный»); 2. «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (первая книга называется «Белая дьяволица»); 3. «Антихрист. Петр и Алексей» (1895–1905)».

...«из-под куста таинственно кивает головой»... — М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837).

С. 233. ...в «Русской Мысли» он допустил изложить ~ разговор с ним... — В статье «Революция и религия» (РМ. 1907. № 2–3; вошла в его книгу «Не мир, но меч». СПб., 1908) Мережковский передает разговор некоего лица с Розановым:

← Ну а что, если бы увидели живого Христа, ведь вы не посмели бы посмотреть ему прямо в глаза?

— Посмел бы, видит Бог, посмел бы! Я и Ему в лицо сказал бы все, что вам говорю...

— Я знаю, — признался однажды Розанов в очень глубокой и сердечной беседе, — я знаю, что как бы я ни нагрешил, чего бы я ни наделал, Бог меня все-таки любит и никогда не покинет.

— За что же Бог вас так любит?

— За то, что я простой и добрый человек.

— А Христа вы любите?

— Не люблю.

— Почему?

— Именно потому, что Он мне кажется не простым и не добрым».

ПОПЫ, ЖАНДАРМЫ И БЛОК

(с. 234)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 171. Л. 2.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 16 февр. № 11829.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 330–333).

Печатается по тексту первой публикации.

Историю непростых отношений между Блоком и Розановым см. в статье С. Р. Федякина об А. А. Блоке в «Розановской энциклопедии» (с. 137–144).

С. 234. Кто же произносит... — Розанов пересказывает статью Блока «Мережковский» (Речь. 1909. 31 янв.).

...Надсон в минуты самого трагического настроения. — В своем знаменитом стихотворении «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...» (1880) поэт С. Я. Надсон писал: «Ночь вокруг чересчур уж темна! Мир устанет от мук, захлебнется в крови».

...Демона в опере Рубинштейна... — опера А. Г. Рубинштейна «Демон» (по поэме М. Ю. Лермонтова) была поставлена в Петербурге в 1875 г.

«Русь» — славянофильская газета И. С. Аксакова, издававшаяся в Москве в 1880–1886 гг.

«Проблемы идеализма» (М., 1902) — сборник статей, о котором Розанов писал в статье «Московские идеалисты» (*НВ*. 1903. 11 дек.).

...Флексер-Волынский старался... — В 1900 г. в Петербурге вышел сборник критических статей А. Л. Волынского «Борьба за идеализм».

С. 235. ...в гтении о землетрясении в Сицилии... — см. коммент. к с. 223.

Гостинный двор — крупнейший в Петербурге центр торговли промышленными товарами. Основан указом Елизаветы 1748 г., построен в 1761—1785 гг.

С. 235. *«Интеллигенция разошлась с народом»...* — Розанов неточно цитирует слова Блока из доклада в РФО 15 ноября 1908 г. «Россия и интеллигенция»: «Или действительно непереступима черта, отделяющая интеллигенцию от России?» (Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах. М., 2009. Т. 1. С 366). Та же мысль повторена в докладе Блока в РФО 30 декабря 1908 г.: «Когда я заговорил о разрыве между Россией и интеллигенцией...» (Там же. С. 389).

«К познанию России» — книга Д. И. Менделеева (СПб., 1907).

...боборыкинско-милюковским словом «интеллигенция». — П. Д. Боборыкин объявил себя первым, кто применил в 1866 г. слово «интеллигенция» в социальном значении, хотя еще 2 февраля 1836 г. В. А. Жуковский использовал это слово в своем дневнике. Академик П. Н. Сакулин утверждал, что термин этот был широко распространен в философской литературе Западной Европы первой половины XIX в. В английских справочниках слово это возводится к античности (Платон, Теренций, Цицерон). Имя П. Н. Милюкова возникло у Розанова в связи с его книгой «Из истории русской интеллигенции» (СПб., 1902).

С. 236. *...«пусть у них хотя и пьяненький будет священник...»* — В письме к Розанову 17 февраля 1909 г. Блок писал по поводу этой статьи: «Я не пойду к пасхальной заутрене к Исаакию, потому что не могу различать, что блестит: солдатская каска или икона, что болтается — жандармская епитрахиль или поповская ногайка. Все это мне по крови отвратительно. Что старому мужику это мило — я не спорю...» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1963. Т. 5. С. 275).

50-ЛЕТИЕ А. С. СУВОРИНА

(с. 236)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 27 февр. № 11840. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 69—70).

Печатается по тексту первой публикации.

Об Алексее Сергеевиче *Суворине* (1834—1912) см. статью С. В. Шумахина в «Розановской энциклопедии» (с. 965—973).

Торжественный юбилейный акт в ознаменование 50-летия литературной деятельности выдающегося просветителя А. С. Суворина состоялся 27 февраля 1909 г. (он начал печататься в 1858 г.) в петербургском Дворянском собрании. 27 февраля 1876 г. вышел первый номер обновленного Сувориным издания газеты «Новое Время». Вступительное слово произнес епископ Евлогий (Георгиевский). С приветствиями юбиляру выступило более 80 делегаций от Госдумы, обществ, журналов, газет, изданий. От Государя был прислан подарок: фотография Его Величества в драгоценной раме с собственноручной надписью: «А. С. Суворину, честно проработавшему на литературном поприще в течение 50 лет на пользу родной страны».

С. 237. *«Дешевая библиотека»* — Издательство А. С. Суворина выпустило свыше 400 книг русских и переводы иностранных писателей в этой серии, ставших символом просветительской деятельности Суворина.

ВЕЛИКОЕ НАЧИНАНИЕ В МОСКВЕ

(с. 238)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 4, 5, 6, 7 марта. № 11845–11848.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 75–87).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 238. *Недавно я посетил ее...* — Известно только о поездке Розанова в Москву 25–30 апреля 1909 г. на Гоголевские юбилейные торжества и открытие памятника Гоголю. *...в петербургских «новых ковчегах»...* — здесь «нuevoв ковчег» как символ уплотненного проживания всякой пары (Быт 13–19).

...творец «Отрока Варфоломея» и «Святой Руси»... — живописцу М. В. Нестерову принадлежат картины «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890, Третьяковская галерея) и «Святая Русь» (1901–1906, Русский музей), а также роспись Марфо-Мариинской обители в Москве (1908–1911).

...великая княгиня Елизавета Федоровна, потерявшая мужа таким ужасным образом... — жена великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, убитого 4 марта 1905 г. террористом И. П. Каляевым. В апреле 1918 г. она была арестована и зверски убита 18 июля 1918 г. большевиками. РПЦ в 1992 г. причислила ее к лику святых.

С. 239. *Мариинская больница* — старейшая больница Петербурга, открыта в 1805 г. по инициативе вдовы императора Павла I Марии Федоровны, после кончины которой в 1828 г. получила имя Мариинская.

...Христос был позван в дом двух сестер, Марфы и Марии. — Лк 10, 38–42.

...«сам Христос был алкал и, следовательно, подлежал законам теловещеской биологии...» — Сходная мысль содержится в письме К. Н. Леонтьева к Розанову от 27 мая 1891 г.: «Христос — вполне Бог, но и вполне человек, за исключением греха».

...«если и земля и небо прейдут — в них не пройдет и йота»... — Мф 5, 18.

...«Марфа, ты заботишься о многом, а нужно одно...» — Лк 10, 41–42.

С. 241. *Калужская Божия Матерь* — икона ее была явлена в 1748 г., считается покровительницей Калуги и Калужской области, спасла в 1812 г. Калугу от французов.

...Амвросий хотел написать образ «Божией Матери — спорительницы хлебов»... — По благословению Амвросия Оптинского была написана такая икона, празднование которой было установлено им 15 (28) октября. В 1993 г. внесено в календарь РПЦ.

С. 242. *«Марфо-Мариинская обитель милосердия»* — основана в феврале 1909 г. великой княгиней Елизаветой Федоровной. Соборный храм Покрова заложен 22 мая 1908 г. и был выстроен к 1913 г. архитектором А. Щусевым. Обитель открылась в 1910 г., Елизавета Федоровна приняла в ее стенах монашеский постриг и была возведена в сан настоятельницы. Обитель просуществовала до 1926 г. Возрождение ее началось в 1992 г., но реставрационные мастерские, находившиеся в ней, освободили помещение лишь в 2006 г. В 2009 г. патриарх Кирилл возглавил церемонию переноса части мощей святой Елизаветы в основанную ею обитель. 8 июня 2009 г. Генеральная прокуратура России посмертно реабилитировала Елизавету Федоровну.

С. 243. *...о древнем и забытом потом гине «диаконис»...* — В раннем христианстве женщины играли важную роль. Апостол Павел упоминает диаконису Фиву (Рим 16, 1). Возрождение института диаконис произошло в XIX в. в Западной Европе. В 1911 г. институт диаконис предполагался к введению в России, но резкий протест епископа Гермона (Долганёва) заглушил это начинание.

С. 245. ...не сказано ли о смоковнице... — притча о смоковнице: Мф 21, 19.

С. 245–246. ...монастырей ~ во всей России огонь много ~ пришлось многие из них упразднить за безлюдность. — В XIX в. из 452 монастырей было к середине века упразднено 58 малобратственных обителей, однако в 1914 г. число монастырей достигло 1025.

С. 246. ...епископ Никон ~ есть место молитвы, а не место помощи. — Епископ Никон (Рождественский), настоятель московского Данилова монастыря (1904), выступал против революционной смуты 1905 г. и против помощи раненым. За то, что он вносил «в проповедь и в печатные статьи политику», Синод переместил его в 1906 г. епископом в Вологду.

У МОГИЛЫ ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

(с. 248)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1909. 5 марта. № 52. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 87–93).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 248. ...«Господи! сделай так, чтобы дважды два не было четыре». — И. С. Тургенев. Молитва (1881; из «Стихотворений в прозе»).

Кант говорит ~ о нравственном долге человека. — В Заключении к «Критике практического разума» (1788) И. Кант писал: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и нравственный закон во мне».

Вертер у Гёте перед тем как умереть ~ смотрит на созвездие Большой Медведицы. — «Я подхожу к окну, дорогая, смотрю и вижу сквозь грозные, стремительно несущиеся облака одиночные светила вечных небес! Вы не упадете! О нет! Предвечный хранит меня в своем лоне и вас и меня. Я увидел звезды Большой Медведицы, самого милого из всех созвездий. Когда я по вечерам уходил от тебя, оно сияло прямо перед твоими воротами. В каком упоении смотрел я, бывало, на него! Часто я простирал к нему руки, видя в нем знамение и священный символ своего блаженства!» (*Гёте И. В. Страдания юного Вертера* (1774). Пер. Н. Касаткиной // *Гёте И. В. Избранные произведения: В 2 т.* СПб., 1997. Т. 2. С. 331–332). Ф. М. Достоевский вспоминал это предсмертное письмо Вертера в «Дневнике писателя» (1876. Январь. Гл. 1. § 1).

Ектения — молитвенные прошения в православном богослужении.

С. 249. *Стрелка* — восточная часть Васильевского острова в Петербурге, одно из самых популярных мест города.

...храм Воскресения Христа ~ на Екатерининском канале... — храм, называемый в народе «Спас на крови», построен в 1883–1907 гг. на месте, где 1 марта 1881 г. взрывом бомбы, брошенной террористом И. Гриневицким, был смертельно ранен император Александр II.

С. 251. ...из «Физики» *Малинина и Буренина*... — составители гимназических учебников по математике, физике и другим предметам А. Ф. Малинин и К. П. Буренин вошли в поговорку, которую не раз использовал Розанов.

С. 252. ...догь эта (кажется, описанная в «Асе»)... — Одним из прототипов героини повести И. С. Тургенева «Ася» (1858) была его внебрачная дочь Полина Брюэр (Анна, которую в семье звали Ася). В пору, когда Тургенев работал над повестью «Ася», ей было 12 лет. Полина воспитывалась во Франции в доме Виардо.

С. 253. «*Всякому человеку нужно, чтобы было куда пойти*»... — перифразировка слов Мармеладова из «Преступления и наказания» (1, II) У Ф. М. Достоевского: «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти».

НА ЧТЕНИИ гг. БЕРДЯЕВА И ТЕРНАВЦЕВА

(с. 253)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 12 марта. № 11853.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 93–95).

Печатается по тексту первой публикации.

О Николае Александровиче *Бердяева* (1874–1948) см. статью Ю. Ю. Чёрного в «Розановской энциклопедии» (с. 129–134). О Валентине Александровиче *Тернавцеве* (1866–1940) см. статью М. Ю. Эдельштейна в «Розановской энциклопедии» (с. 989–991).

С. 254. *В предыдущем собрании был прогитан Н. А. Бердяевым доклад...* — 24 февраля 1909 г. Н. А. Бердяев прочитал в РФО доклад «Опыт философского оправдания христианства (В. Несмелов)». Опубликовано в журнале «Русская Мысль» (1909. № 9. С. 54–72) с подзаголовком: «(О книге Несмелова „Наука о человеке“)». Главный труд философа и богослова В. И. Несмелова «Наука о человеке» (впервые в журнале «Православный собеседник», 1896 — 1898; отд изд.: Казань, 1903) был переиздан в Казани в 1906 г.

...«*Империя и христианство*» В. А. Тернавцевым... — Доклад Тернавцева, прочитанный в РФО 10 марта 1909 г., был ранее, 7 декабря 1908 г., читан в Москве в Религиозно-философском обществе памяти Вл. С. Соловьёва и опубликован под названием «Римская империя и христианство» в «Богословском Вестнике» (1914. Т. I. Янв. Отд. II. С. 18–50) и отдельным оттиском в 1914 г. в Сергиевом Посаде.

...*когда Константин Великий принял крещение.* — 22 мая 337 г. умер император Константин, которого перед кончиной крестил арианский епископ Евсевий Никомидийский.

С. 255. *К. М. Аггеев в прекрасной речи* — О выступлении К. М. Аггеева, а также о речах А. В. Карташёва, Д. С. Мережковского и второй речи В. А. Тернавцева 10 марта 1909 г. в РФО нам известно только по настоящей статье Розанова. В трехтомнике материалов и документов РФО (М., 2009) сведения отсутствуют.

«*Что значит для человека приобрести весь мир и потерять душу*» — Мф 16, 26.

С. 256. ...«*Победу описывай как победу, а поражение описывай как поражение*». — Ксенофонт. Киропедия. I, 6; II, 3.

ЗАГАДКИ ГОГОЛЯ...

(с. 256)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *РС*. 1909. 12 и 14 марта. № 58, 60. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 333–345).

Печатается по тексту первой публикации.

О Николае Васильевиче *Гоголе* (1809–1852) см. статью В. М. Гуминского в «Розановской энциклопедии» (с. 261–275).

Несколько статей Розанова о Гоголе: «Гоголевские дни в Москве» (*НВ*. 1909. 3 и 8 мая), «Гоголь и его значение для театра» (*НВ*. 1909. 21 марта), «Отчего не удался памятник Гоголю» (*ЖТЛХО*. 1909. № 2) см. в книге Розанова «Среди художников».

С. 256. *...Икары, как бы летящие к солнцу...* — в греческой мифологии Икар, сын Дедала, улетел с острова Крит на крыльях, скрепленных воском, но, поднявшись очень высоко к солнцу, упал в море, когда солнечный жар растопил воск.

«Купец Остолоп и работник его Балда» — подцензурное название сказки Пушкина о попе и о работнике его Балде.

С. 257. *Но Авраам узнал Бога, явившегося ему...* — Быт 17, 1.

...в отделе городской хроники «Московских Ведомостей» за 1853 г. ... — Сообщение о похоронах Гоголя появилось в «Московских Ведомостях» 26 февраля 1852 г. (№ 25): «В воскресенье, 24-го февраля, после Божественной литургии происходило отпевание тела Николая Васильевича Гоголя в присутствии <...> многих почетных лиц столицы, при многочисленном стечении читателей памяти покойного, наполнивших обширную церковь Университета. По окончании печального обряда гроб был вынесен из церкви профессорами и потом до самого Данилова монастыря, невзирая на неудобство пути, был несен на руках, преимущественно студентами».

...Хома отворотился и хотел отойти от гроба... — цитата из «Вия» Гоголя, как и следующие цитаты из Гоголя, приводится неточно.

С. 258. *«Иллюстрация»* — еженедельное издание, выходившее в Петербурге в 1845–1849 гг., редактор-издатель Н. В. Кукольник, с 1847 г. — А. П. Башуцкий.

«Мое знакомство с Гоголем» — Воспоминания С. Т. Аксакова «История моего знакомства с Гоголем» впервые напечатаны в «Русском Архиве» (1890. № 8).

...спенсер (спенсер) — короткая курточка с длинными рукавами. Мужчины носили спенсер на рубеже XVIII–XIX вв., позже он стал частью женского костюма. Назван по имени лорда Джорджа Спенсера, автора такой одежды.

С. 259. *...поездкой в Иерусалим* — В январе 1848 г. Гоголь морским путем отправился в Иерусалим, где у гроба Господня молил помочь завершению «Мертвых душ». В апреле 1848 г. вернулся в Одессу.

«Авторская исповедь» — написана Гоголем летом 1847 г. как ответ на критику его «Выбранных мест из переписки с друзьями». Название дано С. П. Шевыревым при первой публикации в книге «Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти» (М., 1855).

...называет Рим «настоящей родиной своей души»... — из письма Гоголя М. П. Балабиной в апреле 1838 г. (Рим — «родина души моей»).

С. 260. *...о русском «метком слове»...* — В пятой главе «Мертвых душ» Гоголь писал: «Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словом, то пойдет оно ему в род и потомство...»

...Риме, о котором ~ заметки оставил Герцен; о котором порой говорили Вл. Соловьёв, К. Леонтьев... — см.: А. И. Герцен. Былое и думы. Ч. 5 (Париж — Италия — Париж. 1847–1852); В. С. Соловьёв. Оправдание добра. Гл. 18. § 3–5; К. Н. Леонтьев. Византизм и славянство (1875). Гл. VIII–IX.

...Башкирцева в своем «Дневнике»... — «Дневник» художницы М. К. Башкирцевой был переведен с французского и выпущен в Ялте в 1904 г. («Неизданный дневник»). Розанов дал в «Уединенном» характеристику Башкирцевой: «Секрет ее страданий в том, что она при изумительном умственном блеске — имела, однако, во всем только полуталанты».

«Моим горьким смехом посмеюся»... — надпись на надгробной плите Гоголя взята из Книги пророка Иеремии (20, 8 на церковнославянском языке): «Горьким словом моим посмеются».

Один из лугших немецких критиков... — Немецким критиком Розанов называет датского критика Георга Брандеса, который в 1887 г. побывал в России и затем популяризировал русскую литературу, в частности Гоголя.

С. 261. *Первое, что я услышал на русском языке, в пограничной таможне...* — В. И. Шенрок в «Материалах для биографии Гоголя» (М., 1892. Т. 2. С. 340) пишет: «Вернувшись в первый раз из-за границы, Гоголь, как говорят, на вопрос о первом поразившем его на родине впечатлении ответил, что прежде всего он услышал поговорку: “Чин чина почитай”».

...об Иерусалиме он не оставил никаких заметок, никаких воспоминаний... — В письме к В. А. Жуковскому 6 апреля 1848 г. Гоголь описал свои чувства перед гробом Господним: «Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моления не в силах были угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед Чашей, внесенной священником вертепа для приобщенья меня, недостойного... Вот тебе все мои впечатления из Иерусалима».

Одинок сидел в своей пещере перед лампадой схимник... — Н. В. Гоголь. Страшная месть (1832). Гл. XV.

С. 262. *«Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»* — Н. В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем (1834).

Купол св. Петра — венец архитектурного творчества Микеланджело в Риме (1560), завершенный после его смерти.

...на арку Тита, — с изображением триумфов после взятия Иерусалима... — старейшая триумфальная арка Рима, построенная в 81 г. а память о взятии в 70 г. Иерусалима и подавлении восстания евреев.

Колизей — грандиозное сооружение Древнего Рима, начатое при императоре Веспасиане в 72 г. и оконченное при императоре Тите в 80 г. Амфитеатр Флавиев, расположенный на месте, где был пруд Золотого дома Нерона.

«О, Русь! Куда мгишься ты?» — Н. В. Гоголь. Мертвые души (конец первого тома: «Русь! Куда же несешься ты?»).

«О, Аннунциата» — Гоголь хотел назвать задуманную весной 1838 г. повесть «Рим» по имени ее героини. Главы «Аннунциаты» он читал в феврале 1840 г. в доме Аксаковых.

С. 263. *«О, не лейте же мне на голову холодную воду»* — В конце «Записок сумасшедшего» Гоголь пишет: «Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду» (таков был старинный способ лечения душевнобольных).

В мундирах выпушки, погончики, петлижки — А. С. Грибоедов. Горе от ума. III, 12.

...Гоголь был жалким профессором истории. — В июне 1834 г. Гоголь был назначен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории С.-Петербургского университета, принял за труды по истории, но в 1835 г. оставил университет и отдался литературному творчеству.

Бедному сыну пустыни снился сон... — Н. В. Гоголь. Арабески (1835). Ч. II. Жизнь.

С. 264. *Кинамон* — корица.

С. 265. *...в роль Петра Пустынника, проповедавшего крестовый поход...* — Петр Амьенский, или Петр Пустынный, проповедовал в 1095—1096 гг. необходимость первого крестового похода на Ближний Восток.

«Лысая гора» — историческая местность в районе Киева на берегу реки Лыбедь, с 1923 г. в черте города, место сбора сатанистов и представителей других субкультур.

С. 265—266. *...«мечта беса — воплотиться в семипудовую купчиху и ставить восковые свечи».* — В «Братьях Карамазовых» Достоевского (Кн. 11. Гл. IX) черт говорит: «Моя мечта это — воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал — войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца».

ГЕНИЙ ФОРМЫ
(К столетию со дня рождения Гоголя)
 (с. 266)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 20 марта. № 11861.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 345–352).

Печатается по тексту первой публикации.

Д. Философов в статье «Дурной глаз» (*Наша Газета*. 1909. 22 марта. № 68) писал о новой работе Розанова о Гоголе: «Лет пятнадцать тому назад. В. В. Розанов написал несколько замечательных страниц о Гоголе („Легенда о Вел. Инквизиторе“, прилож. СПб. 1894). Он не согласен со взглядом Ап. Григорьева, что современная русская литература идет от Гоголя. Вернее, она вся в своем целом явилась отрицанием Гоголя, борьбою против него. Послегоголевская литература искала живых людей, изображала живую душу: ее волнения, ее страсти, ее падения и просветления, ее страдания и надежды. „Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидел он в ней“. „Гениальный художник всю свою жизнь изображал человека и не мог изобразить его души“, и когда после Гоголя переходишь к Толстому, то кажется, „как будто от кладбища мертвецов переходишь в цветущий сад“. Всесторонний Пушкин составляет антитезу к Гоголю. Он как бы символ жизни. Гоголь же движется только в двух направлениях: напряженной и беспредметной лирики, уходящей ввысь, и иронии, обращенной ко всему, что лежит внизу. С Гоголя, по мнению Розанова, началась в нашем обществе потеря чувства действительности, равно как от него же идет и начало отвращения к ней. Гоголь был гениальный живописец внешних форм, за которыми ничего не скрывается, нет живой души. Нет того, кто бы носил их.

Ту же мысль, может быть в несколько смягченном виде, проводит Розанов и в своей юбилейной статье „Гений формы“ (*„Нов. Время“*, от 20 марта). В ней он, между прочим, ставит в упрек Гоголю, что благодаря ему Россия, читая „Мертвые души“, не вспомнила даже, что „Чичиков вместо Манилова мог бы попасть в деревню Чаадаева или Герцена, Аксаковых или Киреевских, мог заехать к Пушкину или друзьям и ценителям Пушкина“. Суворый приговор! Страшные слова! Но они мне все время припомнились, когда в день рождения Гоголя я смотрел „Ревизора“. Что ж скрывать? У Гоголя был мертвый или, вернее, дурной глаз на людей. Впечатление от комедии — прямо подавляющее. Это, конечно, не комедия, а величайшая трагедия. Кончающаяся позорной смертью всех действующих лиц».

Те же мысли продолжил развивать Д. Философов в статье «Мертвецы и звери» (*РМ*. 1909. № 4. С. 196). Розанов почувствовал: «Смеяться *вместе* с Гоголем — нельзя. На это надо иметь право. Не Елизавет Воробей, не дореформенные взяточники — мертвые души, а вся Россия. „Над кем смеетесь, над собой смеетесь!“ И Розанов взбунтовался. И горе тому человеку, который видит в ней не живые, а мертвые души».

На статью Розанова откликнулся журналист С. Б. Любошиц. На другой день в «Обзоре печати» в газете «Слово» (21 марта. № 743) он писал: «Все газеты пестрят статьями о Гоголе. Статьи длинные и короткие, горячие и вялые, умные и банальные... „Нового слова“ о Гоголе не сказал никто, но знаменательное слово по поводу Гоголя сказала „Новое Время“. Суворинская газета недовольна Гоголем, она, в сущности, предлагает отменить Гоголя или, по крайней мере, — так как отменить Гоголя нельзя — отрешиться от Гоголя, преодолеть „гоголевский гипноз“. Эта суворинская точка зрения на Гоголя ясно изложена в короткой редакционной статье и подробно обоснована в длинной статье г. Розанова... Гоголь затормозил рост русского самосознания, затормозил потому, — поясняет г. Розанов, — что „в Гоголе самом не было никакой *определенной* великой мысли“.

Правда, „у него есть то, что в искусстве гораздо выше мысли, — красота, оконченность формы, совершенство создания“ и благодаря этому он „потряс Россию особенным потрясением“. „Под разразившейся грозой „Мертвых душ“ вся Русь присела, съежилась, озябла... Вдруг стало ужасно холодно, как в гробу около мертвеца.. Вот и черви ползают везде... — Дальше от гоголевского безобразия...». Завершает свою заметку Любошиц (подписавший ее псевдонимом С. Любош) уподоблением Розанова небезызвестному Пуришкевичу: «Не случайность — тот факт, что в самое время, когда в редакции „Нового Времени“ сочинялся обвинительный акт против Гоголя, в Государственной думе Пуришкевич проповедывал, что для одоления внешних врагов не нужно никакой амуниции, а нужна лишь амбиция».

Через день Любошиц под тем же псевдонимом продолжил борьбу с Розановым и М. О. Меньшиковым в статье «Меньшиков, Пушкин и Гоголь» (Слово. 1909. 23 марта): «„Как черта выставить дураком?“ — мечтал Гоголь. — Как Гоголя выставить „моветонном“ — мечтают в „Новом Времени“. Сначала выпустили на Гоголя В. Розанова, который давно уже решил, что Гоголь — „гений формы“, содержания же у него нет никакого — „что же извлечешь из «Носа», из неудачной ревизии «Ревизора», из скупки мертвых душ? — спрашивает г. Розанов. — Нечего извлечь. И Русь захохотала голым пустынным смехом... И понесся по равнинам ее этот смех, круша и те избенки на курьих ножках, которые все-таки кое-как стояли, „какие нам послал Бог“, по выражению Пушкина (в письме к Чаадаеву). И этот дикий безыдейный хохот, — сколько его стоит на Руси!»

Впрочем, г. Розанов в „Новом Времени“ — особая статья. Этот безусловно оригинальный мыслитель и талантливый писатель, хотя и несколько сродни гоголевскому Кифе Мокиевичу, точно не имея куда приткнуться, мимоходом зашел в „Новое Время“ и там как-то случайно основался. Он гость, он чужой, но он привык и к нему привыкли. Терпимо относятся к некоторым его странностям, но и он терпимо мирится с нравами суворинской газеты, с ее повседневным срамным обиходом, и нередко, когда там бывшие или просто пропащие люди затягивают хором какую-нибудь сугубую непристойность, он считает уместным не отставать и тоже подтягивает. Место обязывает. Но г. Розанов все-таки слишком сам по себе и его никак не уместить целиком в новременские рамки. У Розанова есть своя святыня, а тут нужен был человек, у которого за душой уже ничего не осталось, человек, на все готовый, не способный смутиться перед тем, „на что он руку подымал“. И вот, на Гоголя выпустили самого Меньшикова... И Меньшиков оправдал себя. — Мы с Пушкиным аристократы, — заявляет Меньшиков, — а Гоголь... Что такое Гоголь? Гоголь — плебей».

Эпиграф из повести Гоголя «Нос» (конец раздела II) приводится неточно. У Гоголя читаем: «Здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно».

С. 268. *Венера Медицейская* — мраморная копия I в. до н. э. утраченной греческой статуи богини любви. В 1677 г. статую приобрели Медичи, и с тех пор она хранится в Уффици. Байрон посвятил ей XLIX строфу четвертой части «Паломничества Чайлд-Гарольда».

С. 269. «*Становитесь добродетельнее и слушайте божественную литургию*». — Розанов пересказывает письма Гоголя к своей матери Марии Ивановне, написанные во время работы над «Размышлениями о Божественной Литургии» в 1843–1845 гг. Одно из них было послано 12 декабря 1844 г. из Франкфурта.

С. 270. *...об этом сказали нам Тургенев и Глеб Успенский...* — имеются в виду высказывания И. С. Тургенева в повести «Довольно» (1865): «Венера Милосская, пожалуй, несомненное римского права или принципов 89-го года» (гл. XV), а также слова Г. И. Успенского в очерке «Выпрямила» (1884) о Венере Милосской: «...в чем заключается тайна

этого художественного произведения, какие черты, какие линии животворят, „выпрямляют“ и расширяют скомканную человеческую душу».

С. 271. «*Размышления о божественной литургии*» — книга Гоголя была впервые напечатана академиком Н. С. Тихонравовым в 1889 г. в 4-м томе 10-го издания Сочинений Гоголя.

...*пишем к калужской губернаторше Смирновой...* — В «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847) содержатся письма, адресованные Александре Осиповне Смирновой (урожд. Россет), автору воспоминаний о Гоголе, муж которой, Н. М. Смирнов, в 1845—1851 гг. был калужским губернатором. Эти письма составили главы VI (О помощи бедным) и XXI (Что такое губернаторша).

...*Чигиков ~ мог бы попасть в деревню Чаадаева или Герцена, Аксаковых или Киреевских, мог заехать к Пушкину...* — У П. Я. Чаадаева и А. И. Герцена деревень не было. Аксаковы имели имения вблизи Уфы. И. В. Киреевский жил в родовом имении Долбино вблизи Белёва в детстве (1813—1822) и был владельцем его с 1837 г. А. С. Пушкин жил в Михайловском с июля 1824 г. по сентябрь 1826 г.

Тентетников — персонаж первой главы второй части «Мертвых душ» Гоголя. Он «принадлежал к семейству тех людей, которых на Руси много, которых имена — увальни, лежебоки, байбаки и тому подобные».

С. 272. «*Философические письма*» — В 1829—1831 гг. П. Я. Чаадаев написал «Письма о философии истории». Первое «Философическое письмо» было опубликовано в 1836 г. в журнале «Телескоп», за что Чаадаев был объявлен сумасшедшим.

...*хоть нитогка глубокомыслия Паскаля...* — Другого мнения о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя был Л. Н. Толстой. 5 октября 1887 г. он писал об этой книге Гоголя: «Пошлые люди не поняли, и 40 лет лежит под спудом наш Паскаль».

...«*какие нам послал Бог...*» — 19 октября 1836 г. Пушкин написал письмо П. Я. Чаадаеву (отослано не было в связи с преследованиями Чаадаева), в котором читаем: «Я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал».

«Л. Н. ТОЛСТОЙ О ЮБИЛЕЕ ГОГОЛЯ»

(с. 272)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ.* 1909. 26 марта. № 11867. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 98—100).

Печатается по тексту первой публикации. В Собрании сочинений Л. Н. Толстого в 22 томах статья «О Гоголе» из «Русского Слова» (т. 15) кастрирована: снято отрицательное отношение Толстого к юбилею Гоголя, а также оценки глав «Выбранных мест из переписки с друзьями». Такова была общая тенденция советского толстоведения при издании текстов писателя.

С. 272. В «*Рус. Слове*» напечатана беседа сотрудника газеты... — *Спиро С.* Толстой о Гоголе // *РС.* 1909. 24 марта.

С. 273. «*О значении болезней*», «*О том, что такое слово*» — имеются в виду главы из «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя: III. Значение болезней; IV. О том, что такое слово.

...*в заключительной сцене к «Ревизору»...* — речь идет не столько о немой сцене после появления жандарма с известием о прибытии ревизора, сколько о пьесе Н. В. Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии» (1842).

С. 274. ...в своих статьях о Шекспире — имеются в виду статьи Толстого «Что такое искусство?» (1898), «О Шекспире и драме» (1906).

НИК. НИК. БАХМЕТЕВ

(Некролог)

(с. 274)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 26 марта. № 11867. Подпись: *Т—щъ*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 108—109).

Печатается по тексту первой публикации.

Бахметев Николай Николаевич (1848—1909) — журналист, с которым Розанов служил в «Новом Времени». См. о нем статью в «Розановской энциклопедии» (с. 114).

С. 274. ...критического этюда *Громеки — Громеко* М. С. Последние произведения Л. Н. Толстого. 5-е изд. М., 1894. Публикация «Исповеди» в журнале «Русская Мысль» (1882. № 5) была запрещена. Выдержки из нее (под видом бесед с Толстым) приведены в статье М. С. Громеки «Последние произведения гр. Л. Н. Толстого» (*РМ*. 1884. № 11; отд. изд.: 1885). Отдельное издание «Исповеди» вышло в Женеве в 1884 г., в России — в 1906 г. (см.: *Бахметев* Н. Л. Н. Толстой и цензура 80-х гг. // *НВ*. 1908. 1 окт.).

К. И. ЧУКОВСКИЙ О РУССКОЙ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ

(с. 275)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 5—11. Подпись «В. Варварин» зачеркнута, чернилами написано: «В. Розанов». Сохранилась также вырезка из журнала (Там же. Л. 12—13). На гранках надпись: «Прошу переписать, оставляя поля, и прислать по адресу: Б. Казачий пер. (около Гороховой), дом 4, кв. 12, В. В. Розанову. В. Розанов».

Впервые напечатано: *ЖТЛХО*. 1908—1909. Вторая половина сезона. № 8. Апрель 1909. С. 9—12.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 118—125).

Печатается по тексту первой публикации.

О Корнее Ивановиче *Чуковском* (1882—1969) см. статью С. Б. Джимбинова в «Розановской энциклопедии» (с. 1157—1159).

Розанов присутствовал на лекции К. И. Чуковского 7 октября 1908 г., а 15 октября 1908 г. Чуковский выступил с той же лекцией в московском Литературно-художественном кружке. Опубликована она была под названием «Кинематограф» в журнале «Театр и искусство» (1908. № 49. С. 868—870), а затем под названием «Нат Пинкертон и современная литература» — отдельным изданием (СПб., 1908).

С. 275. *Соляной городок* — комплекс построек в центре Петербурга у Летнего сада. В 1820-е гг. находившиеся там амбары для хранения соли дали название этому месту. После проведенной здесь в 1870 г. Всероссийской промышленной выставки в Соляном городке образовался культурно-просветительский центр, где до 1917 г. устраивались выставки, концерты, лекции.

С. 277. «Бег тѣщ» — Французский историк кино Жорж Садуль в своей «Всеобщей истории кино» (М., 1958. Т. 1. С. 576) определяет этот фильм как продукцию фирмы «Гомон» производства 1907 г. (в русском переводе книги Садуля «Состязание тѣщ»). Французский режиссер Ромео Бозетти снял ряд фильмов с «гонками с преследованием»: «Бег полицейских», «Бег тѣщ», «За париком» (коммент. Е. Ивановой в Собр. соч. К. Чуковского: М., 2003. Т. 7. С. 648).

С. 278. «Так говорит Заратустра» — см. коммент. к с. 143.

Толпу ругали все поэты... — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840).

С. 279. *...некоторая земля бывает «каменистая» — и не принимает зерна, другая — «сорная»...* — Мф 13, 4—8; Мк 4, 3—8; Лк 4—8.

...«Погиб народ мой, погиб Иерусалим». — перифразировка из книги пророка Иеремии (26, 18).

С. 281. *...царевич Наль, муж благородной Дамаянти...* — В эпосе народов Индии «Махабхарата» (IV в. до н. э.) одна из книг называется «Сказание о Нале» (Наль и Дамаянти / Пер. В. А. Жуковского. СПб., 1844).

Водопад Виктория — водопад на реке Замбези в Южной Африке, ширина 1800 м, высота 120 м. Шотландский исследователь Д. Ливингстон побывал у водопада в 1855 г. и назвал его в честь английской королевы Виктории (местное название «Гремящий дым»).

...рассказ у Диккенса. К сожалению, забыл заглавие. — речь идет о рассказе «Цирк Астли» (1836) из «Очерков Боза» Чарльза Диккенса.

НОВАЯ КНИГА О ГОГОЛЕ

(с. 282)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 13.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 24 апр. № 11894.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 143—145).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов рецензирует книгу: *Щеглов И. Л.* Подвижник слова: Новые материалы о Н. В. Гоголе. СПб.: Мир, 1909. 178 с. Об отношениях Розанова и И. Л. Щеглова (Леонтьева) см. в «Розановской энциклопедии» (с. 1195—1196).

С. 282. *...знаменитая корреспондентка А. О. Смирнова* — см. коммент. к с. 271.

Крестовый монастырь — монастырь Святого Креста в Иерусалиме, место поклонения православных. Основан в V в. Гоголь посетил его в 1848 г. во время пребывания в Иерусалиме. Однако более вероятно, что речь идет о Крестовом мужском монастыре в Калуге (основан в 1830 г.).

Оптина пустынь — Свято-Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная Пустынь (вблизи г. Козельска) основан в XV в.; в XIX в. — один из духовных центров России. Закрыт в 1918 г., возвращен РПЦ в 1987 г.

«Скоморох Памфалон» (1887) — рассказ Н. С. Лескова.

С. 283. *...89—93 г. во Франции...* — т. е. Великая Французская революция.

Моим горьким смехом посмеюсь... — см. коммент. к с. 260.

«Что есть истина»... — Ин 18, 38.

«воз и ныне там» — И. А. Крылов. Лебедь, Щука и Рак (1816).

«Горьки дела на этом свете» — *перифразируем Гоголя* — «Скучно на этом свете, господа!» (концовка «Повести о том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», Н. В. Гоголя, 1834).

РУСЬ И ГОГОЛЬ

(с. 284)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 11.Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 26 апр. № 11896. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 352—354).

Печатается по тексту первой публикации.

Памятник Н. В. Гоголю работы Н. А. Андреева был открыт в Москве 26 апреля 1909 г. на Пречистенском бульваре (ныне во дворе дома-музея Гоголя на Никитском бульваре). Розанов был одним из корреспондентов «Нового Времени» на Гоголевских торжествах по случаю 100-летия со дня рождения писателя. О написанных в эти же дни статьях Розанова см. выше коммент. к статье «Загадки Гоголя» (с. 885).

С. 285. *...Толстого, Достоевского и прогих русских писателей серебряного века.* — В 1903 г. Розанов в статье «Ив. С. Тургенев (К 20-летию его смерти)» (см. т. 3 наст. изд. С. 259—264) высказал идею «серебряного века» русской литературы, к которому он относил писателей второй половины XIX в. (Тургенев, Гончаров, Островский, Достоевский, Толстой).

«над бедными селеньями Руси» — стихотворение Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

МЕРЕЖКОВСКИЙ ПРОТИВ «ВЕХ»**(Последнее Религиозно-философское собрание)**

(с. 285)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 41.Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 27 апр. № 11897.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 354—358).

Печатается по тексту первой публикации.

О Дмитрие Сергеевиче *Мережковском* см. статью А. Н. Николюкина в «Розановской энциклопедии» (с. 576—581).

С. 286. *Подобное зрелище ~ представил Д. С. Мережковский...* — 21 апреля 1909 г. Д. С. Мережковский выступил в РФО с докладом «Опять о интеллигенции и народе», который начал с рассказа о первом сне Раскольникова («Преступление и наказание». I, V). Текст доклада см.: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). М., 2009. Т. 1. С. 567—577.

«*Вехи*» — сборник статей о русской интеллигенции, вышедший в свет 16 марта 1909 г. в издательстве В. М. Саблина. Розанову принадлежат также статьи «Между Азефом и „Вехами“» (*НВ*. 1909. 20 авг.) и «К пятому изданию „Вех“» (Московский Еженедельник. 1910. 6 марта. № 10).

...в «Дневнике писателя» он выступил в защиту... ~ мясников Охотного ряда... — об этом Достоевский писал в обращении «Студентам Московского университета» 18 апреля 1878 г. (*Достоевский* Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. 1. С. 21—25).

А. А. Столыпин в своей заметке. — Столыпин А. Интеллигенты об интеллигентах // *НВ*. 1909. 23 апр.

С. 286. ...*Эркель, подскогив, приставил дуло револьвера...* — В «Бесах» (III, 4) Шатова убивает Петр Степанович Верховенский.

С. 287. «*Господи, владыка живота моего...*» — Сир 23, 1.

...*менять Держиморду...* — Держиморда, полицейский в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», лицо грубого нрава.

...*он кушал холодную курогку в самый час самоубийства...* — Ф. М. Достоевский. Бесы (III, 6, 2).

С. 289. *Против «Вех» кригал и Столпнер...* — философ Б. Г. Столпнер выступил в прениях по докладу Мережковского (Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). Т. 1. С. 595–598).

...*от 14 декабря и до 17 октября* — т. е. от декабристов до «манифеста о свободе» 17 октября 1905 г.

<А. Г. КОВНЕР

(Некролог)>

(с. 289)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 17 мая. № 11917. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 155–156).

Печатается по тексту первой публикации.

Ковнер Альберт (Аркадий) Григорьевич (Авраам-Урия; 1842–1909 между 24 апр. и 16 мая, Ломжа, Польша) — публицист, прозаик, автор романов «Без ярлыка» (СПб., 1872, запрещен цензурой), «Около золотого тельца» (СПб., 1881), очерков «Хождение по мытарствам» (Новое Слово. 1894. № 2), «Из записок еврея» (Исторический Вестник. 1903. № 3, 4). В 1901–1908 гг. Ковнер находился в постоянной переписке с Розановым (более 40 писем в архиве Розанова в РГБ: Ф. 249. М. 3828). Об отношении Ковнера и Розанова см. в статье А. В. Ломоносова о Ковнере в «Розановской энциклопедии» (с. 467–470).

С. 289. ...«*Новом Времени*» (изд. Устрялова)... — Ф. Н. Устрялов редактировал газету «Новое Время» в 1872–1873 гг.

ПАМЯТИ ПОЛИКСЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ СОЛОВЬЁВОЙ-ALLEGRO

(с. 290)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 16 – 18.

Печатается впервые по гранкам.

8 июня 1909 г. умерла Поликсена Владимировна Соловьёва, мать философа Вл. Соловьёва. Услышав об этом (сообщение появилось в «Новом Времени» 10 июня), Розанов решил, что скончалась Поликсена Сергеевна Соловьёва, сестра Вл. Соловьёва, которую он хорошо знал (она печаталась под псевдонимом *Allegro*). Он написал прочувствованный некролог и отнес в «Новое Время». Только в последний момент обнаружилось, что умерла не та Поликсена, и некрологу не дали хода, а гранки набранной статьи остались лежать в архиве писателя. Факт этот в литературе был известен (см.: *Фатеев В. А.* Жизнеописание Василия Розанова. СПб., 2013. С. 633), однако преждевременный некролог

(Allegro умерла в 1924 г.) никогда не публиковался. Похороны на кладбище Новодевичьего монастыря были назначены на пятницу 12 июня. К этому дню, очевидно, и планировал Розанов публикацию своего некролога. С. П. Каблуков, друг Розанова, записал в своем дневнике 16 июня 1909 г.: «Но В. В. мало смущен этим и хочет даже послать текст некролога мнимоумершей поэтессе, которая, я думаю, прочла бы его не без удовольствия. Один оттиск он подарил мне, и таковой найдется у меня среди других статей Розанова» (ЛЖ. 2012. № 31. С. 239).

Соловьёва Поликсена Сергеевна (1867–1924) — поэтесса, детская писательница, дочь историка С. М. Соловьёва. Вместе с Н. И. Манасеиной издавала журнал для детей «Тропинка» (СПб., 1906–1912). Розанов был знаком с ней по работе в журнале «Новый Путь», где она печаталась в 1904 г. В статье цитируются стихотворения «Белая сирень» и другие из второго поэтического сборника Поликсены Соловьёвой (СПб., 1905; с рис. автора).

С. 290. *Посмертная статья о Б. Н. Читгерине...* — НП. 1904. № 2. С. 281–284.

НАШИ ГРУСТЯЩИЕ ПУБЛИЦИСТЫ

(с. 292)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 17 мая. № 11952. Подпись: *Старый журналист*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 201–203).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 294. «*Все то же, все то же!*» — имеется в виду закон о постоянной, сформулированный бельгийским социологом А. Кетле в его книге «Социальная система и законы, ею управляющие» (1848; рус. пер.: СПб., 1866).

...*закона 3 июня...* — имеется в виду манифест Николая II от 3 июня 1907 г. о роспуске II Государственной думы. Новый избирательный закон (один голос землевладельца приравнен к 30 голосам крестьян и 60 голосам рабочих) нарушал манифест 17 октября 1905 г.

ДВУХСОТАЯ ГОДОВЩИНА ПОЛТАВСКОГО БОЯ

(с. 294)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 27 июня. № 11957. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 213–215).

Печатается по тексту первой публикации.

В Полтавской битве 27 июня 1709 г. русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию во главе с Карлом XII.

С. 295. «*Арифметика*» (1703) — главный труд математика и педагога Л. Ф. Магницкого; был основным учебником математики в России в XVIII в. М. В. Ломоносов называл этот учебник «вратами учености».

С. 296. *Воины русские ~ были под Пекином, были под Парижем...* — 14 августа 1900 г. русские войска в составе пяти союзных армий вошли в Пекин, однако вскоре покинули его, сохраняя дружеские отношения с Китаем. В Париж русские войска вошли 31 марта 1814 г.

С. 296. *...казаки открывали Камчатку...* — В 1697 г. сибирский казак В. В. Атласов с отрядом казаков исследовал побережье Камчатки, где с 1703 г. стали возникать поселки (остроги) казаков. Пушкин назвал Атласова «камчатским Ермаком».

...оберегают жизнь в знойной Персии. — В начале XX в. русские господствовали на севере Персии, где в 1879 г. была создана Персидская казачья бригада, поддерживавшая порядок в стране.

Ништадтский мир — мирный договор между Россией и Швецией, завершивший Северную войну 1720—1721 гг. и подписанный 30 августа 1821 г. в Ништадте (Финляндия).

НА ЛЕКЦИИ О ДОСТОЕВСКОМ

(с. 296)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 4 июля. № 11964.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 539—545).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 297. *Образец величайшего диалектического писателя ~ есть Ф. М. Достоевский. Вот уж гибок... Так гибок...* — Эту мысль Розанов выразил в отрывке: «Гибкий, диалектический гений Ф. М. Достоевского, у которого едва ли не все тезисы переходят в отрицания» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 219. Л. 5).

С. 298. *«все позволено»* — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. 1. Кн. 2. § VII (*Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 14. С. 76).

...умиленный лепет Кириллова ~ это «все хороши»... — Розанов далее не цитирует слова героя «Бесов» Достоевского, а дает свою вариацию на тему жизни Шатова и Кириллова в Америке: «Мы все хвалили: спиритизм, закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится...» (Бесы. I, 4, 4).

...«вот ползет паук — я и ему молюсь»... — ср.: *Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 10. С. 189 («Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползет»).

...«отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня»... — М. Ю. Лермонтов. Узник (1837).

Бедлам — больница для умалишенных в Лондоне.

Капернаум — город в Галилее, не уверовавший Иисусу Христу и разрушенный римлянами.

С. 299. *...«идеал содомский переходит в идеал Мадонны ~ «Снилась ли тебе, мальгику, эта истина?»* — У Достоевского: «Иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны... Знал ты эту тайну или нет?» (Братья Карамазовы. Кн. 3. § III).

«Широк человек, слишком широк — я бы сузил»... — Там же.

С. 300. *...«прейдет лик мира сего».* — 1 Кор 7, 31.

...зтение г. Столпнера о Достоевском... — Впервые Б. Г. Столпнер читал лекцию «Достоевский — борец против русской интеллигенции» в пятницу 6 февраля 1909 г. в Санкт-Петербургском литературном обществе (Фонтанка, 83), существовавшем в 1907—1911 гг.

...«жесточкий талант»... — название статьи Н. К. Михайловского о Достоевском (Отечественные Записки. 1882. № 9—10).

С. 301. *«Русское Богатство»* — орган либерального народничества (идейный вдохновитель Н. К. Михайловский), выходил в Петербурге в 1876—1918 гг.

ПО СЛЕДАМ КНИГОПРОДАВЧЕСКОГО СЪЕЗДА

(с. 303)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 32.Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 15 июля. № 11975.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 235—238).

Печатается по тексту первой публикации.

Первый Всероссийский съезд издателей и книгопродавцев состоялся в Петербурге летом 1909 г. В нем участвовало 312 фирм, однако противоречия между представителями различных сфер книжного дела не позволили объединить всех участников съезда.

С. 303. *...на рисунке Гойи старая в морщинах женщина...* — имеется в виду один из сюжетов цикла офортов «Капричос» (1793—1797) испанского художника Франсиско Гойи.

...русский молодой философ. — Розанов говорит о своем рано умершем молодом друге — философе Ф. Э. Шперке.

3—4 брошюрки, книжки... — отдельные издания трудов Ф. Э. Шперка: «Система Спинозы» (СПб., 1893), «Метафизика природных процессов» (СПб., 1893), «О страхе смерти и принципе жизни» (СПб., 1895), «Философия индивидуальности» (СПб., 1895), «Мысль и рефлексия. Афоризмы» (СПб., 1895), «Диалектика бытия. Аргументы и выводы моей философии» (СПб., 1897).

С. 304. *...«великого писателя земли Русской».* — из письма И. С. Тургенева к Льву Толстому 29 июня 1883 г. («великий писатель русской земли»).

С. 305. *...Стелловский ~ связал его каким-то необычным контрактом...* — Летом 1865 г., теснимый кредиторами, Достоевский вынужден был продать издателю Ф. Т. Стелловскому право на издание своих сочинений. В контракте была статья, согласно которой Достоевский был обязан до 1 ноября 1866 г. приготовить роман не менее 12 печатных листов, иначе в продолжение девяти лет издатель имел право бесплатно печатать все сочинения писателя. Увлеченный работой над «Преступлением и наказанием», Достоевский до октября 1866 г. не принимался за новый роман. 4 октября он пригласил стенографистку Анну Григорьевну Сниткину (ставшую впоследствии его женой) и за 26 дней продиктовал ей текст романа, вышедшего под названием «Игрок».

«Четыре» — рассказ А. П. Каменского был напечатан в журнале «Пробуждение» (СПб., 1907. № 3) и перепечатан в первом томе «Рассказов» Каменского (СПб., 1908).

Труд Мальбранша ~ несколько лет пролежал переведенный в рукописи... — речь идет о книге французского философа Н. Мальбранша «Разыскание истины» (1674—1675), переведенной с французского Е. Б. Смеловой и изданной под редакцией и с предисловием Э. Л. Радлова (СПб.: К. Л. Риккер, 1903. Т. 1; Т. 2 — 1906).

А. С. БЕЛКИН

(Некролог)

(с. 306)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки с авторской правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 25. В верхнем левом углу гранок Розанов черными чернилами написал: «Дорогой Мих. Осипович! Прошу *лигной* Вашей заботы о некрологе: я виноват перед покойным Белкиным и непременно хочу сказать о нем по † несколько слов. „Нов. Вр.“ при всех усилиях — отказалось печатать, говоря: „никому не интересно“. Но Вы переступите через „неинтересность“ и сделайте мне *эту лигную дружбу* — поместите в „Критич. обозрении“ (конечно

бесплатно). Жму руку. Спасибо за книгу (Киреевский – Гоголь). И за все спасибо: отдельные книги и впредь присылайте. „Лучшее украшение моей библиотеки“ и что-нибудь „на ночь“. Устал ужасно. Столько *забот*, еще больше, чем писанья. Ваш В. Розанов». Ниже этой надписи пометы простым карандашом: «*ненапетано*» и «*Среди угеных*». Первоначально в гранках под текстом стояла подпись «В. Розанов». Правя гранки, Розанов изменил ее на псевдоним «Университетский товарищ».

Печатается впервые по гранкам с авторской правкой (М. О. Гершензон просьбу Розанова не выполнил).

Статья написана в 1909 г., вскоре после смерти А. С. Белкина, однокурсника Розанова по историко-филологическому факультету Московского университета, последовавшей 17 июля 1909 г. Об отношениях Розанова и А. С. Белкина, ставшего приват-доцентом философии, см. в статье о нем В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 120–121).

С. 306. *...сведения о его учебных годах сообщил М. К. Любавский... – Любавский М. Алексей Сергеевич Белкин // ВФП. 1909. Кн. 99. С. I–X.*

С. 307. *...душа его рвалась к Вундту, к Целлеру, к Д. С. Миллю, к Узвелю... –* Ко времени учения Белкина в Московском университете появились русские переводы книг немецкого философа В. Вундта «*Душа человека и животных*» (СПб., 1865–1868), «*Основания психологической психологии*» (М., 1880–1881. Т. 1–2). «*Очерки истории греческой философии*» немецкого философа Э. Целлера были переведены в 1886 г. Из многочисленных переводов английского философа Дж. С. Милля в то время появились книги: «*О подчинении женщины*» (СПб., 1869), «*О свободе*» (СПб., 1864), «*Основания политической экономии*» (СПб., 1860, 1865. Т. 1–2), «*Размышления о представительном правлении*» (СПб., 1863), «*Рассуждения и исследования политические, философские и исторические*» (СПб., 1864–1865. Т. 1–2), «*Система логики*» (СПб., 1865–1867. Т. 1–2), «*Утилитаризм*» (СПб., 1866), «*Цивилизация*» (СПб., 1864). Была также издана книга английского философа У. Узвелла «*История индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени*» (СПб., 1867–1869. Т. 1–3).

...поддерживала его дружба с А. В. Орешниковым... – Нумизмат А. В. Орешников приобрел в молодости большую коллекцию греческих и римских монет. В очерках «*Об античных монетах*» Розанов вспоминал об этом: «Показывая товарищу своему по учению, А. К. <так!> Белкину, и мне это собрание, он отделил из него одну монету (дуплет), бронзовую Септимия Севера с изображением на оборотной стороне императора на коне, которого ведет за повод нагой человек. Было это в 1880 году».

...царька ~ которому в горло наливали расплавленное золото! – древний способ казни. Римский полководец и богач Красс был убит в войне с парфянами (53 до н. э.). Его голову принесли парфянскому царю Ороду II, и тот приказал налить ей в рот расплавленное золото. См. также: *Данте*. Божественная комедия. Чистилище. XX, 116–117.

...толстовские времена ~ над кюнерами и ходобаями. – По представлению министра народного просвещения Д. А. Толстого 30 июля 1871 г. был утвержден устав классической гимназии с расширенной программой преподавания древних языков. Учебники греческого и латинского языка Р. Кюнера и Ю. Ю. Ходобая, преподавателя Лицея в память цесаревича Николая (Катковского лицея), выдержали многочисленные издания.

К ИСТОРИИ ОДНОГО КНИГПРОДАВЧЕСКОГО РАЗОРЕНИЯ

(с. 308)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 164. Л. 6.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 22 июля. № 11982.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 247–250).
Печатается по тексту первой публикации.

Издатель и книгопродавец Михаил Васильевич *Пирожков* (1867–1927) отпечатал ряд книг Розанова («Около церковных стен», «Ослабнувший фетиш», «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», 3-е изд.) с превышением тиража, определенного в договоре автором. Подобная практика привела в июне 1909 г. к разорению издателя. В «Мимолетном» в записи 17 июня 1914 г. Розанов вспоминал о Пирожкове: «Всех обманул — и всех возненавидел. Мы проезжали по Невскому, месяца за два до объявления банкротства, и В., толкнув меня слегка, сказала: „Это идет Пирожков“. Небольшого роста, весь скромненький, преувеличенно тихий и безмолвный, он шел каким-то неверным пьяным шагом по правому тротуару, ни на что не смотря, никуда не устремляясь взором. „Думал тихую думу“, доканчивая подготовку дела.

Недели за три до этого, истощившись ходить к нему с просьбою уплатить что-нибудь из обязательства, я послал Варю. И она вся терпеливая пришла. „Долго никто не выходил. Контора пустая. Книг нет, мебели почти нет. Наконец, вышла какая-то дама, некрасивая и пожилая, и когда я на слова ее: «Что вам угодно?» — сказала, что у нас 6 человек детей, муж болен от труда, пусть Мих. Вас. уплатит хоть часть обязательств, — то она закричала на меня: «Какое же дело Мих. Вас. до ваших детей? Он не обязан их кормить. У него не сегодня-завтра приедут все описывать». И ушла. Потом вернулась и сказала от имени Пирожкова: «Денег нет. Сам не может принять». И вот он теперь шел... Точно у него было что-то за плечами, о чем он боялся, что „схватит“. Шаг был неверный, шатающийся (никогда не пил)... И это испуганное, обманное и ненавидящее лицо».

С. 308. *Литературный фонд* — неофициальное название Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, благотворительная организация вспомоществования писателям, существовавшая в Петербурге в 1859–1922 гг. Инициатива создания фонда принадлежит писателю А. В. Дружинину.

С. 310. *...издателя «Итальянских впечатлений»...* — Книга Розанова «Итальянские впечатления» вышла в 1909 г. в типографии А. С. Суворина.

О ПСИХОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

(с. 311)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 28–31, 59.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 25 июля. № 11985.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 546–550).
Печатается по тексту первой публикации.
Эпиграф из Заметок к 1-й части «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

С. 311. *...«город Глухов», населенный «головотяпами».* — В главе «О корени происхождения глуповцев» в «Истории одного города» (1870) М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку «тяпать головами обо все, чтобы ни встретилось на пути. Стена попадетя — об стену тяпают; богу молиться начнут — об пол тяпают».

ОДИН ИЗ ПЕВЦОВ ВЕЧНОЙ «ВЕСНЫ»

(с. 315)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки третьей части статьи (см. *Варианты*) и вырезки из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 209. Л. 19–26.

В вырезке первой части статьи (л. 18) имеется авторская правка:

с. 318, 31 св. ни церковью. / ни церковью. Это было для *преступников*. Отчего этого не сделать для любви?

с. 320, 10 св. его женим / его обрежем и женим

29 св. Песни, бури, революция / Песни, бури революции

с. 323, 3 св. жен там не занимают / жен его святейшеств не занимают

8 св. для них / для последних

Вырезка второй части статьи без правки (л. 27–28).

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 31 июля, 6 и 14 авг. № 11991, 11997, 12005. Название изменялось: 6 авг. под названием «Мастерство слова у русских и французов», 14 авг. — «Русское и французское мастерство слова».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 359–383).

Печатается по тексту первой публикации с учетом авторской правки вырезки первой части статьи.

Отношение Розанова к творчеству французского писателя Ги де Мопассана, наиболее полно высказанное в данной публикации, прослежено в статье о нем В. П. Балашова в «Розановской энциклопедии» (с. 612–616).

С. 315. «*История одной жизни*» — под таким названием в петербургском издательстве «Пантеон» в 1909 г. вышло первое отдельное русское издание романа Мопассана «Жизнь» (1883). Однако первый русский перевод романа под названием «Жизнь» появился в том же 1883 г. в журнале «Изящная Словесность».

С. 316. «*Поездка за город*» — новелла Мопассана из книги «Заведенье Телье» (1881) с посвящением И. С. Тургеневу. Сборник «Заведенье Телье» Тургенев передал Толстому с рекомендацией прочитать. Уже по первому рассказу, открывающему сборник, Толстой убедился в талантливости нового для него французского автора. Однако некоторые из новелл («Подруга Поля», «Поездка за город», «История одной батрачки») произвели на Толстого отрицательное впечатление. В 1894 г. Толстой написал предисловие к первому тому сочинений Мопассана для издательства «Посредник», в котором резко критиковал рассказ «Поездка за город» за «незнание различия между добром и злом», поскольку в нем «представляется в виде самой милой и забавной шутки подробное описание того, как два катавшиеся в лодке с голыми руками господина одновременно соблазнили — один старую мать, а другой — молодую девушку — ее дочь». Когда же Толстой прочитал роман «Жизнь», то изменил свое мнение: «Эта книга сразу заставила меня переменить мнение о Мопассане, и с этих пор я уже с интересом читал все то, что было подписано этим именем» (Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1983. Т. 15. С. 229).

С. 319. «...история «блудного сына». — Лк 15, 11–32.

«Того ради оставит теловек отца и мать...» — Мф 19, 5; Мк 10, 8.

С. 322. «В семье» — рассказ Мопассана (1881).

«*Конгрегация для пропаганды веры*» — миссионерское учреждение, основанное в 1622 г. в Риме папой Григорием XV для распространения католицизма среди язычников и для борьбы с еретичеством.

С. 323. «*Мысли Паскаля*» — книга французского ученого и философа Б. Паскаля «Мысли о религии и о некоторых других вопросах» (1669, рус. пер. 1843).

С. 323. *«Медведь гнет дуги»...* — имеется в виду басня И. А. Крылова «Трудолюбивый Медведь» (1818).

С. 324. *...в «трудах и днях»...* — Название поэмы первого известного по имени древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни» (рус. пер. 1885).

«Вертер» — роман И. В. Гёте «Страдания юного Вертера» (1774, рус. пер. 1829).

«Сродство душ» — семейный роман И. В. Гёте «Избирательное сродство» (1809, рус. пер. 1847 под названием «Оттилия»).

«Разговоры Гёте» — книга друга Гёте И. П. Эккермана «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни» (1837—1848; рус. сокращ. пер. 1891).

«О звездах и небе не знаем ничего...» — Розанов пересказывает слова Лизы Калитиной из «Дворянского гнезда» И. С. Тургенева: «Христианином нужно быть... не для того, чтобы познавать небесное... там... земное» (гл. XXVI).

С. 325. *...профессора иностранных университетов...* — На Гоголевском юбилее в 1909 г. в Москве с речами выпустили французские слависты Эжен Мелькиор де Вогюз, Луи Леже, Андре Мазон. См.: Гоголевские дни в Москве. М., 1909.

Мы все угились понемногу — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. 1, 5.

«Историю французской революции» Минье или таковую же Токвиля... — Книга французского историка Ф. О. М. Минье вышла в 1824 г. (рус. пер. 1906); книга французского историка и политического деятеля Алексиса Токвиля «Старый порядок и революция» издана в 1856 г. (рус. пер. 1896 г. неоднократно переиздавалась).

С. 326. *Тэн ~ куда не ушел от Токвиля...* — имеется в виду труд французского историка и философа И. Тэна «Происхождение современной Франции» (1876—1893, рус. пер. 1907. Т. 1—5).

С. 327. *...«кто из вас невиновен, брось первый в нее камень»...* — Ин 8, 7.

С. 329. *«Ахиллесов щит»* — знаменитое описание щита героя Троянской войны Ахиллеса содержится в XVIII главе «Илиады» Гомера.

Так один автор ~ рассказал все ~ «о тем спал» этот барин... — речь идет о И. А. Гончарове и романе «Обломов» (1859) и главе IX «Сон Обломова» в первой части книги.

С. 331. *«Те же герты: но у Элен почему-то было это бесподобно прекрасно...»* — вольный пересказ из 3-й главы первой части «Войны и мира» Л. Н. Толстого.

С. 334. *...архиепископ Никанор ~ первый провозгласил Толстого «ересиархом».* — Духовный писатель Никанор (Бровкович) писал об этом в книгах: «Церковь и государство. Против графа Л. Толстого» (1888), «Против графа Льва Толстого. 8 бесед» (1891).

Страхов тогда выразил недоумение... — Друг Л. Н. Толстого Н. Н. Страхов о «Крейцеровой сонате» не писал. Очевидно, Розанов имеет в виду книгу его однофамильца: *Страхов Н. Н.* Брак, рассматриваемый в своей природе и со стороны формы его заключения. Харьков, 1893.

МАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА У ГОГОЛЯ

(с. 336)

Автограф неизвестен.

Сохранилась рукописная копия первой части статьи рукой дочери (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 84. Л. 1—10), гранки с авторской правкой первой части статьи (Там же. Л. 11—29) и вырезка второй части статьи (Там же. Л. 30—34). См. *Варианты*.

Впервые напечатано: Весы. 1909. № 8. Авг. С. 25—44; № 9. Сент. С. 44—67.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 383—421).

Печатается по тексту первой публикации с учетом авторской правки в вырезке первой части статьи.

Газета «Новая Русь» сообщила 1 декабря 1909 г. (№ 330): «В „Весах“ закончена прекрасная статья В. В. Розанова „Магическая страница у Гоголя“. Точкой отправления послужил для Розанова рассказ „Страшная месть“. Но рассказ, как всегда у Розанова, остается в стороне. Читателя захватывает начертанный Розановым круг вещей тайн крови, пола и родства».

С. 336. «*Строматы* («*Ковер из лоскутков*») — собрание набросков античной философии, составленный христианским теологом конца II — начала III в. Климентом Александрийским. Русский перевод появился в 1892 г.

С. 337. *О, когда бы ты был брат мне...* — 8, 1. Здесь и далее использована книга: *Песнь Песней Соломона* / Пер. с древнееврейского А. Эфроса; Предисл. В. Розанова. СПб.: Пантеон, 1909.

С. 342. *...«я положу вражду ~ между невестками и свекровью»...* — Мф 10, 35 («между братьями и сестрами» добавлено Розановым).

С. 343. *...«раба по глаголу Твоему»...* — Лк 2, 29 («Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему»).

С. 345. *...Левин грезил о добродетелях Китти* — ср. гл. XIV пятой части романа Л. Н. Толстого «*Анна Каренина*». Розанов писал имя Китти с двумя буквами «т».

С. 348. *...Ориген воскликнул: «Ужасаюсь, что хоту сказать: нецеломудрие доггерей Лота было целомудреннее многих супружеств»...* — речь идет о комментариях на Пятикнижие христианского богослова и философа Оригена (см.: *Ориген. О началах*. Казань, 1899). О дочерях Лота см. Быт 19, 30—38.

С. 349. *...в «Разговорах Гёте»...* — имеется в виду запись 28 марта 1827 г. по поводу «*Антигоны*» Софокла.

...за «оскорбление» сестры их Дины... — Дина, дочь патриарха Иакова, была обещана Сихемом, за что ее братья убили Сихема и разграбили город (Быт 34, 5—27).

С. 351. *...П. П. П-цов обратил мое внимание...* — друг Розанова П. П. Перцов.

«мой дядя по матери»... — писатель А. А. Перовский, писавший под псевдонимом А. Погорельский, побочный сын графа А. К. Разумовского, который был дедом матери А. К. Толстого.

С. 353. «*Страшная месть*» — повесть Гоголя напечатана в 1832 г. во второй части «*Вечеров на хуторе близ Диканьки*» с подзаголовком «*Старинная быль*». Черновое предисловие, не вошедшее в книгу, начиналось словами: «Вы слышали ли историю про синого колдуна? Это случилось у нас за Днепром. Страшное дело!»

С. 361. *Федр* — персонаж диалога Платона «*Федр*», юноша, беседующий с Сократом.

С. 362. *...глупости, которые о нем написал Шопенгауэр.* — о Платоне особенно много немецкий философ А. Шопенгауэр писал в своем главном труде «*Мир как воля и представление*» (1819), к которому Розанов относился скептически. Философия Шопенгауэра для Розанова мрачна и пессимистична.

С. 365. *...«отец сказал то-то, догь ответила так-то»...* — имеется в виду драма Ф. Сологуба «*Любви*», вошедшая затем в сборник «*Пять драм*» (СПб., 1913).

...текут ~ «Гольфштремом»... — то есть постоянно, как течет с юга на север Атлантического океана система теплых течений Гольфстрим.

С. 369. *...лифагорейская «музыка сфер»...* — Древнегреческий философ Пифагор считал, что у каждого человека, как и у каждой планеты в космосе, есть собственная музыка — музыка сфер, производная от божественной науки математики.

**ЧТО НЕ ПРИНЯТО В СООБРАЖЕНИЕ
ПРИ ЗАКРЫТИИ КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ ЛИТЕРАТОРОВ**
(с. 370)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 164. Л. 1.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 9 авг. № 12000.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 256–258).

Печатается по тексту первой публикации.

Касса взаимопомощи литераторов и ученых была учреждена в 1890 г. в Петербурге при Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым. С 1906 г. стала самостоятельной организацией и просуществовала до 1918 г.

«Русские Ведомости» (1909. 21 авг. № 191) опубликовали заметку по поводу статьи Розанова и возникшей полемики: «Полемизирует г. Розанов с „анонимом“ по поводу закрытия кассы литераторов. Не упоминается, что под „анонимом“ следует понимать редакцию „Нового Времени“ (так как неподписанная статья была помещена в этой газете), г. Розанов приводит сообщенное анонимом сведение». Либеральная газета профессоров ошибается. Статья была подписана: «12-летний член Кассы взаимопомощи литераторов и ученых В. Розанов».

БУДУЩЕЕ КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ ЛИТЕРАТОРОВ
(с. 372)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки из газеты *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 164. Л. 2–4.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 19 авг. № 12010.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 259–263).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 372. *...я написал статью...* – имеется в виду статья «Что не принято в соображение при закрытии кассы взаимопомощи литераторов» (наст. том. С. 370–372).

МЕЖДУ АЗЕФОМ И «ВЕХАМИ»
(с. 376)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 43–50, 40–42 об. См. *Варианты*. На вырезке запись «Есть маленькие пропуски и надо печатать по оригиналу».

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 20 авг. № 12011.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 263–272).

Печатается по тексту первой публикации.

Азеф Евгений Филиппович (Азев Евно Фишелевич; 1859–1918) – провокатор, агент осведомительной службы. Был выдан директором департамента полиции А. А. Лопухиным журналисту В. Л. Бурцеву, из чего Розанов делает вывод (Мимолетное. 1914. 8 окт.), что директор департамента полиции «оказывает тайные услуги революции... Некоторые революционеры стали поступать в полицию; а некоторые полицейские стали смешивать-

с с революционной толпой. „И не различишь, который теперь Нечаев и который Азеф“». См. статью «Азеф» в «Розановской энциклопедии» (с. 43–44).

С. 376. «Подпольная Россия» — книга публицистических очерков писателя-террориста С. М. Степняка-Кравчинского, убитого в 1878 г. шефа жандармов Н. В. Мезенцова и выпустившего в эмиграции в 1882 г. на итальянском языке эту книгу (рус. перевод издан в 1893 г. в Лондоне).

С. 379. «Разрушение эстетики» — статья Д. И. Писарева в журнале «Русское Слово» (1865. № 5), появившаяся в связи с переизданием труда Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к действительности».

Когда топтал сапожниками благородный облик Пушкина — имеются в виду статьи Писарева «Пушкин и Белинский» и «Лирика Пушкина» (Русское Слово. 1865. № 4 и 6), посвященные ниспровержению пушкинского наследия.

...хочот около философских лекций проф. Юркевича. — Философ П. Д. Юркевич в статье «Из науки о человеческом духе» выступил против работы Чернышевского «Антропологический принцип в философии» (Современник. 1860. № 4, 5), отрицая возможность философского объяснения человека с помощью только данных естествознания. В ответной статье «Полемические красоты» (Современник. 1861. № 6, 7) Чернышевский ничего не ответил по существу аргументации Юркевича, ограничившись дословным воспроизведением текста из «Русского Вестника» (1861. № 4, 5), где была перепечатана статья Юркевича, появившаяся первоначально в «Трудах Киевской Духовной Академии» (1860. № 4), высказав при этом несколько насмешек. Полемика Юркевича и Чернышевского породила оживленные отклики в периодике.

...Скабигевский со своею курьезною «Историю литературы»... — Скабигевский А. М. История новейшей русской литературы. СПб., 1891; 7-е изд. 1909.

С. 381. *Будь, геловек, благороден* — И. В. Гёте. Божественное (1783, рус. пер. А. Струговщикова, 1842, под названием «Человеку»). Розанов, очевидно, цитирует эту строчку из Гёте по роману Достоевского «Братья Карамазовы» (кн. 3, § III), где в ходе беседы Мити и Алеши Карамазовых упоминается и ода Ф. Шиллера «К радости».

С. 382. «Проблемы идеализма» — сборник статей 12 авторов под редакцией П. И. Новгородцева, который вышел в конце 1902 г. под титлом Московского психологического общества и связан с политической организацией русского либерализма.

«От марксизма к идеализму» — книга С. Н. Булгакова (СПб., 1903).

С. 383. «Письма темных людей» — см. коммент. к с. 141.

П. А. КУСКОВ

(Некролог)

(с. 384)

Автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 184. Л. 1 — 2.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 22 авг. № 12011; Исторический Вестник. 1909. № 10. С. 363–364 (сокращ. вариант).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 272–274).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов познакомился с Кусковым во время первой поездки в Петербург в 1889 г. у Н. Н. Страхова. Розанов написал рецензию на книгу П. А. Кускова «Наши идеалы. — Разговор на палубе» (*НВ*. 1904. 11 нояб.). Воспоминания Кускова «Моя жизнь в доме бабушки» напечатаны в журнале «Нева» (1907. № 21); сборник его стихотворений «Наша

жизнь» увидел свет в Петербурге в 1889 г.; книжка «Наше место в вечности» вышла в Кieve в 1907 г. без указания имени автора; философская статья «Наши идеалы. Разговор на палубе» напечатана в «Русском Обозрении» (1893. № 2); перевод «Отелло» Шекспира в журнале «Заря» (1870. № 4; отд. изд. СПб., 1870). См. статью В. А. Фатеева о Кускове в «Розановской энциклопедии» (с. 499–501).

С. 385. «прогуливающиеся» гретеские философы — или перипатетики, последователи Аристотеля, прогуливавшиеся по аллеям парков.

А. Л. ВОЛЫНСКИЙ.
«Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ»

Второе издание. СПб., 1909

(с. 386)

Автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 7–9 об. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: Критическое Обозрение. 1909. № 5. Сент. С. 37–42.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 273–278).

Печатается по тексту первой публикации.

Отзыв Розанова о первом издании книги Волынского «Русские критики» см.: Наст. изд. Т. 1. С. 450–455.

С. 386. *...критический разбор Лескова... — Волынский А. Л.* Царство Карамазовых. Н. С. Лесков. Заметки. СПб., 1901. 489 с.

С. 387. *Афродита Милосская* — см. о Венере Милосской в статье «Гений формы» (наст. том. С. 270 и коммент. на с. 889).

С. 389. *...беглецы из Белостока... — В июне 1906 г. в Белостоке был еврейский погром. ...Гейне и его сарказм к Германии... — Г. Гейне. Германия. Зимняя сказка (1844).*

КРИТИК РУССКОГО DÉCADENCE'А

А. А. Измайлов. «Помрачение божков и новые кумиры». Москва, 1910

(с. 390)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1909. 29 сент. № 222. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 304–311).

Печатается по тексту первой публикации.

Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) — писатель, критик, друг Розанова. В 1909–1912 гг. они помещали в газетах рецензии на книги друг друга. Об отношениях Розанова и Измайлова см. в статье А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 420–426).

Книга А. А. Измайлова «Помрачение божков и новые кумиры. Книга о новых веяниях в литературе» (М., 1910) вышла в сентябре 1909 г.

С. 390. *...«Песни», собранные Киршей Даниловым... — сборник северных былин, исторических и лирических песен, духовных стихов, составленных после 1742 г. Киршей Даниловым (Кириллом Даниловичем). Первое неполное издание опубликовано А. Ф. Якубовичем в Москве в 1804 г.*

С. 391. *Уж напечатана — и нет...* — Н. А. Некрасов. Пропала книга (1866). Как говорил Некрасов А. С. Суворину, это стихотворение было написано в связи с осуждением и сожжением книги очерков Суворина «Всякие» (СПб., 1866). По новому закону о печати были приговорены к уничтожению и еще несколько книг, в том числе книга «Стихотворения» М. Л. Михайлова, в судьбе которой Некрасов принимал участие.

С. 392. *«Хмель на руинах»* — название первого раздела книга А. А. Измайлова «Помрачение божков и новые кумиры» («Хмель на руинах. Новое и старое»).

...«Новый Путь» ~ в нагале войны... — речь идет о Русско-японской войне 1904—1905 гг.

С. 393. *Черемисский* — относящийся к черемисам (устар. название марийцев).

С. 395. *Древний хаос потревожим!*.. — С. М. Городецкий. «Беспредельна даль поляны...» (из цикла «Хаос» в сб. «Ярь». СПб., 1907). Розанов цитирует эпиграф пародии А. А. Измайлова на стихи Сергея Городецкого «Недовольный миром бранным...». Пародия появилась в альманахе «Колосья» (СПб., 1909. Кн. 1).

С. 396. *Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы...* — А. С. Пушкин. Отрок (1830).

ОБИДЧИК И ОБИЖЕННЫЕ

(с. 396)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1909. 3 окт. № 12055.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 311—314).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 396. *К. И. Чуковский ~ прогел — лекцию о Гаршине...* — лекция К. И. Чуковского о Гаршине была прочитана в петербургском Литературном обществе 25 сентября 1909 г. и вызвала много откликов в печати. Среди них отзыв в газете «Речь» 27 сентября 1909 г. (без подписи), заметка (тоже без подписи) «„Бурное собрание“ в Литературном обществе» (Новая Русь. 1909. 26 сент.), статья В. Рeginина «Открытие сезона и открытие г. Чуковского» (Биржевые Ведомости. Вечерний вып. 1909. 24 сент.). Наиболее резко «горячий протест знавших и любивших Гаршина» выразил историк литературы Ф. Д. Батюшков в статье «К современным приемам „переоценки ценностей“» (Речь. 1909. 29 сент.). Чуковский ответил ему статьей «Недоразумение (Ответ г. Батюшкову)» в той же «Речи» 2 октября 1909 г. Позднее лекция была опубликована Чуковским под названием «О Всеволоде Гаршине (Введение в характеристику)» (РМ. 1909. № 12. С. 117—141).

С. 397. *Две-три его заметки о В. Поссе...* — имеются в виду статьи критика Владимира Александровича Поссе, печатавшиеся в газете «Слово». Чуковский высмеял его в статьях «Жеваная резина» (Речь. 1909. 14 июня), «Чириканье» (Речь. 1909. 29 июня). См.: Чуковский К. Собр. соч.: В 15 т. М., 2003. Т. 7.

...заставит замолгать даже великого Влад. Азова. — Чуковский уже критически высказывался о печатавшемся в газете «Речь» Вл. Азове (Ашкинази) в обзоре «Русская литература <в 1908 году>» (Речь. 1909. 1 янв.).

...обругать сперва Короленко... — речь идет о статье Чуковского «Владимир Короленко как художник» (РМ. 1908. № 9), вызвавшей возражения М. Горького за «грубые выходы» (М. Горький. Разрушение личности. 1909).

...«решился на Скабичевского»... — В своей лекции о Гаршине Чуковский упрекает критика А. М. Скабичевского за слова «Гаршин имел очень мало дела с внешним миром

и пренебрегал внешней обрисовкой лиц и предметов» (*Скабигевский А. М. История новейшей русской литературы. 1848—1908. 6-е изд. СПб., 1908. С. 125*).

С. 397. ...*Чуковского и я грешным делом поругиваю* — Розанов имеет в виду свою статью «К. И. Чуковский о русской жизни и литературе» (*ЖТЛХО. 1909. Апр.; см.: наст. том. С. 275—281*).

ПОД СТАРОСТЬ ЛЕТ...

(с. 398)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 164. Л. 5.

Впервые напечатано: *НВ. 1909. 22 окт. № 12074*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 333—337).

Печатается по тексту первой публикации.

Под инициалами *NNN* в статье изображен Иван Леонтьевич Леонтьев-Щеглов, друг Розанова. Значительную роль в его творческой судьбе сыграл А. П. Чехов (с 1887 г.). Слова Розанова «Лишившись заработка в (такой-то) газете, лопнувшей безвозвратно» относятся к петербургской газете «Слово», где Леонтьев-Щеглов служил до ее закрытия в июле 1909 г.

С. 398. *Литературный фонд ~ полувековой юбилей.* — 50-летие Литературного фонда (Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым) было отмечено выходом книги: *Пятидесятилетие Литературного фонда. 1859—1909. СПб., 1909*.

С. 399. ...*на Мариинской сцене разыгрывалась «Снегурочка»* — поэтическая опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (1881) шла только на сцене Мариинского театра, построенного в Петербурге в 1847—1848 гг.

С. 400. *Александровский рынок* — был построен в 1865—1868 гг. архитектором А. К. Бруни на Садовой улице в Петербурге. Здание разобрано в 1932 г.

С. 401. «*Наталья Долгорукова*» — И. И. Козлов. Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая (1828).

Не для житейского волнения... — А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).

Академический фонд (фонд Императора Николая II) — фонд помощи ученым и писателям, средства на пособия которым отпускались ежегодно из Государственного казначейства в сумме 50 тыс. рублей.

«*Тургенев гитал на его ветвях свои вещи*»... — И. С. Тургенев написал речь памяти инициатора и основателя Литературного фонда А. В. Дружинина. На годичном заседании Фонда 2 февраля 1864 г. Тургенев присутствовал, но из-за простуды не смог сам читать, что было поручено П. В. Анненкову. Некролог опубликован в «Русском Инвалиде» 18 февраля 1864 г. См. также речь Тургенева 7 июня 1889 г. на Пушкинских торжествах. См.: Иван Тургенев в Обществе любителей российской словесности: Сб. статей / Сост. Р. Н. Клейменова. М., 2009.

...*Фонд ничем не помог при жизни Достоевскому...* — Вернувшись в 1860 г. в Петербург, Достоевский вступил в члены Литературного фонда и получал ссуды в 1863 и 1864 гг.; в 1863 г. был выбран в члены комитета и некоторое время был секретарем Фонда при председателе кн. Г. А. Щербатове.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ КОЛЬЦОВА

*Академическая библиотека русских писателей. Выпуск I.
Полное собрание сочинений А. В. Кольцова. Под редакцией
и с примечаниями А. И. Лященко. Издание разряда изящной словесности
(с. 402)*

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1909. 24 окт. № 12086.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 337–339).

Печатается по тексту первой публикации.

Высказывания Розанова о поэте А. В. Кольцове см. в статье о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 475–476).

С. 402. *...картины Бореля «Литературный вечер у Плетнёва»...* — картина художника П. Ф. Бореля «Литературный вечер у Плетнёва» создана в 1892 г. В очерке И. С. Тургенева «Литературный вечер у П. А. Плетнёва» (1868) повествуется о встрече Тургенева на этом вечере с А. В. Кольцовым. В первом черновом варианте очерка Тургенева значилось не начало 1837 г., как в окончательном тексте, а конец 1836 г. Однако сам Кольцов в письме к В. Г. Белинскому от 14 марта 1838 г. пишет о литературном вечере у Плетнёва 9 марта 1838 г., т. е. уже после смерти Пушкина, который фигурирует в очерке Тургенева.

С. 403. *...в собрании П. Я. Дашкова...* — Собрание рукописей, книг и художественных произведений коллекционера П. Я. Дашкова пользовалось не меньшей популярностью, чем государственные книгохранилища и архивы. После его смерти в 1910 г. рукописи попали в Пушкинский Дом (Институт русской литературы. Фонд П. Я. Дашкова).

«Науки юношей питают...» — М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны» (1747).

С. 404. *...Киреевским (где взять его сочинения?)...* — до 1911 г., когда вышло Полное собрание сочинений И. В. Киреевского под редакцией М. Гершензона, существовало Полное собрание сочинений И. В. Киреевского под редакцией А. И. Кошелева (М., 1861. Т. 1–2).

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

(с. 404)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 20.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 4 нояб. № 12087.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 357–361).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 404. *«Рудин» ~ «Дневник лишнего человека»* — роман (1856) и рассказ (1850) И. С. Тургенева.

С. 405. *В единственном разговоре ~ с гр. Л. Н. Толстым* — см. коммент. к с. 42.

«Дневник лишнего человека» — повесть И. С. Тургенева (1850).

С. 406. *«Бе туман над водами»* — Быт 1, 1 («и тьма над бездною»).

...памятник Александру III Трубецкого... — см. коммент. к статье Розанова «К открытию памятника Государю Александру III» (*НВ*. 1909. 23 мая; то же в книге «Среди художников» в пятом томе настоящего издания).

С. 406. ...«Дневника» Никитенко... — дневник литературоведа и критика А. В. Никитенко, работавшего в цензурных ведомствах, был опубликован посмертно: «Моя повесть о самом себе и о том, „чему свидетель в жизни был“. Записки и дневник (1826—1877)». СПб., 1893. Т. 1—3; 2-е изд. (1804—1877). СПб., 1904—1905. Т. 1—2 (с примеч. М. К. Лемке).

«Матушка свинья» — статья Д. С. Мережковского «Свинья Матушка», опубликованная в газете «Речь» 1 ноября 1909 г.; в 1910 г. вошла в его книгу «Большая Россия».

С. 407. Шиллер написал ей гимн... — «Жалобы Цереры» (1796). Пер. В. А. Жуковского (1831).

ПОГРЕБАТЕЛИ РОССИИ

(с. 408)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 33.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 19 нояб. № 12102.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 421—424).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 408. *Дульциня* — см. коммент. к с. 160.

Может ли русский мужик ~ гувства иметь? — здесь и далее Розанов неточно цитирует из книги V, главы II («Смердяков с гитарой») «Братьев Карамазовых» Достоевского.

...*Наполеона французского первого, отца нынешнего*... — Смердяков ошибочно называет Наполеона III, племянника Наполеона I, сыном последнего.

...*с кафедры первой Г. Думы проф. Каревым*... — 3 мая 1906 г. историк Н. И. Кареев заявил в государственной думе: «Гораздо лучше будет не употреблять выражение „русская земля“, потому что территория Российской Империи не принадлежит исключительно только русской национальности, и, следовательно, мы эту территорию русской землей называть не можем» (Государственная Дума: Стенографические отчеты 1906 г. Сессия 1. СПб., 1906. Т. 1. С. 152).

...*занятий Леонардо-да-Винчи*... — Вторая часть трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» называется «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1900).

С. 409. ...«*существует предел, за которым нисхождение*...» — здесь и далее Розанов цитирует статью Д. С. Мережковского «Земля во рту» (Речь. 1909. 15 нояб.). Вошла в его книгу «Большая Россия» (СПб., 1910).

Смирись, гордый геловек! — Ф. М. Достоевский. Пушкин (Произнесено 8 июня 1880 г. в заседании Общества любителей российской словесности).

Не противься злу! — Принцип воззрения Л. Н. Толстого «непротивление злу насилием» выражен в его трудах «В чем моя вера?» (1884), «Царство Божие внутри вас» (1893) и др.

«*Дело не в самодержавном строе России, а в текущем содержании этого строя*». — В статье Мережковского «Земля во рту» (Речь. 1909. 15 нояб.), откуда взята цитата, слова Вл. Соловьёва даны кратко: «Дело не в этом».

«*Россия еще воскреснет Духом Святым*». — Иванов Вяз. О русской идее // ЗР. 1909. № 1—3 (Иванов Вяз. Собр. соч. Брюссель, 1976. Т. 3. С. 336).

У нас генерал Кованько. — Генерал-лейтенант Александр Матвеевич Кованько, один из руководителей военного воздухоплавания в России, был в 1890—1910 гг. начальником воздухоплавательного парка в Петербурге. В Русско-японскую войну командовал 1-м Восточно-Сибирским воздухоплавательным батальоном аэростатов для наблюдения над противником.

С. 409. *В Испании одного Феррера казнили...* — Испанский просветитель Гвардия Феррер был казнен в Барселоне 13 октября 1909 г. как руководитель восстания против колониальной войны в Марокко, что вызвало волну протеста во многих странах.

С. 410. *...летний фельетон М. О. Меньшикова ~ о Кованько — Меньшиков М.* «Генерал» в заплатах и генерал в орденах // *НВ*. 1909. 7 июня.

«*Не могу молгать*» — публицистическое выступление Л. Н. Толстого против казней, датированное 31 мая 1908 г. Напечатано в английских газетах, в России под запретом до 1917 г., в советское время в массовых изданиях как «пацифистское» не печаталось, не вошло в 22-томное Собрание сочинений Толстого.

«*О смертной казни*» — Книга «О смертной казни: Мнения русских журналистов» вышла в Москве в 1909 г.

«*Рассказ о семи повешенных*» — рассказ Л. Н. Андреева опубликован в сборнике: «Литературно-художественные альманахи издательства „Шиповник“» (СПб., 1908. Кн. 5).

«*Уходит день и приходит... А земля все стоит...*» — Екк 1, 4 («Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки»).

«*братья-писатели*» — начало крылатой строки Н. А. Некрасова: «Братья-писатели в нашей судьбе что-то лежит роковое» («В больнице», 1855).

«*С Гомером он беседовал один...*» — Современники (Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями, X) считали, что стихотворение Пушкина «Гнедичу» («С Гомером долго ты беседовал один...») обращено к Николаю I.

«*Князю Юсупову*» — стихотворение Пушкина «К вельможе» (1830).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

<О России>

(с. 410)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 60.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 25 нояб. № 12108.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 366–369).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 411. *...Даль ~ накригавшим на молоденького Тургенева...* — И. С. Тургенев писал в «Автобиографии» (1876): «Поступил в 1842 году в канцелярию министерства внутренних дел под начальство В. И. Даля, служил очень плохо и неисправно и в 1843 году вышел в отставку».

«*Капитал*» — главный труд К. Маркса, первый том которого (1867) переведен на русский язык в 1872 г., второй и третий тома переведены в 1885 и 1896 гг. Свое отношение к марксизму и книге «Капитал» Розанов выразил еще в 1897 г. в статье «Литературно-общественный „кризис“» (см.: Наст. изд. Т. 2. С. 113–121), а наиболее полно — в статье «Кто истинно счастливый человек» (*МВ*. 1916. 2 и 6 июля).

КУПРИН

(с. 413)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 214. Л. 2–4.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 28 нояб. № 12109.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 14 (с. 424–426).

Печатается по тексту первой публикации.

Об отношении Розанова к творчеству Александра Ивановича *Куприна* (1870–1938) см. в статье в «Розановской энциклопедии» (с. 497–498).

С. 413. ...«его же не преjdeши» — Пс 148, 6.

«*Яма*» — повесть А. И. Куприна, опубликованная в третьем сборнике «*Земля*» (М., 1909).

С. 414. ...*Северова написала пьесу на эту тему...* — Писательница Нордман-Северова Наталья Борисовна написала несколько пьес, которые ставились на приобретенном ее мужем художником И. Е. Репиным дачном театре. В 1910 г. изданы в сборнике «*Интимные страницы*».

ПОТУХШИЕ ОГНИ

(с. 415)

Автограф — беловая рукопись с небольшой правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 214. Л. 18–22.

Печатается впервые по автографу.

Статья написана после выхода в свет 3-й книги сборников «*Земля*» (М., 1909) с повестью А. И. Куприна «*Яма*».

С. 416. ...*песенок, собранных первым их собирателем Новиковым...* — имеются в виду публикации в журналах русского просветителя Н. И. Новикова («*Живописец*» и др.).

С. 417. ...«в гас, его же не знает никто...» — Мф 24, 36; Мк 13, 32.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

<О книге А. Котовича>

(с. 419)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 28 нояб. № 12111.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 369–372).

Печатается по тексту первой публикации.

Котович Алексей Никанорович (1879–1942) — религиозный писатель. За основанный на архивном материале труд «*Духовная цензура в России. 1799–1855 гг.*» (СПб., 1909) Санкт-Петербургская духовная академия присудила ему степень магистра богословия, однако Синод за несоответствие труда церковно-иерархическим интересам отменил решение академии.

С. 419. «*Духовный регламент*» — закон «*Регламент или устав духовной коллегии*» 1721 г. об упразднении патриаршества и учреждении вместо него Святейшего Правительствующего Синода («*Духовной коллегии*») был подготовлен Феофаном Прокоповичем и Петром I.

С. 420. «*Человеку ~ нужно право свободно приобретать познания...*» — Дж. Милтон. Ареопагитика. Речь в защиту свободы печати, обращенная к парламенту Англии (1644).

С. 420. ...работы по цензурной истории Скабигевского и Лемке. — имеются в виду книги: Скабигевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700—1863). СПб., 1892; Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904.

С. 421. ...«секретного дела о противозаконном переводе ветхозаветных книг» знаменитого протоиерея Павского... — Духовный писатель, филолог, переводчик Библии Герасим Петрович Павский был в 1826—1834 гг. законоучителем великого князя Александра Николаевича (будущего Александра II). В 1841—1844 гг. он был подвергнут следствию и неформальному суду Синода за незаконное литографирование «неправильного перевода» Ветхого Завета. С восшествием на престол Александра II гонения на него прекратились, и он был пожалован наградами.

«СЕ ЧЕЛОВЕК»...

(с. 422)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 29 нояб. № 12114.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 372—374).

Печатается по тексту первой публикации.

В заглавии статьи взяты слова из Евангелия от Иоанна (18, 36). В статье продолжается тема предыдущей статьи Розанова.

С. 422. *Приезжаю я в Александро-Невскую лавру.* — Розанов говорит о посещении архимандрита Александра, члена Санкт-Петербургского духовно-цензурного комитета.

С. 423. ...книжку об Арсении Мацеевиге... — Арсений Мацеевич (имя в миру Александр), митрополит Ростовский (1742—1763), выражал сомнение в правах Екатерины II на престол, за что она предала его суду Синода. В 1767 г. он был приговорен к вечному заключению в Ревельском каземате, где и умер. Розанов обещал написать рецензию на книгу священника М. Попова «А. Мацеевич, митрополит Ростовский и Ярославский» (СПб., 1905). В архиве Розанова (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 116) сохранился черновой автограф неопубликованной рецензии.

С. 424. ...Содом ~ если в нем найдется десять праведников. — Быт 18, 32.

КРАСОТА-ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА

(с. 424)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 58. На полях запись: «Черный огонь».

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 2 дек. № 12115.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 426—428).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 424. ...новая редакция старого журнала... — С 1909 г. издателем журнала «Вестник Европы» стал М. М. Ковалевский, редактором — К. К. Арсеньев.

...изданную Карлейлем. — «Письма и речи Кромвеля» (1845).

...как пишет Иловайский... — имеется в виду учебник историка Д. И. Иловайского «Руководство ко всеобщей истории», выдержавший в XIX и начале XX в. 35 изданий.

С. 425. *...победили два каких-то хулигана...* — очевидно, имеются в виду В. М. Пуришкевич и А. И. Гучков (*Милюков П. Н. Воспоминания. Ч. VII. Гл. 2*).

Помните красные журналы на Невском? — речь идет о большевистских и близких к ним изданиях 1905—1906 гг.: «Новая Жизнь», «Молодая Россия», «Наша Мысль», «Молодость», «Вестник Жизни», «Волна», «Вперед» и др.

Новый рассказец Горького... — очевидно, имеется в виду повесть М. Горького «Исповедь» (1908), о которой Розанов писал в статье «О „народо“-божии как новой идее Максима Горького» (*РС. 1908. 13 дек.; наст. том. С. 209—211*).

...напыщенный риторический рассказец Л. Андреева. — речь идет о рассказе Л. Н. Андреева «Иуда Искариот и другие» (1907), о котором Розанов написал резкую критическую статью «Русский „реалист“ об евангельских событиях и лицах» (*НВ. 1907. 19 июля; наст. изд. Т. 3. С. 581—588*).

...Англия встретила свободу «Потерянным раем» Мильтона — Поэма Дж. Милтона «Потерянный рай» (1667) была создана после английской революции, в тяжелые для поэта годы Реставрации. На основе библейского сюжета Милтон создал богоборческие образы, утверждающие право восстания.

...«прошмыгнуло в дверь» — помните, при Святополк-Мирском. — речь идет о начале революции 1905 г., которая, по словам Розанова, «прошмыгнула в лверь», и о расстреле демонстрации 9 января, когда министром внутренних дел был П. Д. Святополк-Мирский.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

(с. 426)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи в газете *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 56—57 (см. *Варианты*).

Впервые напечатано: *НВ. 1909. 2 дек. № 12116*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 428—430).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 426. *...«умной книжки»...* — В 7-й главе романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» говорится об «ученой книге» — «Судьба общества» (1834—1844. Т. 1—3) В. Консидерана, в которой излагаются взгляды Ш. Фурье.

...«я завыл волком в нем, защелкал зубами, как шакал». — В. Г. Белинский писал В. П. Боткину 28 февраля 1847 г. о «Выбранных местах...» Гоголя: «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом».

«Выхожу один я на дорогу» — стихотворение М. Ю. Лермонтова (1841). См.: *Наст. изд. Т. 1. С. 960 (коммент. к с. 553)*.

С. 427. *...Грановский ~ был только чиновником министерства просвещения...* — Т. Н. Грановский был недолгое время чиновником Министерства иностранных дел (1831—1832), а от Министерства народного просвещения получил поручение составить программу учебника всеобщей истории.

«С того берега» — книга А. И. Герцена, вышедшая в Лондоне в 1855 г.

...тем он был? Вице-губернатор... — М. Е. Салтыков-Щедрин был вице-губернатором в Рязани в 1860—1862 гг.

...все медики почти только преступники... — имеется в виду книга: *Вересаев В. В. Записки врача. СПб., 1901. В медицинской печати Вересаева обвиняли в субъективизме и неэтичности (Фармаковский Н. В. Врачи и общество. СПб., 1902; Шклярский А. С. Книга Вересаева перед судом психологии. Киев, 1902; Мороховец Л. «Записки врача» Вересаева в свете профессиональной критики. М., 1903).*

ОКОЛО НАУКИ И УНИВЕРСИТЕТА

(По поводу 30-летия ученой службы В. О. Ключевского)

(с. 427)

Автограф неизвестен.

Сохранились две вырезки из газеты РС с пометами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 182.

Л. 1. На одной подпись «В. Варварин» зачеркнута и написано карандашом: «В. Розанов».

Впервые напечатано: РС. 1909. 12 дек. № 285. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 401—408).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов слушал лекции историка Василия Осиповича *Ключевского* (1841—1911), когда учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Отношение Розанова к историку прослежено в статье о нем В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 462—465).

С. 427. *...Раевских курсов...* — В 1894 г. Н. П. Раев был назначен директором Высших женских курсов в Петербурге. В 1905 г. он их покинул и учредил в Петербурге частные женские юридические курсы.

С. 428. *...Маргарита за прялкой...* — имеется в виду сцена 15 («Комната Гретхен») первой части «Фауста» И. В. Гёте, где героиня Гретхен (Маргарита) сидит за прялкой.

...Черные думы, как черные мухи... — А. Н. Апухтин. Черные мухи (1873).

...видел я в 1905 году в Шлиссельбурге маленький садик... — Народница В. Н. Фигнер была приговорена по «процессу 14-ти» (1884) к смертной казни, замененной вечной каторгой. В течение 20 лет отбывала одиночное заключение в Шлиссельбургской губернии. С 1904 г. в ссылке в Архангельской губернии. В 1906 г. выехала за границу.

С. 429. *Бестужевские курсы* — Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге (1878—1918).

«Лекции по русской истории» В. О. Ключевского — СПб., 1902. Т. 1—3.

С. 430. *Думы девичьи пугливые / Кто же может разобрать* — Н. А. Некрасов. Коробейники, V (1861): «Думы девичьи заветные, / Где вас все-то угадать?»

...лет двадцать назад, когда он нагал гитать лекции в Московском университете... — В. О. Ключевский с 1879 г. доцент, с 1882 г. профессор русской истории Московского университета.

С. 431. *...зтения Ранке в Берлинском университете...* — немецкий историк Л. фон Ранке читал лекции в Берлинском университете с 1825 г.

...зтения Du-Ruis в Сорбонне... — имеется в виду Жан Виктор Дюройи, французский историк, государственный деятель, министр народного просвещения (1863—1869), профессор истории в Сорбонне.

...о переписке Погодина с Шафариком и Ганкою... — Писатель и историк М. П. Погодин в 1835 г. ездил в Германию, побывал в Праге, встречался с деятелями чешского и словацкого национально-освободительного движения В. Ганкой, П. Шафариком и др. Славянская тема стала частью литературно-общественной деятельности Погодина. Он собирал средства в пользу славянских ученых, издал «Славянские древности» Шафарика, переведенные под его руководством О. М. Бодянским (М., 1837—1848. Т. 1—2).

С. 432. *«История России с древнейших времен»* — труд историка С. М. Соловьёва, доведенный до екатерининских времен (М., 1851—1879. Т. 1—29).

«Все обошлось достаточно либерально»... — эти слова А. С. Суворина из его фельетона «Недельные очерки и картинки» (Биржевые Ведомости. 1876. 4 янв.) Достоевский приводит в «Дневнике писателя» (1876. Янв. Гл. 1. § 1).

С. 432. ...*невежественного попечителя округа*... – попечителем Московского учебного округа с 1874 по 1880 г. был кн. Н. П. Мещерский, брат издателя еженедельника «Гражданин», внук Н. М. Карамзина.

О ПИСЬМАХ ПИСАТЕЛЕЙ

(с. 434)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 30.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 16 дек. № 12129.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 430–433).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 434. ...*письма Эртеля*. – *Эртель А. И.* Письма / Предисл. М. О. Гершензона. М., 1909. Об Александре Ивановиче Эртеле см. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 1202–1203).

С. 436. ...*Амель, у нас* – *Никитенко*. – Книга швейцарского философа и поэта А. Ф. Амиеля «Задумывный дневник» (1883–1884) была переведена М. Л. Толстой, дочерью писателя («Из дневника Амиеля». 2-е изд. М., 1905). О дневнике А. В. Никитенко см. коммент. к с. 406.

КАК ЛЮДИ РУСЕЮТ

(с. 437)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1909. 18 дек. № 12131.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 409–412).

Печатается по тексту первой публикации.

В статье Розанов продолжает анализировать «Письма» А. И. Эртеля.

С. 439. *Голгофа* – холм в окрестностях Иерусалима, на котором был распят Иисус Христос.

Соломонов храм – воздвигнут третьим царем Израиля Соломоном (X в. до н. э.) в Иерусалиме. Просуществовал до 588 г. до н. э., когда был разрушен Навуходоносором. Второй храм (Зоровавеля) построен к 516 г. до н. э. и осквернен в 167 г. до н. э. Третий храм (Ирода Великого) открыт в 64 г., но уже в 70 г. разрушен римским войском во главе с Титом.

Мы увидели «Акима простоту»... – имеется в виду один из героев драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть» (1886), приговаривавший «тае».

ТОЛСТОВСТВО И ЖИЗНЬ

(с. 440)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи в газете *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 138–144.

Впервые напечатано: НВ. 1909. 20 и 23 дек. № 12133, 12136.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 19 (с. 409–412).

Печатается по тексту первой публикации.

В статье Розанов продолжает рассматривать «Письма» А. И. Эртеля.

С. 440. *...критика «догматического богословия» митрополита Макария...* — Митрополит Макарий (Булгаков) создал в 1849–1853 гг. «Православно-догматическое богословие» (в 5 т.), которое Л. Н. Толстой подверг критике в своем «Исследовании догматического богословия» (1879–1880).

Астарта — древнесемитское божество, богиня любви и плодородия.

С. 441. *И скудно, и грустно, и некому руку подать.* — из одноименного стихотворения М. Ю. Лермонтова (1840).

...в Петропавловской крепости... — А. И. Эртель был арестован в 1884 г. за связь с революционерами, заключен в Петропавловскую крепость, а затем сослан в Тверь (1885–1888).

...напали на него Скабигевский, Протопопов и Михайловский. — см.: Скабигевский А. М. История новейшей русской литературы (1848–1890). СПб, 1891; 7-е изд.: 1909; Протопопов М. Тенденциозный роман (Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. Роман А. Эртеля) // Северный Вестник. 1890. № 2. С. 46–63; Михайловский Н. К. Записки степняка. Очерки и рассказы А. Эртеля // Отечественные Записки. 1883. № 9, 11.

С. 442. *Фиваида* — места поселения в египетской пустыне раннехристианских отшельников. Северной Фиваидой называли монастыри Белозерского и Кирилловского уездов Новгородской губернии (Кириллово-Белозерский, Ферапонтов и др.).

...«сожжением предметов роскоши», что делал Саванаролла... — Флорентийский религиозно-политический деятель Джироламо Саванарола организовал торжественные «сожжения суеты» — костры из предметов роскоши, произведений искусства и книг, противоречивших христианской морали; обличал папство, за что был казнен.

...Феодосия Великого, истреблявшего языческие храмы, статуи, библиотеки... — Римский император Феодосий (379–395) разрушил много языческих храмов, утвердил господство ортодоксального христианства, при нем была сожжена Александрийская библиотека, отменены Олимпийские игры.

С. 443. *...дважды два стеариновая свечка.* — И. С. Тургенев. Рудин. Гл. 2.

С. 444. *...«беспутный гуляка» Моцарт...* — у Пушкина в «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери» (1830) — «гуляка праздный».

С. 445. *«казанский сирота»* — приbedняющийся человек. Поговорка возникла после того, как войска Ивана Грозного в 1552 г. взяли Казань и князя казанские стали поступать на службу царю в Москве и жаловаться на свою бедность.

«каждое лыко в строку» — порицать за каждую ошибку. Выражение связано со старинным ремеслом на Руси. Строка — каждая полоса лыка при плетении лаптя.

Соловки — Соловецкий монастырь (Спасо-Преображенский мужской православный монастырь) на Белом море. Основан в начале XV в., с XVI в. служил местом ссылки. В 1923–1939 гг. тюрьма особого назначения для политических. С 1967 г. музей-заповедник. Монастырь возрожден в 1990 г.

Суздальская крепость-монастырь — Спасо-Ефимиев мужской монастырь. Создан в 1352 г. суздальско-нижегородским князем Борисом Константиновичем как крепость. В 1923–1929 гг. тюрьма для политических, затем для военнопленных С 1968 г. музей. Архитектурный комплекс монастыря внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Мне отмищение и аз воздам»... — Рим 12, 19. Эпиграф к «Анне Карениной».

...опрокинулся ~ на Шекспира... — В статье «О Шекспире и о драме» (1906) Л. Н. Толстой выступил как ниспровергатель Шекспира. Полемиическая работа Толстого (отд. изд.:

М., 1907) вызвала большую критическую литературу. Розанов в статье «Толстой и Достоевский об искусстве» (1906) называет критику Толстым Шекспира «причудой гения».

НА РАСПУТЬЯХ

(с. 446)

Автограф неизвестен.

Сохранились неоконченные гранки статьи с авторской правкой чернилами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 35—41. На верху первой страницы две надписи карандашом рукой Розанова: «Мелкий корпус на шпонах» и «Корректуру мне». Рядом с написанным от руки заглавием чужой рукой написано: «Терский» (сотрудник типографии «Новое Время»). Большие части гранок зачеркнуты синим карандашом редактора. В конце гранок надпись карандашом рукой Розанова: «Дальше по рукописи (ремингтон)». Рукопись не сохранилась. Время работы над очерком устанавливается по биографическим реалиям в период участия Розанова в работе в РФО и дискуссий о народе и интеллигенции.

Печатается впервые по тексту гранок.

С. 446. *Ее гитал молодой богослов...* — Автора лекции установить не удалось. В гранках Розанов вычеркнул слова, характеризующие личность упоминаемого в конце второго абзаца беллетриста-народника: «еще живого, но уже много лет замолчавшего в тягостном и неисцелимом недуге». Определить этого беллетриста не удалось.

«с востока свет» — девиз Фонда содействия переводам с восточных языков, основанного в Лондоне в 1828 г. Под этими словами выходили издания Фонда.

С. 447. *...я бедный импровизатор...* — А. С. Пушкин. Египетские ночи. Гл. 1.

...«везде было и всегда будет, что народ раньше или позже идет за интеллигенцию; распинает ее — но потом все-таки за нею же идет». — Эти слова К. Н. Леонтьева Розанов приводил в книге «Около церковных стен» (статья «Духовенство, храм, миряне»). Ср. суждения К. Н. Леонтьева об интеллигенции в его статье «Как надо понимать сближение с народом?» (1880).

С. 448. *...книги Штрауса и Ренана.* — имеются в виду книги немецкого философа Д. Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса, критически переработанная» (1835—1836; рус. пер.: Кн. 1—2. 1907) и французского философа Ж. Э. Ренана «История израильского народа» (1887—1893; рус. пер.: Т. 1—2. 1908—1912. Первый том называется «Жизнь Иисуса»).

1910

НУЖДА ВЕРЫ И ФОРМ ЕЕ

(с. 449)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ.* 1910. 3 и 4 янв. № 12145, 12146.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 15—18).

Печатается по тексту первой публикации.

Заметка является продолжением статьи «Как люди русеют» (*НВ.* 1909. 18 дек.). Речь идет о той же книге «Писем» А. И. Эртеля (М., 1909).

С. 450. *...по английской пословице* — имеется в виду английская пословица: «splash out of the through with water and the child».

С. 450. ...*епископа нарвского Антонина, ныне на грустном «покое»* — Приятель Розанова по совместному участию в петербургских РФС, неоднократно бывавший у Розанова в гостях, по настоянию императора Николая II был 8 февраля 1908 г. уволен «на покой».

НАШ «АНТОША ЧЕХОНТЕ»

(с. 452)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1910. 17 янв. № 13. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 550—554).

Печатается по: Чеховский юбилейный сборник. 1860 — 17 января — 1910. М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1910. С. 179—186. Подпись: *В. Варварин*.

Об отношениях Розанова и Антона Павловича Чехова (1860—1904) см. в статье А. А. Медведева в «Розановской энциклопедии» (с. 1148—1156).

С. 453. ...*в «Листках»...* — Первые рассказы Чехова печатались с 1880 г. в юмористических и сатирических журналах «Стрекоза», «Будильник», «Зритель», «Москва» и др. *Фонарики-сударики...* — И. П. Мятлев. Фонарики (1844).

С. 454. ...*«о прогрессе истории», о «правде-истине и правде-справедливости», «герои и толпа», «вольница и подвижники».* — имеются в виду статьи Н. К. Михайловского «Что такое прогресс?» (1869), «Письма о правде и неправде» (1877), «Вольница и подвижники» (1877), «Герои и толпа» (1882). Михайловскому принадлежит несколько статей о Чехове, опубликованных в его сборнике «Литература и жизнь» (1892) и в шестом томе Сочинений (СПб., 1897).

Напрасно ухо поражая... — А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).

С. 455. *«Песня буреветника»* — «Песня о Буреветнике» М. Горького впервые напечатана в журнале «Жизнь» (СПб., 1901. № 4), после чего журнал был закрыт.

Но в полдень нет уж той отваги... — А. С. Пушкин. Телега жизни (1823).

С. 456. *В тысяче мук я есмь.* — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. 4. Кн. 11. § IV.

Не правда ли, живут я, как кошка... — В письме А. Е. Врангелю 14 апреля 1865 г. Достоевский писал: «А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть».

КАК ДЕЛАЛИ ОДНОГО УЧЕНОГО

(с. 457)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1910. 20 янв. № 12162.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 25—26).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 457. ...*он написал ~ разбор-огерк под названием «Мистическая порнография»...* — Лопатин Н. Мистическая порнография // Утро России. 1910. 15 янв. Журналист Н. П. Лопатин обвинил Розанова в порнографии: «Я вижу В. Розанова, оперирующего над христианской философией, над религиозными истинами, над всеми сокровищами человеческого духа с единственной целью — выткать на фоне этих возвышенных предметов грязный узор мистической порнографии, доставляющей ему глубокое, неизъяснимое на-

слаждение». Книга Розанова «В мире неясного и нерешенного», которую рецензировал Лопатин, вышла в 1901 г., 2-е издание в 1904 г., но не вызвала откликов в течение многих лет. Газета «Утро России» опубликовала ответ на статью Розанова «Как делали одного ученого...» (Розановская логика // Утро России. 1910. 22 янв.).

С. 457. «Пол и характер» — книга австрийского философа и писателя Отто Вейнингера, где мужское начало противопоставлялось «низшему женскому». Издана в 1903 г., рус. пер. 1909 г.

«Половой вопрос» — книга швейцарского невропатолога и психиатра Огюста Анли Фореля, которой Розанов посвятил статью «Афродита и Гермес» (Весы. 1909. № 5; вошла в книгу Розанова «Во дворе язычников»). Труд Фореля опубликован в 1905 г., рус. пер. 1906 г.

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ТРЕХ СОСНАХ

(с. 458)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1910. 24 янв. № 19. Подпись: *В. Варварин.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 33–36).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 458. ...*тема последних собраний христианской секции...* — 3 и 17 января 1910 г. проходили заседания Христианской секции РФО по теме «О религиозной стихии русского народа». Записи С. П. Каблукова об этих заседаниях см. в его «Дневнике», отрывки из которого опубликованы в: *Ермигѣв А. А. Религиозно-философское общество в Петербурге (1907–1917): Хроника заседаний.* СПб., 2007. С. 80–84.

В последнем собрании В. П. Протейкинский... — 17 января 1910 г. в Христианской секции выступал Виктор Петрович Протейкинский, участник РФС и РФО, а также «воскресений» в доме Розанова. О его выступлениях см. в той же книге А. А. Ермичёва.

...с брошюрой — «*Наши новые христиане, гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский*». — Статьи К. Н. Леонтьева «О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике» (Варшавский Дневник. 1880. 29 июля, 7, 12 авг.) и «Страх Божий и любовь к человечеству, по поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого „Чем люди живы“» (Гражданин. 1882. № 54–55) объединены Леонтьевым в брошюре «*Наши новые христиане*» (М., 1882).

С. 459. «*Леонтьеву на его мысль...*» — Розанов цитирует из «Записной тетради 1880–1881 гг.» (*Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 27. С. 51).

...из *трех синоптических Евангелий.* — первые три книги Нового Завета (Евангелия от Матфея, Марка и Луки). Четвертое Евангелие от Иоанна отличается по стилю и содержанию от синоптических.

С. 460. ...о «*разных дарах*»... — 1 Кор 12, 4.

С. 461. ...«*по двенадцати раз в год*»... — Откр 22, 2.

ЗАВЕТЫ БЫТА И ТРУДА

(с. 461)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 120–122.

Впервые напечатано: *НВ.* 1910. 28 янв. № 12170.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 40–43).

Печатается по тексту первой публикации.

В статье продолжаются размышления Розанова над письмом А. И. Эртеля, изложенные в работах «Как люди русеют» (НВ. 1909. 18 дек.; наст. том. С. 437–440) и «Нужда веры и форм ее» (НВ. 1910. 3 и 4 янв.; наст. том. С. 449–452).

С. 461. ...«на заре туманной юности»... — А. В. Кольцов. Разлука (1840).

...автор «Записок охотника»... — то есть И. С. Тургенев.

...«Русские друг дружку едят и с того сыты бывают». — По легенде, петербургский юродивый XVIII в. Тихон Архипович говорил: «Нам, русским, не надобен хлеб; мы друг друга едим и с того сыты бываем» (Душенко К. Цитаты из русской истории. М., 2005. С. 473).

...«Наше преступление»... — Родионов И. А. Наше преступление (Не бред, а быть): Из современной народной жизни. СПб., 1909.

С. 462. *Правительство в лице Муравьёва перевешало много поляков.* — Во время Польского восстания 1863–1864 гг. генерал-губернатор Северо-Западного края М. Н. Муравьёв жестоко подавил восстание, за что либералы и народники прозвали его «Вешателем». В 1897 г. в газете «Свет» (12 янв.) Розанов напечатал (без подписи) статью о памяти Муравьёву в Вильне.

...«мальчик без штанов»... — персонаж сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Мальчик в штанах и мальчик без штанов» (1881) из цикла очерков «За рубежом».

С. 463. ...«терпеньем изумляющий народ» — Н. А. Некрасов. «Умру я скоро. Жалкое наследство...» (1867).

ИСТОРИЧЕСКИЙ «ГЕНИЙ» ФРАНЦИИ (с. 464)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1910. 9 фев. № 12182.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 46–48).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 464. «Национальная библиотека» — одна из старейших и крупнейших библиотек, основана в Париже в 1480 г. как Королевская библиотека, в 1795 г. объявлена Конвентом Национальной.

«Академия надписей» — В 1663 г. французский государственный деятель Ж. Б. Кольбер основал Академию надписей и литературы (под названием «Малая академия»),

Сорбонна — второе название Парижского университета. Основана духовником короля Людовика IX Р. де Сорбоном в 1257 г. как богословский колледж в Латинском квартале Парижа.

«Политехническая школа» — возникла в Париже после Французской революции вместо закрытых религиозных университетов.

«Нормальная школа» — основана в Париже в 1808 г.

О ТАРНОВСКОЙ (с. 465)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1910. 5 марта. № 52. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 90–96).

Печатается по тексту первой публикации.

Киевлянка Мария Николаевна *Тарновская* (урожд. О'Рурк) обвинялась в подстрекательстве своего любовника Н. А. Наумова к убийству другого своего любовника графа П. Е. Комаровского с целью получения за него страховой суммы. На судебном процессе, проходившем в Венеции в феврале–марте 1910 г., она была приговорена к 8 годам тюремного заключения. Организовавший это убийство адвокат Д. Д. Прилуков, находившийся тоже в близких отношениях с Тарновской, был приговорен к 10 годам тюремного заключения. В. А. Сталь (Шталь) — жертва козней Тарновской. Дело Тарновской получило отражение в повести В. Я. Брюсова «Последние страницы из дневника женщины» (РМ. 1910. № 12) и в сонете И. Северянина «Тарновская» (1913).

С. 466. *Процесс Ольги Штейн* — 4 декабря 1907 г. в Петербурге начался судебный процесс над мошенницей Ольгой фон Штейн (Ольга Зельдовна Сеганович), известной под кличкой Золотая Ручка. Под залог она была отпущена на свободу и бежала в США. В мае 1908 г. была доставлена обратно в Петербург, в декабре 1908 г. осуждена на 1 год и 4 месяца. *Шульц* был лжесвидетелем на процессе. Позднее, став баронессой фон дер Остен-Сакен, она была приговорена за мошенничество к 5 годам тюрьмы. В советские годы приговаривалась к бессрочным исправительным работам.

С. 469. ...«не о хлебе едином»... — Мф 4, 4.

...как раб по повелению того владыки... — А. С. Пушкин. Анчар (1828).

С. 471. *Совет Десяти* — орган Венецианской республики, созданный в 1310 г. для охраны политической и социальной структуры государства.

К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ «ВЕХ»

(с. 471)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 19–23.

Впервые напечатано: Московский Еженедельник. 1910. 8 марта. № 10. Стб. 34–46.

См. *Варианты*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 96–103).

Печатается по тексту первой публикации.

5-е издание «Вех» вышло в начале 1910 г. с изменениями в примечаниях и считается основным для переизданий. 1-е издание вышло 16 марта 1909 г.

Журнальная публикация статьи Розанова сопровождается примечанием: «Печатаемая интересную статью В. В. Розанова, редакция оставляет на ответственности автора многие из высказанных им мыслей».

С. 472. ...*ропот на закон 3 июня* — Манифестом 3 июня 1907 г. была распущена 2-я Государственная дума и существенно изменен избирательный закон.

...«*великой забастовки*». — имеется в виду декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве.

...«*еще при Сипягине и Плеве*»... — имеются в виду министры внутренних дел Д. С. Сипягин (1899–1902) и В. К. Плеве (1902–1904).

С. 473. «*Европеец*» — журнал, издававшийся в 1832 г. в Москве И. В. Киреевским.

«*Великая хартия*» — «Великая хартия вольностей», основа конституции в Великобритании, принятая в 1215 г. королем Иоанном Безземельным.

Habeas Corpus — начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 г.

С. 473. *Экклезия* — законодательный орган в Древних Афинах, народное собрание. ...идеи о «трех упряжках»... — Л. Н. Толстой считал, что человеку необходимы три упряжки: умственная, нравственная и физическая.

С. 474. Толстой однажды спросил: «Как нагреть воду в котле, не согревая каждой глотка воды?». Он хотел сказать, что нельзя получить «итога», не имея «слагаемых» — Возможно, Розанов вспоминает слова из «Анны Карениной» (ч. 2, гл. XXX): «Как определенно и неизменно частица воды на холоде получает известную форму снежного кристалла, так точно каждое новое лицо, приезжающее на воды, тотчас устанавливалось в свойственное ему место».

...с Марафонского поля прибежал в Афины... — Легендарный древнегреческий воин в 490 г. до н. э. прибежал из Марафона в Афины (40 км), чтобы сообщить весть о победе греческого войска Мильтиада над персами.

...«не о хлебе едином бывает жив человек»... — Мф 4, 4; Лк 4, 4.

С. 475. *По мне уж лучше пей, да дело разумей!* — И. А. Крылов. Музыканты (1808). Бисмарк ~ поднял из «незначительного существования» Германию... — Первый рейхсканцлер в Германии (1871—1890) осуществил объединение Германии.

С. 477. ...В долгу ногь на ветке дремлет... — А. С. Пушкин. Цыганы (1824). «История Греции» — книга английского историка Джорджа Грота в 12 т. (1845—1855). «Шиповник» — книгоиздательство в Петербурге (1906—1918), выпускавшее одноименные литературно-художественные альманахи (1907—1917; кн. 1—26). Ред. Л. Андреев. «Земля» — литературно-художественный альманах в Москве (1908—1917; кн. 1—20), который возглавлял М. Арцыбашев.

АПРЕЛЬСКАЯ КНИЖКА

Дм. Кайгородов. «Наши весенние бабочки». С красочными таблицами и рисунками по акварелям с натуры Т. Д. Марсевой (с. 478)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1910. 30 марта. № 12230.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 117—118).

Печатается по тексту первой публикации.

О Д. Н. Кайгородове см. в комментариях к рецензии Розанова на его хрестоматию «Из родной природы» (НВип. 1902. 14 авг.): Наст. изд. Т. 3. С. 735.

С. 478. ...тожно из Кюнера... — речь идет о классических учебниках латинского языка: Руководство к изучению латинского языка, составленное по Кюнеру. 3-е изд. СПб., 1858; Кюнер Р., Кремер Я. Латинская грамматика с примерами и упражнениями. М., 1867.

Экстемпоралии — письменное упражнение в старой гимназии, состоящее в переводе с русского языка на латинский или древнегреческий.

<О ПЬЕСЕ ОСТРОВСКОГО «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»

(с. 479)

Сохранился автограф черными чернилами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 168. Л. 12—15. Подпись: В. Варварин, т. е. статья предназначалась для московской газеты «Русское Слово», поскольку рецензия Ю. Беляева на этот спектакль Художественного театра уже появилась в «Новом Времени» 22 апреля 1910 г.

Печатается впервые по тексту автографа. Статья не окончена.

Об Александре Николаевиче *Островском* (1823–1886) см. статью И. А. Едошиной в «Розановской энциклопедии» (с. 673–676).

С. 479. *...я был на комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты».* — Гастроли Московского художественного театра в Петербурге проходили с 30 марта по 3 мая 1910 г. Эту пьесу А. Н. Островского играли много раз (по сведениям Музея МХАТ: 30, 31 марта, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 20, 22, 24 апреля). На одном из этих спектаклей и был Розанов.

С. 480. *Глумов* — персонаж пьесы А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1868), избравший своим образом мыслей цинизм.

Будет некогда день и погибнет священная Троя — Гомер. Илиада. IV. 164–165.

...генерал Куропаткин «спасет» Россию в своих книгах-проектах... — Главнокомандующий в начале Русско-японской войны А. Н. Куропаткин после поражения под Мукденом (февраль 1905 г.) был смещен. Написал книгу «Задачи русской армии» (в 3 т. СПб., 1910).

С. 482. *...молодец с Хитрова рынка или с «Дна» Горького...* — В 1824 г. генерал-майор Н. З. Хитрово купил и обустроил площадь вблизи Яузского бульвара. К концу XIX в. площадь превратилась в скопление бездомных лиц и ночлежных домов. Описана В. А. Гиляровским. При постановке в 1902 г. «На дне» М. Горького К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко приходили изучать быт «низов» на Хитровке.

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Г. Пархоменко

(с. 482)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: Новое Слово. 1910. Май. № 5. С. 20–23.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 158–164).

Печатается по тексту первой публикации.

О «портретах» Ивана Кирилловича *Пархоменко* (1870–1940) см. статью В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 680–682). Портрет Розанова (1909) работы И. К. Пархоменко хранится в ГЛМ.

Критик С. С. Голоушев (под псевдонимом С. Глаголь) отозвался на эту статью иронической репликой: «Писателям грозит нашествие художника Пархоменко. Кто такой Пархоменко, можете узнать из очерка, посвященного ему... В Розановым, этим оригинальным писателем, столь легко иногда принимающим фонарь из промасленной бумаги за лучезарное солнце» (Утро России. 1910. 15 июня. № 198).

С. 482. *...в далекой, дьявольски далекой гasti Петербурга.* — мастерская художника И. К. Пархоменко находилась в 1908–1911 гг. на улице Большая Зеленина, д. 266 (Петербургская сторона).

С. 483. «*в. п. з. р.*» — «великий писатель земли русской» (И. С. Тургенев о Толстом).

С. 485. *Сенной рынок* (Сенная площадь) — первое упоминание о Сенной площади относится к 1730-м гг., когда здесь вырубил лес и отвели место для торговли сеном и дровами. Нравы и быт вокруг Сенной площади описаны у Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание»), Н. А. Некрасова, В. В. Крестовского.

С. 487. «*Пенаты*» — В 1899 г. И. Е. Репин приобрел участок земли на берегу Финского залива, где была построена его усадьба Пенаты. Летом 1909 г. Розанов с семьей посещал Пенаты, а Репин бывал у него на даче в Лепенене близ Териоки.

РАССКАЗЫ И. Л. ЩЕГЛОВА

(с. 487)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВип.* 1910. 1 мая. № 12260. С. 9–10.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 164–165).

Печатается по тексту первой публикации.

О И. Л. Щеглове (Леонтьеве) см. в комментариях к статье Розанова «Иван Щеглов. Новое о Пушкине» (*НВип.* 1901. 7 нояб.): Наст. изд. Т. 3. С. 718.

С. 488. «Дневник Дьяконовой в Париже» — «Дневник русской женщины (Париж, 1900–1902)» был издан в Париже посмертно братом Е. А. Дьяконовой в 1905 г. Розанов неоднократно обращался к Дневнику Дьяконовой. См. статью о ней в «Розановской энциклопедии» (с. 365–367).

АМФИТЕАТРОВ

(с. 488)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВип.* 1910. 13 мая. № 12272.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 434–436).

Печатается по тексту первой публикации.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) — писатель. Об отношении Розанова и Амфитеатрова см. в «Розановской энциклопедии» (с. 62–64).

С. 489. *...когда-то сосланный, теперь убежавший в Париж...* — В 1902 г. А. В. Амфитеатров был выслан в Минусинск за статью «Господа Обмановы» (Россия. 1902. 13 янв.). В июле 1904 г. «по состоянию здоровья» выехал за границу, жил в Италии, Франции.

...книжку каких-то газетных вырезок. — *Амфитеатров* А. В. Заметки сердца. М., 1909.

С. 490. *Обрыскал свет, — Не хочешь ли жениться?* — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 2. *Вы ногному гасу не верьте...* — З. Н. Гиппиус. Цветы ночи (1884).

ВИАРДО И ТУРГЕНЕВ

(с. 491)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *РС.* 1910. 20 мая. № 114. Подпись: *В. Варварин.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 437–443).

Печатается по тексту первой публикации.

Виардо-Гарсиа Полина (1821–1910) — французская певица (меццо-сопрано), композитор. С Тургеневым познакомилась в ноябре 1843 г. во время своей первой поездки в Петербург. Сорокалетняя дружба Тургенева и П. Виардо, оборвавшаяся лишь со смертью писателя в доме Виардо, нашла отражение в их переписке, которая до сих пор известна не полностью.

С. 491. *Герои были до Атрида...* — М. В. Ломоносов приводит эти строки Горация в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» (1757). У Горация (Оды, IV, 9, 25–26) речь идет об Агамемноне, сыне царя Микен Атрея.

С. 493. ...у Тургенева была дозь «Ася», им увековеченная в рассказе. — Повесть Тургенева «Ася» (1858) вызвала резкое осуждение Л. Н. Толстого, почувствовавшего, что история, рассказанная в повести, интимно близка автору. Ссора Толстого с Тургеневым 1861 г. была вызвана спором о воспитании «незаконной дочери» Тургенева Полины, которой в пору, когда Тургенев писал повесть, было 12 лет.

С. 495. «Я произнес ваше имя...» — Розанов пересказывает настроение Тургенева в письмах к Виардо в Лондон летом 1849 г. (ср.: *Тургенев И. С.* ПСС: В 30 т. Письма. М., 1882. Т. 1. С. 421: «Не могу сказать, как часто в течение дня я о вас думал; возвращаясь, я так восторженно выкрикнул ваше имя, с такой тоской протянул к вам руки!» (23 июля 1849 г.)).

С. 496. «Никогда я такого слабого организма не видал...» — Ковалевский М. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе // *Минувшие Годы*. 1908. № 8.

В ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРАЧЕШНОЙ...

<Вл. Соловьёв>

(с. 497)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи в *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 7. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 1 июня. № 12291.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 196—199).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 497. ...*Слонимский из «Вестника Европы»*... — см. о Л. З. Слонимском в комментарии к статье Розанова «Л. Слонимский». Мысли Белинского о воспитании» (*НВип*. 1898. 3 июня): *Наст. изд.* Т. 1. С. 947.

...о полемике в «Северной Пчеле», в «Отечественных Записках», о полемике Н. Я. Данилевского и Н. Н. Страхова, о «всенепременном» Н. К. Михайловском... — Л. Слонимский в статье «О свободе полемики» писал: «Некогда, в сороковых годах „Отечественные Записки“ серьезно выражали свою признательность „Северной Пчеле“ за то, что своими постоянными нападками и статьями она с неутомимым усердием в течение целых пяти лет распространяла известность журнала „до отдаленнейших концов читающего мира“. „Мы были <бы> в отчаянии, — заявляла редакция названного журнала в конце 1843-го года, — если бы „Северная Пчела“ отложила от „Отечественных Записок“: такой усердной помощницы не найти нам» (*Вестник Европы*. 1910. № 6. С. 290).

...*Соловьёв изобразил тип литературного Иудушки*... — речь идет о статье В. С. Соловьёва «Порфирий Головлев о свободе и вере» (*Вестник Европы*. 1894. № 2), направленной против статьи Розанова «Свобода и вера (По поводу религиозных толков нашего времени)» (*РВ*. 1894. № 1), в которой критикуется позиция Соловьёва по «вопросу о соединении церквей» (см.: *Наст. изд.* Т. 1. С. 288—303).

...*готтентотский субъективизм*... — Вл. Соловьёв определял готтентотскую мораль как «воззрение африканского дикаря»: «Добро — это когда я отниму у соседей их стада и жен, а зло — когда у меня отнимут» («Национальный вопрос в России». Вып. 1. Пл. I. 1883; Собр. соч.: В 2 т. М., 1889. Т. 1. С. 268).

С. 498. ...его надписях на книгах, которые он мне дарил («Оправдание добра»). — 7 февраля 1897 г. В. С. Соловьёв подарил Розанову свою книгу «Оправдание добра» с надписью: «Дорогому Василию Васильевичу Розанову, чудному, а нередко чудному писате-

лю от некогда его ненавидевшего, а ныне только редко видящего, но искренно любящего Владимира Соловьёва».

С. 498. «*Судьба Пушкина*» — статья В. С. Соловьёва, появившаяся в «Вестнике Европы» (1897. № 9) и вызвавшая резкий ответ Розанова «Христианство пассивно или активно?» (НВ. 1897. 28 окт.; включена в книгу Розанова «Религия и культура»).

ПОСМЕРТНЫЙ ТРУД ГЕНРИ ДРУММОНДА

Г. Друммонд. Идеальная жизнь. Сборник бесед. С портретом автора. Перевод с английского. Издание киевского религиозно-философского общества. Киев. 1910 г.
(с. 499)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи в НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 98.

Впервые напечатано: НВ. 1910. 4 июня. № 12294.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 199—200).

Печатается по тексту первой публикации.

См. статью о шотландском богослове Генри Друммондне (1851—1897) в «Розановской энциклопедии» (с. 357).

С. 499. *Киевское Религиозно-философское общество* — существовало в Киеве в 1908—1919 гг. В его заседаниях участвовали иногда члены Петербургского РФО (свящ. К. Аггеев, П. Б. Струве, Д. С. Мережковский, Д. В. Философов, Н. А. Бердяев), а также Московского РФО (В. П. Свенцицкий).

С. 500. *Его «Разговор на пристани», «Наше место в вечноности»...* — Кусков П. А. 1) Наши идеалы: Разговор на пристани // РО. 1893. № 2; 2) Наше место в вечности. Киев, 1907 (издано без указания имени автора).

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ

(с. 500)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1910. 4 июня. № 126. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 200—205).

Печатается по тексту первой публикации.

О поэте Валериане Валерьевиче *Бородаевском* (1874—1923) см. статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 152—154). О Сергее *Гедройце* (имя умершего брата Веры Игнатьевны Гедройц; 1870—1932) см. статью А. В. Ломоносова и М. Н. Ватель-Гедройц в «Розановской энциклопедии» (с. 215—218).

С. 500. «*Стихотворения*» Валериана Бородаевского — Бородаевский В. Стихотворения: Элегии. Оды. Идиллии / Предисл. Вяч. Иванова. СПб.: Тип. «Печ. искусство», 1909. 72 с.

С. 502. *Лувр* — королевский замок в Париже XII в., перестроенный во дворец и открытый как музей в 1793 г., богатейшее собрание искусства.

Британский музей — одно из крупнейших музейных собраний в мире, открыто в Лондоне в 1759 г.

С. 503. ...«*Стихи и сказки*»... — *Гедройц Сергей (Гедройц В. И.)* Стихи и сказки. СПб.: Рус. скоропечатня, 1910. 229 с.
Алмазна сыплется гора... — Г. Р. Державин. Водопад (1798).

СРЕДИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

<Брюсов и Пушкин>

(с. 505)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 97.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 4 июня. № 12294. Б. п. В рубрике «Среди газет и журналов».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 206).

Печатается по тексту первой публикации.

Заметка написана по поводу статьи В. Брюсова «Новые варианты „Медного Всадника“» (*РМ*. 1910. № 6. С. 1–5). О Валерии Яковлевиче *Брюсове* (1873–1924) см. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 189–191).

БЕДНЫЕ ПРОВИНЦИАЛЫ...

(с. 506)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 38. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 11 июня. № 12300.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 443–448).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов рассматривает статью «О „Мелком бесе“ Ф. Сологуба» в журнале «Московский Еженедельник» (1910. № 22. 5 июня), подписанную инициалами О. П. Фамилию Сологуба Розанов пишет с двумя «л».

Роман Федора Сологуба (наст. имя Федор Кузьмич Тетерников; 1863–1927) «Мелкий бес» начал печататься в 1905 г. в журнале «Вопросы Жизни» (24 главы). Отдельное издание в 1907 г. и пять переизданий в 1908–1910 гг. утвердили понятие «передоношники» как символа свинства и пошлости.

С. 507. «*Астраханские Ведомости*» — «Астраханские Губернские Ведомости» издавались с 1838 по 1916 г. Розанов скорее имел в виду литературный «Астраханский Вестник», выходивший с 1889 по 1916 г.

«*Московский Еженедельник*» — журнал, в котором главную роль играли С. Н. и Е. Н. Трубецкие. Розанов печатался в нем в 1910 г.

...кто-то поет *насмешиливую песенку* — вероятно, Розанов имеет в виду или пародирует стихотворное графоманство Лебядкина в романе Достоевского «Бесы».

...инспектором *Андреевского городского училища...* — В 1899 г. Ф. Сологуб был назначен учителем-инспектором Андреевского городского училища в Петербурге.

...первый крошечный *сборник своих стихов...* — Сологуб Ф. Стихи. Книга первая. СПб.: Тип. Морского мин-ва, 1896. 64 с.

Весенние воды — это девизги сны... — слова Ф. Сологуба к вокальной кантате Ц. Кюи (1891).

С. 508. *Где грустят леса дремливые* — одноименное стихотворение Ф. Сологуба, посвященное З. Н. Гиппиус.

С. 509. «Солнце России» — еженедельный журнал, выходивший в Петербурге с 1910 по 1917 г.

...столица выдвинула Арцыбашева и издала «Полное собрание сочинений Анатолия Каменского». — Собрание сочинений издавалось с 1905 г. М. Арцыбашевым; А. Каменский выпустил в 1908 г. двухтомник своих «Рассказов».

С. 510. «Основы христианства» — основной труд религиозного философа М. М. Тареева, вышедший в Сергиевом Посаде в 1908—1910 гг. в пяти книгах (т. 1: Христос; т. 2: Евангелие; т. 3: Христианское мировоззрение; т. 4: Христианская свобода; т. 5: Религиозная жизнь).

...рассуждение П. Флоренского о тени лекций... — Статья П. Флоренского «Лекция и Lectio» была напечатана в «Богословском Вестнике» (Сергиев Посад, 1910. Т. 1. Апрель. 2-я паг. С. 614—644), который Розанов называет «лучшим религиозным журналом в России».

...лучший теперь историк России... — имеется в виду В. О. Ключевский, с 1879 г. и до смерти в 1911 г. профессор Московского университета.

«Газета-Копейка» — издавалась в Петербурге с 1908 по 1918 г. (в Москве в 1909—1910 гг.).

...шкловского происхождения... — имеется в виду происхождение из города Шклов Могилевской области, где евреи появились в XVII в., а затем составили богатейшее и влиятельнейшее сословие. По переписи 1897 г. в Шклове проживало семь тысяч человек, из них почти шесть тысяч евреев.

Сандвигевы острова — ныне Гавайские острова.

...«засмеяться зримым смехом сквозь незримые слезы». — перефразировка гоголевских слов: «Сквозь видимый миру смех и неведомые ему слезы» (Мертвые души. Гл. 7).

«Навыи гарь» — трилогия Ф. Сологуба, состоящая из романов: «Творимая легенда» (1907), «Капли крови» (1908), «Королева Ортруда» (1909).

«ЕДИНОЕ СТАДО» И НЕУГОМОННЫЙ ВОЛК

(с. 511)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 1.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 18 июня. № 12307.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 214—221).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 511. В «Современном Мире» напечатана полностью история... — К читателю (По поводу обвинений газеты «Речь») // Современный Мир. 1910. № 4. Апр. 2-я паг. С. 120—130; Арсеньев К., Анненский Н., Венгеров С., Градовский Г., Кузьмин-Караваев В. Решение суда чести по делу «Современного Мира» и «Речи» // Современный Мир. 1910. № 5. Май. 2-я паг. С. 126—135.

...из-за слова «гусак»... — аллюзия на злосчастное слово «гусак», слетевшее с языка Ивана Никифоровича в «Повести о том, как поспорился Иван Иванович и Иваном Никифоровичем» (1834) Н. В. Гоголя.

Вечерний звон, вечерний звон! — И. И. Козлов. Вечерний звон (1827), перевод стихотворения Томаса Мура «Those evening bells...» (1827).

С. 511. ...за подписью кроткого Батюшкова — Батюшков Ф. Спор о перепечатках и Пинкертон в литературе // Новая Русь. 1910. 12 апр.

С. 512. «мир и благоволение в геловецах» — Лк 2, 14.

Есть реги: знагенье — Пусто иль нигтожно... — одноименное стихотворение М. Ю. Лермонтова (1840).

С. 513. *И долгие годы неслышно прошли...* — М. Ю. Лермонтов Три пальмы (1839).

Иные дни, иные силы... — ср. у А. С. Пушкина в «Путешествии Онегина» (1836): «Другие дни, другие сны...»

...Семен Венгеров издает «с примечаниями» сочинения Белинского... — Белинский В. Г. ПСС / Под ред. и с примеч. С. А. Венгерова. СПб.; М., 1900—1948. Т. 1—13.

«Я в нем родился и живу» — Источник цитаты не установлен.

...«из стаи славной»... — А. С. Пушкин. «Перед гробницею святой...» (1831).

Я здесь стою и остаюсь здесь стоять. — фраза приписывается французскому генералу П. Мак-Магону, произнесшему ее в ответ на предупреждение, что во время Крымской войны русские намерены взорвать занятые французами укрепления Малахова кургана (8 сент. 1855 г.). Восходит также к опере Д. Обера «Озеро Фей» (1839).

С. 515. *Стиль — это человек.* — слова французского естествоиспытателя Ж. Л. Л. Бюффона из его речи, произнесенной 25 августа 1765 г. при избрании его в члены Французской академии.

С. 516. *Апраксин рынок* — архитектурный комплекс в центральной части Петербурга по Садовой улице. Назван именем первого владельца земли в XVIII в. графа Ф. М. Апраксина. В 1833 г. Апраксин двор и Щукин двор были объединены в Апраксин рынок, торговый центр, в частности, букинистический.

«Письма Энгельса к Марксу» — В 1908 г. в Петербурге был издан сборник «Письма К. Маркса и Ф. Энгельса к Ф. Зорге». Отдельные письма печатались в переводах в периодических изданиях.

«Несть власть, аще не от Бога»... — Рим 13, 1.

С. 517. *Они немножечко дерут...* — И. А. Крылов. Музыканты (1808).

...«где два и три соберутся»... — Мф 18, 20.

ПОСМЕРТНЫЙ ТОМ «ЖИЗНИ И ТРУДОВ ПОГОДИНА» Н. П. БАРСУКОВА (с. 518)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 25 июня. № 12314.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 221—230).

Печатается по тексту первой публикации.

Об отношении Розанова к историку и писателю М. П. Погодину см. статью В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 725—529).

Об историке литературы Николае Платоновиче Барсукове и его отношениях с Розановым см. в комментарии к статье Розанова «Еще доброе дело на Руси» (*РО*. 1896. № 4): *Наст. изд.* Т. 1. С. 924.

С. 518. «Род Шереметевых» — исследование в 8 т. (1881—1904) историка А. П. Барсукова.

Тмутараканский камень — мраморная плита с русской надписью 1068 г., найденная в 1792 г. на Таманском полуострове. Впервые опубликована в 1794 г. А. И. Мусиным-Пушкиным.

С. 519. *...первый том его «Thesaurus'a» русской литературы...* — имеется в виду книга «Жизнь и труды М. П. Погодина» Н. П. Барсукова, изданная в Петербурге в 1888 г.

...сочинения его, издаваемые графом Сергеем Димитриевичем Шереметевым... — Вяземский П. А. ПСС. СПб.: С. Д. Шереметев, 1878–1896. Т. 1–12.

С. 520. «Жизнь и труды П. М. Строева» — книга Н. П. Барсукова вышла в Петербурге в 1878 г.

...в 1890 г. учителем в Бельской прогимназии... — В прогимназии г. Белый Розанов служил с сентября 1891 г. до марта 1893 г.

«Словарь русских писателей, — светских и духовного чина» — Митрополит Евгений (в миру Болховитинов Евфимий Алексеевич). «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-русской церкви» (СПб., 1818. Ч. 1–2); посмертно издан И. М. Снегирёвым «Словарь русских светских писателей» (М., 1838. Т. 1) и полностью М. П. Погодиным (М., 1845. Т. 1–2).

...«дней Александровых благословенного нагала»... — А. С. Пушкин. Послание цензору (1882) («дней Александровых прекрасное начало»).

С. 521. *...подобного «столпообразным руинам Грузии», о которых упоминает Лермонтов...* — ср.: М. Ю. Лермонтов. Демон (1841). У Лермонтова (1, IV) — «столпообразные раины» — т. е. пирамидальные тополя.

С. 523. *...словарь Макарова...* — «Полный французско-русский словарь» (СПб., 1870), «Полный русско-французский словарь» (СПб., 1867) лексикографа Николая Петровича Макарова выдержали много изданий.

...«былое воскрешая» (слова Хомякова)... — ср.: «Былое в сердце воскреси» (А. С. Хомяков. Россия. 1839).

С. 524. *...«Аполлоновых струн»...* — Вяч. Иванов. Аполлон влюбленный (1895): «И подымлет стон созвучный Аполлонова струна».

...памятника Карамзину в Симбирске... — открыт 22 августа 1845 г. Автор проекта скульптор С. И. Гальберг. Памятник отливали в бронзе в Академии художеств под руководством П. К. Клодта.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Очерки

I. В Религиозно-философском обществе

(с. 525)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала «Слово» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 185. Л. 5–6.

Впервые напечатано: Слово. СПб., 1910. № 7. Июль. С. 22 — 24.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 230–233).

Печатается по тексту первой публикации.

Доклад С. Л. Франка «Религиозная философия Джемса» состоялся в РФО 2 февраля 1910 г. и был посвящен книге американского философа и психолога Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта» (1902; рус. пер.: М., 1910). Доклад опубликован под названием «Философия религии В. Джемса» (РМ. 1910. № 2. С. 155–164).

С. 526. *...шаблон, общие поклоны, общие зывания ~ над которыми острил Вольтер.* — Вольтер высмеивал общие места (loci topici), которые были характерны для многих французских вольнодумцев. Об «общих местах» писал еще Цицерон («Брут, или О знаменитых ораторах», 12, 47).

С. 526. «Нет ничего в уме, чего бы не было в ощущениях» — основное положение философии сенсуализма Джона Локка («Опыт о человеческом разуме», 1690).

С. 527. «Бог взял семена из миров иных и насадил на земле сад свой... и соприкосновением с мирами иными бывает жив человек»... — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. 6, III («Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло всё, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным миром иным»).

«Ангел» — стихотворение М. Ю. Лермонтова («По небу полуночи Ангел летел...», 1831).

...в «Федре», — о ниспадении душ на землю, о их сломанных крыльях... — Платон в диалоге «Федр» (216 d–e) пишет: «Мы же коснемся причины утраты крыльев, почему они отпадают от души... Душа больше всего приобщила к божественному — божественное же прекрасно, мудро, доблестно и так далее; этим вскармливаются и взращиваются крылья души, а от всего противоположного — от безобразного, дурного — она чахнет и гибнет» (Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 155–156).

Лейбниц говорил о «смутных», «темных» представлениях, какие имеет душа... — В сочинении немецкого философа Г. В. Лейбница «Монадология» (1714) говорится, что от самых темных и смутных ощущений низших монад до высших монад (субстанций), обладающих ясностью сознания, существуют бесчисленные переходы согласно принципу непрерывности.

II. Константин Леонтьев и его «почитатели»

(с. 528)

Автограф неизвестен.

Сохранились вырезка и правленные гранки журнала «Новое Слово» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 185. Л. 6 об.—10. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: Новое Слово. 1910. № 7. Июль. С. 24–26.

В журнале статья названа: Константин Леонтьев и его «попечители». В вырезке (л. 6 об.) заглавие исправлено чернилами рукой Розанова: зачеркнуто «попечители» и написано «почитатели».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 554–560).

Печатается по тексту первой публикации с исправлением заглавия.

С. 528. ...К. А. Губастов, в нынешнем году, как и в прошлом... — см. статью Розанова «<Кружок К. А. Губастова в память К. Н. Леонтьева>» (НВ. 1908. 6 дек.; наст. том. С. 208–209).

...Ницше ~ в мирном немецком городке... — Неточность: Фр. Ницше демонстративно отказался от прусского гражданства и большую часть жизни провел в Швейцарии: в 1869 г. в возрасте 25 лет он получил должность профессора классической филологии Базельского университета, где проработал около 10 лет, уйдя в 1879 г. в отставку по состоянию здоровья. Впоследствии лето он обычно проводил в Швейцарии (в окрестностях горы Санкт-Мориц, Граубюнден), а зиму в итальянских городах Генуя, Турин и Рапалло и французской Ницце.

...отшельник Оптиной пустыни... — с 1887 г. по август 1891 г. К. Н. Леонтьев жил в Оптиной Пустыни и 23 августа 1891 г. принял тайный монашеский постриг под именем Климента.

С. 529. «Из жизни христиан в Турции» — сборник рассказов К. Н. Леонтьева, вышедший в Москве в 1876 г. в трех томах.

«Восток, Россия и славянство» — сборник статей и трактатов К. Н. Леонтьева, изданный в Москве в 1885–1886 гг. в двух томах.

С. 529. ...Достоевский в своей «Записной книжке» — «Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет). В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое» (Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1884. С. 51).

С. 530. ...броситься в Сиракузы к ~ Дионисию... — Платон, отправившись в 399 г. до н. э. из Афин в путешествие (оно продолжалось десять лет), оказался при дворе сиракузского тирана Дионисия Старшего (в 405—367 гг. до н. э.), которому излагал свои идеи о просвещенной монархии. Тот, заподозрив Платона в подготовке заговора, продал его в рабство, откуда философа выкупили друзья. Позднее, в 366 и 361 гг. до н. э., Платон снова отправлялся на Сицилию, но уже к новому тирану — Дионисию Младшему (367—337 гг. до н. э.). Но и на него повлиять также не удалось.

...Франгеско-да-Римини в мистическом полете... — Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь 5.

...Фудель поставил veto к изданию 3-го тома своего покойного «друга». — Третий том «Собрания сочинений» под ред. И. Фуделя вышел в издании В. М. Саблина в 1912 г.

Т. И. Филиппов полутил от Леонтьева «посвящение»... — Первый том книги Леонтьева «Восток, Россия и славянство» вышел с текстом на обороте титульного листа: «Посвящается Тertiю Ивановичу Филиппову в знак невыразимой признательности за неизменную поддержку в долгие дни моего умственного одиночества».

...просто Берлинский конгресс... — Подразумевается позорный для русской дипломатии Берлинский конгресс 1878 г. (1 июня — 1 июля), созванный для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора 1878 г., завершившего Русско-турецкую войну 1877—1878 гг.

Грингмут и теперь Л. А. Тихомиров ~ типография «Московских Ведомостей»... — В. А. Грингмут был главным редактором «Московских Ведомостей» в 1896—1907 гг. Л. А. Тихомиров — редактор-издатель «Московских Ведомостей» в 1909—1913 гг.

...от «крох» которого оба идейно питались... — Реминисценция слов из Евангелия: «и псы едят крохи, которые падают со стола господ их» (Мф 15, 27). В славянском переводе: «от крупниц».

...переколотит зубуком... — подразумевается палка-«чубук», которой в мусульманских мактебах (начальных школах) учитель-ходжа колотил провинившегося ученика в целях воспитания.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ ХОМЯКОВ. К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ЕГО

(23 сентября 1860 г. — 23 сентября 1910 г.)

(с. 531)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1910. 23 сент. № 218. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 456—466).

Печатается по тексту первой публикации.

Об отношении Розанова к наследию религиозного мыслителя и поэта Алексея Степановича Хомякова (1804—1860) см. в статье И. А. Едошиной в «Розановской энциклопедии» (с. 1116—1123). Статью Розанова, написанную к 100-летию рождения Хомякова («Памяти А. С. Хомякова» // НП. 1904. № 6), см. в книге Розанова «Около церковных стен».

С. 534. ...первое серьезное описание России... — речь идет о книге немецкого экономиста и юриста Августа Гакстаузена на немецком языке: «Исследование внутреннего поло-

жения, жизни народа и в особенности о земельном устройстве России» (Берлин, 1847–1852. Т. 1–3). На русский язык была переведена его книга «Конституционное начало» (СПб., 1886).

С. 534. «Свобода, равенство и братство» — Впервые эти слова прозвучали в речи М. Робеспьера в Национальном собрании 5 декабря 1790 г. 25 февраля 1848 г. этот лозунг был включен в конституцию Французской республики.

С. 535. «отцом и учителем церкви» — Ю. Ф. Самарин назвал А. С. Хомякова «учителем церкви» в «Предисловии к богословским сочинениям А. С. Хомякова» (1867), опубликованном во втором томе ПСС Хомякова (Прага, 1867). См.: Самарин Ю. Ф. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 2014. Т. 2. С. 629. Это свое смелое суждение Самарин сопроводил следующими словами, завершающими его статью: «Называя его этим именем, мы хорошо знаем, что наши слова приняты будут одними за дерзкий вызов, другими за выражение слепого пристрастия ученика к учителю; первые на нас вознегодуют, вторые нас осмеют. Все это мы наперед знаем; но знаем и то, что будущие поколения будут дивиться не тому, что в 1867 году кто-то решился сказать это печатно и подписать свое имя, а тому, что было такое время, когда на это могла потребоваться хоть самая малая доля решимости».

...в гостных письмах (к англичанину Пальмеру) — В 1844 г. Хомяков обратился с письмом к священнику английской церкви У. Пальмеру (переведшему его стихотворение) по поводу современного состояния вопроса о соединении церквей. Завязавшая переписка продолжалась до 1854 г. (12 писем Хомякова и 8 писем Пальмера)

С. 536. Фанариоты — греческие знатные роды, уцелевшие в европейской части Константинополя после падения Византии.

С. 537. «Figaro» («Фигаро») — старейшая французская ежедневная газета, основанная в Париже в 1826 г.

С. 538. «народ-богоносец» в исповедании Ставрогина... — В «Бесах» Достоевского (II, 1) Шатов, «вампирный двойник» (С. Н. Булгаков) Ставрогина, говорит: «Единый народ-„богоносец“ — это русский народ» (Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 10. С. 200).

С. 539. «...дух веет иде же хоцет»... — Ин 3, 8 («дух дышит, где хочет»).

...«эмпиригеская действительность всегда сапогом пахнет». — Ф. М. Достоевский. Подросток. 3, 7, III («Впрочем, действительность и всегда отзывается сапогом, даже при самом ярком стремлении к идеалу»: ПСС. Т. 13. С. 378).

«коварный Альбион» — такая характеристика Англии встречается еще в средневековой хронике 1209–1210 гг. Отто Санкт-Блазенского. В годы Французской революции маркиз де Ксимен в стихотворении «Эра французов» (1793) призывал атаковать на море «коварный Альбион». 27 июля 1840 г. о «коварном Альбионе» писал Г. Гейне («Лютеция», 14). В русской литературе выражение встречается у П. А. Вяземского, А. И. Герцена и др.

...знаменитое стихотворение Алмазова — Юмористические стихотворения Б. Н. Алмазова собраны в его сборнике «Диссонансы» (М., 1863), в котором, в частности, содержится эпиграмма на поэта и критика А. А. Григорьева, близкого к славянофилам.

ИЗБЕГНУТАЯ ОШИБКА

(с. 540)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1910. 13 окт. № 12424.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 363–365).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 540. *...на миссионерском съезде в Казани...* — На III Миссионерском съезде в Казани, проходившем с 18 по 26 июня 1910 г., рассматривалась миссионерская деятельность РПЦ среди мусульман.

...писателям, наметенным епископом Гермогеном... — Епископ Саратовский (1903—1912) Гермоген (Долганёв) требовал отлучения от церкви Розанова, Д. С. Мережковского, Л. Н. Андреева и др.; он обратился со специальным рапортом Синоду 27 февраля 1911 г., однако не возымел успеха. Доклад еп. Гермогена о писателях опубликован в «Новом Времени» 30 ноября 1910 г.

«*Чтоб им Гекуба*» — У. Шекспир. Гамлет. II, 2. Гекуба в «Илиаде» Гомера — жена троянского царя Приама; ее муж и все сыновья погибли при осаде Трои. Гамлет после ухода актеров произносит эти слова, имея в виду, что судьба Гекубы не касается актера, игравшего сцену.

С. 541. «*Сердца сокрушенного Бог не унижит...*» — Пс 50, 19.

«*Что хожу — того не делаю, а того не хожу — то постоянно делаю*» — Рим 7, 19.

...св. Афанасий ~ «утвердил Символ веры»... — Афанасьевский Символ веры приписывался в католичестве Афанасию Великому (IV в.), но как формула вероисповедания был со временем поставлен под сомнение.

Арианская смута — еретическое течение в раннем христианстве, считавшее Иисуса тварью, созданной Богом, и потому стоящим ниже Бога. Названо по имени зачинателя — священника Ария из Александрии († 336).

О ВЕЩАХ БЕСКОНЕЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ

(По поводу несостоявшегося «отлучения от церкви» писателей)

(с. 542)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1910. 16 окт. № 238. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 365—369).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 543. «*душа есть интелехия тела*» — Аристотель. О душе. II, 1. 412а. 27.

С. 544. «*Государство, это — я*» — выражение приписывается французскому королю Людовику XIV, но исторически это не подтверждено.

С. 545. «*Болит ли кто из вас, да призовет пресвитера церковного*» — Иак 5, 14.

ЯЗЫЧЕСТВО И ХРИСТИАНСТВО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(К уходу Л. Н. Толстого)

(с. 546)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС в двух экземплярах — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 64а, 70. Во второй вырезке в начале статьи чернильная правка: 1) вместо «тяжело, невероятно» — «тяжело и невероятно»; 2) вместо «И вот это кончилось» — «И вот — „это“ кончилось».

Впервые напечатано: РС. 1910. 4 нояб. № 254. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 383—388).

Печатается по тексту первой публикации с учетом правки Розанова в вырезке.

С. 546. ...*друзю, с которым ездил в Ясную Поляну.* — т. е. жене Варваре Дмитриевне, с которой 6 марта 1903 г. был в Ясной Поляне.

С. 547. «Первая ступень» — Статья «Об обжорстве» задумана и напечатана как предисловие к книге о вегетарианстве английского литератора Г. Уильямса «Этика пищи, или Нравственные основы безубойного питания для человека» (М.: Посредник, 1893). Впервые напечатана в журнале «Вопросы Философии и Психологии» (1892. Кн. 13).

«Записки» — «Дневники (1860—1910)» С. А. Толстой были опубликованы в Москве в четырех томах в 1928—1936 гг.

С. 548. *Ава* — название священника или настоятеля монастыря (*сир.* и *халд.*).

С. 550. «Разрушение и восстановление ада» — Легенда Толстого «Разрушение ада и восстановление его» впервые опубликована в Англии в 1903 г. под названием «Восстановление ада». В России под тем же названием — в 1906 г.

ГДЕ ЖЕ «ПОКОЙ» ТОЛСТОМУ?

(с. 551)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 73.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 6 нояб. № 12448.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 393).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 551. ...*как «радовался» свиданиям с от. Матвеем Ржевским Гоголь...* — О губительных для Гоголя отношениях с Матвеем Ржевским Розанов рассказал в статье «Небесное и земное» (раздел V), вошедшей в книгу «Около церковных стен».

КОНЧИНА Л. Н. ТОЛСТОГО

(с. 551)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 75. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 8 нояб. № 12450. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 466—467).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 552. «единое на потребу» — Лк 10, 42 («Одно только нужно»). Название статьи Л. Н. Толстого (1905).

ТОЛСТОЙ В ЛИТЕРАТУРЕ

(с. 552)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 87.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 9 нояб. № 12451.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 467–469).
Печатается по тексту первой публикации.

С. 553–554. ...в «Воскресении» ~ пересмеял литургию. — речь идет о сцене богослужения в тюремной церкви (первая часть «Воскресения», гл. XXXIX и XL).

С. 554. ...как в слугае смерти хоронить Толстого ~ запрос в Синод — В «Новом Времени» 8 ноября 1910 г. сообщалось о мерах, принятых Синодом 7 ноября в связи с кончиной Толстого. Совещание в Синоде «не нашло возможным снять отлучение, наложенное на покойного 22 февраля 1901 года. Этим постановлением Л. Н. Толстой лишается церковного погребения и возношения на него молитв в храмах». Далее речь идет «о воспрещении духовенству отправлять панихиду и другие заупокойные богослужения о почившем Л. Н. Толстом».

Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ <1910 г.> (с. 555)

Сохранился незавершенный черновой автограф, посвященный кончине писателя — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 76–79. Среди текста возникает заглавие «Величайший мастер слова», и далее использован текст под таким же названием, вошедший в статью от 12 сентября 1907 г. «На закате дней. К 55-летию литературной деятельности Л. Н. Толстого» (Наст. изд. Т. 3. С. 594–601). В ряде мест этот раздел существенно переработан. Датируется по содержанию ноябрем 1910 г.

Печатается впервые по верхнему слою автографа.

См. коммент. к статье «На закате дней. К 55-летию литературной деятельности Л. Н. Толстого» (Там же. С. 830–831).

ПЕРЕД ГРОБОМ ТОЛСТОГО (с. 560)

Автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 80–81, с небольшой правкой и подписью: В. Варварин. Машинописная копия — Там же. Л. 82–85, с исправлениями неавторской рукой неверных прочтений автографа. Статья была подготовлена для газеты «Русское Слово», но в печати не появилась.

Впервые напечатано в Собр. соч. Розанова, т. 20 (с. 394–395).

Печатается по автографу.

С. 560. Как Троя своего Гектора, как Нибелунги своего Зигфрида... — речь идет об «Илиаде» Гомера (гл. 24, окончание поэмы) и о немецком героическом эпосе (XIII в.) «Песнь о нибелунгах» (авентюра XVII. О том, как Зигфрид был оплакан и погребен).

...предисловие к «Токологии» 2-жи Стокгэм... — Л. Н. Толстой. Предисловие к книге доктора медицины Алисы Б. Стокгэм «Токология, или Наука о рождении детей» (1890). Американская писательница Стокгэм приехала в Ясную Поляну в октябре 1889 г., и Толстой много беседовал с ней о религиозном движении в Америке.

...саратовским выкрикам. — Саратовский епископ Гермоген (Долганев) называл Толстого «великим ересиархом нашего времени». После смерти Толстого саратовская пресса писала, что попытка учеников Саратовской духовной семинарии послать сочувственную телеграмму вдове Толстого вызвала протесты церковных наставников, что привело к забастовке семинаристов.

С. 560. *...поехал в монастырь...* — имеется в виду Оптиная Пустынь, куда в последний раз Толстой прибыл 28 октября 1910 г.

С. 561. *Его слово разбойнику уже на кресте.* — «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк 23, 43).

...странника Митеньки... — В «Детстве и отрочестве» Толстого изображен странник Гриша, о котором говорится: «О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога». Митенька — это старший брат Толстого, о котором тоже говорится в «Детстве и отрочестве».

...нельзя быть русским и не быть православным. — мысль из «Бесов» Ф. М. Достоевского: «Не православный не может быть русским» (ПСС. Т. 10. С. 197).

РЕЧИ В «РЕЧИ»

(с. 561)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 10 нояб. № 12452. Подпись: *Panda*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 395—396).

Печатается по тексту первой публикации.

«*Речь*» — ежедневная политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге с февраля 1906 г. по октябрь 1917 г., центральный орган кадетской партии. Об отношении Розанова к этой газете см. в статье «*Речь*» в «*Розановской энциклопедии*» (с. 1963—1964).

С. 561. *...посылает своего сотрудника к некоему «сановнику» с запросом об отношении Толстого к церкви...* — Ошибки иерархов (Из бесед) // *Речь*. 1910. 9 нояб. № 306. Подпись: *Г—тэ*.

С. 562. *...Мережковский, напр., в том же № «Речи»...* — Мережковский Д. С. Смерть Толстого // *Речь*. 1910. 9 нояб.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И Н. Я. ГРОТ (Предсмертные мысли Л. Н. Толстого)

(с. 562)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка газеты *РС* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 71.

Впервые напечатано: *РС*. 1910. 14 нояб. № 263. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 399—407).

Печатается по тексту первой публикации.

Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — философ, брат К. Я. Грота, первый редактор журнала «Вопросы Философии и Психологии», в котором печатался Розанов в 1890—1892 гг. Об отношениях Розанова и Грота см. в статье А. В. Ломоносова в «*Розановской энциклопедии*» (с. 307—311).

С. 562—563. *Вышла книга о ~ Николае Яковлевиче Гроте.* — В ноябре 1910 г. вышел сборник «*Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей, учеников, друзей и почитателей*» (СПб., 1911).

С. 563. *...исследование позитивной философии Конта.* — Никанор (Бровковит), архиепископ Херсонский и Одесский. Позитивная философия и сверхчувственное бытие. СПб., 1875–1888. Т. 1–3.

«Записки из истории ученого монашества в России» — публикация в «Русском Обозрении» (1896. № 1–3): *Архиепископ Никанор.* Из истории ученого монашества шестидесятих годов / С предисл. свящ. С. Петровского.

«Русское правописание» — труд Я. К. Грота, установивший нормы русского правописания (СПб., 1885, 22 изд.: 1916).

С. 564. *Мировая скорбь* — пессимистическое умонастроение. Понятие введено немецким писателем Жан Полем в романе «Зелина, или Бессмертие души» (1810, опублик. 1827) для описания пессимизма Байрона.

С. 565. *...из имени «Когеты»...* — село называлось Кочаки. Кочаковский погост с семейным некрополем Толстых — историко-мемориальный комплекс, не отделимый от усадьбы Ясная Поляна.

Это — последние, предсмертные строки Толстого. — неточность; после 18 сентября 1910 г. Толстой написал еще более двадцати писем.

С. 567. «И вдунул (Бог) в человека дыхание жизни...» — Быт 2, 7.

«как лань в пустыне ищет истогника водного...» — Пс 41, 2.

...вышел из общества... — М. М. Троицкий вышел из Московского психологического общества в 1887 г.

С. 568. «Наука о духе» — Троицкий М. М. Наука о духе: Общие свойства и законы человеческого духа. М., 1882. Т. 1–2.

О совершенной «недоступности для тления» этой книги писал в «Руси» И. С. Аксаков... — 10 апреля 1882 г. в газете «Русь» (№ 5. С. 19–20) в разделе «Критика и библиография» появилась анонимная заметка, начинающаяся словами: «Признаться откровенно, у рецензента отнимается дух сказать что-либо определенное о предлагаемой „Науке о духе“». Окончание заметки столь же однозначно: «Автор не удостоил своих читателей (их, вероятно, будет очень мало) ни единой строкой предисловия, в коем объяснил бы происхождение и смысл своего пестрого параграфами труда». Розанов в статье «Заметки о важнейших течениях русской философской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии» (ВФП. 1890. Кн. 3. С. 15) писал, что труд «Наука о духе» Троицкого «едва ли даже был и прочитан».

С. 569. «Курс физики» Гано — Гано А. Полный курс физики / Пер. с фр. Ф. Павленкова и В. Черкасова. СПб., 1898 (1-е изд. — 1866).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ

(Ответ К. И. Чуковскому и П. Б. Струве)

(с. 570)

Автограф неизвестен.

Сохранились правленые гранки трех частей статьи для разных номеров в *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. пр. 140. Л. 104а–112 (см. *Варианты*); третья часть гранок без подзаголовка; синим карандашом исправлены опечатки реплик по-немецки; на полях позднейшая деловая запись черными чернилами: «Вся полемика со Струве, Пешехон<овым> и Чуковским полнее, чем было напечатано (выпустил М. А. С<увори>н). В. Розанов».

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 25, 28 нояб., 9 дек. № 12467, 12470, 12481.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 412–423).

Печатается по тексту первой публикации.

Статья Розанова является ответом на «Открытое письмо В. В. Розанову» (Речь. 1910. 24 окт.) К. И. Чуковского и на статью П. Б. Струве «Большой писатель с органическим пороком. Несколько слов о В. В. Розанове» (РМ. 1910. № 11. Отд. II. С. 138–146). Об отношениях Розанова и Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) см. в статье С. Б. Джимбинова в «Розановской энциклопедии» (с. 1157–1159). Об отношениях Розанова и Петра Бернгардовича Струве (1870–1844) см. в статье А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 958–962).

Настоящая статья Розанова является программной для понимания логики его художественного мышления и ответом на бесконечные обвинения критики в непоследовательности и противоречивости его суждений.

С. 571. *И я люблю — люблю мечты моей создание* — ср.: М. Ю. Лермонтов. «Как часто пестрою толпою окружен...» (1840).

...столпообразные руины — см. коммент. к с. 521.

С. 572. *Буриданов осел* — Выражение приписывается французскому философу XIV в. Жану Буридану (осел между двумя равными охапками сена). Сходная мысль имеется у Аристотеля: в трактате о «О небе» он говорит о человеке, находящемся на равном расстоянии от пищи и питья и остающемся в нерешительности.

Хотя я раз только был на митинге... — 12 октября 1905 г. Розанов написал статью «На митинге» о том, как он со своим племянником Володей Розановым ходил на митинг в Медицинской академии (НВ. 1905. 25 окт., 2 нояб.; вошло в книгу Розанова «Когда начальство ушло...»).

...«городов московских» в 1610–1611 году. — речь идет о земском освободительном движении в Смутное время, когда города поднимались на борьбу с поляками.

С. 573. *«старый король в Фуле»* — И. В. Гёте. Фауст. Сц. 8.

«песня Гретхен» — аллюзия на «Фауста» Гёте и оперу Ш. Гуно «Фауст» (1859; первая постановка в России в 1869), на тексты которой неоднократно ссылался Розанов.

Таков, Фелица, я развратен — Г. Р. Державин. Фелица (1782).

Скука, холод и гранит — А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный...» (1828).

...картинка, когда-то намазанная для меня А. М. Ремизовым — В конце книги Розанова «Когда начальство ушло...» (глава «Что же случилось?») имеется рисунок (полет на помеле ведьмы и чорта), переделанный с оригинала А. М. Ремизова.

С. 574. Эпиграфы к разделу II взяты из указанной выше статьи Струве «Большой писатель с органическим пороком».

С. 575. *«История России» Шишко* — Шишко Л. Э. Популярная история России. СПб., 1906. Ч. 1–2.

«Добрые люди на Руси» — Ключевский В. О. Добрые люди в древней Руси. М., 1892.

С. 576. *...как «урезывали язык» Артемию Волинскому...* — 19 июня 1740 г. генеральное собрание постановило государственного деятеля А. П. Волинского за заговор против императрицы Анны Ивановны посадить на кол, вырезав у него предварительно язык. 27 июня по повелению императрицы он был обезглавлен. По возвращении из ссылки его дети поставили памятник на месте казни отца.

«вещи текут» — «всё течет» (Гераклит. О природе. VI–V вв. до н. э.).

...на гоголевском празднике в Москве... — 27 апреля 1909 г. В. Я. Брюсов выступил в Обществе любителей российской словесности на Гоголевском юбилейном чествовании с речью «Испепеленный. К характеристике Гоголя» (Весы. 1909. № 4), вызвавшей большие споры. Продолжая мысли, выдвинутые Розановым в «Легенде о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», Брюсов рассматривал Гоголя как фантаста, изображавшего не действительность, а свои мечты.

С. 578. ...*Струве ~ своею шумихою с марксизмом ~ бежавший по Аптекарскому острову.* — 12 августа 1906 г. произошло покушение на жизнь председателя Совета министров П. А. Столыпина посредством бомбы, брошенной на его даче на Аптекарском острове в Петербурге (погибло 30 человек). П. Б. Струве в начале 1900-х гг. порвал с марксизмом и перешел на позиции либерализма. 2 июня 1907 г. в составе группы депутатов Думы встречался с П. А. Столыпиным.

...*штутгартский филистер...* — П. Б. Струве эмигрировал в Германию и в 1902—1905 гг. издавал в Штутгарте журнал «Освобождение» (вышло 79 номеров).

...*«Россия» Гурлянда...* — С 1907 г. И. Я. Гурлянд стал редактором правительственной газеты «Россия» (1905—1914).

«*Страна*» — газета правых кадетов, издававшаяся в Петербурге в 1906—1907 гг. 1 марта — имеется в виду убийство Александра II 1 марта 1881 г.

С. 580. «*Мир Искусства*» — журнал выходил в Петербурге в 1899—1904 гг., и Розанов печатался в нем на протяжении всех лет, опубликовав около 30 статей и заметок.

...*«плаги и рыдая»...* — ср.: Лк 8, 52; 23, 27.

«*Русский Вестник*» — журнал выходил с 1856 по 1887 г. и с 1896 по 1901 г. в Москве, с 1887 по 1896 г. и с 1902 по 1906 г. в Петербурге. Розанов печатался в журнале с 1889 по 1903 г.

...*я предложил Н. К. Михайловскому сотрудничество в «Русск. Богатстве»...* — В автобиографии 1909 г. Розанов писал: «Я попросил у Михайловского участия в „Русск. Богатстве“. Я бы им написал действительно отличные статьи о бюрократии и пролетариях (сам пролетарий — я их всегда любил). Михайловский отказал, сославшись: „Читатели бы очень удивились, увидав меня вместе с Вами в журнале“. Мне же этого ничего не приходило в голову».

...*костромскую «Космы и Дамиана»...* — Богородская церковь (Козьмодемьянская в Кузнецках) построена в Костроме в первой половине XVIII в., разрушена в 1938 г.

...*говорил об египетской религии ~ ряд статей...* — речь идет о серии статей Розанова под общим заглавием «О древнеегипетской красоте», печатавшихся в художественной хронике журнала «Мир Искусства» с мая по август 1899 г. (№ 10—17), которые вошли в его книгу «Во дворе язычников».

С. 581. «*Ты облетел вселенную*», — *говорит Бог Сатане...* — ср.: Иов 1, 7.

Луксорский храм — архитектурное творение древнеегипетской цивилизации на правом берегу Нила (XIV в. до н. э.).

«*ползающему на грее*» — Лев 11, 42.

УСЕРДСТВУЮЩИЙ МИТРОФАН

(с. 581)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1910. 2 дек. № 278. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 424—425).

Печатается по тексту первой публикации.

Нарицательное имя Митрофан в заглавии статьи (из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», 1783) призвано обозначить придурковатость господина с «благочестивой бо-родой», о котором идет речь. Для Розанова это могло ассоциироваться со стихом Лермонтова из «Тамбовской казначейши», 45):

Вот, в полуфрачке, раздушенный,
Времен новейших Митрофан:
Нетесаный, недоученный,
А уж безнравственный болван.

С. 581. ...он вошел куда-то с «ходатайством о пресегении»... — речь идет о неоднократных публичных выступлениях саратовского епископа Гермогена (см. выше статью Розанова «Избегнутая ошибка» // *НВ*. 1910. 13 окт.; наст. том. С. 540–541) о том, что Л. Андреев, М. Протопопов, В. Розанов и им подобные «являются по духу и направлению сущими язычниками» и их следует отлучить от церкви.

...*Григория Распутина, устраивавшего в банях радения...* — Об этом сохранились воспоминания Н. А. Тэффи, которую Розанов уговорил поехать вместе с ним и А. А. Измайловым на встречу с Распутиным, пригласившим их на хлыстовские раденья (*Тэффи Н. А. Житье-бытье: Рассказы. Воспоминания. М., 1991. С. 426, 437*).

С. 582. ...«своя своих не познаша»... — Ин 1, 11.

«*Волгарь*» — ежедневная газета в Нижнем Новгороде, издававшаяся с 1890 по январь 1918 г.

ЖИЗНЬ И СЧАСТЬЕ

(с. 582)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 160, с авторской правкой (см. *Варианты*) и подписью: *В. Розанов*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 14 дек. № 12486. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 428–429).

Печатается по тексту первой публикации с учетом авторской правки.

С. 582. ...«О ценности жизни» ~ лекцию в пользу 10-го попечительства о бедных... — Попечительство о бедных было создано в Петербурге Министерством внутренних дел в 1877 г. для оказания помощи нуждающемуся населению. Прекратило свое существование с приходом к власти большевиков. Лекция доктора философии Владимира О. Баранова «О ценности жизни и основные начала миропонимания» была издана в Петербурге издательством «Посев» в 1911 г. (ранее в тип. А. Суворина в 1884 г. под названием «Жизнь и счастье»). Он также автор книги «Основные начала общественного устройства» (СПб., 1912).

ТОЛСТОЙ И КРАПИВЕНСКИЕ АБОРИГЕНЫ

(с. 583)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи в *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 74.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 17 дек. № 12489.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 432–436).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 583. *Крапивна* — городок Тульской губернии, где часто бывал Толстой.

...*воспоминания ~ С. Глаголева о Толстом.* — *Глаголев С. С. О графе Льве Николаевиче Толстом* // *Богословский Вестник*. 1910. Т. 3. Ноябрь. 2-я паг. С. 558–578.

С. 584. ...*рассуждений Руссо о вреде культуры...* — Ж. Ж. Руссо. Рассуждение о том, способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов (1750). Руссо был для Толстого «главным философским руководителем» его мыслей. В 15 лет он прочел все 20 томов его сочинений и носил на шее медальон с его портретом.

С. 584. *...подверг критике катехизис Филарета, разобрал догматическое богословие Макария...* — см.: Л. Н. Толстой. Исследование догматического богословия (1879–1880) в 23 томе ПСС (Юбилейное) Толстого (М., 1957).

С. 585. *Даже Вольтер дальше этой мысли не пошел: «не надо богословов и богословия»...* — Вольтер. Послание к автору новой книги о трех обманщиках (1769): «Бог вовсе не должен страдать из-за тупости своего священника».

...о новом труде Мечникова... — В 1901 г. И. И. Мечников напечатал в Париже свой труд «Невосприимчивость в инфекционных болезнях» (по-фр.; рус. пер.: СПб., 1903), в котором приложил теорию фагоцитов к учению о невосприимчивости к заразным болезням.

...в его споре с Бутлеровым... — см.: Страхов Н. Н. О вечных истинах: Мой спор о спиритизме. СПб., 1887.

«Об основных понятиях физиологии и психологии» — книга Н. Н. Стрехова издана в Петербурге в 1886 г. (2-е изд.: 1894).

...издание (2-е) моей книги «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». — Розанов считает первым изданием журнальную публикацию (РВ. 1891. № 1–4). На самом деле это было первое книжное издание, которое вышло в мае 1894 г.

С. 586. *«Давайте только любить ближнего»...* — В 1909 г. Толстой в московском издательстве «Посредник» напечатал статью «Любите друг друга (Обращение к кружку молодежи)».

ЗАБЫТОЕ ВОЗЛЕ ТОЛСТОГО...

(с. 586)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 86.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 19 дек. № 12491.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 470–473).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 586. *«не сотвори себе кумира»* — Исх 20, 4.

С. 587. *«Отрывок неоконченной повести»* — неоконченная повесть М. Ю. Лермонтова «Штосс» датируется февралем–апрелем 1841 г.

Из-под таинственной холодной полумаски... — начальные слова неозаглавленного стихотворения М. Ю. Лермонтова (1841).

С. 588. *«Размышления о московской переписке»* — 23–25 января 1882 г. в Москве проводилась перепись населения. Толстой попросил у руководителя переписи экономиста И. И. Янжула, чтобы ему дали участок с беднейшим населением. Накануне переписи писатель выступил со статьей «О переписи в Москве» (Современные Известия. 1882. 20 янв.).

«Что я видел в Ржановском доме» — об этом Л. Толстой писал в IV разделе статьи «Так что же нам делать» (1885), запрещенной цензурой.

С. 589. *«Дней Александровых прекрасное начало»* — А. С. Пушкин. Послание цензору (1822).

Д. ШЕСТАКОВ. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГРЕЧЕСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗАНИЙ О СВЯТЫХ

(с. 590)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 165.

Впервые напечатано: *НВ*. 1910. 29 дек. № 12499.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 20 (с. 446–447).

Печатается по тексту первой публикации.

О Дмитрие Петровиче *Шестакове* (1859–1937) см. комментарий к рецензии Розанова на его «Стихотворения» (*НВип*. 1899. 15 дек.; Наст. изд. Т. 1. С. 972–973) и статью М. Ю. Эдельштейна в «Розановской энциклопедии» (с. 1177–1179).

С. 590. *В житии святого Иоанна Милостивого...* — Житие патриарха Иоанна V Милостивого написано в середине VII в. его современником епископом неаполитанским Леонтием.

...«как вы да я» — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 8.

...исследование А. И. Алмазова... — полное название книги А. И. Алмазова: «Святые — покровители сельскохозяйственных занятий (Из истории относящихся к ним греческих последований)» (Одесса, 1904).

«моряцкие» — Возражение Розанова против употребления этого слова (вместо «морской») связано с тем, что слово только начинало тогда входить в разговорный оборот. В Словаре русского языка (Ожегова) зафиксировано в 1952 г.

Русский археологический институт в Константинополе — был открыт в феврале 1895 г., его первым и единственным директором стал византолог Ф. И. Успенский.

А. П. ЧЕХОВ

(с. 591)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано в: Юбилейный чеховский сборник. М.: Заря, 1910. С. 115–132.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 473–482).

Печатается по тексту первой публикации.

См. статью А. А. Медведева об Антоне Павловиче *Чехове* (1860–1904) в «Розановской энциклопедии» (с. 1148–1156).

С. 591. *Извержение на Мартинике...* — извержение вулкана Монтань-Пеле на острове Мартиника 8 мая 1902 г.

С. 592. *...два года служилась выжить в городе Белом...* — В городе Белый Розанов преподавал в прогимназии с сентября 1891 г. до марта 1893 г.

С. 593. *Антон Павлович раз приехал в Рим.* — Чехов был в Риме в феврале 1901 г.

С. 594. *...нежели сто Колизеев...* — ср. у Н. А. Некрасова: «По Колизею две ночи бродил» («Железная дорога», 1854).

С. 595. «*Бобы*» — рассказ Чехова впервые напечатан в «Новом Времени» 25 июня 1891 г. и вошел в сборник «Палата № 6» (СПб., 1893).

дело Дрейфуса — судебное дело 1894 г. по обвинению еврея, офицера французского генштаба А. Дрейфуса в шпионаже в пользу Германии. Суд приговорил его к пожизненной каторге, но в 1899 г. Дрейфус был помилован, а в 1906 г. реабилитирован.

У нас «какая-то леди Макбет»... — имеется в виду повесть Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» (1865).

...кусочек брокаровского мыла. — Французский парфюмер Генрих Брокер в 1860-е гг. организовал в Москве производство «народного мыла», кусок которого стоил одну копейку, что вызвало большой спрос среди самого многочисленного сословия — крестьянства, которое до того мылось щелоком из печной золы.

С. 595. «Око за око»... — Лев 24, 20.

Шлиссельбург — крепость на берегу Ладожского озера, взята русскими войсками в 1702 г.; стала в XVIII — начале XX в. политической тюрьмой.

С. 596. *Притга о блудном сыне* — Лк 15, 18–24.

И Мессина тряслась... — о землетрясении в Мессине см. коммент. к с. 223.

«Повалилась башня и завалила многих ~ Грешных ли одних?..» — Лк 13, 4: «Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?».

«Днесь будешь со мною в раю» — Лк 23, 43.

С. 597. *Когда Чехов написал «Мужиков», то произвел переполох*... — Повесть Чехова «Мужики» была напечатана в «Русской Мысли» (1897. № 4) и вызвала наряду с положительными статьями В. П. Буренина, И. Н. Потапенко, И. И. Ясинского, М. О. Меньшикова, П. Б. Струве, А. И. Богдановича ряд весьма критических суждений. Тон задал Н. К. Михайловский (Русское Богатство. 1897. № 6), увидев в повести много случайного и неправдоподобного. С народнических позиций критиковал повесть известный столичный критик М. А. Протопопов (Одесские Новости. 1897. 16 окт.). П. Ф. Якубович (Л. Мельшин) «пессимизму» Чехова противопоставил «веру в народ» Гл. Успенского (Русское Богатство. 1898. № 8; под псевд. П. Ф. Гриневич). Злобным тоном выделялись статьи К. П. Медведского в «Московских Ведомостях» (1897. 4 сент. и 11 дек.). Н. Ладожский (В. К. Петерсен) в статье «Ужасные мужики» (СПб. Ведомости. 1897. 29 апр.) писал: «Сомнительно, чтобы Чехов любил людей и всего более людей русских» и противопоставлял «Мужикам» «Власть тьмы» Толстого. Позднее в спор включился Д. Н. Овсяннико-Куликовский, отводивший от Чехова упреки Михайловского в сгущении красок (Журнал для Всех. 1899. № 2). Итог полемики попытался подвести А. М. Скабичевский в том же журнале «Русская Мысль» (1899. № 4–5), где за два года до того была напечатана повесть Чехова.

«Блаженны ищущие и алчущие правды»... — Мф 5, 6.

ПРИШВИН

(с. 599)

Сохранилась неоконченная рукопись черными чернилами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 30. Надпись: *Афоризмы*.

Печатается впервые по тексту рукописи.

Об отношениях Михаила Михайловича *Пришвина* (1873–1954) и Розанова, исключившего его в 1889 г. из 4-го класса гимназии, см в статье В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 737–742).

С. 599. «*К познанию России*» — книга Д. И. Менделеева вышла в Петербурге в 1907 г.

...*в Тюмени кончил курс ~ угился в Берлине*... — С осени 1889 г. Пришвин учился в реальном училище в Тюмени, живя у дяди, крупного промышленника. После окончания срока высылки и не имея права учиться в России, в 1900 г. поступил в Лейпцигский университет, посещал лекции в Берлине и Йене.

«*Край непуганой птицы*», «*За волшебным колобком*» — ранние книги М. М. Пришвина «В краю непуганых птиц: Очерки Выговского края» (СПб., 1907) и «За волшебным колобком: Из записок на крайнем севере России и Норвегии» (СПб., 1908).

ОТЛУЧЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ

(с. 600)

Чистовой автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 112—113.

Сохранилась машинопись с мелкой авторской правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 108—111.

Печатается впервые по тексту машинописи.

Розанов уже неоднократно писал о той же теме предполагаемого отлучения писателей от церкви: см. его статьи «Избегнутая ошибка» (НВ. 1910. 13 окт.; наст. том. С. 540—541), «О вещах бесконечных и конечных (По поводу несостоявшегося „отлучения от церкви“ писателей)» (РС. 1910. 16 окт.; наст. том. С. 542—545).

С. 600. *...кроме издателя Вольфа...* — книги А. П. Каменского в издательстве «Товарищество М. О. Вольфа», существовавшем с 1882 по 1918 г., не издавались.

С. 601. *«Сердца сокрушенного Бог не унигижит»...* — Пс 33, 19 («Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет»).

Арианская смута — см. коммент. к с. 541. На Никейском соборе (325 г.) арианство было осуждено, однако в 337 г. император Константин поддержал ариан. Вновь осуждено на Константинопольском соборе (381 г.). Афанасий Великий, епископ Александрии с 328 г., был активным противником арианства.

Люблю грозу в начале мая — Ф. И. Тютчев. Весенняя гроза (1828).

<ВОЗРАЖЕНИЕ А. Г. ГОРНФЕЛЬДУ О Н. В. ГОГОЛЕ>

(с. 602)

Черновой автограф — РГБ. Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 31. Л. 1—2. Неоконченный.

Печатается впервые.

С. 602. *...статью г. Горнфельд...* — В своей статье «Заметка о реализме» (Русское Богатство. 1910. № 12. С. 160—168) А. Г. Горнфельд выступил против статей Розанова в «Новом Времени» о Гоголе, гениальность которого Розанов видел не в реализме, а в художественном мастерстве.

...недавнюю статью П. П. Перцова... — Статья П. П. Перцова о постановке в Художественном театре «Братьев Карамазовых» появилась в «Новом Времени» 6 декабря 1910 г.

С. 603. *Так царства дивного весельный господин* — М. Ю. Лермонтов. «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840).

1911

НЕ ВЕРЬТЕ БЕЛЛЕТРИСТАМ...

(с. 605)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 39.

Впервые напечатано: НВ. 1911. 5 янв. № 12506. Заглавие: Не верьте беллетристам...

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 483—487).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 605. *...рассказ г. Олигера...* — Олигер Н. Осенняя песня // Земля. М., 1909. Сб. 3.

С. 606. *...в новогоднем обозрении русской литературы за 1910 г. ...* — Чуковский К. Русская литература // Речь. 1911. 1 янв. Розанов далее вольно пересказывает статью Чуковского.

...академик-беллетрист написал целый том о крестьянах... — имеется в виду книга И. А. Бунина «Деревня» (М., 1910).

...Горький — о мещанах... — В 1910 г. в Берлине вышли две книги М. Горького о провинциальных мещанах России — «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина».

...гр. Алексей Н. Толстой — о дворянах... — повесть А. Н. Толстого «Заволжье» (Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1910. Кн. 12).

«Проклятый род» — В начале 1911 г. появилась первая часть романа И. С. Рукавишников «Проклятый род» под названием «Семья железного старика».

Довольно! не жди, не надейся... — А. Белый. Отчаянье (1908).

С. 606—607. *...завоевать «соседнему умному народу»...* — слова Смердякова в «Братьях Карамазовых» Достоевского (5, 2): «Умная нация покорила бы весьма глупую-с».

С. 607. *С кого они портреты пишут?* — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840).

...«в надежде правды и добра»... — А. С. Пушкин. Стансы (1826): «В надежде славы и добра».

Эпархиалки — учащиеся в епархиальных училищах, средних женских учебных заведениях, созданных в России по уставу 1843 г. главным образом для дочерей священников.

...дружно гребите во имя прекрасного против течения... — А. К. Толстой. Против течения (1867); цитируется неточно.

С. 608. «Театральный клуб» ~ дворец князей Юсуповых — Дворец Юсуповых в Петербурге (Литейный, д. 42) был построен в 1852—1858 гг. для Зинаиды Ивановны Юсуповой. В 1908 г. здание было отдано в аренду Театральному клубу драматических и музыкальных писателей, при котором был создан театр «Кривое зеркало» (1908—1931), где в 1909 г. был поставлен спектакль «Вампука», высмеивающий оперные штампы.

...писательница, когда-то деятельный сотрудник «Реги»... — речь идет о Н. А. Тэффи, с которой был хорошо знаком Розанов (она сопровождала его к Распутину). В первые годы существования газеты «Речь» Тэффи публиковала в ней воскресные литературные фельетоны.

Есть упоение в бою... — А. С. Пушкин. Пир во время чумы (1830).

С. 609. *Помните игру Долохова и Пьера в «Войне и мире»?* — очевидно, имеется в виду игра Долохова с Николаем Ростовым, проигравшим 43 тыс. рублей (Т. 2. Ч. 1. Гл. XIII—XIV).

К 40-ЛЕТИЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И. И. ЯСИНСКОГО

(с. 609)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 51—52.

В конце подпись чернилами: «В. Розанов».

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 6 янв. № 12507. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 17—18).

Печатается по тексту первой публикации.

Об Иерониме Иеронимовиче Ясинском (1850—1931) см. статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 1211—1212).

С. 609. ...в редактируемых им газетах и журналах. — И. И. Ясинский был редактором газеты «Биржевые Ведомости» (1898—1902) и литературного приложения к ней «Новое Слово» (1908—1914), куда пригласил Розанова, печатавшегося там в 1909—1911 гг. Ясинский редактировал также журналы «Ежемесячные Сочинения» (1900—1903), «Почтальон» (1903—1909), «Беседа» (1903—1907).

...до сих пор гитаются с удовольствием... — «Киевские рассказы» (1885), «Бунт Ивана Ивановича. Вскоды» (1886), «Трагики» (1889), «Старый друг» (1891), «Петербургские туманы» (1893), «Ординарный профессор» (1897).

«Этика обыденной жизни» — книга Ясинского издана в Петербурге в 1899 г.

УБОГОНЬКИЕ В ИСТОРИИ

(с. 610)

Сохранились: 1) белой автограф — РГБ. Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 7. Л. 1—5 (см *Варианты*); 2) корректура (гранки) — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 144; с подписью: В. Розанов; включена в сверстаный газетный лист вместе со статьями других авторов, с обозначением выходных данных на логотипе верхней полосы — «Новое Время. 9-го (22-го) января 1911 г. — № 12510»; в тексте отмечено карандашом несколько явных опечаток; на полях — рекомендация М. А. Суворина от редакции: «Если б Вас. Вас. хорошенько прочел корректуру своей статьи, то она много бы выиграла. Нельзя бросать в публику нечто такое, где трудно добиться смысла благодаря опечаткам и поспешности. Думаю, что нет никакой надобности гнать свой мозг с такой быстротой. М<ихаил>». На обороте подпись: «К. К. М <...>»; 3) правленные гранки — Там же. Л. 130, 141—143; на нижней полосе редакторская запись: «На вторник исправленное. М<ихаил>».

Датируется по времени первоначально предполагавшейся публикации (см. выше). При жизни автора статья не печаталась.

В библиографии С. А. Цветкова приведено пояснение Розанова: «Сам взял назад» (РГБ. Ф. 249. К. 11. Ед. хр. 11).

Впервые напечатано в Собр. соч. Розанова, т. 21 (с. 353—357).

Печатается по беловому автографу.

С. 610. Когда бы все так гувствовали силу... — А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери (здесь и далее).

...в только что вышедшей январской книжке «Русск. Мысли»... — Статья Розанова написана в январе 1911 г. в ответ на статью П. Б. Струве «Жестокая поговорка и извращенная психология» (РМ. 1911. № 1. С. 184—186).

С. 612. Сладко, еще перегту... — А. А. Дельвиг. Удел поэта (1829).

...«яко бос, яко наг»... — Ис 20, 2 («ходя наг и бос»).

«На разные темы»... — Струве П. Б. На разные темы (1893—1901): Сборник статей. СПб., 1902.

С. 613. Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз — М. Ю. Лермонтов. Дума (1838).

...«Нет, я не подл, — я только широк». — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. 1. Кн. 3. § III. Исповедь горячего сердца. В стихах («Пусть я проклят, пусть я низок и подл... Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил») (ПСС. Л., 1976. Т. 14. С. 100).

Струве ~ в споре с Жаботинским... — дискуссия о «национальном лице» (П. Струве) русского народа и еврейском народе (Вл. Жаботинский) в 1909 г. в газете «Слово».

«Нагало» — научный и литературно-политический журнал, выходил в Петербурге в 1899 г. под редакцией П. Б. Струве и был закрыт после третьего номера.

С. 614. ...мысль в уединении — одна из первых записей, предвосхищающих работу в следующем году над книгой «Уединенное».

С. 614. *...расплюевская природа* — от Расплюева, героя комедии А. В. Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1852—1854).

Таков, Фелица, я развратен — Г. Р. Державин. Фелица (1783).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕРРОР

(с. 614)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 195. Л. 1.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 12 янв. № 12513.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 18—21).

Печатается по тексту первой публикации.

Статья направлена против П. Б. Струве, выступившего со статьей «Большой писатель с органическим пороком: Несколько слов о В. В. Розанове» (*РМ*. 1910. № 11). Среди эпиграфов использованы строчки из статьи Струве «На разные темы» (*РМ*. 1911. № 1) и из статьи А. В. Пешехонова «Бесстыжее светило, или Изобличенный двурушник» (*Русские Ведомости*. 1910. 2 дек.).

С. 615. *Как пел Минский, присоединившийся на тот день к Горькому и к какому-то «Богданову» ~ «Кто не с нами — против нас...»* — неточная цитата из стихотворения Н. М. Минского «Гимн рабочих» (1905), опубликованного в социал-демократической «Новой Жизни» (1905. 13 нояб.), которую редактировал Минский и где печатались М. Горький и А. Богданов.

...он сам «упал» куда-то вон из России... — После закрытия газеты Минский эмигрировал и пробыл за границей до 1913 г.

«*Утро России*» — ежедневная московская газета, выходившая в 1907, 1909—1917 гг.

С. 616. «*Наше Время*» — еженедельный журнал, выходил в Петербурге в 1901—1917 гг. Очевидно, речь идет о 1905 г., когда Минский редактировал большевистскую газету «Новая Жизнь».

Торгово-промышленная партия — основана в Москве в ноябре 1905 г. крупной промышленной и финансовой буржуазией. Речь идет о П. Б. Струве.

«*Душеньки*» *завелись в литературе...* — имеется в виду героиня рассказа А. П. Чехова «Душенька» (1898).

...седовласому «Вестнику Европы»... — имеется в виду редактор «Вестника Европы» в 1909—1912 г. К. К. Арсеньев.

«*Азеф, и одной рукой душу то самое, что другою глажу по голове*»; *кто я «отец идейного хулиганства в России...»* — В обзоре русской литературы за 1910 г. К. И. Чуковский писал о Розанове: «Одною рукою душит, а другою гладит по голове... словом, придал своему (азефовскому?) нигилизму даже поэзию и красоту, да сбудется реченное некогда Н. М. Минским, что Розанов «должен быть признан отцом идейного хулиганства» (Чуковский К. Собр. соч.: В 15 т. М., 2003. Т. 7. С. 509).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«Струве и Пешехонов»

(с. 618)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 15 янв. № 12516.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 21–23).
Печатается по тексту первой публикации.

С. 618. ...*Струве письмом в редакцию газеты «Речь»...* — Протест П. Б. Струве против «сочиненных» Розановым фраз-эпиграфов напечатан в разделе «Письма в редакцию» в газете «Речь» 13 ноября 1911 г. (№ 12. С. 5). Источники эпиграфов указаны в комментариях к статье Розанова «Литературный террор».

...в ~ *журналах «Полярная звезда» и «Русская Мысль» помещал мои статьи...* — В журнале «Полярная Звезда» напечатана статья Розанова «Русская церковь» (1906. № 8. 3 февр. С. 524–540; отд. изд.: СПб., 1909). В журнале «Русская Мысль» Розанов опубликовал статьи: «Наброски» (1907. № 8; вошла в его книгу «Среди художников» под названием «Ибсен и Пушкин — „Анджело“ и „Бранд“»), «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» (1908. № 1; вошла в его книгу «В темных религиозных лучах»), «О христианском аскетизме» (1908. № 5).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТИПЫ

(с. 619)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип.* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 40.

Впервые напечатано: *НВип.* 1911. 15 янв. № 12516. С. 5.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 23–24).

Печатается по тексту первой публикации.

ЛУЧШАЯ КНИГА ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ

(К воспоминаниям о М. М. Стасюлевиче)

(с. 620)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 31–33. См. *Варианты.*

Впервые напечатано: *НВ.* 1911. 30 янв. № 12531.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 25–28).

Печатается по тексту первой публикации.

Редактору журнала «Вестник Европы» Михаилу Матвеевичу *Стасюлевичу* (1826–1911) посвящена статья Розанова «43 года „корректности“» (*НВ.* 1908. 5 окт.; наст. том. С. 176–178). Об отношении Розанова к Стасюлевичу см. статью о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 932–933).

С. 620. ...«или хорошо, или ничего» — Выражение восходит к сочинению Диогена Лазертского «Жизнь, учение и мнения прославленных философов» (1, 3, 70), в котором приведено схожее изречение одного из «семи мудрецов» — Хилона (VI в. до н. э.). Ср. слова Вольтера из «Письма об „Эдипе“» (1719): «О живых следует говорить уважительно, о мертвых — только правду».

С. 621. «*Природа боится пустоты*» — выражение Аристотеля (Физика. 4, 9, 216b), ставшее популярным благодаря роману Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533), где приводится в ч. 1, гл. 5.

С. 621. *...когда преподавал историю покойному Николаю Александровичу...* — Стасюлевич преподавал всеобщую историю великому князю Николаю Александровичу с февраля 1860 г. по июнь 1862 г.

С. 622. *...из учителей Ларинской гимназии...* — Стасюлевич преподавал в Ларинской гимназии (открыта в 1836 г. на 6-й линии Васильевского острова в Петербурге) с 1849 по 1853 г., а 7 мая 1852 г. был утвержден в звании доцента С.-Петербургского университета по кафедре всеобщей истории.

«Хрестоматия по истории средних веков, памятниках современных ~ и в освещении новых угеных» — имеется в виду «История средних веков в ее писателях и исследователях» (СПб., 1862—1865. Т. 1—3).

Вестминстерское аббатство — королевская церковь в Лондоне, построена в XI—XIII вв., место коронации британских монархов и усыпальница знаменитых людей Англии (И. Ньютон, Дж. Г. Байрон, Ч. Дарвин, Ч. Диккенс и др.).

С. 623. *Кёльнский собор* — готический собор в г. Кёльн на берегах Рейна, строился с XIII по XIX в.

...циркуляры, изложенные изящным языком здания у Чернышева моста. — У Чернышева моста (через Фонтанку) находилось Министерство народного просвещения.

...«в огонь везный и неугасимый»... — Мф 3, 12.

С. 624. *...незабвенную книгу Барсукова* — речь идет о труде Н. П. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина» (СПб., 1888—1910. Кн. 1—22), о которой Розанов не раз высоко отзывался.

«Сейте разумное, доброе, везное» — Н. А. Некрасов. Сеятелям (1876).

«ЦВЕТΟΣЛОВЫ» И РИТОРЫ

(с. 624)

Сохранился автограф — РГБ. Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 11. Л. 1 — 3.

Впервые напечатано: Записки Отдела рукописей РГБ. М.: Пашков дом, 2008. Вып. 53.

С. 463—466. Публикация А. В. Ломоносова.

В Собр. соч Розанова не включалось.

Печатается по автографу.

Статья, написанная Розановым для «Нового Времени», была отклонена редакцией газеты. Корректуру Розанов отправил А. А. Измайлову для публикации в другом издании, сделав помету наверху: «Не прошла в „Н. Вр.“; говорят, Тург. всю жизнь писал „стих“ в пр. Жму руку. В. Роз.» (ИРЛИ. Ф. 115 (А. А. Измайлов). Оп. 5. Ед. хр. 61).

С. 624. *...А. А. Измайлов останавливается в «Русск. Слове»...* — имеется в виду статья А. А. Измайлова в «Русском Слове» (1911. 2 февр.) о рассказе М. Горького «Жалобы» (Современник. 1911. № 1) и о «Рассказе змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы» Л. Андреева (Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1911. Кн. 14). О последнем Измайлов писал: «Трагично, когда писатель редкого одарения оказывается в плену у этой цветословной риторики».

...Гусев-Оренбургский ~ разугулись писать простым и спокойным языком... — имеется в виду апокалипсический тон некоторых произведений (повесть «Страна отцов», 1904) прозаика С. И. Гусева-Оренбургского, сблизившегося в 1900-е гг. с М. Горьким.

С. 625. *Что в мире не было еще пегальней этой Истории...* — концовка трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1595) в переводе А. Л. Соколовского.

...заставили «извиняться» перед собою студенты... — Об этой истории Розанов подробнее писал в статьях «И. С. Тургенев в 1879 г. в Москве» (наст. том. С. 148—152) и «Таин-

ственные соотношения» (Розанов В. В. Собр. соч. Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 347).

С. 625. ...их нельзя гитать местами без слез и местами без содрогания. — Отзывы критики на «Стихотворения в прозе» (Senilia) бывали иногда весьма тенденциозны, как в статье Л. Е. Оболенского «Обо всем» (Русское Богатство. 1883. № 1. С. 214—218; псевдоним: Созерцатель). Н. Г. Чернышевский писал 18 февраля 1885 г. своему сыну, познакомившемуся с Тургеневым в Париже в 1880 г.: «У нас вздумали хвалить „Стихотворения в прозе“ Тургенева <...> Ни одно из тургеневских „Стихотворений в прозе“ не стоило бы того, чтобы быть напечатанным» (Чернышевский Н. Г. ПСС. М., 1950. Т. 15. С. 514).

С. 626. ...«полудержавный властелин»... — А. С. Пушкин. Полтава (1828). Песнь III. ...*малявинских «Баб»*. — речь идет о картине Ф. А. Малявина «Три бабы» на Выставке картин журнала «Мир Искусства» в Москве в 1902 г. Розанов посвятил этой картине статью «„Бабы“ Малявина» (МИ. 1903. Т. 9. № 4. Хроника), вошедшую в его книгу «Среди художников» (СПб., 1914).

«Куоколовские темы» — имеется в виду дом Л. Андреева в Куоккала. Далее речь идет о повести Л. Н. Андреева «Тьма», о которой Розанов написал статью «Л. Андреев и его „Тьма“» (см. наст. том. С. 28—33).

И. В. КИРЕЕВСКИЙ И ГЕРЦЕН

(с. 626)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 18—22. Характеристика М. Гершензона в гранках снята в газетной публикации (см. *Варианты*).

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 12 февр. № 12544.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 560—567).

Печатается по тексту первой публикации.

Высказывания Розанова о философе-славянофиле Иване Васильевиче *Киреевском* (1806—1856) см. в статье В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 458—460).

С. 626. *К выходу второго издания Полного собрания сочинений...* — первое издание Полного собрания сочинений И. В. Киреевского вышло в Москве в 1861 г. под ред. А. И. Кошелева. Второе издание Полного собрания сочинений И. В. Киреевского было издано тоже в Москве в 1911 г. под редакцией М. О. Гершензона.

С. 627. *Как некий гародей...* — здесь и далее неточно цитируется «Скупой рыцарь» (1830) А. С. Пушкина: «Что не подвластно мне? Как некий демон / Отселе править миром я могу».

...*цитирую Volney'я...* — имеются в виду атеистические высказывания французского философа и политического деятеля К. Ф. Вольнея.

С. 628. *Валамова ослица* — Чис 22, 27—30.

...*«ткуются на ее ветном станке»...* — И. В. Гёте. Фауст. Слова Духа в сцене «Ночь».

С. 629. ...*Петр Васильевич собирал народные песни...* — Брат И. В. Киреевского фольклорист П. В. Киреевский собирал песни, изданные посмертно: «Песни, собранные Киреевским» (М., 1860—1874. Вып. 1—10).

Студент не будет посыпать... — Н. А. Некрасов. Песни о свободном слове. VIII. Пропала книга! (1865—1866).

Девница в девятнадцать лет... — Там же.

С. 630. *Монако* — В 1861 г. французскому Морису Блану была выдана концессия на открытие в княжестве Монако игорного дома. В 1861—1910 гг. был построен комплекс казино Монте-Карло, получивший всемирную известность.

...дома на «Собачьей площади» — Собачья площадка в старой Москве названа по находившемуся там при царе Алексее Михайловиче Псарному, или Собачьему, двору. В 1840-е гг. в доме № 7 у А. С. Хомякова собирались московские литераторы: Аксаковы, Киреевские, Герцен, Чаадаев, Гоголь, Грановский, Погодин, Языков. Площадка уничтожена (вместе с установленным на ее середине фонтаном) при устройстве «Нового Арбата» (там, где на него выходит Борисоглебский переулок).

В небесах торжественно и гудно... — М. Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

Ни его «Отрицания эстетики», ни его «мыслящих реалистов»... — речь идет о статьях Д. И. Писарева «Разрушение эстетики» (Русское Слово. 1845. № 5) и «Мыслящий пролетариат» (Русское Слово. 1865. № 10, под названием «Новый тип» — о романе Чернышевского «Что делать?»).

С. 631. *Нижегородская бурса* — мужское духовное училище с общежитием, открытое в 1818 г. в Нижегородском Печерском монастыре. Н. А. Добролюбов учился в 1847 г. в Нижегородском духовном училище, а в 1853 г. закончил Нижегородскую духовную семинарию.

...в июльские дни, когда Париж шумел... — имеется в виду Февральская революция 1848 г. во Франции, когда король Луи Филипп был свергнут и бежал в Англию. Его министр иностранных дел Гизо после падения июльской монархии Луи Филиппа 24 февраля 1848 г. бежал тоже в Англию.

...немного Корейши. — то есть юродства и прорицательства, по имени юродивого И. Я. Корейши.

Милый друг, я умираю... — одноименное стихотворение Н. А. Добролюбова (1867).

С. 632. *«Общество в память Герцена»* — Литературно-общественный кружок имени А. И. Герцена был основан в 1905 г. Н. А. Котляревским и В. Я. Богучарским в Петербурге и существовал по 1917 г. К 1914 г. председателем был М. М. Ковалевский.

Капля крови, общая с народом... — Н. А. Некрасов. «Умру я скоро. Жалкое наследство...» (1867).

ОДНА ИЗ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ ДОСТОЕВСКОГО

Александр Закржевский. Подполье.

Психологические параллели. Киев, 1911 г.

(с. 632)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 11.

Впервые напечатано: РС. 1911. 1 марта. № 48. Подпись: *В. Варварин.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 487—494).

Печатается по тексту первой публикации.

Об отношении Розанова с критиком Александром Карловичем Закржевским (1886—1916) см. в статье о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 400—402). В статье «Закржевский о Конст. Леонтьеве» (НВ. 1912. 11 авг.) Розанов откликнулся на рецензию Закржевского по поводу вышедших трех томов «Собрания сочинений» К. Леонтьева.

С. 634. *Позднышев* — главный герой повести Л. Н. Толстого «Крейцера соната» (1887—1889).

С. 634. *«Крейцера соната»* еще в литографском тиснении была прогитата всею Россиею — повесть Толстого, законченная в 1889 г., была запрещена цензурой. Александр III, к которому обратилась С. А. Толстая, позволил напечатать повесть только в собрании сочинений писателя (в 13 томе «Сочинений» в 1891 г.). В РНБ сохранился экземпляр повести, вышедший в 1890 г. без обозначения места и года издания. Цензурный запрет снят в 1900 г.

...«Записки из подполья» ~ не обратили на себя ниьего внимания... — Салтыков-Щедрин в сатирическом памфлете «Стрижи» (1864) высмеял «Записки». Однако интерес к этой повести пробудился после опубликования романа «Преступление и наказание» (1866): высоко отозвались о повести Н. Н. Страхов (Отечественные Записки. 1867. № 2), Ап. Григорьев (см. письмо Достоевского к Страхову от 18 (30) марта 1869 г.).

С. 635. ...Н. К. Михайловский заметил, что «подпольного геловека можно связать»... — см. его статью «Жестокий талант» (1882—1888).

С. 636. *Так ранний плод, до времени созрелый* — М. Ю. Лермонтов. Дума (1838), неточная цитата: «Так тощий плод...».

«Критика гистого разума» — первое издание труда И. Канта вышло в 1781 г.; второе с многими изменениями — в 1787 г.

С. 637. *«Люблю трактирец с грязнотцой»* — Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. 6, IV («я люблю клоаки именно с грязнотцой»).

...у Степана Парамоновига... — Разина звали Степан Тимофеевич.

НОВЫЕ СОБЫТИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

(с. 639)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 5 марта. № 12564.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 494—497).

Печатается по тексту первой публикации.

Эпиграф предстает в ряду начатых Розановым в 1911 г. записей для «Уединенного», вышедшего в 1912 г.

С. 640. *Вегер Куприна* — В декабре 1909 г. исполнилось 20-летие литературной деятельности А. И. Куприна. Возможно, Розанов имеет в вид вечер, связанный с эти событием.

Литературно-музыкальный вегер ~ Федора Соллогуба — 1 марта 1911 г. состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный Ф. Сологубу (Розанов писал его фамилию «Соллогуб»), на котором А. Блок, С. Городецкий и Г. Чулков поднесли чествовавшему писателю лавровый венок.

«*Ванька-Клюжник*» — пьеса Ф. Сологуба «Ванька-Ключник и Паж Жеан» (Новая Мысль. 1908. № 1) была поставлена в 1909 г. в Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской Н. Н. Евреиновым.

«*Сказогки*» — сборник Ф. Сологуба «Политические сказочки» (СПб., 1906).

«*Победа Смерти*» — трагедия Ф. Сологуба (СПб., 1908), поставленная В. Э. Мейерхольдом в Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской в 1907 г.

...*сцену из новой драмы «Заложники жизни»*... — Ко времени проведения Вечера, посвященного произведениям Федора Сологуба, была еще не опубликована пьеса 1912 г. «Мечта-победительница».

Сцены из «Мелкого Беса» и «Тяжелых слов»... — По роману Ф. Сологуба «Мелкий бес» (1905) в 1909 г. вышла авторская инсценировка в 5 действиях. Название романа Сологуба «Тяжелые сны» (СПб., 1896) у Розанова напечатано с опечаткой.

С. 640. «Гимны Родине» — стихотворения Ф. Сологуба 1903 г.
«Чертовы кабели» — наиболее известное стихотворение Ф. Сологуба (1907).

С. 641. «Везер об Евдокии Растопчиной»... — графиня Ростопчина (Растопчина) Евдокия Петровна была популярной светской поэтессой, она автор стихотворения «Талисман», положенного на музыку А. А. Алябьевым. В декабре 1828 г. танцевала на балу с А. С. Пушкиным, одобрявшим ее литературные опыты. В творчестве ее поддержали Лермонтов и Жуковский. Ей посвятили стихи Мей, Тютчев и Огарёв. Ее подругой стала А. О. Смирнова-Россет.

...о веселых стариках из «Стрекозы»... — Юмористический еженедельник «Стрекоза» с карикатурами издавался в Петербурге (Петрограде) в 1875—1918 гг. В журнале принимали участие литераторы П. И. Вейнберг, Н. А. Лейкин, Д. Д. Минаев.

...о суровых юношах из «Русского Богатства» — Журнал либерального народничества «Русское Богатство» выходил в Петербурге в 1876—1918 гг. В журнале сотрудничали С. Н. Южаков, А. В. Пешехонов, В. В. Лесевич, В. А. Мякотин и др.

БОГАТЫЙ И УБОГИЙ

(с. 641)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 403. Л. 2.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 22 марта. № 12581.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 483—487).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 641. *Аристотель и Ломоносов в своих «Риториках»* — «Риторика» Аристотеля была переведена на русский язык в 1894 г. Ломоносовское «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится РИТОРИКА, показывающая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки» вышло в Петербурге в 1748 г.

«История Российского государства» ~ Так назвал бы свой труд кн. Михайло Щербатов. — см.: Щербатов М. М. История Российская от древнейших времен (доведена до 1610 г., автор умер в 1790 г.). Издана в 7 томах (СПб., 1901—1904).

«История государства Российского» — главный исторический труд Н. М. Карамзина, вышел в 12 томах (СПб., 1818—1829).

С. 642. ...родного Тита Ливия. — то есть русского историка. Тит Ливий — римский историк, автор «Римской истории от основания Города» (рус. пер.: т. 1—3. М., 1897—1901).

«Критические рассказы» — Чуковский К. Критические рассказы. СПб., 1911.

...статья-лекция ~ о Нате Пинкертоне ~ и о кинематографе... — см. коммент. к статье «К. И. Чуковский о русской жизни и литературе» на с. 891.

С. 643. *Репин написал его изумительный портрет.* — Портрет К. Чуковского выполнен И. Е. Репиным в Пенатах в 1910 г. и подарен Чуковскому. В 1911 г. портрет был продан по недоразумению с репинской выставки в Риме коллекционеру М. О. Цетлину. В 1993 г. приобретен М. Л. Ростроповичем и возвращен в Россию, находится в Константиновском дворце под Петербургом.

И ШУТЯ, И СЕРЬЕЗНО...

(с. 644)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 35–37.См. *Варианты*.Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 31 марта. № 12590.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 497–500).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 644. *...два невероятной величины фельетона о Д. С. Мережковском... – Иванов-Разумник. Пастырь без стада (Д. Мережковский) // Русские Ведомости. 1911. 6 марта; Иванов-Разумник. Мертвое мастерство (Д. Мережковский) // Русские Ведомости. 1911. 27 марта.*

Скука, холод и гранит... – А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный...». (1828).

«Третий Завет» – концепция Мережковского. Судьба мира, согласно идеям, высказанным еще в XII в. итальянским монахом Иоахимом Флорским, проходит через три этапа: Бога-Отца, Творца Ветхого Завета, когда жизнь определяется законом (господин и раб); период Сына Божьего Христа (отец и дитя), длящийся поныне; в грядущем откроется Третий Завет – Царство Духа.

С. 645. *«Полное собрание сочинений» Мережковского* – вышло в 17 томах (СПб.; М., 1911–1913). В 1911 г. вышли первые 6 томов (изд-во товарищества М. О. Вольф).

С. 646. *Пегальный демон, дух изгнания... – М. Ю. Лермонтов. Демон. I (1841).*

«Великой борьбой я боролась»... – Быт 30, 8.

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

(с. 646)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 28–29.См. *Варианты*.Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 3 апр. № 12593.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 65–67).

Печатается по тексту первой публикации.

Книга дочери Ф. М. Достоевского «Больные девушки. Современные типы» (СПб., 1911) привлекла внимание Розанова благодаря переписке и встречам с вдовой Достоевского Анной Григорьевной. О Любви Федоровне Достоевской (1869–1926) см. статью М. В. Толмачёва в «Розановской энциклопедии» (с. 343–344).

С. 647. *По биографии Достоевского, написанной Н. Н. Страховым...* – имеются в виду «Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском» Н. Н. Страхова, впервые опубликованные под названием «Биография» в Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского (СПб., 1883. Т. 1).

...по поводу пьес для домашнего театра... – В 1890-е гг. Л. Ф. Достоевская вела светскую жизнь и писала пьесы для любительских спектаклей, в которых участвовала и как исполнительница.

С. 647. *«Смерть Илюшежки»* – Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Эпизод. § III.

...как турок размогзил голову болгарскому ребенку... – Об этом в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» рассказывает Иван: «Представь: грудной младенец на ру-

ках трепещущей матери, кругом вошедшие турки. У них затеялась веселая штука: они ласкают младенца, смеются, чтоб его рассмешить, им удастся, младенец рассмеялся. В эту минуту турок наводит на него пистолет в четырех вершках расстояния от его лица. Мальчик радостно хохочет, тянется ручонками, чтоб схватить пистолет, и вдруг артист спускает курок прямо ему в лицо и раздробляет ему головку... Художественно, не правда ли?» (Ч. 1. Кн. 5: Pro и contra. § IV: Бунт).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РОД СОЛОВЬЁВЫХ

(с. 648)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 60—64, с записью карандашом: «Среди ученых» (см. *Варианты*).

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 14 апр. № 12602.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 79—87).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 649. *...читал лекции по истории западных и южных славян ~ Нил Александрович Попов...* — Историк Н. А. Попов читал лекции в Московском университете с 1860 г., в 1869 г. защитил докторскую диссертацию «Россия и Сербия: Исторический очерк русского покровительства Сербии с 1806 по 1856 год», удостоенную Уваровской премии Академии наук (опубликована в двух томах в 1869 г.).

...М. К. Любавский написал волюминозные труды по истории Литвы. — Однокурсник Розанова по Московскому университету Матвей Кузьмич Любавский, профессор, с 1911 г. ректор Московского университета, автор трудов: «Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского статута» (1893), «Литовско-русский сейм» (1901), «Очерки по истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно» (М., 1910).

...болезнь Некрасова — Н. А. Некрасов скончался 27 декабря 1877 г. от рака кишечника.

«*Покрывало Изиды*» — имеется в виду книга Всеволода Сергеевича Соловьёва «Современная жрица Изиды: Мое знакомство с Е. П. Блаватской и „теософическим обществом“» (М., 1893), в которой разоблачается шарлатанство Блаватской.

С. 650. «*Иней*» — второй сборник стихов Поликсены Соловьёвой (*Allegro*) с рисунками автора (СПб., 1905). А. Блок в рецензии отметил «свежесть чувств» и «благородную простоту» поэзии Соловьёвой (*Вопросы Жизни*. 1905. № 4/5).

«*Письмо в редакцию всех газет*» — Г. Чулков после разрыва «Золотого Руна» с редакцией «Весов» вышел из состава сотрудников «Золотого Руна» с № 4 за 1907 г. Однако ввиду «изменения программы журнала» Г. Чулков в коллективном письме с Л. Андреевым, И. Буниным и Б. Зайцевым заявил о возвращении в «Золотое Руно» (*ЗР*. 1907. № 7/9. С. 160).

...легатает седьмой том «Собрания своих сочинений»... — В 1909—1912 гг. в издательстве «Шиповник» вышло «Собрание сочинений» Г. Чулкова в 6 томах.

С. 651. *Руку дай, дитя, тропюю хвойною...* — Стихотворение Поликсены Соловьёвой «Солнце ниже листья изумрудные...». Далее цитируются ее стихотворения «Петербург» (1901) и «Белая сирень» (1903). Последнее, «Умирают белые сирени...», было приведено полностью в преждевременном некрологе П. Соловьёвой (см.: *Наст. том*. С. 291).

...задумайтесь над противоположностями, г. Струве... — Розанов имеет в виду непонимание П. Б. Струве возможности писать об одном и том же с различных точек зрения, о чем речь шла в розановской статье «Литературный террор» (см.: *Наст. том*. С. 614—617).

С. 653. «Русская Камена», «Позднее утро», «Полдень» — книги Б. Садовского: «Русская Камена: Статьи» (М.: Мусажет, 1910); «Позднее утро: Стихотворения 1904—1908» (М.: Тип. О-ва распространения полезных книг, 1909). Книга «Полдень: Собрание стихов 1905—1914» (Пг.: Лукоморье, 1915) упомянута на контртитule «Русской Камени» среди готовившихся к изданию книг автора, когда и вышла.

...книгоиздательства «Мусажет и Скорпион»... — «Мусажет» — издательство символистов в Москве (1910—1917). Московским издательством «Скорпион» (1899—1916) руководил в 1900—1909 гг. В. Я. Брюсов, главный редактор выходившего в нем журнала «Весы».

«Символизм» — книга А. Белого вышла в издательстве «Мусажет» (М., 1910).

...мне неловко называть его имя — речь идет о Вяч. Иванове.

...раньше открытия радия — Радий открыт в 1898 г. супругами П. и М. Кюри.

С. 654. «Апрель» — Соловьёв Сергей. Апрель: Вторая книга стихов. 1906—1909. М.: Мусажет, 1910.

Братья! Сестры! Облекайтесь в ризы светлые, венцы венгальные... — В книге «Апрель» последнее стихотворение цикла С. М. Соловьёва «Шесть городов» — «Сион грядущий» (1908).

ОБ ОДНОМ ЗАБЫТОМ ЧЕЛОВЕКЕ (Пропущенный юбилей) (с. 656)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 22 апр. № 12610.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 89—91).

Печатается по тексту первой публикации.

Об архимандрите Феодоре Бухареве Розанов писал еще в 1902 г. в статье «Аскоченский и архимандрит Феодор Бухарев», включенной затем во второй том книги Розанова «Около церковных стен». О Розанове и богослове А. М. Бухареве см. статью В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 174—177).

С. 656. ...биографические данные о нем собирал и пегатал ~ Знаменский... — Ученик Бухарева П. В. Знаменский выпустил книгу «Православие и современная жизнь: Poleмика 60-х годов об отношении православия к современной жизни» (М., 1906), в которой опубликовал биографию Бухарева и указал основные его произведения.

...когда-то Погодин выражался, что в архимандрите Феодоре... — см.: Погодин М. П. Воспоминание о Бухареве (Архимандрит Феодор). М., 1874.

С. 657. ...«Толкование на Апокалипсис» ~ запрещено. — Труд Бухарева «Исследование Апокалипсиса», запрещенный Св. Синодом в 1862 г., был опубликован в 1916 г. в Сергиевом Посаде.

С. 658. ...по Фалесу, «вода родила богов и людей». — Древнегреческий философ Фалес возводил все многообразие жизни к единой первооснове, которой считал «влажную природу», воду.

ОКОНЧАНИЕ «ПИСЕМ СОЛОВЬЁВА» (с. 658)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 193. На полях надпись: «Среди ученых». См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 1 мая. № 12619.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 92–94).
Печатается по тексту первой публикации.

С. 658. *Вышел третий и последний том...* — речь идет об издании: Письма Владимира Соловьёва / Под ред. Э. Л. Радлова. СПб., 1908–1911. Т. 1–3; Пг., 1923. Т. 4.

С. 659. *...письма к важным католическим особам, в Загреб...* — имеется в виду переписка с католическим епископом И. Г. Штроссмайером (см.: Наст. изд. Т. 1. С. 909).

...был признан «невозможным и недопустимым на кафедре»... — 28 марта 1881 г. В. С. Соловьёв в лекции в зале Кредитного общества обратился к престолонаследнику Александру III и попросил его проявить милость к убийцам его отца Александра II, после чего Соловьёв был вынужден подать прошение об отставке с должности приват-доцента в С.-Петербургском университете.

...усилиями Победоносцева были признаны «вредными вообще всякие его сочинения по богословию»... — Об отношениях К. П. Победоносцева и В. С. Соловьёва см.: Лосев А. Владимир Соловьёв и его время. М., 1990. С. 472–476.

С. 660. *...письмо к Н. Я. Гроту.* — речь идет о письме В. С. Соловьёва Н. Я. Гроту от 16 октября 1896 г., в котором говорится о рецензии Ю. И. Айхенвальда на кн.: Афоризмы из сочинений Герберта Спенсера / Пер. с англ. А. Гойжевский под ред. Вл. Соловьёва. СПб., 1896. Соловьёв писал Гроту: «На книжке „Афоризмы“ и проч. стоит мое имя как редактора, несущего литературную ответственность, так что все отзывы об издании относятся именно ко мне, а потому появление насмешливого отзыва в философском журнале (притом отзыва, писанного секретарем редакции) оскорбительно для меня, несовместимо с моим сотрудничеством в этом журнале... Теперь же решайте сами, что для вас желательнее: сохранение рецензии или сохранение моего сотрудничества, — я на этот счет не могу иметь никакого мнения. Я вовсе не хотел бы подвергать вас серьезным материальным затруднениям, но, как я знаю по недавним аналогичным случаям, вырезать 4 страницы есть дело гораздо менее сложное и продолжительное для типографии, чем могло бы показаться. При вашей методе выпуска книжек один лишний день не составит заметной разницы» (Письма Владимира Соловьёва / Под ред. Э. Л. Радлова. СПб., 1908. Т. 1. С. 100–101). Несмотря на письмо Соловьёва, рецензия Айхенвальда вышла в «Вопросах Философии и Психологии» (1896. Кн. 34. С. 492–498).

«Критика отелегенных нагал» — докторская диссертация Вл. Соловьёва печаталась в «Русском Вестнике» в течение 1877–1880 гг.; отд. изд.: М., 1880. Защищена 4 апреля 1880 г. в С.-Петербургском университете в присутствии Ф. М. Достоевского.

ПАМЯТИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

(с. 661)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 182. Л. 13.

Впервые напечатано: *РС*. 1911. 15 мая. № 111. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 567–573).

Печатается по тексту первой публикации.

О В. О. Ключевском см. коммент. к статье «Около науки и университета (По поводу 30-летия ученой службы В. О. Ключевского)» (наст. том. С. 914).

С. 662. «*Кудеяр*» — роман Н. И. Костомарова о времени Ивана Грозного, печатался в «Вестнике Европы» (1875. № 4–6; отд. изд.: М., 1882).

С. 662. «Синодик царя Ивана» — «Синодик опальных Грозного» составлен в 1582—1583 гг. по указу Ивана IV Грозного (за год до смерти) с целью поминания в монастырях людей, казненных в годы его правления. Только по делу о заговоре кн. В. А. Старицкого 3300 записей. «Синодик» — один из основных источников по истории опричнины.

«Сказания Курбского» — см.: Сказания князя Курбского. СПб., 1833. Ч. 1—2; 3-е изд.: СПб., 1868.

...«*утопленных в Шексне*»... — В реке Шексне (левый приток Волги близ Вологды; местность около Шексны называется Пошехонье) в 1569 г. по приказу Ивана Грозного был казнен князь Владимир Андреевич Старицкий, двоюродный брат царя, а его семья вместе с монахами и слугами утоплена в Шексне. В 1553 г. во время тяжелой болезни Ивана Грозного бояре намеревались сделать его царем.

С. 664. «Жития святых как исторический материал» — имеется в виду магистерская диссертация В. О. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871). «Боярская дума древней Руси» — докторская диссертация В. О. Ключевского (РМ. 1880—1881; отд. изд.: М., 1881; 4-е изд.: 1909).

«Курс лекций по русской истории» — Главный труд Ключевского «Курс русской истории» вышел в Москве в 4 частях (1904, 1906, 1908 и 1910 гг.). Часть 5 не была закончена и вышла в разных редакциях в 1921, 1937, 1958 гг.

...не «имел воли к нему», — говоря языком Шопенгауэра... — Розанов вспоминает книгу А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (1819—1844), о которой он писал в «Уединенном», что прочел «только первую половину первой страницы (заплатив 3 руб.): но на ней-то первую строкою и стоит это: „Мир есть мое представление“. — Вот, — подумал я по-обломовски. — „Представим“, что дальше читать очень трудно и вообще для меня, собственно, не нужно».

С. 665. «Ах, мой милый Августин...» — из австрийской народной песенки, возникшей в Вене во время эпидемии чумы 1678—1679 гг. Авторство приписывается некоему Августину Н.

«Нет лугше русской истории...» — Розанов имеет в виду строки из письма Пушкина П. Я. Чаадаеву 19 октября 1836 г.: «Я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

«Добрые люди Древней Руси» ~ (Сергиев Посад, 1892 г.) — лекция Ключевского, прочитанная в 1891 г. в пользу пострадавших от неурожая.

С. 667. ...«и рабе Божией Анисье» — жену В. О. Ключевского звали Анисья Михайловна.

ПАМЯТКА О КЛЮЧЕВСКОМ

(с. 667)

Сохранился автограф, гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 182. Л. 2а—9. См. *Варианты*.

Первые напечатано: *НВ*. 1911. 20 мая. № 12638.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 102—103).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 668. ...*питомцы московского Училища живописи и ваяния*. — Ключевский читал лекции в Московском училище живописи, ваяния и зодчества с 1900 по 1910 г.

...«*терся где-то в Троице-Сергиевой лавре*... — Ключевский преподавал в Московской духовной академии с 1871 по 1906 г. Она расположена в Троице-Сергиевой лавре.

ПАМЯТКИ О В. О. КЛЮЧЕВСКОМ. II

(с. 668)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи, представляющей вторую ее часть — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 182. Л. 8, 9.

Печатается впервые по тексту гранок.

С. 670. *Семик* — народный праздник на седьмой день Пасхи.

...«русскую способность перевоплощаться в дух всех народностей» — пересказ речи Ф. М. Достоевского о Пушкине.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

1 июня (30 мая) 1811 — 1911 года

(с. 671)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 28 мая. № 12646.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 501—507).

Печатается по тексту первой публикации.

См. статью о Виссарионе Григорьевиче *Белинском* (1811—1848) в «Розановской энциклопедии» (с. 117—120).

Несмотря на добрые воспоминания Розанова о Белинском в годы своей юности, окончание статьи вызвало резкую критику безымянного рецензента в газете октябристов «Голос Москвы» (редактор А. И. Гучков) в номере от 31 мая 1911 г.: «...более неуклюжих и бестактных разговоров нельзя себе и представить, если принять во внимание, что все это говорится на страницах газеты и по поводу столетия со дня рождения лучшего из русских журналистов... Определение деятельности Белинского как „неодолимо плоской“ могла продиктовать только злобность, рожденная сознанием полной враждебности души, обреченной ползать в потемках духовных подземелий-тюрем, к душе свободной и гордой, как пламя, неудержимо рвущейся к своему первоисточнику — свету». Невольно возникает сравнение яркого розановского стиля с казенной отпиской рецензента газеты Гучкова. Это не помешало Розанову через три месяца встретиться с Гучковым в Киеве на похоронах П. А. Столыпина и вести с ним беседу, напечатанную в «Новом Времени» 10 сентября 1911 г. (см. статью Розанова «К кончине П. А. Столыпина»).

С. 671. *...день рождения Белинского* — ныне днем рождения Белинского принято считать 30 мая.

...тетрадожка гимназиста 3 класса... — В третьем классе гимназии Розанов обучался в Симбирске в 1871/72 учебном году.

С. 672. *...катехизис Филарета...* — «Христианский катехизис Православных кафедральных восточных греко-российских церквей» митрополита Московского Филарета (Дроздова). СПб., 1823; доп. изд.: 1828, 1839.

Карамзинская библиотека — открыта в Симбирске 18 апреля 1848 г. в знак памяти Н. М. Карамзина на его родине. В нее вошла личная библиотека поэта Н. М. Языкова.

...«Энциклопедия» Дидро и д'Аламбера... — Французские просветители во главе с Д. Дидро выпустили «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (т. 1—35. 1751—1780).

С. 673. ...«жизнь есть сон»... — название комедии испанского драматурга П. Кальдерона «Жизнь есть сон, и сон есть жизнь» (1631 — 1635).

«Сон в Иванову ногу» — комедия У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1600). Под таким названием переведена П. И. Вейнбергом (1880).

...«без чародейства сладких вымыслов»... — В богатырской сказке Н. М. Карамзина: «На минуту позабудемся в чародействе красных вымыслов».

...изданий Павленкова... — Русский книгоиздатель Ф. Ф. Павленков выпускал массовыми тиражами книги известных русских и зарубежных писателей. С 1880-х гг. издавал серию «Биографическая библиотека, или Жизнь замечательных людей» (200 книг). Его издательство существовало до 1917 г.

С. 674. «Гамлет и Дон-Кихот» — речь И. С. Тургенева, произнесенная 10 января 1860 г. на публичном чтении в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым.

«Миллион терзаний» — статья И. А. Гончарова «Миллион терзаний» по поводу постановки комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» на сцене Александринского театра (Вестник Европы. 1872. № 3).

С. 677. ...история Манон Леско и кавалера де-Гриз... — имеется в виду роман аббата А. Прево д'Экзиля «История кавалера Де Грие и Манон Леско» (1733, рус пер. 1790).

«Труды и дни» — название дидактической поэмы древнегреческого поэта Гесиода (рус. пер. 1885).

Пенелопа — в древнегреческой мифологии жена Одиссея, ждавшая 20 лет возвращения мужа с Троянской войны.

ВЕКОВАЯ ГОДОВЩИНА (30 мая 1811 г. — 30 мая 1911 г.) (с. 677)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1911. 29 мая. № 122. Подпись: В. Варварин.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 508—515).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 678. «Утренняя Заря» — литературный альманах, издавался в Петербурге в 1839—1843 гг. В. А. Владиславлевым.

«Покоящийся Трудолюбец» — журнал, издававшийся Н. И. Новиковым в Москве в 1784—1785 гг., где был напечатан прозаический перевод «Кладбища» (1751) английского поэта Т. Грея.

...«германцы» ~ в образах Тацита... — имеются в виду очерки общественной жизни германских племен в сочинении римского историка Тацита «Германия» (98).

«Песнь о Нибелунгах» — памятник немецкого героического эпоса (XIII в.).

С. 679. ...о славянах на острове Рюген... — В Средние века на острове Рюген в Балтийском море селилось славянское (полабское) племя руян. Остров связывают с мифологическим островом Буяном (Руяном). В XIV в. славяне Рюгена были онемечены.

Тмутараканский камень — см. коммент. к с. 518.

Флогистон — по представлению химиков XVIII в., «огненная материя», содержащаяся во всех горючих веществах. Французский химик А. Лавуазье в 1772—1777 гг. разработал кислородную теорию горения.

С. 679. *Какая-то «история», — и его исключили.* — В. Г. Белинский был исключен из Московского университета в сентябре 1832 г. за организацию протестов студентов, но с мотивировками: «по слабому здоровью» и «по ограниченности способностей».

С. 681. *...Петр даже с Лейбницем ~ только «совещался»...* — В своих свиданиях с Петром Великим (1711, 1712, 1716 гг.) немецкий философ Г. В. Лейбниц беседовал о распространении наук и просвещения в России и дал первый толчок к основанию Петербургской академии наук.

С. 682. *...«ибо он знал даже греческий язык»* — Высокую оценку немецкому писателю Г. Э. Лессингу Тургенев дал в «Воспоминаниях о Белинском» (1869): «Лессинг, для того чтобы стать вождем своего поколения, должен был быть человеком почти всеобъемлющей учености».

...«завыл волком»... — В письме В. П. Боткину 28 февраля 1847 г. Белинский писал: «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом».

Сам Тургенев захотел «лежать рядом с Белинским»... — Боголюбов А. П. Записки моряка-художника (1873—1883) // ЛН. М., 1967. Т. 76. С. 462.

«ДРУГ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА»

(с. 684)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 97.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 5 июня. № 12653.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 115—119).

Печатается по тексту первой публикации.

Об ироническом названии данной статьи и о «яде» издателя Владимира Григорьевича *Черткова* (1854—1936) см. в статье о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 1148).

С. 684. *...из «Дневника» 2-жи Дьяконовой... — Дьяконова Е. Дневник. 1886—1902. СПб., 1904—1905. Т. 1—3. Заглавие статьи Розанова о В. Г. Черткове поставлено в кавычки как ироническая цитата из «Дневника» Дьяконовой.*

С. 685. *«О, лугше бы ты была нема и лишена вовсе языка!»* — Н. В. Гоголь. *Невский проспект* (1835). Розанов отнес эти слова к «Портрету» Гоголя.

ПАМЯТИ ИВ. ЛЕОНТ. ЛЕОНТЬЕВА-ЩЕГЛОВА

(с. 687)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 50.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 7 июня. № 12655.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 119—122).

Печатается по тексту первой публикации.

Об Иване Леонтьевиче Леонтьеве-Щеглове (умер 2 июня 1911 г. в Кисловодске) см. коммент. к статье Розанова «Иван Щеглов. Новое о Пушкине» (*НВип*. 1901. 7 нояб.; Наст. изд. Т. 3. С. 718) и в «Розановской энциклопедии» (с. 1195—1196).

С. 687. *П. П. Перцов хорошо оттенил его литературное положение.* — 5 июня 1911 г. в «Новом Времени» был напечатан некролог П. Перцова «И. Л. Щеглов-Леонтьев», в котором сообщается, что писатель умер в Кисловодске 2 июня.

С. 687. *...недавно же умершим П. И. Горленко...* — Розанов имеет в виду литературного критика, этнографа и искусствоведа Василия Петровича Горленко, о книге которого «Отблески: Заметки по словесности искусства» он написал рецензию (*НВил.* 1905. 7 дек.).

С. 688. «*Около истины*» — повесть И. Л. Леонтьева-Щеглова в журнале «Русский Вестник» (1892. № 2), где он напал на толстовство и на деятельность издательства «Посредник».

«*Посредник*» — просветительское издательство (1884—1935), возникшее в Петербурге при содействии Л. Н. Толстого. В 1892 г. переведено в Москву. Руководил издательством В. Г. Чертков, с 1897 г. И. И. Горбунов-Посадов.

«*Слово*» — ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге с 1904 по 1909 г., редактор-издатель с 1906 по 1909 г. М. М. Федоров. Розанов часто печатался в ней.

«*Литературное прибавление в Торгово-Промышленной Газете*» — ежедневная газета, издавалась Министерством финансов в Петербурге в 1893—1918 гг. В 1898—1900 гг. при газете печаталось еженедельное «Литературное приложение», которое в 1899—1900 гг. редактировал Розанов и в котором печатал свои статьи.

НЕОЦЕНИМЫЙ УМ

(К. Леонтьев. «О романах гр. Л. Н. Толстого». Москва. 1911 г.)

(с. 690)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ.* 1911. 21 июня. № 12669.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 515—523).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 690. К. Леонтьев. *О романах гр. Л. Н. Толстого. Москва, 1911 г.* — впервые опубликовано под названием «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого» (*РВ.* 1890. № 6—8).

Он горд был, не ужился с нами... — М. Ю. Лермонтов. Пророк (1841).

...не бывает пророков для отечества своего... — Лк 4, 24 («Несть пророка в отечестве своем»).

...Вербицкой строить второй (как мне передавали) каменный дом... — В книге «Мимолетное. 1914 год» Розанов продолжил эту тему: «Вербицкая стала строить 3-й каменный дом» (15 августа 1914).

С. 691. *...«сильным белокурым зверем»...* — Ф. Ницше. К происхождению морали (1887).

С. 692. *...Леонтьев, умерший в 1892 г. ...* — К. Н. Леонтьев умер 12 ноября 1891 г.

С. 693. «*Наши новые христиане*», «*Гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский*» — Статьи К. Н. Леонтьева «О всемирной любви: По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике» (*Варшавский Дневник.* 1880. 29 июля, 7, 12 авг.) и «*Страх Божий и любовь к человечеству, по поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого „Чем люди живы“*» (*Гражданин.* 1882. № 54—55) были объединены Леонтьевым в брошюре «*Наши новые христиане*» (М., 1882).

«*Национальная политика как орудие всемирной революции*» — статья К. Н. Леонтьева печаталась в журнале «*Гражданин*» (1888. № 256—279) и вышла отд. изданием (М., 1889).

«*Восток, Россия и Славянство*» — сборник статей и трактатов К. Н. Леонтьева (М., 1885—1886. Т. 1—2).

С. 693. *...двух Леонтьевых смешивают...* — речь идет о К. Н. Леонтьеве и Павле Михайловиче Леонтьеве, друге и единомышленнике М. Н. Каткова, который с 1863 г. совместно с Катковым редактировал газету «Московские Ведомости», проводил гимназическую реформу 1871 г. В 1868 г. Леонтьев и Катков основали в Москве Лицей цесаревича Николая.

«Записки инока Парфения» — главное сочинение духовного писателя Парфения (Агева) «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Св. Земле постриженника святыя горы Афонския инока Парфения» (М., 1855. Ч. 1–4).

С. 694. «Чайльд-Гарольд» — поэма Дж. Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» (1812–1818).

«Луcreция Флориани» (1846) — роман французской писательницы Жорж Санд с повестью свободной любви.

Потугин Созонт Иванович — герой романа И. С. Тургенева «Дым» (1867).

С. 695. *...слишком горельефно...* — Горельеф — скульптурное изображение, выступающее над плоскостью фона более чем на половину своего объема.

...Тургенев, по свидетельству г. П. Боборыкина... — 18 февраля 1879 г. студент Розанов присутствовал на торжественном приеме в Обществе любителей российской словесности в Москве в честь прибывшего И. С. Тургенева (см. статью Розанова «И. С. Тургенев в 1879 г. в Москве»: наст. том. С. 148–152). Среди выступавших был и П. Д. Боборыкин, от которого, вероятно, Розанов и услышал приведенное суждение о Тургеневе.

Сиватериум — ископаемый млекопитающий рода жираф. Останки обнаружены в Гималаях.

Чувства добрые он лирой воспевал — А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836): «Что чувства добрые я лирой пробуждал».

С. 696. «Изугать действительную жизнь, или изугать жизнь по „Анне Карениной“ — это равнозначаще»... — Второй раздел статьи К. Н. Леонтьева «Анализ, стиль и веяние» начинается словами: «Один из наших известных ученых и писателей (Н. А. Любимов) несколько лет тому назад, разбирая в приятельской беседе достоинства „Анны Карениной“, заметил, между прочим, что „тот, кто изучает „Анну Каренину“ — изучает самую жизнь“».

С. 697. *...Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз* — М. Ю. Лермонтов. Дума (1838).

ФРАНЦУЗСКИЙ ТРУД О ВЛАД. СОЛОВЬЁВЕ

Очерк

(с. 697)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки журнала «Новое Слово» — РГАЛИ: Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 66–72 (см. *Варианты*); вырезка из журнала — Там же. Л. 73–76.

Впервые напечатано: Новое Слово. 1911. № 7. Июль. С. 4–9.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 136–145).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 697. «теория флюксий» — И. Ньютон изложил дифференциальное и интегральное исчисление в работе «Метод флюксий» в 1670–1671 гг. (опубликовано в 1736 г.).

С. 698. «Черти морские меня полюбили...» — В. С. Соловьёв. Das Ewig-Weibliche: Слово увещательное к морским чертям (1898).

«Три свидания» (1898) — поэма В. С. Соловьёва.

С. 699. *Суккубы и инкубы* — В средневековой мифологии женские и мужские демоны, домогавшиеся от спящих любви (по-латыни: «ложиться под», «ложиться на»).

...его «розовых мегтаний» — В поэме «Три свидания» Соловьёв писал: «Улыбки розовой душа следы хранила».

...рассказывала в своих «Воспоминаниях» ~ г-жа Безобразова. — речь идет о написанном младшей сестрой Соловьёва мемуарном очерке «Воспоминания о брате Владимире Соловьёве» (Минувшие Годы. 1908. № 5—6).

С. 700. ...М. О. Гершензон говорит об И. В. Киреевском... — имеется в виду очерк М. О. Гершензона «И. В. Киреевский» (Вестник Европы. 1908. № 8), где утверждалось, что «учение Киреевского о психическом строе личности <...> было гениальное прозрение, на полвека опередившее развитие науки».

...издав по-французски два своих труда... — В 1888 г. в Париже вышел труд Соловьёва «Русская идея»; в 1889 г. там же — «Россия и Вселенская церковь». Соловьёв следовал традиции: по-французски издавали свои работы Ф. И. Тютчев, А. С. Хомяков и др.

С. 701. ...реги, произнесенной 13-го марта 1881 г. ... — В тот день Соловьёв выступил в молодежной аудитории (на Высших женских курсах) с осуждением террора (в связи с убийством Александра II), а 28 марта в зале Кредитного общества с призывом к Александру III проявить милосердие к преступникам, положив начало проведению христианских основ в общественную жизнь. В результате Соловьёву было предложено воздержаться в дальнейшем от публичных лекций, и он подал прошение об отставке из С.-Петербургского университета, где служил приват-доцентом, и ушел с женских курсов.

...Толстого ~ Соловьёв даже сблизил (в «Трех разговорах»)... — имеется в виду предисловие к итоговому сочинению Соловьёва «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (СПб., 1900), где имя Л. Толстого упоминается в связи с его выступлениями против войны и военной службы

С. 702. *Любим Торцов* — герой комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853).

...назвав Влад. Соловьёва «первым русским философом» ~ вслед за ~ погтенным Лопатиным... — Л. М. Лопатин в статье «Философское мирозерцание В. С. Соловьёва» писал: «Он первый у нас стал заниматься темами или предметами самой философии, а не мнениями об этих темах западных философов; и через это стал первым русским философом» (ВФП. 1901. № 1. С. 54). Далее речь идет о труде Л. М. Лопатина «Положительные задачи философии» (М., 1886—1891. Ч. 1—2).

С. 704. ...в биографии Магомета (для издания Павленкова)... — речь идет о книге В. С. Соловьёва «Магомет, его жизнь и религиозное учение» (СПб., 1896).

ЕЩЕ ДВА СЛОВА О С. Ф. ШАРАПОВЕ

(с. 705)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* с авторской правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 4.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 1 июля. № 12679.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 145—147).

Печатается по тексту первой публикации с учетом авторской правки в вырезке:

С. 706 в *возбуждении их* / в *постановке их*

Но он непременно чему-нибудь «служил» / ? «служил». И он предупреждал «Россию» от какого-нибудь несчастья

О Сергее Федоровиче *Шаранове* см. статью В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 1165–1170).

С. 705. С. Ю. *Витте, осуществившего золотую валюту...* — имеется в виду денежная реформа 1895–1897 гг., установившая свободный обмен кредитных билетов на золото (золотой стандарт). Реформа означала девальвацию рубля по курсу «двух третей» (7 руб. 50 коп. обменивались на 5 руб. золотом). С началом Первой мировой войны обмен бумажных денег на золото был прекращен, все 629 миллионов золотых рублей исчезли из обращения.

НЕДОУМЕНΙΑ И НЕДОУМЕНΙΑ...

(с. 707)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки и вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 4–6. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 2 июля. № 12680.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 147–150).

Печатается по тексту первой публикации.

О Петре Филипповиче *Якубовиче* (наст. фам. Мельшин; 1860–1911) см. в статье о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 1210–1211).

С. 707. *В последней книжке «Русск. Богатства» появились две статьи...* — речь идет о статьях: *Богугарский В. К* биографии П. Ф. Якубовича; *Муйжель В.* Памяти П. Ф. Якубовича // *Русское Богатство*. 1911. № 5.

С. 708. *...воспоминания Веры Фигнер о Лесгафте...* — В. Н. Фигнер слушала в Казанском университете (1870–1871) лекции анатома П. Ф. Лесгафта. См.: *Фигнер В.* Две встречи с П. Ф. Лесгафтом // Памяти П. Ф. Лесгафта. СПб., 1912. С. 143–154.

С. 709. *...встретясь в Париже, когда Белинский уже совсем умирал, а Герцен был также богат...* — Встреча Белинского с Герценом в Париже произошла в сентябре 1847 г.

...занимались на Руси «Земляники»... — имеется в виду персонаж комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений.

«Земля произрастит вам терн и волцы»... — Быт 3, 18.

...«будет скрежет зубовой»... — Мф 8, 12 («там будет плач и скрежет зубов»).

ГЕРЦЕН

(с. 709)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 16.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 8 июля. № 12686.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 523–529).

Печатается по тексту первой публикации.

Поводом для написания статьи явилась работа академика Н. А. Котляревского «Из истории общественных настроений шестидесятых годов. „Колокол“, 1856–1861», опубликованная в «Вестнике Европы» (1911. № 6–7).

Об отношении Розанова к Александру Ивановичу *Герцену* (1812–1870) см. статью в *Розановской энциклопедии* (с. 224–226).

С. 709. *«дней Александровых прекрасное начало»* — А. С. Пушкин. Послание цензору (1822).

С. 710. *Чернышевский ~ поехал лигно повидать Герцена...* — Встреча Чернышевского с А. И. Герценом состоялась в Лондоне 6 июля 1859 г. Выражение «ископаемым мастодонтом» приведено из статьи Н. А. Котляревского, на которую ссылается Розанов.

Кружок «Современника» — В петербургском журнале «Современник» (1847–1866) сложилась группа крупнейших русских писателей: И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, издатели Н. А. Некрасов и И. И. Панаев.

...одно из странствий Пикквика... — Герой романа Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837, рус. пер. 1838) Пиквик попадает в долговую тюрьму, и его слуга, чтобы не расставаться с ним, тоже садится в тюрьму.

С. 711. *...«мражных героев» детских повестей Лермонтова.* — имеется в виду «Сказка для детей» (1839–1840), где в основную проблематику входит тема Демона.

«Черная шаль» — Стихотворение А. С. Пушкина, написанное в 1820 г. и опубликованное в журнале «Сын Отечества» (1821. № 15) с подзаголовком «Молдавская песня».

«лишний человек» («лишние люди») — выражение вошло в литературную речь после повести И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850).

...«Гамлеты» водились не только в «Щигровском уезде»... — речь идет о рассказе И. С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» (1849) из «Записок охотника».

С. 713. *...в восьми томах...* — имеется в виду издание: *Герцен А. И.* Сочинения и переписка с Н. А. Захарьиной. СПб., 1905. Т. 1–7 с 8 снимками.

Скужно, скужно!.. Ямщик удалой... — Н. А. Некрасов. В дороге (1845).

С. 714. *Дом не тележка у дядюшки Якова...* — Н. А. Некрасов. Дядюшка Яков (1867).

РЕЛИГИОЗНЫЙ «ЭКЛЕКТИЗМ» И «СИНКРЕТИЗМ»

(Из воспоминаний о Влад. С. Соловьёве)

(с. 715)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 65–65 об.

Впервые напечатано: РС. 1911. 8 июля. № 156. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21. С. 150 — 160.

Печатается по тексту первой публикации.

С. 715. *Г-н Н. Толстой напечатал письмо в редакцию «Нового Времени»...* — речь идет о статье униатского священника Н. А. Толстого «Владимир Соловьёв — католик» в газете «Русское Слово» № 192 от 21 августа 1910 г.

В пору угаствия в «Мире Искусства» я написал маленькую статью «Классификация славянофильских тегений». — статья не сохранилась; ср. заметку «Схема развития славянофильства» (1898): наст. изд. Т. 1. С. 520–521.

...у Д. В. Философова, соредатора «Мира Искусства»... — С 1900 г. редактором-издателем «Мира Искусства» стал С. П. Дягилев, в 1904 г. его соредатор — А. Н. Бенуа. Д. В. Философов в 1900 г. возглавил литературный отдел и привлек Розанова к участию в журнале.

...Влад. Соловьёву, только что тогда со мною познакомившемуся. — встречи Розанова с В. С. Соловьёвым обычно проходили в номере Соловьёва в петербургской гостинице «Англетер» (см. статью «Из старых писем: Письма Влад. Серг. Соловьёва»: наст. изд. Т. 2. С. 448–475).

С. 716. *«Что им Гекуба?»* — см. коммент. к с. 540.

С. 718. ...Франциска же Ассизского ~ не упомянул. — Упоминания Франциска Ассизского, хотя и немногие, у Вл. Соловьёва имеются: «Оправдание добра: Нравственная философия», «Национальный вопрос в России» и др.

Пансофий — в «Трёх разговорах» В. С. Соловьёва автор неоконченной рукописи «Краткая повесть об антихристе», которую читает г-н Z.

С. 719. *Конгрегация «de propaganda fide»* — см. коммент. к с. 322.

С. 720. ...«паси овцы Мои»... — Ин 21, 16.

С. 721. «Епископ должен быть единые жены мужем»... — ср.: 1 Тим 3, 2 («Епископ должен быть непорочен»).

...о времени и месте крещения св. Владимира: профессор Голубинский нашел новые данные... — Академик Е. Е. Голубинский считал, что св. Владимир крестился не в 988 г., а в 987 г. и не в Херсонесе (Корсунь), а в Василеве (История русской церкви. М., 1901. Т. 1. Гл. 2).

С. 722. *Скрижали завета* — две каменные плиты, данные Богом на Синае Моисею с начертанными на них десятью заповедями (Втор 9, 9–16). Исчезли после разрушения Иерусалимского храма в 587 г. до н. э. вавилонским царем Навуходоносором.

...Тургенев ~ «никогда не читал «Евангелия». — В своих «Воспоминаниях», опубликованных в книге «Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. 1857–1903» (СПб., 1911) двоюродная тетка Л. Н. Толстого рассказывала: «Заговорили об Евангелии. Тургенев отнесся к нему с каким-то неприятным пренебрежением, как к книге, ему мало известной. — Быть не может, чтобы вы никогда не читали Евангелия? — спросила я».

Он «отщепился» было от молодежи... — речь идет о том, что после выхода романа «Отцы и дети» часть нигилистически настроенной молодежи охладела к И. С. Тургеневу.

С. 723. ...Ванутелли — бывший в Петербурге во время коронации... — речь идет о священнике Винченцо Ванутелли, двоюродном брате кардиналов В. и С. Ванутелли; в апреле-июне 1891 г. он посетил Одессу, Киев, Москву, Петербург. О его сочинениях, посвященных поездке в Россию, Розанов мог прочитать в отзыве о нем Н. Толстого (Душеполезное чтение. 1893. № 3).

«Единство физических сил» — книга итальянского астронома Анджело Секки, переведенная на русский язык (СПб., 1880) с подзаголовком «Опыт естественно-научной философии».

«Filioque» — и от Сына (лат.). Догмат католицизма, в котором признается исхождение Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына, что не признается православием.

«В Дому Отца моего обителей много» — Ин 14, 2.

ЧЕМ НАМ ДОРОГ ДОСТОЕВСКИЙ?

(К 30-летию со дня его кончины)

(с. 724)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 10.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 6 авг. № 12715.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 529–536).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 724. ...статью С. А. Адриянова о Достоевском... — Адрианов С. Критические наброски // Вестник Европы. 1911. № 8. С. 329–337. Статья начинается цитатой из главы

«Ибсен и Достоевский в „Арабесках“ А. Белого» (М., 1911): «Достоевский привел в бोलото, надо искать иных путей... Он оставил нам в наследство Авгиевы конюшни психологии...»

С. 724. ...*тремя о нем статьями — Андрея Белого, г. Кранихфельда и Вячеслава Иванова...* — Кранихфельд В. П. Преодоление Достоевского // Современный Мир. 1911. № 5. С. 322–339; Иванов Вяг. Достоевский и роман-трагедия // РМ. 1911. № 5. С. 46–61; № 6. С. 1–17 (везде 2-я паг.). Статья А. Белого указана выше.

«*Полное собрание сочинений*» — издание А. Г. Достоевской вышло в Петербурге в 1882–1883 гг. в 14 томах.

С. 725. *Шпильгаген ~ тогда много его читал...* — В 1895–1896 гг. в Петербурге было издано Собрание сочинений немецкого писателя Ф. Шпильгагена в 8 томах, а в 1896–1899 гг. в другом петербургском издательстве вышло его Собрание сочинений в 23 томах.

С. 726. ...*быть с «гестным вором»...* — имеется в виду рассказ Ф. М. Достоевского «Честный вор» (1848).

С. 727. *После лица и книги...* — имеются в виду Иисус Христос и Евангелие.

«*Я всегда больше любил обдумывать...*» — В первом абзаце романа Достоевского «Униженные и оскорбленные» читаем: «Мне всегда было приятнее обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их».

Ромул и Рем — братья-близнецы, вскормленные, согласно римской мифологии, волчицей. Ромул стал основателем Рима и его царем (VIII в. до н. э.).

Нин и Семирамида — По греческой мифологии, оставленную в горах Семирамиду, дочь сирийской богини Деркетто, вскормили голуби и воспитали пастухи. Она стала женой вавилонского царя Нина. После смерти Семирамида превратилась в голубку.

С. 728. «*Услышал новое, увидел новое*»... — условная розановская цитата, основанная на общем тексте «Сна смешного человека».

...*лев лег бырядом с ягненком.* — В Библии иная аналогия: «Когда волк будет жить вместе с ягненком» (Ис 11, 6).

С. 729. ...*как слушали Нуму Помпилия первые пастухи Рима...* — Второй царь Рима Нума Помпилий (715–673/672 до н. э.) до избрания на царство жил в деревне, помогая своему старому отцу и общаясь с пастухами.

ДЕСЯТИЛЕТНИЕ КОНЧИНЫ Ф. Э. РОМЕРА

(8 августа 1901 г. — 8 августа 1911 г.)

(с. 730)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 7.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 8 авг. № 12717. Подпись: *В. Р.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 181–182).

Печатается по тексту первой публикации.

О писателе Федоре Эмильевиче *Ромере* (1838–1901) см. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 830–831). О его дочери Марии Федоровне см. там же статью А. В. Ломоносова (с. 829–830).

С. 730. ...*сочинения его составляли пять томов...* — речь идет об издании: *Ромер Ф. Э. Сочинения*. СПб.: А. Ф. Маркс, 1905. Т. 1–4.

«*Сельское Хозяйство и Лесоводство*» — журнал, выходивший в Петербурге с 1865 по 1917 г. Ф. Э. Ромер был одним из его редакторов.

С. 730. «Земледельческая Газета» — петербургская газета, выходившая с 1834 по 1917 г.

«Известия Министерства Земледелия <и Государственных Имуществ>» — журнал, выходивший в Петербурге в 1894—1917 гг. Первоначальный редактор Ф. Э. Ромер.

«Деревня» — журнал выходил в Петербурге с 1896 по 1915 г.

С. 730—731. Розанов перечисляет основные произведения Ромера: «Беседы о практическом плодоводстве» (СПб., 1901), романы: «Под разными флагами» (РО. 1898. № 1—5; РВ. 1900. № 8—12; отд. изд.: М., 1900), «Нерешенные задачи» (Новое Слово. 1895. № 1—6), «Дилетанты» (Вестник Европы. 1901. № 8, 9), «Сестры» (Вестник Европы. 1901. № 8, 9), «Деревенский линч» (Вестник Европы. 1876. № 7), «Губернская Магдалина» (Наблюдатель. 1888. № 11), «Последний этап» (РМ. 1888. № 3), «М-lle Катишь» (Отечественные Записки. 1859. № 2), «Пустое сердце» (РМ. 1889. № 4—5), «Вымирающие» (РТ. 1899. № 6—22), «Жизнь или сон» (Отечественные Записки. 1868. № 8), «Спящая песня» (Соч. Т. 1).

«МАГНИТСКИЕ» И ФИЛОСОФОВ

(с. 731)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 1336. Л. 6.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 5 сент. № 12745. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 219—222).

Печатается по тексту первой публикации.

О Дмитриии Владимировиче *Философове* (1872—1840) см. статью В. А. Фатеева и А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 1062—1074).

С. 731. В возражениях мне насчет состояния наук в России... — выходные данные полемиического отклика Д. В. Философова установить не удалось. Он спорил с положениями статей Розанова «Есть ли „наука“ в России (К академическому заявлению...)» и «Еще о „научном состоянии“ России» (*НВ*. 1911. 12 и 20 авг.).

...«Магнитского», этого Кассо... — Л. А. Кассо был министром народного просвещения (1911—1914), запрещал студенческие союзы и собрания, расправился со студенческими волнениями.

С. 732. Милюков ~ своих знаменитых «ослов»... — После роспуска 1-й Думы П. Н. Милюков требовал неповиновения власти (Выборгское воззвание) и при этом, как говорили, ездил на спинах левых «ослов».

«Не могу молгать» — одна из самых ярких статей Л. Н. Толстого была напечатана в отрывках 4 июля 1908 г. в ряде газет («Русские Ведомости», «Речь», «Слово» и др.), за что все газеты были оштрафованы. См. также коммент. к с. 410.

...Влад. Соловьёв в лекции после 1 марта... — см. коммент. к с. 701.

Долго не придет Катон... — римский политический деятель Катон Младший, имя которого стало символом честности. Крылатой стала фраза из Плутарха («Катон», 32): «Если Катон не нуждается в Риме, то Рим нуждается в Катоне».

С. 733. ...писала не так давно в «Рус. Вед.» г-жа Ел. Кускова... — речь идет о статье Екатерины Кусковой «Раненые» в газете «Русские Ведомости» от 17 июля 1911 г. (Розанов обычно называл ее Елизаветой).

ЗАГАДОЧНАЯ ЛЮБОВЬ
(Виардо и Тургенев)
 (с. 733)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 26.

Впервые напечатано: РС. 1911. 8 сент. № 207. Подпись: *В. Варварин*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 536—545).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов обращался к книге: Письма И. С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям. Собранные и изданные Г. И. Гальпериным-Каминским / Пер. с фр. М., 1900. В «Вестнике Европы» (1911. № 8—9) были напечатаны «Письма И. С. Тургенева Полине Виардо» из собрания Гальперина-Каменского в переводе М. Славинской.

С. 733. ...«бесконечно малой исчезающей величине»... — переменная, имеющая предел, равный нулю, называется бесконечно малой величиной.

С. 734. *Кто устоит против разлуки...* — М. Ю. Лермонтов. Демон (1829—1839), X.

С. 735. *К Вревской он тоже питал...* — С баронессой Ю. П. Вревской Тургенев познакомился в 1873 г., она бывала у него в Спасском и состояла в переписке с ним; с 1877 г. стала сестрой милосердия во время Русско-турецкой войны и умерла от тифа в Болгарии. Тургенев в стихотворениях в прозе посвятил ей запись «Памяти Ю. П. Вревской» (сентябрь 1878).

С. 739. ...*Мишле о Виардо...* — Французский историк Ж. Мишле называл Полину Виардо «великая, святая Виардо».

...*Гл. Успенский ~ «выпрямляет» его душу...* — см. коммент. к с. 270.

...«отрастали крылья»... — Платон. Федр. 246е: «божественное прекрасно, мудро, добростно и так далее; этим вскармливаются и взращиваются крылья души».

С. 740. *Лиза Калитина и Елена* — героини романов И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859) и «Накануне» (1860).

С. 741. *Тургенев ~ «так давно гитал Евангелие, что нитего из него не помнит».* — см. коммент. к с. 722.

«*се Жених грядет в полунощи*» — Мф 25, 6.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ
 (с. 741)

Сохранились: Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Оп. 1. Л. 145—151 (см. *Варианты*); после текста с подписью *В. Розанов* (зачеркнута) следует запись: «По переводе на французский язык прошу вернуть мне. *В. Варварин*» (также зачеркнуто); на полях — неавторские деловые пометы.

Впервые напечатано в кн.: *Розанов В. В. Л. Н. Толстой и русская церковь*. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1912. 23 с., с записью на последней странице: «Окончена печатанием 20 сентября 1911 г. в типографии А. С. Суворина». Предисловие датировано 25 сентября 1911 г.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 247—255).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 741. *«Revue Contemporaine»* — журнал, основанный в Париже в 1852 г.

С. 742. *...отлучение Толстого от Церкви...* — Определение Синода об отлучении Л. Н. Толстого от церкви 20–22 февраля 1901 г. было опубликовано в «Церковных Ведомостях» от 24 февраля 1901 г. (ввиду наступившего Великого поста анафема в церквях не читалась).

Его стихотворный ответ на одно стихотворение Пушкина... — имеется в виду стихотворение митрополита Филарета (Дроздова) «Не напрасно, не случайно / Жизнь от Бога мне дана» (1830), написанное в ответ на стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (1828, опублик. в «Северных цветах» на 1830 г.). 25 февраля 1830 г. Пушкин напечатал в «Литературной Газете» свой ответ Филарету: «В часы забав иль праздной скуки...», кончающийся словами: «И внемлет арфе серафима / В священном ужасе поэт».

...архиепископ Херсонский и Одесский Никанор уже писал профессору Н. Я. Гроту... — По поручению Синода Никанор (Бровкович) читал книгу Толстого «О жизни» (1888, издание запрещено цензурой и уничтожено) и в частном письме писал Н. Я. Гроту: «Мы без шуток собираемся провозгласить торжественную анафему <...> Толстому» (Н. Я. Грот в очерках, воспоминаниях и письмах СПб., 1911. С. 330). Ранее Никанор издал брошюру «Беседа о христианском супружестве против графа Л. Толстого» (Одесса, 1894).

...архиеп. Никанор ~ знаток позитивной философии Огюста Конта... — речь идет о сочинении Никанора «Позитивная философия и сверхчувственное бытие» (СПб., 1875–1888. Т. 1–3).

С. 744. *...битва при Заме* — 19 октября 202 г. до н. э. близ города Зама в Северной Африке римская армия Сципиона разбила армию Ганнибала.

С. 746. *...«труждающиеся и обремененные»...* — Мф 11, 28.

«Три старца» — Розанов неточно передает содержание рассказа Толстого, опубликованного в 1886 г. Толстой приводит притчу о том, как архиерей плыл на корабле из Архангельска на богомолье в Соловки и остановился на одном необитаемом острове, где жили три старца, которых он стал учить молитве «Отче наш».

Так мне рассказывал сам Толстой — Розанов посетил Толстого в Ясной Поляне 6 марта 1903 г.

...Оптиной пустыни, куда перед смертью поехал из Ясной Поляны гр. Толстой. — Покинув Ясную Поляну 28 октября 1910 г., Толстой первую половину следующего дня провел в Оптиной Пустыни, откуда отправился в Шамордино к сестре М. Н. Толстой, которой высказал пожелание остаться жить в Оптиной или Шамордино (*Маковицкий Д. П. Яснополянские записки // ЛН. М., 1979. Т. 90. Кн. 4. С. 407*).

С. 747. *...«Акрополь» русского народа; его «победа над Аннибалом»...* — Акрополь как верхняя, высшая часть древнегреческого города; окончательная победа Рима над Ганнибалом была при Заме (см. выше в этой статье).

С. 748. *...поднял бы против этой мухи камень, который может убить самого человека.* — аллюзия на басню И. А. Крылова «Пустынник и Медведь» (1808).

...Толстой учился в университете, на физико-математическом факультете... — На математическом отделении Казанского университета учился старший брат писателя Н. Н. Толстой. Л. Н. Толстой в мае 1844 г. подал прошение ректору Казанского университета Н. И. Лобачевскому о разрешении держать вступительные испытания на восточный факультет. Получив неудовлетворительные оценки, он после дополнительных испытаний был 20 сентября 1844 г. принят по разряду арабо-турецкой словесности. В августе 1845 г. он перешел с восточного отделения философского факультета на юридический факультет. За непосещение лекций в июне 1846 г. был посажен в карцер. 11 апреля 1847 г. был оформлен «Раздельный акт» между братьями и сестрой Толстыми, по которому он получил Ясную Поляну. На следующий день Толстой подал прошение об увольнении из Казанского университета.

СОЧИНЕНИЯ ЮРИЯ ФЕОДОРОВИЧА САМАРИНА

Том четвертый. Москва. 1911. Стр. LVI + 558

(с. 749)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 30 сент. № 12770. Подпись: *В. Р-въ*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 260–261).

Печатается по тексту первой публикации.

Сочинения Ю. Ф. Самарина были изданы в Москве (т. 1–10, 12) Д. Ф. Самариним, Ф. Д. и П. Д. Самариными. На 12-й том Розанов написал рецензию 3 января 1912 г. в «Новом Времени».

Высказывания Розанова о публицисте и мыслителе Юрии Федоровиче *Самарине* (1819–1876) см. в статье В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 857–858).

С. 749. «*День*» — московская газета, выходявшая в 1861–1865 гг. под редакцией И. С. Аксакова.

...пришлось герез полвека отступать... — имеется в виду революция 1905 г.

«ОТОЙДИ, САТАНА»

(с. 750)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 141. Л. 9.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 14 окт. № 12784.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 281–283).

Печатается по тексту первой публикации.

В заглавии использованы слова Иисуса искушавшему Его сатане (Лк 4, 8).

С. 750. *Изуродовали 10-летнюю девочку ~ убили отца и мужа ~ за убитого поднимает голос брат...* — речь идет о взрыве бомбы террористами на даче П. А. Столыпина (на Аптекарском острове в Петербурге) 12 августа 1906 г., когда были ранены его дочь и сын, а также об убийстве самого Столыпина, смертельно раненного в Киевском оперном театре 1 сентября 1911 г. Брат убитого премьер-министра Александр Аркадьевич Столыпин служил в редакции «Нового Времени», был другом Розанова и не имел возможности выступить по поводу убийства брата. Либеральная интеллигенция, против которой направлена эта статья Розанова, чуть не с одобрением отнеслась к убийству Столыпина. Это и возмущало Розанова, посвятившего Столыпину несколько статей.

С. 751. *...орган Гессена и Милюкова...* — имеется в виду газета «Речь», редакторами которой были И. В. Гессен и П. А. Милюков.

Еще о софизмах Влад. Соловьёва. Он разделил «национальность» и «национализм»... — речь идет о взглядах В. С. Соловьёва, высказанных в его сборнике статей «Национальный вопрос в России» (М., 1884. Вып. 1–2) и в позднейших публикациях, с которыми полемизировал Розанов.

...длинноволосый философ... — то есть В. С. Соловьёв.

С. 752. «*Судьба Пушкина*» — статья В. С. Соловьёва в «Вестнике Европы» (1897. № 9), в которой он попытался нравственно развенчать Пушкина.

И от «интимной близости» с Кулябкой некуда деться Мережковскому, Гиппиус... — Начальник Киевского охранного отделения Н. Н. Кулябо был причастен к подготовке убий-

ства П. А. Столыпина. Эти заключительные слова о высказывании Розанова, что Соловьёв «отрекся нравственно и от Пушкина», привели к тому, что друживший с Розановым С. П. Каблуков обратился в РФО с предложением исключить из него Розанова за «недопустимые выражения» о Вл. Соловьёве. 9 ноября 1911 г. Совет РФО рассмотрел письменное заявление Каблукова и не поддержал его. Дружеские отношения Розанова и Каблукова оборвались.

ОПРАВДАНЫЕ НАДЕЖДЫ НАШИХ ГЕРОСТРАТОВ

(с. 752)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 14 окт. № 12784. Подпись: *Подписчик «Словаря»*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 283–284).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 752. *«Новый энциклопедический словарь»* — универсальное издание, выпускавшееся издательским обществом Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона в Петербурге в 1911–1916 гг. Вышло 29 томов (по «Отто») из 48 намеченных.

...епископа Антонина, автора ~ пророка Варуха... — речь идет о магистерской диссертации епископа Антонина (Грановского) «Книга пророка Варуха» (СПб., 1902).

...громадный труд В. П. Череванского... — имеется в виду книга писателя В. П. Череванского «Исчезнувшее царство: (Эпоха Семирамиды): Историческая монография» (СПб., 1901. Ч. 1–2).

...Балобановой ~ «Библиотекосведение» — Книга Е. В. Балобановой называется «Библиотечное дело» (СПб., 1901).

...биография неразвитого и бесхарактерного студента Балмашова... — положительные статьи о террористе С. В. Балмашёве, убитшем в 1902 г. министра внутренних дел Д. С. Сипягина, продолжали после «Брокгауза–Ефрона» печататься и в советских энциклопедиях.

К 100-ЛЕТИЮ ПУШКИНСКОГО ЛИЦЕЯ

(19 октября 1811 г. — 19 октября 1911 г.)

К. Я. Грот. Пушкинский лицей (1811–1817).

Бумаги первого курса, собранные академиком К. Я. Гротом

(с. 753)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки неопубликованной статьи — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 3–4.

Впервые напечатано: Река времен (Книга истории и культуры). М., 1995. Кн. 3. С. 199–201. Публикация В. Г. Сукача.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 284–286).

Печатается по гранкам статьи в РГАЛИ.

С. 753. *Благотворившая в науке семья Гротов...* — Яков Карлович Грот, академик, языковед и историк литературы. Его жена Н. П. Грот писала на педагогические темы. Розанов откликнулся рецензией на 2-е издание ее книги «Свобода в жизни и государстве: Этюд по Чаннингу» (*НВип*. 1906. 16 нояб.). Их старший сын Николай Яковлевич Грот —

философ, профессор Московского университета, возглавлял Московское психологическое общество и был основателем и соредактором журнала «Вопросы Философии и Психологии», в котором в 1890–1892 гг. сотрудничал Розанов. См. о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 307–311). Младший сын Константин Яковлевич Грот – историк и литературовед, много сделавший для издания наследия своего отца. См. о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 306–307).

«Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» – книга Я. К. Грота, изданная в Петербурге в 1887 г., 2-е доп. издание вышло в 1899 г.

«Русский Архив» – ежемесячный историко-литературный сборник, выходил в Москве в 1863–1917 гг., редактор-издатель П. И. Бартнев.

«Русская Старина» – ежемесячное историческое издание, выходившее в Петербурге в 1870–1918 гг. Основатель журнала – М. И. Семевский.

Пушкин посетил лицей два раза... – в апреле–мае 1828 г. и в июне–июле 1831 г.

С. 755. ...о возвращении лицея в Царское Село... – 6 сентября 1843 г. лицей был переведен в Петербург (Каменноостровский пр., 21) и стал именоваться Императорским Александровским лицеем. Закрыт 29 мая 1918 г. В 1925 г. многие воспитанники лицея были репрессированы (дело лицейстов, по которому расстреляно 26 человек, обвинявшихся в праздновании Дня лицея 19 октября).

О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ДОСТОЕВСКОГО

(Литература в переплетениях с жизнью)

(с. 755)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС с авторской правкой – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 12–14.

Впервые напечатано: РС. 1911. 28 окт., 4 и 15 нояб. № 248, 254, 263. Подпись: В. Варварин.

Это последняя статья Розанова в газете «Русское Слово», где он печатался с 1905 г. под псевдонимами (обычно В. Варварин). В 1911 г. Д. С. Мережковский и Д. В. Философов в ультимативной форме («либо он, или мы») потребовали от издателя И. Д. Сытина изгнания Розанова из газеты.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 573–593).

Печатается по тексту первой публикации с учетом авторской правки.

С. 755. ...когда познакомился с его вдовой Анною Григорьевною... – Розанов познакомился с А. Г. Достоевской в 1893 г. после переезда в Петербург, и началась их переписка, продолжавшаяся до 1913 г.

С. 756. ...слова Тургенева: «Ну, пусть он изобразил в смешном виде меня (Кармазинов), но затем он затрол Грановского?» – И. С. Тургенев, узнавший себя в Кармазинове в «Бесах» Достоевского, с возмущением писал об этом М. А. Милютиной 3 (15) декабря 1872 г.: «В тех же „Бесах“ он представил меня под именем Кармазинова тайно сочувствующим Нечаевской партии» (Тургенев И. С. ПСС: В 30 т. Письма. М., 2000. Т. 12. С. 71). Письмо М. А. Милютиной было напечатано в «Русской Старине» (1884. № 1. С. 191), но Грановский там не упоминается.

«Перед ним сидел Шиллер, не тот Шиллер, который написал „Вильгельма Телля“ и „Историю тридцатилетней войны“...» – Розанов цитирует из повести Гоголя «Невский проспект» (1835). Исследователи считают, что упоминание Шиллера не случайно, а отража-

ет гоголевскую полемику с идеями Шиллера, которого он читал еще в Нежине. Пьеса «Вильгельм Телль» создана в 1804 г., «История тридцатилетней войны» — в 1793 г.

С. 757. ...*в погребке Ауэрбаха...* — пятая сцена первой части «Фауста» Гёте называется «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге».

...*от одного титулованного издателя...* — имеется в виду издатель и редактор газеты-журнала «Гражданин» князь Владимир Петрович Мещерский, где Ф. М. Достоевский печатал свой «Дневник писателя» (1873, 1876, 1877, 1880).

«Бобок» — рассказ-антиутопия в «Дневнике писателя. 1873» Ф. М. Достоевского (гл. 6).

Смоленское кладбище — старинное православное кладбище на Васильевском острове, созданное в 1738 г. Действие рассказа «Бобок» происходит на кладбище, но нет указания, на каком именно. Розанов провожал покойников на Смоленское кладбище, хорошо ему известное, и поэтому, очевидно, и упомянул название этого кладбища.

«*Знаете, деревенская угарная баня... И по всем стенам пауки...*» — Розанов пересказывает слова Свидригайлова из «Преступления и наказания» (4, I): «...вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» (Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1973. Т. 6. С. 221).

С. 758. *Пигасов* — персонаж из романа И. С. Тургенева «Рудин» (1856).

С. 760. «*калики-перехожие*» (*калиги-перехожие*) — старинное название странников, поющих духовные стихи и былины. Калига — сапог (*лат.*). Встречается в «Житии и хождении Даниила Русской земли игумена» (XII в.).

С. 761. ...«*у, Русь, чего ты вперила в меня оги и ждешь чего-то от меня...*» — Розанов вольно пересказывает «Тройку» Гоголя (последняя глава «Мертвых душ»): «Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..»

...*взгляд И. С. Аксакова...* — об этом см.: Рейсер С. «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“» (История одной легенды) // Вопросы литературы. 1968. № 2. С. 184–187; Богаров С., Манн Ю. «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“» // Там же. 1968. № 6. С. 183–185.

С. 763–764. ...*Бетховен и Бёрне так ругали «тайного советника» Гёте.* — Л. ван Бетховен говорил: «Я думал встретить царя поэтов, а встретил поэта царей» (см.: Р. Роллан. Гёте и Бетховен. 1930). Немецкий писатель и публицист Л. Бёрне в «Письмах из Парижа» (1834) объявляет Гёте «бесчувственным эгоистом, которого могут любить только бесчувственные эгоисты».

С. 764. ...*одно письмо из-за границы к Ап. Н. Майкову.* — 16 (28) августа 1867 г. Достоевский писал А. Н. Майкову из Женевы: «Стал закладывать платье. Анна Григорьевна всё свое заложила, последние вещицы».

...«*Мой талант стоит миллиона*» — ср. в письме Достоевского к В. Н. Майкову 11 (23) декабря 1868 г.: «Меня не хвалят, так я сам буду хвалиться» (2 Кор 11, 18).

С. 765. «*После меня хоть потоп*» — фраза приписывается фаворитке французского короля Людовика XV маркизе Помпадур.

...*я услышал лугую из русских фамилий...* — Как свидетельствует письмо Розанова к М. Горькому от июня 1911 г., речь идет о Бяратинских (князь В. В. Бяратинский и его жена артистка Л. Б. Яворская).

С. 766. ...*в Мессине этого не скажешь* — см. коммент. к с. 223.

«*История Меровингов*» — На основании «Истории франков» Григория Турского (VI в.) французский историк О. Тьерри создал книгу живых «Рассказов из времен Меровингов» (1840).

С. 767. ...*Мармеладове, которому «некуда пойти»*... — см. коммент. к с. 253.

С. 768. *Но лишь божественный глагол...* — А. С. Пушкин. Поэт (1827).

...*у Некрасова это была муза «мести и печали»*... — Н. А. Некрасов. «Замолкни, Муза мести и печали!» (1855).

«На восстание многих или на падение многих»... — Лк 2, 34.

Загорит, заблестит луг денницы... — строки из песни Рахили в драме Н. В. Кукольника «Князь Даниил Васильевич Холмский» (1840; д. II, сц. 2), которые Достоевский цитирует в «Дневнике писателя» (1877. Март. Гл. 2. § III).

С. 770. ...*разрывал в клоки «идеи» проф. Градовского*... — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя на 1880 год. Август. Гл. 3: Придирка к случаю. Четыре лекции на разные темы по поводу одной лекции, прочитанной мне г-ном А. Градовским. С обращением к г-ну Градовскому.

...*95 томов «Oeuvres»*... — Первое полное собрание сочинений Вольтера издано П. Бомарше в 70 т. и в 92 т. (1784–1789).

«благообразного старца» — Макар Иванович Долгорукий в романе Достоевского «Подросток» (III, 1).

«Идеалисты-циники» — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя 1876 г. Июль и август. Гл. 2. § I.

С. 771. *«Честный вор»* — рассказ Ф. М. Достоевского «Честный вор (Из записок неизвестного)» (1848).

«Сон смешного человека» — фантастический рассказ Достоевского в «Дневнике писателя» за 1877 г. Апрель. Гл. 2.

«Общественный договор» — трактат французского философа и писателя Ж. Ж. Руссо «Об общественном договоре» (1762, рус. пер. 1906).

С. 772. ...*о «кающемся дворянине»*. — От лица «кающегося дворянина» написаны очерки Н. К. Михайловского «Вперемежку», печатавшиеся в «Отечественных Записках» в 1876–1877 гг. Автором этого выражения Михайловский называет себя в книге «Литературные воспоминания и современная смута» (Михайловский Н. К. Соч. СПб., 1897. Т. 4. С. 210).

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы... — А. С. Пушкин. Отрок (1830).

И собирать на построение... — Н. А. Некрасов. Влас (1855).

С. 774. ...*до потрясения 1 марта*. — имеется в виду убийство императора Александра II 1 марта 1881 г.

Отречемся от старого мира... — П. Л. Лавров. Новая песня (1875).

«негаевская машинка» — речь идет об идеологии террора С. Г. Нечаева, автора «Категоризиса революционера» (1869).

ИЗ ЖИТЕЙСКИХ ВСТРЕЧ. К. М. ФОФАНОВ

(с. 775)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки журнала «Новое Слово» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 101–107, с зачеркнутой подписью: «В. Варварин» и поправками, не вошедшими в печатный текст. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: Новое Слово. 1911. № 11. Нояб. С. 19–23.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 546–553).

Печатается по тексту первой публикации.

См. коммент. к статье Розанова «К. М. Фофанов. Иллюзии. Стихотворения» (*НВп.* 1901. 14 февр.; наст. изд. Т. 3. С. 709) и статью Л. В. Суматохиной о Константине Михайловиче *Фофанове* (1862–1911) в «Розановской энциклопедии» (с. 1103–1104).

С. 775. ...«шли за облаком» – Исх 14, 20.

Сенная – Сенная площадь в Петербурге, первые упоминания о которой относятся к 1730-м гг. Была населена бедной (трущобы Вяземской лавры подобны московской Хитровке). Церковь Успения на площади (1765) была взорвана в 1961 г. Для Розанова Сенная связывалась с местом действия романа Достоевского «Преступление и наказание» и некрасовскими строками: «Вчерашний день, часу в шестом, / Зашел я на Сенную. / Там били женщину кнутом, / Крестьянку молодую».

...*схоронив Фофанова...* – К. М. Фофанов умер 17 мая 1911 г. в нищете в больнице.

С. 777. «Слово» – ежедневная петербургская газета, выходившая в 1903–1909 гг. Розанов печатался в ней в 1903–1905, 1908 гг.

«Литературные приложения» к «Торгово-Промышленной Газете» – Литературное приложение к газете выходило по воскресеньям в 1898–1900 гг. В 1899–1900 гг. его редактировал Розанов, поместивший в нем несколько своих статей.

Он жил на просторной, великолепной, уединенной улице... – С 1888 по 1909 г. К. М. Фофанов жил в Гатчине по различным адресам. В 2012 г. на месте, где был дом, в котором жил Фофанов с 1890 по 1906 г. (ул. Достоевского, 11), установлена мемориальная доска.

С. 780. *Звезды ясные, звезды прекрасные...* – одноименное стихотворение К. М. Фофанова (1885).

ЛОМОНОСОВСКИЕ ИЗДАНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ЕГО ЖИЗНИ (с. 781)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ.* 1911. 8 нояб. № 12809.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 299–302).

Печатается по тексту первой публикации.

Суждения Розанова о Михаиле Васильевиче *Ломоносове* (1711–1765) представлены в статье А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 536–538).

С. 782. *Под портретом подпись: «Московский здесь Парнас изобразил витию...»* – речь идет о гравюре Х. Вортмана. Стихотворная надпись под ней принадлежит ученику Ломоносова, поэту, профессору Московского университета Николаю Никитичу Поповскому (1730–1760).

С. 784. *Восторг внезапный ум пленил...* – первая строка «Оды блаженным памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» (опубл.: *Ломоносов М. В.* Соч. СПб., 1751).

Ступит на море – море китит... – Розанов имеет в виду строки Г. Р. Державина из стихотворения «На взятие Варшавы» (1795): «Ступит на горы, – горы трещат; / Ляжет на воды, – воды кипят». Ф. М. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (III) тоже неточно цитировал: «Ляжет на горы, – горы трещат».

Не то, что нынешнее племя... – М. Ю. Лермонтов. Бородино (1837).

...«*грустной песни ямщика*»... – ср. «В долгих песнях ямщика» (А. С. Пушкин. Зимняя дорога, 1826).

**К 20-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА
(1891 — 12 ноября — 1911)**

Памяти Константина Николаевича Леонтьева. † 1891 г.

Литературный сборник. С.-Петербург. 1911

(с. 785)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 185. Л. 11.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 12 нояб. № 12813.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 553—555).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 785. *«Христианство и его отношение к благоустройению земной жизни...»* — В письме от 14 октября 1909 г. К. М. Агеев просил Розанова о рецензии на сопровождающую письмо книгу, которая была защищена в качестве магистерской диссертации по богословию 15 марта 1909 г. В 1914 г. Агеев активно участвовал в исключении Розанова из РФО.

...письма к нему Леонтьева ~ в московском журнале «Русское Обозрение». — письма К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову за 1874—1891 гг. напечатаны в «Русском Обозрении» (1894. № 9, 11; 1895. № 11, 12; 1896. № 1, 3, 11, 12; 1897. № 1, 3, 5—7).

С. 786. *...между Сциллою и Харибдою...* — между опасностями с той и другой стороны. *Сцилла и Харибда* — в греческой мифологии два чудовища на скалах по обе стороны Мессинского пролива, поглощавшие мореплавателей.

...«иду на вас» («иду на вы») — Князь Святослав, начиная войну, заранее объявлял неприязнью: «Хочю на вы ити» (Повесть временных лет). Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» приводит слова Святослава: «Иду на вас!».

«Оправдание добра» — главный труд В. С. Соловьёва в области нравственной философии (СПб., 1897).

Из статей в тексте интересны... — помимо перечисленных Розановым названий статей в книгу «Памяти К. Н. Леонтьева. Литературный сборник» вошла статья самого Розанова «Неузнанный феномен» (ранее напечатанная без названия в качестве предисловия к публикации Розановым писем Леонтьева к нему в «Русском Вестнике» (1903. № 4—6)), а также статьи: *Коноплянцев А. М.* Жизнь К. Н. Леонтьева в связи с развитием его мирозерцания; *Александров А. А.* Из воспоминаний о К. Н. Леонтьеве; *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве; *Антоний, архиеп.* Искренняя душа; *Никольский Б. В.* К характеристике К. Н. Леонтьева.

...нашего неугомонного «герносотенника»... — педагог и публицист Борис Владимирович Никольский был арестован 17 мая 1919 г. и «как убежденный организатор Союза русского народа» расстрелян, о чем «Известия Петроградского совета» сообщили 21 июня 1919 г. З. Н. Гиппиус записала в своем дневнике: «Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку <около 7500 томов> конфисковали... На днях сына потребовали во „Всеобуч“... Там ему сразу комиссар с хохотом объявил (шутники эти комиссары!): „А вы знаете, где тело вашего папашки? мы его зверькам скормили“ (обычная практика чекистов того времени по передаче тел расстрелянных для зверей зоопарка)» (*Гиппиус З.* Дневники. М., 1999. Т. 2. С. 221).

Александровский рынок — В 1867 г. был открыт самый крупный в Петербурге Александровский рынок на Вознесенском проспекте (арх. А. К. Бруни). Здесь же располагалась городская толкучка. Просуществовал рынок до 1932 г.

Вот и Кусков до сих пор не издан... — литературно-критические и философские работы писателя Платона Александровича Кускова остались не переизданными до нашего времени.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(с. 787)

Автограф неизвестен.

Сохранилась верстка из газеты *НВ* с авторской правкой — РГАЛИ. Ф. 19. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 12. В вырезке снято первое слово «Сегодня». В тексте «в нашей литературе, делающейся все более и более смешною» последнее слово исправлено на «смешанною».

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 24 нояб. № 12825. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 311—312).

Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой на вырезке.

Об отношениях Розанова и сотрудника газеты «Новое Время» Виктора Петровича *Буренина* (1841—1926) см. статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 167—170). Первой публикацией критика, 50-летие которой отмечал Розанов, была анонимная заметка «Спасение цензуры в Москве» (Колокол. 1861. 15 нояб. № 112).

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ ДОБРОЛЮБОВА

(с. 788)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из *НВип* с правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 99—100, с исправлением опечаток, а также с дополнительной стилистической и смысловой правкой карандашом и чернилами (см. *Варианты*).

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 26 нояб. № 12827. С. 10—11.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 555—557).

Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой на вырезке из *НВип*.

Об отношении Розанова к критическому наследию Николая Александровича *Добролюбова* (1836—1861) см. в «Розановской энциклопедии» (с. 337—338).

С. 789. *И отзыв мыслей благородных...* — М. Ю. Лермонтов. Поэт (1838).

Ты дан мне в спутники, любви залог немой... — М. Ю. Лермонтов. Кинжал (1838).

БЛЯХА № 101

(с. 790)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 216. Л. 10.

Впервые напечатано: *НВ*. 1911. 17 дек. № 12848.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 21 (с. 321—323).

Печатается по тексту первой публикации.

Об отношениях Розанова и *Иванова-Разумника* (Иванов Разумник Васильевич; 1878—1946), которому посвящена настоящая статья, см. в «Розановской энциклопедии» (с. 419—420).

С. 790. *...«Иванов-Разумник», издающий книгу за книгою...* — В 1910—1916 гг. вышло пятитомное издание сочинений Иванова-Разумника, с 1911 г. под его редакцией и с его статьями стала выходить «Историко-литературная библиотека», проспект которой включал около 80 наименований (в 1911 г. в ней вышло пять книг). Кроме того, Иванов-Разумник выпустил книги: «История русской общественной мысли» (СПб., 1907. Т. 1—2),

«Что такое „махаевщина“? К вопросу об интеллигенции» (СПб., 1908; 2-е изд.: 1910), «О смысле жизни: Ф. Сологуб, Л. Андреев, Л. Шестов» (СПб., 1908; 2-е изд.: 1910), «Литература и общественность» (СПб., 1910).

С. 790. *К удовольствию Рубакина и его «Среди книг?»* — имеется в виду вышедший первый том труда книговеда Н. А. Рубакина «Среди книг: Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей» (М., 1911).

...во введении к статье и в заключении статьи: «значительный писатель», «крупная величина»... — глава о Д. С. Мережковском «Мертвое мастерство» в книге Иванова-Разумника «Творчество и критика» начинается похвалой: «Д. Мережковский — настолько крупный писатель, что раньше или позже историки литературы займутся изучением в хронологической последовательности в его многообразной деятельности, рассмотрят „эволюцию“ его взглядов, найдут начала и концы, подведут итоги...».

О другом писателе (грешным делом, это я сам): «Передонов»... — В главе о Розанове в книге «Творчество и критика» Иванов-Разумник писал: «Ведь это же Передонов, тот самый Передонов, о котором В. Розанов сердито писал, что-де это клевета, небывальщина, что-де „я сам“ был учителем провинциальной гимназии, а Передонова никогда не видал... Помните героиню басни Крылова, которая, „в зеркале увидя образ свой“, стала негодовать и возмущаться: „что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа!..“. Ах, многое знакомое нам по предыдущим строкам есть в Передонове: и истинно-русское хамство, и хитренькое себе-на-уме, и невежество, и бессознательное юродство, и даже трепет перед каждым городовым. Но что это было бы, если б Передонов стал заниматься на два фронта публицистикой?»

«Великие искания» — название третьего тома сочинений Иванова-Разумника, посвященного Белинскому (СПб., 1911). В 1908 г. он выпустил книгу «О смысле жизни» (перездана: СПб., 1910).

РОКОВОЕ В «НАСЛЕДИИ» ТОЛСТОГО...

(с. 791)

Сохранились: 1) Беловой автограф, озаглавленный «Около „наследия“ Толстого...» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 89—92, текст с подписью «В. Розанов»; сверху надпись: «Плотный корпус. С возможной поспешностью, и потому прошу Вас набрать это вперед рукописи, вчера отправленной („В министерстве просвещения“), Мих. Алекс. меня просил это написать в понедельник, т. к. вероятно он захочет это поставить сегодня. В. Розанов»; 2) Гранки с правкой и вставками — Там же. Л. 94—96 (см. *Варианты*); слева на полях помета: «№ 17», выделенная рамкой; в конце текста дата «1911»; напечатанная подпись «В. Розанов» зачеркнута, как и вписанная «В. Варварин».

Впервые напечатано в Собр. соч. Розанова, т. 21 (с. 331—334).

Печатается по тексту правленных гранок с исправлением по беловому автографу дефекта набора: пропуск слов «в том, что драгоценное наследие не будет» после слов «дать стране полное удостоверение» (с. 333, строка 39). Очевидно, статья предназначалась для газеты «Русское Слово», но после 5 ноября публикации Розанова в газете были прекращены, т. е. статья была написана не позднее ноября 1911 г.

С. 791. *...подобны «золоту Рейна» в трилогии Вагнера...* — речь идет об оперной тетралогии немецкого композитора Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» (1876), в сюжете которой символическое значение имеет золото, хранящееся на дне Рейна; кто скует кольцо из этого золота, говорится в прологе «Золота Рейна» (первая часть тетралогии), тот станет властелином.

С. 793. ...«астаповской катастрофы»... — Л. Н. Толстой скончался на станции Астапово (в ноябре 1918 г. переименована в «Лев Толстой») 7 ноября 1910 г.

«*муж рока*» — так А. С. Пушкин в поэме «Полтава» (песнь первая) называет Наполеона. Выражение восходит к античности («сын судьбы» в «Царе Эдипе» Софокла).

Она-то и оказалась наследницею всего... — 22 июля 1910 г. Толстой подписал завещание, по которому его дочь Александра Львовна стала распорядительницей его литературного наследия. В семейной драме родителей она полностью приняла сторону отца. После смерти Толстого Софья Андреевна передала Александре свои права на рукописи и ключи от 12 ящиков, в которых в Румянцевском музее хранились автографы, написанные Толстым до 1880 г. В 1928 г. как член редакторского комитета участвовала в выпуске первого тома Полного собрания сочинений Толстого (Юбилейного). В 1929 г. уехала в Японию, а в 1931 г. переехала в США, где основала Толстовский фонд и жила до смерти в 1979 г.

С. 794. ...отрекся от прав собственности на все (кроме рукописных) нехудожественные свои произведения... — 9 марта 1891 г. Л. Н. Толстой сообщил жене, что решил отказаться от авторских прав, выступив как отец антикопирайта. Он отказался от права издания своих книг, написанных до 1881 г.

...вся Россия не может не стать на сторону Софьи Андреевны... — Жена Толстого Софья Андреевна после смерти писателя передала принадлежащие ей рукописи Толстого на хранение в Исторический музей. Дочь А. Л. Толстая и В. Г. Чертков, опасавшиеся уничтожения ею части их, предприняли меры, чтобы получить рукописи в свое распоряжение. Эта тяжба закончилась лишь 6 декабря 1914 г., когда вышел указ Сената о передаче рукописей С. А. Толстой.

ТУЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ (К истории и загадке Черткова) (с. 795)

Сохранились гранки статьи с подписью: «В. Розанов» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 88. На полях черными чернилами вписан эпитафия с пометой: «Печатать в эпитафии».

Впервые напечатано в Собр. соч. Розанова, т. 21 (с. 347–348).

Печатается по гранкам РГАЛИ.

О В. Г. Черткове см. коммент. к статье Розанова «Друг великого человека» (с. 962).

С. 795. С. А. Толстая в Петербурге. Беседа с нашим сотрудником. «Биржев. Вед.», 1911 г. — 4 июня 1911 г. «Биржевые Ведомости» писали, что С. А. Толстая выразила желание передать рукописи Л. Н. Толстого в Академию наук.

Протел статью г. Перцова — «Чертковство»... — *тогнее: Перцов П. П. Чертковщина // НВ. 1911. 26 июня. № 12674.*

В «Людях лунного света» ~ «духовные содружества»... — см. главу «Муже-девы и их учение» в книге Розанова «Люди лунного света (раздел «Прослойки содомии у Л. Толстого»), вошедшей в том «В темных религиозных лучах».

«*О дружбе*» — *Флоренский Павел. Дружба: (Из писем к Другу); Приложение: Экскурс о ревности // Богословский Вестник. 1911. Т. I. № 1. С. 151–182; № 3. С. 467–507.* Статья была включена в книгу «Столп и утверждение Истины: Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» (М.: Путь, 1914) в качестве главы XII («Письмо одиннадцатое: Дружба»).

С. 795. ...«гипноза», о каком говорит г. Перцов... — см.: «После всего сообщенного из Ясной Поляны и о ней за последнее время <...> невозможно сомневаться и бесполезно скрывать, что в последние годы жизни великого старика существовал своего рода гипноз над ним г. Черткова — какое-то „омрачение“ Ясной Поляны этой угрюмой, тупой и жестокой в своей сущности силой, которая как бы молчаливо твердила: „что мое, то мое — j'y suis et j'y reste“» (Перцов П. Чертковщина. С. 4).

...Смердякова, играющего на гитаре и поющего куплеты — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. 1. Кн. 5. § II: Смердяков с гитарой.

Непостижимой силой... — Неточная цитата. Надо: «Непобедимой силой / Привержен я к милой / Господи пом-и-илуй / Ее и меня! / Ее и меня! / Ее и меня!». Продолжение: «Царская корона / Была бы моя милая здорова / Господи пом-и-илуй / Ее и меня! / Ее и меня! / Ее и меня!»

С. 796. ...Чертков переехал в Англию... — на самом деле В. Г. Чертков в 1897 г. был выслан в Англию за помощь духоборам. Эта вынужденная эмиграция завершилась в 1908 г. возвращением на родину.

...Смердяков думал эмигрировать во Францию. — см. слова из речи товарища прокурора Ипполита Кирилловича в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (кн. 10: Мальчики; § VIII: Трактат о Смердякове): «Россию проклинал и над нею смеялся. Он мечтал уехать во Францию, с тем чтобы переделаться во француза».

ПРОФ. В. И. ГЕРЬЕ И ЕГО ТРУД О ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (с. 796)

Автограф — РГБ. Ф. 279. К. 6. Ед. хр. 3. Л. 1—4.

Впервые напечатано в Собр. соч. Розанова, т. 21 (с. 348—352).

Печатается по автографу РГБ. В тексте и в *Вариантах* цифрами обозначены места зачеркнутых слов.

Не публиковавшаяся при жизни писателя статья посвящена книге: *Герье В. И. Французская революция 1789—95 г. в освещении И. Тэна*. СПб.: А. С. Суворин, 1911. 497 с. Об отношениях Розанова и историка, профессора Московского университета, его учителя по историко-филологическому факультету Владимира Ивановича Герье (1837—1919) см. в статье А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 229—233).

С. 796. ...«благорастворение воздухов»... — из молитвы «Великая ектенья», произносимой дьяконом во время обедни (литургия Иоанна Златоуста).

В надежде славы и добра — А. С. Пушкин. Стансы (1826).

Щедрин все плел восьмитомную сплетню... — В 1889 г. М. Е. Салтыков-Щедрин начал свое авторское издание «Сочинений» в восьми томах, заверенное после его смерти девятым томом (Материалы для биографии М. Е. Салтыкова. СПб., 1890).

«МУЧЕНИКИ ИДЕИ...» (с. 800)

Автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 10—11.

В Собр. соч. Розанова не включалось.

Печатается впервые по автографу РГАЛИ.

Статья посвящена повести Анны Митрофановны Аничковой (писавшей под псевдонимом Иван Странник; 1868—1935) «Кира Барсюкова» (Вестник Европы. 1911. № 4—7). Жена историка литературы Е. В. Аничкова, в конце 1890-х — начале 1900-х гг. она жила в Париже, опубликовала романы на французском языке, перевела на французский сборник рассказов М. Горького (Париж, 1901).

С. 800. *...близкими покойному основателю журнала...* — М. М. Стасюлевич умер 23 января 1911 г. С 1908 г. издателем «Вестника Европы» стал М. М. Ковалевский, редактором — К. К. Арсеньев.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ *

- Б. д. — без даты.
Б. з. — без заглавия.
Б. и. — без издательства.
Б. н. — без номера.
Б. п. — без подписи.
ПСС — Полное собрание сочинений.
РПЦ — Русская Православная Церковь.
РФО — Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (1907—1917).
РФС — Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге (1901—1903).

Архивохранилища

- АФ — Архив священника Павла Флоренского (Москва).
ГИМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей». Отдел письменных источников (Москва).
ГЛМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературный музей». Отдел рукописных фондов (Москва).
ИМЛИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт мировой литературы Российской Академии наук». Отдел рукописей (Москва).
ИРЛИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук». Рукописный отдел (СПб.).
РГАЛИ — Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив литературы и искусства» (Москва).
РГБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». Отдел рукописей (Москва).
РГИА — Федеральное государственное учреждение «Российский государственный исторический архив» (СПб.).
РНБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека». Отдел рукописей (СПб.).
ЦИАМ — Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Центральный исторический архив Москвы».

Печатные источники

- АНВ — Розанов В. В. Собр. соч. Апокалипсис нашего времени. М., 2000.
БВ — Богословский Вестник. Сергиев Посад, 1892 — 1918.
БВед — Биржевые Ведомости. СПб., 1880—1917.
ВВ — Вешние Воды. СПб, 1913—1918.

* Из журналов и газет времен Розанова сокращаются названия только тех, в которых он печатался.

- ВДЯ* – Розанов В. В. Собр. соч. Во дворе язычников. М., 1999.
- ВРХД (ВРСХД)* – Вестник русского студенческого христианского движения. Париж, 1925–1990. Далее Париж, Нью-Йорк, Москва.
- ВФП* – Вопросы Философии и Психологии. М., 1889–1918.
- Г* – Гражданин. СПб., 1872–1914.
- Голлербах* – *Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество.* Пг.: Полярная звезда, 1922.
- ЖМНП* – Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб., 1834–1917.
- ЖТЛХО* – Журнал Театра Литературно-Художественного Общества. СПб., 1907–1910.
- ЗР* – Золотое Руно. М., 1906–1909.
- К* – Колокол. СПб., 1905–1917.
- КУ* – Книжный угол. Пб., 1918–1922.
- Л* – Розанов В. В. Собр. соч. Листва. М.; СПб., 2010.
- ЛВИ* – Розанов В. В. Собр. соч. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996.
- ЛЖ* – см. *РЛЖ*.
- ЛИ* – Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. М., 2001.
- ЛИ-2* – Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. Кн. 2. М., 2010.
- ЛН* – Литературное наследство.
- МВ* – Московские Ведомости. М., 1756–1917.
- МИ* – Мир Искусства. СПб., 1899–1904.
- НВ* – Новое Время. СПб., 1868–1917.
- НВип* – Новое Время. Иллюстрированное приложение. СПб., 1891–1917.
- НП* – Новый Путь. СПб., 1903–1904.
- РВ* – Русский Вестник М.; СПб., 1856–1906.
- РЛЖ* – Российский литературоведческий журнал. М., 1993–1999 (с 2000 г. – Литературоведческий журнал).
- РО* – Русское Обозрение. М. (СПб.), 1890–1898, 1901, 1903.
- «Розановская энциклопедия»* – Розановская энциклопедия / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. М.: РОССПЭН, 2008.
- Спасовский* – *Спасовский М. М. В. В. Розанов в последние годы жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей.* 2-е изд. Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1968.
- ТПГ* – Торгово-Промышленная Газета. Литературное приложение. СПб., 1893–1917.
- PRO* – В. В. Розанов Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей / Изд. подготовил В. А. Фатеев. СПб.: РХГИ, 1995. Кн. 1–2.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *

- А(ксаков) — см. *Аксаков С. Т.*
А. — см. *Александр, архимандрит*
Абрикосов Алексей Алексеевич (1856—1931), издатель (вместе с братом Николаем) журн. «Вопросы Философии и Психологии» 568
Аввакум Петрович Петров (1620 или 1621—1681), протопоп, глава старообрядчества, духов. писатель 196, 197, 872
Авгий (Αὔγας), в др.-греч. мифологии царь племени эпеев в Элиде, обладавший многочисл. стадами 91, 969
Август (Augustus) Октавиан (Гай Юлий Цезарь Октавиан Август; 63 до н. э. — 14 н. э.), рим. император (с 27 до н. э.) 97, 564, 856
Августин Н., предположительный автор австр. песенки «Ах, мой милый Августин...» 665, 959
Авель, второй сын Адама, убитый своим братом Каином 103, 349
Авенариус Василий Петрович (1839—1923), писатель 863
 Дневник институтки 139, 863
Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943), полит. деятель, член ЦК партии эсеров (с 1907) 707, 708
Авраам, первый ветхозавет. патриарх эпохи после Всемир. потопа 43, 70–72, 257, 315, 341, 347–349, 359, 418, 704, 818, 820, 886
Аврелий (Марк Аврелий Антонин, Marcus Aurelius Antoninus; 121—180), рим. император (161—180), философ-стоик 537
Агамемнон (Ἀγαμέμνων), в др.-греч. мифологии царь микенский, брат Менелая, муж Клитемнестры, один из героев «Илиады» Гомера 491, 924
Агарь, египтянка, рабыня, ставшая наложницей ветхозавет. патриарха Авраама и родившая ему сына Исаиила 347, 348, 418
Агеев (Аггеев) Константин Маркович (1868—1921), протоиерей, богослов, церк. деятель 255, 785, 873, 885, 926, 979
 Христианство и его отношения к благоустроению земной жизни. Опыт критического изучения богословской оценки раскрытого К. Н. Леонтьевым понимания христианства 785
Адам, прародитель человечества 130, 174, 297, 348, 349, 357, 359, 417, 585
Адрианов (Адрианов) Сергей Александрович (1871—1942), лит. критик, публицист, историк литературы 724, 968
 Критические наброски 724, 968
Азеф Евгений Филиппович (Азев Евно Фишелевич; 1859—1918) 376–384, 616, 822, 823, 893, 903, 904, 948
Азов Владимир — см. *Ашкинази В. А.*
Айзман Давид Яковлевич (1869—1922), прозаик, драматург 477
Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928), лит. критик 958

* Составитель С. В. Степанов. Помимо принятых сокращений (см. «Список сокращений»), в Указателе используются традиционные библиографические сокращения. Иностранные родовые имена, особенно патронимы и дополнительные имена, как правило, полностью не приводятся. Для общеизвестных лиц указываются только их имена и даты жизни. Лица, подробные сведения о которых имеются в разделе «Комментарии» (к ним отсылает страница, выделенная полужирным курсивом), также не аннотируются. Курсивным шрифтом обозначены страницы раздела «Комментарии».

- Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), публицист-славянофил, поэт, обществ. деятель, изд. газет «Парус» (1859), «День» (1861–1865), «Москва» (1867–1868), «Русь» (1880–1886) 52, 73, 78–80, 84, 107, 117, 234, 539, 568, 620, 660, 706, 711, 761, 853, 854, 859, 881, 938, 973, 976
Речь о Пушкине при открытии памятника поэту в Москве 8 июня 1880 года 859
- Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860), публицист-славянофил, историк, лингвист, поэт 77, 404, 538, 695
- Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), прозаик, театр. и лит. критик, мемуарист, поэт 257, 258, 694, 886
История моего знакомства с Гоголем 258, 886
- Аксаковы 73, 79, 271, 437, 525, 887, 888, 890, 952
- Акцери (наст. фам. Ирецкая) Наталья Константиновна (1874–1940), камерная и оперная певица 640
- Аладьин Алексей Федорович (1873–1927), полит. деятель, один из организаторов «Трудовой группы» в Первой Гос. думе 87, 100, 855
- Александр (в миру Николай Михайлович Григорьев; 1874–1938), архимандрит Александро-Невской лавры (1906), член СПб. духовно-цензурного комитета 422–424
- Александр I Павлович (1777–1825), рос. император (с 1801) 89, 122, 154, 481, 520, 552, 589, 662, 709, 711, 753–755, 796, 848, 860, 930, 942, 967, 975
- Александр II Николаевич (1818–1881), рос. император (с 1855) 89, 249, 400, 421, 462, 479, 480, 710–712, 796, 855, 865, 869, 884, 912, 940, 958, 965, 977
- Александр III Александрович (1845–1894), рос. император (с 1881) 93, 125, 406, 563, 692, 730, 753, 861, 908, 953, 958, 965
- Александр Иванович – см. Герцен А. И.
- Александр Невский (1220 или 1221–1263), святой благоверный князь, полководец; князь Новгородский (1236–1251) и Тверской (1247–1252), вел. князь Владимирский (с 1252) 347, 783, 859, 880
- Александра Львовна – см. Толстая А. Л.
- Александров Анатолий Александрович (1861–1930), педагог, поэт, журналист, ред. журн. «Рус. Обозрение» (1892–1898) и газ. «Рус. Слово» (1894–1898) 107, 530, 979
Из воспоминаний о К. Н. Леонтьеве 979
- Алексей Михайлович (1629–1676), рус. царь (1645–1676) 433, 854, 952
- Алексий Студит (Ἀλέξιος ὁ Στουδίτης; ?–1043), патриарх Константинопольский (1025–1043) 854
- Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967), революционер, социал-демократ, большевик (1905–1908), журналист 87, 88, 100, 855
- Алкивиад (Ἀλκιβιάδης; 450–404 до н. э.), др.-греч. афин. оратор и полководец 104, 473, 529, 857
- Алмазов Александр Иванович (1859–1920), церк. деятель, историк 590, 943
- Алмазов Борис Николаевич (1827–1876), поэт, переводчик, лит. критик, прозаик 539, 933
Диссонансы 933
- Альбов Михаил Нилович (1851–1911), писатель 483, 705
- Алябьев Александр Александрович (1787–1851), композитор, пианист, дирижер 954
- Амвросий Оптинский (в миру, до 1840, Александр Михайлович Гренков; 1812–1891), преподобный, иеросхим., старец калуж. Введенской Оптиной пустыни 187, 241, 242, 746, 883
- Амиель (Амель) Анри Фредерик (1821–1881), швейц. писатель, поэт, мыслитель-эссеист 436, 915
Задуманный дневник (Из дневника Амиеля) 915
- Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) 488–491, 689, 924
Айседора (у Розанова: Айсидора) Дункан 489
Газетное 489

- Господа Обмановы 924
 Заметы сердца 489, 924
 Морская болезнь 489
 Николадзе 489
 О Боборыкине, Чаеве, Дьяченко, Лихачеве 489
 После праздника 489
 При особом мнении 489
 Притча о 29 февраля 489
 Шлиссельбуржцы 489
 Эрьзя (у Розанова: Ерьзя) 489
- Анакреон** (Анакреонт, Ἀνακρέων; 570/559—485/478 до н. э.), др.-греч. лирик 393, 442
Анге-Патяй, в мордов. мифологии мать богов, покровительница любви 670
Андреев Иван Дмитриевич (1867—1927), церк. историк, богослов 879
Андреев Леонид Николаевич (1871—1919), прозаик, драматург 28–33, 131–133, 140, 392, 393, 410, 425, 477, 500, 516, 529, 540, 541, 581, 600, 601, 624, 626, 635, 844, 845, 849, 862, 863, 910, 913, 922, 934, 941, 950, 951, 956, 981
 Бездна 131, 477, 862
 В тумане 131, 862
 Жизнь Василия Фивейского 140, 863
 Жизнь человека 28
 Иуда Искариот и другие 28, 133, 425, 845, 863, 913
 Красный смех (Отрывки из найденной рукописи) 140, 863
 Рассказ змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы 950
 Рассказ о семи повешенных 133, 140, 410, 863, 910
 Тьма 131, 133, 862
- Андреев Николай Андреевич** (1873—1932), скульптор, график, член Товарищества передвижников 893
Андрей Первозванный (? — ок. 70), первый из призванных апостолов (учеников) Христа, галилейский рыбак 877
Аникин Степан Васильевич (1868—1919), прозаик, публицист, депутат Первой Гос. думы 152
- Анисья** — см. *Клюжевская А. М.*
Аничков Евгений Васильевич (1866—1937), историк литературы, критик, фольклорист, прозаик 640, 984
Аничкова (ур. Авинова) **Анна Митрофановна** (псевд.: Иван Странник; 1868—1935), писательница, переводчица 800, 984
 Кира Барскокова 800, 984
- Анна** (22 до н. э. — 66), первосвященник Иудеи (6—15), сын Сета 564
Анна Григорьевна — см. *Достоевская А. Г.*
Анна Иоанновна (1693—1740), рос. императрица (с 1730) 47, 81, 82, 939, 978
Анна Леопольдовна (1718—1746), принцесса Мекленбург-Шверинская, правительница-регентша Рос. империи (1740—1741) 82
Анна Праведная (ок. 89 — ок. 10 до н. э.), мать Богородицы; в честь нее был учрежден орден св. Анны 568, 783
Анна Сергеевна — см. *Бухарева А. С.*
Анненков Павел Васильевич (1813—1887), критик, историк литературы, мемуарист 907
Анненский Иннокентий Федорович (1855—1909), поэт, драматург, переводчик, критик, директор Царскосельской гимназии (1896—1906) 826
Анненский Николай Федорович (1843—1912), экономист, журналист, обществ. деятель; брат И. Ф. Анненского 928
- Аннибал** — см. *Ганнибал*
Анреп Василий Константинович (1852—1927), врач, депутат Третьей Гос. думы, октябрист 100–103, 105, 857

- Антокольский Марк Матвеевич (имя при рождении Мордух Матысович; 1843–1902), скульптор 71, 852
 Ермак 71, 852
 Иван Грозный 71, 852
- Антон Крайний — см. *Gunnys 3. H.*
- Антон Ульрих (Anton Ulrich; 1714–1774), герцог Брауншвейг-Беве́рн-Люнебургский, отец рос. имп. Ивана VI Антоновича, генералиссимус (1740–1741) 82
- Антоний (в миру Александр Васильевич Вадковский; 1846–1912), богослов, проповедник, д-р церк. истории (1895), митрополит С.-Петербургский и Ладожский (с 1898); чл. Гос. совета (в 1906) 880
- Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий; 1863–1936), богослов, философ; архиепископ Волынский и Житомирский (1902–1914), архиепископ Харьковский и Ахтырский (с 1914), митрополит Киевский и Галицкий (с 1918), первый пред. Архир. синода РПЦ за границей (с 1921) 202, 536, 554, 595, 596, 979
 Искренняя душа 979
- Антонин (в миру Александр Андреевич Грановский; 1865–1927), старший цензор в С.-Петербург. духов. академии (1899–1903), епископ Нарвский (с 1903), впоследствии «обновленч. митрополит» 230, 450, 752, 918, 974
 Книга пророка Варуха 752, 974
- Антоша Чехонте — см. *Чехов А. П.*
- Аполлон (Ἀπόλλων), в др.-греч. мифологии бог солнеч. света, покровитель наук и искусств 260, 261, 478, 479, 524, 782, 930
- Аполлоний Тианский (Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς; 1–98), др.-греч. философ-неопифагорец 288
- Апраксин Федор Матвеевич (1661–1728), граф, один из создателей русского военного флота, ген.-адмирал (1708) 516, 929
- Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893), поэт, прозаик 378, 914
 Черные мухи 428, 914
- Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), граф (с 1799), гос. и воен. деятель 481, 755
- Арий (*Ἀρείος; 256–336), александрийский пресвитер, ересиарх 540, 541, 601, 934, 945
- Аристид (*Ἀριστέιδης; ок. 540 — ок. 467 до н. э.), афин. полководец, один из организаторов Делосского союза 75
- Аристотель (*Ἀριστοτέλης; 384–322 до н. э.), др.-греч. философ, ученый 107, 161, 212, 213, 241, 298, 535, 536, 543, 566, 641, 700, 834, 876, 905, 934, 939, 949, 954
 Никомахова этика 212
 О душе 107, 543, 934
 О небе 939
 Политика 107
 Риторика 954
 Физика 621, 949
 Этика 876
- Арсений (в миру Александр Иванович Мациевич, Мациевич; 1697–1772), митрополит Ростовский и Ярославский 423, 912
- Арсеньев Константин Константинович (1837–1919), писатель, адвокат, обществ. деятель 87, 615, 869, 912, 928, 948, 984
- Артемиды (*Ἄρτεμις), в др.-греч. мифологии богиня охоты, плодородия, женского целомудрия 626
- Архимед (*Ἀρχιμήδης; 287–212 до н. э.), др.-греч. математик, физик и инженер 32, 103
- Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927), прозаик, драматург, публицист 62–64, 66, 67, 127–132, 146, 305, 392, 486, 509, 540, 581, 582, 851, 861, 922, 928
 Санин 62–64, 66, 67, 127–129, 131, 132, 147, 305, 515–517, 851, 861, 862
 Смерть Ланде 63, 851
 Тени утра 63, 851

- Аскольдов (наст. фам. Алексеев) Сергей Алексеевич (1871—1945), религ. философ, спиритуалист и панпсихист 234, 255, 525, 874, 879
- Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813—1879), писатель, журналист, препод. Киев. духов. академии (1839—1846), издатель журн. «Домашняя Беседа» (1858—1877) 657, 658, 810, 957
- Аспазия (Ἀσπασία; ок. 470—400 до н. э.), возлюбленная Перикла 529
- Астарта (Ἀστάρτη), греч. вариант имени богини любви и плодородия Иштар из шумеро-аккадского пантеона 440, 916
- Ася — см. *Брюэр П.*
- Атилла — см. *Аттила*
- Атласов Владимир Васильевич (ок. 1661/1664—1711), сибирский казак, исследователь Камчатки 896
- Атрей (Ἄτρεΰς), в др.-греч. мифологии царь Микен, отец Агамемнона и Менелая 924
- Атрид — см. *Агамемнон*
- Атилла (Attila; ?—453), предводитель гуннов (с 434); возглавил опустошит. походы в Вост. др.-рим. империю (443, 447—448), Галлию (451), Сев. Италию (452) 622
- Ауслендер Сергей Абрамович (1886—1937), прозаик, драматург, театр. и лит. критик 392
- Ауэрбах (Auerbach) Бертольд (1812—1882), нем. писатель, поэт 724
- Афанасий Великий (ок. 295—373), святой, епископ Александрийский, отец и учитель Церкви 535, 541, 601, 934, 945
- Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871), литературовед, представитель «мифологич. школы» в фольклористике 65, 851
- Поэтические воззрения славян на природу 65, 851
- Афина (Ἀθηνᾶ), в др.-греч. мифологии богиня войны и победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремесел 847
- Афродита — см. *Венера*
- Ахилл (Ахиллес; Ἀχιλλεύς), в др.-греч. мифологии храбрейший из героев, предпринявших под предводительством Агамемнона поход против Трои 329, 901
- Ашкинази Владимир Александрович (1873 — не позже 1941), писатель, журналист, театр. критик 397, 906
- Б—ъ** 192, 871
- Бабст Иван Кондратьевич (1823—1881), историк, экономист, публицист 27
- Бадмаев Петр Александрович (1851—1920), врач тибетской медицины 49
- Базаров (наст. фам. Руднев) Владимир Александрович (1874—1939), философ и экономист, переводчик 226—228, 879
- Байков Иван Иванович (1869—1937), архитектор 859
- Байрон (Byron) Джордж Гордон (1788—1824) 20, 67, 320, 503, 529, 557—559, 575, 769, 770, 889, 938, 950, 964
- Паломничество Чайлд-Гарольда 694, 889, 964
- Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), мыслитель, революционер, анархист 76, 87, 265, 682, 708
- Бакунин Павел Александрович (1820—1900), публицист, философ, обществ. деятель 441
- Балабина (в замужестве Вагнер) Мария Петровна (1820—1901), ученица Н. В. Гоголя 886
- Балашов Виктор Петрович (1930—2016), литературовед 900
- Балла (Билха, Валла), служанка Рахили, одной из двух жен библ. патриарха Иакова, к-рая стала его женой и родила ему сыновей Гада и Асира 347
- Балмашов (Балмашёв) Степан Валерианович (1881—1902), революционер, убийца Д. С. Сипягина 752, 974

- Балобанова (Балабанова) Екатерина Вячеславовна (1847–1927), литературовед, специалист библиотеч. дела, педагог 752, 974
Библиотечное дело (Библиотековедение) 752, 974
- Бальзак (Balzac) Оноре де (1799–1850) 390
- Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873–1944), рус. и лит. поэт-символист, переводчик, дипломат 653
- Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт-символист, переводчик, эссеист 211, 392, 393, 395, 396
- Баранов Владимир О., д-р философии 582, 583, 941
Основные начала общественного устройства 941
О ценности жизни и основные начала миропонимания 582, 941
- Баранцевич Казимир Станиславович (1851–1927), писатель 483
- Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844), поэт 829
- Барков Иван Семенович (1732–1768), поэт, автор «срамных од» 61
- Барсуков Александр Платонович (1839–1914), историк, геральдист, генеалог 518, 929
Род Шереметевых 518, 929
- Барсуков Николай Платонович (1838–1906), историк, археограф, издатель, библиограф 518–525, 624, 929, 930, 950
Жизнь и труды Н. П. Погодина 518–525, 624, 929, 930, 950
Жизнь и труды П. М. Строева 520, 930
- Бартенев Петр Иванович (1829–1912), историк, археограф, библиограф; изд.-ред. журн. «Рус. Архив» (с 1863) 975
- Барятинский Владимир Владимирович (1874–1941), князь, прозаик, журналист, драматург; изд.-ред. газ. «Сев. Курьер» (1899) 976
- Батый (ок. 1209–1255/1256), монгольский полководец и гос. деятель, внук Чингисхана 122
- Батюшков Федор Дмитриевич (1857–1920), филолог и педагог, приват-доцент С.-Петербург. ун-та и лектор Высших женских курсов (1885–1898), ред. журн. «Мир Божий» (1902–1906) 396, 511–517, 906, 929
Спор о перепечатках и Пинкертон в литературе 511, 929
- Бахметев Николай Николаевич (1848–1909) 274, 275, 891
- Бахметева (Бахметьева) Софья (Нина?) Петровна (1848–1910), приемная дочь А. К. Толстого, муза Вл. С. Соловьёва 189
- Башкирцева Мария Константиновна (1858–1884), художница, автор дневника 260, 886
Неизданный дневник 260, 886
- Башуцкий Александр Павлович (1803–1876), писатель, ред.-изд. журн. «Иллюстрация» (1847–1849) 886
- Беатриче (возможно, Беатриче Портинари; 1266/1267–1290), тайная возлюбленная поэта Данте Алигьери 492–494
- Безобразова (ур. Соловьёва) Мария Сергеевна (1863–1918), детская писательница, младшая сестра Вл. С. Соловьёва 205, 699, 965
Воспоминания о брате Владимире Соловьёве 699, 965
- Беккариа (Beccaria) Чезаре (1738–1794), итал. мыслитель, публицист, правовед, обществ. деятель 37
- Бёклин (Böcklin) Арнольд (1827–1901), швейцар. живописец, график, скульптор 650
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), лит. критик, публицист 77, 78, 86, 88, 96, 148, 169, 298, 301, 302, 377, 388, 390–392, 394, 396, 426, 427, 513–517, 525, 617, 639, 641, 671–684, 708, 709, 764, 779, 780, 789–791, 836, 852, 904, 908, 913, 925, 929, 960, 962, 966, 981
Письмо к Гоголю 682
- Белинский Максим – см. Ясинский И. И.
- Белинский Максим Степанович, полковник, участник Бородинского сражения 609

- Белкин Алексей Сергеевич (?–1909), приват-доцент философии 306–308, 816, 897, 898
 Белкин Сергей Иванович, меховщик 306
- Белый Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934), поэт-символист, писатель, критик, мемуарист 211, 392, 653, 724, 946, 957, 969
 Арабески 969
 Отчаянье 606, 946
 Символизм 653, 957
- Беляев Юрий Дмитриевич (1876–1917), журналист, театр. критик, прозаик, драматург 922
- Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873), поэт, переводчик 279, 393
- Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844), граф (1832), военачальник, шеф жандармов и начальник III Отделения (с 1826) 427, 708
- Бентам (Bentham) Иеремия (1748–1832), англ. социолог, юрист, философ-утилитарист 634
- Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), живописец, график, худож. критик, историк искусства, мемуарист 967
- Бергсон (Bergson) Анри (1859–1941), фр. философ-интуитивист 700
- Бердягин Максим Владимирович (?–1907), эсер, террорист 313, 314
- Бердяев Николай Александрович (1874–1948), религ. философ, близкий к экзистенциализму; в 1922 выслан за границу 15, 141, 225, 253–255, 286, 288, 690, 805, 843, 863, 885, 926
 Опыт философского оправдания христианства (В. Несмелов) 254, 885
 Русские богоскатели 15, 843
- Бёрк (Burke) Эдмунд (1729–1797), англ. полит. деятель 473
- Беркли (Berkeley) Джордж (1685–1753), англ. философ-спиритуалист 212, 876
 Трактат о началах человеческого знания... 212, 876
- Берлиоз (Berlioz) Гектор (1803–1869), фр. композитор, дирижер 141
- Бёрне (Börne) Людвиг (1786–1837), нем. и еврейский публицист, писатель 68, 763, 764, 851, 976
 Менцель-французоед 851
 Письма из Парижа 976
- Берньюс (Bernius) Эдмон, фр. этнограф 861
- Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897), историк, учредитель и первый директор Высших женских (Бестужевских) курсов 429, 914
- Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770–1827), нем. композитор, пианист 763, 976
- Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927), психиатр, невропатолог, физиолог, психолог 485
- Бирилёв Алексей Алексеевич (1844–1915), военно-морской деятель, адмирал (1907) 92, 855
- Бирон (изначально: Бирен или Бюрен; von Bühren) Эрнст Иоганн (1690–1772), граф (1730), фаворит имп. Анны Иоанновны (с 1724), герцог Курляндии (1737–1769); отбывал ссылку (1741–1763) 81–83, 853
- Бирюков Павел Иванович (1860–1931), издатель, обществ. деятель, биограф Л. Н. Толстого 758
- Бисмарк (Bismarck) Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815–1898), князь, рейхс-канцлер Герман. империи (1871–1890) 90, 91, 126, 463, 475, 922
- Бичер-Стоу (Beecher-Stowe) Гарриет (1811–1896), амер. писательница-аболиционистка 18, 333, 844
 Хижина дяди Тома 333, 844
- Блаватская (ур. Ган) Елена Петровна (псевд.: Радда-Бай; 1831–1891), религ. философ-теософ, литератор, публицист 649, 956
- Блан (Blanc) Морис, фр. банкир, финансист 952

- Блок Александр Александрович (1880–1921) 34–42, 211, 223, 224, 230, 231, 233–236, 392, 395, 480, 845, 846, 873, 878, 880–882, 953, 956
 Балаганчик 33–36, 39, 41, 42, 845
 Лирические драмы 845
 Литературные итоги 1907 года 845
 Мережковский 230–231, 880, 881
 Россия и интеллигенция 235, 873, 882
- Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864), граф, гос. деятель, министр внутр. дел (1832–1838), председатель Гос. совета (с 1862) и Комитета министров (с 1861) 482
- Блюхер (Blücher) Гебхард Леберехт (1742–1819), фельдмаршал; в 1815 главнокомандующий прусско-саксонской армией в сражении с Наполеоном I под Ватерлоо 61
- Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921), прозаик, драматург, лит. критик, публицист, мемуарист 178, 489, 490, 695, 882, 964
- Богданов (наст. фам. Малиновский) Александр Александрович (1873–1928), ученый-энциклопедист, врач, революционер, член РСДРП (1896–1909) 615, 948
- Богданович Ангел Иванович (1860–1907), публицист, критик 944
- Боголепов Николай Павлович (1846–1901), правовед, министр нар. просвещения (1898–1901) 731, 752
- Боголюбов Алексей Петрович (1824–1896), художник-маринист 962
 Записки моряка-художника (1873–1883) 962
- Богородица – см. *Мария*
- Богров Дмитрий Григорьевич (1887–1911), анархист, секретный осведомитель, убийца П. А. Столыпина 750
- Богучарский (наст. фам. Яковлев) Василий Яковлевич (1860–1915), писатель, журналист, публицист, легальный марксист 952, 966
 К биографии П. Ф. Якубовича 707, 966
- Бодянский Осип Максимович (1808–1877), филолог, историк, археограф, переводчик 914
- Бозетти (Bosetti) Ромео (1886–1942), фр. режиссер, актер, сценарист 892
 Бег полицейских 892
 Бег тещ 277, 892
 За париком 892
- Боккаччо (Боккаччио, Воссассио) Джованни (1313–1375), итал. прозаик, поэт 77, 144, 852
 Декамерон 852
- Бокль (Buckle) Генри Томас (1821–1862), англ. историк 124, 125, 294, 403, 531, 725, 726, 861
 История цивилизации 861
 История цивилизации в Англии 124, 861
- Бомарше (Beaumarchais) Пьер (1732–1799), фр. драматург, публицист 977
- Бональд (Bonald) Луи Габриэль Амбруаз (1754–1840), фр. философ-традиционалист 472
- Бонапарт – см. *Наполеон I Бонапарт*
- Борель Петр Федорович (1829–1901), живописец, портретист 402, 908
 Литературный вечер у Плетнёва 402, 908
- Борис Константинович (?–1393), князь Городецкий, третий сын Константина Васильевича, князь Суздальско-Нижегородский 916
- Борис Федорович Годунов (между 1549 и 1552–1605), рус. царь (с 1598) 81–83, 235, 284, 853
- Борк – см. *Бёрк Э.*
- Бородаевский Валериан Валерианович (1874/1875–1923), поэт 500, 502, 503, 926
 Маги 500
 Стихотворения: Элегии. Оды. Идиллии 500, 926
- Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887), композитор, химик, медик 107, 113, 858

- Боссюэ (Боссюэт, Bossuet; 1627–1704), фр. богослов, писатель 465
- Бострем Иван Федорович (1857–1934), флотоводец, мореплаватель, вице-адмирал 92, 93
- Боткин Василий Петрович (1810–1869), очеркист, лит. критик; сотр. журн. «Отеч. Записки», «Современник» 639, 913, 962
- Боткин Сергей Петрович (1832–1889), врач, обществ. деятель 427
- Боткин Сергей Сергеевич (1859–1910), врач, коллекционер 313
- Ботта (Botta) Поль Эмиль (1802–1870), фр. археолог, дипломат 502
- Бочаров Сергей Георгиевич (р. 1929), литературовед 976
«Все мы вышли из гоголевской „Шинели“» 976
- Бочарова Ирина Анатольевна (р. 1929), литературовед 875
- Брама (Брахма, Brahmā), в буддизме название богов, находящихся за пределами Сферы чувственного 696
- Брандес (Brandes) Георг (1842–1927), дат. литературовед, публицист 260, 886
- Браудер Карл (сер. XIX в.), ремесленник 130, 862
- Бредихин Федор Александрович (1831–1904), астроном, директор Пулковской обсерватории 194
- Бриллиантов Александр Иванович (1867–1933), богослов, философ, церк. историк 486
- Брокар Генрих Афанасьевич (1836–1900), парфюмер, меценат, коллекционер фр. происхождения 595, 943
- Брокгауз (Brockhaus) Фридрих Арнольд (1772–1823), нем. издатель, основатель издат. фирмы «Брокгауз»; типография его имени существовала в Лейпциге (1855–1896) 107, 192, 752, 974
- Бругш (Brugsch) Генрих Карл (1827–1894), нем. египтолог 504
- Бруни Федор Антонович (1799–1875), художник 907, 979
- Брут (Марк Юний Цепион, Marcus Junius Brutus Caerius; 85–42 до н. э.), в Др. Риме глава заговора 44-х против Цезаря 930
- Брюллов Карл Павлович (1799–1852), художник, живописец, монументалист 270
- Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт-символист, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, критик 392, 395, 396, 505, 602, 653, 921, 927, 939, 957
Испеленный. К характеристике Гоголя 602, 939
Последние страницы из дневника женщины 921
- Брюэр Полина (Пелагея) Ивановна (Анна, Ася; 1842–1919), внебрачная дочь И. С. Тургенева 493, 884, 925
- Буало-Депрео (Voileau-Despréaux) Николая (1636–1711), фр. поэт, критик, теоретик классицизма 465
- Бугаев Николай Васильевич (1837–1903), математик, философ 653
- Бугровский М., публицист (1900-е) 173, 174, 868
- Будда Шакьямуни (563–483 до н. э.), духов. учитель, легендар. основатель буддизма 46, 182, 184, 446, 566, 588, 696
- Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), религ. философ, богослов, священник (1918); с 1922 в эмиграции 234, 286–288, 863, 865, 904, 933
От марксизма к идеализму 382, 904
- Булгаков Федор Ильич (1852–1908) 48–51, 848
- Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859), прозаик, журналист и критик, изд. газ. «Сев. Пчела» (1825–1859) и журн. «Сын Отечества» (1825–1839) 639, 640, 682
- Бунин Афанасий Иванович (1716–1791), тульский помещик, отец В. А. Жуковского 437
- Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) 606, 607, 946, 956
Деревня 606, 946
- Буняковский Виктор Яковлевич (1804–1889), математик 731
- Буренин Виктор Петрович (1841–1926), критик, поэт-сатирик, драматург 36, 108, 787, 846, 944, 980
Спасение цензуры в Москве 980

- Буренин Константин Петрович (1836—1882), педагог, авт. учебников по физике и математике (совм. с А. Ф. Малининым) 251, 884
Физика 251
- Буридан (Buridan) Жан (ок. 1300 — ок. 1358), фр. философ, логик, богослов 572, 574, 939
- Бурцев Владимир Львович (1862—1942), публицист, издатель 871, 903
- Буслаев Федор Иванович (1818—1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства 176, 290, 623, 664, 668—670, 683, 869
- Бутлеров Александр Михайлович (1828—1886), химик, пчеловод, обществ. деятель 191, 193, 585, 731, 942
- Бутру (Boutroux) Эмиль (1845—1921), фр. философ, историк философии 700
- Бутягина (ур. Руднева) Варвара Дмитриевна (1864—1923), вдова чиновника, вторая жена Розанова (с 1891) 546, 899, 935
- Бухарев Александр Матвеевич (в монашестве Феодор; 1822—1871), духов. писатель, богослов 656—658, 957
Исследование Апокалипсиса (Толкование на Апокалипсис) 657, 957
- Бухарева (ур. Родышевская) Анна Сергеевна (1840—1922), жена А. М. Бухарева 657
- Буш (Busch) Герман (1468—1534), нем. поэт, просветитель, один из авторов «Писем темных людей» 864
- Бэкон (Bacon) Фрэнсис (1561—1626), англ. философ, историк, полит. деятель 161, 567, 718
- Бюффон (Buffon) Жорж Луи Леклерк (1707—1788), фр. натуралист, биолог, математик, естествоиспытатель 323, 515, 929
- Бюхнер (Büchner) Людвиг (1824—1899), нем. врач, естествоиспытатель, философ 531
- В.** — см. *Бутягина В. Д.*
- В-ский К. В. — см. *Вознесенский К. В.*
- Вагнер, писатель 125, 126, 861
- Вагнер Николай Петрович (1829—1907), зоолог, прозаик 191, 193
- Вагнер (Wagner) Рихард (1813—1883) 141, 791, 981
Золото Рейна 791, 792, 981
Кольцо нибелунга 981
- Валаам, прорицатель из г. Пефор (Птор) или Фафур на Верхнем Евфрате 113, 628, 704, 858, 951
- Валуев Петр Александрович (1815—1890), граф (1880), министр внутр. дел (1861—1868), пред. Комитета министров (1879—1881); прозаик, духов. писатель 105, 796
- Ванутелли (Vannutelli) Винченцо (1836—1930), итал. кардинал (с 1889); префект Свящ. конгрегации Собора (1902—1908), префект Верховного трибунала Апостольской сигнатуры (1908—1914) 968
- Ванутелли Винченцо, священник-доминиканец, двоюр. брат предыдущего и последующего 723, 968
- Ванутелли (Vannutelli) Серафино (1834—1915), кардинал (1887), архиеп. и апостолич. делегат в Перу и Эквадоре (с 1869), нунций в Брюсселе (1875—1880) и в Вене (1880—1887) 968
- Варух (Барух), библ. пророк 752, 974
- Варя — см. *Бутягина В. Д.*
- Василий II Болгаробойца (Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος; 958—1025), визант. император из Македонской династии 84, 854
- Василий Блаженный (1468/1462—1557?), святой, Христа ради юродивый 136, 859
- Василий Великий (330—379), святитель, богослов, проповедник, архиепископ Кесарии Кападокийской 246, 669, 670
- Василий Ярославич (1236/1241—1276), князь Костромской, великий князь Владимирский (1272—1276) 859

- Василий Максимович — см. *Шундигов В. М.*
- Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926), художник, архитектор 236
- Ватель-Гедройц Мария Николаевна, внучка двоюор. сестры В. И. Гедройц (Сергея Гедройца) 926
- Введенский Александр Иванович (1856—1925), философ-идеалист и психолог, представитель рус. неокантианства 485
- Введенский Алексей Иванович (псевд.: А. Басаргин; 1861—1913), богослов, историк философии, лит. критик; проф. Моск. духов. академии (с 1892) 212, 486, 644, 831, 874, 876
- Вебер (Weber) Альфред (1835—1914), фр. философ, теолог, проф. Страсбургского ун-та (с 1872) 876
- История европейской философии 876
- Вебер (Weber) Георг (1808—1888), нем. историк, филолог 97, 856
- Всеобщая история 97, 856
- Вега (Вега и Карпио, Vega у Carpio) Феликс Лопе де (1562—1635), исп. драматург, поэт, прозаик 282
- Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908), поэт, переводчик, историк литературы 688, 954, 961
- Вейнингер (Weininger) Отто (1880—1903), австр. философ, психолог 457, 919
- Пол и характер 457, 919
- Велес (Волос), в слав. мифологии «скотий бог», покровитель сказителей и поэзии 222
- Величко Василий Львович (1860—1903), поэт, драматург, публицист 189, 192, 193, 196, 199—201, 872, 873
- Веллингтон (Wellington) Артур Уэлсли (1769—1852), англ. полководец, гос. деятель, победитель при Ватерлоо (1815) 61
- Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), лит. критик, историк литературы, библиограф, редактор 398, 399, 513, 514, 516, 517, 823, 928, 929
- Венера (Venus), в др.-рим. мифологии богиня плодородия, любви и красоты 162, 268, 270, 271, 345, 367, 737—740, 889, 905, 919
- Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861—1928), прозаик 642, 690, 963
- Вергешская (ур. Тыркова, в 1-м браке Борман, во 2-м — Вильямс) Ариадна Владимировна (1869—1962), деятель либерал. оппозиции, член ЦК партии кадетов, депутат Гос. Думы, прозаик и критик; с 1918 в эмиграции 614
- Вергилий (Публий Вергилий Марон, Publius Vergilius Maronus; 70—19 до н. э.), др.-рим. поэт 75, 98, 782
- Верёвкин Михаил Иванович (1732—1795), драматург, переводчик 856
- Жизнь покойного Михаила Васильевича Ломоносова 856
- Вересаев (наст. фам. Смидович) Викентий Викентьевич (1867—1945), писатель, переводчик, литературовед 427, 913
- Записки врача 427, 913
- Веспасиан (Тит Флавий Веспасиан, Titus Flavius Vespasianus; 9—79), рим. император (с 69) 887
- Веста (Vesta), в др.-рим. мифологии богиня-покровительница семейного очага и жертвенного огня 98
- Ветрова В. И., участница дискуссии на заседании РФО в дек. 1908 г. — янв. 1909 г. 211, 228
- Виардо (Viardot) Луи (1800—1883), фр. писатель, искусствовед, критик, театр. деятель, переводчик 738, 739
- Виардо (Гарсиа-Виардо, García-Viardot) Полина (1821—1910) 249, 491—496, 509, 625, 733—741, 864, 884, 924, 925, 971
- Виккерс (Vickers) Эдвард, англ. мельник, основатель компании «Виккерс» 92
- Виктория (Victoria; 1819—1901), англ. королева (с 1837) 892
- Вильгельм II (Wilhelm II., Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский; 1859—1941), герман. император и король Пруссии (1888—1918) 872

- Виндельбанд (Windelband) Вильгельм (1848–1915), нем. философ-идеалист 212, 876
 История древней философии с приложением философии средних веков и эпохи Возрождения 212, 876
 История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками 212, 876
- Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925), историк-медиевист, правовед 432, 668
- Виргилий — см. *Вергилий*
- Вирсавия, дочь Елиама, вдова Урии Хеттеянина, жена царя Давида, мать царя Соломона 873
- Виссарион, Висинька — см. *Белинский В. Г.*
- Витгефт Вильгельм Карлович (1847–1904), контр-адмирал (с 1899) 199, 873
- Витте Сергей Юльевич (1849–1915), граф, министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), пред. Комитета министров (1903–1906), пред. Совета министров (1905–1906) 90, 578, 705, 855, 966
- Владимир I (Владимир Святой Равноапостольный; ок. 960–1015), князь Новгородский (с 970), вел. князь Киевский (с 978); креститель Руси 99, 968
- Владимир Андреевич (1533–1569), князь Старицкий (1541–1566), Дмитровский (1566–1569), предпоследний удельный князь 959
- Владимир Всеволодович Мономах (в крещении Василий; 1053–1125), князь Смоленский (1073–1078), Черниговский (1078–1094), Переяславский (1094–1113), вел. князь Киевский (1113–1125); полководец, писатель 83, 347
- Владиславлев Владимир Андреевич (1807–1856), писатель, изд. альманаха «Утренняя Заря» 961
- Вогюэ (Vogüé) Эжен Мелькиор де (1848–1910), фр. дипломат, археолог, меценат, лит. критик, историк литературы 901
- Водовозов Василий Иванович (1825–1886), педагог, переводчик, детский писатель 646
- Вознесенский Константин Васильевич, товарищ Розанова по ун-ту; учитель гимназии 24, 844
- Волконская (ур. Бестужева-Рюмина) Аграфена Петровна (?–1732), княгиня, статс-дама Екатерины I 47
- Волконская Елизавета Григорьевна (1838–1897), княгиня, католичка 192
- Волконские 717, 723
- Волынский (наст. фам. Флексер) Аким Львович (1863–1926), лит. критик, искусствовед 17, 18, 234, 386–389, 392, 483, 823, 824, 843, 881, 905
 Книга великого гнева 843
 Письмо об «Эдипе» 949
 Русские критики 905
 Ф. М. Достоевский. Критические статьи 386–389, 905
 Царство Карамазовых. Н. С. Лесков. Заметки 386, 905
- Волынский Артемий Петрович (1689–1740), гос. деятель, дипломат, астраханский и казанский губернатор (1719–1730), кабинет-министр (1738) 81–83, 576, 853, 939
- Вольней (Volney, наст. фам. Буажире) Константин Франсуа (1757–1820), фр. просветитель, философ, ученый-ориенталист 627, 629, 951
- Вольтер (Voltaire; наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруз; 1694–1778), фр. прозаик, поэт, драматург, философ, историк 336, 465, 472, 526, 585, 693, 694, 770, 930, 942, 949, 977
 Послание к автору новой книги о трех обманщиках 942
- Вольф Маврикий Осипович (1825–1883), издатель, книгопродавец, просветитель, энциклопедист 121, 540, 600, 645, 860, 945, 955
- Вортман (Wortmann) Христиан Альберт (Альбрехт; 1680–1760), нем. гравер 978
- Восторгов Иван Иванович (1864–1918), протоиерей, проповедник, церк. писатель 875
- Востряков Борис Дмитриевич, землевладелец с. Александровка Тамбовской губ., корреспондент А. И. Эртеля 442, 449
- Врангель Александр Егорович (1833–1915), барон, юрист, дипломат, археолог, мемуарист 918

- Вревская (ур. Варпаховская) Юлия Петровна (1838 или 1841—1878), баронесса, фрейлина, сестра милосердия во время Русско-турецкой войны, друг И. С. Тургенева 735, 971
 Вундт (Wundt) Вильгельм (1832—1920), нем. врач, физиолог и психолог 307, 567, 569, 898
 Душа человека и животных 898
 Основания психологической психологии 898
 Вышнеградский Иван Алексеевич (1831—1895), ученый-механик, гос. деятель, министр финансов (1888—1892) 113, 858
 Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), князь, поэт, лит. критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист, друг А. С. Пушкина 519, 520, 930, 933
 Вьяльцева Анастасия Дмитриевна (1871—1913), эстрадная певица, исполнительница цыганских романов 509
- Г—ть** 561, 937
 Ошибки иерархов (Из бесед) 937
 Габсбурги (Habsburger), австр. династия 852
 Гагарин (с 1843 иезуит о. Ксаверий; 1814—1882), князь, литератор, католич. священник 717, 723
 Гакстгаузен (Haxthausen) Август фон (1792—1866), барон, прус. экономист, писатель по аграрным вопросам, исследователь России и Кавказа 534, 932
 Исследование внутреннего положения, жизни народа и в особенности о земельном устройстве России 534, 932—933
 Конституционное начало 933
 Галич (наст. фам. Габрилович) Леонид Евгеньевич (1878—1953), публицист, лит. критик, философ 208, 486, 849
 Последний ответ 849
 Свой человек оболгал 849
 Гальберг Самуил Иванович (1787—1839), скульптор 930
 Гальперин-Каменский (Каминский) Илья Данилович (1859—1935), литературовед, переводчик 733, 737, 738, 971
 Гамсун (Hamsun) Кнут (наст. имя и фам. Кнуд Педерсен, Pedersen; 1859—1952), норвеж. прозаик, публицист 141
 Ганка (Hanka) Вацлав (1791—1861), чеш. филолог, поэт 431, 914
 Ганнибал (Аннибал; 247—183 до н. э.), карфаген. полководец 744, 747, 972
 Гано (Ganot) Адольф (1804—1887), фр. физик, метеоролог 569, 938
 Курс физики 569, 938
 Гарун аль-Рашид (Харун ар-Рашид; 766—809), арабский халиф, правитель Аббасидского халифата (786—809) 330
 Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888), прозаик, поэт, худож. критик 70, 396—398, 852, 906
 Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) 193, 273, 296, 299, 541, 566, 601, 870, 879
 Лекции по истории философии 870
 Гедройц Вера Игнатьевна (псевд.: Сергей Гедройц; 1870—1932), хирург, поэтесса, прозаик 500, 503—505, 926, 927
 Стихи и сказки 503, 927
 Гедройц Сергей Игнатьевич (1871—1886), брат предыдущей 926
 Гейне (Heine) Генрих (1797—1856), нем. поэт, прозаик, публицист 67, 68, 389, 470, 557—559, 851, 905, 933
 Германия. Зимняя сказка 905
 Лютеция 933
 Гектор (Ἕκτωρ), в др.-греч. мифологии сын Приама и Гекубы, главный троянский герой «Илиады» 165, 560, 936

- Гекуба (Ἐκάβη), в др.-греч. мифологии вторая жена троянского царя Приама 540, 716, 934, 967
- Гельвций (Helvétius) Клод Адриан (1715–1771), фр. литератор, философ-материалист 700
- Гельмгольц (Helmholtz) Герман Людвиг Фердинанд фон (1821–1894), нем. физик, врач, физиолог, психолог, акустик 522
- Гельфман Гезя Мировна (1855–1882), революционерка, агент Исполнительного комитета «Народной воли» 579
- Георгиевский Павел Семенович (?–1912), пятигорский казначей, с 1894 владевший домом, где жил Лермонтов 118
- Георгиевский Василий Тимофеевич (у Розанова: В. М. Георгиевский; 1861–1923), исследователь др.-рус. искусства и церк. старины, архивист; уполномоченный по делам иконопис. школ при Комитете попечительства о рус. иконописи (1901–1914) 689
- Геракл (Ἡρακλῆς), в др.-греч. мифологии величайший герой, сын Зевса 91
- Гераклит Эфесский (Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος; 544–483 до н. э.), др.-греч. философ-досократик 576, 939
О природе 939
- Геркулес — см. *Геракл*
- Гермес (Ἑρμῆς), в др.-греч. мифологии бог торговли, прибыли, красноречия 919
- Гермоген (в миру Георгий Ефремович Долганёв; 1858–1918), епископ Саратовский и Царицынский (1903–1912) 540, 600, 883, 934, 936, 941
- Геродот (Ἡρόδοτος; между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.), др.-греч. историк 56, 850
История 850
- Герцен Александр Иванович (1812–1870) 77, 78, 87, 88, 260, 271, 272, 311, 312, 427, 444, 525, 620, 626–632, 639, 680–682, 702, 708–714, 760, 791, 796, 831, 879, 886, 888, 913, 933, 952, 966, 967
Былое и думы 886
С того берега 427, 913
Сочинения и переписка с Н. А. Захарьиной 713, 967
- Гершензон Михаил Осипович (Мейлих Иосифович; 1869–1925), литературовед, философ, публицист, переводчик 286, 288, 472, 486, 626, 629, 700, 758, 831, 898, 908, 915, 951, 965
И. В. Киреевский 700, 965
- Гершуни Григорий Андреевич (1870–1908), террорист, один из основателей «боевой организации» эсеров 752
- Герье Владимир Иванович (1837–1919), историк, проф. Моск. ун-та (1868–1904) 290, 432, 485, 623, 796–800, 983
Французская революция 1789–95 гг. в освещении Ипполита Тэна 799, 983
- Гесиод (Ἡσίοδος, VIII–VII вв. до н. э.), др.-греч. поэт, рапсоd 901, 961
Труды и дни 324, 677, 901, 961
- Гессен Иосиф Владимирович (Саулович; 1865–1943), гос. деятель, юрист, публицист 751, 973
- Гёте (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749–1832) 76, 88, 112, 131, 132, 161, 248, 256, 301, 320, 324, 349, 503, 529, 557–559, 628, 694, 763, 764, 774, 868, 878, 879, 884, 901, 902, 904, 914, 939, 951, 976
Божественное 381, 904
Избирательное сродство 324, 901
Сродство душ — см. *Избирательное сродство*
Страдания юного Вертера 248, 324, 884, 901
Фауст 171, 223, 226, 428, 573, 574, 628, 757, 868, 878, 879, 914, 939, 951, 976
- Гея (Γαῖα), в др.-греч. мифологии богиня земли 655
- Гизо (Guizot) Франсуа (1787–1874), фр. историк, критик, полит. деятель 631, 641, 952
- Гилевич Андрей (?–1910), обвиняемый в мошенничестве и убийстве, покончивший с собой 466, 511

- Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872), славяновед, фольклорист 73
- Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887), обществ. деятель, публицист славянофил. направления, богослов, политэконом, мемуарист 170, 536, 702, 706
- Гиляровский Владимир Алексеевич (1855–1935), писатель, журналист, бытописатель Москвы 923
- Гинцбург (Гинзбург) Илья Яковлевич (1859–1939), скульптор 71, 487
- Гиппиус (по мужу Мережковская) Зинаида Николаевна (1869–1945), поэтесса, прозаик, драматург, лит. критик 225, 228, 235, 392, 490, 646, 750–752, 851, 878, 879, 924, 928, 973, 979
- Братская могила 851
- Дневники 979
- Цветы ночи 490, 924
- Глаголев Сергей Сергеевич (1865–1937), богослов, духов. писатель, проф. Моск. духов. академии 583, 941
- О графе Льве Николаевиче Толстом 583, 941
- Гладстон (Gladstone) Уильям Юарт (1809–1898), премьер-министр Великобритании (1868–1874, 1880–1885, 1886, 1892–1894); писатель по вопр. политики, теологии, филологии 105
- Глебовицкий Николай Павлович (1876–1918), писатель, полит. деятель 852
- Глубоковский Николай Никанорович (1863–1937), богослов, эзегет, патролог, историк церкви; проф. С.-Петерб. духов. академии (1894–1918) 486
- Гнедич Николай Иванович (1784–1833), поэт, переводчик «Илиады» 910
- Говоруха-Отроп Юрий Николаевич (псевд.: Ю. Николаев; 1850–1896), публицист-консерватор, лит. критик, прозаик 690
- Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) 19, 113, 114, 148, 155, 201, 209, 235, 256–274, 282–285, 287, 293, 311, 315, 323–325, 336, 352–356, 362, 363, 365–369, 388, 389, 390, 426, 465, 470, 481, 487, 510, 519, 523, 551, 553, 556, 557, 559, 575, 576, 585, 586, 588, 589, 594, 602–604, 617, 619, 620, 636, 637, 639–641, 666, 673, 682, 683, 689, 703, 709, 756, 757, 760, 761, 769, 796, 810, 844, 856, 865, 873, 883, 885–890, 892–894, 898, 899, 901, 902, 910, 913, 928, 935, 939, 945, 952, 962, 966, 975, 976
- Авторская исповедь 259, 265, 274, 355, 886
- Аннунциата – см. Рим
- Арабески 263, 887
- Вечера на хуторе близ Диканьки 902
- Вий 257, 258, 269, 603, 886
- Выбранные места из переписки с друзьями 259, 261, 265, 272, 274, 282, 523, 682, 886, 890, 910, 913
- Записки сумасшедшего 261, 266, 268, 887
- Коляска 259, 268, 273
- Мертвые души 32, 33, 151, 259, 260, 262, 263, 265, 267, 269–271, 273, 287, 311, 314, 315, 405, 487, 530, 556, 557, 588, 589, 682, 865, 886–890, 899, 928, 976
- Миргород 260
- Невский проспект 594, 685, 756, 962, 975
- Нос 259, 266–268, 271, 272, 889
- Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем 262, 283, 315, 511, 887, 892, 928
- Портрет 685, 962
- Размышления о божественной литургии 271, 889, 890
- Ревизор 19, 267, 272, 273, 282, 329, 557, 844, 888–890, 894, 966
- Рим 887
- Старосветские помещики 273
- Страшная месть. Старинная быль 258, 259, 261, 353, 362, 887, 902
- Тарас Бульба 259, 265, 325
- Театральный разъезд после представления новой комедии 890
- Шинель 97, 268, 761, 856

- Гоголь-Яновская (ур. Косяровская) Мария Ивановна (1791–1868), мать Н. В. Гоголя 889
 Гойжевский А., переводчик с англ. яз. (1890-е) 958
 Гойя (Goya) Франсиско (1746–1828), исп. художник, гравер 303, 304, 897
 Капричос 897
- Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848–1913), граф, поэт, прозаик, публицист 193
- Голлербах Эрих Федорович (1895–1942), литературовед, искусствовед 868
- Головнин Василий Михайлович (1776–1831), мореплаватель, вице-адмирал, руководитель двух кругосветных экспедиций 79, 853
- Голоушев (псевд.: Плаголь) Сергей Сергеевич (1855–1920), врач, художник, худож. и театр. критик 923
- Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834–1912), историк церкви и церков. архитектуры 721, 968
 История русской церкви 968
- Голубкова Анна Анатольевна (р. 1973), литературовед 858
- Гольдовский Онисим Борисович (1858?–1922), адвокат 119, 860
- Гомер ("Омпрос; VIII в. до н. э.), легендар. др.-греч. поэт-сказитель 410, 480, 678, 901, 910, 923, 934, 936
 Илиада 329, 480, 625, 678, 901, 923, 934, 936
 Одиссея 678
- Гончаров Иван Александрович (1812–1891), писатель, лит. критик 133, 137, 153, 312, 313, 326, 327, 390, 454, 455, 463, 466, 484, 556, 602, 604, 620, 641, 674, 694, 702, 863, 893, 901, 961, 967
 Мильон терзаний 674, 961
 Обломов 133, 283, 901
 Обрыв 133, 312, 327, 702, 863
- Гончарова (в первом браке Пушкина, во втором – Ланская) Наталья Николаевна (1812–1863), жена Пушкина (1831–1837) 492, 494
- Гораций (Квинт Гораций Флакк, Quintus Horatius Flaccus; 65–8 до н. э.), др.-рим. поэт 35, 92, 174, 191, 98, 533, 846, 924
 Наука поэзии 35, 846
 Оды 491, 924
- Горбунов-Посадов (наст. фам. Горбунов) Иван Иванович (1864–1940), поэт, педагог, публицист, ред. изд-ва «Посредник (с 1897), близкий друг Л. Н. Толстого 963
- Горленко Василий Петрович (1853–1907), критик, искусствовед 687, 689, 963
 Отблески: Заметки по словесности искусству 963
- Горленко П. И. – см. *Горленко В. П.*
- Горлов Виктор Петрович (р. 1935), архитектор, историк, журналист, елецкий краевед 874
- Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867–1941), литературовед, лит. критик, переводчик, публицист 602–604, 945
 Заметка о реализме 602, 945
- Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967), поэт, переводчик 392, 395, 906, 953
 Беспредельна даль поляны... 395, 906
 Ярь 906
- Горький Максим (при рождении Алексей Максимович Пешков; 1868–1936) 131–133, 209–211, 392, 393, 397, 403, 425, 482, 529, 571, 581, 598, 606, 615, 624, 626, 725, 765, 860, 863, 875, 906, 913, 918, 923, 946, 948, 950, 976, 984
 Городок Окуров 946
 Жалобы 624, 950
 Жизнь Матвея Кожемякина 946
 Исповедь 132, 133, 209, 863, 875, 913

- На дне 482, 765, 766, 923
 Песня о Буревестнике 455, 918
 Разрушение личности 906
- Горяева Татьяна Михайловна, историк, архивист 4
- Гофман (Hoffmann) Эрнст Теодор Амадей (1776–1822), нем. писатель, композитор, художник, юрист 756, 757
- Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889), правовед, либерал. публицист 770, 977
- Градовский Григорий Константинович (1842–1915), журналист, публицист, обществ. деятель 928
- Гракхи (Семпронии Гракхи, Sempronii Gracchi), братья: Тиберий (Tiberius; 162–133 до н. э.) и Гай (Кай, Gaius; 153–121 до н. э.), др.-рим. полит. деятели 742
- Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк-медиевист, проф. Моск. ун-та (с 1839) 77, 78, 88, 280, 281, 298, 299, 377, 426, 427, 525, 639, 641, 661, 680–682, 731, 756, 757, 770, 796, 800, 913, 952, 975
- Грей (Gray) Томас (1716–1771), англ. поэт, историк литературы 961
- Грефе Анна Карловна, переводчица рус. авторов на нем. язык 189
- Грибарь Иван Ф., словен. полит. деятель 852
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) 35, 293, 301, 399, 426, 481, 490, 557, 559, 620, 673, 858, 879, 887, 924, 961
 Горе от ума 111, 227, 263, 314, 405, 490, 620, 674, 676, 858, 879, 887, 924, 961
- Григорий XV (Gregorius PP. XV, в миру Алессандро Людовизи; 1554–1623), папа римский (с 1621) 900
- Григорий Турский (Gregorius Turonensis; 538 или 539–593 или 594), франкский историк, епископ Турский (с 573) 77, 976
 История франков 976
- Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899), прозаик, мемуарист 21, 674
- Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864), поэт, лит. и театр. критик, публицист 682, 846, 888, 933, 953
 Цыганская венгерка 40, 846
- Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907), полит. деятель, один из основателей «Черной сотни» 530, 715, 932
- Гриневицкий Игнатий Иоахимович (1856–1881), революционер, член «Народной воли», убийца Александра II 884
- Гриневиц П. Ф. – см. *Якубовиц П. Ф.*
- Грозный – см. *Иван IV Грозный*
- Громека Михаил Степанович (1852–1884), лит. критик 274, 891
 Последние произведения Л. Н. Толстого 274, 891
- Грот (Grote) Джордж (1794–1871), англ. историк античности, полит. деятель 477, 922
 История Греции 477, 922
- Грот Константин Яковлевич (1853–1934), филолог-славист, архивист 563, 564, 568, 753–755, 937, 974, 975
- Грот (ур. Лавровская) Наталья Николаевна (1860–1924), жена Н. Я. Грота 192
- Грот (ур. Семенова) Наталья Петровна (1824–1899), писательница, переводчица, публицист 192, 974
 Свобода в жизни и государстве: Этюд по Чаннингу 974
- Грот Наталья Яковлевна (1860–1918), художница, сестра К. Я. и Н. Я. Гротов 192
- Грот Николай Яковлевич (1852–1899) 189, 191, 197, 308, 562–570, 660, 742, 833, 937, 958, 972, 974
- Грот Яков Карлович (1812–1893), филолог, академик (с 1858) 563, 753, 938, 974, 975
 Пушкин, его лицейские товарищи и наставники 753, 975
 Русское правописание 563, 938

- Грубер (Gruber) Иоганн Готфрид (1774—1851), нем. ученый, историк литературы 639
- Губастов Константин Аркадьевич (1845—1919), дипломат, историк, генеалог 208, 209, 528, 530, 785, 875, 931, 979
- Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве 979
- Гумбольдт (Humboldt) Александр фон (1769—1859), барон, нем. ученый-энциклопедист, путешественник 124, 145
- Гуминский Виктор Мирославович (р. 1949), литературовед 885
- Гуно (Gounod) Шарль (1818—1893), фр. композитор, муз. критик, мемуарист 939
- Фауст 939
- Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940), писательница, театр. и лит. критик, переводчик, публицист 392, 823
- Гурлянд Илья Яковлевич (1868—1921), гос. деятель, публицист, историк, поэт, драматург, ред. газ. «Россия» 578, 940
- Гус (Hus) Ян (1369—1415), чеш. проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации 142
- Гусев-Оренбургский Сергей Иванович (1867—1963), писатель 624, 950
- Страна отцов 950
- Гутенберг (Gutenberg) Иоганн (между 1397 и 1400—1468), нем. первопечатник 680
- Гуттен (Hutten) Ульрих фон (1488—1523), нем. гуманист, один из авторов «Писем темных людей» 142, 864
- Гучков Александр Иванович (1862—1936), полит. деятель, лидер «Союза 17 октября», председатель Третьей Гос. думы (1910—1911) 93, 425, 913, 960
- Гюго (Hugo) Виктор (1802—1885) 256, 558
- Гюйо (Guyau) Жан Мари (1854—1888), фр. философ-спиритуалист, поэт 212
- Гюйо-Дефонтен (Guyot-Desfontaines) Пьер Франсуа (1685—1745), фр. писатель, лит. критик 847

Д-в — см. *Добролюбов Н. А.*

Д-кий — см. *Достоевский Ф. М.*

Давид (кон. XI в. — между 972 и 950 до н. э.), царь Израильско-Иудейского государства, воин, религ. поэт 198, 211, 567, 569, 638, 873

Д'Аламбер (D'Alembert) Жан (1717—1783), фр. ученый-энциклопедист 672, 960

Даль Владимир Иванович (псевд.: Казак Луганский; 1801—1872), прозаик, лексикограф, этнограф, публицист; врач 60, 68, 385, 411, 671, 676, 910

Толковый словарь живого великорусского языка 68, 411

Дамаянти, в индуист. мифологии царевна Видарбхи 281, 892

Даниил (букв. «Бог мой судья»; VII—VI вв. до н. э.), библ. пророк 195, 712, 714

Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885), публицист и социолог, идеолог панславизма 52, 60, 73, 76, 80, 196, 384, 497, 539, 700, 715, 752, 853, 925

Россия и Европа 80, 853

Данилин Я., литературовед 862

«Санин» в свете русской критики 862

Данилов Кирша (1703—1776), молотовой мастер Невьянского завода Демидовых, музыкант, сказитель, составитель первого сборника русских былин 390, 905

Сборник Кирши Данилова 390, 905

Данте Алигьери (полн. имя Дуранте дельи Алигьери; 1265—1321) 67, 77, 161, 162, 165, 390, 492—494, 530, 702, 852, 898, 932

Ад — см. *Божественная комедия*

Божественная комедия 702, 852, 898, 932

Дантес (точнее, Геккерн д'Антес, Heeckeren d'Anthès) Жорж (1812—1895), фр. монархист, офицер-кавалергард, убийца Пушкина 755

- Дарвин (Darwin) Чарлз (1809–1882), англ. натуралист, путешественник 464, 531, 539, 582, 584, 751, 950
 Д'Арк Ж. – см. *Жанна д'Арк*
 Дашков Павел Яковлевич (1849–1910), коллекционер 403, 908
 Дебольская Е. Ф., переводчица, жена Н. Г. Дебольского 876
 Дебольский Николай Григорьевич (1842–1918), философ, математик 212, 876
 Дегаев Сергей Петрович (1857–1921), революционер, агент Охранного отделения, математик 377
 Дедал (Δαίδαλος), в др.-греч. мифологии художник, инженер, строитель лабиринта на о. Крит 886
 Дедлов (наст. фам. Кигн) Владимир Людвигович (1856–1908) 109–111, **857**
 Школьные воспоминания (К истории нашего воспитания) 110, 857
 Декарт (Картезий, Descartes) Рене (1596–1650), фр. математик, философ, физик, физиолог 107, 212, 323, 464, 582, 700, 718, 876
 Метафизические размышления 212, 876
 Дельвиг Антон Антонович (1798–1831), поэт, издатель 754, 947
 Удел поэта 612, 947
 Делянов Иван Давыдович (1818–1897), гос. деятель, директор Публичной библиотеки (1861–1882), министр просвещения (с 1882) 563, 731
 Деметра (Δημήτηρ), в др.-греч. мифологии богиня плодородия, покровительница земледелия 479
 Демосфен (Δημοσθένης; 384–322 до н. э.), др.-греч. оратор 95, 855, 856
 О венке 95, 855, 856
 Демофонт (Δημόφων), в др.-греч. мифологии царь Афин, сын Тесея 783
 Державин Гаврила Романович (1743–1816), поэт, гос. деятель 503, 573, 927, 939, 948, 978
 Водопад 503, 927
 На взятие Варшавы 784, 978
 Фелица 573, 614, 939, 948
 Деркетто, в зап.-семит. мифологии богиня плодородия и благополучия 969
 Дефонтен – см. *Гюйо-Дефонтен П. Ф.*
 Джемс (Джеймс, James) Уильям (1842–1910), амер. философ, психолог 525, 527, 567, 930
 Многообразие религиозного опыта 930
 Джером (Jerome) Джером Клапка (1859–1927), англ. писатель-юморист, драматург 689
 Джимбинов Станислав Бемович (1938–2016), литературовед 891, 939
 Джонсон (Johnson) Сэмюэл (1709–1784), лит. критик, лексикограф, поэт 68, 851
 Словарь английского языка 68, 851
 Дидро (Diderot) Дени (1713–1784), фр. философ-просветитель, писатель, драматург 336, 472, 672, 960
 Диккенс Чарлз (1812–1870) 126, 132–139, 281, 282, 435, 474, 499, 558, 689, 710, 811–813, **862**, 892, 950, 967
 Американские заметки 138, 863
 Дэвид Копперфильд 138, 863
 Жизнь и приключения Николаса Никльби 137, 862–863
 Заметки о С. Американских Штатах – см. *Американские заметки*
 Крошка Доррит 133–135, 137, 812, 862, 863
 Лавка древностей 133, 139, 862
 Очерки Боза 892
 Подворье Кровоточивого сердца 135
 Посмертные записки Пиквикского клуба 133, 134, 137, 710, 862, 967
 Цирк Астли 281, 892
 Диков Иван Михайлович (1833–1914), адмирал (1905), морской министр (1907–1909) 92, 855

- Дим. Федор. — см. *Самарин Д. Ф.*
 Димитрий Донской — см. *Дмитрий Донской*
 Дина, единственная дочь патриарха Иакова, обесчещенная Сихемом 349, 350, 902
 Диоген Лаэртский (Διογένης ὁ Λαέρτιος; II—III вв.), позднеантичный историк философии 949
 О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов 949
 Диоген Синопский (Διογένης ὁ Σινωπεύς; ок. 412—323 до н. э.), др.-греч. философ-киник 467, 585
 Дионис (Διώνισος; Вакх, Βάκχος), в др.-греч. мифологии бог растительности, виноградарства, виноделия 396
 Дионисий (Διονύσιος) Младший (397—337 до н. э.), сиракуз. тиран (с 367 до н. э.) 530, 932
 Дионисий (Διονύσιος) Старший, сиракуз. тиран (405—367 до н. э.) 530, 932
 Дмитренко Сергей Федорович (р. 1953), литературовед, прозаик 864
 Дмитриев Андрей Петрович (р. 1963), литературовед, библиограф 4
 Дмитрий (Димитрий) Иванович Донской (1350—1389), вел. князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1362) 83
 Добролюбов Николай Александрович (1836—1861), лит. критик, публицист рев.-демокр. направления 300, 388, 392—394, 453, 513, 617, 631, 632, 641, 681, 709, 710, 788—790, 839, 952, 980
 Милый друг, я умираю... 631, 952
 Долгорукова Наталья Борисовна (1714—1771), княгиня, мемуаристка, одна из первых русских писательниц 401
 Достоевская (ур. Сниткина) Анна Григорьевна (1846—1918), мемуаристка, вторая жена Ф. М. Достоевского (с 1867) 755, 756, 764, 765, 767, 769, 897, 955, 969, 975, 976
 Достоевская Любовь Федоровна (1869—1926), писатель, мемуарист 646—648, 764, 767, 769, 832, 955
 Больные девушки: Современные типы 647, 648, 955
 Вампир 647
 Жалость 647
 Чары 647
 Достоевский Алексей Федорович (1875—1878), сын Ф. М. Достоевского 765
 Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864), прозаик, издатель, брат Ф. М. Достоевского 60
 Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) 19, 28—32, 40, 60, 80, 135, 136, 139, 148, 153, 157, 168, 177, 209—211, 222, 226, 248, 253, 265, 266, 282, 285—288, 296—302, 305, 328, 336, 381, 384, 386—389, 401, 409, 410, 432, 454—456, 458—460, 466, 507, 527—530, 533—539, 556, 558, 585, 602, 613, 615, 620, 632—638, 642, 647, 648, 657, 660, 670, 674, 690, 692—694, 701—703, 724—729, 740, 746, 755—774, 789, 796, 799, 814, 817, 823, 824, 828, 845, 868, 875, 878, 879, 884, 885, 887, 893, 894, 896, 897, 899, 904, 907, 909, 914, 917—919, 923, 927, 931—933, 937, 939, 942, 946, 947, 953, 955, 958, 960, 963, 968, 969, 975—978, 983
 Бедные люди 761
 Белые ночи 726
 Бесы 29, 209, 226, 265, 286, 287, 297, 466, 507, 538, 635, 740, 756, 758, 773, 845, 875, 879, 894, 896, 927, 933, 937, 975
 Бобок 757, 976
 Братья Карамазовы 29, 30, 32, 178, 299, 302, 466, 467, 527, 607, 612, 635, 648, 746, 755, 756, 760, 770, 771, 795, 796, 832, 845, 867, 887, 896, 904, 909, 918, 931, 945—947, 955, 983
 Дневник писателя 209, 248, 286, 432, 648, 702, 728, 757, 761, 762, 770, 878, 884, 893, 914, 976, 977
 Записки из Мертвого дома 297
 Записки из подполья 300, 632, 634—636, 638, 764, 953, 963
 Записные книжки и тетради 209, 459, 529, 919, 932
 Зимние заметки о летних впечатлениях 978

- Игрок 305, 897
 Идеалисты-циники 770, 977
 Идиот 466, 771
 Легенда (Поэма) о Великом инквизиторе 310, 585, 727, 888, 899, 939, 942
 Подросток 168, 466, 539, 727, 760, 770, 868, 933, 977
 Преступление и наказание 28, 33, 134, 253, 297, 299, 328, 329, 634, 635, 637, 724, 764, 770, 845, 885, 893, 897, 923, 953, 976, 978
 Пушкин — см. *Пушкинская режь*
 Пушкинская речь 760, 868, 909, 919, 960, 963
 Сон смешного человека 222, 727, 728, 771, 878, 969, 977
 Студентам Московского университета 893
 Униженные и оскорбленные 727, 757, 969
 Честный вор (Из записок неизвестного) 726, 771, 969, 977
- Достоевский Федор Федорович (1871—1922), специалист по коневодству, сын Ф. М. Достоевского 764, 767, 769
- Дрейфус (Dreyfus) Альфред (1859—1935), фр. офицер, еврей по происхождению, герой знаменитого процесса по делу о шпионаже в пользу Германии (1894—1906) 595, 943
- Дризен (фон дер Остен-Дризен) Николай Васильевич (1858—1935), барон, историк рус. театра и литературы, цензор 480
- Дружинин Александр Васильевич (1824—1864), писатель, критик, переводчик 899, 907
- Друммонд (Drummond) Генри (1851—1897), шотланд. богослов, путешественник, писатель 499—500, 926
- Идеальная жизнь: Сборник бесед 499, 926
- Дрэпер (Draper) Джон Уильям (1811—1882), амер. физик, химик, физиолог, историк 531
- Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), глава тайной полиции при Николае I, нач. штаба Корпуса жандармов (1835—1856), управляющий III Отделением (1839—1856) 298, 299, 427
- Дубровин Александр Иванович (1855—1921), врач, политик, один из лидеров Союза русского народа 221
- Дункан (Duncan) Айседора (1877—1927), амер. танцовщица, жена С. А. Есенина 489
- Дунс Скот (Duns Scotus) Иоанн (1266—1308), шотланд. теолог, философ, схоластик 718
- Дурново Петр Николаевич (1845—1915), гос. деятель, министр внутр. дел (1905—1906) 90, 855
- Дурова Надежда Андреевна (1783—1866), кавалеристка, участница Отечественной войны 1812 г. 760
- Душенко Константин Васильевич (р. 1946), переводчик, культуролог, историк 920
- Цитаты из русской истории 920
- Дьяконова Елизавета Александровна (1874—1902), автор публицист. произведений, рассказов, стихов 488, 684—686, 924, 962
- Дневник русской женщины (Париж, 1900—1902) 488, 684—687, 924, 962
- Дьяченко Виктор Антонович (1818—1876), драматург 489
- Дюма-отец (у Розанова: *Дюма-père*) Александр (1802—1870), фр. писатель, драматург, журналист 227, 325, 390
- Дюма-сын (у Розанова: *Дюма-fils*) Александр (1824—1895), фр. драматург 227
- Дюпуи (Dupouy) Эдмонд (1838—1920), фр. литератор, д-р медицины 851
- Проституция в древности и половые болезни 62, 851
- Дюркгейм (Дюркхейм, Дуркхейм, Durkheim) Эмиль (1858—1917), фр. социолог, философ 700, 834
- Дюрюи (Duruu) Жан Виктор (1811—1894) 431, 914
- Дягилев Сергей Павлович (1872—1929), театр. и худож. деятель, антрепренер 967
- Е. П., знакомый (?) А. И. Эртеля 444
- Ева (Хава), прародительница человечества 130, 297, 348, 349, 405, 417, 585

- Евгений (в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов; 1767–1837), митрополит Киевский и Галицкий, церк. историк, археограф, библиограф 520, 930
 Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-русской церкви 520, 930
 Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России 930
- Евлогий (в миру Василий Семенович Георгиевский; 1868–1946), епископ, митрополит (1922) 882
- Евреинов Николай Николаевич (1879–1953), режиссер, драматург, историк театра 953
- Европа (Εὐρώπη), догреч. божество земледелия, в др.-греч. мифологии дочь финикийского царя Агенора 857
- Евсевий Никомидийский (Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας; ?–341), архиепископ Константинопольский (с 339) 885
- Евтихий (Εὐτυχῆς; ок. 370 – после 454), константинопольский архимандрит, ересиарх 540
- Едошина Ирина Анатольевна (р. 1952), культуролог, литературовед 4, 923, 932
- Екатерина II Алексеевна, Великая (нем. принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская; 1729–1796), рос. императрица (с 1762) 47, 520, 661, 665, 731, 796, 912
- Елагины 73
- Елизавета (Елисавета) Петровна (1709–1761), рос. императрица (с 1741), дочь имп. Петра I 141, 665, 781, 782, 863, 882, 908
- Елизавета (Елисавета) Святая (I в. до н. э.), мать Иоанна Крестителя 883
- Елизавета Федоровна (1864–1918), вел. княгиня, жена вел. князя Сергея Александровича, основательница Марфо-Мариинской обители в Москве 238, 242, 243, 247, 883
- Ельчанинов Александр Викторович (1881–1934), священник, церковный историк, литератор 805
- Ермак Тимофеевич (1532/1542–1585), казачий атаман, ист. завоеватель Сибири 71 852, 896
- Ермичев Александр Александрович (р. 1936), историк русской философии 919
- Ермолов Алексей Сергеевич (1847–1917), гос. деятель, член Гос. совета (с 1905), министр земледелия и государственных имуществ (1894–1905) 730
- Ерзя — см. *Эрзя С. Д.*
- Эфрон (Эфрон) Илья Абрамович (1847–1917), типограф, книгоиздатель 107, 192, 752, 974
- Ешевский Степан Васильевич (1829–1865), историк-медиевист 731, 800
- Жаботинский Владимир Евгеньевич (Вольф Евнович; 1880–1940), писатель, поэт, публицист, лидер правого сионизма 67–70, 72, 613, 851, 852, 947**
 Еврейский патриотизм 851
 Письмо (О «Евреях в русской литературе») 851
- Жан Поль (Jean Paul; наст. имя и фам. Иоганн Рихтер; 1763–1825), нем. писатель-сентименталист 938
 Зелина, или Бессмертие души 938
- Жанна д'Арк 214
- Желябов Андрей Иванович (1851–1881), революционер-народник, член Исполнительного комитета «Народной воли», один из организаторов убийства Александра II 799, 842
- Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) 72, 258, 323, 335, 437, 471, 525, 644, 678, 831, 854, 882, 887, 892, 909, 954
- Жулькова Карина Алеговна (р. 1971), литературовед 4
- З. С. — см. Соколова З. С.**
- Забелин Иван Егорович (1820–1909), археолог, историк 863

- Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852), писатель, драматург 134, 863
 Юрий Милославский, или Русские в 1612 году 134, 863
- Зайцев Борис Константинович (1881–1972), писатель, переводчик 956
- Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882), лит. критик, публицист, нигилист 379, 788
- Закржевский Александр Карлович (1886–1916) 632, 635, 636, 952
 Подполье: Психологические параллели 632, 635, 952
- Замысловский Георгий Георгиевич (псевд.: Г. Юрский; 1872–1920), обществ. и полит. деятель, юрист 106, 108, 109
- Занд Ж. – см. *Санд Ж.*
- Заратустра – см. *Зороастр*
- Засулич Вера Ивановна (1849 – 1919), деятель рос. и междунар. социалистич. движения, народница, террористка, публицист, лит. критик, переводчик, мемуаристка 378
- Захарьин Григорий Антонович (1829–1897), врач-терапевт 427
- Захарьина (в замуж. Герцен) Наталья Александровна (1817–1852), двоюродная сестра и жена А. И. Герцена 967
- Збруева Евгения Ивановна (1867–1936), оперная певица 399
- Зевс (Ζεύς), в др.-греч. мифологии верховное божество 260, 696, 857
- Зезюлинский Николай Федорович (1861–?), чиновник при Главном управлении гос. коннозаводства, публицист 853
 Неравная борьба: Волынский и Бирон. По первоисточникам 81, 853
- Зелфа, служанка Лии, ставшая женой Иакова и родившая ему Гада и Асира 347
- Зигфрид (Siegfried), один из главных героев германо-сканд. мифологии, герой «Песни о Нибелунгах» 560, 936
- Зиновьева-Аннибал (в замуж. Иванова) Лидия Дмитриевна (1866–1907), писательница, жена Вяч. И. Иванова 64–66, 851
 Тридцать три урожая 65, 851
- Златоуст – см. *Иоанн Златоуст*
- Знаменский Петр Васильевич (1836–1917), церк. историк, проф. Казан. духов. академии 656, 957
 Православие и современная жизнь: Полемика 60-х годов об отношении православия к современной жизни 957
- Золотов, сельский учитель 462
- Золя (Зола, Zola) Эмиль (1840–1902), фр. прозаик, публицист, вождь и теоретик фр. натурализма 435
- Зорге (Sorge) Фридрих Адольф (1828–1906), нем. социалист 929
- Зороастр (Заратустра; VI–V вв. до н. э.), в зороастризме жрец и пророк 143, 228, 278, 566, 864, 892
- Зоровавель (VI в. до н. э.), персидский наместник Иудеи 915
- Зотов Рафаил Михайлович (1795–1871), романист, драматург и театр. критик 227, 879
- Зубков Владимир Григорьевич (у Розанова: Н. Г. Зубков; 1849–1903), филолог, проф. Моск. ун-та; авт. учебников по древним языкам 307
- Иаков (Израиль), ветхозавет. патриарх 348, 349, 359, 854, 902**
- Ибсен (Ibsen) Генрик (1828–1906), норвеж. драматург, поэт, публицист 54, 141, 949, 969
 Бранд 949
- Иван I Данилович Калита (ок. 1283 или 1288–1340/1341), князь Московский (с 1325), вел. князь Владимирский (1331–1340), князь Новгородский (1328–1337) 521
- Иван IV Грозный (1530–1584), вел. князь «всея Руси» (с 1522), первый рус. царь (с 1547) 71, 81, 125, 462, 661, 662, 852, 916, 958, 959
- Иван Странник – см. *Аниглова А. М.*

- Иванов Александр Андреевич (1806—1858), художник, представитель академизма, автор «Явления Христа народу» 270, 274
- Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949), поэт-символист, философ, переводчик, драматург, лит. критик 64—66, 208, 211, 392, 395, 409, 500, 653, 724, 851, 861, 862, 909, 926, 930, 957, 969
 Аполлон влюбленный 524, 930
 Достоевский и роман-трагедия 724, 969
 О Моммзене 851
 О русской идее 909
- Иванов Гавриил Афанасьевич (1826—1901), филолог-классик, проф. Моск. ун-та (с 1872) 189
- Иванов Евгений Павлович (1879—1942), публицист, детский писатель, авт. воспоминаний об А. А. Блоке 286, 287
- Иванов-Разумник Разумник Васильевич (наст. фам. Иванов; 1878—1946), литературовед, лит. критик, социолог, писатель 644—646, 790, 791, 955, 980, 981
 Великие искания 790, 981
 История русской общественной мысли 980
 Литература и общественность 981
 Мертвое мастерство (Д. Мережковский) 644, 955, 981
 О смысле жизни: Ф. Сологуб, Л. Андреев, Л. Шестов 981
 Пастырь без стада (Д. Мережковский) 644, 955
 Творчество и критика 790, 981
 Что такое «махаевщина»? К вопросу об интеллигенции 981
- Иванова Евгения Викторовна (р. 1948), литературовед 892
- Игнатъев Алексей Павлович (1842—1906), граф (с 1877), иркутский (1887—1889) и киевский (1889—1897) ген.-губернатор, ген. от кавалерии 539
- Игнатъев Николай Павлович (1832—1908), граф, дипломат, ген. от инфантерии (1878); посол в Константинополе (1864—1877), министр внутр. дел (1881—1882) 539
- Иегова (Яхве, Ягвез), наименование Бога в Ветхом Завете 72, 337, 347, 703, 820
- Иезекииль (ок. 622 — ок. 571 до н. э.), ветхозавет. пророк 195
- Иеллес (Jellis) Ярих (?—1683), амстердамский купец, один из друзей Б. Спинозы 870
- Иеремия (VI в. до н. э.), ветхозавет. пророк 279, 886, 892
- Иероним Пражский (Jeroným Pražský; 1379—1416), чешский реформатор, ученый, проповедник, сподвижник Яна Гуса 142
- Изгоев Александр Самойлович (наст. имя и фам. Арон Соломонович Ланде; 1872—1935), юрист, политик, публицист 286, 288, 289
- Изида (Исида), главн. др.-египет. богиня 350, 351, 405, 649, 956
- Измаил, первенец ветхозавет. патриарха Авраама от рабыни Агари 418
- Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921) 390—396, 624, 688, 905, 941, 950
 Недовольный миром бранным... 395
 Помрачение божков и новые кумиры: Книга о новых веяниях в литературе 390—396, 905, 906
 Хмель на руинах: Новое и старое 392, 906
- Иисус Христос 15, 30, 31, 36, 44, 46, 53, 56, 75, 85, 108, 143, 159, 181, 185, 216, 220, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 239—241, 243, 245—247, 249, 250, 254, 255, 278, 279, 300, 342, 354, 355, 363, 366, 384, 385, 406, 442, 443, 448, 458—460, 479, 538, 550, 555, 561, 562, 564, 566, 585, 595, 596, 616, 619, 623, 646, 654, 655, 657, 682, 693, 699, 701—703, 716, 719—723, 746, 750—752, 815, 835, 845, 850, 853, 872, 873, 877, 881, 883, 884, 896, 909, 915, 917, 928, 934, 949, 955, 969, 973
- Икар (*Ἰκαρος), в др.-греч. мифологии сын Дедала, погибший при попытке высоко взлететь 256, 886
- Иларион (Русин; ? — ок. 1055), митрополит Киевский и всея Руси, святитель 877
- Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920), историк, публицист; авт. учебников по отеч. и всеобщ. истории 325, 424, 663, 720, 721, 912
- Ильин Иван Александрович (1883—1954), правовед, писатель, публицист 863

- Илья Муромец, былин. герой; его вероят. прототип — преподобный Илия (XII в.) 151
- Илья Пророк (Илия Фесвитянин; IX в. до н. э.), по преданию, был взят живым на небо 670
- Иоанн V Милостивый (Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων; ? — между 616—620), патриарх Александрийский 590, 943
- Иоанн (Джон) Безземельный (John Lackland; 1167—1216), король Англии (с 1199), герцог Аквитании из династии Плантагенетов 921
- Иоанн Богослов (Иоанн Зеведеев), апостол, авт. ряда библ. текстов 195, 254, 445, 912, 919
- Иоанн Гусс — см. Гус Я.
- Иоанн Дамаскин (Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, в миру Мансур ибн Серджун Ат-Таглиби; ок. 675 — ок. 753), преподобный, богослов, гимнограф 351
- Иоанн Златоуст (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος; между 344 и 354—407), святитель, епископ Константинопольский (с 398); богослов, проповедник 545, 572, 573, 822, 983
- Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча (между 6—2 до н. э. — ок. 30 н. э.), пророк, креститель Господень 215
- Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Ильич Сергиев; 1829—1908), настоятель Андреевского собора в Кронштадте, член Св. Синода (с 1906) 30, 213—214, 217—222, 229—230, 248—253, 536, 537, 657, 746, 876—878, 880
- Моя жизнь во Христе: Правда о Боге, мире и человеке: Дневник Иоанна Кронштадтского 220, 877
- О душепагубном еретичестве графа Л. Н. Толстого 877
- О еретичестве гр. Льва Толстого 877
- Ответ отца Иоанна Кронштадтского Льву Толстому на его «Обращение к духовенству» 877
- Против графа Л. Толстого, других еретиков и сектантов нашего времени и раскольников 877
- Иоанн Лествичник (Ἰωάννης τῆς Κλίμακος; 525—602 или 649), преподобный; богослов, философ, игум. Синайского мон-ря 84, 854
- Иоанн Рыльский (ок. 876—946), святой Болгарской церкви 219, 877
- Иоанна д'Арк — см. Жанна д'Арк
- Иоахим Флорский (ок. 1132—1202), монах-цистерцианец, мистик, прорицатель 955
- Иов Многострадальный, невинный страдалец, персонаж одноимен. библ. книги 420, 581, 591, 592, 595, 782, 828
- Иорданский Николай Иванович (1876—1928), публицист, обществ. деятель, ред. журн. «Современный Мир» (1909—1917) 511—514, 516
- Иосиф, священник из Курской губ. 229
- Иосиф II (Joseph II.; 1741—1790), король Германии (с 1764), имп. Священной Римской империи (с 1765) 731
- Иосиф Флавий (Josephus Flavius; ок. 37 — ок. 100), евр. историк, военачальник 70, 852
- Иудейская война 70, 852
- Ирод I Великий (ок. 73—4 или 1 до н. э.), царь Иудеи (с 40 до н. э.) 915
- Исаак, ветхозавет. патриарх 359
- Исаков (возможно, Сергей Константинович (1875—1953), скульптор, искусствовед, художественный критик) 311
- Иуда, четвертый сын патриарха Иакова от Лии 348
- Иуда Искариот (? — ок. 33) 28, 133, 216, 845, 863, 913
- Иулиания Лазаревская (Муромская; в миру Ульяна Устиновна Осорьина; 1530—1604), святая 575, 665
- К. А. — см. Арсеньев К. К.
- К. К. — корреспондент А. И. Эртеля 444
- К-й Макс. Мак. — см. Ковалевский М. М.
- Кабанис (Cabanis) Пьер (1757—1808), фр. философ-материалист, врач 700
- Каблуков Сергей Платонович (1881—1919), религ. и обществ. деятель, секретарь РФО (1909—1913) 874, 895, 919, 974
- Дневник 919

- Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, правовед, социолог и публицист; проф. С.-Петерб. ун-та (1857–1861) 302, 482, 710, 711
- Каин, старш. сын Адама и Евы, земледelec и градостроитель 103, 130, 349, 862
- Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846–1924), лесовод, орнитолог, педагог, популяризатор в области естествознания 478–479, 922
- Из родной природы 922
- Наши весенние бабочки 478, 922
- Калигула (Гай Юлий Цезарь Калигула, Gaius Iulius Caesar Caligula; 12–41), др.-рим. император (с 37), из династии Юлиев–Клавдиев 564
- Калиостро (Cagliostro) Алессандро (наст. имя Джузеппе Бальсано; 1743–1795), мистик и авантюрист 223, 471
- Каллиус (Kallius) Эрих (1867–1935), нем. анатом 307
- Кальвин (Calvin) Жан (1509–1564), фр. теолог, реформатор церкви 161, 162, 165, 680
- Кальдерон (Calderón) де ла Барка Педро (1600–1681), исп. драматург, поэт 673, 961
- Жизнь есть сон, и сон есть жизнь 673, 961
- Каляев Иван Платонович (1877–1905), террорист, эсер 883
- Каменский Анатолий Павлович (1876–1941), писатель 62, 63, 118–122, 146, 305, 392, 486, 502, 509, 511, 515, 516, 540, 581, 582, 600, 811, 826, 860, 897, 928
- Преступление 860
- Рассказы 860, 897, 928
- Четыре 121, 305, 860, 897
- Кант (Kant, первоначально Sant) Иммануил (1724–1804), нем. философ-идеалист 107, 124, 166, 212, 213, 248, 345, 633, 636, 660, 661, 700, 718, 876, 884, 953
- Критика практического разума 884
- Критика чистого разума 212, 636, 876, 953
- Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744), поэт-сатирик, дипломат 619
- Капнист Василий Васильевич (1757–1824), граф, драматург, поэт 19
- Капнист Павел Алексеевич (1842–1904), граф (с 1876), сенатор (с 1895), педагог, попечитель Моск. учеб. округа и Моск. ун-та 189
- Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) 33, 70, 83, 102, 112, 177, 274, 323, 335, 524, 525, 575, 642, 644, 661–666, 670, 672, 673, 678, 845, 858, 869, 879, 915, 930, 954, 960, 961, 979
- История государства Российского 641, 954, 979
- Мелиодор к Филолету 845
- О любви к отечеству и народной гордости 858
- Письма русского путешественника 879
- Разговор о счастье. Филолет и Мелиодор 845
- Филолет к Мелиодору 845
- Карбасников Николай Павлович (1852–1921), издатель, книготорговец 309–311
- Кареев Николай Иванович (1850–1931), историк, философ, социолог 398, 399, 408, 409, 909
- Каринский Михаил Иванович (1840–1917), историк философии и логик, проф. С.-Петерб. духов. академии 486, 876
- Карл XII (Karl XII; 1682–1718), король Швеции (с 1697), полководец 895
- Карлейль (Carlyle) Томас (1795–1881), шотл. прозаик, историк, философ, переводчик 424, 499, 691, 912
- Письма и речи Кромвеля 424, 912
- Карташёв (Карташов) Антон Владимирович (1875–1960), препод. С.-Петерб. духов. академии (1900–1905), пред. Религ.-филос. о-ва в Петербурге (1909–1917), обер-прокурор Св. Синода и министр исповеданий Времен. правительства (1917) 211, 255, 879, 885
- Касаткина Наталья Григорьевна, переводчица с нем. яз. 884

- Кассандра (Κασσάνδρα), в др.-греч. мифологии троянская царевна, прорицательница 343, 827
- Кассо Лев Аристидович (1865–1914), юрист, гос. деятель, министр нар. просвещения (с 1910) 731, 732, 970
- Катилина (Луций Сергей Катилина, Lucius Sergius Catilina; ок. 108–62 до н. э.), др.-рим. претор (68 до н. э.); неоднократно пытался захватить власть (в 66–63 до н. э.) 742
- Катков Михаил Никифорович (1818–1887), обществ.-полит. деятель; публицист-консерватор, лит. критик, ред.-изд. журн. «РВ» (с 1856), газ. «Моск. Ведомости» (с 1863) 78, 79, 89, 107, 177, 660, 693, 849, 853, 855, 859, 869, 898, 964
- Возвращается ли правительство? 89, 855
- Наше варварство – в нашей иностранной интеллигенции 849
- Катон Младший (Cato Minor; Марк Порций Катон, Marcus Porcius Cato; 95–46 до н. э.), др.-рим. гос. деятель 732, 742, 970
- Катон Старший (Cato Major; Марк Порций Катон, Marcus Porcius Cato; 234–149 до н. э.), др.-рим. гос. деятель, писатель 105
- Качалов (наст. фам. Шверубович) Василий Иванович (1875–1948), актер 482
- Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842), историк, переводчик, лит. критик 670, 847
- Кедринский Александр Антонович (1857–1908) 206–208, 814, 874
- Кесарь – см. *Цезарь Гай Юлий*
- Кетле (Quetelet) Адольф (1796–1874), бельг. математик, астроном, метеоролог, социолог, один из родоначальников науч. статистики 294, 634, 895
- Социальная система и законы, ею управляющие 895
- Кетчер Николай Христофорович (1809–1886), переводчик, врач 189
- Кигн В. Л. – см. *Дедлов В. Н.*
- Кильдюшевский Петр Иванович, препод. латыни в Нижегородской мужской гимназии 671
- Кимон (Κίμων; ок. 504–450 до н. э.), др.-греч. афин. полит. деятель, полководец периода греко-персидских войн 473
- Киреевский Иван Васильевич (1806–1856), идеолог славянофильства, лит. критик, философ, журналист 73, 76, 77, 84, 271, 377, 404, 473, 517, 525, 533, 538, 539, 626–632, 700, 702, 831, 852, 854, 888, 890, 898, 908, 921, 951, 952, 965
- Киреевский Петр Васильевич (1808–1856), славянофил, фольклорист, историк 73, 84, 271, 525, 533, 539, 629, 700, 702, 854, 888, 951, 952
- Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев; р. 1946), патриарх Московский и всея Руси (с 2009) 883
- Кирилл Александрийский (Κύριλλος Ἀ' Ἀλεξανδρείας; 376–444), святитель, египет. экзегет, полемист, архиеп. (с 412) 197, 198, 535
- Кирштейн Эмилия (сер. XIX в.), дочь булочника 130, 862
- Кистяковский Богдан Александрович (1868–1920), правовед, философ, социолог 286
- Киттары Модест Яковлевич (1825–1880), химик-технолог, засл. проф. Моск. ун-та (1859) 27
- Клевер Юлий Юльевич (1850–1924), художник-пейзажист 500, 503
- Клевер Юлий Юльевич (1882–1942), художник, сын предыдущего 500, 503
- Клеймёнова Раиса Николаевна (1940–2011), литературовед, историк рус. литературы 907
- Клейнмихель Петр Андреевич (1793–1869), граф (с 1839), гос. деятель, главноуправляющий путей сообщения и публичных зданий (1842–1855) 262, 265
- Клемансо (Clemenceau) Жорж (1841–1929), фр. полит. и госуд. деятель, премьер-министр 798
- Клеопатра VII Филопатор (Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ; 69–30 до н. э.), последняя царица Египта из династии Птолемеев 415, 419, 467–469
- Климент Александрийский (Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς; ок. 150 – ок. 215), апологет, проповедник, основоположник Александрийской богословской школы 336, 370, 902
- Строматы 336, 902

- Клио (Κλειώ), в др.-греч. мифологии муза истории 104
- Клишевич Николай Порфирьевич, петерб. журналист, представитель Главн. агентства газет. вырезок в России, к-рое принимало заказы на подбор и доставку газет. вырезок по различ. темам 600
- Клодт Петр Карлович (1805–1867), скульптор 930
- Клюев Николай Алексеевич (1884–1937), поэт 42, 846
- Ключевская (ур. Бородина) Анисья Михайловна (1837–1909), жена В. О. Ключевского 667, 959
- Ключевский Василий Осипович (1841–1911), историк, проф. Моск. ун-та 79, 95, 427–434, 484, 510, 575, 641, 661–671, 731, 853, 914, 928, 939, 958, 959
- Боярская дума древней Руси 959
- Добрые люди древней Руси 575, 665, 939, 959
- Древнерусские жития святых как исторический источник 664, 959
- Курс русской истории 429, 664–666, 668–670, 914, 959
- Ковалевский Максим Максимович (1851–1916), историк, юрист, социолог 107, 148, 149, 151, 496, 865, 869, 912, 925, 952, 984
- Воспоминания об И. С. Тургеневе 148, 149, 496, 865, 925
- Кованько Александр Матвеевич (1856–1919), ген.-лейтенант, изобретатель, пилот-аэронавт 409, 410, 909, 910
- Ковнер Альберт (Аркадий) Григорьевич (1842–1909) 289, 894
- Без ярлыка 289, 894
- Из записок еврея 289, 894
- Литературные и общественные курьезы 289
- Наши шутники 289
- Около золотого тельца 289, 894
- Тост 289
- Хождение по мытарствам 289, 894
- Козлов Алексей Александрович (1831–1901), философ-идеалист, публицист 212, 876
- Козлов Иван Иванович (1779–1840), поэт, переводчик 401, 907, 928
- Вечерний звон 511, 928
- Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая 401, 907
- Кок (Коск) Поль де (1793–1871), фр. писатель 511, 641, 683
- Коковцов (Коковцев) Владимир Николаевич (1853–1943), гос. деятель, министр финансов (1904–1905, 1906–1914), председатель Совета министров (1911–1914) 104, 105, 857
- Кокшаров Николай Иванович (1818–1893), минералог, кристаллограф, директор Горного ин-та в С.-Петербурге 731
- Колумб (*итал.* Colombo, *исп.* Colón) Христофор (1451–1506) 193, 345, 749
- Кольбер (Colbert) Жан Батист (1619–1683), фр. гос. деятель, фактич. глава правительства Людовика XIV после 1665 465, 920
- Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), поэт 402–404, 460, 671, 908, 920
- Полное собрание сочинений 402, 908
- Разлука 461, 920
- Комаровский Павел Евграфович (1869–1907), граф, обществ. деятель, один из организаторов пожарного дела в России; убит по указанию аферистки М. Н. Тарновской 468–470, 921
- Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910), актриса 28, 34, 35, 224, 509, 845, 953
- Кони Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, гос. и обществ. деятель, литератор 178, 563, 595, 596, 871
- Нравственный облик Пушкина 871
- Коноплянцев Александр Михайлович (1875 – не ранее 1930), старш. пом. библиотекаря Политех. музея в Москве, биограф К. Н. Леонтьева 40, 785, 979
- Жизнь К. Н. Леонтьева в связи с развитием его мировоззрения 785, 979

- Консидеран (Considerant) Виктор (1808–1893), фр. философ, экономист, социалист-утопист 913
 Судьба общества 913
- Константин (Constantinus) I Великий Равноапостольный (Флавий Валерий Аврелий Константин; 272–337), др.-рим. император (с 312, провозглашен в 306) 254, 721, 885, 945
- Константин Павлович (1779–1831), вел. князь, второй сын Павла I 47
- Константиновский Матвей Александрович (Матвей Ржевский; 1791–1857), протоиерей ржевского Успен. собора, проповедник, миссионер, духов. наставник Н. В. Гоголя 261, 265, 282, 355, 551, 656, 873, 935
- Конт (Comte) Огюст (1798–1857), фр. философ-позитивист и социолог 168, 232, 286, 464, 563, 742, 938, 972
- Конфуций (ок. 551–479 до н. э.), др.-кит. мыслитель, философ 182, 566
- Корде (Кордэ, Corday) Шарлотта (1768–1793), фр. дворянка, убийца Ж. П. Марата 573
- Корейша Иван Яковлевич (1780–1861), смолен. юродивый, переведенный в моск. дом умалишенных (1817) 199, 628, 630, 631, 952
- Коровин А. В. — см. *Королёв А. В.*
- Королёв Александр Васильевич (1884–1938), историк 786, 839
 Культурно-исторические воззрения К. Н. Леонтьева 786
- Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), писатель, журналист, публицист 28, 30, 32, 397, 398, 529, 845, 906
 Убийца 30, 845
- Корш Евгений Федорович (1810–1897), журналист, издатель, переводчик 189
- Корш Федор Евгеньевич (1843–1915), филолог, стиховед, поэт-переводчик, засл. проф. Моск. ун-та (1893) 95
- Косма и Дамиан (Κοσμάς καὶ Δαμιανός; втор. пол. III — нач. IV в.), братья, святые, врачеватели, чудотворцы 580, 940
- Костомаров Николай Иванович (1817–1885), историк, публицист, поэт, обществ. деятель 661, 662, 666, 670, 710, 731, 958
 Кудеяр 662, 958
- Котарбинский (Катарбинский) Вильгельм Александрович (1848–1921), художник, представитель стиля «модерн» 28, 29
- Котляревский Нестор Александрович (1863–1925), историк литературы, лит. критик, публицист 189, 486, 709, 711–713, 952, 966, 967
 Из истории общественных настроений шестидесятых годов. «Колокол», 1856–1861 709, 966
- Котович Алексей Никанорович (1879–1942) 419–422, 911
 Духовная цензура в России. 1799–1855 гг. 419–422, 911
- Котошихин (Кошихин) Григорий Карпович (?–1667), чиновник Посольского приказа, перешедший на службу в Швецию 461
- Котылева-Розенфельд Ольга Эммануиловна (псевд.: О. Миртов; 1875–1939), писательница, внучка П. Л. Лаврова 477
- Кошелев Александр Иванович (1806–1883), публицист, обществ. деятель славянофильских взглядов 908, 951
- Коши (Cauchy) Огюстен Луи (1789–1857), фр. математик, механик 464
- Кравчинский — см. *Стенник-Кравгинский*
- Краевский Андрей Александрович (1810–1889), журналист, изд.-ред. журн. «Отеч. Записки» 708, 836
- Кржмарж (Kramář) Карел (1860–1937), чеш. полит. деятель, первый премьер-министр независимой Чехословакии (1918–1919) 852
- Кранихфельд (у Розанова: Кранифельд) Владимир Павлович (1865–1918), лит. критик журн. «Русское Богатство» 602, 724, 969
 Преодоление Достоевского 969

- Красс (Марк Лициний Красс, Marcus Licinius Crassus; 115 или 114—53 до н. э.), др.-рим. полководец, консул 70 и 55 до н. э., участник Первого триумvirата 898
- Кремер Яков Иванович (?—1903), преподаватель лат. и греч. языков при 4-й Моск. гимназии, переводчик 922
- Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895), поэт, прозаик, лит. критик 383, 923
- Крижанич (Križanić) Юрий (ок. 1617—1683), хорват. богослов, философ, писатель, лингвист, историк 461
- Кромвель (Cromwell) Оливер (1599—1658), англ. гос. деятель, полководец, руководитель Англ. революции, лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии (с 1653) 61, 424, 425, 824, 912
- Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921), князь, революционер-анархист, географ, геоморфолог 378, 822
- Крылов Иван Андреевич (1769—1844) 52, 557, 559, 868, 892, 901, 922, 929, 972, 981
 Ворона и Лисица 173, 868
 Лебедь, Щука и Рак 283, 892
 Мартышка и Очки 981
 Музыканты 475, 517, 922, 929
 Пустынный и Медведь 748, 972
 Трудолюбивый Медведь 323, 901
- Крюденер (Křüdenер) Амалия фон (1808—1888), баронесса, известная красавица 41
- Ксанф (Ξάνθος; 1-я пол. V в. до н. э.), др.-греч. историк из Сард 336, 370
 Маги 336
- Ксения Блаженная (Ксения Григорьевна Петрова; между 1719 и 1730 — до 1806), святая, юродивая 859
- Ксенофонт (Ξενοφών; ок. 430—354 до н. э.), др.-греч. историк и философ 885
 Киропедия 885
- Ксимен (Ximenes) Огюстен Мари де (1728—1817), маркиз, фр. писатель 933
 Эра французов 933
- Куглер (Kugler) Бернгард фон (1837—1898), нем. историк 97, 856
 Руководство к истории искусства 97, 856
- Кудрявцев Петр Николаевич (1814—1858), историк, лит. критик, писатель 731, 800
- Кузмин (у Розанова: Кузьмин) Михаил Алексеевич (1872—1936), поэт, переводчик, прозаик, композитор 63, 66, 147, 392, 581
- Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859—1927), юрист, обществ. и полит. деятель 373, 374, 928
- Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), прозаик, поэт, переводчик, драматург 258, 886, 977
 Князь Даниил Васильевич Холмский 768, 977
- Кузен (Cousin) Виктор (1792—1867), фр. философ, полит. деятель 716
- Кулябко Николай Николаевич (1873—1920), жандармский офицер, нач. Киевского охранного отделения (1907—1911) 752, 973
- Купер (Cooper) Джеймс Фенимор (1789—1851), амер. романист, сатирик 325, 599, 850
 Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе 59, 850
- Куприн Александр Иванович (1870—1938), писатель, переводчик 62, 413—419, 640, 851, 910, 911, 953
 Суламифь 62, 851
 Яма 413—416, 911
- Курбский Андрей Михайлович (1528—1583), князь, полководец, политик; получив известие о предстоящей опале, бежал в Великое княжество Литовское (1564) 662, 959
 Сказания князя Курбского 662, 959
- Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925), генерал, воен. министр, член Гос. совета 480—482, 923
 Задачи русской армии 923

- Курочкин Василий Степанович (1831—1875), поэт-сатирик, журналист 645
- Кусков Платон Александрович (1834—1909), поэт, философ-гуманист, переводчик Шекспира 384—386, 500, 786, 904, 905, 926, 979
- Моя жизнь в доме бабушки 384, 904
- Наша жизнь 384, 385, 904—905
- Наше место в вечности 384, 500, 905, 926
- Наши идеалы. Разговор на палубе 384, 385, 500, 905, 926
- Кускова (Прокопович) Екатерина (у Розанова: Елизавета) Дмитриевна (1869—1958), полит. и обществ. деятель, публицист, издатель 733, 970
- Раненые 733, 970
- Кустодиев Борис Михайлович (1878—1927), художник 34, 36, 38
- Кутузов (Голенищев-Кутузов-Смоленский) Михаил Илларионович (1745—1813), светл. князь, полководец, ген.-фельдмаршал (с 1812) 114, 481, 695, 810
- Кювье (Cuvier) Жорж (1769—1832), барон, фр. естествоиспытатель, натуралист 76
- Кюи Цезарь Анотонович (1835—1918), комозитор, муз. критик, член «Могучей кучки», инженер-генерал, проф. фортификации 927
- Кюннер (Kühner) Рафаэль (1802—1878), нем. филолог, педагог 108, 478, 898, 922
- Латинская грамматика с примерами и упражнениями 922
- Руководство к изучению латинского языка, составленное по Кюннеру 922
- Кюри (Curie) Пьер (1859—1906), фр. физик, один из первых исследователей радиоактивности 957
- Кюри М. — см. *Скłodовская-Кюри М.*
- Л. Н. — см. *Толстой Л. Н.*
- Л. Ф. — см. *Достоевская Л. Ф.*
- Л-в, Л-в К. — см. *Леонтьев К. Н.*
- Лабрюйер (La Bruyère) Жан де (1645—1696), фр. моралист 879
- Лавров Вукол Михайлович (1852—1912), журналист, переводчик 274
- Лавров Петр Лаврович (псевд.: Миртов; 1823—1900), социолог, философ, публицист, идеолог народничества 87, 379, 464, 623, 624, 708, 791, 977
- Новая песня 774, 977
- Лавуазье (Lavoisier) Антуан (1743—1794), фр. естествоиспытатель, основатель современной химии 961
- Лагранж (Lagrange) Жозеф Луи (1736—1813), фр. математик, астроном, механик 464
- Ладожский Н. — см. *Петерсен В. К.*
- Ладыжников (Лодыжников) Иван Павлович (1874—1945), издатель, революционер 29, 845, 875
- Лазарь, житель Вифании, воскрешенный Иисусом через четыре дня после смерти 442, 443
- Ламанский Владимир Иванович (1833—1914), историк, славист 485
- Ламарк (Lamarck) Жан Батист (1744—1829), фр. естествоиспытатель 464, 700
- Ланской Сергей Степанович (1787—1862), граф, гос. деятель, министр внутр. дел (1855—1861) 482
- Лаокоон (Λαοκόων), в др.-греч. мифологии жрец Аполлона в Трое, прорицатель 696
- Лао-цзы (у Розанова: Лаотзы, Лао-Тсе; VI в. до н. э.), др.-кит. философ, основоположник даосизма 182, 183, 566
- Лапшин Иван Осипович (ок. 1825—1883), востоковед 189
- Лапшина (ур. Друэн) Сусанна Дионисовна (ок. 1850—1916), учительница музыки и пения 189
- Лассаль (Lassalle) Фердинанд (1825—1864), нем. философ, юрист, экономист, полит. деятель 76, 726
- Лев Николаевич — см. *Толстой Л. Н.*
- Левитан Исаак Ильич (1860—1900), художник-пейзажист 68, 70

- Лёвшин Дмитрий Михайлович (1864–?), полковник, педагог, попечитель Рижского учеб. округа (1906–1908) 123, 125
- Ледницкий (Lednicki) Александр Робертович (1866–1934), рус. и польск. обществ. и пол-лит. деятель, адвокат, журналист и финансист, депутат Первой Гос. думы 152
- Леже (Léger) Луи (1843–1923), фр. филолог, писатель, основоположник славистики во Франции 901
- Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646–1716), нем. философ, логик, математик, механик, основатель и первый президент Берлинской академии наук 107, 301, 527, 566, 681, 697, 931, 962
Монадология 931
- Лейкин Николай Александрович (1841–1906), писатель, журналист 954
- Лемке Михаил Константинович (1872–1923), историк рус. журналистики, цензуры, революц. движения 420, 788, 839, 909, 912
Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия 420, 912
- Ленг (Laing) Александр Гордон (1793–1826), шотланд. путешественник, исследователь Западной Африки 861
- Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) 855, 866, 877
Лев Толстой как зеркало русской революции 866
- Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci; 1452–1519), итал. живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер 40, 161, 227, 228, 232, 408, 909
- Леонтий Кипрский (?–620), епископ г. Неаполя на Кипре 590, 943
- Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891), религ. мыслитель, прозаик, лит. критик, публицист; дипломат 157, 187, 209, 234, 239, 260, 299, 447, 448, 458–460, 528–531, 690–697, 785–786, 826, 827, 839, 853, 859, 866, 870, 883, 886, 917, 919, 931, 932, 952, 963, 964, 979
Анализ, стиль и веяние (О романах гр. Л. Н. Толстого) 690–697, 866, 963, 964
Византизм и славянство 886
Владимир Соловьёв против Данилевского 853
Восток, Россия и славянство 209, 529, 530, 693, 859, 870, 931, 932, 963
Гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский 693, 963
Из жизни христиан в Турции 209, 529, 931
Как надо понимать сближение с народом? 917
Национальная политика как орудие всемирной революции 693, 963
Наши новые христиане 458, 529, 693, 919, 963
О всемирной любви: По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике 919, 963
Очерки Афона 187, 870
Страх Божий и любовь к человечеству, по поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого «Чем люди живы» 919, 963
- Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874), проф. Моск. ун-та по каф. греч. словесности, соред. газ. «Моск. Ведомости» (с 1863) 693, 964
- Леонтьев-Щеглов Иван Леонтьевич – см. *Щеглов И. Л.*
- Леопарди (Leopardi) Джакомо (1798–1837), итал. поэт, моралист, филолог 55, 809
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) 20, 69, 80, 81, 111–118, 155, 194, 228, 232, 235, 256, 260, 268, 278, 312, 320, 336, 390, 393, 394, 396, 404, 426, 441, 454, 460, 521, 527, 529, 556, 557, 571, 586–589, 607, 617, 620, 630, 636, 639, 673, 674, 683, 690, 697, 711, 734, 735, 738, 769, 789, 796, 809, 810, 840, 852, 853, 857–859, 878, 881, 892, 896, 913, 916, 929–931, 939, 940, 942, 945–947, 952–955, 963, 964, 967, 971, 978, 980
1-е января 588
Ангел 114, 527, 931
Бородино 784, 978
Выхожу один я на дорогу.. 426, 630, 913, 952
Герой нашего времени 556
Демон 521, 529, 571, 646, 734, 881, 930, 955, 971
Дума 588, 613, 636, 697, 947, 953, 964

- Есть речи — значенье... 512, 929
 Журналист, читатель и писатель 278, 607, 892, 946
 Записные книжки 80, 853
 И скучно, и грустно, и некому руку подать... 441, 916
 Из-под таинственной холодной полумаски... 587, 942
 Как часто, пестрою толпою окружен... 571, 603, 939, 945
 Кинжал 588, 789, 980
 Когда волнуется желтеющая нива... 114, 232, 556, 810, 881
 Мцыри 477
 Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова 81, 235, 588, 674
 Поэт 789, 840, 980
 Пророк 588, 639, 690, 963
 Родина 81, 588, 853
 Сказка для детей 711, 967
 Сон 114, 810
 Спеша на север из далека... 857
 Тамань 312, 556, 587
 Тамбовская казначейша 940
 Три пальмы 513, 556, 929
 Узник 298, 896
 Умиравший гладиатор 69, 852
 Штосс 587, 942
- Лесгафт Петр Францевич (1837—1909), биолог, анатом, антрополог, врач, педагог 708, 966
 Лесевич Владимир Викторович (1837—1905), философ 954
 Лесков Николай Семенович (1831—1895), писатель 282, 386, 387, 389, 657, 670, 671, 823, 862, 892, 905, 943
 Леди Макбет Мценского уезда 595, 943
 Новое русское слово 862
 Скоморох Памфалон 282, 892
- Лессинг (Lessing) Готтольд Эфраим (1729—1781), нем. поэт, драматург, основоположник нем. классической литературы 682, 962
 Либих (Liebig) Юстус фон (1803—1873), нем. химик 522
 Ливингстон (Livingstone) Давид (1813—1873), шотланд. миссионер, исследователь Африки 892
 Линней (Linnaeus) Карл (1707—1778), швед. естествоиспытатель, медик 161
 Линниченко Иван Андреевич (1857—1926), историк, славист, археограф 876
 Линч (Lynch) Чарлз (1736—1796), амер. судья 896
 Литтре (Littre) Эмиль (1801—1881), фр. философ-позитивист, историк, филолог, лексикограф 68, 851
 Словарь французского языка 68, 851
- Лихачёв Владимир Сергеевич (1849—1910), поэт, драматург, переводчик Мольера 489
 Лия, жена библ. патриарха Иакова, родившая ему шестерых сыновей 174, 337, 340, 347
 Лобачевский Николай Иванович (1792—1856), математик, создатель неевклидовой геометрии 972
 Лович (ур. графиня Грудзинская) Жанетта Антоновна (1795—1831), княгиня, вторая (морганатическая) жена вел. князя Константина Павловича 47
 Локк (Locke) Джон (1632—1704), англ. философ, педагог 566, 567, 931
 Опыт о человеческом разуме 931
- Ломоносов Алексей Васильевич (р. 1962), историк, архивист 848, 857, 875, 894, 905, 926, 937, 939, 946, 950, 969, 970, 978, 980, 983
 Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) 96, 161, 224, 236, 403, 491, 641, 681, 781—784, 856, 878, 895, 908, 924, 954, 978
 Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния 224, 782, 878
 Демофонт 784

- Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится РИТОРИКА, показывающая общие правила обою красного речия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки 641, 783, 954
- Краткой Российской Летописец с родословием 783
- Надгробная Святому благоверному Князю Александру Невскому 783
- Ода блаженной памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года 784, 978
- Ода, выбранная из Иова 782
- Ода на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны 403, 908
- О пользе химии 783
- О происхождении света 783
- О рождении металлов 783
- О электрических явлениях на воздухе, с изъяснением 783
- Петр Великий 784
- Письмо о пользе стекла к <...> Ивану Ивановичу Шувалову, писанное в 1752 году 783
- Предисловие о пользе книг церковных в российском языке 782, 924
- Российская грамматика 781
- Слово о Петре Великом 783
- Собрание разных сочинений в стихах и в прозе 782, 783
- Тамира и Селим 784
- Утреннее размышление о Божием Величестве 224, 782, 878
- Лопатин Герман Александрович (1845—1918), полит. деятель, революционер 378, 822
- Лопатин Лев Михайлович (1855—1920), философ-идеалист, психолог 191, 702, 965
- Положительные задачи философии 702, 965
- Философское мировоззрение В. С. Соловьёва 965
- Лопатин Николай Петрович (1880—1914), журналист, ред.-изд. газ. «Жизнь» 457, 918, 919
- Мистическая порнография 457, 918
- Лопухин Алексей Александрович (1864—1928), судебный деятель, директор Департамента полиции (1902—1905) 903
- Лоран (Laurent) Франсуа (1810—1887), бельг. юрист, историк 477
- Études sur l'histoire de l'humanité 477
- Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888), граф, военачальник, гос. деятель, член Гос. совета (1880) 105, 799, 842
- Лосев Алексей Федорович (1893—1988), философ, филолог, переводчик 958
- Владимир Соловьёв и его время 958
- Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965), религ. философ-интуитивист 212, 876
- Лот, племянник Авраама, живший в Содоме 347—349, 354, 366, 820, 902
- Луи-Филипп I (Louis-Philippe I^{er}; 1773—1850), фр. король (1830—1848) 631, 952
- Лука, апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла, автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов 233, 919
- Лукьянов Сергей Михайлович (1855—1935), ученый-эпидемиолог, писатель, гос. деятель 189
- Луллий (Lullius) Раймунд (ок. 1235—1315), каталан. миссионер, поэт, философ, теолог 192
- Лухманова Надежда Александровна (1844—1907), писательница, драматург, переводчица 851
- Тайна жизни 62, 851
- Львов Алексей Федорович (1798—1870), скрипач-виртуоз, композитор, дирижер, автор музыки гимна «Боже, Царя храни!» 854
- Льюис (Lewes) Джордж Генри (1817—1878), философ-позитивист, лит. критик 212, 403, 876
- История философии от начала ее в Греции до нашего времени 212, 876
- Лэйярд (Layard) Остин Генри (1817—1894), англ. археолог 502

- Любавский Матвей Кузьмич (1860—1936), историк, ректор Моск. ун-та (1911—1917) 306, 649, 816, 898, 956
 Алексей Сергеевич Белкин 898
 Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского статута 956
 Очерки по истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно 956
- Любимов Николай Алексеевич (1830—1897), физик, публицист 866, 964
- Любкер (Lübker) Фридрих (1811—1867), нем. филолог-классик, педагог 97, 856
 Реальный словарь классической древности 97, 856
- Любошиц Семен Борисович (псевд.: Любош; 1859—1926), журналист, театр. критик 888, 889
 Меньшиков, Пушкин и Гоголь 889
- Людовик IX Святой (Saint Louis IX; 1214—1270), фр. король (с 1226) 920
- Людовик XI (Louis XI; 1423—1483), фр. король (с 1461) из династии Валуа 124
- Людовик XIV Великий (Louis XIV Le Grand; 1638—1715), фр. король (с 1643) 934
- Людовик XV Возлюбленный (Louis XV Le Bien Aimé; 1710—1774), фр. король (с 1715) 976
- Людовик-Филипп — см. *Луи-Филипп I*
- Люллий — см. *Луллий Р.*
- Лютер (Luther) Мартин (1483—1546), нем. богослов, инициатор Реформации 165, 195, 203, 535, 537, 680—682, 721
- Лященко Аркадий Иоакимович (1871—1931), историк литературы, педагог, библиограф 402, 908
- Магницкий Леонтий Филиппович (1669—1739), математик, педагог 295, 895**
 Арифметика 295, 895
- Магницкий (у Розанова: Магнитский) Михаил Леонтьевич (1778—1844), попечитель Казанского учеб. округа 731, 732, 970
- Магомет (варианты: Мухаммад, Мухаммед, Мохаммед; 571—632), араб. проповедник единобожия и пророк ислама; полит. деятель 56, 704, 965
- Мадзини (Mazzini) Джузеппе (1805—1872), итал. политик, писатель, философ 631, 709, 836
- Мазарини (Mazzarini, Mazarin) Джулио (1602—1661), итал. и фр. церков. и полит. деятель, первый министр Франции (1643—1651, 1653—1661) 254, 255
- Мазон (Mazon) Андре (1881—1967), фр. славист 901
- Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт 64, 193, 379, 764, 851, 976
 Из дневника 851
 Очерки Рима 851
- Майков Валериан Николаевич (1823—1847), лит. критик, публицист, брат А. Н. Майкова 976
- Макарий (в миру Михаил Петрович Булгаков; 1816—1882), митрополит Московский и Коломенский (с 1879) 166, 440, 584, 867, 916, 942
 Православно-догматическое богословие 166, 584, 867, 916, 942
- Макарий (в миру Михаил Николаевич Иванов; 1788—1860), преподобный оптинский старец 854
- Макаров Николай Петрович (1810—1890), лексикограф, гитарист 523, 930
 Полный русско-французский словарь 523, 930
 Полный французско-русский словарь 523, 930
- Макаров Степан Осипович (1848—1904), военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, вице-адмирал (1896) 199, 873
- Мак-Магон (Mac-Mahon) Патрис де (1808—1893), граф, фр. военачальник, полит. деятель, президент Франции (1873—1879) 929

- Маковицкий (Makovický) Душан Петрович (1866–1921), словац. врач, писатель, переводчик; врач семьи Л. Н. Толстого 866, 972
Яснополянские записки 972
- Малинин Александр Федорович (1835–1888), педагог, преподаватель математики и физики 108, 251, 884
Физика 251
- Мальбранш (Малебранш, Malebranch) Николя (1638–1715), фр. философ 212, 305, 661, 876, 897
Разыскание истины 212, 876, 897
- Малявин Филипп Андреевич (1869–1940), живописец, график 626, 951
Три бабы 626, 951
- Мамай (ок. 1335–1380), беклярбек, темник Золотой Орды 83
- Мамин-Сибиряк (наст. фам. Мамин) Дмитрий Наркисович (1852–1912), прозаик, драматург 483
- Манасейна Наталья Ивановна (1869–1930), детская писательница, ред.-изд. журн. «Тропинка» 290, 895
- Манн Юрий Владимирович (р. 1929), литературовед 976
«Все мы вышли из гоголевской „Шинели“» 976
- Маресева (ур. Кайгородова) Тамара Дмитриевна (1882–1958), художница, детская писательница 478, 922
- Мариновский, офицер, участник Отечественной войны 1812 года 438
- Мария, Богоматерь (Св. Дева) 116, 143, 185, 241, 256, 299, 479, 545, 854, 859, 883, 896
- Мария, сестра Лазаря из Вифании 239–243, 245, 247, 883
- Мария Георгиевна – см. *Муретова М. Г.*
- Мария Магдалина, последовательница Иисуса Христа, мирносица 415, 442, 443, 731, 970
- Мария Николаевна – см. *Толстая М. Н.*
- Мария Федоровна (ур. София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская; 1759–1828), рос. императрица (с 1796), супруга имп. Павла I (с 1776) 883
- Марк, апостол от семидесяти, автор одного из четырех Евангелий 233, 919
- Маркс (Marx) Карл (1818–1883) 33, 59, 76, 216, 233, 404, 411, 412, 471, 516, 910, 929
Капитал 411, 910
- Маркс Адольф Федорович (1838–1904), книгоиздатель, изд. журн. «Нива» (с 1870) 649, 731, 969
- Марс (Mars), в др.-рим. мифологии родоначальник и хранитель Рима, бог плодородия, позднее – бог войны 98
- Мартынов Иван Михайлович (1821–1894), археолог, иезуит 717, 723
- Марфа, сестра Лазаря из Вифании 239–243, 245–247, 883
- Марфа (в миру Ксения Иоанновна Романова; ?–1631), инокиня, мать царя Михаила Федоровича 859
- Масперо (Maspero) Гастон (1846–1916), фр. египтолог 504
- Матвей (Матвей Ржевский), отец – см. *Константиновский М. А., протоиерей*
- Матфей (Левий Матфей), один из двенадцати апостолов, автор одного из четырех Евангелий 233, 247, 919
- Медведев Александр Александрович, литературовед 918, 943
- Медведский Константин Петрович (1866 – до 1919), поэт, лит. критик, публицист 871, 944
- Медичи (Medici), семейство, правившее Флоренцией в XIII–XVIII вв. 889
- Мезенцов (Мезенцев) Николай Владимирович (1827–1878), ген.-лейтенант, ген-адъютант, шеф жандармов и глава III Отделения (с 1876) 904
- Мей Лев Александрович (1822–1862), поэт, прозаик, переводчик 453, 954

- Мейер Александр Александрович (1874–1939), философ, религ. и обществ. деятель 211, 875
 Религия и культура: По поводу современных религиозных исканий 211, 875
- Мейербер (Meuergbeer) Джакомо (1791–1864), нем. и фр. композитор 72
- Мейерхольд Всеволод Эмильевич (наст. имя и фам. Карл Казимир Теодор Майергольд; 1874–1940), режиссер, актер, педагог 953
- Мейсснер (Мейснер, Meissner) Георг (1829–1905), нем. анатом, физиолог 307
- Меланхтон (Melanchton) Филипп (1497–1560), нем. гуманист, теолог, педагог 161, 162, 165, 681, 682
- Мельников-Печерский (наст. фам. Мельников, псевд.: Андрей Печерский) Павел Иванович (1818–1883), прозаик, историк, расколовед; чиновник Мин-ва внутр. дел (1850–1866) 24, 844
 В лесах 24, 844
- Мельшин Л. – см. *Якубович П. Ф.*
- Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) 161, 235, 236, 295, 487, 599, 731, 882, 944
 К познанию России 599, 882, 944
- Меншиков (у Розанова: Меньшиков) Александр Данилович (1673–1729), граф (1702), князь (1705), светлейший (1707), гос. и воен. деятель, ближайший сподвижник Петра I 626, 681
- Меншуткин Николай Александрович (1842–1907), химик 731
- Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918), публицист, обществ. деятель 107, 410, 889, 910, 944
 «Генерал» в заплатах и генерал в орденах 410, 910
- Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) 15, 40–42, 55, 56, 168, 169, 171, 172, 208, 211, 215, 216, 223–225, 227, 228, 230–234, 255, 285–289, 311, 388, 389, 392, 406–410, 562, 581, 582, 635, 644–646, 732, 750–752, 790, 805, 815, 849, 850, 873, 877–880, 885, 893, 894, 909, 926, 934, 937, 940, 955, 973, 975, 981
 Антихрист. Петр и Алексей 881
 Больная Россия 877, 909
 Воскресшие боги. Леонардо да Винчи 40, 232, 881, 909
 В тихом омуте 878
 Гоголь и о. Матвей 873
 Земля во рту 409, 909
 Красная шапочка 224, 878
 Леонардо – см. *Воскресшие боги. Леонардо да Винчи*
 Л. Толстой и Достоевский 388
 М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества 878
 Не-Джиоконде 879
 Не мир, но меч 881
 Опять о интеллигенции и народе 893
 Пророчество и провокация 877
 Революция и религия 881
 Свинья Матюшка 406, 407, 909
 Смерть богов. Юлиан Отступник 40, 232, 881
 Смерть Толстого 937
 Христос и Антихрист 881
 Юлиан – см. *Смерть богов. Юлиан Отступник*
- Меркель (Merkel) Фридрих Зигмунд (1845–1919), нем. анатом, патолог, гистолог, физиолог 307
- Меркурий (Mercurius), в др.-рим. мифологии бог – покровитель торговли 98
- Меркушев Михаил Логгинович, петерб. типограф (1895–1916) 853
- Меровинги (Mérovingiens), первая династия франкских королей (кон. V – сер. VIII вв.) 766, 976

- Мессалина Валерия (Messalina Valeria; ок. 17/20—48), третья жена имп. Клавдия, распутница 778
- Местр (Maistre) Жозеф де (1753—1821), граф, фр. философ, литератор, политик, дипломат 472
- Метерлинк (Maeterlinck) Морис (1862—1949), бельг. писатель, драматург, философ 53, 54, 58, 849, 850
За стенами дома 58, 850
- Мечников Иван Ильич (1836—1881), прокурор, председатель Киевской судебной палаты, прототип героя повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» 867
- Мечников Илья Ильич (1845—1916), биолог 585, 712, 942
Невосприимчивость в инфекционных болезнях 585, 942
- Мещерский Владимир Петрович (1839—1914), князь, писатель, публицист, ред.-изд. журн. «Гражданин» 123, 139, 757, 976
- Мещерский Николай Петрович (1829—1901), князь, археограф, поэт, попечитель Моск. учеб. округа (1874—1880) 915
- Микеланджело (у Розанова: Микель Анджело, Michelangelo) Буонарроти (1475—1564) 43, 143, 161, 256, 257, 262, 806, 847, 887
Моисей 43, 847
Страшный суд 143
- Микешин Михаил Осипович (1835—1896), скульптор, художник 859
- Микулич (наст. фам. Веселитская) Лидия Ивановна (1857—1936), писательница, мемуарист, переводчица 204, 205
- Миллер (Мюллер, Müller) Георг Элиас (1850—1934), нем. философ, психолог 307
- Милль (Mill) Джон Стюарт (1806—1873), англ. философ, экономист, полит. деятель 72, 88, 307, 567, 582, 634, 660, 898
О подчинении женщины 898
О свободе 898
Основания политической экономии 898
Размышления о представительном правлении 898
Рассуждения и исследования политические, философские и исторические 898
Система логики 898
Утилитарианизм 898
Цивилизация 898
- Милтон (Milton) Джон (1608—1674), англ. поэт, мыслитель, полит. деятель 419, 424, 425, 427, 824, 911, 913
Ареопагитика: Речь в защиту свободы печати, обращенная к парламенту Англии 420, 911
Потерянный рай 419—420, 425, 913
- Мильтиад (Μιλτιάδης; ок. 550—489 до н. э.), др.-греч. афинский госуд. деятель, полководец периода греко-персидских войн (500—449 до н. э.) 922
- Милюков Павел Николаевич (1859—1943), полит. деятель, историк, публицист 106, 107, 294, 425, 670, 673, 690, 732, 751, 857, 882, 913, 970, 973
Воспоминания 913
Из истории русской интеллигенции 882
- Милютин (ур. Абаза) Мария Аггеевна (1834—1903), сестра министра финансов А. А. Абазы 975
- Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889), поэт-сатирик, журналист, переводчик, критик 954
- Минерва (Minerva), в др.-рим. мифологии богиня мудрости, покровительница ремесел и искусств 522
- Минин Кузьма (полн. имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий; ок. 1570—1616) 79, 286
- Минский (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855—1937), поэт, писатель-мистик, адвокат 55—57, 392, 615, 616, 765, 805, 849, 850, 948
Абсолютная реакция (Религиозные идеи Мережковского) 850

- Гимн рабочих 615, 948
 Два пути 849
 Забвенная душа 849
 Леонид Андреев и Мережковский 849
 На общественные темы 850
- Минье (Mignet) Франсуа (1796–1884), фр. историк 325, 901
 История французской революции 325, 901
- Мирабо (Mirabeau) Оноре де (1749–1791), граф, фр. полит. деятель, оратор 573
- Миртов – см. *Лавров П. Л.*
- Миртов О. – см. *Котылева-Розенфельд О. Э.*
- Митрофан Сребрянский – см. *Сергий (Сребрянский)*
- Михаил Осипович – см. *Гершензон М. О.*
- Михаил Федорович (1596–1645), царь (с 1613), основатель династии Романовых 433, 859
- Михайлов, новгородский крестьянин 41
- Михайлов Михаил Ларионович (Илларионович; 1829–1865), поэт, переводчик, полит. деятель 906
- Михайлов Николай Николаевич (1884–1940), владелец изд-ва «Прометей» (1907–1916) 790
- Михайловский Николай Константинович (1842–1904), публицист, социолог, лит. критик, теоретик народничества 26, 80, 87, 211, 298, 300–302, 379, 388, 390, 393, 397, 441, 454, 471, 497, 513, 517, 580, 618, 619, 635, 637, 708, 731, 732, 772, 790, 791, 896, 916, 918, 925, 940, 944, 953, 977
- Вольница и подвижники 454, 918
 Вперемежку 977
 Герои и толпа 454, 918
 Жестокий талант 300, 896, 953
 Записки степняка. Очерки и рассказы А. Эртеля 916
 Литература и жизнь 918
 Литературные воспоминания и современная смута 977
 Письма о правде и неправде 454, 918
 Что такое прогресс? 454, 918
- Михельсон Алексей Давидович (1836–1898), писатель, библиотекарь 862
 30 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с объяснением их корней 128, 862
- Мицкевич (Mickiewicz) Адам (1798–1855), польск. поэт, публицист, деятель польского нац. движения 68, 69, 410, 852
 Пан Тадеуш 69, 852
- Мишле (Michelet) Жюль (1798–1874), фр. историк, публицист 739, 971
- Моисей (2-я пол. XIII в. до н. э.), ветхозавет. пророк 43, 181, 183, 211, 342, 418, 721, 722, 806, 847, 968
- Мокей, беглый солдат, слуга В. Г. Черткова 686
- Молешотт (Moleschott) Якоб (1822–1893), итал. физиолог, философ 531
- Моллер Федор Антонович (1812–1874), художник, офицер, автор портрета Н. В. Гоголя 258
- Мольер (Molière; наст. имя и фам. Жан Батист Поклен; 1622–1673) 161, 301, 464
- Моммзен (Mommsen) Теодор (1817–1903), нем. историк античности, филолог-классик, юрист 66, 97, 174, 437, 851, 856
- Монтень (Montaigne) Мишель де (1533–1592), фр. писатель, философ
- Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи де Секонда (1689–1755), фр. писатель, правовед, философ 700
- Мопассан (Maupassant) Ги де (1850–1893), фр. новеллист 315–336, 404, 511, 816–818, 900
 В семье 322, 900
 Жизнь (Une vie) 315–318, 321, 322, 325, 326, 330, 333, 334, 816, 817, 900

- Заведение Телье 900
 История одной батрачки 900
 Подруга Поля 900
 Поездка за город 316, 900
- Морозов Николай Александрович (1854–1946), революционер-народоволец, почетный член Академии наук СССР 483, 487, 509, 822
- Мороховец Лев Захарович (1848–1919), физиолог, биохимик 913
 «Записки врача» Вересаева в свете профессиональной критики 913
- Моудсли (Maudsley) Генри (1835–1918), англ. философ, психиатр 567
- Моцарт (Mozart) Вольфганг Амадей (1756–1791) 444, 587, 589, 610, 916
- Муйжель Виктор Васильевич (1880–1924), писатель, художник 707, 708, 836, 966
 Памяти П. Ф. Якубовича 966
- Мур (Moore) Томас (1779–1852), англ. поэт-романтик, песенник, автор баллад 928
 Those evening bells... 928
- Муравьев (Муравьев-Виленский) Михаил Николаевич (1796–1866), граф, гос., обществ. и воен. деятель 462, 522, 920
- Мурад I (1326–1389), османский султан (с 1359) 852
- Муретова (у Розанова: Муратова; ур. Ла Барт) Мария Георгиевна (1863–1912), обществ. деятель, литератор 192, 200
- Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910), правовед, социолог, публицист, председатель Первой Гос. думы 87
- Мусин-Пушкин Алексей Иванович (1744–1817), граф, гос. деятель, археограф, историк, собиратель рукописей и рус. древностей 929
- Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937), историк, писатель, полит. деятель 87, 301, 302, 311, 379, 393, 708, 825, 954
- Мятлев Иван Петрович (1796–1844), поэт, автор романсов 918
 Фонарики 453, 454, 918
- Н. К.**, автор статьи «Небесный ревизионизм» 141
- Навуходоносор II (ок. 634–562 до н. э.), царь Нововавилон. царства (с 605 до н. э.) 915, 968
- Надсон Семен Яковлевич (1862–1887), поэт 234, 298, 881
 Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат... 881
- Наль (Нала), в индуист. мифологии царь нишадов 281, 892
- Наполеон I Бонапарт (Napoléon Bonaparte; 1769–1821) 112, 127, 167, 227, 228, 293, 408, 438, 472, 534, 554, 660, 695, 855, 858, 860, 909
- Наполеон III Бонапарт (Napoléon III Bonaparte, полн. имя Шарль Луи Наполеон Бонапарт; 1808–1873), през. Фр. республики (с 1848), фр. император (1852–1870) 408, 909
- Наталья Николаевна – см. *Гонгарова Н. Н.*
- Наумов Николай Александрович (1884–?), секретарь канцелярии орловского губернатора, любовник М. Н. Тарновской, убийца П. Е. Комаровского 468, 469, 511, 921
- Неведомский (наст. фам. Миклашевский) Михаил Петрович (1866–1943), писатель, публицист, критик 208, 226–228
- Невежина Вера Михайловна (1878–1959), искусствовед, переводчица 876
- Незлобин (наст. фам. Дьяков) Александр Александрович (1845–1895), писатель, фельетонист 383
- Некрасов М., переводчик с нем. языка (1880-е) 876
- Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878) 17–26, 33, 34, 59, 81, 173, 391, 393, 430, 453, 629, 630, 649, 674, 714, 768, 769, 789, 796, 840, 843, 844, 850, 851, 868, 906, 910, 914, 920, 923, 943, 950–952, 956, 967, 977
 В больнице 410, 910
 В дороге 20, 59, 713, 844, 850, 967

- Вино 21, 844
 Влас 772, 773, 977
 Вчерашний день, часу в шестом... 978
 Дядюшка Яков 714, 967
 Железная дорога 943
 Замолкни, Муза мести и печали!.. 768, 977
 Кольбельная песня 17, 18, 843
 Кому на Руси жить хорошо 33
 Коробейники 430, 914
 Осторожность 173, 868
 Отрадно видеть, что находит... 59, 850
 Песни о свободном слове 868, 951
 Пропала книга! 391, 629, 906, 951
 Сеятелям 624, 950
 Убогая и нарядная 64, 851
 Умру я скоро. Жалкое наследство... 463, 632, 920, 952
- Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943), режиссер, педагог, драматург, один из основателей МХТ 923
- Неплюев Николай Николаевич (1851–1908), обществ. деятель, основатель Крестовоздвиженского православного трудового братства 474, 657
- Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus; 37–68), др.-рим. император (с 54) из династии Юлиев–Клавдиев 639, 887
- Несмелов Виктор Иванович (1863–1937), философ, богослов, проф. Казан. духов. академии 254, 885
 Наука о человеке 254, 885
- Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), художник, участник Товарищества передвижных выставок и Мира искусства 83, 235, 238, 242, 247, 248, 883
 Видение отроку Варфоломею 238, 883
 Святая Русь 238, 883
- Несторий (Νεστόριος; после 381 – ок. 451), архиепископ Константинопольский (428–431), ересиарх 197, 198, 540, 872
- Нечаев Сергей Геннадьевич (1847–1882), революционер, нигилист, лидер «Народной расправы» 756, 758, 774, 904, 975, 977
 Катехизис революционера 977
- Никанор (в миру Александр Иванович Бровкович; 1826–1890), архиепископ Херсонский и Одесский, писатель, философ 334, 563, 564, 742, 901, 938, 972
 Беседа о христианском супружестве против графа Л. Толстого 972
 Из истории ученого монашества шестидесятых годов 563, 938
 Позитивная философия и сверхчувственное бытие 938, 972
 Против графа Льва Толстого. 8 бесед 901
 Церковь и государство: Против графа Л. Толстого 901
- Никитенко Александр Васильевич (1804–1877), историк литературы, цензор 406, 436, 796, 909, 915
 Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник (1826–1877) 406, 796, 909, 915
- Никитин Евгений Николаевич (р. 1950), литературовед 851
- Николадзе Николай (Нико) Яковлевич (1843–1928), грузин. публицист, просветитель, обществ. деятель 489
- Николай I Павлович (1796–1855), рос. император (с 1825) 480–482, 796, 910
- Николай II Александрович (1868–1918), рос. император (1894–1917) 401, 844, 855, 861, 895, 907, 918
- Николай Александрович (1845–1866), великий князь, цесаревич, старший сын имп. Александра II 176, 518, 621, 869, 898, 950, 964
 Из учебных тетрадей покойного цесаревича Николая Александровича (1863 г.) 176, 869

- Никольский Борис Владимирович (1870—1919), юрист, поэт, лит. критик 530, 786, 979
 К характеристике К. Н. Леонтьева 979
- Николюкин Александр Николаевич (р. 1928), литературовед, историк философии, библиограф, переводчик 4, 893
- Никон (в миру свящ. Никита Минич Минов-Ларионов; 1605—1681), митрополит Новгородский (с 1649), патриарх Московский и всея Руси (1652—1658); провел реформы, вызвавшие раскол 44, 847
- Никон (в миру Николай Иванович Рождественский; 1851—1919), епископ Вологодский и Тотемский (с 1906), богослов, публицист 246, 884
- Никон (в миру Николай Андреевич Софийский; 1861—1908), архиепископ Карталинский и Кахетинский (с 1906), экзарх Грузии 99, 857
- Нильсон (Nilsson) Кристина (1843—1921), швед. оперная певица 495
- Нин, в аккад. и др.-армян. мифологии царь Ассирии, убитый своей супругой Семирамидой 727, 969
- Нина (ок. 280 — ок. 335), христианская просветительница Грузии 99
- Ницше (Nietzsche) Фридрих (1844—1900), нем. философ, филолог, композитор 54, 112, 141—143, 168, 212, 227, 278, 378, 388, 394, 528, 529, 531, 532, 691—693, 861, 864, 876, 931, 963
 К происхождению морали 691, 963
 По ту сторону добра и зла 124, 861
 Так говорил Заратустра 143, 278, 864
- Новгородцев Павел Иванович (1866—1924), правовед, философ, обществ. и полит. деятель 234, 904
- Новиков Николай Иванович (1744—1818), журналист, издатель, обществ. деятель 271, 416, 911, 961
- Нокс (Кнох) Джон (ок. 1510—1572), шотланд. религиозный реформатор 161, 162
- Нордман-Северова Наталья Борисовна (1863—1914), писательница, публицистка, жена И. Е. Репина 414, 487, 911
 Интимные страницы 911
- Носарь Георгий Степанович (он же Хрусталёв Петр Алексеевич; 1877—1919), полит. и обществ. деятель, революционер, проповедник богоискательства 707
- Носков Николай Дмитриевич (1869—1941), историк литературы 620
- Нума Помпилий (Numa Pompilius), полубогородитель, второй царь Древнего Рима (715—673/672 до н. э.) 969
- Ньютон (Newton) Исаак (1642—1727) 107, 112, 318, 676, 697, 950, 964
 Метод флюксий 697, 964
- О. П., лит. критик (1910-е) 927
 О «Мелком бесе» Ф. Сологуба 927
- Обер (Auber) Даниэль (1782—1871), фр. композитор 929
 Озеро Фей 929
- Оболенский Леонид Егорович (псевд.: Созерцатель; 1845—1906), писатель, поэт, публицист, критик 951
 Обо всем 951
- Овидий (Публий Овидий Назон, Publius Ovidius Naso; 43 до н. э. — ок. 18 н. э.), др.-рим. поэт 174, 871
 Метаморфозы 871
- Овсяннико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920), литературовед, лингвист 486, 650, 944
- Огарёв Николай Платонович (1813—1877), поэт, публицист, революционер 791, 954
- Одиссей (Ὀδυσσεύς), в др.-греч. мифологии царь Итаки, участник Троян. войны; соответствует Улиссу в др.-рим. мифологии 274, 961

- Ожегов Сергей Иванович (1900—1964), лингвист, лексикограф 943
 Толковый словарь русского языка 943
- Озаровская Ольга Эрастовна (1874—1933), исполнительница северных народных сказок, собирательница фольклора 640
- Озирис (Осирис), в др.-египет. мифологии бог возрождения, царь загроб. мира 350, 351, 590
- Оккам (Ockham) Уильям (ок. 1285—1347), англ. философ, францисканский монах 718
- Олигер Николай Фридрихович (1882—1919), прозаик, драматург 605, 606, 946
 Осенняя песня 605, 946
- Опекушин Александр Михайлович (1838—1923), скульптор 859
- Орешников Алексей Васильевич (1855—1933), нумизмат 307, 898
- Ориген (*Ὠριγῆνης; ок. 185—253/254), христ. теолог, философ, филолог, представитель ранней патристики 348, 902
 О началах 902
- Ород II, царь Парфии из династии Аршакидов (57—38 до н. э.) 898
- Оры (*Ὠροι), в др.-греч. мифологии богини времен года 500
- Осоргина У. — см. *Иулиания Лазаревская*
- Островский Александр Николаевич (1823—1886) 153, 479—482, 484, 602, 604, 620, 641, 670, 671, 674, 845, 847, 859, 893, 922, 923, 965, 967
 Бедность не порок 965
 В чужом пиру похмелье 847
 Волки и овцы 34, 845
 На всякого мудреца довольно простоты 479—482, 923
- Остроградский Михаил Васильевич (1801—1862), математик, механик 731
- Отт Дмитрий Оскарович (1855—1929), акушер-гинеколог 485
- Отто Санкт-Блазенский (кон. XII — нач. XIII в.), др.-англ. писатель 933
- П-цов П. П. — см. *Перцов П. П.***
- Павел (до апостол. призвания Савл; ?—65), первоверховный апостол 165, 254, 355, 389, 541, 601, 627, 629, 721, 883
- Павел I Петрович (1754—1801), рос. император (с 1796) 782, 783, 883
- Павленков Флорентий Федорович (1839—1900), книгоиздатель, просветитель, переводчик 673, 704, 938, 961, 965
- Павлищев Николай Иванович (1802—1879), муж сестры А. С. Пушкина Ольги 689
- Павлов Владимир Петрович (1851—1906), ген.-лейтенант, главный воен. прокурор 87, 88, 854
- Павлов Николай Михайлович (1835—1906), писатель, историк, публицист 853
 В заключение нашей полемики с г. Цветковым 853
- Павский Герасим Петрович (1787—1863), протоиерей, филолог, экзегет 421, 912
- Паисий (в миру Петр Иванович Величковский; 1722—1794), преподобный, архимандрит, переводчик 854
- Пальмер (Palmer) Вильям (1811—1879), англ. богослов, антиквар, священник 535, 933
- Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель, лит. критик, журналист 967
- Панафидина Александра Самуиловна (1873—1919), предприниматель, книгоиздатель, просветитель 788
- Панина Софья Владимировна (1871—1956), графиня, благотворительница 487
- Пантелеимон (Παντελεῖμων; ?—305), святой, целитель 249—251
- Пантюхов Михаил Иванович (1880—1910), писатель 636
- Парфений (в миру Петр Агеев (Аггеев); 1806—1878), игумен, духов. писатель, миссионер 693, 964
 Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника Святая Горы Афонския инока Парфения 693, 964

- Пархоменко Иван Кириллович (1870–1940), художник, автор портретной галереи рус. писателей 482–487, 923
- Паскаль (Pascal) Блез (1623–1662), фр. математик, физик, механик, литератор, философ 272, 323, 464, 470, 843, 890, 900
Мысли о религии и о некоторых других вопросах 272, 323, 900
- Пастёр (Pasteur) Луи (1822–1895), фр. микробиолог, химик 107, 145, 318, 464, 638, 676
- Патти (Patti) Аделина (1843–1919), итал. певица 495
- Пекарский Эдуард Карлович (1858–1934), лингвист, этнограф, фольклорист 522
- Пенелопа (Πηνελόπη), в др.-греч. мифологии супруга Одиссея, мать Телемаха 677, 961
- Перикл (Περικλῆς; ок. 494–429 до н. э.), афин. гос. деятель, оратор, полководец 75, 105, 473, 529, 744
- Перович Яков Владимирович, религ. публицист, лит. критик (1900–1910-е) 141
Возрождение язычества 141
- Перовский Алексей Алексеевич (псевд.: Антоний Погорельский; 1787–1836), писатель 351, 902
- Перун, в слав. мифологии бог-громовержец 222
- Перцов Петр Петрович (1868–1947), поэт, прозаик, публицист, издатель, лит. критик, искусствовед 225, 310, 351, 530, 602, 687, 795, 902, 945, 962, 982, 983
И. Л. Щеглов-Леонтьев 962
Чертковщина 795, 982, 983
- Петерсен Владимир Карлович (псевд.: Н. Ладожский; 1842–1906), журналист, воен. инженер, полковник Ген. штаба 944
Ужасные мужики 944
- Петр (до апостол. призвания Симон; ?– 65), первоверховный апостол 40, 195, 198, 227, 262, 564, 594, 720, 721, 814, 872, 879, 887
- Петр I Великий (1672–1725) 47, 54, 83, 90, 220, 295, 296, 419, 464, 506, 520, 544, 626, 661, 662, 679, 681, 761, 773, 782–784, 796, 856, 877, 880, 895, 911, 962
- Петр Бернгардович – см. *Струве П. Б.*
- Петр Пустынник, Амьенский (Petrus Heremita, Ambianensis; ок. 1050–1115), аскет, которому приписывается организация Первого крестового похода 265, 887
- Петражицкий Лев Иосифович (1867–1931), правовед, социолог, философ 102, 152
- Петрарка (Petrarca) Франческо (1304–1374), итал. поэт 75, 77, 852
- Петрищев Афанасий Борисович (1872 – после 1949), писатель, публицист, обществ. деятель 311, 379, 825
- Петров Григорий Спиридонович (1866–1925), священник, обществ. деятель, журналист, публицист 752
- Петров Н. Я., корреспондент А. И. Эрделя 461
- Петровский Сергей Васильевич (1864–1934), священник, богослов 938
- Печорин (Печерин) Владимир Сергеевич (1807–1885), поэт, мемуарист, религ. мыслитель, монах из католич. ордена редемптористов 717
- Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933), экономист, журналист, полит. деятель, министр продовольствия Времен. правительства 87, 301, 302, 311, 312, 379, 383, 393, 615, 618, 619, 825, 938, 948, 954
Бесстыжее светило, или Изобличенный двурушник 615, 948
- Пивоваров Юрий Сергеевич (р. 1950), историк, политолог, правовед; академик (с 2006) 4
- Пилат – см. *Понтий Пилат*
- Пиндар (Πίνδαρος; 522/518–448/438 до н. э.), др.-греч. лирический поэт 393
- Пирогов Николай Иванович (1810–1881), хирург, анатом, основоположник военно-полевой хирургии 712, 756
Вопросы жизни 712
- Пирожков Михаил Васильевич (1867–1927), издатель 39, 308–311, 899

- Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868), публицист, лит. критик, рев. демократ 52, 53, 148, 271, 272, 298, 301, 379, 381, 382, 513, 614, 617, 623, 630, 634, 638, 754, 790, 871, 904, 952
 Лирика Пушкина 904
 Пушкин и Белинский 904
 Разрушение эстетики 379, 630, 904, 952
- Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881), писатель, драматург 325, 398, 602, 620, 674
- Питт (Pitt) Уильям Младший (1759—1806), англ. гос. деятель, премьер-министр (1783—1801) 61, 473
- Питт (Pitt) Уильям Старший (1708—1778), англ. гос. деятель, премьер-министр (1766—1768) 61, 473
- Пифагор Самосский (Πυθαγόρας ὁ Σάμιος; VI в. до н. э.), др.-греч. философ, религ. и пол.-лит. деятель, математик 369, 638, 679, 818, 902
- Пич (Pietsch) Людвиг (1824—1911), нем. живописец, фельетонист, писатель 738
- Платон (Πλάτων; 428/427—348/347 до н. э.) 75, 107, 123, 124, 296, 299, 361, 362, 527, 530, 535, 566, 661, 700, 729, 739, 740, 882, 902, 931, 932, 971
 Федр 361, 527, 739, 902, 931, 971
- Платонов Сергей Федорович (1860—1933), историк 485
- Плеве Вячеслав Константинович фон (1846—1904), гос. деятель, министр внутр. дел (1902—1904) 39, 373, 451, 472, 578, 752, 810, 825, 828, 921
- Плетнёв Петр Александрович (1791—1866), критик, поэт 402, 519, 908
- Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918), теоретик и пропагандист марксизма, философ, один из основателей РСДРП 87
- Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), писатель, поэт, переводчик, лит. и театр. критик 453, 579, 594
- Плутарх (Πλούταρχος) из Херонеи (ок. 45 — ок. 127), др.-греч. философ, биограф, моралист 524, 857, 879, 970
 Алкивиад 857
 Катон 970
- Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), правовед, проф. Моск. ун-та (1860—1865), религ. философ; сенатор (с 1868), обер-прокурор Св. Синода (1880—1905) 39, 79, 80, 93, 451, 462, 472, 539, 554, 585, 659, 810, 855, 958
- Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, коллекционер, журналист, издатель 72, 73, 76, 431, 518—520, 522, 624, 656, 852, 914, 929, 930, 950, 952, 957
 Воспоминание о Бухаре (Архимандрит Феодор) 656, 957
- Погожев (псевд. Поселянин) Евгений Николаевич (1870—1931), религ. публицист, духов. писатель 241, 786
- Подвысоцкий Владимир Валерьянович (1857—1913), патолог, эндокринолог, иммунолог, переводчик 876
- Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1642), князь, боярин, полководец, нар. герой 79
- Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), писатель, драматург, лит. и театр. критик, историк, переводчик 602
- Полежаев Александр Иванович (1804—1838), поэт 320
- Поливанов Лев Иванович (1838—1899), педагог, литературовед, обществ. деятель 263
- Полонская (ур. Рюльман) Жозефина Антоновна (1844—1920), скульптор-любитель, вторая жена Я. П. Полонского 151, 865
- Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт, литератор 151, 379, 579, 865
- Помпадур — см. Пуассон Ж. А.
- Понтий Пилат (Pontius Pilatus), др.-рим. прокуратор (наместник) Иудеи (26—36) 283
- Попов Михаил Васильевич (1836—1906), владелец книжного магазина, издатель 121

- Попов Михаил Степанович (1865 – не ранее 1935), священник, один из зачинателей обновленчества 912
- Попов Нил Александрович (1833–1891), историк, славист, архивист 73, 431–433, 649, 852, 956
Россия и Сербия: Исторический очерк русского покровительства Сербии с 1806 по 1856 год 956
- Поповский Николай Никитич (ок. 1730–1760), проф. красноречия, магистр философии, ученик М. В. Ломоносова 978
- Порфирий (в миру Константин Александрович Успенский; 1804–1885), епископ Чигиринский, востоковед, византолог, археолог 563
- Поселянин Е. — см. *Погожев Е. Н.*
- Посошков Иван Тихонович (1652–1726), экономист-теоретик, публицист, изобретатель 520
- Поссарт (Possart) Эрнст фон (1841–1921), нем. актер 558
- Поссе Владимир Александрович (1864–1940), журналист, революционер 397, 906
- Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929), прозаик, драматург 944
- Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891), языковед, литературовед, философ 676, 683
- Потехин Алексей Антипович (1829–1908), драматург, романист 398
- Пракситель (Πραξιτέλης; IV в. до н. э.), др.-греч. скульптор 260
- Прахов Адриан Викторович (1846–1916), историк искусства, археолог, худож. критик 394
- Прево (Prévost) Антуан Франсуа (аббат Прево; 1697–1763), фр. писатель 961
История кавалера де Грие и Манон Леско 677, 961
- Преображенский Василий Петрович (у Розанова: В. М. Преображенский; 1864–1900), философ, лит. критик 189
- Приам (Πρίσιος), в др.-греч. мифологии последний (6-й по счету) царь Трои 480, 934
- Прилуков Донат Дмитриевич (1870 – после 1910), адвокат, жених М. Н. Тарновской, осужденный за соучастие в убийстве гр. П. Е. Комаровского 468–470, 511, 921
- Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954), прозаик, публицист 599–600, 944
В краю непуганых птиц: Очерки Выговского края 599, 944
За волшебным колобком: Из записок на крайнем севере России и Норвегии 599, 944
- Протейкинский Виктор Петрович (? – ок. 1914), учитель математики, чл. Религ.-филос. о-ва 458, 919
- Протопопов Михаил Алексеевич (1848–1915), лит. критик, публицист 15, 441, 581, 916, 941, 944
- Пругавин Александр Степанович (1850–1920), публицист-этнограф, историк, исследователь раскола 758
- Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809–1865), фр. политик, публицист, экономист, философ, социолог 76, 631
- Прутков Козьма, лит. маска, под которой выступали поэты граф А. К. Толстой, братья Алексей (1821–1908), Александр (1826–1896) и Владимир (1830–1884) Михайловичи Жемчужниковы, а также Петр Павлович Ершов (1815–1869) 52, 194, 195, 199
- Птоломеи (Птолеми, Πτολεμαῖοι, Лагиды), династия правителей Египта (IV–I вв. до н. э.) 350
- Пуассон (Poisson) Жанна Антуанетта, маркиза де Помпадур (Pompadour; 1721–1764), фаворитка (с 1745) фр. короля Людовика XV 468, 471, 976
- Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920), полит. деятель, монархист, черносотенец 104, 107, 425, 889, 913
- Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) 17, 20, 61, 72, 83, 113–115, 131–133, 148, 149, 155, 173, 175, 193, 194, 203, 226, 235, 236, 240, 256, 257, 260, 268, 271–273, 281, 284, 285, 295, 296, 312, 320, 324, 336, 353, 354, 379, 388, 390, 393, 394, 410, 441, 447, 454, 463, 469, 470, 477, 487, 489, 490, 492, 494, 498, 503, 505–506, 514, 515, 529, 553, 556, 557, 559, 573, 586–589, 602, 609, 610, 612, 617, 620, 626, 627, 639, 665, 673–675,

681, 689, 690, 711, 742, 752–755, 760–762, 768, 770, 790, 810, 818, 825, 829, 844, 847, 848, 853, 854, 857, 859, 862, 868, 870, 871, 873, 879, 886, 888–890, 896, 901, 904, 906–910, 916–919, 921, 922, 924, 926, 927, 929, 930, 939, 942, 943, 946, 947, 949, 951, 954, 955, 959, 960, 962–964, 967, 972–975, 977, 978, 982, 983

Алеко 760, 761, 768

Ангел 99, 810, 857

Анджело 949

Анчар 469, 587, 921

Бесы 47, 848

Борис Годунов 81–83, 235, 284, 853

Гнедичу 410, 910

Город пышный, город бедный... 573, 644, 939, 955

Граф Нулин 353

Дар напрасный, дар случайный... 742, 972

Евгений Онегин 183, 325, 489, 590, 870, 901, 943

Египетские ночи 256, 447, 469, 917

Зимняя дорога 978

К вельможе 410, 910

Капитанская дочка 256, 284, 477, 517

Купец Остолоп и работник его Балда — см. *Сказка о попе и о работнике его Балде*

Медный всадник 505, 506

Моцарт и Сальери 444, 587, 589, 610, 612, 916, 947

На Каченовского 847

Ответ Анониму 18, 844

Отрок 396, 772, 906, 977

Памятник 410

Перед гробницею святой... 513, 929

Пиковая дама 556, 609

Пир во время чумы 589, 608, 946

Полтава 81, 295, 626, 951, 982

Послание цензору 520, 589, 709, 930, 942, 967

Поэт 203, 768, 769, 773, 873, 977

Поэт и толпа 83, 401, 454, 854, 907, 918

Пророк 226, 879

Птичка 477, 825

Путешествие Онегина 929

Романс 131, 862

Руслан и Людмила 353

Сказка о попе и о работнике его Балде 256, 886

Сказка о царе Салтане 20

Скупой рыцарь 587, 589, 627, 951

Сон 114

Стансы 607, 796, 946, 983

Телега жизни 455, 918

Цыганы 477, 762, 922

Черная шаль 711, 712, 967

Эхо 83, 194, 559, 854

Я памятник себе воздвиг нерукотворный... 695, 964

Пшибышевский (Przybyszewski) Станислав (1868–1927), польск. писатель 141

Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), литературовед, этнограф 178, 189

Рабле (Rabelais) Франсуа (1494–1553), фр. писатель 949

Гаргантюа и Пантагрюэль 949

Радищев Александр Николаевич (1749–1802), прозаик, поэт, философ 271, 404

Радклиф (Radcliffe) Анна (1764–1823), англ. писательница, одна из основательниц готического романа 223

- Радлов Эрнест Леопольдович (Львович; 1854–1928), философ, историк философии, филолог, переводчик 188–190, 192, 200, 201, 212, 658, 659, 833, 870–873, 876, 897, 958
- Радлова (ур. Давыдова) Вера Александровна, жена Э. Л. Радлова 192
- Раев Николай Павлович (1856–1919), гос. деятель, последний обер-прокурор Св. Синода, учредитель Высших (Раевских) женских курсов 427, 429, 914
- Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671), казак, предводитель крестьян. восстания (1670–1671) 637, 638
- Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822), граф, гос. деятель, министр нар. просвещения (с 1810) 902
- Рамазанов Николай Александрович (1817–1867), скульптор, художник, литератор 257
- Рамзес (Рамсес) II Великий, фараон Др. Египта из XIX династии (1279–1213 до н. э.) 480
- Ранке (Ranke) Леопольд фон (1795–1886), официальный историограф Пруссии 431, 520, 914
- Расин (Racine) Жан (1639–1699), фр. драматург 464
- Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1869–1916), крестьянин, «старец», «друг семьи» Николая II 581, 941, 946
- Расстопчина (Ростопчина, ур. Сушкова) Евдокия Петровна (1812–1858), графиня, поэтесса, переводчица, драматург, прозаик 641, 954
Талисман 954
- Рафаэль Санти (1483–1520) 143, 213, 256, 257
- Рахиль (Рахель), одна из двух жен ветхозавет. патриарха Иакова 174, 337, 340, 347, 977
- Рачинский Сергей Александрович (1833–1902), ботаник, математик, педагог 290, 446, 536, 539
- Рачкий Франциск (Рачки Франьо; 1829–1894), хорват. римско-католич. священник, славист, первый президент Югославянской академии наук и искусств 189
- Ревекка, жена ветхозавет. патриарха Исаака, мать Исава и Иакова 174, 337, 340, 347, 359
- Регинин (Раппопорт) Василий Александрович (1880–1952), журналист, писатель 906
Открытие сезона и открытие г. Чуковского 906
- Рейсер Соломон Абрамович (1905–1989), литературовед, библиограф 976
«Все мы вышли из гоголевской „Шинели“» (История одной легенды) 976
- Рейснер Михаил Андреевич (1868–1928), юрист, публицист, социопсихолог, историк 208
- Рейхлин (Reuchlin) Иоганн (1455–1522), нем. философ, гуманист 75, 142
- Реклю (Reclus) Элизе (1830–1905), фр. географ, историк 88
- Рем – см. *Ромул и Рем*
- Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957), писатель 392, 486, 574, 635–636, 939
- Ренан (Renan) Эрнест (1823–1892), фр. философ, писатель, историк религии 448, 471, 529, 917
Жизнь Иисуса 448, 917
История израильского народа 448, 917
- Ренненкампф Николай Карлович (1832–1899), юрист, педагог, ректор Киевского ун-та св. Владимира (1883–1887) 754
- Репин Илья Ефимович (1844–1930), художник 270, 486, 487, 643, 911, 923, 954
- Решетников Федор Михайлович (1841–1871), писатель 604
- Рид (Reid) Томас (1710–1796), шотланд. философ, основатель Шотландской школы здравого смысла 851
- Рид (Reid) Томас Майн (1818–1883), англ. писатель 672
- Рикардо (Ricardo) Давид (1772–1823), англ. экономист, классик полит. экономии 72, 88
- Риккер Карл Леопольдович (1833–1895), издатель 897
- Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908), композитор, педагог, дирижер, участник «Могучей кучки» 907
Снегурочка 399, 907

- Робеспьер (Robespierre) Максимилиан (1758–1794), фр. революционер, один из наиболее влиятельных деятелей Великой Французской революции 933
- Родионов Иван Александрович (1866–1940), писатель, обществ. и полит. деятель, монархист 461, 462, 920
Наше преступление (Не бред, а быль): Из современной народной жизни 461, 462, 920
- Родичев Федор Измайлович (1854–1933), полит. деятель, член Гос. думы всех созывов (1906–1917) 100, 101, 152
- Рождественский Зиновий Петрович (1848–1909), флотоводец, вице-адмирал (1904), ген.-адъютант (1904) 855
- Розанов Владимир Николаевич (1876–1939), социал-демократ, врач, племянник В. В. Розанова 939
- Розанов Николай Васильевич (1847–1894), старший брат писателя, взявший его на воспитание и содержание; учитель, директор гимназии в Вязьме (с 1891) 734, 843
- Роллан (Rolland) Ромен (1866–1944), фр. писатель, обществ. деятель, музыковед 976
Гёте и Бетховен 976
- Романов-Рцы (наст. фам. Романов, осн. псевд. Рцы) Иван Федорович (1858–1913), публицист-славянофил, изд. журн. «Летописец» (1904), прозаик 868
- Ромер Федор Эмильевич (1838–1901), писатель, публицист, педагог, садовод 730, 731, 969, 970
Беседы о практическом плодоводстве 730, 970
В среде образов звериных 731
Вымирающие 731, 970
Губернская Магдалина 731, 970
Деревенский линч 731, 970
Дилетанты 730–731, 970
Жизнь или сон 731, 970
Нерешенные задачи 730, 970
Под разными флагами 730, 970
Последний этап 731, 970
Пустое сердце 731, 970
Сестры 731, 970
Спетая песня 731, 970
М-ле Катишь 731, 970
- Ромер (в замуж. Банова) Мария Федоровна, дочь Ф. Э. Ромера 969
- Ромул и Рем (Romulus et Remus), братья-основатели Рима, дети Марса и весталки Реи Сильвии; Ромул — первый царь Рима (753–716 до н. э.) 727, 969
- Россетти (Rossetti) Данте Габриэль (1828–1882), англ. поэт, переводчик, художник 274
- Росоловский Вячеслав Сильвестрович 27, 844
- Ростовцев Яков Иванович (1803–1860), граф, ген. от инфантерии, основной разработчик крестьянской реформы 1861 года 482
- Ростропович Мстислав Леопольдович (1927–2007), виолончелист, пианист, дирижер 954
- Ротшильд (Rothschild) Майер Амшель (1744–1812), основатель банкирского дома Ротшильдов 656
- Рубакин Николай Александрович (1862–1946), книговед, библиограф, писатель 790, 791, 981
Среди книг: Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей 790, 981
- Рубиан (Rubianus) Крот (ок. 1480 — ок. 1539), нем. гуманист, теолог, один из авторов «Писем темных людей» 864
- Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894), композитор, пианист, дирижер 234, 881
Демон 234, 881
- Рузвельт (Roosevelt) Теодор (1858–1919), 26-й президент США (1901–1909) 105

- Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930), прозаик, поэт-символист 606, 946
 Проклятый род 606, 946
 Семья железного старика 946
- Руссо (Rousseau) Жан Жак (1712–1778), фр. философ, писатель, мыслитель 283, 323, 529, 584, 634, 769, 771, 941, 977
 Об общественном договоре 771, 977
 Рассуждение о том, способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов 584, 941
- Руфь, моавитянка, принявшая иудейскую религию; праматерь царя Давида 337, 339
- Рюрик (?–879), варяжский князь, призванный на Русь, князь Новгородский (с 862), легендар. основатель Рус. государства 83, 125, 437, 524, 595, 679
- Рябушинский Павел Павлович (1871–1924), предприниматель, банкир 845
- С. В. Б. — см. *Балмашов С. В.*
 С–в — см. *Соловьёв Вл. С.*
- Саблер Владимир Карлович (1845–1929), юрист, гос. деятель, обер-прокурор Св. Синода (1911–1915) 451, 573
- Саблин Владимир Михайлович (1872–1916), издатель, переводчик, редактор 893, 932
- Сабуров Андрей Александрович (1837–1916), полит. деятель, министр нар. просвещения (1880–1881) 799
- Савина Мария Гавриловна (1854–1915), актриса 689
- Савонарола (у Розанова: Саванаролла; Savonarola) Джироламо (1452–1498), итал. монах, реформатор (1494–1498) 161, 162, 277, 278, 442, 916
- Сад (Sade) Франсуа де (1740–1814), фр. политик, писатель, философ 61, 63
- Садовский (псевд.: Садовской) Борис Александрович (1881–1952), поэт, прозаик, критик, литературовед 653, 957
 Позднее утро: Стихотворения 1904–1908 653, 957
 Полдень: Собрание стихов 1905–1914 653, 957
 Русская Камена: Статьи 653, 957
- Садуль (Sadoul) Жорж (1904–1967), фр. историк, теоретик, критик кино 892
 Всеобщая история кино 892
- Саккия-Муни — см. *Будда*
- Сакулин Павел Никитич (1868–1930), литературовед 882
- Салтыков-Щедрин (наст. фам. Салтыков) Михаил Евграфович (1826–1889), прозаик-сатирик, критик 17, 18, 26, 80, 112, 113, 177, 301, 311–314, 426, 427, 462, 481, 609, 620, 771, 796, 810, 858, 899, 913, 920, 953, 983
 За рубежом 858
 История одного города 311, 312, 314, 899
 Мальчик в штанах и мальчик без штанов 462, 920
 Стрижи 953
- Сальвини (Salvini) Томмазо (1829–1915), итал. актер 378, 381, 558
- Сальери (Salieri) Антонио (1750–1825), итал. и австр. композитор, дирижер, педагог 444, 587, 589, 612, 916, 947
- Самарин Дмитрий Федорович (1827–1901), обществ. деятель, писатель, брат Ю. Ф. Самарина 749, 750, 973
- Самарин Петр Дмитриевич (1861–1916), композитор, автор духовной музыки, племянник Ю. Ф. Самарина 973
- Самарин Федор Дмитриевич (1858–1916), деятель Моск. губернского земства, племянник Ю. Ф. Самарина 973
- Самарин Юрий Федорович (1819–1876), публицист, философ-славянофил 79, 535, 711, 749–750, 933, 973
 Труды по составлению проекта положения о крестьянах в редакционных комиссиях 749
- Самуил (?–1014), царь Болгарии (с 980) из династии Комитопулов 854

- Санд (Занд) Жорж (George Sand, наст. имя и фам. Аврора Дюпен, Dupin; в замуж. баронесса Дюдеван, Dudevant; 1804–1876), фр. прозаик, поборница жен. эмансипации 324, 693, 964
 Лукреция Флориани 694, 964
- Сарра, жена ветхозавет. патриарха Авраама, первая из четырех прародительниц еврейского народа 174, 337, 340, 347, 359, 820
- Сарычев Ярослав Владимирович (р. 1972), литературовед 870
- Сбруева — см. *Збруева Е. И.*
- Свенцицкий Валентин Павлович (1881–1931), священник, проповедник, публицист, драматург, прозаик 229, 805, 880, 926
- Свечин, издатель, книготорговец 309, 310
- Святогор, в вост.-слав. мифологии богатырь-великан 662
- Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857–1914), князь, гос. деятель, ген. от кавалерии, министр внутренних дел (август 1904 — январь 1905) 425, 913
- Святослав I Игоревич (?–972), князь Новгородский (945–969), вел. князь Киевский (с 945), полководец 979
- Себастиан (Себастьян, Sebastianus; ок. 256–288), святой, римский легионер 62
- Сев Леопольд Александрович (1867–1921), юрист, писатель, обществ. деятель 189
- Северак (Séverac) Жан Батист (1879–1951), фр. философ, полит. деятель 697, 700–702, 835
- Северова — см. *Нордман-Северова Н. Б.*
- Северянин Игорь (наст. имя и фам. Игорь Васильевич Лотарёв; 1887–1941), поэт 921
 Тарновская 921
- Секки (Secchi) Анджело (1818–1878), итал. священник, астроном 723, 968
 Единство физических сил 723, 968
- Семевский Михаил Иванович (1837–1892), историк, журналист, основатель журн. «Русская Старина» 975
- Семирамида, в аккад. и др.-армян. мифологии царица Ассирии, супруга царя Нина 727, 729, 752, 969
- Сен-Симон (Saint-Simon) Анри де (1760–1825), граф, философ, социолог, утопический социалист 764
- Септимий Север (Septimius Severus) Луций (146–211), рим. император (с 193) 898
- Сепфора (Ципора), жена Моисея, дочь Иофора 342
- Серафим Саровский (в миру Прохор Сидоров Мошнин; 1754–1833), старец-пустынник, затворник 183, 187, 213, 230, 658, 880
- Сервантес (Мигель де Сервантес Сааведра, Miguel de Cervantes Saavedra; 1547–1616) 866
 Дон Кихот 866
- Сергеев Сергей Михайлович (р. 1968), историк, публицист 876
- Сергеев-Ценский (наст. фам. Сергеев) Сергей Николаевич (1875–1958), писатель 392
- Сергеенко Петр Алексеевич (1854–1930), журналист, писатель 158, 846, 866
 Как живет и работает Л. Н. Толстой 158, 866
- Сергей Александрович (1857–1905), вел. князь, моск. ген.-губернатор (с 1891), убитый И. П. Каляевым 883
- Сергиев И. И. — см. *Иоанн Кронштадтский*
- Сергий (в миру Митрофан Васильевич Сребрянский; 1870–1948), архимандрит 243
- Сергий Радонежский (имя и отчество в миру, до 1337, Варфоломей Кириллович; 1314–1392), преподобный; основатель Троицкого мон-ря (с 1742 Троице-Сергиева лавра) 433, 460, 541, 601, 637, 638, 662
- Серов Валентин Александрович (1865–1911), живописец, мастер портрета 270, 651
- Сива — см. *Шива*
- Сидоний Аполлинарий (Sidonius Apollinaris; ок. 430 — ок. 486), писатель, поэт, дипломат, епископ Клермона (с 471) 622

- Сильвестр (в иноках Спиридон; ? – ок. 1566), священник, полит. и лит. деятель, предполагаемый автор «Домостроя» 76, 79
Домострой 76, 79
- Симеон Полоцкий (в миру Самуил Гаврилович (по др. данным Емельянович) Петровский-Ситнянович; 1629–1680), духов. писатель, богослов, поэт, драматург, основатель школы при Заиконоспасском мон-ре 60, 76, 79, 295
- Синеус, брат Рюрика, кн. Белоозерский 595, 679
- Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902), гос. деятель, министр внутр. дел (с 1900), убит террористом С. В. Балмашовым 373, 451, 472, 752, 825, 921, 974
- Сиф, третий сын Адама и Евы 349
- Скабичевский Александр Михайлович (1838–1911), лит. критик либерального направления 379, 381, 397, 420, 441, 904, 906, 907, 912, 916, 944
История новейшей русской литературы (1848–1890) 379, 822, 904, 907, 916
Очерки истории русской цензуры (1700–1863) 420, 912
- Скворцов Василий Михайлович (1859–1932), публицист, издатель, обществ. деятель, монархист 221, 539
- Скворцов Лев Владимирович (р. 1931), философ и историк философии 4
- Скłodовская-Кюри (Skłodowska-Curie) Мария (1867–1934), фр.-польск. ученый-экспериментатор (физика, химия) 957
- Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), военачальник, стратег, ген. от инфантерии (1881), ген.-адъютант (1878), участник среднеазиатских завоеваний, освободитель Болгарии 27, 127, 660, 706
- Скотт (Scott) Вальтер (1771–1832), шотланд. писатель, поэт, историк 558
- Скублинская Марианна (ок. 1845–?), акушерка из Варшавы, организовавшая притон по убийству новорожденных 130, 862
- Славинская Мария Федоровна (1879–1958), переводчица 971
- Слонимский Леонид Зиновьевич (Людвиг Зенович; 1850–1918), экономист, социолог, юрист, публицист 87, 497–499, 752, 860, 925
О свободе полемики 925
- Смелова Е. Б., переводчица с фр. яз. (1900-е) 876, 897
- Смирнов Николай Михайлович (1807–1870), дипломат, мемуарист, калужский (1845–1851) и с.-петербургский (1855–1861) губернатор 890
- Смирнова (ур. Россет, Росетти) Александра Осиповна (1809–1882), фрейлина двора, мемуаристка 271, 282, 890, 892, 954
- Смирягин Александр Павлович (1862–?), священник, посетивший Л. Н. Толстого в Ясной Поляне 846
- Снегирёв Иван Михайлович (1793–1868), историк, этнограф, фольклорист, археолог, искусствовед 930
- Соколова (ур. Алексеева) Зинаида Сергеевна (1865–1950), артистка, младшая сестра К. С. Станиславского 442, 444–446
- Соколовский Александр Лукич (1837–1915), переводчик Шекспира 950
- Сократ (Σωκράτης; 470/469–399 до н. э.) 75, 103, 161, 166, 298, 902
- Солдатёнков Козьма Терентьевич (1818–1901), предприниматель, текстильный фабрикант, книгоиздатель 390, 856
- Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900) 15, 41, 42, 76, 139, 172, 188–201, 205, 234, 260, 265, 290, 377, 409, 436, 441, 450, 460, 497–499, 529, 563, 568, 648–652, 655, 657–661, 690, 697–705, 715–723, 732, 746, 751, 752, 785, 786, 805, 826, 832–835, 850, 852, 853, 865, 870–873, 880, 885, 886, 894, 909, 925, 926, 957, 958, 964, 965, 967, 968, 970, 973, 974, 979
Антихрист – см. *Три разговора*
Ах, далеко за снежным Гималаем... 197, 872
В лесу болото... 201, 873
Византизм и Россия 672

- Вселенская церковь 872
 Догматическое развитие церкви 196, 872
 Духовные основы жизни 701
 Есть бестолковица... 200, 873
 Идея сверхчеловека 701
 Идолы и идеалы 197, 872
 Из литературных воспоминаний о Н. Г. Чернышевском 189, 871
 История и будущность теократии (Исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни) 198, 872
 История социальных систем 873
 Критика отвлеченных начал 194, 660, 871, 958
 Магомет, его жизнь и религиозное учение 704, 965
 Национальный вопрос в России 925, 968, 973
 Оправдание добра: Нравственная философия 194, 498, 701, 703, 786, 871, 886, 925, 968, 979
 Повесть об Антихристе 199, 200
 Под пальмами 194, 871
 Порфирий Головлев о свободе и вере 497, 925
 Посвящение к неизданной комедии 194, 871
 Право и нравственность. Очерки из практической этики 701
 Россия и Вселенская церковь 700, 965
 Россия и Европа 852
 Русская идея 700, 965
 Славянский вопрос 872
 Судьба Пушкина 194, 498, 871, 926, 973
 Счастливые мысли Н. Н. Страхова 200, 873
 Тайна прогресса 701
 Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории 194, 200, 701, 718, 871, 873, 965, 968
 Три свидания 698, 703, 704, 835, 964, 965
 Философские начала цельного знания 701
 Христианство и революция 701
 Цвет лица геморроидный... 198, 872
 Чтения о богочеловечестве 701
 Das Ewig-weibliche: Слово увещательное к морским чертям 698, 964
 Соловьёв Всеволод Сергеевич (1849–1903), писатель, автор ист. романов и хроник 190, 648, 649, 832, 956
 Современная жрица Изиды: Мое знакомство с Е. П. Блаватской и теософическим обществом 956
 Соловьёв Михаил Сергеевич (1862–1903), педагог, переводчик 190, 648, 652–654, 832
 Соловьёв Сергей Михайлович (1820–1879), историк, проф. Моск. ун-та (с 1848), ректор Моск. ун-та (1871–1877) 189, 290, 302, 431–433, 482, 641, 648–650, 654, 655, 661–666, 668–670, 711, 731, 895, 914
 История России с древнейших времен 432, 648, 649, 662, 663, 914
 Соловьёв Сергей Михайлович (1885–1942), поэт, переводчик, публицист, внук С. М. Соловьёва 190, 195, 652–654, 871, 957
 Апрель 654, 957
 Сион грядущий 654, 957
 Соловьёва Наталья Сергеевна, дочь С. М. Соловьёва 648
 Соловьёва (ур. Коваленская) Ольга Михайловна (1855–1903), художница, переводчица, жена М. С. Соловьёва 652
 Соловьёва (ур. Романова) Поликсена Владимировна (ок. 1828–1909), жена С. М. Соловьёва 650, 894
 Соловьёва (псевд.: Allegro) Поликсена Сергеевна (1867–1924), поэтесса, детская писательница, ред.-изд. детского журн. «Тропинка» 290–292, 648, 650–652, 750–752, 894, 895, 956
 Белая сирень 291, 652, 895, 956
 Иней 290, 292, 650, 956

- Петербург 651, 956
 Помнишь, мы над тихой рекою... 291
 Солнце нижег листьа изумрудные... 651, 956
 Я пришел не за тем, чтоб тебя упрекать... 292
- Соловьёвы 648–656
- Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882), граф, прозаик, драматург, поэт, мемуарист 594
- Сологуб (у Розанова: Соллогуб; наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927), поэт, писатель, драматург, публицист 365, 392, 395, 506–510, 635, 640, 641, 902, 927, 928, 953, 954, 981
- Ванька-Ключник и Паж Жеан 640, 953
 Весенние воды – что девичьи сны... 507, 927
 Где грустят леса дремливые... 508, 928
 Гимны Родине 640, 954
 Заложники жизни 640, 953
 Капли крови 928
 Королева Ортруда 928
 Любви 902
 Мелкий бес 506, 510, 640, 927, 953
 Мечта-победительница 953
 Навьи чары 510, 826, 928
 Победа Смерти 640, 953
 Политические сказочки 640, 953
 Пять драм 902
 Стихи. Книга первая 507, 927
 Творимая легенда 928
 Тяжелые сны 640, 953
 Чертовы качели 640, 954
- Соломон, царь Израильско-Иудейского царства (965–928 до н. э.); по преданию, авт. ряда ветхозавет. книг 34, 46, 62, 63, 67, 339, 439, 851, 902, 915
 Песнь песней 34, 62, 63, 67, 336, 339–341, 345–347, 438, 851, 902
- Сорбон (Sorbon) Робер де (1201–1274), теолог, основатель Сорбонны 920
- Софокл (Σοφοκλῆς; 496/495–406 до н. э.), др.-греч. драматург, трагик 124, 393, 861, 902, 982
- Антигона 127, 861, 902
 Царь Эдип 982
- Софья Андреевна – см. *Толстая С. А.*
- Спасский Анатолий Алексеевич (1866–1916), историк церкви, проф. Моск. духов. академии 486
- Спенсер (Spencer) Герберт (1820–1903), англ. философ, социолог 531, 566, 958
 Афоризмы из сочинений Герберта Спенсера 958
- Спенсер (Spencer) Джордж (1758–1834), граф, англ. политик, министр внутр. дел (1806–1807) 886
- Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф, обществ. и гос. деятель 162, 755
- Спешнев Евгений Яковлевич (у Розанова: Е. А. Спешнев; 1857–?), старшина Рус. купеческого собрания, кредитор М. В. Пирожкова 310
- Спиноза Бенедикт (имя при рождении Барух; 1632–1677), нидерланд. философ-материалист, пантеист 72, 88, 184, 301, 661, 870, 897
 Письмо 2 июня 1674 г. Яриху Иеллусу 870
- Спиро Сергей Петрович, журналист, драматург, сотрудник газ. «Русское Слово» 272, 890
 Толстой о Гоголе 272, 890
- Сталь (Шталь) Владимир Александрович (1872–1905), бырон, любовник М. Н. Тарновской, застраховавший свою жизнь на ее имя и покончивший с собой 468, 469, 921

- Станиславский Константин Сергеевич (1863—1938), актер, режиссер, педагог, реформатор театра 480, 482, 923
- Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), писатель, поэт, публицист 88, 377, 822
- Старицкий, князь — см. *Владимир Андреевич, князь*
- Стасюлевич (ур. Утина) Любовь Исааковна (?—1917), жена М. М. Стасюлевича 192
- Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, публицист, ред. журн. «Вестник Европы» (1866—1908) 176—178, 189, 195, 198, 200, 301, 393, 620—625, 722, 800, 830, 869, 872, 873, 949, 950, 984
- Стахеев Дмитрий Иванович (1840—1918), писатель 192
- Стелловский Федор Тимофеевич (1826—1875), издатель, книготорговец, типограф 305, 897
- Степанов, преподаватель математики в Нижегородской мужской гимназии 671
- Степанов Василий Александрович (1872—1920), инженер, политик 873
- Степняк-Кравчинский (наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович (1851—1895), революционер-народник, убийца Н. В. Мезенцова, писатель, переводчик 376, 904
Подпольная Россия 376, 904
- Стокгэм (Стокхем, Stockham) Алиса (Элис; 1833—1912), амер. гинеколог, акушер 560, 936
Токология, или Наука о рождении детей 560, 936
- Столпнер Борис Григорьевич (1871—1937), философ, переводчик Г. В. Ф. Гегеля 41, 211, 289, 300—302, 894, 896
Достоевский — борец против русской интеллигенции 300, 896
- Столыпин Александр Аркадьевич (1863—1925), журналист, поэт, брат П. А. Столыпина 90, 286, 750, 855, 893, 973
Интеллигенты об интеллигентах 286, 893
- Столыпин Аркадий Петрович (1903—1990), сын П. А. Столыпина 855, 973
- Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911), гос. деятель, премьер-министр (с 1906) 90, 91, 410, 750, 855, 875, 940, 960, 973, 974
- Столыпина Наталья Петровна (1891—1949), дочь П. А. Столыпина 91, 750, 855, 973
- Стороженко Андрей Владимирович (1857 — ок. 1926), историк, славист, археограф, публицист 432, 623
- Страхов Николай Николаевич (1828—1896), философ, публицист, лит. критик 52, 60, 73, 76, 189, 191, 193, 194, 196—198, 200, 201, 234, 334, 384, 386, 497, 539, 563, 568, 585, 586, 647, 700, 715, 746, 752, 789, 847, 852, 853, 860, 871, 873, 901, 904, 925, 942, 953, 955
Биография — см. *Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском*
Борьба с Западом в нашей литературе 76, 852
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском 647, 955
О вечных истинах: Мой спор о спиритизме 191, 871, 942
Об основных понятиях физиологии и психологии 585, 942
- Страхов Николай Николаевич (1852—1928), богослов, преподаватель философии в Харьковской духов. семинарии 901
Брак, рассматриваемый в своей природе и со стороны формы его заключения 901
- Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882), граф, гос. деятель, археолог, коллекционер 519
- Строев Павел Михайлович (1796—1876), историк, археограф, библиограф 519, 520, 930
- Струве Петр Бернгардович (1870—1944), обществ. и полит. деятель, экономист, публицист, философ 87, 224, 225, 286—289, 483, 570, 572, 574, 577—581, 610—619, 651, 690, 827, 829, 854, 873, 878, 926, 938—940, 944, 947—949, 956
Большой писатель с органическим пороком: Несколько слов о В. В. Розанове 574, 939, 948
Жесткая поговорка и извращенная психология 947
На разные темы (1893—1901): Сборник статей 612—614, 947, 948
- Струговщиков Александр Николаевич (1808—1878), поэт, переводчик 904

- Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), журналист, писатель, театр. критик, драматург, изд. газ. «Новое Время» (с 1876) 236–237, 844, 882, 888, 899, 906, 914, 941, 971, 983
 Всякие 906
 Недельные очерки и картинки 432, 914
- Суворин Михаил Алексеевич (1860–1936), писатель, драматург, журналист, обществ. деятель, сын А. С. Суворина от первого брака 938, 947
- Сукач Виктор Григорьевич (р. 1940), литературовед 974
- Суламифь (Суламита), возлюбленная царя Соломона 239, 851
- Суматохина Любовь Валерьевна, литературовед 978
- Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817–1903), философ, драматург, переводчик 948
 Свадьба Кречинского 948
- Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926), ген. от кавалерии, воен. министр (1909–1915) 854
- Сухомлинов Михаил Иванович (1828–1901), филолог, литературовед 522
- Сципион Африканский (Публий Корнелий Сципион Африканский Старший, Publius Cornelius Scipio Africanus Maior; 235–183 до н. э.), др.-рим. военачальник, полит. деятель, консул (205 и 194 до н. э.) 75, 189, 744, 972
- Сыромятников Сергей Николаевич (1864–1933), журналист, писатель, ред. газ. «Россия» (с 1906) 107, 578
- Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934), книгоиздатель, просветитель 918, 975
- Сю (Sue) Эжен (1804–1857), фр. писатель 71, 852
 Агасфер (Вечный жид) 71, 852
- Т**(олстой) — см. *Толстой А. П.*
- Тан (Богораз-Тан) Владимир Германович (Натан Менделевич; 1865–1936), революционер, писатель, этнограф, лингвист 67, 69, 70, 851
 В чулане: К вопросу о национализме 70, 851, 852
 Евреи и литература 851
- Тантал (Τάνταλος), в др.-греч. мифологии царь Сипила во Фригии, обреченные на вечные муки 50, 848
- Тард (Tarde) Габриэль (1843–1904), фр. социолог, криминолог 700
- Тареев Михаил Михайлович (1867–1934), религ. философ, богослов, писатель 486, 510, 928
 Основы христианства 510, 928
- Тарновская (ур. О'Рурк) Мария Николаевна (1877–1949), аферистка, организатор убийства П. Е. Комаровского 465–471, 511, 921
- Тарновский Василий Васильевич, муж М. Н. Тарновской 468
- Татаринова Екатерина Филипповна (1783–1856), религ. деятельница, организатор общества «духовных христиан» 223
- Татищев Василий Никитич (1686–1750), историк, географ, экономист, гос. деятель 520
- Тацит (Публий Корнелий Тацит, Publius Cornelius Tacitus; ок. 56 – ок. 117), др.-рим. историк 326, 533, 678, 961
 Германия 678, 961
- Теймураз Багратиони (1782–1846), царевич, ученый, переводчик 857
- Теккерей (Thackeray) Уильям (1811–1863), англ. писатель-сатирик 558
- Тенеромо И. — см. *Фейнрман И. Б.*
- Тереза Авильская (Teresa de Ávila; 1515–1582), католич. святая, монахиня-кармелитка, автор мистических сочинений 699
- Теренций (Публий Теренций Афр, Publius Terentius Afer; 195/185–159 до н. э.), др.-рим. драматург, комедиограф 882

- Тернавцев Валентин Александрович (1866–1940), религ. деятель, один из организаторов РФО 208, 225, 253–255, 874, 885
 Римская империя и христианство 254, 885
- Терский, сотрудник типографии «Новое Время» 917
- Тертуллиан (Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан, Quintus Septimius Florens Tertullianus; 155/165–220/240), раннехристианский писатель, теолог, апологет 622
- Тетмайер (Tetmajer) Казимир (1865–1940), польск. поэт, романист 624
- Тиблен Николай Львович (1834–1888), издатель, журналист 390
- Тимашев Александр Егорович (1818–1893), нач. штаба Корпуса жандармов и управляющий III Отделением (1856–1861), министр внутр. дел (1868–1878) 105, 796
- Тит (Тит Флавий Веспасиан, Titus Flavius Verspasianus; 39–81), император из династии Флавиев (с 79) 262, 887, 915
- Тит Ливий (Titus Livius; 59 до н. э. – 17 н. э.), др.-рим. историк 642, 661, 954
 Римская история от основания Города 954
- Тихомиров Лев Александрович (1852–1923), обществ. деятель, в молодости народовец, с 1888 монархист 530, 690, 932
- Тихон Архипович (XVIII в.), петербургский юродивый 920
- Тихонравов Николай Саввич (1832–1893), филолог, археограф, историк рус. литературы 432, 663, 664, 668, 890
- Товянский (Товяньский, Towiański; 1799–1878), польск. философ-мистик, визионер, пророк 288
- Токвиль (Tocqueville) Алексис де (1805–1859), фр. полит. деятель, министр иностранных дел (1849) 325, 326, 336, 901
 Старый порядок и революция 325, 901
- Толмачёв Михаил Васильевич, литературовед 955
- Толстая Александра Андреевна (1817–1904), графиня, камер-фрейлина, двоюрод. тетка Л. Н. Толстого 814, 968
 Воспоминания 968
- Толстая Александра Львовна (1884–1979), младшая дочь и секретарь Л. Н. Толстого, основательница Яснополянского музея 793, 794, 840, 841, 982
- Толстая Мария Львовна (1871–1906), графиня, переводчица, просветитель, дочь Л. Н. Толстого 915
- Толстая Мария Николаевна (1830–1912), графиня, сестра Л. Н. Толстого 793, 814, 972
- Толстая (в замуж. Сухотина) Татьяна Львовна (1864–1950), графиня, хранитель музея-усадьбы Ясная Поляна, в 1925 эмигрировала 547, 793
- Толстая (ур. Берс) Софья Андреевна (1844–1919), графиня, жена Л. Н. Толстого 43, 44, 159, 160, 546, 547, 550, 742, 792–795, 807, 935, 936, 953, 982
 Дневники (1860–1910) 547, 935
- Толстой Александр Петрович (1801–1873), граф, ген.-адъютант, обер-прокурор Св. Синода (1856–1862) 257
- Толстой Алексей Константинович (1817–1875), граф, писатель, поэт, драматург 193, 351, 594, 607, 848, 902, 946
 Иоанн Дамаскин 351
 Князь Серебряный 351
 Против течения 607, 946
 Ходит Спесь, надуваючись... 52, 848
- Толстой Алексей Николаевич (1882–1945), граф, писатель 606, 946
 Заволжье 606, 946
- Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), граф, гос. деятель, историк, обер-прокурор Св. Синода (1865–1880), министр нар. просвещения (1866–1880), министр внутр. дел (с 1882) 96, 105, 246, 307, 731, 799, 842, 856, 898
- Толстой Дмитрий Николаевич (1827–1856), граф, помещик, брат Л. Н. Толстого 937

- Толстой Илья Львович (1866–1933), граф, писатель, сын Л. Н. Толстого 866
- Толстой Лев Николаевич (1828–1910) 18, 19, 37, 40, 42–48, 60, 111, 123, 132, 133, 136, 144, 145, 148, 152–167, 175, 177–188, 193–195, 197, 221, 222, 256, 262, 272–275, 282, 285, 293, 295, 296, 304, 305, 312, 313, 323, 325, 326, 328, 330–336, 353, 381, 385, 388, 389, 405, 407, 409, 410, 428, 438–446, 449–453, 455, 458, 460, 463, 466, 471, 473, 474, 481–484, 487, 529, 530, 533, 534, 538, 546–570, 583–589, 595, 597, 602, 616, 620, 634–636, 641, 642, 657, 660, 670, 671, 674, 684, 687, 690–696, 701–703, 710, 725, 726, 729, 732, 741–749, 757, 758, 763–765, 767, 768, 772, 774, 791–796, 799, 806, 807, 813, 817, 837, 838, 840, 841, 846–848, 853, 860, 864–867, 869–873, 877, 878, 888, 890, 891, 893, 897, 900–902, 908–910, 915–917, 919, 922, 923, 925, 934–938, 941, 942, 944, 952, 953, 963, 965, 967, 968, 970–972, 981, 982
- Анна Каренина 46, 48, 63, 123, 134, 152, 158, 164, 312, 324, 326, 333–335, 344, 439, 477, 553, 556, 557, 559, 561, 589, 613, 693–696, 742, 743, 762, 860, 866, 902, 916, 922, 964
- В чем моя вера? 194, 871, 909
- Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть 162, 165, 332, 553, 597, 743, 867, 915, 944
- Война и мир 43, 46, 52, 60, 81, 136, 152, 154, 156, 158, 162–164, 262, 312, 324, 326, 329, 331, 332, 439, 445, 477, 481, 482, 547, 548, 552–554, 556, 557, 561, 588, 589, 596, 609, 613, 670, 693–696, 742, 743, 853, 865, 866, 901, 946
- Воскресение 37, 45, 161, 353, 553, 554, 743, 757, 763, 765, 793, 840, 847, 936
- Два гусара 553
- Детство и отрочество 153, 154, 161, 175, 312, 439, 553, 556, 560, 561, 867, 937
- Исповедь 43, 46, 154, 180, 275, 546, 847, 891
- Исследование догматического богословия 166, 916, 942
- Казачи 152, 312, 439, 445, 553, 556, 587, 743
- Календарь с пословицами на 1887 год 167, 867
- Крейцера соната 48, 154, 158, 184, 328, 332–334, 405, 546, 634, 813, 866, 870, 901, 952, 953
- Лицам и учреждениям, приславшим поздравления ко дню восьмидесятилетия 869
- Любите друг друга (Обращение к кружку молодежи) 942
- Много ли человеку земли нужно 166, 867
- Мысли мудрых людей на каждый день 167, 867
- Не могу молчать 410, 732, 910, 970
- Неделание 44, 847
- Несколько слов по поводу книги «Война и мир» 865
- О Гоголе 890
- О жизни 972
- О переписи в Москве 942
- О Шекспире и драме 160, 866, 891, 916
- Одно только нужно 935
- Ответ на определение Синода от 20–22 февраля и на полученные мною по этому поводу письма 867
- Первая ступень 167, 547, 867, 935
- Плоды просвещения 553, 559
- Предисловие к книге доктора медицины Алисы Б. Стокгэм «Токология, или Наука о рождении детей» 560, 936
- Разрушение ада и восстановление его 550, 935
- Севастопольские рассказы 161, 439, 553, 559, 560
- Смерть Ивана Ильича 132, 162, 165, 166, 587, 867
- Так что же нам делать 588, 942
- Три старца 184, 746, 870, 972
- Утро помещика 743, 757
- Хозяин и работник 165, 867
- Царство Божие внутри вас 909
- Чем люди живы 166, 180, 867, 919, 963
- Что такое искусство? 274, 891
- Юность 161, 757, 867
- Толстой Николай Алексеевич (1867–1938), граф, первый русский греко-католический священник 715, 717, 718, 967, 968
- Владимир Соловьёв – католик 715, 967

- Толстой Николай Ильич (1891—1893), граф, внук Л. Н. Толстого 866
 Толстой Николай Николаевич (1823—1860), граф, брат Л. Н. Толстого 972
 Толстой Петр Андреевич (1645—1729), граф, гос. деятель, дипломат 681
 Толстой Сергей Николаевич (1826—1904), граф, предводитель дворянства Крапивенского у. Тульской губ. (1876—1885), брат Л. Н. Толстого 584
 Толстые, семья 547, 548, 938
 Торвальдсен (Thorvaldsen) Бертель (1770—1844), дат. художник, скульптор 161
 Тредьяковский (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703—1769), поэт, переводчик, филолог 509
 Троицкий Матвей Михайлович (1835—1899), психолог, философ, инициатор и первый председатель Моск. психол. о-ва 307, 563, 567, 568, 623, 938
 Наука о духе: Общие свойства и законы человеческого духа 568, 938
 Трубецкой Григорий Николаевич (1873—1930), князь, обществ. и полит. деятель, дипломат, публицист 863
 Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920), князь, философ, правовед, публицист 15, 42, 139—141, 234, 863, 927
 Трубецкой Паоло (Павел Петрович; 1866—1938), князь, скульптор, художник 406, 487, 908
 Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905), князь, философ, публицист, обществ. деятель 41, 42, 190, 234, 563, 690, 927
 Трубников Константин Васильевич (1829—1904), журналист, промышленный деятель, изд. газ. «Новое Время» (1875—1876) 27, 844
 Трувор, брат Рюрика, кн. Изборский 595, 679
 Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) 18, 20, 21, 32, 77, 111, 126, 133, 134, 137, 145—153, 156, 175, 177, 248, 249, 252, 270, 313, 335, 377, 398, 401, 411, 428, 453, 455, 463, 484, 491—496, 509, 556, 559, 593, 620, 624—626, 635, 674, 682, 689, 694, 695, 702, 711, 722, 724, 725, 733—741, 756—758, 770, 822, 835, 852, 857, 861, 864—866, 869, 884, 889, 893, 897, 900, 901, 907, 908, 910, 916, 920, 923—925, 950, 951, 961, 962, 964, 967, 968, 971, 975, 976
 Автобиография 910
 Ася 252, 493, 884, 925
 Бурмистр 150, 865
 Вешние воды 148
 Воспоминания о Белинском 962
 Гамлет и Дон-Кихот 674, 961
 Гамлет Щигровского уезда 711, 967
 Дворянское гнездо 146, 324, 395, 741, 901, 971
 Дневник лишнего человека 404—406, 635, 711, 908, 967
 Довольно 889
 Дым 146, 148, 865, 869, 964
 Живые мощи 146
 Записки охотника 146, 149—151, 175, 461, 865, 920, 967
 Касьян с Красивой Мечи 150, 865
 Литературные и житейские воспоминания. Вместо вступления 126, 861
 Литературный вечер у П. А. Плетнёва 908
 Молитва 248, 884
 Накануне 146, 741, 971
 Новь 148, 857, 865
 Отцы и дети 20, 133, 134, 635, 740, 741, 968
 Памяти Ю. П. Вревской (сентябрь 1878) 971
 Первая любовь 148, 865
 Провинциалка 864
 Рудин 395, 404, 443, 908, 916, 976
 Senilia: Стихотворения в прозе 624, 625, 884, 951
 Тьерри (Thierry) Огюстен (1795—1856), фр. историк 623, 830, 976
 Рассказы из времен Мерovingов 766, 976

- Тэн (Taine) Ипполит (1828—1893), фр. философ-позитивист, писатель, историк, психолог 326, 471, 799, 901
 Происхождение современной Франции 901
- Тэффи (наст. имя и фам. Надежда Александровна Лохвицкая, в замуж. Бучинская; 1872—1952), писательница, поэтесса 941, 946
 Житье-бытие: Рассказы. Воспоминания 941
- Тютчев Федор Иванович (1803—1873) 193, 194, 285, 378, 379, 539, 652, 871, 893, 945, 954, 965
 Весенняя гроза 601, 945
 Эти бедные селенья... 285, 893
- Уваров Сергей Семенович (1786—1855), граф (с 1846), антиковед, гос. деятель, министр нар. просвещения (1834—1849) 518, 731, 956
- Уильямс (Williams) Говард (1837—1931), англ. гуманист, вегетарианец 867, 935
 Этика пищи, или Нравственные основы безубойного питания человека 867, 935
- Урия Хеттеянин, воин, служивший в войске царя Давида, муж Вирсавии 873
- Успенский Глеб Иванович (1843—1902), писатель, близкий к народникам 80, 81, 211, 270, 620, 739, 889, 944, 971
 Выпрямила 270, 739, 889, 971
- Успенский Федор Иванович (1845—1928), византинист, директор Русского археологического института в Константинополе (1894—1914) 943
- Устрялов Федор Николаевич (1836—1885), публицист, драматург, издатель, ред. газ. «Новое Время» (1872—1873) 27, 289, 844, 894
- Устьянский Александр Петрович (1854—1922), протоиерей, настоятель церкви Рождества Богородицы Десятинного жен. мон-ря в Новгороде; богослов 94, 656, 657, 855
- Ушаков Андрей Иванович (1672—1747), граф (с 1744), воен. и гос. деятель, сподвижник Петра I, начальник тайной розыскной канцелярии (1731—1746) 82, 83
- Ушинский Константин Дмитриевич (1823—1871), педагог, писатель, основоположник научной педагогики 712
- Уэвелл (Whewell) Уильям (1794—1866), англ. философ, теолог, историк науки 307, 898
 История индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени 898
- Ф.**, литератор, знакомый Розанова 310
- Фалес Милетский (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος; 640/624—548/545 до н. э.), др.-греч. философ, математик 569, 658, 660, 679, 957
- Фамарь, ветхозавет. персонаж, жена Ира, затем Онана; праmaterь царя Давида и Иисуса Христа 337, 339
- Фаресов Анатолий Иванович (1852—1928), революционер-народник, писатель, публицист, литературовед 758
- Фармаковский Николай Васильевич (1868—1916), земский врач, обществ. деятель Самарской губ. 913
 Врачи и общество 913
- Фарнарина — см. *Форнарина*
- Фатеев Валерий Александрович (р. 1941), историк рус. религ. мысли, прозаик 4, 894, 898, 905, 914, 923, 929, 944, 951, 957, 966, 970, 973
 Жизнеописание Василия Розанова 894
- Фаусек Виктор Андреевич (1861—1910), зоолог, энтомолог, директор Высших женских (Бестужевских) курсов (с 1905) 95, 96
- Федор Ильич — см. *Булгаков Ф. И.*
- Федоров Михаил Михайлович (1858—1949), гос. и обществ. деятель, изд. «Торгово-Промышленной Газеты» (с 1893) 688, 777, 963
- Федякин Сергей Романович (р. 1954), литературовед, музыковед 4, 845, 881

- Фейнерман Исаак Борисович (1863–1925), публицист, писатель, кинодраматург, толстовец 878
 Воспоминания о Л. Н. Толстом и его письма 878
- Фемида (Θέμις), в др.-греч. мифологии богиня правосудия 67, 104
- Феноменов Николай Николаевич (1855–1918), акушер, гинеколог 485
- Феодор Студит (Θεόδωρος ὁ Στουδίτης; 759–826) 84, 85, 854
- Феодосий I Великий (Флавий Феодосий, Flavius Theodosius Magnus; 346–395), последний император единой Римской империи (с 379) 442, 916
- Феодосий Печерский (ок. 1008–1074), святой, монах, один из основателей Киево-Печерской лавры 854
- Феофан (в миру Василий Дмитриевич Быстров; 1872–1940), архиепископ Полтавский и Переяславский (1913–1919), неофициальный духовник царской семьи (1900-е) 486
- Феофан (в миру Элеазар Прокопович; 1681–1736), архиепископ Новгородский и Великолуцкий (с 1725), писатель; сподвижник Петра I 96, 295, 856, 911
- Феофан Тамбовский (Феофан Затворник, в миру Георгий Васильевич Говоров; 1815–1894), епископ, богослов, публицист, проповедник 187, 854
- Фердинанд I (Ferdinand I.; 1503–1564), король Венгрии и Богемии (с 1526), король Германии (с 1531), император Священной Римской империи (с 1556) 857
- Феррер (Ferrer) Гуардия Франсиско (1859–1909), исп. просветитель, республиканец, близкий к анархистам 409, 410, 910
- Фет Афанасий Афанасьевич (первые 14 и последние 19 лет жизни официально носил фам. Шеншин; 1820–1892) 156, 175, 192–194, 378, 379, 442, 866, 869, 871
 Соловей и роза 175, 869
- Фива Кенхрейская (Коринфская; I в.), диакониса 883
- Фигнер Вера Николаевна (1852–1942), террористка, член исполнительного комитета «Народной воли» 378, 428, 430, 707–709, 822, 914, 966
 Две встречи с П. Ф. Лесгафтом 708, 966
- Фидий (Φειδίας; ок. 490 – ок. 430 до н. э.), др.-греч. скульптор, архитектор 260
- Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1782–1867), митрополит Московский и Коломенский (с 1826) 213, 519, 520, 584, 656, 672, 742, 942, 972
 Не напрасно, не случайно... 742, 972
 Христианский катехизис Православных католических восточных греко-российских церкви 584, 672, 942, 960
- Филатов (у Розанова: Флотов) Всеволод Владимирович (1879 – не ранее 1917), правовед, историк, поэт; участник дискуссий в РФС 226
- Филиппов Тертый Иванович (1825–1899), гос. деятель, Гос. контролер (с 1889) 522, 530, 858, 932
- Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940), публицист, критик, религ.-обществ. и полит. деятель 211, 225–228, 286, 287, 311, 392, 562, 635, 715, 731–733, 750–752, 879, 888, 926, 967, 970, 975
 Друзья или враги 879
 Дурной глаз 888
 Мертвецы и звери 888
- Флавии (Flavii), династия рим. императоров (69–96) 887
- Флексер А. Л. – см. *Вольнский А. Л.*
- Флоренский Павел Александрович (1882–1937), священник (1911), правосл. философ и богослов; физик, математик, инженер 486, 510, 795, 928, 982
 Дружба: (Из писем к Другу); Приложение: Экскурс о ревности 795, 982
 Лекция и Lectio 510, 928
 Столп и утверждение Истины: Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах 982
- Флотов – см. *Филатов В. В.*
- Фома (?–72), один из двенадцати апостолов 214, 876

- Фонвизин Денис Иванович (1745–1792), литератор, создатель русской бытовой комедии 19, 301, 619, 940
Недоросль 940
- Форель (Fogel) Август (Огюст; 1848–1931), швейцар. невропатолог, психиатр 457, 919
Половой вопрос 457, 919
- Форнарина (у Розанова: Фарнарина; La Fornarina, 'Булочница'; наст. имя, возможно, Маргерита Лутти; кон. XV – первая пол. XVI в.), возлюбленная и натурщица Рафаэля 256
- Фортунатов Филипп Федорович (1848–1914), лингвист 95
- Фотий (в миру Петр Никитич Спасский; 1792–1838), архимандрит, настоятель Юрьева монастыря 41, 223
- Фофанов Константин Михайлович (1862–1911), поэт 705, 775–781, 838, 978
Звезды ясные, звезды прекрасные... 780, 978
Иллюзии. Стихотворения 978
- Фофанова (ур. Тупылева) Лидия Константиновна (1867–1918), жена К. М. Фофанова 776, 778
- Фохт (Vogt) Карл (1817–1895), нем. естествоиспытатель, зоолог, палеонтолог, представитель вульгарного материализма 52, 53, 59
- Франк Семен Людвигович (1877–1950), философ, религ. мыслитель 225, 286, 525, 863, 874, 930
Религиозная философия Джемса 930
- Франциск Ассизский (Franciscus Assisiensis, Джованни Франческо Бернардоне; 1181 или 1182–1226), католич. святой, учредитель ордена францисканцев 718, 968
- Франческа (у Розанова: Франческо) да Римини (Francesca da Rimini; ок. 1225 – ок. 1285), жена правителя Римини Джанчотто Малатеста 530, 932
- Фридрих II Великий (Friedrich II. der Große; 1712–1786), король Пруссии (с 1740) 731
- Фридрих Вильгельм III (Friedrich Wilhelm III.; 1770–1840), король Пруссии (с 1797) 860
- Фрумкина Фрума Мордуховна (1873–1907), эсерка, террористка 311, 313, 314
- Фудель Иосиф (Осип) Иванович (псевд. Осипов; 1863–1918), протоиерей, консерват. публицист, духов. писатель, обществ. деятель 530, 932
- Фурие (Fourier) Шарль (1772–1837), фр. философ, социолог, представитель утопического социализма 764, 767, 913
- Харон (Χάρων), в др.-греч. мифологии перевозчик душ умерших через р. Стикс в Аид 661
- Хилон (Χίλων; VI в. до н. э.), др.-греч. полит. деятель, поэт, один из «семи мудрецов» 949
- Хитрово Николай Захарович (1779–1827), ген.-майор, историк, благотворитель 923
- Хлодвиг I (ок. 466–511), король франков (с 481/482) из династии Меровингов 857
- Хлудовы, купеч. династия 445
- Хлыстов Филипп Данилович, иоаннит, «пророк» 219
- Ходобай Юрий Юрьевич (? – ок. 1885), преподаватель лат. языка в Катковском лицее, автор «Латинской грамматики» 108, 307, 898
- Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), поэт, художник, публицист, богослов, философ, один из основоположников славянофильства 15, 24, 73, 76–79, 170, 446, 450, 517, 523, 525, 531–539, 702, 796, 805, 818, 930, 932, 933, 952, 965
Россия 523, 930
- Цветков Константин Николаевич (1841–1908), публицист, авт. ист. очерков 853
Добровольный ответ на «Вынужденное объяснение» Н. М. Павлова 853
- Цветков Сергей Алексеевич (1888–1964), журналист, в 1910-е друг Розанова, автор его библиографии 947
- Цвингли (Zwingli) Ульрих (1484–1531), швейцар. реформатор церкви, философ 161, 162, 165
- Цебрикова Мария Константиновна (1835–1917), писательница, лит. критик 788, 839

- Цезарь (Гай Юлий Цезарь; 102/100—44 до н. э.) 90, 742, 856
- Целлер (Zeller) Эдуард (1814—1908), нем. историк философии, богослов, философ 212, 307, 876, 898
- Очерки истории греческой философии 212, 876, 898
- Ценский — см. *Сергеев-Ценский С. Н.*
- Цепелин (Zerrelin) Фердинанд фон (1838—1917), граф, нем. изобретатель, строитель первых дирижаблей 172, 868
- Церера (Ceres), в др.-рим. мифологии богиня урожая и плодородия 407, 909
- Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959), рос. и грузин. полит. деятель 87
- Цетлин Михаил Осипович (псевд.: Амари; 1882—1945), поэт, беллетрист, редактор, меценат, коллекционер 954
- Цицерон (Марк Туллий Цицерон, Marcus Tullius Cicero; 106—43 до н. э.), др.-рим. полит. деятель, оратор и писатель 782, 882, 930
- Брут, или О знаменитых ораторах 930
- Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856), философ, публицист, автор знаменитых «Философических писем» 15, 260, 271, 272, 404, 665, 888—890, 952, 959
- Философические письма 272, 890
- Чаев Николай Александрович (1824—1914), писатель, драматург 489
- Чайковский Николай Васильевич (1850—1926), революционер 758
- Чайковский Петр Ильич (1840—1893) 403
- Чампас (Чам-Пас), в мордов. мифологии верховный бог 670
- Чаннинг (Channing) Уильям (1780—1842), амер. публицист, религ. деятель 974
- Чельшев (Чельшов) Михаил Дмитриевич (1866—1915), член Третьей Гос. думы от Самары 93
- Череванский Владимир Павлович (1836—1914), гос. деятель, писатель 752, 974
- Исчезнувшее царство: (Эпоха Семирамиды): Историческая монография 752, 974
- Черкасов Владимир Дмитриевич, друг Ф. Ф. Павленкова, сотрудник его издательства 938
- Чёрный Юрий Юрьевич (р. 1967), литературовед 885
- Чернышевский Михаил Николаевич (1858—1924), сын Н. Г. Чернышевского, организатор и первый директор Дома-музея Н. Г. Чернышевского 951
- Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) 97, 148, 189, 190, 271, 272, 327, 379—382, 426, 427, 453, 513—515, 576, 603, 614, 631, 681, 710—712, 754, 788, 789, 856, 871, 904, 913, 951, 952, 967
- Антропологический принцип в философии 904
- Полемические красоты 904
- Что делать? 271, 327, 913, 952
- Эстетическое отношение искусства к действительности 904
- Черняев (Черняев-Ташкентский) Михаил Григорьевич (1828—1898), ген.-лейтенант, туркестан. ген.-губернатор, главнокомандующий серб. армией во время Русско-турецкой войны 127
- Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936), друг Л. Н. Толстого, издатель, обществ. деятель 304, 438—441, 445, 446, 474, 475, 488, 551, 554, 684—688, 793, 795—796, 841, 962, 963, 982, 983
- Чехов Антон Павлович (1860—1904) 283, 393, 400, 452—457, 562, 591—599, 620, 640, 689, 710, 907, 918, 943, 944, 948
- Бабы 595, 943
- Вишневый сад 455
- Дядя Ваня 455
- Душенька 616, 948
- Мужики 597, 944
- Палата № 6 943
- Три сестры 455

- Чечотт Оттон Антонович (1842—1924), психиатр 485
- Чилаев Василий Иванович (1798—1873), капитан Кабардинского пехотного полка, хозяин дома в Пятигорске, последнего места жительства М. Ю. Лермонтова 859
- Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), правовед, философ, историк, публицист 290, 519, 709—711, 895
- Чичерина (ур. Капнист) Александра Алексеевна (1847—1919), жена Б. Н. Чичерина 519
Воспоминания 519
- Чуйко Владимир Викторович (1839—1899), лит. и худож. критик, переводчик 876
- Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков; 1882—1969), поэт, публицист, лит. критик, переводчик, детский писатель 67, 68, 172—174, 275—281, 396—398, 511—517, 570, 571, 581, 606, 607, 616, 642, 643, 827, 851, 868, 891, 892, 906, 907, 938, 939, 946, 948, 954
Владимир Короленко как художник 397, 906
Евреи в русской литературе 851, 868
Евреи в русской литературе. 2. Чужой кошелек и Семен Юшкевич 868
Жеваная резина 397, 906
Кинематограф 642, 891, 954
Критические рассказы 642, 954
Нат Пинкертон и современная литература 642, 891, 954
Недоразумение (Ответ г. Батюшкову) 906
О Всеволоде Гаршине (Введение в характеристику) 396, 906
Русская литература 606, 946, 948
Чириканы 397, 906
- Чулков Георгий Иванович (1879—1939), создатель теории мистического анархизма, поэт, прозаик, переводчик, лит. критик 650, 878, 953, 956
- Шампольон (Champollion) Жан Франсуа (1790—1832), фр. востоковед, основатель египтологии 862**
- Шан-Гирей Аким Павлович (1818—1883), троюродный брат М. Ю. Лермонтова, автор воспоминаний о нем 859
- Шарапов Сергей Федорович (1855—1911), экономист, писатель, полит. деятель, издатель, публицист 90, 705—707, 966
- Шарко (Charcot) Жан Мартен (1826—1893), фр. психиатр 464
- Шафарик (Šafárik) Павел Йосеф (1795—1861), словац. и чеш. славист, поэт, деятель нац. возрождения 431, 914
Славянские древности 914
- Шафиров Петр Павлович (1669—1739), барон, дипломат, сподвижник Петра I 520
- Шашков Серафим Серафимович (1841—1882), публицист, этнограф 788, 839
- Шварц Александр Николаевич (1848—1915) 95, 102, 103, 105, 106, **855—856, 857**
- Шwegler (Schwegler) Альберт (1819—1857), нем. историк философии 212, 876
История философии 212, 876
- Шевырѐв Степан Петрович (1806—1864), лит. критик, историк литературы 886
- Шейн Павел Васильевич (1826—1900) 68, 70, 172—176, 831, 851, **858**
Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. 68, 851, 858
- Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564—1616) 67, 112, 154, 160, 161, 239—241, 256, 274, 301, 378, 386, 390, 439, 445, 517, 625, 673, 702, 749, 866, 891, 905, 916, 917, 934, 950, 961
Гамлет 540, 716, 866, 934, 967
Король Лир 43
Отелло 378, 386, 905
Ромео и Джульетта 318, 625, 950
Сон в летнюю ночь 673, 961
- Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм фон (1775—1854), нем. философ-идеалист 74, 627

- Шенрок Владимир Иванович (1853–1910), писатель, историк литературы 887
 Материалы для биографии Гоголя 887
- Шепелёв, помещик Кромской волости Орловской губ. 872
- Шереметев Сергей Дмитриевич (1844–1918), граф, обществ. деятель, историк, коллекционер 519, 930
- Шереметевы, один из знатнейших боярских родов 518, 929
- Шестаков Дмитрий Петрович (1869–1937), историк античности, филолог-классик, византист, поэт, переводчик 590, 942, 943
- Шестаков Иван Алексеевич (1820–1888), флотоводец, гос. деятель, адмирал (1888) 150, 151
- Шестов Лев Исаакович (Иегуда Лейб Шварцман; 1866–1938), философ-экзистенциалист 388, 635, 981
 Достоевский и Ницше 388
- Шива, верховный бог в шиваизме 695
- Шил (Shiel) Мэтью Фипс (1865–1947), англ. писатель 872
 Желтая опасность 199, 872
- Шиллер (Schiller) Фридрих фон (1759–1805) 67, 76, 301, 381, 407, 557–559, 637, 641, 702, 756, 757, 764, 852, 904, 909, 975
 Вильгельм Телль 756, 975, 976
 Жалобы Цереры 407, 909
 История Тридцатилетней войны 756, 975, 976
 К радости 904
 Коварство и любовь 852
- Шишко Леонид Эммануилович (1852–1910), революционер-семидесятник, бывший офицер 575, 576, 828, 939
 Популярная история России 575, 939
- Шкляревский Алексей Сергеевич (1839–1906), врач, науч. писатель 913
 Книга Вересаева перед судом психологии 913
- Шлегель (Schlegel) Фридрих фон (1772–1829), нем. писатель, поэт, критик, философ, лингвист 74
- Шляпкин Илья Александрович (1858–1918), филолог, палеограф, историк др.-рус. искусства 189
- Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788–1860), нем. философ 46, 55, 162, 184, 212, 361, 362, 378, 531, 532, 664, 902, 959
 Мир как воля и представление 902, 959
- Шперк Федор Эдуардович (1872–1897), публицист, лит. критик, философ, поэт 170, 303, 868, 897
 Диалектика бытия. Аргументы и выводы моей философии 897
 Метафизика природных процессов 897
 Мысль и рефлексия. Афоризмы 897
 О страхе смерти и принципе жизни 897
 Система Спинозы 897
 Философия индивидуальности 897
- Шпильгаген (Spielhagen) Фридрих (1829–1911), нем. писатель 724, 725, 969
- Штейн Ольга фон, позднее баронесса фон дер Остен-Сакен (Ольга Зельдовна Сеганович, «Золотая Ручка»; 1869 – после 1930), мошенница 466, 921
- Штраус (Strauß) Давид Фридрих (1808–1874), нем. философ, историк, теолог, публицист 448, 529, 917
 Жизнь Иисуса Христа, критически переработанная 448, 917
- Штросмайер (Štrosmajer) Йосип Юрай (1815–1905), хорват. католический епископ нем. происхождения, теолог, меценат, обществ. и полит. деятель 189, 719, 958

- Шубинский Сергей Николаевич (1834–1913), историк, журналист, ред. ист. журналов, библиофил 46–47, 847, 848
 Богом данный генерал-прокурор 47
 Из жизни русских писателей. Рассказы и анекдоты 848
 Исторические очерки и рассказы 46, 848
 Княгиня А. П. Волконская и ее друзья 47
 Княгиня Лович 47
 Рассказы о русской старине 848
 Черты и анекдоты из жизни императора Александра I 848
- Шувалов Иван Иванович (1727–1797), гос. деятель, ген.-адъютант (1760), фаворит Елизаветы I Петровны, основатель Моск. ун-та и Академии художеств 783
- Шульц, лжесвидетель на процессе О. фон Штейн 466, 921
- Шульце-Делич (Schulze-Delitzsch) Герман (1808–1883), нем. экономист, полит. деятель 76
- Шумахин Сергей Викторович (1953–2014), архивист, литературовед 882
- Шундигов Василий Максимович, инспектор и препод. чистописания Нижегородской мужской гимназии (1870–1880-е) 21–23
- Щеглов (Леонтьев-Щеглов, наст. фам. Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856–1911), писатель, драматург 282, 283, 400, 401, 487–488, 687–689, 705, 735, 736, 779, 892, 907, 924, 962, 963
 Метод работы Гоголя и его отношение к слову 282
 Около истины 488, 688, 963
 Перл создания 282
 Подвижник слова: Новые материалы о Н. В. Гоголе 282, 892
 Рассказы 487
 Своеобразие гоголевского дара 282
 Тетя из Витебска 488
 Убыль души 488
 Юмор и христианство 288
- Щедрин — см. *Салтыков-Щедрин М. Е.*
- Щербатов Григорий Алексеевич (1819–1881), князь, чиновник 907
- Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790), князь, историк, публицист, философ 641, 954
 История Российская от древнейших времен 954
- Щербина Николай Федорович (1821–1869), поэт 393, 853
 Катков и Аксаков 853
- Щусев Алексей Викторович (1873–1949), архитектор 883
- Эдельштейн Михаил Юрьевич (р. 1972), лит. критик, литературовед 885, 943
- Эдип (Οἰδίπους), в др.-греч. мифологии царь Фив, сын Лая и Иокасты 949, 982
- Эккерман (Eckermann) Иоганн Петер (1792–1854), нем. литератор, поэт, друг и секретарь И. В. Гёте 324, 349, 901
- Разговоры с Гёте в последние годы его жизни 324, 349, 901, 902
- Экклезиаст, автор библ. книги (предположительно, царь Соломон) 34–37, 39, 40, 42, 410, 438
- Эллис (наст. имя и фам. Лев Львович Кобылинский; 1879–1947), поэт, переводчик, теоретик символизма 653
- Энгельс (Engels) Фридрих (1820–1895) 59, 404, 516, 929
- Эразм Роттердамский (Дезидерий) (Desiderius Erasmus Roterodamus; 1466/1465–1536), нем. гуманист; филолог, богослов, писатель-сатирик 75, 142, 144

- Эривасти Рафаэл Давидович (1824–1901), князь, грузин. поэт, переводчик, этнограф и собиратель фольклора 857
- Эрн Владимир Францевич (1882–1917), философ 805, 863
- Эрос (Эрот, "Ерос"), в др.-греч. мифологии божество любви 64–66
- Эртель Александр Иванович (1855–1908), писатель 434, 438, 440–446, 449–451, 461–463, 915–917, 920
- Гарденины, их дворня, приверженцы и враги 916
- Письма 434, 437, 440, 449, 915–917
- Эртель Людвиг, дед А. И. Эртеля 438
- Эрзя (наст. фам. Нефёдов) Степан Дмитриевич (1876–1959), художник, скульптор 489, 490
- Эфрон И. А. – см. *Ефрон И. А.*
- Эфрос Абрам Маркович (1888–1954), искусствовед, литературовед, театровед, поэт, переводчик 341, 347, 902
- Ювенал** (Децим Юний Ювенал, Decimus Junius Juvenalis; ок. 40 – ок. 127), рим. поэт-сатирик 533, 868
- Сатиры 171, 868
- Юдифь (Иудифь), евр. вдова, спасающая родной город от нашествия ассирийцев 337, 339
- Ожаков Сергей Николаевич (1849–1910), социолог, публицист 954
- Юлиан II (Флавий Клавдий Юлиан, Юлиан Отступник, Flavius Claudius Iulianus, Iulianus Apostata; 331/332–363), рим. император (с 361) из династии Константина 40, 232, 881
- Юм (Hume) Дэвид (1711–1776), шотланд. философ 567
- Юнона (Iuno), в др.-рим. мифологии богиня брака и рождения, семьи, материнства, женщин 737, 738
- Юпитер (Iuppiter), в др.-рим. мифологии бог неба, дневного света, грозы; верховное божество 98, 99, 738, 857
- Юркевич Памфил Данилович (1826–1874), религиозный философ, педагог 379, 380, 876, 904
- Из науки о человеческом духе 904
- Юрьев Сергей Андреевич (1821–1888), лит. и театр. деятель 151
- Юстиниан I Великий (Флавий Петр Савватий Юстиниан, Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus; 483–565), визант. император (с 527) 238, 572
- Юсупов Николай Борисович (1750–1831), князь, гос. деятель, дипломат, коллекционер, меценат 410, 910
- Юсупова (ур. Нарышкина) Зинаида Ивановна (1809–1893), княгиня, фрейлина 946
- Юсуповы, княжеский род 608, 609, 946
- Юшкевич Семен Соломонович (1868–1927), писатель, драматург 868
- Яворская** (по мужу – княгиня Барятинская) Лидия Борисовна (1871–1921), актриса 487, 976
- Языков Николай Михайлович (1803–1847), поэт 72, 952, 960
- Якубович Андрей Федорович (1776–1842), литератор, издатель Сборника Кирши Данилова 905
- Якубович Петр Филиппович (псевд.: Л. Мельшин и др.; 1860–1911), народоволец, поэт, переводчик 707–710, 836, 944, 966
- Янжул Иван Иванович (1846–1914), экономист, статистик 942
- Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978–1054), князь Ростовский (987–1010), Новгородский (1010–1034), Киевский (1016–1018, 1019–1054) 98, 347, 856, 877

Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1930), писатель, журналист, поэт, лит. критик, переводчик 483, 486, 609, 688, 944, 946, 947
Бунт Ивана Ивановича: Выходы 609, 947
Киевские рассказы 609, 947
Ординарный профессор 609, 947
Петербургские туманы 609, 947
Старый друг 609, 947
Трагики 609, 947
Этика обыденной жизни 609, 947

Du-Ruis — см. *Дюрюи Ж. В.*

Lodyschnikoff — см. *Ладыжников И. П.*

N N N — см. *Щеглов И. Л.*

NN, корреспондент Вл. С. Соловьёва 189

Severac J. B. — см. *Северак Ж. Б.*

Soloviev V. — см. *Соловьёв Вл. С.*

Volney — см. *Вольней К. Ф.*

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Тексты, варианты и комментарии произведений, входящих в четвертый том, подготовили:

И. В. Логвинова («И. С. Тургенев в 1879 г. в Москве»).

А. В. Ломоносов («<Возражение А. Г. Горнфельду о Н. В. Гоголе>», «В. Л. Кигн», «Литературный террор» — варианты, «Цветословы и риторы», «Проф. В. И. Герье и его труд о французской революции»).

Г. В. Нефедьев («О “русских богоискателях”», «Некрасов в годы нашего ученичества», «Пестрые темы», «О “народо”-божии как новой идее Максима Горького», «В Религиозно-философском обществе», «О пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты»», «Д. Шестаков. Исследования в области греческих народных сказаний о святых», «Отлучение писателей», «Еще два слова о С. Ф. Шарапове», «И. В. Киреевский и Герцен», «Магнитские» и Философов»).

Е. Н. Никитин («На книжном и литературном рынках <А. Каменский>», «На книжном и литературном рынке <Ч. Диккенс>», «По следам книгопродавческого съезда», «А. С. Белкин (Некролог)», «Один из певцов вечной “весны”», «Магическая страница у Гоголя», «Полемиические заметки», «Куприн», «Потухшие огни», «О письмах писателей», «К пятому изданию “Вех”», «В литературной прачешной», «Среди газет и журналов <Брюсов и Пушкин>», «Бедные провинциалы», «Литературные типы», «Лучшая книга по средневековой истории»).

В. И. Новиков («А Шейн?..», «43 года “корректности”...», «Литературные симулянты», «Попы, жандармы и Блок», «К. И. Чуковский о русской жизни и литературе», «К истории одного книгопродавческого разорения», «Что не принято в соображении при закрытии кассы взаимопомощи литераторов», «Под старость лет», «Около науки и университета», «Единое “стадо” и неугомонный волк», «Литературный террор», «Богатый и убогий», «Памяти В. О. Ключевского», «Памятка о Ключевском», «Памятки о В. О. Ключевском. II», «Отойди, сатана», «Мученики идеи...»).

Т. Г. Петрова («Памяти Ф. И. Булгакова», «Наши публицисты», «Новая книга о Гоголе», «Русь и Гоголь», «Памяти Поликсены Сергеевны Соловьёвой-Allegro», «Из литературных впечатлений», «Константин Леонтьев и его “почитатели”», «Пришвин», «К 40-летию литературной деятельности И. И. Ясинского», «Памяти Ив. Л. Леонтьева-Щеглова», «Еще два слова о С. Ф. Шарапове», «Недоумения и недоуменья», «К 100-летию Пушкинского лица», «К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева», «Пятьдесят лет служения русской литературе»).

И. А. Ревакина («Красота молчания», «Домик Лермонтова в Пятигорске», «Непостижимое вмешательство», «80-летие рожденья гр. Л. Н. Толстого», «Л. Н. Толстой», «Толстой между великими мира», «Чего недостает Толстому?», «Одно воспоминание о Л. Н. Толстом», «Автопортрет Вл. С. Соловьёва» (две статьи), «Новые труды по истории философии», «Поездка в Ясную Поляну», «О психологии терроризма», «Между Азефом и “Вехами”», «Литературные заметки», «Красота-властительница», «Героическая личность», «Толстовство и жизнь», «На распутьях», «Заветы быта и труда», «Посмертный труд Генри Драммонда», «Язычество и христианство в Ясной Поляне», «Где же “покой” Толстому?», «Кончина Л. Н. Толстого», «Гр. Л. Н. Толстой <1910>», «Толстой в литературе», «Перед гробом Толстого», «Толстой и Н. Я. Грот», «Литературные и политические афоризмы», «Забытое возле Толстого», «Убогонские в истории», «Литературный род Соловьёвых», «Окончание писем Соловьёва», «Друг великого человека», «Французский труд о Влад. Соловьёве», «Религиозный “эклектизм” и “синкретизм”», «Л. Н. Толстой и русская церковь», «Из жизненных встреч. К. М. Фофанов», «Юбилейное издание Добролюбова», «Роковое в “наследии” Толстого», «Тулльская история»).

В. Б. Трофимова («Свои люди» поссорились», «Трагическое остроумие», «К. И. Чуковский о русской жизни и литературе», «Мережковский против “Вех”», «А. Л. Волынский. Ф. М. Достоевский. Критические статьи», «Погребатели России», «И шутя, и серьезно», «Первый дебют», «Чем нам дорог Достоевский?», «О происхождении некоторых типов Достоевского»).

Остальные статьи не имеют аналогов в архивах и печатаются по первой публикации.

Дополнение. В 3-м томе ПСС В. В. Розанова текстологическую работу также провели: *И. В. Логвинова* («Русское философствование», «Новейшие успехи знания»).

Г. В. Нефедьев («Памяти Н. И. Стороженко»).

Е. Н. Никитин («Литературные и педагогические дела»).

Т. Г. Петрова («Лесков», «К. П. Победоносцев», «Из воспоминаний и мыслей о К. П. Победоносцеве», «Автопортрет К. П. Победоносцева»).

И. А. Ревякина («Д. А. Сперанский», «Волжский», «Наталья Грот», «Толстой и Достоевский об искусстве», «На закате дней» — три статьи).

В. Б. Трофимова («Экономический и социальный вопрос у Достоевского», «Два слова в защиту Достоевского как человека», «К биографии и посмертной судьбе Ф. М. Достоевского»).

Комментарий подготовили *А. Н. Николюкин* и *А. П. Дмитриев* при участии *В. В. Аверьянова*, *П. П. Апрышко*, *К. В. Душенко*, *И. А. Едошиной*, *Е. М. Криволаповой*, *А. В. Ломоносова*, *Т. М. Миллионщиковой*, *Г. В. Нефедьева*, *И. А. Ревякиной*, *Б. Н. Романова*, *В. Б. Трофимовой*, *Л. Л. Черниченко*.

Компьютерная редактора текста *К. А. Жульковой* и *И. В. Логвиновой*.

Ведущий редактор *А. П. Дмитриев*.

Научное издание

В. В. РОЗАНОВ

Полное собрание сочинений в 35 томах
Серия «Литература и искусство» в 7 томах

Т. 4. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ:
Статьи 1908–1911 гг.

Составитель и редактор тома *А. Н. Николюкин*

Выпускающий редактор *А. П. Дмитриев*

Компьютерная верстка *С. В. Степанова*

Художественное оформление *С. А. Гавриловой*

Формат 70 × 100 ¹/₁₆. Гарнитура Октава. Изд. л. 66,0.

Тираж 300 экз. Заказ № 4185

ООО «Издательство «Росток»

E-mail: rostokbooks@yandex.ru

По вопросам оптовых закупок

обращаться по тел.: 8–921–937–98–70

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В. О., 9-я линия, 12

